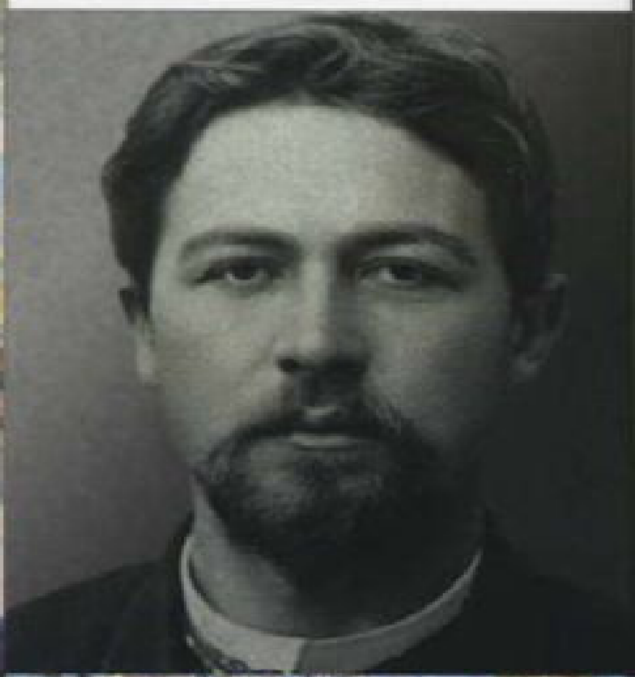
ЧЕХОВ



Алевтина Кузичева

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.

- Кузичева А. П. Чехов. Жизнь «отдельного человека»
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТАГАНРОГ— МОСКВА (1860–1892)
    - Глава первая. ЗАБЫТОЕ ДЕТСТВО
    - Глава вторая. НЕВЕДОМАЯ ЮНОСТЬ
    - Глава третья. МОСКОВСКОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
    - Глава четвертая. ЧЕХОНТЕ — АН. ЧЕХОВ
    - Глава пятая. СМУТНЫЙ 1887 ГОД
    - Глава шестая. ПЕРЕПУТЬЕ
    - Глава седьмая. «РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ»
    - Глава восьмая. ПОБЕГ ИЗ «ЧЕТЫРЕХ СТЕН»
    - Глава девятая. ДОРОГА НА САХАЛИН
    - Глава десятая. САХАЛИНСКАЯ «ПУСТЫНЯ»
    - Глава одиннадцатая. ИТАЛЬЯНСКОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
    - Глава двенадцатая. «РЕШЕНО: ВОН ИЗ МОСКВЫ!»
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МЕЛИХОВО (1892–1898)
    - Глава первая МЕЛИХОВСКОЕ «ГЕРЦОГСТВО»
    - Глава вторая. ХОЛЕРНОЕ ЛЕТО
    - Глава третья. «ПСИХОПАТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ»
    - Глава четвертая «ВАКХИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ»
    - Глава пятая. «ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ» И «ЖЕЛАНИЕ ПИСАТЬ»
    - Глава шестая. «Я НАПИШУ ЧТО-НИБУДЬ СТРАННОЕ…»

- Глава седьмая. НЕМОДНЫЙ ЛИТЕРАТОР
- Глава восьмая. ЛЮБИЛ ЛИ ЧЕХОВ ТЕАТР?
- Глава девятая. «К СЛАВЕ И МУЗАМ»
- Глава десятая. АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР. 17 ОКТЯБРЯ
- Глава одиннадцатая. ПАЛАТА № 16
- Глава двенадцатая. ПОСЛЕ КЛИНИКИ…
- Глава тринадцатая. ПОЛУГОДИЕ В НИЦЦЕ
- Глава четырнадцатая. 1898 ГОД. НАКАНУНЕ

○ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЯЛТА (1898–1904)

- Глава первая. ПЕРВАЯ ЗИМА В ЯЛТЕ
- Глава вторая. «ДЕЛО СУВОРИНА»
- Глава третья. ЯЛТИНСКАЯ «ОСЕДЛОСТЬ»
- Глава четвертая. УЖАСНО ДЛИННАЯ ЗИМА
- Глава пятая. «ТОЧНО СПЕЛЁНАТЫЙ»
- Глава шестая. СНОВА В НИЦЦЕ
- Глава седьмая «ПРИЕЗЖАЙ СКОРЕЙ, ПОВЕНЧАЕМСЯ…»
- Глава восьмая. В МЕЧТАХ И «В МЕЧТАХ»
- Глава девятая. «МЕНЯ НИЧТО В ЯЛТЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ…»
- Глава десятая. ВЕСНА И СТРАННОЕ ЛЕТО
- Глава одиннадцатая «ГДЕ-ТО КОГДА-ТО БУДЕМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ…»
- Глава двенадцатая «МИФИЧЕСКИЙ МУЖ» И «МИФИЧЕСКАЯ ЖЕНА»
- Глава тринадцатая. «МОЙ ТЕАТР»
- Глава четырнадцатая. ЯЛТА-МОСКВА-БАДЕНВЕЙЛЕР

○ ИЛЛЮСТРАЦИИ
○ ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. П. ЧЕХОВА
○ КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
○ БЛАГОДАРНОСТИ

• notes

○ 1
○ 2
○ 3
○ 4
○ 5
○ 6
○ 7
○ 8
○ 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20

Кузичева А. П. Чехов. Жизнь «отдельного человека»

Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их мало.

А. П. Чехов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТАГАНРОГ— МОСКВА (1860–1892)

Глава первая. ЗАБЫТОЕ ДЕТСТВО

17 января 1860 года, Таганрог — время и место рождения Чехова.

Живописный очерк о городе на берегу Азовского моря с его

интересной историей, нравами, обликом открывает и украшает многие жизнеописания писателя.

Занимательный набросок эпохи — первые десятилетия пореформенной России, зримые перемены в жизни всех сословий — порой подменяет повествование о детстве и отрочестве.

Наверно, подобное неизбежно, когда недостает источников. Когда даже близкие люди рассказывают об одном и том же по-разному, как, допустим, братья Чеховы.

Старший, Александр, нарисовал прошлое родной семьи подчеркнуто резко: «Первую половину дня мы, братья, проводили в гимназии, а вторую, до поздней ночи, обязаны были торговать в лавке по очереди, а иногда и оба вместе. В лавке же мы должны были готовить и уроки, что было очень неудобно, потому что приходилось постоянно отвлекаться, а зимою, кроме того, было и холодно: руки и ноги коченели, и никакая латынь не лезла в голову. <…> Вот почему мы ненавидели нашу кормилицу-лавку и желали ей провалиться в преисподнюю. <…> Особенно обидно бывало во время каникул. <…> все наши товарищи отдыхали и разгуливали, а для нас наступала каторга: мы должны были торчать безвыходно в лавке с пяти часов утра и до полуночи».

Младший брат, Михаил, написал картину минувшего другими красками, в иной манере, нарочито мягко: «День начинался и заканчивался трудом. Все в доме вставали рано. Мальчики шли в гимназию, возвращались домой, учили уроки; как только выпадал свободный час, каждый из них занимался тем, к чему имел способность: старший, Александр, устраивал электрические батареи, Николай рисовал, Иван переплетал книги, а будущий писатель — сочинял… Приходил вечером из лавки отец, и начиналось пение хором: отец любил петь по нотам и приучал к этому и детей. Кроме того, вместе с сыном Николаем он разыгрывал дуэты на скрипке, причем маленькая сестра Маша аккомпанировала на фортепиано. <…> Приходила француженка, мадам Шопэ, учившая нас языкам. Отец и мать придавали особенное значение языкам <…>. Позднее являлся учитель музыки <…> и жизнь текла так, как ей подобало течь в тогдашней средней семье, стремившейся стать лучше, чем она была на самом деле. <…>

Любовь к пению, посещение церквей и служба по выборам отнимали у нашего отца слишком много времени. Он посылал вместо себя в лавку кого-нибудь из нас, для „хозяйского глаза“, но, заменяя отца, мы не были лишены таких удовольствий, какие и не снились многим нашим сверстникам, городским мальчикам: мы на целые дни уходили на море ловить бычков, играли в лапту,

устраивали домашние спектакли».

Что говорил сам Чехов об этих годах? Он словно скрыл их от посторонних глаз и возвращался к ним памятью очень редко. Иногда как к последнему доводу в трудном разговоре о власти взрослых над детьми, о детских несчастьях.

Увидев грубое обращение старшего брата с домочадцами, напомнил ему однажды: «Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой. Отец теперь никак не может простить себе всего этого…» Через годы, в другом письме брату, он повторил: «Детство отравлено у нас ужасами…»

Восторг одного из своих приятелей, восхищавшегося опытом религиозного воспитания в сельской школе, Чехов остудил редким в его письмах признанием: «Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание — с церковным пением, с чтением Апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два моих брата среди церкви пели трио „Да исправится“ или же „Архангельский глас“, на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками». И добавил, что его и братьев «детство было страданием».

В одном из писем он обронил фразу о том, что его «драли». В другом, что «секли из-за религии». Однажды назвал несчастьем то, что у него, его братьев и сестры с детства не было «своего угла», своего дома. Никто из них не рассказал подробно о том, как встречали в доме Рождество или Пасху. Никто не запомнил радости ожидания праздника. Чехов признавался, что не любит свой день рождения.

Осталось еще одно свидетельство тех лет. Это сны Чехова. Ему иногда снилась «гимназия: невыученный урок и боязнь, что учитель вызовет». Он даже назвал, в шутку или всерьез, того, кто ему снился из педагогов — учитель арифметики и географии Крамсаков. Но один сон повторялся. Может быть, именно это сновидение извлекало из глубин сознания давние годы, нечто, не угасшее со временем и не отпускавшее: «Когда ночью спадает с меня одеяло, я начинаю видеть во сне громадные склизкие камни, холодную осеннюю воду, голые берега — всё это неясно, в тумане, без клочка голубого неба; в унынии и в тоске, точно заблудившийся или покинутый, я гляжу на камни и чувствую

почему-то неизбежность перехода через глубокую реку; вижу я в это время маленькие буксирные пароходики, которые тащат громадные барки, плавающие бревна, плоты и проч. Всё до бесконечности сурово, уныло и сыро. Когда же я бегу от реки, то встречаю на пути обвалившиеся ворота кладбища, похороны, своих гимназических учителей… И в это время весь я проникнут тем своеобразным кошмарным холодом, какой немыслим наяву и ощущается только спящими».

В этом сне переплелись и конкретные реалии жизни в Таганроге: холод лавки; нагоняи гимназических наставников; участие в отпевании усопших. И глубинные ощущения той поры: покинутость; преодоление тяжелых минут; бесприютность. И что-то потаенное: страх перехода через реку; бегство от нее, но куда? И будто остановка перед обвалившимися кладбищенскими воротами. А еще — всепроникающий «кошмарный холод».

Это воспоминание, наверно, выявило то, чего не в силах передать скудные рассказы людей, окружавших Чехова в детские и отроческие годы. В них всё бегло, неточно, противоречиво, порой малодостоверно.

* * *

О самом раннем детстве Чехова неизвестно почти ничего. Будто бы плакал редко. Говорил отчетливо, не спеша. За большую голову домашние звали Бомбой. Детские болезни — корь, коклюш, частые простуды, приступы малярийной лихорадки. До 1874 года семья не имела в Таганроге собственного дома.

Отчего переезды из дома в дом Чехов счел впоследствии несчастьем? Наверно, оттого, что всё временно, всё не свое, всё на чужих глазах. И всегда тесно, даже когда в 1869 году поселились в двухэтажном доме Моисеева, на углу Монастырской и Ярмарочного переулка. Не было ли признаком подступавшего материального краха то, что в эти годы Чеховы брали жильцов? То, что, отдав старшего сына в гимназию, второго и третьего сына отец отправил в греческую приходскую школу? Здесь учились не так долго, как в гимназии, и детей удалось бы раньше, скорее пристроить в какую-нибудь местную контору. Главе семейства виделись уже не просто помощники в его собственной лавке, но добытчики, Граждане, по его выражению, состоятельные и уважаемые в таганрогском обществе. Более удачливые, чем он.

Никогда в жизни не сомневавшийся в своих добродетелях, Павел Егорович в вопросах общепринятой морали, нравственных устоев семейной жизни был, по словам Чехова, «кремень». Но в

делах житейских, практических, торговых он выказывал посредственный ум — совершал глупости, отступал перед чужой подлостью, а в трудные минуты просто терял голову. Жесткий, неумолимый, грозный в кругу семьи, он легко поддавался стороннему нажиму и внушению. Доверял чужому мнению, особенно если оно исходило от людей богатых, знатных или чтимых в обществе и имеющих награды, знаки отличия. Поэтому так мечтал о медали за свои труды в бесплатных выборных должностях (ратман, присяжный заседатель, член торговой депутации), а также за регентство, руководство церковным хором.

Непреклонный в семье, Павел Егорович преклонял голову перед любым власть имущим. Чин и священнический сан ценил превыше человеческих свойств и это благоговение не считал угодничеством или заискиванием. Но сыновья иначе смотрели на отца в такие минуты. Годы спустя Чехов напоминал старшему брату: «Отец улыбался покупателям и гостям даже тогда, когда его тошнило от швейцарского сыра; отвечал он Покровскому (таганрогский протоиерей. — А. К), когда тот вовсе ни о чем его не спрашивал…»

Александр не забыл, как оскорбляло его искательство отца. Через годы и годы он рассказал брату Михаилу: «Медаль! Какую она роль играла в нашей семье! Мозга не было, а честолюбие было громадное. Из-за медали и детство наше погибло… С давящей тоской я оглядываюсь на свое детство… Как теперь ясно и отчетливо помню, как после пения во дворце (на Страстной — „Черто-о-г твой ви-и-жу, Спасе“) отец вошел в алтарь и просил о. Николая Луценко исходатайствовать ему медаль за пение. О. Николай — затычка заштатная и слепое, беззащитное орудие в руках кафедрального Покровского — был страшно смущен этой просьбою. Я, тогда гимназист 6-го класса, не знал, куда деваться от стыда и негодования, и выразил свое негодование тем, что на лестнице дал здорового тумака Антону в бок. И тебе безобразно съездил по морде, и при этом съездил подло, предательски, сзади… Но согласись сам, чем же я мог иначе выразить свой протест против унизительной просьбы о медали?»

Может быть, в мечте о награде проявлялось не честолюбие и даже не глупое тщеславие, а попытка человека, как сказал Чехов позже об отце, «среднего калибра, слабого полета», придать себе весу в чужих и собственных глазах. Выбравшись и поднявшись из низов, достигнув доступного ему по уму, характеру и случаю положения, Павел Егорович тщился «расти» с помощью медали, успехов детей, а главное — примерного образа жизни.

Свое происхождение Чехов обозначал, когда у него просили биографические данные, кратко: «Дед мой был малоросс,

крепостной; до освобождения крестьян он выкупил на волю всю свою семью, в том числе и моего отца. Отец занимался торговлей»; — «Дед мой и отец — уроженцы Воронежской губ[ернии] — бывшие крепостные Чертковых».

Решающая роль в освобождении из крепостной неволи, в приобщении сыновей к «делу», судя по всему, принадлежала Егору Михайловичу Чехову. Он накопил к 1841 году своими трудами необходимую для выкупа немалую сумму. Помог сыновьям Михаилу, Павлу, Митрофану и дочери Александре своими деловыми связями и деньгами. Старшего сына отправил в Калугу, пристроил к переплетному делу. Среднего и младшего пустил по торговой части, отдал в обучение к знакомым купцам.

Сохранилась краткая летопись, составленная отцом Чехова и озаглавленная им «Жизнь Павла Чехова». Он вписал в нее то, что счел главным:

«1825. Родился вс. Ольховатке Воронежской губ. Острогож. уезда от Георгия и Ефросинии Чеховых. <…>

1831. Помню сильную холеру, давали деготь пить.

1832. Учился грамоте в с[ельской] школе <…>.

1833. Помню неурожай хлеба, голод, ели лободу и дубовую кору.

1834. Учился пению у дьячка Остапа.

1835. Ходил в церковь и пел на клиросе. <…>

1837. Приехал регент дьякон, жил у нас и учил меня на скрипке. <…>

1841. Отец откупил все семейство на волю за 3500 руб. а[ссигнациями] по 700 р. за душу. <…>

1844. Из Ольховатки переехал в Таганрог 20 июля к купцу Кобылину. <…>

1854. Вступил в брак с девицею Е. Я. Морозовой 29 октября.

1855. Родился у нас сын Александр 10 августа. <…>

1858. Родился у нас сын Николай 9 мая. <…>

1860. <…> Родился у нас сын Антоний 17 генваря.

1861. <…> Родился у нас сын Иоанн 18 апреля. <…>

1863. Родилась у нас дочь Мария 31 июля. <…>

1865. Родился у нас сын Михаил 6 октября. <…>

1869. Родилась дочь Евгения 12 октября, а скончалась в сентябре 1871 г.».

И, наконец: «1871. Государь Император в 17-м декабря соизволил пожаловать серебряную медаль для ношения на Станиславской ленте на шее за усердную службу».

Но Павлу Егоровичу мечталось еще об одной медали. Не зря же он несколько лет управлял соборным хором, потом организовал хор из любителей, бесплатно певший в таганрогских

храмах. Истовый регент не жалел ни сил, ни времени, ни своих трех старших сыновей — Александра, Николая, Антона.

«Прокурор» отца, его старший сын, рассказывал: «Павел Егорович во всем, что касалось церковных служб, был аккуратен, строг и требователен. Если приходилось в большой праздник петь утреню, он будил детей в два и в три часа ночи и, невзирая ни на какую погоду, вел их в церковь. <…>

— От церковного пения детские груди только укрепляются. Я сам с молодых лет пою и, слава Богу, здоров. Для Бога потрудиться никогда не вредно.

К чести Павла Егоровича нужно сказать, что он искренно и глубоко верил в то, что говорил. Он <…> был убежден в том, что каждая пропетая его детьми обедня или всенощная приближает их души к Богу и <…> все спевки и недосыпания „зачтутся им на том свете“. <…> Он называл это: „давать детям направление“, и давал его не без задней, впрочем, мысли, что и ему самому за эти хлопоты будет уготовано местечко в раю».

Даже «адвокат» отца, его младший сын Михаил, признавал, что «отец был большим формалистом во всем, что касалось церковных служб, а потому мы, мальчики, не должны были пропускать ни одной всенощной в субботу и ни одной обедни в воскресенье». Это не опровергала и дочь, тоже защитница Павла Егоровича: «Наш отец был ревностным исполнителем всех церковных служб, полагавшихся в праздничные дни, и заставлял всю семью присутствовать на них. Для нас, детей, это бывало порой нелегко: нужно было рано вставать и долго стоять в церкви». По возвращении из храма глава семейства разрешал всем выпить чаю, а потом собирал на домашнюю молитву. Он читал акафист, а дети, как вспоминал Александр, «должны были петь после каждого икоса: „Иисусе сладчайший, спаси нас“, и после каждого кондака: „Аллилуйя“».

Отец искренне верил, что вразумлял детей, просветлял их души, доставлял им истинную радость. Чехов, возвращаясь памятью к этому времени, к хору, спевкам, чтению на клиросе, говорил, что чувствовал себя тогда «маленьким каторжником»: «Вообще в так называемом религиозном воспитании не обходится дело без ширмочки, которая не доступна оку постороннего. За ширмочкой истязуют, а по сю сторону ее улыбаются и умиляются». А души детей остаются для наставника «потемками», он видит только «казовую сторону».

Кажется, именно эта сторона интересовала Павла Егоровича. Она была ему понятна (как читать молитву, как петь в хоре, как вести себя во время богослужения). На нее хватало его разумения. Он, несомненно, был религиозным человеком, но вряд ли глубоко

верующим — формальная, «казовая сторона» исчерпывала его религиозное чувство. Любое нарушение правил он карал со спокойной совестью, уверенный, что дает «правильное направление» и наказанием за маленький грех спасает от страшного грехопадения.

Его воспитательная метода вменяла детям обязательное благонравное поведение и целование рук священников, почетных гостей, взрослых родственников. А за этой «ширмочкой» благонравия отец семейства позволял себе брань, рукоприкладство, побои. Такова была его доморощенная система воспитания, за которую сыновья прозвали отца — «новейший самоучитель».

Сам Павел Егорович называл свод своих истин «порядком». Главные из них: «Соглашаться всегда должно с опытными старыми людьми». В молодом человеке важны «дух кротости и терпения <…> находчивость услуживать каждому»; а еще умение «добывать деньги да с умом их расход вести… Надо уметь, как жить, это самое главное умение на свете». Чем хуже у него получалось на практике, тем охотнее он учил жить, рассуждая за домашними трапезами, как беречь копейку, как следует чтить родителей, учителей, как надо хорошо учиться, ибо… Далее следовали обыкновенно слова о возмездии, о карах небесных и земных, о суде Божием и людском мнении…

После неудачного опыта с греческой школой, где Чехов бессмысленно пробыл год вместе с братом Николаем, их отдали в гимназию. Он проучился в ней, не считая приготовительного класса, десять лет (1869–1879). И тоже впоследствии не вспоминал ничего, кроме самого факта учебы. Всплывали в письмах лишь некоторые имена и сон, в котором он вновь, как когда-то в реальности, переживал страх, что его вот-вот вызовет учитель, а урок не приготовлен.

В 1868 году, когда Чехов поступил в приготовительный класс, Таганрогская гимназия была преобразована в классическую, с двумя древними языками (латынь и греческий). На них отводилось больше часов, чем на другие предметы — русский язык, словесность, математику. Гимназия давала право поступления в высшие учебные заведения. Но до последнего, восьмого класса добирались далеко не все. Вдохновитель гимназического устава 1871 года, министр народного просвещения граф Д. А. Толстой, прославился фразой, что изучать мертвые языки трудно и поэтому крайне необходимо. Это-де воспитывает в юном человеке характер, упорство, трудолюбие — и не оставляет времени на безделье и всяческие вредные мечтания. К тому же чтение древних авторов, Гомера,

Геродота, Платона, Софокла, настраивало, по мнению министра, мысли юношества на возвышенный лад, а речь — на высокий слог.

Павел Егорович, конечно, не слышал об этих побуждениях сановного ментора, но они были созвучны его воззрениям на конечную цель воспитания: вырастить, как он выражался в своих речениях, хорошего Гражданина и доброго Христианина. Однако первостепенное значение таганрогский ревнитель благочестия придавал не гимназическим заданиям и успешной учебе сыновей, а их участию в спевках своего хора, в церковных службах и лавочной торговле. Всё остальное, в том числе и приготовление уроков, отступало перед этими «главными» делами.

По стечению общих и частных обстоятельств дела Павла Егоровича стали приходить в упадок. Словно получение медали в 1871 году ознаменовало высшую точку, а далее всё покатилось по наклонной вниз. Началась полоса неудач, несчастий, потерь. В сентябре того же года умерла малолетняя Женя, младшая сестра Чехова. По воспоминаниям родных, он любил забавлять годовалую малышку. Может быть, восполнял то, чего самому недоставало и в чем он признался многие годы спустя: «Меня маленького так мало ласкали, что я теперь, будучи взрослым, принимаю ласки как нечто непривычное, еще мало пережитое».

Да, отец был неласков и этим сильно отличался от своего младшего брата, Митрофана Егоровича. Тот усвоил и воплощал в воспитании своих детей и в обращении с племянниками не суровую, холодную ноту религиозной морали (запреты, кара, греховность), но ее теплую, человеколюбивую интонацию (прощение, доброе слово, восхищение благим поступком). Оба брата не на шутку усердствовали в своих религиозных чувствах. Поэтому указующие поучения старшего казались чуть ли не природной суровостью, хотя таковой в Павле Егоровиче не было. А умильные поучения Митрофана Егоровича отдавали иногда ханжеством.

Чехов находил ласку в доме дяди и остался навсегда ему благодарным — как и всем, от кого ее видел. Тогда он говорил, что тронут, что не забудет этого никогда. В особом душевном отклике на неожиданную ласку признавались впоследствии, будучи взрослыми, все братья Чеховы. Вероятно, нежности не досталось в детстве и отрочестве им всем. Даже от матери.

Была ли таковая вообще в натуре Евгении Яковлевны, или она увяла в ее душе под воздействием домашнего климата и давлением хозяйственных забот? О матери Чехов сказал однажды: «Мать очень добрая, кроткая и разумная женщина, ей я и мои братья обязаны многим». Но даже ее незлобивости и смирения не

хватало, чтобы всякий раз покорно переносить мужнины попреки и зрелище наказания детей. Она порой тихо роптала, заступалась за сыновей, как могла, но силы были неравны. Слова Чехова из позднейшего письма брату Александру: «Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери», — наверно, передали не просто тяжелые картины прошлого, но его переживания той поры, невозможность заступиться за мать. Может быть, это — одно из самых тяжелых чувств в детстве и отрочестве Чехова. Связанное с другими подобными чувствами, оно всплывало в повторяющемся сне: «Мне, например, всегда при ощущении холода снится один благообразный и ученый протоиерей, оскорбивший мою мать, когда я был мальчиком; снятся злые, неумолимые, интригующие, злорадно улыбающиеся, пошлые, каких наяву я почти никогда не вижу».

Михаил, ссылаясь на рассказ брата, назвал имя протоиерея — Федор Покровский: «Свою нелюбовь к нашему отцу за его религиозный формализм он перенес на нас, его сыновей. <…> Покровский в разговоре с нашей матерью, в присутствии его, Антона, высказал такое мнение: „Из ваших детей, Евгения Яковлевна, не выйдет ровно ничего. Разве только из одного старшего, Александра“». Это сказал священник, законоучитель в гимназии, где учились братья. Человек видный в таганрогском обществе, он славился красивой внешностью, превосходным баритоном и очевидным несоответствием выбранному духовному поприщу. Михаил, семейный биограф, утверждал, что именно Покровский назвал впервые своего ученика «Чехонте». Чехов, сделавший позже это прозвище одним из псевдонимов, в молодости отвечал бывшему наставнику заочными насмешливыми замечаниями в письмах: «Как поживает поп Покровский? Еще не поступил в гусары?» Но тогда, в отрочестве, ответом была не скрытая усмешка, а обида.

Евгения Яковлевна боялась не только мужа — она трепетала перед каждым значительным лицом. Это могло происходить от ее природной боязливости. Она опасалась ездить в поездах и выбирала самые медленные. Не выходила на станциях, потому что страшилась отстать. Не заговаривала с попутчиками, так как стеснялась, хотя среди своих или с тем, к кому располагалась душой, охотно вступала в беседы и слыла хорошей рассказчицей.

Предки матери Чехова тоже из крепостных, уроженцы Владимирской губернии. Но она родилась, когда ее дед, Герасим Никитич Морозов, уже выкупил у помещика себя и сына Якова. Необходимую сумму он скопил, сплавляя лес и торгуя хлебом. Яков Герасимович тоже занимался торговлей, много ездил. Он и умер, по семейному преданию, в дороге, от холеры, оставив вдову

с тремя взрослыми детьми. Сын Иван пристроился к ростовскому купцу, тому самому, у которого служил Митрофан Чехов, а вдова с дочерьми Евгенией и Федосьей обосновалась в Таганроге. Здесь и встретились Евгения Яковлевна и Павел Егорович.

Художественная одаренность Николая Чехова могла быть наследственной чертой Морозовых. В их роду были иконописцы, а его родной дядя, брат матери, мастерил диковинные игрушки, рисовал, играл на скрипке и флейте. Иван Яковлевич, переехав из Ростова-на-Дону в Таганрог, женился на Марфе Ивановне Лобода из богатой купеческой семьи — но пришелся не ко двору. Николай оставил короткие воспоминания о своем добром злосчастном дяде: «Мы редко видели рыженькую бородку дяди Вани, он не любил бывать у нас, так как не любил моего отца, который отсутствие торговли у дяди объяснял его неумением вести дела. „Если бы высечь Ивана Яковлевича, — не раз говорил мой отец, — то он знал бы, как поставить свои дела“. Дядя Ваня женился по любви, но был несчастлив. Он жил в семье своей жены и тут тоже слышал проклятое „высечь“. <…> Иногда, не желая натолкнуться на незаслуженные упреки, он, заперев лавку, не входил в свою комнату, а оставался ночевать под забором своей квартиры, в росе…» Скончался Иван Яковлевич от чахотки, едва дожив до сорока.

Не очень счастливо сложилась и жизнь Федосьи Яковлевны (в замужестве Долженко), тетки Чехова со стороны матери. Она овдовела, оставшись с восьмилетним сыном Алешей. Скудная торговля в лавочке захирела. Вдова прибилась к родным и осталась при семье сестры. Довольно рано ее начал подтачивать тот же недуг — чахотка. У самой Евгении Яковлевны в молодые годы наблюдалась предрасположенность к легочным заболеваниям. Ожидая третьего ребенка, она проявляла повышенную нервозность. Летом 1859 года даже отправилась на богомолье и молилась об исцелении душевных и телесных недугов, о благополучном разрешении от бремени.

В таганрогские годы в семье всегда были кухарка и нянька, но хозяйство все равно отнимало много сил и времени. Евгения Яковлевна хорошо готовила. Дети на всю жизнь запомнили вкусные макароны с грибами, куриную лапшу, заливного судака. Экономная, умелая, она искусно шила, мастерски штопала. Старшая, а потом и единственная дочь Маша переняла у матери эти практические навыки.

Для сыновей Евгения Яковлевна оставалась заботливой матерью. Никогда не била детей, не наказывала. Но и ласки не были приняты в семье. Сказалось всё: нравоучительная, исключительно поучающая и наказующая роль отца; сдержанный

и скрытный нрав матери, а главное — их было пятеро. Пять мальчиков, очень несхожих между собой. В каждом, еще в детские годы, мать угадала что-то важное.

В Александре — беспокойную, своенравную натуру. Она боялась, что это помешает ему в жизни, в обхождении с людьми. Предостерегала от насмешек, от срывов.

Николая жалела за болезненность и слабость характера. Чувствовала, что ему больше других сыновей нужна поддержка.

Среднего сына с малых лет ценила за спокойную покорность и терпение.

Иван пугал вспыльчивостью, был обидчив, раним, досаждал жалобами на братьев.

Зато маленький Миша утешал мать своей ласковостью и говорливостью.

Далекие отцу, пятеро сыновей не стали близкими и матери. Особенно когда поступали в гимназию, отдалялись и жили в мире ей неведомом, непостижимом, чужом.

Ее познания были самые скромные. Она умела, но не любила читать, писала плохо, стеснялась своей малограмотности и корявого почерка. Однако ратовала за гимназическое образование, уговаривала мужа не пускать детей по торговой части. Она желала им другой участи, чем удивляла таганрогскую родню — и добрейшего Митрофана Егоровича, и семейство Лобода, недоумевавших, зачем небогатые, многодетные Чеховы тщатся дать всем своим чадам образование, да еще гимназическое.

Некоторые таганрогские священники, знакомые Павла Егоровича, когда у него неудачно пошли дела, прямо винили его якобы неразумную жену, возжелавшую детям учености. На самом деле, не обладая большим умом и душевной глубиной, она, как сказал о ней ее сын, всегда оставалась разумной, незлобивой, добросердечной.

* * *

Павел Егорович согласился с женой: детей следует отдать в гимназию. Может быть, его склонили к этому собственные неудачи, а может быть, и желание превзойти отца. Егор Михайлович после освобождения из крепостной неволи не записался в купцы, так и остался в мещанском сословии — торговое дело было не по нему. Он поселился в степном Приазовье. Служил то управляющим, то конторщиком у графа И. М. Платова и его наследников. Сюда, в слободы, к нему

приезжали летом внуки.

Чувство слова и склонность к возвышенному слогу и пафосу Егор Михайлович передал своим сыновьям. Они тоже украшали свою неяркую жизнь и возвеличивали себя, подражая образцам из письмовников, проповедей, житийной литературы. В 1860 году, узнав о появлении у Павла еще одного сына, патриарх семейства испытал, как он писал, «сердечную радость о новорожденном внуке Антонии Великом». Так писал тот, кто именовал себя в письмах к сыновьям — «Доброжелательный и сердоболящий Ваш отец, Виновник Вашего бытия, начало и конец, странник грешный Георгий Чехов». Тот, кого в детстве пороли на барской конюшне, кто сам обучился грамоте, кто, покидая помещика, увез со скарбом два короба книг и журналов.

Высоким слогом он излагал в посланиях житейские прописи: жену нужно держать в повиновении; детей вразумлять не только собственным примером, но поркой за ослушание; всегда трудиться; есть немного; пить умеренно; бегать злого, делать благо — «спасен будешь». Что же до образования, то лучше удовольствоваться малым и освоить хорошее ремесло. Павел Егорович навеки усвоил отцовские истины. Но, заботясь о своем спасении в загробной жизни, переусердствовал в земной. Всё на свете, в том числе поступки своих детей и само их существование, он воспринимал с одной точки зрения: поддерживается или нарушается заведенный им порядок, насколько случающееся «приятно» или «неприятно» ему лично. Всё измерял только *своими* огорчениями и переживаниями. Повторял детям: «Меня отцы не учили, не отдавали в Гимназию, а ваше дело другое, вас за грубости и дерзости прощать нельзя». Благое намерение — «дать детям направление» — обернулось страданиями его сыновей.

Обиды, горести и радости детей в расчет не принимались. Отец был занят своими мыслями и делами. Мать — хозяйственными заботами. Каждый из сыновей переживал обиды в себе, потому что, судя по воспоминаниям и письмам братьев, глубокого душевного родства в детские и отроческие годы между ними не возникло. Старшего, Александра, обособила разница в возрасте. Николай, хотя и учился вместе с Чеховым до четвертого класса, был так несхож с ним характером, что приятельствовали братья с одноклассниками, а не друг с другом. Иван трудно сходился со всеми братьями. На младшего, Мишу, вообще не обращали внимания из-за малолетства.

Александр признавался позже, имея в виду таганрогские годы, что Антон как-то стушевался в его памяти. Он помнил немного, о чем впоследствии рассказал в письме брату: «Я помню

<…> что в моисеевском доме я „дружил“ с тобою. У нас был опешенный всадник „Василий“ и целая масса коробочек, похищенных из лавки. Из коробок мы устраивали целые квартиры для „Васьки“, возжигали светильники и по вечерам по целым часам сидели, созерцая эти воображаемые анфилады покоев, в которых деревянному наезднику „Ваське“ с растопыренными дугою ногами отводилось первое место.

Ты был мыслителем в это время и, вероятно, рассуждал на тему „у кашалота голова большая?“. Я был в это время во втором классе гимназии. Помню это потому, что однажды „дружа“ с тобою, я долго и тоскливо, глядя на твои игрушки, обдумывал вопрос о том, как бы мне избежать порки за полученную единицу от Крамсакова.

Затем я раздружил с тобою. Ты долго, много, сидя на сундуке, ревел, прося: „дружи со мною!“, но я остался непреклонен и счел дружбу с тобою делом низким. Я уже был влюблен в это время <…>. Мне было не до тебя».

Но особенно запомнился старшему брату случай, определивший многое в их взаимоотношениях: «Тут впервые проявился твой самостоятельный характер, мое влияние, как старшего по принципу, начало исчезать. Как бы ни был я глуп тогда, но я начинал это чувствовать. По логике тогдашнего возраста я, для того, чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкою по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно в сопровождении Гаврюшки прошел мимо дверей моей лавки с каким-то поручением фатера и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и, сам не знаю почему, заплакал…»

Николай тоже не забыл деревянную фигурку, когда через годы описал игру брата с «Васькой» в давнее летнее утро: «Взяв деревяшку за то место, где, по его мнению, должна быть голова, он начал проделывать с ним самые уморительные штуки <…>. Я и Александр смотрели с большим наслаждением на все похождения „Васьки“ до тех пор, пока Антон, оглянувшись, не спрятал его самым быстрым образом под подушку. Дело в том, что проснулся Иван. „Где моя палочка, отдайте мою палочку“, — запищал он и далее поднял такой страшный рев, на который сбежалась прислуга и встревоженная мать. <…> Уже давно три старших брата бегают на дворе по крыше погреба, а крик в доме все еще продолжается». Когда братья нашли у погреба злополучную палочку и стали сражаться за нее, «царапаясь и невозможно подставляя синяки друг другу», Иван выскочил во двор, «подбежал к воюющей компании, зажмурил глаза <…> и

принялся с большою ловкостью наносить удары направо и налево».

Обыкновенные драки обыкновенных мещанских детей, не избалованных игрушками и вниманием взрослых. Ни приставленных дядек, ни гувернеров, а нянька — пока маленькие. Объединяли — разве что поездки к бабушке и дедушке. Об одной, случившейся в 1871 году, рассказал Александр Павлович в самом конце жизни: «Мы были гимназистами: я только что перешел в пятый класс, а Антон — в третий. <…> Дедушку Егора Михайловича и бабушку Ефросинью Емельяновну мы знали очень мало или даже почти вовсе не знали. Но рассказов и притом рассказов самых завлекательных мы слышали о них очень много. Отец нередко, придя в благодушное состояние, говаривал сам про себя: „Эх, теперь бы в Крепкую съездить к папеньке и к маменьке! Теперь там хорошо!“».

И вот однажды свершилось: их, с подвернувшимся человеком, приехавшим из слободы, отпустили в гости. Они впервые увидели степь: «Мы с Антошей онемели от восторга, молчали и только переглядывались. <…> Отчего нельзя ехать по степи всю жизнь, до самой смерти, не зная ни забот, ни латыни, ни греческого…»

Потом они пережили ужасную грозу, ночь в еврейской корчме у добрых хозяев, спасших детей от простуды, встречу с дедушкой и бабушкой. Они показались старшему внуку неласковыми, грубыми, слишком уж деревенскими, а каникулы — скучными, тоскливыми: «Потом в течение всей жизни мы вспоминали о том, как гостили у дедушки и бабушки и как в те времена я был смешон и глуп. Не чванься я тогда тем, что я ученик пятого класса, многое было бы иначе и на многое мы посмотрели бы иными глазами. Может быть, и старики <…> показались бы нам иными, гораздо лучшими. Да они и на самом деле были лучше».

О другой поездке, в 1873 году, рассказал в своих мемуарах Михаил Павлович: «Мать, Евгения Яковлевна, конечно, напекла и наварила всякой снеди на дорогу. Наняли простого драгаля <…> устлали его дроги подушками, одеялами и ковром, и все семеро, не считая самого извозчика, уселись на дроги и поехали. <…> До Кринички добрались к вечеру, когда заходило солнце. <…> Не успели приехать и остановиться у ка-кого-то крестьянина, как Александр и Антон уже достали от-куда-то бредень и пошли на реку ловить рыбу. Поймали пять щучек и с полсотни раков. На следующий день мать сварила нам превосходный раковый суп. <…> Кузница, клуня, масса голубей, сад, а главное — простор и полная безответственность делали наше пребывание в Княжей счастливым».

Чехов тоже запомнил эти и другие степные поездки.

Сохранил свое ощущение, оставшееся теплым и радостным: «Я <…> любил степь, и теперь в воспоминаниях она представляется мне очаровательной». Он просил знакомых поклониться степи, особенно в апреле, когда она «очень хороша». Говорил: «Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-могилу, рассказы про Зуя, Харцыза <…> вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен».

Годы спустя он мечтал «проехаться по степи и пожить там под открытым небом хотя одни сутки». Она снилась ему. Чехов вспоминал степь зримо, до мельчайших деталей: «В детстве, живя у дедушки в именье гр. Платова, я по целым дням от зари до зари должен был просиживать около паровика и записывать пуды и фунты вымолоченного зерна; свистки, шипенье и басовый, волчкообразный звук, к[ото]рый издается паровиком в разгар работы, скрип колес, ленивая походка волов, облака пыли, черные, потные лица полсотни человек — всё это врезалось в память, как „Отче наш“».

Чехов не забыл смешной эпизод тех лет: «Когда-то во времена оны, будучи учеником V класса, я попал в имение графа Платова в Донской области… Управляющий этим именьем Билибин, высокий брюнет, принял меня и угостил обедом. (Помню суп, засыпанный огурцами, начиненными раковой фаршью.) После обеда, по свойственной всем гимназистам благоглупости, я, сытый и обласканный, запрыгал за спиной Билибина и показал ему язык, не соображая того, что он стоял перед зеркалом и видел мой фортель… Час спустя прибежали сказать, что горит степь… Б[илибин] приказал подать коляску, и мы поехали…» Но сам пожар, наверняка страшный и губительный для степи, Чехов отчего-то не описал, поставил в письме многоточие.

Каждый из братьев вспоминал давно минувшее по-своему, вольно или невольно обнаруживая характер и душевные свойства. Александр устыдился своей тогдашней глупой заносчивости и скоропалительных заключений, но воспроизвел (словно и не прошло сорока лет) многочисленные отзывы окружающих о деде-«аспиде» и рассказы бабушки о том, как расправлялся Егор Михайлович с нею и сыновьями:

«Пришли раз соседи и говорят, будто бы Павло — ваш батько — с дерева яблоки покрал. А Павло вовсе и не крал, а покрали другие хлопцы. Егор Михайлович взяли кнут и хотят Павла лупцевать. Говорят: „снимай портки!“ А Павло, бедняжка,

снимает штанишки, горько заплакал и начал креститься. Крестится и говорит: „Подкрепи меня, Господи! Безвинно страдаю!“ Я даже заплакала и стала молить: „Егор Михайлович, он не виноват“. А Егор Михайлович развернулись с правого плеча да как тарарахнут меня по лицу… Я — кубарем, а из носа кровь пошла… И Павла бедного до крови отлупцевали, а потом заставили триста поклонов отбухать.

Антоша и я невольно переглянулись: так вот откуда получили начало те сотни земных поклонов, к которым присуждал нас отец за разные проступки!.. Наследственность…»

Михаил в своих мемуарах ни словом не упомянул ни степь, ни бабушку. Вся поездка — это сюжет о злоключениях цилиндра. Рассказано с живописными деталями, увиденными будто вчера, а не шестьдесят лет назад: «Старший брат, Александр, клеил себе из сахарной бумаги шляпу с широкими полями, а брат Николай <…> добыл себе откуда-то складной цилиндр (шапокляк) и задумал ехать в нем. Добродушным насмешкам со стороны Антона не было конца. <…> И все время Николай сидел в цилиндре и, прищуря один глаз, терпеливо выслушивал от Антона насмешки. Николай немного косил с самого раннего детства и ходил, прищуриваясь на один глаз и склонив голову на плечо. Любивший всех вышучивать и давать всем названия Антон то и дело высмеивал его:

— Косой, дай покурить! Мордокривенко, у тебя есть табак? <…>

Антон вообще был из всех самым талантливым на выдумки, но и менее всех нас способным к ручному труду. Среди нас, его братьев, он был белоручка. Он устраивал лекции и сцены, кого-нибудь представлял или кому-нибудь подражал, но я никогда не видал его, как других братьев, за переплетным делом, за разборкой часов и вообще за каким-либо физическим трудом».

Таким ли на самом деле запомнил брата восьмилетний Михаил, «сладкий Миша», «шкворец», как называли его старшие братья за словоохотливость, за прирожденное умение расположить к себе папеньку и маменьку? Поэтому, а еще в силу малых лет и обстоятельств, на его долю в таганрогские годы не выпало ни торговли в лавке, ни спевок, ни хора. Или, может быть, в мемуарах Михаила Павловича, несмотря на оговорки, проступило его потаенное отношение к брату?

Это, вероятно, участь всех мемуаристов — рассказать о себе не менее, чем о том, о ком идет речь; не суметь скрыть подлинного отношения к тому или иному человеку из своего окружения. А порой и подчеркнуть свою неприязнь, сводя давние счеты или теша свое злосердечие. Фактологическая

недостоверность и психологическая неточность многих мемуаров и воспоминаний общеизвестна.

* * *

Не будь семейной фотографии 1874 года, Чехов так и остался бы со словесным портретом, нарисованным свидетелями его отрочества. Со слов одного, это был увалень с толстым, «как булка», лицом, мешковатой фигурой, вечно неизвестно чему улыбающийся, непонятно о чем думающий. Со слов другого — плотный, с виду флегматичный, но подвижный и ловкий в играх подросток, любитель копировать взрослых и сверстников и вовсе не рохля. За большую голову Чехова и в гимназии звали «Головань», а еще будто бы — «Пивной котёл».

По утверждению одних, он в гимназические годы отличался здоровым видом и румянцем. По воспоминаниям других, был бледен. Это могло объясняться матовым цветом кожи или мигренью, приступы которой мучили его уже в отрочестве. Как и частые бронхиты с кашлем, о чем Чехов впоследствии рассказывал сам, отвечая на вопросы лечивших его коллег-врачей.

Да, он не отличался отменным здоровьем, но и слабым, болезненным, хилым не был. Разделял все игры и увлечения своих сверстников. Играл в лапту, запускал змея, гонял голубей, ловил птиц. Спустя годы вспоминал: «Когда-то в детстве я осенью лавливал певчих птиц и продавал их на базаре. Что это за наслаждение!» Сохранилось воспоминание, что Чехов хорошо плавал и любил на море играть с собакой — заносил ее далеко-далеко, бросал в воду и наперегонки с нею плыл к берегу. Слыл хорошим ныряльщиком и умудрялся под водой выковыривать бычков, прятавшихся между сваями.

Отдыхая от заплывов, подростки искали на берегу пробковые поплавки, вырезали ножом лодочки и пускали в море. Возвращались домой Биржевым спуском, главной дорогой, по которой перевозили грузы. Иной раз что-то просыпалось из мешков, например орехи, жамки (пряники), сладкие рожки. Их подбирали, а иногда таганрогские мальчишки пускались на небезопасную забаву: разрезали мешок так, чтобы не заметил возчик. Пока тот спохватывался, они успевали набить карманы.

Один из таких набегов кончился плачевно. О случившемся рассказал через годы приятель Чехова Ефим Ефимьев, с которым они учились в начальных классах: «Операция с ножом была поручена мне. Быстрым движением я распорол мешок <…> друзья накинулись на рожки. <…> А мой друг, Антоша,

замешкался, и озлобленный возчик с силой перетянул его кнутом, обильно смазанным дегтем и рыбьим жиром. Удар пришелся по ногам. Он оставил на брюках страшный черный след…»

Мальчики пытались отмыть брюки керосином, скипидаром: «Что же теперь будет? Что будет, если узнает Павел Егорович? Неминуемая гроза кошмаром надвигалась на нас». Злополучные брюки случайно увидела хозяйка столярной мастерской, где, оставив гимназию, обучался приятель Чехова. Она и зашедшая к ней старая учительница, хорошо знавшая нрав Павла Егоровича, купили неудачнику новые брюки: «На чьи деньги была сделана покупка, не знаю. Антоше было сказано, чтобы дома ничего не говорил».

О другой рискованной игре вспоминал двоюродный брат Чехова Алексей Долженко: «Во время обучения в младших классах Таганрогской гимназии Антон стал увлекаться воздушными шарами. <…> Братья — Николай, Иван и я — взялись ему помогать. Мы склеивали шары из больших листов папиросной бумаги и пускали их в пространство, наполняя воздухом или светильным газом. <…> По утрам, часа в 4 или 5, пока никого не было на улице, мы все собирались около фонаря и наполняли наши шары <…> при помощи резинового шланга, который надевали на рожок фонаря. Шары <…> подымались ввысь при нашем общем ликовании. В результате наших манипуляций фонарь постоянно находился в неисправном состоянии». Однажды районный пристав вызвал в участок Павла Егоровича, и домашняя кара последовала незамедлительно.

Еще из любимых игр, увлечений — рыбная ловля летом и снежки зимой, если выпадал обильный снег. Наверно, Чехов мог участвовать в традиционных сражениях с «реалистами», учениками уездного реального училища. Или, может быть, уклонялся, так как, по воспоминаниям, не любил драки и чаще выступал миротворцем. Часто ли он бывал подростком в городском саду, где у гимназистов было «сладкое» развлечение — на большой перемене забраться на шелковицу и быстро нарвать душистых, сочных ягод? А вечерами, там же, слушать оркестр. И, конечно, городской театр…

Таганрог тех лет был очень разным — купеческим и мещанским; торговым и рыбацким. Город прославился крупными аферами таможенников, стремительным обогащением удачливых маклеров, банкиров, концессионеров — и нараставшим год от года разорением горожан всех сословий. Россия переживала земельную лихорадку. Местные газеты пестрели объявлениями о продаже имущества несостоятельных собственников, о публичных торгах. Это было время небывалого ранее перехода собственности

из рук в руки, эпоха беспримерного перетекания денег. Крупный капитал поглощал мелких и средних собственников. Банки и общества взаимного кредита охотно предоставляли кредиты, обеспеченные закладными под недвижимое имущество или залогом в виде государственных процентных бумаг.

Павел Егорович обязывал сыновей читать ему по вечерам «Азовский вестник» или «Ведомости Таганрогского градоначальства» и сопровождал чтение рассуждениями о кредитах, залогах и должниках, проморгавших дома, фабрики, мельницы. Себя он покамест считал человеком опытным и верил, что всё держится по-прежнему на честном купеческом слове, и он, добропорядочный торговец, неуязвим перед подлостью и обманом.

В 1871 году Егор Михайлович поделил между двумя сыновьями, жившими в Таганроге, участок земли на Конторской улице, записанный на имя жены. Половина земли и дом отходили Митрофану Егоровичу, а другая половина и 500 рублей наличными — Павлу Егоровичу.

На этом месте отец Чехова решил построить собственный дом. Он, вероятно, не понимал, не чувствовал, что вступил в полосу неудач. А главное — наступило время, не жалующее и не жалеющее в денежных отношениях людей простодушных, недалеких, самоуверенных. И благосклонное к таким, как жилец Чеховых в доме Моисеева, чиновник Коммерческого суда Г. П. Селиванов. Ставший почти членом семьи, он давал коммерческие советы Павлу Егоровичу. Может быть, по его наущению или по собственному разумению глава семейства, вступивший в общество взаимного кредита, попросил в 1874 году дополнительный кредит, помимо уже выданного. Общая сумма — 3500 рублей под обеспечение земли и строящегося одноэтажного дома. Таким образом, въезжая через месяц в этот дом, глава семейства был обременен крупным долгом и большой семьей, в которой все шестеро детей посещали гимназию.

Строительным подрядчиком был выбран М. М. Миронов, состоятельный купец, в те годы церковный староста Митрофаниевской церкви. В 1874 году его превозносили в «Азовском вестнике» за благотворительность в пользу храма, так что решение Павла Егоровича было не случайно. Договор обязывал будущего хозяина дома оплатить подрядчику счет, определявший сумму расходов, главным образом, на кирпич — он стоил дороже всего. Благочестивый Миронов выложил такие толстые стены, что кирпич стал «золотым», и выставил счет, который, по сути, разорил Павла Егоровича. Он влез в новые долги под векселя — это был крах, сокрушительный и

необратимый.

Рассчитывать на помощь не приходилось: у Егора Михайловича накоплений не осталось, у брата Митрофана достатки скромнее скромного. Торговля в лавке становилась убыточной. Павел Егорович уповал на то, что у Бога милости много, надеялся на доброту и терпение своих кредиторов. Посвящал ли он старших сыновей в свои тревоги и денежные расчеты? Или они жили гимназией, своими отроческими и юношескими смятениями?

* * *

Чехов провел в гимназии одиннадцать лет — детство, отрочество и юность.

Воспоминания его одноклассников и соучеников малочисленны, обрывочны, словно они что-то перебирали в памяти и почти ничего не находили. Всё сводилось к одному: якобы был молчаливым, замкнутым, незаметным, флегматичным. В кружках не участвовал, в радикальных поступках или громких гимназических прегрешениях не замечался. Наверно, окажись Чехов отпетым двоечником или отличником (ценой зубрежки или в силу природных способностей), его запомнили бы отчетливее, лучше. А так он будто стерся, потерялся в толпе «середнячков». К тому же дважды терял одноклассников, оставаясь на второй год, и его, видимо, не считали «своим», а он не успевал привыкнуть.

Заурядные успехи Чехова в начальных и средних классах, с первого по пятый, имели очевидную причину: лавка, церковь, спевки в отцовском хоре. Но, вероятно, существовала скрытая подоплека, таящаяся в характере этого гимназиста, в свойствах его личности. Может быть, Чехов остался незамеченным своими одноклассниками потому, что трудно сходился с людьми, в чем признавался сам. Одни соученики считали его скрытным, другие осторожным, третьи необщительным. На самом деле, возможно, его целиком захватывали особенное, незаметное для окружающих поглощение внешних впечатлений и глубокое переживание происходящего в нем самом и вокруг него. И хотя он просил в детстве старшего брата «дружи со мною», наверно, уже тогда, а потом в отрочестве и юности, он «дружил» сам с собою. Поэтому дома он мог часами сосредоточенно играть с коробочками или деревянным «Васькой», а уже в гимназии — не искать ничьей дружбы.

Замкнутость, молчаливость, обособленность Чехова в отроческие годы объяснялись некоторыми биографами

уязвленным самолюбием, гордостью плебея (скудные завтраки, приносимые из дома; форма, сшитая из недорогого сукна). Но Чехов не молчал, не замыкался в себе и не отчуждался. Он *наблюдал*. Это свойство впоследствии отмечали многие современники, но уже в последующие, не таганрогские годы. А тогда сосредоточенный взгляд, молчаливость, некое отдельное существование в классах, в гимназических играх сочли за необщительность и даже стеснительность.

С годами наблюдательность оттачивалась, совершенствовалась как всякий природный дар, которым дорожат. Но она была свойственна Чехову всегда. Отсюда запомнившаяся многим способность гимназиста изобразить несколькими характерными деталями, жестами чужую походку и манеру поведения, найти выразительное прозвище. Отсюда, наверно, и успех в домашних спектаклях, умение подобрать выразительный грим.

Однако пародирование, смешная карикатура — лишь внешнее проявление наблюдательности. Между тем воспоминания Чехова о поездках к дедушке резко отличались от описаний старшего и младшего братьев. В них приоткрывалось глубинное свойство внимательного взгляда и чуткого слуха — умение запоминать, как «Отче наш», звуки, цвета, обстановку.

Эти же свойства натуры, может быть, мешали успешной учебе. Чехов признавался потом, что иностранные языки и такие науки, как математика, физика, давались ему трудно. Шутил: «На моей совести 3 греха, которые не дают мне покоя: 1) курю, 2) иногда пью и 3) не знаю языков». Все эти три «греха» — родом из отрочества. Он их не одобрял, а за третий на себя сердился: «Ах, с каким бы удовольствием я себя выпорол! Без знания языков чувствуешь себя, как без паспорта».

В гимназические годы Чехова наказывали дома за плохие оценки. Он корпел, учил, но, несмотря на всё старание, языки по-прежнему усваивались плохо. Словно что-то сопротивлялось, не уступало в его памяти места чужим наречиям. Особенно греческому, который гимназисты брали зубрежкой, бесконечными упражнениями.

Даже Александр, обладавший очень цепкой памятью, годы спустя говорил: «Я иногда просматриваю уцелевшие каким-то чудом свои гимназические тетрадки и обрывки тогдашних дневников… Сколько труда и времени было затрачено ни на что, на ненужные и умопомрачительные по строгости и требовательности латинские extemporalial Какая уйма трудных греческих переводов, помеченных дурным баллом только за то, что ударение поставлено не на то или не над тем слогом! Под

одним переводом, сделанным в четвертом классе, стоит резолюция учителя: „Вместо ‘омега’ поставлен ‘омикрон’. Грубейшая ошибка. Так учиться нельзя. Из вас никогда не выйдет хороший человек“».

Однако в первый раз Чехов стал второгодником в 1872 году из-за арифметики и географии. Эти предметы преподавал Крамсаков, фамилия которого постоянно всплывала в разговорах выпускников таганрогской гимназии. Как и учителя греческого языка Зико, у которого в 1875 году Чехов не выдержал ни экзамена, ни переэкзаменовки и был оставлен в пятом классе на второй год.

Время между двумя экзаменационными провалами — может быть, самое смутное в гимназической поре Чехова. В гимназии ввели должности классных наставников, которым вменялось следить за посещаемостью, за поведением гимназистов, за их чтением. В соответствии с новыми правилами гимназистам запрещалось бывать в маскарадах, клубах, трактирах, толпиться перед гимназией до или после уроков. Всё это вносило в будни подростков азарт уклонения от правил, пренебрежения ими. В их жизни усилился привкус опасной игры: не попасться на курении, на посещении театра, не разрешенном классным наставником.

Александр вспоминал как раз об этих годах: «Мы, гимназисты, могли попадать в театры не иначе, как с особого каждый раз разрешения и с особым в своем роде паспортом. <…> При малейшем неодобрительном отзыве налагалось запрещение. Помню, что, когда я был в пятом уже классе, классный наставник возвратил мне бумажку неподписанной со словами: „У вас двойка по алгебре“, — а через год, когда я был уже почти взрослым юношей и одерживал победы над гимназистками, он же не дал мне разрешения идти на „Разбойников“ Шиллера, потому что надзиратель <…> видел меня в городском саду с папироскою».

На эти годы пришлись упадок торговли Павла Егоровича и строительство им собственного дома, завершившееся крахом. Тяжелое настроение главы семейства передала его «хроника» — не записями, а их отсутствием на протяжении двух лет (1873–1874). Не отмечены также, казалось бы, такие наиважнейшие для Чехова-старшего события, как посещение Таганрога императором Александром II с семейством; не упомянута и кончина родных. Будто это тяжкое время затмилось в его памяти.

В 1874 году, уже теряя голову, изобретая средства спасения от долгов, Павел Егорович открыл новую лавку, у вокзала. О логике отца и летнем сидении в убогом сарайчике вспоминал Александр: «„Идет человек на вокзал <…> зайдет, что-нибудь

купит, — рассудил он. — Приедет человек по железной дороге, выйдет с вокзала, увидит лавку — тоже зайдет и купит…“ <…> Отслужили в новой лавчонке молебен и обрекли гимназистов сидеть безвыходно рядом с кабаком и улавливать пассажиров. <…> Каторжная жизнь началась. По заведенному обычаю надо было вставать в пять часов утра и запирать лавчонку около полуночи. <…> Пассажир оказался неуловляемым и потянул с вокзала совсем в другую сторону. <…> Павел Егорович был неумолим и все надеялся. На мольбы Саши и Антоши прекратить бесцельную муку он отвечал: „Дальше лучше будет. Покупатель еще не познакомился с лавкою…“»

Но дальше шло всё хуже и хуже… В начале 1875 года Павел Егорович перестал оплачивать купеческую гильдию и опять стал мещанином. Весной его старший сын окончил гимназию и категорически решил уехать из «проклятого» Таганрога в Москву, в университет. С ним сорвался Николай, тоже мечтавший скорее укатить из родного города. На таком фоне провал третьего сына на экзамене по греческому, наверно, мог показаться отцу концом всех надежд, потому что более всего он уповал на этого «покорного» помощника. Непокорные уже вырвались из дому.

Провожать «беглецов» Евгения Яковлевна поехала с сыном Антоном. На обратном пути они заехали в имение И. П. Селиванова, брата их жильца. Гостья только переночевала, а юный гость вернулся через день больным, едва ли не в беспамятстве — искупался в холодной реке. Об этих днях рассказал через годы Михаил: «Антошу привезли домой. Как сейчас помню его, лежащего при смерти. Около него гимназический доктор Штремпф, который говорит с немецким акцентом:

— Антоша, если ты желаешь быть здоров…»

Чехов выздоровел. Но не тогда ли пробудился в нем наследственный недуг?

Глава вторая. НЕВЕДОМАЯ ЮНОСТЬ

Таганрогская юность вспоминалась Чехову еще меньше, чем детство и отрочество. Словно он боялся возвращаться к ней, к тому, что началось с отъездом двух старших братьев в Москву. В 1875 году Александр поступил в университет, на физико-математический факультет. Николай — в Училище живописи, ваяния и зодчества.

Если до того Павел Егорович охотно учил детей, как следует экономить и расходовать с умом деньги, то теперь он, один или вдвоем с женой, решал главный вопрос: где достать средства, у

кого взять взаймы, как вывернуться из денежной петли? Кредит за дом, долги по векселям, помощь Александру и Николаю, плата за обучение в гимназии Антона, Ивана, Марии, Михаила, ежедневные расходы, а торговля почти на нуле и в кармане, по его выражению, «чахотка».

Евгения Яковлевна божилась в письмах Александру и Николаю, что послать им нечего: «Антоша и Ванька целую неделю сидели дома, плату требуют, а у нас нет денег. Вчера 9 октября ходил Павел Е<горович> просил директора, Ваню уважили от платы, а Антон и теперь дома, а за него надо платить и за Машу, всего 42 рубля, вот и не горюй…» Деньги наскребали, высылали в Москву, туда же шли посылки с бельем, одеждой. Оттуда Александр писал родителям — и отдельно брату Антону: «Скажи папаше, что уже давно ему пора подумать о пальто для Коли. Денег у нас нет. <…> Сам Николай о себе не подумает. Надо все делать за него, а ему все некогда, ты видишь, ему даже тебе написать некогда. Дан был месяц на рисунок, завтра экзамен, а он его два раза начинал и еще не кончил. <…> Ходит в училище по колена в снегу в рваных сапогах <…> а в Таганроге только скучают за ним, а об его положении не подумают. Все хорошо знают, что он о себе подумать не может».

Система воспитания Павла Егоровича тоже терпела крах. Прежде он единолично распоряжался в доме всем и всеми. У него в руках были домашняя власть, деньги и карающие средства. Он предписывал детям, как им жить, не вникая в их желания, в особенности характеров. Но Александр еще в Таганроге уходил из-под власти отца и не разделял его пафоса долженствования. Чем больше ему твердили в родном доме о долге (перед родителями, перед братьями и сестрой), тем меньше он готов был исполнять его. Чем чаще слышал от отца — «дети должны», — тем реже соглашался с тем, что он кому-то и что-то должен. Он был, судя по письмам, по его позднейшему дневнику, из тех натур, на которые действовали просьбы, а не приказания. Павел Егорович только требовал, распоряжался, повелевал, обрекая себя на вечный конфликт со старшим сыном. Их взаимная неприязнь могла замереть на краткий срок, стихнуть, но затем вспыхивала с еще большей силой.

Во взаимных обвинениях выгорали, выцветали слова о чувстве долга. Правда, оба, Павел Егорович и Александр, ударились в мечты, что нынешний студент-математик станет университетским профессором. Они тешили себя, но разным. Сын — иллюзией известности как неким вознаграждением за обиды и унижения, пережитые в детстве и отрочестве. Отец не скрывал естественного расчета: первенец будет оплотом семьи, главным

помощником остальным детям, кормильцем родителей.

Однако в первых же письмах Александра домой появились шутливые и серьезные оговорки относительно такой роли и такой чести: «Его благородию Антону Павловичу, как старшему из детей в доме, поклонитесь…»; — «Советую вам взять Николая в Таганрог. Он подлец ничего не делает. <…> Лучше уж пришлите Антона, тот человек работящий и с головой, сам себе уроки найдет»; — «Спасибо большое Антону. Его письма услаждают нас». Александр будто не чувствовал себя старшим, а может, и не хотел быть им в глазах родных. Это первенство, со всеми обязанностями и последствиями, он будто исподволь отдавал брату Антону. Для него даже Николай был обузой.

Павел Егорович едва ли когда рассчитывал на Николая. Дуэты у них получались изредка в домашнем музицировании. Во всем остальном они расходились, не совпадали. Отец не одобрял выбор сына, но согласился. Однако настаивал на Академии художеств в Петербурге: там строгие преподаватели, там нет ежегодной платы. Но в столице Николай был бы совсем один, пришлось бы искать уроки. Он отдавал отчет: жалость матери и снисходительность отца к нему не беспредельны, даже при благополучном течении дел. А в Москве все-таки брат Александр.

Письма Николая домой осенью 1875 года — ответное эхо на послания родителей. Таково, вероятно, было свойство его личности, в которой не ощущалось стержня, но чувствовалось, как легко он настраивался на другого человека. Одни письма, адресованные отцу и матери, казались обращенными только к Евгении Яковлевне: «Вразумите, что мне делать, ведь я ума не приложу, чрез это нездоровится»; — «У меня голова ходором ходит»; — «Я даже заболел от мнений». Почти теми же словами мать писала сыновьям в Москву: «Я так слаба стала от заботы, что едва хожу, если бы здоровье, хоть бы заработала что-ни-будь, да не могу, вчера весь день лежала»; — «Я, как маленькая, в бреду»; — «У меня очень работы много, уморилась, а тут еще морозы такие небывалые в нашей стороне, я руки пообмораживала <…> я очень нескладно и дурно пишу <…> я так обестолковела от забот, не могу лучше».

Другие письма Николая будто подразумевали одного Павла Егоровича: «Я знаю и убежден, что теперь только начинается наша самостоятельная жизнь, вне родительского дома, самостоятельная!» — «Нужно держать ухо востро! <…> Здесь не скажешь „некогда“, а давай сейчас все, что надо. Забудешь, кто напомнит? <…> Все еще испытаю и буду тертый калач». Такая податливость натуры была не опасна, пока Николай находился в семье, но в Москве всё стало зависеть от окружения.

Покладистость, мягкость оборачивались зависимостью от того, кто рядом. Родители это чувствовали, но недооценивали последствий. Им мнилось, что он по-прежнему, как в Таганроге, послушен наказам отца и внемлет увещеваниям матери. Однако не возлагали надежд на второго сына как на будущего кормильца. Мать написала той осенью Александру о Николае: «Жаль его, он малодушный».

Но пока еще Павел Егорович рассчитывал на себя, изживал последние иллюзии, что его коммерческая и общественная репутация держится, что кредиторы не подадут векселя к взысканию, что всё обойдется. В редкие минуты мечтательного забвения он благодушествовал, как, например, в сентябрьском письме Александру: «Мы видели, что дети все у нас понятливы в науках, есть толк и способность, вот после вас, Антоша хорош на литературу, Ваня на ремесло, Маша на музыку весьма понятлива, я прихожу в восторг, как она стала скоро ноты разбирать, умиляются ее игрою. <…> Миша, вы его не узнаете, острый мальчик, получает 4 и 5-ть».

Отец семейства полагался на милость Божию («Бог все исполнит по Вашему желанию. <…> Только благодарите его каждый час, молитесь каждый день и просите его. Он все вам даст»). Уповал на благодетелей, которые должны помогать бедствующим, и потому послал сыновьям письмо от И. И. Лободы к знакомому московскому богачу с просьбой оказать вспомоществование бедным студентам. Александр отказался, Николай пошел. Через прислугу ему передали 15 рублей. Впредь от таких походов он зарекся.

* * *

В новый, 1876 год семья Чеховых вступила с тревогой.

Дела у многих жителей пошатнулись из-за неурожая и общего экономического спада. Таганрог терял былое торговое значение. У Павла Егоровича всё складывалось хуже некуда. В феврале, в письме Александру, он наконец обрисовал положение: «Торгуем очень скверно, в Городе окончательно нет делов, хоть бы нам поскорее выбраться из этого оставленного Богом Таганрога. <…> Со временем ты должен подумать о нас и о братьях <…> денег нет, пришли в крайнее положение, что с нами будет Бог весть. <…> Что я буду делать? Смелости у меня нет. Чем другим заняться? Я не знаю никакого ремесла. Одно бесславие о несостоятельности приводит в отчаяние. Дом возьмут, движимость продадут за долги, которых на мне состоит 8000 р.

<…> Пиши, мы всю жизнь положили за вас. Доброжелательный твой отец *П. Чехов».*

Растерянность главы семейства проявлялась даже в многочисленных ошибках, с какими изложено это признание. Весной 1876 года подрядчик Миронов опротестовал вексель Павла Егоровича на 1000 рублей и подал к взысканию в Коммерческий суд. Подходил срок выплаты по другим векселям. Бывшему купцу грозила долговая тюрьма, в просторечии «яма». Несостоятельных должников, мужчин не старше 70 лет, сажали в эту тюрьму до тех пор, пока они не вносили долг.

Что делать? Оставаться в Таганроге? Это означало бы, покоряясь судьбе, ждать, когда дом пойдет с молотка, оказаться со всеми чадами и домочадцами на улице, забирать детей из гимназии и прозябать в полной нищете и позоре. Для бывшего члена торговой депутации, бывшего регента, человека с серебряной медалью на Станиславской ленте подобное было неприемлемо. Вероятно, Павел Егорович воспользовался советом своего жильца Селиванова, служившего в Коммерческом суде. Он, видимо, предложил некую сделку: куплю-продажу заложенного дома за небольшую сумму, а потом-де он продаст дом, как можно выгоднее, и отдаст разницу. И потому, мол, владельцу дома лучше исчезнуть из города.

Такой уговор устраивал обе стороны. Павел Егорович не решал вопросы с долгами, домом, обеспечением семьи, а просто убегал от них — от долгов, от семьи. Так ему, наверно, показалось проще, удобнее. Но кто-то должен был остаться за старшего? Кому-то надлежало после отъезда главы семейства заботиться о Евгении Яковлевне, о тринадцатилетней Маше и десятилетнем Мише. Встречаться с судебными исполнителями, если бы они нагрянули в дом, объясняться с кредиторами, когда они начнут спрашивать, где должник. В ум и деловые свойства жены Павел Егорович не верил. Ее удел — плакать, стенать, молить о помощи, управляться с домашним хозяйством. Не Иван же? Неровный, то замкнутый, то взбудораженный, всегда словно чем-то напуганный или чего-то опасающийся, он сам нуждался в поддержке.

Оставался только один человек. Ему и предстояло решать все вопросы, кроме долговых обязательств отца, который в конце апреля 1876 года навсегда покинул Таганрог и тайно уехал в Москву, к старшим сыновьям. Теперь оттуда, в каждом письме следовали приказы, наставления: «Прикажи Антоше…»; — «Это Антоша должен обо всем ведать и узнавать секретно»; — «Антоша пусть сходит»; — «Пускай Антоша поищет»; — «Антоша отнесет».

Отец возложил на среднего сына ответственность не только за брошенное хозяйство, но и за судьбу матери: «Антоша, береги Мамашу, если что случится, ты будешь отвечать…»

В первых посланиях к оставшимся в Таганроге детям отец семейства еще пытался сохранить роль учителя: «Читайте нравственные книги, не увлекайтесь пустяшными, развращающими книгами, не забивайте свои головы навозом, мусором и всякой дрянью. Читайте истории великих деятелей и держитесь духовно-нравственных книг». Однако наставничество уже вытеснялось хозяйственными распоряжениями жене и сыну Антону: спасти имущество от описи, а для этого спрятать его у родных; получить мелкие суммы с должников; найти жильцов, а может быть, и покупателей на дом, но лишь за определенную цену.

На что жить? И тут следовало указание: на деньги от продажи имущества и от уроков, которые сын Антон должен найти как можно скорее и как можно больше и подороже. Евгения Яковлевна уже не роптала, а настоятельно просила мужа: «Бери нас скорей, а то так можно скоро с ума сойти <…> ума не приложу что делать».

Летом 1876 года последовал приказ: «Антоша, постарайся занять денег и мамашу отправить в Москву Дай расписку. <…> Выплатим. Дома хозяйствуй. Пойдешь, запирай. Двум расходу тебе никакого. Добро одному». Выходило так, что остававшиеся в Таганроге сыновья, Антон и Иван, осчастливлены отцом, берущим на себя семейную обузу: жену и младших детей. И следует сочувствовать не им, а ему, помогать изо всех сил, пока он не отыщет в Москве службу, соответствовавшую его летам, заслугам и представлению о себе. Но такого места не находилось, поэтому главное в письмах Павла Егоровича сыну Антону: *денег, денег, денег*… Всё вертелось вокруг них: «Вещи продавай только ненужные и лишние, потому что опустошим дом, а потом трудно будет наживать что было <…> постарайся что-нибудь продать и нам деньги вышли <…> мысли мои расстроены, я сам не свой». Отцу вторила мать: «Антоша, ради Бога пришли денег <…> вот я до чего дожила <…> нам очень деньги нужны <…> спим на полу».

Оба гневались, что он мало посылает, что недостаточно сострадает, плохо ищет квартирантов, не торопится сдать дом внаем, не спешит с пересылкой мебели, утвари и одежды в Москву. Когда получали деньги, благодарили, и отец благословлял на новые труды и молитвы: «Молитесь Богу с усердием утро и вечер. <…> Всякая Скорбь посылается для нашего исправления и испытания». Павел Егорович по-прежнему

все главные, важные, с его точки зрения, слова писал с заглавной буквы. Что требовалось продать? Кадушки, бочки, кровати, комод, самовары. Что следовало отправить в Москву? Часы, зеркала, сундуки, сковороды, подсвечники, шубы, перины, подушки, швейную машинку. Порой одно распоряжение отменяло другое: то продавать, то не продавать. Иногда родители давали разные указания: отец предлагал избавиться от фортепьяно, мать хотела бы оставить и переправить в Москву, потом наоборот. Как тут разобраться?

Родители еще не знали — вернутся они в Таганрог или с ним покончено навсегда. Мать жаловалась в письмах, что старшие сыновья «отвыкли от семьи» и если бы не дочь, то она «скрылась бы куда-нибудь навеки». Евгения Яковлевна всегда прибегала к преувеличениям. Отсюда — будто бы обмороженные руки, якобы тяжелые болезни, выражения — «обессилела», «не дайте с печали умереть», «я умираю с горя» и т. п. Она взывала к жалости не оттого, что была действительно слаба, а потому, что в ее представлении — с беззащитного существа спросу меньше, сочувствия больше. А она в нем нуждалась теперь особенно — жизнь в Москве на самом деле оказалась тяжелой.

По сравнению с нею участь сыновей, оставшихся в Таганроге, воображалась легкой. Родители не спрашивали их, сыты ли они, обуты, одеты ли. Может быть, они предпочитали верить посланиям Митрофана Егоровича? Он бодро и весело сообщал, что племянник Иван находится в благополучии, здрав и в отличном настроении, а племянник Антон тоже благоденствует, квартирует у Селиванова. Тоже бодр, ни в чем не нуждается и в гимназии получает «весьма хорошие отметки».

Быть может, добродетельный таганрогский брат не хотел огорчать Павла Егоровича подробностями и наблюдениями или не вникал в положение племянников, оберегая свой душевный покой? Не жалуются, ну и ладно, упускают квартирантов, значит, так тому и быть. И оправдывался: «Я полагал, что Антоша и Ваня, бравшие у меня часто марки, обо всем вам и обо всех предметах пишут, потому и не смел ничего с своей стороны вам сообщать». Митрофан Егорович любил жизнь тихую, праведную, трепетал перед всяким значительным лицом, будь то священнослужитель, состоятельный горожанин, влиятельный чиновник. Узнав, что И. И. Лобода, дальний родственник Чеховых, навестил их в Москве, он не решался пойти за новостями, чтобы «не беспокоить богатого человека». Может быть, потому отказался разместить скарб брата у себя на подворье, что опасался судебных исполнителей, скандалов, шума, неприятностей. Отдав на откуп жене, Людмиле Павловне, домашние заботы и решения, он

оставил себе душеспасительные дела. Был церковным старостой, попечителем училища, одним из учредителей благотворительного братства при Успенском соборе для помощи нуждающимся. Собирал лепту в пользу афонских монахов, в меру сил вкуса и разумения хлопотал о храмовых праздниках. Бытовые и гимназические заботы племянников плохо вписывались в эту спокойную жизнь.

Александр всегда подозревал в дяде «поддельные чувствия» и долю ханжества, звал его «иерееподобным мужем», «Богомоловым». И не без иронии замечал, что благочестивый настрой не мешал Митрофану Егоровичу любить театр, читать и собирать развлекательные журналы, помешавшие часто пошленькие юморески и рисунки на грани пристойного. Богомольный дядя перебарщивал в советах, велеречивых поучениях и напыщенных рассуждениях о «святых чувствах». Недаром Егор Михайлович звал этого своего сына «витийствующим». А племянник был излишне строг. Его раздражала чужая добродетельность, противная речам и поступкам молодого греховодника, хваставшегося победами над женским полом, кутежами в кабаках. Дядя был на самом деле простодушнее, искреннее, а племянник не так грешен, как хвалился в молодые годы.

Мог ли Митрофан Егорович помочь брату, как тот просил, то есть выкупить дом, взяв на время деньги из церковного сбора в пользу афонских монахов? Но этими средствами он не распоряжался, своих же денег у него всегда было немного, да и те в руках жены. «Таганрогский брат» уклонился от помощи, дав совет обратиться к Лободе.

* * *

Братья жили самостоятельно почти год, с июля 1876 года до июня 1877-го, когда Иван, не выдержав экзамена, запаниковал, сорвался и тоже уехал в Москву, хотя все домашние советовали остаться в гимназии. На хлеб и одежду они зарабатывали каждый по-своему. Иван переплетал книги, чему ранее научился в ремесленных классах при Таганрогском уездном училище. Осенью он не смог внести плату за обучение и стал посещать занятия только в конце октября, после благотворительного концерта в пользу неимущих учеников. В те дни он написал родителям: «Я вам посылаю рубль, купите мне вроде пледа что-нибудь, у нас очень холодно, а у меня кроме пальто старого, которое мне по колено, ничего нет, мундира тоже нет».

Братья не избегали дома Митрофана Егоровича, но, судя по всему, не спешили туда. Реально помочь он не мог, а пожеланий, советов молиться, уповать на Бога, терпеливо сносить лишения им хватало в письмах отца. Павел Егорович поначалу просил брата приютить Ивана, найти ему местечко в прихожей. Сыну же советовал при таком раскладе вести себя тихо, лишний раз не беспокоить родных. Но Иван предпочел остаться во флигеле, рядом с родительским домом, где еще жили Федосья Яковлевна с сыном Алешей. Тетка была, быть может, не столь добродетельна, как иные родичи, но поистине добрая душа — всех жалела, вечно привечала убогих животных.

Павел Егорович подучал сыновей просить помощи у богатых таганрожцев («из гимназии за неплатеж исключают, а у папаши денег нет»). Он не видел в этом ничего зазорного и унизительного. Даже набросал для сына Антона образчик обращения к купцу Кобылину, у которого когда-то начинал торговую службу: «Если он откажет тебе, ты скажи, что папаша, мол, у Вас долго служил честно и добросовестно, за что его при таких обстоятельствах не нужно оставлять, за что и Вас Бог наградит». Кончались письма неизменным: «Молитесь и трудитесь!» А за этими главными житейскими и нравственными наказами вставало: благодарите и кланяйтесь; просите у богатых и сильных мира сего и не оскорбляйтесь отказом; не гнушайтесь малой милостью. Не раз сыновья слышали от отца: «Живите тихо, ведите себя посмирнее, любите ваших начальников и наставников, слушайте и отдавайте им честь и уважение».

Чем зарабатывал Чехов в эти годы себе на жизнь? Из каких доходов, кроме продажи домашнего имущества, он посылал в Москву деньги? Где и как он их добывал, чтобы оплачивать свою учебу в гимназии, отправлять вещи?

Он тоже обучался в отрочестве в ремесленных классах сапожно-портняжному делу. Даже сшил себе и брату Николаю невообразимо узкие брюки, в которых оба щеголяли на удивление и смех прохожим. Но на этом его портняжные занятия закончились — не исключено, что он просто хотел сократить с их помощью часы сидения в отцовской лавке. Теперь он давал уроки — кого-то готовил к поступлению в гимназию, кого-то в училище. Жил не в родном доме, а в доме, который снимал Селиванов. Здесь и столовался, а за это занимался с племянником хозяина, Петей Кравцовым.

28 ноября 1876 года в «Ведомостях Таганрогского градоначальства» появилось объявление о том, что за «неплатеж долгов» Обществу взаимного кредита (с процентами и расходами) в 3200 р. 50 к. «имение Чехова Павла Егоровича, состоящее в г.

Таганроге <…> заключающее в себе: дворовое место с вновь выстроенным кирпичным домом и другими постройками и дворовою землею, коей длиннику по улице 12 саж<ен> и поперечнику 15 саж<ен>» назначалось «в публичную продажу» на 5 января 1877 года. Таким образом, Павел Егорович превращался официально в несостоятельного должника, а дом, в результате неразгаданной им хитрости, в конце концов отошел Селиванову. У него была в городе репутация карточного игрока и ростовщика, дававшего проигравшим деньги под большие проценты. Говорили впоследствии, что и дом, доставшийся ему задарма, он проиграл.

Похоже, он не увлекал своего молодого квартиранта и «домашнего учителя» в тайные комнаты таганрогских клубов, где играли обыватели. А может, Чехов просто не любил азартные игры — никакого интереса к ним он не проявлял и позже. Жить он предпочел у Селиванова, потому что не чувствовал себя здесь приживалом, нахлебником. Дядя, наверно, не попрекнул бы племянника куском хлеба. Но у Митрофана Егоровича своя семья, и его жена Людмила Павловна, «Миличка», не злая, но и не добросердечная, не совсем глупая, но и не очень умная, скорее недалекая, была из тех, кто утомлял разговорами, скучными, не интересными гимназисту старших классов.

Свой дом Митрофан Егорович украшал дешевыми олеографиями и доморощенной живописью. Всех литераторов наивно звал «писаками», а талант измерял известностью и гонорарами. Простодушие незлобивого, но по-своему однообразного и непритязательного человека в какие-то минуты могло наскучить. Он бывал сентиментален, иногда комичен в нравоучениях, но племянник чтил его за ласковость, которой ему недоставало в родном доме. Он остался ему за это навсегда признателен, извинив и забыв все былые шероховатости. Десять лет спустя написал дяде: «Помните, что Вы у нас *единственный* и другого такого близкого родственника у нас не было, да едва ли и будет. <…> Вы всегда прощали нам наши слабости, всегда были искренни и сердечны, а это имеет громадное влияние на юность! Вы, сами того не подозревая, были нашим воспитателем, подавая нам пример постоянной душевной бодрости, снисходительности, сострадания и сердечной мягкости…»

В другом письме этих же лет дяде скрыто противопоставление Павла Егоровича и Митрофана Егоровича: «Не следует унижать людей — это главное. Лучше сказать человеку „мой ангел“, чем пустить ему „дурака“, хотя человек более похож на дурака, чем на ангела». Павел Егорович мог пустить и «дурака», и «дуру», и «свинью», и «сукина сына», в

отличие от младшего брата, любившего обращение «душенька», а в конце писем — неизменные поклоны и упоминание своих детей, которые «целуют ручки» московским дядюшке и тетушке. Таганрогский утешитель успокаивал в 1876 году любимых, но бедствующих «москвичей»: «Спасайтесь, молитесь, надейтесь. Бог нас не оставит».

Павел Егорович и Евгения Яковлевна надеялись на Бога, молились. Шли дни, недели, месяцы. Наступил 1877 год, а места для бывшего таганрогского купца всё не находилось. Отец писал сыну в Таганрог, что всё семейство должно молиться за него: «Общее горе нам послано для испытания, чтобы мы почувствовали и исправили себя». И предписывал утром и вечером класть за него по 12 поклонов со словами: «Господи, помилуй папашу и дай ему место».

Далее он переходил обыкновенно к своим «неудовольствиям». К главному из них: «Деньги двенадцать рублей серебром мы от тебя получили, очень мало. Которых не достало заплатить за квартиру нашу. Мамаша ждала от тебя 20 рублей, залилась горькими слезами. <…> Продай бочонки винные и уксус, все равно их квартиранты растащут. Надо сделать Опись всему оставшемуся имуществу». Мать приписывала: «Милый Антоша, спасибо тебе. Ты меня утешаешь письмами, а Ваня не пишет мне. Приезжай, пожалуйста, на шестой неделе, только денег на проезд зарабатывай».

Стало ясно, кому из сыновей бывший глава передал заботу о содержании родителей, младшего брата и сестры. Кто согласился на это молча и без протеста. Кто, не забыв того, что исковеркало и отравило детство, положил в основу не свои отроческие обиды, унижения и страдания, а другое чувство. Он словно прикрыл «наготу» недавних лет (лавка, спевки, службы, побои, скандалы) и дал в 17 лет обет: «Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дела их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в который они веруют и надеются так, как немногие».

Юности свойственны иные клятвы и обещания: верность идеалам, поиск предназначения, достижение великой цели и что-то в таком же роде. В зароке, данном Чеховым, стало явным, благодаря сохранившемуся письму, его мужание. Была ли то природная мудрость — или рост души под воздействием особых обстоятельств? Их выпало достаточно на долю Чехова в эти годы. Но одно оказалось, может быть, решающим. Все остальные

растянулись во времени (потеря дома, раскол семьи, обнищание). Как будто долгое приближение и нарастание грозы. А это впечатление было неожиданным и резким.

* * *

Весной 1877 года, на Пасху, Антон впервые приехал в Москву. Всё, что описывали родители и братья, было всего лишь слабой тенью реальности. Чеховы жили около Цветного бульвара, в месте, которое Александр называл «благословенной областью борделей и жулья».

«Младшие» Чеховы отчасти воссоздали в своих воспоминаниях тогдашнее положение семьи. Три московских года (1876–1879) Михаил назвал «сплошным страданием»: «Всем нам пришлось поместиться в одной комнате с чуланчиком под лестницей, в котором должны были спать я и братья Александр и Николай. <…> Хозяйства не было никакого; то за тем, то за другим нужно было бежать в лавчонку, и скоро я превратился в мальчика на побегушках. <…> Антон часто писал нам из Таганрога, и его письма были полны юмора и утешения. Они погибли в недрах московских квартир».

Сестра тоже запомнила это время как лихолетье: «Начались годы нужды, лишений и всяческих неприятностей. Отец никак не мог найти работу. Денег не было, и перед матерью каждый день вставал вопрос, чем накормить семью. В квартире было неуютно, сыро, холодно. Зимой покупать дрова было не на что, и я помню, как будущий академик архитектуры Франц Осипович Шехтель — приятель и соученик моего брата Николая по Училищу живописи, ваяния и зодчества — вместе с Колей таскали с подвод поленья и приносили их нам, чтобы затопить печку и согреться. <…> Я стряпала обеды, стирала для всей семьи белье, занималась штопкой».

Но в этих воспоминаниях давняя картина стерлась, затуманилась. На самом деле она явилась тогда Чехову в самых неприглядных и ошеломляющих деталях, в ужасающей сути. Он измерил увиденное участью Евгении Яковлевны, сказав, что она «разбита физически и нравственно», что она «полуживая». А ведь, по его мнению, «дороже матери ничего не существует в сем разъехидственном мире».

Все тогда жаловались ему скопом и порознь. Павел Егорович, путая главное и второстепенное, мирское и божественное, искреннее и фарисейское, обнаружил полный разброд в своих мыслях и чувствах. Бывший домашний деспот утерял всякую

власть и утомлял всех благоглупостями, мелкими вспышками гнева и словами, то жалкими, то высокопарными. Рефреном шли жалобы на старших сыновей — «не расположены к семейству»; смотрят, «как чужие», и норовят «как бы удрать». Евгения Яковлевна и вовсе потерялась. Ее жизнь дотоле подчинялась каждодневному домашнему обиходу: накормить, обшить, присмотреть за прислугой. В Москве этот уклад рухнул, а на новый не было средств. Залатать одежду еще получалось, но заткнуть все дыры в убогом, нищем хозяйстве не удавалось. Жалея ее больше всех, Чехов попросил двоюродного брата Мишу (из «калужских» Чеховых), служившего у московского купца Гаврилова и навещавшего родных: «Будь так добр, продолжай утешать мою мать <…>. У моей матери характер такого сорта, что на нее сильно и благотворно действует всякая нравственная поддержка со стороны другого. <…> „нравственная“, т. е. духовная поддержка».

Мать плакала, а слезы, в чем Чехов признавался позже, действовали на него сильно. Эту черту домашние подметили в нем еще в детские и отроческие годы — сам он никогда не плакал, но от чужих слез расстраивался.

Что могли рассказать ему Александр и Николай весной 1877 года? Они хвастались новыми приятелями, гордились московским шиком (у одного цилиндр, у другого модная крылатка). Нарочито небрежно упоминали кабаки, где «покучивали», то вдвоем, то в компании. Александр вспоминал спустя годы в письме Чехову: «Помню, как мы вместе шли, кажется, по Знаменке (не знаю наверное). Я был в цилиндре и старался как можно более, будучи студентом, выиграть в твоих глазах. Для меня было по тогдашнему возрасту важно ознаменовать себя чем-нибудь перед тобою. Я рыгнул какой-то старухе прямо в лицо. Но это не произвело на тебя того впечатления, какого я ждал. Этот поступок покоробил тебя. Ты с сдержанным упреком сказал мне: „Ты все еще такой же ашара[1], как и был“. Я не понял тогда и принял это за похвалу».

Старшие братья гневались на отца. Он допекал их требованиями денег, бесконечными напоминаниями, что родители на них жизнь положили, а еще надо поднять младших. Жизнь с родителями оба называли «каторгой». Они уже отделились от семьи, и призывы отца к блудным сыновьям раздражали их, провоцируя новые ссоры, «убеги» из дома. Под отцовские поучения, стенания матери, шум семейных ссор заканчивалось детство Миши и протекало отрочество Маши. Они слышали одно: нет денег, денег нет…

Между отцом и сыном состоялся какой-то разговор, потому

что с весны 1877 года Павел Егорович писал о деньгах уже не просительно, а требовательно: «По обещанию твоему присылай денег, к 1-му мая платить за квартиру 14 рублей».

С приездом в Москву Ивана, бросившего гимназию, расходы «москвичей» увеличились. Возросли и ожидания родителей. В июне Павел Егорович писал сыну в Таганрог: «Дай Бог, чтобы ты поскорее взял уроков побольше и мог бы получить денег для себя и для нас. Мы очень нуждаемся. <…> Серебро прожили и теперь уже нечего залаживать. <…> Спасибо тебе, что ты нас утешаешь письмами, мы от твоих писем приходим в восторг. Утешение для нас необходимо, все нас забыли в настоящее время».

26 июля отец напоминал о квартирной плате: «А то нас выгонят и посрамимся. Когда это кончится испытание, одному Богу известно. <…> Где деньги, там почет, уважение, любовь, дружба и все блага, а где их нет, ох, как приходится горько! <…> Антоша! Припомни это, ты будешь жить, будь благодетелен ко всем просящим у тебя помощи, не отвращайся никогда от бедных». Евгения Яковлевна приписала: «Господь тебя благословит, Антоша! Присылай скорей ради Бога деньги <…> заложить уже нечего, я чуть жива от горя, совсем упала духом. <…> Мне дали от Гаврилова мальчикам рубахи шить по 10 коп. за каждую <…> недавно получила за 10 руб<ах> 1 руб. На 2 дня стало на хлеб. Когда б не Коля, то мы пропали бы. <…> Теперь дни и часы буду считать с замирающим сердцем, пока ты деньги пришлешь».

После этого письма Чехов дал то самое обещание — ничего никогда не пожалеть для родителей. В его словах, в интонации, в благодарности отцу за «дорогое письмо» была нота какого-то *самопожертвования*, то ли наивного, то ли провидческого. Через три месяца он написал тому же двоюродному брату Мише, поздравляя с днем ангела: «Желаю тебе <…> во всем благое поспешение и счастья всей твоей семье, которая для тебя дороже всего на свете, как и наша семья — мне. <…> Если только кончу гимназию, то прилечу в Москву на крыльях, она мне очень понравилась!»

Слово «семья» уходило из писем родителей. Они стали говорить, что им сочувствует только один сын, что они ждут не дождутся его окончательного переезда в Москву. Александр и Николай иронизировали насчет «покорного» Антона. Однако в том, как горячо старший брат отговаривал его от учебы в Цюрихском университете, ощущалось некое опасение — а вдруг и правда уедет: «Чем наши университеты плохи? <…> А в Германию зачем ехать?»

В этом же письме Александра от 23 июня 1877 года

промелькнуло слово, которым Чехов впоследствии обозначал свое желание сочинять, писать: «А что ты „не без толкастики“, как ты пишешь, то об этом и спору быть не может». Уже около двух лет Чехов увлекался популярным гимназическим сочинительством. То недолго выпускал свой рукописный журнал «Заика», то участвовал в чужом — «Досуг». В своих письмах Александр упоминал юморески брата, которые он посылал в московские юмористические журналы. В немногих сохранившихся от той поры письмах Чехова таганрогский жаргон переплетался со словечками мещанской среды, замечалась смесь «галантерейности» с церковным слогом, слышалась фамильярная интонация.

Неизвестно, когда он написал драму «Безотцовщина» и пьесу «Нашла коса на камень», а также водевиль «Недаром курица пела», но осенью 1878 года Александр отозвался о драме довольно болезненно для авторского самолюбия: «Ты на нее затратил столько сил, энергии любви и муки, что другой больше не напишешь. Обработка и драматический талант достойны (у тебя собственно) более крупной деятельности и более широких рамок. Если ты захочешь, я когда-нибудь напишу тебе о твоей драме посерьезнее и подельнее, а теперь только попрошу у тебя извинения за резкость всего только что сказанного».

О пьесе брат тоже высказался тоном маститого драматурга: «…написана превосходным языком и очень характерным для каждого там выведенного лица, но сюжет у тебя очень мелок. Это последнее писание твое я, выдавая для удобства за свое, читал товарищам, людям со вкусом <…>. Во всех случаях ответ был таков: „Слог прекрасен, уменье существует, но наблюдательности мало и житейского опыта нет. Со временем <…> сможет выйти дельный писатель“».

Однако себя Александр судил еще строже: «А из меня в отношении творчества ничего дельного не вышло, потому что время вспышек прошло, а за серьезный труд творчества приняться боязно — зело не сведущ». Ничего путного не вышло у него и в университете. Студент, мечтавший о профессорской карьере, проучился два года на первом курсе математического отделения, не сдал экзамена и перевелся в 1877 году на естественное отделение того же факультета, но и там учился еле-еле.

Александр в эти годы кутил, сквернословил, дразнил отца издевками над его набожностью. Они с трудом уживались под одной крышей. Сын то отселялся, то возвращался. Его письма 1877–1879 годов в Таганрог — это летопись семейных баталий. Из них Чехов узнавал о том, что отец еще не оставил привычки бить сыновей. Особенно доставалось Ивану — он никуда не

поступил, вспыхивал от попреков в дармоедстве, и начинались мордобитие, крики, выговоры хозяев, интерес улицы к странному семейству: то из окон слышится хоровое пение (от «Достойно есть» до «Лучинушки»), то вопли («Скотина, мерзавец!»). Павел Егорович уже соглашался, чтобы Иван поступил на фабрику, лишь бы пристроился куда-нибудь. Праздношатающийся, примкнувший к старшим братьям в походах по злачным местам, он стал живым укором отцу. Воспитательная метода Павла Егоровича оказалась такой же бесплодной, как торговая карьера, но он не признавал ни того ни другого.

Осенью 1877 бывшего таганрогского купца просьбами и хлопотами племянника Михаила пристроили к купцу Гаврилову, с ежемесячным жалованьем 40 рублей, хозяйским кровом и харчами. Павел Егорович опять почувствовал себя главой семьи. Но самое б***о***льшее, что ему осталось, — это поучения в письмах сыновьям. Живя в гавриловском «амбаре» и наведываясь домой только по выходным, он утратил даже видимость власти. Но оставил за собой уже никого не пугавшие жесты: угрозу выгнать из дома, обещание небесной кары за дурное поведение и непочтение к родителям. Он клял Александра за блуд, Николая — за безделье. Его потрясало поведение сыновей, которое Александр, «университетский человек», живописал без тени смущения брату Антону: «В семье у нас все идет по обыкновению, мать вечно колотит себя в грудь при безденежье. <…> Николай начинает новые картины и не оканчивает. Он теперь влюблен, но это не мешает ему бывать в Salon de Varriete, канканировать там и увозить барынь на всенощное бдение. Он, между прочим, написал головку — прелесть как хорошо. <…> Иван — прежний Иван, но значительно омущинился и омосковился. Занимается перепиской бумаги щелканьем Мишки по голове. <…> Мои дела — так себе. Сотрудничаю в „Свете и Тенях“ — карикатурами снабжаю. <…> Эту зиму мы с Николаем порядочно покутили, побывали раза четыре в Стрельне. <…> Это роскошный ресторан в глухом лесу в Петровском парке. Побывать в Стрельне — это верх кутежа. Однако прощай, надо спешить на Гебуртстаг[2] к товарищу».

Всё это — во всех отношениях — было далеко от таганрогского гимназиста. После отъезда в Москву двоюродного брата Алеши, а потом вслед за ним тетки Федосьи Яковлевны он остался в родном городе один. Не одинокий — всегда мог забежать к дяде в лавку или домой, — но *наедине* со всеми своими заботами, переживаниями, которые вынужден был решать и изживать самостоятельно. Только своими трудами и душевными усилиями. Не по своей воле, а по стечению обстоятельств.

Чехов, вероятно, отчетливо осознал во время первой поездки в Москву, что значила для него таганрогская «свобода». О чем и написал вскоре старшему брату, но был не понят, если судить по ответу Александра на это несохранившееся письмо: «Далее пишешь ты, что ты не завидуешь комфорту, который ты встретил у меня, что ты ненавидишь его. <…> пишешь ты о нашей полусамостоятельности, которой ты обладаешь. Значения полусам… я не понимаю и даже не могу уловить той мысли, какую ты хотел высказать, а потому умалчиваю. <…> Я думаю, что, вероятно, ты позавидовал свободе нашей ничем не стесняемой умственной деятельности. Если не угадал — извини — не психолог». Наверно, на самом деле не угадал. И непонятое им чувство назвал неприязнью к житейским удобствам, небрежением к чистоте (чего никто никогда не замечал в Чехове; наоборот, все подчеркивали его чистоплотность, аккуратность в одежде, брезгливое отношение к грязному белью и стоптанной обуви).

Речь, судя по письмам Александра осенью 1877 года в Таганрог, шла о другом. Александр, зазывая брата в Москву, еще зимой того года предлагал ему остановиться не у родителей, а у него: «У родителев всего две комнаты с пятичеловековым населением (живущий тут же пес не в счет) <…> обстановка у меня гораздо удобнее, чем у них <…> Бедствуют они довольно солидно. <…> Мама жалуется на меня, что я не живу с ними. Я на это отвечаю, что она эгоистка. Это вот почему. Я работаю. Зарабатываю малую толику денег, из коей уделяю часть им. За эти деньги, мною заработанные, я имею возможность иметь хорошенькую, удобную комнату, приличный, здоровый стол и чистое белье, а главное тишину и спокойствие, где <…> никто не чадит, не беспокоит и не мешает. <…> Никто из них ни разу не спросил меня, есть ли у меня деньги, откуда я их беру, чем зарабатываю и много ли их у меня? Им до этого дела нет. <…> А не норови я удрать, так не мог бы я заниматься и работать, с горем пополам спал бы на полу, и не был бы свободен… и не помогал бы им».

Вот об этой «логике», о такой позиции и такой «свободе» и писал ему, вероятно, брат вскоре после возвращения в Таганрог. С точки зрения здравого смысла, разумного себялюбия, инстинкта самосохранения в письме Александра всё целесообразно: «Они видят, что я всегда прилично одет, блещет белье, перчатки и цилиндр». Но в таком случае надо закрыть глаза на две жалкие комнаты, где младшие брат и сестра спят на полу, заткнуть уши, чтобы не слышать плача матери, — и спокойно жить в комфорте. Легче «удрать», проще упрекнуть отца («отец не добывает, а у них

расходу 25 руб.»), укорить мать: «Николая никогда нет дома. Жаль беднягу. Маменька заботится только о том, чтобы накормить его, а чтобы сделать ему жизнь поудобнее, посноснее, она не думает. Вечно ругаются, вечно плачут и чего хотят — сами не знают».

Александр все-таки через год вернулся в семью, но теперь он удирал в «Стрельну», где искал «свободу» вместе с Николаем, который тоже жаловался брату Антону в 1879 году: «Я по природе тих и, занимаясь, должен сосредоточиваться. Ведь я сочиняю, все беру из головы <…> а тут шум, гвалт». Но и он удирал не на этюды, не в мастерские училища, а в компании, на пригородные дачи, зимой в клубы. И на все напоминания об экзаменах, о неоконченных картинах отвечал своим привычным — «некогда».

К сожалению, письма Чехова родителям и братьям, посланные из Таганрога в те годы, не сохранились, но интонация их и какие-то фрагменты восстановимы по ответным посланиям родных. Они по-своему отражали настроение таганрогского гимназиста, уже знавшего, что он скоро уедет из города. После поездки в Москву весной 1877 года денежный вопрос приобрел для него значение неизбежной и каждодневной заботы о родителях, сестре, младшем брате (пока он учится) и о себе. Теперь это был только его вопрос. Участие старших братьев определялось лишь их желанием — помогать семье или нет и какими суммами.

Пережив увиденное и приняв решение (никогда и ничего не пожалеть для родителей), он отныне извинял преувеличенные жалобы матери и нелепые требования отца. Исходным было не это, а его отношение к ним. Отношение родителей к нему тоже изменилось. Именно сына Антона отец попросил весной 1878 года утешить деда, Егора Михайловича, после смерти Ефросиньи Емельяновны. Чрезвычайно ценил, когда тот, кого он теперь называл «милый сын Антоша», «любезный сын Антоша», советовался с ним. Летом 1878 года писал ему: «Ты просишь нашего совета в отношении себя, по какому факультету тебе идти, это ты хорошо делаешь, что спрашиваешь папашу и мамашу, чего братец твой Саша не сделал. А это дело важное, надо обсудить все хорошенько, чтобы после не раскаиваться. <…> Из опыта видно нам, что медицинский факультет практичный и современный, скорей средства можно достать к жизни, что нам всем теперь необходимо. <…> Насчет уроков в Москве будут и есть, было бы только желание и охота, сейчас можно найти по приезде твоем».

В этом деловом рассуждении нет ни тени сомнения, что сыну Антону предназначено быть главным кормильцем семьи. В том же

была уверена и Евгения Яковлевна: «Я очень рада, что ты обещаешь нам порекомендовать квартирантов, здесь выгоднее всего держать жильцов. <…> Хоть бы скорей тебя дождаться, когда ты кончишь в Таганроге, мне с тобой лучше будет». Мать тоже давала советы: «Иди по медицинскому факультету. Самое лучшее дело. Пожалуйста, уважь меня».

Каждый из родителей находил теперь в среднем сыне свои черты. Отец считал его надежным, вспоминал, что он более других сыновей помогал в лавке. Заметил, что у сына появилась его привычка непременно поздравлять родных с днем ангела, с Рождеством, с Пасхой. Мать считала его сердобольным, способным понять какое-то ее особенное скрытое «горе», о котором сулила рассказать и не рассказывала. Павел Егорович был прямолинейнее и определеннее. И в конце 1878 года поставил точку в разговорах о будущем «покорного» сына: «Приезжай в Москву, оканчивай свое учение в Университете, как можно скорее, чрез 4 года, чтобы ты имел должность и получал бы приличное жалованье для поддержки своего семейства. Хоть бы от одного сына нам было бы легче жить».

В январе 1879 года, поздравляя с днем ангела, отец послал напутственное слово, будто на всю жизнь: «Милый сынок Антоша! Желаем тебе здоровья и всех благ, видимых и невидимых от Бога <…> да ниспошлет тебе Бог разум творить добрые дела и Святую свою помощь в жизни твоей <…> жизнь твоя есть труд. Положи руку на Рало[3] и не оглядывайся назад! Утешь нас своим поведением, употреби все средства облегчить тяжелую жизнь. <…> Держись Религии, она есть свет истинный! Летами ты еще молод, но разумом будь стар, не увлекайся никакими мечтами света. Это дым, пар, тень исчезающая! Одно прошу, будь тверд в своих делах, заметь это на всю жизнь, чтобы, когда приедешь, тебя видеть таким. Прощай, Антоша, целуем тебя и остаемся твои П<авел> и Е<вгения> Чеховы».

Павел Егорович явно был в ударе, когда творил свое именинное наставление, свой наказ. Отцу, наверно, казалось, что ему открыты и ведомы мысли, чувства, дела сына. И предупреждая молодого человека о соблазнах, о греховных побуждениях, домашний моралист уповал на свое внушение. Между тем таганрогская жизнь сына, и видимая, и невидимая, осталась для отца и всей семьи тайной. Некоторые события, о которых упоминал сам Чехов, можно счесть ошибкой памяти. А если они действительно случились в указанное им время, почему он скрыл их от родных?

Чехов вспоминал, например: «В 1877 году я в дороге однажды заболел перитонитом (воспалением брюшины) и провел

страдальческую ночь на постоялом дворе Мойсея Мойсеича. Жидок всю ночь напролет ставил мне горчичники и компрессы». Михаил отнес этот случай к 1875 году, когда Чехов на самом деле, возвращаясь от И. П. Селиванова, выкупался в холодной реке и заболел. Но в 1877 году он тоже гостил у Селиванова. Впоследствии Чехов сказал коллегам, осматривавшим его и заполнявшим историю болезни (1897-й — доктор М. Н. Маслов; 1901-й — профессор В. А. Щуровский), что воспаление брюшины он перенес дважды. Указал и возраст — 16 лет. Оба врача поставили около этих записей знак вопроса. Поэтому не исключено, что у Чехова действительно было два случая острого заболевания, и обстоятельства одного он перенес на другой. В истории болезни записано с его слов, что в гимназические годы он страдал головными болями (мигрень) и геморроем. Однако в письмах родных на этот счет в 1877–1879 годах нет ничего. Вероятно, он утаил и эту сторону своей таганрогской жизни. Или они не упоминали об этом, подавленные своими заботами.

Понятно, что Чехов не рассказывал отцу и матери об увлечении театром. Поэтому значима реплика в письме сестре, когда годы спустя, будучи в Таганроге, он пошел в театр: «Пишу это в театре, сидя на галерке, в шубе. Пошлый оркестрик и галерка напоминают мне детство». Наверно, он поднялся наверх, чтобы увидеть сцену оттуда, откуда видел в отрочестве и юности.

Это время много лет спустя вспоминал Иван Павлович: «Ходили мы в театр обыкновенно вдвоем. Билеты брали на галерку. <…> приходили часа за два до начала представления, чтобы захватить первые места. <…> Как сейчас помню последнюю лестницу, узкую деревянную, какие бывают при входе на чердак, а в конце ее — двери на галерею, у которых мы, сидя на ступеньках, терпеливо ждали, когда нас наконец впустят. <…> Наконец гремел замок, дверь распахивалась, и мы <…> неслись со всех ног, чтобы захватить места в первом ряду. За нами с криками гналась нетерпеливая толпа, и едва мы успевали занять места, как тотчас остальная публика наваливалась на нас и самым жестоким образом прижимала к барьеру. <…> Кроме того, все зрители грызли подсолнухи. Бывало так тесно, что весь вечер так и не удавалось снять шуб. Но, несмотря на все эти неудобства, в антрактах мы не покидали своих мест, зная, что их тотчас же займут другие».

Репертуар тех лет — это пестрая смесь из драм, водевилей, мелодрам, одноактных комедий, оперетт. Пьесы Шиллера, Шекспира, Островского, Гоголя изредка вкраплялись в афишу, где господствовали броские названия: «Рауль Синяя Борода», «Ревнивый муж и храбрый любовник», «Жилец с тромбоном»,

«Ножка», «Рокамболь», «Цирюльник из Рогожской и парикмахер с Кузнецкого моста», «Дядюшкин фрак и тетушкин капот», «Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминишна». Одна актерская труппа сменяла другую, и всем был нужен хороший сбор, поэтому антрепренеры предпочитали водевили, переделки французских комедий и немецких мелодрам.

Впитывая этот банальный вздор, непритязательный юмор, слезливые сюжеты, таганрогский гимназист 7-го класса почему-то написал пьесу «Безотцовщина». Странную, необычную, огромную — одиннадцать сшитых нитками тетрадей, исписанных крупным ясным почерком. Не пьеса для двух или трехчасового представления, а роман для продолжительного внимательного чтения. Множество персонажей, отсылки к книгам и литературным героям. Тьма поставленных вопросов — от традиционных для русской литературы («отцы и дети»; «кто виноват?»; «человек и среда») до новейших (пореформенная Россия, эмансипация женщин).

Необычное сочетание жанров: комедия, драма, водевиль. И непривычный главный герой, сельский учитель Михаил Васильевич Платонов. Одними персонажами пьесы любимый до самоотречения, другими — ненавидимый до готовности убить его. Сам он говорил о себе: «Что я сделал лично для себя? Что я в себе посеял, что взлелеял, что возрастил? <…> Отчего мы живем не так, как могли бы?! Взяток не берет, не ворует, жены не бьет, мыслит порядочно, а… негодяй! Смешной негодяй! Необыкновенный негодяй!.. <…> Стыд, жгучий стыд… Больно от стыда! <…> Гамлет боялся сновидений… Я боюсь… жизни! <…> Никого не хотел обидеть, а всех обидел… Всех…»

Совесть мучает Платонова — не столько от того, что сделал что-то дурное, сколько от того, что не сделал хорошего. И потому нет покоя, потому душа болит…

Долго ли Чехов писал свою первую необычную, смелую и несовершенную, но свободную пьесу? Может быть, он работал над ней летом 1877 года и несохранившееся письмо старшему брату о «комфорте» незримо связано с этой работой? Александра, судя по ответу, сильно задело это письмо. Наверно, он оправдывал себя, когда назвал завистью не угаданное им чувство брата: неприятие умственной деятельности и вообще жизни, не «стесняемой» совестью? Это раздражение сквозило, кажется, и в отзыве о пьесе брата. Он пригвоздил ее резко: «В безотцовщине две сцены обработаны гениально, если хочешь, но в целом она непростительная, хотя и невинная ложь».

Бездоказательный ярлык («ложь»), приговор («другой больше не напишешь»), высокомерный совет с намеком на незнание

братом немецкого языка («Я от себя прибавлю: познакомься поближе с литературой, иззубри Лермонтова и немецких писателей, Гёте, Гейне и Рюкерта, насколько они доступны в переводах, и тогда твори») — всё выдавало Александра. Тот, кто был моложе его на пять лет, кто уже в отрочестве выказал самостоятельный характер, опять проявил независимость. Гимназист-старшеклассник, написавший такую пьесу (что бы ни говорили «люди со вкусом», на которых ссылался Александр), не нуждался в советах брата-студента, не ждал разрешения, когда и при каком условии он может «творить».

Старший брат, вероятно, почувствовал, что его старшинство и влияние исчезли окончательно. И что в упомянутую им собственную «школу» (как писать, что читать) автор «Безотцовщины» не пойдет. Что это вообще отдельный человек с неведомой душевной жизнью. И развели их не внешние обстоятельства, три года, прожитые порознь (один — в Москве, другой — в Таганроге), а какие-то внутренние причины. Это, видимо, все равно случилось бы, живи они вместе, не разлучаясь, в Таганроге или в Москве. Но проявлялось бы медленнее, исподволь, не столь очевидно. И, может быть, не так болезненно для отнюдь не злого, не завистливого, не мелочного, но самолюбивого Александра. Советы насчет Гёте и Гейне в октябрьском письме 1878 года обнаружили его растерянность. По своему гимназическому опыту он мог догадаться: этих авторов брат наверняка давно прочел.

«Безотцовщина» — несомненное и важное свидетельство напряженного чтения Чехова в гимназические годы (упоминания писателей и цитирование героями стихотворных строк, реминисценции). Из воспоминаний его соучеников известен круг чтения гимназистов тех лет, а из каталогов Таганрогской городской общественной библиотеки — ее книжный и газетно-журнальный состав. Такую начитанность, какую Чехов проявил впоследствии, обыкновенно приобретают в отрочестве и юности во всепоглощающем чтении. Освобожденный от домашней «цензуры», он читал по своему выбору. Но и об этом, так же как о театре, о репетиторстве, о гимназических буднях, о своих юношеских романах, о недомоганиях, не рассказывал в письмах никому — и потом не вспоминал никогда.

Остались косвенные признаки одинокого взросления. В юношеских письмах зазвучала новая интонация: *спокойной силы души*. Нет лишних слов, обильно украшавших речь и письма Павла Егоровича и Митрофана Егоровича. Нет умственной и душевной суеты, нет самоуверенной назидательности отца и благолепных поучений дяди. Но есть, как, например, в письме

младшему брату весной 1879 года, *самостоянье*: «Не нравится мне одно: зачем ты величаешь особу свою „ничтожным и незаметным братишкой“. Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам надо быть одинаковыми. Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Пред Богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожность. Не смешивай „смиряться“ с „сознавать свое ничтожество“.<…> Хорошо делаешь, если читаешь книги. Привыкай читать. Со временем ты эту привычку оценишь. <…> Прочти ты следующие книги: „Дон-Кихот“ (полный, в 7 или 8 частей). Хорошая вещь. Сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром. Советую братьям прочесть, если они еще не читали, „Дон-Кихот и Гамлет“ Тургенева. <…> Если желаешь прочесть нескучное путешествие, прочти „Фрегат Паллада“ Гончарова и т. д.».

К концу 1878 года весь домашний скарб, судя по семейной переписке, Чехов продал, переслал в Москву или пристроил в Таганроге. Через десять лет он отозвался об утерянном доме: «Дом Селиванова пуст и заброшен. Глядеть на него скучно, а иметь его я не согласился бы ни за какие деньги. Дивлюсь: как это мы могли жить в нем?!» Чехов не сказал: «наш дом». Он и в юности, похоже, не жалел о нем — может быть, потому, что не случись катастрофы, не было бы уединенного трехлетия, неведомого всем, но многое определившего.

Даже Павел Егорович признавал, что сын, которого с нетерпением ждали в Москве, изменился: «Из писем твоих видно, что ты умен и рассудлив, дай Бог, чтобы ты был такой и на самом деле. <…> Твою карточку я только один раз видел. <…> Ты заметно стал красивее и еще умнее по выражению лица». Поздравляя сына с окончанием гимназии, он отдавал ему последние распоряжения: «Хоть за дешевую цену, да все продавай, для мамаши и двугривенный дорог. <…> Иконы все привези непременно, словом сказать, ничего там нашего не оставляй, для нас и гвоздь нужен <…> привези 2 веника камышовых, здесь их нет».

15 июня 1879 года Чехов получил аттестат зрелости. По наблюдениям педагогов, за всё время обучения «поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ весьма хорошая, прилежание очень хорошее, любознательность по всем предметам одинаковая». Для них он тоже остался неведомым.

Точно было известно только то, что записали в паспорте, выданном для жительства в разных губерниях России сроком на один месяц: Лета — 19. Рост — 2 аршина 9 вершков <182 сантиметрах Волосы, брови — русые. Глаза — карие. Нос, рот, подбородок — умеренные. Лицо — продолговатое, чистое. Особые приметы: на лбу под волосами — шрам.

Как писал Павел Егорович сыну: «Время уже настало распрощаться навсегда с родным Таганрогом».

6 августа 1879 года Чехов уехал в Москву.

Глава третья. МОСКОВСКОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ

В 1879 году в Москву приехал молодой человек, которого не сразу узнали даже родные. Конечно, никаких камышовых веников у него с собой не было. Он, как вспоминал младший брат, подъехал к дому на извозчике. В руках — дорожный саквояж и сверток.

10 августа Чехов подал прошение на имя ректора Московского университета о приеме на первый курс медицинского факультета. 30 августа получил свидетельство о том, что принят. Документ следовало срочно отправить в Таганрог. Уже 6 сентября городская управа уведомляла университет, что студент Антон Чехов «избран» на одну из десяти стипендий, учрежденных городской думой Таганрога «для воспитания молодых людей в высших учебных заведениях». И препроводила при этом 100 рублей, «следующие за треть с 1 августа по 1 декабря», с просьбой выдать их оному студенту.

В годы московской юности всякая одежда на этом студенте кажется на вид тесноватой. Фотографии тех лет сохранили общий облик: хороший рост, крупная голова, высокий лоб, густые русые волосы, припухлые губы, какая-то спокойная грация. Та грация, формулу которой он вывел через годы по другому поводу, не имея в виду себя: «Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений». Ни манерности, ни скованности. Ощущение сдержанной силы, природной пластичности. Голос — низкий баритон мягкого тембра. Современники запомнили особенность: когда его что-то захватывало в собеседнике, в общем разговоре карие глаза вспыхивали, светлели и начинали лучиться, а на губах мелькала быстрая улыбка.

В компании он держался будто в стороне, более слушая, наблюдая. Это породило у многих современников впечатление подчеркнутой скромности, едва ли не робости. Мол, сидел в университетской аудитории всегда у окна. В сходках участвовал, но активной студенческой жизни чуть ли не чурался. Казался замкнутым. Лучше всех угадали его молодые художники, приятели брата Николая по училищу. В силу природного дара и профессиональных навыков они разглядели неотразимое мужское обаяние молодого Чехова, гармонию между внешним обликом и поведением, то есть неспешность, экономность в движениях, ненарочитую выразительность.

Он оказался своим в их кругу и, по сути, чужим в университетской студенческой среде. С ними, художниками,

ходил на гулянья в Сокольники. Забегал в мастерские, где они писали декорации. Хаживал в меблированные комнаты, в которых они жили. Даже к экзаменам порой готовился здесь. Доверял Исааку Левитану и Францу Шехтелю то, о чем не рассказывал родным братьям. Впоследствии советовал одному из молодых литераторов: «Заводите знакомства среди художников, архитекторов, докторов, актеров. Эти более интересны».

Однокурсникам Чехов казался неинтересным — усердным середняком. Они долгое время не знали, что он является автором маленьких сценок, подписей к карикатурам и рисункам в журналах «Развлечение», «Стрекоза», «Свет и тени», «Спутник», «Москва», «Будильник», «Зритель». Они могли читать повесть «Цветы запоздалые» в журнале «Мирской толк» в 1882 году и с этого же времени рассказы и заметки, а потом и фельетоны в столичном журнале «Осколки» под множеством псевдонимов и не подозревать, что *Антоша Чехонте, Человек без селезенки, Рувер, Улисс* — это их университетский товарищ.

Разницу между студентами-медиками и своими собратьями уловил и передал художник К. А. Коровин в рассказе о прогулке весной 1883 года. Он и Левитан зашли в «Восточные номера», дешевые меблирашки, где обретался Николай Чехов. В этот день Коровин получил на торжественном годичном акте в училище медаль за свою работу. У Николая они застали компанию «медиков», готовившихся к экзамену. Узнав про медаль, Чехов стал в шутку уверять, что она ненастоящая, так как «ушков-то нет. Носить нельзя»:

«— Да их и не носят, — уверяли мы.

— Не носят!.. Ну вот. Я и говорю, что ерунда. Посмотрите у городовых, вот это медаль. А это что? — Обман».

Приятели позвали его с собой гулять в Сокольники, а он уговорил и своих однокурсников. Коровин заметил, что студенты-медики «были большие спорщики и в какой-то своеобразной оппозиции ко всему». Но спорили как-то странно: они хотели «поучать, руководить, влиять. Они знали всё — всё понимали». И, видимо, продолжая давний разговор, упрекали своего товарища за подпись «Чехонте», за легковесные рассказы, за отсутствие идей. Он в ответ смеялся, они сердились.

Досталось и молодым художникам. Им тоже возбранялось писать «без идей».

Так они и шли по аллеям парка, а когда Левитан, «указывая на красоту леса, говорил: „Посмотрите, как хорошо“, — один из студентов ответил: „Ничего особенного… просто тоска… Лес, и черт с ним!.. Что тут хорошего…“

— Ничего-то вы, цапка, не понимаете! — повторил Левитан».

Когда компания шла обратно, Чехов произнес: «А в весне есть какая-то тоска… Глубокая тоска и беспокойство… Всё живет, но несмотря на жизнь природы, есть непонятная печаль в ней». А когда спутники ушли, он сказал Коровину и Левитану: «Эти студенты будут отличными докторами… Народ они хороший… И я завидую им, что у них головы полны идей…»

Спорщики, порицавшие Чехова за отсутствие «идей» и «протеста» в рассказах, тем не менее знали о его литературном «баловстве», но большинству однокурсников оно было неведомо. Впоследствии Чехов рассказал одному из собеседников: «В университете я начал работать в журналах с первого курса; пока я учился, я успел напечатать сотни рассказов под псевдонимом „А. Чехонте“, который, как вы видите, очень похож на мою фамилию. И решительно никто из моих товарищей по университету не знал, что „А. Чехонте“ — я, никто из них этим не интересовался. Знали, что я пишу где-то что-то, и баста. До моих писаний никому не было дела».

У студентов-медиков не было ни времени читать, ни интереса к той прессе, где он печатался. Медицинский факультет — самый трудный. За годы учебы Чехов, как и его однокурсники, сдал больше шестидесяти экзаменов, больше сорока зачетов, занимался в анатомическом театре, проходил практику в клиниках. Летом 1883 года он работал в Чикинской земской больнице в Звенигороде, а летом 1884 года подменял заведующего больницей в Звенигороде. Многие студенты помимо многотрудной учебы и практики давали уроки, нанимались репетиторами. Одного из своих учеников, сына крупного чиновника, камергера, Чехов вспоминал годы спустя: «Этого Яковлева <…> я когда-то приготовлял в гимназию, и он, глядя на меня наивными глазами, спрашивал: „Ваш папаша камергер?“» Сам ученик запомнил «бедно одетого», худощавого учителя, учившего его и брата русскому языку. Как-то за обедом он услышал реплику отца в общем разговоре гостей: «Да, я с вами совершенно согласен: у Чехова несомненный талант. Я убежден, что он, со временем, займет видное положение в литературе». Узнав от мальчиков о таком отзыве, Чехов будто бы сказал равнодушно: «Ваш батюшка слишком снисходителен. Никакого таланта у меня нет, а пишу я потому, что нужно писать, иначе вашему прекрасному учителю нечего будет кушать, а кушать ведь хочется каждый день. Правда? Спасибо, что есть такие добрые редакторы, которые печатают Антошу Чехонте».

Конечно, репетиторство — заработок непостоянный, ненадежный. Приходилось тратиться на извозчика, иногда напрасно, если урок отменялся. Зная о будущей профессии

учителя, родители учеников норовили получить бесплатный медицинский совет. Имело смысл заниматься летом, где-нибудь в имении, чтобы отдохнуть от города. Но «литературная бурса», как Чехов называл сотрудничество в мелкой прессе, была школой жестокой и каникул не предполагала. Здесь он зарабатывал на содержание семьи, потому что, по любимому присловью Павла Егоровича, «папаше и мамаше кушать нала».

Но «нада» было еще платить за квартиру и оплачивать учебу младших. Сестра, закончив Московское епархиальное Филаретовское женское училище, поступила в 1882 году на Московские высшие женские курсы В. И. Герье. Михаил учился в гимназии. Быт и бюджет семьи наладить было трудно. Павел Егорович, получив место счетовода у купца Гаврилова, навещал домашних в выходные дни и в праздники. Его жалованье не намного, но увеличивалось год от года, однако «глава семейства» по-прежнему расходовал на чад и домочадцев не более 30 рублей в месяц. Потом и эта сумма сошла на нет.

Александр к 1882 году уже покинул университет. Он числился четыре года на естественном отделении физико-математического факультета, но экзамены на звание кандидата, дававшие право на 10-й чин и преподавание в гимназиях, не держал. Навсегда остался всего лишь в скромном звании «действительного студента» с правом на 12-й чин губернского секретаря. Это было неудивительно при образе жизни Александра — кутежи, сомнительные знакомства, жизнь то у приятелей, то в семье. Постоянные долги, небольшие, не карточные, но всё же… И беспорядочная работа в московских изданиях. В редакции одного из них он познакомился с Хрущовой-Сокольниковой. К моменту их встречи ее брак «за нарушение супружеской верности» и за «прижитие» ребенка в отсутствие мужа был расторгнут, а она, решением епархиального начальства, «осуждена на всегдашнее безбрачие» и семь лет церковного покаяния. Таким образом, Анна Ивановна никогда бы не смогла стать законной, венчанной женой Александра и осталась навсегда сожительницей. Она была старше его на восемь лет, имела от первого мужа двух детей. В 1882 году Александр, исчерпав терпение семьи, согласился на место в таганрогской таможне и уже семейным человеком уехал в родной город.

То было житейское крушение, но оно, может быть, предотвратило худшее. Немногие сохранившиеся письма не скрыли черту, до которой дошел этот одаренный, подававший большие надежды и веривший в себя человек. Какой-то скандал, учиненный Александром весной 1881 года, вынудил Чехова написать брату ультимативное письмо: «Будь ты хоть 100 000 раз

любимый человек, я, по принципу и почему только хочешь, не вынесу от тебя оскорблений. <…> Пишу это всё, по всей вероятности, для того, чтобы гарантировать и обезопасить себя будущего от весьма многого и, может быть, даже от пощечины, которую ты в состоянии дать *кому бы то ни было и где бы то ни было…*»

Отношения Чехова со старшими братьями складывались в первые московские годы непросто — и, можно сказать, не сложились. Даже когда они были рядом, они не были вместе. Их не объединяло чувство родной семьи, от которой Александр и Николай давно оторвались. У них не было общего дома, потому что старшие то и дело «убегали» к приятелям и сожительницам или снимали временное жилье на стороне. Их разъединили четыре года, прожитые порознь: они — в Москве, он — в Таганроге. Александр и Николай ожесточенно вырывались и вырвались на свободу из-под домашнего ига отца, но заодно утратили собственную внутреннюю волю, презрев увещевания и укоры матери, отцовские тирады о долге перед родителями, заботе о младших братьях, нарушении заповедей христианина.

Единственное, что, судя по письмам и воспоминаниям близких, не заботило и не огорчало Павла Егоровича в судьбе старших сыновей — это утрата долга перед природным даром. У Александра — к слову, у Николая — к живописи. В напоминаниях о нем его старшие сыновья нуждались, может быть, более, чем в бесконечной проповеди того, что «папаше и мамаше кушать нада», что «Москва деньги любить» и т. п. Утрачивая страх перед отцом, они впадали в странное мнимое бесстрашие. Перед завтрашним днем — как-нибудь пройдет. Перед обязательствами — как-то обойдется. Не проходило. Не обходилось.

«Новая жизнь», которую Николай время от времени обещал себе и родным, оставалась прежней, а если менялась, то к худшему. В 1879 году он не представил в Таганрогскую управу документы для отсрочки призыва в армию (увольнительное свидетельство и удостоверение, что он продолжает учебу). Так возник пресловутый «солдатский» вопрос. В 1883 году его уволили из училища за длительное непосещение классов, не сданные экзамены, не представленные вовремя работы. Теперь он обязан был явиться в Ростов-на-Дону и тянуть жребий. Николай поехал, но заглянул к Александру в Таганрог — и за неявкой превратился в человека, уклонившегося от воинской повинности. То есть беспаспортного, обреченного скрываться от полиции, менять квартиры, бояться дворников, испрашивающих у жильцов вид на жительство.

Давно испарились надежды, что он получит высшее

образование, станет профессором, что к нему придет слава. В семье за Николаем закрепилось прозвище «Некогда». Он начинал писать картину и бросал. С 1880 года Николай, уже по сути оставивший училище, втянулся в поденную работу для журналов «Будильник», «Свет и тени», «Зритель». Он рисовал много, был замечен читателями этих журналов. Они узнавали свой мир, свое окружение — мир улицы, толпы, увеселительных мест, магазинов, гуляний, зрительного зала. Мир человеческой глупости и пошлости, анекдота и шаржа. Николай узнал его и исчерпал себя им, отдав ему свой очевидный дар, который обещал куда большее, значительное. Это признавали его однокурсники, товарищи по училищу, по общему кругу молодых художников — Шехтель, Левитан, Коровин, Янов, Симов. С ними познакомился и подружился студент-медик Чехов («живописующая и рафаэльствующая юность мне приятельски знакома»), Николай же всё заметнее с каждым годом отчуждался от них и предпочитал среду персонажей своих выразительных, насмешливых рисунков.

Когда в 1883 году Александр пожаловался в письме из Таганрога, что Николай не отвечает на его послания, что он забыл «пережитые купно невзгоды ученических годов: глада, хлада и взаимной поддержки», Чехов словно подвел черту под этим общим прошлым своих старших братьев: «Он не отвечает не только на твои письма, но даже и на деловые письма; невежливее его в этом отношении я не знаю никого другого. <…> И что ужаснее всего — он неисправим… <…> Николка (ты это отлично знаешь) шалаберничает; гибнет хороший, сильный, русский талант, гибнет ни за грош… Еще год-два, и песня нашего художника спета. Он сотрется в толпе портерных людей <…> и другой гадости… Ты видишь его теперешние работы… Что он делает? Делает всё то, что пошло, копеечно…, а между тем в зале стоит начатой замечательная картина».

Приговор звучал страшно, но не безнадежно, хотя за минувшие годы московской жизни Чехов почти отчаялся. Старших братьев словно не страшило исписаться, измельчать, но Чехова это, судя по страстности письма, пугало. И не только в судьбе Александра и Николая, но и в своей: «Ты знаешь, как можно влиять на него… <…> Подчеркни ты, сильный, образованный, развитой, то, что жизненно, что вечно, что действует не на мелкое чувство, а на истинно человеческое чувство… Ты на это способен… Ведь ты остроумен, ты реален, ты художник».

В этом письме он не ставил в вину Александру кутежи, долги, но напоминал о его природном даре: «Умеешь так хорошо

смеяться, язвить, надсмехаться, имеешь такой кругленький слог, перенес много, видел чересчур много… Эх! Пропадает даром материал. <…> Каким нужным человеком можешь ты стать!» Это звучало как — каким хорошим литератором может стать брат! Не мог бы, а может… если не позволит себе разболтаться, разжалобиться, самооправдаться. И тем самым поддержит Николая: «Попробуй, напиши ты Николке раз, другой раз, деловое слово, честное, хорошее — ведь ты в 100 раз умней его, — напиши ему, и увидишь, что выйдет… Он ответит тебе, как бы ни был ленив… А жалких, раскисляющих слов не пиши: он и так раскис…»

Вот этого послабления — «раскиснуть» — он, «покорный сын», как говорили о нем непокорные старшие братья, не позволял себе. Не мог? Не хотел? Или уже научился в одинокое таганрогское трехлетие сопротивляться обстоятельствам, окружению? В любом случае, это было главное различие между ними к моменту их встречи в Москве. Да, они опять были рядом, но не вместе.

* * *

Это таганрогское, а потом московское самостоянье, это одоление даже не бедности, а нищеты, в которой он застал семью в 1879 году, самому Чехову обошлось очень дорого. Приехал он внешне здоровым: матовый цвет лица, густая шевелюра, широкоплечий, статный. Но уже в 1883 году, по воспоминаниям одного из литераторов, с которым он был вместе на гипнотическом сеансе, на шутливый вопрос: «Чего бы вы желали — богатства или славы?» — Чехов якобы ответил: «Я хочу долго, долго жить». А в декабре 1884 года у него впервые пошла горлом кровь. Эта перемена заметна и на фотографиях, но пока она не особенно бросалась в глаза.

Пока он выглядел таким, каким запомнил его в эти годы Коровин: «Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной, кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие, — от него как бы исходили флюиды сердечности и зашиты».

Говорили, что внешним обликом и характером Чехов более походил на мать, чем на отца. От Павла Егоровича он унаследовал некоторые манеры, назидательность в разговоре,

привычку к порядку в бумагах, в переписке. Широкая грудь, румянец обещали долголетие. Евгения Яковлевна дожила почти до девяноста лет. Отец семейства, судя по кряжистости, по образу жизни в преклонные годы, тоже мог бы дотянуть до глубокой старости, не случись на восьмом десятке трагической нелепости, приведшей к кончине.

Кровотечение, напугавшее Чехова в конце 1884 года, сулило мало хорошего. Этому способствовали тяжелый быт, плохое питание, усталость. Впоследствии Чехов признавался, что в университетские годы его часто «пошатывало», мучила дурнота. Первые московские годы — это ноша, которую трудно даже представить, а тем более вынести. Учеба в университете. Репетиторство. Сотрудничество в московских и петербургских изданиях — основной источник дохода. На гонорары он содержал себя и семью — странную и беспорядочную. В выходные и праздники в доме появлялись Павел Егорович и Иван, который в 1880 году сдал экзамен на звание учителя и до осени 1883 года преподавал в Воскресенском училище, а с 1884 года в Москве, в Мещанском мужском училище. Набегами и наездами бывали Александр и Николай. Приживалкой, оправдывая хлеб и кров хлопотами по хозяйству, жила Федосья Яковлевна. «Младшие», Мария и Михаил, учились.

Содержать такую семью было тяжело, а рассчитывать — не на кого. Иван получал около сорока рублей в месяц, едва хватало самому — правда, его казенная квартира в Воскресенске стала первой «дачей» семьи. Современники улавливали внешнее сходство между Чеховым и его братом-погодком. Их роднило и некоторое сходство характеров. Год, вместе прожитый в Таганроге, без родителей, вероятно, определил особую, молчаливую, неизменную привязанность Ивана к брату. Приезд Чехова в Москву спас его — от отца, от братьев, от собственного отчаяния и страхов. Два года он не мог устроиться в бесплатное учебное заведение. Павел Егорович поначалу пытался делать ему внушения, как в Таганроге. Однажды избил взрослого уже сына, а весной 1879 года выгнал из дома. Иван от безвыходности согласился пойти в военное училище. Это решение, вероятно, отменил приезд Чехова — зная о нервозности, обидчивости, мнительности Ивана, он мог представить, что станется с братом в мире приказов, безоговорочного подчинения, муштры.

Началась другая муштра, та самая, о которой Чехов толковал в письмах старшим братьям. Иван догонял упущенное, много читал, к урокам в училище готовился так, будто преподавал в классической гимназии. Проступили общие черты с Чеховым: аккуратность, внешняя сдержанность, обязательность. Такой

физический и душевный труд был благом, но чреват огромной психологической нагрузкой. В ней, видимо, истоки ранней усталости Ивана Павловича. Взяв за правило все делать, как следует, образцово, не обнаруживать своих слабостей, не открываться никому (только любимому брату в редких уединенных беседах), он копил в себе разочарования, обиды, неизбежные в житейских отношениях. Не находя выхода, они подтачивали его здоровье, но не вызвали озлобления, мстительности, а питали надежду на счастье. На него Чехов полагался в трудных семейных делах, когда вызволял старших братьев из разных «историй». Ему доверял денежные вопросы. Однако решал их сам — писанием сценок, рассказов, сочинением тем и подписей к рисункам.

Этим, по его замечанию, «бумагомараньем» он занимался вынужденно, как доступным заработком. Постепенно втянулся в «шатанье» по газетам и не придавал своему писанию, своей литературной «мелочи», никакого серьезного значения. Хотя, по собственному признанию, чувствовал в себе дар к слову, но считал его ничтожным. Серьезные планы и надежды Чехов связывал в это время с будущими научными занятиями. К тому же, что сочинял на ходу, на лету, погоняемый мыслью о гонораре, относился снисходительно.

Может быть, он и бросил бы это скорописание, но понукали две силы: вечное родительское «нада» и какое-то радостное ощущение от удачной «мелочишки», скрытое волнение от найденного сравнения, образа, детали. Внешнее понуждение — денег, денег, денег, возрастало вместе с запросами семьи. Но и внутренняя «толкастика», как называл ее Чехов, давала о себе знать всё сильнее и сильнее. Поэтому, наверно, он не искал другого способа заработать на кусок хлеба, а от рождения упорный, прорывался и пробивался — туда, куда трудно было протолкаться, но где, однако, нетрудно было сломаться. Позже, лет через двадцать, он не раз говорил молодым литераторам, что не стоит пугаться первых неуспехов, уничижительных отзывов и возврата рукописей. Но так ли уж равнодушно сам читал ответы редакций — «не будут напечатаны», «пустое слово-толчение», «не поместим», «длинно и бесцветно», «не расцвев — увядаете», «длинно — пишите покороче»? Вероятно, всё это не проходило даром.

Порой его снисходительно поощряли. Например, редактор «Стрекозы» в 1880 году: «Совсем недурно. <…> Благословляем и на дальнейшее подвижничество. <…> Вообще редакция относится с сочувствием к Вашему, не лишенному успешности, сотрудничеству». В этой «литературной бурсе» одобрения

случались редко, а выговоры, насмешки, вольные и невольные унижения подразумевались сами собой. Начинающему автору поучающе указывали на избитость формы, на злоупотребление надоевшими всем мотивами и т. п. Годы спустя он сказал как-то: «Положение в литературе, хотя бы очень скромное, не дается, не берется, а завоевывается».

Кто они были, редакторы московских газет и журналов? По преимуществу — бывшие литераторы, служащие или торговцы. Редко люди с образованием, чаще довольно невежественные. Многие прогорали и бросали хлопотное журналистское дело. Журналы переходили из рук в руки. Единицы налаживали «машину» и начинали богатеть. Этот мирок постоянно сотрясали слухи, скандалы, выяснение отношений. О внутриредакционных нравах ходили страшноватые анекдоты. «Малая пресса» существовала беспокойно, ненадежно, но не исчезала, потому что на нее всегда был спрос. Ее читатели — мелкое чиновничество, торговый и служивый люд, мещанское сословие, то самое, которое с усмешкой рисовал Николай Чехов. Их имела в виду эта журналистика, одновременно поощряя безвкусие своих читателей и насмехаясь над ними. Работать здесь и не пропитаться редакционным «душком» было невозможно, выжить в этой среде и прожить тамошним заработком — очень трудно.

В те же годы в тех же изданиях — «Развлечение», «Будильник», «Русский сатирический листок» — сотрудничал С. Ф. Рыскин, тоже выходец из купеческой среды. Писал много, часто в шуме и чаде московских ресторанчиков, где собирались газетчики. Автор бесчисленных стихов, поэм, рассказов, фельетонов, сценок, зарисовок, газетных романов проработал в печати около пятнадцати лет. Умер от чахотки, оставшись почти безвестным автором романса «Живет моя отрада в высоком терему». О таких бедолагах Чехов с сочувствием говорил, что их затерли «льды московского равнодушия».

За первые три года московской жизни (1880–1882) студент-медик написал свыше шестидесяти сценок, рассказов, юморесок, статей. А еще повесть «Цветы запоздалые» и роман «Ненужная победа», а еще подписи под рисунками. В следующие два года (1883–1884) — уже в четыре раза больше, включая «Осколки московской жизни», повесть «Драма на охоте». Писал под множеством псевдонимов: *Гайка № 6, М. Ковров, Анче, Гайка № 9, Брат моего брата* и др. Может быть, продолжая этот изобретательный ряд, Чехов и в письмах подписывался в первые московские годы — *Чехов № 3, Готовая услуга А. Чехов, Больных делов мастер* и т. п.

Сколько платили редакции такому выгодному автору,

безотказному и явно, с их точки зрения, способному? Гонорар в «Стрекозе» в 1880 году — 5 копеек за строчку. Набегало рублей 30 в месяц, которые приходилось ждать и выпрашивать. В 1883 году Чехов говорил, что «хаживал в „Будильник“ за трехрублевкой раз по десять». Впоследствии рассказывал, как авторы, и он среди них, приходили к редактору одного из таких журнальчиков за своим копеечным гонораром. Сидят час-два, теряют терпение, стучат в дверь. Выходит заспанный мальчик — оказывается, редактор давным-давно уехал, авторам же велел передать, чтобы пришли в другой раз. И такую штуку он проделывал не однажды. Современник вспоминал, как на его предложение печататься в журнале «Волна» Чехов ответил, вероятнее всего всерьез, а не в шутку: «О нет, батенька, я уже проучен: там со мной расплатились фальшивым купоном».

К 1883 году редакторы готовы были повысить гонорар Чехову. Кто-то уже предлагал 6 копеек за строку, кто-то платил 7 и 8 копеек. Опытный издатель столичного журнала «Осколки» Н. А. Лейкин, которому рекомендовал Чехова их общий приятель, поэт Илиодор Пальмин, почувствовал и одаренность москвича, и его нужду в деньгах. В письмах к новому автору Лейкин, хвастливый, самовлюбленный, свои сочинения называл рассказами, а присылаемое москвичом — «литературным товаром», «шикарными вещичками», которые он выгодно «продавал», как и «товар» других своих даровитых сотрудников, богатея год от года.

Редакция журнала «Природа и охота» объясняла Чехову в 1883 году, что она платит за «фундаментальные статьи, дающие какие-либо сведения». А его рассказ «Он понял» — это всего лишь «хорошенькая игрушечка или пирожное: мы, конечно, не прочь полакомиться, но лишь в том случае, когда лакомство даровое».

Однако всё чаще редакторы поощряли своего поставщика «литературного товара»: «строчите!», «валяйте!» Главное — покороче, побыстрее. Еще короче, еще быстрее. Совсем коротко и немедленно…

Все многописание давало сначала 30, потом 50, наконец 100 рублей в месяц, а требовалось не менее 150–180 рублей. Деньги молниеносно уходили на оплату квартиры, питание, одежду, возврат долгов. В 1882 году Чехов писал уехавшему из Москвы старшему брату: «Денег — ни-ни… Мать клянет нас за безденежье…»

Часто на его долю выпадали объяснения с лавочниками, портными, которым задолжали старшие братья. От усталости, от плохого питания у Чехова бывали головокружения, которые он скрывал от родных. Помощников у него не было. Миша охотно

служил на посылках (и гонорар получит, и за билетами слетает, и в лавочку сбегает). Но репетиторствовать в свои 16–17 лет, как брат в таганрогские годы, чтобы заработать хоть что-нибудь, не рвался. Маша помогала матери по хозяйству, но предпочитала походить на барышню из хорошего семейства. В доме появились ее подруги по курсам — Е. Эфрос, О. Кундасова, Е. Юношева. В те годы девушки уже приезжали учиться в Москву отовсюду. В аудиториях Политехнического музея, где им читали лекции (история, русская литература, история искусства), порой не хватало места. Преподаватели — В. О. Ключевский, Н. И. Стороженко, С. А. Юрьев, А. Н. Веселовский и сам В. И. Герье. Среди молодежи ходили слухи о нетерпимости сдержанного, даже казавшегося суровым, основателя курсов к коротко стриженным волосам, небрежной одежде. Но и о его доброте — многих неимущих Владимир Иванович освобождал от платы.

Как в письмах Чехова и воспоминаниях о нем не отразилась его студенческая жизнь, так в воспоминаниях Марии Павловны и ее приятельниц курсы почти не упоминались. Неизвестно даже, закончила она их или оставила по какой-то причине в 1885 году, начав преподавание в московской частной женской гимназии Л. Ф. Ржевской. Вероятно, приятельский круг старших братьев — художники Левитан, Коровин, Шехтель, музыканты М. Р. Семашко, В. С. Тютюник, А. И. Иваненко — привлекал ее больше, чем студенческие кружки. Там молодых людей поверяли отношением к учениям Лассаля и Милля, там в любви объяснялись по Спенсеру и обсуждали рефераты, вроде «Подведем мину под Шопенгауэра и взорвем его».

Даже такой «радикализм» оказался чужд детям Павла Егоровича и Евгении Яковлевны. Однокурсники Чехова, Г. И. Россолимо и Н. И. Коробов, вспоминая университетские сходки после убийства Александра II и другие всплески студенческой общественной жизни, говорили, что их добрый приятель оставался с большинством, но не был среди зачинщиков и ораторов. Что-то на этот счет проясняли письма Чехова последующих лет: в первые четыре года московской жизни всё время и все силы отнимали напряженные занятия в университете, многописание в журналах и газетах.

При всём при том он умудрялся ходить в театр, в концерты, на выставки. Сохранились глухие сведения о его юношеских романах в эти годы — например с танцовщицей из Большого театра. Один из приятелей Николая по училищу вспоминал, как в 1883 году он, с двумя братьями Чеховыми, отмечал Татьянин день в ресторане «Эрмитаж», традиционном месте студенческого

праздника: «Что-то неописуемое творилось здесь, — сплошной хаос!.. Толпа сходилась и расходилась. Вон там в стороне кого-то качают… поют „Gaudeamus“ — „Вот настанет черед и проснется народ“ <…>. Кое-где на столах — ораторы, а под столами — упившиеся люди… Здесь целуются, пьют на брудершафт, а там укоряют друг друга в чем-то… И все это покрыто густыми волнами табачного дыма». Это описание соответствовало рисунку Николая, годом раньше появившемуся в «Будильнике» после такого же праздника. Те же сбитые скатерти, оратор на столе, кто-то уже спит… В общем — веселый бедлам.

Литературной и газетной братии тех лет Чехов запомнился компанейским человеком. Он не чурался походов в их любимый Татарский ресторан на Петровских линиях, где иногда кутили и играли в бильярд. А. В. Амфитеатров, обращаясь к этому периоду, припомнил шутку Чехова: «Когда мне будут платить пятнадцать копеек за строчку, я закажу себе фрак и стану думать, что я великий писатель». По воспоминаниям, он был интереснее, задушевнее в узком кругу, нежели в большой компании, которую украшали модные литераторы, требовавшие почтительного внимания, припадания к стопам, тонкой лести. Тогда Чехов, судя по рассказам очевидцев, предпочитал наблюдать. «Маститые» иногда замечали неожиданный пристальный взгляд молодого человека, о котором слышали, будто он остроумен, мил, разговорчив — а на самом деле бука букой.

* * *

В письмах Чехова этих лет нет нытья, жалоб. Зато много глаголов в форме будущего времени: «сделаю», «буду», «помыслю», «пришлю», «буду стараться» и т. д. И уверенность, что «возьмет» и эту ступеньку, и следующую, и еще выше, что «гуляючи», то есть без надрыва, напишет «Историю полового авторитета», потом работу «Врачебное дело в России». По его мнению, вот такие труды и есть творчество. А писание в «Будильник» или «Осколки» — едва ли не полная ерунда.

Весной 1883 года он предложил старшему брату «войти в компанию», в дело не пустяковое, даже «прибыльное», но не в денежном отношении. Говорил о своем апрельском письме, будто писал его «в хмельном виде», но следов подпития в послании не заметно. Скорее — задор, увлеченность, самонадеянность молодости. Чехов уверял брата, что «рукопись едва ли выйдет толстая», но объем намеченной им предварительной работы отпугнул бы даже специалиста. Он перечислил то, что следовало

просмотреть: труды по зоологии, антропологии, «истории вообще и истории знаний», истории женских университетов, истории воспитания, осмыслить статистику заболеваний мужчин и женщин, статистику преступлений, изучить работы по социологии и т. д. Притом выказывал уверенность, что одолеет, сделает, словно не было впереди труднейшего выпускного курса в университете, писания в газеты и журналы: «Терпения у меня хватит — это ты знаешь».

Зачем ему этот научный труд? Не для славы, не для денег. Он отдавал отчет, что может последовать критика со стороны «женских эмансипаторов-публицистов и измерителей черепов». Как он сам написал в письме, «науками позаниматься»? То есть образовать себя помимо университетского курса еще и серьезной аналитической, систематизаторской работой: «многое узнаем». Или пойти по научной стезе? Отсюда обещание: «Кончив через год курс, я специализирую себя на решении таких вопросов естественным путем». Может быть, его прельщал честолюбивый замысел, очаровывала игра ума: «Идея оригинальна. Я ее не украл, а сам выдумал. <…> Важны и шипучи выводы и идея сама по себе». А может, в нем проявилась природная склонность к анализу, систематизации — черта, унаследованная от отца, который документально упорядочивал свою жизнь. Отсюда и наивная хроника «Жизнь Павла Чехова», и записные книжки, и дневниковые записи Павла Егоровича.

Среди важнейших дат в хронике отмечено начало царствования русских монархов. В мае 1883 года, когда его средний сын задумал большой труд и уговаривал брата присоединиться к нему, Павел Егорович был воодушевлен коронацией Александра III. Как участник охраны, набранной из благонадежных обывателей, он видел достаточно. Его сердце переполнялось восторгом и благоговением: «О, великое совершилось событие в мире!.. Эти минуты неземные тронули народ до слез, из груди каждого вырвалось прочувственное „ура!“. Моя грудь взволновалась, очи залепились сиянием царского величия. Я думал, что я стою в высшем мире».

Еще бы! Он видел конвой в высоких папахах и кармазиновых черкесках; лейб-эскадрон гвардии казачьего полка; российскую знать. Кортеж казался бесконечным. Толпа обсуждала наряды придворных лакеев, скороходов, охотников в парадных костюмах, коронационных обер-полицмейстеров с жезлами. Золотой фаэтон, запряженный шестью белыми лошадьми, кареты с членами Государственного совета, экипаж императрицы, пажи, статс-дамы, камер-фрейлины — всё это проследовало, прошествовало по улицам Москвы, направляясь в Кремль. На Ходынском поле не

прекращались народные гулянья. В будках выдавали бесплатное угощение. В плетеной корзинке — два пирога (с мясом и вареньем), пакет со сладким (орехи, конфеты, пряники, «цареградские стручки»), глиняная кружка для меда или пива. На поле, на четырех сценах — представления клоунов, военная пантомима, народный театр, цирк. На эстраде — акробаты, раёшники. Тут же рядом качели, карусели, бега, соревнования с призами за победу (серебряные часы, самовар, кумачовые рубахи, плисовые шаровары). И всюду — музыканты и хоры.

Павел Егорович повествовал в письме таганрогскому брату торжественно и проникновенно: «С высоким расположением духа отправился я из Кремля к своему любящему семейству и известил их о благополучном совершившемся торжестве, о виденном». В эти же дни он сподобился присутствовать на освящении храма Христа Спасителя. Это был, наверно, апогей его чувств, как он в таких случаях говорил о себе, Христианина, Гражданина, Патриота. «Семейство» между тем решало житейские обыденные вопросы. Евгения Яковлевна толковала о делах старшего сына, у которого 17 февраля родилась дочка, названная Машей. Незаконнорожденная, для дедушки — ненастоящая. Он по-прежнему твердил о сожительстве Александра: «Незаконно живущие беззаконно и погибнут».

Это задевало Александра. Он иронизировал в письме: «Батька в гонор ударился: не пишет. Он в силу каких-то „юридических“ соображений нашел, что я „не оправдал себя ни любовью, ни доверием“». Через три недели Александр сообщил о разрыве отношений с дядей Митрофаном. Тот поначалу согласился стать крестным отцом внучатой племянницы, но в тот же день через свою жену, Людмилу Павловну, передал отказ. На эти сетования был получен беспристрастный, но не жестокий ответ. Чехов не принял жалобный тон и пафос брата: «Не знаю, чего ты хочешь от отца? Враг он курения и незаконного сожительства — ты хочешь сделать его другом? <…> Ты не идешь против рожна, а как будто бы заискиваешь у этого рожна. <…> Всякий имеет право жить с кем угодно и как угодно — это право развитого человека… <…> А я бы на твоем месте, будь я семейный, никому бы не позволил не только свое мнение, но даже и желание понять. Это мое „я“, мой департамент <…>. Треснуть бы я себя скорей позволил, чем позволил бы своей жене кланяться братцам, как бы высоки эти братцы ни были! Так-то…»

Последовавшее после этого предложение вместе «позаниматься науками» утешало и обнадеживало Александра. Но одновременно имело грустную подоплеку, которая вскрылась в письме Чехова Лейкину, написанном в эти же весенние дни. За

месяц до этого он послал издателю «Осколков» рассказ Александра под псевдонимом, не уточняя, что автор — его брат. Лейкину рассказ не понравился, и даже «во имя рекомендации» Чехова он не поместил его. Однако закончил просьбой — сообщить, кто скрывался за подписью «Единицын» — и согласием: «Да пусть пишет и пришлет еще что-нибудь. Я буду рад, если хорошенькое».

Чехов признался, что речь идет о брате, что он ныне чиновник, а ранее работал в московских изданиях: «Работал сильно и в свое время с успехом: жил письмом. Был малый юмористом, ударился в лиризм, в фантасмагорию и, кажется… погиб для авторства. Хочется удрать от лиризма, но поздно, увяз. <…> Будь он помоложе, из него можно было бы сделать недюжинного работника. Юморист он неплохой. Это можно видеть из одного того, что в таганрогскую таможню поступил, когда уж оттуда всё повыкрали».

Под «лиризмом» имелась в виду субъективность, о которой Чехов уже не раз говорил и писал самому Александру. Он советовал «выбрасывать себя за борт всюду, не совать себя в герои своего романа». Подсказывал брату, что главное в его словесном даре — это юмор, сарказм, а не благодушная описательность, обилие лишних разговоров, слезливый пафос, в которых «увяз» Александр. Может быть, Чехов надеялся, что работа с научными источниками для «Истории полового авторитета» вытащит брата из «благодушия», из словесного сиропа и чувствительности. Он даже предложил Александру: «Тема годится для магистерской диссертации по зоологии… Возьмись-ка!»

Он снова и снова втолковывал брату то, что, по воспоминаниям современников, говорил начинающим: надо много писать, чтобы набить руку, приучиться к литературной работе, но не спешить всё публиковать. Даже ради денег. Когда Александр упомянул многопечатание, которого он якобы лишен в Таганроге, Чехов ответил: «Не завидуй, братец, мне! Писанье, кроме дерганья, ничего не дает мне. 100 руб., к<ото>рые я получаю в месяц, уходят в утробу, и нет сил переменить свой серенький, неприличный сюртук на что-либо менее ветхое. Плачу во все концы, и мне остается nihil. В семью ухлопывается больше 50. Не с чем в Воскресенск ехать. У Николки денег тоже чертм***а***. <…> Живи я в отдельности, я жил бы богачом, ну, а теперь… на реках Вавилонских седохом и плакахом…»

Строка из псалма о вавилонском плене невольно обнаруживала скрытое, но иногда вырывавшееся чувство: он был *в плену семьи*. Денежные заботы «дергали» студента-медика, вынуждали много писать и печататься. Не безденежье, судя по

письмам, пугало Чехова, не ветхий «серенький сюртук». Страшила опасность остаться газетчиком, пропитаться духом этой среды, о которой он нервно и гневно рассказывал Александру в письме от 13 мая 1883 года: «Я, брат, столько потерпел и столь возненавидел, что желал бы, чтобы ты отрекся имени, к<ото>рое носят уткины и кичеевы. <…> Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походить на жулика. <…> Ты не газетчик, а вот тот газетчик, кто, улыбаясь тебе в глаза, продает душу твою за 30 фальшивых сребреников и за то, что ты лучше и больше его, ищет тайно погубить тебя чужими руками…» Двумя месяцами ранее Чехов еще причислял себя к этой среде: «У нас, у газетчиков, есть болезнь — зависть. Вместо того, чтобы радоваться твоему успеху, тебе завидуют и… перчику! перчику! <…> Мелочность! Невоспитанность какая-то… А как всё это отравляет жизнь!»

В письме от 13 мая уже не «у нас», а в «ихней компании», уже обещание: «Скорблю и надеюсь, что рано или поздно изолирую себя à la ты». Уже дан обет: не переступать опасную черту, не писать для изданий, потрафляющих самым невзыскательным вкусам. Издатель газеты «Московский листок» Н. И. Пастухов как-то весной 1883 года повел Чехова в ресторан Тестова и пообещал платить 6 копеек за строчку, хотя известно было, что больше пятака обыкновенно не платил. Это о нем его талантливый репортер В. А. Гиляровский сказал: «Безграмотный редактор на фоне безграмотных читателей, понявших и полюбивших этого человека, умевшего говорить на их языке».

Чехов рассказал о встрече Александру: «Я заработал бы у него не сто, а 200 в месяц, но, сам видишь, лучше без штанов с голой жопой на визит пойти, чем у него работать». Высказался он в этом письме и о журнале, в котором опубликовал уже несколько юморесок: «„Будильник“ я не терплю, и если соглашусь строчить в нем, то не иначе, как с болью. <…> Мои рассказы не подлы и, говорят, лучше других по форме и содержанию <…> но… лучше с триппером возиться, чем брать деньги за подлое, за глумление над пьяным купцом <…>»

Большинство рассказов Чехов печатал в это время в журнале «Осколки». Но роптал на условие — не более 100 строк. Он сам был против «продлинновенного», однако не до такой степени: пиши и считай строки. Однажды, в начале 1883 года, попросил у Лейкина права нарушать строгое предписание «от сих и до сих»: «Я сжимаю, елико возможно, процеживаю, херю — и иногда (как подсказывает мне авторское чутье) в ущерб и теме и (главное) форме. Сжав и процедив, я начинаю считать… <…> расширьте мои права до 120 строк…» Лейкин смилостивился — «расширил»

границы рассказов до 150 строк. Но с условием: присылать «партийки литературного товара» к каждому номеру журнала. Бывало, что в одном номере «Осколков» печатались одновременно два-три рассказа Чехова плюс подписи к нескольким рисункам.

Особенно тяжело было слать очередной «транспорт» в пору экзаменов. Он писал, по собственному признанию, «машинально, полубессознательно», хотя Лейкин уже насторожился. Весной 1883 года он остерегал Чехова, что некоторые его рассказы «несколько серьезны» для «Осколков». История убийства, преступного сговора чиновников и полицейских, раскаяния и самоубийства ямщика («Верба»), конечно, не подходила «юмористическому художественно-литературному журналу». Как и сюжет о ссыльном, вспоминающем в пасхальную ночь, под звон колоколов, о празднике «там», в краю, далеком от сибирского города, и в ту же ночь от тоски, от злобы ли убившем любимую пташку-певунью хозяина-раскольника («Вор»).

Лейкин хотел крепче привязать плодовитого, сговорчивого, явно нуждавшегося автора к «Осколкам». Тем более что его приглашал не только Пастухов. Чехов, по собственному выражению, «открещивался» от московской малой прессы, но в большую его пока не звали. В этой ситуации ревнивый, хитрый Лейкин предложил Чехову вести в своем журнале фельетонное обозрение «Осколки московской жизни» и наставлял: «Говорить надо обо всем выдающемся в Москве по части безобразий, вышучивать, бичевать, но ничего не хвалить и ни перед чем не умиляться». Чехову позволялось черпать факты из московских газет, но «освещать их по-своему».

Это был ловкий ход. Фельетоны, особенно «бичующие» и «вышучивающие», могли рассорить их автора с московскими журналистами. И без того уже не очень «свой» в компании газетчиков, он превратился бы в «чужого», во «врага», в конкурента из лагеря питерской прессы. Вероятно, возможная изоляция не пугала Чехова — он сам говорил, что хочет покинуть этот мирок. Но фельетонный хомут (два раза в месяц), характер обозрения (краткий комментарий того или иного факта, события), подача (непременно юмористическая, сатирическая, ироническая) могли задавить то «серьезное», что уже проступало в рассказах Чехонте.

Лейкин, по воспоминаниям современников, говорил о себе, что он «маленький Щедрин». Приручая Чехова, склоняя его исключительно к своему любимому жанру — маленькой сценке, зарисовке, словесной карикатуре, — редактор-издатель «Осколков», может быть, видел в своем литературном «крестнике»

«маленького Лейкина», крещенного в «купели» журнала «Осколки».

Что стояло за согласием Чехова? Только ли безденежье? Разрыв с московскими газетчиками? Или такое же побуждение, что и в замысле научного труда? Попробовать свои силы? Одолеть распутье: медицинская практика, литературная работа, научная стезя? Обо всех трех дорогах он говорил в 1883 году очень осторожно, без воодушевления, с оговорками. Студент старших курсов, он уже сомневался: «Погружусь в медицину, в ней спасение, хоть я и до сих пор не верю себе, что я медик, а сие значит, что… так говорят по крайней мере, а для меня решительно всё одно… что не на свой факультет я попал». Задумав «Историю полового авторитета», а может быть, уже и труд «Врачебное дело в России», он говорил о предстоящей работе и всерьез, и с некоторой самоиронией — «гуляючи», «позаниматься», — и намеревался отказаться, если старший брат не войдет в компанию: «Скучно будет одному ориентироваться в массе. Вдвоем веселей».

Еще больше сомнений и иронии в отзывах Чехова о своем сочинительстве. Он звал его в эти годы — «литературничеством». Однажды, осенью 1884 года, написал Лейкину: «Литература Ваша специальность… <…> А я, пишущий без году неделю, знающий иную специальность, не уверенный в доброкачественности своих извержений, не имеющий отдельной комнаты для письма и волнуемый страстями…, могу ли я поспеть за Вами? Если буду писать двадцатую часть того, что Вы пишете, то и за это слава Богу…»

Но он и не гнался за плодовитым хозяином «Осколков». Что-то другое, кроме семейных неурядиц, безденежья, напряженных занятий в университете, беспокоило и нервировало этого внешне спокойного и веселого молодого человека. Да, ему претила газетно-актерская среда, с ее, как он говорил, «пьянством, юнкерством, бесшабашным пренебрежением делом, сверненьким заискиванием популярности».

Но к себе он еще беспощаднее: «Я, каюсь, слишком нервен с семьей. Я вообще нервен. Груб часто, несправедлив…» Душевное смятение прорывалось в письмах тех лет: их стиль становился энергичнее, предложения короче. В них сквозили скрытое нетерпение, беспокойство, даже тревога, а порой и неуверенность в себе, которую он одолевал широкими научными замыслами, пробой сил в новом деле. Его ноша увеличивалась и увеличивалась.

Чехов согласился на фельетоны, но предупредил Лейкина, что «неопытен и малосведущ», что не ручается за написанное,

(вдруг будет сухо, бессодержательно, не юмористично). Обещал: «Буду стараться. <…> Пробую свои силишки, но… тоже не верю. <…> Решайте…» В этом письме от 25 июня 1883 года есть признание: «Был расстроен, а вместе со мной расстроилась и моя шарманка. Теперь пришел в себя и сажусь за работу». Осознавал ли он, что теперь «шарманке» предстояла еще большая работа, что он невольно уклонялся от беллетристики, а обретет ли что-то в фельетонном деле как литератор, сказать трудно.

И «шарманка» заработала. В «Осколках московской жизни» досталось в ближайшие годы (1883–1885) и увеселениям в московских садах «Аркадия» и «Эрмитаж», и дачным балам, и плачевному состоянию зоосада, и проваливавшимся мостовым. Автор не оставлял в покое развлекательные салоны, адвокатов, дерущих баснословные гонорары, профессиональных нищих, продажных полицейских, «творцов» уголовных романов и пошлой «помойной» живописи. Но за многих в своих фельетонах он заступался. Сочувствовал, например, мальчикам-лавочникам, этим «маленьким каторжникам». В рассказе о том, как им живется, угадывались таганрогская лавка Павла Егоровича, доля «мальчиков» Андрюшки и Гаврюшки, собственные воспоминания. Чехов писал о рабочих, изгнанных без пособия людьми, «получающими десятки тысяч за курение гаванских сигар».

В молниеносных зарисовках запечатлелось множество человеческих типов. Они обрисованы двумя-тремя, а то и одной строкой. Адвокат, «бойкий и игривый, как только что откупоренные кислые щи». Редактор, который, купив большую газету, «носит сапоги на двойной подошве, пьет чай внакладку и ходит в дворянские бани». Брандмейстер, входящий во время пожара «в такой азартный задор, что даже с лошадьми истерика делается». Модный актер, похожий на баловня-кадета, «приехавшего на каникулы к маменьке».

Чехов отдавал фельетонам свой запас наблюдений. Возникал многонаселенный, иногда уродливый, порой карикатурный мир. В каких-то чертах схожий с тем, что остался в рисунках Николая, еще появлявшихся в журналах «Будильник», «Осколки», «Свет и тени». Вместе они явили картину московских нравов, пеструю смесь глупости, корысти, невежества, пошлости, житейского безобразия. Приятель Чехова, поэт Пальмин, сказал о нем как о фельетонисте: «Он пёсик хороший и остроумный». Но не злой, а тем более не злобный. Однако многих он задел, «оцарапал» своим пером, своими «осколками». Вероятно, в этих фельетонах истоки явной или скрытой антипатии к Чехову некоторых современников, проверка товарищеских отношений.

Что испытывал А. И. Сумбатов (Южин), будущий добрый

приятель Чехова, знаменитый актер московского Малого театра, если прочел насмешливые слова, что не ему «со своей фигуркой и со своим писарьским голоском лезть в Уриэль Акосты»? Мог ли популярный актер А. П. Ленский, человек самолюбивый, извинить «комплимент», что он обрюзг, потолстел, но «фигурен и французист по-прежнему»?

Из журналистов, редакторов, актеров, антрепренеров, задетых хлестким словом в «Осколках московской жизни», можно составить зрительный зал, который, наверное, гневно освистал бы автора, появись он на сцене воображаемого театра, за его «легкий юмор и колючее остроумие». Он писал о плохой драме, что она «написана помелом и пахнет скверно». Обнажал расчет антрепренера на постановку скандальной пьесы: «где скандал, там сбор, а где сбор, там некогда считаться со своими убеждениями». В ответ обиженные сплетничали, распускали слухи, что Чехова будто бы отлучают от газет. Будь воля московских чиновников, богатеев, преуспевавших адвокатов, корыстолюбивых владельцев ресторанов — они изгнали бы из Москвы этого писаку, позорящего их в столичном журнальчике.

Чехов высмеивал глупость, претенциозность, жадность богатых, не замечавших городского люда, презиравших бедных и обиравших беспомощных. Но саму Москву он любил — за колокольный звон в пасхальную ночь, за Татьянин день, когда, по его словам, бывает «выпито всё, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла». Любил за храмы, за книжные развалы. В 1881 году он звал товарища по таганрогской гимназии: «Переезжай в Москву!!! Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич. <…> Что ни песчинка, что ни камушек, то и исторический памятник! Приезжай!!!»

В отношении Чехова к Москве, как и к Таганрогу, уловима черта между городом как таковым и его обитателями. Окружение, среду Чехов исчерпывал довольно скоро. Может быть, потому, что природная наблюдательность и проницательность, усиленные газетной работой, медицинской практикой в клиниках и больницах, словно фокусировали впечатления. Уяснив главное, он как будто терял интерес к человеку, хотя оставался вежлив. Некоторые приятели, особенно самолюбивые, мнительные, потом говорили о Холодности, равнодушии Чехова. А он, вероятно, не позволял себе привязываться, привыкать к месту, к человеку, потому что тогда отношение, чувство обретали другой характер, отнимали время, занимали ум.

Судя по письмам, по воспоминаниям современников, Чехов не скучал по Таганрогу. Он не проклинал родной город, как

Александр, никогда не отрекался от него, но не собирался возвращаться туда после университета по многим очевидным и скрытым причинам. Москва быстро избавила бывшего таганрогского гимназиста от южного говора, от домашнего разговорного обихода. Высокопарные обороты вперемежку с просторечием, напоминавшие стиль душеспасительных посланий отца и дяди («имею счастье», «полный приятнейшего воспоминания о Вашем радушнейшем гостеприимстве», «переулки солил», «считаю за счастье», «беру на себя смелость»), стерлись, исчезли.

Летом 1880 года Чехов с братом Николаем ездили в Таганрог по делам и попали на свадьбу родственника. Наслушались рассуждений вроде тех, что девушкам надо скорее выходить замуж, «ведь это для женщины всё ученье и назначенье», или что нравы испортились — «распустили народ до дикости, кто что попало берет, тащит как свое и без наказания», или неизбежное, что они, провинциалы, лучше «столичных». Девицы внимали речам москвичей с усмешкой: «Какие вы насмешники!» Студент-медик учил их произносить фразы «Как ви наивны!», «Ах, какая скука!» с кокетливой иронией и удивлял барышень голубой сатиновой косовороткой. Смешливые, простодушные, они могли то вдруг пихнуть кавалера локтем, то принять томную позу. Но они не были «куклами» — так Чехов называл городских ломак за их неестественность. Братья болтали с барышнями о свадьбах, увлечениях. Шутили над их выговором. Одна из них признавалась потом Чехову, что писала бы ему в Москву, да стеснялась ошибок.

Тем же летом Чехов побывал в имении В. И. Зембулатова, одноклассника и однокурсника. За гостеприимство отплатил занятиями с младшим братом своего приятеля. Ходил босиком, в красной рубахе, а при гостях в студенческой куртке. Кроме уроков, ловил рыбу, катался на лодке, резал лягушек, читал. Наблюдал степные нравы, охоту на дроф, стрепетов, куликов, степных чаек или с собаками на куропаток.

Чехов запомнился всем, видевшим его тогда, таким, каков он и на фотографии 1880 года: густая шапка волос, ощущение спокойной силы, ясности. На портрете 1884 года, написанном Николаем Павловичем, может быть, лучшем портрете Чехова, хотя картина осталась незавершенной — усталый, ушедший в себя человек. Пять лет — и такая перемена!

На эти первые московские годы пришлись учеба в университете, репетиторство, многописание в газетах и журналах, усиленное чтение (литература по специальности, текущая беллетристика, чтение в связи с научными замыслами). Сохранился список книг, намеченных к прочтению и частично

просмотренных для работы «Врачебное дело в России». Это свыше ста пятидесяти названий: сборники стихов, песен, сказаний, пословиц, притч, преданий, а также летописи, исследования, посвященные русскому быту, нравам, фольклору, истории России, дневники, каталоги…

В какой-то момент, наверно, ноша стала непосильной. Сбросить он смог только научные замыслы. Но осталась, видимо, мысль о некоем большом обобщающем труде, позволившем бы уяснить что-то существенное в прошлой и настоящей жизни России.

Свою роль сыграл и непокой в семье из-за старших братьев. Александр побывал летом в Москве с женой и дочкой. Он опускался физически. Вера в то, что он очнется, изменится, неуклонно умалялась. Сомнения прочитывались даже в эпистолярном некрологе доброму приятелю Чехова, журналисту Ф. Ф. Попудогло, умершему в октябре 1883 года. Редко о ком говоривший «мой друг», Чехов именно так назвал Федора Федосеевича. Он ценил приятеля за начитанность, порядочность, помогал, чем мог, но: «Умер он от алкоголя и добрых приятелей, nomina коих sunt odiosa[4]. Неразумие, небрежность, халатное отношение к жизни своей и чужой — вот от чего он умер 37 лет от роду».

Это написано в таком же тоне, как в февральском письме о брате Николае: «Гибнет хороший, сильный русский талант, гибнет ни за грош…» Он тянул и Николая в «Осколки», давал темы рисунков — всё было напрасно. В те же октябрьские дни Чехов делился с братом Иваном: «Мне было бы приятно, если бы ты служил в Москве. Твое жалованье и мои доходишки дали бы нам возможность устроить свое житье по образу и подобию божию. Живу я мерзко. Зарабатываю больше любого из ваших поручиков, а нет ни денег, ни порядочных харчей, ни угла, где бы я мог сесть за работу. С Николаем мне не жить, не потому что я этого не хочу, а потому, что он сам не захочет. Он до 70-летнего возраста не расстанется с <…> портерным образом жизни. В настоящее время денег у меня ни гроша. С замиранием сердца жду 1 — го числа, когда получу из Питера. Получу рублей 60 и тотчас же их ухну». Он еще надеялся, что вырвет Николая у «баб», отлучит от него или его от пьющих приятелей. Урезонивал не лгать, не давать пустых обещаний. Хвалил за удачные рисунки, защищал брата перед отцом.

Осенью 1883 года Чехов, студент пятого курса, работал в клиниках, вел больных, заполнял «скорбные листы». Сдавал, так называемые «выпускные экзамены», повторные экзамены за предыдущие годы. Это была страшная зубрежка — он шутил, что

забыл всё, что знал. Первые симптомы усталости, перенапряжения упоминались в письмах Чехова еще в 1882 году. Он плохо спал, говорил, что его «передергивает». Позже написал: «Живется сносно, но здоровье уже увы и ах! Работаешь, как холуй, ложишься в пятом часу утра. <…> уж нет лишнего мясца! Говорят, я похудел до неузнаваемости. Ну, и женщины…»

Признавался, что ему хочется отдохнуть. Просил Лейкина в декабре 1883 года освободить его от «Осколков московской жизни»: «Не похерить ли Вам Рувера? Руверство отнимает у меня много времени, больше, чем осколочная беллетристика, а мало вижу я от него толку. <…> Я крайне утомлен, зол и болен. Утомили меня мои науки и насущный хлеб <…>. К утомлению прибавьте геморрой (черти его принесли). Три дня на прошлой неделе провалялся в лихорадке. Думал, что тифом от больных заразился, но, слава Богу, миновала чаша».

Лейкин свободы не дал и «руверство» не похерил — Чехов был его главным автором. Тем не менее платили ему по-прежнему. За фельетонное обозрение Чехов получал всего 15 рублей в месяц. Но он нуждался в них, посему с усмешкой над собой ответил работодателю: «Ладно, буду продолжать мой фельетон. Слушаюсь». Поздравительное письмо 31 декабря закончил словами: «Мороз. Метелица… А за сим с почтением Ваш покорный слуга А. Чехов».

Глава четвертая. ЧЕХОНТЕ — АН. ЧЕХОВ

Чехов был покорным сыном. Так считали и говорили родители и старшие братья. Он, вероятно, смирялся с тем, перед чем оказывался бессилен. Или чего не хотел менять, оберегая, по его выражению, покой своей совести.

В отношении остального проявлялась одна из черт его характера: усовершенствовать, упорядочить, посмотреть с точки зрения соответствия, назначения, соразмерности. Его коробили беспорядок, неопрятность в быту. Вспоминали, что, расхаживая по комнате, он молча машинально поправлял некрасиво сдвинутую скатерть, перекладывал небрежно брошенную вещь. Вероятно, это было врожденное чувство меры, красоты. Убожество и теснота квартир, в которых большая семья обреталась в первые московские годы, нервировали его, в чем он не однажды признавался.

Летом минувшего, 1883 года, как раз в дни пребывания в Москве старшего брата, он описал Лейкину домашнюю обстановку: «Пишу при самых гнусных условиях. <…> в соседней комнате кричит детиныш приехавшего погостить

родича, в другой комнате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела“… Кто-то завел шкатулку, и я слышу „Елену Прекрасную“… <…> Ревет детиныш!!! Даю себе честное слово не иметь никогда детей… <…> Думаю, как бы и где бы задать храповицкого».

Одолеть эту катавасию пока не получалось. Чехов невольно покорялся, подчинялся. Но в том, в чем чувствовал себя свободным, исподволь или прямо предлагал, на его взгляд, улучшения, разумные перемены. В начале года Чехов написал хозяину журнала, какими ему видятся «Осколки». Он опасался, что издание всё более становилось фельетонным, сухим, шаблонным: одно и то же, об одном и том же… Лейкин ответил 19 февраля 1884 года, грубо дав понять, кто есть кто: «Вы упрекаете меня, что я придаю фельетонный характер „Осколкам“. Удивляюсь такому упреку! Если бы я мог, я сделал бы „Осколки“ от строчки до строчки фельетоном, но людей нет. Вы забываете, что „Осколки“ журнал, журнал еженедельный, а не сборник, журнал должен откликаться на все злобы дня, как крупные, так и мелкие».

Славословя себя в литературном кругу Петербурга за то, что «открыл нового Щедрина», Лейкин вольно и невольно превращал Чехова в узкого, банального фельетониста, чем тот, конечно, был недоволен. Об этом упоминал в своих письмах Пальмин: «Жалуется всё он, что „Осколки“ носят слишком фельетонный характер и что при малом их объеме слишком мало в них поприща для беллетристики и негде разгуляться авторскому перу и его творчеству». Но дело, конечно, не только в границах, то есть в разрешенном издателем количестве строк. Лейкин уже отклонял некоторые рассказы Чехова: либо слишком «серьезные», либо «не юмористичные». Он правил его рассказы, иногда предваряя придирки цензуры, иногда просто по своему вкусу. Не часто, но тем не менее…

Цензура в эти годы (1884–1886) следила за журналами неукоснительно и строго. Лейкин иногда взвывал от досады, хитрил, обходил препоны. Рассказ Чехова «Упразднили» цензор счел насмешкой над распоряжением правительства об отмене чинов майора и прапорщика. Рассказ «Унтер Пришибеев» не «дозволили» к печати в «Осколках», сочтя карикатурой не на отставного унтера, а на полицию. В рассказе «Циник» цензор усмотрел «пессимистическую тенденцию» и «тенденциозные намеки». О рассказе «К сведению мужей» было доложено цензурному комитету: «Статья эта излагает в шутливом роде несколько способов покорения чужих жен. Несмотря, однако, на шутливый тон ее, по безнравственности самого предмета,

неприличию сладострастных сцен и циничесих намеков, цензор полагал бы к печати не дозволять». Комитет согласился и «не дозволил».

Всё это: пределы (от сих до сих), редакторский нажим (в первую очередь фельетон, потом рассказ), сроки (обязательно к очередному номеру) — тяготило Чехова. Он считал, что фельетонное дело не его специальность, а иногда выражался еще резче: «Репортерство — одно говно!» О своих «мелочах» отзывался не лучше: «юмористическая дребедень». Собственные рассказы и фельетоны той поры он не щадил: «не важно», «вещичка ерундистая», «заметки бледны», «рассказ не отшлифован», «заметки опять не того», «не клеится мой фельетон», «плохо удался», «скверный», «фельетон ужасен». И лишь однажды — «рассказ вышел удачный».

За первые пять лет «бумагомаранья», как называл Чехов свою работу в малой прессе, он перепробовал, наверно, все излюбленные жанры мелких юмористических изданий: пародия на послание, на гимназическое сочинение, на литературные штампы; «объявления»; комическая реклама; «календарь»; «письмо в редакцию»; «дневник»; форма документа (доверенность, завещание, донесение, предписание); афоризмы; юмористическое подражание «святочному рассказу», «роману ужасов», «письмовнику» и т. д. и т. п. Словно он вырабатывал противоядие литературной «саркоме», как впоследствии называл подражание, сжирающее индивидуальность.

Поначалу во всем этом Чехов не чурался банальных острот, просторечных слов («таперича», «бывалыча», «рупь», «акромя» и т. п.), даже вульгаризмов. Но вскоре они исчезли. В 1883 году он уже написал больше рассказов, чем юмористической «мелочишки». Среди них: «В цирюльне», «Смерть чиновника», «Злой мальчик», «Дочь Альбиона», «Шведская спичка», «Толстый и тонкий». Форма рассказов усложнялась. Иногда он брал свой сюжет и писал заново, переводя его в психологический план. Пробовал прием — через восприятие героя. Смешное порой оборачивалось трагическим.

Именно такие рассказы чаще всего раздражали Лейкина, который, судя по письмам, предчувствовал, что не удержит Чехова долго. Он сам наблюдал, какое впечатление Чехов произвел на Н. С. Лескова, когда они вместе приехали в Москву осенью 1883 года и познакомились с молодым литератором. Чехов тогда рассказал о встрече с Лесковым в письме Александру: «Еду однажды с ним ночью. Обращается ко мне полупьяный и спрашивает: — „Знаешь, кто я такой?“ — „Знаю“. — „Нет, не знаешь… Я мистик…“ — „И это знаю…“ Таращит на меня свои

старческие глаза и пророчествует: — „Ты умрешь раньше своего брата“. — „Может быть“. — „Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида… Пиши“». Чехову, хорошо знавшему Библию, был внятен сюжет о помазании из Первой книги Царств и намек в реплике спутника на царя Давида, создателя псалмов, вообразившего себя пророком. Но за шуткой угадывалась проницательность умного, опытного Лескова.

Оставаясь пока в рамках юморески, «осколочного» рассказа и фельетона, начинающий автор менял знакомую форму, сюжеты. О нем заговорили как «о подающем надежды». Казанский литератор В. Д. Сушков уже в то время сказал, что Чехов быстро выделился «из числа рядовых литературных тружеников и рабочих». Он благодарил Чехова за рекомендацию в «Осколки», за готовность составить протекцию в московских юмористических журналах. Рассказывал в письмах о жизни и нравах провинциальной прессы. Например, о местном цензоре, который в строке из театральной рецензии — «в игре его царит полная необдуманность» — заменил слово «царит» на «господствует». Весной 1884 года Сушков поведал с иронией историю своего рецензентства в «Казанских губернских ведомостях». Платили ему 2,5 копейки за строчку, зато печатали всё, за исключением купюр, сделанных «крестным папенькой», то есть цензором: «Если бы Вы только знали, дорогой Антон Павлович, сколько врагов я нажил себе в лице разных непризнанных талантов! <…> Зато я прекрасно изучил закулисный быт провинциального актерства со всеми интригами и дрязгами».

Об обидах и испорченных отношениях Чехов мог рассказать своему корреспонденту еще больше. В начале 1884 года он попросил Лейкина: «Потом, нельзя ли мой фельетон пускать без подписи? Теперь уж все знают, что я Рувер. Пушкарев совсем разобиделся, Мясницкий обидится… Все знакомы — хоть перо бросай! Пускайте без подписи, а я буду говорить, что я уже бросил фельетоны писать. Если же без подписи нельзя, то подпишите какую-нибудь букву (И.В., например). Если же перемена псевдонимов почему-либо отрицается Вами, то оставьте этот пункт без последствий». Уже второй раз Чехов пытался избавиться от «Осколков московской жизни». Но, видимо, не надеялся, потому что предусмотрел отрицательный ответ. И оказался прав — Лейкин всего лишь переменил Рувера на Улисса да еще повелел: «Стреляйте только направо и налево и подстреливайте всех нещадно».

Чехов соглашался аккуратно присылать что-нибудь беллетристическое в каждый номер, лишь бы не фельетон, эта надоевшая чепуха: одно и то же, из года в год. Все те же мелкие

чиновники, воображавшие себя важными «шишками» и глумившиеся над обывателями; всё тот же неразрешимый «собачий вопрос»; всё та же грязь в дешевых трактирах и в дорогих ресторанах, в богадельнях и приютах.

Городская управа по-прежнему плодила комитеты и комиссии, члены которых забывали, зачем их создали, но исправно получали жалованье. Как и в прошлые годы, прозябал зоологический сад, где от голода дохли звери, а на благотворительные банкеты и торжества тратились десятки тысяч. Опять бесконечные судебные процессы по копеечным искам, и снисходительность Фемиды к казнокрадам и крупным банковским аферистам. Все повторялось, ничего не менялось… И нравы в среде газетчиков тоже.

В редакцию «Будильника» приходили анонимные письма, якобы от постоянного читателя. Он возмущался засильем «скучных» вещей Антоши Чехонте в ущерб талантливому автору N. Почерк и слог показались в редакции знакомыми. Выяснилось, что писал один из приятелей Чехова — тот самый автор N. После одной из таких «паскудных» выходок в декабре 1883 года Чехов не удержался: «Малый я человек, среди газетчиков еле видим — и то им понадобился! Черти, а нелюди». Но продолжал «марать бумагу». Как бросить «Осколки», если это основной заработок, если Лейкин готов публиковать рассказы Александра и рисунки Николая? «Осколки московской жизни» вязали его по рукам и ногам, особенно весной 1884 года, в пору бесконечных выпускных экзаменов. Но никуда не деться: «Отвалил полсотни за дачу, отдал четверть сотни за слушание лекций, столько же за сестру на курсы и проч. и проч. и проч. <…> Здоровье мое не из блестящих: то здоров, то стражду. Пью и не пью… Определенного пока еще ничего не видно».

Что предполагал или боялся увидеть Чехов? Определенные, несомненные симптомы болезни?

* * *

В начале июня 1884 года он подвел первую черту под своей «медициной» и своим «литературничеством». Во-первых, сдал экзамен на степень лекаря и был допущен к экзамену на звание уездного врача. Во-вторых — собрал и издал книгу: «Сказки Мельпомены. Шесть рассказов А. Чехонте» (общий тираж — 1200 экземпляров). Впервые он попытался выпустить книгу своих рассказов еще летом 1882 года. Иллюстрировал ее брат Николай. Рисунки получились легкими, остроумными, но книжка

«Шалость» (другие предполагавшиеся названия — «На досуге», «Шалопаи и благодушные») не появилась. Почему — сказать трудно, но Чехов о ней не говорил и не вспоминал в своих письмах.

«Сказки Мельпомены» он подарил редакторам «Осколков» и «Будильника», своим «кормильцам». Наверняка вручил по книге Николаю и Ивану, а тем более Александру, который в это время был в Москве, помогал: ездил в типографию, развозил небольшие партии по книжным магазинам. Издал книгу Чехов на свои деньги, шутил, что сделал это «экспромтом, от нечего делать, спустя рукава…». А деньги? Ну, так, по его словам, «на пропивку и амуры просаживали больше, отчего не просадить на литературное удовольствие?».

Александр тогда обрушился на родных внезапно. В последний месяц зимы умерла в мучениях его дочка Маша. Когда она заболела, он прислал в Москву телеграмму, где описал симптомы. Таганрогские врачи говорили, что у девочки режутся зубки. Чехов, по совокупности признаков, поставил заочно точный диагноз: менингит, выздоровление будет чудом. В своем дневнике Александр оставил в дни агонии страшные записи. В Москве он запил. Анна Ивановна, ожидавшая еще одного ребенка, посылала деверю отчаянные записки. Чехов искал брата — и находил его вместе с Николаем в дешевом трактире или портерной. Оставлял злосчастной женщине денег, а брата увозил с собой в Воскресенск и в Звенигород, где работал в больнице. В дни просветления Александр рассуждал, как наладить свою жизнь. В конце августа у него родился сын, названный Николаем. У «главы семейства» не было ни службы, ни заработка, он перебивался редкими гонорарами за рассказы.

В одном из них («Завтра — экзамен») воспроизведен быт семьи Чеховых: Маша изображает ученую барышню, гимназист Мишка напускает на себя важность. Николай не то болен, не то мучается после вчерашнего. Федосья Яковлевна вся в поисках любимой собаки Корбо. Евгения Яковлевна — в заботах о рубашке сына то и дело отрывает сына-студента от книг, ожидая от него сочувствия.

Автор точно схватил и передал знакомую с детства родительскую речь:

«Ты знаешь, что прачка не принесла тебе сорочки к завтрашнему дню? Сердце мое болит и обливается кровью: ну, в чем ты пойдешь завтра на экзамен? Три раза посылала к ней, подлой: все говорит, что погода сырая, белье не сохнет. Развяжи ты меня, Христа ради, скажи, как быть? Ведь профессор твой не мальчишка… Сейчас видит, что грязно…

— Ступайте, пожалуйста. Пойду в грязной сорочке! Разве вы не можете понять, что вашими пустыми разговорами вы отнимаете у меня время и мешаете мне работать? Ступайте поскорее…

— Кто, я-то мешаю? Скажите, пожалуйста! Я о нем же хлопочу, чтобы он был чисто одет, и я же виновата!! Вот так-то вот, наживи детей, ухлопай на них все свое здоровье, а после и жди благодарности!.. Сколько я болела за вас, сколько страдала, когда вы были маленькими, сколько из-за вас от отца потерпела…»

Но летом 1884 года все экзамены были позади. Чехов шутил: «<…> родители мои благородные плебеи <…> такое мне уважение оказывают, словно я в исправники попал. Они мнят, что в первый же год я буду ворочать тысячами. <…> Придется разочаровать бедняг». У Павла Егоровича, наверно, был еще один повод для гордости — его сын, первый в семье, исключался из податного состояния. Отныне он не считался таганрогским мещанином, получал свободу передвижения и право на бессрочный паспорт. Для получения паспорта он должен был записаться в почетное гражданство или хотя бы на короткий срок поступить, а потом уволиться с государственной службы. Чехов теперь в шутку подписывался: «Лекарь и уездный врач А. Чехов».

По письмам можно подумать, что он позволил себе отдохнуть летом 1884 года: «Разленился я ужасно»; — «погода <…> великолепная… не до работы…» На самом деле он работал — принимал больных в земской больнице недалеко от Воскресенска, ездил на вскрытия, потом подменял доктора в Звенигородской больнице. Больных было много, по 30–40 человек в день.

О себе, как о враче, Чехов всегда говорил осторожно. Признавался, что боится причинить боль, оперирует бережно: «нерешителен и трус». И называл свой труд «врачеванием». Он практиковал еще на последнем курсе. Его пациенты — это приятели, их квартирные хозяева. Гонорар — рубль, иногда три рубля. Его приглашали знакомые дамы, жаловались на «расстроенные» нервы. Но вскоре становилось понятно, что им нравился привлекательный, умный, вежливый доктор. Пользовал он всякие болезни — простуду, детские инфекции, желудочные и кишечные заболевания. В это время он еще не решил — быть ли частнопрактикующим врачом, устроиться ли на земскую службу, совмещать то и другое? Некоторым современникам казалось, что из него не выйдет хорошего доктора, потому что он склонен к размышлениям, его интересует история болезни, он ищет истоки явлений, общие закономерности.

Кое-кто из окружения Чехова полагал, что, получив аттестат,

он оставит сочинительство, так как занимался им только ради заработка. Еще зимой 1884 года Лейкин вынес вердикт: «Нет, посмотрю я на Вас, Вы не журналист». Не потому ли он старался выжать из Чехова всё, что мог?

Летом 1884 года Чехов словно открещивался от недавнего журнального прошлого. Он убеждал Лейкина, что исчерпал себя в качестве фельетониста, сочинителя острых подписей под чужими рисунками: «Отдал всё, что было — хорошее и херовое — и больше ничего не осталось». Он не скрывал: всё, что угодно — рыбная ловля, прогулки за грибами, прием больных, — только бы не писать фельетонную мелочишку, вызывавшую в нем отвращение.

А рассказы? Он упоминал о них в письме Лейкину от 25 июня, но как-то раздраженно: «Монастырь поэтичен. Стоя на всенощной в полумраке галерей и сводов, я придумываю темы для „звуков сладких“. Тем много, но писать решительно не в состоянии… Скажите на милость, где бы я мог печатать такие „большие“ рассказы, какие Вы видели в „Сказках Мельпомены“? В „Мирском толке“? И к тому же лень… Простите, ради Бога…»

За что он просил прощения? Лейкин при всяком удобном случае внушал, что без «Осколков» ему не обойтись. Когда Чехов попросил не печатать в «Осколках» объявление о «Сказках Мельпомены»: «У вас и так тесно, да и книжка моя не в духе „Осколков“. Подождем собрания юмористич<еских> рассказов, если таковое будет когда-нибудь…», — Лейкин только отмахнулся. И объяснил, что другой такой рекламы не найти, ибо его журнал получают «в Петербурге в 900 трактирах да в 300 портерных» и лежит он там целую неделю: «Это лучше всякой газеты. „Осколки“ вы найдете в каждом клубе, даже провинциальном».

Итак, в первые московские годы читатель Чехонте — это московский торговый люд, мелкие чиновники, завсегдатаи петербургских трактиров и провинциальных клубов. Если пробивалось что-то «серьезное», не в духе «Осколков» или «Будильника», это часто отклонялось, исправлялось, откладывалось… Между тем оно усиливалось в рассказах, проступало в письмах, обнаруживая душевное состояние Чехова, потаенное сочинительство.

В июньском письме Лейкину он описал судебно-медицинское вскрытие так, что получился рассказ: «Вскрывал я вместе с уездным врачом на поле, под зеленью молодого дуба, на проселочной дороге…<…> Труп в красной рубахе, новых портах, прикрыт простыней… На простыне полотенце с образком. Требуем у десятского воды… Вода есть — пруд под боком, но

никто не дает ведра: запоганим. Мужик пускается на хитрость: манехинские воруют ведро у трухинских… Чужого ведра не жалко… Когда они успевают украсть и как и где — непонятно… Ужасно довольны своим подвигом и посмеиваются…<…> Смерть насильственная, происшедшая от задушения. Пьяного давили в грудь чем-то тяжелым, вероятно, хорошим мужицким коленом».

Во всем, что видел Чехов тем летом, разъезжая по уезду, принимая больных, знакомясь с врачами (некоторые, как П. И. Куркин, навсегда остались его приятелями), он находил, по собственному признанию, «массу беллетристического материала». Но всё это не годилось для «Осколков», показалось бы скучным посетителям трактиров и пивных, а тем более «клубным» людям, жаждавшим развлечений, «клубнички», «перчика».

Наблюдения, подробности, детали, впечатления запоминались, копились… А пока Чехов делал срочную работу, то есть фельетоны, «царапал» юморески для «Осколков», да еще отдал в газету «Новости дня» повесть «Драма на охоте». Здесь ждали, брали, печатали, платили… Хотя заработков по-прежнему недоставало. Отказаться от «Осколков», «Развлечения», «Будильника» значило оказаться без денег. Он и так шутил в письмах: «Совсем я разорился и кричу караул…<…> Нужно бы в Москву съездить за деньгами, да денег нет на дорогу… Комиссия!»

Два слова повторялись в летних письмах 1884 года: «скверно» и «лень». Скверны и рассказы («до того скверный, что и посылать жутко»), и погода, и настроение. Лень сидеть за столом, лень писать письма… А еще — скучно, скучно… Ключ к этому настроению, наверно, в признании: «Жить можно… Одно только скверно: ленив и зарабатываю мало». Скучно, лень было писать для «Осколков» и «Будильника», но в большие журналы и газеты его не приглашали. Лейкин же хотел еще сильнее привязать Чехова к своему изданию. Приехал в сентябре в Москву, чтобы, по его словам, дать «родительское наставление о том, что именно нужно для журнала» и поговорить «по душам». Он даже намеревался перетянуть одаренного автора в Петербург, говорил с ним о месте врача в столице. Может быть, почувствовав настроение своего московского «столпа», Лейкин пошел на почти невозможное для него: в ноябре рекомендовал Чехова в «Петербургскую газету».

Переезжать в Петербург? Одному? Павел Егорович не бросил бы службы у Гаврилова. Евгения Яковлевна скучала бы по Николаю и Ивану. Сестра еще училась на курсах, а Михаил в гимназии. Наверно, можно было бы посылать им деньги. Но с

самого приезда Чехова в Москву его роль не сводилась к роли кормильца. Он *держал семью*. В том, что он называл «*скукой*», просвечивали симптомы *тоски*, постоянного душевного напряжения, ожидания плохого.

В шутку или всерьез Чехов в это время предположил в письме старшему брату: «Гляжу на себя и чувствую, что не жить нам, братцы, вместе! Придется удрать в дебри в земские эскулапы… Милое дело!» От кого «удрать»? На кого оставить опускавшегося Николая и Александра, всё еще пребывавшего с семьей в Москве, нигде не служившего, перебивавшегося редкими гонорарами и к тому же заливавшего свое горе вином?

Денег требовалось всё больше. Просьба о фельетонах в «Петербургскую газету» — от полного безденежья: «Человек я семейный, неимущий…<…> Мне нельзя зарабатывать менее 150–180 руб. в месяц, иначе я банкрот». Бюджет семьи утроился за последние три года, и Чехову приходилось, как он говорил, «понатуживаться» всё сильнее и сильнее.

С 22 ноября он начал «оглашенно» писать о деле купца Рыкова. После целого дня в зале суда Чехов строчил отчеты для «Петербургской газеты» и фельетон «Осколки московской жизни». Он воссоздавал крупную финансовую аферу, провернутую полуграмотными людьми, объегорившими шесть тысяч вкладчиков. В этих корреспонденциях всё нетрадиционно, не так, как в обычных судебных отчетах: зарисовки адвокатов, присяжных заседателей, публики. Он говорил в эти дни, что пишет, как «угорелый», что «дело непривычное и, сверх ожидания, тяжелое». Иногда изливал в письмах свою «копеечную скорбь».

7 декабря 1884 года у Чехова пошла горлом кровь. Он пошутил: «Вообще — благодарю, не ожидал! Три дня не видал я белого плевка, а когда помогут мне медикаменты, которыми пичкают меня мои коллеги, сказать не могу. <…> Причина сидит, вероятно, в лопнувшем сосудике…» Молодой дипломированный врач, с необыкновенным чутьем и даром диагноста, упирал на какой-то «сосудик». Может быть, утешал себя. А может, остерегался слухов, с которыми Лейкин полетел бы по Петербургу — современники знали, что Николай Александрович любил разносить плохие вести. Или так говорилось, чтобы успокоить домашних? Чтобы объяснить, почему он продолжал писать отчеты, фельетоны, не передал своих больных временно другому врачу?

Накануне Рождества он писал Лейкину: «Праздники встречаю уныло… Денег нет. „Петерб<ургская> газета“ еще не выслала, „Развлечение“ должно крохи, из „Будильника“ больше десятки не возьмешь… Сижу на бобах…<…> Николай болен и зарабатывает

мало, Агафопод Единицын — швах… Благо, долгов мало и не брал авансов. Впрочем, всё это пустяки…»

Шутил ли Чехов, когда он вспоминал позже, будто в 1884 году вызвал на спиритическом сеансе дух Тургенева и услышал: «Жизнь твоя близится к закату»? Вкупе с пророчеством Лескова это оборачивалось предсказанием. Но Чехов обратил его в житейский курьез. В самом конце этого тяжелого года он написал для журнала «Развлечение» пародию на святочный рассказ («Страшная ночь»). Это была история о том, как человек по фамилии Панихидин, вернувшись со спиритического сеанса, где дух Спинозы сказал ему: «Жизнь твоя близится к закату… Кайся…», нашел у себя в комнате… гроб. В страхе помчался с Арбата, от дома чиновника Трупова, где жил, к приятелю Упокоеву, в Мертвый переулок. Не застал, но ужаснулся — и здесь стоял гроб. В кошмарном состоянии он ринулся к другому приятелю, молодому врачу Погостову, который жил в доме статского советника Кладбищенского. И нашел его полумертвым от страха. У того тоже в комнате откуда-то взялся гроб. Всё в конце концов объяснилось — это их друг Челюстин, зять гробовщика, спасая имущество тестя от описи за долги (знакомый Чехову сюжет!), разослал гробы приятелям.

На таких «пустяках», как горловое кровотечение, и на такой «веселой» ноте, как история о спасении гробов, закончился для Чехова 1884 год. Правда, он не скрыл, что болезнь напугала его, и даже засобирался на юг — в Крым или на Кавказ, а может быть, в Таганрог. Но в итоге решил, что его «планида» — «остаться навсегда в Москве». Здесь у него складывалась медицинская практика, о которой он с усмешкой рассказывал таганрогскому дядюшке: «Знакомых у меня очень много, а стало быть, немало и больных. Половину приходится лечить даром, другая же половина платит мне пяти- и трехрублевки».

Однако не жаловался. Зная, чем растрогать и надолго занять мысли и рассказы Митрофана Егоровича, живописал отрадную картину: «Если буду жив и здоров, то положение семьи *обеспечено*. <…> Долгов нет… <…> Что будет дальше, неведомо, теперь же грешно жаловаться». Он рисовал идиллию: новая мебель, пианино, прислуга, все в доме здоровы, Иван стал на ноги. Николай собирается жениться. Миша кончает гимназию и т. д. Фраза «Вот вам и письмо» звучала как — «Вот вам и сказка».

В других письмах зимы и весны 1885 года картина совсем иная: «Сам я едва ли буду жить на даче, семье же обязан приготовить летнее жилище… Беда быть семейным!»; — «Питерцем быть мне не придется… Я так уж засел в московские

болота, что меня не вытянете никакими пряниками… Семья и привычка»; — «Скорблю — безденежен. Волком вою. Счастье мое, что еще долгов нет…»; — «денег так мало, что совестно на карманы глядеть. Жениться на богатой купчихе, что ли? Женюсь на толстой купчихе и буду издавать толстый журнал».

Летом и осенью положение не изменилось, даже усугубилось долгами, в которых Чехов, по его выражению, «увязал по шею», ожидая гонорар из «Петербургской газеты». В конце концов, он высказался очень определенно в письме Лейкину, который опять звал в Петербург: «Я и сам <…> давно уже сознал потребность в этой поездке, но что мне делать? Благодаря тому, что я живу большой семьей, у меня никогда не бывает на руках свободной десятирублевки <…>. Выжимать из семьи я не умею да и не нахожу это возможным… Если я 2 блюда сокращу на одно, то я стану чахнуть от угрызений совести. <…> Аллаху только известно, как трудно мне балансировать и как легко мне сорваться и потерять равновесие. <…> Денежно я ужасно напуган и, вероятно, в силу этой денежной, совсем не коммерческой, трусости я избегаю займов и авансов…»

Это походило не на жалобу, а на диагноз: ничего не поделаешь. Как и с гонораром в «Осколках»: сколько ни пиши, выходило около 60 рублей в месяц, таковы были стеснительные рамки журнала. А еще существовал «баланс» между врачебной практикой и сочинительством, который Чехов тоже объяснил просто и ясно: «Писать больше того, что теперь я пишу, мне нельзя, ибо медицина не адвокатура: не будешь работать — застынешь. Стало быть, мой литературный заработок есть величина постоянная. Уменьшиться может, увеличиться — нет».

Назревал выбор. Не в отношении семьи, конечно — тут всё сложилось безвыходно, — но между литературной работой и медициной. 1885 год в жизни Чехова — время подспудных решений, чуть заметных колебаний, неустойчивого равновесия.

Всё будто подчинилось случаю, судьбе. Казавшееся поначалу мимолетным превращалось в длительное, как это было с Киселевыми, в имении которых Чеховы сняли на лето флигель. Так началось «бабкинское трехлетие».

Имение Бабкино под Воскресенском, купленное в 1874 году без копейки долга, подтачивалось бездумными тратами благодушного хозяина Алексея Сергеевича Киселева, сибарита, любителя хороших закусок и пикантных разговоров в мужской компании. Хозяйка, Мария Владимировна, дочь известного театрального чиновника, баловалась пением, «бумагомараньем», случайной медицинской помощью крестьянам. Чуть-чуть меланхоличная, склонная находить воздействие на человека

каких-то таинственных сил, она, однако, не отказывалась от житейских увлечений. Охотно разделяла с обаятельным и насмешливым дачником рыбалку, беседовала о прочитанном.

Домашнее хозяйство, благополучие имения тревожили ее не более, чем мужа. Он рассчитывал на богатых родственников, на наследство. Она полагалась на судьбу. Пока же всё было благополучно: здоровые дети, хороший дом, правда, уже заложенный, но… В воспоминаниях современников «бабкинские каникулы» — вечный праздник, шутки, розыгрыши, милые чаепития, катания на лодках, походы за грибами, дружеские посиделки, музыкальные вечера.

Рядом, в деревне Максимовка, в то лето жил Исаак Левитан. Одно из его любимых словечек — «крайне». Оно отвечало характеру художника: то радостен, то в меланхолии, то возбужден, подвижен, то уныл, скучен. Но в его записках «талантливому крокодилу», «милому медику» тон неизменно шутливый: «Как рыба? Какого миросозерцания? Сколько строчек?» В письмах из Бабкина Чехов часто упоминал рыбную ловлю (плотва, окуни, налимы, караси, щуки). Шутил, что поймал голавля, «такого маленького, что впору ему не на жаркое идти, а в гимназии учиться». Приятели охотно «шлялись» натягу, наезжали изредка в Москву и возвращались в «милое», «поэтичное» Бабкино, где Чехов «прогуливал» Левитана.

Всё обыденное, некрасивое, семейное скрыто в редких письмах Чехова летом 1885 года, будто отодвинуто. И лишь беглые фразы о Николае, который «проэрмитажит», то есть просадит в ресторане «Эрмитаж» гонорар за рисунок, или об Александре, уезжавшем на новое место службы в Новороссийск, чуть-чуть приоткрывали не совсем поэтичную реальность. Только перед возвращением в Москву в начале сентября она вернулась в письма Чехова: «От Агафопода писем не имею, где Николай, не знаю… Вероятно, последний в Москве… Судя по часто появляющимся в „Будильнике“ его рисункам, он не голоден <… >. Надо бы остепенить эту человечину, да не знаю как… Все способы уже испробовал, и ни один способ не удался. Всё дело не в выпивательстве, а в femme. Женщина! Половой инстинкт мешает работать больше, чем водка… Пойдет слабый человек к бабе, завалится в ее перину и лежит с ней, пока рези в пахах не начнутся…»

Почему-то главное обвинение пало на сожительницу брата А. А. Ипатьеву. От отчаяния и бессилия Чехов писал о ней брезгливо: «Николаева баба — это жирный кусок мяса, любящий выпить и закусить… Перед coitus всегда пьет и ест, и любовнику трудно удержаться, чтобы самому не выпить и не закусить

пикулей (у них всегда пикули!)». Он с отвращением описывал быт брата в дешевых номерах: всегда пьяная компания, пошлые женщины, неубранные постели, на столе еда из лавочки. Вслед за этой «бабой» упомянута другая, П. Е. Пальмина. Ценя поэтическое дарование приятеля, он сожалел, что «языческий бог» опускался около Фефёлы.

Но и Пальмин, в свою очередь, страшился его гибели, когда писал Лейкину весной 1885 года: «Жалею, например, Антона Чехова, обещавшего большой талант и гибнущего в писании мелководных „сценок“ в этом жалком современном мещанском, балаганном духе». Может быть, здесь таился скрытый упрек Лейкину, выжимавшему эти «сценки». Он не только не освободил своего лучшего автора от писания фельетонов и юморесок, сочинения подписей, давно обрыдших Чехову, а еще и нагрузил его «Филологическими заметками», юмористическим объяснением названий месяцев.

Это был явный перебор. Лейкин злоупотреблял своей редакторской властью и безденежьем Чехова, давая понять, насколько тот зависим от «Осколков». Не получив летом заметок об «июне» и «июле», заподозрил скрытый бунт, пренебрежение его, «хозяина», просьбами. И выговорил в письме: «Ведь это не Бог весть как трудно. <…> Когда Вы обещались мне доставлять на каждый месяц статейку, то я из-за Вас отказал Пальмину, который тоже воспевал месяцы. <…> Пожалуйста, дайте мне знать, будете Вы продолжать писать или не будете?»

Лейкин уже не впервые бестактно и прямолинейно обозначал свою роль благодетеля. Еще весной он требовал бесперебойного беллетристического «товара»: «Самому писать больше одного рассказа в номер трудно, а других прозаиков отвадил, так как нужно беречь место для Вас и Вашего брата Александра Павловича». С трудом дотянув до августа, Чехов не написал об осенних месяцах. 31 октября Лейкин приказал: «Вообще в той форме, как вы писали о месяцах, прекратите писать. Подобные статьи хороши только тогда, когда они являются аккуратно в начале каждого месяца, а не тогда, когда вздумается их автору».

История с «филологическими заметками», видимо, стала чертой, за которой началось прощание Чехова с «Осколками». Не сразу, не резко, но тем не менее…

Чехов казался многим современникам человеком сговорчивым, даже мягким, которого можно легко склонить на уступки. Его нежелание мелочиться, считаться, подменять главное второстепенным принимали за покладистость, слабость. Но давить на себя, поддаваться он, судя по всему, позволял до некоего момента, после которого оказывал сопротивление. Какой-

то душевный барометр, видимо, предупреждал об опасности: разрешить подобное отношение к себе — значит утерять самоуважение.

Лейкин допустил приказной тон. Он был хитер, но не очень умен. Разбогатевший фельетонист, купивший осенью 1885 года бывшее графское поместье под Петербургом, кичился тем, что его, сына крестьянки и купца, избрали гласным столичной думы и возвели в потомственное почетное гражданство. Показывая гостям имение, он с гордостью говорил: «Прежде здесь хозяевами были графы, а теперь — я, Лейкин, хам». В шутку именуя себя «хамом», он быстро вошел в роль «барина» не только в имении, но и в отношениях с авторами. Желающих печататься было очень много, и труднее всего приходилось начинающим.

В эти же годы два, еще не знакомых с Чеховым, провинциала переписывались из своих «углов». Один из них, сын мещанина, учитель в семинарии, А. С. Лазарев (Грузинский) писал из Киржача Владимирской губернии своему приятелю Н. М. Ежову, тоже из мещан, преподавателю в училище города Брацлав Подольской губернии. Они печатались в тех же журнальчиках, что и Чехов. В письмах Лазарева множество ссылок на других начинающих, собственные горькие признания и рассказы о том, как редакторы уменьшали размеры и без того копеечных гонораров, как опытные, поднаторевшие в таких делах авторы оттирали молодых, забирая гонорар авансом: «Но возмущает меня до глубины души подлое отношение гг. редакторов к нашему брату. <…> О бедность, бедность! <…> Нет, нам надо бороться и бороться всеми средствами с различными эксплуататорами!»

Иногда Лазарев возмущался тем, как Лейкин распоряжался его «товаром»: «Мы должны смириться и молчать! О жизнь, жизнь проклятая!!!» Порой он сочинял гневный или язвительный ответ и не посылал его. Однажды даже написал приятелю: «По-моему (не знаю, как думаешь ты) мы многим обязаны Лейкину, и я обязан больше твоего. <…> Он нас выведет в люди. <…> Ведь журнал-то его *первый* в России, что ни говори! <…> Через него мы будем знамениты, как стал знаменит между юмористами Чехонте. <…> Пиши мы только в „Развлечение“ и „Будильник“, из нас могло бы ничего не выйти. Там пишут так, как пишем мы. *Нам не у кого учиться там*. Между тем в „Осколках“ у нас перед глазами мастерские вещи Пальмина, Лейкина, Чехонте, Игрека» (Игрек — псевдоним фельетониста В. В. Билибина). Спустя какое-то время, осенью 1885 года, Лазарев уже отделял Чехова от «Осколков»: «Но меркой хорошего я беру Чехонте. Лейкин же по „безрыбью“ берет, вероятно, низшую мерку (Агафопода и себя). В

этом тайна успеха».

Чехов отказывался присылать подписи к рисункам («я в 1001-й раз утверждаю эту свою неспособность»). Писал Лейкину, что у него «не выклевывается» запас рассказов для «Осколков». «С грехом пополам» в сентябре он возобновил фельетон, который оказался предпоследним. Следующий, пятидесятый по счету, вместе с двумя рассказами Чехова был запрещен цензурой. О фельетоне цензор докладывал в комитет: «Эта статья не может быть дозволена, как состоящая из обличений, не ограничивающихся простою передачею фактов, но сопровождаемых обсуждением их».

Что так напугало цензора?

Вероятно, всё решил последний сюжет — о собачьем приюте, устроенном и финансируемом Московской городской думой: «Многие люди должны пожалеть, что они не собаки. Что болонкам, гончим и легашам живется во сто крат лучше и легче, чем почтальонам, учителям и проч., давно уже известно из зоологии. <…> Москвич, завидующий псу, уже протестует». Еще бы! На приют, где за всё время существования содержались всего лишь 22 собаки, дума отпустила 5000 рублей. Выходило по 227 рублей с копейками, «то есть каждая собака получает столовых и жалованья (квартира, прислуга и освещение — казенные) гораздо больше, чем народные учителя, начинающие адвокаты и почтальоны». Конечно, бдительный чиновник не мог пропустить подобной «крамолы».

Запрет удручил Чехова, как он писал Лейкину, «трудов своих жалко» и «как-то душно, жутко»: «Да, непрочный кусок хлеба дает литература, и умно Вы сделали, что родились раньше меня, когда легче и дышалось и писалось…» Однако и без этого было очевидно, что «фельетонное дело» идет к концу. Чехов согласен был присылать рассказы, но не в каждый номер. Лейкин сердился, советовал своему автору «нахлыстывать себя», не перебеливать рассказы. Чехов ответил, что он не делает этого, пишет «обыкновенно наотмашь». Но как раз такое «бумагомаранье», по некоторым признакам, тяготило его. Так что совет Лейкина пропал втуне. Как и упрек, что, печатаясь в «Будильнике», особенно в пору подписки, он «подставляет ногу» своему благодетелю.

Лейкин словно не чувствовал перемену в тоне писем Чехова — тоне уже не «столпа» журнала «Осколки», не «покорного слуги»: «<…> не сердитесь. Ну стоит ли из-за пустяков… Впрочем, не оканчиваю эту фразу, ибо вспоминаю, что вся жизнь человеческая состоит из пустяков. Иду есть. А. Чехов». В другом письме он назвал себя «московским доктором, пишущим

петербургскому редактору».

Но «пустяки» ли — сырость и холод в снятой на Якиманке квартире, испуг Чехова, что здесь «разыграется прошлогодний вопль: кашель и кровохарканье». Следовательно, не в лопнувшем сосудике было тогда дело, а в легочном процессе, зависимом от погоды и домашних условий. Квартиру переменили, но всё остальное шло по-старому. «Пустяком» называлось и прежнее безденежье. Однако о нем Чехов говорил как-то иначе — с досадой, но не безнадежно. Что-то другое пробивалось в письмах в конце 1885-го и начале 1886 года.

Кто он? Московский *доктор*? Или *литератор* из Москвы, поскольку теперь печатался по преимуществу в столичной, а не в московской прессе? Равновесие поколебали два события: поездка в Петербург и смерть двух его пациенток — матери и одной из сестер художника А. С. Янова, приятеля Николая.

* * *

В Петербург Чехов ехал впервые и не один. Все-таки Лейкин недаром славился своим знанием литературных кругов столицы, не зря собирал слухи, мнения, отзывы. Поэтому он уже не догадывался, а знал, что Чехов заинтересовал старого писателя Д. В. Григоровича и А. С. Суворина, издателя самой тиражной российской газеты «Новое время». Если так, то и С. Н. Худекову, издателю-редактору «Петербургской газеты», прижимистому человеку, тоже приглядывавшемуся к Чехову, не удержать талантливого москвича. В таком случае выгоднее представить дело таким образом, будто это он, Лейкин, привез Чехова в Петербург. Если гость поселился у него в доме, то они друзья, «учитель и ученик». И следует позаботиться, чтобы это бросилось в глаза, чтобы запомнили, кому Чехов обязан в первую очередь.

Но, видимо, Лейкин переусердствовал, и что-то открылось Чехову в «добрейшем и гостеприимнейшем» Николае Александровиче, о чем он с иронией написал старшему брату: «Кормил он меня великолепно, но, скотина, чуть не задавил меня своею ложью… <…> Он всячески подставляет мне ножку в „П<етербургской> г<азе>те“».

Чехов вернулся из Петербурга в какой-то внутренней лихорадке, которая ощущалась в этом январском письме Александру в Новороссийск: «Я был поражен приемом, к<ото>рый оказали мне питерцы. Суворин, Григорович, Буренин… всё это приглашало, воспевало… и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава. Знай, мол, я, что меня так

читают, я писал бы не так на заказ…» Получалось, будто он ехал в столицу как бывший московский *газетчик*, как автор «Осколков», которые читали в трактирах и пивных, а встречен был как подающий надежды *литератор*. И слово «ложь» в отзыве о Лейкине — не только досада на хвастовство, сплетни, мелкие интриги «хромого чёрта», но и недовольство Чехова самим собой.

Да, Лейкин, по его собственному словечку, «маклачил», покупал «товар» дешево, а продавал втридорога. Не зря он с горделивой иронией иногда говорил о себе: «И мы не левой ногой сморкаемся». Дом, имение, столовое серебро, антикварная мебель приобретались на доход от журнала, от продажи книг, изданных под маркой «Осколков». Однако об этом Чехов догадывался и раньше, а что-то узнавал от Пальмина, приятельствовавшего с Лейкиным. Так что не кичливое материальное благополучие, вероятно, задело его в Петербурге, не очевидная буржуазность «мещанина во дворянстве». Но то, о чем он написал Александру зимой 1886 года: «Счастье этому Лейкину! По счастливой игре случая все его сотрудники в силу своей воспитанности — тряпки, кислятины, говорящие о гонораре, как о чем-то щекотливом, в то время как сам Л<ейкин> хватает зубами за икры!»

Среди этих «всех» — он сам, позволявший в минувшие три года выжимать из себя фельетоны, юморески, подписи, о чем прямо написал Лейкину: «Вообще я непрактичен, доверчив и тряпка, что, вероятно, Вы уже заметили…» И продолжал позволять — согласился на условиях Лейкина издать сборник «Пестрые рассказы», посылал в «Осколки» рассказы и юморески. Хотя печатался в «Петербургской газете» и уже получил приглашение в «Новое время».

Что же удерживало Чехова в «Осколках»? Конечно, безденежье, о котором он писал тому же прижимистому издателю: «Я банкрот… Денег, хоть удавите, нет… Просто хоть в альфонсы нанимайся. Когда месяц кончится, Вы поторопите Вашего казначея утолить мою жажду». Конечно, забота о братьях. Прежде всего — об Александре, у которого в начале 1886 года родился второй сын, названный Антоном. Чехов напоминал Лейкину об обещании увеличить гонорар Агафопода: «Трудно живется бедняге». По поводу наречения племянника Чехов шутил: «Какая смелость! Ты бы еще назвал его Шекспиром! Ведь на этом свете есть только два Антона: я и Рубинштейн. Других я не признаю… <…> Впрочем, умиляюсь, архиерейски благословляю моего крестника… <…> Объясни ему, какого я звания…» В этом же письме хвалил эпистолярный дар брата: «Пойми, что если бы ты писал так рассказы, как пишешь письма, то ты давно бы уже был великим, большущим человеком».

Едва ли Чехов так высоко ставил литературное дарование Александра. Наверно, то была «ложь во спасение». Он давал брату дружеские советы, как и о чем писать, чтобы избежать «лейкинской длани»: «Но самое главное: по возможности бди, блюди и пыхти, по пяти раз переписывая, сокращая и проч., памятуя, что весь Питер следит за работой бр<атьев> Чеховых. <…> Помни же: тебя читают. <…> Писака ты хороший, можешь заработать вдвое, а ешь дикий мед и акриды…»

Однако «весь Питер» следил за Чехонте, а не за Агафоподом Единициным. Просто в братской жалости и сострадании Чехов объединял себя и брата, но тут же обозначал невольно разницу. Александр писал исключительно ради денег, других побуждений у него не было.

А он сам? Уже не газетчик, но тогда кто? Практикующий врач, ради приработка пишущий рассказы? Даже не отказавшийся от псевдонима: «Фамилию и свой фамильный герб я отдал медицине, с которой не расстанусь до гробовой доски. С литературой же мне рано или поздно придется расстаться. Во-вторых, медицина, к<ото>рая мнит себя быти серьезной, и игра в литературу должны иметь различные клички…»

Это февральское письмо походило на обет, но странный. Чехов только что разрешил Суворину подписать рассказ «Панихида», дебют в «Новом времени», *Ан. Чехов*. В этом же послании секретарю «Осколков» Билибину, с которым стремительно сближался, не без радостной самоиронии заметил по поводу одобрительного отзыва Григоровича, что польщен: «Это единственный человек, который оценил меня!! Скажите всем знаменитым писателям, в том числе, конечно, и Лейкину, чтобы они брали с него пример». В свете таких шуток клятва насчет медицины казалась несерьезной.

Конечно, играть в медицину было нельзя. В это время Чехов тяжело переживал смерть своих пациенток, матери и дочери Яновых. Говорят, что будто бы после этого случая он снял вывеску «Доктор Чехов» с двери дома и никогда более не вспоминал о ней.

А играть в литературу можно? Цензура что-то выбрасывала из фельетонов Чехова, что-то запрещала. Но не это, судя по письмам, страшило его. И не о смелости обличителя, сатирика и юмориста размышлял он в это время, а о смелости писать так, как хочется. Не думая о том, «втиснется» ли рассказ в рамки «Осколков», будет ли отвечать «осколочному» духу, попадет ли «в жилку».

Чехов не скрывал, что боится. Ему казалось, что у него недостает внутренней энергии, того, что он называл «толкастикой», необоримым желанием писать.

Суворин не просил и не требовал присылать материалы в каждый номер. Гонорар положил — 12 копеек за строчку. За один рассказ Чехов стал получать столько, сколько в «Осколках» за месяц. Равновесие между врачебной практикой и сочинительством нарушилось. Литературный гонорар превысил докторский. Он лечил и писал, по его словам, с «антрактами», отвлекаясь то на визит к больному, то на работу за письменным столом. Но выбора между двумя своими занятиями не делал. Вопрос был сложнее, чем предпочтение одного занятия другому по денежному мерилу. Может быть, Чехов опасался быстро исчерпать себя в том, на чем остановится?

Уже в это время, зимой 1886 года, он шутил, что «исписался», подобно Лейкину, что через пять-шесть лет не в состоянии будет написать даже одного рассказа в год. А если и напишет, то его, автора «Нового времени», не пустят в «толстую журналистику». Даже в его шутках ощущалась насмешливая нервозность. Он предлагал назвать новый сборник своих рассказов — «Мелочь», «Кошки и караси», «Цветы и собаки», «Покупайте книгу, а то по морде!» Но остановился на заглавии «Пестрые рассказы».

О квартире, где семья жила в это время, он рассказывал: «Над моей головой идет пляс. Играет оркестр. Свадьба. В бельэтаже живет кухмистер, отдающий помещение под свадьбы и поминки. <…> Смерть и зачатие… Кто-то, стуча ногами, как лошадь, пробежал сейчас как раз над моей головой… Должно быть, шафер. Оркестр гремит… Ну чего ради? Чему обрадовались сдуру? Жениху, который собирается тараканить свою невесту, такая музыка должна быть приятна, мне же, немощному, она помешает спать».

Один из современников запомнил, что в этом доме на Якиманке он заставал Чехова сидящим у камина, подбрасывавшим в пламя бересту и о чем-то сосредоточенно думавшим. Но Чехов вряд ли говорил, что часто ему не на что купить дров. В феврале 1886 года он попросил у доброго приятеля М. М. Дюковского взаймы 25 рублей, ибо у него «сейчас нет ничего, кроме вдохновенья и писательской славы, а без дров между тем холодно». Хотя со стороны кому-то казалось, что многописание принесло молодому литератору достаток. Его имя всё чаще упоминалось в переписке знакомых и незнакомых с ним людей. Тот же Лазарев, сидя в Киржаче, подсчитывал, сколько Чехов заработал за один месяц в «Новом времени», в «Осколках» и «Петербургской газете». Выходило больше его учительского жалованья. И полагал, что он и Ежов тоже смогут писать такие рассказы, было бы терпение, а талант найдется: «Ах, когда-то и Чехонте был посредственным юмористом!» Ему казалось, что

надо только вырваться из захолустья и работать, работать, работать…

Он уверял приятеля, что Чехонте входит во вкус большого заработка (часто печатается), значит, уйдет от Лейкина, и прекрасно: «Скатертью дорога. Тогда мы будем строчить в „Осколки“ обеими руками». Новые рассказы показались строгому учителю, искавшему свой стиль, «похуже» прежних (это о рассказах «Панихида», «Ведьма», «Агафья»). Реалистические, «золаистские» подробности в рассказе «Ведьма» не понравились и Билибину. Он упрекал автора за описание грязных ног дьячка, за «крайне чувственные картины». Правда, воспроизведенные, по его мнению, с талантом.

Эта же деталь («большие, давно не мытые ноги с кривыми, черными ногтями») да еще одна («серый живот с пупком большим, как бублик») покоробили Григоровича. Но то были всего лишь частности в послании маститого литератора, которое поразило Чехова «как молния». Известный писатель убеждал Чехова, что у него «настоящий талант», «чувство пластичности», дар в нескольких строчках явить полную картину. Григорович заговорил с молодым литератором о том, о чем он сам не раз говорил братьям: *об уважении к таланту, данному природой*. Старик умолял: «Бросьте срочную работу. <…> голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения».

Ответ был незамедлительным: «Я едва не заплакал, разволновался <…>. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. <…> Я как в чаду. <…> Если у меня есть дар, который следует уважать, то <…> я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. <…> Все мои близкие <…> не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. <…> За пять лет моего шатанья по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы <…> я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом…<…> веры в собственную литературную путевость у меня не было».

Глубоко тронутый неожиданной, редкой в его жизни лаской, Чехов в этом письме Григоровичу словно совлекал с себя «ветхого человека» и облекался в нового, говорил правду, обнажал суть. Он соглашался, что надо «выбраться оттуда, куда завяз», обещал

избавиться от срочной работы. Но не сейчас, не скоро: «Выбиться из колеи, в которую я попал, нет возможности. Я не прочь голодать, как уже голодал, но не во мне дело…»

Дело было в семье и в том, что его недуг становился хроническим. Он заболевал осенью и весной. В начале апреля 1886 года у него вновь появилась слабость, началось кровохарканье. Наверно, поэтому финал ответа Григоровичу печален: «Мне еще только 26 лет. Может быть, успею что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро». Чехов упорно не хотел обращаться к коллегам: «Вдруг откроют что-нибудь вроде удлиненного выдыхания или притупления!» Упрямо не диагностировал у себя туберкулез: «Мне сдается, что у меня виноваты не так легкие, как горло… Лихорадки нет».

То ли болезнь, то ли второе письмо Григоровича — о свойствах таланта Чехова (правдивость, поэтическое чувство природы, связь этого дара с впечатлительностью и сердечностью автора) — внесли в его настроение ноту сокрушения. Она слышна в письмах старшим братьям, словно это были последние послания. Он звал их, как сам обещал Григоровичу, вырваться из колеи во имя таланта. Перефразируя Дмитрия Васильевича и будто продолжая его уговоры, говорил Николаю, что ради таланта стоит пожертвовать «покоем, женщинами, вином, суетой… <…> Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля… Тут дорог каждый час…».

Письма Григоровича не совершили переворота в повседневной жизни Чехова. Он пока оставался в своей «колее»: не оставил семью, не прекратил врачебную практику, не ушел тотчас из «Осколков» и «Петербургской газеты», не засел за повесть. Более того, счел, что добрый старик «перехватил через край». И вскоре опять уточнил: литература — его «побочное занятие», а медицина — основное, ибо на шее у него — большая семья.

Однако перемены были, но скрытые. Он писал Лейкину, что плохо работает и не знает, что с ним сделалось. Шутил, будто его сглазили во время второй, апрельской, поездки в Петербург. Летом 1886 года говорил, что «денег нет, а работать лень».

Этим словом он отделывался от объяснений, почему ему не пишется.

Семейство опять снимало флигель у Киселевых. В воспоминаниях тех, кто бывал в Бабкине, «каникулы» — по-прежнему череда прогулок, смешных происшествий, ухаживаний за барышнями. Чехов будто бы выделял из всех Машу Данковскую, дочь полковника. Современник запомнил его слова, как легко ошибиться, как всё искажает атмосфера чувственности,

витающая вокруг красивой женщины.

В эти годы около Чехова было много хорошеньких и красивых барышень: сестры Марковы, Яновы, Евдокия Эфрос. Но он словно опасался увлечься. В шутку и всерьез советовал приятелям жениться не в ослеплении. Мол, потом вглядишься, поймешь, но поздно, началась семейная жизнь. Может быть, эти разговоры были отзвуком его глухого, даже странного признания в одном из писем Билибину минувшей зимой о «невесте и Гименее», о «богатой жидовочке», с которой он ссорится и мирится, «злючке страшной», на которой если и женится, то несомненно разведется через год-два после свадьбы.

Ему хватало на сей счет тяжелого опыта старших братьев. В июне 1886 года Александр внезапно появился в Москве с семьей. Павел Егорович сообщил об этом родным без сострадания, с холодным гневом: «Положение его незавидное и жалкое. Потерял зрение, его водят как слепого за руку. Поедет в Петербург в Департамент просить пособия на излечение глаз… Приехал чиновник из Новороссийска в грязи, в рубище, в говне… Все прожито и пропито, и ничего нет».

Отсюда признание в одном из июньских писем Чехова, что «мерзкие известия», сюрпризы и «душевные передряги» следуют друг за другом. С какого-то времени он как будто постоянно ожидал неприятного, плохого.

Было ли это природной чертой, следствием пережитого в Таганроге в годы юности или тягот московской жизни, но подобное предощущение прорывалось всё чаще. В конце весны он писал, как скучно будет в августе, как предвкушает осень. Оговаривался, что таков порядок вещей, что «жизнь состоит только из ужасов, дрязг и пошлостей, мешающихся и чередующихся». Правда, иронически называл такие свои рассуждения «нововременской беллетристикой».

Неровное, то подавленное, то внешне бодрое, настроение Чехова объяснялось тем летом, помимо домашних дел, потаенных мыслей, еще и первыми откликами литературных критиков и рецензентов на вышедший сборник «Пестрые рассказы». Статью Н. Ладожского он назвал просто «неважной». Зато анонимный отзыв А. М. Скабичевского (а не Н. К. Михайловского, как поначалу думал Чехов) запомнил на всю жизнь. Контраст между тем, что он слышал от новых петербургских знакомых (Суворина, Григоровича), и тем, что писали о его книге в газетах и журналах, был резким. Это предугадал еще до выхода сборника Н. П. Вагнер, автор философских «Сказок Кота Мурлыки». Известный зоолог, спирит, человек аналитического ума и богатой фантазии, он весной 1886 года хотел написать о Чехове в «Новом времени». Но

это была «епархия» Буренина, и отзыв Вагнера остался лишь в письме к Суворину: «Чехов, по-моему, такой талант, какого у нас на Руси еще не было, талант самородный, не деланный. Сколько в нем силы, наблюдательности, чувства и мысли, что иной раз прочтешь его вещь и вскочишь, как очумелый. Такая правда и глубина!! Мне кажется, что в Чехове современный реализм сказал свое последнее слово и как-то дико и странно <…> что к силе таланта прикидывают вершковую мерку. Говорят: „Какой же он талант! — Он пишет маленькие вещицы“». Но, по словам Вагнера, «эти вещицы те же бриллианты!».

«Вершковая мерка» критиков сильно задела Чехова. Но почему? Ведь он сам высказался о себе в письме Григоровичу куда нелицеприятнее: «Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я *ни одного* своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а „Егеря“, который Вам понравился, я писал в купальне!»

Об авторе «Пестрых рассказов» писали: «неглубокое, но симпатичное дарование»; «многообещающее дарование»; может быть, в будущем — «большой, выдающийся талант». О рассказах — «бойкие» очерки, «бойкая» карикатура, «бойкий» язык, «полубред», «болтовня ради болтовни». Но Чехов в том же письме Григоровичу сказал: «Книжка моя мне очень не нравится. Это винегрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, ощипанных цензурой и редакторами юмористических изданий».

Вероятно, дело в *открытости* профессии литератора. То, что дотоле оставалось устными откликами, отзывами в письмах, превратилось в печатное, опубликованное слово о рассказах Чехова. А главное — о нем самом. Выяснялось, что Чехов беззащитен перед публичностью, будь то газетная или журнальная статья, заметка, слухи, сплетни, когда задевали его чувство достоинства.

Душевная щепетильность, вероятно, не позволяла ему вступать в полемику, спорить, тем более — оправдываться. Он не искал защиты у сильных, не предотвращал критические высказывания о своем сочинительстве «дружбой» с рецензентами, заискиванием перед ними. Поэтому поначалу его особенно уязвляли, ранили хлесткие замечания, самоуверенные приговоры и прогнозы критиков, их менторский, порою развязный тон, например, в покоробившем его «некрологе» Скабичевского. Тот писал в журнале «Северный вестник» (июньский номер), что автор, «увешавшись побрякушками шута», тратит «свой талант на пустяки», строчит, «не раздумывая долго над содержанием своих рассказов. <…> Вообще книга г. Чехова, как ни весело ее читать, представляет собой весьма печальное и трагическое зрелище

самоубийства молодого таланта».

Чехов назвал всё это «ядовитой руганью». Однако не смог стереть из памяти безжалостный приговор: мол, у всех (и у Чехова в том числе), кого, не щадя таланта, используют издатели, один удел — обратиться в «выжатый лимон» и в полном забвении умереть «где-нибудь под забором».

Всё вместе — семейные передряги, нездоровье, рецензии, каникулы — приостановило летнее писание рассказов. Деньги тут же истощились. Для найма новой большой квартиры на Садовой-Кудри некой пришлось просить аванс у Лейкина. Чехов заложил часы, золотую монету и шутил, что ходит на паперть просить взаймы. Осенью 1886 года он писал по обыкновению много. Думал о повести, начал и отставил пьесу, по-прежнему посылал что-то в «Осколки», в «Петербургскую газету», где попросил прибавки. Говорил, что «обидно» на старости лет писать за 7 копеек. Худеков поднял гонорар до 10 копеек, а в наступающем году обещал, как в «Новом времени» — 12 копеек. Чехов шутил, что наконец «выскочил из пятачка».

В конце сентября он не выдержал и пожаловался Лейкину: «Живется серо. Сам я плох, да и кругом себя не вижу счастливых. Агафопод с семьей живет в Москве и еле сыт. Николай вчера и 3-го дня был серьезно и опасно болен. Появилась неожиданно обильная кровавая рвота, к<ото>рую едва удалось остановить. Отощал он на манер тифозного… Ужас, сколько передряг я испытал в эти дни, а тут еще денег нет… Кончится, должно быть, вся музыка тем, что я плюну, махну рукой и удеру в земство на службу».

Два года назад он уже намеревался «удрать в дебри в земские эскулапы». Но не вырвался из домашней колеи. Не смог и на этот раз. На кого оставить больного Николая, стареющих родителей? На прозябавшего в нищете Александра? На Ивана, с трудом сводившего концы с концами? На пребывавшего в беззаботном студенчестве Михаила? На сестру, необременительно служившую в гимназии и оставлявшую себе жалованье «на булавки»?

В эту осень Чехов заметно похудел. Более не вернулись к нему та крепость, тот разворот плеч, что запечатлелись на фотографиях предыдущих лет. Он собрался с Шехтелем на теплый юг Франции, в Ниццу. Но испугался нарушить денежное равновесие, с трудом восстановленное после сентябрьского безденежья. Позволил себе только поездку с сестрой в Петербург.

Среди прочих мотивов — трудоустройство старшего брата. Таможенная эпопея закончилась в Новороссийске запоем, временной потерей зрения и вынужденной отставкой с государственной службы. В Москве Александр писал урывками,

зарабатывал ничтожно мало. Проделывать прежний фокус — брать у лавочника на имя брата — было неловко после того, как весной 1886 года мировой судья приговорил Чехова по иску купца Семенова к уплате 50 рублей. Выяснилось, что Александр и Николай забирали продукты, не предупредив никого в семье. Чехов оплатил счет.

Александр нуждался в месте и хоть в каком-то жалованье. Чехов посодействовал ему получить работу в редакции петербургского журнала «Русское судоходство» и в газете «Новое время». В конце декабря, вызывая к себе жену и детей, Александр написал брату: «Кажется, нужде моей приходит конец. Буду сыт и я». Судьба его устроилась и определилась: столичный журналист. В этом же письме он рассказал брату: «Твоя последняя статья „На пути“ произвела в Питере фурор. Везде только и слышишь рекомендации: „Это, имею честь представить, брат того Чехова, который в „Новом времени“ пишет“». И шутил: «Черт бы тебя побрал! Хоть бы уж по родителям почитали, а то — по младшему брату!..» Следующее письмо начал словами: «Фурор производящий брат мой Антон!»

Этот успех насторожил самого Чехова в дни пребывания в Петербурге. Он потом с иронией говорил: «В Питере я становлюсь модным, как Нана[5]. В то время, когда серьезного Короленко едва знают редакторы, мою дребедень читает весь Питер. <…> Для меня это лестно, но мое литературное чувство оскорблено… Мне делается неловко за публику, которая ухаживает за литературными болонками только потому, что не умеет замечать слонов, и я глубоко верую, что меня ни одна собака знать не будет, когда я стану работать серьезно…»

Кажется, что тут всё переплелось. И задетое самолюбие Чехова, потому что в разговорах, в некоторых печатных отзывах его сравнивали с Лейкиным. Одни с похвалой, другие с сарказмом. И понятное недовольство тем, что критики, даже признавая его талант, напоминали, как, например, в статье Л. Е. Оболенского, о «навозе» журнала «Осколки» и о «недружелюбном» отношении части прессы к «Новому времени». Выходило, что из одной «грязи» (мелких юмористических журналов) он попал в другую — в газету, имевшую репутацию проправительственной, многими литераторами нелюбимую, даже презираемую, как по высоким соображениям, так и потому, что их не приглашали в это популярное издание.

И еще одно чувство приоткрывалось в этом письме, в беглом признании Чехова, что он не терпит комплиментов. Он словно боялся искушения «фурором», быстрым успехом у непритязательного читателя или преходящей «модой» на себя в

кругу литераторов. То, чего многие жаждали, чего добивались, Чехова словно пугало. Билибин, уже придавленный «дланью» Лейкина, в шутку и всерьез спрашивал Чехова: «Вы идете на литературную гору, взберетесь туда и будете мне потом вниз раскланиваться литературной шапкой. Будете ли кланяться?»

Чуть позже Виктор Викторович, посоветовавший Чехову сменить псевдоним Чехонте на полную фамилию Чехов, едва ли не первый назвал его *писателем*. Он восхитился рассказом «Тяжелые люди»: «Я Вам завидую: Вы писатель, а я бумагомаратель. В борьбе за существование другие бумагомаратели меня съедят». Он радовался, а не завидовал, но уже очевидный уход Чехова из «Осколков» оставлял его в одиночестве. Он предчувствовал: их близкое знакомство недолговечно. Билибин был очень самолюбив, щепетилен, боялся тени искательства у сильных, известных людей. Мнительность, обидчивость помешала дружескому общению с Чеховым. Но он оставался искренним и умным его читателем.

В самом конце 1886 года Билибин ответил в «Осколках» иронической репликой на анонимную рецензию журнала «Наблюдатель», в которой доставалось «исписавшемуся» Лейкину и Чехову, как его «ученику и последователю». Чехов счел это делом напрасным и написал Лейкину, что «заступаться и защищаться — это не совсем ловко». Неловко, то есть неприемлемо для него вообще. *Защита и заступничество* — в самом человеке.

Об этом он говорил с собеседником, который, судя по письмам, все-таки не догадывался о глубокой подоплеке разговора с Чеховым.

В первые дни нового, 1887 года Лазарев наконец познакомился с человеком, который несколько лет был главным персонажем его переписки с Ежовым. Он написал приятелю, как его приветливо встретили, как они «болтали» с Чеховым, какой он «милейший малый»: «Он рассказывал много интересного, Чехов прошел суровую школу жизни: был в певчих, торговал, мерз на морозе и т. д. <…> Чехов страшно бранит Лейкина, но говорит, что его надо и пожалеть: оказывается, что Лейкин, бывший актер, пешком прошел с Лентовским пол-России, два раза ломал ногу, голодал и т. д. и т. д. Ужасно! А мы с тобой ругаем свою жизнь!»

Наблюдая в эти дни Чехова, новый знакомый удивлялся тому, сколько тот работает, и опять простодушно сравнивал с ним себя и Ежова: «Он говорит, что если он месяц не возьмет пера в руки — он несостоятельный, погибший от безденежья человек. <…> Мы — хотим пишем, хотим — нет. Он совсем другое. <…> Итак, Чехонте домосед, все сидит и строчит. Порой, если нет практики,

он по целому дню носа не показывает на улицу. Ужасный архитруженик!»

Глава пятая. СМУТНЫЙ 1887 ГОД

Весь январь 1887 года Чехов пребывал в состоянии маеты. Оправдывался перед Лейкиным: «Все праздники я жилился, напрягал мозги, пыхтел, сопел, раз сто садился писать, но всё время из-под моего „бойкого“ пера выливались или длинноты, или кислоты, или тошноты, которые не годятся для „Осколков“ <…>. В „Новое время“ я не послал ни одного рассказа <…> и на какие шиши я буду жить в феврале, Бог весть… <…> О лености или нежелании не может быть и речи…»

Тогда о чем? Почему свое состояние он назвал «обалдением»? Не от гостей же, которых сам зазывал. Не от долгих бесед с новыми знакомыми. Не от докладов на съезде врачей. Может быть, от своего многописания?

Чехов писал, писал, писал… Надеялся выскочить из безденежья, чтобы не влезать в долги, не слышать, как он говорил, «нытья домочадцев». В свой день рождения, 17 января, он, явно без надежды на ответ, спрашивал Александра: «Скажи, пожалюста, душя моя, когда я буду жить по-человечески, т. е. работать и не нуждаться? Теперь я и работаю, и нуждаюсь, и порчу свою репутацию необходимостью работать херовое». В этом же письме он пошутил, что медицина его «жена», а литература — «любовница». Размышления о литературе вытесняли в письмах житейское. Они складывались в свод суждений, как будто ждавших своего часа. Словно нечто завершавших и что-то предварявших.

Эту особенность в состоянии Чехова заметил В. Г. Короленко, встретившийся с ним в феврале 1887 года. В воспоминаниях он восстановил первое впечатление: «Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. <…> Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то, почти детской непосредственностью. <…> Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия <…>. И вместе с тем угадывалось что-то более глубокое, чему еще предстоит развернуться, и развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное, несмотря на то, что я сочувствовал далеко не всему, что было написано Чеховым».

Ошибка с цветом глаз объяснима. В радостном возбуждении карие глаза Чехова лучились и, казалось, светлели. Приходу такого гостя он, конечно, был более чем рад. Их часто ставили

рядом, сравнивали, противопоставляли. В декабрьской книжке журнала «Русское богатство» за 1886 год, как раз незадолго до первой встречи Чехова и Короленко, появилась статья о двух «молодых талантах». Автор, упомянутый уже Л. Оболенский, отвел свое место каждому из них: «Один <…> приобрел уже довольно громкую известность <…> его имя сопровождается постоянно эпитетами: „наш талантливый“, „наш даровитый“. Вы понимаете, что я говорю о г. Короленко! Другой почти совсем не известен: он народился <…> в юмористических журналах, среди того навоза, которым покрывают свои страницы эти несчастные листки, в виде карикатур на обманутых мужей, на зловредных тещ и в виде рисунков с обнаженными бабами. Среди такого общества трудно было заметить г. Чехова».

Однако предпочтение критик отдал Чехову. В «Пестрых рассказах» он почувствовал «большой, выдающийся талант», владение тайной художественности. Правда, тут же оговорился, что молодой литератор может погубить себя, «как погубил г. Лейкин, спешным, ежедневным кропанием». Впоследствии Оболенский говорил, что его внимание на Чехова обратил Вагнер: «Это — талант незаурядный! О нем стоит поговорить».

Владимира Галактионовича явно задела эта статья, которая по-своему отразила переломный момент в русском искусстве, переоценку ценностей. Оболенский связывал поиски нового с Чеховым («человек, прочищающий новые пути»), тогда как Короленко, по его словам, — «отзвук, эхо, уже пережитых духовных интересов человечества». Но Короленко и сам размышлял об этом в декабрьском письме Михайловскому: «Мы теперь уже изверились в героев, которые (как мифический Атлас — небо) двигали на своих плечах „артели“ (в 60-х) и „общину“ в 70-х годах. Тогда мы все искали „героя“, и господа Омулевские и Засодимские нам этих героев давали. К сожалению, герои оказывались все „аплике“[6], не настоящие, головные. Теперь поэтому мы прежде всего ищем уже не героя, а *настоящего* человека, не подвига, а душевного движения, хотя бы и не непохвального, но зато непосредственного (в этом и есть сила, например, Чехова)».

Чехов отозвался о статье Оболенского подчеркнуто небрежно: «Малый восторгается мной и доказывает, что я больше художник, чем Короленко… Вероятно, он врет, но все-таки я начинаю чувствовать за собой одну заслугу: я единственный, не печатавший в толстых журналах, писавший газетную дрянь, завоевал внимание вислоухих критиков — такого примера еще не было». На самом деле этот отзыв он запомнил навсегда. Годы спустя воспользовался случаем, поблагодарил Оболенского.

Современнику, познакомившему их, он сказал: «Я этому человеку так много обязан. <…> Это был первый критик, который меня заметил и поощрил! А мне в то время ободряющее слово литературной критики было очень нужно, очень дорого. Я тогда еще блуждал в поисках своего настоящего призвания, сомневался в достоинстве своих писаний, в своем литературном даровании».

Короленко почувствовал в 1887 году это искание, колебание, скрытое напряжение: «В выражении лица и в манерах тогдашнего Чехова мне вспоминается какая-то двойственность <…> в лице Чехова, недавнего беззаботного сотрудника „Осколков“, проступало какое-то особенное выражение, которое в старину назвали бы „первыми отблесками славы“…» Может быть, точнее было бы сказать: первые страхи, первые издержки литературной работы, первые психологические травмы от предвзятости, грубости, несправедливости газетных отзывов. Публичность, интерес, любопытство чужих людей настораживали Чехова. Даже раздражали: «Работа у меня нервная, волнующая, требующая напряжения… Она публична и ответственна, что делает ее вдвое тяжкой… Каждый газетный отзыв обо мне волнует и меня и мою семью… <…> Рассказы мои читаются публично на вечерах, всюду, куда ни явлюсь, на меня тычут пальцами, знакомства одолели меня своим изобилием и т. д., и т. д.… Нет дня покойного, и каждую минуту чувствуешь себя, как на иголках».

Не преувеличивал ли Чехов и свои волнения, и свою возникшую популярность? Что-то другое угадывалось за его беспокойством — может быть, уязвленное самолюбие?

Легкий переполох в литературных кругах Москвы и Петербурга, вызванный явлением нового таланта, неизбежно возбудил пересуды о протеже Суворина и Григоровича. Тут же поползли завистливые сомнения — а талантлив ли этот Чехонте? Да, его первые «субботники» в «Новом времени» наделали в 1886 году шуму. Но у многих сложилось впечатление, что Чехов явился «вдруг». И до рассказов — «Агафья», «Кошмар», «Святою ночью», «Скука жизни», «Тяжелые люди», «Тина», «Мечты» — не было в «Осколках» и «Петербургской газете» рассказов — «Ванька», «Смерть чиновника», «Тоска», «Егерь». Просто они прошли почти незаметно. Публика «Осколков» ждала от Чехонте анекдота, остроумной сценки, забавной истории. «Петербургская газета» имела репутацию полусерьезного издания. Другое дело — «Новое время».

Большую роль сыграли «Пестрые рассказы». Книга есть книга. «Сказки Мельпомены» промелькнули почти незамеченными — так, пустячки, шалости. Хотя Чехов остался недоволен и той и другой, ворчал, что имя его зря «трепали на все лады», что

«превозносили паче заслуг». Вероятно, его нервировали не только газетные отклики. Он лишь по видимости легко сходился и расходился с людьми. Те, кому Чехов доверял и к кому привыкал, были ему дороги. Таковых в московском окружении очень немного: Левитан, Шехтель, Гиляровский. Они жили в одном городе. За минувшие годы свыклись, сроднились. В разговорах не осторожничали, в приязни не сомневались. По возрасту — сверстники, кроме Гиляровского, который был немного старше. Это было время дружеских отношений вне опостылевшей газетной среды.

В столичный литературный мир его вводили люди старше летами, с именами и упрочившимися репутациями. В чем Чехов, судя по оговоркам, отдавал отчет. Первые письма Суворину в 1886 году осторожны и чуть-чуть казенны: «Как освежающе и даже вдохновляюще подействовало на мое авторство любезное внимание такого опытного и талантливого человека, как Вы, можете судить сами…» В интонации, в выборе слов сквозило что-то от тех посланий, что племянники писали под диктовку дяди Митрофана известным людям и богатым прихожанам с просьбой о вспоможении на благотворительные нужды. Конечно, не то, что в семье называли «целованием ручек», но…

Наверно, поэтому Чехов описал домашним встречу с Сувориным в апреле 1886 года в редакции «Нового времени», пародируя отца, его любимые изречения, и с иронией в свой адрес: «Из „Петербургской газ[еты]“ пошел в „Новое время“, где был принят Сувориным. Он очень любезно меня принял и даже подал руку.

— Старайтесь, молодой ч[елове]к! — сказал он. — Я вами доволен, но только почаще в церковь ходите и не пейте водки. Дыхните!

Я дыхнул. Суворин, не услышав запаха, повернулся и крикнул: „Мальчики!“ Явился мальчик, к[ото]рому было приказано подать чаю вприкуску и без блюдечка. За сим уважаемый г. Суворин дал мне денег и сказал:

— Надо беречь деньги… Подтяните брюки!»

И попрощался Чехов с родными, как Павел Егорович: «Любящий, но упрекающий в нерадении *А. Чехов*. <…> Поменьше ешьте».

В начале 1887 года Чехов называл владельца «Нового времени» — «мой хороший знакомый». Он аттестовал его в письме таганрогскому дядюшке — «миллионное состояние — и всё это нажито самым честным, симпатичным трудом».

Даже со скидкой на адресата, боготворившего богатых, «великих» и «добродетельных» людей, в этих отзывах проступала

некая зачарованность судьбой Суворина. Сын незнатных и небогатых родителей, уездный учитель из Боброва Воронежской губернии, то есть из мест, откуда родом был Павел Егорович. Теперь пятидесятитрехлетний Суворин богат, влиятелен, известен. «У него, — рассказывал Чехов дяде, — пять книжных магазинов, одна газета, один журнал, громадная издательская фирма <…>» Восхищаясь тем, с каким размахом и по какой дешевой цене издатель выпустил в продажу сочинения Пушкина, Чехов заключил: «Такие дела может обделывать только такой великий человек и умница, как Суворин, который для литературы ничего не жалеет».

Словечко «обделывать» снижало похвалу, ибо поистине великие деяния совершаются, творятся. При этом он ни словом не обмолвился о Суворине как о литераторе. Его заинтересовала личность «хозяина» огромной газеты, журнала «Исторический вестник», серии «Дешевая литература», издателя ежегодных справочников и календарей, владельца «Контрагентства А. С. Суворина» — книжных магазинов в городах России и книжных киосков на железнодорожных станциях. Книги, печатавшиеся в типографии «Нового времени», распространялись через эту сеть.

Всем этим владел немолодой уже человек с внешностью героя Достоевского, точно схваченной кистью И. Н. Крамского на портрете 1881 года. Современники считали его умным и хитрым, называли лживым, черствым, психопатом, истериком. Одни запомнили Суворина интересным собеседником, щедрым покровителем, бескорыстным другом. Другие упрекали в лицемерии, в искательстве, в малодушии. Многие влеклись к нему, десятилетиями поддерживали с ним отношения. Кого-то манили деньги Суворина и желание поживиться за его счет. Кто-то просил о протекции, так как он был вхож в высшие чиновные круги. Многие литераторы мечтали издаться в суворинской типографии или увидеть рецензию на свою книгу на страницах «Нового времени».

Суворин протежировал, давал деньги, часто без отдачи, издавал, помогал. Иногда вдруг кем-то увлекался и откровенничал. Но самое главное в себе таил ото всех. Не доверял даже дневнику, в котором рисовал себя то любимцем, то пасынком удачи, то умным, то недалеким, то прозорливым, то слепым в оценках и прогнозах.

О Чехове издатель «Нового времени» услышал от нескольких петербургских литераторов. Их знакомство в декабре 1885 года быстро переросло во взаимный интерес. Завязывался сложный узел отношений: литературных, деловых, личных. Вскоре Суворин

оказал Чехову важную услугу: Александр Павлович с конца 1886 года работал в редакции «Нового времени». Он с иронией обозначил свой статус: «Я — брат *того* Чехова, который и т. д., словом, твой брат. Все и везде меня представляют, рекомендуют и знакомят именно под этим титлом. Индивидуальность моя пропала. <…> Уничтожить эту безличность невозможно: соверши я преступление — пожалеют тебя, скажут: у такого великого человека, как Ан., брат мерзавец. Соверши я подвиг — опять скажут: это знаете кто совершил? — Брат того знаменитого и т. д. Одним словом, ты видишь, что мне на спину привешен несмываемый ярлык твоих заслуг и моя собственная личность приравнена нулю». И закончил шутливым пророчеством: если он переживет его, то превратится «в *брата покойного* великого писателя <…>. Нет, уж лучше живи и здравствуй, чёрт с тобой… Дела не поправишь, ибо ты бессмертен».

Поступив в «Новое время», Александр Павлович вольно или невольно стал заложником. Отныне нюансы отношения Суворина к Чехову, усиленные характером «хозяина» и нравами его окружения, сказывались на «брате того Чехова». Но и Чехов терпел из-за «художеств» Александра. Суворину услужливо докладывали о его запоях, и он в зависимости от настроения либо пропускал «донесения» мимо ушей, либо выговаривал Чехову, вынуждая его защищать брата — и чувствовать свою зависимость.

Работа Чехова в суворинской газете ставила крест на сотрудничестве в «Осколках». Лейкин привез его в столицу, хвастался тем, что «открыл» новый талант, полагал, что Чехонте останется его автором. Лейкин поначалу не понял, что «крестника» заметили и без него, что он вот-вот оставит «Осколки». Прижимистый «хромой бес» повысил плату до одиннадцати копеек за строчку, но не более. И деньги жалел, и смысла не видел. Он ревновал Чехова уже к «Петербургской газете», бранил Худекова, но перед Суворинym смирился. Он позволял при случае пройтись на его счет, посплетничать в петербургских кружках. Но противостоять могущественному издателю, ссориться с ним? Ни за что.

С переездом старшего брата в столицу до Чехова стали доходить разговоры петербургских литераторов. Тот писал, что слышит самые разноречивые отзывы: «Одни требуют *большого, толстого*, другие *серьезного*, третьи — *отделанного*, а Григорович боится, чтобы не произошла размена таланта на мелкую монету». Александр шутил: «Я еще сам не разобрался, но ты, вероятно, скорее схватишь чутьем, чего от тебя „ждет Россия“». Чехов отвечал, что рад бы вовсе не работать в «Осколках», ибо «мелочь» ему опротивела: «Хочется работать покрупнее, или вовсе не

работать». Но на что жить семье? Случались дни, когда, по его словам, у него буквально не было «ни гро-ша!».

И надо было опять работать… Написанное казалось «скверным» и утомляло до болезненного состояния. Соседство слов «скучно» и «болен» зимой 1887 года, кажется, впервые обнаружило симптом кризиса. В таком настроении Чехов предпочитал уединяться, уезжал из дома. В начале года он не скрывал, что утерял энергию, выжат, «высох» и образы, хранящиеся в его памяти, тускнеют. Кризисное внутреннее состояние прорвалось в феврале, в письме Григоровичу. Чехов упомянул свой повторяющийся сон о холодной реке с голыми берегами, которую ему надо перейти. Он пересказал сновидение, в котором запечатлелись какие-то глубокие детские и отроческие переживания. И вместе с тем проступало свойство жизни Чехова: *постоянное усилие, одоление*. И всё нелегко, всё в одиночку…

Что, допустим, ему мог ответить старший брат на слова из письма зимой 1887 года: «Меня чуть ли не обливают презрением за сотрудничество в „Новом времени“»? Чехов отдавал отчет, что, не будучи сотрудником или членом редакции, он, тем не менее, связал свое имя с газетой Суворина. Влиятельной, тиражной, имеющей огромную аудиторию, но в глазах многих одиозной. Через некоторое время даже в провинциальных газетах стали писать: «Многих смущает то обстоятельство, что г. Чехов пишет в „Новом времени“». Газету порицали за позицию издателя, а также за статьи «нововременцев», особенно В. П. Буренина. Современники прозвали его «литературным капралом», грубым шутом, фигляром, слугой толпы, ждущей скандала, травли, клеветы. В его статьях и пародиях угадывали мстительное чувство неудачника, посредственного литератора, утверждавшегося злобной насмешкой и над талантом, и над бездарностью. Выбрав жертву, он глумился жестоко, будто упивался желчью и ядом своих «шуток». Говорили, что сам Суворин боялся Буренина, зависел от него и не гнал из газеты по бесхарактерности и трусости. Может быть, цинизм и беспощадность «шута» влекли хозяина, тешили нечто темное в его душе.

19 января 1887 года в Ялте умер поэт С. Я. Надсон. В обществе заговорили о том, что в могилу его свела не только чахотка, но и травля Буренина. В газетах возмущались нововременским фельетонистом, обвинявшим умиравшего поэта в притворстве, в вымогательстве денег на лечение якобы выдуманного недуга. Может быть, никто в Москве не бросил Чехову прямого презрительного упрека, но возмущение «Новым временем», конечно, задевало его. Так что же? Уходить опять в «Осколки»? Опять строчить в каждый номер, писать с

отвращением, «скверно»? Никто этого не требовал. Никто не покидал газету из-за выходок «хулиганствующего критика».

Что-то остановило Чехова в истории с несчастным поэтом, на смерть которого он отозвался словами: «Надсон — поэт гораздо больший, чем все современные поэты <…>. Из всей молодежи, начавшей писать на моих глазах, только и можно отметить трех: Гаршина, Короленко и Надсона». Дело было в утверждении Буренина, что это он «открыл» Чехова, он указал Суворину на автора «Петербургской газеты». Всесильный «шут» подпускал к трону хозяина только на своем поводке. Он часто предлагал начинающим авторам свое покровительство. Некоторые соглашались. Буренин явно хотел приручить новичка, руководить и направлять, поощрять, а если надо — приструнить, дать острастку.

Чехов, расспрашивая брата о газете, о Суворине, о сотрудниках, просил: «Пиши мне обо всем, потому что мне нужно знать всё». Уходя из-под «длани» Лейкина, он никак не хотел подставлять голову под «милостивую» руку Буренина. И тот это почувствовал, но пока надеялся накинуть узду на внешне спокойного молодого литератора, молчаливого и, кажется, даже покорного. Многих современников обманывала его сдержанность, за которой некоторые видели гордыню и тщеславие. Лазарев, познакомившийся с Чеховым зимой 1887 года, писал своему приятелю Ежову: «Он же ведь горд, самолюбив, ищет славы — что ему „Осколки“. Я думаю, что он скоро станет писать в толстых журналах».

* * *

Неглупый собеседник не сразу понял, о чем Чехов толковал ему. А он в это время со всеми говорил о главном: что значит писать «крупное», повесть или даже роман. Об этом он спорил с Виктором Билибиным, который давно уговаривал приняться за «большое». Мол, неясность, незаконченность чеховских рассказов — от стеснительных рамок газеты и надо уходить в толстые журналы. Это сердило Чехова и увеличивало трещину в их отношениях.

Новому знакомому Чехов говорил о том же. Не в размерах дело, а в способах выражения. Свободным можно быть и в небольшом рассказе. В очередном письме Лазарев пересказал услышанное: «Он совершенно справедливо говорит, что это штука нелегкая, нужно работать и работать, и нельзя (т. е. лучше бы делать иначе) черное называть черным — прямо, белое белым —

прямо… Он говорит: „Плохо будет, если, описывая лунную ночь, вы напишете: с неба светила (сияла) луна; с неба кротко лился лунный свет и т. д. Плохо, плохо! Но скажите вы, что от предметов ложатся черные резкие тени и что-нибудь подобное, — и дело выиграет в 100 раз… Желая описать бедную девушку, не говорите: по улице шла бедная девушка и т. п., а намекните, что ватерпруф ее был потрепан или рыжеват — и картина выиграет“». Об этом же Чехов писал годом раньше старшему брату.

Чехов уже дал такое «непрямое» описание лунной ночи в рассказе 1886 года «Волк»: «На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито, уныло…» И «рыжий ватерпруф» он упомянул («Хорошие люди»). И «черные тени» («Который из трех?»).

Постепенно внимательный собеседник Чехова вник в то, что слышал. И писал теперь Ежову не о «толстых журналах», а о таланте Чехова: «Попробуй написать страницу в подражание Винницкой, Короленко, Боборыкину и т. п. — без сомнения у тебя выйдет удачно. Попробуй написать страницу в подражание Чехову и у тебя (и у меня) ничего не выйдет. Вот ты и толкуй. <…> *Как ты не можешь понять*, что ничего не может быть выше слога? Гуманные мысли у всякого порядочного писателя есть, да что же из этого?»

Однако и самому Чехову «страница» давалась трудно. В черновике февральского письма Григоровичу осталось признание, не перенесенное в беловик: «О себе могу сказать мало хорошего. Пишу не то, что хочется, а писать, как Вы советовали, не хватает ни энергии, ни уединения… Тем хороших много толчется в голове — и только. <…> Питаюсь пока надеждами на будущее и <…> слежу за тем, как бесплодно ускользает настоящее».

В марте 1887 года вдруг грянула телеграмма от брата Александра, что у него тиф. До этого он уже сообщал родным о болезни Анны Ивановны, отвезенной с тифом в клинику. Он тогда просил мать приехать, чтобы присмотреть за внуками. Но никто из домашних не тронулся из Москвы. И теперь спешно выехал только один человек — Чехов. По собственному выражению, он находился «в самом напряженном состоянии», не скрывал, что панически, еще с отрочества и юности, боялся тифа, а болезнь гуляла по столице.

Остановился он в гостинице. Александр оказался здоров — в очередном запое ему просто вообразилась страшная болезнь. Так что срочная поездка, съевшая последние деньги, получилась напрасной. Выходить из гостиничного номера Чехову было не в

чем. Весеннее пальто у него взял в Москве Николай и «забыл» вернуть. Пришлось сидеть и писать рассказ или без пальто, ненадолго, отлучаться из гостиницы. Посылая сестре вексель для получения небольшой суммы, он просил «тратить возможно меньше».

В одну из ночей Чехову вдруг стало страшно. Будто всё сошлось: гнев на Александра, холод в номере, невольное заточение, страх заразиться. Наутро он написал Шехтелю: «Нервы расстроены ужасно, так что пульс мой бьет с перебоями. <…> Как бы там ни было, будь хоть землетрясение, а я уеду, ибо долее мои нервы не выдержат. Я хочу уехать на юг не позже 31 — го марта. Поеду с рублем, но все-таки поеду». И пошутил: «Всюду меня встречают с почетом, но никто не догадается дать рублей 1000–2000…»

И вдруг в кармане у него оказался не рубль, а 300 рублей, аванс, выданный Сувориным. В этот приезд они впервые поговорили без помех. Беседа была долгой и, по словам Чехова, «интересной в высшей степени». Один из результатов: Суворин предложил издать рассказы Чехова, опубликованные в «Новом времени». Действовал он как опытный издатель, хотел ли поддержать и поощрить одаренного автора, но настроение Чехова переменилось. Он пошутил, что от всех петербургских злоключений и сюрпризов можно запить. И с горя, и с радости одновременно.

Чехов рьяно взялся за книгу — может быть, потому, что рассказы тем самым освобождались от ярлыка газеты. Он решил посвятить книгу Григоровичу. Читатели не знали о письме Дмитрия Васильевича молодому литератору, но чтили автора повестей «Деревня», «Антон Горемыка», «Гуттаперчевый мальчик», писателя из круга Достоевского, Тургенева, Островского. В 1880-е годы Григорович изживал свою литературную известность. Беллетристика его, по мнению современников, «немножко повыдохлась». Осталось лишь славное имя. Многословный, не всегда последовательный, за что А. Н. Плещеев называл его «двоедушным», старик поддерживал многочисленные знакомства.

П. П. Гнедич запомнил его облик в старости: «Высокий, красивый, щеголеватый <…> всегда жизнерадостный, со смеющимися хитрыми глазками, в английских клетчатых панталонах и в неизменно синем с крапинками галстуке, повязанном бабочкой. <…> Куда бы ни пришел — всюду с ним влетали оживление и смех. Острый язык создавал ему массу врагов: у него их было столько же, как и друзей, но он мало горевал об этом. <…> Любил слова „душенька“, „душа моя“. <…> Умел восхищаться всем, человеком, вещью, пейзажем».

Дважды он прозрел в начинающем авторе огромный талант. В 1845 году Григорович сразу восхитился романом Достоевского «Бедные люди». В 1886 году — разглядел в Чехонте Антона Чехова. И так восторгался, что, по воспоминаниям современника, однажды сказал о ком-то, кого сравнили с Чеховым: «Да он недостоин поцеловать след той блохи, которая укусит Чехова!» Допускал он лишь сопоставление с Гоголем. Именно Григорович обратил внимание Суворина и Буренина на Чехова.

Решение посвятить новый сборник рассказов Григоровичу, быть может, пришло к Чехову в Петербурге, в тот момент, когда он сидел возле старика у него дома — у того от волнения и умиления случился в момент встречи жесточайший приступ грудной жабы. Не исключая скорого печального конца, Чехов сказал в те дни: «Для меня это незаменимая потеря». Объясняя Суворину природу и течение этого «старческого и неизлечимого недуга», врач и литератор Чехов прибег к сравнению: «Трудно сказать, когда, в какой день и час лопнет натянутая струна или обвалится сгнившая крыша». Написал и будто оставил в памяти выразительный образ…

Из Петербурга Чехов выехал 15 марта. Поездка, пугавшая тифом и прочими неприятностями, обернулась важным разговором с Сувориным, встречей с Григоровичем и надеждой на новую книгу. Уже из Москвы Чехов попросил старшего брата присмотреть за печатанием книги, позволяя за это на визитных карточках именоваться «братом знаменитого писателя» и делать все, что Александр найдет «целесообразным и безвредным» для его «кармана и славы». С Александром, в отличие от других братьев, Чехову легко было говорить на языке колкостей, шпилек, шуток. На просьбу о попечении и надзоре за книгой Александр ответил в привычном тоне: «Итак, друже, бери сапоги под мышку и поезжай себе спокойно на юг. О книжице позабочусь со всем тщанием и не только не пропущу слова, но даже своих несколько фраз вставлю и вообще все места, которые мне не нравятся, я переделаю по-своему и слог исправлю».

Чехов словно не уехал, а бежал из Москвы. Говорил, что хочет отдохнуть, присмотреть дачу на будущее лето («семья мечтает»). Но предположение — «путешествие, которое, по всей вероятности, выйдет странным и диким», — выдавало главное. О чем он сказал Суворину еще зимой: «<…> чтобы не высохнуть, в конце марта уеду на юг, в Донскую область <…> где встречу весну и возобновлю в памяти то, что уже начало тускнеть. Тогда, думаю, работа пойдет живее».

Работа как таковая? Работа над каким-то замыслом? Она началась сразу, в письмах, заменявших дорожный дневник. Чехов

описывал подробно, с деталями манеру говорить у попутчика-исправника, крайнее окно во втором этаже станционного здания, где он увидел томную и красивую даму. Важно ли, что окно последнее в ряду? Но, выходит, так запечатлелось. Затем пошло знакомое: «Курганчики, водокачки, стройки <…> волы, коршуны, белые хаты, южные речки <…> дочки помещиков и арендаторов, рыжие собаки, зелень — всё это мелькает, как сон…»

В 1880 году, когда «москвичи» Николай и Антон Чеховы навестили родной город, он во всем проигрывал Москве. Всё те же улицы без мостовых, всё та же грязь после дождя, в которой, по словам местного журналиста, исчезало «множество и калош и ботинок почтенных граждан». На базаре, выпотрошив рыбу, остатки бросали около столов и лавок. Братья тогда подсмеивались над горожанами. Их общее творение — рисунок «Свадебный сезон» с подписями, опубликованный годом позже в журнале «Зритель», обидел таганрожцев, хотя он был всего лишь насмешлив.

Теперь, семь лет спустя, Чехов ахнул: «Совсем Азия! Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю. 60 000 жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов — Никаких… <…> нигде ни газет, ни книг…» И ведь не болото, не дикая глушь: «Местоположение города прекрасное во всех отношениях, климат великолепный, плодов земных тьма». Просто рай земной, но «жители инертны до чёртиков». И всё пропадает! Таланты, надежды, мечтания — всё гибнет, всё тщетно.

Обстановка в доме ласкового дяди Митрофана поразила племянника безвкусием, претенциозным убожеством, отсутствием обыкновенных удобств. Он шутил на этот счет: «Ватер у чёрта на куличках, под забором; в нем то и дело прячутся жулики, так что ночью испражняться гораздо опаснее для жизни, чем принимать яд».

Всё вокруг, на взгляд «московского гостя», — «серо, мелко, скучно», а город — «грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен». Во всех зарисовках, отзывах нет злой насмешки, но нет и ни единого сентиментального вздоха. Однако много запоминающихся мгновенных словесных рисунков: у постаревшей и похудевшей женщины, когда она смеется, «нос ее прижимается к лицу, а подбородок, морщась, лезет к носу»; «неприятно видеть раскрытый гроб, в котором трясется мертвая голова»; таганрогские барышни, зовущие собак свистом; ночной горшок, похожий на супницу и изукрашенный нежными полутонами. Хватало в письмах и «свернутых» сюжетов: ревнивый муж, не

позволивший жене выйти к гостю; таганрогские красавицы, сбегающие с актерами; податный инспектор, выдающий себя за генерала, и т. п.

Чем больше в письмах Чехова из Таганрога встречалось таких впечатлений, чем заметнее эпистолярный дневник напоминал прозу, тем спокойнее становился тон повествования. Словно путешественник исподволь обретал то, за чем ехал: яркость зрения и необходимый для работы душевный покой. В дороге, в шатании по городам, степным имениям и хуторам — Зверево, Новочеркасск, Рагозина Балка, Святые Горы, Славянск, — по краю, названному им донской Швейцарией, подобных впечатлений набралось еще больше. То казацкая свадьба, знакомство с монахами, то ночь на железнодорожной станции: «<…> луна, необозримая степь с курганами и пустыня; тишина гробовая, а вагоны и рельсы резко выделяются из сумерек — кажется, мир вымер…»

Теперь Чехов говорил: «Вообще я доволен своей поездкой». Доволен, несмотря на то, что его мучили катар кишок, больная нога. Он уверял, что «напоэтился» по самое горло, хватит лет на пять. Полтора месяца «калмыцкой жизни» завершились. Пока он путешествовал, потратив на себя 150 рублей, домашние получали его гонорары из «Петербургской газеты» и «Осколков». Он возвращался, как говорил, «без копейки», а впереди были дачные расходы — семья уже переехала в Бабкино. Значит, в летние месяцы придется трудиться. Чехов подсчитывал строки опубликованного и умножал на 12 копеек: столько платили ему теперь за строчку (это был не самый высокий гонорар, некоторым авторам Суворин назначал по 20 копеек). Вышло 104 рубля 16 копеек. Александр быстро получил и прислал эти деньги. 40 рублей пришли от Лейкина под рассказы, которые он обещал вскоре написать для «Осколков» — для него издатель сделал исключение из своих правил.

Чехов работал в холодном бабкинском флигеле. Умудрялся даже принимать больных, как и в предыдущие годы дачной жизни. И решал вопрос о названии новой книги: «Мои рассказы» или просто «Рассказы». Выбрал «В сумерках». Сообщая об этом брату в Петербург, пошутил, что «тут аллегория: жизнь — сумрак, и читатель, купивший книгу, должен читать ее в сумерках, отдыхая от дневных забот».

Это название было знакомо русскому читателю по стихотворному сборнику Д. Д. Минаева (1868). Такие повторы всегда были в ходу, название не мыслилось чьей-то собственностью. Но в памяти читателей и зрителей, в истории литературы оно закреплялось лишь за одним из сочинений. Всё

решали талант автора и время.

Александр ответил недоуменной насмешкой: «…нахожу, что глупее названия „В сумерках“ придумать нельзя. <…> Ты неудачно окрестил. <…> На „Сумерки“ налетит не очень много бабочек. <…> Придумай название „пожелезнодорожней“, вроде „Смерть палача на прахе Иуды“, или <…> „Современные странички“, „Очерки современной жизни“; — но лучше: „Блестки…“ <…> думаю и даже знаю, что читатель бежит на заглавие или тенденциозное, или заманивающее, или же, чаще всего, на туманно-многообещающее. Сумеречная же меланхолия теперь не в моде».

Чехов оставил «немодное» название. Он словно сделал подарок литературным критикам. Толкуя «сумерки» как исключительно вечернюю, закатную пору суток, они к 1887 году отнесли начало «пессимизма» Чехова, приклеив ярлык «певца сумерек». Некоторым показалось, что это «начало конца» молодого автора. Кому-то ближе был образ «сумерек», как утренней зари. И лишь немногим — как состояние, когда в мире не свет и не тьма, и нужно напрягать зрение. Когда в душе ослепление и, по библейскому образу, «спотыкаемся в полдень, как в сумерки».

Читательское недоумение соседствовало с восторгами, даже ошеломлением, о чем Чехов часто не знал. Не дошло до него и письмо П. И. Чайковского. Прочитав весной 1887 года рассказ «Миряне» («Письмо»), композитор, по воспоминаниям современника, не успокоился, пока не написал незнакомому автору, а потом и своему брату, М. И. Чайковскому: «Вчера меня совершенно очаровал рассказ Чехова в „Нов[ом] времени“. Не правда ли, большой талант?»

Чехов знал из письма брата Ивана, что достать номер газеты с этим рассказом в Москве очень трудно. Но угадал ли, узнал ли кто из домашних в строгом письме благочинного непутевому сыну дьякона речения и пафос Павла Егоровича, его наставления сыновьям, особенно старшему сыну: «Ты мнишь себя мудрым быти, похваляешься знанием наук, а того не хочешь понять, что наука без веры не только не возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного, ибо…»

А в жалобах дьякона на сына — сетования главы семьи на Александра: «Сами вы знаете, я для него ничего не жалел, всю жизнь старался и Бога молил, чтоб ему настоящее образование дать. Он у меня и в гимназии был <…> и в университете он кончил. <…> Бывало, когда он студентом сюда приезжал <…> скажешь ему: „ходи в церковь“, а он: „зачем ходить?“»

Александр отдаленно узнаваем в шутках злосчастного Петра,

в его внебрачном сожительстве. Однако не об этом «язычнике» написан рассказ, но о старом дьяконе, скучающем по сыну, вспоминающем не грехи своего блудного Петра, а «одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь». Именно это трогало и очаровывало читателей, хотя в рассказе не было занимательного сюжета. Даже непонятно, отправил ли дьякон письмо сыну. Рассказ «Счастье» тоже без фабулы, без конца: ночь, степь, дремлющая отара овец, разговоры старого пастуха и объездчика о кладах, о счастье, зарытом в землю. Хорошо бы его найти, а что с ним делать, это старику не казалось «важным и достойным размышления».

14 июня Александр писал брату: «Ну, друже, наделал ты шуму своим последним „степным“ субботником. <…> Хвалят тебя за то, что в рассказе нет темы, а, тем не менее, он производит сильное впечатление. Солнечные лучи, которые у тебя скользят при восходе солнца по земле и по листьям травы, вызывают потоки восторгов, а спящие овцы нанесены на бумагу так чудодейственно-картинно и живо, что я уверен, что ты сам был бараном, когда испытывал и описывал эти чувства. Поздравляю тебя с успехом…»

Чехов не согласился, что темы нет — есть, в музыке слова. Но тут же снизил разговор о рассказе: «В сущности белиберда». И, словно предвосхищая рассуждения рецензентов, приписал читательские восторги «оптическому обману», «фокусам» с орнаментом и с отдельными строками.

Читатели не знали этих авторских замечаний. Да, кому-то рассказ показался скучным, кому-то странным. Но кому-то очень *русским:* вечное желание чуда, внезапного богатства, с которым человек не знает что делать. И неизбывное желание разгадать тайну жизни, и нельзя понять — в чем ее счастье, а в чем несчастье.

Поездка обострила ощущение быстротечности жизни, воли случая и рока. Лазарев запомнил со слов Чехова начало романа, о котором тот заговорил с ним тем летом: «Представьте железнодорожную станцию в степи, недалеко имение вдовы-генеральши. Ясный вечер. К платформе подходит поезд с двумя паровозами. Затем, постояв на станции минут пять, поезд уходит дальше с одним паровозом, а другой паровоз трогается и тихо-тихо подкатывает к платформе один товарный вагон. Вагон останавливается. Его открывают. В вагоне гроб с телом единственного сына вдовы-генеральши». Этот печальный замысел, может быть, каким-то образом связан с известием о самоубийстве 22-летнего сына Суворина Владимира, полученным Чеховым еще весной в Таганроге.

В это же время, летом 1887 года, Чехов прочел в корректурных листах отчет своего воскресенского знакомца, врача П. А. Архангельского, о состоянии русских психиатрических заведений. По поручению Московского губернского санитарного совета добросовестный, пытливый Павел Арсеньевич с мая по декабрь 1886 года объехал большие города (Тверь, Новгород, Саратов, Тамбов, Рязань, Тула, Харьков, Полтава, Херсон). Внимательно, дотошно вникая во всё, осмотрел земские дома призрения, прочел огромный массив документов: журналы земских собраний, отчеты земских управ, доклады комиссий. И написал уникальную книгу, сопровожденную таблицами, чертежами, подробными рассказами о каждом увиденном «желтом доме». Чехов прочел и спросил Архангельского: «А ведь хорошо бы описать так же тюрьмы». Позже он не раз возвращался к отчету. Мысль о серьезном труде, об общей картине русской жизни сквозь призму такой ее крайности, как страдание от боли, от несвободы, словно не оставляла его со времен неосуществленных в студенческие годы научных замыслов.

В рассказах того лета есть и тема самоубийства («Володя»), и судьба скитальца, томимого беспокойным духом («Перекати-поле»), и мотив всеобщего оскудения («Свирель»), включавший описание сумерек, «того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной тоскливой песней».

Что-то будто перенастраивалось, обновлялось и в прозе Чехова, и в его житейских планах. Бабкино исчерпало себя, его хозяева оставались милы, но уже не казались интересными. Вероятно, Чехов так интенсивно постигал видимое и незримое, что терял внутреннее стремление к месту, к окружению. А привыкал он к немногим и немногому.

* * *

В самом начале сентября семья вернулась в Москву. Чехов с трудом наскреб денег, чтобы расплатиться с Киселевыми. Бабкино осталось в прошлом. В следующем году домочадцы собирались на юг — не в Таганрог, но в Малороссию. Об этом просила Евгения Яковлевна, об этом думал сам Чехов, полагая, что хотя бы два-три теплых месяца будут спасительны для больного Николая.

Переписка с Сувориным ограничилась в 1887 году несколькими письмами. Чехов был еще далек от «хозяина» «Нового времени» и вообще от газеты. Поэтому давал старшему брату благие советы, как поставить себя в редакции. Он не пошел на поклон к Буренину с просьбой о рецензии на сборник «В сумерках». Однако через Александра напомнил тому об обещании откликнуться. И пожалел об этом — в рецензии Буренин выбранил «Русскую мысль» и «Северный вестник» за неприязнь к «чужим» авторам. Похвалил себя и свою газету, приютившую молодого литератора. По ходу умалил Короленко, Гаршина, Гл. Успенского, предпочтя им Чехова. В конце не удержался и «пнул» покойного Надсона, выведя его в образе жалкого кропателя жалкой поэмы, умершего после рецензии на свое творение. Похвалы себе Чехов назвал «ложкой меда», а всё остальное — «бочкой дегтя». И заключил, что не стоило Буренину, хваля его, «смеяться над мертвым Надсоном». Но всё же просил брата передать «искреннюю благодарность».

Книжка «В сумерках» расходилась быстро. Рецензии появлялись одна за другой, являя разнобой оценок: в одних хвалили, в других сетовали, что нет «нового шага вперед». Чехов иронизировал: «Читаю и никак не могу понять, хвалят меня или же плачут о моей погибшей душе? „Талант! талант! но тем не менее упокой Господи его душу“ — таков смысл рецензий».

Прежде всего Чехов имел в виду, вероятно, статью Михайловского в журнале «Северный вестник». Маститый критик играл с названием сборника. Это творчество, по его словам, «сумеречное» и вообще «полутворчество»: «…вопросы без ответов, ответы без вопросов, рассказы без начала и конца, фабулы без развязки. <…> Г-н Чехов только завязывает узлы и никогда их не развязывает. <…> Было бы очень желательно, чтобы г. Чехов попробовал зажечь в своем кабинете рабочую лампу, которая осветила бы полуосвещенные лица и разогнала бы полумрак, затягивающий абрисы и контуры».

Но не «отходная» определила настроение Чехова осенью того года. Он пребывал, судя по признаниям в письмах, то в унынии, то в возбуждении. Его лихорадило, а в тоне вдруг прорывался невеселый задор: «Ни денег, ни здоровья, ни радостей, а так, чёрт знает что…» Едва ли дело было в «набегах» и «убегах» Николая — к этому в семье привыкли, как к неизбежному. Отец считал сына «погибшим созданием». Мать смирилась. Сын испытывал ее жалость, когда появлялся в Кудрине больной, но уверял, что вот-вот всё поправится, он-де оставит сожительницу, заживет по-новому. И опять исчезал, получив от брата Антона деньги, а взамен дав в тысячный раз обещание скоро вернуть — вот только

напишет, пошлет в журнал, получит гонорар… Через неделю, через две…

Может, утомило постоянное безденежье? Родные вспоминали, что мебель в квартире была в эти годы старой. Павел Егорович, оставаясь ночевать в доме на Садовой-Кудринской, спал на продавленном диване. Знакомого таганрогского священника, иногда просившего о ночлеге, укладывали спать на составленных стульях. Иронизируя над претензиями сестры на мнимый достаток, Чехов мог при гостях сказать младшему брату, особенно при барышнях: «Миша, иди самовар ставь!» Миша, только что услаждавший слух компании любимыми пьесами — «Ната-вальс» Чайковского, «Грёзы» Шумана, «Мелодия» Рубинштейна, — сердился на шутку.

Но лихорадило Чехова осенью 1887 года не из-за безденежья — к нему он притерпелся. Была другая причина. В том, что он пишет пьесу, он признался не сразу. Уверял окружающих: «Корш убедительно просил меня написать ему пьесу. Я ответил: с удовольствием. <…> И, конечно, пьесы не напишу. <…> мне решительно нет никакого дела ни до театров, ни до человечества… Ну их к лешему!»

Это было написано 13 сентября, а 5 октября Чехов пригласил приятеля прочесть готовую пьесу. Может быть, он томился потому, что примеривался, одолеет ли, хватит ли сил. Вероятно, в таком настроении он написал что-то Билибину, который давно уговаривал его писать «крупное». Чехов в свою очередь побуждал приятеля не зарывать свой талант в «Осколках». Может быть, возбужденный писанием пьесы, он был особенно красноречив и настойчив. Билибин ответил сердито: «Нам надо объясниться. Во многих письмах Вы нападаете на меня за то, что я пишу не то, что следует, и не так, как следует. Чего Вы от меня хотите и чего ожидаете? Я делаю, что могу, и моя литературная совесть спокойна. Не всем быть художниками слова. Я — ремесленник, и в этом нет ничего стыдного. Писать беллетристику? Т. е. плохие романы? или повести? Когда-нибудь на досуге попробую…»

Умный, чуткий Билибин осознавал, что их литературные и житейские пути расходятся. И как ни поощрял его Чехов дружески к работе, к переменам, Виктор Викторович мог лишь благодарно посмотреть вослед и в глубине души попрощаться.

Короленко, побывавший в Кудрине в конце сентября, запомнил: Чехов выглядел усталым, рассеянным и будто недовольным. Но гостя задержал и завел разговор о пьесе. Признался, как трудно писать, особенно если между двумя эпизодами «пустота» и надо строить «мостки». А герой? Совсем не «обыкновеннейший человек».

Внимательный и душевно расположенный, Владимир Галактионович почувствовал в Чехове момент душевного перелома или, как он написал в воспоминаниях: «Беззаботная непосредственность роковым образом кончалась, начиналась тоже роковым образом рефлексия и тяжелое сознание ответственности таланта». Короленко счел, как он написал впоследствии, что этот перелом был моментом пути Чехова не в «Новое время», а, наоборот, от суворинской газеты. Почему? Потому, что его захватывала, по словам Короленко, «драма русской жизни», ее «великое уныние». Так ли это?

Наверно, если иметь в виду не Суворина, а именно «Новое время». В газете этой Чехов всегда оставался только автором, которого привечал «хозяин» и в разной степени не выносила его челядь. Полагая, что Александр Павлович посвящал брата в дела редакции, приближенные Суворина, жившие этими дрязгами, преувеличивали интерес Чехова к газете. Он ее читал и только. А с «зулусами», как он звал нововременцев, сближаться не хотел. Правда, советовал Александру не быть в редакции «бирюком», «долбить» свое, напирать на то, «чтобы нововременцы повежливее обходились с наукой, чтобы они не клепали понапрасну на культуру». Он даже заводил речь о «молодой, свежей и независимой партии» в редакции, при которой, как ему думалось, Буренин не посмел бы клевать Надсона. Эта временная иллюзия объяснялась «весной» отношений Чехова с Сувориным: «Я при всяком свидании говорю с Сувориным откровенно и думаю, что эта откровенность не бесполезна». А также — избытком сил, его тогдашней верой в «артель» молодых литераторов, в дружеское общение, схожее с тем, какое сложилось у него в Москве с Левитаном, Шехтелем.

Александр Павлович общался с «зулусами» ежедневно. Он уже узнал нравы петербургской литературной среды. И поддержать упования брата не мог. Но зато, как никто, понял, откуда эти надежды и иллюзии. В самом начале сентября он получил из Москвы письмо. Сохранился лишь ответ Александра. По нему можно частично восстановить то, о чем писал Чехов: «У тебя позеленела шляпа и отвалились подметки <…>. Ты пишешь, что ты одинок, говорить тебе не с кем, писать некому… <…> Ты понес массу труда и очень понятно, что ты устал. <… > Непонятно мне одно в твоем письме: плач о том, что ты слышишь и читаешь ложь и ложь мелкую, но непрерывную. Непонятно именно то, что она тебя оскорбляет и доводит до нравственной рвоты от пресыщения пошлостью».

Вероятно, Чехов вел речь о том, что содержание большой семьи (отец, мать, сестра, брат Михаил) вынуждало его писать

много и быстро. Невольное многописание утомляло физически и душевно. Это понятно из ответа старшего брата: «А что ты работать не в состоянии — этому я верю. Тебе жить надо, а не работать. <…> Ты пишешь, что если судьба не станет милосерднее, то ты не вынесешь и что если ты пропадешь, то позволяешь мне описать твою особу».

На это откровенное и, видимо, отчаянное письмо «петербургский» брат ответил советом: «Поставь себе клизму мужества и стань выше <…> этих мелочей. <…> Плюнь, брате, на всё; не стоит волноваться». А главное, Александр предлагал «продаться» Суворину, принять его предложение, стать сотрудником «Нового времени» за 200 рублей ежемесячного жалованья: «Сообрази, подумай мозухом и ведай, что в этом <…> не было для тебя ничего оскорбительного. Писать издалека и быть на месте — сам знаешь — вещь разная».

В этих советах весь Александр Павлович: потерянный, малодушный, списавший свою исковерканную домашнюю жизнь на судьбу, на злосчастную Анну Ивановну, на нездоровых детей…

Ответ последовал сразу: «Mercі, Гусев, за письмо. <…> Начинаю входить в норму. Денег пока нет. О поездке на житье в Питер нельзя думать… Возможно только одно — жить в Питере месяцами, что и случится. <…> Поклон всей твоей кутерьме с чадами, чадиками, цуцыками. А главное, не пей. Прощай. *А. Чехов*».

Почему, дойдя до точки, до крайности в безденежье и скорописании, Чехов не бросил литературную работу, эту «любовницу», и не вернулся к медицине, своей «жене»? Может быть, потому, что врачебная практика сулила одни убытки? Он, в силу характера, лечил осторожно и долго, стеснялся брать гонорары. Или потому, что уже был отравлен литературной работой?

Как бы то ни было, но упадок духа в конце лета он одолел напряженнейшей работой над пьесой «Иванов». Даже повесил на двери кабинета картонку: «Очень занят». Жаловался, что на пьесу ушла вся его энергия, остался недоволен женскими образами, что-то в написанном казалось ему «ничтожным, вялым, шаблонным».

* * *

Действительно ли Чехов написал «Иванова» за 10 дней, как он говорил сам? Даже перенести сложившийся сюжет на бумагу за это время и то маловероятно. Но придумать и написать за

такой короткий срок большую пьесу почти немыслимо.

Отдельные выражения, детали, интерес к такому человеку, как главный герой, мерцали в рассказах, написанных Чеховым в 1887 году. Приказчик Мелитон («Свирель») горевал об оскудении природы, рассуждал о господах, которые «ослабли больше мужиков». Здесь будто предвосхищен взгляд на Иванова со стороны: «Нынешний барин всё превзошел, такое знает, чего бы и знать не надо, а что толку? Поглядеть на него, так жалость берет. <…> Нету него, сердешного, ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. <…> Так и живет пустяком».

Тему помещичьей жизни Чехов освещал то иронически, как мечтание о райской жизни на природе («Выигрышный билет»), то пародийно, обыгрывая штампы «идейных» пьес («Драма»). Он словно подступался к такому герою, как Иванов, в рассказе «На пути». В признаниях Лихарева о жене, сведенной в могилу его поведением; в рассуждениях героя о русской жизни и русском человеке словно мелькнула тень Иванова.

Да, что-то уже обещало «Иванова», и пьеса явилась не из пустоты, а, наверно, из образов и картин, о которых Чехов писал Григоровичу в 1886 году: из тех, что он берег и тщательно прятал. Он не скрывал, что намерен писать так, как ему хочется, но не уверен, что у него получится. Очевидное недовольство чужой словесной «архитектурой» не означало, что в его воображении возникло совершенное создание. Чехов не поверил актерам, уверявшим автора, что у него чутье драматурга, и он не сделал якобы в пьесе «*ни одной* сценической ошибки».

Но был возбужден. Признак этого — обилие грубоватых слов в письмах: *рожа, лопай, гнусное, башка, задрыгал, к ядреной* и т. п.

Употреблял ли Чехов бранные выражения? Один из современников вспоминал, что в мужской компании Чехов «мог взять прейскурант аптекарского магазина, встать в позу и прочесть его, делая острые, порой нецензурные замечания к названиям». Во время приятельских пирушек он заводился и придумывал бог знает что, от чего все хохотали, но никто не обижался. Кто-то из наблюдательных знакомых подметил, что в состоянии скрытого волнения Чехов затевал неожиданное застолье. Он, например, признавался, что не любит уезжать один. Всегда зазывал кого-нибудь с собою на вокзал. Ожидание отхода поезда усиливало в нем тревожное чувство. Как и вообще всякое ожидание…

Осенью 1887 года настроение Чехова менялось каждый день. То, по его словам, хандра, то легкое познабливание. Он даже говорил, что стал «психопатом». К ожиданию премьеры «Иванова» в театре Корша добавилось волнение из-за Пушкинской премии за

книгу «В сумерках». О ней хлопотали Суворин и Полонский, но Чехов не верил в это: «Пушкинская премия *не может* быть мне дана. <…> Ее не дадут уж по одному тому, что я работаю в „Нов[ом] времени“». Он боялся награды: «<…> я наживу столько нареканий, особливо в Москве, столько хлопот и недоумений, что и пятистам рад не будешь». Он испытывал чувство неловкости, мнительности и даже страха: «Премию я мог бы взять только в том случае, если бы ее поделили между мной и Короленко, а теперь, пока еще неизвестно, кто лучше, кто хуже, пока во мне видят талант только 10–15 петербуржцев, а в Короленко вся Москва и весь Питер…»

Он явно страшился не столько возможного отказа, сколько разговоров о незаслуженности награды, якобы свидетельстве всесилия Суворина, а не читательского успеха. Он предчувствовал такие толки, которые бы его задели и оскорбили. Поэтому, наверно, так взволновало письмо брата с новостью о премии.

Только что, три недели назад, в московском журнальчике «Развлечение» появился «рассказ», похожий на откровенную клевету. Автор, А. М. Пазухин, видимо, не забыл, как в 1883 году в «Осколках московской жизни» Чехов назвал его «горе-писакой», «раздирательным, рокамболистым писателем». Теперь он отыгрался, аттестовав Чехова «ветеринарным врачом», тенденциозным автором бульварных изданий «Щепки» («Осколки») и «Петербургской мелочной лавочки» («Петербургская газета»), «Новое время» фельетонист, видимо, трогать побоялся.

Об авторе пасквиля Чехов сказал, что «не имел чести лечить» его. О литературных врагах он знал и до этого выпада — московская бульварная пресса мстила ему за многое. За «Осколки московской жизни». За то, что игнорировал эту «портерную» среду. За то, что был признан литературным Петербургом. Возмущаясь этими газетными выходками, Лазарев вместе с тем удивился одной черте в Чехове. Тот все равно оставался со всеми внешне «любезен и обязателен». И вообще избегал конфликтов, выяснения отношений. Никогда не пускал в чужой адрес столь любимого в этой среде «подлеца».

Атмосфера раскаленных самолюбий, зависть, материальные претензии сшибали с ног или навсегда отравляли многих в мире мелкой прессы. «Портерная» литературная компания злословила, бранилась, клеветала. Серьезная литературная Москва всё еще приглядывалась к Чехову, осторожничала. Его снисходительно хвалили за «бойкие» рассказы, но не более того. Петербургские журналы «Север» и «Северный вестник» оказались настойчивее. Так повелось давно — литературная репутация складывалась в

столице. Пока Москва ворчала на Чехова, Петербург с интересом всматривался в новое дарование. Появление «Иванова» еще очевиднее обнаружило эту разницу.

До премьеры Чехов называл свое детище «глупой», «злосчастной» пьесой. После первого представления обозвал еще насмешливее — «пьесенка», «малозначащее дерьмо». Чем сильнее волновался он за судьбу своих рассказов, повестей и пьес, которые называл в шутку чадами, рожденными в болезнях, тем сильнее иронизировал по их поводу. Вероятно, скрывал «родительское» чувство, которое театр уязвил до последней степени. Порог театра Чехов переступил с уверенностью, что «автор хозяин пьесы, а не актеры». Репетиции и премьера 19 ноября 1887 года доказали обратное. Исполнители ролей не выучили, путали, несли отсебятину. Чехов, по его признанию, испытал лишь «утомление и чувство досады»: «Противно <…>. Театралы говорят, что никогда они не видели в театре такого броженья, такого всеобщего аплодисменто-шиканья, и никогда в другое время им не приходилось слышать столько споров, какие видели и слышали они на моей пьесе». Словно оправдалось случайное соседство «Иванова» с пустяковой шуткой-водевилем «Зало для стрижки волос», шедшей во втором отделении.

Рецензенты московских газет «постригли» автора весьма жестоко. П. И. Кичеев назвал «Иванова» дребеденью, «глубоко безнравственной» пьесой, «нагло-цинической путаницей понятий», а ее героя — «отъявленным негодяем». Автор, по его словам, — «бесшабашный клеветник на идеалы своего времени», обладающий «развращенным воображением». Оставалось только призвать власти принять меры и посадить «клеветника» в кутузку.

Слухи об «Иванове» быстро дошли до столицы. Пьеса ходила по рукам. Многое в ней нашли написанным «не по правилам»: нет завязки, нет того, сего… Талантливо, но… Оригинально, но… Необычно, но…

Короленко запомнил, «как много писали и говорили о некоторых беспечных выражениях Иванова». Например, о фразе: «Я имею право вам советовать. Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков». Да, это говорил Иванов, но, по точному наблюдению Короленко, «русская жизнь так болезненно чутка к некоторым наболевшим вопросам, что публика не хотела отделить автора от героя». Короткая реплика задела сразу три таких вопроса — «еврейский», «женский» и «наш нервный век», как называли конец XIX столетия.

29 ноября Чехов уехал в Петербург. Может быть, именно с

многочасовых разговоров об «Иванове» началось сближение Чехова и Суворина, который говорил: «Я Иванова хорошо понимаю, потому что, кажется, я сам Иванов». Что-то сильно тронуло Алексея Сергеевича в судьбе героя Чехова. Не нота ли «*русской тоски*», столь различимая в дневнике Суворина? Может быть, чувство вины перед женой, растревоженное пьесой Чехова? В 1887 году, весной, после самоубийства сына Владимира, Суворин вернулся памятью к давней трагической гибели своей первой жены — ее смертельно ранил любовник, следующим выстрелом покончивший с собой.

Суворин видел в случившемся и свою вину. За гибель сына он тоже корил себя, записав в дневнике: «Гадко на себя смотреть. <…> В сущности, я был один <…>. Старость безрадостная, скверная. Особенно если наделал и в прошлом столько ошибок, и сознавал их, и хорошо сознавал, но делал так, что как будто все это уже непоправимо и потому все должно остаться так». «Иванов», как рассказывал Чехов в письмах родным, «возбудил» Суворина. Он настойчиво приглашал Чехова к себе, и они виделись почти ежедневно.

В этот приезд Чехов остановился у брата. Дом по-прежнему был без хозяйского глаза. Увиденное гость обрисовал кратко: «Анна Ивановна больна (бугорчатка). <…> Грязь, вонь, плач, лганье; одной недели довольно пожить у него, чтобы очуметь и стать грязным, как кухонная тряпка».

Этот резкий отзыв относился скорее к Александру, нежели к несчастной Анне Ивановне. Будучи незаурядным диагностом и наблюдательным врачом, Чехов уже не подозревал, а знал, что больная долго не протянет. Вернувшись в Москву, он в письме попросил брата забежать в «Варшавскую кондитерскую», купить на оставленные ему деньги вкусное печенье в виде полумесяца и передать Анне Ивановне. Возможно, она упомянула, что это лакомство ей нравится, — Чехов не забыл и захотел доставить маленькую радость.

Что-то от этой угасавшей женщины отдаленно угадывалось в Сарре, жене главного героя «Иванова». Как и в самом Иванове — от старших братьев Чехова. Уезжая в 1875 году из Таганрога, оба мечтали: один — о профессорской карьере, научных открытиях; другой — о славе живописца. У обоих ничего не вышло; Александр оправдывался тяжелым детством, характером Павла Егоровича, невезением. Его сыновья, Николай и Антон, родившиеся в самые запойные годы отца, отставали от сверстников в развитии.

Чехов устраивал брата туда же, где печатался сам, давал литературные советы, заступался за него перед редакторами. Ни

разу не упрекнул в том, что старший брат устранился от денежной помощи родителям и сестре. Часто помогал ему, когда тот оказывался на мели. И вообще ценил его способности выше, чем сам Александр. В том сентябрьском ответе на несохранившееся письмо Чехова старший брат жаловался на безденежье, на одиночество, на болезнь жены и утешал себя и брата: «Я назвал бы себя подлейшим из пессимистов, если бы согласился с твоей фразой: „Молодость пропала“. Когда-то и я гласил тебе то же. Твое, а пожалуй, и наше, не ушло. Стоит только улитке взять свою раковину покрепче на бугор спины и перетащить на новый стебель».

Эти слова, эта интонация созвучны жалобам Иванова в разговоре с доктором Львовым: «Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, Богом данное дело… Это теплее, честнее и здоровее… А жизнь, которую я пережил, — как она утомительна!., ах, как утомительна!.. Сколько ошибок, несправедливостей, сколько нелепого…»

Таких признаний не простили Чехову многие петербургские читатели «Иванова». Особенно из кругов, где его порицали за «сумеречное творчество». Оно, как писал Михайловский, давало «известное эстетическое удовольствие», но не вызывало будто бы «боли и скорби». Здесь ждали от литературы «героя».

Более артистичный, чуткий, душевно гибкий Григорович пока лучше понимал своего молодого современника. Как раз тогда он написал Чехову из Ниццы. Поблагодарил за посвящение ему книги «В сумерках» и обратился не с требованием, а с «самой сердечной просьбой» — «бросить писанье наскоро и исключительно мелких рассказов и особенно в газеты. <…> Да, да — привинчивайте-ка себя к столу, как Вы говорите, и утопайте в большой неспешной работе!».

Григорович, как и Короленко, в своем письме Михайловскому заговорил о «непохвальном» герое, о «душевном движении»: «Будь я помоложе и сильнее дарованием, я бы непременно описал семью и в ней 17-летнего юношу, который забирается на чердак и там застреливается. <…> Такой сюжет заключает в себе вопрос дня; возьмите его, не упускайте случая коснуться наболевшей общественной раны…» Старый писатель, признававший, что у него больше литературного чутья и такта, нежели художественного дарования, подсказывал сюжет о «русском Вертере». Но не давал ответа на вопрос, почему герой стрелялся, что могло заставить его наложить на себя руки.

Действительно Григоровичу было не занимать чутья. Чехов уже начал повесть о мальчике, который потом, «попав в будущем в Питер или Москву, кончит непременно плохим». Пока же, в

канун нового, 1888 года, он просил Александра получить 50 рублей 84 копейки, присовокупить «нововременский гонорар» и скорее прислать: «Семейству и мне кушать нала». Это была пародия на любимое изречение Павла Егоровича.

Год наступал новый, безденежье оставалось старым: в первом же письме Чехов написал брату: «Я безденежен, как курицын сын». И просил выслать «крохи», 36 рублей, за новогоднюю «Сказку», опубликованную в номере «Нового времени» за 1 января 1888 года.

Глава шестая. ПЕРЕПУТЬЕ

Письмо Григоровича дошло до Чехова в те дни, когда он уже работал над повестью для «Северного вестника». Говорил: «Я изображаю равнину, лиловую даль, овцеводов, жидов, попов, ночные грозы, постоялые дворы, обозы, степных птиц и проч. <… > через все главы у меня проходит одно лицо». Это мальчик Егорушка, которого увезли из родного дома в город учиться в гимназии. Может быть, его постигнет та судьба, о которой толковал Григорович и которая давно занимала самого Чехова. Об этом он написал в ответном письме: «Самоубийство 17-ти летнего мальчика — тема очень благодарная и заманчивая, но ведь за нее страшно браться!»

Почему? За нее уже брались в русской литературе. Но Чехов, видимо, не случайно подчеркнул возраст: «Ваш мальчик — натура чистенькая, милая, ищущая Бога, любящая, чуткая сердцем и глубоко оскорбленная. Чтобы овладеть таким лицом, надо самому уметь страдать, современные же певцы умеют только ныть и хныкать. Что же касается меня, то, помимо всего сказанного, я еще вял и ленив».

Через три недели, закончив повесть, Чехов в письме Григоровичу от 5 февраля 1888 года вернулся к мотиву самоубийства: «Я сделал слабую попытку воспользоваться им. В своей „Степи“ через все восемь глав я провожу девятилетнего мальчика, который, попав в будущем в Питер или в Москву, кончит непременно плохим». Здесь он сделал уточнение: попав в огромный город. А если бы после гимназии герой остался в губернском или вернулся в свой уездный городишко?

Определив время и место возможной грядущей драмы «мальчика», Чехов приоткрыл глубинный мотив самоубийства русского человека, когда оно не игра, не мода, не помрачение ума или затмение души: «Не знаю, понял ли я Вас? Самоубийство Вашего русского юноши, по моему мнению, есть явление, Европе не знакомое, специфическое. Оно составляет результат страшной

борьбы, возможной только в России. <…> С одной стороны, физическая слабость, нервность, ранняя половая зрелость, страстная жажда жизни и правды, мечты о широкой, как степь, деятельности, беспокойный анализ, бедность знаний рядом с широким полетом мысли». А с другой стороны — русская природа, наследственность, прошлое отцов и дедов: «Необъятная равнина, суровый климат, серый, суровый народ со своей тяжелой, холодной историей, татарщина, чиновничество, бедность, невежество, сырость столиц, славянская апатия и проч.…»

Что из собственного житейского, таганрогского и московского опыта, из наблюдений Чехова над близкими и дальними отозвалось в его умозаключении, завершавшем письмо Григоровичу: «Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается, бьет на манер тысячепудового камня. В З[ападной] Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно… Простора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться… Вот что я думаю о русских самоубийцах… Так ли я Вас понял?»

Человек, влекомый к самоубийству, «избитый» жизнью, одинокий, занимал Чехова всё сильнее и сильнее. Может быть, так он одолевал и свое скрытое настроение, прорвавшееся в утерянном сентябрьском письме 1887 года старшему брату. Отдаленный отзвук этих признаний («если пропаду», «молодость пропала», «говорить не с кем») угадывался в письме Короленко от 9 января 1888 года: «Пишу это именно Вам, потому что около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее, а с Вами я, не спрашивая Вас, заключил в душе своей союз».

Слова из Псалтири — «не надейтеся на князи, сыны человеческие», — упомянутые здесь Чеховым, усиливали интонацию одиночества. Внук крепостного, сын мещанина, несколько лет назад автор «Осколков» и «Будильника», он воспринимал остро любой намек на свое социальное и литературное происхождение. Он посмеивался над благоглупостями избалованного Киселева: прогоревший, никчемный хозяин бабкинского имения любил порассуждать о том, как пагубно допускать к образованию «кухаркиных детей».

Чуть позже Боборыкин сделал Чехова прототипом одного из героев своего очередного романа и устами других героев подчеркнул во внешности литератора Малышева сходство с наборщиком из типографии, сельским учителем, механиком, даже служащим купеческого амбара: «Говор у него отзывался провинцией. Такой тон мог быть у любого разночинца…» Эта

вольная или невольная «барская» нота слышалась и в некоторых воспоминаниях о Чехове. Но сам он подсмеивался и над подобным тоном, и над глупым, смешным, по его словам, предрассудком литературных «судей». Эти определяли по неведомым приметам, кто «свой», а кто «чужой», и удостаивали благосклонного внимания тех, кто печатался в «толстых» журналах, с «направлением», с «идеей».

Если люди этой среды поступали неинтеллигентно, специально напоминали ему об «Осколках» и «Новом времени», словно невзначай расспрашивали о родителях, о братьях, Чехов говорил, что ему хочется в ответ «сгрубить». Выпады, вроде того, что он выскочка, баловень фортуны, «литературный мещанин во дворянстве», Чехов, наверно, запоминал навсегда. Не припоминал человеку, но не извинял. Поэтому особенно ценил первый дружеский шаг навстречу со стороны людей известных, из старшего поколения. Тогда говорил то, что два года назад сказал Григоровичу, а зимой 1888 года — Я. П. Полонскому. Поэт отозвался на появление «Каштанки» и пожелал посвятить ее автору стихотворение «У двери». Чехов не скрыл в ответном письме своего чувства: «Ваша ласка меня тронула, и я никогда не забуду ее». Свое молчание после того, как ему передали дар Полонского (книга и фотография), он объяснил прямо: «Мне стыдно, что не я первый написал Вам. Признаться, я давно уже хотел написать, да стеснялся и трусил. Мне казалось, что наша беседа, как бы она ни приблизила меня к Вам, не давала еще мне права на такую честь, как переписка с Вами. Простите за малодушие и мелочность».

На слова Полонского, что он «ничей», принадлежит всем, кому понадобится, а не «кому-нибудь», Чехов ответил, что его взгляд на то, где печататься, прост: большие сочинения удобнее в «толстых» журналах, а маленькие там, куда «занесут» ветер и его свобода. Некоторые современники улавливали это чувство дистанции, сопряженное с чувством достоинства. И. Е. Репину, встречавшемуся с Чеховым в эти годы, казалось, что «тонкий, неумолимый — чисто русский — анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица». Что касалось общего облика, художник нашел словесный образ: «мундштук иронии» и «кольчуга мужества».

На фотографии 1888 года Чехов по-прежнему хорош собой. Правда, губы утратили припухлость, шапка волос стала аккуратнее, бородка и усы не очень густые. При разговоре он дотрагивался до них или до мочки уха указательным пальцем левой руки. Жесты становились сдержаннее, но интонации баритонального голоса оставались очень гибкими. Ухо

музыкантов улавливало в них хороший врожденный слух. Женщины находили в его движениях ненарочитую красоту, пластичность, на их языке называемую изяществом, «чарующим» впечатлением. Он казался здоровым, скроенным надолго — но домашние слышали, как он кашлял ночами. Особенно, когда возвращался из театра, из душного зрительного зала. Сам он говорил уже, что у него «неказистое здоровье», избегал выходить излома в сырую погоду. Кровотечение, напугавшее семью в конце 1884 года, повторялось по весне или осенью, а также после усиленной работы. Однако Чехов скрывал это от родных.

Весь январь 1888 года он писал повесть «Степь». Следуя своему правилу не делать серьезного лица, не изображать творческого процесса, называл ее «пустяком», «повестушкой». Шутил, что выходит «нечто странное и не в меру оригинальное». Предрекал, что повесть не поймут ни читатели, ни критики. Так появилась особенность его сочинительства: работать Чехову интересно, а печатать, слушать отзывы — и тяжело, и скучно, и неприятно.

В случае со «Степью» проступало не только это общее, постоянное свойство, но какое-то дополнительное, не совсем ясное обстоятельство. Чехов еще ничего не опубликовал в «толстых» журналах, а уже говорил, что его «не соблазняет» работа в них. Свою нелюбовь он объяснил в письме Плещееву: «Во всех наших толстых журналах царит кружковая, партийная скука. Душно! <…> Партийность, особливо если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха».

Но, может быть, дело не только в нетерпимости Чехова к «душной» партийности тогдашних российских журналов. Он не отождествлял человека с тем изданием, в котором тот работал или печатался. Не ставил на нем клейма. И не терпел, когда на него вешали ярлык. Как это произошло во время декабрьской встречи у Михайловского, устроенной Короленко, который и рассказал, что случилось: «Мы вместе с ним отправились в назначенный час в Пале-Рояль, где <…> уже застали Глеба Ивановича Успенского и Александру Аркадьевну Давыдову (впоследствии издательница журнала „Мир божий“). Но из этого как-то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал (тогда у него начинали уже появляться признаки сильной душевной усталости и, пожалуй, предвестники болезни). Михайловский один поддерживал разговор, и даже Александра Аркадьевна — человек вообще необыкновенно деликатный и тактичный — задела тогда Чехова каким-то резким замечанием относительно одного из тогдашних его литературных друзей. <…> Я помню, с каким скорбным недоумением и как пытливо глубокие глаза

Успенского останавливались на открытом жизнерадостном лице этого талантливого выходца из какого-то другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно. Чехов тоже инстинктивно сторонился от назревшего уже в Успенском настроения, которое сторожило его самого, — и они разошлись холодно, с безотчетным нерасположением друг к другу».

Плещеев знал об этой встрече и потому, вероятно, написал Чехову, как ему «до крайности противно» то, что «Михайловский вносит в журнал ужасно „кружочный“ <…> характер». Вероятно, Алексей Николаевич не исключал, что неудачное знакомство и взаимная неприязнь «Северного вестника» и «Нового времени» помешают публикации «Степи» именно в этом журнале, где он заведовал отделом беллетристики. Чехов становился автором того и другого издания. Это давало повод к разговорам о беспринципности молодого литератора, к сплетням о «неблагодарном» Антоне, к закулисным мелким происка в литературной среде. В эти годы Чехову, судя по его письмам, казалось, что личная порядочность убедительнее всех слухов и сплетен, а искренность и доброжелательность охраняют от злобы и ненависти. И можно сосуществовать со всеми. Достаточно держаться самостоятельно, всегда оставаться самим собой, быть внутренне независимым.

Он убеждал в этом брата Александра и своего нового приятеля И. Л. Леонтьева (Щеглова), который страдал чрезмерной мнительностью. От подозрений впадал в истерику. Чехов уговаривал его быть объективным, не обращать внимания на то, что «кусаются блохи и воет под окном собака». Правда, сам в эти же февральские дни шутил по поводу молчания Лейкина: «Со страхом ожидаю какой-нибудь большой глупости или сплетни». Сплетня не заставила себя ждать. Весной 1888 года некоторые литераторы гадали: кто пустил слух, будто Чехов сходит с ума — Лейкин или Пальмин?

Сам писатель пока еще полагал, будто журнальной и газетной «кружочности», «партийности» можно противопоставить, как он говорил своему «нововременскому» брату, — «молодую, свежую и независимую партию». Или лучше «артель». Когда нет, по выражению Чехова, «путевой» критики, а есть рецензенты-прокуроры, такое объединение могло бы помочь. Само ощущение — «мы» — улучшало бы настроение. И Чехов хвалил в письмах Лазарева, Ежова, Бежецкого, вчитывался в Баранцевича, Альбова, Хлопова. Он оказался между «стариками», писателями минувших десятилетий, которые верили в него, и своими ровесниками, в которых верил сам.

Что они говорили о нем между собой? Лазарев и Ежов по-

прежнему обсуждали в переписке каждый рассказ Чехова, изучали манеру, брали ее для себя «меркой хорошего». Они радовались, что он выше московской «литературной тли». Но им более нравился Чехов — автор юморесок. «Степь» показалась обоим «ниже его мелких рассказов». Они всё меньше и меньше понимали «мерку» Чехова, но были признательны за его житейскую помощь, рекомендации, литературные советы. И уверяли, что никогда этого не забудут.

В. А. Тихонов передал в дневнике свой состоявшийся в марте 1888 года разговор с М. Н. Альбовым. Тем самым Альбовым, кого Чехов тоже числил в «артели», но который в своих отзывах отлучил Чехова от их поколения, как «образчик вырождения» современной литературы, знамение «растленного времени». Сам Тихонов восхищался Чеховым — «самый свежий, самый яркий, самый талантливый из всех современных беллетристов <…>. Какая великая будущность ждет Чехова!».

В том же году Щеглов записал в дневнике: «Что за талант, что за чуткость, что за симпатичная личность, этот проклятый Антуан!» Но Ивана Леонтьевича смущало, что у этого таланта нет «одушевляющей общей идеи», нравственных выводов, потому он «не учитель». Одним членам «артели», воображаемой лишь Чеховым, он казался залетной птицей, зря будоражащей их болото. Другие злословили, что этот везунчик нашел в Суворине покровителя, бросил ради него Лейкина, тогда как всем обязан «Осколкам», и т. д. и т. п. Плещеев на всё это просто ругался: «Ах, сколько мерзавцев в литературе… Каждый день приходится разуверяться в людях…»

Может быть, никогда Чехов не воспринимал так остро доходившие до него слухи и сплетни. Не одолевал ли он разочарование противоядием, то есть подчеркнутым вниманием к собратьям по перу? Они просили его то пристроить что-то в «Осколки» или «Новое время», то пройтись по рукописи, чтобы придать ей «товарный вид», то выручить материально. И он не отказывал, хотя ему не хватало времени на свою работу, а ощущение жизненного срока торопило. Приближался рубеж тридцатилетия, о котором он постоянно твердил старшим братьям. Будто предчувствовал этот срок как апогей своего здоровья, физических сил? Или — момент, после которого: либо спуск, либо еще более трудное восхождение.

«Со ступеньки на ступеньку», по его давнишнему выражению? Но это относилось к научным занятиям. А в сочинительстве? В самой жизни?

Молодость, а потом сразу то, что он называл старостью? Словно и даны ему были только эти два состояния. И потому,

может быть, Чехов быстро и близко сходился с людьми много старше его и с детьми.

4 февраля, закончив «Степь», он заметил мимоходом в письме Лазареву: «Да-с, батенька! У Вас впереди еще будущее (2–3 года), а я переживаю кризис. Если теперь не возьму приза, то уж начну спускаться по наклонной плоскости…»

Накануне рукопись повести была послана в Петербург. Чехов просил Плещеева по прочтении написать ему «сущую правду». Алексей Николаевич отозвался незамедлительно: «Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую, большую будущность». Он сулил «огромный успех», хотя в «Степи» нет «того внешнего содержания — в смысле фабулы, которое так дорого толпе, но внутреннего содержания зато неисчерпаемый родник».

Чехов сам подозревал, что «разговоров будет много», перед которыми повесть, выжавшая из него все соки, оказывалась беззащитной, и он боялся за нее. Кому интересна поездка ребенка по степи, его переживания и первые глубокие страдания? И странный финал, последняя строка: «Какова-то будет эта жизнь?» Русский читатель любил романы с широким разливом событий, как у Толстого, со стремниной чувств, как у Достоевского, обилием знакомых подробностей, как у Боборыкина. А тут — степь, гроза, возчики, бред заболевшего мальчика, крик озорника Дымова: «Скушно мне!», «Скушно!» Что читателю до этой необъяснимой русской скуки, до тоски «маленького человечка», едущего по огромной степи.

Чехов боялся, что ему «достанется» за «Степь», как и за «Иванова», что читатель заскучает над повестью. Но его «приз» — не награда на скачках, а внутреннее ощущение преодоленного кризиса: написал, как хотел, как подсказывало чутье.

Пока он отходил от напряженнейшей работы, говорил, что «утомлен, как сукин сын…». Не скрывал, что чернильница ему противна, а хочется «лежать пластом и плевать в потолок». Но он ходил в театр, веселился на свадьбе у приятеля. Однако напряжение спадало медленно, возбуждение не угасало. Он признавался Плещееву: «Ах, если бы Вы знали, какой сюжет для романа сидит в моей башке! Какие чудные женщины! Какие похороны, какие свадьбы! Если б деньги, я удрал бы в Крым, сел бы там под кипарис и написал бы роман в 1–2 месяца. У меня уже готовы три листа, можете себе представить!» Тут же шутил: «Впрочем, вру: будь у меня на руках деньги, я так бы завертелся, что все романы полетели бы вверх ногами».

Но «вертеться» в оглоблях семейной жизни было невозможно. Гонорар за повесть ушел на долги, на грядущие расходы по даче,

по дому в Кудрине на Садовой, где Чеховы жили с осени 1886 года. Платили 650 рублей серебром в год. Оставалось «мечтать»: «Ах, если бы жениться на богатой…» Шутки о женитьбе, бранные словечки, нарочитый азарт в письмах выдавали настроение в те дни, когда, остывая от «Степи», Чехов написал водевиль «Медведь» — по выражению автора, «пустенький, французистый». Он нарочито сокрушался в письме Полонскому 22 февраля: «Ах, если в „Северном вестнике“ узнают, что я пишу водевили, то меня предадут анафеме! Но что делать, если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь тру-ла-ла! Как ни стараюсь быть серьезным, но ничего у меня не выходит, и вечно у меня серьезное чередуется с пошлым. Должно быть, планида моя такая».

Адресат («ничей» Полонский), тон письма, шутка об «анафеме» за водевиль — это могла быть скрытая реакция на письмо Михайловского от 15 февраля. Письмо было и лестное, и обидное. Маститый критик тоже сулил Чехову «блестящую будущность», но, в отличие от Плещеева, ставил условия: не быть дилетантом в литературе; вложить в нее душу; служить добру; уяснить свою дорогу; идти к цели, а не прогуливаться «незнамо куда и незнамо зачем». Для этого требовалось бросить «школу» «Осколков» и «Нового времени», обрывочность повествования, неясность авторского взгляда на жизнь и его отношения к героям. Это гибельный путь: «Много Вам от Бога дано, Антон Павлович, много и спросится». Михайловский даже удивился тому, что «грязь» газеты Суворина и журнала Лейки-на не пристала к Чехову — но если он не покинет их, то погибнет, испачкается, погрязнет.

Письмо написано, словно против воли, будто под гипнозом впечатления от «Степи». И этот художественный магнетизм Николай Константинович, человек логики, идеи, ясного идеала, как будто не в силах одолеть. Отсюда — не указующие, а скорее умоляющие ноты: «Но примите хоть к сведению совет человека, поседевшего на литературе <…> поймите, из какого источника это письмо идет». Ответ Чехова не сохранился. Отчасти его восстанавливает второе послание Михайловского — нескорое и усталое, но не сердитое, не обиженное: «Не скрою, что Ваше письмо меня огорчило, до чего Вам, впрочем, конечно, дела нет. Я ничего не могу возразить против отсутствия в Вас определенной веры, — на нет и суда нет. Не считаю себя, разумеется, вправе касаться и Ваших личных чувств к Суворину».

Совет Михайловского — обрести определенную идею — Чехов, вероятно, воспринял как узду, которую пытались на него набросить. А требование покинуть «Новое время» — как вмешательство в его личную жизнь, посягательство на свободу. То

и другое всегда вызывало в нем протест. Он уже прошел «школу» отца, который вбивал свод правил и не церемонился со вкусами и выбором сыновей. Свое мнение, свою частную жизнь Чехов отстаивал не в шумных ссорах, скандальных протестах и вызывающих выходках, а потом в покаяниях и смиренных обещаниях, как старшие братья, но в молчаливом следовании своим правилам. В этом смысле он, подобно отцу, был «кремень», вопреки внешнему впечатлению мягкости, податливости и тому, что называл «малодушием».

Особенно когда это касалось идей, идеалов, веры во что-то (народ, науку, прогресс, культуру). Никаких «кружков» и «партий» — только *свой* путь, *свое* мнение. Однако суть советов Михайловского и ответа Чехова сводилась не к этому. Один, старший, ни за что не отрекся бы от своего идейного кредо («искусство есть своего рода гласный нравственный суд»). Даже под гипнозом нового необыкновенного повествования Чехова он не поступился этим принципом. Другой, младший, теперь ни в коем случае не отказался бы писать по-своему, доверяя собственному чутью, а не по рецептам даже таких умных и почитаемых людей, как Михайловский.

Чутье подсказывало ту самую «обрывочность», которая казалась уважаемому критику изъяном несомненного таланта автора «Степи». Судя по всему, Чехов дал понять или прямо объяснил это в своем письме. Михайловский, видимо, не принял его позицию, но уяснил аргументы. Поэтому не продолжил разговора о верованиях, о грехе многописания и дал Чехову прощальный совет: не обольщаться, будто его рассказы хоть как-то повлияют на общий тон газеты «Новое время»: «Ради Вашего рассказа не изгонится ни злобная клевета Буренина, ни каторжные писания Жителя (А. А. Дьяков. — А. К.), ни „патриотическая“ наука Эльпе (Л. К. Попов. — А. К.). <…> Вы своим талантом можете только дать лишних подписчиков <…>. Не индифферентны Ваши рассказы в „Новом времени“, — они прямо служат злу. Простите, пожалуйста. *Ник. Михайловский*».

В этих словах опытного, «поседевшего на литературе» человека таилось предупреждение: злобная клевета Буренина может настичь и Чехова на страницах того же «Нового времени». Что тогда? Если бы такой вопрос был задан, то ответ тоже был бы дан совершенно определенный.

Незадолго до обмена письмами с Михайловским, в начале февраля 1888 года, Чехов назвал «большим литературным свинством» публикацию в газете рассказа И. И. Ясинского, которого Буренин ругал в своих статьях. Чехов написал Александру: «Но — можешь не скрыть это мое мнение от

Буренина — своим появлением в „Новом времени“ он (Ясинский. — А. К.) плюнул себе в лицо. Ни одна кошка во всем мире не издевалась так над мышью, как Буренин издевался над Ясинским, и… что же? Всякому безобразию есть свое приличие, а посему на месте Ясинского я не показывал бы носа не только в „Нов[ое] время“, но даже и на Малую Итальянскую». То есть в редакцию газеты.

Да, нельзя печататься там, где тебя третировали, на одних страницах с теми, кого не уважаешь!

Отношение к «зулусам» становилось искушением и испытанием для Чехова. Буренин не считал его «своим» — присматривался, прикидывал, скоро ли он покинет «Новое время», уйдет в «толстые» журналы, и так ли уж расположился к нему Суворин. Поэтому, вероятно, пока не трогал. К тому же Чехов не заискивал, но и не игнорировал. Пусть не сам, а через брата, однако, просил прочесть повесть.

Суворин тем временем проявлял нараставшее благоволение к молодому московскому литератору. В марте 1888 года он уговорил Чехова остановиться в его доме. Гостю выделили две комнаты, приставив к нему на дни пребывания лакея Василия. Почему Чехов согласился на это предложение? Он сам жаловался в письме младшему брату Михаилу, что это его стеснило, что он не может явиться «в подпитии и с компанией». Хозяева ложились поздно ночью. Время уходило на разговоры с Суворинym, но мешала его жена. Анна Ивановна, почти ровесница Чехова, неумная и не шибко образованная. Скучающая, плохо справлявшаяся с большим семейством, раздираемым склоками, интригами, претензиями, она, конечно, тоже хотела поболтать с молодым, интересным гостем. Пыталась заинтересовать его собой. Заводила «серьезные» беседы, пересыпая их рассказами, где она сегодня была, что купила и за сколько.

Итог восьмидневных бесед с хозяином дома — мнение Чехова в одном из писем, по возвращении из Петербурга: «Суворин замечательный человек нашего времени». И «сватовство», о котором он написал Александру: «Суворин пресерьезнейшим образом предложил мне жениться на его дщери, которая теперь ходит пешком под столом…

— Погодите пять-шесть лет, голубчик, и женитесь. Какого вам еще черта нужно? А я лучшего не желаю…»

Так ли сказал Суворин, или Чехов утрировал его реплику, как и свою: «Я шуточно попросил в приданое „Исторический вестн[ик]“ с Шубинским, а он пресерьезно посулил половину дохода с „Нового времени“. <…> Итак: когда я думал жениться на гавриловской дочке, то грозил, что разжалую отца и Алексея в

мальчики; теперь же — берегись! когда женюсь на суворинском индюшонке, то возьму всю редакцию в ежи, а тебя выгоню».

Шутки шутками, но они могли дорого обойтись Чехову. Суворинский клан, живший, по словам Чехова, «в золоте», был ревнив и агрессивен. Сыновья от первого брака, Алексей и Михаил, претендовали на первые роли в газете и издательстве «Новое время», на львиную долю отцовского богатства. Не такие одаренные и упорные, как отец, они действовали интригами и наветами. Мало кому доверявший, часто впадавший в эти годы в апатию, Суворин записал в дневнике 3 мая 1887 года после похорон покончившего с собой сына Владимира: «Если бы кто-нибудь был, кто бы мне советовал, кто бы меня подталкивал, указывал на мои ошибки, бранил бы меня, спорил — никого никогда не было».

Не увидел ли Суворин такого возможного собеседника в Чехове? Домашним казалось, что глава семейства очарован, «околдован» молодым литератором. Им тоже поначалу нравился остроумный, не заискивающий, насмешливый гость. Суворин говорил, что Чехов «молодит» его, выводит из мрачного состояния. С гостем дом на время менялся: Алексей Сергеевич часами беседовал с ним, приходили его приятели, «на Чехова» приглашали, им завлекали. О новом увлечении хозяина «Нового времени» говорили и рассуждали не только в суворинском доме, но и в редакции. Самые приближенные сотрудники опасались влияния Чехова.

Отношения Суворина и Чехова сразу стали предметом обсуждения среди столичных литераторов и журналистов. Тема «покровительства» вплеталась в общелитературные разговоры, прямо или косвенно всплывала в отзывах о Чехове, но пока всё ограничивалось кругом общих знакомых. Хотя фельетон Буренина о «Степи», видимо, насторожил Чехова. Суждение о повести, как о всего лишь совокупности сцен, этюдов, картинок, эпизодов, становилось общим местом. Чехову приписывали ту обрывочность, то отсутствие цельности, которые он сам, по воспоминаниям современников, называл «творогом».

Но был в Петербурге человек, который уловил поэтическую законченность, внутреннюю цельность повести. В. М. Гаршин спорил, убеждал собеседников, что в России появился замечательный, совершенно оригинальный писатель. 16 марта 1888 года, он, как вспоминали очевидцы, вдруг обратился к Михайловскому во время общего спора о «Степи»: «Вот Вы, Николай Константинович, возлагали на меня большие надежды. Я их не оправдал, и все же могу спокойно умереть, так как их вполне оправдает другой — Антон Чехов!»

Ровесник Чехова, наделенный абсолютным внутренним слухом на слово, он не имел совершенного «голоса». О драме такого творческого зрения и слуха однажды, в 1887 году, Чехову писал Левитан: чувствовать в природе «божественное нечто» и не уметь его выразить. Гаршин уловил другую природу прозы Чехова, иные поэтические законы и средства, дающие ей дотоле неведомую в литературе силу воздействия на читателя единым тоном, настроением, особым авторским чувством. Один из современников рассказывал, как Гаршин долго и увлеченно объяснял ему и Ясинскому исключительные художественные достоинства повести «Степь».

Чехов и Гаршин встретились лишь однажды, мельком. Плещеев хотел поближе познакомить их, когда Чехов был в Петербурге в декабре 1887 года, но не получилось. Чехов дважды заходил к Всеволоду Михайловичу, но не застал. Запомнил лестницу, «темную, грязную». 24 марта 1888 года Гаршин кинулся в пролет именно этой лестницы. О похоронах Чехову рассказал Плещеев: «Из всех молодых писателей, которых Вы в Петербурге видали и не видали, это был, бесспорно, самый чистый, самый искренний и самый симпатичный человек… <…> Обиднее всего было то, что речи на его могиле говорили, между прочим, и такие люди, которые заведомо его не терпели и которых он не выносил; и также люди совсем ему почти незнакомые. <…> Те же, которые его любили и ценили, едва ли были бы в состоянии что-нибудь сказать. Слезы не дали бы им говорить».

Щеглов записал в дневнике, как на кладбище его тронул за руку критик А. И. Введенский, писавший под псевдонимом Аристархов, и спросил: «Какого вы мнения о Чехове? Скоро ему дадут острастку». Чехов откликнулся на печальную весть и на предложение К. С. Баранцевича принять участие в сборнике «Памяти Гаршина». Поблагодарил доброго приятеля за намерение объединить таким образом пишущую братию, живущую «вразброс и в одиночку». Он всё еще лелеял надежду на дух товарищества среди литераторов: «Чем больше сплоченности, взаимной поддержки, тем скорее мы научимся уважать и ценить друг друга, тем больше правды будет в наших взаимных отношениях. Не всех нас ожидает в будущем счастье. Не надо быть пророком, чтобы сказать, что горя и боли будет больше, чем покоя и денег. Потому-то нам нужно держаться друг за друга <…>»

Это письмо было написано 30 марта. Назавтра Чехов прочел в газете «Русские ведомости» рецензию Аристархова на «Степь». Видимо, ту самую обещанную «острастку». Рецензент повторял всё то же, что и другие: описания природы красивы, но где «целостность и общность цели»? Нет, нет, повесть непродуманная,

автор неопытен, не сладил с формой, хотя и талантлив.

Словно не заметив в повести или на самом деле не обратив внимания на строки о душе, которая «дает отклик прекрасной, суровой родине», о торжестве красоты и излишке счастья, в которых чувствуются «напряжение и тоска, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром, никем не воспетые и никому не нужные», на строки о «тоскливом, безнадежном призыве: певца! певца!», — рецензенты требовали от автора: идеи! идеи!

Чехов написал Плещееву 31 марта: «Читал сегодня Аристархова в „Русских ведомостях“. <…> Все эти критики — и подхалимы, и трусы: они боятся и хвалить, и бранить, а кружатся в какой-то жалкой, серой середине. А главное, не верят себе… <…> Аристарх[ов] с трудом читал и не понимал, но разве у него хватит мужества признаться в этом? Моя „Степь“ утомила его, но разве он сознается в этом, если другие кричат: „талант! талант!“? Впрочем, ну их к лешему!»

Это, по выражению Чехова, «отечески-снисходительное бормотанье» критиков по поводу повести было, вероятно, не столь горько, сколько обидно. Письмо Плещееву начиналось признанием: «На дворе идет дождь, в комнате у меня сумеречно, на душе грустно, работать лень — вообще я выбился из колеи и чувствую себя не в своей тарелке. <…> Пишу повестушку для „С[еверного] вестн[ика]“ и чувствую, что она хромает». Сбои в своей работе Чехов неизменно передавал глаголами: «хромает», «ковыляет», «не вытанцовывается».

Радость, с которой он писал «Степь», не вернулась. Наверно, Чехов нуждался в отдыхе. Но деньги просто улетучивались. Полторы тысячи (за продажу сборника и гонорар за повесть) разошлись незаметно. Всё, кажется, раздражало его в это время. В том числе склока вокруг сборников, посвященных памяти Гаршина, так как затевались два издания и их составители переманивали друг у друга авторов. Этот мусор взаимоотношений досаждал Чехову, и он сорвался на еще одном примере «отечески-снисходительного» отношения критиков и редакторов к начинающим.

Он рекомендовал кое-кого в московские издания, авторы посылали туда рукописи и не получали ответа. В другом настроении Чехов, вероятно, нашел бы смягчающие обстоятельства, обошелся шуткой. Но тут он рассердился и просто ругался в письме Щеглову: «Вообще все эти Гольцевы хорошие люди, но где касается литературы и литературных порядков, то там следовало бы мыть им не руки, а хари. Бездарны, сухи и туги, как оглоданные вороньи кости». Еще резче

он высказался в письме А. Н. Маслову (Бежецкому), имея в виду редактора газеты «Русские ведомости» В. М. Соболевского и редактора журнала «Русская мысль» В. А. Гольцева. Не как частных людей, своих знакомых, но как редакторов он назвал их «литературными таксами», помесью чиновников-профессоров с бездарными литераторами. Заподозрил в том, что «они что-то губят, душат, что они по уши залезли в свою и чужую ложь». И пообещал себе, что пойдет в «Русскую мысль», куда его «давно зовут» — «только в случае крайней нужды»: «Не могу!!!»

Что привело Чехова в такое неистовство? Да, как-то в компании он высказался об этом журнале как об издании честном, хорошем, но не талантливом. Это передали Гольцеву, и можно было подумать, что заметка в библиографическом отделе «Русской мысли» о повести «Степь» — ответ на эти слова. Анонимный автор счел, что в повести нет «ни мыслей, ни ярких образов, ни психологии, ни фабулы, ни даже этнографического интереса, — одна пластика».

На самом деле не было ни мелочной мести со стороны Гольцева, ни сговора между московскими рецензентами (хотя Аристархов и говорил во множественном числе — «дадут острастку»). Были нравы — одинаковые и в Москве, и в Петербурге, и вообще среди людей. Чехов так и написал Щеглову в начале мая: «Чтобы помочь своему коллеге, уважать его личность и труд, чтобы не сплетничать на него и не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемерить перед ним, — для всего этого нужно быть не столько молодым литератором, сколько вообще человеком… <…> относиться одинаково *ко всем*, не понадобится тогда и искусственно взвинченной солидарности».

Чехов, вероятно, не зря упомянул в этом письме «тяжелые минуты жизни». Он переживал их не только из-за отзывов о «Степи», трагической смерти Гаршина. Была и домашняя, семейная причина для тягостного настроения. Александр умолял мать приехать в Петербург присмотреть за внуками, так как дни Анны Ивановны, по мнению врачей, были сочтены. Семья решила, что Евгении Яковлевне ехать не надо. Павел Егорович философствовал, что всё в руках Божьих, что в доме есть нянька и вообще «незаконно живущие»…

Александр попросил взять детей на время в Москву. Евгения Яковлевна соглашалась, но воспротивились отец, сестра и братья, Николай и Михаил. Чехов ответил старшему брату прямо и горько: «Ты знаешь, у меня скопление взрослых людей, живущих под одной крышей только потому, что в силу каких-то непонятных обстоятельств нельзя разойтись… У меня живут мать, сестра, студент Мишка (который не уйдет и по окончании курса),

Николай, ничего не делающий и брошенный своею обже, пьющий и раздетый, тетка и Алеша (последние два пользуются только помещением). К этому прибавь, что от 3 часов до ночи и во все праздники у меня толчется Иван, по вечерам приходит батька… Всё это народ милый, веселый, но самолюбивый, с претензиями, необычайно разговорчивый, стучащий ногами, безденежный… У меня голова кружится… Если же прибавить еще две детские кровати и няньку, то я должен буду залить воском уши и надеть черные очки…»

Он предложил брату другой вариант: снять тихую удобную квартиру рядом, куда переедет Федосья Яковлевна с взрослым сыном Алешей, туда же привезут четырехлетнего Николая и двухлетнего Антона, возьмут няньку. Но при одном всенепременном условии — Александр должен высылать 50 рублей ежемесячно: «В деньгах вся суть. Ни благочестие дедушки, ни доброта бабушек, ни нежные чувства папеньки, ни великодушие дяденек — *ничто не может заменить их*. Сие помни, как я ежеминутно помню». Александр Павлович отказался. Объяснил тем, что тетка стара и бестолкова.

В таком раздраженном душевном состоянии Чехов работал над новой повестью «Огни», которую уже ждали в «Северном вестнике». Более того, жаждали, потому что из журнала ушел Михайловский и увел Глеба Успенского. Плещеев опасался, что очередь за Короленко и Чеховым, которых тоже попробуют «увести». Повесть между тем «не вытанцовывалась». Чехов переписал черновик, перечитал — и начал заново, оставив лишь «фундамент». Он не спешил, зная, что «Степь» многим, очень многим показалась скучной, не понравилась. Он боялся не новых снисходительных отзывов — страшился того, о чем написал Плещееву еще в начале апреля 1888 года: «Я трус и мнителен; боюсь торопиться и вообще боюсь печататься. Мне всё кажется, что я скоро надоем и обращусь в поставщики балласта, как обратились Ясинский, Мамин, Бажин и проч., как и я, „подававшие большие надежды“. Боязнь эта имеет свое основание: я давно уже печатаюсь, напечатал пять пудов рассказов, но до сих пор еще не знаю, в чем моя сила и в чем слабость».

Плещеев решил, что дело в критике и критиках. Но речь шла о другой боязни — не угадать, не понять себя. О другом страхе — испугаться самого себя, отступить, писать «по правилам», так как нравится публике, поставлять «балласт».

«Степь» писалась напряженно, но радостно, даже вдохновенно, без мысли о «канонах», «судьях», «идеях». Повесть «Огни» не овеяна такой безотчетной свободой. Автор словно

задумался, *что, как, зачем* он пишет, и ему показалось, что он «писать разучился». Оттого написанное воспринималось наброском грядущих сочинений.

Может быть, и «фундамент» стоило сломать, а не только «корпус». Тогда еще сильнее поразил бы читателей финал повести: «Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: „Да, ничего не поймешь на этом свете!“ Стало восходить солнце…»

Это был почти вызов — но не нарочитый, а неизбежный. От Чехова ждали идеи, явных симпатий и антипатий по отношению к героям, ясного ответа на вопросы. А он доверил повествователю такие слова! Он шутил, что вышла «канифоль с уксусом», над которой пусть мудрят «индюки критики». А ему — «наплюве», вот именно — «наплюве».

* * *

Завершение работы пришлось на Пасху, которую он встретил в храме Христа Спасителя, а ночью слушал на Каменном мосту любимый праздничный звон. Радовал предстоящий отъезд в Сумы, на Псёл, где подыскали дачу для летнего отдыха. Чехов зазывал в гости Плещеева, Суворина, Баранцевича, Щеглова, Короленко, актера Давыдова.

Он хотел отдохнуть от письменного стола и заняться медициной. Говорил: «Везу с собой медикаменты и мечтаю о гнойниках, отеках, фонарях, поносах, соринках в глазу и прочей благодати. Летом обыкновенно я полдня принимаю расслабленных…» Так повелось в Бабкине, так предполагалось и в Сумах, в имении Линтваревых. Врачебная городская практика незаметно превращалась летом в бесплатную помощь крестьянам.

После напряженной зимы и мучительной весны Псёл оказался для Чехова нечаянной радостью. Просторный флигель, любезные хозяева, старый сад, какой-то мягкий южный свет, а главное — река. Широкая, глубокая, а в ней изобилие рыбы и раков. Рыбная ловля — это отрада Чехова, даже в компании с кем-то дававшая право на молчание.

Удивило, что в селах нет нищих, не видно пьяных, не слышно матерщины. Хохлушки симпатичны, а полненькая дочка мельника, которую Чехов уподобил «куличу с изюмом», привлекательна так, что «просто хоть караул кричи». Он ездил на мельницу почти ежедневно.

Отсюда, среди этой благодати, все переживания из-за рецензий, переписка по поводу сборников показались Чехову «желчным вздором», который он, по его выражению, «молол направо и налево», чего с ним «никогда не бывало».

Хозяева совсем не походили на бабкинских Киселевых. Те праздно жили в имении и медленно, неуклонно разорялись, надеялись на завещания дядюшек и тетушек. Линтваревы, особенно молодое поколение, люди образованные, занимались хозяйством сами. Они пытались удержаться, выжить в пореформенной России, присматривались к нововведениям, но держались, однако, тем, что сводили на продажу лес.

Однажды Чехов говорил с П. Н. Островским, братом драматурга, о переменах в российской жизни. Умный и наблюдательный собеседник, любивший укладывать свои наблюдения в общие заключения, внушал: охватить минувшие десятилетия можно только в *романе*. Под впечатлением «Степи»

он писал Чехову: «В последние 10, 15 лет мы совершенно утратили понимание русской жизни. За эти годы совершилось многое: изменялся весь прежний строй общества, разложились окончательно прежние сословия с их крепкой типовой жизнию, увеличился чуть ли не вдесятеро личный состав среднего общества, народился интеллигентный пролетариат; люди иначе, не по-прежнему чувствуют жизнь, приспосабливаются к ней, иначе веруют и не веруют, иначе молятся, иначе ищут душевного равновесия… <…> шум и сутолока жизни только мешают присмотреться к той сокровенной внутренней работе, к<ото>рая в ней непрестанно совершается».

Старая, помещичья Россия еще держалась, напоминала о себе запущенными имениями, наглухо забитыми грустными усадьбами, в которых, как говорил Чехов, «живут души красивых женщин, не говоря уже о старых, дышащих на ладан лакеях-крепостниках». Вокруг Москвы и Петербурга подобные имения уже перешли в руки разбогатевших «кухаркиных детей», так нелюбимых бабкинским Киселевым. Здесь, в Харьковской губернии, «дворянские гнезда» ветшали, покорно ожидая неизбежных торгов. Одному из современников, по его словам, Чехов рассказывал о замысле романа, охватывавшем чуть ли не весь завершавшийся век и с героем, подобно Чичикову, разъезжавшему по всей России.

Линтваревы заинтересовали Чехова. Они пытались облагородить новые экономические запросы старыми культурными традициями. Получалось нечто половинчатое, вызывавшее уважение, но и грустную мысль о бесплодности усилий. Чехов сказал о них: «<…> все они умны, честны, знающи, любящи, но всё это погибает даром, ни за понюшку табаку, как солнечные лучи в пустыне». Молодые помещицы, незамужние Елена и Наталья, — одна лечила крестьян, другая построила на свой счет школу и сама учила «хохлят». Обе усердно занимались хозяйством. Но детали, подмеченные Чеховым в облике и поведении обеих, обещали им скорое увядание, бессемейную жизнь, заточение в кругу ежедневных забот и тихое материальное оскудение.

Плещеев, побывавший в Сумах летом 1888 года, отозвался на известие об ожидаемом первенце у П. М. Линтварева невеселым предсказанием: «Сдается мне, что Лука уже не будет принадлежать этому внучку, или этой внучке… если только внучек не женится на внучке арендатора мельницы; или внучка не выйдет за потомка того кулака, который нас угощал в особенной комнатке при своем магазине — как бишь его фамилия? У Смагиных он тоже купил землю…»

И не уйдет, увы! Прекрасная Лука
От лап загребистых пройдохи кулака!

В повести «Степь» все искали таинственного неуловимого Варламова, владельца десятков тысяч десятин земли, тысяч овец, который всё «кружил» по степи. Это был малорослый, серый, внешне заурядный человек, но «во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и власти над степью».

Линтваревы, потомки крепостников, осуждали всякую «нагайку», всякую силу, кроме духовной. Много читали, музицировали, обожали Плещеева за славное прошлое, за знаменитое «Вперед! Без страха и сомненья…». Он был для них первым поэтом России, потому что пел страдания народа; сам страдал, пережив по делу петрашевцев, вместе с Достоевским и другими, приговор к расстрелу и ожидание казни на Семеновском плацу. Казнь была отменена в последний момент. Плещеева отправили в ссылку. Через годы, восстановленный в правах, он занимался литературной деятельностью. Богатства не нажил, но обрел множество друзей, ценивших старого поэта за доброту, порядочность, мягкость нрава. А еще за трезвый взгляд на свое скромное дарование, за достойный путь в жизни и литературе. Чехов оказался одной из последних душевных привязанностей Плещеева. В переписке со знакомыми Чехов называл его «padre» и «дедушка».

Приезд Плещеева стал праздником для Линтваревых. За ним на Луке ухаживали, готовили его любимое мороженое, меняли в комнате букеты, катали на лодке. По вечерам в гостиной большого барского дома читали стихи, пели романсы. Линтваревы могли часами слушать его рассказы о тех, кого он знал, кого они боготворили. Плещеев был для них, как дружески шутил Чехов, иконой, «которой молятся за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными иконами». И добавлял: «Я же лично, помимо того, что он очень хороший, теплый и искренний человек, вижу в нем сосуд, полный традиций, интересных воспоминаний и хороших общих мест».

В то лето между ними, конечно, были разговоры о гаршинском сборнике, о Короленко, о судьбе «Северного вестника» и о повести «Огни». Плещеев прочел ее еще до приезда на Луку. Нашел «прекрасной вещицей», упомянул в своем письме Щеглова, которому дал прочесть корректуру. Тот остался недоволен, мол, нет «нравственного вывода». Плещееву повесть не показалась скучной, хотя Чехов, будто упреждая это впечатление, называл «Огни» «скучищей» и оправдывался перед

тем же Щегловым: «Неприятно, но нельзя было не послать, ибо деньги нужны, как воздух».

Щеглов, почти слово в слово, повторился в письме Чехову от 29 мая: «Вы пишете так аппетитно-реально, что читается легко и приятно, но финал: „Ничего не разберешь на этом свете!“ — обрывочен; дело писателя именно разобраться, в особенности в душе героя, а то его психика не выяснена».

Суворин, тоже прочитавший повесть в корректуре, упрекал автора за безответность спора героев о пессимизме. Тому и другому Чехов написал в ответ по сути одно и то же: дело беллетриста отличить важное от неважного; быть беспристрастным свидетелем, а не судьей своих персонажей. Да и вообще: «Пишущим людям <…> пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознавался Сократ и как сознавался Вольтер. <…> Паче сего, не дело психолога делать вид, что он понимает то, чего не понимает никто. <…> Всё знают и всё понимают только дураки да шарлатаны».

Ответ, наверно, не столько резкий, сколько неожиданный. За последние полвека русский читатель привык, что именно литература ставит и решает едва ли не все вопросы общей и частной жизни. А писатель — собеседник, учитель, друг, которому он внемлет. Особенно если публика возвела его в пророки, знающего, что есть истина, добро, зло. И вдруг молодой литератор спокойно говорит: «Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед».

Своеобразный шуточный ответ на вопрос о назначении искусства Чехов дал однажды в своем рисунке. Как-то у Гиляровского собралась молодая компания. Левитан взял альбом и набросал карандашом «Море при лунном свете» и «Малороссийский пейзаж». По воспоминаниям Гиляровского, Чехов «с серьезным видом долго рассматривал рисунки и пустился в строгую критику: — „Разве так рисуют? Что это такое? Никто ничего не поймет! Ну, море! А какое море? <…> Так не рисуют! Надо рисовать так, чтобы каждому было понятно, что хотел изобразить художник. Вот я вам покажу, как надо рисовать!“».

Ушел ненадолго в кабинет хозяина, вернулся и положил альбом перед Левитаном со словами: «Учись рисовать»: «На листе альбома изображено море, по которому идет пароход, справа гора, по ней идет человек в шляпе и с палкой, направляясь к дому с башнями и вывеской, в небе летят птицы. И под каждым изображением подпись: море, гора, турист, трактир. А внизу

подпись: „Вид имения Гурзуф Петра Ионыча Губонина. Рисов. *А. Чехов*“». И сказал: «Вот как рисуют! А ты, Гиляй, береги это единственное мое художественное произведение: никогда не рисовал и никогда больше рисовать не буду, чтобы не отбивать хлеб у Левитана».

Конечно, не такой «ясности», почти наглядности, искали в повести «Огни» Суворин и Щеглов, сами литераторы. Но их недовольство будто предупреждало: надежда, что читатель возьмет на себя труд дать оценку спора героев, преждевременна.

Тогда что же? Ждать? У него, в чем он прямо и косвенно признавался в письмах этих лет, не было ни времени, ни желания ждать. В сочинениях современников, которых Чехов читал, а читал многих, он не ощущал близкого себе литератора, даже в чрезвычайно чтимом им Короленко. Душевное родство — да. Поэтическое — нет, как бы ни сравнивали их критики. Перед российским читателем и критиками Чехов был в одиночестве.

Если «Степь» они встретили снисходительно, рассуждая — вернется ли Чехов после этого первого «серьезного» опыта к юмористике, к «осколочным» рассказам или пойдет дальше, — то повесть «Огни» многих возмутила. Большинство осталось в полном недоумении — что это такое? Что за герой? Что же, наконец, автор — сочувствует, осуждает или ему все равно?

Аристархов, видимо, продолжая свою «острастку», назвал повесть «довольно грязной и пошлой историей». Кто-то написал с возмущением, что автор равнодушно относится к такому «разврату ума и разврату души». Иронизировали, что в повести «претензии — с коломенскую версту, выполнение — с булавочную головку». Историю, рассказанную героем, инженером Ананьевым, сочли лишней, неинтересной, искусственной. Тогда как, может быть, в ней — главное. Человек совершил дурной поступок, соблазнил женщину. Но что-то заставило его покаяться перед ней и задуматься, почему подобное случилось. И ответить себе: умный, образованный, рассуждающий, неплохой человек всё равно невежествен и мыслит ненормально, если не знает «азбуки» жизни, то есть голоса совести. А коли так, то сознание человека — потемки, в которых беспорядочные мысли исчезают, ничего не осветив и не прояснив.

Чехов уже затронул эту больную тему в рассказе «На пути», в пьесе «Иванов»: о незамечаемой, несознаваемой лжи, разрушительной и страшной. Он не раз говорил об этом со старшими братьями. Не просто обман, невыполненное слово, трусливое малодушие имелось в виду — но *ложь человека самому себе о самом себе*. Подобная той, которая во многом исковеркала жизнь Александра Чехова.

В конце мая 1888 года в муках скончалась несчастная Анна Ивановна, отринутая своей семьей и так и не признанная семьей мужа. В начале июня, оставив детей у тетки в Москве, вдовец приехал в Сумы. Через неделю, находясь в привычном подпитии, написал письмо Елене Михайловне Линтваревой с изъяснением чувств и попросил Николая передать послание, но тот отдал брату Антону. Чехов надорвал конверт, опасаясь скабрезностей, свойственных речи старшего брата, когда он «болел», то бишь пил — и разорвал письмо… Александр обиделся, накричал на всех и ночью уехал на вокзал. В дороге впал в запой. Не помнил, как забирал детей, как добрался до Петербурга. 20 июня он написал уже из дома: «Брате, всем существом своим прошу: не гневайся на меня. Сегодня ровно неделя, как я мучаюсь и нравственно и физически. <…> При таких условиях я не заработал ни одного пятака и поневоле, с сознанием подлости поступка, взял у тебя часть денег на медицину и прокормление. <…> Подробнее напишу скоро, а теперь умоляю тебя, не кляни меня. <…> Это — в последний раз в жизни!.. Шабаш!»

Но мысль о женитьбе не оставил и вскоре решил через брата просить руки Елены Михайловны. Ответ Чехова на эту просьбу был прям и откровенен: для брака нужна взаимная любовь, а ее нет по причине мимолетности знакомства. Незачем профанировать человеческие отношения и нужно жениться по-человечески: «<…> ничто не мешает тебе приехать на Луку в рождественские] святки в гости или летом… <…> я всячески буду помогать тебе и даже приданое тебе дам (20 коп.), а пока, прости, я замкну уста и всеми силами буду стараться не ставить в неловкое положение таких хороших людей, как Ел[ена] Мих[айловна] и ты».

* * *

Было ли что-то автобиографическое в повести «Огни»? Узнавались Таганрог, дачное место Карантин, барышни, убегавшие с офицерами. Впечатлений от степной поездки Чехова, кажется, нет — но есть в рассказе Ананьева, в его размышлении о смысле жизни, странное сопряжение двух далеких друг от друга мест: «по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце…» Словно какое-то предчувствие…

У Чехова было это свойство. В шутку или всерьез он любил предсказывать, предугадывать. Не раз определял характер человека по почерку. Не раз говорил о своем *«пророческом*

чувстве», которое, по его уверению, не изменяло ему ни в жизни, ни в медицинской практике. Шутил, еще не дожив до тридцати лет, что его сочинения и письма будут изданы, что пьесы он пишет для жены, которая, оставшись вдовой, будет получать с них доход, что хотел бы жить в Крыму с какой-нибудь «актрисочкой».

Иногда это чувство пугало его самого. Как раз летом 1888 года Чехов добирался из Сухуми в Поти на пароходе «Дир». В темноте пароходик чуть не столкнулся с другим судном. Чехову почему-то стало жаль «толстенького» капитана: «Мне что-то шепчет, что этот бедняк рано или поздно тоже пойдет ко дну и захлебнется соленой водой…» Пароходик затонул осенью того же года.

До этого случая оставалось полтора месяца, в которые вместились ярмарка в Сумах, незабываемая поездка в Полтавскую губернию. Здесь его посетила «обворожительная мысль» — забросить литературу, ибо она «опостылела». Засесть в каком-нибудь здешнем селе и заняться медициной: «Будь я одинок, я остался бы в Полтавской губ., так как с Москвой не связывают меня никакие симпатии. Летом жил бы в Украйне, а на зиму приезжал бы в милейший Питер…» И в эти же дни: «Я жалею, что я не женат или, по крайней мере, что у меня нет детей». Откуда вдруг такое настроение? Откуда признание в июльском письме Суворину, что когда отодвинулись переживания из-за повестей, рецензий, литературных событий, то прояснилось главное: «Нет, не то мы пишем, что нужно!»

Во многом это открылось благодаря новым встречам и впечатлениям. Чехов уже заметил: длительное путешествие, дальняя поездка в новые края действовали на него «чудодейственно». Летом 1888 года дорога предстояла не очень дальняя. Он отправился из Сум через Харьков, Симферополь поездом до Севастополя. Оттуда морем в Феодосию, где с семьей на собственной даче отдыхал Суворин. По сравнению, видимо, с яркими, еще отчетливыми впечатлениями от Полтавщины (Сорочинцы, Лебедин, Гадяч) берега Крыма показались ему скучными, а Ялта, по его словам — «помесь чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещански-ярмарочным».

В таком настроении он приехал в Феодосию. О самом городе, с его белыми каменными заборами, черепичными крышами, узкими кривыми улицами, Чехов нигде и никак не высказался. Может быть, потому что все десять дней прошли в бесконечных разговорах, купании, поездках в гости. Чехов присматривался к «генералу Суворину». Нашел, что от природы ум у него небольшой, зато «чертовское чутье», что он одаренный самоучка. Современники считали, что в беседах Алексей Сергеевич был

интересен, приводил множество фактов, но не склонялся к умозаключениям. Может быть, очевидная по письмам способность Чехова в частном разглядеть общее, уловить закономерность, динамику того или иного явления особенно привлекала Суворина.

Однако целодневная «болтовня» с хозяином, жара, заметное внимание к нему хозяйки дома, не умолкавшей, как «канарейка», менявшей наряды, певшей с чувством романсы для милого гостя, невозможность работать — вся эта «окрошка» впечатлений сократила отдых в Феодосии. Чехов сообщил домашним: «Еду с сыном Суворина куда глаза глядят». Хотел добраться до Самарканда: Батум — Тифлис — Баку — Каспий — Закаспийская дорога. И всё — за три недели.

Эта поездка была нужна газете. Чехова уговаривали посылать с дороги путевые зарисовки, но от жары и плохого самочувствия он ничего не писал. Порой спрашивал себя: «Зачем я здесь?» С самого начала он предчувствовал, что поездка сорвется. В Баку его спутник получил телеграмму о смерти младшего брата — сын Суворина от первого брака, Валериан, скончался от дифтерита. Сочувствуя этому горю, Чехов заметил тогда в одном из писем: «Что-то фатальное тяготеет над его семьей». Имелась в виду и трагическая смерть первой жены Суворина, и кончина его старшей дочери в возрасте 27 лет, и самоубийство сына. На протяжении нескольких лет Суворин потерял четверых детей.

Под тяжелым впечатлением от скорбного известия Чехов вернулся в Сумы. От этого или в силу своей натуры он, как всегда в конце теплого лета, ругал предстоящую осень, московские сумерки, невольное затворничество. И уже мечтал о следующей весне. Ни романа, ни лирической пьесы, как хотел, он за это лето не написал. И хутора не купил, хотя ездил, смотрел. Воображал (в шутку или тешил себя), как построит на берегах Хорола флигельки для добрых знакомых и будет летнее литературное сообщество.

Осталась лишь мечтой родных женитьба Ивана Павловича на родственнице Линтваревых. Не сбылись упования милых хозяев и Евгении Яковлевны. Не они одни заметили душевную расположенность Натальи Михайловны к Чехову, ее влюбленность.

В общем, лето завершилось какими-то неопределенными планами, несбывшимися надеждами и безденежьем…

Еще в Феодосии, до поездки на Кавказ, Суворин предложил Чехову две тысячи рублей. Чехов согласился взять взаймы и раз и навсегда объяснился с Сувориным по денежному вопросу. Он прибегнет при нужде к займу, но станет отдавать из гонорара или

выручки за продажу его книг, печатавшихся в типографии и продававшихся в книжных магазинах Суворина — без всяких скидок и уступок. Чехов настоял на этом условии. Чтобы даже тени подозрения не было, будто у него есть какой-то меркантильный интерес во взаимоотношениях с издателем «Нового времени». По этой же причине он отказался войти в редакцию газеты, связать себя службой у Суворина — «хоть зарежьте».

В денежном вопросе Чехов был чрезвычайно, болезненно раним. Еще раз объясняясь на этот счет в письме от 29 августа, он открылся Суворину: «До сих пор, когда я бывал должен, то впадал в лицемерие — очень противное, психопатическое состояние. Вообще в денежных делах я до крайности мнителен и лжив против воли». Он не позволял себе унижаться перед деньгами или деньгам унижать его. В том *сопротивлении*, в котором Чехов ощущал себя с отроческих лет, деньги оказались, наверно, не самым трудным, но и не самым легким испытанием. Истоки его он назвал в этом откровенном письме: «<…> это значит, что я страшно испорчен тем, что родился, вырос, учился и начал писать в среде, в которой деньги играют безобразно большую роль».

Всё детство и отрочество братья слышали от отца: умейте добывать деньги, берегите копейку, расходуйте с умом, выбирайте денежную службу. Их ругали и часто били за разорванные штаны и ботинки, попрекая тем, сколько отдано было за вещь, как тяжело дается каждая копеечка и т. д. Больших денег в семье никогда не было, но разговоры о них теснили всё остальное. Вся таганрогская юность Чехова прошла под родительский плач: денег, денег, денег… Первые московские годы — в подсчетах строчек написанного и умножении на пять, семь, восемь, десять копеек. Послеуниверситетское время — это расчеты, хватит ли дотянуть до конца месяца и расплатиться с лавочниками.

Он не стеснялся безденежья, поэтому так свободно и просто говорил о нем. Он боялся его, говорил, что «ужасно напуган денежно», поэтому избегал займов, авансов. Они его давили, вынуждали «скулить». Одолевая это «психопатическое состояние», он, судя по более поздним признаниям, муштровал себя с гимназических лет, хотя оно оборачивалось порой своеобразной гордыней. Ему недоплачивали за репетиторство — он молчал. Чтобы не показаться скупым, расплачивался за студенческое застолье не на равных, отдавал больше других. Когда ему, практикующему врачу, в состоятельном семействе давали откровенно ничтожный гонорар, он не брал вовсе. Ему платили меньше по сравнению с другими авторами. Он предпочитал

молча сожалеть, что его обкрадывают, лишь бы не требовать у издателей и редакторов справедливого гонорара. Зимой 1888 года, когда зашла речь о гонораре за «Степь», Чехов написал Плещееву: «Деньги мне очень нужны, но говорить о них, да еще с хорошими людьми, я терпеть не могу. Ну их к чёрту! <…> Я всегда беру только то, что мне дают».

Этот страх Павел Егорович внушил всем детям. Александр также впадал в панику, вместо того чтобы указать на ошибку, когда ему неверно начисляли гонорар или недоплачивали жалованье. Николаю опасно было доверить даже малые деньги — он либо просто отдавал их кому-нибудь, либо устраивал на них грошовую пирушку. Его бездумная покорность и незлобивое легкомыслие вызывали жалость, и Чехов давал ему небольшие суммы, оплачивал счета, возвращал его долги, не огромные, но постоянные. Иван все время пребывал даже не в страхе, а в ужасе остаться без гроша в кармане. Он на всем экономил, чурался долгов, становился невольником вечных подсчетов. Но оставался безукоризненно честен, надежен и щепетилен в денежных делах. Ему можно было доверить любые суммы и не волноваться за сохранность.

Чехов не зависел от самих денег, но сковывала постоянная мысль о том, что их нужно заработать во что бы то ни стало, чтобы содержать себя и семью. Что значило для него обеспечение семьи (родителей, сестры, брата-студента), он пояснил в письме Щеглову весной 1888 года. Тот пожаловался на запутанные домашние обстоятельства. Чехов ответил, что у него они не лучше, но он не унывает: «Во всяком случае мне чаще бывает весело, чем грустно, хотя, если вдуматься, я связан по рукам и ногам… У Вас, батенька, квартирка, а ведь у меня целый дом, хоть и паршивенький, но все-таки дом, да еще двухэтажный… У Вас *жена*, которая простит Вам безденежье, а у меня *порядок*, который рухнет, если я не заработаю определенное количество рублей в месяц, рухнет и повалится мне на плечи тяжелым камнем… Впрочем, наплюве на это…»

Суворин оценил откровенное объяснение Чехова и ответил тоже признанием — неожиданным и на первый взгляд парадоксальным. Хозяин огромного дела, значительной собственности не был хозяином своих денег. Прибыль поступала в «кассу», откуда ему позволяли взять: «Я беру оттуда деньги всегда с каким-то несвободным, тяжелым чувством, как не свои. <…> Я бы желал выиграть 200 тысяч, ибо это считал бы своими деньгами, и я бы ими тряхнул и никто бы не смел и поморщиться, что бы я из них ни сделал, хоть бы с кашей съел».

Выходило, что Чехов содержал свой «дом», «родственный

клобок», «порядок», «муравейник», «цыганское семейство», а Суворин содержался при «кассе». Чехов мог, но не хотел тратить на себя, всё отдавая в семью. Суворин хотел, но не мог позволить себе какую-нибудь «блажь», семья считала это лишними, расточительными фантазиями. Получалось: Чехов при своем безденежье волен распоряжаться тем, что зарабатывал. Суворин, богатый, очень богатый, зависел от «кассы». Чехов не мог оставить семью, вероятно, по какому-то врожденному чувству долга, по «азбуке жизни», то есть совести. Суворина оставляли в семье, потому что он был частью общей «кассы», дела. Хотя сам же он давно хотел вырваться, отделиться, бежать… На следующий день после самоубийства сына он записал в своем дневнике 2 мая 1887 года: «Меня утешают тем, что я что-то сделал для семьи. Неправда. Ничего я не сделал. Я не воспитал никого, я не был нравственною опорою никого. Я работал. Да, это правда, я даже много, страшно много работал, а вокруг меня только недоразумения, фальшь и гибель. Дети мои — все благородные, славные люди, но тем не менее несчастные. Почему?»

29 мая того же года Суворин попытался дать ответ на свой вопрос: «Что мне дало это благосостояние, эти деньги? Ровно ничего. Я в них лично не нуждался, но они испортили все отношения, испортили жизнь детей, испортили мою жизнь. <…> дали неравенство, зависть, пренебрежение к труду, мечтательность. <…> Мещанство сказалось не у одного меня. И все идет по-старому и будет идти».

Первые серьезные разговоры Чехова и Суворина пришлись на тяжелое время в жизни Алексея Сергеевича. Современники потом говорили, что в отношении старшего к младшему было что-то «отцовское», что «старик» воздавал должное человеческим достоинствам Чехова, а не его таланту. Может быть, они просто повторяли слова самого Суворина, признававшего также, что расположения Чехова нельзя было купить ни за какие деньги и что Чехова привлекало в нем «что-нибудь серьезное, гораздо более серьезное, чем деньги».

В доверительных беседах в петербургском доме, на феодосийской даче Суворин рассказывал о своем далеком прошлом: детстве, родителях, вхождении в журналистику. В этом оказалось что-то общее с недавним прошлым Чехова. Но, судя по письмам, беседы эти шли на равных — не «отец» и «сын», не «учитель» и «ученик», не «мэтр» и «начинающий». Недаром Чехов шутливо звал Суворина «старичиной». Он не зарекался насчет их будущих отношений: «Что дальше будет, не знаю». С самого начала эти отношения разделились на деловые, творческие и человеческие. Всё, что касалось издания книг, гонораров, долгов,

было отдано на откуп типографии, бухгалтеру, конторе. Другие взаимоотношения восстановимы частично — по письмам Чехова (судьба писем Суворина Чехову неизвестна), по дневникам и переписке современников.

Однако самое интересное, личное, говорившееся с глазу на глаз, без посторонних, без помех со стороны домашних Суворина, ревнивых сотрудников «Нового времени», общих знакомых — неведомо. И чем серьезнее были их беседы в Феодосии, тем шутливее отзывался о них Чехов: «Целый день проводим в разговорах. Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. <…> Говорим, говорим, говорим и, по всей вероятности, кончим тем, что умрем от воспаления языка и голосовых связок».

Собственно настоящая переписка между ними началась с осени 1888 года. С того письма о «денежном вопросе» в их отношениях, поставленного и решенного Чеховым. Тогда подпись «искренно преданный» сменилась на — «Ваш сердечно А. Чехов».

В следующем письме, от 11 сентября, Чехов задал самому себе уже неотложный вопрос: *медицина или литература*?

Глава седьмая. «РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ»

Суворин, конечно, стоял за литературный труд и советовал не гоняться за двумя зайцами. Чехов пошутил, что такое возможно даже на охоте — «были бы гончие, а гнаться можно». И продолжил шутку: «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоедает одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но <…> от моего вероломства обе решительно ничего не теряют».

Постоянной врачебной практики у Чехова не было: нечастые вызовы к небогатым пациентам, редкие консультации. Он говорил о себе в шутку, что он — «доктор, хотя и плохой, но бесплатный», для добрых знакомых. Не специализировался на каких-то болезнях — лечил от простуды, тифа, ожогов, чахотки, но больше не упоминал о желании служить в городской больнице, в клиниках или уездным врачом.

Он впервые назвал литературу любовницей, а медицину женой в начале 1887 года. Теперь, через два года, уравнял их, если не в правах, то в своем внимании. «Законность» медицины удостоверял аттестат о степени лекаря и свидетельство о звании уездного врача. «Союз» с литературой определялся шуткой — «незаконно живущие…». Хотя уже не было *Чехонте*, но и подпись *Антон Чехов*, кажется, оставалась для него просто родной фамилией.

Когда Суворин грубо выговорил Александру за подпись *Ал. Чехов* под рассказом в «Новом времени» вместо псевдонима *Седой*, Чехов успокоил брата: «Смертного часа нам не миновать, жить еще придется недолго, а потому я не придаю серьезного значения ни своей литературе, ни своему имени, ни своим литературным ошибкам. Это советую и тебе. <…> Ан. Чехов и Ал. Чехов — не всели это равно? Пусть это интересует Бурениных и прочих похабников, а мы с тобой отойдем в сторону».

Чего больше в этих словах: утешения брата или самоутешения? Гонорар частнопрактикующего врача даже не упоминался в его письмах — может быть, за ничтожностью. Литературная работа — главный денежный источник, но недостаточный. Осенью 1888 года у Чехова 500 рублей долга (влетевшие в копеечку поездка в Феодосию и прерванное путешествие на Кавказ). Что же? Писать, по его выражению, «вкривь и вкось, не щадя живота» для всех, хоть в «Осколки», хоть для «Нивы»? Куда угодно, лишь бы войти в денежную колею…

Конечно, он не собирался возвращаться ни к Лейкину, ни к Худекову. Его «куда хотите» — это усмешка. Плещеев умолял прислать что-нибудь для сборника «Памяти Гаршина» и для «Северного вестника». Чехов начал писать для журнала рассказ «Именины», а для сборника выбрал трижды рискованную тему: «молодой человек гаршинской закваски, недюжинный, честный и глубоко чуткий, попадает первый раз в жизни в дом терпимости». Он сомневался, во-первых, передаст ли гнетущее впечатление, ощущаемое им самим в этой истории. Во-вторых, не выхватит ли из рассказа что-то важное цензура, не любившая подобные темы. И, в-третьих, читатель. Не отпугнет ли его такой разговор — серьезно о серьезном?

В эти дни Чехов привычно сетовал на помехи — гости, вызовы к пациентам, посетители, шумный жилец (сын Киселевых поступил в московскую гимназию и по просьбе родителей водворился в кудринском доме). Конечно, всё это мешало кропотливому сочинению «кабинетных» рассказов. Но не это проглядывало в раздражении, в усмешке над бытом, над собой. Он в это время был недоволен и собой, и тем, как пишут другие. Ворчал на рутину: одно и то же, одно и то же — герои говорят, говорят, словно «говорильная машина» — слова, слова…

А он сам, а его герои? Написал за истекший сезон, с осени прошлого года: повести «Степь» и «Огни», пьесу «Иванов», водевили «Медведь» и «Лебединая песня (Калхас)», несколько рассказов. Так что писать больше, как уговаривал Плещеев, как советовали добрые приятели, приниматься за роман — это поставлять словесный балласт да еще казниться. И не судом

читателей и критиков, а своим собственным.

К концу сентября Чехов тем не менее закончил начерно «Именины», настрочил рассказ «Красавицы», а в октябре — водевиль «Предложение» и задуманное для сборника — рассказ «Припадок». И много, и скоро. И опять неотвязное: зачем? зачем?

Прежнее многописание не тревожило такими вопросами. «Мелочь» — фельетоны, юморески — летела словно в никуда, была и нет ее. Теперь — суд «прокуроров», то есть критиков, и суд «присяжных», то есть читателей. Чехов не исключал, что в оценке рассказа «Именины» они будут заодно, но шел на это и просил своего «защитника» Плещеева ничего не менять в рассказе, не сглаживать, не приспосабливать к читательским ожиданиям. Пусть будет как есть: «Это моя просьба имеет в основании не упрямство и не каприз, а страх, чтобы через помарки мой рассказ не получил той окраски, которой я всегда боялся».

Никогда ранее Чехов не объяснялся так много и страстно, так открыто в письмах Григоровичу, Плещееву, Суворину. Он уяснял для себя суть серьезного сочинительства: что такое — «большой художник», зачем он пишет? Три слова повторялись в этих монологах: насилие (сила), ложь и свобода: «Я хотел бы быть свободным художником и — только, и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах». А они были всюду. Произвол воплощали не только жандарм, но и ученый, газетчик, литератор, если в угоду своему невежеству, злобной натуре, несостоятельности или претензиям они припечатывали другого человека или чужое дело ярлыком, приговором, клеветой. И всё это не только в своих кружках, но в печати, множа зло и ложь.

Получив отклик Плещеева на «Именины» (умный, чуткий Алексей Николаевич почувствовал, что автор отстаивал в повести свою и чужую «душевную независимость»), Чехов, по его выражению, «заглянул в свою утробу»: «Мне кажется, что меня можно скорее обвинить в обжорстве, в пьянстве, в легкомыслии, в холодности, в чем угодно, но только не в желании казаться или не казаться… Я никогда не прятался. Если я люблю Вас, или Суворина, или Михайловского, то этого я нигде не скрываю».

Вероятно, не случайно Чехов назвал имена людей, которым Плещеев, по разным причинам, не симпатизировал в это время. Даже в этом он защищал то, в чем признался padre: «Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».

Подозревая, что опять в его рассказе станут искать между

строк политическую тенденцию, общественную идею, идеологическое кредо, Чехов будто отрезал: «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист».

Он хотел быть *свободным* художником — если бы Бог дал силы…

Безденежный, утомительный сентябрь 1888 года Чехов назвал «мрачным». Было за что. Напряженная срочная работа, подобная «оглашенному» писанию осенью 1884 года, вызвала кровотечение. Чехов опять уверял, будто оно не опасно, что после того кровотечения, когда кровь текла из правого легкого, он «раза два в год замечал у себя кровь, то обильно текущую, т. е. густо красящую каждый плевок, то не обильно…». И вообще: «Каждую зиму, осень и весну и в каждый сырой летний день я кашляю. Но всё это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве».

Это было «зарево» уже начавшегося «пожара», то есть чахотки, которую он не хотел замечать. И отговаривался доводом, странным для дипломированного врача и практикующего доктора: «Если бы то кровотечение, какое у меня случилось в Окружном суде, было симптомом начинающейся чахотки, то я давно уже был бы на том свете — вот моя логика». Если не умер, то, наверно, потому, что от природы был наделен хорошим здоровьем. Но его подтачивали два неотменимых фактора. Это наследственность со стороны материнского рода: брат Евгении Яковлевны умер от чахотки, от этой болезни уже угасала ее сестра Федосья Яковлевна, жившая у Чеховых. И, конечно, напряженнейший труд в молодые годы при не самых благоприятных условиях (безденежье, домашние казусы, отравлявшие настроение).

Два события случились в октябре почти одновременно: новое кровотечение и присуждение Чехову половины Пушкинской премии (500 рублей) за сборник «В сумерках». Эти деньги будто с неба свалились. Он благодарил за хлопоты Полонского, Григоровича, Суворина. Не скрывал радости, хотя по-прежнему выше себя ставил Короленко. Его поздравляли. Он старался смотреть на эту суету с юмором, со стороны: «Я все эти дни хожу, как влюбленный; мать и отец несут ужасную чепуху и несказанно рады, сестра <…> ходит к подругам и всюду трезвонит». Щеглов дул в уши о новых завистниках и врагах. Что скоро подтвердилось, и Чехов не сдержался в письме Плещееву в конце октября: «Эти сукины сыны <…> готовы повесить меня и Короленко за успех. <…> они замечают только чужой успех и свой неуспех, а остальное хоть травой порасти».

Премию можно было бы воспринять как «аттестат», выданный

литератору Чехову, узаконивавший его «незаконные» отношения с «любовницей» — литературой. Однако он не торопился менять свой взгляд на нее, иронизировал, что премированные рассказы не проживут в памяти читателей и десяти лет. Словно боялся выпавшей удачи — или вновь что-то предчувствовал. Свое предощущение и переживание беды Чехов называл «фатализмом». Он будто смиренно покорялся испытаниям, житейским катастрофам. Не поддающийся искушениям (известностью, деньгами, лестью), он примирялся с неизбежным, с тем, что от него не зависело. Это свойство, вероятно, объясняло отношение к болезни и к судьбам старших братьев.

Той осенью Чехову пришлось выслушивать претензии Суворина к Александру и жалобы доброго, терпеливого Шехтеля на Николая. Он уверял Суворина, что у них в роду нет пьяниц, но Александр, увы, алкоголик: «В трезвом состоянии он умен, робок, правдив и мягок, в пьяном же — невыносим. Выпив 2–3 рюмки, он возбуждается в высшей степени и начинает врать». Александр не мог сладить с мелочной мнительностью, впадал в показное самоуничижение, «возвышаясь» в пьяном бахвальстве и лжи. Но прозрение становилось с каждым разом всё горше. Он быстро исписался, став одним из поставщиков «беллетристического балласта». Смирился с участью журналиста, но старался не перейти черту, за которой превратился бы в газетчика, готового на всё и не брезгующего ничем. Какая-то робость и душевное малодушие поработили умного и доброго человека, искавшего в запоях мнимую свободу и смелость.

И все-таки Александр удержался от нравственного распада. Не сила воли, а, наверно, стыд удержал его от окончательного падения. Теперь, когда в квартире вдовца поселилась его давняя московская приятельница Наталья Александровна Гольден, домашняя жизнь опять превращалась в семейную. Запои случались, но с ними родные и новая спутница научились справляться.

Осенью 1888 года катастрофа («грянул гром») случилась с Николаем. Без паспорта, без постоянной работы он вел «подпольный» образ жизни. Пробавлялся случайными грошовыми заработками. Заглядывая изредка в Кудрино, сулил покончить с нелегальным положением, но, возможно, забывал об этом, еще не договорив обещание и клятву. Однажды явился городовой. Николай, вместо того чтобы привычно соврать и убраться из номеров, сунул свое метрическое свидетельство и был уличен в проживании без паспорта, что каралось тюремным заключением.

Что разрушило талантливого, бескорыстного, незлобивого человека? С детства нервный, то меланхоличный, то

возбужденный, он ничего не мог закончить: ни гимназии, ни училища, ни многих своих живописных работ. Хотя обещал в юности не меньше, чем его приятели, художники Левитан, Коровин, Янов. Мешал тяжелый быт семьи в первые московские годы?

Но так жили многие его товарищи: работали в мастерских за городом, кормились уроками. А он бывал в классах редко, затягивал работу для студенческой выставки до последнего. Вдруг появлялся с отличной картиной и опять исчезал.

Он словно чего-то боялся. В нем ощущался скрытый испуг, который выдавали его многочисленные выразительные рисунки в юмористических журнальчиках. В этих зарисовках — гулянья, пьяненькие, маскарад, ресторан, будуар, улица, тесный мир, где соседствовали красота и уродство, — мелькало что-то бесовское. Горький, бесшабашный, смешной, продажный мир. Совсем не безобидный, а темный, грешный.

Николай скрывался не только от городового, дворника, швейцара, спрашивавших у него паспорт, но, кажется, и от жизни. Его веселье, то милое, то безобразное, убеги из дома, может быть, прятали вечный страх, вину перед собой, родителями, братом, который выручал, спасал… В одном из посланий Чехов написал ему: «По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист, поделяешься последней копейкой, искренен, ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, не ехиден, не злопамятен, доверчив».

Казалось бы, всё дано от Бога — добрая душа, талант… И какой! Он написал в 1884 году портрет, может быть, лучший из всех портретов Чехова. Что-то открылось ему в судьбе брата…

Чехов давно знал о чахотке у Николая. В 1886 году вытащил беглеца из дешевых номеров, подлечил. Через год кровь показалась вновь — Николая опять спасли. В следующем году Шехтель нашел ему работу: расписать иконостас в новом храме, привез иконные доски, редкие книги. Николай воодушевился… и исчез. Шехтель ждал до последнего, но в конце октября умолял возвратить хотя бы доски и книги. Чехов устало отвечал: «Пока он трезв — он хороший человек, но едва выпил рюмку, как начинает беситься. Моя фамилия выбилась из сил и, откровенно говоря, рада, что он съехал с квартиры. Что делать с ним? Не знаю».

Беглого художника искали долго. Чехов винился перед Шехтелем: «Мне больно и стыдно. Сейчас я посылаю Николаю письмо такого сорта, что он ответит непременно». Книги и доски были присланы, сам Николай домой больше не вернулся.

* * *

Радость от премии, план совместного с Сувориным писания пьесы, шумный успех водевиля «Медведь» (премьера в театре Корша — 28 октября) — всё гасилось мыслями о старших братьях, о неясном будущем.

Чехов сравнивал свое состояние то со струной, которую спешат натянуть, то с поездом, идущим без остановок и рискующим сойти с рельсов. Все уподобления подразумевали опасность. Судя по оговоркам и деталям в письмах, он хотел бы ослабить напряжение в своей работе. Но тут же говорил о «решительном шаге», о «серьезном шаге». Однако словно не решался или не спешил. Намеревался работать ровно и, по его словам, «не лезть в гору и не падать вниз».

В особом душевном состоянии (в дни кровотечений, предельной усталости, тоски) Чехов как будто подводил итоги своей жизни. Так было и осенью 1888 года. Он написал Лазареву: «Я счастлив, что указал многим путь к толстым журналам <…>. Всё мною написанное забудется через 5–10 лет; но пути, мною проложенные, будут целы и невредимы — в этом моя единственная заслуга». О каких путях шла речь? Из мелкой прессы в «толстые» издания? Конечно, о чем-то другом. Размышляя о «ровной» работе, Чехов говорил в те дни, что талант узнается по «порывам и ошибкам», что надо быть мужественным, смелым, а главное — свободным. Но тут же заявлял, что боится браться за роман, а, может быть, попробует написать что-то новое в драме.

Один из современников вспоминал более поздний разговор с Чеховым о природе таланта. Он говорил о том, что опасно «заводить» уставший талант на дни, если его, как сломанные часы, хватает ненадолго, порой на минуты. Это приводит к болезни ума, к душевной катастрофе. Человек не в состоянии бросить литературный труд, насилует себя, использует уже написанное им, терпит крах, ищет причины вовне, а не в себе самом. Что-то похожее прозвучало уже тогда, осенью 1888 года в письмах и отклике на известие о смерти Н. М. Пржевальского. Заметка появилась в «Новом времени». С нескрываемым волнением Чехов писал о людях подвига, «веры и ясно сознанной цели», которые «возбуждают, утешают и облагораживают». И о других людях, «ведущих споры об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба».

В письме Суворину в конце октября Чехов только что не бранился: не должен художник решать специальные вопросы (об общине, алкоголизме, женских болезнях и пр.). Не должен. И не

надо смешивать два понятия: «<…> *решение вопроса и правильная постановка вопроса*. Только второе обязательно для художника».

Да, правы Плещеев и Суворин, что «Именины» стоило бы пошлифовать. Но Плещеев сам торопил: скорее, скорее, к осенней книжке, к сборнику («Вы нас губите…»). И Чехов спешил в ущерб работе: «Господи, я ведь не бесчувственная скотина, я понимаю это. Я понимаю, что я режу своих героев и порчу, что хороший материал пропадает у меня зря…» Подгоняли не одни редакторы, но и безденежье. Однако даже будь деньги, его душевное состояние осталось бы таким же смутным и тревожным. Он говорил: «В решении, как мне быть и что делать, *деньги не помогут*».

Это письмо Суворину от 27 октября 1888 года — едва ли не первое, в котором Чехов приоткрывал то, что происходило в его сознании: «У меня в голове томятся сюжеты для пяти повестей и двух романов. Один из романов задуман уже давно, так что некоторые из действующих лиц уже устарели, не успев быть написаны. В голове у меня целая армия людей, просящихся наружу и ждущих команды. Всё, что я писал до сих пор, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать и что писал бы с восторгом».

Тому, что вырвалось в письме, Чехов нашел название — «вопль». Наболело. Пусть это преувеличение, но все-таки: «Я дурак и самонадеянный человек или же в самом деле я организм, способный быть хорошим писателем <…>»

Выходит, он не верил ни Григоровичу, ни Плещееву, ни Билибину, ни дошедшему до него мнению Вагнера, что он настоящий писатель. Действительно, дело не в деньгах. Они могут изменить условия работы. Но сделать хорошим писателем не могут. Не в их власти подсказать секрет, как надо писать. Ему казалось, что он этот секрет знает. И его не выразить никакой формулой, не передать в разговорах о приемах и правилах, об общих законах творчества, как это попытался сделать Мережковский. Чехов прочел его статью в «Северном вестнике», где речь шла о сборниках «В сумерки» и «Рассказы». И особо выделил конец статьи: «Он характерен». Чем?

Мережковский отметил как достоинство то, за что дотоле критики упрекали Чехова: недосказанность, нетенденциозность. Но в финале взялся за классификацию человеческой деятельности, за типологию. Излюбленный образ у Чехова, по мнению Мережковского, это «герой-неудачник», мечтатель, идеалист, поэт, «лишенный воли и определенного направления в жизни» («На пути», «Агафья», «Святою ночью»), Чехов с досадой

написал Суворину: «Пора бы бросить неудачников, лишних людей и проч. и придумать что-нибудь свое. <…> Делить людей на удачников и на неудачников — значит смотреть на человеческую природу с узкой, предвзятой точки зрения… Удачник Вы или нет? А я? А Наполеон? Ваш Василий? Где тут критерий? Надо быть Богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников и не ошибаться…»

Особенно задел его ярлык «мечтателя-неудачника» на монахе из рассказа «Святою ночью», сочинителе акафистов, хотя Мережковский назвал рассказ «прелестнейшей новеллой».

Чехов удивился: «Какой же это неудачник? Дай Бог всякому так пожить: и в Бога верил, и сыт был, и сочинять умел…» Сказал бы он нечто подобное в это время о самом себе? О вере в Бога пока в письмах не высказывался. Сыт был, то есть не голодал, а искушения лишними деньгами, тем более богатством, боялся, еще не имея их. Что же до сочинительства?

В эту беспокойную тяжелую осень 1888 года Чехов задавался вопросом, какой он писатель и писатель ли, но ответа не давал: «Не знаю и не знаю. Положусь на всеисцеляющее время. Если опять говорить по совести, то я еще не начинал своей литерат<урной> деятельности, хотя и получил премию. <…> Впрочем, сам чёрт сломает шею в этих вопросах… <…> Мне нужно одиночество и время».

И, наверно, покой. Но всего этого не было, а были неурядицы с братом Николаем, безденежье, скука, одним словом, «форменная меланхолия».

В театре Корша с успехом шел «Медведь», но у автора это не вызывало никакой радости. Скорее досада на публику, которая, по его грубому выражению, «рыгочет», да вообще она — «стадо», нуждающееся в «хороших пастухах и собаках». Да и современный театр — это «дурная болезнь городов», «сыпь». А пьесы, идущие на сцене, вроде пьес Карпова, — «сплошное вранье и клевета на жизнь».

В письмах Чехова и в заметках, написанных им для «Нового времени» осенью 1888 года, проступало тяжелое чувство, звучал какой-то «протестующий тон». В одной из заметок — «Московские лицемеры» — он написал о каторжном труде приказчиков, по 10–12 часов в день, без выходных. В другой — «Наше нищенство» — коснулся одной из ненормальностей русской жизни: повального всеобщего нищенства, ставшего привычкой русского человека: «В низших слоях развита и веками воспитана страсть к нищенству, попрошайничеству, приживальству, а в средних и в высших — ко всякого рода одолжениям, любезностям, пособиям, заимствованиям, уступкам, скидкам, льготам… <…> за

кулисами всего этого чрезвычайно часто кроются несправедливость, произвол, насилие над чужою совестью, эксплуатация чужого чувства, преступление. <…> Когда общество во всех своих слоях, сверху донизу, научится уважать чужой труд и чужую копейку, нищенство уличное, домашнее и всякое другое исчезнет само собою».

Что-то разгоралось в Чехове, в чем он признавался, что приоткрывал образ, мелькавший в письмах и в заготовках для романа: *зарево, пожар*… Этим же образом он передавал свое ощущение от кровотечений. Болезнь и глубинное настроение, мысли о сочинительстве оказывались взаимозависимыми, взаимосвязанными.

О романе он рассказал в письме Григоровичу от 9 октября 1888 года: «Определенных планов на будущее у меня нет. Хочется писать роман, есть чудесный сюжет, временами охватывает страстное желание сесть и приняться за него, но не хватает, по-видимому, сил. Начал и боюсь продолжать. <…> Я имею способность — в этом году не любить того, что написано в прошлом; мне кажется, что в будущем году я буду сильнее, чем теперь; и вот почему я не тороплюсь теперь рисковать и делать решительный шаг. Ведь если роман выйдет плох, то мое дело навсегда проиграно! <…> Пока не пробил час для романа, буду продолжать писать то, что люблю, то есть мелкие рассказы в 1–1½ листа и менее. <…> Подожду более удобного времени».

Роман он отложил. Вернулся к замыслу пьесы «Леший», задуманной им с Сувориным. Но Суворин отошел в самом начале — набросал кое-что, однако, получив замечания Чехова и «афишу», характеристику действующих лиц, понял, что его увлекают на какой-то новый путь, с непривычным видением драмы. Чехов предлагал литературный эксперимент, но Суворин, автор многих пьес и сценок, на такой решительный шаг не согласился. Сказал, что «Леший» годится для романа, и отошел в сторону.

Чехов принялся за то, что назвал «опытами» — опытом романа, пьесы, повести, от которых не осталось черновиков, а лишь отзвуки в письмах, упоминания в воспоминаниях современников. Он вообще не хранил черновики, присылаемые ему оттиски, не ставил условием возвращение рукописи после набора. Он не обрастал архивом (варианты, черновые автографы, подготовительные материалы и т. п.), потому что основная работа совершалась в голове. Скрыто, напряженно… За письменный стол он садился, чтобы записать готовый текст, потом «шлифовал» его незначительной правкой, проверял верность тона, особенно в начале и в конце повести, рассказа, пьесы.

Из меланхолии, тоски, раздражения родилось осенью 1888 года состояние, о котором Чехов сказал: «Мой мозг машет крыльями, а куда лететь — не знаю. <…> не знаю, кто вещает моими устами, Бог или кто-нибудь другой похуже».

Как бы то ни было, он повеселел и писал, писал, писал… Может быть, он освобождал те самые сюжеты, что истомились в голове, и, по его словам, дрессировал руку, учил свободной повествовательной форме.

В декабре Чехов поехал на две недели в Петербург. Не один, с сестрой. Остановились у Суворинных. Опять — разговоры, встречи. В письмах — возбужденный тон. Иногда что-то бравурное в связи с пьесой «Иванов», которую он переделывал для постановки в столичном театре. Но за всем этим — и в Петербурге, и по возвращении в Москву, — всё тот же тяжелый вопрос: «Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового <…>. Нужен я этой публике или не нужен, понять я не могу. <…> Писать для денег? Но денег у меня никогда нет, и к ним я от непривычки иметь их почти равнодушен. Для денег я работаю вяло. Писать для похвал? Но они меня только раздражают».

Итак, не для денег, не для славы… Зачем? Для кого? Для чего? Для «собственного удовольствия»? Наверно, усталостью, постоянной сменой меланхолии возбуждением и опять меланхолией, объяснялось странное упование Чехова на критиков. Только что, несколькими строчками выше, он обругал их в письме Суворину и вдруг надежда, что будь настоящая критика, уж она бы объяснила публике — хороший он писатель или дурной, нужен он тем, кто изучает жизнь или нет… А так исчезнешь бесследно, бесполезно…

В этих вопросах растаяла иллюзия, будто критик, тем паче рецензент, что-то объясняет публике, а тем более художнику. Критик выказывает себя; обнаруживает свой вкус, тонкий или пошлый; свои пристрастия, в жизни и искусстве. Но даже если он сам человек пишущий, он не откроет тайну словотворчества и не научит писать прозу или драму.

Осень 1888 года, отраженная в письмах Чехова, — вопросы, вопросы и вопросы… Врач он или литератор? Жить с семьей или одному? Писать, как хочется, или повременить? Оставаться в Москве, где он одинок, вне литературного круга, или переезжать в Петербург, где его мнительность страдала бы еще сильнее из-за сплетен и намеков на покровительство Суворина?

В Москве неурядицы с Николаем, а в Петербурге — с Александром. Чехов уехал расстроенный и рассерженный. Через две недели, отойдя от тяжелых впечатлений, он написал, что был

поражен ужасным обращением брата с Натальей Александровной, с прислугой, с детьми: «Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. <…> Деспотизм преступен трижды. <…> Тяжелое положение, дурной характер женщин, с которыми тебе приходится жить, идиотство кухарок, труд каторжный, жизнь анафемская и проч. служить оправданием твоего деспотизма не могут. Лучше быть жертвой, чем палачом».

Тем не менее в самом конце года Чехов собрался перебраться в Петербург: «Надо серьезно заняться делом». В столице вовсю обсуждали слух, что он все-таки принял предложение Суворина работать в «Новом времени». Плещеев тут же написал с мольбой — не записываться «в армию нововременцев», состоящую из «нахалов и дряни». За постоянный заработок он-де поплатится талантом, потому что его вынудят писать заказные статьи. А главное, по мнению заботливого Алексея Николаевича, Чехов невольно будет нести ответственность за всякую «пакость» одиозной газеты. Пока же его, по словам Плещеева, не считали «солидарным» со всем, что там печатается. Старый писатель хорошо знал литературную среду и недаром сам признался позже в письме Суворину: «Не знаю почему — но мне казалось, что когда я приходил к вам, окружающие вас (не все, конечно) видели в моих посещениях „особенные цели“… намерение поэксплуатировать ваше дружеское расположение ко мне».

Год завершался для Чехова невесело. Его настроение выдавали строки из письма Григоровичу, посланного к Рождеству: «Поэтический праздник. Жаль только, что на Руси народ беден и голоден, а то бы этот праздник с его снегом, белыми деревьями и морозом был бы на Руси самым красивым временем года. Это время, когда кажется, что сам Бог ездит на санях».

Григорович явно почувствовал душевную интонацию письма. И ответил умным, тонким размышлением о рассказе «Припадок». Отринув все претензии критиков к Чехову, он, кажется, первый написал, что не герой — главное лицо в рассказе, не его переживания важны автору. Суть в «высоком человечном чувстве, которое от начала до конца повести всё в ней освещает и всё оправдывает». Именно это чувство, по признанию Дмитрия Васильевича, его «преследовало все время и хватало за душу. Вечер с сумрачным небом, только что выпавшим и падающим мокрым снегом — выбран необыкновенно счастливо; он служит как бы аккордом меланхолическому настроению, разлитому в повести, и поддерживает его от начала до конца».

* * *

На самом ли деле Чехов хотел уехать в Петербург и служить в газете, хотя бы и с жалованьем 500 рублей в месяц?

Первые годы знакомства — время очарования Чехова и Суворина друг другом. Чехова интересовала личность «старичины», а Суворина — необычность Чехова. Предложения работать в газете — это попытки издателя помочь таланту, решить его «денежный вопрос». Отказы молодого литератора — это условия его непростых взаимоотношений с хозяином «Нового времени».

Суворин вольно и невольно, в шутку и всерьез всё сводил к деньгам: повышенный гонорар, хорошее жалованье, приданое за дочерью. Он не покупал, но ценил и оценивал талант Чехова. Ценил в меру своего ума и вкуса. Оценивал в меру своих возможностей в семейной «кассе». Чехов воздавал должное этим искренним побуждениям, но попытался объяснить «доброму господину» Суворину его ошибку. В самом начале 1889 года он написал такое же душевно открытое письмо, как осенью минувшего года. В одном предложении, ставшем впоследствии знаменитым, не прерываясь на точки и паузы, Чехов рассказал о важном и главном для него: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая…»

Чехов говорил о цене *мужания и самостоянья*: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости». Он, видимо, полагал, что Суворин, прошедший через подобное, о чем Чехов знал из разговоров с ним, поймет его, как никто, и примет главное условие их отношений: не хозяин газеты и литератор, а человек и человек, выстрадавшие, «купившие» ценою молодости *чувство личной свободы*.

Эти три слова он подчеркнул в письме. Не «Новое время», как полагали Михайловский, Григорович и Плещеев, умалило и разрушило бы Чехова, а утрата этого чувства, в газете или за ее пределами. *Чувство личной свободы* оказывалось проявлением и залогом той самой *художественной свободы* во взгляде на мир и человека в его сочинениях, которую долго называли

«объективностью» Чехова. А в житейском поведении, в отношениях с окружающими оно стало свободой Чехова от предрассудков не только своей среды, но вообще от власти сословных и иных предубеждений, равно порабощавших и дворянина, и купца, и мещанина. Порой даже умных, образованных, добрых, и тем не менее…

Он признался, что это чувство «стало разгораться» в нем только недавно, связал его с душевной возмужалостью и возмужалостью таланта. Поэтому на остережения Плещеева ответил, что если бы пошел в «Новое время», то повел бы «ожесточенную борьбу за свою самостоятельность» и за свои взгляды на газетное дело, влил бы «немного молодого вина в старый мех».

Но зачем? У него в голове толпились замыслы и сюжеты. Он и Суворина уговаривал еще минувшей осенью «отдаться художествам». Предлагал писать вместе, хотя уже понял, что публицистика проглотила литературное дарование Суворина, и он, по словам Чехова, на всё смотрит «оком публициста». А в своих пьесах и рассказах — робок, напряжен, не доверяет себе и держит себя «на веревочке», в общем, не свободен.

Да, у Суворина, прожившего трудную, пеструю, интересную жизнь, образовался огромный житейский опыт. Да, ему дана способность к писанию. Но есть ли у него то *чувство личной свободы,* которое Чехов считал главным для себя?

Что усиливало это чувство? Радость, испытанная в работе над повестью «Степь», или наоборот — недовольство «Именинами», безвестными «опытами», новым вариантом «Иванова»? Сколько он ни возился с «Ивановым», переделывая для постановки в Александринском театре, — не нравилось, не получалось: «Я не сумел написать пьесу. <…> Значит, рано мне еще за пьесы браться». Он жестко иронизировал: «Это так же трудно, как купить старые солдатские штаны и стараться во что бы то ни стало сделать из них фрак».

Успех «Иванова» в Петербурге в январе 1889 года обрадовал Чехова, но не изменил его отношение к пьесе. В успехе он «обвинил» занятых в спектакле лучших актеров Александринского театра — П. А. Стрепетову, П. М. Свободина. М. Г. Савину, К. А. Варламова, В. Н. Давыдова. Он признавался: «Я не могу забыть, что Стрепетова плакала после III акта и что все актеры от радости блуждали, как тени». Современники вспоминали, как он, бледный, выходил на поклоны, а в зале не смолкало: «Браво! Браво!» Щеглов не преминул отметить в дневниковой записи от 31 января 1889 года «сценическую неопытность» Чехова и уточнил: «Вызовы автора, хотя не без протестов».

После премьеры рецензенты дружно «трепали» «Иванова» — именно пьесу, а не спектакль. Писали, что это «клевета и карикатура на современное русское общество», «клевета на русского интеллигентного человека», «пародия на людей», «скучная пьеса». За пьесу и автора вступился Суворин: «Несмотря на молодость (ему всего 29 лет), он <…> угадывает многое такое в русской душе, что таланту менее сильному не угадать и в сорок лет. <…> Ничего отравленного какими-нибудь предвзятыми идеями нет у этого талантливого человека. <…> Он не любит ни фраз, ни нытья, ни отчаяния и является другом самых обыкновенных людей. <…> Толкнула его на это поприще нужда, нужда его самого и его близких. Работал он очень много».

Суворин, в сущности, пересказывал в статье свои беседы с Чеховым, иногда дословно. Вообще внес много личного, будто оправдывал недостатки «Иванова» молодостью автора и его бедностью, заботой о семье. Щеглов утешал Чехова успехом спектакля, но указал в письме на главный недостаток «Иванова»: это сюжет для повести. Так думал не он один. Чехов отвечал с досадой, что успехи, неуспехи, рецензии, овации его только утомляют, а «лежанье на сене и пойманный на удочку окунь» удовлетворяют гораздо «осязательнее»: «Я, очевидно, урод и плебей». Так резко он высказывался о себе, когда не хотел обсуждать свои «чада», то есть повести, рассказы, пьесы, с собеседником, явно их не понимавшим.

Плещеев, Суворин, Щеглов — все говорили, что Чехову лучше удается проза, что ему не стоит писать пьесы. Но, может быть, эти советы наоборот усиливали то, что Чехов уже не раз назвал «толкастикой». Он ставил вопрос ребром: или — или. И говорил: «Беллетрист должен идти в толпу драматургов-специалистов или генералом, или же никак». Шутил, что он, Щеглов, Короленко — «литературные штаб-офицеры», где-то в середине литературной табели о рангах, до «генерала» далеко.

И все-таки решился на еще один «поход» в драматургию — написать комедию «Леший». А пока ходил в театр, ездил слушать цыганок, справлял Масленицу и надеялся, что жизнь войдет в колею. Младший брат, Михаил, кончал курс в университете. «Сладкий Миша», как звали в семье ласкового, слегка самодовольного, чуть-чуть претенциозного молодого человека, рассуждал, куда ему податься. Родители стояли, естественно, за государственную службу: жалованье, чины, медали, льготы, пенсия. Чехов советовал выпускнику-юристу подумать о должности присяжного поверенного, то есть адвоката, а для души заняться литературной работой. Михаил уже кое-что напечатал, много переводил, ему давались иностранные языки. Из Ивана

вырабатывался образцовый педагог. Он брал терпением. Может быть, самый впечатлительный из братьев, рано уязвленный неудачами, отцовскими «уроками» повиновения, он никогда не наказывал учеников физически. Держал себя в струне. Как говорил о нем Чехов — «Иван по-прежнему настоящий Иван». Николай зимой 1889 года пребывал в «безвестном отсутствии». Он скрывался от семьи, но, как всегда, делал вид, что всё благополучно, он работает, делает рисунки — и вот-вот заглянет в Кудрино повидаться с матерью и сестрой.

Февраль 1889 года прошел спокойно, в работе, в обсуждении планов на лето: где купить дачу для семьи. Это лучше, чем обретаться месяцами у милых, как Киселевы и Линтваревы, но все-таки чужих людей. Чехов не оставил мысли о романе. Даже название придумал: «Рассказы из жизни моих друзей». Странный роман из отдельных рассказов с общими действующими лицами, с общей объединяющей мыслью — *об уклонении жизни от нормы*. Он не выходил из дома, на него нашел желанный «писательский стих».

28 марта в кудринский дом принесли телеграмму от брата: «Приезжай, ради Бога, умираю, бок болит». Сначала Чехов ездил дважды в день в номера, где пребывал Николай. Ставил компрессы, давал лекарство. Ухода за больным не было никакого. В конце Великого поста он перевез брата в Кудрино. Тогда и сказал сестре: «Николкина песня спета». Вместе с доктором Н. Н. Оболонским он поставил диагноз. Домашним внушал, что у Николая брюшной тиф. На самом деле брат погибал от чахотки. Его не спасли бы ни Ницца, ни Крым, даже если были бы деньги.

В письмах этих дней Чехов упоминал Марка Аврелия. Он читал его очень внимательно, делал пометки карандашом. В письме Суворину от 11 апреля вспомнил философа-стоика: «Что делать? Ехать с больным в теплые края <…> где не спрашивают паспорта и где можно прожить с больным без риска залезть в невылазные долги? <…> О Марк Аврелий Антонин! О Епиктет! Я знаю, что это не несчастье, а только мое мнение; я знаю, что потерять художника значит возвратить художника, но ведь я больше Потемкин, чем философ, и решительно неспособен дерзко глядеть в глаза рока, когда в душе нет этой самой дерзости».

Быть философом, наверно, трудно даже врачу. Свое настроение Чехов называл «гнусным», «скверным». Накануне отъезда из Москвы на Луку он поздно вернулся домой. Рассказал назавтра Оболонскому, как «долго стоял у ворот и смотрел на рассвет, потом пошел гулять, потом был в поганом трактире, где видел, как в битком набитой бильярдной два жулика отлично играли в бильярд». Но и после трактира не направился в Кудрино:

«<…> потом пошел я в пакостные места, где беседовал со студентом-математиком и с музыкантами, потом вернулся домой, выпил водки, закусил, потом (в 6 часов утра) лег, был рано разбужен и теперь страдаю, ибо чувствую во всем теле сильное утомление и нежелание укладываться».

Всё изложено, как краткий сюжет рассказа, подобного «Припадку» — ночь, трактир, публичный дом, сон на рассвете. Всё запечатлено словно в записной книжке: жулики, студент, водка. Повторяющееся «потом» объединило все моменты.

Может быть, Чехов, таким образом одолевал настроение? Или он всё воспринимал, будто занося в память, которая привычно уже процеживала увиденное и услышанное?

* * *

Чехов вез брата один. Линтваревы, знавшие, что такое тяжело больной в семье (одна из дочерей хозяйки имения ослепла от опухоли мозга), не отказали и отвели Николаю отдельный флигель. Братья поселились там вместе. Ночью Чехов вставал к больному. Утром выводил Николая в сад, где тот дремал, иногда рисовал.

Как практикующий врач Чехов знал, что страх потери, которые близкие люди переживают неделями, месяцами, оставляет глубокий след в душе. Он старался сохранить свои силы и силы родных, подменявших его около Николая, спокойствием, которое называл «равнодушием». То была внешняя ровность поведения, а не бесчувствие; самообладание, а не бессердечие. Некоторым современникам Чехов даже в молодости казался чуть ли не бесстрастным, тогда как письма его передавали перепады настроения, душевные вспышки. Его природная черта — более наблюдать и слушать, чем говорить, — многими принималась за невозмутимость. Немногие видели, как он бледнел в гневе. Как опускал на несколько секунд веки, чтобы не выдать ярости. Как прикрывал на минуту глаза ладонью, когда был на кого-то зол.

Чехов не считал себя хладнокровным человеком, но говорил, что в нем мало страсти, а, стало быть, по его мнению, и таланта. На упреки Суворина в «лени» он ответил из Сум в начале мая: «Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска, оттого-то не случается, чтобы я за одну ночь написал бы сразу листа три-четыре или, увлекшись работою, помешал бы себе лечь в постель, когда хочется спать; не совершаю я поэтому ни выдающихся глупостей, ни заметных умностей». От-того-то не встречались в

его письмах атрибуты расхожего образа писателя: бессонные ночи, упоминания музы, ожидание вдохновения, какие-то чудачества, глубокомысленные рассуждения о творческом процессе и т. п. Чехов предпочитал говорить о себе — *литератор*.

Он иронизировал по поводу исключительно внешних стимулов активной человеческой деятельности. А внутренние побуждения к сочинительству, свою «толкастику», упоминал с юмором и очень редко. В письмах литераторам-мужчинам Чехов позволял себе сравнения из сферы интимных отношений. В 1886 году написал Билибину: «Вы как фельетонист подобны любовнику, к[ото]рому женщина говорит: „Ты нежно берешь… Грубее нужно!“ <…> Вы именно нежно берете…» Однажды назвал свою «музу» — «большой бабой». В другой раз грубо пошутил в сердитом разговоре о современной литературе: «У нас нет „чего-то“, это справедливо, и это значит, что поднимите подол нашей музе, и Вы увидите там плоское место».

В самом начале 1889 года Чехов отменил свое сравнение медицины с законной женой, а литературы — с любовницей. И это, наверно, симптоматично. Он написал Плещееву 15 января в связи с измучившими его переделками «Иванова»: «Повествовательная форма — это законная жена, а драматическая — эффектная, шумная, наглая и утомительная любовница». Отговаривая Щеглова от писания пьес, советовал, и настоятельно: «Занимайтесь беллетристикой. Она ваша законная жена, а театр — это напудренная любовница». Однако сам на Луке писал пьесу. «Странную», не очень любимую, потому что роман, над которым он работал в эти же майские дни, ему, по собственному признанию, «больше симпатичен и ближе к сердцу», чем «Леший», где приходилось «хитрить и ломать дурака». И все-таки писал…

Может быть, «Иванов» и «Леший» были попыткой выйти из состояния, которое он называл «психопатией» и в котором находился последние два года. То есть время — между медициной и литературой, между *Чехонте и Чеховым*. Он уже признавался в этом настроении. Но в мае 1889 года оно резко обострилось.

Чехов не любил раннюю, «голую» весну. Он всегда ждал пору, когда, как он говорил, «всё поет, цветет, блещет красотой». Такую весну в Сумах он описал Суворину: «Сад уж совсем зеленый, даже дубы распустились. <…> Каждый час дня и ночи имеет какую-либо свою особенность. <…> Ночи лунные, дни яркие… Сего ради, настроение у меня хорошее, и если бы не кашляющий художник <…>»

И, наверно, если бы не злополучная «*психопатия*»: «<…> ни с того ни с сего, вот уже два года, я разлюбил видеть свои

произведения в печати, оравнодушел к рецензиям, к разговорам о литературе, к сплетням, успехам, неуспехам, к большому гонорару — одним словом, стал дурак дураком. В душе какой-то застой. Объясняю это застоем в своей личной жизни. Я не разочарован, не утомился, не хандрю, а просто стало вдруг всё как-то менее интересно. Надо подсыпать под себя пороху».

Получается, что «Иванов» и задуманный «Леший» — это своеобразный «порох»? Волнений от двух премьер «Иванова», в Москве и Петербурге, шума в зрительном зале, газетных громов и молний оказалось с избытком. Но, выходит, душевного застоя они не «взорвали». Не помогла и поездка весной 1887 года по родному краю. Наверно, не спасла бы и поездка за границу, о чем Чехов сказал Суворину, желая ему счастливого пути: «С каким удовольствием я поехал бы теперь куда-нибудь в Биарриц, где играет музыка и где много женщин. Если бы не художник, то, право, я поехал бы Вам вдогонку». За всеми «если бы не…» скрывалось что-то более глубокое, как всегда, прорывавшееся в шутках. Он попросил Суворина: «Если будете играть в рулетку, то поставьте за меня на мое счастье 25 франков».

В эти недели, около умиравшего брата, Чехов словно перешел черту между молодостью и старостью. И за плечами у него ощущалось уже не 29 лет, а полвека. Он всегда казался сверстникам старше своих лет, когда был гимназистом, студентом, начинающим литератором. Скрытое сосредоточенное восприятие жизни, напряженная работа «фильтра памяти» (образ, уже промелькнувший в рассказе «На пути» и в повести «Огни»), просеивавшего впечатления, наблюдения, возможно, рождали особое ощущение своего состояния и возраста. У внутреннего времени Чехова были иная скорость, иной ритм, чем у внешнего течения его жизни. Он сам иногда говорил в молодости, что чувствует себя стариком. И память у него была особая — он довольно быстро забывал названия и содержание своих ранних рассказов, но годами помнил выражение лица у случайного попутчика; чей-то жест, поразивший его своей выразительностью; какую-то, казалось бы, мелочь, деталь.

На первый взгляд некое менторство (склонность «читать мораль молодым людям», как говорил сам Чехов) усвоено от отца, результат его житейских проповедей. На самом деле это — природное умение понимать, чувствовать любой возраст. Он словно переключался неведомым образом в иную сферу ощущений, что заметно в интонации писем. Он становился «своим» для всех: ребенка, старика, пожилой женщины.

Это свойство подметили коллеги, наблюдавшие, как студент-медик, а потом молодой врач вел прием больных в клиниках и

земских больницах. Отсюда, наверно, и от необыкновенной наблюдательности диагностическое чутье доктора Чехова, психологическая тонкость и точность в описании переживаний героев рассказов и повестей. Особенно о детях и подростках — «Беглец», «Репетитор», «Детвора», «Ванька», «Гриша», «Мальчики», «Спать хочется», «Степь». Отменить эту способность не могли никакие обстоятельства. Поэтому в рассказах доктору Оболонскому о состоянии брата Николая упоминались такие подробности, как котенок, которым тот забавлялся в последние дни.

Еще в Москве Чехов понял: болезнь Николая неизлечима, конец близок, справляться придется одному. Он говорил в эти дни: «Судьба соделала меня нянькою…» Когда Александр спросил в письме, чем он может помочь, Чехов жестко ответил: «Помогай, чем хочешь. Самая лучшая помощь — это денежная. Не будь денег, Николай валялся бы теперь где-нибудь в больнице для чернорабочих. <…> Если же денег у тебя нет, то на нет и суда нет. К тому же деньги нужны большие, и 5–10 рублями не отделаешься». От полутора тысяч за постановку «Иванова» и продажу книг, издаваемых постоянно типографией «Нового времени», осталось совсем немного.

Чехов звал на Луку добрых знакомых. Приезжал на несколько дней Суворин. Линтваревы обошлись с гостем сухо. Им претили «дух» и «направление» суворинской газеты. Побывал милый, сердечный человек, актер Свободин с девятилетним сыном. Наконец вернулся из путешествия Михаил и приехал Александр с домочадцами. Теперь вся семья была в сборе, кроме Павла Егоровича. Чехов решился оставить Николая на старшего брата и поехал с Линтваревыми и Свободиным к своим здешним знакомцам Смагиным. Но жара вдруг сменилась холодом и дождем.

Всё последующее Чехов изложил в письме Плещееву. Точнее описал, словно в рассказе: «<…> во всю жизнь не забыть мне ни грязной дороги, ни серого неба, ни слез на деревьях <…> утром приехал из Миргорода мужичонко и привез мокрую телеграмму: „Коля скончался“. <…> Пришлось скакать обратно на лошадях до станции, потом по железной дороге и ждать на станциях по 8 часов… В Ромнах <…> пошел шататься по городу. Помню, сижу в саду; темно, холодище страшный, скука аспидская, а за бурой стеною, около которой я сижу, актеры репетируют какую-то мелодраму».

С такой же интонацией прозы, а не письма он описал похороны брата: «По южному обычаю, несли его в церковь и из церкви на кладбище на руках, без факельщиков и без мрачной

колесницы, с хоругвями, в открытом гробе. Крышку несли девушки, а гроб мы. В церкви, пока несли, звонили. Погребли на деревенском кладбище, очень уютном и тихом, где постоянно поют птицы и пахнет медовой травой. Тотчас же после похорон поставили крест, который виден далеко с поля».

Павел Егорович прислал из Москвы свой «прощальный поклон» умершему сыну: «Ему там много лучше будет. Все равно он на этом свете не жилец. Жизнь его вышла неудачная, испорченная, но сам он хорош, характер кроткий и ласковый. Но что делать. Богу так угодно отозвать его от нас <…> и если он напутствован Св[ятым] причастием в загробную жизнь, то он счастлив».

Во все эти дни Чехов не плакал. Его никто и никогда не видел плачущим.

* * *

Теперь он мог уехать. За границу, куда звал Суворин и где ждал Григорович? Но там продолжились бы и неизбежные разговоры о литературе, начатом романе, «неудачном» «Иванове». О чем Чехов менее всего, судя по письмам, хотел рассуждать, потому что всё не «вытанцовывалось», не нравилось. И он не поехал в Европу. Григорович, несколько дней приезжавший в Вену встречать поезд из России, обиделся и в сердцах написал Суворину: «Чехов поступил с нами все-таки не по-европейски <… > славянин распущенный без твердой внутренней опоры <…> вот и всё!»

Чехов по дороге на Запад как-то вдруг «свернул» в Одессу. Его приглашал Ленский, возглавлявший труппу московских актеров, гастролировавших на юге. Клеопатра Александровна Каратыгина, в то время немолодая, но молодящаяся актриса, ставшая с этого лета близкой знакомой Чехова, запомнила их первую встречу: «Смотрю, молодой человек, стройный, изящный, приятное лицо с небольшой пушистой бородкой; одет в серую пару, на голове мягкая колибрийка „пирожком“, красивый галстух <…> но… о ужас!! Держит в руках большой бумажный картуз (по-старинному „фунтик“) и грызет семечки… (привычка южан). Спрашиваю: „Кто это?“ — „Разве не знаете?! Это Чехов!“ — Чехов??! Грызет семечки? Звезда… Литератор… с фунтиком!»

Мало того. Чехов подошел, был представлен, раскланялся: «Я самый и есть. Выписан сюда на гастроли. Не угодно ли?» И… предложил семечек.

Потом вся компания отправилась ужинать. С того вечера и закрутилось: ухаживание за хорошенькой актрисой Глафирой Пановой, походы с ней к модисткам, в магазины. По вечерам театр, винный погребок, общие чаепития в номере Каратыгиной. Через годы Чехов вспоминал об этих днях: «Я вертелся около труппы Малого театра, игравшего тогда в Одессе, я обедал с беднейшими, мало получавшими актрисами, прогуливал их — но не соблазнил ни единой души и не пытался». В те дни он шутил, что «обабился окончательно, чуть юбок не носил».

Однажды новые приятельницы призвали Чехова, вручили 16 копеек и послали за полфунтом мармелада. «Модный литератор», «восходящая звезда» (так его представляли при знакомстве) бегом скатился с четвертого этажа и принес вскоре два фунта мармелада, два фунта карамелек и в придачу коробку дорогого английского печенья.

Ухаживая за актрисами, он избегал нарочито широких жестов, вроде бросания на сцену букетов, подношения ненужных сувениров. Вообще дарил женщинам элегантные вещи: изящные записные книжки с серебряными застежками; карандаши с наконечниками из драгоценного металла; футляры из дорогой кожи для бумаги и конвертов.

Из многочисленных шуток Чехова запомнилось, как на жалобу Каратыгиной, что ей надоели руководители труппы, заставлявшие играть Смерть в «Дон-Жуане», напяливать костюм скелета, он выписал ей рецепт: «Яд для отравления Правдина и Грекова». И сказал: «Закажите в аптеке и покончите с ними разом».

Часто с ним приходил П. А. Сергеенко. Актрисы прозвали их — «молодой дуб» и «повилика». Чехов не любил «оруженосцев» и подтрунивал над теми коллегами, кто не обходился без «эскорта». Однако его вежливую приветливость иногда принимали за приглашение, что давало повод для сплетен, будто Чехов не может без «адъютантов». Между тем от некоторых спутников, таких как Сергеенко, он готов был сбежать тут же, в момент встречи. Петр Алексеевич, когда-то учившийся с Чеховым в таганрогской гимназии, был самовлюблен и тщеславен, хотя не зол и не завистлив, потому что сам о себе придерживался высокого мнения. Он любил быть около «больших людей», объявлял себя «другом» известных литераторов и оповещал об этом весь белый свет. Он познакомил Чехова со многими одесситами, в том числе с беллетристом И. Н. Потапенко, уже знавшим за приятелем привычку «пристегивать» себя к «модным» или «великим». И потому присмотрелся к Чехову, но остался в стороне, их знакомство было мимолетным.

Вспоминая эти летние дни 1889 года, Сергеенко рассказал через годы о морской прогулке на яхте. Мужчины придумали забаву: держась за веревку, плыть, точнее, тянуться, за плывущей яхтой. Это было рискованно. Чехов тоже не забыл опасного развлечения и говорил потом, что им овладел тогда «непонятный задор», «психоз», в состоянии которого он не раз совершал глупости. Так что слова о недостатке страсти, действительно, относились к сочинительству, а не к характеру Чехова, неоднократно проявлявшего азарт, темперамент. Особенно в состоянии, подобном тому, в каком он находился в Одессе.

Эти десять дней он описал брату Ивану. Обилие деталей, интонация выдавали нетерпение: осесть где-нибудь на одном месте и писать, писать… Из Одессы он поехал почему-то в Ялту, обруганную им ровно год назад — и пробыл там целых 25 дней.

По воспоминаниям современников, в Крыму внешне

продолжалось одесское времяпрепровождение «модного писателя»: поездки в окрестности города, пикники, обеды в городском саду, прогулки по набережной в компании новых знакомых. По вечерам — заезжая оперетка или разговоры с милыми курортницами. Елена Шаврова, одна из трех сестер, прозванных Чеховым «фарфоровыми барышнями», тогда пятнадцатилетняя москвичка из «хорошей семьи», запомнила, как выглядел Чехов: «Высокий, стройный, худощавый, он чуть горбился. <…> У него были удивительно добрые, ясные, немного насмешливые глаза и прелестная улыбка. <…> Идет он, бывало, впереди всех, в чесунчовой рубашке, одетой под пиджак и завязанной у ворота красным шнурком с двумя шариками, в мягкой серой шляпе, продавленной посередине и отсаженной на затылок, помахивая своей палочкой».

Елена отважилась и попросила Чехова прочесть ее рукопись, рассказ «Софка». Чехов не затянул ответа, поправил что-то и вернул юному автору с напутствием — продолжать, но иметь «зацепочку» в жизни, что-то свое, дорогое: любимое занятие, искусство, идею…

Итак, разговоры, встречи, знакомства… Но с первых же ялтинских дней у Чехова тяжелое настроение, скрытое ото всех. Оно обнаруживалось в письмах: «скука адская». Всё плохо: «жалкая растительность»; студенты, приносящие увесистые рукописи; «дрянные» обеды. Хорошо было только купание да то, что Сергеенко остался в Одессе.

Работать Чехову, по его признанию, хотелось, но мешали… Свое настроение он назвал «меланхолическим», беспокоился о домашних. В письмах из Сум Иван рассказывал брату о лучанских событиях. На сороковой день на могиле Николая отслужили панихиду. А еще раньше, 12 июля, в местной Иоанно-Предтеченской церкви Александр обвенчался с Натальей Гольден.

Если Елена Шаврова верно запомнила слова Чехова о «зацепочке», то они могли быть связаны с повестью, над которой Чехов работал в Ялте, а потом в Сумах. В центре повествования — старый заслуженный профессор, известный ученый, тайный советник. На склоне лет, больной, чувствуя близкий конец, он подводил итоги своей жизни. И приходил к сокрушительному выводу: во всех его мыслях и чувствах нет чего-то главного, важного, объединяющего. Нет «общей идеи», нет «бога живого человека»: «А коли нет этого, то, значит, нет и ничего». Значит, он побежден. Кем? Чем?

Опять, будто опасаясь сглаза, с каким-то странным своим литературным суеверием, Чехов называл повесть «повестушкой», «увесистой белибердой», скучной, неискусной «диссертацией». Он

не спешил отправлять рукопись в редакцию и оправдывался перед Плещеевым: «Ничего подобного отродясь я не писал, мотивы совершенно для меня новые, и я боюсь, как бы не подкузьмила меня моя неопытность. Вернее, боюсь написать глупость». Ему казалось, что повесть испорчена настроением, связанным со смертью брата. Но тоскливая скука находила на него не раз в последние два года. Потом она сменялась оживлением. Чехов называл такие перепады «густой помесью оптимизма с пессимизмом».

Не однажды в письмах этих лет мелькали замечания, наблюдения, предвосхищавшие повесть «Скучная история». Смерть Николая и страх, пережитый в Ялте (служитель в купальне бросил в воду тяжелый шест в сантиметре от его головы), может быть, вошли в резонанс с глубинным настроением Чехова, подтолкнули на риск. Он гнул свою линию. Пусть его новую повесть даже друзья назовут «дерьмом», пусть обругают критики и останутся равнодушны читатели, — только не старая колея, только не «застой». Чехов писал Плещееву в сентябре 1889 года, что фортуна решает, куда пустить его — «вверх или вниз по наклону», но он не дастся ей «живым в руки». «Скучная история», не исключено, стала усилием, удержавшим Чехова от движения вниз и существенно повлиявшим на *самопознание и самоосознание*.

Повесть выжала из него много соков — он ее шлифовал, отделывал и, наконец, отправил рукопись. Плещеев прочел и подтвердил худшие ожидания Чехова: «Все станут травить Вас — это как Бог свят; ждите крупной ругани. <…> Толпа найдет повесть скучной — по причине отсутствия шаблонной фабулы и обилия рассуждений. Людям понимающим она не может не понравиться, но таких всегда меньшинство…» К тому же такие отзывы редко доходили до Чехова. Он не мог, например, знать, что в июне 1889 года Чайковский написал одной из своих знакомых: «Имеете ли Вы понятие о новом большом таланте — Чехове? <…> по-моему, это будущий столп нашей словесности».

Мнение самого Плещеева о «Скучной истории»: «…у Вас еще не было ничего *столь сильного и глубокого*». Оставалось ждать, что скажут критика, толпа и меньшинство. А пока Чехов спешно завершал работу над пьесой «Леший». Как раз в эти дни в Москве его навестила Каратыгина. Гостья была любопытна до бесцеремонности, поэтому хорошо рассмотрела и запомнила кабинет в кудринском доме: «Из двери направо по стенке — рабочий стол, на нем направо — рукопись, чернильница, перья, карандаши и несколько фотографий знаменитых писателей без рамок. Над столом — картина его любимого Левитана —

грустная серая река в грустных серых берегах; по другой стене — открытый ломберный стол и на нем фотографии без рамок, в углу — печка. Несколько стульев. На полу — две малороссийские плахты».

Лазарев запомнил в этом кабинете открытые полки от пола до потолка и множество книг, журналов. Среди них старинные, а то и курьезные, вроде «письмовников», чтением которых хозяин веселил гостей.

Во время первого визита Каратыгина спросила Чехова: «„Не рассердитесь, если я задам Вам вопрос?“ — Пошутил: „Дерзайте, живы останетесь“. — „Отчего, скажите, несмотря на то, что в большой части ваших рассказов Вы можете мертвого рассмешить, везде у Вас звенит какая-то скорбная струна?“ — Тогда он серьезно сказал: „А что же на свете веселого, сударыня моя, покажите пальчиком“. — Он все подводил меня к картине Левитана. Сделает из руки трубочку и любуется: „Посмотрите, посмотрите! Какая красота!“ А на меня от этой картины веяло грустью и смертью».

Такое впечатление от полотен Левитана и сочинений Чехова становилось в это время общим местом. Поэтому ироническое «пальчиком» (если Каратыгина точно воспроизвела слова Чехова), наверно, передавало досаду на новую приятельницу, повторявшую расхожее мнение.

Сама она в письмах Чехову осенью 1889 года не употребляла выражений, подобных «скорбной ноте», и предпочитала грубоватый стиль («дурацкий», «шлялась», «старая идиотка» и т. д.). Она рассказывала с почти нарочитой прямотой о своем прошлом, схожем с судьбами многих провинциальных русских актрис. Объездила всю страну, играла в сибирских театрах, даже на Сахалине. Попадала в ужасающие передряги — приходилось плыть на плотах с новобранцами, терпеть и принимать «любезности» богатых купцов. Так что веселого в жизни «Великой Артистки Земли Русской» (так Чехов звал ее за артистические странствия) было мало. Осенью 1889 года она хлопотала через нового приятеля и других знакомых о постоянном месте в любом театре — лишь бы оклад побольше, чтобы завершить актерское бродяжничество. Чехов сделал всё, что смог.

С началом театрального сезона критика продолжила «трепать» «Иванова». Под эту разноголосицу Чехов писал новую пьесу. Спешил сам и его торопили. Свободны мечтал о «Лешем» для своего бенефиса. Чехов обещал к 20 октября. Кончил раньше, говорил, что в голове мутно и глаза болят от работы. В шутку распределял роли, иронизировал, сколько денег он заработает, просто девать будет некуда.

Свободин считал дни, обещал вышить рукопись «шелками и бисером». 5 октября он примчался в Москву и поспешил обратно с рукописью, усадил всю семью за переписку. 9 октября Павел Матвеевич отнес один экземпляр в драматическую цензуру, а другой вручил директору императорских театров И. А. Всеволожскому. Он и члены неофициального Театрально-литературного комитета должны были прочесть и решить: допустить ли новую пьесу Чехова «Леший» на сцену Александринского театра.

Глава восьмая. ПОБЕГ ИЗ «ЧЕТЫРЕХ СТЕН»

В неофициальный комитет входили: Всеволожский, Григорович, актер Александринского театра Н. Ф. Сазонов и драматург А. А. Потехин, в то время заведовавший репертуарной частью Александринки. Читал «Лешего» Свободин. После третьего акта чтец почувствовал неладное. Всё последующее он наутро описал Чехову в горестном письме: «Кончилось чтение. Григорович загорячился… „Странно, для представления на сцене в таком виде невозможно, он любит Вас, как родного сына, так писал Достоевский… это что-то такое между „Бесами“ и „Карамазовыми“, сильно, ярко, но это не комедия“. <…> Остальные три слушателя отзывались спокойнее, как о решенном деле, не переставая признавать достоинства, которые непонятным образом становились недостатками пьесы для представления».

Почему «судьи» отклонили пьесу? Всеволожский знал, что на бенефис пожалуют великие князья. Им такая «комедия» (с самоубийством одного из героев) наверняка не понравится. Сазонову уже «Иванов» показался «дикой» и «несообразной» пьесой, а в этой «дикостей» еще больше. Актер на амплуа салонных героев, премьер труппы, он всегда чуть важничал на людях, пребывал в образе утомленного успехами таланта. К тому же он хорошо знал вкусы директора театра. Судя по записи в дневнике его жены, С. И. Смирновой-Сазоновой, он до заседания говорил с Всеволожским, уже принявшим решение не ставить «Лешего». Потехин, шестидесятилетний драматург, когда-то успешный автор пьес с «тенденцией», на злобу дня, в эти годы уже не писал. Жил былой репутацией и незыблемыми представлениями, как надо «делать» пьесы… Он тоже был осведомлен о мнении директора. Поэтому для него и Сазонова, как точно подметил Свободин, судьба пьесы Чехова была делом, решенным до заседания.

Но отчего так горячился Григорович? Сказалась обида на Чехова за «неевропейское» поведение летом? Не повинился перед

ним, а ведь уверял в вечной преданности и вдруг ни строчки. Может быть, старый писатель вел себя активнее всех потому, что хотел остаться в комитете, который как раз реформировали? Плещеев подозревал Григоровича в двоедушии. Узнав об участи «Лешего», написал Чехову с иронией, что не высоко ценит отзывы Дмитрия Васильевича: «Еще о повести он иногда может высказать верное суждение, но о драматическом я от него никогда не слыхал дельного слова». Что же до остальных «судей», то и тут Плещееву всё ясно — достаточно сказать, что Всеволожский во время чтения пьес занимал себя пасьянсом.

Плещеев явно хотел утешить автора. С Григоровичем у него были свои счеты. К тому же он надеялся заполучить новую пьесу в «Северный вестник», поэтому с легкой душой бранил комитет: «Какое нам дело до того, что она не сценична». Однако почти полгода спустя, прочитав пьесу, Плещеев написал, что это первая вещь Чехова, которая его не удовлетворила и не оставила в нем никакого впечатления. Посему напрасно подозревать Григоровича в неискренности и злопамятности — он и вправду мог счесть «Лешего» слабой, несценичной пьесой. Вспоминал ли он это заседание и свои слова, когда через два года критики упрекали его за пьесу «Замшевые люди»? В ней тоже увидели «театральную повесть», сочинение для чтения, а не для сцены, говорили, что нет действия, много разговоров, дидактики.

Недостатки своего «Лешего» Чехов знал лучше членов комитета. И, видимо, ждал не похвалы, а понимания. Но Григорович понял пьесу так, как смог. Может быть, Чехова удивило не столько то, что Григорович сказал на заседании, сколько то, что он говорил в петербургских гостиных. Будто в героях пьесы, стареющем профессоре и его молодой жене, угадывается чета Сувориных. Узнав об этом из письма самого Суворина, Чехов пошутил по поводу таких разговоров и тех, кто их вел: «И как бы все они обрадовались, если бы я подсыпал Вам в чай мышьяку или оказался шпионом, служащим в III отделении. <…> На днях я встретился в театре с одним петербургским литератором. <…> Узнав от меня, что летом в разное время перебывали у меня Плещеев, Баранцевич, Вы, Свободин и другие, он сочувственно вздохнул и сказал:

— Напрасно вы думаете, что это хорошая реклама. Вы слишком ошибаетесь, если рассчитываете на них.

То есть Вас я пригласил к себе, чтобы было кому писать обо мне, а Свободина приглашал, чтобы было кому всучить свою пьесу. И после разговора с литератором у меня теперь во рту такое чувство, как будто вместо водки я выпил рюмку чернил с мухами. Всё это мелочи, пустяки, но, не будь этих мелочей, вся

человеческая жизнь всплошную состояла [бы] из радостей, а теперь она наполовину противна».

Отзыв и разговоры Григоровича о прототипах, судя по этому письму, укололи Чехова. Между ними началось медленное отчуждение, расхождение. Подобное уже произошло во взаимоотношениях с Билибиным. По-человечески они симпатизировали друг другу, но с некоторых пор в письмах Виктора Викторовича, в его словах, доходивших до Чехова, расположение соседствовало с раздражением. Билибин словно сердился на себя за то, что не вырвался, как хотел, из-под «лейкинской длани», остался «бумагомарателем», литературным «ремесленником». За то, что не решился писать иначе, чем привык, чем требовал Лейкин и ждали его читатели. Полуиронически писал о себе приятелям, что служит, играет в карты, пишет водевили, скучает. А на Чехова гневался за то, что тот побуждал к свободе от «осколочной» юмористики. Былой приятель уверял Билибина, что тот способен на большее, но нужно быть смелым, сделать *решительный шаг*. Эти уговоры не вдохновляли, а мучили неврастеничного, замкнутого Билибина, знавшего, как ему казалось, лучше всех свой потолок.

Видимо, во взаимоотношениях литераторов, артистов, художников есть предел понимания одного другим. И в этом причина охлаждения, даже расхождения умных добросердечных людей. А не исключительно в зависти, в самолюбии, как толкует толпа. Особенно если молодой литератор своим появлением, новыми, открытыми им путями невольно отменяет прежние пути. Не случилось ли нечто похожее у Чехова с Билибиным и Григоровичем, Щегловым и Лазаревым? Человеческая симпатия оставалась, но переписка, встречи сходили на нет.

Письмо Свободина о решении комитета, названного Чеховым «военно-полевым судом», заставило автора «Лешего» уйти в себя, сделать вид, что с ним всё в порядке. 13 октября он так и написал Суворину: «У меня всё обстоит благополучно. Я почти здоров, семья тоже, настроение хорошее, деньги есть <…> кое-что пишу снова. <…> Интересного ничего нет». Однако слова «почти здоров» и постскриптум: «Пью рыбий жир и Obersalzbrunnen. Противно!» — скрытое признание, что он болен.

В эти дни Чехов готовил новую книжку рассказов. Для нее он переделал рассказ 1887 года «Его первая любовь» — о восемнадцатилетнем юноше, угнетенном и истомленном. Во-первых, ожиданием предстоящего экзамена по математике, грозившего в случае провала исключением из гимназии. Во-вторых, муками из-за матери, не чувствовавшей своей роли приживалки у богатых знакомых. В-третьих, влечением к

замужней тридцатилетней женщине, соблазнявшей его. Всё «слилось в нем в тяжелую мрачную злобу». И он говорил матери: «Я вас не люблю… не люблю!» А она приходила в ужас лишь оттого, что слова сына услышал кучер. Так кончался рассказ, опубликованный в «Петербургской газете».

Теперь Чехов добавил сцену ночного соблазнения, вызвавшую у героя в конце концов только отвращение к себе и к ней. И переделал финал. В приступе тоски по неведомой, но желанной жизни («чистой, благородной, теплой, изящной, полной любви, ласк, веселья, раздолья») и ненависти — к себе, ко всем, ко всему — Володя кончал самоубийством («Володя»).

Во втором варианте «Иванова» Чехов тоже изменил финал. Иванов, умиравший в первом варианте пьесы от разрыва сердца, теперь погибал трагически. Он стрелялся. Но то было самоубийство зрелого человека, не выдержавшего груза своих ошибок, грехов, заблуждений. Герой рассказа «Володя» — из тех самых семнадцатилетних русских мальчиков, о которых шла речь в переписке Чехова и Григоровича два года назад. Он заболел тоской… той самой тоской русских самоубийц, о которой говорил Чехов.

В состоянии тоски Володя вдруг вспомнил детство, Ментону, «где он жил со своим покойным отцом, когда был семи лет; припомнились ему Биарриц и две девочки-англичанки, с которыми он бегал по песку… Захотелось возобновить в памяти цвет неба и океана, высоту волн и свое тогдашнее настроение, но это не удалось ему; девочки-англичанки промелькнули в воображении, как живые, всё же остальное смешалось, беспорядочно расплылось». В финале, после выстрела, Володя «увидел, как его покойный отец в цилиндре с широкой черной лентой, носивший в Ментоне траур по какой-то даме, вдруг охватил его обеими руками и оба они полетели в какую-то очень темную, глубокую пропасть. Потом всё смешалось и исчезло…».

Вставной эпизод и другой финал преобразили прежний рассказ. Это была новая проза. Чехов не изменил, а словно *освободил* ее. Он дал повествователю и герою новое ощущение времени и пространства. Они безграничны в их сознании, в их памяти, в их мыслях о неизбежной смерти, о том, что там — за последним мгновением жизни.

Эта тоска, эта непредставимая, пугающая бесконечность времени и пространства уже ощущались в повести «Степь», в «Огнях». И они — главное ощущение героя повести «Скучная история».

В рассказе «Володя» гимназист-старшеклассник не мог уснуть, рисуя в мыслях завтрашний провал, как его исключат и он

уже будет не гимназистом, а «молодым человеком»: «Он не старался уснуть, а сидел в постели, обняв руками колена, и думал». В повести «Скучная история» старый человек тоже не мог уснуть, тоже сидел «в постели, обняв колена», и старался «от нечего делать познать самого себя». И тоже думал, думал, думал…

Неслучайная случайность общих моментов — «обняв колена», бессонная ночь, чужая постель, ранний рассвет, непроизвольное, как у гимназиста, и осознанное, ироничное, как у старого профессора, познание самого себя — объединяла двух таких разных героев. Общее у них — русская тоска. Та самая, которую Чехов мог расслышать в сочинениях Чайковского. Его музыку он не просто ценил, а любил. Может быть, именно теперь, включая в сборник рассказ «Володя», повесть «Скучная история», определившие тональность книги, он решился посвятить ее Чайковскому. О чем и написал Петру Ильичу 12 октября: «<…> рассказы эти скучны и нудны, как осень, однообразны по тону <…> но это все-таки не отнимает у меня смелости <…> посвятить эту книжку Вам. <…> это посвящение <…> хотя немного удовлетворит тому глубокому чувству уважения, которое заставляет меня вспоминать о Вас ежедневно. <…> Душевно преданный *А. Чехов*».

Через день, 14 октября, Чайковский пришел в Кудрино, к Чехову. Говорили о литературе, музыке. И выяснилось, что оба поклонники Лермонтова, особенно его повести «Бэла». Договорились, что Чехов напишет либретто. Чайковский будто бы попросил, чтобы не было процессий с маршами, не любимых им.

После встречи Чайковский прислал с посыльным письмо и свою фотографию с надписью «А. П. Чехову от пламенного почитателя». Чехов ответил книгами, фото с надписью и письмом, в котором пошутил, что послал бы даже солнце, если бы оно принадлежало ему. Узнав о посвящении, Лазарев недоумевал в письме Ежову: «Что за охота Чехову посвящать книгу Чайковскому? Посвятил бы Суворину что ли. Ведь он, кажется, сочувствует и Суворину и „Новому времени“ — отчего бы не посвятить, тем паче, что, по его собственным словам, он кое-чем обязан Суворину. Впрочем, такому молодцу, как Чехов, виднее, что и как…»

Лазарев и Ежов часто прикладывали к себе мерку Чехова. Обыкновенно, как в случае с посвящением, это кончалось недоумением. Приятелей задевало обилие откликов на сочинения Чехова. Они хотели известности, рецензий и одновременно боялись критических отзывов и переживали недоброе слово о своих рассказах как катастрофу. Один из них говорил, что пора

смести «метлой со сцены» таких драматургов, как Невежин, В. А. Тихонов, Немирович, Назарьева, но сам трусил писать для театра. И вообще писать так, как хотелось бы. Всё время они на кого-то оглядывались. Им не хватало смелости не подражать, не подделываться под вкусы своего читателя. Но не хватало и цинизма, чтобы, по ироническому выражению Лазарева, штамповать «жульнические повести и рассказы», жить безбедно и припеваючи. Осенью 1889 года Лазарев спрашивал в письме то ли себя, то ли Ежова: «Например, „Иванов“ мне кажется невозможным, а он идет и пользуется успехом. Я не понимаю, как может Иванов говорить со сцены многое, что он говорит, а он говорит со спокойным духом». Между тем «невозможная пьеса» уже шла в провинции.

В это же время автор «Иванова» решал судьбу «Лешего». Цензура разрешила пьесу, но путь на сцену императорских театров ей был закрыт. Оставались московские частные театры — Корша, М. М. Абрамовой, Е. Н. Горевой, о театре которой Чехов сам отзывался резко: «чепуха», «труппа серая», «сплошной ноль». Свое состояние Чехов назвал «вялым», а письма выдавали крайнее раздражение. Так бывало уже не раз: внешняя флегматичность, почти безразличие скрывали внутреннее беспокойство. И чем оно было сильнее, тем равнодушнее он выглядел. В письмах в эти дни и недели он ироничен, нарочито груб (сказал о себе: «я самолюбив ведь, как свинья», а о погоде, что она «скверная, хуже полового извращения»).

В общем, первый юбилей, десятилетие литературной работы (Чехов исчислял ее с 1879 года, с рассказа «Письмо к ученому соседу»), выпал на «бурное» время.

Что так раздражало Чехова? То, что по пути на сцену «Леший», по его словам, «хлопнулся и лопнул»? Что «Петербургская газета» не преминула поместить сообщение об обсуждении «Лешего» и вывод комитета, что это «прекрасная драматизированная повесть, а не драматическое произведение»? Или письмо Ленского о «Лешем»? Он еще летом, как и Свободин, просил пьесу для своего бенефиса. Еще в начале октября Чехов уверенно писал Ленскому: «Пьеса пойдет 31 октября в Питере в бенефис. Стало быть, 25–28 придется ехать в Питер. Не хочется. <…> Экземпляр пьесы притащу через 2–3 дня, когда кончу переписывать».

В Питер ехать не пришлось. Зато пришлось прочесть короткое письмо Ленского, присланное вместе с рукописью «Лешего» в начале ноября. Чехов получил даже не письмо, а будто начальственное предписание в обрамлении вежливых фраз. Вступительная, — что Ленский очень занят ролью и потому

пишет письмо, а не встречается с автором. И заключительная, — что если Чехов хочет, то может навестить Ленского. И та и другая подчеркивали смысл остального: «Одно скажу: пишите повесть. Вы слишком презрительно относитесь к сцене и драматической форме, слишком мало уважаете их, чтобы писать драму. Эта форма труднее формы повествовательной, а Вы, простите, слишком избалованы успехом, чтобы основательно, так сказать с азбуки, начать изучать драматическую форму и полюбить ее».

Трудно поверить, что это написано добрым приятелем, хорошо знакомым человеком, тем, кто зазвал Чехова минувшим летом в Одессу и охотно беседовал с ним о литературе, о театре. Ленский наверняка знал о решении петербургского «воен-но-полевого суда». Ему мог не понравиться «Леший». Но откуда такая резкость, такие беспощадные слова и запретительный тон, почти приказание: прозу пишите, а пьесы, выходит, ни за что и никогда? Неужели этот вердикт — эхо не очень лестных, насмешливых, пятилетней давности фраз Чехова в «Осколках московской жизни» о немного обрюзгшем, «фарфоровом и бонбоньерочном трагике Ленском»? Однако автор «Осколков» не приказывал актеру не играть в трагедиях и уж тем более оставлять сцену, мол, из-за полного отсутствия таланта. А тут абсолютная уверенность и безоговорочность тона: Чехов ничего не понимает и никогда не поймет в драматургии, он не драматург. В словах же — «презрительно», «мало уважаете», «слишком избалованы успехом» — ощущалась какая-то личная, только, наверно, им двоим или одному Ленскому понятная подоплека этого послания.

Чехов ответил спокойно и иронично, что «в другой раз уж» не будет писать больших пьес: «Нет на сие ни времени, ни таланта и, вероятно, нет достаточной любви к делу». Конечно, не безапелляционному Ленскому и не более снисходительным судьям, рекомендовавшим Чехову остаться исключительно прозаиком, разве что изредка баловаться водевилями, — не им было решать этот вопрос. Но его решали даже карикатуристы.

4 ноября 1889 года вышел очередной номер журнала «Осколки». На обложке красовался рисунок: телега, перед ней медведь, леший с рогами, между ними человек с широкой лентой на груди, а на ленте написано «Иванов». Чехов был изображен сидящим в телеге, в задумчивости чешущим затылок. На переднем плане — дорожный столб с двумя указателями в разные стороны: «драматическая дорога» и «повествовательная дорога».

Чехов поблагодарил Лейкина за «особое внимание редакции» и пошутил, что когда будет издавать свой юмористический журнал, то поместит рисунок: Лейкин на вершине Эйфелевой

башни, построенной из его книг. А серьезно написал: «Не льстит мне конкуренция с 536 драматургами, пишущими ныне для сцены, и нисколько не улыбается успех, который имеют теперь все драматурги, хорошие и плохие». Он, по сути, повторил то, о чем зимой говорил Щеглову: «Или становитесь Островским, или же бросайте театр». Или — или. Но только не еще одним, 537-м «драматическим обер-офицером». Лучше уж «Островским», то есть совершенно оригинальным драматургом, пишущим не по принятым канонам и правилам, а так, как подсказывает чутье.

Чехов нарушил эти правила. Поэтому рецензенты уже два года не переставали «трепать» «Иванова», а еще нигде не шедший «Леший» вызвал столько слухов и пересудов. Суворин прочел пьесу по экземпляру, который был у Свободина, и 11 ноября написал два письма. Одно в Москву, Чехову. Другое, сохранившееся, Свободину: «По-моему, это талантливая вещь, весьма правдивая, оригинальная, но написана не по общепринятому шаблону. Скажу даже, что Чехов слишком игнорировал „правила“, к которым так актеры привыкли и публика, конечно. <…> Во всяком случае, мне жаль, что пьесу не дали даже в этом виде. Имела ли бы она успех — сказать мудрено, но она возбудила бы интересные вопросы, не сомневаюсь. Драматургия везде мельчает, даже во Франции, а потому талантливыми вещами необходимо дорожить».

В эти же первые дни ноября Чехов узнал мнение о «Лешем» Вл. И. Немировича-Данченко, тоже «обиженного» им когда-то в «Осколках московской жизни» насмешливой репликой о «неугомонном» драматурге, «нацарапавшем» одну пьесу, но кричавшем о ней, как «кот, которому наступили на хвост». И дал совет «юноше» — успокоиться, не «выскакивать из терпения»: «Драматургу подобает серьезность». С тех пор «юноша» (старше Чехова на два года) написал несколько пьес, имевших успех на сцене императорских театров (Малом и Александринском). Изучил отечественную и зарубежную драму, едва ли не каждый день бывал в театре, много писал о нем, интересно и серьезно. Он согласился с Ленским, что Чехов в «Лешем» «чересчур игнорирует сценические требования». Но не от презрения (тут он разошелся с Ленским), а от незнания их. Вот он, Немирович, знает эти требования, но у него свое представление о сценичности, иное, чем у «знатоков». Он постиг тайну успеха: «жизненные яркие лица, интересные столкновения и правильное развитие фабулы — лучший залог сценического успеха».

Да, автор «Лешего» избежал избитых сценических приемов и эффектов, потому что не знает их. Но то, что он предложил, то, как написал новую пьесу (без фабулы, неясную), успеха иметь не

будет и не может. Однако, если Чехов поучится, он «легко овладеет» сценой. Письмо Ленского походило на приговор, отлучавший от театра. Письмо Немировича, вольно или невольно, напоминало краткое пособие по написанию успешных пьес и словно «разрешало» остаться при театре, но учиться и учиться…

Итак, три мнения. Чехов «презирает»; «не знает»; «слишком игнорирует» сценические требования. Чехов — не драматург; может быть драматургом; талантливый драматург. Но что говорил о своей пьесе сам автор? Какой он ее задумывал? Еще осенью 1888 года он сказал Суворину, что если бы писал «Лешего», то «имел бы на первом плане не актеров и не сцену, а литературность». Еще задолго до заключений Ленского и «уроков» Немировича Чехов признавался: он писал пьесу не для театра, которого как следует не знает и не любит. Правда, готов «воспитать себя сценически», готов ходить в театр. Поэтому поучения двух опытных театральных людей, наверно, не обидели Чехова. Так что ровный и доброжелательный тон ответа Ленскому, может быть, не только от выдержки, от чувства достоинства. Но и от безразличия, равнодушия к тому, о чем говорили добрые приятели. Он и они имели в виду разное. Они — *нынешний старый театр*. Чехов — *новую драму*.

Поэтому он сам ощущал «Лешего», как «странную» пьесу. Но что-то смущало автора. Чехов говорил о «Лешем» то с оживлением, то со скукой (то «накатал», то «не пишется»). Соглашался на значительные переделки, хотя заклялся это делать, готовя новый вариант «Иванова». На какой лад кроить? По меркам Суворина и Свободина, то есть по старым испытанным образцам? По образцам, предлагаемым Немировичем? Или оставить, как есть. Отдать в частный театр, чтобы «исправить» ее на репетициях? Чехов выбрал театр Абрамовой.

* * *

Ноябрь влачился в редких визитах к больным, в домашних делах и разговорах, в походах в театр, в музыкальные концерты (у Чеховых гостила Наталья Михайловна Линтварева). Едва появилась ноябрьская книжка «Северного вестника» с повестью «Скучная история», как рецензенты принялись за нее. Буренин написал, по выражению Плещеева, «не без ехидства». Вроде бы хвалил, однако и осаживал — мол, талант у Чехова есть, но его повесть не сравнить с повестью Толстого «Смерть Ивана Ильича». Звучало так: куда ему до Толстого?

Опять упрекали за неясный финал, опять отождествляли

автора и героя, охваченных будто бы «духом печали». Но в отзывах читателей преобладало иное: сильное впечатление, душевное потрясение. Если некоторые рецензенты играли с названием (скучная «Скучная история»), то некоторые читатели находили другой эпитет — страшная история.

В конце ноября Чехов заболел. Сначала полагал, что это грипп (как говорили в то время, инфлюэнца). Но после двухнедельного «прежестокого» кашля заподозрил «другое какое-нибудь свинство». 7 декабря он закончил письмо Суворину цитатой из тургеневского «Дворянского гнезда»: «Здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная жизнь!» Он в который раз обозначал рубеж — 30 лет… Подвел итоги, получился своеобразный «скорбный лист» с неутешительным диагнозом: «<…> нет ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение. Была масса форсированной работы, но не было ни одной минуты серьезного труда».

В этом признании, может быть, самое главное — «в моих глазах». Другой ум, другой характер, другая натура оправдались бы одобрительными отзывами известных литераторов, похвальными рецензиями, лестными откликами читателей. Чехов будто вынес всё за скобки. И остался один на один с минувшим десятилетием своей литературной работы, всегда спешной, порой мучительной.

Он ничего не зачеркнул, ни от чего не отрекся. Но, наверно, в следующий юбилей (обыкновенно, это 25-летие литературной деятельности) хотел бы оглянуться на минувшее с другим чувством. Но есть ли у него эти пятнадцать лет? И как писать, чтобы написанное в его собственных глазах имело серьезное литературное значение?

Ответ был дан в декабрьском письме Суворину: «Мне страстно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым, серьезным трудом».

Что учить? У кого учиться? Много читать, а главное — серьезную настоящую литературу, как он советовал другим? Изучать чужую манеру?

Как только Чехов в шутку или всерьез, в сердцах или в добром расположении духа не называл за эти десять лет свои юморески, рассказы, повести, водевили и пьесы: «чепуха», «извержения», «хламовидное», «литературный хлам», «дрянь», «винегрет», «беспорядочный сброд», «плохая тянучка», «длинноты», «кислоты», «тошноты», «несерьезные пустячки», «балласт», «чада мои», «малозначащее дерьмо», «повестушка», «мелочи», «рассказец», «водевильчик», «поганая пьеса», «вздор», «дерьмо», «ерунда», «белиберда».

Он избывал собственный «балласт» и «вздор», наверно, успешнее, чем образовался бы на чужих признанных образцах. Чехов изнутри изживал то, что называл своими ошибками и несообразностями. Поэтому всегда разделял *работу* («многописанье», «скорописанье», «поденщина») и *труд* («шлифовать», «коптеть», «процеживать», «сокращать», «херить»). Так он становился самим собой, искал соответствие самому себе. В годы, которые он назвал «застоем», работа превращалась в труд. Из анализа собственных рассказов и повестей, из советов, данных в минувшие десять лет старшему брату и целому кругу знакомых (Лазареву, Хлопову, Щеглову, Киселевой, Ежову, Суворину, Билибину), можно составить пособие для начинающих литераторов, с множеством афоризмов, вроде «Краткость — сестра таланта» и «Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него».

Он уже выработал свои термины для обозначения литературной техники — «архитектура», «корпус», «фундамент» и т. п. Нашел слова, которыми передавал свое внутреннее побуждение к сочинительству — «толкастика», «моя механика», «обвал», «писательский стих».

К концу 1889 года Чехову казалось, что он поймал свою интонацию, ощутил «строгий стиль». Полагал, что в его последних повестях и пьесах есть что-то новое. Так что не только «литературная бурса» (многописание в юмористических журналах) была у Чехова позади, но и школа собственной, говоря его словами, литературной дрессуры, муштры, серьезного труда. Вот ее он, видимо, имел в виду и хотел продолжить: «<…> мне надо писать добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять месяцев». Но где и как, если у него «родственный клобок»? В декабрьском письме Суворину он дал ответ и на этот вопрос: «Надо уйти из дому, надо начать жить за 700–900 р. в год, а не за 3–4 тысячи, как теперь, надо на многое наплевать, но хохлацкой лени во мне больше, чем смелости». Еще год назад растолковывал Суворину, что дело не в деньгах, что ему нужны «одиночество и время».

Уйди Чехов из семьи, живи на 75 рублей в месяц, он обрек бы себя на аскетический образ жизни. На что-то не подобное, но отдаленно схожее — по самоограничению, по условиям быта и сосредоточенности на духовном труде — с участью монахов, постников, молитвенников. Современники вспоминали желание Чехова, не принимая пострига, жить в монастыре. Но это было в более поздние годы. А в 1889 году за тем, что походило на искомую аскезу, ощущалось нечто другое. Его беспокойство в последние два года, может быть, передавало тревогу

несоответствия. Талант обретал силу, что бы ни говорили критики. Так Чехову подсказывало его чутье. Но это, судя по письмам, рождало в нем странное ощущение. Как будто чего-то недоставало в душе или, наоборот, что-то мешало. И постоянное опасение чего-то, какая-то настороженность, недоверие…

Чехов не однажды сознавался в эти годы в чувствах, которые люди обыкновенно скрывают — «зол, как нечистый дух», «зол, как сукин сын». И добавлял: «Злость — это малодушие своего рода». Бранил себя за «постыдную меланхолию». Ловил на чуждом ему чувстве крайнего раздражения, когда ровно год назад, в декабре 1888 года, рассказывал Суворину: «Длинные, глупые разговоры, гости, просители, рублевые, двух- и трехрублевые подачки, траты на извозчиков ради больных, не дающих мне ни гроша, — одним словом, такой кавардак, что хоть из дому беги. Берут у меня взаймы и не отдают, книги тащат, временем моим не дорожат… Не хватает только несчастной любви».

Всё это он называл «мусором», «хабур-чабуром», то есть неразберихой, «тиной и чертовщиной городской и литераторской суеты», которая охватывала, по его выражению, «как спрут-осьминог», съедала силы и время.

Избавившись в литературной работе от «мелочишек», «мелочей», «чепухи», Чехов в последнее время раздражался от житейских мелочей. Говорил, что они отравляют жизнь, делают ее противной, а человека утомляют и опутывают, умаляют. Весной 1889 года он с недоумением то ли признался, то ли спросил: «У меня странная судьба. Проживаю я 300 в месяц, не злой человек, но ничего не делаю приятного ни для себя, ни для других».

Весь 1889 год — подспудное желание куда-то уехать. Но он постоянно оговаривался, что недостает смелости. И сердился, когда не понимали, что речь шла не о путешествии, хотя бы и за границу. Не о поездке, хотя бы по замечательной Полтавщине или в очаровательную Одессу, или в Ялту, к морю. Как в разговорах о своем сочинительстве Чехов твердил — «не то» пишет; не «тем» занимается, так и в рассказах о своей жизни преобладало «не то…»: не так живет, недоволен собой.

В какой-то момент раздражение стало преобладать в признаниях Чехова о самочувствии и настроении, всё чаще прорываться в разговорах и письмах. Весной 1888 года Чехов написал Короленко: «Вообще замечаю, что мой характер начинает изменяться, и к худшему. Меняется и моя манера писать — тоже к худшему… Мне сдается, что я утомился, а впрочем, чёрт его знает…»

Осенью того же года он упоминал в письме Плещееву рассказ «Именины»: «Я пишу помаленьку, и выходит он у меня сердитый,

потому что я сам сердит ужасно…» Чуть позже, обсуждая с Плещеевым достоинства и недостатки этого рассказа, Чехов одновременно, по его выражению, «заглянул в свою утробу». И всё письмо от 9 октября 1888 года — единое, органичное размышление, в котором невозможно отделить анализ Чеховым собственного рассказа от самоанализа.

В центре переписки этих лет с Плещеевым и Сувориным оказалось сознание пишущего человека: томящиеся сюжеты, ревнующие друг к другу образы, «армия людей», ждущих команды, чтобы вырваться из головы наружу. И часто в описаниях этой скрытой таинственной жизни прямо или косвенно Чехов задавался вопросом: кто вещает его устами? Он мог говорить, что не любит своего литературного занятия, что литература — его «любовница», которую, видимо, можно бросить. Судя по уточнениям, деталям, сравнениям, — всё это относилось к результатам занятий, к авторскому недовольству.

«Люблю» относилось к тому, что томилось в голове, к тому, что происходило после «команды», данной автором: «Я жаден, люблю в своих произведениях многолюдство <…> а кто симпатичен, с тем хочется подольше возиться»; — «Я люблю кейфовать и не вижу никакой прелести в скоропалительном печатании»; — «Что я называю хорошим? Те образы, которые кажутся мне наилучшими, которые я люблю и ревниво берегу, чтоб не потратить и не зарезать к срочным „Именинам“… Если моя любовь ошибается, то я не прав, но ведь возможно же, что она не ошибается!»

У него складывались потаенные отношения с образами, сюжетами, с «людьми», которые жили в его голове, как иногда ему казалось, независимо от него. И всё это вместе волновало, трогало, беспокоило. Это было живое ощущение живого таланта. Не дарования, а именно таланта, дара вымысла. Он говорил о нем как о живом существе: «прыгает в душе», «беспокойно переворачивается», «растет».

Письма Чехова передали, как возникало и разгоралось это чувство, как он осознавал свою человеческую неотделимость от своего таланта. Но вместе с этим в нем заметно нарастало нескрываемое беспокойство. Литературная «поденщина» была словно вне его — всего лишь средство зарабатывания денег, источник для содержания большой семьи. Может быть, и поэтому тоже он быстро забывал свои «рассказцы». Когда Чехов ощутил себя, как он определил в одном из писем осенью 1888 года, «организмом, способным быть хорошим писателем», а талант — средоточием этого организма, тогда и началась, вероятно, тревога.

Дотоле письма окрашивали досада, раздражение. Теперь именно *тревога*. Достаточно ли у него страсти, смелости, свободы? Вся его остальная жизнь? Как она связана с даром вымысла? И если литературный труд незаметно превратился в саму жизнь, то какой она должна быть, чтобы не умалить таланта? И что же талант? Всего лишь дар вымысла? Или суть его личности? Внутреннее побуждение поступков, жизненных решений?

В отзывах Чехова о литераторах, о художниках порой ощутима грань: писатель и человек. Особенно в разговоре о тех, кого он любил. Он выделял в своем поколении Гаршина и Короленко. Говорил, что любит «талант Короленко», сердечно отзывался о нем: «редкая душа»; — «Я готов поклясться, что Короленко очень хороший человек. Идти не только рядом, но даже за этим парнем — весело». Уже в эти годы личность Короленко привлекала Чехова. Но, возможно, сильнее, чем его сочинения — при всех признаниях в любви к дарованию Владимира Галактионовича. Что-то подобное проступало и в отношении к Гаршину: «редкий» человек; — «таких людей, как покойный Гаршин, я люблю всей душой и считаю своим долгом публично расписываться в симпатии к ним». Но ничего о его рассказах.

Чехов подчеркивал доброжелательное отношение читателей к обоим писателям, успех их сочинений у серьезной публики, завоеванные не только талантом, но судьбой. У Гаршина — это Русско-турецкая война, прошение об увольнении из института в день ее объявления; участие в боях; ранение. И потом, в рассказах, — война; человек «потрясенной совести»; и опять не отпускающая мысли война… У Короленко — тюрьмы, этапы, ссылки (Вятская губерния, Якутская область, Пермь, Тобольск), необыкновенный запас наблюдений и необыкновенное самостоянье. Действительно, неведомое тем, кто иронизировал, как Оболенский, над «фантастическими» и «экстраординарными» обстоятельствами в его сочинениях.

Может быть, Чехову казалось, что личность и судьба Гаршина и Короленко больше и значительнее их таланта — и это сохранило их скромный дар. А что происходит с талантом, если в душе «застой»? Если, как говорил о себе Чехов весной 1889 года, человек не утомился, не разочарован, не хандрит, а «просто стало вдруг всё как-то менее интересно»? Если талант и личность не соответствуют друг другу?

Несколько раз в течение этого года он признавался: «Настроение вялое». Оно не оставляло его, и он настаивал, что наступила старость. Размышляя в декабре, что с собою делать,

подводя итоги минувшего десятилетия, упомянул свою ныне «вялую душу», свои 30 лет. Но тут же странно оговорился: «А настроение у меня такое, будто мне 22 года». И вскоре написал Суворину совершенно не вялое письмо. Продолжая разговор о современной литературе, обрушился на нее, на писателей, на интеллигенцию: «Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция <…> которая не патриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки водки и посещает пятидесятикопеечный бордель, которая брюзжит и охотно отрицает всё, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать <…>. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях <…>. Где вырождение и апатия <…> там *несправедливость* во всей своей форме. <…> Мне помешали писать, а то бы я накатал Вам сегодня пять листов. Когда-нибудь после».

Что произошло в эти последние декабрьские дни? Только что говорил: «моя вялая душа», «мне страстно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять…». И вдруг — такое темпераментное послание, такая интонация: «Общество, которое не верует в Бога, но боится примет и чёрта <…> не смеет и заикаться о том, что оно знакомо с справедливостью». Едва ли такое кипение души вызвано волнением перед премьерой «Лешего» вечером того же дня. Что-то, вероятно, случилось ранее. Что-то изменило его настроение. Он отбивался от поездки в Петербург и вдруг внезапно засобирался. Но главное — и сказал и не сказал в письме Лейкину, зачем он приедет: «Визитов никому делать не буду, ибо приеду incognito <…>. Побываю только у старых знакомых, по которым соскучился, и у кое-кого из молодежи. Есть и дела».

Какие дела? Видимо, неотложные и серьезные, если сразу оговорил условия поездки: всего лишь несколько визитов… Плещееву он написал в этот же день, 25 декабря: «Я рвусь к вам в Петербург <…>. Был я на репетиции. <…> Идет, по-видимому, бойко. Актерам пьеса нравится».

Актерам театра Абрамовой, может быть, пьеса и нравилась. Но зато Коршу и его труппе, конечно, нет. Они полагали, что автор по старой памяти отдаст «Лешего» в их театр. Решение Чехова обидело самолюбивого Корша. Его актеры явились на премьеру и устроили спектакль в спектакле. По воспоминаниям современников, они ходили в антрактах среди публики и громко говорили: «Ну, Чехов! Написал пьеску! Чёрт знает что за пьеса!»

После последней реплики, когда публика стала вызывать актеров, коршевцы устроили гвалт. Они шипели, стучали, свистели в ключи. Не будь этого, премьера прошла бы, наверно,

спокойно. Без ожидаемого успеха, но и без особых разговоров. Обыкновенные актеры; не бог весть какие декорации; привычные режиссерские приемы, как в других театрах. Однако скандал не произвел на Чехова сокрушительного впечатления. Что театральный мир так же ревнив и порой жесток, как и литературный, он знал. Не однажды бранил закулисные нравы. Назавтра после премьеры он уехал в Бабкино, к Киселевым, а 3 января — в Петербург.

Все рецензии, все статьи, скандал в театре — всё отодвинулось тем, что заняло время и мысли Чехова. Делом, сразу породившим разговоры, недоумение и общий вопрос: зачем известный писатель Чехов едет на каторгу, на Сахалин?

* * *

Он сам говорил и писал, что едет с «научной и литературной целью». Но без претензий на «ценный вклад» в литературу и науку. Уверял Суворина, как нужна ему эта поездка: «<…> это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать. <…> Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2–3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с горечью?» Людям не близким ему и просто любопытствующим Чехов отвечал полусерьезно, что едет «не ради одних только арестантов, а так вообще… Хочется вычеркнуть из жизни год или полтора».

Почти весь январь он провел в Петербурге. Впервые увидевший его тогда В. Н. Ладыженский обратил внимание на задумчивое выражение глаз. Подметил, что перед шуткой глаза Чехова вспыхивали «мгновенной веселостью». Эта веселость потухала так же внезапно, как и появлялась. Острое замечание произносилось серьезным тоном и потому сильнее действовало на слушателя.

Они познакомились у Плещеева, но основное время в столице Чехов отвел под деловые визиты. Он уведомил о задуманной поездке М. Н. Галкина-Враского, начальника Главного управления тюрем при Министерстве внутренних дел. Несколько раз Чехов встречался с ним благодаря протекции баронессы В. И. Икскуль. Был благосклонно выслушан, но официального письменного разрешения так и не получил. Суворин снабдил Чехова корреспондентским билетом «Нового времени». Некоторые знакомые дали рекомендательные письма к сибирякам.

В конце января петербургские и московские газеты сообщили «сенсационную новость»: писатель Чехов едет на Сахалин «с целью изучения быта каторжников». В литературных кругах поднялись толки, пересуды, сплетни. Некоторые усматривали в этом рекламный трюк, хочет-де привлечь к себе внимание. Нашлись кандидаты в попутчики, полагавшие, что «Новое время» субсидирует поездку и можно прокатиться по России. Кого-то Чехов в шутку приглашал сам, рисуя, как, например, Щеглову, прелести путешествия: «Будем на Амуре пожирать стерлядей, а в де Кастри глотать устриц, жирных, громадных, каких не знают в Европе…»

Он уводил разговор в сторону, когда ему рисовали ужасы поездки, и в шутливой манере расписывал ее как прогулку: «Теперь бы хорошо сидеть на палубе речного парохода или скакать через степь в тарантасе». Усмехался и на свой счет, обещая явить себя в будущем труде о Сахалине таким «ученым сукиным сыном», что все руками разведут. Шутил, что «украл» из чужих книг много мыслей и выдаст за свои.

Кое-кто прощался с Чеховым, не надеясь дожить до его нескорого возвращения. Кто-то спешно напоминал обещание пристроить рукопись, замолвить словечко перед редакторами. В ком-то «сенсационная новость» вызвала явно недоброе чувство. То ли досаду, то ли зависть, желание принизить Чехова, «поставить на место». Именно в это время, в феврале 1890 года, свое недружелюбное отношение к нему отчетливо обозначил Буренин. Он заявил в своей статье, что он и газета Суворина вывели Чехова «из неизвестности»: «Смею думать, что после моего указания на талант г. Чехова к нему изменилось отношение так называемой „критики“, несмотря на то, что он в последующих своих произведениях не написал ничего лучшего своих первых рассказов и вообще в смысле талантливости подвинулся вперед очень немного».

Петербургские приятели обиделись на Чехова, что уделил им мало времени и внимания. Хотя за месяц в столице он, помимо усиленного чтения книг, статей, отчетов, циркуляров, справочников, конечно, не избегал встреч. Всё было: рестораны, выставки, именины, беседы за полночь. Говорил, что за выпитое им должна «гордиться» Россия.

Однако в дружеских укорах была доля истины. Чехов, когда-то сменивший московский круг «газетчиков» и авторов юмористических журнальчиков на петербургскую литературную среду, теперь незаметно уходил из нее. Увлеченность Чехова «стариками» (Григоровичем, Плещеевым, Полонским) словно истощалась. Имело значение всё: возраст, местожительство (они в

столице, он — в Москве), разница в темпераментах. А главное, может быть — *интенсивность* его скрытой душевной жизни.

Интерес, который питал взаимоотношения иных людей годами, Чехов исчерпывал быстро. Ему становилось неинтересно, даже скучно. Если это только не была душевная привязанность, как, допустим, к Левитану, Шехтелю, Короленко, Коробову, Россолимо. С ними он мог встречаться редко, но так, будто и не расставался. Эта особенность натуры Чехова обнаруживалась в переписке с Билибиным, Баранцевичем, Киселевой. В некоторых современниках она порождала обиду. Им казалось, что внешне по-прежнему доброжелательный Чехов на самом деле холоден с ними. Они искали причины и ошибались, потому что исходили из банальной житейской логики.

Кто-то это охлаждение принимал. В ком-то оно оставляло след. Иногда, как в случае с Щегловым, очень глубокий. «Проклятый Антуан», как он называл приятеля, словно никогда не покидал его мыслей. Однажды Щеглов назвал Чехова баловнем фортуны, «Потемкиным» в литературе. И словно не услышал серьезного ответа: «Зачем Вы дразните меня Потемкиным? В своем потемкинстве я пока не вижу ничего, кроме труда, утомленья и безденежья да скуки громаднейших размеров». Но обиженный на судьбу Щеглов и впредь называл успех Чехова «слепым», случайным.

Чехов ехал на Сахалин не как корреспондент, хотя и с журналистским билетом: «Я сам себя командирую, на собственный счет». Он надеялся частично окупить расходы дорожными очерками из Сибири. За шутками о «жирных устрицах», за соблазном увидеть на обратном пути Индию, Японию, о чем он говорил другому современнику, которого тоже звал в спутники, главное — это *каторга*. Ладыженский запомнил его слова: «Ее надо видеть, непременно видеть, изучить самому. В ней, может быть, одна из самых ужасных нелепостей, до которых мог додуматься человек со своими условными понятиями о жизни и правде». Чехов читал газетные статьи о Сахалине и ругался, потому что, по его словам, их писали либо люди, не бывавшие на острове и ничего не смыслящие в деле, либо те, кто «на сахалинском вопросе и капитал нажили, и невинность соблюли», то есть писали о каторге так, как заказывали. В этой лжи Чехов видел один лишь прок: она невольно открывала отношение общества к тюремному делу.

Февраль 1890 года ушел на напряженный труд: изучение карт, атласов, на чтение серьезных трудов и журналов. И хотя ему помогали навыки, обретенные в чтении литературы к истории «Врачебного дела в России», Чехов шутил, что у него сахалинское

«умопомешательство», «Mania Sachalinosa». Он нервничал, что не успеет до отъезда как следует подготовиться: «Приходится быть и геологом, и метеорологом, и этнографом, а к этому я не привык, и мне скучно». Он готовился как исследователь, но оставался литератором. Читая статьи, фундаментальные труды, ужасался суконному языку и тону ученых штудий: «<…> не только скучно читать, но даже временами приходится фразы переделывать, чтобы понять. Но зато важности и серьезности хоть отбавляй!» И присовокупил излюбленное ругательное словечко: «В сущности, это свинство». Но и над собой иронизировал. Говорил, что его подробное, литературно обработанное цитирование переводов иностранных авторов — это «сплошное мошенничество», можно подумать, будто он говорит на всех европейских языках. На самом деле после гимназии и университета Чехов неплохо знал латынь, немного говорил и читал по-немецки и по-французски. Языки ему не давались.

Времени не оставалось даже на письма, только — деловые. Шутил, что от чтения у него в мозгу «завелись тараканы», а работа такая «анафемская», что «околеет с тоски» прежде, чем попадет на Сахалин. В минуты крайней усталости и нездоровья Чехов скрывался за словечками «околеть», «издохнуть». Он будто отвлекал внимание грубым смыслом. Или говорил «кажется, здоров» — это всегда выдавало, что он болен. В марте 1890 года он тоже был «кажется, здоров». Кашлял и ждал кровохарканья в дни, когда вскрывались реки — так не раз случалось в последние годы. Он, лечивший чахоточных больных, знал этот симптом.

Ему предстояло одолеть 11 тысяч верст через Сибирь до Сахалина. Поездом, на пароходе, а главное — на лошадях, от чего кашель у Чехова всегда усиливался. Но он предпочел об этом не упоминать и пугал знакомых своей возможной гибелью не от стихии, не от болезни, а от встречи с медведем или бродягой. Словно собирался идти пешком, один, через тайгу. Или рисовал поездку благостными красками. Исчислял путь на лошадях не верстами, а днями (мол, всего-то 25–30 дней). А все остальное время будет сидеть на палубе парохода или в комнате. Но когда Суворин сказал, что Сахалин никому не нужен и никому не интересен, Чехов оставил шутливый тон. Ответил резко: «Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. <…> Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах *миллионы* людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски <…> и всё это сваливали на тюремных красноносых смотрителей». И заключил: «Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это

неинтересно».

Чехов не обольщался насчет своего будущего труда о Сахалине: «Я хочу написать хоть 100–200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я <…> свинья». И жалел, что едет он, «а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками». Он словно продолжил декабрьский разговор с Сувориным о вялой интеллигенции, которой всё не интересно. В том числе подвиги первопроходцев, исследователей Сахалина: «<…> а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что Бог дурно создал человека».

Это страстное письмо Чехов отослал 9 марта 1890 года. Через неделю Суворин, по настоятельной просьбе Галкина-Враского, перепечатал в «Новом времени» сообщение из «Правительственного вестника» о том, какой успешной оказалась десятилетняя колонизация Сахалина, как «увеличилась и оживилась местная деятельность». Так что у мнения Суворина, что Сахалин никому не нужен, была тайная пружина — он знал взгляд правительственных чиновников на каторгу. Знал его и Чехов из «Обзора десятилетней деятельности Главного тюремного управления. 1879–1889», опубликованного первоначально в «Правительственном вестнике», а потом в виде книги. Составители обзора кратко обрисовали состояние российских тюрем и каторги в конце 1870-х годов: «крайнее расстройство», «безотрадное положение», высокая смертность среди заключенных и ссыльных, недостаток средств решительно на всё. Авторы констатировали: о том, что творилось на местах, столичные чиновники соответствующих ведомств не знали.

Созданное специальное управление, судя по отчету, проделало огромную работу. В частности, был обследован остров Сахалин и признана возможной его «правильная колонизация». В 1884 году произвели административную реформу, Сахалин изъяли из ведения губернатора Приморской области и вверили начальнику острова из военных генералов. Авторы обзора впечатляли читателей результатами преобразований. Например, в двух округах, Александровском и Тымовском, в 1879 году было пахотной и огородной земли в десятинах — 51, а через десять лет уже 2270. Школ и церквей выстроено столько, сколько необходимо, дороги прокладываются. В общем, «главная забота о колонизации о. Сахалина, как конечной цели устройства ссыльно-каторжных на острове», осуществлялась, по мнению чиновников, планомерно и правильно.

На предположение Плещеева, что визит к нему Галкина-

Враского скрывал надежду на рецензию, Чехов с иронией ответил: «Об его отчетах я буду пространно говорить в своей книге и увековечу имя его; отчеты неважны: материал прекрасный и богатый, но чиновники-авторы не сумели воспользоваться им».

Может быть, Суворин хотел остановить Чехова по самым понятным причинам (опасный путь, тяжелый труд, а человек болен). Но у этой заботы все равно оставалась бы подоплека: Чехов — автор «Нового времени», он будет писать для газеты. Суворин уже знал и не раз говорил, что Чехов независим, сломать, уломать его невозможно. Так что и попытка отговорить от поездки ссылкой на то, что Сахалин скучен, отнимет зря время, не удалась. Именно каторга интересовала сейчас Чехова более всего на свете. В повторяемых «мы», «нам», «нас», «наши», «все мы» нет противопоставления: я и все остальные; я и немногие, отличные ото всех. Было ли у Чехова до 1890 года такое внутреннее ощущение жизни и себя самого, какое совестливому Гаршину дала война, а правдолюбцу Короленко тюрьмы и ссылки? Практика в клиниках, земских и городских больницах, частный прием — это профессия, в которой смерть больного возможный момент, а главная цель — излечение недуга. Война, тюрьмы, ссылка — совсем другое. Это крайнее отклонение жизни от нормы.

Обыкновенный человек — нормальный человек. Если он будет держать в голове мысль о миллионах людей, гниющих в тюрьмах, невыносимо страдающих на каторге, погибающих на войне, то сойдет с ума. Он подает милостыню нищему, исполняет подобающие доброму православному человеку традиции. Чехов упомянул такой обычай в начале повести «Степь»: «Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, вдень Казанской Божией Матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник, а еще ранее, на Пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия».

Подобное было принято и в семье Чеховых. Если Павел Егорович оделял нищих при выходе из храма потому, что это приличествовало христианину и добропорядочному человеку, то Евгения Яковлевна делала это от доброй души, по совести, по обычаю. Митрофан Егорович, молитвенник и благотворитель, человек не очень богатый, устраивал в храмовые праздники обед для бедных. В жизни нормального человека посильная

милостыня, от доброго сердца сирому, убогому, страждущему, оберегала, спасала и отводила мысли о таких местах, как каторга, тюрьма. Они были где-то там, и думать о них тяжело. А уж увидеть воочию… Но как иначе почувствовать это отклонение от норм человечности?

Чехов писал Суворину в своем взволнованном, но продуманном письме о Сахалине: «Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение <…>» Вот в этом требовании он отделил себя от «мы», ото «всех». Несколько раз он повторил «я еду», «я еду»… И ответил зачем: «Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий. Нет у меня планов ни гумбольдтских, ни даже кеннановских».

А что было? Что подвигло его не «спрятаться куда-нибудь лет на пять», не оставить семью, жить почти так, как монах из рассказа «Святою ночью»: «В Бога верил, сыт был и сочинять умел». Но выбрать сначала труднейший путь через всю Россию, потом сделать перепись всего каторжного населения Сахалина, затем написать книгу.

В декабре он говорил: «Мне надо учиться, учить всё с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда». Что осталось от этого намерения теперь, зимой 1890 года: большой труд и желание учиться. Но не литературе, а другому: «Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата: читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. <…> Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь <…> что я потеряю, если поеду? Время? Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое ничего не стоит, денег у меня всё равно никогда не бывает <…>. Всё это неубедительно, но ведь и Вы пишете столь же неубедительно».

Чехов ехал не убеждать кого бы то ни было и в чем бы то ни было. Не с целями пробудить общество или воззвать к тем, кто сидит «в четырех стенах», кто уверял в газетах, что на Сахалине тишь, гладь. Он ехал, наверно, для себя или, как говорил, «по своим надобностям». Для того самого внутреннего чувства, которое год назад назвал возмужалостью и чувством личной свободы. Чтобы личность не только соответствовала таланту, но, может быть, оказалась больше его.

Он не однажды говорил, что обстоятельства командуют и владеют людьми вообще и им самим в частности. Задумав поездку на каторгу, он подчинил эти обстоятельства себе. Может быть, в первый и последний раз в жизни, потому что ему нужно было поехать. *Не должно, а нужно*. Несколько месяцев назад,

осенью 1889 года, он предоставлял фортуне решать, куда пустить его: «вверх или вниз по наклону», и считал естественным «временный застой». Теперь не фортуна, а он сам решал этот вопрос. Это было, наверно, огромное, выстраданное усилие личности.

Ему желали обрести на каторжном острове «неуловимого г. Идеала Идеаловича», «найти руководящую нить», то есть подводили под поездку общественно-важную идею, публицистическую задачу, возвышенную цель. Он, уклоняясь от таких пожеланий, отвечал: «Я еду не для наблюдений и не для впечатлений, а просто для того только, чтобы пожить полгода не так, как я жил до сих пор. <…> если успею и сумею сделать что-нибудь, то — слава Богу, если нет — то не взыщите».

«Если нет…» подразумевало, видимо, трагическую гибель или смерть от болезни. Он, конечно, держал в уме такой исход. Так и написал в письме Лаврову от 10 апреля: «Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа». Клеветой Чехов назвал фразу в анонимной заметке в «Библиографическом отделе» журнала «Русская мысль»: «Еще вчера даже жрецы беспринципного писания, как гг. Ясинский и Чехов, имена которых…» Автора заметки Чехов знал и относил к «вумным дамам». Она уже откликалась неодобрительно на «Степь» и «Огни». И наверняка он не стал бы, по своему обыкновению, объясняться и на этот раз. Мало ли глупостей писали о его сочинениях.

Однако дама задела не его рассказ или повесть — но его личность. С этого Чехов и начал: «Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был. Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек».

В декабрьском письме Суворину он перечислял всё им написанное; всё то, что он сделал в литературе, — рассказы, очерки, фельетоны, водевили, повести. И тоже говорил о «многом множестве ошибок и несообразностей». В письме Лаврову он перечислял то, чего он никогда не делал в своих литературных занятиях: «Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял <…>»

Тогда, зимой, подведение итогов Чехов закончил словами: «<…> и при всем том нет ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение». Теперь, в апреле 1890 года, он будто продолжил признание: «<…> короче

говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я охотно бы выбросил за их негодностью, но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы стыдно».

Так что домыслы досужих умов, будто Чехов едет на Сахалин чуть ли не оправдываться за «осколочное» прошлое и за правом называться серьезным писателем, — всего лишь дань нравам литературной среды. В письме Суворину от 15 апреля, накануне отъезда, Чехов признался: «У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну, хотя впереди не вижу никаких опасностей, кроме зубной боли, которая у меня непременно будет в дороге. <…> В случае утонутия или чего-нибудь вроде, имейте в виду, что всё, что я имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре; она заплатит мои долги».

Это было первое завещательное распоряжение Чехова.

Глава девятая. ДОРОГА НА САХАЛИН

Современники, встречавшиеся с Чеховым в предсахалинские годы, запомнили его красивым, обаятельным. Он пленял не только женщин. Мужчины ценили его за остроумие, готовность разделить дружеское застолье, хорошо выпить. Однажды Чехов пошутил: «К несчастью, Короленко не пьет, а не уметь пить в дороге, когда светит луна и из воды выглядывают крокодилы, так же неудобно, как не уметь читать. Вино и музыка всегда для меня были отличнейшим штопором. Когда где-ни-будь в дороге в моей душе или голове сидела пробка, для меня было достаточно выпить стаканчик вина, чтобы я почувствовал у себя крылья и отсутствие пробки».

В 1886 году он рассказывал старшему брату, что дом «полон консерваторов — музыцирующих, козлогласующих и ухаживающих за Марьей». Осенью 1887 года насмешливо описывал Киселевой свое окружение в кудринском доме: «<…> сегодня в первый раз после нашего приезда была Эфрос с носом, в новой шляпке. Яшеньки еще не приходили. Бестурнюрная Зиночка бывает ежедневно. M-ele Syrout я еще не видел, но образ ее не покидает меня ни на минуту». Яшеньки — это сестры художника Янова. Эфрос и барышня Сиру — приятельницы Марии Павловны по курсам, а Зиночка — племянница хозяина дома Я. А. Корнеева.

В этом же письме Чехов пошутил, что он и сестра («милейшая Ма-Па») ходили сниматься: «…я — для того, чтобы продавать свои карточки почитателям моего таланта, а она для раздачи женихам». Может быть, чтобы окончательно свести письмо к шуткам на «романтические» темы, упомянул кота: «Кот Федор

Тимофеевич изредка приходит домой пожрать, всё же остальное время гуляет по крышам и мечтательно поглядывает на небо. Очевидно, пришел к сознанию, что жизнь бессодержательна». Закончил письмо вопросом: «Скука удручающая. Жениться, что ли?»

Женихов Ма-Па в это время назвать трудно, они остались безвестны. Зато ее приятельниц в доме становилось всё больше. Среди них — странная Александра Похлебина, музыкантша, пианистка, которую Чехов в шутку называл Вермишелевой. И еще более странная Ольга Кундасова, наделенная от природы оригинальным умом, но лишенная женственности. Она жила в мире своих пристрастий, «кумиров», вечно кого-то обожествляла, кого-то развенчивала, кого-то «спасала», волновалась чужими страстями. Уже появилась в кудринском доме красавица Лидия (Лика) Мизинова, приятельница Марии Павловны по гимназии Ржевской, где обе служили учительницами. И было понятно, что все они увлечены Чеховым.

В своих письмах Чехов довольно часто высказывался о женщинах. У него к этому времени сложилась своеобразная классификация — результат наблюдений. Он на дух не выносил тех, кого называл «бабами», будь то интригующие актрисы, праздные сплетницы, обитательницы меблированных комнат. О худших из них говорил — «дьявольское отродье». Снисходительнее Чехов относился к «бабенкам», суетным, не без задней мысли, однако не алчным и не агрессивным — над такими иронизировал, но не презирал. Всегда подшучивал над «барыньками», жеманными, заигрывающими с мужским полом, претенциозными (из какого бы сословия они ни были — дворянского, купеческого или мещанского). Умничающие женщины именовались у Чехова добродушно «умными девами» и «дамами». О таких, рассуждающих на богословские темы, говорил, что из-за них «мельчает религия, как Волга от песку». Насчет дам, пишущих пьесы, шутил, что от этого бедствия есть только одно средство: «зазвать всех баб в магазин Мюр и Мерелиз и магазин сжечь». Натуры подобного склада улавливали эту иронию и часто выговаривали Чехову в письмах за его отношение к женщинам, чуть ли не обвиняя в женоненавистничестве. Он отличал «строгих» дам от «эмансипе». Эти рассуждали о равноправии, о том, кто лучше и выше — мужчина или женщина, о высшем образовании для женщин. Но часто сводили женскую эмансипацию к свободе от морали, к блуду и разврату. Таких Чехов холодно презирал.

В его письмах встречались грубые мужские наблюдения и упоминания «пакостных мест», то есть публичных домов. Он

бывал в Соболевом переулке, это называлось «на Соболя ходить». В 1888 году признался Плещееву: «Что касается девок, то по этой части я во времена оны был большим специалистом и не дальше как в это лето скорбел, что в Сумах недостает кое-каких учреждений». В том же году, как раз в дни первых откликов на рассказ «Припадок», Чехов спросил Щеглова: «Отчего Вы так не любите говорить о Соболевом переулке? Я люблю тех, кто там бывает, хотя сам бываю там так же редко, как и Вы. Не надо брезговать жизнью, какова бы она ни была».

Сохранилось воспоминание современника о походе нескольких молодых людей, среди них был Чехов, в публичный дом с намерением выяснить и обобщить причины, приведшие сюда обитательниц «заведения». Спутнику показалось тогда, что Чехов был удручен и даже потрясен страшной заурядностью пути женщин в «пакостное место». Что-то, вероятно, от того чувства, от тех расспросов отозвалось в рассказе «Припадок». В связи с этим же рассказом Чехов в 1888 году задал вопрос Суворину: «Отчего у Вас в газете ничего не пишут о проституции? Ведь она страшнейшее зло. Наш Соболев переулок — это рабовладельческий рынок».

Он повторил слова, отданные им главному герою рассказа «Припадок», студенту-юристу, впервые попавшему в известный всей Москве переулок: «И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно быть, во время оно на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно и лица и походка людей выражали такое же равнодушие». На этом «рынке», как думал студент, «всё то, что называется человеческим достоинством, личностью, образом и подобием Божиим, осквернено тут до основания, „вдрызг“, как говорят пьяницы, и <…> виноваты в этом не один только переулок да тупые женщины».

Этот общий вопрос («мы», «нам») студент-юрист, уже впадая в состояние припадка, решал не как «чужой», а как «его собственный». И в мимолетном болезненном вдохновении нашел одно решение: своеобразное апостольство. То есть встать на углу этого переулка и взывать к мужчинам, идущим в публичные дома, к извозчикам, подвозящим и ждущим посетителей: «Куда и зачем вы идете? Побойтесь вы Бога!» Но скоро он устал от своих мыслей, переживаний и воображаемых сцен, как рядом с ним встанут другие люди, чтобы проповедовать. Порыв прошел. Осталась душевная боль, но и она растаяла после визита к врачу. Как растаял от оттепели выпавший всюду, и в переулке тоже, первый чистый снег.

«Припадок» был почти не замечен в критике, но оценен читателями, особенно студентами. За «направление». Сам Чехов тогда, в конце 1888 года, не пожаловался, но посетовал в одном из писем, что «Плещеев, девицы и проч. расхвалили», а вот «описание первого снега заметил один только Григорович». Расхваливали за то, за что другие в это же время бранили: «жгучий вопрос» (о домах терпимости) будто бы решен пошло, грязно. Хотя Чехов тогда подчеркнул: «Описываю Соболев пер[еулок] с домами терпимости, но осторожно, не ковыряя грязи и не употребляя сильных выражений»; — «Говорю много о проституции, но ничего не решаю».

Щеглову показалось, что рассказ написан «надуманно и сухо». В письме от 25 марта 1890 года, за месяц до отъезда Чехова на Сахалин, Щеглов, оговорившись, что придирается из-за любви к таланту Чехова (по его словам, «кого любишь, того и бьешь, временами даже ненавидишь»), противопоставил рассказ «Припадок» и повесть Толстого «Крейцерова соната». В ней тоже толковался «жгучий вопрос». Герой ее слышал в юности от старших, что дома терпимости полезны для здоровья, за этим следят «попечительное правительство» и доктора, учреждающие «правильный, аккуратный разврат». Так и жил Позднышев до тридцати лет, «гваздался в гное разврата» и не встречал в любовных романах описания того, что было с героем до его «великой любви» — «ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах». Между тем по его, Позднышева, наблюдениям, — жизнь «высших классов как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. <…> Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки — обыкновенно презираемы, проститутки на долгие — уважаемы».

Щеглов счел толстовскую повесть «ободряющим камертоном правды и смотрения в корень вещей, без коих художник рискует сделаться ненужным и даже вредным». А рассказ Чехова мудрствованием от лукавого: «Лев Толстой очень верно подметил фальшивую ноту в „Припадке“: „Герой должен был употребить, а уж после мучиться!“» Но именно в этом, наверно, и была разница между героями Чехова и Толстого. Позднышев — весь в своих мучениях ревности, в том, как ему лично тяжело, больно, плохо. Герой Чехова обладал талантом человеческим. О нем сказано: «Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. <…> умеет отражать в своей душе чужую боль».

Чехов прочел «Крейцерову сонату» в январе, в Петербурге, где повесть ходила в списках, в литографированных копиях. И удивился, что она не понравилась Плещееву: «Не говоря уж о

художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть: „Это правда!“ или „Это нелепо!“» Одного он не хотел извинить автору повести: «<…> смелость, с какою Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрямства не хочет понять. Так его суждения о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и проч. не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами». Наверно, Чехов обиделся за врачей, которых герой Толстого называл «мерзавцами». Досадовал на его безграмотные рассуждения. Может быть, он оказался бы снисходительнее в другом настрое. Но в месяцы «анафемской» работы со специальной литературой именно так отозвался на «смелость» Толстого.

Чехов говорил о себе в это время: «День-деньской я читаю и пишу, читаю и пишу… <…> Читать буду о Сахалине до марта, пока есть деньги, а потом сяду за рассказы»; — «<…> голова настроена на сахалинский лад, и во всем, что касается изящной словесности, я теперь не в состоянии отличить кулька от рогожи»; — «<…> я теперь не литератор, а сахалинец». Читал и писал, искал литературу о Сахалине не он один. Посильно помогал Александр, разыскивая что-то в Публичной библиотеке. В Москве помогала сестра, которую Чехов, по его шутливому выражению, «нанял» для хождения в Румянцевскую библиотеку: «Сестра и ее барышни переписывают для меня в библиотеке».

Мария Павловна всегда стояла особняком в разговорах Чехова о женщинах, о «девицах» и «девах», в рассказах о жизни семьи. Единственная девочка среди пяти братьев, она довольно рано осознала, кому обязана своим превращением из заурядной отроковицы в самостоятельного человека. Мораль родителей и наставников из Московского епархиального Филаретовского женского училища, которое она окончила, была проста: послушание, благонравие, целомудрие, покорная спутница будущего супруга, хорошая хозяйка и мать. Как-то Александр заметил свысока о двадцатилетней сестре, тогда уже слушательнице Высших женских курсов, что она не доросла до понимания его личности. Чехов выговорил брату: «Вспомни, поговорил ли ты с нею хоть раз по-человечески? <…> Она переживает теперь борьбу, и какую отчаянную! <…> Она ничем не хуже теперь любой тургеневской героини… Я говорю без преувеличиваний. <…> отчего сестра говорит мне о том, о чем не скажет ни одному из вас? А, вероятно, потому что я в ней не

видел только „горячо любимую сестру“, как в Мишке не отрицал человека, с которым *следует* обязательно говорить… А ведь она человек, и даже ей-богу человек». Действительно, все вопросы домашней и личной жизни Мария Павловна решала с ним. К 1890 году она стала хозяйкой дома. Евгения Яковлевна охотно уступила умной, практичной дочери заботы о найме квартиры, прислуги. Но Мария Павловна совсем не походила на молодую домоправительницу, озабоченную исключительно хозяйственными мелочами и мыслью о замужестве (вроде героини водевиля Чехова «Предложение»).

Она не рвалась к высшему образованию. Хотя, как и младшему брату, Чехов оплатил бы ее учебу даже в заграничном университете, где учились в это время многие русские девушки. Но Мария Чехова не заблуждалась на свой счет и довольствовалась службой в частной женской гимназии, где преподавала историю и географию. Она не стала, как брат Иван, образцовым педагогом. Гимназия оказалась только службой, но не призванием, не делом жизни. Со вкусом одетая, всегда сдержанная, с приличными манерами, она выглядела барышней из «хорошего семейства». Только что не говорила на иностранных языках, не играла на фортепьяно, не пела романсов и не сидела за пяльцами. Как, например, незнакомая ей Оля. О ней рассказывал приятель братьев, музыкант Семашко, которого Чехов шутя называл Мармелад Фортепьяныч. Он приходил к Чеховым после визита в знакомое семейство Книппер и умилялся: «Там такая барышня!»

Внешне спокойная, собранная, Мария Павловна выглядела серьезнее, чем ее сверстницы. Конечно, самые первые московские годы семьи (особенно до приезда брата Антона) наложили свой отпечаток. Но основательность, хозяйственность были в ее натуре от природы. Она умела, как отец, «взыскивать» с домашних за беспорядок, хорошо шила, как мать, умело управлялась с прислугой. И не стремилась замуж, не выказывала особой любви к детям, будь то малолетние племянники или детишки знакомых. Никто не замечал в ней страха перед участью старой девы и усилий заполучить кого-то в мужья, поставить, как говорил со злой иронией герой «Крейцеровой сонаты», «капкан» («девы сидят, а мужчины, как на базар ходят и выбирают. <…> Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для них все устроено. Глядь, не поберегся, — хлоп, тут и есть!»). Что-то удерживало ее. Или претенденты (они были у миловидной сероглазой Марии Чеховой) просто не нравились ей, и она пока не спешила.

Довольно рано Чехов подметил в сестре одно свойство, над

которым подтрунивал. Описывая Суворину в 1888 году, как домашние отнеслись к новости о Пушкинской премии, он иронизировал, что сестра, стерегущая репутацию семьи «со строгостью и мелочностью придворной дамы, честолюбивая и нервная, ходит к подругам и всюду трезвонит». Возвращение из Сум в Москву в 1889 году он изложил в письме Е. М. Линтваревой, как сюжет юмористического рассказа: «Закусывать начали в Ворожбе и кончили под Москвой. Цыплята распространяли зловоние. Маша во всю дорогу делала вид, что незнакома со мной и с Семашко, так как с нами в одном вагоне ехал профессор] Стороженко, ее бывший лектор и экзаменатор. Чтобы наказать такую мелочность, я громко рассказывал о том, как я служил поваром у графини Келлер и какие у меня были добрые господа; прежде чем выпить, я всякий раз кланялся матери и желал ей поскорее найти в Москве хорошее место. Семашко изображал камердинера».

Амбиции сестры Чехов снижал по-разному. Например, заканчивал свои приписки в ее посланиях к родне росчерком — «таганрогский мещанин А. Чехов». Он заметил притязания на выдуманный ею «придворный чин» — «сестра Антона Чехова» — и предостерегал, чтобы она не обольщалась комплиментами в свой и его адрес. Однако рассчитывал на ее трезвый ум и чувство юмора.

Но, конечно, этот «чин» невольно прибавлял ей привлекательности в глазах приятелей и приятельниц. Именно брат был магнитом, притягивавшим их в дом Чеховых. В том числе Лику, Лидию Стахиевну Мизинову. В 1889 году она окончила восьмой, так называемый «педагогический», класс в женской гимназии и стала с осени сама давать уроки.

Дневник С. М. Иогансон (ее двоюродной бабушки по материнской линии) сохранил факты, события из жизни взрослеющей «барышни», ее облик, черты характера. Мать, из дворянского рода Юргеневых, вышла замуж поздно и не очень удачно. Супруги развелись, и Лидия Александровна содержала себя и дочь уроками музыки, каждодневной, напряженной работой. Отношения с дочерью не складывались. Мать, навсегда обиженная разводом, одиночеством, безденежьем, всегда усталая, часто жаловалась на судьбу. Дочь, то вялая, то вспыльчивая, то ласковая, то грубая, пребывала то в ленивом времяпрепровождении, то в краткой бурной деятельности, чем удивляла родных. Может быть, развод родителей, невольное положение «бедной родственницы» в детстве и на каникулах в имении родной тетки С. А. Понафидиной в Курово-Покровском Старицкого уезда Тверской губернии, «нытье», по ее выражению,

озабоченной матери — всё повлияло на подростка, потом на молодую девушку. Но от перепадов ее настроения страдали даже любящие мать и бабушка. Казалось, ей во всем недоставало цельности, определенности, законченности. Наделенная от природы необыкновенной внешностью, хорошим музыкальным слухом, приятным голосом, она порывалась, но не стала ни актрисой, ни певицей, ни музыкантшей…

Красота Лики привлекала внимание мужчин. И уже в семнадцать лет она могла составить хорошую партию. Стать тверской помещицей и разделить знакомый ей с детских лет быт: семейные праздники, поездки к соседям, хозяйственные заботы, материнские радости и огорчения. Жить так, как жили в Покровском ее родные, дружный клан Понафидиных.

Но Лика отказывала женихам. Некоторые так упорствовали, надеясь уговорить, уломать красавицу, что их в конце концов не принимали, как, например, старицкого уездного предводителя дворянства С. Ф. Головина-Ртищева. Другие, как Е. Н. Баллас, долго ждали, не сменит ли она гнев на милость. Бабушка Иогансон, семидесятилетняя старушка, сама жившая в Покровском едва ли не приживалкой, переживала за внучку, за ее «нетвердый характер». Осенью 1889 года она приехала на зиму в Москву, к своим «Лидюшам» и поселилась у них в съемной квартире на Поварской, в Трубниковском переулке, в десяти минутах ходьбы от дома, где жили Чеховы. Вся зима Лики — по дневнику бабушки — это портнихи, выставки, музыкальные концерты, театры, уроки вокала, балы, поздние возвращения домой, за полночь. Не очень обременительные занятия с девочками в гимназии, редкие уроки музыки, которые она давала немногочисленным своим ученицам.

Однажды в конце января Иогансон записала о Лике: «То желает поступить в консерваторию, то [учиться] пению, всего ужаснее — драматическому искусству, где она может погибнуть беспощадно». Ссоры матери и дочери доводили старушку до сердцебиения: «Характер образовался пренесносный, грубый, замуж ей нелегко выходить, мужу ее несладко будет жить с нею. Жаль ее донельзя. <…> Царица Небесная, помоги [ей] быть доброй, кроткой, не злюкой, не грубой». Особенно пугала бабушку мечта внучки о сцене: «Поприще незавидное, и более пагубное для ее привлекательной наружности, погибла бы. <…> Помешалась теперь на театре, во что ни есть хочет играть. <…> Горе! Горе! Горе!»

Иогансон пока не ведала о том, о чем, не исключено, уже догадалась сама Лика — актрисы из нее не выйдет. То, что люди, знавшие Лику, называли застенчивостью, могло быть невероятной

внутренней зажатостью, скованностью, неуверенностью. Это свойство держало, словно под спудом, ее очевидные, но не очень большие дарования. Лика пыталась одолеть свое душевное состояние резкими словами, дикими, с точки зрения бабушки и матери, выходками, мелкими домашними бунтами. Например, срывала уроки музыки и потому теряла учеников. Потом стихала, смирялась, погружалась в свою задумчивость, вялость, меланхолию. До новой попытки «выйти из себя».

Лидия Александровна, измученная всем этим, отправилась однажды к гадалке. Та увидела по картам «порчу», будто бы случайно поразившую Лику, и советовала купить фитиль, равный длиною росту девушки, разрезать на три части и заправить им лампадку, которую держать зажженной, пока весь фитиль не догорит.

Увлечение театром подвигло Лику на согласие играть в домашнем спектакле, в «Горящих письмах» Гнедича. Начались репетиции, но вдруг она стала пропускать их. В это время в дневнике бабушки замелькало упоминание Чеховых. В начале марта она записала, что Лика ушла к Чеховым в восьмом часу, а вернулась в три часа ночи. «Очень довольная, что туда попала, общество было там разнообразное, приятное, умное, сам, сын хозяина, поэт, много пишет, и так радушно ее приняли, у них и ужинала, меньшой сын ее до дома провожал».

Так и пошло — на репетиции не была, потому что «провела вечер у Чеховых», а днем отправлялась «списки делать об острове Сахалине, помогать Марье Павловне Чеховой, а она для брата списывает, он, как писатель, отправляется на свои расходы в те места, в апреле месяце». Вечером — опять к Чеховым. Иогансон удивлялась: «Нет дня, чтобы она там не была, дружба новая завелась. Надолго ли?»

В Вербное воскресенье Чехов подарил Лике оттиск повести «Скучная история» с надписью «Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой от ошеломленного автора» и сборник своих рассказов тоже с надписью: «Лид[ии] Ст[ахиевне] Тер-Мизиновой, живущей в доме армянина Джанумова, от автора Тер-Чехианца — на память об именинном пироге, которого он не ел».

В пасхальную ночь Лика опять ушла к Чеховым. Наконец 5 апреля Чеховы появились в «армянском» доме. Иогансон записала: «Очень нам понравились. Антон, он и врач и писатель, такая симпатичная личность, прост в обращении, да и прочие братья (Иван и Михаил. — А. К.) — дельные люди, также занимаются каждый своим делом. <…> а мне Антон Павлович пасьянс показал».

Старшие Мизиновы симпатизировали Марии Павловне. Так

что их беспокоило не то, что Лика зачастила в кудринский дом, а то, как она выглядит в глазах обитателей этого дома: «Лидия ей внушает, что неприлично каждый день туда ходить, а ей нипочем, так хочет и баста <…> бесшабашная девочка вышла, вот уж хоть трава не расти».

Знали молодые Чеховы о скором «дебюте» Лики или она скрыла от них, но как бы то ни было на спектакль 8 апреля они не пришли. Дебютантка, может быть, из страха забросившая репетиции, на сцену тем не менее вышла и провалила свою роль: спешила, говорила тихо. Как выразилась бабушка — «ни маленькой способности», одни пустые мечтания да зряшные траты на костюмы. Кто-то прислал домой корзину цветов, на что Лидия Александровна сказала дочери: «Не игравши получила». К тому же вскоре выяснилось, что Лика заложила браслет, данный ей кузиной на день спектакля. Опять шум, ссоры, упреки. Как выражалась в таких случаях сама Лика, «не жизнь, а ад», хлопала дверью и исчезала. До самого отъезда Чехова она засиживалась у новых приятелей, может быть, тянула время, только чтобы не возвращаться домой. Правда, Иогансон предполагала иное: «Боюсь, не заинтересовалась ли моя Лидюша им? Что-то на это смахивает. <…> А славный, заманчивая личность».

Имя Лики в это время не появлялось в письмах Чехова. Она среди тех, о ком он говорил, — «сестра и ее барышни». 11 апреля он заметил в письме Суворину: «Я еще не уехал, а сестра уже начала скучать. Без меня ей придется плохо. Посылаю ее недели на две в Крым».

Все денежные дела Чехов отрегулировал, обеспечив семью до осени. Получил театральный гонорар и деньги, причитавшиеся ему после вычета типографских расходов за продажу книг, изданных в «Новом времени». Еще он взял у Суворина полторы тысячи, на уже не обсуждаемых ими условиях, то есть в счет погашения гонорарами Чехова за то, что он печатал в газете, и всё той же продажи книг. Подарил сестре отдельно деньги на поездку в Крым, взяв слово, чтобы она не экономила на себе.

Однако уже через месяц после его отъезда Михаил обратился от своего имени к «благодетелю» Суворину с двумя просьбами. Напомнил о согласии Алексея Сергеевича составить ему протекцию в получении хорошей должности в финансовом учреждении. И попросил взаймы денег. Не для себя, нет, нет, но для семьи: «Вероятно, к концу лета, нам не хватит тех 500 рублей, которые нам оставил Антуан. Надо было бы взять на попечение сестру и мать *мне*, но у меня какие же доходы? Вы позволите мне, *в случае если денег не хватит*, обратиться к Вам за займом рублей в 100? Верьте, мне ужасно тяжело писать Вам об этом и завтра же

я буду ходить, как угорелый и ругать себя за письмо».

Суворин ответил: «Касательно денег, сделайте одолжение, сколько хотите. <…> Суммою, пожалуйста, не стесняйтесь». И тут же рассказал, что первая тысяча сборника «Хмурые люди» разошлась в два месяца, что случается редко на книжном рынке. В типографии напечатали тысячу экземпляров второго издания и печатали сразу третье. Суворин распорядился также печатать третье издание сборника «В сумерках», так как, по его словам, этой книги «вовсе нет в продаже». Он откровенно радовался за свою издательскую удачу и за Чехова.

Попроси Михаил тысячу, Суворин, наверно, не отказал, потому что всё погасилось бы продажей книг. Но умеренный и аккуратный новоиспеченный юрист не посягнул на многое, удовольствовался присланными 300 рублями. Он не сомневался, как и дотоле в подобных случаях, что потом докажет брату, сколь нужны были эти деньги. Ему, как и сестре, хотелось проехаться к морю. По логике 25-летнего «университетского человека» выходило, что брат просто не догадался одарить и его такой же поездкой. Правда, в дни перед отъездом Чехова на Сахалин младший брат уверял, что решит все вопросы, если они вдруг возникнут, без ущерба для имени и кармана путешественника. Пусть, мол, он едет спокойно. За ним, Михаилом, семья как за каменной стеной. Вот экипировал же он брата в поездку, снабдил удобными хорошими вещами.

В последние дни Чехов написал всем добрым знакомым, с кем хотел попрощаться, послал последний поклон. Он не оставил невыполненных просьб. Его письма завершались пожеланиями благополучия. И просьбой — не забывать его, грешного, уповать на Бога и силы небесные.

* * *

21 апреля, ближе к вечеру, на Ярославский вокзал провожать Чехова приехала большая компания: Евгения Яковлевна, братья Иван и Михаил, сестра, ее приятельницы Кундасова, Мизинова, его приятели — Левитан, Семашко, Иваненко, общие знакомые — Сумбатов (Южин), супруги Кувшинниковы. Несколько человек, в том числе Иван Павлович и Левитан, поехали с Чеховым до Троице-Сергиевой лавры. Дальше всех Чехова провожала Ольга Кундасова. В Ярославле она тоже села на пароход «Александр Невский», уверяя, что едет куда-то к кому-то.

Уже не в первый раз письма родным заменяли Чехову дорожный дневник. Из-за обилия деталей некоторые послания превращались в путевые очерки. С обилием смешных подробностей, вроде пароходного ватерклозета, похожего на «королевский трон», или сравнений. Например, буксирного парохода и барж с молодым изящным интеллигентом, который «хочет бежать, а его за фалды держат жена-кувалда, теща, свояченица и бабушка жены».

В Нижнем Новгороде, уже один, Чехов пересел на пароход «Михаил», чтобы по Волге и Каме добраться до Перми. Маршрут он наметил следующий: Пермь, Тюмень, Томск, Иркутск, Сретенск, вниз по Амуру до Николаевска, два месяца на Сахалине, Нагасаки, Шанхай, Ханькоу, Манила, Сингапур, Мадрас, Коломбо, Аден, Порт-Саид, Константинополь, Одесса, Москва.

Но пока что пароход плыл по Каме. Пассажиры очень разные: чиновники, купцы, священники, переселенцы. Чехов запомнил мужика лет сорока, с русой бородой: «Он сидит на скамье на пароходе; у ног его мешки с домашним скарбом, на мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного, резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы». Холод и ветер всегда угнетающе действовали на Чехова: «Когда дует холодный ветер <…> то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца. <…> На пристанях толпится интеллигенция, для которой приход парохода — событие».

В Екатеринбурге Чехов спасался от снега и холода в гостиничном номере. Утром и вечером слушал бархатный колокольный звон, а ночью просыпался от звуков, которые издавали чугунные доски, эти, по его словам, «неумолкающие

куранты» провинции. 2 мая 1890 года Чехов выехал в Тюмень. Здесь началось, как он сказал, «конно-лошадиное странствие». Чехов разделил его на три «эпохи»: 1) от Тюмени до Томска, 1500 верст; 2) от Томска до Красноярска, 500 верст; 3) от Красноярска до Иркутска, 1566 верст. Ехал он не на почтовых тройках, а на вольных, то есть нанимаемых путником у деревенских мужиков, промышлявших извозом. С самого начала поездки он обнаружил, что подготовился к дороге если не легкомысленно, то, как сказал бы Павел Егорович, «неосновательно». Большую часть времени отдал чтению книг, статей, то есть освоению научной литературы. Вся бытовая, практическая сторона осталась без должного внимания.

Виноват, конечно, был он сам — и младший брат, которому Чехов поручил снаряжение поездки. Неопытный еще, но воображавший себя всезнающим, Михаил купил вместо мягкого дорожного мешка презентабельный громоздкий чемодан. Именно с таким, по его разумению, полагалось путешествовать «известному писателю». К тому же ему подсунули дешевое изделие, чемодан стал рваться с первых дней. Ботфорты, высокие сапоги, выше колен, с отворотами (их тоже купил Михаил), оказались узкими в задниках.

Уже с дороги Чехов дал брату иронический наказ на будущее: «Сладкий Миша, если у тебя будут дети, в чем я не сомневаюсь, то завещай им не гнаться за дешевизною. Дешевизна русского товара — это диплом на его негодность. По-моему, лучше босиком ходить, чем в дешевых сапогах. Представьте мое мучение! То и дело вылезаю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапоги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мороз! Пришлось купить в Ишиме валенки… Так и ехал в валенках, пока они у меня не раскисли от сырости и грязи». Почему-то не шубу, а полушубок предпочел Чехов, и потому у него мерзли ноги. Кожаное длинное пальто спасало от ветра, но не от холода. Никто не подсказал, что в такую многодневную поездку хорошо бы взять пару больших подушек в темных наволочках, простыни, побольше брюк. У Чехова была всего-навсего подушечка.

Во все дни до Томска не отпускали холода. Постоянно дул ветер, резкий, пронизывающий. Шел дождь. Дорога тяжелая, по утрам вся в замерзших кочках. От тряски, выворачивавшей душу, у Чехова не прекращалось кровохарканье. Порой приходилось пересаживаться в лодки, так как реки залили луга и дороги. Случались, как рассказывал путник, «жуткие» минуты. Одна из них на берегу Иртыша: «<…> он глинист, гол, изгрызен, склизок на вид… Мутная вода… Белые волны хлещут по глине, а сам

Иртыш не ревет и не шумит, а издает какой-то странный звук, похожий на то, как будто под водой стучат по гробам… Тот берег — сплошная, безотрадная пустыня…<…> Мне теперь будет сниться Иртыш…»

Что-то схожее оказалось в этой картине со сном, о котором Чехов рассказал в письме Григоровичу в 1887 году. Громадные склизкие камни, холодная вода, голые берега, туман, затянутое облаками небо: «<…> в унынии и в тоске, точно заблудившийся или покинутый, я гляжу на камни и чувствую почему-то неизбежность перехода через глубокую реку <…>. Всё до бесконечности сурово, уныло и сыро».

Этот сон Чехов видел не однажды. Он словно воплотился в увиденном на берегу Иртыша. Описание несостоявшейся переправы Чехов закончил с тем же чувством и в таком же тоне, как рассказ о своем сне: «И вот я сижу ночью в избе, стоящей в озере на самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество, слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спрашиваю себя: где я? зачем я здесь?»

О таком ли полном одиночестве он говорил Суворину осенью 1888 года? О таком ли избытке времени — наедине с самим собой, как в этой избе, ночью?

Тюменско-томская «эпоха» таила гибельную минуту. Тройка, на которой ехал Чехов, столкнулась с встречной, так как ямщик на ней заснул: «Одно мгновенье и — раздается треск, лошади мешаются в черную массу, мой тарантас становится на дыбы, и я валюсь на землю, а на меня все мои чемоданы и узлы… <…> После крушения глупейшее недоумение с обеих сторон, потом жестокая ругань… Сбруи разорваны, оглобли сломаны, дуги валяются на дороге… Ах, как ругаются ямщики! Ночью, в этой ругающейся, буйной орде я чувствую такое круглое одиночество, какого раньше никогда не знал…» От этого ночного крика, дикого, бессмысленного ора, оборвавшего его какие-то предрассветные размышления («Я еду на тарантасике и думаю, думаю…»), жизнь тоже могла показаться ничего не значащей.

14 мая Чехов едва не погиб во время переправы через реку Томь. Лодка чудом не перевернулась. Ощутив ужас близкой смерти, он, по его признанию, думал, что, если окажется в воде, сбросит с себя сначала полушубок, потом кожаное пальто… И еще подумал: «Нехорошее, насмешливое мое счастье!»

В письмах домой и в очерках «Из Сибири», посылаемых в «Новое время», он рассказывал о сибирском быте, о людях, нравах. В краю беглых ссыльных и бродяг на дорогах было безопасно, не водилось повального воровства. Дома выглядели

чище, опрятнее, уютнее, без «русского духа», то есть спертого воздуха: «Вообще народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями». О крестьянках Чехов писал, что они «здесь толковы, чадолюбивы, сердобольны, трудолюбивы и свободнее, чем в Европе; мужья не бранят и не бьют их <…>. Детей не держат в строгости; их балуют».

Он всё время сравнивал русскую и сибирскую деревню. «Там» и «здесь» ощущалось, даже если Чехов не упоминал хорошо знакомое ему по работе врачом в Звенигородском уезде. Но труд крестьянина и в Сибири, по его мнению, тяжек: «Девять месяцев не снимает он рукавиц и не распрямляет пальцев; то мороз в сорок градусов, то луга на двадцать верст затопило, а придет короткое лето — спина болит от работы и тянутся жилы». И все-таки, все-таки: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей».

На сибирском пути Чехов встречал толпы переселенцев, крестьянские семьи, пожертвовавшие родным краем, привычным укладом. Они меняли прежнюю жизнь на новую, неведомую, где, говорят, будет земля для хлебопашества, можно построить просторный дом. По этой же дороге шли, звеня кандалами, арестанты: «Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи идти… До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять верст. А когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать, и тотчас же их облепят клопы — злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать».

Видел Чехов и ссыльных, присланных в Сибирь по приговорам крестьянских обществ за порочную жизнь. Эти чурались мужиков, избегали всякого труда. Пристраивались, кто куда мог, и постепенно утрачивали после передряг и ужасов этапа последнее человеческое тепло. Чехов написал о таких в первом очерке: «<…> и осталось у них в жизни только одно: водка, девка, девка, водка… На этом свете они уже не люди, а звери, а по мнению деда, моего возницы, и на том свете им будет худо: пойдут за грехи в ад». У ссыльных и арестантов местные ямщики и перевозчики научились грязной брани, ставшей привычной речью, осквернявшей человека, по выражению Чехова, «во всем, что ему свято, дорого и любо!». Но о жизни ямщиков он заметил, что она доставалась им «недешево» — холод, грязь, плохие дороги. И все-таки — это жизнь, свобода. А у сосланного на вечное поселение ее нет. И нет навсегда. Суд приговорил его, и судье неинтересно, что представляет из себя тюрьма, Сибирь,

этап, ссылка, поселение. Пристроившись где-нибудь, ссыльные спивались от скуки, от сознания, что они здесь навеки.

15 мая 1890 года Чехов добрался до Томска, мечтая о бане, теплой постели, спокойном сне и нормальной еде. Тут он бросил злосчастный чемодан, шутил, что сундучок «попал в Сибирь на поселение». Взамен купил, как он выразился, «какую-то кожаную стерву». Она распластывалась как угодно. Приобрел тарантас за 130 рублей, чтобы не ехать на перекладных. Наконец заварил себе любимый кофе.

Что было тяжело Чехову в пути — это еда. С юности он страдал катаром кишок и геморроем, может быть, от таганрогской острой пищи, всех этих «синеньких» и «красненьких». Поэтому так не любил различные «пикули». В Сибири ему понравились хлеб, пироги, блины. Но «утячья» похлебка, но жареная солонина… Но колбаса, купленная в Тюмени: «Когда берешь кусок в рот, то во рту такой запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают портянки; когда же начинаешь жевать, то такое чувство, как будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный в деготь. Тьфу!»

Когда однажды на станции ему подали отличных щей с прекрасным мясом, он в описании этого мгновения не удержался от восклицания: «О, восторг! О, пресветлого дне!» И шутил, описывая путь до Томска: «Всю дорогу я голодал, как собака. Набивал себе брюхо хлебом, чтобы не мечтать о тюрбо, спарже и проч. Даже о гречневой каше мечтал. По целым часам мечтал». Но потихоньку втянулся, привык. Как привык к тряской езде в телеге, в тарантасе, в возке, корзинке-плетушке, которую он даже нарисовал в письме. 21 мая он «побежал» дальше, ибо уже заметил в шутку, что в Сибири «клопы и тараканы не ползают, а ходят; путешественники не едут, а бегут. Спрашивают: „Куда, ваше благородие, бежишь?“ Это значит: „Куда едешь?“».

Выехал Чехов из Томска не один, а с попутчиками, военным доктором и двумя поручиками. Началась томско-красноярская «эпоха», путь в 500 верст по ужасному тракту, по холмам, через тайгу. Коляска и возок застревали в колее. К вечеру путники, как рассказывал Чехов, «грязные, мокрые, сонные, замученные медленной ездой и тряской», вваливались на станцию и почти падали от усталости. На этой дороге повозки «бегущих» людей часто опрокидывались, почта опаздывала, так как почтовые телеги чуть не намертво застревали в грязи. Чехов нагляделся на терпеливых, запуганных почтальонов, настоящих мучеников: «Они много работают, воюют с природой, как никто, подчас страдают невыносимо, но их увольняют, отчисляют и штрафуют

гораздо чаще, чем награждают. Знаете ли, сколько они получают жалованья, и видали ли вы в своей жизни хоть одного почтальона с медалью?» Насмотрелся он и на мучения мужиков, которые сопровождали обозы, везущие в Европу чай: «<…> вытаскивая ноги из грязи и помогая лошадям, они давно уже выбились из сил… Вот часть обоза остановилась. Что такое? У одного из возов сломалось колесо… Нет, уж лучше не смотреть!»

На содержание дороги отпускались из казны деньги, ее ежегодно ремонтировали, но она оставалась невозможной, ужасной, опасной. Чиновники и подрядчики наживались на бесполезном «ремонте», а путники проклинали всё и всех. Дорога превратила одежду Чехова в нечто настолько потертое, что, как он шутил, даже бродяги посматривали на него косо, ибо походил на жулика. Лицо свое он называл в эти дни и недели — «ерническое рыло», «рожа», покрытая рыбьей чешуей. Когда была возможность, Чехов записывал карандашом впечатления текущего дня, но большие письма и очерки оставлял до остановок в крупных городах.

28 мая 1890 года он приехал в Красноярск. В отличие от Томска этот город, само место ему чрезвычайно понравились, а Енисей привел в восторг: «Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега! <…> Много у меня было разных мыслей, и все они путались и теснились, как вода в Енисее, и мне было хорошо…»

Словосочетания «я вижу», «я видел», «я думаю», «я думал» образовали своеобразный пунктир в сибирском дорожном дневнике и очерках Чехова: «Я гляжу на них и думаю»; — «сижу и думаю»; — «я стоял и думал»; — «я еду на тарантасике и думаю, думаю…» Иногда было невыносимо и смотреть и рассуждать об увиденном. Тогда возникала особая интонация: «Я не люблю, когда интеллигентный ссыльный стоит у окна и молча глядит на крышу соседнего дома. О чем он думает в это время? <…> Не люблю потому, что в это время мне бесконечно жаль его»; — «Тяжело ехать, очень тяжело, но становится еще тяжелее, когда подумаешь, что эта безобразная, рябая полоса земли, эта черная оспа, есть почти единственная жила, соединяющая Европу с Сибирью! И по такой жиле в Сибирь, говорят, течет цивилизация! Да, говорят, говорят много…»

Как раз в те дни в Петербурге открылся IV Международный тюремный конгресс. На его открытии, где присутствовали царствующие особы, сопровождаемые «блестящей свитой», а затем на заседаниях, встречах, приемах, завтраках и обедах говорили особенно возвышенно и красиво: «Правительства различных государств всё более и более сознают, что конгрессы

тюремные суть не собрания философов, слишком чувствительных или увлекающихся ложной филантропией, в чем их прежде упрекали, но собрания людей опыта, постоянно живущих лицом к лицу с действительностью и думающих всего более о способах охранения общества от преступлений…»

«Люди опыта», якобы знавшие действительность, — это министры, губернаторы, высшие чины из тюремных и судебных ведомств. Приветствуя гостей из Европы, столичный городской голова умилялся их мужеству, ибо они не остановились «перед трудностью и утомительностью дальнего путешествия» в Петербург. Едва ли участники конгресса, в том числе «храбрые» европейские ученые, читали сибирские очерки Чехова, появившиеся в «Новом времени» в конце июня, когда, вероятно, все разъехались. Поняли бы они ощущение, переданное в одном из очерков? В описании очередного томительного ожидания и такого долгого пустого разговора, что на свечке успел нагореть фитиль: «Какая скука! Чтобы развлечь себя, переношусь мыслями в родные края, где уже весна и холодный дождь не стучит в окна, но, как нарочно, мне вспоминается жизнь вялая, серая, бесполезная; кажется, что и там нагорел фитиль <…>. Нет охоты возвращаться назад».

В письме Щеглову от 5 июня Чехов будто продолжил разговор об общем пространстве жизни: «Да и кстати сказать, здешние природа и человек мало чем отличаются от российских. Оригинальны только река Енисей и тайга <…>» В это время закончилась красноярско-иркутская «эпоха» в странствии Чехова. К холоду первой, грязи второй добавились жара и пыль третьей. Уже сказывались бессонница, плохое случайное питание и брезгливое ощущение от одежды, обуви, давно и как следует не чищенных.

Полторы тысячи километров от Красноярска до Иркутска Чехов одолел за неделю. От духоты, всепроникающей пыли, бесконечных разговоров попутчиков на три главные темы (женщины, местные нравы, российские дороги) ему порой, по собственному признанию, хотелось остаться одному. «Круглое» одиночество тоскливо, но утомительное многолюдство тоже оказалось не в радость: «В дороге я больше всего люблю молчание, а мои спутники говорят и поют без умолку…»

В Иркутске Чехов по-настоящему выспался, вымылся в бане и говорил, что с его головы «текла мыльная пена не белого, а пепельно-гнедого цвета», точно он лошадь мыл. Заказал желанную гречневую кашу. Здесь он обстоятельно написал Лейкину, Щеглову, Плещееву, старшему брату и всем «Чеховым», отдыхавшим на Луке у Линтваревых. Подыскивая самое краткое

определение своим впечатлениям от трех с половиной тысяч верст (Тюмень — Иркутск), говорил: «длинно и широко». Будто сказались другое, чем обычно, ощущение времени и пространства, иное настроение (тоска, ужас смерти, одиночество среди чужих людей), многодневное движение.

Подводя в Иркутске первые итоги, Чехов определил их не одинаково в письмах своим адресатам. И, наверно, эти оттенки существенны. Лейкину он обрисовал главные трудности, однако закончил выводом: «Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю Бога, что он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие… Многое я видел и многое пережил, и всё чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека». Александру он тоже написал, что доволен и не жалеет, что поехал: «Интересного и нового вижу мало, зато чувствую и переживаю много. <…> Такие ощущения, которые в Москве и за миллион не испытаешь. Тебе бы надо в Сибирь! Попроси прокуроров, чтобы тебя сюда выслали». Щеглову и Плещееву обещал всё рассказать, когда приедет, тогда и выложит перед ними то, что назвал своим «сибирским богатством».

Но, по-видимому, он собирался распорядиться им по-своему и не спешил «выкладывать» пережитое. Зато опять заговорил о прежнем желании: «спрятаться куда-нибудь лет на пять». Однако теперь «куда-нибудь» обрело конкретное намерение в письме родным: «Вы бы, между прочим, поискали хутор. По возвращении в Россию я пять лет буду отдыхать, т. е. сидеть на одном месте и переливать из пустого в порожнее. <…> Думаю до 35 лет не приниматься ни за что серьезное, хочется попробовать личной жизни, которая у меня была, но которой я не замечал по разным обстоятельствам».

Еще летом 1888 года Чехов заговорил о покупке хутора — даже ездил смотреть, но не сошелся в цене. Однако не оставил мысли о маленьком имении, где, по его словам, «чеховская фамилия будет упражняться в родственном сближении», а соседей он удивлял бы, как шутил, «своей агрономией, распущенностью домочадцев, гостеприимством и музыкой». Может быть, тогда это был тот самый «порох», которым он надеялся взорвать застой в своей личной жизни? Ощущение застоя и мечта о хуторе в то время тесно переплелись в письмах Чехова. Но вплетался, тоже в шутку или всерьез, задававшийся вопрос: «Жениться мне, что ли???»; — «Не жениться ли мне? Или не уехать ли врачом на пароходе Добровольного флота?»; — «Хочется влюбиться, или жениться, или полететь на воздушном шаре».

Хутор он не купил, не женился, не уехал врачом, не полетел на шаре. Но очень серьезно думал: не уйти ли из дома, не ограничиться ли только необходимым для одинокого существования, не занять ли себя серьезным трудом.

И вдруг — не прошло и полугола — опять резкая перемена. Снова разговор о хуторе, причем для всей семьи. Вместо серьезного труда — якобы отдых, переливание из пустого в порожнее в течение нескольких лет. А на переднем плане — желание «попробовать личной жизни», наконец заметить, ощутить ее.

В письмах Чехова после отъезда из Иркутска 11 июня появились недовольство, раздражение и какое-то нетерпение. Внешних поводов оказалось предостаточно. Неожиданная ночевка на пути к Байкалу, из-за чего опоздали на утренний пароход. Всё те же надоевшие говорливые попутчики. Ожидание следующего парохода, в общем, как он писал Шехтелю: «<…> идет дождь, на озере туман, есть ничего не дают; тараканов и клопов сколько угодно. Вообще не жизнь, а оперетка. И скучно и смешно. <…> Надоело ехать». И в письме родным в этот же день: «Скучно. <…> Скука предвидится немилосердная <…>. В дороге надо быть непременно одному. Сидеть в повозке или в комнате со своими мыслями гораздо интереснее, чем с людьми».

Эта фраза и слова в том же письме — «Надо бы сесть писать, да в дурную погоду не работается» — видимо, скрывали желание остаться наедине со своими сюжетами, образами, со своими томящимися «чадами». Поэтому и жаловался: надоело ехать. Но надо было продолжать путь, да еще с приключениями. Однако острота ощущений, красота Байкала, река Селенга, Забайкалье, судя по письму родным, утешили Чехова и вознаградили сполна. Он жалел, что с ним нет Левитана: «Какие овраги, какие скалы!»

За неделю Чехов и его спутники добрались от Байкала до Сретенска. По жаре, боясь опоздать на пароход. Приехали, точнее, примчались, за час до отхода парохода «Ермак»: «Итак, конно-лошадиное странствие мое кончилось. <…> Я до такой степени свыкся с ездой по тракту, что мне теперь как-то не по себе и не верится, что я не в тарантасе и что не слышно дар-валдая»; — «Такое у меня настроение, как будто я экзамен выдержал».

За два месяца — более четырех тысяч верст трудной дороги — Чехова не обворовали и не ограбили, чего пуще всего боялись родные. Он ни дня не болел. Из багажа потерял пустяки. Двадцатым июня он пометил последний сибирский очерк, хотя написал его позже. Свой газетный путевой дневник завершил хвалой Енисею и описанием «сильной и непобедимой» тайги. В одном из первых очерков Чехов написал, что из-за

круглогодичной жестокой борьбы с природой человек в этих краях «не живописец, не музыкант, не певец». Однако закончил очерки портретом сибирского мастера, кузнеца. О нем отзывались так, что Чехову вспомнились «разговоры» о знаменитых художниках. И вот он явился: «худощавый, бледный человек с нервными движениями, по всем приметам талант и большой пьяница». Такой же, наверно, как герой рассказа Чехова «Художество». Весь год он для всех «Сережка», «лентяй, пьянчуга и мот». Но несколько дней — он «Сергей Никитич», ибо дан ему редкий талант: сооружать, творить Иордань для обряда водосвятия в праздник Крещения Господня. Аналой и выточенные на нем крест, раскрытое Евангелие делались изо льда, как и голубь, помещаемый на высоком кресте из бревен. Когда крещенским утром Сережка сдергивал рогожи со своего творения, тысячный крестный ход видел нечто необычайное: «Боже милостивый, как хорошо! <…> Сережка прислушивается к этому гулу <…> и душа лентяя наполняется чувством славы и торжества».

Кузнец, согласившийся починить тарантас путника, тоже с виду работал «небрежно, нехотя <…> часто курил <…> так ломаются артисты, когда их просят спеть или прочесть что-нибудь». Но от, казалось бы, «неуклюжего, тяжелого удара <…> легкая железная пластинка получила желаемую форму, так что и блоха не могла бы придраться». Чуть насмешливо, любующимися строками о русском таланте, деспотичном и знающем себе цену, и в тайге и в больших городах, Чехов заключил повествование о Сибири.

Рассказ о дальнейшем пути (Сретенск — Николаевск-на-Амуре) сохранился только в письмах Чехова, хотя он обещал Суворину написать о Забайкалье и Амуре. Может быть, ему прискучили очерки. Может быть, для того, что теперь разворачивалось перед глазами, он искал новую тональность. Может быть, сомневался, поместило бы «Новое время» то, о чем он осторожно упоминал в письмах. О золотой лихорадке в этом краю. О причудах внезапно разбогатевших поселенцев, шествующих из каприза по расстеленному кумачу, а путь всего-то от избы до кабака. Или, например, о вольности нравов местных жителей, не соблюдавших постов, не осуждавших мужичек за курение. Или, допустим, о свободе слова по сравнению с Центральной Россией: «Здесь не боятся говорить громко. Арестовывать здесь некому и ссылать некуда, либеральничай сколько влезет. Народ все больше независимый, самостоятельный и с логикой. <…> Доносы не приняты. Бежавший политический свободно может проехать на пароходе до океана, не боясь, что его

выдаст капитан. Это объясняется отчасти и полным равнодушием ко всему, что творится в России. Каждый говорит: какое мне дело?»

27 июня Чехов пересел на пароход «Муравьев-Амурский». Новые знакомые, разговоры, наблюдения и впечатления обретали в письмах повествовательный тон. Но утаивались умозаключения, о которых Чехов предпочитал в письмах, особенно Суворину, не распространяться. Вероятно, он не исключал перлюстрации: «Китайцы возьмут у нас Амур — это несомненно. Сами они не возьмут, но им отдадут его другие <…> все смеются, что Россия хлопочет о Болгарии, которая гроша медного не стоит, и совсем забыла об Амуре. Нерасчетливо и неумно. Впрочем, о политике после, при свидании». В одном из писем этих дней затерялась строка: «Мало-помалу вступаю я в фантастический край». 7 июля Чехов, уже в Николаевске-на-Амуре, перебрался на пароход «Байкал». До Сахалина оставалось несколько дней пути. «Кандальный остров» мнился уже близким…

В последующие два месяца Чехов отправил родным несколько телеграмм. И всё. Внешняя связь с Россией стала односторонней. О нем там говорили, ему посылали на Сахалин письма, обсуждали в переписке его поездку. А он будто выпал из общей жизни, где всё пребывало по-прежнему. Павел Егорович послал путешествующему сыну изображение пророка Илии и акафист с наказом вручить на Сахалине «благочестивому человеку». Евгения Яковлевна просила не ездить по ночам, быть осторожным, скорее вернуться и привезти для Маши песцовый воротник, а ей четыре соболя, но только если обойдутся недорого. Сестра благодарила за поездку в Крым и рассказывала, как в Ялте многие искали знакомства с нею, «делали» визиты. Брат Михаил беспокоился о себе — как бы все-таки получить хорошее место через Суворина. Упоминал куда-то исчезнувшую Кундасову; горюющую Шаврову (некому рекомендовать ее рассказы в газеты); уехавшую в Покровское и скучавшую там Мизинову.

Свободин упрекал Чехова за «раздражительное» письмо Лаврову по поводу отзыва о «жрецах беспринципного писания» и спрашивал: «Ну, милая человечина, что же Вы поделываете в стране оков и цепей? В какие новые для Вас сердца проникли Вы там? Какие кисти и краски заготовляете для того, что напишете нового? <…> отзыв о Вас как о писателе, сколько я понимаю, был просто глупый и вовсе не оскорбительный. <…> Нет, всё это сущий вздор…» Немирович писал из имения, где отдыхал с женой, о себе, об общей жизни, о поездке Чехова: «В России ожидают урожая. В Париже арестовано 15 русских террористов. В Германии еще просят кредита на усиленное вооружение. В

провинции только и разговора, что о предстоящих хлебах, да о земских начальниках. Поговоришь, поговоришь, и скучно станет».

Всё с той же поощрительной и учительной, почти менторской интонацией, что и в письме о «Лешем», Владимир Иванович из прекрасного далека, освещенного полуденным светом жаркого летнего дня, напутствовал Чехова: «Поехали к черту на кулички, так дай Вам Бог весело пространствовать. Я хочу даже ободрить Вас. Ваша поездка возбуждает большие ожидания. Вы приготовили себе отличную почву для нового периода Вашей деятельности. Только не надо забывать ее. Вас, пожалуй, охватит какая-нибудь новая идея, и Вы уклонитесь от своего настоящего дела. Боже избави!» Но в приписке вдруг полюбопытствовал: «Неужели и к Сахалину можно привыкнуть? Неужели и там есть радости, кроме простого отдыха от физического каторжного труда? Интересно, что Вы будете думать после поездки: и на Сахалине можно жить и ссылка не так страшна, или она ужаснее, чем рисует фантазия?»

Петербургские и московские знакомые, по выражению одного из них, «почитывали» очерки «Из Сибири». Находили их «милыми», «сухими» и т. п., но соскальзывали на новости: кто где отдыхает, кто чем занят, кто получил новый чин, кто кем увлечен, кто кого «пожирает» в печати и т. д. Все это во всех смыслах было очень далеко от Чехова. Он подъезжал к Сахалину с неспокойной душой. На пароходе «Байкал» офицер, сопровождавший солдат, узнав, зачем Чехов едет на остров, стал уверять, что он не имеет будто бы никакого права подходить к каторге и колонии, так как не состоит на государственной службе: «Конечно, я знал, что он не прав, но все же от слов его становилось мне жутко, и я боялся, что и на Сахалине, пожалуй, я встречу точно такой же взгляд».

И еще одно предсахалинское впечатление навсегда врезалось в память Чехова: «Со мною на амурском пароходе ехал на Сахалин арестант в ножных кандалах, убивший свою жену. При нем находилась дочь, девочка лет шести, сиротка. Я замечал: когда отец с верхней палубы спускался вниз, где был ватерклозет, за ним шли конвойный и дочь; пока тот сидел в в<атер>клозете, солдат с ружьем и девочка стояли у двери. Когда арестант, возвращаясь назад, взбирался вверх по лестнице, за ним карабкалась девочка и держалась за его кандалы. Ночью девочка спала в одной куче с арестантами и солдатами».

Глава десятая. САХАЛИНСКАЯ «ПУСТЫНЯ»

Отчего-то повествование о Сахалине Чехов начал с краткого описания Николаевска-на-Амуре, самой восточной точки своего

пути по Сибири и Амуру. Образ «заброшенного, вымирающего города», полуразрушенного, где «темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа», определил интонацию первой главы книги «Остров Сахалин».

Книга создавалась несколько лет. Сначала появилась в журнале «Русская мысль» (1893–1894), потом, с добавлением четырех глав, вышла отдельным изданием (1895). По словам Чехова, он привез с Сахалина «целый сундук всякой каторжной всячины». Около десяти тысяч статистических карточек, заполненных в результате переписи населения. Записи, составлявшие «сахалинский дневник» и сохранившиеся только в отрывках. Выписки из документов. Свои и чужие бумаги и т. д. Этим «сырым материалом» Чехов очень дорожил.

Наверно, на процесс писания книги влияли внешние обстоятельства. Но имели ли они решающее значение? Чехов говорил, что начинает писать тогда, когда его память уже «процедила сюжет» и на ней, как на «фильтре», осталось только то, что важно или типично. Через пять лет после сахалинской поездки он признался: «Когда я теперь закрываю глаза, то вспоминаю всё до мельчайших подробностей, даже выражение глаз у нашего пароходного ресторатора, отставного жандарма».

Значит, настроение, навеянное Николаевском, сохранила память, и оно было не случайно. Чехов усилил чувство тоски упоминанием, что Амур «нахмурился и заволновался, как море», что «неистово воют гиляцкие собаки». Он поймал себя на вопросе, сходном с тем, что пришел ему на ум на берегу Иртыша: «И зачем я сюда поехал? — спрашиваю я себя, и мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным. И мысль, что каторга уже близка, что через несколько дней я высажусь на сахалинскую почву, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, что меня могут попросить уехать обратно, — эта мысль неприятно волнует меня».

До Сахалина Чехов плыл на пароходе «Байкал», который вез три сотни солдат и несколько арестантов в кандалах. В день отплытия на берегу горел лес в полной тишине знойного дня. Сахалин тоже встретил пожаром: «Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. <…> похоже, как будто горит весь Сахалин. <…> И всё в дыму, как в аду». Так остров встретил новоприбывших. Чехов запомнил слова командира парохода, что осенью, в пургу, здесь еще страшнее. Но утром картина изменилась: «Солнце стояло уже высоко. То, что было вчера мрачно и темно и так пугало воображение, теперь утопало в блеске раннего утра…»

Повествование о Сахалине кажется собранием писем, которые Чехов словно писал домой, прямо по свежим впечатлениям. И в то же время — необыкновенным сплавом документов: дневника, воспоминаний, сведений, почерпнутых в книгах, статьях, мемуарах. Всё зримо, всё явлено — то крупно, то панорамно, то в диалогах, то в авторском пересказе, то в развернутой характеристике, то в деталях.

В портрете начальника острова В. О. Кононовича, который принял Чехова на следующий день, среди похвал его любезности, образованности, практическим знаниям мелькнула деталь: «он красиво говорит и красиво пишет и производит впечатление человека искреннего, проникнутого гуманными стремлениями». «Красиво» — словно предупреждение самому себе и читателю, что слово всего лишь слово, но есть дело. Произведет ли оно такое же впечатление гуманности и искренности?

Кононович выдал Чехову 30 июля 1890 года удостоверение, разрешавшее «собирание разных статистических сведений и материалов для литературной работы об устройстве на острове Сахалине каторги и поселений». Документ позволял посещать тюрьмы и поселения, делать извлечения из официальных документов. Начальникам округов предлагалось оказать Чехову в этом «законное содействие», то есть в рамках инструкций, правил и руководств.

Однако тогда же, чего Чехов не знал, генерал послал начальникам Александровского и Тымовского округов секретное предписание: пусть господин литератор собирает материал, как то ему разрешено, но следует «иметь неослабное наблюдение за тем, чтобы он не имел никаких сношений с ссыльнокаторжными, сосланными за государственные преступления, и административно-ссыльными, состоящими под надзором полиции».

То и другое было, вероятно, следствием состоявшихся ранее встреч и бесед Чехова с приамурским генерал-губернатором бароном А. Н. Корфом. В конце июля тот приезжал на остров с ревизией. Конечно, Кононович доложил ему о приезде Чехова, и барон пожелал увидеть путешественника. В присутствии начальника острова Корф сказал, что все «двери будут открыты» перед Чеховым. Запрет лишь на общение с «политическими».

Генерал-губернатор посещал Сахалин не впервые и находил, что каторга идет вперед по «пути добра», что «несчастным» живется здесь «легче, чем где-либо в России и даже Европе».

Об этом он сказал на торжественном обеде, когда держал короткую речь перед администрацией острова. Во время второй аудиенции, данной Чехову, барон развил положения своей речи.

Он был так добр, что продиктовал собеседнику небольшой трактат под названием «Описание жизни несчастных». Чехову особенно запомнился следующий пассаж: «Никто не лишен надежды сделаться полноправным; пожизненности наказания нет. <…> Каторжные работы не тягостны. <…> Цепей нет, часовых нет, бритых голов нет». Чехову показалось, что Корф «великодушный и благородный человек», но «жизнь несчастных» знакома ему «не так близко, как он думал».

Итак, высокое сахалинское начальство красиво говорило, благородно рассуждало, было с приезжим литератором любезно, даже ласково. Открыло «все двери», кроме одной. Чехову предстояло самому увидеть жизнь почти счастливых, по мнению администрации, «несчастных» обитателей острова.

Как это сделать? Объехать остров, осмотрев по пути каторгу (тюрьмы и поселения)? Чехов нашел необычное решение: сделать перепись населения. Одному, без помощников, которых ему «любезно» предлагали. В работе он пользовался опросными листами, куда заносились данные: место жительства, звание, фамилия, имя, отчество, возраст, вероисповедание, место рождения, срок пребывания на Сахалине, занятие и ремесло, владение грамотой, образование, семейное состояние и т. д. Помимо этого, Чехов просматривал во всех округах отчеты полицейских управлений, канцелярские ведомости, таблицы, приказы, церковные метрические книги, больничные книги, рапорты врачей, надзирателей, смотрителей, отчеты инспекторов, акты, метеорологические таблицы. Он сам для себя составил специальные таблицы.

Население острова состояло из каторжных, поселенцев, крестьян из ссыльных, людей свободного состояния. Каторжные делились на разряды: исправляющиеся, испытуемые, долгосрочные, бессрочные. На 1 января 1890 года на Сахалине числилось 5905 каторжных. Срок — от нескольких лет до двадцати и пятидесяти (для рецидивистов). Они жили кто в тюрьме, кто в избах, вне тюрьмы.

Осмотр острова Чехов начал с Северного Сахалина, Александровского и Тымовского округов, равных по площади небольшому русскому уезду. Вскоре после приезда он посетил Александровскую ссыльно-каторжную тюрьму. Перед ним не надо было открывать двери. Они и так оказались настежь. В камерах, более похожих на сарай, только нары и полки: «Спят на жестком или подстилают под себя старые драные мешки, свою одежду и всякое гнилье <…> под нарами сундучки, грязные мешки, узлы, инструменты и разная ветошь». Всюду, во всех камерах, «ужасная нищета», «та же сарайная жизнь, в полном смысле

нигилистическая, отрицающая собственность, одиночество, удобства, покойный сон».

Чехова сопровождал начальник округа. Вошедшие молча смотрели на арестантов, а те, вытянув руки по швам, — на посетителей: «похоже на то, как будто мы пришли покупать их». Не раз и не два Чехов слышал от тюремных надзирателей по поводу казарменного воздуха, что от него «душу воротит». Каторжные дышали им годами, «вонючим, промозглым, кислым».

Арестанты в этой тюрьме не носили кандалов, ходили без конвоя. В отличие от тех, кто содержался в «кандальной». В этом, по словам Чехова, «страшном месте» сидели те, кто пытался бежать и был пойман, те, кто находился под следствием за нарушения, совершенные уже на каторге. Особенно запомнились ему недавно возвращенные с бегов: «Оборванные, немытые, в кандалах, в безобразной обуви, перепутанной тряпками и веревками; одна половина головы разлохмачена, другая, бритая, уже начинает зарастать. <…> Постелей нет, спят на голых нарах».

В одной из камер сидела Софья Блювштейн, известная Сонька-Золотая Ручка. Чехов смотрел на невысокую, седеющую женщину в ручных кандалах: «Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею».

Описание общих камер Александровской тюрьмы, где содержалось около тысячи человек, повествование о нравах этого «общежития» начиналось с той реалии повседневной жизни, которая, по замечанию Чехова, «у громадного большинства русских людей находится в полном презрении» — с отхожего места. А закончилось выводом, что «стадная сарайная жизнь» с ее неизбежной физической и нравственной нечистотой действует на человека «самым растлевающим образом».

Дуйская тюрьма показалась ему много грязнее, беднее Александровской, а порядки еще хуже: «Если летом, при открытых окнах и дверях, пахнет помоями и отхожим местом, то, воображаю, какой ад бывает здесь зимою, когда внутри тюрьмы по утрам находят иней и сосульки». Тут были те же общие камеры. Они обрекали людей становиться, как писал Чехов, «не общиной, не артелью, налагающей на своих членов обязанности, а шайкой, освобождающей их от всяких обязанностей по отношению к месту, соседу и предмету. <…> Если в камере вонь или нет никому житья от воровства, или поют грязные песни, то

виноваты в этом все, то есть никто».

Но еще страшнее выглядели «казармы для семейных». Администрация селила в таких же, как тюремные камеры, с такими же нарами и парашами, каторжных с их законными женами и детьми, и тут же каторжных с сожительницами и любовницами: «По этим варварским помещениям и их обстановке, где девушки 15 и 16 лет вынуждены спать рядом с каторжниками, читатель может судить, каким неуваженьем и презрением окружены здесь женщины и дети, добровольно последовавшие на каторгу за своими мужьями и отцами» <…> В одной из таких семейных камер пол оказался черным от грязи, чавкал поросенок, а вонь от клопов перебивала все запахи. Кожа младенцев походила от укусов клопов на красный сафьян. Несколько семейств спали на одних общих нарах.

Воеводская тюрьма, одно из старых сахалинских узилищ, превзошла все остальные по безобразности. Здесь содержались тяжкие преступники в ручных и ножных кандалах, прикованные к тачкам: «Ночью, во время сна арестант держит тачку под нарой». Эта тюрьма показалась Чехову страшной: «Около тюрьмы ходят часовые; кроме них, кругом не видно ни одного живого существа, и кажется, что они стерегут в пустыне какое-то необыкновенное сокровище».

Тюрьма в Рыковском была из новых и на хорошем счету по гигиене. По крайней мере, в кухне и пекарне оказалось чисто. Еда отличалась от арестантской пищи в других местах заключения, где обыкновенно хлеб был с глиной, а от щей шел вонючий запах. Но жизнь в общих камерах, особенно жизнь скрытая, и здесь складывалась как везде: картежная игра, неизбежное ростовщичество, самосуд, ябедничество, наушничество.

Каторжные жили не только в тюрьмах. Тем, кто числился по разряду исправляющихся, разрешали жить вне тюрьмы и даже иметь хозяйство. Так жили и другие разряды каторжан: испытуемые, долгосрочные и бессрочные. Как правило, это были семейные люди, за кем последовали жена и дети. Вне тюрьмы жили мастеровые (сапожники, столяры). Таковых набиралась четвертая часть всех каторжных.

Знакомство с бытом каторги привело Чехова к предположению, что разреши начальство каторжнику сразу по прибытии строить избу, колония бы выиграла. В настоящем виде, каким его застал Чехов, тюремный быт удручал, и зрелище это ложилось тяжестью надушу. Однажды арестанты, приняв незнакомого человека за чиновника, стали жаловаться на выдаваемый им хлеб. Он на самом деле был ужасен: «прилипал к пальцам и имел вид грязной, осклизлой массы, которую

неприятно было держать в руках». Чехов не однажды наблюдал «обед» каторжных. Получив порцию супа, они либо садились тут же у барака на землю, либо шли к нарам, кто-то ел на ходу.

Возможно, в повествовании о Сахалине Чехов впервые обнаружил отчетливо свой этический и художественный прием. Он обозначал нечто, по сравнению с чем, или, как он говорил в таких случаях, «*в виду*» чего — жизнь, человек, случай, поступок обнаруживали, что они есть на самом деле. Часто это — природа (море, горы, широкое небо). Они вызывали у некоторых героев какое-то особое чувство; В таком чувстве Чехов признался сам, когда описал сахалинский маяк на мысе Жонкиер. Днем, снизу, он казался скромным белым домиком. Ночью, когда на нем горел фонарь, — «красным глазом» каторги. Наверху же, «на горе, в виду моря и красивых оврагов», где свободнее дышалось, «приходят мало-помалу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни с ссыльною колонией, и тут только сознаешь, как скучно и трудно живется внизу. <…> Широкое, сверкающее от солнца море глухо шумит внизу, далекий берег соблазнительно манит к себе, и становится грустно и тоскливо, как будто никогда уже не выберешься из этого Сахалина. Глядишь на тот берег, и кажется, что будь я каторжным, то бежал бы отсюда непременно, несмотря ни на что».

Чем занимались каторжные на острове? Добывали уголь, корчевали лес, осушали болота, строили, ловили рыбу, использовались на сельскохозяйственных работах. В начале каторги, а потом при освоении новых мест, они сами строили тюрьмы. Дороги, поселения, поля, огороды — всё далось трудом тысяч людей в дождь, мороз, холод. Каторжные работы — строительные и хозяйственные — барон Корф назвал в своем «Описании» «не тягостными». Чехов определил их иначе: тяжкие, нелегкие, напряженные, мучительные.

Бесплатный неограниченный труд каторжанина по обслуживанию местного чиновничества, услужение частным лицам, по мнению Чехова, даже не каторга, а крепостничество. И человек уже — «не ссыльнокаторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи». Между тем в резолюциях только что прошедшего тюремного конгресса было записано, что «не следует допускать эксплуатации арестантов частными лицами», что пользование трудом не должно превращаться в господство «над личностью и жизнью арестанта». Порой бывало так, что один раб обслуживал другого, если, допустим, каторжная становилась любовницей чиновника или офицера и командовала прислугой из таких же, как она, каторжных. Более того, она помыкала прислугой из солдат или из людей свободного состояния. О таких

случаях Чехов отозвался, как о чем-то подлом и «в высшей степени унизительном для человеческого достоинства».

Каторжные сопровождали исследователей, отправлявшихся в тайгу. Их использовали как вьючных животных. Да и на других работах они порой заменяли лошадей. Эту картину Чехов постоянно видел на Сахалине: «Летом люди, запряженные в бревно в пол-аршина и толще, а в длину в несколько сажен, производят тяжелое впечатление; выражение их лиц страдальческое, особенно если они, как это я часто наблюдал, уроженцы Кавказа. Зимою же, говорят, они отмораживают себе руки и ноги и часто даже замерзают, не дотащив бревна до поста».

Судьбу женщин-каторжанок Чехов выделил особо в своем труде о Сахалине. Их в то время на острове было свыше шестисот. Администрация «фильтровала» каждую партию вновь прибывших. Женщины-преступницы попадали в прислуги к чиновничеству, хотя это запрещалось. Их поставляли в местные гаремы писарей и надзирателей. Отдавали в жены (в «бабы») и в работницы поселенцам и даже каторжным, если те имели деньги. На языке администрации это называлось свободным сожительством, «свободной семьей».

На каторге, по наблюдениям Чехова, выработался особенный взгляд на каторжную женщину: «не то она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже домашнего животного». От скуки, от бессмыслицы положения или ради денег женщины занимались проституцией. Каторжных работ они не исполняли. Иногда их использовали для мытья полов в канцеляриях, посылали на огородные работы, они шили мешки и т. п. Но телесное наказание грозило каторжанкам так же, как и мужчинам.

* * *

В один из дней Чехов увидел наказание плетьми. Потом несколько ночей ему снились палач и скамья, к которой привязали человека. Не выдержав зрелища, он вышел из помещения, где продолжалась экзекуция: «Кругом на улице тихо, и раздирающие звуки из надзирательской, мне кажется, проносятся по всему Дуэ. Вот прошел мимо каторжный в вольном платье, мельком взглянул на надзирательскую, и на лице его и даже в походке выразился ужас».

Чехов знал из литературы о сахалинских наказаниях, хотя Кононович уверял его в беседе, что подобное бывает редко, «почти никогда». Чехов заметил по поводу этого генеральского

мнения: «К сожалению, за недосугом, он очень редко бывает в тюрьмах и не знает, как часто у него на острове, даже в 200–300 шагах от его квартиры, секут людей розгами и о числе наказанных судит только по ведомостям».

Отвратительнее всех в момент наказания Чехову был не смотритель, равнодушно глядевший в окно, не палач, а военный фельдшер. Он умолил впустить его в канцелярию и по окончании радостно признавался: «Люблю смотреть, как их наказывают! <… > Люблю! Это такие негодяи, мерзавцы… вешать их!» «Удовольствие в дранье», по наблюдениям Чехова, находили даже люди с университетским образованием. По его словам, «от телесных наказаний грубеют и ожесточаются не одни только арестанты, но и те, которые наказывают и присутствуют при наказании».

Навряд ли новые впечатления и встречи вытеснили скоро из памяти Чехова облик убийцы после наказания: «Место, по которому били, сине-багрово от кровоподтеков и кровоточит. Зубы стучат, лицо желтое, мокрое, глаза блуждают. Когда ему дают капель, он судорожно кусает стакан… <…> — Это за убийство, а за побег еще будет особо, — поясняют мне, когда мы возвращаемся домой».

Арестантов и поселенцев секли розгами за любую провинность: «неисполнение дневного урока (например, если сапожник не сшил положенных трех пар котов, то его секут), пьянство, грубость, непослушание… Если не исполнили урока 20–30 рабочих, то секут всех 20–30». Один из чиновников хвастался Чехову, как он отвадил арестантов подавать прошения. Он приказал сечь их, если таковые покажутся вздорными, малозначительными. Почти все прошения он находил «чепухой», каторжника секли: «Теперь уже просьб не подают. Я отучил их».

О казнях Чехов слышал от священника, которому приходилось напутствовать приговоренных к повешению. И от чиновников, присутствовавших при казни по обязанности: «Всю ночь накануне казни чиновники и офицеры не спали, ходили друг к другу; пили чай. Было общее томление, и никто не находил себе места. <…> Было раннее октябрьское утро, серое, холодное, темное. У приговоренных от ужаса лица желтые и шевелятся волосы на голове. Чиновник читает приговор, дрожит от волнения и заикается оттого, что плохо видит. Священник в черной ризе дает всем девяти поцеловать крест и шепчет, обращаясь к начальнику округа:

— Ради Бога, отпустите, не могу…»

Всё это пересказано так, что кажется, будто Чехов видел казнь своими глазами. Наверно, уже открывшееся на Сахалине,

уже пережитое им превращало чужой рассказ в зримое, незабываемое.

Барону Корфу казалось, что «несчастным» живется на Сахалине легче, чем в России и даже Европе. Может быть, имея в виду и это убеждение генерал-губернатора, Чехов много раз подчеркивал, что жизнь каторжного на острове нестерпима: «Однажды во время выгрузки парохода я слышал, как смотритель тюрьмы сказал: „У меня люди целый день не ели“». Некоторые работы, например дровотасков, показались Чехову невыносимыми. В августе 1890 года он был в каменноугольных копях, где работали каторжные. Его провели мрачными коридорами, в которых сотни каторжных с пяти часов утра, согнувшись, а то и ползком, выполняли норму, ежедневный «урок» — свыше 10 пудов угля, который вывозили на пудовых санях по узким коридорам. Каторжанин, имевший деньги, добытые, например, путем картежной игры в камере или ростовщичеством, подкупал надзирателя и нанимал вместо себя другого каторжанина или поселенца. Годами человек, работавший в дуйских копях, знал лишь рудник и тюрьму, дорогу туда и обратно. За провинности секли розгами (прав не прав, было не было); наказывали жестоко. Произвол, в большом и малом, обман озлобляли людей до крайности.

Каторжные и поселенцы добывали уголь под землей, лишь на ночь возвращаясь в тюрьмы или, как поселенцы, тоже работавшие на руднике, в сарай. «Люди опыта», участники минувшего тюремного конгресса, записали в своих рекомендациях, что «трудом арестантов следует, по возможности, пользоваться, не причиняя только ущерба задачам тюремного дела, условиям пребывания заключенных в тюрьме и режиму дисциплины тюремной». Доход от их работы должен поступать в казну, а не частным лицам или предприятиям. Но, видимо, на Сахалине, в копях, рекомендуемой «возможности» не оказалось.

В один из августовских дней Чехов зашел вместе с местным врачом в такой сарай рано утром: «Какая вонь, темнота, давка!

Головы разлохмаченные, точно всю ночь у этих людей происходила драка, лица желто-серые и, спросонья, выражения как у больных или сумасшедших. Видно, что они спали в одежде и в сапогах, тесно прижавшись друг к другу, кто на наре, а кто и под нарой, прямо на грязном земляном полу». Кто были эти люди, сидевшие в камерах, работавшие в копях, жившие на поселении? Бывшие дворяне, офицеры, священники, мещане, купцы, крестьяне, беглые солдаты. Выслушав сотни, тысячи людей, Чехов уловил ординарность совершенных ими преступлений: убийство, поджог, растление малолетних,

детоубийство, подделка денег, изнасилование.

Чем поселенец отличался на Сахалине от каторжного? В своей несвободе, быте, труде? Отбыв срок, бывший каторжный или каторжанка в массе своей получали участок земли. Они могли обзавестись домом, хозяйством. Жить с семьей, если жена и дети (или муж и дети) приехали с ними. Или образовать «свободную пару», то есть найти сожителя или сожительницу. По сахалинским понятиям это уже не считалось низким, предосудительным. Те, у кого были деньги, оставались в главном селении округа, покупали или строили дом здесь, где была «цивилизация», хотя бы в виде почты.

В первые два-три года по отбытии каторги поселенцы получали от казны пособие (кормовое, или вещевое, или денежное). Им выдавали в долг семена, скот. В беднейших семьях дети получали кормовое пособие до 15 лет, поэтому родители убавляли им возраст. Чехов сперва удивлялся: «Иная уже невеста или давно уже занимается проституцией, а всё еще 13–14 лет». Если ссыльный поступал на должность (писарь, учитель), он получал жалованье. Если поселенец уличался в нерадении, лени, его могли вернуть на год в тюрьму, либо лишали казенного довольствия.

День за днем Чехов обходил избы поселенцев. Иногда его сопровождал кто-нибудь: то надзиратель, то каторжный, то врач, то кто-то из администрации. Скоро он заметил особенность этого сахалинского жилья. Двора нет, около дома ни сада, ни палисадника, ни деревца. Внутри одна-единственная комната похожа на камеру. В красном углу нет старых образов, в семье нет деда и бабки. Всё будто случайно, временно: «Нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка… а главное, нет родины».

От тоски, скуки, лени или еще по какой причине, но многие поселенцы жили убого, скудно, праздно и бессмысленно. Освоение нового тяжелого участка, как показалось Чехову, не менее тяжкое наказание, чем каторга. Поселенцы перетаскивали через тайгу всё необходимое для стройки, сами валили лес, корчевали, строили избы, клали печи. Иногда они, обессиленные, бросали недостроенное жилье и уходили. Эти брошенные дома Чехов видел на всем острове.

Поселенец мог бы купить стекло, железо на те деньги, что заработал, отбывая каторгу (ему полагалась десятая часть оплаты). Но заработанные деньги не выдавали не только на руднике, но всюду. А полагающаяся ссуда шла к поселенцу через такие бюрократические препоны, что удивлялись даже начальники каторги. Но были такие, кому не помогла бы и ссуда.

Они вообще не хотели работать на земле. Пробавлялись игрой в карты, убогим прозябанием. Чехову запомнилась беспутная Лукерья Непомнящая, с «нехорошими, мутными» глазами, и бобыль в нетопленом доме. Чаще всего так коптили небо люди, отбывавшие каторжный срок в прислугах (бесплатные дворники, кухарки, горничные, швеи, сапожники, лакеи, няньки, прачки, повара, поломойки). Чехов уподобил их русскому дворовому человеку, «умеющему Чистить сапоги и жарить котлеты, но неспособного к земледельческому труду, а потому и голодного, брошенного на произвол судьбы». Такие — безразличные, уставшие от жизни, неведомо зачем живущие — встречали Чехова с недоумением, но на вопросы отвечали.

Жил ли кто-то из поселенцев со смыслом, с каким-то интересом? В слободке Александрова Чехов увидел дома, покрытые тесом, разбитые огороды. Искал объяснение этому благополучию и нашел. Слободка промышляла торговлей спиртом и барахлом, старыми арестантскими вещами. «Разрешение» давали подкупленные чиновники. Самые ловкие сколачивали на этом запретном занятии немалый капитал.

Кое-кто из поселенцев занимался земледельческим трудом, осваивал свой участок. Особенно если доставалось не гиблое, а подходящее место. Но подселение на этот участок еще одного хозяина обрекало обоих на постепенное обнищание. Обреченными оказывались и те, кого сажали на землю, не пригодную к земледелию и к разведению скота, где порой не было воды для питья. Эти люди жили одним: отбыть срок и скорей-скорей уехать.

Каждое новое поселение по-своему доказывало: тюрьма и колония несовместимы. По наблюдениям Чехова, общая камера убивала в каторжном оседлого человека, семьянина. Она лишала его здоровья. После десяти лет каторги (средняя продолжительность), тем более после работы в руднике, колония получала больного, ничего не желающего человека.

В селении Красный Яр, новом, еще не освоенном, Чехов ходил из избы в избу по кочкам, разрытой глине, через канавы. Некоторые избы стояли недостроенные, пустые, так как поселенцы уже ушли. Неизвестно куда. Может быть, сбежали или перебрались в другое поселение? В одной из изб Чехов увидел кавказцев, которые почему-то вызывали в нем, где бы он ни увидел их на Сахалине, острое чувство жалости. Холод, сырость, чужой язык, бесконечные унижения действовали на них, по его наблюдениям, сильнее, чем на русского мужика, знакомого с морозами, с нравами деревенской жизни. Чехов подметил, что кавказцы всегда сбивались в группу, словно стая птиц.

В таких беспризорных селениях даже надзиратели думали, как бы поскорее выбраться в другое место, а лучше всего на материк. Эти селения с брошенными избами, эти места, откуда не вела никуда ни одна дорога, казались сахалинским мороком, призраками «фантастического края».

* * *

С каждым днем Чехов убеждался, как он говорил, что многое в прочитанных им книгах и отчетах, статьях и брошюрах не имело ничего общего с реальностью. Один из авторов утверждал, например, что в селениях по реке Аркай почва хороша для земледелия. Рассказ об увиденном Чехов начал словами: «На самом же деле это не так».

Он обходил избы и слышал об одном — о страхе умереть с голоду: «В одной избе без мебели, с темною унылою печью, занимавшею полкомнаты, около бабы-хозяйки плакали дети и пищали цыплята; она на улицу — дети и цыплята за ней. Она, глядя на них, смеется и плачет, и извиняется передо мной за плач и писк; говорит, что это с голоду, что она ждет не дождется, когда вернется муж, который ушел в город продавать голубику, чтобы купить хлеба». Поселенцы рады были бы трудиться и трудились в этом суровом и печальном месте. Но во время дождей река разливалась и уносила огород вместе с посевами или готовым урожаем, смывала заготовленное сено. Люди получали от казны скот, семена, но скот они резали, чтобы не умереть с голоду, а семена съедали еще до посевной по той же причине. Арковцы жили в ужасной нужде и неоплатных долгах казне.

Впервые Чехов выехал в Арково 31 июля по берегу моря, во время отлива (другой дороги не было). Он запомнил свое впечатление, свое настроение: «Пахло дождем. Пасмурное небо, море, на котором не видать ни одного паруса, и крутой глинистый берег были суровы; глухо и печально шумели волны. С высокого берега смотрели вниз чахлые, больные деревья; здесь на открытом месте каждое из них в одиночку ведет жестокую борьбу с морозами и холодными ветрами, и каждому приходится осенью и зимой, в длинные страшные ночи, качаться неугомонно из стороны в сторону, гнуться до земли, жалобно скрипеть, — и никто не слышит этих жалоб».

Каждая семья в Аркове выживала в одиночку. Чехов описал эту долину с ее великанами-лопухами, с растениями, похожими на канделябры, пятнышками пунцового мака, а между этой буйной растительностью — «клочок с ячменем <…> клочок

земли с овсом, потом грядка с картофелем, два недоросля подсолнуха с поникшими головами, затем клинышком входит густо-зеленый конопляник».

Дикие растения, горы, суровая природа. А плоды подневольного обреченного труда — «клочок», «грядка», «клинышек». Всё мизерное, жалкое, оторванное друг от друга. Было ли на Сахалине нормальное земледелие, которое, как думалось столичным начальникам, удержит поселенцев на острове? Через 10 лет (иногда этот срок растягивался до 20 лет) поселенец получал звание крестьянина из ссыльных. Вот такие и должны были, по убеждению теоретиков колонизации, стать основным и постоянным населением Сахалина.

Однако Чехов увидел в Александровском округе лишь одно селение, обнадеживающее на этот счет. Корсаковское походило на русскую деревушку. Здесь велось успешное хлебопашество. Жителей Чехов назвал не ссыльными, не каторжными, не поселенцами, а мужиками и бабами. Он подметил приметы оседлой жизни, устойчивого быта и довольства: сытые собаки, большое стадо, палисадники у дома, цветы на окнах, огороды, бани, школа, часовня.

Истоки благополучия — обилие земли, большие участки, не сравнимые с крестьянскими наделами в России и других сахалинских селениях, около четырех десятин. И все-таки… все-таки… Даже земля не удерживала…

Многие уезжали на материк, когда приходило разрешение на поселение в Сибири. Они получали право жить в городе или деревне, но не могли вернуться на родину. Эта возможность появилась у крестьян из ссыльных только в 1888 году. До того они обрекались на вечное пребывание на каторжном острове, что множило самоубийства, побеги, преступления. И усиливало ненависть к проклятому месту.

Пожизненность наказания вообще казалась Чехову, как он писал, «несправедливой и в высшей степени жестокой», угнетающей общественную совесть. И на это он хотел обратить особое внимание. Но надеялся ли быть услышанным? Убедить, что «жизненность и процветание колонии зависят не от запрещений или приказов, а от наличности условий, которые гарантируют покойную и обеспеченную жизнь, если не самим ссыльным, то хотя их детям и внукам». А условий не было. И вообще — хотелось уехать. Чехов рассказывал: «В Дубках один крестьянин-картежник на вопрос, поедет ли он на материк, ответил мне, глядя надменно в потолок: „Постараюсь уехать“».

Постепенно становилось понятным, что гонят с Сахалина, как подчеркнул Чехов, «сознание необеспеченности, скука,

постоянный страх за детей… Главная же причина — это страстное желание хотя бы перед смертью подышать на свободе и пожить настоящею, не арестантскою жизнью».

Но каторга не отпускала никого окончательно. Если бывший каторжный вел себя на материке дурно, то его могли выслать на Сахалин и уже без права возврата.

Чехов, переполненный впечатлениями от переписи, от поездок по Северному Сахалину, вероятно, боялся придать своим выводам слишком личный характер. Он как-то сказал Суворину: «Термин „тенденциозность“ имеет в своем основании именно неуменье людей возвышаться над частностями». Свои наблюдения он порой предварял ссылками на научные труды, на объективные данные, облекая их потом в психологические умозаключения.

Например, метеорологические данные и рассказ о погоде в Александровском округе, непостоянной, дождливой, без солнца и тепла, Чехов завершил словами: «Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь».

После Дуэ он осматривал Тымовский округ. Всё та же бедность, избы с забитыми или невставленными окнами, скука, праздность. И всюду земля, мало пригодная для земледелия. Дороги плохие или их нет вообще. Жизнь подчинялась случайностям и бездумным действиям администрации, сводившей всё на нет. Даже там, где жизнь могла бы теплиться и быть сносной.

Как и в предыдущих случаях, Чехов передал свое настроение в описании природы и в рассказе о тайге. В ней прорубили просеку для будущей дороги — всюду груды поваленных деревьев, валежник, кочки, ямы с водой: «Проехать невозможно ни на колесах, ни верхом. Бывали случаи, что при попытках проехать верхом лошади ломали себе ноги». Может быть, эта ужасная дорога в том числе переменила решение Чехова добираться до Южного Сахалина по суше.

Чехов опять заходил в избы. Поселенцы готовы были развеять скуку, поговорить с приезжим человеком. Они производили впечатление лишних, ненужных, «не живущих и не мешающих другим жить». В одну из дождливых ночей в Дербинском, где Чехова поместили в новом пустом амбаре, построенном возле тюрьмы, он услышал странные звуки: «С вечера часов до двух ночи я читал или делал выписки из подворных описей и алфавита. <…> Было спокойно и в амбаре и у меня на душе, но едва я тушил свечу и ложился в постель, как слышались шорох,

шёпот, стуки, плесканье, глубокие вздохи… Капли, падавшие с потолка на решетки венских стульев, производили гулкий, звенящий звук, и после каждого такого звука кто-то шептал в отчаянии: „Ах, Боже мой, Боже мой!“»

Утром Чехов увидел на улице толпу каторжных. Оборванных, вымокших, продрогших. Они просились в больницу. Смотритель отгонял их. Чехову показалось, что его ночной кошмар не кончился: «Приходит на ум слово „парии“, означающее в обиходе состояние человека, ниже которого уже нельзя упасть. За всё время, пока я был на Сахалине, только в поселенческом бараке около рудника да здесь, в Дербинском, в это дождливое, грязное утро, были моменты, когда мне казалось, что я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти».

Чехов не раз упоминал свои сахалинские ночи. То кошмарные, как в Дербинском, то странные, как в Палеве, когда он смотрел на звездное небо, ощутил вдруг, как далеко он от дома, на другом конце света, «где не помнят дней недели, да и едва ли нужно помнить, так как здесь решительно всё равно — среда сегодня или четверг…». Он понимал настроение человека, вынужденного годами жить в невыразимой бедности, слышать постоянно звон цепей, плач и стоны из надзирательской, когда там наказывали розгами и плетьми. Не видеть месяцами солнца и не знать тепла и видеть вокруг тайгу или пустынное море: «Время <…> кажется длиннее и мучительнее во много раз, чем в России».

Всё это и многое другое побуждало каторжных к побегу. А главная причина, по словам Чехова, это — «стремление к свободе, присущее человеку и составляющее, при нормальных условиях, одно из его благороднейших свойств». Он рассказал о старом ссыльнокаторжном, который убегал таким образом: «<…> берет кусок хлеба, запирает свою избу и, отойдя от поста не больше как на полверсты, садится на гору и смотрит на тайгу, на море и на небо; посидев так дня три, он возвращается, берет провизию и опять идет на гору… Прежде его секли, теперь же над этими его побегами только смеются».

Тоску по свободе Чехов сравнил с запоем или падучей, с неотвратимым припадком, то есть с болезненным состоянием. Человека угнетало, убивало сознание, что он мертв для своих родных, своего дома. Поэтому побег, замысел побега, мечта о побеге обнаруживали в человеке, по словам Чехова, «не засыпающее в нем сознание жизни». Однажды он увидел баржу, набитую беглыми: «<…> одни были мрачны, другие хохотали; у одного из них совсем не было ног — отморозил. Их возвращали

из Николаевска. Глядя на эту кишащую народом баржу, я мог вообразить, сколько еще каторжных бродит по материку и по острову!» Люди бродили, замерзали, погибали. На население бродяги наводили ужас, потому что, спасаясь, шли на грабеж, убийство. Но мучительные наказания плетьми не снижали числа побегов.

В конце августа 1890 года Чехов вернулся в Александровск, чтобы морем добраться до Южного Сахалина. Словно довершая его впечатления первых двух месяцев сахалинской эпохи, на предотъездные дни (кроме обедов со знакомыми, встреч и разговоров с чиновниками) выпала еще одна горькая минута.

8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, Чехов и его спутник вышли после обедни из церкви. В храм спешила похоронная процессия. Четверо каторжных несли на носилках гроб. Следом шли женщина с двумя детьми и еще несколько человек. Видел Чехов и сами эти похороны на местном кладбище. Простой некрашеный дощатый гроб спустили в могилу с водой. Мальчик Алешка, сын покойной, трех-четырех лет, «стоит и глядит вниз в могилу. Он в кофте не по росту, с длинными рукавами, и в полинявших синих штанах; на коленях ярко-синие латки». Его спросили, где мать. «З-а-копа-ли! — сказал Алешка, засмеялся и махнул рукой на могилу».

Вокруг — маленькие «немые» кресты, всех этих, «убивавших, бряцавших кандалами, никому нет надобности помнить».

* * *

10 сентября на том же пароходе «Байкал» Чехов отплыл из Александровска: «Было очень темно. Я стоял один на корме и, глядя назад, прощался с этим мрачным мирком <…> показались огни Дуэ. Но скоро и это всё исчезло, и остались лишь потемки да жуткое чувство, точно после дурного, зловещего сна». Он уловил выражение глаз у тех, кто его провожал. Они и сами признавались, что завидуют ему: через месяц он уедет в Россию, а они останутся в этом «мирке», который показался Чехову «маленьким адом».

За всё время на Сахалине Чехов давал о себе знать на материк только редкими телеграммами. Сообщал, что здоров, что вернется осенью. О том, что происходило дома, в России, в Москве, он не знал. Водевили его шли без конца на любительской сцене и в дачных театрах. Пьесу «Леший» изредка, но ставили в провинции. Переводы рассказов Чехова всё чаще появлялись в европейских журналах. Очерки «Из Сибири», несмотря на летнее

затишье, вызвали толки среди литераторов.

24 июля 1890 года В. А. Тихонов записал в дневнике: «Какая могучая, чисто стихийная сила — Антон Чехов. Кигн как-то мне сказал про него: „Да, с ним хорошо, он подбадривает, за ним не страшно!“ Уж подлинно, что не страшно. Вот он теперь уехал на Сахалин и пишет с дороги свои корреспонденции, прочтешь и легче станет: не оскудели мы, есть у нас талант, сделавший честь всякой бы эпохе. <…> Публика его знает, но чтит еще мало, далеко не по заслугам. <…> А сколько завистников у него между литераторами завелось: Альбов, Шеллер, Голицын, да мало ли! <…> А некоторые из них, например мой брат, мне просто ненавистен за эту зависть и вечное хуление имени Чехова. <…> Но кто мне всех противнее в этом отношении, так это И. Л. Леонтьев (Щеглов): ведь в самой преданной дружбе перед Чеховым рассыпался, а теперь шипеть из-за угла начал. Бесстыдник! <…> Вот Ясинский не то, — он, может быть, и завидует, но не высказывает. Умнее он их или у него выдержки больше, — не знаю».

В типографии Суворина тем летом выпустили четвертым изданием сборники «Рассказы» и «В сумерки» (по 1000 экземпляров каждый). 11 сентября, на борту парохода, Чехов написал письмо Суворину, даже не гадая, когда это послание доберется до Петербурга. Написал осторожно, не исключая, что письмо могут вскрыть. Но, видимо, не мог оставаться наедине с увиденным. Рассказал о главном: «Ни Галкин, ни баронесса Выхухоль, ни другие гении, к которым я имел глупость обращаться за помощью, никакой помощи мне не оказали; пришлось действовать на собственный страх. <…> Я видел *всё*; стало быть, вопрос теперь не в том, *что* я видел, а *как* видел. <…> Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано <…> я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым <…> мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. <…> Когда вспоминаю, что меня отделяет от мира 10 тысяч верст, мною овладевает апатия. Кажется, что приеду домой через сто лет».

Слово «скучно» в приписке и признание — «дал себе слово больше на Сахалин не ездить» — выдавали физическую и душевную усталость. Она могла вызвать кровохарканье. Но Чехов словно удерживал болезнь каким-то внутренним усилием. Впереди был еще месяц напряженного труда. Правда, Чехов признался, что из-за усталости работал теперь менее усердно. Опять потянулись селение за селением, изба за избой, общие

камеры, лазареты. Прибыв в Корсаковск 12 сентября, Чехов в первые же дни осмотрел здешнюю тюрьму. Такие же, как на севере, сырые камеры, тяжелый воздух. Смотритель более всего гордился пожарным обозом. Показал новому человеку свое «чудо»: по сигналу тревоги каторжные, старые и молодые, впряглись в обоз и побежали по улице.

Южные селения показались Чехову иными, чем на севере. Нищета не бросалась в глаза. Люди выглядели менее истощенными и подавленными. В описаниях этих мест гораздо больше бытовых историй, фамилий, коротких зарисовок, похожих на сжатые сюжеты, мгновенных портретов, ситуаций, деталей. Например, о «сахалинской Гретхен», дочери поселенца Тане: «Она белокура, тонка, и черты у нее тонкие, мягкие, нежные. Ее уже просватали за надзирателя. Бывало, едешь через Мицульку, а она всё сидит у окна и думает. А о чем может думать молодая, красивая девушка, попавшая на Сахалин, и о чем она мечтает, — известно, должно быть, одному только Богу».

Или о старике Савельеве, стороже в надзирательской, каторжном, который, когда здесь ночевали чиновники, служил за лакея и повара: «Как-то, прислуживая за обедом мне и одному чиновнику, он подал что-то не так, как нужно, и чиновник крикнул на него строго: „Дурак!“ Я посмотрел тогда на этого безответного старика и, помнится, подумал, что русский интеллигент до сих пор только и сумел сделать из каторги, что самым пошлым образом свел ее к крепостному праву».

В селении Голый Мыс Чехов присутствовал при допросе Гараниной, подозреваемой в убийстве мужа. Ее, женщину свободного состояния, держали в темном карцере и давали горячую пищу через два дня на третий. Она пожаловалась, что ее, больную, не хотят показать доктору: «Когда чиновник спросил у надзирателя <…> почему до сих пор не позаботились насчет доктора, то он ответил буквально так:

— Я докладывал господину смотрителю, но они сказали: пусть издыхает!

Это неуменье <…> отличать свободных от каторжных удивило меня тем более, что здешний окружной начальник кончил курс по юридическому факультету, а смотритель тюрьмы служил когда-то в петербургской полиции». Видимо, Чехов обратил на это внимание начальника Корсаковского округа И. И. Белого, когда они вместе осматривали карцеры. Гаранину перевели в светлое помещение.

Чехову приходилось встречаться со многими сахалинскими чиновниками. Добряки и злыдни, глупые и себе на уме. Благородные и непорядочные, равнодушные и энергичные,

неопытные и доки. Участники IV тюремного конгресса выработали условия допущения к службе в местах заключения. Кандидаты на высшие должности должны были, по мнению юристов и чиновников, пройти курс истории и теории тюрьмоведения, изучить «все подробности тюремной службы под руководством начальников образцовых мест заключения». От кандидатов на низшие должности требовался опыт тюремной службы под руководством опять-таки «образцовых» начальников. Так дело выглядело на бумаге, в представлениях не «философов», а людей, о которых на конгрессе было сказано, что они досконально знают действительность. И в том «Обзоре», на который Галкин-Враской ожидал рецензии от Чехова. Скрытая «рецензия» была дана в книге «Остров Сахалин», явившей реальность каторги.

В тюрьмах и селениях Чехов перевидел множество надзирателей и смотрителей. И пресловутых «красноносых», о которых писал Суворину накануне поездки и на которых общественное мнение сваливало все злоупотребления каторги. И таких, кто на любой вопрос отвечал — «Не могу знать, ваше высокоблагородие!» — потому что знал лишь свои несложные обязанности. И людей, пристрастных к розге. И тех, кто тосковал на Сахалине по родине. Чехов слышал рассказы о тюремных смотрителях, убитых каторжанами за жестокость: «И теперь встречаются чиновники, которым ничего не стоит размахнуться и ударить кулаком по лицу ссыльного, даже привилегированного, или приказать человеку, который не снял второпях шапки: „Пойди к смотрителю и скажи, чтобы он дал тебе тридцать розог“».

В эти годы на Сахалине преобладали чиновники молодого и среднего возраста. Некоторые, как А. М. Бутаков, начальник Тымовского округа, показались Чехову дельными, заботливыми. О ком-то он отозвался с нескрываемой симпатией, например о Д. А. Булгаревиче, чиновнике из канцелярии начальника острова. Чехов поселился у него в Александровске и жил до отъезда в Корсаковск. Выпускник духовной семинарии, человек добрый, сердобольный, он много рассказывал о сахалинской жизни. В частности о школах, которыми он заведовал, но лишь официально, так как они находились в руках чиновников на местах. По общему мнению, школы влачили жалкое существование. Преподавали в них не учителя, а грамотные ссыльные за мизерное жалованье.

Может быть, от него Чехов слышал о нравах сахалинской канцелярии, которые назвал «капризами». Из-за бестолковости, неопытности, разгильдяйства писарей, различных младших

чиновников поселенец мог оставаться таковым и после десятилетнего срока, а не становился крестьянином из ссыльных. Старики жаловались, что так и не получили положенного звания. К тому же в одном округе это звание давали на одних условиях, а в другом на иных. Чехов иронизировал: «Если новый окружной начальник потребует от поселенцев железных крыш и уменья петь на клиросе, то доказать ему, что это произвол, будет трудно».

Слышанное и виденное постепенно обнажало механизм чиновничьей жизни на всех ее ступенях. Движущая сила — взятка, подкуп. Карты, пьянство, разврат, тайные ссудные кассы в тюрьмах — всё это процветало благодаря повсеместному подкупу. Деньги «отменяли» любые правила, указы, уставы, инструкции и скрывали любые проступки и преступления. Другая сила — это воровство. Крали всё и всюду, кто что мог и умел. Оно, как картежная игра, ростовщичество, бражничество и блуд, господствовало среди арестантов, смотрителей и чиновников. Данные из «Ведомости о приходе и расходе медикаментов…» Чехов подытожил невеселой усмешкой: «Всего, не считая извести, соляной кислоты, спирта, дезинфекционных и перевязочных средств <…> потрачено шестьдесят три с половиной пуда лекарств; сахалинское население, стало быть, может похвалиться, что в 1889 году оно приняло громадную дозу».

Еще один бич — бесконтрольность, отсутствие профессионалов и полное пренебрежение к человеку. Чехов упомянул тоннель, прорытый на дороге из Александровска в Дуэ: «Рыли его, не посоветовавшись с инженером, без затей, и в результате вышло темно, криво и грязно. Сооружение это стоило очень дорого, но оно оказалось ненужным <…> заведующие работами катались по рельсам в вагоне с надписью „Александрова — Пристань“, а каторжные в это время жили в грязных, сырых юртах, потому что для постройки казарм не хватало людей». Особенно зримо это общее свойство сахалинской жизни открылось Чехову-врачу в лазарете: «Кровати деревянные. На одной лежит каторжный из Дуэ, с перерезанным горлом <…> слышно, как сипит воздух. <…> Повязки на шее нет; рана предоставлена себе самой. <…> У хирургических больных повязки грязные, морской канат какой-то, подозрительный на вид, точно по нем ходили. Фельдшера и прислуга недисциплинированны, вопросов не понимают и производят впечатление досадное. Один только каторжный Созин, бывший на воле фельдшером <…> своим отношением к делу не позорит бога Эскулапа».

Чем болели и от чего чаще всего умирали на острове? От чахотки. Диагноз Чехова звучал так: «Суровый климат, всякие

лишения, претерпеваемые во время работ, побегов и заключения в карцерах, беспокойная жизнь в общих камерах, недостаток жиров в пище, тоска по родине — вот главные причины сахалинской чахотки». Далее он назвал сифилис, цингу, скрытое, невыявленное безумие, желудочно-кишечные заболевания, травмы. На весь остров имелись три врачебных пункта и бараки для больных.

В один из дней Чехов вел амбулаторный прием в Александровском лазарете. У двери стоял надзиратель с револьвером. Врача и больного разделял стол с деревянной решеткой, как в банкирской конторе: «Приводят мальчика с нарывом на шее. Надо разрезать. Я прошу скальпель. Фельдшер и два мужика срываются с места и убегают куда-то, немного погодя возвращаются и подают мне скальпель. Инструмент оказывается тупым <…> приносят еще один скальпель. Начинаю резать — и этот тоже оказывается тупым. <…> Ни таза, ни шариков ваты, ни зондов, ни порядочных ножниц, ни даже воды в достаточном количестве». Зато огромное число прислуги, «больничная толпа», снующая, изображающая работу, равнодушная к больным.

Не осуждая и не оправдывая установившиеся на Сахалине неписаные законы жизни, Чехов искал первопричины и объяснение: «В прежнее время на каторге служили по преимуществу люди нечистоплотные, небрезгливые, тяжелые, которым было всё равно, где бы ни служить, лишь бы есть, пить, спать да играть в карты; порядочные же люди шли сюда по нужде и потом бросали службу при первой возможности, или спивались, или же мало-помалу обстановка затягивала их в свою грязь, подобно спру[ту-осьминогу], и они тоже начинали красть, жестоко сечь…»

Скука и тоска обволакивали, как туман, и действовали на всех. Сахалинские солдаты скучно пели веселые песни. Всего их в 1890 году было на острове 1548 человек. Тяжесть их труда порой равнялась бремени каторжных и поселенцев. В массе своей, не нужные ни каторжному делу, ни воинской службе, они превращались не то в лакеев при чиновниках, не то в пособников и участников тюремного воровства, произвола, торговли спиртным, побоев. Их часто назначали тюремными надзирателями. В их квартирах Чехов видел малолетних сожительниц: «Войдешь в квартиру надзирателя; он, плотный, сытый, мясистый, в расстегнутой жилетке и в новых сапогах со скрипом, сидит за столом и „кушает“ чай; у окна сидит девочка лет 14 с поношенным лицом, бледная. Он называет себя обыкновенно унтер-офицером, старшим надзирателем, а про нее говорит, что она дочь каторжного, и что ей 16 лет, и что она его

сожительница».

Старшие по чину и чиновники презирали солдат, помыкали ими, а они отыгрывались на каторжных, на всех, кто слаб, беззащитен, бесправен. Все жили в общей атмосфере, проникавшей всюду, влиявшей, как погода, неотвратимо и пагубно. Защитой не служили ни стены хороших казенных квартир, ни отдаленность селения от центра округа. Даже прямо не участвуя в сахалинском «домострое», человек испытывал его воздействие на свои мысли, настроение. Он видел, он знал, он заражался общим воздухом.

Сахалинское «общество» в целом показалось Чехову разнообразным. Чиновники, осведомленные о встречах Чехова с Корфом и Кононовичем, встречали его радушно. Для многих это была возможность беседы с известным литератором, человеком с материка, из другого мира. В их рассказах о себе, о каторге Чехов уловил общее раздражение. Оно проявлялось иначе, чем у «несчастных», но тоже разрушало. Чехов заметил, что они и их домашние расположены к чахотке, нервным расстройствам, психическим заболеваниям.

Чехов запомнил свое настроение на берегу Охотского моря в те сентябрьские дни 1890 года: «Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: „Боже, зачем ты нас создал?“ <…> Налево видны в тумане сахалинские мысы, направо тоже мысы… а кругом ни одной живой души, ни птицы, ни мухи, и кажется непонятным, для кого здесь ревут волны, кто их слушает здесь по ночам, что им нужно и, наконец, для кого они будут реветь, когда я уйду. Тут на берегу овладевают не мысли, а именно думы; жутко и в то же время хочется без конца стоять, смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев».

Шли последние дни сахалинской «эпохи» Чехова. Все ответы на главные вопросы он получил. История Сахалина — его изучения, освоения моряками, врачами, агрономами, путешественниками была особой историей. Ее, по мнению Чехова, делали не великие полководцы и не знаменитые дипломаты, а люди маленькие. О судьбах отдельных — за их труд и подвижничество — он готов был сказать: «это житие святых».

Чехов рассказал о миссионерах и священниках, о легендарной личности, отце Симеоне Казанском. Поп Семен, как его называло население, остался в памяти ссыльных и солдат человеком, который судил о каторжных так: «Для Создателя мира мы все равны». По полному бездорожью в любую погоду он передвигался по сахалинской «пустыне» на собаках и оленях, пешком через тайгу, летом по морю на парусной лодке: «<…>

он замерзал, заносило его снегом, захватывали по дороге болезни, донимали комары и медведи <…> но всё это переносил он с необыкновенной легкостью, пустыню называл любезной и не жаловался, что ему тяжело живется». Чехов слышал рассказы о самоотверженных людях, вроде фельдшерицы, служившей на Сахалине с надеждой и верой — помочь несчастным людям. Не вина подвижников, людей долга, призвания, что Сахалин не превратился в процветающий край, а стал «местом временного водворения».

Вольная и принудительная колонизация Сахалина не дала ожидаемых результатов — люди при любой возможности покидали остров. Вместе с детьми, участь которых на Сахалине произвела на Чехова гнетущее впечатление и стала в его повествовании одной из самых безотрадных нот. Рождение младенца в семье ссыльного встречалось, по словам Чехова, «неприветливо»: «над колыбелью ребенка не поют песен и слышатся одни только зловещие причитывания. Отцы и матери говорят, что детей нечем кормить, что они на Сахалине ничему хорошему не научатся, и „самое лучшее, если бы Господь милосердный прибрал их поскорее“. Если ребенок плачет или шалит, то ему кричат со злобой: „Замолчи, чтоб ты издох!“».

И все-таки, по наблюдениям Чехова, «дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения». Дети, несмотря на свою непорочность, «больше всего на свете любят порочную мать и разбойника отца». Но общий воздух острова отравлял всех: «Дети провожают равнодушными глазами партию арестантов, закованных в кандалы; когда кандальные везут тачку с песком, то дети цепляются сзади и хохочут. Играют они в солдаты и в арестанты. <…> Сахалинские дети бледны, худы, вялы; они одеты в рубища и всегда хотят есть». Едва девочке исполнялось 13–14 лет, она становилась проституткой или сожительницей: «или их продают отец и мать — с голода, рассуждая, что чистота нужна только богатым, или же девочек развращают на стороне мужчины, имеющие чины».

Положение сахалинских детей Чехов назвал «необычайным», то есть исключительным, какого более нигде нет: «Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки с 12 лет, иногда до наступления менструаций. Церковь и школа существуют только на бумаге, воспитывают же детей среда и каторжная обстановка».

В начале октября 1890 года Чехов завершал свои дела. Собирал бумаги, укладывался. Кажется, не верил, что кончился

его каторжный труд.

13 октября он поднялся на борт парохода Добровольного флота «Петербург». Ночью «Петербург» вышел в Японское море.

Глава одиннадцатая. ИТАЛЬЯНСКОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Утром 16 октября «Петербург» пришел во Владивосток. Здесь Чехов задержался на три дня. Навсегда запомнил невиданное зрелище: в бухте плавал кит, плескал хвостом, невольно развлекая горожан.

Прежде всего Чехов послал телеграммы братьям Ивану и Михаилу, что направляется в Сингапур, а в Москве будет в начале декабря. Наконец-то дома узнали, где он. 19 октября началось полуторамесячное плавание. Чехов возвращался в Москву через Гонконг, Сингапур, Коломбо (остров Цейлон), Порт-Саид, Одессу. Курс крейсера — Японское море, Восточное море, Южно-Китайское море, Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное море, Эгейское море, Черное море. Проливы, заливы, острова, бухты, рейды, пристани, гавани, маяки — всё сменяло друг друга. Было новым, необычным. Порой прекрасным, иногда страшным. Так, однажды, купаясь в океане, Чехов заметил плывущую к нему акулу. В пути бывали шквалы, сильная качка, штормовая полоса, грозы, зыбь, сильный ветер, непроницаемые туманы. На пути в Сингапур, когда судно «валяло» и оно могло опрокинуться, капитан посоветовал своему пассажиру спуститься в каюту, достать револьвер, чтобы в случае катастрофы покончить с собой.

В эти же дни за борт бросили двух покойников. Чехов описал похороны в письме Суворину сразу по возвращении: «Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, кувыркаясь, в воду, и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море». То был не первый случай смерти в этом рейсе. В самом начале пути бросили в море тело умершего солдата, из числа четырехсот нижних чинов, возвращавшихся на «Петербурге» в Россию.

Суворин, получив от Чехова в декабре 1890 года рукопись рассказа «Гусев», мог заметить, что зарисовка из письма развернулась в эпизод, поразивший многих читателей какой-то невиданной выразительностью. Чехов закончил рассказ не картиной того, как акула играла мертвым телом, но описанием неба и океана: «Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно».

Отправляя рукопись в Петербург, Чехов иронически уточнил:

«Так как рассказ зачат был на острове Цейлоне, то, буде пожелаете, можете для шика написать внизу: Коломбо, 12 ноября». До Коломбо было много пестрых впечатлений, когда заходили в порты. Но обо всем Чехов отзывался словно сквозь призму Сахалина. Например, в Гонконге ему понравились удобные дороги, музеи, сады. Он отметил заботу англичан о своих служащих. Его спутники, русские, возмущались англичанами, ругали их за эксплуатацию инородцев. Рассказывая об этом в письме Суворину, уже из Москвы, Чехов задавал вопрос: «Я думал: да, англичанин эксплоатирует китайцев, сипаев, индусов, но зато дает им дороги, водопроводы, музеи, христианство. Вы тоже эксплоатируете, но что вы даете?» Ответ уже содержался во впечатлениях и записях о судьбе гиляков и айно на Сахалине.

Об этом, может быть, Чехов слышал от иеромонаха Ираклия. Миссионер, священник, он лучше многих знал участь инородцев на каторжном острове. Познакомились Чехов и иеромонах на Сахалине. Полагают, что именно он заполнил опросные листы на тех, с кем Чехову было запрещено встречаться, то есть с «политическими». Круглолицый, плотный бурят, с умным пристальным взглядом, выделялся среди пассажиров. Он, а также мичман Г. Н. Глинка, молодой, не испорченный службой офицер, и судовой врач А. В. Щербак составляли вместе с Чеховым маленькую группу. Этих людей, совершенно не схожих по происхождению, житейскому опыту и занятиям, что-то объединяло.

На Цейлоне, в Коломбо, спутники увидели уличное представление: сражение мангуста со змеей. Чехов приобрел у торговца самца и самочку. Шутил про зверюшек, что это «помесь крысы с крокодилом, тигром и обезьяной», «маленькие черти», отважные, любопытные, тоскующие по человеку до слез, если оставались одни. Странная, хлопотная, неожиданная забава. Может быть, дань настроению Чехова? Постоянные перепады погоды, контрасты впечатлений. Пароход, заполненный солдатами, скот на верхней палубе, однообразие переходов. А потом приморские города: рикши, слоны, китайские магазинчики, яванские лошади, пальмовые леса, заклинатели змей.

27 ноября в Суэцком канале «Петербург» встретился с военной эскадрой, сопровождавшей наследника престола, цесаревича Николая. Он направлялся в Японию, а обратный путь предполагался по Сибири.

В Средиземном море, в самом конце пути, на «Петербург» обрушился шквал с ливнем. Резко похолодало. Именно в эти дни Чехов заболел. Но не только ветер и холод могли стать тому

причиной. Сахалинское напряжение спадало, однако пароходный быт, качка, постоянные разговоры не давали так необходимого физического и душевного покоя.

На подходе к Одессе пошел снег. Город и море заволокло туманом. В ночь на 2 декабря распогодилось, и пароход вошел в гавань, стал на якорь. Но три карантинных дня задержали пассажиров на «Петербурге». Только 5 декабря 1890 года Чехов сошел на берег. Здесь сразу, как и во Владивостоке, он отправил письма каторжан-народовольцев, данные ему по секрету Булгаревичем. Отметив в полицейском управлении свой заграничный паспорт, Чехов в тот же день уехал в Москву. С ним по-прежнему — о. Ираклий и мичман Глинка.

Чехов еще не добрался до дома, а особенно «любившая» его газета «Новости дня» уже иронически вопрошала: «Интересно знать, что он привезет с собой: цибик ли чаю для знакомых, или седых бобров на шубы, или же роман из жизни каторжных? Мы ничего не имеем против шубы для родственников, но, в интересах русской литературы, желаем романа». Газета не унялась на этом и продолжала «шутить». 9 декабря она объявила, что вскоре в Охотничьем клубе состоится бал с «Чеховым», что «Чехов в костюме алеута расскажет сначала о своем путешествии, а потом будет укрощать гремучую змею, которую он будто бы вывез из Индии».

В Туле Чехов встретился с матерью и младшим братом. Евгения Яковлевна гостила у сына, и по телеграмме они выехали из Алексина. В Москве, как рассказывал Михаил в письме Ивану, в это время учительствовавшему в Дубасове, во Владимирской губернии, под Судогдой, «наняли трое парных саней, нагрузили 21 место багажа, уселись и поехали на Малую Дмитровку. По приезде начался ужин, потом чай, потом рассказы». И, конечно, раздача подарков. Никаких мехов, даже песца и соболя, о чем просила Евгения Яковлевна, Чехов не привез. Павел Егорович остался доволен чесучовым пиджаком. Но многие другие презенты едва ли одобрил: медный колокольчик с надписью «Остров Сахалин. Пост Александровск. 1889» (подарок Чехову ссыльнокаторжного); фарфоровый чайник-термос; божок из бронзы; безделушки из черного дерева и белой кости; морские раковины; японские платки и т. д. Всё это, по мнению отца семейства, — пустяки, совсем не нужные в хозяйстве, перевод денег. А мангусты — просто блажь. Павел Егорович не предполагал, какая война вскоре развернется у него со злопамятными юркими «чертями».

Той осенью семья перебралась из Кудрина в центр Москвы, как шутил Чехов, «на аристократическую улицу». У него оказался

маленький кабинетик. Из-за кашля, насморка путешественник сидел дома и строчил письма. Первое послание — Суворину. Чехов подводил итоги: «Работа у меня была напряженная; я сделал полную и подробную перепись всего сахалинского населения и видел всё, кроме смертной казни. <…> Знаю я теперь очень многое, чувство же привез я с собою нехорошее. Пока я жил на Сахалине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, как от прогорклого масла, теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом».

Свой душевный градус он определил коротко: «Душа у меня кипит». Он чертыхался, впервые прошелся по двум самым приближенным к «хозяину» лицам — Буренину и Дьякову, пошутив, что их «пора сослать на Сахалин». С самим Суворинym он хотел поговорить «страстно». «Нехорошее» чувство клокотало и еще раз прорвалось в конце письма: «Хорош Божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно мы понимаем патриотизм! <…> Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше „чести мундира“, мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо, а всё остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а остальное всё приложится».

Вряд ли Чехов успел прочитать номера «Нового времени» за лето и осень 1890 года. Во Владивостоке он смотрел газету «Владивосток» за прошлые годы в поисках материала для книги о Сахалине. В Одессе зашел в суворинский магазин лишь за своей почтой. Дома он едва ли бросился сразу, в первый день, проглядывать «Новое время», хотя бы «Маленькие письма» Суворина, его излюбленный газетный жанр. Между тем фраза из письма — «мы, говорят в газетах» — вольно или невольно попадала в Суворина. 30 октября он писал в связи с оперой Бородина «Князь Игорь», что в ней «не кричащий, не фразистый, не победоносный, а тот естественный, необходимый и благородный патриотизм, которым делалась Русь», а апофеоз оперы — «современная Русь, вышедшая из стольких испытаний победоносною и сильною». В конце ноября, рассуждая в очередном «письме» о преподавании языков в гимназиях, Суворин закончил выводом: «Национальный дух, национальные крепость и сила, нравственные и физические — вот что важно прежде всего. Всё, что это укрепляет, то всё и необходимо».

Прочел Чехов эти «письма» или нет, но подобные поводы для

разглагольствований о патриотизме воспринимались им иначе, чем до поездки. Назвал же он в эти дни Лейкина «литературной белужиной» за ровный покойный тон, с которым тот писал Чехову «про индеек, про литературу и капусту». Тон первых послесахалинских писем самого Чехова отличали ирония, экспрессия, мрачный юмор. Он написал Щеглову, что доволен поездкой и больше будто бы ничего не хочет и не обиделся, если бы трахнул его «паралич или унесла на тот свет дизентерия»: «Могу сказать: пожил! Будет с меня. Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т. е. на острове Цейлоне. Какие бабочки, букашки, какие мушки, таракашки!»

Не раз цитируя в эти дни с усмешкой строки басни Крылова «Любопытный» («мушки, таракашки»), он словно предупреждал окружающих: не ждите рассказов о сахалинских «чудесах». Сахалин — не кунсткамера, Сахалин — это ад. Он видел там всё. И это «всё», вероятно, уточнило все его чувства и представления.

Обыкновенно о собственной смерти Чехов говорил в минуты крайнего утомления или внутреннего раздражения. Зря он ее не поминал. Значит, было нечто в декабре 1890 года, что его беспокоило. Может быть, болезненное состояние? К сильнейшей простуде добавились боли в сердце: «Голова побаливает, лень во всем теле, скорая утомляемость, равнодушие, а главное — перебои сердца. Каждую минуту сердце останавливается на несколько секунд и не стучит». Конечно, он нуждался в отдыхе. Хотя бы месяц-другой, и не в Москве. Чехов обронил в разговоре, что хотел бы купить кусок земли и построить дачу. Московские годы его жизни завершались.

Только ли теснота городских квартир, многолюдье и болезни вынуждали Чехова расстаться с Москвой? Или еще нечто, может быть, связанное с тем самым «нехорошим» чувством, которое он привез с Сахалина?

В конце декабря Чехов и Толстой, не ведая о том, заглазно вступили в спор о современной литературе. Толстой в беседе с литератором А. В. Жиркевичем говорил, что многие авторы усовершенствовали форму, выработали слог, но в их сочинениях нет идей, нет новых сюжетов. Как пример, он указал на Чехова, Ясинского и др.

В эти же дни Чехов писал Суворину: «Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин! <…> какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки „Крейцерова соната“ была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел — чёрт меня знает». Толстому казалось, что в современной литературе лишь меняется форма. Чехову

представлялось, что серьезность содержания не оправдывает и не возмещает исчерпанность формы.

В декабрьских письмах Чехов смотрел на всё и на всех будто со стороны. Словно другими глазами. С иной меркой человеческого ума, людской глупости, заблуждений, претензий.

Узнав, что Плещеев вот-вот получит огромное наследство, Чехов усмехнулся: «Посмотрим, как он потащит на буксире свои миллионы! На какой дьявол они ему? Чтобы курить сигары, съедать по 50 сладких пирожков в день и пить зельтерскую воду, достаточно и трех рублей суточных». Чехов, вероятно, предчувствовал, что это событие невольно и постепенно разлучит его с милым, добрым Алексеем Николаевичем.

Заметив, как младший брат рисовался в новеньком мундире чиновника Департамента окладных сборов, Чехов подтрунивал над самодовольством Михаила и умилением родителей. По должности податного инспектора тот наблюдал за правильностью торговли, за поступлением налогов в доход казны и т. д. Павел Егорович в связи с этим важно вспоминал о своей выборной должности ратмана в Таганроге и, поднимая вверх палец, рассуждал о законопослушании, о чиновничьей карьере любимого сына, о грядущих наградах. Чехов сразу предсказал, что чиновника из Михаила не выйдет. Для успешной службы он нетерпелив, малодушен, мягок, уповал на скорое продвижение только с помощью протекции брата, через всесильного Суворина. Разъезды по уезду, взыскивание налогов и неустойки быстро ему прискучили. Зрелище нищих изб и убогих квартир, пропившихся или разорившихся людей, встречи с наглыми владельцами питейных заведений и мелких фабрик, которые решали казусные вопросы взятками, — всё это огорчало прекраснодушного чиновника, мешало воображать себя деятельным, добродетельным службистом, добывающим доход казне, себе чины и ордена, отечеству пользу.

Иван Чехов в связи с закрытием московского училища оказался весной 1890 года за штатом. Поэтому принял предложение занять место заведующего в новом двухклассном училище при стеклянном заводе в Дубасове, под Судогдой. Его питомцами оказались в основном дети, трудившиеся на заводе. Учитель рассказывал родным: «Девочки на заводе занимаются тем, что принимают от мастеров только что сделанные бутылки и несут их в особенную печь на целые сутки. Когда мастер кладет готовую бутылку на деревянный поднос, то поднос загорается». Учитель и его помощница навели к началу занятий порядок, наладили обучение. И оба тосковали по родным, по Москве. Но у Ивана Павловича не на что было добраться даже до Владимира.

Он рассказывал младшему брату: «Раздражают нас только вой ветра и тиканье часов. Представь себе, что мне теперь кажется, что Владимира города нет, может быть, или есть, но там где-то, очень далеко, где Африка».

Павел Егорович привычно корил Ивана за то, что сын якобы не хочет знать семью, особенно когда «кормилец» далеко, и почти приказывал: «Привози денег побольше. Москва любит деньги». Иван оставался нелюбимым. Ему отец к месту и не к месту ставил в пример младшего: «Честь ему воздают Предводители и Исправники». Иван никак не мог вернуть родителям, точнее сестре, долг, образовавшийся минувшим летом, когда он бедствовал, а брата Антона не было рядом. Он обещал, копил, откладывал, экономил. Писал отцу: «Из моего жалованья у меня ничего не остается. Во всяком случае, я привезу долг Вам и мамаше. Спасибо, что продали пальто. Мне легче, все-таки хоть капельку уменьшатся долги».

Едва пришла весть, что брат вернулся с Сахалина, учитель уехал в Москву, как раз на Рождество — и свалился в тяжелой болезни. Сказались, наверно, усталость, плохое питание, тоска. Его рассказы о школьных буднях; об одной коробке перьев вместо необходимых двенадцати; о книгах, разлетавшихся от ветхости и переплетаемых им зимними вечерами, вряд ли удивляли Чехова после того, что он видел на Сахалине. Уповать на благотворительность, на попечителей народных школ? Чехову рассказывали на острове, что ежегодно для сахалинских детей присылали из России «полушубки, фартучки, валенки, чепчики, гармоники, душеспасительные книжки, перья». Местные дамы распределяли подарки, но отцы либо пропивали, либо проигрывали вещи.

С сочувствием относясь к помощи «великодушных людей», Чехов уже не заблуждался: исправить положение дел и участь сахалинских детей филантропия не в состоянии, да и не ставила такой цели. В Москве он встретился с матерью своего спутника, мичмана Глинки, баронессой Икскуль. Весной, в Петербурге, она, как и Галкин-Враской, обещала что-то сделать, чтобы сахалинская администрация не чинила Чехову препятствий. Оба не сделали ничего. Теперь, зимой, баронесса «Выхухоль», как в шутку называл ее Чехов, пожелала переговорить с путешественником о благих делах. Он описал Суворину этот визит с иронией: «Баронесса <…> издает для народа книжки. Каждая книжка украшена девизом „Правда“; цена правде 3–5 коп. за экземпляр. <…> Она спрашивала у меня, что ей издавать. <…> Когда она стала жаловаться, что ей трудно доставать книги, то я пообещал ей протекцию у Вас. <…> Баронесса дама честная и книг не

зажилит. Возвратит и при этом еще наградит Вас обворожительной улыбкой».

И этот визит, и многое в Москве казалось Чехову ненужным. Рождество вышло грустное. Болезнь держала его дома. Ни в Петербург, ни в Бабкино, куда звали Киселевы, он не поехал. Оглядываясь на минувший праздник, подытожил, что прошел он «безобразно»: «Во-первых, были перебои; во-вторых, брат Иван приехал погостить и, бедняга, заболел тифом; в-третьих, после сахалинских трудов и тропиков моя московская жизнь кажется мне до такой степени мещанскою и скучною, что я готов кусаться; в-четвертых, работа ради куска хлеба мешает мне заниматься Сахалином; в-пятых, надоедают знакомые. И т. д.».

Александр писал из Петербурга в очевидном подпитии, что по литературным кругам гуляет сплетня, будто Чехов женится на дочери Плещеева, чтобы получить огромное приданое. В 1889 году столичные злоязычники уже «женили» Чехова на богатой вдове Сибиряковой. Так что петербургская жизнь, переберись он на берега Невы, могла оказаться тоже мещанской и скучной. Город отнимал время и силы.

«Ради куска хлеба» Чехов уже в декабре начал повесть. Сахалинский труд отодвинулся. Уже не первый год завершался для Чехова тяжелым недомоганием. К болезням прошлых лет (кровохарканье, катар кишок, варикоз) прибавлялись новые хвори (постоянная головная боль, перебои сердца). Современники, видевшие его в первые недели и месяцы после сахалинской отлучки, замечали перемену. Он похудел, складка губ, едва скрытая усами и бородкой, стала жестче. Черты лица утратили мягкость, а взгляд начал уходить в себя. Исчезало нечто, позволявшее Короленко еще не так давно сравнить Чехова с простодушным деревенским парнем, «несмотря на его несомненную интеллигентность».

* * *

Многим, как они признавались, хотелось разгадать, что скрывается за внешней сдержанностью, о чем постоянно думал этот немногословный человек. Мужчинам он казался не то скрытным, не то гордым. Женщины приписывали ему пленительность, чуть ли не загадочность и сердились, что он словно ускользает, непроницаем. И трудно понять, когда он шутит, когда говорит всерьез.

Елена Шаврова, его юная ялтинская «протеже», теперь семнадцатилетняя барышня, встретила Чехова 6 января 1891 года

в залах Дворянского собрания, где благотворительное общество попечения о бедных и бесприютных московских детях устроило костюмированный бал. Она вспоминала: «Он похудел, больше горбился и вокруг его глаз появились тонкие, едва заметные морщинки». Он похвалил ее за костюм египетской статуэтки — стройная, густо загримированная, вся в звенящих браслетах, она выделялась в толпе. За ужином Чехов рассказывал ей о поездке.

Рассказывать приходилось часто. Если в Москве его донимали расспросами о Сахалине, то в Петербурге, куда он приехал 8 января, требовали отчетов подробных и обстоятельных.

Чехов остановился в доме Сувориных, на Малой Итальянской. Его зазывали в гости, устраивали обеды. Из намерения — поработать в столице — ничего не получалось. Такое времяпрепровождение из визитов, приветствий, тостов, речей он называл «балетом». Иронизировал над собой, что утомлен, «как балерина после пяти действий и восьми картин». И грозил, что если вынужденное безделье и скучные беседы продолжатся, то уедет к брату Ивану в «Судорогу».

Что-то выводило его из душевного равновесия, о чем он рассказал сестре: «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Чёрт их знает. <…> Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников; Маслов (Бежецкий) не ходит к Суворину обедать; Щеглов рассказывает все ходящие про меня сплетни и т. д. Всё это ужасно глупо и скучно. Не люди, а какая-то плесень. <…> Вчера приходил Григорович; долго целовал меня, врал и всё просил рассказать ему про японок».

«Злое чувство»? Не преувеличивал ли Чехов? Не впал ли невольно в несправедливость, которой опасался в себе и в других? И шутки у него мрачные: «Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей». Видимо, Чехову было совсем не по себе, если он поделился таким настроением с сестрой — обыкновенно он ограничивался в их переписке житейскими заботами и хозяйственными делами.

Чехов назвал три имени. «Злое чувство» Буренина прорывалось давно. Но в упомянутом фельетоне нововременский зоил применил к Чехову свой излюбленный прием. Мало того что он причислил его к «средним» талантам. Прибегнув к пересказу чужого мнения, Буренин намекал, что Чехов поехал на Сахалин едва ли не затем, чтобы удержаться в литературе. Отклик в петербургских кругах на сахалинскую поездку Чехова мог уязвить

Буренина очень сильно. Он будто слетел с тормозов и отныне упрямо держал Чехова в посредственностях и открыто подтравливал. Может быть, у этого злого чувства были и другие истоки.

Но Бежецкий? С самого начала знакомства Чехов похвально отзывался о нем и его книгах («талантливый парень»; «он интересен, завлекателен и, выражаясь по-женски, мил»). В 1888 году хлопотал о постановке его пьесы у Корша, но дело не выгорело. Вообразил ли Бежецкий, что Чехов не приложил тогда всех усилий? Не истолковал ли превратно приятельский тон литературных советов Чехова? Настроил ли его Буренин? Как бы то ни было, Бежецкий демонстрировал свое нерасположение как-то мелочно. Он, что называется, дулся, уклонялся от встреч. Еще недавно Чехов слушал на пароходе рассказы доктора Щербака о Бежецком (оба участвовали в Русско-турецкой войне и Ахалтекинской экспедиции генерала Скобелева). Это усилило симпатию Чехова. И вдруг…

Может быть, как раз в этом славном прошлом истоки обиды Бежецкого? Ему, офицеру, награжденному за храбрость и мужество золотым оружием, претила шумиха вокруг Чехова. Но тот сам недоумевал и иронизировал: «Поездке моей на Сахалин придали значение, какого я не мог ожидать: у меня бывают светские и действительные статские советники. Все ждут моей книги и пророчат ей серьезный успех, а писать некогда!»

Книги о Сахалине еще нет, а уже такой шум, авансы, чаяния. Но Чехов тут был ни при чем. Он избегал публичных приветствий. Отказался выступить на заседании Русского литературного общества, о чем его настойчиво просили. Отвечал председателю общества: «У меня было сильное желание прочесть что-нибудь об интересном Сахалине, но пришлось поневоле ограничиться одним только желанием, так как я теперь занят спешной работой: тороплюсь написать небольшую повесть. У меня есть отрывки из сахалинского дневника, короткие заметки и проч., но всё это до такой степени отрывочно и не отделано, что утруждать внимание гг. членов Общества было бы с моей стороны ничем не оправдываемою смелостью». Этого и других отказов не знали и не хотели знать столичные «друзья и почитатели». Они участвовали в обедах, а наутро осуждали Чехова якобы за рекламу. Называли тщеславным и всячески пытались придать сахалинской поездке чуть ли не характер туристического вояжа. Все эти глупости, сплетни, досужие вымыслы Щеглов осуждал. Но при этом таскал из дома в дом, передавал Чехову и заносил в дневник.

И все-таки Иван Леонтьевич не опустился до злобы, как Ежов. Пока еще тайной, но нараставшей вражды. Чем чаще он прибегал

к помощи Чехова, тем сильнее становилось это чувство. Может быть, был прав Лейкин, когда-то остерегая Чехова: мол, не «разжигайте» в Ежове страсть к сочинительству. При очень скромных способностях опасно делать писательство профессией.

17 января, день рождения Чехова, отмечали в ресторане «Малый Ярославец» в мужской компании — А. Н. Плещеев, А. А. Плещеев, М. И. Чайковский, Свободин, Баранцевич, Щеглов. Под кулебяку велись мужские разговоры, например о цейлонских «бронзовых» женщинах. Чехову выговаривали за то, что он не сразу объявился у всех приятелей. За то, что вроде бы их сторонится, хотя они понимают: у него на столе новая повесть; у него сахалинские поручения и заботы; а к тому же петербургские поклонницы. Особенно восхищались Дарьей Михайловной Мусиной-Пушкиной. Накануне она очаровала цыганскими романсами гостей на именинах Павла Матвеевича Свободина. «Дришка», «шустрая шельма», так Чехов звал свою давнюю московскую приятельницу, коршевскую актрису, жила на Итальянской. Писала «соседу» записки на бумаге с рисунками (дети, амуры, портреты знаменитых людей). Звала его «Тараканушка» и подписывалась «Цикада». Ходила с ним в гости, зазывала к себе.

Дни бежали. Из намерения — первые полторы недели работать, а потом «жуировать» — ничего не получалось. Время уходило на чтение чужих рукописей, на петербургскую суету. Наконец он даже пожаловался Ивану: «Когда я буду отдыхать? Утомление такое, что просто беда. Мне бы теперь не писать и не ездить и не об умном говорить, а месяца бы четыре сидеть на одном месте и удить рыбу. <…> В марте приеду к тебе встречать весну».

* * *

Наверно, он охотно поговорил бы с теми столичными знакомыми, к кому был душевно расположен. Но они не знали, что Чехов в Петербурге, а сам он без приглашения ни за что не пошел бы. В этом Чехов проявлял всегда какое-то *неодолимое упрямство.* Не однажды говорил, что не ходит туда, куда его не звали. Гордыня ли то была или особая учтивость. Но многие встречи не состоялись по этой причине. Так, Репин, узнав с опозданием о том, что Чехов приезжал в Петербург, очень жалел, что не увиделся с ним.

Тем не менее среди всех «побегушек» произошли и важные свидания. Чехов познакомился с известным юристом и

общественным деятелем А. Ф. Кони. Умный, проницательный, интересный собеседник слушал со вниманием и пониманием, обещал содействие в организации благотворительной помощи сахалинским детям. Хотя сам Чехов ни в разговоре, ни в письме к Кони перед отъездом в Москву не скрыл своего мнения о филантропии: «Но мне кажется, что благотворительностью и остатками от тюремных и иных сумм тут ничего не поделаешь; по-моему, ставить важное в зависимость от благотворительности, которая в России носит случайный характер, и от остатков, которых никогда не бывает, — вредно. Я предпочел бы государственное казначейство».

В эти же дни Чехов продолжал сбор книг для сахалинских школ. Он покупал их, собирал у авторов и издателей. По его просьбе это делали и в Москве. Суворин пожертвовал 197 книг разного содержания, издания русских и иностранных писателей. Много книг Чехов исхлопотал у Петербургского и Московского комитетов грамотности. Он надеялся отправить этот груз бесплатно и обращался в комитет Добровольного флота. В результате со временем на Сахалин были посланы тысячи книг. В разговорах с петербуржцами Чехов упоминал еще одну свою заботу — приют для арестантов.

Как он говорил знакомым, его «сахалинское прошлое» было кратким, а впечатления, мысли, чувства, вызванные каторжным островом, — громадными. Шутил, что рассказать обо всем — всё равно, что сосчитать листья на дереве. Передать же «нехорошее чувство» он намеревался в будущей книге. И не только. Оно осталось, видимо, навсегда. Нежелание Чехова живописать в разговорах ужасы сахалинской жизни некоторые современники объясняли просто: он хотел забыть увиденное. Потому, мол, и в его рассказах и повестях Сахалин почти не отразился. Потапенко впоследствии написал в воспоминаниях: «Всё, что он получил там, он как будто сдал в свою книгу и забыл». Сам Чехов однажды, уже позже, удивился вопросу собеседников, почему так немного у него «сахалинских» сюжетов. И ответил, если правильно запомнили его слова: «А ведь, кажется, всё просахалинено». Чувство, пережитое на Сахалине, не забывалось. И, вероятно, стало одним из тех чувств, которые Чехов таил в себе и не поминал всуе.

29 января он, наконец, вырвался из Петербурга. Уезжал с намерением кончить повесть, получить гонорар и на эти деньги отправиться за границу. Хотя Суворин, уговоривший на эту поездку, предлагал аванс. Однако повесть разрасталась. К марту Чехов не успевал ее дописать. Средств, что остались в наличии, на путешествие недоставало. 23 февраля он попросил у Суворина

тысячу рублей, надеясь погасить этот долг публикацией новой повести в «Новом времени». Но еще одна тысяча требовалась на дачу, на летнее пропитание семьи. А две тысячи — уже серьезный долг. И все-таки Чехов не отказался от поездки. Видимо, он опять, как и в предыдущие годы, надеялся таким образом переломить свое настроение.

Пожелав домашним быть здоровыми и Богом хранимыми, не забывать его в своих молитвах, Чехов выехал 17 марта из Петербурга в Европу. Его спутники — Суворин с сыновьями Алексеем и Михаилом. Сообщая об этом Ивану в Судогду, Павел Егорович, наверно, с особым удовольствием выводил своим каллиграфическим почерком оставленный адрес: Italie, Rome… Впервые один из его детей ехал за границу. И не с кем-нибудь, а с Сувориным и его чадами, почти семейно. Сын крепостного, купец, тайно бежавший из Таганрога, чтобы избежать долговой ямы, мещанин, из милости взятый благодетелем Гавриловым счетоводом в «амбар», ныне возвел себя в новый чин. Он — отец известного литератора. Ему негоже служить, тем паче в его-то лета. Велеречиво и торжественно он изложил родным «отходную» своему московскому прошлому: «Сообщаю Вам, что я от Гаврилова отошел с честию… <…> Он со мною не мог так обходиться грубо, как его натура требовала обращаться с другими ему подчиненными. <…> За хлеб-соль я ему благодарен, но жаль, что я остался ни при чем. Так частная служба бывает непризнательна за выслугу долголетнюю».

Это означало, что Павел Егорович не получил ни больших наградных по случаю ухода, ни пенсиона, что задело бывшего служащего, но не опечалило. Он не сомневался, что заслужил право на покой и обеспеченную старость. О чем возвышенно-смиренно, в излюбленном благомысленном стиле поведал сыну Ивану: «Я всё до сих пор жил для семьи и свои труды полагал для нее. Без копейки бросил я Гавриловский омут, надеясь, что моя семья не оставит меня без помещения и радушного расположения ко мне. Денег мне дадут для расходу. Я малым буду доволен. Антон очень доволен, что я оставил скрутную должность…»

Это произошло в конце апреля, перед возвращением сына из Европы. Пока же Чехов ехал в роскошном вагоне к границам России. Впереди были Вена, Венеция, Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь, Ницца, Париж.

Год назад, в конце марта, Чехов завершал приготовления к сахалинской поездке. Теперь перед ним открывался другой мир. Он запечатлел его в письмах домой, своеобразном «журнале» или дневнике путешествия. В нем много юмора, само-иронии, восклицательных знаков, скрытой печали. Не тоски по родине, а

какой-то меланхолии, которая не сразу, но гасила радость первых дней. В письмах из Вены восхищение соборами соседствовало с похвалами галстукам, бронзовым безделушкам, фарфору, обедам, красивым женщинам и самому городу — легкому, зеленому. Всё оттенено ироническим удивлением: «Странно, что здесь можно всё читать и говорить, о чем хочешь. <…> Водки нет, а пьют пиво и недурное вино. Одно скверно: берут деньги за хлеб. Когда подают счет, то спрашивают: „Wieviel Brödchen?“, т. е. сколько слопал булочек? И берут за всякую булочку».

Письма из Венеции — это упоение архитектурой, живописью, всем тем, что бесценно: «Оценка их вне человеческой власти». Венеция — это наслаждение музыкой: «Едешь ты на гондоле… Тепло, тихо, звезды… <…> и до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков <…> хочется плакать, потому что со всех сторон слышатся музыка и превосходное пение». Гондолы он называл «женственными». Единственная *вещь*, упомянутая Чеховым в рассказе о Венеции, — превосходные зеркала. Его внимание поглощено другим, ибо «нет того местечка, которое не возбуждало бы исторического или художественного интереса». Чехов был взбудоражен и говорил, что выразить словами это невозможно: «Здесь собор святого Марка — нечто такое, что описать нельзя, дворец дожей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь». Но у блаженства был горький привкус: «Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».

Чехов писал Ивану: «Если когда-нибудь тебе случится побывать в Венеции, то это будет лучшим в твоей жизни». Невесело сравнение холодной глухой Судогды, или как говорил Чехов, «Судороги», стеклянного завода с печами, подобными аду, и теплой прекрасной Венеции в последних строчках этого письма: «Твои бутылки в сравнении со здешними такое безобразие, что даже думать тошно».

Чехов очень точно сказал, что не ходил, а бродил по Венеции. Как ненормальный («Посадите меня в сумасшедший дом»). Правда, не признавался спутникам в том, о чем писал родным, в Россию: «Ах, синьоры и синьорины, что за чудный город эта Венеция! <…> архитектура упоительная, всё грациозно и легко, как птицеподобная гондола. <…> Крым перед Венецией — это каракатица и кит. <…> В будущем году поедем все на дачу в Венецию». Если бы не было писем родным из-за границы и

пришлось довериться воспоминаниям современников, спутников Чехова, то возникла бы совершенно другая картина: ироничный, не очень любознательный человек едва ли не влачился нехотя за компанией русских, обращая внимание на смешные подробности, вроде лысой головы гида или голоса продавщицы фиалок. Таким запомнил Чехова в Венеции Мережковский. Он утверждал через годы, что будто бы не сразу узнал его: «полузнакомое бледное лицо с бледной бородкой. <…> Почему я угадал, что спутник его <Суворина> — Чехов, не помню. Должно быть, я встречался с ним в редакции „Северного вестника“ мельком».

Как мельком? Еще совсем недавно, в январе 1891 года, Мережковский дважды был в Москве у Чехова. Они долго беседовали об «умном». О своих московских встречах Мережковский рассказывал Плещееву. Позже, в марте, он опять заходил на Малую Дмитровку, но уже не застал Чехова. Надеялся встретить за границей, куда ехал с женой, З. Н. Гиппиус. Так что никак не был Чехов для него «полузнакомым», а встреча неожиданной. И не «угадал» он его, а узнал, несмотря на сумрак в соборе Святого Марка. По воспоминаниям Гиппиус, муж сразу назвал имена Суворина и Чехова и сказал ей: «Когда они выйдут на площадь, я поздороваюсь с Чеховым. Он нас познакомит с Сувориным. Буренину я бы не подал руки, а Суворин, хоть и того же поля ягода, но на вкус другая».

В это время Мережковский искал личного знакомства с Сувориным. Он хотел издать у него книжку стихотворений, о чем написал Чехову осенью того же года с похвалами «редко простому и милому» Суворину и с надеждой на добрый совет Чехова, потому что тот якобы лучше знает хозяина «Нового времени». Видимо, Мережковский не хотел открывать в воспоминаниях истинную подоплеку той давней встречи в Венеции и тогдашнего своего интереса к Суворину.

Наверно, была и другая причина так описать Чехова. Тот снижал иронией или молчанием неуемную, утомительную, едва ли не нарочитую восторженность своих спутников. Это поняла Гиппиус, но приписала отношению к Суворину, а не ко всем спутникам: «Ироничный и умный Чехов подчеркивал свое равнодушие, нарочно „ничему не удивлялся“, чтобы позлить патрона. С добродушием, впрочем: он прекрасно относился к Суворину». Но, вероятно, Чехов иронизировал и над образованной и разговорчивой петербургской четой. Л. Я. Гуревич запомнила облик Гиппиус в эти годы: «Худенькая, узенькая, с фигурою, какие потом называли декадентскими <…> с светлыми прищуренными глазами, в которых было что-то зовущее и насмешливое, она не могла не обращать на себя внимания,

прельщая одних, смущая и раздражая других. Голос у нее был ломкий, крикливо-детский и дерзкий. И вела она себя, как балованная, слегка ломающаяся девочка».

Чехов держал себя «вопреки правилам», не так, как положено туристу. Не так, как приличествует держаться среди «посвященных», таких, как супруги Мережковские. Как раз в это же время Плещеев писал Суворину после встречи с ними за границей, что Дмитрий Сергеевич «не может ни гулять, ни есть, ни пить без того, чтоб не разглагольствовать о бессмертии души и о разных столь же выспренних предметах. И главное — сам себя заслушивается. Искание Бога — вещь очень хорошая, но оно не должно быть столь шумно — ибо тогда заставляет сомневаться в его искренности…».

Один из современников запомнил рассказ Суворина, что Чехов будто бы больше играл в винт с его сыном, на памятники не смотрел, покупал открытку с изображением и успокаивался. Так случилось якобы с памятником Кановы. А любой экскурсии, мол, предпочитал кафе, мороженое. Мемуарист привел слова Чехова в пересказе Суворина, почему он равнодушен к заморским чудесам. «У нас есть всё, — говорил он, — и яркое, и тусклое. Почему-то нас называют серенькими в серенькой природе, — а мы раскинулись вон как и у нас найдутся краски и такие эффекты, до которых, пожалуй, и вашей Италии далеко».

Между тем 23 марта Чехов занес в записную книжку то, что он видел в этот день: «Собор св. Марка. Дворец дожей, Дом Дездемоны. Квартал Гидо. Усыпальницы Кановы и Тициана». Чехов не раз упомянул их в письмах домой. Его поразила усыпальница Кановы в церкви Фрари — та самая, которую он будто бы видел лишь на открытке. Он не мог забыть крылатого мраморного льва, который «положил голову на протянутые передние лапы, и у него такое грустное, печальное, человеческое выражение, какого нельзя передать на словах». Увидеть это выражение можно, если стоять очень близко к усыпальнице. Чехов назвал этот памятник «чудом» и говорил, что от таких произведений искусства «голова кружится от восторга».

Италия навсегда осталась его любимой страной. «Восхитительную голубоглазую Венецию» он вспоминал всю жизнь. Многое в Венеции за эту неделю Чехов осмотрел не однажды. Например, «домик Дездемоны», с белыми ажурными каменными балкончиками. Не палаццо, а именно домик, узкий, сжатый соседними домами, но необычайно трогательный. Он произвел на Чехова впечатление, от которого, как он писал родным, «трудно отделаться». Оно всплыло потом в словах героя «Рассказа неизвестного человека»: «Я любил сидеть на солнышке,

слушать гондольера, не понимать и по целым часам смотреть на домик, где, говорят, жила Дездемона, — наивный грустный домик с девственным выражением, легкий, как кружево, до того легкий, что, кажется, его можно сдвинуть с места одною рукой. Я подолгу стоял у могилы Кановы и не отрывал глаз с печального льва».

Во Дворце дожей Чехова поразила картина Тинторетто «Рай». Хотя на ней изображено 600 фигур, ему показалось — «около 10 тысяч». Это преувеличение не удивляет. Пространство картины такое глубокое и открытое, что чудится — ему нет ни конца ни края. Чудо освещения, композиция, неожиданные ракурсы рождали иллюзию бесчисленности человеческих фигур. И всё в каком-то неостановимом движении. Перед ней, как и перед усыпальницами, можно было бы стоять часами, молча, отставив бурные восторги и разговоры, к которым Мережковский побуждал спутников. Чехов либо отмалчивался, либо отшучивался. Зато в письмах домой не сдерживался: «Такие дома и церкви могут строить только люди, обладающие громадным художественным и музыкальным вкусом и одаренные львиным темпераментом. Теперь представьте, что на улицах и в переулках вместо мостовых вода, представьте, что во всем городе нет ни одной лошади, что вместо извозчиков вы видите гондольеров на их удивительных лодках, легких, нежных, носатых птицах, которые едва касаются воды и вздрагивают при малейшей волне. И всё от неба до земли залито солнцем».

Этот контраст «молчаливого» Чехова в воспоминаниях современников и «разговорчивого» в собственных письмах — важное свидетельство его настроения. Может быть, Чехова постепенно стала раздражать бытовая сторона путешествия. По соображениям престижа и комфорта Суворин останавливался в дорогих отелях, снимал лучшие номера. Деньги, взятые Чеховым, довольно скоро кончились. Платить за себя он никогда не позволял. Поэтому брал у Суворина в долг. Беседы утомляли не меньше, чем ходьба, которая из-за варикоза давалась ему с трудом. Причем маршруты выбирал Суворин, бывавший в Европе. И здесь у Чехова не оказалось выбора. Свобода наступала, когда Суворины оставались в гостинице — они отдыхали от Чехова, а он от них.

Не удавалось ему и поработать. Хотя он взял с собой рукопись повести. Но в записную книжку заносил фразы, суждения, отрывки, позднее отозвавшиеся в повести «Три года», в рассказе «Дом с мезонином». В них прорывалось всё еще кипевшее «сахалинское прошлое». Среди прочих запись: «Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья; если же оно проистекает не

отсюда, а из теоретических или иных соображений, то оно не то». Это мог быть и отзвук каких-то разговоров с Сувориным или супругами Мережковскими. Но проступало еще нечто, вероятно, связанное с впечатлениями от заграницы и с тем, что два года назад Чехов назвал чувством личной свободы. Именно здесь, в Италии, в Риме, появилась запись, тоже, может быть, эхо чьей-то реплики и его ответа. Запись сердитая и важная: «Кто глупее и грязнее нас, те народ [а мы не народ]. Администрация делит на податных и привилегированных…Но ни одно деление не годно, ибо все мы народ и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное».

Едва начались дожди, а Италия без солнца, по словам Чехова, «что лицо под маской», он заскучал. Письма родным свел к нескольким строчкам. Ни им, ни своим спутникам он не признавался, что болен. Усталость, напряженная программа («Замучился, бегаючи по музеям и церквам»; «Шатаясь по Ватикану, я зачах от утомления, а когда вернулся домой, то мне казалось, что мои ноги сделаны из ваты»), непогода и внутреннее недовольство едва не завершили путешествие Чехова.

В Ватикане, где путешественники опять встретились с Мережковскими, на их эмоциональные восторги Чехов ответил запомнившейся и возмутившей их шуткой: «А хорошо бы теперь, знаете, за город… да полежать на травке!» Эту фразу они охотно пересказывали, вернувшись в Россию, и вынесли приговор, как его запомнил один из современников: «Талант талантом, а душа купеческая». В общем — мещанин, плебей. Суворин тоже повторял эти слова Чехова, когда делился заграничными впечатлениями. Фраза пошла гулять по столице, наконец докатилась до Москвы. 27 мая Чехов возопил в письме Суворину: «Но желательно было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю вселенную о том, что будто бы заграница мне не понравилась? Господи ты боже мой, никому я ни одним словом не заикнулся об этом. Мне даже Болонья понравилась. Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с французами?»

Вопрос был риторический. Чехов знал, кто иронизировал над ним. Спустя годы он прямо написал Суворину, возвращаясь памятью к первому путешествию по Италии: «Я ее горячо люблю, хотя Вы и говорили Григоровичу, будто я лег на площади Св. Марка и сказал: „Хорошо бы теперь у нас в Московской] губернии на травке полежать!“ Ломбардия меня поразила, так что, мне кажется, я помню каждое дерево, а Венецию я вижу закрывши глаза».

Тогда, 1 апреля 1891 года, Чехов, словно подводя первые

итоги путешествия, признался в своем эпистолярном дневнике: «Это очаровательная страна. Если бы я был одиноким художником и имел деньги, то жил бы здесь зимою». Недоставало еще одного условия: если бы был здоров…

Конечно, за двадцать дней переездов, беготни по музеям и храмам путники устали. Но 6 апреля, утром осмотрев Помпеи, Суворин и Чехов отважились подняться на Везувий. Кто кого уговорил? Это более во вкусе Чехова. Он пошутил: «Такому решению сильно способствовало выпитое мною отличное красное вино». До подошвы вулкана они доехали верхом с проводником. Далее Суворину предложили подниматься на специальных носилках, а «молодому человеку» идти пешком. Добирались почти четыре часа. Наверху, у кратера, дым, запах серы: «Очень страшно и притом хочется прыгнуть вниз, в самое жерло. Я теперь верю в ад». Спускаться оказалось не легче. Ноги утопали в пепле по колено. Вряд ли после такого «восшествия» путешественники много ходили по музеям, вернувшись в Рим. Но Чехов вторично отправился в храм Святого Петра. Не упомянув ни словом знаменитые работы Бернини и Микеланджело, почему-то сосчитал, сколько шагов от входной двери до алтаря. Оказалось — двести пятьдесят.

В этом была особенность его взгляда на окружающее. Запомнил «человеческое» выражение у мраморного льва. Итальяночек, стоящих на коленях с молитвенниками в руках. Двух очень «голландских» голландочек в отеле. Спрута, жрущего какую-то тварь в неаполитанском аквариии. Молодого человека в парикмахерской, похожего не то на жениха, не то на шулера. С молодых лет жалуясь на память («подлая память»), Чехов, однако, годами помнил чей-то жест, выражение глаз, тембр голоса.

Когда путники переехали из Италии во Францию, в Ниццу, и вскоре отправились в Монте-Карло, то Чехов не столько играл, сколько ходил по великолепным залам казино. Он наблюдал — особенно за дамами, проигрывавшими большие суммы. Сам тоже играл, но лишь затем, чтобы испытать чувство, возбуждаемое игрой. Всё тот же «задор», что и в случае с купанием в океане и мчавшейся к нему акулой.

Франция вызвала в Чехове не радость и бодрость, как Италия, а поначалу любопытство, потом утомление. В Венеции, Риме царило искусство. Здесь, в Ницце и Париже, — культура еды, подарка, оформления. Там едва хватало дня на храмы, дворцы, выдающиеся достопримечательности, как Колизей, Форум, Ватикан. Здесь время определялось завтраками, обедами, ужинами. А между — казино, улица, толпа, кафешантаны, злачные места. Можно сказать, Чехов не увидел Францию в свой

первый приезд. Помешало всё: накопившаяся усталость, раздражение от пустой траты денег на дорогой отель, дурное расположение Суворина, тянувшего с отъездом в Россию. Впервые Чехов встречал Пасху не с семьей. В общем, как он писал домашним: «Человеки, подпоясывающие себя удавами, дамы, задирающие ноги до потолка, летающие люди, львы, кафешантаны, обеды и завтраки начинают мне противеть. Пора домой. Хочется работать».

27 апреля вечером Чехов, наконец, выехал в Россию. 1 мая он был уже в Петербурге. И тут же, не задержавшись ни на один день, поспешил в Москву.

Глава двенадцатая. «РЕШЕНО: ВОН ИЗ МОСКВЫ!»

В Москве Чехов застал сборы на дачу. Ни в Бабкино к Киселевым, ни в Сумы к Линтваревым Чеховы не поехали, хотя их приглашали. Новое место нашел Михаил — недалеко от своей службы, в городке Алексин Тульской губернии. Расписал прелести дачи, дешевизну продуктов, уговорил, улестил.

На самом деле домик оказался тесным и неудобным. Недалеко вокзал, соседи-дачники. Из окна своей комнаты Чехов видел проходящие поезда и, как признавался в письмах, вспоминал Италию. Он рассчитывал на даче отдохнуть, но пришлось впрячься: «В понедельник, вторник и среду я пишу сахалинскую книгу, в остальные дни, кроме воскресений, роман, а в воскресенья маленькие рассказы. Работаю с охотой». Мешало обилие домочадцев: отец, мать, сестра, младший брат, прислуга. Чехов уподоблял себя раку, сидящему в решете с другими раками.

Весной 1891 года Павел Егорович покинул службу в «амбаре» и теперь обретался дома, с семьей. Получал ежемесячно от старшего сына пять рублей на личные мелкие расходы. Всё остальное — кров, питание, одежда, дорожные расходы, вообще все расходы оставались заботой среднего сына. Он был кормильцем, а себя Павел Егорович по-прежнему считал главой семейства. О чем любил порассуждать за обедом, особенно наедине с женой или в отсутствие сыновей, которые называли эти отцовские словоизлияния «благомыслием».

На алексинской даче Чеховы пробыли около двух недель. И вдруг подвернулся случай переехать — да не куда-нибудь, а в старинное поместье, в большой двухэтажный дом. Махнули рукой на задаток и двинулись в имение Е. Д. Былим-Колосовского. Огромный парк, рыбная ловля около старой заброшенной мельницы, рядом церковь — всё устраивало всех, и старых и молодых. А главное для Чехова — просторная комната,

настоящая зала, с колоннами, высокими потолками, большими окнами с широкими подоконниками и необычных размеров диваном из карельской березы.

Он вставал в четыре-пять часов утра, варил себе кофе и садился работать. Но не за стол — писал на подоконнике. У него к этому времени возникла одна привычка. Ему легче думалось, если, поднимая голову от листа, он видел за окном сад, лес, поле. В городе этого не было, и там, как запомнили наблюдательные окружающие, Чехов, отрываясь от рукописи, закрывал глаза. Работал он часов пять-шесть, потом уходил ловить рыбу или в лес. В полдень семья обедала. С трех часов дня и до вечера Чехов продолжал писать.

В Богимове собралась в то лето интересная компания. Зоолог В. А. Вагнер с семьей, художник А. А. Киселев с семьей, а еще три «социалиста» (так Чехов звал поднадзорных студентов). Хозяин, Евгений Дмитриевич, был дворянином из мелкопоместных, моложе Чехова на шесть лет. Он недоучился в Петровской земледельческой академии и теперь пополнял знания опытом ведения своего хозяйства. Был покладист, мягок. Зато особу, руководившую в имении молочным делом, дачники не жаловали за нелюбезность и ее редкое имя Анимаиса Орестовна переделывали на все лады — косоокая Аменаиса, Аменаиса Эрастовна, Семирамида, Мюр-и-Мерилиз, косая Усириса. Так повелось еще с бабкинских времен: всем обитателям давали прозвища. Вагнера звали «паучок», хозяина имения — «Геге». Чехов — «гвоздика» (может быть, после игры в «флирт цветов»).

Богимовские вечера дачники проводили по-дачному. Ставили любительские спектакли, ездили на пикники, организовали «клуб» для споров и решения «умных» вопросов. Один из них чрезвычайно занимал Чехова. Не раз говоря, что он фаталист, что всё в жизни предрешено, Чехов, однако, полагал, что в рамках *предопределенного* человек может что-то исправить, одолеть душевными усилиями, самопознанием, самоограничением. В своем экземпляре книги «Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя» (перевод князя Л. Урусова), он отметил записи: «Иметь над собою власть воздерживаться и сохранять умеренность в пользовании — вот черты человека с сильным, непобедимым духом»; «тебе отмерено время, которое, если ты им не воспользуешься, чтобы понять смысл жизни, пройдет бесследно и безвозвратно вместе с тобой»; «никто на свете не может помешать тебе сделаться человеком свободным, честным, помогающим ближнему…».

Хотя, казалось, его житейский опыт не располагал к таким надеждам. Сколько сил он положил на старших братьев, сколько

пережито упований, что они справятся с собой, одумаются, опомнятся. Николай остался невысказанной, скрытой болью. Александр — постоянной тревогой, ощущаемой в письмах Чехова. Летом 1891 года ему исполнилось 36 лет. В день рождения он написал в Богимово: «Что будет впереди — ведает Аллах, а назад оглядываться не хочу, ибо в итоге моей деятельности — ноль». Он по-прежнему жил от жалованья к жалованью, от гонорара к гонорару, а семья увеличилась. В августе 1891 года он стал отцом в четвертый раз — третьего сына назвали Михаилом. Это был будущий всемирно известный актер и режиссер.

Письмо о рождении сына «петербургский брат» закончил в своем духе: «Для дедушки и бабушки это — кажется первый случай появления законного внука. Незаконные кланяются». А в следующем письме, может быть, имея в виду беспокойство Павла Егоровича, написал: «Чадо новорожденное <…> ни обряду обрезания по закону матери, ни таинству крещения по закону отца еще не подвергалось». И попросил об одолжении: поискать в его письмах из Новороссийска домой дату рождения сына Антона. Он ее не помнил, поскольку пребывал тогда в тяжелой душевной смуте. В письмах родным он высказывался насчет своего малодушия, запоев, срывов. Прямо или косвенно искал причины в юношеском безрассудстве и в своих ошибках с выбором профессии, жены и т. д. и т. п. Но однажды упомянул и «общую фамильную кровь (кстати сказать, золотушную)», врожденную склонность к худосочию, тщедушности, которую находил у себя и у брата Николая.

Действительно, на семейной фотографии таганрогских лет старшие сыновья Чеховых выглядели, как говорят в народе, нескладно скроенными, неладно сшитыми. Будто какой-то сбой, выверт природы. Словно изначально проступила во внешности братьев какая-то болезненная исключительность. Потом она проявилась в их очевидной художественной одаренности, которую они возбуждали и одновременно губили в себе алкоголем и беспутством.

Спасая братьев, их талант, Чехов говорил им в те годы о невоспитанности ума и души и набросал кодекс воспитанного человека: уважение к чужой личности и чужой собственности; сострадательность; чистосердечие; отвращение ко лжи; чувство собственного достоинства; нравственная и физическая чистоплотность. Говорил и писал им, что это воспитывается душевными усилиями, волей, штудировкой, муштрой… Судьбы старших братьев, видимо, не умалили этого убеждения. Среди итальянских записей Чехова 1891 года есть запись о неизбежном неравенстве людей: «Вследствие разницы климатов, умов,

энергий, вкусов, возрастов, зрений, равенство среди людей никогда невозможно. <…> Но мы можем сделать неравенство незаметным, как это делаем с дождем или медведями. В этом отношении многое сделают воспитание и культура».

Так можно ли избавиться от дурных привычек? Обуздать в себе разрушительные наклонности? В богимовском «клубе» Вагнер, однокурсник Александра Чехова по университету, доказывал, что природные отклонения необратимы. Чехов, если точны воспоминания его младшего брата, возражал: наследственные недостатки, вырождение одолимы силой духа, самовоспитанием, поиском причин внутри себя.

Так что этот спор с зоологом по-своему продолжал давние размышления Чехова и обнаруживал работу над повестью «Дуэль», которую Чехов завершал в Богимове летом 1891 года. Ее герой — слабый, лукавящий перед собой и людьми, который в родном саду «за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал…». В историю Лаевского, его бегство на Кавказ с чужой женой, ненависть к службе, тяжелые взаимоотношения с людьми, будто вплетена судьба Александра — сожительство с Хрущовой-Сокольниковой, служба в Таганроге и Новороссийске и «ноль» в прошлом. Так «скрутить» себя, так изменить свою жизнь, как Лаевский, который в ночь перед дуэлью мысленно развернул перед собой «свиток» прошлой жизни и проклял ее, Александр Павлович, наверно, смог бы. Но надолго ли?

Лаевский в страшную ночь, в грозу, «проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения; несколько раз в отчаянии подбегал он к столу и писал: „Матушка!“ <…> „Погибла жизнь! — бормотал он, потирая руки. — Зачем же я еще жив, Боже мой!.. <…> Искать спасения в людях? В ком искать и как? <…> Спасения надо искать только в себе самом, а если не найдешь, то к чему терять время, надо убить себя, вот и всё…“». Однако спасся ли герой Чехова пережитым в грозу, во время дуэли и последовавшими переменами? Ответа, как и в рассказе «Огни», не было. Лишь умозаключение, объединившее в финале двух врагов, Лаевского и фон Корена: «Никто не знает настоящей правды…» Что же спасло Лаевского, если спасло? Что нашел он спасительного в себе самом?

Может быть, в спорах с Вагнером о вырождении Чехов размышлял о том, как человеку «скрутить» себя? Но в его письмах той поры следов таких разговоров нет. Они могли раствориться в повести и в рукописи книги «Остров Сахалин», над которой он напряженно работал в Богимове. Он полагал закончить ее к

осени. Но мешала повесть «Дуэль», рассказ «Бабы». Отвлекали больные: «Соседнего помещика трахнул нервный удар, и меня таскают к нему на паршивой бричке-трясучке. Больше всего надоели бабы с младенцами и порошки, которые скучно развешивать». В «часы мнительности» ему, по собственному признанию, хотелось отодвинуть рукопись книги, чтобы посидеть над нею несколько лет и писать не спеша.

Вероятно, душевная травма от каторги отходила тяжело и медленно. Впечатления не выплескивались просто так на бумагу. Они, наверно, еще не процедились и не остались на «фильтре» памяти. В конце концов Чехов отложил сахалинский труд. Раздраженный, недовольный «Дуэлью», он просыпался даже ночью с мыслью об этой повести и признался Суворину: «Пока я писал ее и спешил чертовски, у меня в голове всё перепуталось и работал не мозг, а заржавленная проволока. Не следует торопиться, иначе выходит не творчество, а дерьмо».

Торопило его безденежье. Поездка на Сахалин обошлась Чехову в 4–5 тысяч. Большая часть суммы — это гонорары, собранные им зимой 1890 года. Меньшая — деньги, взятые в кассе «Нового времени» в счет продажи его сборников, издаваемых типографией всё новыми и новыми тиражами в тысячу экземпляров каждый. После заграничного вояжа образовался его личный долг Суворину в 800 рублей. Досадный, тяжелый долг, потому что это была невольная дань комфорту, с которым путешествовало по Европе богатое семейство.

«Арифметика» богимовского лета (расходы на дачу) дала внушительную цифру. Чехов был должен свыше трех тысяч. И не знал, полагается ли ему что-то за книги. Так велись дела в конторе газеты. Так бухгалтерий вела себя по отношению к Чехову. Он никогда не знал: он ли должен, ему ли должны. Летом 1891 года Чехов едва ли не с робостью и извинениями писал Суворину: «В каком положении находится эта выручка, я не знаю; если печатается уже пятое издание, то деньги должны быть». Он шутил, что «ниш и убог, как Сидорова коза», что сидит «буквально без гроша» и спешит писать, чтобы «нажить капиталы», что — тонет в «пучине грошовых забот и мелких страхов».

Как быть? И Чехов опять шутил: «Жениться на богатой или выдать „Анну Каренину“ за свое произведение. А так как это невозможно, то я махнул на свои дела рукой и предоставил им течь, как им угодно».

Почему Чехов, щепетильный в своих денежных расчетах с другими, терялся и терпел годами бестолковость нововременской «конторы», странные ошибки, отдававшие чуть ли не

жульничеством? Он всё время ходил в должниках у типографии и у Суворина, которому к тому же был «должен» за то, что тот держал в газете Александра, протежировал Михаилу в продвижении по службе. Он с нескрываемой иронией благодарил Суворина за копеечную прибавку к построчному гонорару и вместе с тем позволял книжному магазину «Нового времени» играть втемную, водить его за нос. Досаду он не скрывал и написал старшему брату в июле 1891 года: «В общем живется мне скучновато; надоело работать из-за строчек и пятачков, да и старость подходит всё ближе и ближе». Это был симптом недовольства собой, газетой, но пока всё оставалось по-старому в денежных взаиморасчетах с типографией. Чехов длил неопределенность, не пытался или не хотел внести ясность.

Может быть, в этом проявлялась обратная сторона самолюбия, раненного еще в детские годы? И страдание, описанное Александром в воспоминаниях о пении в любительском хоре отца, было общим у всех трех старших братьев: «Павлу Егоровичу очень хотелось прихвастнуть <…> и своим хором, и уменьем дирижировать, а главное — уменьем воспитывать своих детей не как-нибудь, а в страхе Божием. Поэтому <…> неумолимо выводил их на середину церкви. <…> К тому же заключительный куплет приходилось исполнять обязательно на коленях <…>. А выставлять напоказ, публично, протоптанную, дырявую грязную подошву — как хотите — обидно, особенно же для гимназиста, которого могут засмеять товарищи…»

В глухом таганрогском трехлетии (1876–1879), наверно, крылось много таких ситуаций, которые задевали самолюбие гимназиста-старшеклассника и при его мнительности могли показаться оскорбительными. Во все годы врачебной практики это же чувство мешало ему брать заслуженный гонорар, а в житейских, в хозяйственных делах настаивать на разумной цене и не уступать нахалам.

В 1890 году в письме из Благовещенска Чехов с усмешкой рассказал Суворину, как он практиковал в пути: «В местечке Рейнове на Амуре, где живут одни только золотопромышленники, некий муж пригласил меня к своей беременной жене. Когда я уходил от него, он сунул мне в руку пачечку ассигнаций; мне стало стыдно, и я начал отказываться, уверяя, что я очень богатый человек и не нуждаюсь. Супруг пациентки стал уверять, что он тоже очень богатый человек. Кончилось тем, что я сунул ему обратно пачечку и у меня все-таки осталось в руке 15 рублей. Вчера лечил мальчика и отказался от 6 рублей, которые маменька совала мне в руку. Жалею, что отказался».

Тоже с усмешкой он обещал родным, что по дороге на Сахалин избавится от двух своих пороков, причинявших ему «немало расходов, хлопот и неудобств; это — уступчивость и сговорчивость». Родные знали за ним эту черту, иногда звали его «киселем», корили за то, что он не умеет отказывать. Но он не отказывал в первую очередь им, своим домашним. С той самой поры, когда родители писали в Таганрог «покорному» сыну и просили, требовали денег. А если долго, как им казалось в их безденежье, не получали, то винили его, не вникая ни во что. И он чувствовал себя виноватым. Постепенно, судя по письмам Чехова, чувство долга и чувство вины перед родными оказались неотделимы друг от друга.

Денежный долг, который Чехов за лето сократил на одну тысячу, все равно тяготил его. Тем более что намерение купить «хутор» не прошло, а усилилось. И он в шутку спрашивал у старшего брата, у кого бы занять тысяч пять «без отдачи». Или делился с ним мечтой о выигрыше в 40 тысяч, «чтобы отрезать от себя ножницами надоевшее писательство, купить немножко земли и зажить байбаком», а рядом поселить братьев, Александра и Ивана. После Сахалина желание уехать из Москвы, осесть на одном месте, в своем доме укреплялось. Ему виделось небольшое имение, даже именьице, например, такое, какое он упомянул в письме Александру: «в 40 десятин с домиком и сараями, садом, лесом и речушкой, стоящее только 2 ½ — 3 тысячи. Ах! Вот бы!»

Где взять деньги? У Суворина под книгу о Сахалине? Но тогда покупка отложилась бы на несколько лет, если не влезать в большой долг. Опять иметь дело с нововременскими книжными магазинами, торгующими вяло, не следившими за спросом. Чехову без конца жаловались знакомые и незнакомые люди, что не могут купить его сборники.

В огромной фирме Суворина порядка не было. Казалось, всё происходило и делалось, минуя Суворина. И хотя продажа сборников давала хорошую прибыль, капризный «хозяин» мог прекратить их новые издания. Тогда Чехову пришлось бы содержать семью только на гонорары. Медицина осталась профессией, оказанием помощи, но не заработком. Он уже не повторял шутку о «законной жене» и «любовнице».

От напряженного писания, от холода у Чехова начались головные боли, бессонница, кашель. Настроение: то оживленное, то совсем плохое («мне надоело жить в сильнейшей степени»), Он всё лето зазывал в Богимово гостей, как в Бабкино, в Сумы. Побывал Суворин. Приезжала Н. М. Линтварева. Чехов уговаривал ее приехать вновь: «Заберите в чемодан все Ваши 73 цветных кофточки и приезжайте. <…> А пикник забыли? <…>

А вечерняя прохлада? <…> Все с нетерпением ждем Вас. <…> Мать Вам кланяется и убедительно просит приехать». Быть может, хозяйка лучанского имения уловила в этом послании нечто большее, чем дружеское расположение, но не приехала. Ее могли удержать летние хозяйственные заботы или нерешительность. С виду энергичная, хохотушка, она на самом деле вечно колебалась в душе, сомневалась, оглядывалась на кого-то.

Какая-то особая нота была и в письмах Чехова Шавровой в то лето. После серьезных замечаний по поводу ее рукописей, которые она прилежно слала и слала Чехову, вдруг в конце его письма строчки: «Нам бы следовало повидаться. Вы бы спели, а я бы послушал. Поговорили бы о литературе, о Крыме… Будьте здоровы и небом хранимы. Ваш слуга А Чехов». Неуловимая мягкость угадывалась в письме к Киселевой, в упоминаниях Кундасовой, примчавшейся в Богимово и тут же улетучившейся. И в шутливом признании Суворину в самом конце лета: «Я бы хотел теперь ковров, камина, бронзы и ученых разговоров. Увы, никогда я не буду толстовцем! В женщинах я прежде всего люблю красоту, а в истории человечества — культуру, выражающуюся в коврах, рессорных экипажах и остроте мысли. Ах, поскорее бы сделаться старичком и сидеть бы за большим столом!»

Эту воображаемую идиллию Чехов уже рисовал в майском письме Суворину: «Жениться я не намерен. Я бы хотел теперь быть маленьким, лысым старичком и сидеть за большим столом в хорошем кабинете».

Видимо, Суворин уловил этот мягкий наклон в самочувствии Чехова, но связал его со скрытым расположением к одинокой жизни вне семьи. В скромном имении, в маленьком доме, на холостяцкий лад. Может быть, и поддержал подобные мечтания. Вероятно, на очередной пассаж Суворина о возможных переменах в личной жизни Чехов ответил 6 августа почти резко: «Поправить мои обстоятельства, т. е. сделать их иными, или лучшими, невозможно. Есть больные, которые излечиваются только единственным простым и крутым средством, а именно: „Встань, возьми одр свой и иди“. Я же не в силах взять своего одра и уйти, а стало быть, и говорить нечего». Он уже не однажды ссылался на свою «неволю».

В 1888 году, узнав, что его литературные протеже Ежов и Лазарев женятся, он заметил: «Это хорошее дело. Лучше плохой брак, чем хорошее шематонство. Я сам охотно бы зануздал себя узами Гименея, но увы! обстоятельства владеют мною, а не я ими». Поздравляя тогда одного из молодоженов, он то ли пошутил, то ли всерьез предостерег: «Если счастливую семейную жизнь с ее чадами, восторгами и ежедневным поломойством

можно сочетать с выдающимися литературными успехами, то желаю Вам и сих последних, желаю от души и чистого сердца…» Чехов как-то обронил в разговоре, что «брак сковывает творческую силу».

Семейная жизнь многодетного Баранцевича, которую Чехов изредка наблюдал, бывая в Петербурге, подтверждала эти опасения. Если за плечами нет огромного имения, наследства, большого дома, необременительной, но надежной службы с хорошим окладом — пиши пропало. «Гусики», «воробички» и «утики» (так он звал ребятишек своего приятеля) отнимут все силы. В тяжелые минуты Баранцевич писал Чехову: «Эх, батенька, не женитесь, — одно Вам говорю. Жениться на деньгах скверно, без денег — дьявольски мучительно».

Чехов уже признавался в желании иметь свою семью, детей, но как-то мимолетно, мечтательно. За ссылками на «обстоятельства», на «одр», то есть на «родственный клобок», просвечивало главное. То, что он объяснил старшему брату три года назад, когда тот вздумал после недельного знакомства сделать предложение Е. М. Линтваревой: «<…> семья, музыка, ласка и доброе слово даются не женитьбой на первой, хотя бы и весьма порядочной, встречной, а *любовью*. Если нет любви, то зачем говорить о ласке?»

В богимовских письмах Чехова сквозили не любовь к кому-то, не влюбленность в кого-то, а душевный импульс, сердечная расположенность к переменам. Может быть, всё объяснялось его состоянием после Сахалина. Это настроение заметно в письмах к Мизиновой. В сибирских посланиях она именовалась «барышней», «Лидией Стахиевной», «Тер-Мизиновой», «славной Жамэ», «думским писцом». В 1891 году началась их переписка. В первом же январском письме Лики что-то не так, что-то, не соответствующее ее облику, каким он остался в воспоминаниях современников. По словам Михаила Павловича, она «была остроумна, ловко умела отпарировать удары, и с нею было приятно поговорить».

В ее письме всё наоборот: ни ловкости, ни блеска ума, ни даже милой болтовни. Сама говорила, что пишет «вздор», хочет досадить. Вместо того чтобы писать просто, так, как она чувствовала, Лика разговаривала задорно, кокетничая, играя то в веселость, то в мрачность. То есть так, как ей было, наверно, не свойственно, даже чуждо. Лика ощущала это и признавалась: «Т. е. чёрт знает что я пишу!» Чехов отвечал ей веселой иронией: «Я с удовольствием ошпарил бы Вас кипятком. Мне хотелось бы, чтобы у Вас украли шубу (8 р. 30 коп.), калоши, валенки, чтобы Вам убавили жалованье <…>. Прощайте, злодейка души моей.

Ваш известный писатель».

Пикирование, обмен остротами, мнимая ревность, шутливые намеки, игра слов, то, что мемуарист назвал «ловким отпарированием ударов», наверно, удавались Лике в непринужденной обстановке застолья, дружеской прогулки, занятного разговора. Но другое дело — отбивать «удары» в словесном поединке с Чеховым. Эта «игра», видимо, была ей не по силам и не в ее характере, не в ее натуре, не склонной к игре, к кокетству. Может быть, ей показалось, что тон и стиль, принятый в кругу литераторов, артистов, художников, например в салоне Кувшинниковой, и есть то, что принято, что необходимо в отношениях с «известным писателем»? Принимали же этот тон Левитан, очарованный Лидией Стахиевной, и другие ее поклонники. Может быть, как многие очень красивые молодые женщины, она поначалу считала, что красота говорит сама за себя и победительна.

По какому-то заблуждению Лидия взяла не тот тон. Или, может быть, в силу своей внутренней неуверенности, заставлявшей ее казаться раскованной, свободной. Хорошая музыкантша, не допускавшая неверных нот в пении, она писала Чехову, словно не в своей душевной тональности. Не фальшивой, а не своей. И тут же ощущала душевное и словесное неблагозвучие. Грубоватость шуток и прозвищ («черт Вас задави», «если Вы не совсем стали дубиной»). Невольный мелодраматический налет, которым привлекала к себе внимание Чехова, когда жаловалась на нездоровье: «…купаться мне тоже нельзя <…> благодаря каким-то влажным хрипам, которые у меня открыли перед отъездом. Ну да черт с ними, а лучше Вы мне напишите об Вас». Осознавала, наверно, тщетность намеков на своих реальных и мнимых воздыхателей («Меня провожал домой Левитан!»; — «Буцефал [Е.Н. Баллас] велит Вам кланяться и сказать, что он Вас нисколько не боится, потому что уверен во мне»).

Душевный слух, вероятно, подсказывал Лидии Стахиевне, что не о том и не так она писала Чехову, как хотела бы, поэтому обрывала себя («А ведь совестно посылать такое письмо!»). И от досады на него, на себя впадала в еще большую неловкость: опять иронические выпады, уколы. Пытался ли Чехов настроить их переписку, их отношения? Когда речь шла о литературных советах, например, семнадцатилетней Шавровой, он был доброжелателен, но серьезен и строг. Летом 1891 года, прочитав очередной присланный ею рассказ, предупредил: «Вы не сердитесь на критику. Если я пишу и сужу несколько резко, то это только потому, что вижу в Вас коллегу и литераторшу, а не

дилетантку, иначе бы, быть может, я наговорил Вашей „Ошибке“ тьму комплиментов».

Лидии Стахиевне он тоже давал советы. Но другого свойства. Быть самой собой. Ничего не преувеличивать. Болеет? Кашляет? Значит — «бросьте курить и не разговаривайте на улице»; — «Вам можно и купаться и по вечерам гулять. Всё это баловство. У меня все мои внутренности полны и мокрых и сухих хрипов, я купаюсь и гуляю и всё-таки жив».

Она хотела казаться *свойской*. Он не удерживался от усмешки: «Сейчас получил от Вас письмо. Оно сверху донизу полно такими милыми выражениями, как „чёрт вас задави“, „чёрт побери“, „анафема“, „подзатыльник“, „сволочь“, „обожралась“ и т. п. Нечего сказать, прекрасное влияние имеют на Вас такие ломовые извозчики, как Trophim».

Она пыталась иронизировать: «Это письмо, верно, не будет так прилично, сухо и не будет носить отпечаток высшего света». Чехов усиливал иронию до насмешки: «Извините, что письмо так небрежно написано; я взволнован, дрожу и боюсь, как бы о нашей переписке не узнал высший свет. Пожалуйста, никому не показывайте моего письма! Остаюсь преданный Вам А. *Кислота*».

Чехов прямо и косвенно советовал ей не казаться другой, быть не хуже и не лучше, а тем, что она есть: неглупой, доброй, не нашедшей еще ни своего призвания, ни дела. Не очень, может быть, счастливой, но не несчастной. За его шутками просвечивало в 1891 году серьезное увлечение Ликой. Уехав зимой в Петербург, он писал сестре: «Поклон Лидии Егоровне Мизюковой. <…> Скажи ей, чтобы она не ела мучного и избегала Левитана. Лучшего поклонника, как я, ей не найти ни в Думе, ни в высшем свете». Он передавал чужие похвалы ее красоте, сам говорил о ней: «Золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика!»; «Златокудрая Лика»; «Очаровательная, изумительная Лика!»

Весной, из-за границы, Чехов в письмах домой непременно упоминал Мизинову: «Ты, Маша, и Вы, Лика…» Будто присоединял невольно к своей семье. Звал ее в Богимово. Снова и снова. Шутил: «Поймите Вы, что ежедневное ожидание Вашего приезда не только томит, но и вводит нас в расходы: обыкновенно за обедом мы едим один только вчерашний суп, когда же ожидаем гостей, то готовим еще жаркое из вареной говядины, которую покупаем у соседских кухарок».

Он уговаривал Лидию Стахиевну покинуть ненадолго Покровское, общество родных, а заодно и Левитана с Кувшинниковой, гостивших в соседнем имении. Описывал ей парк, темные аллеи, лунные ночи, соловьев, индюков и рисовал картину: «Мы часто ходим гулять, причем я обыкновенно

закрываю глаза и делаю правую руку кренделем, воображая, что Вы идете со мной под руку». Вместо подписи изобразил сердце, пронзенное стрелой. Но она не ехала в Богимово. Может быть, ждала от него особых «литературных» посланий? Ведь он писатель, да еще известный. Можно представить, как восхищался художник Левитан ее красотой, если в шутку писал Чехову: «Пишу тебе из того очаровательного уголка земли, где все, начиная с воздуха и кончая, прости Господи, последней что ни на есть букашкой на земле, проникнуто ею, ею, божественной Ликой! Ее еще пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, белобрысого, а меня, волканического брюнета, и приедет только туда, где я. Больно тебе все это читать, но из любви к правде я не мог этого скрыть».

Здесь, в Покровском, где Лика выросла, где были атрибуты романтической беллетристики (старинные парки, аллеи, старый дом), складывался странный «треугольник» — скрытое или мнимое соперничество между 44-летней Кувшинниковой и 20-летней Мизиновой. Чехов незримо присутствовал в их разговорах.

В дождливые вечера Левитан читал вслух Софье Петровне и Лидии рассказы друга, восхищался описаниями природы и иронизировал над собой в письме Чехову: «Замечаешь, какой я великодушный, читаю твои рассказы Лике и восторгаюсь! Вот где настоящая добродетель!» Обещал приехать в Богимово, звал усиленно в Затишье. Кувшинникова в приписках к письмам Левитана, в манере своего московского салона, называла Чехова по фамилии, говорила, что они с наслаждением переживают его повествования.

Может быть, этот «треугольник», этот стиль Кувшинниковой, эти вечерние чтения Чехов спародировал в коротеньких письмах Лике. Одно, без подписи, якобы от страстно влюбленного поклонника: «Дорогая Лида! К чему упреки? Посылаю тебе свою рожу. Завтра увидимся. Не забывай своего Петьку. Целую 1000 раз!!! Купил рассказы Чехова: что за прелесть! Купи и ты. Кланяйся Маше Чеховой. Какая ты душка!» Другое, с намеком на Головина, уездного предводителя дворянства, поклонника Мизиновой: «Дорогая Лидия Стахиевна! Я люблю Вас страстно, как тигр, и предлагаю Вам руку. Предводитель дворняжек *Головин-Ртищев*. P. S. Ответ сообщите мимикой. Вы косая».

На этих письмах нет даты. Но по некоторым реалиям и деталям можно предположить, что они посланы в начале июня и что 17 июня Мизинова отвечала и на эти пародийные письма, и на письмо Чехова от 12 июня. Ответ был резким и растерянным. Лидию Стахиевну могло обидеть слово «баловство» по поводу ее хворей. И выговор за грубые слова в письмах. И фраза в ее адрес

— «увлекшись черкесом Левитаном». И просьба, которую Чехов передавал Левитану: «Попросите его, чтобы он не писал в каждом письме о Вас. Во-первых, это с его стороны не великодушно, а во-вторых, мне нет никакого дела до его счастья». И раздражение против Кувшинниковой, не отпускавшей Левитана от себя ни на шаг.

Как бы то ни было, но отвечала она Чехову грубостью, за которой угадывались слезы: «Прежде всего, хоть Вы и „знаменитый Чехов“, но Вы пишете глупости, или как доктор Вы ничего не смыслите <…>. Вы идиот. Так как в моем письме не было ни одного неизящного выражения, а Вы все-таки мне пишете, что я мало воспитана, то я в этом письме постараюсь пополнить недостаток. <…> Когда приеду, то обязательно привезу на Вас палку, чтобы и Вас поучить вежливости. <…> У нас <…> Левитан, на которого, впрочем, мне приходится только облизываться, так как ко мне близко он подойти не смеет, а вдвоем нас ни на минуту не оставляют. Софья Петровна очень милая <…>. Она, по-видимому, вполне уверилась, что для нее я не могу быть опасной <…>. Вот еще что. Не смейте Вы мне писать так о Левитане, Вы, действительно, анафема. Вы только портите мне всегда и во всем <…>. Ни со мной, ни с Левитаном на свиданьях не сделается ничего, успокойтесь!»

Весь вздор, вся нескладица, какая-то невзрослость этого письма объяснимы. В нем не прочитывалось желание оскорбить Чехова, задеть обидчика. Не в характере Лидии Стахиевны — специально и побольнее ранить человека, причинить кому-то страдание. Наверно, права была Иогансон, рано подметившая во внучке внешнюю раздражительность и внутреннюю апатию.

Чехов ответил 20 июня. Вежливо, спокойно, сочувствуя «бедной, больной Ликише». Дал насчет «хрипов» и «кашля» серьезный медицинский совет, передал поклон бабушке. Закончил письмо словами: «Больше я писать не буду».

Но у серьезности был насмешливый оттенок: «Вам нельзя ни курить, ни пить. Ни табаку, ни вина, ни пива, ни даже квасу — ни-ни! <…> Есть возможно больше <…> принимайте для укрепления своих дамских нервов бромистый калий и мышьяк. <…> Поменьше разговаривайте и, когда беседуете с бабушкой или Левитаном, не кричите. В письмах добрых знакомых не называйте идиотами».

Встреча, так и не состоявшаяся тем летом, и несколько писем непоправимо изменили русло их взаимоотношений.

* * *

Чехов завершал работу над повестью «Дуэль». В словах о любви к российской осени («Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями»), в признании, какие «отвратительные дни и часы» переживает врач возле умирающего человека, в перечислении забот в августовских письмах Чехова (о «своем одре»; о безденежье; о поисках новой московской квартиры для семьи; об обстоятельствах, не пускавших в Феодосию к Суворину) растаяло майское настроение, в котором он писал «прекрасной Лике», «адской красавице» и зазывал ее в Богимово.

Да и дачная жизнь наскучила, утомила, судя по письмам. В одном из них он описал Суворину недавний случай своей врачебной помощи: «Везла баба рожь и свалилась с воза вниз головой. Страшно разбилась <…> стонет, охает, просит у Бога смерти, а сама глядит на мужика, который ее привез, и бормочет: „Ты, Кирила, брось чечевицу, после отмолотишь, а теперь овес молоти“. Я ей говорю, что после об овсе, а теперь, мол, есть поговорить о чем посерьезнее, а она мне: „Овес-то у него очень хороший!“ Хлопотливая, завидующая баба. Таким легко помирать». Но в умиравшей крестьянке, может быть, говорили житейский опыт и страх. Чехов уже сам написал Суворину: «Наступает голодный год. Вероятно, будут всякие болезни и мелкие бунты».

К концу лета у Чехова кончились все деньги. Когда Каратыгина в письме из Кронштадта попросила у него взаймы, чтобы расплатиться с кредиторшей, он написал старшему брату: «Так как у меня денег нет, то дай ты (?). А если и у тебя нет, то, будь добр, сходи в книжный магазин и справься там, не приходится ли мне получить за книги хотя что-нибудь. Быть может, скопилось немножко. Если да, то возьми и вручи. Твой А. Чехов». «Скопилось» всего 50 рублей, которые Александр Павлович и вручил Каратыгиной. На переезд с дачи, на уплату летнего долга за московскую квартиру Чехов попросил у Суворина аванс в 300 рублей в счет гонорара за «Дуэль», которую вынужденно предназначил для «Нового времени».

В самом начале сентября Чеховы простились с Богимовым и вернулись в дом на Малой Дмитровке, но с намерением подыскать квартиру подешевле, где-нибудь на окраине. В минувшее лето Чехов работал много, «от утра до вечера и во сне». Но книгу о каторжном острове не кончил и с нею не торопился. Упоминал и обещал рассказы для журналов «Северный вестник», «Север». У одного было даже название «Рассказ моего пациента» [«Рассказ неизвестного человека»], но Чехов опасался, пропустит ли его цензура, так как повествование велось «от лица бывшего социалиста». Другой не имел названия, и Чехов пошутил, что

сделать это «теперь так же трудно, как определить цвет курицы, которая вылупится из яйца, которое еще не снесено». Упоминал и другие безымянные рассказы. И работал, работал, чтобы не влезть в еще большие долги. Писал, несмотря на то, что по приезде в Москву заболел.

Однако в конце сентября засобирался в Нижегородскую губернию. Оттуда уже поступали вести о бедственном положении крестьян после неурожайного лета. Обыкновенная форма участия русских литераторов в помощи страждущим (голодающим, сиротам, приютам, неимущим, больным) — это денежные пожертвования или безгонорарные сборники, литературный вечер в чью-то пользу.

Помощь бедствующим, нуждающимся, ожидающим или испрашивающим поддержку — особая сторона жизни Чехова.

Скрытая от посторонних глаз, она частично отразилась в его письмах, а более всего — в письмах к нему. Это содействие было разнообразным. Например, исполнение «литературных» просьб: посмотреть рукопись, замолвить слово перед редакторами, похлопотать об увеличении гонорара, дать отзыв и т. п. Литературных «крестников» у него к этому времени было множество. Едва В. А. Тихонов стал осенью 1891 года редактором журнала «Север» и пригласил Чехова, тот сразу рекомендовал Ежова и Лазарева, которые уже благодаря Чехову попали в «Осколки», «Петербургскую газету», «Новое время». Незадолго до того Чехов ходатайствовал за доктора Щербака, который хотел издать у Суворина книгу своих рассказов. Об этом же в конце лета просил литератор Ф. А. Червинский, желавший напечатать в типографии «Нового времени» книгу стихов: «На каких условиях издает Суворин произведения лиц ему неведомых? <…> Не будете ли добры замолвить ему словечко?»

Не меньшим был поток житейских просьб: помочь деньгами; оказать протекцию; достать место; дать взаймы (часто без отдачи) и т. д. Каратыгина — одна из многих, кому Чехов помогал годами. Осенью 1891 года профессор В. И. Герье написал Чехову. Он спрашивал, известен ли ему Д. В. Кирин, который приходил к нему, просил о месте, о пособии и ссылался на Чехова. Кирин сам предупредил Чехова о запросе профессора и надеялся на благоприятный отзыв. Сотрудник московских и провинциальных газет, Кирин то сходил с круга жизни, то возвращался. Когда доходил до точки, посылал к Чехову кого-нибудь из приятелей, обитателей рыночных ночлежек, московских трущоб. Чехов давал ему рекомендательные письма, небольшие деньги на одежду, на проезд. Он исчезал на время и вновь появлялся, уверяя, что бос, раздет, голоден.

Таких людей, спившихся или махнувших на себя рукой, Чехов перевидал достаточно и в городских больницах, и в меблированных комнатах, подобных тем, где обретался покойный брат Николай. Поэтому, даже догадываясь иногда, что его обманывают, лгут, все равно помогал.

Но несчастья этих людей, зачастую виновных в своем падении, отступали перед страданиями сотен тысяч безвинных крестьян от голода, поразившего в 1891 году 20 губерний Европейской России. Мужики, не имея кормов для скота и семян, стали продавать лошадей, чем тут же воспользовались барышники. Закупка зерна осуществлялась через хлебных маклеров, ловкие дельцы молниеносно и фантастически обогащались. Газеты приводили факты безжалостной спекуляции. Среди мер спасения предлагалось создать в каждой деревне попечительство из «образованных людей, близко стоящих к народу», чтобы посредничать между крестьянами и государственными учреждениями. Имелись в виду помещики, духовенство. Земство уповало на правительственные меры, а чиновники предлагали земцам показать, на что они способны. В роли посредников власти видели епархиальное начальство и Красный Крест.

А. С. Киселев, знавший, как земский начальник, подноготную с распределением пожертвований, сказал Чехову: «В Москве, в Красном Кресте, воруют!» В обществе носились слухи о чудовищных хищениях средств, поступавших от частных лиц. Администрации на местах мало кто верил, ею возмущались. Нижегородский губернатор Н. М. Баранов уверял газетного корреспондента, что мужику опасно давать ссуду, не нужно, даже вредно, так как он ее пропьет. За зиму, как выразился глава губернии, мужик «изленится и деморализуется» — он и недоимку выплатить не может.

Как пожизненность заключения Чехов ощутил, лишь побывав на Сахалине, так ужас голода он хотел увидеть сам, воочию. Увидеть и сделать что-то конкретное, а не просто пожертвовать деньги, принять участие в сборнике. Хотя и от такой помощи не уклонялся. Не только отдавал некую сумму, но начинал собирать средства в пользу голодающих, больных, пострадавших. Вот в эту губернию генерала Баранова и собирался поехать Чехов в конце октября. Как он объяснял позже, отправиться «не с корреспондентскими целями», а уяснить положение дел, помочь с устройством столовых, покупкой скота и т. д. Пока же «втихомолку» собирал деньги и посылал давнему знакомцу по Воскресенску Е. П. Егорову, в это время земскому начальнику одного из округов Нижегородской губернии. И говорил о себе в

шутку той зимой, что изображает «благотворительную даму».

Поездку в Нижний Новгород пришлось отложить. Из-за безденежья и по просьбе родных: умирала от чахотки тетка, Федосья Яковлевна. Предстояли расходы, помощь двоюродному брату Алексею в похоронных заботах. С досадой, с раздражением Чехов рассказывал Суворину в октябре о своих буднях и настроении: «Погода убийственная, туманная, денег нет, работать мешают, мангус прыгает и проч. и проч.»; — «Мне необходимо удрать из дому хотя на полмесяца. <…> Всё у меня не удается, глупо валится из рук. <…> Какая-то чепуха, а не жизнь. <…> А мне ужасно хочется писать… <…> Отчего голова болит? От дурной погоды, что ли?»

Чтобы скрыть раздражение, он избегал разговоров и рано ложился спать. Жизнь в городе, в тесной квартире становилась невыносимой. Уйти из семьи Чехов не мог — оставалось изменить хотя бы домашние условия. Отец досаждал бесконечными претензиями. Ничем не занятый, он требовал от домочадцев внимания, на всех обижался, особенно на беспокойного мангуста. Мать тихо ворчала, что деньги уходят неизвестно на что, что прислуга ленива, что, умрет Феничка, она останется без родного человека, потому что детям она не интересна. Михаил приезжал из Ефремова и жаловался, что ему надоело в захолустье и хорошо бы получить место в большом губернском городе, не поможет ли добрый Алексей Сергеевич. Иван получил место в Москве, не жаловался, но стало заметно, как мечталось ему о семейном гнезде, о собственном доме.

Дешевая квартира на окраине не спасла бы Чехова, потому что держать свой выезд не по карману, пришлось бы тратиться на извозчиков. Оставался давний вариант: уехать из Москвы, купить «хутор» где-нибудь в провинции. Медицина давно отошла на задний план. Чехов изредка принимал больных, но постоянной врачебной практики у него в сущности не было, ею он не жил и не кормился. Для литературной работы ему требовалось одиночество, другая обстановка. В городе, Москве ли, Петербурге, не избежать ненужных встреч, неприятных разговоров, которые лишали душевного равновесия. Но исключить их вовсе, наверно, невозможно в любом уединении.

Едва в октябре началось печатание «Дуэли», нововременская рать поднялась в ружье. Из письма старшего брата Чехов узнал, как взъярились тамошние фельетонисты. Им показалось, что их оттеснили: «Никогда на твою главу не падало столько ругани, сколько теперь <…> ругают тебя, как узурпатора, и даже высчитывают, сколько каждый из них потеряет, пока будет печататься твоя повесть. <…> Словом, врагов ты себе нажил

многих. <…> Третий день уже редакционная компания разносит тебя в щепы. <…> Всё тебе ставится в строку. Сообщаю тебе это просто по-братски: мне надоело слушать, как тебя ругают. <…> О тебе, между прочим, по Питеру ходит сплетня о том, будто ты женишься и берешь капиталы несметные». Вскоре распространился слух, будто Суворин покупает и дарит Чехову имение.

Расчет клеветников изменился по сравнению с прошедшими годами — злословить в гостиных и на обедах литераторов, что Чехов бесталанен, что он «исписался», уже было напрасно, даже смешно. Каждая новая повесть или рассказ становились событием. Значит, надо скомпрометировать его как человека, оговорить, пустить сплетню, оклеветать. Может быть, за личной неприязнью скрывалась уродливая, но по-своему безошибочная реакция недругов Чехова на общественное мнение о нем. Из автора коротких «осколочных» рассказов, из литератора он превращался в глазах общества в писателя. Его личность все более интересовала читателей, они «вычитывали» ее из повестей, рассказов Чехова. Это позволяло особое, в то время еще неразгаданное присутствие автора в его свободной прозе. Но оно уже ощущалось. Упоминание имени Чехова в переписке современников не уступало упоминаниям в критических обзорах и рецензиях.

Оговорка насчет «жрецов беспринципного писания», так оскорбившая Чехова накануне поездки на Сахалин, не была просто глупой и вздорной, как это казалось милейшему и добрейшему Свободину. Она была показательна. Литературные судьи не удостаивали Чехова званием писателя. Литературная среда протестовала сплетнями против читательского успеха Чехова. Чем очевиднее он проявлялся, тем нелепее и несуразнее измышлялись слухи — то о женитьбе Чехова «на миллионах», то о его баснословных гонорарах.

В литературе Чехова защищала сама литература, то есть его рассказы и повести. Печатных протестов против сплетен, слухов, а также выяснения отношений, прилюдного или один на один, он не признавал. На заступничество не рассчитывал. Сплетников, злых и несправедливых людей не то чтобы презирал или игнорировал, а не уделял им в своей душе ни времени, ни места. Эти, по его выражению, «сладости» их жизни (сплетня, злобный выпад) казались Чехову скучными и неинтересными. С годами он научился гасить неприятные ощущения от доходивших до него слухов и домыслов.

Но зачем старший брат рассказывал ему о нововременских врагах? Объяснение — «мне надоело слушать, как тебя ругают» —

не в пользу Александра Павловича. Надоело: или не слушай, или заступись, или смолчи, но не расстраивай этим вздором. В ответ он получил письмо, выдержанное в духе сурового равнодушия к газетным недругам, с очевидным внутренним отрешением от них: «Печатают меня по средам и вторникам или вовсе не печатают — для меня решительно всё равно. Отдал я повесть, потому что был должен „Нов[ому] времени“, и если бы не последнее обстоятельство, то повесть моя печаталась бы в толстом журнале, где она вошла бы целиком, где я больше бы получил и где не было бы жужжанья моих уважаемых товарищей». На совет — переговорить с Сувориным о средах — отрезал: «Они мне так же не нужны, как и мое сотрудничество в „Нов[ом] вр[емени]“, к[ото]рое не принесло мне как литератору ничего, кроме зла. Те отличные отношения, какие у меня существуют с Сувориным, могли бы существовать и помимо моего сотрудничества в его газете».

Сотрудничество с «Новым временем» бросало на Чехова тень в глазах либералов, студенческой молодежи, противников Суворина в журналистской и литературной среде. Но главное — оно уже претило ему самому. Чехову не было стыдно за то, что он печатал в этой газете. Но, вероятно, всё более становилось неловко перед собой за то, что он печатался на одних страницах с Бурениным и остальными «зулусами». Он все-таки написал Суворину. И не столько попросил, сколько поставил условие: «Печатайте „Дуэль“ не два раза в неделю, а только один раз. Печатание два раза нарушает давно заведенный порядок в газете и похоже на то, как будто я отнимаю у других один день в неделе, а между тем для меня и для моей повести всё равно печататься, что один, что два раза в неделю». Чехов объяснил свою настойчивую просьбу: «Среди петербургской литературной братии только и разговоров, что о нечистоте моих побуждений. Сейчас получил приятное известие, что я женюсь на богатой Сибиряковой. Вообще много хороших известий я получаю».

Суворин понимал, что Чехов имел в виду его сотрудников. Эту «братию» он знал очень хорошо и сам впоследствии рассказывал о протестах против «Дуэли». Он сделал вид, что учел и пожелание Чехова, и демарш своих приближенных. Из пяти оставшихся сред были пропущены две. Хотя, конечно, не во вторниках и средах крылась причина. Суворин уже давно отпустил вожжи, отдав газету на откуп сыну Алексею и его присным. Шум вокруг публикации «Дуэли» они использовали, чтобы показать, кто настоящие хозяева в редакции. Спустив им ругань, сплетни, оскорбления в адрес Чехова, Суворин, по сути, разрешил большее, то есть откровенное надругательство. При

этом Чехов оказался бы ближней целью, а сам Суворин — дальней. Но Чехов разрушил эти расчеты. «Дуэль» завершила его сотрудничество в «Новом времени». Он отдаст сюда еще один очерк в декабре 1891 года и рождественский рассказ в декабре следующего.

Остались его *личные* отношения с Сувориным, а газета ушла в прошлое. Так что с этим злом было покончено. И утешение старшего брата в письме от 28 октября, его советы — наплевать на сплетни, ругань — прозвучали трогательно, но, наверно, оказались ни к чему. Тем более что всё это пришлось на печальные дни. 25 октября скончалась Федосья Яковлевна, 26 октября умер Илиодор Пальмин. Тем, кто провожал поэта в последний путь, показалось, что у могилы на Ваганьковском кладбище Чехов был не просто хмур, а мрачен. Лейкин будто бы хотел пригласить всех на поминки, но Чехов сказал: «Не нужно». В ресторан поехали только сотрудники «Осколков».

Со смертью тетки («Славная была женщина. Святая»), которая всю жизнь прожила около Чеховых или вместе с ними, словно затуманились таганрогские годы. Кончина Пальмина, может, самого интересного собеседника Чехова в московские годы, будто подвела черту под этим временем. В связи с известием, что обречен Курепин, Чехов написал Суворину: «Смерть подбирает людей понемножку. Знает свое дело».

В одном из его августовских писем затерялась строка: «Я теряю в весе». В сентябре из-за нездоровья Чехов безвыходно сидел в доме. Может быть, он предполагал, что всё пройдет вместе с усталостью, так как все-таки собирался в октябре в Нижний Новгород. Но потом перенес поездку на январь. Весь октябрь он перемогался, а в начале ноября подхватил тяжелейший грипп. По некоторым признакам это заболевание перешло в воспаление легких. Чехов продолжал худеть («стал худ, как копченая стерлядь»), из-за кашля плохо спал, однако в кровохарканье не признавался. Но в одном из писем перечислил те средства, которыми обыкновенно его останавливал.

18 ноября он написал Суворину: «Я продолжаю тупеть, дуреть, равнодушеть, чахнуть и кашлять и уже начинаю подумывать, что мое здоровье не вернется к прежнему своему состоянию. Впрочем, всё от Бога. Лечение и заботы о своем физическом существовании внушают мне что-то близкое к отвращению. Лечиться я не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя не позволю».

Сказано резко и определенно. Через некоторое время Чехов высказался еще яснее, что нынешнее нездоровье — поворот жизни «если не к старости, то к чему-нибудь похуже». Это ощущение

сквозило в письме другу молодости Шехтелю, милому, надежному, доброму Францу Осиповичу. Повод — помощь голодающим, сбор пожертвований. Но в последних строчках щемящая интонация: «Надо бы нам повидаться и старину вспомнить. Ах, как надо бы!» Не исключено, что кровотечения, случившиеся в 1884, 1886 и 1888 годах, пугали Чехова, но не ощущались неизлечимым недугом, сжирающим изнутри. Но теперь?

Чахотка уже унесла трех близких людей: брата Николая, тетку и дядю со стороны матери. Не принимать никаких мер — значит смириться с болезнью. Или Чехов, сам прекрасный диагност, часто имевший дело с чахоткой в своей врачебной практике, понимал, что лечение не спасет и полное выздоровление уже невозможно? К тому же на лечение нужны деньги: больному обыкновенно прописывали хорошее питание, душевный покой, курорт в Швейцарии, в Крыму или на Ривьере.

Десять лет назад, Чехов, студент-медик, описал эту болезнь в повести «Цветы запоздалые». Доктор Топорков, расспросив Марусю о кашле, лихорадке, ночном поте, выслушав ее и найдя звук в верхушке левого легкого сильно притупленным, («ясно слышались трескучие хрипы и жесткое дыхание»), «начал задавать ей вопросы: хороша ли квартира, правилен ли образ жизни и т. д.

— Вам нужно ехать в Самару, — сказал он, прочитав ей целую лекцию о правильном образе жизни. — Будете там кумыс пить».

Если бы Чехов допустил прослушивание себя коллегами, вряд ли он, отвечая на их вопросы, рассказал то, чего не скрыли его письма.

Недомогания? Да, кашель, лихорадки, перебои сердца, кровохарканье, хронические кровотечения.

Квартира? Всегда густо населенная. Иногда шумная, плохо отапливаемая, не очень удобная. Питание? По доходам. Иногда маленьким. Никаких специальных блюд с учетом больного кишечника и пораженных легких. Общий семейный стол.

Образ жизни? Постоянный напряженный труд. Иногда на пределе сил. Тяжелая поездка на Сахалин. Давняя, непреходящая усталость.

Душевный покой? Семейные неурядицы и заботы, «трепанье» его имени в печати. Постоянная тревога в последние годы и часто меняющееся настроение.

Что-то странное, на первый взгляд противоречивое было в жалобах Чехова на недомогание. Ощущение «худого», то есть неизлечимого и опасного недуга, и одновременно — порыв ехать

в Нижегородскую губернию, на голод, организовывать помощь на местах.

Но осенью и ранней зимой 1891 года произошла перемена. Наверно, не вдруг, а исподволь. Будто включились некие «часы». Недаром Чехов часто повторял слово «время». 13 декабря он написал Суворину: «Рассказы вообще тем хороши, что над ними можно сидеть с пером целые дни и не замечать, как идет время, и в то же время чувствовать нечто вроде жизни». Что-то изменилось во внутреннем самоощущении, в глубинном настроении Чехова. Будто проступало иное отношение к своим литературным занятиям. Они не просто заработок, но жизнь. «*Вроде жизнь» или сама жизнь*?

Менялись интонация писем, замыслы новых рассказов и повестей. Даже шутки другие: «Если я в этом году не переберусь в провинцию и если покупка хутора почему-либо не удастся, то я по отношению к своему здоровью разыграю большого злодея. Мне кажется, что я рассохся, как старый шкаф, и что если в будущий сезон я буду жить в Москве и предаваться бумагомарательным излишествам, то Гиляровский прочтет прекрасное стихотворение, приветствуя вхождение мое в тот хутор, где тебе ни посидеть, ни встать, ни чихнуть, а только лежи и больше ничего. Уехать из Москвы мне *необходимо*».

Это «необходимо» — словно черта под московскими годами, какой-то момент, после которого уже не было возврата к здоровью, а до последнего «хутора», может быть, не так уж и далеко.

Но, отказавшись лечиться, Чехов намеревался лечить. Не для заработка, а для живого чувства жизни в оставшиеся годы: «Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке с мангусом. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита — это не жизнь, а какой-то гандон и больше ничего». Сравнение грубое, как всегда у Чехова в откровенные и тяжелые минуты. Но точное.

Итак, отъезд из Москвы был предрешен. Сговорчивый и уступчивый в обыденных делах, Чехов какие-то, главные для него вопросы решал сам (поездка на Сахалин, переезд в провинцию). Он учитывал и не нарушал интересы семьи, обеспечивал родителям и сестре безбедное существование. Но исходил в таких решениях из того, без чего он не мог жить. Из своего самостоянья, из того, что было необходимо ему лично.

Родительское «нада» определяло бытовую жизнь семьи. Внутреннюю скрытую жизнь Чехова приоткрывало его

собственное «надо». Не слово, а глубинное мироощущение.

Завершалось двенадцатилетнее жительство Чехова в Москве. Но где найти деньги на покупку дома? Видимо, когда Суворин осенью приезжал в Москву, Чехов договорился о займе в несколько тысяч. В конце ноября и начале декабря 1891 года он разослал оконченные повести и рассказы по журналам. Рассказ «Жена» в «Северный вестник». Рассказ «Попрыгунья» в «Север». Попросил выслать аванс. Новая издательница «Северного вестника» Любовь Яковлевна Гуревич огорченно ответила, что она сейчас в стесненных обстоятельствах. Чехову пришлось еще и утешать ее: «Я никогда не пишу о деньгах и считаю это ужасно щекотливой штукой, но заикнулся об авансе <…> потому что у меня в карманах буквально ни гроша. Я прошу Вас убедительно не стесняться и выслать мне гонорар за мои рассказы, когда Вам угодно и удобно. <…> Если Вы теперь пришлете мне рублей 200, то остальную часть гонорара можете прислать хоть в марте или в несколько месяцев по частям. Одним словом, делайте так, чтобы я не стеснял Вас. Еще раз прошу извинить. <…> Искренно Вас уважающий А. Чехов».

Но решения о хуторе не изменил. Шутливо подписался под одним из писем: *Маньяк-хуторянин и Географ.*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МЕЛИХОВО (1892–1898)

Глава первая МЕЛИХОВСКОЕ «ГЕРЦОГСТВО»

Чехов мечтал о хуторе на юге, где бы он лечил, много читал, писал рассказы и повести. Ему «сватали» хутор около гоголевских Сорочинец — не подошел дом. Нашли еще один там же, в Полтавской губернии, — сорвалось.

У этой неудачи была подоплека. Дело в том, что поисками занимался А. И. Смагин, полтавский помещик, с которым познакомились, когда снимали дачу у Линтваревых. Чехов в 1888 году описал обветшалый дом, запущенный сад, старых слуг: «Всё ветхо и гнило, но зато поэтично, грустно и красиво в высшей степени».

Александр Иванович пленился Марией Чеховой. Он просто грезил, что москвичи переедут в эти места, будут соседями, а может быть и родней. Хлопоты Смагина питались надеждой, что Мария Павловна станет хозяйкой его дома. Конечно, она знала о чувствах эмоционального поклонника, но замуж не собиралась. За ней ухаживали, но она либо отказывала, как например, в 1882 году тому самому нижегородскому Егорову, тогда поручику артиллерийской батареи, стоявшей в Воскресенске, либо не придавала серьезного значения, например, признанию Левитана в бабкинские годы. Не сделала шага навстречу Шехтелю, в молодости душевно расположенному к ней.

Отказала она и Смагину. Он вообразил, что дело в сопернике, Г. М. Линтвареве, а может быть, отговаривал брат Антон, которого она якобы «слушается». Он рвался объясниться с Чеховым, писал избраннице восторженные письма, умолял, заклинал, надеялся покорить своей любовью. Всё оказалось напрасно. Бурные признания подталкивали осторожную, рассудительную и всегда заботившуюся о своем душевном покое Марию Павловну к окончательному разрыву. Ей явно не хотелось становиться полтавской помещицей, жить в глуши, в милом, но скучном, тихо разорявшемся семействе.

Марии Павловне, в отличие от брата, Москва очень нравилась. Необременительная служба в гимназии не мешала бывать в театрах, на выставках, в концертах. Домашние заботы теперь, когда имели прислугу, тоже не тяготили. Ей не надо было думать о куске хлеба. Живя на всем готовом, единственная сестра братьев Чеховых получала еще и небольшую ежемесячную денежную помощь от Ивана и Михаила.

Но главное, что разнообразило ее жизнь, — круг знакомых брата. Чехов давно подметил удовольствие сестры от внимания к ней литераторов, артистов, художников. Он подтрунивал над ее скрытыми амбициями, предостерегал от увлечения салоном Кувшинниковой. Иногда шутил над крепнувшим год от года тоном хранительницы фамильной репутации. Словно у крепостного, потом купеческого, затем мещанского рода Чеховых вдруг обнаружились дворянские корни. То была, безусловно, не глупая спесь или смешное чванство. Мария Павловна, умная, с чувством юмора, сама не терпела подобного в людях. Тут проступало иное. Она давно поняла, что такое быть *сестрой Чехова*. В литературе для нее был один Чехов, поэтому взыскивала с Михаила, подписывавшегося под своими рассказами родной фамилией. И она была одна — сестра Антона Чехова, а не «сестра братьев Чеховых».

Марии Павловне не хотелось навсегда уезжать в деревню. Она, как и Михаил, склонялась к покупке имения около Москвы, чтобы не бросать службу в гимназии, не порывать с городской жизнью.

Так начались в 1892 году поиски куска земли, дома, лучше бы с парком, недалеко от реки и лиственного леса. И чтобы место было сухое, и станция близко, и дороги хорошие. И сельский храм непременно. Так рисовалось Павлу Егоровичу и Евгении Яковлевне, никогда не жившим в русской деревне. Чехов, наверно, единственный в семье разделял мнение Егорова, которым тот поделился в своем письме: «Надо жить с мужиками, иметь с ними каждый день дело для того, чтобы отречься навсегда от всех теоретических взглядов на него (народ. — А. К.)». Но пока предстояло решить денежный вопрос.

Новый, 1892 год Чехов встречал в Петербурге, у Суворины. В воспоминаниях Л. А. Авиловой о Чехове, этом «литературном романе», описан юбилей «Петербургской газеты». Его отмечали 1 января в доме издателя газеты Худекова. Хозяин дома предложил редкому московскому гостю занять место среди «избранных». Чехов отказался. Он сидел рядом с Авиловой. Некоторых петербургских литераторов задели почести, оказываемые Чехову. Дневники современников не оставляют сомнений: в Петербурге у Чехова были и недоброжелатели, и враги, не брезговавшие ни сплетней, ни клеветой, ни поношением. Весной того года Щеглов записал: «Александров, Ясинский и К°. Чехов — это „Суворинская содержанка“! И вся эта сплетня, разумеется, из зависти к его слепому успеху. Фу, какие <…> свиньи!!»

Правда, и сам милейший Иван Леонтьевич продолжал считать успех Чехова «легким», «слепым», чуть ли не

заслуженным и будто бы вскружившим Чехову голову. Странное чувство испытывал Щеглов к Чехову. Не враждебное, не завистливое, а скорее недоуменное: почему Чехову везет, а ему нет. Это казалось обидным, несправедливым. Он списывал свои неудачи на судьбу, на случай. Чехов пытался приободрить приятеля, завышал его скромное дарование. Но Щеглов еще сильнее досадовал, даже подозревал «Антуана» в подражании своим одноактным пьесам. То отрицал всё написанное Чеховым к этому времени (останутся «две, четыре безделки»), то превозносил: «В одном маленьком рассказе Чехова больше чуется Россия, чем во всех романах Боборыкина».

Чехов стал тайным мучением нервного, чрезвычайно мнительного, не очень счастливого человека, хотя несчастье его жизни было в нем самом, в каком-то непрямом взгляде на людей, в чувстве вечной ущербности. Этот взгляд, видимо, и не позволил Щеглову понять по-настоящему ни самого Чехова, ни его прозу, ни драму. Непонимание оборачивалось замечаниями о несовершенстве рассказов, повестей и пьес Чехова, о его человеческих недостатках, с точки зрения Щеглова («эгоист», «хотя и по *праву*, но как завидно счастливо устроился!!» и т. п.).

Неприязнь одних Чехов ощущал, о зависти других догадывался, о враждебности некоторых современников знал. Но взял за правило — не откликаться ни словом. Огорчался, когда замечал, как мнительность, обидчивость разрушали одаренного человека.

Переписка Ежова и Лазарева в 1880-е годы — это в том числе хроника нравов московской литераторской среды: кто у кого украл темы, строки, фразы, слова; кто и сколько получал за строчку; кого и как лягнули в прессе. Они обижались на мелкие уколы газетчиков в свой адрес. Писали «молниеносные» возражения, но отсылали их не обидчикам или в редакцию, а друг другу, для сведения. Чехов, давно покинувший этот омут, вытаскивал из него обоих приятелей. Но если Лазарева товарищеская помощь утешала, освобождала от «мещанского тона», то Ежова эта забота словно угнетала. В нем усиливался какой-то мелкий обывательский тон. Временами он спохватывался, каялся, но потом впадал в грех несправедливости, злопамятства. В нем будто взбухало что-то темное. Чехов, не подозревая о том, невольно, самим фактом присутствия в жизни того и другого, повлиял на отношения двух былых друзей.

Это постепенно проявлялось в их оценках Чехова и его родных, в спорах по поводу отзывов о Чехове в критике. Особенно — в отношении к Буренину. В 1891 году Лазарев писал Ежову: «Ирония Буренина по Чеховскому адресу мне не нравится.

Буренин пишет всё одно и то же, а это его роняет. Это имеет вид, как будто Буренин пишет из личностей и подрывает доверие к его словам». В том же году он прямо сказал Ежову, что, на его взгляд, Буренин травит Чехова и это «гадко и глупо», «недостойно».

Ежов, наоборот, всё чаще и настойчивее искал покровительства Буренина, млел оттого, что «великий» критик встретил его «мило и литературно». Зато стал подозревать Чехова в нетоварищеском поведении, злословил о нем в «Новом времени». По сути, взяв всё, что могли и хотели, Лазарев и Ежов расставались с Чеховым, расходились на литературном и житейском пути. Но по-разному.

9 января 1892 года петербургский литератор Ф. Ф. Фидлер записал в дневнике, который он вел неукоснительно и подробно: «Был позавчера на именинах Щеглова. Наибольший интерес среди присутствующих вызывал Чехов — его непрерывно чествовали. Весь его облик дышит простотой и естественностью, но есть в нем какая-то мягкая и спокойная самоуверенность. <…> Он любит Петербург больше, чем Москву, но не хотел бы жить в этом городе постоянно, „чтобы не перестать его любить“. Записал мне в альбом прямо после своего покровителя А. С. Суворина: *„Примечание к автографу А. С. Суворина: слово ‘изречение’ пишется через е, а не через ять“».*

Побыв в Петербурге всего неделю, договорившись с Сувориным о займе на покупку «хутора», о поездке в Воронеж по делам голодающих, Чехов покинул отныне мало привлекавший его город. Но слова, запомнившиеся добросовестному немцу-летописцу, относились и к Москве. Чехов не мог постоянно и подолгу жить на одном месте. Его интерес к месту, видимо, исчерпывался так же, как и интерес к тому или иному человеку.

Чехов ждал, когда же уедет из Москвы. Завершал кое-какие дела — например, устроил злополучного мангуста в Московский зоологический сад.

* * *

14 января Чехов выехал в Нижегородскую губернию, к Егорову. Неделю они мотались по уезду в метель, лютый мороз. Однажды сбились с дороги и едва не погибли. Уже в который раз за тридцать лет Чехов оказывался у опасной черты…

Увиденное и услышанное удручало. Он внес в книжку обширную запись, возможно, для газетной статьи: «В 1889 г. не уродило рожь; в 90 — яровые, а в 91 ни того, ни другого. <…> В октябре приходило к Е[горову] по 400 ч[елове]к с просьбой о

пособии. <…> Муж, жена, мать 5 <…> детей ели 5 дней похлебку из лебеды. Не едят по 2–5 дней — это зауряд. При мне в метель мужик и баба пришли за 8 верст просить пособия. <…> Пьянства нет. <…> Свадеб было мало, венчались многие в долг. <…> Храмовых праздников не празднуют. <…> Пособия на лошадей не выдавали. Нет ни сена, ни соломы, ни мякины, ни каких-либо кормовых средств. <…> Если весною не распашет яровых, то разорится досконально, на 2–3 поколения, пойдет в батраки; потому-то держится за лошадь, как кошка за мышь. Чтобы прокормить лошадь, продают корову, овец; от этого упадок хозяйства. <…> Когда весною начнутся полевые работы, то мужики, во-1-х, будут не в силах работать, во-2-х, будут ложиться спать усталые и голодные».

В поездке Чехов простыл. Едва оправившись после ноябрьского серьезного недомогания, он наверняка подорвал здоровье тяжелой дорогой, холодом, сквозняками. Его мучила боль между лопатками и в грудных мышцах. Боль жестокая и жесткая, так как он не мог двигать ни шеей, ни руками, не мог наклониться. Терпел несколько дней. Наконец сам поставил себе мушку, то есть пластырь. Но через 10 дней, как уговорились с Сувориным, намеревался ехать в Воронежскую губернию, опять по голодным делам. Поэтому он не обмолвился ни словом в письме к нему о болезни, не отказался от поездки. Рассказ об увиденном в Нижегородской губернии свел к краткому выводу, что газеты не преувеличили: «Правительство ведет себя недурно, помогает, как может, земство или не умеет или фальшивит, частная же благотворительность равна почти нолю». Крестьяне показались ему не лентяями, не пьяницами: «ядреные, коренники <…>. И умный народ».

В конце января вдруг решился вопрос с имением. Оно отыскалось недалеко от Москвы, в селе Мелихово Серпуховского уезда. Смотреть усадьбу и дом поручили «младшим» Чеховым, как самым практичным и хозяйственным.

Накануне отъезда столичный гость, Чехов и Шаврова ужинали в номере гостиницы «Славянский базар». Елена Михайловна запомнила, что Суворин почти не говорил, сидел в каком-то не то халате, не то пальто, положив подбородок на руки, скрещенные на массивной трости. Чехов пил маленькими глотками любимое вино «Шато Понте-Кане» и шутил, что не стоит их милой собеседнице закрывать свой лоб кудряшками.

Суворину, видимо, не очень хотелось ехать. И все-таки 2 февраля они выехали в Воронеж, потом в село Хреновое, затем на родину Суворина в город Бобров. И здесь помощь оказывалась, и здешний губернатор, как и нижегородский, оказался человеком

дельным. Чехов написал Егорову о воронежском опыте. Зато его спутнику скоро прискучили разговоры о скупке лошадей, о ссудах, о безлошадниках, столовых, мастерских. Одно дело отчитать кого-то в «Маленьком письме», написать с чувством о мужицкой России. Другое — вникать в деревенскую жизнь, разбираться в пособиях, наделах, неустойках, яровых, озимых. Суворин делал визиты, потом они посетили казенный Хреновской конный завод. Это не имело к несчастным мужикам никакого отношения. Чехов с иронией, даже с сарказмом написал сестре: «Дела наши с голодающими идут прекрасно: в Воронеже мы у губернатора обедали и каждый вечер в театре сидели <…>»

На заводе гости застали приготовления к любительскому спектаклю, естественно, в пользу голодающих: «Затем блины, разговоры, очаровательные улыбки <…> чаи, варенья, опять разговоры и, наконец, тройка с колоколами. Одним словом, с голодающими дела идут недурно». Это была и самоирония, и пародия на все подобные благотворительные обеды, домашние спектакли, разговоры о «бедном народе», «несчастных детях». Едва речь заходила о конкретном, Суворин проявлял наивность и учительный апломб. Чехов дописал ироническую зарисовку, имея в виду своего спутника: «Чепуху мы несем ужасную и приходим в детское раздражение, если нам замечают, что мы несем чепуху и ничего не понимаем. Утром мы бываем в духе, а вечером говорим: за каким чёртом мы поехали, ничего я тут не сделаю и т. д.».

Чехов еще ранее написал Егорову, что в помощи голодающим надо рассчитывать не на богатых, а на «среднего человека, жертвующего полтинники и рубли». На них он рассчитывал сам, собирая пожертвования: от 20 копеек до 10 рублей. Изредка ему приносили 100 рублей. Но вместе гривенники и рубли складывались в солидные суммы. На эти деньги Егоров устраивал столовые для взрослых и детей.

В феврале 1892 года Плещеев рассказал в письме Суворину из Ниццы, как откликнулись безбедные соотечественники на инициативу устроить концерт в пользу голодающих: «Надо было видеть, с каким черство-злобным высокомерием отнеслась эта здешняя паскудная колония <…> к этому концерту!

Один генерал во всеуслышание сказал в табльдоте, что „это безобразие, это поощрение дармоедства, лености“ <…>»

Весной 1892 года Егоров, измотанный, донельзя усталый, признался в письме: «Представить Вы себе не можете: насколько надоела голодовка и все с нею связанное <…> прибавьте общую неопределенность, массу ненужного шума. <…> Я теперь не менее мужика молюсь, чтобы Бог ему послал урожай. Пора

отдохнуть». Но вскоре с тревогой спрашивал, нет ли у Чехова знакомых врачей, готовых приехать в его уезд для борьбы с холерой. Одно бедствие сменялось другим. Под этим знаком начиналось «мелиховское течение жизни».

Новый «хозяин» имения сразу понял, что дом для семьи тесен и в запустении. Ни реки рядом, ни большого старинного парка. Зато деревня под боком, в двух шагах. Продавец без конца лгал относительно банковского и текущего долга.

Имение располагалось в девяти верстах от железнодорожной станции Лопасня Московско-Курской дороги, в 23 верстах от уездного города Серпухов и в 70 верстах от Москвы. От Москвы до Лопасни — два с половиной часа пути. В течение дня на станции останавливались шесть поездов, еще один добавлялся в дачный сезон. Дорога от станции к имению — Каширский тракт, непроезжий в весеннюю распутицу и осеннюю хлябь. Летом — весь в ухабах, в облаках пыли. Зимой дорога угадывалась по воткнутым вешкам. Ямщики брали до Мелихова рубль. Телега и тарантас — одна пытка, а рессорный экипаж не выдерживал ям и кочек.

Чехов рассказывал об имении и в шутку и всерьез в первые дни после переезда: «Не было хлопот, так купила баба порося! Купили и мы порося — большое, громоздкое имение <…>. 213 десятин на двух участках. Чересполосица. Больше ста десятин лесу <…>. Называют его оглобельным, по-моему же, к нему более подходит название розговый, так как из него пока можно изготовлять только розги. <…> Фруктовый сад. Парк. <…> Вся усадьба загорожена от мира деревянною оградою на манер палисадника. <…> Дом и хорош, и плох. Он просторнее московской квартиры, светел, тепел, крыт железом <…> имеет террасу в сад, итальянские окна и проч., но плох он тем, что недостаточно высок, недостаточно молод, имеет снаружи весьма глупый и наивный вид, а внутри преизбыточествует клопами и тараканами, которых можно вывести только одним способом — пожаром; всё же остальное не берет их. <…> В саду, в 15 шагах от дома, пруд <…> с карасями и линями, так что рыбу можно ловить из окна».

Михаил Павлович в своих мемуарах списал неудачу с покупкой имения на неопытность, свою и сестры, хотя во всех остальных случаях особо подчеркивал свое здравомыслие, практичность. Он объяснял заблуждение с Мелиховом тем, что они смотрели усадьбу зимой, когда всё скрывал снег. Ссылался на недобросовестность продавца, которому он и сестра верили, а тот их обманывал на каждом шагу. Но главным образом мемуарист, никогда ни в чем не чувствовавший себя виноватым, упирал на

требование брата: скорее купить имение.

На первый взгляд покупка мелиховского имения — не менее странный поступок, чем решение Чехова ехать на Сахалин. Зачем семье, в которой в силу возраста, занятий, интересов никто не собирался, не умел и не хотел заниматься сельским хозяйством, столько пахотной земли, 150 десятин леса, обширные луга? Первоначально, в разговорах о «хуторе», речь шла о десяти — двадцати десятинах — об усадьбе, но не об имении. А тут в десять раз больше. Хозяин этого «герцогства» шутил, что, подобно Расплюеву из «Свадьбы Кречинского», знает «только, что земля черная, — и больше ничего», что он создан дачником, а не помещиком, а если и помещик, то «захудалый». Иронизировал над собой в письме брату Ивану, передавая наказ «от господ помещиков».

Внутри дом оказался грязен, с плохими полами, угарными печами, замызганной кухней, холодным нужником, провонял кошками. Живность — три полудохлые лошади, некормленая корова, четыре гуся, десять кур, две собаки, Шарик и Арапка. Уже через два месяца пала одна из лошадей, птица передохла. Вообще поначалу всё было страшновато на вид. Когда отодранные обои вынесли в сад, гуси клевали тараканов и клопов. Чехов собирал клопов со стен гусиным пером в полоскательницу. Решили оклеить дом заново. Голые деревянные стены Чехов не любил.

Описывая дом и двор, повторял слово «наивный». Но, возможно, это он чувствовал себя простодушным, обманутым и обманувшимся. Имение было куплено за 13 тысяч. Продавец получил четыре тысячи наличными и закладную в пять тысяч по 5 процентов на десять лет, то есть нотариально оформленное обязательство покупателя уплатить данную сумму в обозначенный срок. Остальные четыре тысячи продавец получил той же весной в банке, едва Чехов заложил имение. Тогда же были отданы две тысячи в счет закладной. Тысяча рублей ушла на купчую, нотариуса, чиновников.

Весной 1892 года Чехов очутился, по его выражению, «на цепочке» большого долга, около 18 тысяч. Долг конторе «Нового времени» составил 8170 рублей. Он сложился из пяти тысяч, взятых на покупку имения, и 3170 рублей старого непогашенного долга, возникшего в связи с поездками Чехова на Сахалин и за границу. Шесть тысяч рублей — это банковский долг с ежегодными процентами в 470 рублей. Еще три тысячи — оставшаяся сумма по закладной. А помимо долга — ежедневные расходы на благоустройство запущенного хозяйства, на корм скоту, резко подорожавший из-за предыдущих неурожайных лет.

Конечно, можно было продать часть земли, свести лес и т. п.

Но Чехов лелеял планы насчет пасеки, нового пруда, посадок и т. п. Надеялся погасить все долги гонорарами и выручкой от продажи его книг, издаваемых по-прежнему типографией Суворина и продававшихся в книжных магазинах и ларьках «Нового времени».

Довольно скоро Чехов сам сказал, что покупать имение надо по карману и чтобы оно «хотя бы издали подходило под привычные жизненные условия». А для него это: «кабинет, парк, солнце, почта…» Что он обрел? Маленький кабинет, небольшой парк, почта — за девять верст по отвратительной дороге. По соседству деревня с несколькими кабаками. И еще — большой участок леса, за которым надо присматривать, ухаживать. И много земли, которую надо использовать. Чехов не собирался брать управляющего (всегда иронизировал над ними в своих рассказах и пьесах). Младший брат уверял, что можно справиться самим, он служит не так далеко или вообще переведется в Серпухов, возьмет хозяйство в свои руки. Но в посулы Михаила верили в семье только родители.

Представлял ли Чехов, какие предстояли расходы в связи с ремонтом дома, покупкой скота, инвентаря, семян? Он, по его выражению, «остервенел» уже от затрат по оформлению покупки и сравнивал себя с человеком, который «зашел в трактир только затем, чтобы съесть биток с луком, но, встретив благо-приятелей, нализался, натрескался, как свинья, и уплатил по счету 142 р. 75 к.». А впереди была посевная.

Довольно скоро потянулись больные. Сначала из Мелихова, потом из окрестных сёл и деревень. Доктор не брал плату, мужики и бабы смотрели на него то ли как на юродивого, то ли как на святого. Чехов, словно нарочно, всё сделал наперекор здравому смыслу: влез в серьезные долги; взвалил на плечи большое хозяйство; поселился около деревни.

Зачем он согласился на всё это?

* * *

Этот вопрос напрашивался сам собой. Как и в случае с Сахалином. Объясняя выгоды переезда, Чехов почему-то начинал с итальянских окон в своем кабинете и радовался обилию света. Затем упоминал давно желанное одиночество, свободу от городской суеты, от неизбежных уколов самолюбия, съедающих время и душевные силы. А для работы он нуждался в спокойном настроении, и ему верилось, что в деревне будет спасен от мелких обид, чужой глупости, что Мелихово — как он говорил —

«благоприобретенная Австралия». Этот материк стал в письмах Чехова шутливым символом бегства в мечту, в счастливое уединение. Но письма приходили и в подмосковную «Австралию», а в них порой те же обиды, претензии, недоразумения. Вдруг написала Авилова с обвинением, будто Чехов недостойно обошелся с ее именем, когда зимой в Петербурге, в мужской компании в доме Лейкина, хвастал, что увезет ее от мужа и т. д. Она не назвала имя того, кто рассказал об этом ее ревнивому супругу, хотя и догадалась.

Не подозревая, что это был Ясинский, Чехов сослался именно на него, как на свидетеля своих добрых слов об Авиловой и ее сестре, жене Худекова: «Я и грязь… Мое достоинство не позволяет мне оправдываться <…>. Насколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли? Убедительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге. Или же, если нельзя не верить, то уж верьте всему, не в розницу, а оптом: и моей женитьбе на пяти миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей и т. п. <…> если бы я был пьян как сапожник или сошел с ума, то и тогда бы не унизился до „этого духа“ и „грязи“ (поднялась же у Вас рука начертать это словечко!), будучи удержан привычною порядочностью и привязанностью к матери, сестре и вообще к женщинам. <…> Впрочем, Бог с Вами. Защищаться от сплетен <…> бесполезно. Думайте про меня, как хотите».

В своих мемуарах Авилова передала по памяти свою долгую беседу с Чеховым во время юбилейного обеда в доме Худекова. Припомнила скучающее лицо Ясинского: «Он был писатель и печатал толстые романы, но никаких почестей ему не оказывали и даже на верхний конец стола не посадили. К Чехову он обращался с чрезвычайным подобострастием и выражал ему свои восторги, но не было никакого сомнения, что он завидует ему до ненависти, в чем я впоследствии убедилась».

Догадавшись, а потом и удостоверившись, кто выдумал «грязную историю», Авилова, по ее словам, сказала о своих предположениях мужу:

«— Наврал? Возможно. Да, это он мне рассказал, — признался Миша. — Но ведь это известная скотина!

Я почувствовала большое облегчение».

Но почему-то написала Чехову, повторила сплетню, «начертала» слово «грязь», упрекнула за болтовню. То есть, зная, что Ясинский наврал, обидела Чехова этой ложью. И тем самым выдала пафос своего чувства к Чехову и жанр своих мемуаров, получивших сразу оттенок шаблонной мелодрамы (обиды,

упреки, интриги, слезы, ревнивый муж, добродетельная жена и т. п.).

Что же до письма Чехова, оно могло, судя по сходным ситуациям, лишь закрепить «протокольность» его писем Лидии Алексеевне. Они соответствовали официальному стилю, принятым нормам, ровному тону. Авилова, судя по всему, была и оставалась в глазах Чехова замужней добропорядочной женщиной, многодетной любящей матерью, весьма средней литераторшей-дилетанткой. К тому же человеком, принадлежащим к петербургскому кругу, родственницей Худекова, имевшего репутацию такого же любителя слухов, сплетен, «историй», как Суворин и Лейкин. Чехов неизменно обращался к Авиловой: «Уважаемая Лидия Алексеевна!», «Многоуважаемая Лидия Алексеевна!»

Сплетня, переданная Авиловой, совпала по времени с мартовской записью Щеглова о другой клевете Ясинского на Чехова. Что подогревало столичного злоязычника? Откуда вдруг такая неприязнь к Чехову? В 1890 году Фидлер спросил Ясинского, кого из современных литераторов тот считает «наиболее значительными», и он, засмеявшись, ответил: «Себя самого, потом Альбова, Короленко и Чехова». В 1891 году он повторил: «Новое слово сказали лишь трое: Альбов, я и Чехов. <…> Критика нас не понимает».

Но в эти годы критика уже выделила Чехова из общего ряда. Даже бранили его отдельно. Это внимание — и в жизни (как на обеде у Худекова), и на страницах печати, и в кругу литераторов (без упоминания имени Чехова не обходился ни один разговор о современной литературе), — наверно, раздражало Ясинского. Бессильный зачеркнуть чужой талант, он порочил имя тех, кого не любил. Он естественно вписывался в петербургскую среду литераторов, критиков, театральных рецензентов, от которой уклонялся Чехов. Здесь обычай — в глаза, в печатных отзывах говорить о человеке одно, а за глаза, в письмах, в своих дневниках говорить иное — проявлялся особенно зримо.

Тот же Ясинский тогда же, в начале 1892 года, рецензию на сборники Чехова и на повесть «Дуэль» закончил словами: «Из молодых беллетристов, выступивших на литературное поприще в восьмидесятых годах, Антон Чехов, бесспорно, самый даровитый, и его ожидает блестящая литературная будущность». Чехов назвал этот отзыв «щедрым» и поблагодарил автора. Ясинский в ответном письме горячо уверял, что, перечитав или что-то прочитав впервые, «просто влюбился» в Чехова. И, как он выразился, «ото всего русского читающего люда» уверял, что от Чехова ждут «еще вдвое и втрое больше».

В одно и то же время — «Суворинская содержанка», а в разговорах, письмах и приглашениях в гости, — нескрываемое намерение с помощью Чехова, через Чехова, оказаться ближе к Суворину: «Я Вас жду, и другие Вас ждут, не знаю, как обяжете. Алексей Сергеевич такой любезный и добрый человек, что если бы он заглянул на минутку? Но я боюсь даже его просить. А все же передайте ему мое приглашение. Сердечно Ваш Ясинский». В мемуарах Ясинского история знакомства с Сувориным и приглашения в «Новое время» была впоследствии изложена иначе.

Как и в случае с воспоминаниями Мережковского, Авиловой, Щеглова, наверно, надежнее, интереснее письма, дневники. Но и эти источники достоверны, если только они опубликованы не при жизни того, кем написаны, и не подготовлены им собственноручно к печати. То есть не отредактированы для потомков так, как редактируют мемуары. Ясинский вспоминал, что письма Чехова к нему после покупки имения «дышали удовлетворением собственника». Между тем Чехов писал ему в марте 1892 года: «Ах, если б Вы знали! Я купил себе имение. То есть не купил, а приобрел, так как заплатил только одну треть стоимости, остальные же две трети пошли в долг и будут погашены, вероятно, чрез посредство благодетельного аукциона. Меня теперь одолевают целые тучи плотников, столяров, печников, лошадей, алчущих овса, а у меня, как говорят, хохлы, денег — чёртма! Крохи, оставшиеся после покупки, все до единой ушли в ту бездонную прорву, которая называется первым обзаведением. <…> Если бы не каторжная мысль, что для посева мне нужно купить овса больше чем на 100 руб. (клеверу я уже купил на 100), то жилось бы мне сносно».

Уже с первых дней в письмах прорывалось признание, что такое имение обременительно со всех точек зрения. Надо бы поменьше и где-нибудь в теплых краях, в гоголевских местах. Чехов не предполагал заниматься сенокосом, молотьбой, уборкой картофеля, озимыми. Он менял скорее место жительства, чем образ жизни. А получалось наоборот. И он почувствовал это сразу: «Мысли мои около овса и клевера, а душа и сердце в пруде с карасями. К тому же — я летирад (слово, прочитанное мною на дверях в коридорчике одной из сибирских почтовых станций), а это беспутная профессия, не терпящая совместительства. Впрочем, поживем, увидим».

«Совместительство» литературной работы с неотложными медицинскими занятиями и текущими хозяйственными заботами становилось главной приметой нового уклада жизни.

Весь март и апрель в мелиховском доме шел капитальный

ремонт: кухню перенесли в людскую; переделали печи; перестилали полы и т. д. Всё это Чехов считал «пустяками». Но на них требовались деньги. Как и на семена, хотя засеяли всего 14 десятин. А что делать с остальными угодьями? Сдавать покосы в аренду? Продавать хворост? Куда деть урожай ягод и фруктов, если он случится? Никаких доходов имение не обещало, а расходы возрастали. В былые времена спасал скорый гонорар в петербургских газетах и в «Осколках». То ли уступая просьбам Лейкина, то ли из-за безденежья Чехов послал в этот журнал, после пятилетнего перерыва, несколько юморесок. Одна из них — «Отрывок» — словно литературный поклон пушкинским «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина» и одновременно добродушная пародия на мелиховский дневник Павла Егоровича.

Он, единственный из обитателей имения, был, наконец, счастлив полно и безусловно. Всё, что жило вне поля его зрения, там, за забором, не интересовало новоиспеченного «помещика». Мужиков он не любил и, как иронически заметил сын, разговаривал с ними строго. На усадьбе «взыскивал» в свободную минуту с работников, которые его не боялись, и с прислуги, которая тоже не страшилась старика.

Дни его отныне походили на ритуал: непременное посещение церкви в соседнем селе Васькине; чтение газет; нетяжелая работа в саду, час-другой, для здоровья. И ежедневный обход усадьбы. Вечером он открывал большую тетрадь и заносил в нее самые важные сведения, а по его мнению, События: погода, гости, покупки, работы. Одна-две строки, не более, с эпическим спокойствием и выразительной лапидарностью: «Священник был, окропил комнаты Святой Водой»; «Антоша поехал в Москву»; «Помолившись Богу, посеяли овес»; «Прохладно. В ожидании мороза»; «Картошку сажают, гречку сеют»; «Праздник».

День начинался и завершался молитвами, которые теперь тихо, в одиночестве, творил в своей узкой комнатке умиротворенный старик. Павел Егорович ни на минуту не сомневался, что дом, имение, где они не слуги, какими были давным-давно, полвека назад, отец, он сам, а хозяева, «господа» — это награда за его смирение, терпение, добродетель и молитвы. И не вспоминал о Таганроге, об «амбаре» Гаврилова.

Чехов рассказывал в письме старшему брату: «Папаша по-прежнему философствует и задает вопросы вроде: зачем тут лежит снег? Или: почему там есть деревья, а здесь нет? <…> Подобно всем таганрожцам, неспособен ни к какой другой работе, кроме как возжиганию светильников».

Долги сына, его занятия в кабинете не интересовали бывшего главу семейства. Его не посвящали ни во что серьезное, а он и не

желал утруждаться чужими горестями и заботами. Он занимался богомыслием. Если вдруг в голову старца залетала хозяйственная мысль, то выходила благоглупость. Однажды сын вручил ему деньги на новый костюм. Павел Егорович купил… гири и объяснил, что «в хозяйстве всё нужно». В другой раз обрезал по-своему деревья: «Так лучше будет… красивее» и т. п.

И раньше, и теперь он принимал форму за суть: в церковной службе, в семейном обиходе, в общении с миром. В мелиховской жизни сразу установился порядок: место отца во главе стола; первое внимание ему; спорить с ним не следует. Работникам и прислуге давали наказ-распоряжение — «старого барина» выслушивать, но потом справляться у Евгении Яковлевны или Марии Павловны. Так почти безмятежно и возвышенно протекала жизнь Павла Егоровича.

У Евгении Яковлевны — свои дела. Ее епархия — запасы на зиму, пригляд за прислугой, кухаркой и деревенскими девочками, которых брали убираться в доме, помогать на кухне. На сезонные работы (посевная, сенокос, работы в саду) нанимали деревенских баб. Всё остальное хозяйство — скотный двор, посевы, уборка, огород — в руках «младших Чеховых». Но они не жили в Мелихове постоянно, не имели опыта, держали под руками популярные сельскохозяйственные справочники, полагались на работников. К тому же Мария Павловна не оставила преподавание в гимназии. Делила кров с братом Иваном в казенной квартире при училище, потом снимала квартиру в Москве, которую оплачивал Чехов. Она приезжала в деревню на выходные.

Михаил Павлович тоже уделял имению какое-то время, но далеко не всё. Он по-прежнему служил в Алексине, где ему давно прискучило. Еще в январе 1892 года он попросил брата: «…у тебя есть знакомые <…> похлопочи за меня. <…> Прости, пожалуйста. *Миша-Терентиша*». Под «знакомыми» прежде всего имелся в виду Суворин. Судя по всему, Чехов отказал в просьбе, потому что весной, не известив брата, Михаил Павлович напрямую обратился к Суворину, но попросил сохранить свое письмо в тайне. В приподнято-искательном тоне он набивался в «Новое время»: «Вероятно, скоро я оставлю службу, которой я и вся моя семья исключительно обязаны Вам и только Вам одним! Пусть Вас Бог вознаградит за Ваше участие, но <…> я скажу Вам искренне и чистосердечно, что продолжать далее такую жизнь, как я веду, недостойно немножко. Вот уже скоро два года, как я занимаюсь пустяками <…> если бы я мог быть при Вашем деле каким-нибудь помощником <…> *без жалования*, то я был бы очень и очень счастлив. <…> Верите ли — голова кругом идет:

знаю, что плохо поступаю по отношению к матери, сестре и Антону, в особенности, когда имение стоит теперь таких затрат, но, право, не могу иначе: не могу пользоваться тем, на что не имею права».

Высокие материи и пафос (разочарование, служение, призвание, бескорыстие) были ни при чем. Просто начальство заметило, что алексинский чиновник часто пребывал в отсутствии и стал неусерден. За это ему, по словам Чехова из письма Суворину, была «жестокая распеканция». В результате ли протежирования Суворина или по воле местного начальства Михаила перевели с тем же окладом в 1500 рублей на Серпуховско-Подольский участок. Он оказался близко к Мелихову, однако по-прежнему далеко от вожделенной столицы.

Но это произошло осенью 1892 года, а весной хозяйством занимались все и никто. Уставали, ссорились. Чехова отвлекали даже в утренние часы, когда он работал. Кроме юморесок для «Осколков», он написал рассказ «В ссылке», совсем иного свойства.

Даже если бы Чехов не признавался в это время в письмах, что продолжает «сахалинскую работу», рассказ выдал бы, насколько путь на Сахалин и сам каторжный остров не отпускали Чехова. В письмах и в рассказе упоминались холод, темная река, переправа. И открывалось какое-то отдаленное, но ощутимое созвучие настроения, в котором Чехов писал повесть «Скучная история» и рассказ «В ссылке», и сходство между их героями. Такие разные: старый профессор, ученый с мировым именем, и молодой татарин, ссыльный, не названный даже по имени, — они искали нечто важное для них. Один думал о том, что «когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний», когда нет «бога живого человека», то он теряет равновесие, он равнодушен, он побежден. Другой пытался объяснить старику Семену, по прозвищу Толковый: «Бог создал человека, чтобы живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина!» В финале повести и рассказа оказалась общая деталь: открытая дверь…

В таком настроении Чехов писал весной 1892 года повесть, которая тоже обнаруживала его глубинное настроение. Оно возникло, может быть, после первых случаев кровотечения — и не проходило, лишь иногда ослабевало. К концу 1889 года слова о «старости», наступающей после 30 лет, уже выдавали осознание Чеховым краткости срока, отпущенного ему свыше. Не страх смерти, не отчаяние, но приятие своей участи, и другое ощущение времени и того, что важно, а что пустое, что есть всего лишь житейские дрязги.

После Сахалина Чехов повторял: «Я старик». Он говорил о старости не как о возрасте, но как о мироощущении, которое было связано и с его неизлечимой болезнью. И не потому, что она начала что-то отнимать (например, с осени 1891 года Чехов не пил спиртного, ограничивался одной-двумя рюмками). Дело, наверно, в другом. В начале апреля 1892 года Чехов признался Суворину: «Постарел я не только телесно, но и душевно. Я как-то глупо оравнодушел ко всему на свете <…> как будто у меня иссяк интерес к жизни. Это или болезнь, именуемая в газетах переутомлением, или же неуловимая сознанием душевная работа, именуемая в романах душевным переворотом; если последнее, то всё, значит, к лучшему».

Два года назад, ухаживая за умиравшим братом Николаем, он писал Суворину из Сум о схожем душевном состоянии почти теми же словами, что «оравнодушел к рецензиям, к разговорам о литературе, к сплетням, успехам, неуспехам, к большому гонорару». И тоже полагал, что или это «психопатия», или душевный «застой», и надо бы «подсыпать под себя пороху». Он тогда уточнил, что не разочарован, не хандрит, просто всё стало менее интересно.

Может быть, всё заметнее пропадал интерес к внешней стороне жизни, к тому, что не суть, не важно. Может быть, недуг, сужая незримо пространство реальной жизни, ограничивая его, *усиливал* умственные и душевные процессы?

Современники не могли понять отношения Чехова к своей болезни. Оно походило на безразличие. Удивлялись они и его странной привычке: всюду, где возможно, в России или за границей, посещать кладбища. Еще молодой по всем меркам человек настраивался на какой-то философско-печальный лад. Понимал ли Суворин, разделявший с Чеховым интерес к кладбищам, что на самом деле Чехов не хандрил, не впадал в мрачную меланхолию и если отказывался от чего-то житейского, то лишь из-за болезни или по какой-то особой причине? Как, например, от весенней охоты.

В начале апреля в Мелихово впервые приехал Левитан. Чехов оторвался от своих дел, от письменного стола. Случай на тяге он описал в письме Суворину: «Он выстрелил в вальдшнепа; сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одёжа. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: „Голубчик, ударь его головкой по ложу…“ Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить.

А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось

послушаться Левитана и убить его. Одним красивым, влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать». Может быть, с этой историей связано позднейшее признание: «Охоту с ружьем когда-то любил, теперь же оравнодушел к ней».

Казус на охоте превратился в письме Чехова в короткий напряженный сюжет. Иногда обыденный случай оборачивался в письме водевильным сюжетом или драматической сценкой. Это почти всегда был признак того состояния, в котором он работал над новой повестью или рассказом. В эти дни он писал повесть, которая еще не имела названия [«Палата № 6»]. Чехов только сказал, что в ней «много рассуждений и отсутствует элемент любви», боялся «нагородить чепухи и скуки». И все-таки из всех сюжетов, скопившихся в голове, выбрал именно этот. И работал до мелькания в глазах, досадуя на всё, что отвлекало. На то, к чему он «оравнодушел», но что врывалось в его жизнь.

Кто-то из московских «доброжелателей» Чехова внушил нервному впечатлительному Левитану, что художник Рябовский в рассказе «Попрыгунья», появившемся в январе 1892 года в журнале «Север», списан с него, а главная героиня — с Кувшинниковой. Левитан потребовал объяснений, заговорил о дуэли. Московский кружок из литераторов, артистов, художников и критиков увлекся на короткое время сличением рассказа, этого, как говорили здесь, «пасквиля», с реалиями салона Кувшинниковой. Кто-то злословил, кто-то поспешил выразить свое негодование. Известно, что Чехов ответил Левитану письмом, но оно не сохранилось. Остался лишь его пересказ актером Ленским, читавшим письмо. Чехов будто бы писал, что любит Левитана, что какие-то черты живых людей всегда угадываются в литературных сочинениях, и ссылался на «Горе от ума».

Неизвестно, кто первый донес до Левитана «догадку» о его якобы сходстве с героем «Попрыгуньи», но известно (в копии) письмо Ленского, написанное по следам чтения письма Чехова и отправленное Левитану: «…мне оно, это письмо, кажется натяжкой от первого слова до последнего. <…> Его просили написать „что-нибудь“ для 1-го номера журнала — и только!.. И ради этого он не пожалел ни своих знакомых, у которых был принят радушно, любовно, не пожалел и человека, которого „любит“, выставив его пошленьким Ловеласом! — Не понимаю».

Опять что-то личное ощущалось в послании Ленского. Может быть, не связанное с «Попрыгуньей». В их отношениях с Чеховым уже был «провал» осенью 1889 года. И тогда отзыв о «Лешем», отказ Чехову в драматургическом даре таил что-то

невысказанное, был очень резким, категоричным, что называется, беспощадным, наотмашь. Как бы то ни было, Левитан, хотя быстро отошел от обиды, жалел, что получилось глупо, но в Мелихово приехал в следующий раз только через три года. С Ленским отношения у Чехова прервались, по сути, навсегда.

* * *

В этой истории Лика Мизинова словно устранилась. Левитан приезжал к ней. То ли с надеждой, что она убедит его не верить сплетникам, то ли полагая, что она возмутится вместе с ним коварством бывшего друга, будто бы отомстившего за прошлогоднее лето и не убедительного в своем «оправдательном» письме. Левитан, наверно, искал примирения, но с помощью посредников. Лика ограничилась почти безразличным упреком в апрельском письме Чехову: «И очень нужно было писать еще ему письмо. Точно не могли Вы сообразить, что теперь писать не следовало, потому что это то же, что написать Кувшинниковой».

Вероятно, вся эта шумиха Лику мало занимала. Ее отношения с Чеховым после богимовского лета запутались еще сильнее. 1892 год — самый обильный в их переписке. Она писала о прежнем и по-прежнему. О своих «ужасных» хворях («ни глотать, ни дышать не могу»). О том, что ей «отвратительно» живется, что все люди «страшные эгоисты». Тут же оговаривалась, что пишет «вздор» и Чехов будет смеяться над ней. Опять жаловалась: «Ах, как скучно! Если бы только Вы знали, как нехорошо живется мне эти дни, то, верно, отнеслись <…> без Вашей обычной насмешечки».

«Насмешечка» действительно становилась привычной в его письмах. Но не превращалась в усмешечку. Ни былого увлечения, ни волнения в письмах Чехова уже нет. Однако доставало шуток самого антиромантического и антироманического свойства. Например, о клопах и тараканах, из которых в Мелихове делают бутерброды. О духоте в доме: «Отец накурил ладаном. Я навонял скипидаром». Грозил наказанием, если она не приедет в Мелихово: «Я оболью Вас кипятком и раскаленными щипцами вырву из Вашей спины кусок говядины». Правда, тут же, в этом письме от 29 марта, просил: «Напишите мне, Мелита, хотя две строчки. Не предавайте нас преждевременному забвению. По крайней мере делайте вид, что Вы нас еще помните. Обманывайте нас, Лика. Обман лучше, чем равнодушие». Двумя днями раньше он написал: «Когда же весна? Лика, когда весна? Последний вопрос понимайте буквально, а не ищите в нем скрытого смысла. Увы, я уже старый молодой человек, любовь моя не солнце и не

делает весны ни для меня, ни для той птицы, которую я люблю. Лика, не тебя так пылко я люблю! Люблю в тебе я прошлые страданья и молодость погибшую мою».

Она, вероятно, терялась от этих писем с потаенным смыслом. Пыталась тоже шутить, быть достойным противником в словесном поединке. Оба в письмах то нападали друг на друга, то «заключали перемирие». Но Лика проигрывала. Второй план, тончайшая интонация не давались ей. Шутки выходили неловкими, как, например, в январском письме: «Мне скучно и я мечтаю о свидании с тобою, как стерлядь в Стрельненском бассейне мечтает о чистой прозрачной воде. Я не умею быть поэтичной и когда хочу настроить себя на этот лад, то выходит не то!»

В ее письмах ощущалось какое-то незримое душевное увядание. В них нет ни женской победительности, ни энергии, но проступало преждевременное угасание, несмотря на вспышки раздражения, гнева. Она любила сильные выражения — «всё очень скверно», «страшно», «мерзко», «ужасно», «подло», «отвратительно», «больно», «грязно», «противно», «надоело», «трясутся руки», «я страдаю», «я мучаюсь». Можно подумать, что писала нервная, кипучая, неуравновешенная Кундасова.

Но за «сильными» словами не угадывались сильные чувства и глубокая душевная жизнь. Она словно влачила свою жизнь, изредка взрывая ее то ли с досады (или, как писала Лика, «par dépit»), толи от скуки, ненужными объяснениями, опрометчивыми поступками. Потом оправдывалась, каялась. Хотя «виновата», наверно, была лишь в том, что необыкновенная красота, которой она не гордилась и даже стеснялась, и доброе сердце, и простодушный ум не принесли ей счастья. Ни обыкновенного, ни необыкновенного.

С. М. Иогансон по-прежнему молилась, чтобы внучка вышла замуж за «хорошего доброго человека». Лика так и оставалась «занозой» в душе бабушки, готовой отдать внучке последние рубли и клочок принадлежащей ей земли. В дневниковых записях 1892 года Чеховы упоминались без былой симпатии, с обидой на Лику: «Нашла себе родных, и Господь с нею». Лика признавалась, что ей хорошо в Мелихове. Но хозяйственная жизнь, обыденные домашние заботы не привлекали ее в городе, а тем более в деревне. Мария Павловна вспоминала, как Лика была недовольна, когда они ехали из Лопасни в Мелихово, нагруженные инвентарем, граблями, косами, лопатами: «В тарантасе по отвратительной дороге <…> эти вещи доставляли всегда большие неудобства.

— Проклятая Машка опять везет с собой эту пакость! —

ворчала Лика.

В летнюю пору Лика жила у нас в Мелихове подолгу. С ее участием у нас происходили чудесные музыкальные вечера».

Стихия Лики — пение, разговоры, прогулки и мечты о труде, о вокальной карьере. Ее хвалили в салоне Кувшинниковой, прочили блестящее будущее. Понимая несбыточность этого, Чехов пытался занять ее хоть чем-нибудь и попросил еще зимой сделать подстрочный перевод с немецкого. Напоминал весной: «А перевод? Что же перевод?» Шутил: «Неужели Вы думаете, что я даром заплачу Вам деньги?» Она ответила: «Перевод делаю и прошу без напоминаний! Если взялась, так и сделаю». Но не сделала, долго тянула, потом отдала кому-то, но, видимо, не решилась сразу в этом признаться. И только на его прямой вопрос летом 1892 года: «Готова пьеса? Нет?» — ответила 20 июля: «Перевод готов и я (на днях) получу его, но что я должна с ним сделать? Не знаю. Куда послать его? <…> Я решила отдать перевод одной немке; во-первых, она очень нуждается, а во-вторых — сделает его лучше меня. Я думаю, Вам это все равно? В половине августа буду в Москве, и если до этого времени Вы можете ждать, то сама привезу перевод, а если Вас не будет, то напишите, что делать. <…> Я рада, что благоразумие и рассудок удерживают меня от глупости любить такую благоразумную ск-ну, как Вы. Вот Вам за то, что ругаетесь в письмах. <…> Бойтесь моего гнева! Ваша *Л. Мизинова*».

Это Чехов был в гневе, ему было не всё равно. Он написал под горячую руку «ругательное письмо», но раздумал: «Зачем? Вас не проймешь, а только расстроишь Вам нервы». Он ожидал такого завершения: «У Вас совсем нет потребности к правильному труду. Потому-то вы больны, киснете и ревете, и потому-то все вы, девицы, способны только на то, чтобы давать грошовые уроки и учиться у Федотова глупостям».

В его иронической иерархии женских типов слово «девица» означало существо, способное только на легкие слезы, жалобы, на участие в любительских спектаклях и неопределенные мечтания. От «девицы» и ждать нечего, ее надо принимать такой, какая она есть. Письмо, однако, он закончил серьезно: «В другой раз не злите меня Вашей ленью и, пожалуйста, не вздумайте оправдываться. Где речь идет о срочной работе и о данном слове, там я не принимаю никаких оправданий. Не принимаю и не понимаю их».

Но даже это письмо Чехов отчего-то послал не сразу, а через три дня. Лика ответила вскоре, из Ржева, где гостила. И хотя начала с того, что это «последнее письмо», закончила уточнением: «Если захотите написать, то пишите скорее, потому

что я останусь здесь только до 15-го, а потом уеду к бабушке в Покровское». Всё остальное в письме — ее сердитые придирки, ее «гнев», ее душевное кипение: «Отдала перевод, потому что увидала, что порядком позабыла язык — вот и всё. В том, что у меня нет потребности к правильному труду — Вы отчасти правы. <…> но я все-таки предпочитаю быть такой, для меня хоть что-нибудь бывает дорого, а для Вас никогда и ничто. <…> Вы пишете: „пишите мне, а то мне скучно“ — вот Вы весь тут; люди Вам нужны настолько, насколько они могут развлечь Вашу скуку, когда же Вам не скучно — то Вы совершенно об них забываете».

Что можно было ответить на эти «ничто», «никогда», «совершенно», «вряд ли Вы, впрочем, для кого-нибудь пошевелитесь»? Чехов ответил шуткой, что характер ее «похож на прокисший крыжовник», что ее ждут в Мелихове на именины сестры: «Непременно приезжайте. Я разрешу Вам надсмехаться надо мной и браниться, сколько Вашей душеньке угодно. <…> Целую ручку». Были в этом письме строки, будто взывавшие к другому разговору, и в ином тоне: «Иван идет на станцию, а под окном ждут больные. Некогда писать. Да и зачем, если мои письма только возбуждают в Вас желание браниться? Больных пропасть. Холеры еще нет».

Но она словно не читала этих строк. Ответила опять бурно, и всё о себе, о своих обидах: «Я не ребенок, которому надо постоянно указывать все его недостатки, знаю их все сама лучше Вас! Так-то, друг мой!» Конечно, не ребенок, конечно, добрая, мило поет, смешно сердится, в общем, «милая Мелита», «Ликуся», «милая канталупочка», «кукуруза души моей», «милая девочка», «дуся»…

Чехов спрашивал ее: «Как Вы живете, что делаете?» Он рассказывал ей о важном для него: «У меня сенсационная новость: „Русская мысль“ в лице Лаврова прислала мне письмо, полное деликатных чувств и уверений. Я растроган <…> ту либеральную повесть, которую начал при Вас, дитя мое, я посылаю в „Русскую мысль“. Вот она какая история!» Он писал ей тем летом о своих делах, что назначен «холерным врачом от уездного земства (без жалованья)»: «Работы у меня больше чем по горло. Разъезжаю по деревням и фабрикам <…> о литературе и подумать некогда. Утомлен и раздражен я адски. <…> Дано мне 25 деревень, а помощника ни одного. Одного меня не хватит, и я разыграю большого дурака». Он действительно просил ее: «Пишите, дуся, а то мне скучно». Но далее шли строки: «Пить и есть надоело, спать опротивело, а писать, удить рыбу и собирать грибы нет времени. А лучше, если бы Вы приехали. Это лучше письма». Но Лика ни на что это не откликнулась, будто всего —

новой повести, угрозы холеры, тяжелого настроения, усталости, *его особенной скуки* — не было в письмах Чехова к ней.

В одном из летних писем он написал: «В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и в сущности я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею». Она ответила: «А как бы я хотела (если бы могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везет!»…

Глава вторая. ХОЛЕРНОЕ ЛЕТО

С первых же дней Чехов стал зазывать в Мелихово гостей. Приглашал, но честно предупреждал о неудобствах в доме, о скромном антураже: «<…> ватерклозета нет; есть нужник <…>. Холодно в нем, но не очень»; — «Пейзажи у меня скромные, вековых кедров и бездонных оврагов нет, но пройтись и полежать на травке есть где».

Он словно извинялся — и пытался оправдать непритязательность имения и его окрестностей: «<…> в природе происходит нечто изумительное, трогательное, что окупает своею поэзией и новизною все неудобства жизни. <…> Живешь, как в Австралии, где-то на краю света <…> не жалеешь о вчерашнем и не ждешь завтрашнего. Отсюда издали люди кажутся очень хорошими, и это естественно, потому что, уходя в деревню, мы прячемся не от людей, а от своего самолюбия, которое в городе около людей бывает несправедливо и работает не в меру. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай».

Он не раз признавался, как ждет эту пору. Еще в 1885 году писал Лейкину в предвкушении отъезда в Бабкино: «Я люблю начало мая в деревне… Весело следить за тем, как распускается зелень, как начинают петь соловьи…» Чехов расписывал свой «рай», мелиховскую округу, не упоминая человека: «Оврагов и круч нет, кругом тишь, гладь да Божья благодать»; — «Изобилие скворцов. А скворец может с полным правом сказать про себя: пою Богу моему, дондеже есмь. Он поет целый день, не переставая»; — «Начиная с Пасхи, погода стоит райская»; — «У нас жарко, зелено, пахнет ландышами, скрыго-чуть и скавчать всякие твари…»

Природа, весна были изумительны, но изумляли и дела человеческие. Продавец имения скрыл многое от покупателей. Мелкие и большие обманы открывались постепенно. Например,

лесной участок оказался сильно «пострижен», то есть вырублен. Казусы и анекдоты деревенской жизни тоже начались сразу. Чехов описал один из них в письме Киселеву от 11 мая 1892 года: «У нас есть Белоножка, кобыла, оплодотворенная в присутствии свидетелей мерином и оказавшаяся после этого жеребцом. Можете позавидовать: в Бабкине таких чудес не бывает». Кто-то подменил кобылу, оставленную в поле, полудохлым мерином схожей масти.

Но о таких «открытиях» он упоминал с досадой или с иронией — мало ли обманывали его хозяева квартир и обкрадывала прислуга в городе? На самом деле заботило другое, о чем он заговорил с первых дней. Восторги природой осаживала мысль о долге. Замелькало в шутку и всерьез предостерегающее: «Когда мое имение будет продано с аукциона»; — «по ночам у нас кричат совы, предвещая скорую продажу нашего имения с аукциона»; — «спешите, пока имение мое не продано с аукциона!»

Даже без надежды на доход имение требовало внимания. Большие угодья вынуждали заниматься, как говорил Чехов, «покосами, попасами, прогонами и выгонами», в которых он ничего не понимал. Он не скрывал: «Я не мог бы ни пахать, ни сеять, ни косить, ни восхищаться породистым бычком». В этих словах, может быть, сквозил намек на Левина из «Анны Карениной», тридцатидвухлетнего, «скорее богатого, чем бедного» владельца имения, радовавшегося телочке, приплоду от породистой лучшей коровы Павы; косившему с мужиками; мечтавшему о семейной идиллии. Толстовский герой работал над «сочинением о хозяйстве», чтобы еще лучше понять «хозяйственную машину». Он и так знал ее досконально, постиг секрет успеха, гарантию дохода: самому заниматься наймом рабочих, вникать во всё, «врезываться в землю, как плуг». Мужики звали Левина «простым» барином, понимающим суть деревенской жизни.

Весной 1892 года Чехов написал рассказ «Соседи». Один из героев его Власич, совсем другой хозяин: «Имение у него приведено в полное расстройство и заложено <…> и кроме того, по векселям еще должен тысяч десять. <…> Луга у него потравлены свиньями, в лесу по молодняку ходит мужицкий скот, а старых деревьев с каждой зимой становится все меньше и меньше; в огороде и в саду валяются пасечные колодки и ржавые ведра. <…> мужики недаром называют его „простоватым“».

Чехов не был ни «простым», ни «простоватым» хозяином. Он с иронией наблюдал за младшим братом, охотно взявшим на себя командную роль: «Миша превосходно хозяйничает. Каждую минуту распекает кого-нибудь. Если б Вы послушали, как он

пробирает плотников, маляров и проч. Без него я ничего бы не сделал». Эта роль отвечала натуре Михаила. Он любил демонстрировать свои практические навыки, а тут такой простор для распоряжений, указаний, выговоров! К концу дня распорядитель уставал сам и утомлял домашних постоянным недовольством мужиками, погодой. Он ждал одобрения, признательности. Это тоже была его черта. Если Ивану казалось в детстве и отрочестве, что он ото всех терпит обиду, то Михаил всегда страдал от чувства, будто его недооценивают. Он на самом деле многое умел (выпиливал рамочки, клеил модели, расписывал посуду, баловался акварелями). Но большое запущенное хозяйство было ему не по силам. Он нервничал, упрямствовал не по делу. Когда «господин главный управляющий», как звал его Чехов, уезжал на службу, то все вздыхали с облегчением и скучали по нему лишь родители, гордившиеся таким умным, таким знающим сыном.

От настоящего владельца имения требовалось лишь одно: деньги. Не рубли и даже не сотни. Заработать их можно было только сочинительством. Работа и деньги сплелись в письмах 1892 года особенно зримо: «Приходится сидеть и работать. На все пустяки нужно заработать по крайней мере рублей пятьсот. Половину уже заработал»; — «Расходы по имению вдесятеро превышают доходы»; — «Зело обнищал»; — «…одолели всякие мелочи <…> а в общем обходятся все эти пустяки сотни рублей»; — «Безденежье изумительное». Он писал в мае, имея в виду не свой большой долг «конторе», а личный долг Суворину: «Простите, голубчик, я не выслал Вам еще долга. <…> Потерпите, вышлю долг, ибо пишу еще повесть». Весной 1892 года впервые в письмах Чехова появилось присловье: «Вот тут и вертись!» Потом оно повторялось не раз.

О себе, вернее, над собой шутил в мае: «Доходы мои превышают расходы, но, точно на смех, с получками я маюсь, как начинающий литератор. То издатель-нотариус сбежал, то адрес мой потеряли, то послали деньги в Серьпухов. Был день, когда у меня не было ни копейки и я хотел бежать вслед за нотариусом».

От прошлогодней мечты, переехав в имение, освободиться от «денежно-приходно-расходных соображений», только «работать и читать, читать… Одним словом, мармелад, а не жизнь» — ничего не осталось. «Выскочить», по его выражению, из безденежья не удавалось и в деревне, несмотря на напряженнейшую работу. Между тем писал он, по собственному признанию, «медленно, с натугой, с частыми остановками и переделками».

Не романы, а рассказы и повести, которые иногда называл «маленькими романами». Большие романы он советовал писать

другим — особенно рекомендовал это занятие женщинам-писательницам.

Сам Чехов теперь не обещал, как еще несколько лет назад, что напишет роман. Даже из-за денег. И только с иронией упомянул в 1892 году разговор с М. В. Крестовской, сказавшей ему, что за свой роман она получила в журнале «Вестник Европы» пять тысяч рублей.

Он трудился, подгоняемый безденежьем, редакторами и сдерживаемый своим недовольством написанным. Одна сила торопила, другая тормозила: от этого он приходил в дурное настроение. От шума, разговоров в соседней комнате сбегал излома: «Для того, чтобы думать и сочинять, приходится уходить на огород и полоть там бедную травку, которая никому не мешает».

Но чем напряженнее Чехов работал, чем более давал себе свободы — писать о том и так, как хотелось ему, — тем несерьезнее он отзывался о написанном. Так было со «Скучной историей». Так теперь он говорил о «Палате № 6»: «Кончаю повесть, очень скучную, так как в ней совершенно отсутствуют женщина и элемент любви. Терпеть не могу таких повестей, написал же как-то нечаянно, по легкомыслию». Это походило на какое-то суеверие, литераторский предрассудок. Словно он очерчивал вокруг себя незримый круг, защищавший от грядущих отзывов читателей и критики. Как неблагожелательных, так и одобрительных, чтобы несправедливость не убила, а похвала не искусила.

Работу над повестью он завершал, мучаясь головной болью. Иногда, чтобы снять ее и скрыть от родных, уходил в поле. В середине апреля Чехов передал рукопись в редакцию журнала «Русское обозрение». Началась путаница с набором и корректурой. Типография не спешила. Не поторапливалась и редакция с гонораром. Тогда как именно из гонорара Чехов намеревался вернуть Суворину личный долг.

Он написал редактору, князю Д. Н. Цертелеву. Не получив ответа, попросил брата Ивана уже в начале мая зайти в «Русское обозрение», и если вся корректура не готова, то немедленно забрать рукопись: «<…> скажи <…> что я к подобному отношению к себе не привык. <…> В редакции скажи, что я беру назад рукопись потому, что князь не сдержал обещания, которое дал мне. Будь сердит и неумолим и не допускай никаких отговорок». Чужая необязательность, несдержанное слово всегда его возмущали. Как в случае перевода, не сделанного Ликой, так и с корректурой повести.

Однако редактор принес извинения. 20 мая Чехов получил

аванс в 500 рублей. Но недоразумение с повестью продолжалось. Редакция откладывала ее печатание, давая какие-то невнятные формальные объяснения. Рукопись не возвращали, но и не публиковали. Причиной могли быть перемены в руководстве журнала или опасения, которые предполагал сам Чехов. Заканчивая или уже закончив «Палату № 6», он писал о ней Суворину 31 марта: «Прежде чем печатать, хотел бы прислать Вам ее для цензуры <…>. Есть фабула, завязка и развязка. Направление либеральное. <…> Если не будут торопиться печатать мой рассказ и дадут мне месяц-два для поправок, то разрешите мне прислать Вам корректуру. По нынешним временам эта предосторожность необходима».

Когда миновали четыре месяца и судьба повести всё еще не определилась, естественнее было бы предположить причиной не формальные мелочи, а настороженность редакции.

В повести 19 маленьких глав. Только четыре из них — беседы двух русских людей. Один — Иван Дмитрич Громов, больной, тридцати трех лет от роду, страдающий манией преследования и содержащийся в палате № 6, вонючей, похожей на зверинец, охраняемой сторожем Никитой, у которого выражение лица, как у «степной овчарки». Другой — Андрей Ефимыч Рагин, доктор, не имевший к медицине никакой склонности. Он хотел стать священником, «намеревался поступить в духовную академию». Но пошел на медицинский факультет, хотя потом признавался, что «никогда не чувствовал призвания к медицине». Человек умный и честный, он терпел около себя воровство, грязь, потому что, по его мнению, «если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. <…> все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. <…> Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого?». Он знал, что «в палате № 6, за решетками, Никита колотит больных», но всё «вздор и суета», ибо нет разницы между лучшею венскою клиникой и его убогой городской больницей.

Несчастный больной, заключенный в палату № 6, наоборот — с молодости раздражался, возмущался невежеством, ратовал за школы, мечтал, чтобы «общество сознало себя и ужаснулось». В больничном застенке он «горячо и страстно» сам с собою беседовал «о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников». Получалось —

«беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще недопетых песен».

О чем говорили эти два человека? Умные, образованные, начитанные. Доктор Рагин — о том, что для мыслящего человека нет разницы между этой палатой и тюрьмой, каторгой и теплым уютным кабинетом, так как «покой и довольство человека не вне его, а в нем самом». О том, что вдумчивый человек «презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется». Больной Громов возражал: наоборот — чем выше человеческий организм, тем сильнее он отзывается на всякое раздражение, «на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением». И «это собственно называется жизнью», а «презирать страдания значило бы <…> презирать самую жизнь, так как всё существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью». Философию доктора он назвал «самой подходящей для российского лежебока».

Но этот «лежебок», даже в больницу ходивший не каждый день, вдруг оставил свои книги, водочку с соленым огурцом, непременное пиво, умные монологи перед почтмейстером, и стал ходить в палату № 6. Оказалось, что давно искомый и желанный собеседник был рядом, во флигеле, похожем на тюремную постройку. Как Громов оказался здесь? Что у него в прошлом? В детстве — жестокие отцовские побои. Но потом был университет. И вдруг — смерть брата от чахотки; суд над отцом за подлоги и растраты; продажа с молотка дома и всей движимости; грошовые уроки, полуголодное студенческое существование; смерть матери; оставленный университет; безотрадная служба судебным приставом. И такое же, как у доктора, запойное чтение.

Однажды всё сорвалось. Он встретил на улице двух арестантов в кандалах и с ними четырех конвойных с ружьями: «Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму». И он «весь отдался отчаянию и страху». В больницу несчастного положили потому, что «дома не на что было жить и лечиться», а не потому, что он был опасен, И город о нем забыл.

Доктор Рагин, когда-то поставивший диагноз, что Громов психически болен, случайно обрел в нем замечательного собеседника. И несмотря на различие во взглядах испытал радость общения. Приходил в палату, садился на кровать рядом с Громовым, и они часами, днями беседовали. И, может быть, поняли бы друг друга… Но Рагина отправили в отставку за странное поведение, странные речи. Без пенсии, без пособия. Теперь успокаивали его не былые рассуждения, почерпнутые в сочинениях стоиков, а пение церковного хора, слушая которое, он

«думал об отце, о матери, об университете, о религиях». И жалко было уходить из храма. Вскоре после припадка, а в сущности, потому же, почему и Громова (не на что было жить и лечиться), немолодого доктора поместили в палату № 6, из окна которой было видно только тюрьму. И ему стало страшно, обидно, а потом больно. Не только от побоев Никиты, но и от мук совести, от мысли, что «такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями». И он знал об этом.

Кто-то незримый провел читателя, как Вергилий, через ад палаты № 6 («Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри»). Потом по ужасающей больнице: «В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. <…> Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. <…> Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах <…> смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на местах». И так всё продолжалось двадцать лет, во всё время служения Рагина.

Как далекое эхо, может быть, отозвалось в этом описании то, что рассказал доктор Архангельский в своем «Отчете» о российских домах призрения: о помещениях, напоминавших каземат или тюрьму; о врачах, заходивших сюда мимоходом; о больных, которых смотрители и прислуга «пользовали» в основном «кулаками».

В повести, в кратких жизнеописаниях Громова и Рагина, упоминались события, схожие с реалиями из жизни Чехова (брат, умерший от чахотки; утраченный дом; описанное имущество; репетиторство; отцовские побои; даже запомнившееся современникам якобы желание Чехова поступить после гимназии в духовную академию; радость от церковного пения).

Неведомые читателю автобиографические реалии дополнялись, объединялись в повести с подробностями из жизни сахалинской каторги, пока еще неизвестными читателю. Чехов работал над книгой одновременно с повестью. Может быть, отсюда и созвучие: уподобление палаты № 6 тюрьме; упоминания в повести кандалов, конвойных, решеток на окнах, забора с гвоздями. Или дело не в этом, а в том «нехорошем» чувстве, которое Чехов пережил на Сахалине, и оно теперь определяло точку зрения на сущее, интонацию всего, о чем он писал. И

поэтому в повести «Палата № 6» та же очевидная или подспудная тема: *страх, ужас, тревога*, владеющие душой человека.

В повести «Дуэль» (1891) — страх героя перед завтрашней дуэлью и перед предстоящей ночью, в которую ему «предстояло пройти» гору лжи. А обойти ее «не было сил и уменья». И Лаевский словно «заболел внезапно», обессилел. В рассказе «Жена» (1892) у каждого из супругов свой страх, свое беспокойство, своя ненависть, отчего оба как будто «ослабели». Ей страшно с мужем, ему страшно без нее. Герою рассказа «Соседи» (1892) жутко встречаться с любимой сестрой, тайком сбежавшей из дома. Его мучили «страх и досада на себя» и рисовались «страшные картины будущего». Еще страшнее герою рассказа «Страх» (1892), который, сидя на ступеньках деревенского храма, завел разговор о том, что не понимает и боится жизни, что страх отравил его, что он не может понять, что в его поступках ложь и что правда.

Что за скрытый душевный страх у людей обеспеченных, здоровых, думающих? Почему в этих рассказах самые важные разговоры происходили ночью, когда мир залит лунным светом? Хотя замыслы некоторых из них, судя по записным книжкам Чехова, томили его во время первого заграничного путешествия, в солнечной Италии. Может быть, потому, что послесахалинские рассказы и повести писал человек, сказавший после поездки: «Я видел *всё*; стало быть, вопрос не в том, *что* я видел, а *как* видел»?

Но поймут ли его? Чехова упрекали после «Степи», «Огней» и «Скучной истории» за неясность финала, за то, что непонятно, как же автор относится к своим героям и к жизни вообще. После Сахалина эта неясность, а на самом деле надежда, что читатель сам даст ответ, усилилась.

Сюжетом становилось *настроение*, захватывавшее читателя. Финалы — еще более рассчитанными на думающего человека: «Да, никто не знает настоящей правды» («Дуэль»); — «Что будет дальше, не знаю» («Жена»); — «Вся жизнь представлялась ему теперь такою же темной, как эта вода, в которой отражалось ночное небо и перепутались водоросли. И казалось ему, что этого нельзя поправить» («Соседи»); — «Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают» («Страх»); — «Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно» («Палата № 6»).

Как раз в дни после завершения повести, когда ее набирали в типографии, Чехов написал Лейкину: «Вы пишете, что беллетристы нынче вялы. Да, вялы. Но кто теперь гибок? Главная

причина — куража нет. Работать без страсти, для бесстрастных читателей <…> поневоле будешь вялым». Но его собственная проза обретала внутреннюю страстность, которая могла оттолкнуть или оставить равнодушным бесстрастного читателя. Чехов *рисковал*. Он уже потерял тех, кто по-прежнему читал «Осколки», «Будильник», но без Чехонте и «Новое время» без Ан. Чехова.

Герои первых послесахалинских повестей и рассказов, как сказано автором о некоторых из них, «отшатывались» от себя, ужасались себе. Но не отшатнутся ли читатели от такого героя? Примут ли они новые отношения между собой и героем, собой и автором, героем и повествователем, которые предлагал Чехов? Да, работа над таким повествованием грозила сочинителю нервным срывом, но и читателю было не легко.

Чаще, чем прежде, повторялось в повестях и рассказах слово «думать». Однако почувствовал бы читатель, привыкший ограничиваться сюжетом, то, что Чехов назвал «неуловимой сознанием душевной работой»? Не заскучал бы на первой странице и не отложил бы книжку журнала? Наверно, такого читателя имел в виду Чехов, говоря, что повесть получилась «очень скучной».

На критиков он по-прежнему не рассчитывал. Один из современников проницательно заметил в 1891 году: «Г-н Чехов — оригинальное дарование. <…> но уловить эту новинку может только критик такой же силы, как и разбираемый им художник. Таких критиков у нас нет, или они не хотят писать о г-не Чехове, потому что об этом писателе я не читал ни одной статьи, которая удовлетворительно разъяснила бы сущность его литературной физиономии». Решившись на попытку объяснить Чехова, этот литератор услышал в его рассказах и повестях роковую, опасную, нездоровую «нотку» мистицизма. В статье 1892 года он же, В. Л. Кигн-Дедлов, уже говорил о пессимизме, этом «небезопасном симптоме». Однако надеялся, что «сила здорового таланта возьмет свое», и он явит «крупное произведение общественного характера», в котором «развернет свою способность не только живописать внешнюю жизнь, но и понимать ее внутренний смысл».

Чехов прочел отзыв и отказал доброжелательному автору статьи в надеждах на общественный роман «от Чехова». В тот же день, 26 апреля 1892 года, когда он писал Лейкину о «бесстрастных читателях», он упомянул этот отклик в письме В. А. Тихонову: «<…> статья Дедлова (ведь это его статья?) приписывает мне достоинства, которых я никогда не имел и иметь не буду».

Чехов, как он впоследствии говорил в таких случаях, «фанатически гнул свою линию». Наверно, не только потому, что слушал того, кто «вещал» его устами («Бог или кто-нибудь другой похуже»). Но и потому, может быть, что попал в «заколдованный круг» и хотел из него вырваться. Впервые это словосочетание промелькнуло в письме Суворину в октябре 1889 года. Объясняясь по поводу «Скучной истории», он просил не искать в мыслях, суждениях и мнениях старого больного профессора его, Чехова, мыслей: «<…> мне только хотелось воспользоваться своими знаниями и изобразить тот заколдованный круг, попав в который добрый и умный человек, при всем своем желании принимать от Бога жизнь такою, какая она есть, и мыслить о всех по-христиански, волей-неволей ропщет, брюзжит, как раб, и бранит людей даже в те минуты, когда принуждает себя отзываться о них хорошо». В этот круг недобрых мыслей и чувств, рабского ропота против жизни заключила профессора неизлечимая болезнь. Он в плену неотступной мысли, что жить ему осталось полгода.

Доктор Рагин из повести «Палата № 6» почувствовал свою погибель, когда понял, что его объявили сумасшедшим, отправили в отставку, обрекли на нищету. Былая философия не спасла. Он «предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть», обидам, неприязни к людям: «надушу его пластами ложилась накипь». Он, который всегда говорил тихо, «тонким, мягким тенорком», однажды, когда накипь и подошла к горлу, вдруг закричал «не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. — Вон! Оба вон, оба!». Ему потом было и стыдно, и досадно на себя: «Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?» Неизлечимая болезнь одного, оскорбительная, возрастающая нищета другого и сотворенная по отношению к нему несправедливость словно поработили мысли и чувства героев этих двух повестей.

Весной 1892 года Чехов возобновил работу над повестью «Рассказ неизвестного человека», которую начал несколько лет назад, потом отложил. Герой ее, который тоже серьезно болен, у него чахотка, заметил в себе кое-что, что показалось ему «поважнее чахотки» — «страстную, раздражающую жажду обыкновенной, обывательской жизни». Ему, как он думал, может быть, под влиянием болезни, «хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости». И здесь — заколдованный круг?

По-видимому, не отвлеченная философская проблема, не сложная психологическая тема, а нечто иное могло быть причиной такого сосредоточенного внимания Чехова к

душевному состоянию обреченного человека. И это обнаруживали его письма последних лет, с каждым годом всё чаще и отчетливее.

* * *

Бесконечные шутки насчет аукциона были небезобидными и таили не только намек на судьбу родительского дома в Таганроге. Едва переехав в Мелихово, Чехов написал Киселеву: «К тому же <…> пока я жив и зарабатываю 4–5 тысяч в год, долги будут казаться игрушкой <…> а вдруг я уйду от вас грешных в иной мир, т. е. поколею? Тогда герцогство с долгами явится для моих маститых родителей и Ма-Па такою обузою, что они завопиют к небу».

Грубоватое «поколею» не скрывало серьезности положения. Тем более что по просьбам к брату Ивану о лекарствах можно предположить, что напряженнейшая работа над повестью вызвала кровохарканье. Хотя уже миновало весеннее вскрытие рек, обыкновенно совпадавшее с обострением легочного процесса, но болезнь обострялась от неустойчивой погоды, холодных ветров.

Была ли мысль о чахотке, о смерти или о семейном плене «заколдованным кругом» Чехова? И если так, как он размыкал его? Не роптал, не брюзжал? Принимал ли жизнь такою, какая она есть, и мыслил обо всех по-христиански, о чем писал три года назад, размышляя о герое «Скучной истории»?

16 июня 1892 года Чехов рассказывал о себе в письме Суворину. В этом признании есть немаловажное уточнение: «Душа моя просится вширь и ввысь, но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Нет ничего пошлее мещанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому ненужной условной добродетелью. Душа моя изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги центр моей деятельности. Ноющее чувство это вместе со справедливостью делают в моих глазах писательство мое занятием презренным, я не уважаю того, что я пишу, я вял и скучен самому себе, и рад, что у меня есть медицина, которою я, как бы то ни было, занимаюсь все-таки не для денег. Надо бы выкупаться в серной кислоте и совлечь с себя кожу и потом обрасти новой шерстью».

«Не для денег…», а для души, чтобы утишить ноющее чувство. Оно томило его давно. В 1889 году оно усилилось, особенно после смерти Николая, и поэтому, не в последнюю очередь наверно, Чехов тогда изменил средоточие своей жизни. Им стала поездка на Сахалин. Теперь, в 1892 году, после поездки в Нижегородскую губернию, повлиявшей и на здоровье и на настроение Чехова, он опять искал дело «не для денег…». При

этом избегал слов из «старых, но еще недопетых песен», вроде «хождения в народ», «долг перед народом» и т. п.

Еще в таганрогские годы Чехов мог уловить разницу между человеком добрым и добродетельным. Павел Егорович никогда не сомневался в своей добродетельности, кичился ею и ставил себя в пример, считал образцом христианина. И всю жизнь ждал награды за свои нравственные устои. Притом он был уверен, что торговля без обмана невозможна, что отдавать долги не обязательно, что наказывать детей — это благо для них. Прилюдно орать на жену, как когда-то в Таганроге, а теперь, в Мелихове, как шутили домашние, «жевать» ее за обедом из-за пустяков — ей и всем на пользу. В поучение.

Слово «добро» относилось в письмах и нотациях Павла Егоровича к имуществу, скарбу, вещам. В жизни духовной он любил свою Добродетель и следил за чужой. В 1890 году просил сына, ехавшего на Сахалин: «Благословляю тебя и не забудь привези свидетельство, что ты отговелся». Это самое важное. Посты, говение, молитвы соблюдались им не без назидательного примера окружающим.

Его брат, Митрофан Егорович, чтил добродетельность еще усерднее. Но племянник уважал дядю за делание добра. Он жил смиренно душой и деятельно в творении посильного блага. По-прежнему собирал пожертвования, хлопотал о богоугодных заведениях. В этом состояла его благотворительность, а вот любимому племяннику приходилось труднее. К 1892 году в почте Чехова было много писем с просьбами о материальной помощи. Просили не два — три рубля, как когда-то злосчастный Кирин, а 100–200 рублей. Вместе с известностью Чехова возрастали в глазах просителей его гонорары и обязанность помогать ближним. Старые знакомцы по юмористической прессе не сомневались, что он не откажет. Бывшие приятели, оказавшиеся без работы или жилья, умоляли о протекции. Просили о помощи некоторые из тех, с кем он встретился на Сахалине. Уповали на Чехова вовсе не знакомые люди. Часто письма начинались обязывающими словами: «Вы, как человек гуманных воззрений, не откажете…»; — «Вы, как гуманный писатель, откликнитесь…»; — «Вы хорошо понимаете человеческое сердце…»

В этом потоке встречались послания с уверениями, что речь идет о «жизни и смерти», что семья умирает с голоду, что за растрату грозит тюрьма, что душат долги и т. д. и т. п. Студенты, актеры и актрисы, чиновники, журналисты хлопотали за своих знакомых, которые хотели учиться за границей, играть на сцене столичных театров, перевестись на «хлебное место». Очевидная ложь, привычное нахальство, расчет на «халяву», на «авось»,

смешное, глупое, беспардонное — всё переплеталось. Один из просителей важно излагал, на что ему нужны две тысячи рублей: раздать долги, хорошо одеться, перебраться в теплый климат и т. д. О возврате займа речи не было.

Чехов, как правило, помогал тем, кого знал лично, или тем, за кого просили его хорошие знакомые. Он посылал деньги, ходатайствовал, писал рекомендательные письма. Помнил ли он свою таганрогскую и московскую юность, следовал ли душевной потребности, однако при этом помощь свою скрывал от домашних. Они признавали спасительность милостыни, необходимость подаяния, но в меру, по уместному поводу, в чрезвычайных случаях.

Порой Чехов явно досадовал на соотечественников, не стеснявшихся клянчить, врать, вставать в позу, прикидываться, да просто терять стыд и совесть. Два молодых человека написали, что им нужны три тысячи рублей для продолжения учебы, а подрабатывать уроками они-де не хотят, чтобы всё время отдать занятиям. И пусть г-н Чехов ответит, а они по ответу рассудят, «чего вообще можно ожидать от людей». Некоторые студенты предлагали выдавать им ежемесячную стипендию, ибо он обязан помогать и делиться гонораром.

Наверно, многих литераторов одолевали подобные назойливые и беззастенчивые просители. Чехов не избежал этой участи. Но в его почте таких писем не убывало, а с годами прибавлялось. Может быть, он производил такое впечатление? Удивлялись же мужики странному доктору, который не брал деньги за лечение да еще оплачивал лекарства для своих пациентов.

Число больных увеличивалось. После прошлогоднего голода люди чаще заболевали тифом, дифтеритом, скарлатиной. В 1892 году Чехов взвалил на себя, добровольно и безвозмездно, огромный труд. По России ползла холера. В самом этом слове, как говорил Чехов, есть «что-то гнусное, угнетающее и марающее». И добавлял: «В прошлом году голод, теперь страх. Жизнь берет много от народа, но что она дает ему? Говорят: борись! Но стоит ли игра свеч?» Однако он откликнулся на просьбу земства, отказался от положенного вознаграждения и взял под свою опеку участок, который включал 25 деревень, четыре фабрики, один монастырь. Ему предстояло ездить по скверным дорогам на своих лошадях, собирать пожертвования на бараки, объяснять населению, как спасаться от холеры. Обещанного фельдшера прислали не сразу.

Чехов мотался по уезду, случалось, ночевал не дома, возвращался пешком. Уставал, сердился, смирялся с грубостью и

подозрительностью мужиков. 1 августа с усмешкой рассказал Суворину: «Из всех серпуховских докторов я самый жалкий; лошади и экипаж у меня паршивые, дорог я не знаю, по вечерам ничего не вижу, денег у меня нет, утомляюсь я очень скоро, а главное — я никак не могу забыть, что надо писать, и мне хочется наплевать на холеру и сесть писать. <…> Одиночество круглое».

Он уже однажды пережил такое состояние: среди ямщиков, выяснявших в ночной тьме, кто виноват в столкновении почтовых троек, когда он по пути на Сахалин едва не погиб. Тогда и написал в письме о «круглом одиночестве, какого раньше никогда не знал». Правда, упомянул в августовском письме Суворину, насколько успешны оказались «хозяйственные потуги» новых «помещиков», сколько уродилось огурцов, капусты, зерновых: «Если бы не окаянная холера, то я мог бы сказать, что ни одно лето я не проводил так хорошо, как это».

Как часто в письмах Чехова повторялось пресловутое если, делавшее его радость словно неполноценной, ущербной! Если бы не безденежье… Если бы не нездоровье… Если бы не семья… Если бы не холера… Всегда что-то мешало, постоянно требовалось во всем *одоление, усилие*… Часто за рассказанным угадывалось чувство, упомянутое в том же письме из Сибири, в котором он говорил об одиночестве, описывая Иртыш, будто явившийся из сна, и переправу через реку: «Насмехается надо мной судьба! <…> Нехорошее, насмешливое мое счастье!»

«Нехорошее» — беспокойное, тревожное, переменчивое…

В середине августа Чехов рассказал Суворину, в это время отдыхавшему на европейских курортах, чем он занят: «Утром приемка больных, а после утра разъезды. <…> так как земство не дало мне на организацию пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей то того, то другого. Оказался я превосходным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь 2 превосходных барака <…> и бараков пять <…> скверных. <…> Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?) <…> ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь, — это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится. <…> Конечно, о литературе и подумать некогда. Не пишу ничего. От содержания я отказался, дабы сохранить себе хотя маленькую свободу действий, и потому пребываю без гроша».

«Нехорошее» чувство, так сильно владевшее Чеховым на Сахалине и холерным летом 1892 года, оказывалось неотделимо от досады. На общее устройство жизни, безразличное к

человеческому страданию. На себя, воображавшего, будто можно что-то сделать, но потом осознававшего тщетность усилий — и предпринимавшего новое усилие. Чехов называл себя в таких ситуациях «дураком», а свое положение считал «глупее дурацкого».

Как, например, в связи с тем, что на 25 деревень он один врач: «При единичных заболеваниях я буду силен, а если эпидемия разовьется хотя бы до пяти заболеваний в день, то я буду только раздражаться, утомляться и чувствовать себя виноватым».

Дело в том, что лечение холеры — клистиры и вливание раствора поваренной соли под кожу — требовало на каждого больного 5–10 часов и даже больше. Воздавая должное коллегам, работавшим «на холере» «шибко, не щадя ни живота, ни денег», Чехов выговорил Суворину за нововременцев, которые, по его словам, «выливали свои желчные кислоты на эту интеллигенцию». Досталось и самому Суворину, спасавшемуся от холеры в Биаррице: «Как Вы обходитесь без щей? Не завидую ни Вашему морю, ни свободе, ни хорошему настроению, какое испытывается за границею. Русское лето лучше всего. <…> В Биаррице живет теперь мой сосед, владелец знаменитой Отрады, граф Орлов-Давыдов, бежавший от холеры; он выдал своему доктору на борьбу с холерой только 500 руб.».

Но не меньше задело Чехова поведение сестры графа: «<…> графиня, живущая в моем участке, когда я приехал к ней, чтобы поговорить о бараке для ее рабочих, держала себя со мной так, как будто я пришел к ней наниматься. Мне стало больно, и я солгал ей, что я богатый человек. То же самое солгал я и архимандриту, который отказался дать помещение для больных, которые, вероятно, случатся в монастыре. <…> Бывают глупейшие и обиднейшие положения… Перед отъездом гр. Орлова-Давыдова я виделся с его женой. Громадные бриллианты в ушах, турнюр и неуменье держать себя. Миллионерша. С такими особами испытываешь семинарское чувство, когда хочется сгрубить зря». В записной книжке Чехова есть запись: «У бедных просить легче, чем у богатых».

Чехов работал урывками над книгой, о чем тоже рассказал Суворину в августовском письме: «Нет, сие мое детище я не могу бросить. Когда гнетет меня беллетристическая скука, мне приятно бывает браться не за беллетристику». Сахалинские и «холерные» впечатления, видимо, оказывались в чем-то созвучными. Но Чехов не спешил с книгой. Он не скрывал причину: «Пока на тюремном престоле сидит Галкин-Враской, выпускать книгу мне сильно не хочется. Вот разве нужда заставит,

тогда другое дело». Судя по реплике, что ему не представляется важным, где печатать книгу, он уклонился от решения этого вопроса. Может быть, он не хотел печатать книгу у Суворина? Или еще не знал где?

Отношения с журналом «Русская мысль» наладились летом 1892 года, чего Чехов не утаил от Суворина. Лавров предложил забыть недоразумение со злополучной заметкой, так оскорбившей Чехова накануне сахалинской поездки. Судя по некоторым случаям, Чехов долго помнил обиды. Но не превращал их в ненависть, мирился искренне. Так было с протоиереем Покровским, так случилось с Лавровым. Он пообещал отдать в «Русскую мысль» повесть «Рассказ неизвестного человека». Но сначала в ноябрьской книжке журнала появилась повесть «Палата № 6», с большим трудом вытребованная из редакции «Русского обозрения».

Переписка современников сохранила первые читательские отзывы, еще до рецензий и статей литературных критиков. По выражению Немировича, о повести заговорили «во всех углах» Москвы. Потом в Петербурге. Это был не просто успех, а широчайший отклик. Лесков счел, что «Палата № 6» «делает честь любой литературе». Пораженный Репин сказал о Чехове: «Силач!» Повесть произвела сильное впечатление на Толстого. Читатели признавались в письмах, что они неотрывно думали о прочитанном.

Но критики продолжали искать ясно выраженную идею и не находили. Однако упреки звучали не так резко, с оговорками и некоторым недоумением. Некоторые рецензенты ощущали авторское присутствие в повести. Но то, как оно воплощалось, ускользало от их взгляда. Оно словно растворялось в каждом слове, в необычной композиции, не имело ничего общего с привычными беллетристическими приемами.

Проза Чехова не поддавалась прямолинейной трактовке, как в похвале, так и в отрицании. Говорили о силе воздействия, но источник оставался неведомым. Его искали в смысле слов, но останавливались перед тайной этого слова. Оно будто развертывалось в сознании читателя, побуждая думать, искать ответа. Одних это возмущало. Они обвиняли автора в том, что он якобы не хочет или не может объяснить рассуждения и поступки своих героев.

Русские читатели, в массе своей, занимали свой ум сюжетом и забывали его вместе с последней страницей. Такие раздражались, сердились на Чехова. Кто-то оправдывал ожидания Чехова, сказавшего два с лишним года назад: «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в

рассказе субъективные элементы он подбавит сам». Кто-то догадывался, что автору «Палаты № 6» важно не изображение жизни, а *отношение* читателя к ней, и он, автор, *настраивая* на такую нелегкую, непривычную работу. Может быть, даже опасную, потому что «отшатнуться» от себя мог не только герой, но и читатель.

«Палата № 6» раздражила нововременцев. Поводов для недовольства хватало. Во-первых, по мнению Буренина и К°, Чехов перешел в ненавистный «либеральный» лагерь. А значит, изменил тем, кто «открыл» его, кто «вытащил» его из «мелкой прессы» и тем «спас». Во-вторых, по их мнению, он не прислушался к советам опытных критиков, не вернулся к небольшому рассказу с незатейливым содержанием, невинным юмором, на что был мастер. В-третьих, он давно заподозрен в «неблагодарности». Нет чтобы, как другие, прислать рукопись на прочтение, попросить об отзыве. Наконец, давно пора поставить его на место за реплики в их адрес, которые он допускал в письмах Алексею Сергеевичу, а тот передавал им.

Таким образом, причин, поводов, мотивов для злопыхательства и ненавистничества накопилось за минувшие годы у недоброжелателей Чехова из редакции этой газеты предостаточно. Их вдохновляло недовольство самого Суворина, которому «Палата № 6» чрезвычайно не понравилась. Он поделился своим мнением со Смирновой, которой поверял многие душевные и семейные тайны. Писательница, жена актера Александринского театра Н. Ф. Сазонова, Софья Ивановна была давней приятельницей, собеседницей, корреспонденткой Суворина. Она записала в своем дневнике 28 ноября 1892 года: «Суворин прислал мне чеховское письмо, чтобы я „не сомневалась, что он сходит с ума“. Но я после этого письма думаю, что он себе на уме. Суворину не понравилась „Палата № 6“, он ему и грянул резкое письмо. Тот, видимо уязвленный, отвечает, что по нынешним временам лучше писать нельзя. Вы, говорит, горький пьяница, вам спирту нужно, а я вам лимонаду предлагаю. Села писать ответ на суворинское письмо».

Еще весной, только работая над повестью, Чехов, подчеркивая, как он доверяет «превосходному вкусу» и «первому впечатлению» Суворина, хотел прислать рукопись «для цензуры». Но не прислал. Может быть, это задело Суворина. Хотя всё лето он пребывал за границей и письма Чехова гонялись за ним. Может быть, он был настроен против Чехова его летними письмами? В то время как Суворин ни строкой не обмолвился о холере в своих редких летом и осенью 1892 года статьях, словно этой беды не было, Чехов рассказывал о ней, этой «гнусной

гостье», из письма в письмо и однажды не сдержался: «Но обиднее всего, что после целого ряда моих писем о наших холерных передрягах Вы вдруг из веселого бирюзового Биаррица пишете мне, что завидуете моему досугу! Да простит Вам Аллах! <…> В то время, как Вы в своих письмах приглашали меня то в Вену, то в Аббацию, я уже состоял участковым врачом Серпуховского земства, ловил за хвост холеру и на всех парах организовал новый участок. <…> В Нижнем врачи и вообще культурные люди делали чудеса. <…>Жаль, что Вы не врач и не можете разделить со мной удовольствия, т. е. достаточно прочувствовать и сознать и оценить всё, что делается. Впрочем, об этом нельзя говорить коротко».

Суворин посвящал свои «Маленькие письма» совсем другому. Например, набрасывал иронический портрет барона Альфонса Ротшильда, «финансового гения с сущностью самого банального буржуа», у которого, по словам Суворина, «единственное право на величие — деньги, единственное право на поклонение — деньги. <…> А у этого короля золота и предки такие же, как и он, и ни малейших заслуг перед страною у них нет и не было…». Или рассуждал о том, насколько Россия отстала от Европы: «В Европе уже стены домов моют мылом, а у нас и руки мылом не моют десятки миллионов людей; у нас даже в столице грязь счищают первобытными метлой и лопатой, а там метлы давно не знают и гуттаперчевые щетки счищают грязь с улиц несравненно лучше нашей метлы и лопаты. <…> Но будем благодарны судьбе и за то, что мы — народ действительно умный, крепкий и способный <…>. Надо только работать, работать и работать и совершенно доверчиво брать из Европы все то, что пахнет наукой, искусством, ремеслом и вообще просвещением, и не утешаться тем, что дым отечества нам сладок и приятен».

Чехов чувствовал раздражение Суворина. Но рассказывал, сколько деревьев посадил в Мелихове (60 вишен и 80 яблонь), сколько принял больных, со сколькими хорошими людьми познакомился («интеллигенция здесь очень милая и интересная. Главное — честная. Одна только полиция несимпатична»). А Суворин увидел в этом благодушество, за которым Чехов будто бы скрывал или которым украшал жизнь «однотонную, бесцветную и унылую». Они, по-видимому, впервые расходились не просто в каком-то вопросе или мнении, но во внутреннем глубинном самоощущении. Точнее, оно обнаружилось впервые так зримо и остро. Хотя уже обозначилось зимой 1892 года в воронежской поездке и с тех пор проступало всё отчетливее.

Летом и осенью 1892 года Чехов уставал от своих разъездов и приема больных. Суворин, может быть, утомлялся от собственных

слов. Чехов предлагал читателю посмотреть, «что делается внутри» палаты № 6. Суворин сравнивал русские метлы с европейскими щетками. Осенью 1892 года он в который раз сказал о себе, что он — прежде всего журналист, «человек дня, человек впечатления, боец по преимуществу, полемист». Очень начитанный, многопишущий, даровитый, пристрастный журналист. Но Суворин, настаивая на своем журналистском призвании, хотел ощущать себя литератором, писателем. Сочинял рассказы, пьесы (иногда вместе с Бурениным). Летом 1892 года на основе своего рассказа «В конце века» написал повесть «В конце века. Любовь».

Чехов, который говорил Суворину, что любит его рассказы («в них есть <…> что-то умилительное»), прочел «В конце века» еще в корректуре год назад, в декабре 1891 года. Нашел, что «содержание фантастично и интересно» и что автор выполнил свою задачу «устрашить читателя и испортить ему дюжину нервов». Правда, отклонил притязания Суворина выдать описанное за картину «нашего нервного века»: «Ей-Богу, никакого нет нервного века. Как жили люди, так и живут, и ничем теперешние нервы не хуже нервов Авраама, Исаака и Иакова». И посоветовал фантазировать дальше, ибо фантазии у Суворина «слава тебе Господи» — написать еще десяток таких «страшных рассказов» и собрать в книжку, которая «не залежится».

В рассказе было всё: соблазненная девушка, гипнотизм, галлюцинации, видения и привидения со «злыми и мутными глазами»: «Глаза эти не моргали, но казалось иногда, что они выступают из орбит, двигались вперед и шевелили вуаль и зрачок светился синим огнем». Была сцена удушения, когда рука стала давить герою на горло, «медленно, но постепенно увеличивая силу нажатия». Был и скелет, который «улыбался своей обычной улыбкой».

Летом 1892 года Суворин на курортном досуге переделал рассказ в огромную повесть, в сущности, роман. Прислал Чехову корректуру, чтобы он «прошелся» по тексту, что Чехов и сделал. Наговорил автору комплиментов, однако о сути переделки высказался с легкой иронией и прописывал Суворину «тихое» занятие беллетристикой, видимо, как средство отдыха от полемики с постоянными оппонентами, от «скуки и дурного настроения». А еще, чтобы сохранить хотя бы кусочек, хотя бы в таком виде, свободы и справедливости.

Умный, ревнивый, очень скрытный человек, Суворин, наверно, не пропустил ни упрека Чехова, что он ничего не написал о холере, ни «рецепта», низводящего сочинительство Суворина до баловства, развлечения от скуки. А его большую

повесть, которую сам Суворин назвал романом, едва ли не до «курортного романа». Не в ходячем смысле слова (история любви «на водах», на курорте), а до развлекательного чтива: занять «разговорцами» на модную тему о «женском вопросе». Это обещало успех у читателя, ждущего от литературы и театра отвлечения от обыденного.

Может быть, считая нужным снять напряжение, Чехов хотел встретиться с Сувориным в Крыму: «Увидимся ли осенью? Будем ли вместе жить в Феодосии? Вы — после заграничной поездки, а я — после холеры могли бы рассказать друг другу много интересного. Давайте проведем октябрь в Крыму. Право, это не скучно. Будем писать, разговаривать, есть… В Феодосии уже нет холеры».

Очередное упоминание холеры Суворин мог понять как намек на его отъезд из Петербурга из-за страшной угрозы. Судя по ответам Чехова на письма Суворина, тот услышал невысказанное, прочел ненаписанное. От вопросов о Феодосии, о возможной встрече уклонился.

Чехов понял это молчание: «Не хотите? Ну, Бог с Вами».

Глава третья. «ПСИХОПАТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ»

Переписка Чехова и Суворина прервалась до телеграммы из Петербурга о смерти Свободина. Он умер в театре, во время спектакля, в одной из лучших своих ролей, в пьесе Островского «Шутники». Павел Матвеевич успел дважды побывать в Мелихове, весной и летом. Тогда Чехов понял, что, может быть, это их последняя встреча. Он написал Суворину: «Был у меня Свободин. Похудел, поседел, осунулся и, когда спит, похож на мертвого. Необыкновенная кротость, покойный тон и болезненное отвращение к театру. Глядя на него, прихожу к заключению, что человек, готовящийся к смерти, не может любить театр».

Мало о ком Чехов говорил то, что сказал о Свободине: «Я потерял в нем друга, а моя семья — покойнейшего и приятнейшего гостя». Он назвал его своим «заступником», видимо, памятуя приезд Свободина в Сумы летом 1889 года в печальные дни для семьи Чеховых; историю с «Лешим»; участие друга в его примирении с Лавровым. Вообще чтил в нем человека, который, по его словам, «искренно привязывался и искренно любил, не разбирая, великие или малые дела мы совершаем».

Чехов не смог поехать на похороны. Телеграмма пришла поздно, а главное, как он объяснил Суворину: «<…> в 30 верстах от нас холера, и я не могу оставить своего пункта. Заболело 7 человек в одной деревне и уже умерло 2. Может холера забраться

и в мой участок. <…> До сих пор у меня не было ни одного случая холеры, но были эпидемии тифа, дифтерита, скарлатины и проч. <…> Писал мало, а о литературе думал еще меньше. Впрочем, написал две небольшие повести — одну сносную, другую скверную, которые буду печатать, должно быть, в „Русской мысли“. Я получил от Лаврова очень симпатичное письмо и помирился с ним вполне искренно».

Переписка Чехова и Суворина летом и осенью 1892 года таила откровенное и скрытое недовольство друг другом. Алексей Сергеевич жаловался на головные боли. Чехов сочувствовал и рассказывал, что лечит бабу Авдотью, тоже от головной боли: «Ей помогает салициловый натр и, чтобы получить 2–3 порошка, она ходит ко мне за 5 верст. <…> Около нас было 11 холерных. Это цветки, ягодки будут весной. Высокая смертность — это серьезный тормоз. Мы ведь бедны и некультурны оттого, что у нас много земли и очень мало людей».

В этих словах, судя по числам, заключен ответ на то самое рассуждение Суворина в «Маленьком письме» об отставании России от Европы, на противопоставление щеток и метел и на замечание о «дыме отечества», которым не стоит якобы утешаться. Видимо, чувствуя, что Чехов может отдалиться, Суворин уже не в первый раз предложил ему стать сотрудником «Нового времени» с «основательным содержанием». Чехов отказался: «<…> на первое, т. е. на сиденье, у меня не хватит пороху, ибо я плохой и ленивый журналист, а второе я уже взял». Чехов имел в виду свой долг типографии Суворина. На «содержание» к Суворину он не пошел бы ни за что, что бы ни сочиняли на этот счет Ясинский и его приятели. Но по-человечески был к Суворину еще привязан. Поэтому, получив письмо Анны Ивановны, что он плох, Чехов тут же, 30 октября, выехал в Петербург: «Для меня это была бы такая потеря, что я, кажется, постарел бы лет на десять!»

Но тревога оказалась преувеличенной. Чехов успокоил взволнованного Щеглова: «Старость, ничего не поделаешь. <…> А[лексей] С[ергеевич] выглядит бодро, работает каждый день, гуляет, много говорит, и вообще в его жизни не замечается никаких перемен». Сказано об этом с какой-то скрытой иронией. Перемен не было и в среде петербургских литераторов. Фидлер записал в дневнике 5 ноября в день отъезда Чехова: «В одном купе с Альбовым случайно оказался и А. П. Чехов, который пробыл здесь всего несколько дней; в качестве врача он консультировал больного Лескова <…> и предсказал ему всего-навсего год жизни. Эта встреча, похоже, пришлась Альбову не по душе; недавно он провел с ним (Чеховым) час-другой и заявил

<…> что Чехов ему несимпатичен: у него, мол, „*мазурницкие глаза*“».

Неприязнь Альбова к Чехову отмечали и другие современники. Но этот часто угрюмый человек, сетовавший на непонимание, несчастный в личной жизни, не жаловал многих. То ли эпигон Достоевского, то ли невнятный предтеча увлечений мистикой, сверхъестественным, он искал и не находил свой тон. Это, видимо, влияло на его настроение. Чехов, конечно, чувствовал отношение Альбова и был с ним всегда подчеркнуто вежлив. Наверно, в пути речь шла об участии Чехова в журнале «Северный вестник», где Альбов был одним из редакторов, но скорее числился, чем влиял на жизнь журнала. Главную роль здесь в это время играл Аким Волынский.

Чехов отвечал неопределенно. Месяц назад он уже сообщал нынешней издательнице этого журнала Гуревич, что написанные им летом повести не годятся для «Северного вестника», и просил «дать отсрочку». Обе повести предназначались в «Русскую мысль». И хотя Чехов обещал Суворину «угостить» его новой повестью [«Рассказ неизвестного человека»] еще в корректуре, в Петербург он ее не брал, потому что работал над последней главой. Таким образом, в 1892 году всё написанное Чеховым являлось Суворину, как всем читателям, в журнальной книжке.

Что заставило Суворина написать автору «резкое» письмо о «Палате № 6»? Потом показать Смирновой ответ Чехова с комментарием, чтобы она не сомневалась, будто тот сходит с ума. Софья Ивановна отделила впечатление от повести и оценку письма Чехова. О повести она высказалась без порицания: «Чехов <…> спустился <…> до палаты умалишенных, до самого страшного предела, куда мы неохотно заглядываем. Жутко, неприятно, что говорить <…>. И я <…> считаю огромной заслугой с его стороны, что он не побоялся этой тьмы. <…> Я удивляюсь, как Вы, такой нервный, чуткий человек, не оценили чеховского рассказа. В нем каждая строка бьет по нервам, и не описанием кровавых сцен, как у Зола в его „Bête Humaine“, а той внутренней борьбой человеческого духа, когда он то поднимается на страшную высоту, то падает в пропасть».

Суворин прочел повесть Чехова за две недели до появления в «Новом времени» первых глав собственного романа «В конце века. Любовь». В нем, по сравнению с рассказом, изменился сюжет, умалилось, но не исчезло совсем то, что Чехов назвал «областью чудесного» (видения, двойники, скелет, гипнотизм и т. п.). А «разговорцы» разрослись до многословных монологов и диалогов о современном браке, семье, эмансипации и т. п. Суворин, наверно, ждал успеха, обещанного Чеховым, и не только им. Это

был газетный роман — не потому лишь, что впервые появился в газете, а потому, что был рассчитан на определенную публику. Вряд ли Суворин думал об успехе у серьезной публики, у думающего читателя. Почему же он так ополчился против «Палаты № 6», а письмо Чехова демонстрировал как свидетельство его душевного нездоровья, будто отождествлял автора повести с ее героем, зачастившим во флигель для бесед с душевнобольным пациентом.

В своем ответном письме Чехов предложил оставить в стороне и его самого, и повесть, а сосредоточиться на главном: «Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше — ни тпрру ни ну… Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, Бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь». Из всех убийственных потерь Чехов назвал утрату зрения, которая лишила бы его и сочинительства, и врачевания. На самом деле не страшился?

За месяц до этого разговора с Сувориным, 24 октября, Чехов написал Щеглову нечто, выдавшее его состояние: «Я уже давно не писал с удовольствием, а это дурной знак». В письмах 1892 года, когда речь заходила о литературной работе, он несколько раз прибегал к определению — «туго». О повестях сказал «тугие». О себе, что пишет «с натугой», что он «тугой автор», будто радость сочинительства, о которой он летом писал Суворину («талант будет прыгать у Вас в душе…»), его покинула. Может быть, он боялся этого больше, чем смерти и слепоты. Потому что, когда действительно пишется «машинально», живется «кисло и скучно», а всё написанное, по его словам, — всего лишь, в лучшем случае, — «мило, талантливо». Но можно было бы и не писать, потому что «кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником».

Одной повестью больше, одной меньше — не все ли равно, одинаково получается «лимонад», приятный литературный напиток. Все равно — пустота, прикрытая «чужими лоскутьями». Одни скрывают ее идеями прошлых лет, другие новомодными увлечениями. Но за всем этим — пустота, которой боятся только такие болезненно-чуткие натуры, как Гаршин, который предпочел другой провал. Чехов, наверно, не случайно вспомнил его в послании Суворину: «Я не брошусь, как Гаршин, в пролет лестницы, но и не стану обольщать себя надеждами на лучшее будущее».

Такие заявления, с точки зрения Суворина, выглядели, видимо, либо фразой, либо симптомом душевного расстройства.

Он предпочел второе объяснение, а Смирнова первое, потому и написала Суворину: «Как! писатель, художник, большой талант, по его же словам, заканчивает новую повесть, и говорит: „Ничего не хочу, ни на что не надеюсь…“ <…> письмо его мне так же непонятно, как Вам его рассказ».

Ошиблись или, может быть, испугались оба. Для Суворина понять «Палату № 6» и письмо Чехова значило согласиться, что его собственный роман, уже набранный, готовый к печати — тоже пустота, а все многостраничные рассуждения героев о «женском вопросе», вся эта мишура вроде видений, скелетов и прочего — чужие и довольно жалкие «лоскутья». Для Смирновой согласиться с оценкой, данной Чеховым поколению «людей в возрасте 30–45 лет», к которому принадлежала и она, равносильно было бы, наверно, приговору самой себе, писавшей в 1870-е годы романы на актуальные, даже сенсационные, темы. И вот всё это «лимонад»? Всё «шаром покати»?

Смирнова ответила на это целым манифестом в своем письме Суворину: «Я не думаю, как Чехов, что мы переживаем какую-то болезнь, что у нас за душой ничего нет. Я верю в жизнь, в ее светлые минуты, ради которых не только можно, но и должно жить, верю в человека, в хорошие стороны его души, в его бесконечное совершенствование, верю, что в каждом из нас есть искра Божия и что назначение писателя не гасить, а разжигать ее». Суворин послал письмо Смирновой в Москву. Это походило на «переписку втроем», причем без разрешения на то двух участников, что покоробило Чехова. Он написал Суворину: «По-видимому, она хороший человек, но все-таки напрасно Вы показали ей мое письмо. Она для меня чужая, и мне теперь неловко».

Суворин грешил привычкой передавать чужие слова, показывать чужие письма. Подобное было в поведении Митрофана Егоровича, над чем братья Чеховы иронизировали, за что сердились. Но таганрогский дядюшка поступал так из «высоких» соображений: он гордился родней, он наивно хвастался и простодушно величался чужими успехами. Суворин будто тешился, заочно сталкивая людей. По некоторым признакам он знакомил Буренина с отзывами Чехова о нем.

О кредо Смирновой, провозглашенном ею с неподдельным пафосом, Чехов отозвался почти небрежительно: «Это не воззрение, а момпасье. Она подчеркивает „можно“ и „должно“, потому что боится говорить о том, что есть и с чем нужно считаться. Пусть она сначала скажет, что есть, а потом уж я послушаю, что можно и что должно. Она верит „в жизнь“, а это значит, что она ни во что не верит, если она умна, или же

попросту верит в мужицкого Бога и крестится в потемках, если она баба».

В своем первом письме он поступил именно так. Сначала сказал, что есть в современной литературе. Потом о том, чего *нет, но должно быть*: «Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение».

Это размышление могло особенно раздражить Суворина. Он, публицист, журналист, автор «Маленьких писем», без конца говорил, твердил, провозглашал цели. Он направлял, указывал, убеждал. Слова «надо», «должно», «следует», «требуется» и т. п. мелькали в его фельетонах, статьях. Как и в романе «В конце века. Любовь», в диспутах и спорах героев.

Но Чехов говорил не об этом, не о словах, уточняя «важный признак» в сочинениях «вечных или просто хороших» писателей: «Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас. А мы? Мы!»

Это было продолжение послесахалинского разговора о том, *что* и *как* видеть.

Смирнова прочла в письме Чехова отрицание всяких целей. Это ее удручило, и она, отклонив «высшие и отдаленные» цели («наша беда»), как бесплодные и даже вредные, нашла спасение в повседневности: «Цель жизни — это сама жизнь». Вторя ей, Суворин тоже писал Чехову о «жизни для жизни». Это уже удивило, даже изумило Чехова: «Я пишу, что нет целей, и Вы понимаете, что эти цели я считаю необходимыми и охотно бы пошел искать их, а Сазонова пишет, что не следует манить человека всякими благами, которых он никогда не получит… „цени то, что есть“ <…>. Если это не бабья логика, то ведь это философия отчаяния. Кто искренно думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове, что в этих целях „вся наша беда“, тому остается кушать, пить, спать или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука».

* * *

Итак, оба оппонента Чехова свели всё к разговору о целях

жизни и литературы. К тому, о чем говорили критики, рассуждая о повестях и рассказах Чехова, отыскивая в них знакомые, прямо высказанные идеи, а когда не находили, как, допустим, Михайловский, прочитав «Палату № 6», тогда отказывали Чехову не в таланте, а в звании «большого писателя».

Между тем Чехов писал Суворину совсем о другом. Вот этого Суворин не понял ни в рассказе, ни в письме. Или слишком хорошо понял. Но свое непонимание или крайнее раздражение приписал неискренности Чехова. После такого мнения дальнейший разговор терял смысл. Чехов завершил его 3 декабря: «В своих письмах к Вам я часто бываю несправедлив и наивен, но никогда не пишу того, что мне не по душе. <…> Будьте здравы и никогда не пишите мне, что Вы откровеннее, чем я. Желаю всех благ. Ваш *А. Чехов*».

Всё лето томило Чехова желание поговорить с Сувориным. Он напрашивался в Крым, открылся в письме. А когда в ответ получил упреки, которые давно стали жупелом, испытал неловкость и усталость. Они в финале письма: «У нас уже ездят гусем и варят постные щи со снидками. Была два раза сильная метель, которая попортила все дороги, а теперь тихо и пахнет Рождеством».

В истории с «Палатой № 6», наверно, самое значимое — не бестактность Суворина, распоряжавшегося чужими письмами, но угасание интереса Чехова к Суворину, всё менее его понимавшему. Еще три года назад Чехов просил не искать пива в кофе, то есть не приписывать ему мыслей героя «Скучной истории». И вообще не цепляться за мнения, ибо они в сути своей переменчивы и не новы. Самое интересное — происхождение этих мнений, манера высказывания, *природа мнений*, зависимость от внешних влияний и пр. Вот в чем суть. Вот в чем секрет воздействия на читателя.

Но Суворин по-прежнему исходил из словесных мнений героев, в них видел центр тяжести. Не понимал, не улавливал, что так восхищало знакомых в повести Чехова. Например, Репина, который изумился и признался Чехову через полгода после появления повести: «Даже просто непонятно, как из такого простого, незатейливого, совсем даже бедного по содержанию рассказа вырастает в конце такая неотразимая, глубокая и колоссальная идея человечества. <…> Я поражен, очарован <…>. Спасибо, спасибо, спасибо! Какой Вы силач!»

В дружеских взаимоотношениях литераторов, художников, музыкантов, видимо, что-то нарушается, когда один перестает понимать другого. Начинается раздражение, которое

впоследствии объясняю! другими причинами, тогда как дело именно в этом. И тут ничего нельзя поделать. Остаются личные отношения, но радость взаимопонимания утрачивается. Что-то подобное уже случилось у Чехова с Билибиным. Потом с Григоровичем после злосчастного обсуждения «Лешего». С Плещеевым после «Дуэли». Теперь еще сильнее обозначилась разладица с Сувориным.

Конечно, не она определяла настроение Чехова в это время, но и не прошла бесследно. В конце года он словно подвел итоги: «В моей личной жизни перемен никаких не произошло: пишу, лечу, мечтаю о путешествиях, не женат, денег нет и нет надежды, что они когда-нибудь будут. Новых привязанностей нет, а старые ржавеют мало-помалу и трещат под напором всесокрушающего времени. Осенью потерял Свободина. Прочие же стареют, брюзжат, хандрят…»

Письма опять стали походить на прозу, выдавая скрытую работу над новой повестью: «Сейчас нужно ехать в два места на практику: паралич и дифтерит. Мороз. <…> Иваненко играет на рояли, Миша починяет электрический звонок, Маша собирается в Москву… Вечер».

19 декабря Чехов как-то внезапно выехал в Петербург. Остановился у Суворина. Здесь он, по его словам, «выматывал из души» рождественский рассказ «Страх». Он появился 25 декабря и оказался последним рассказом Чехова, опубликованным в «Новом времени». Что повлекло его в столицу? Казалось бы, только-только говорил, что ему «надо писать, писать и спешить на почтовых», ибо «не писать значит жить в долг и хандрить», хотя здесь ежедневно гости, гости, гости… Но и в Петербурге ему работалось «вяло и мало». А в Москве, в гостиничном номере, по его словам, он бы «издох от скуки». В общем, везде плохо, и за всем угадывалось то настроение, которое не проходило. Оно было в повестях «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», в новой, занимавшей его мысли и время повести «Три года». Они завершались или начинались смертью одного из героев.

Это состояние вдруг приоткрылось в письме Суворину от 8 декабря: «Всё хочется мне устроить свою внешнюю жизнь, я и так и этак, и вся эта возня с собственной особой кончится тем, что какой-нибудь строгий Икс скажет: как Вы ни садитесь, а всё в музыканты не годитесь! <…> Вы кончили свое письмо с шиком: „Morituri te salutant![7]“. Все мы Morituri, потому что никто из нас не может сказать про себя: natures sum[8]».

Чехов словно опять одолевал что-то. Говорил, что в Петербург позвали какие-то служебные дела. Какие? И что вернется, «не знает когда», может быть, через месяц. А не исключено — снимет

квартиру и проживет до середины февраля. Но квартиру не снял. Заскучал по деревне, однако остался в Петербурге. Поехал больной и там болел: «свирепый кашель и жар». И все-таки ходил в гости. Почти весь январь — встречи с литераторами, то, от чего он зарекался, чего чурался в последние годы. И друг… То у Тихонова, то у Гнедича, то у Лейкина. То затеял в Татьянин день, 12 января, «обед беллетристов» в ресторане «Малый Ярославец». Словно вспоминал молодость, студенческую «Татьяну». «Беллетристический» обед удался — Григорович, Суворин, Лейкин, Максимов, Мамин-Сибиряк, Тихонов, Вас. Немирович-Данченко, Ясинский, Ежов и др.

Через день опять встреча в ресторане (Баранцевич, Альбов и др.). Фидлер оставил в дневнике обстоятельную запись от 14 января: «Чехов пил очень умеренно: красное вино с сельтерской. Утверждал, что никогда в жизни не напивался и не испытывал похмелья (а потому и не выбалтывал никому своих секретов). <…> Он разделяет мою привычку — есть один раз в день, зато основательно, рано ложиться спать и вставать в четыре часа утра».

Из «Ломача» (ресторан на Садовой) Чехов и Фидлер отправились в винный погребок на углу Литейного и Невского. Спутник и собеседник запомнил и записал в дневник разговор с Чеховым: «В минувшем году его книги принесли ему пять с половиной тысяч дохода, однако три из них ушли на уплату счетов суворинской типографии (в сущности, он сам издает свои произведения, а не Суворин, как указывается на обложках его книг), а остальная часть — на погашение долга, который он все еще выплачивает за свое имение под Москвой».

Фидлер уловил суть издательского «круговорота». Суворин не вкладывал свои средства в издание книг Чехова, типография «Нового времени» печатала их в счет продажи. Поступавшие от продажи деньги гасили долг Чехова типографии, а то, что оставалось сверх этой суммы, шло на погашение отдельного долга, взятого не из личных средств Суворина, а у «конторы». Вероятно, Чехов приехал, чтобы уяснить положение дел, которое всегда оставалось от него скрытым. Он хотел скорее избавиться от долга, возникшего в связи с имением. Тогда его денежные отношения с типографией остались бы чисто деловыми, хотя это вряд ли остановило бы недругов, распускавших злоязычные слухи и сплетни о денежном покровительстве Суворина, о том, что Чехов находится на его «содержании».

В том разговоре в погребке Чехов сказал собеседнику: «Я пишу очень мало, каких-нибудь десять листов в год и заработал всеми своими сочинениями в целом не более сорока тысяч». Он

не знал и не мог знать, сколько заработала на нем суворинская «контора». И не хотел знать. Но какое-то невысказанное намерение — издать свое собрание сочинений (у Суворина или кого-то другого) угадывалось в его словах, сказанных январским вечером в ресторанной беседе: «Сюжетов у меня предостаточно. Ранее, однако, я был весьма плодовит; должно быть, я написал около пятисот маленьких рассказов, но не могу собрать их вместе: они разбросаны по различным журналам и газетам, экземпляры которых я не сохранил. Как же мне их теперь отыскать?!»

На следующий день, 15 января 1893 года, Чехов сообщил Н. М. Линтваревой, что выслал ей долг, 500 рублей, и обрисовал свое положение: «По обыкновению стражду от безденежья.

Всё хожу и нюхаю, где бы достать денег. Впрочем, в этом году мне повезло. По счету за книги мне пришлось получить больше 5 тысяч, так что я заплатил долги: 3 тысячи в типографию и 2½ тысячи Суворину, у которого взял 5 тысяч на покупку имения. Рассчитываю к будущему году очиститься от всех долгов, кроме банковского (сей долг меня не стесняет), а потом опять возьму взаймы уж не 5, а 10 тысяч и выстрою себе дворец в другом участке».

Шутки насчет отдельного дома на дальнем участке («изба»; «дворец»; «хутор» с вишневым садом, где бы он жил, «как старец Серафим» или стал бы «колдовать и стрелять лосей»; «з*а*мок», к которому бы вела просека, поэтичная и величественная) относились к планам, возникшим сразу после переезда в Мелихово. Чехов то и дело признавался, что мечтает переселиться в это глухое, красивое, одинокое место, где построил бы пасеку, посадил фруктовые деревья. В Мелихове, в тесном доме с маленькими комнатами, где с трудом размещали гостей, не то что работать, но жить порой становилось тяжело. Гости, разговоры отца, а с осени 1892 года безвыездное пребывание младшего брата, переведенного из Алексина в Серпухов… Михаил тщился вовлекать брата в умные беседы о литературе, общественной жизни, демонстрировал, какой он умелый хозяин… Чехов иронизировал над ним и над собой: «Миша <…> люто хозяйничает, я же по-прежнему ничего не делаю, и вмешательство мое приносит один только вред».

Он, вероятно, уехал в Петербург, в том числе и от домашних. Ходил по ресторанам, бывал в театре. Но говорил, что живется ему здесь «скучновато»: «Старых знакомых становится всё меньше и меньше, а новых не завожу». В свой день рождения он неожиданно, в двенадцатом часу ночи, появился у Фидлера и помешал разговору хозяина с Альбовым и Баранцевичем.

Назавтра Фидлер описал в дневнике этот визит: «Чехов говорил все время — живо, хотя бесстрастно, без какого бы то ни было лирического волнения, но все же не сухо. <…> Потом рассказывал о своем пребывании на Цейлоне, своей медицинской практике, своем имении и уговаривал нас провести это лето рядом с ним <…>. Он любит путешествовать, но его тянет домой, в свое имение, которое ему очень дорого — он затратил на него немало сил и стараний. „Да и жить по-настоящему можно только в России: такой еды, как у нас, вы не найдете нигде“. Я спросил его, является ли он врачом по убеждению, и он ответил, помедлив: „Да… я почти уверен и знаю по собственному опыту, что медицина в одних случаях может значительно облегчать страдания, а в других — удлинять человеческую жизнь“. Ужасно страдает от геморроя и намерен оперироваться в Серпухове. Произойдет это, видимо, скоро, ибо уже во вторник он уезжает из Петербурга. „Я должен, наконец, приступить к работе; здесь мне это никак не удавалось“. Вчера у него был день рождения, а сегодня — именины; в связи с этим он пригласил нас в „Палкин“, но на часах было около трех».

Через день, 19 января, опять встреча с литераторами (Григорович, супруги Мережковские, Кигн-Дедлов, библиограф П. В. Быков, драматурги А. А. Потехин и Д. В. Аверкиев) в Русском литературном обществе на выступлении сказителя И. Т. Рябинина.

М. О. Меньшиков, литературный критик, публицист, в те годы сотрудник газеты «Неделя», был на этом вечере и оставил в своем дневнике запись: «Чехов производит на меня поразительное впечатление. <…> Он мне непобедимо нравится физически, и, мне кажется, нет той дуры, которая отказала бы ему в любви. Тут не обаяние большого имени: я видел же кое-кого не меньше Чехова: Полонского, Лескова (в смысле имени), Надсона <…>. Он красив, но видел же я мужчин и красивее, но он… родной, милый, гениальный, русский. <…> Какая страшная сила, страшное обаяние! Шел я домой и думал: что мог бы сделать такой человек с его талантом и нравственною и физическою красотой, если бы вдохновился проповедью!»

Может быть, тогда же Чехов условился с Репиным о посещении мастерской художника. Репин показал ему картину «Христос в Гефсиманском саду». Библейский сюжет — о рабе первосвященника, который пришел с другими слугами и воинами за Христом и которому один из учеников отсек правое ухо, а Христос исцелил его, — Репин написал в темных тонах. Словно в соответствии со словами Христа, как они приведены в Евангелии от Луки. Словами, обращенными к тем, кто собрался против Него:

«Теперь — ваше время и власть тьмы». Но на самого Христа падал лунный свет.

Репин не знал точно, какая тогда была ночь, и спрашивал Чехова. Тот обещал справиться у богословов. Слово свое сдержал и 23 января написал Репину, приложив письмо священника, который, судя по всему, точного ответа не дал. Сам Чехов склонялся к тому, что луна была, и признался: «Я вижу Вашу картину ясно во всех подробностях. Значит, она произвела на меня сильное впечатление. А вы говорили — скучный сюжет». Послал он и обещанный оттиск своей повести.

Репин в эти последние дни января прочел повесть Чехова и написал Т. Л. Толстой: «Какая чудесная вещь Чехова „Палата № 6“, вот сила! И в какой скромной форме! Как незатейливо просто и как глубоко!»

* * *

Ни в письмах Чехова в Москву, ни в дневнике Суворина не осталось следов каких-либо разговоров о литературе, о повести. 26 января Суворин записал: «Чехов уехал». Ничего более. А далее — петербургские сплетни о придворных, министрах, журналистах, актерах. Как уточнял сам Суворин, «пропасть сплетен», обнажавших сходство нравов в великосветских будуарах, закулисных уголках и редакционных помещениях. Любовные связи, взятки, интриги, продажность, ненавистничество.

И вдруг 8 февраля запись: «Скоро 35 лет моей литературной деятельности. Вот те раз. Писал, писал, писал и жизни не знал и мало чуял ее. Что за жизнь, которую я провел? Вся в писании. Блестки счастья <…> которое дается успехом удачной статьи, удачной пьесы, а простого истинного счастья, счастья любви, почти не было. Все мимо шло. Некогда было.<…> Что было в душе правдивого, честного, горячего — то выливалось в урезанные формы; мысль и чувства сжимала цензура».

Откровенен ли и искренен Суворин в этом признании? Современники говорили о нем, что лжив, хитер, как лис. Одна ли цензура угнетала хозяина «Нового времени»? Ответ в том числе, наверно, в его «Маленьких письмах» в связи с Панамским скандалом, вскрывшимися грандиозными аферами. Он писал в газете зимой 1893 года о «русских банкирах с иностранными фамилиями», о финансовых посредниках «более или менее еврейского, западного или юго-западного направления», составлявших планы и проекты, «очень чистенькие по виду и

очень черные внутри».

Он ратовал за «разумную финансовую систему, вполне национальную, вполне самобытную, которая была бы соображена с нуждами населения самым справедливым образом. <…> Будем русскими, но просвещенными, честными русскими, которые не забывают, что есть Бог, есть христианская нравственность, есть масса бедного народа <…>».

В дневнике в эти же дни Суворин писал: «У нас нет правящих классов. Придворные даже не аристократия, а что-то мелкое, какой-то сброд». Он упоминал архиепископа, бравшего взятки деньгами и подношениями. Иронизировал над министрами: «Турецкие, серальные нравы: друг друга поедают, интригуют». Записал в феврале о бывшем министре финансов: «Вышнеградский выиграл биржевою игрою до 10 миллионов руб. Играл на имя зятя своего Филипьева. Ему известно было, какая бумага повышается, какая понижается. Себе не враг». Он надеялся на какие-то культурные силы, о чем писал в очередном «письме»: «Русский человек должен быть носителем культуры <…> не худо бы иметь университетские факультеты по крайней мере в Нижнем, Пензе или Симбирске, в Саратове, в Курске, в Воронеже. Русский человек должен блистать образованием <…>»

Это отвлеченное прекраснодушие, наверно, раздражало Чехова, читавшего «Новое время». Слова «блистать», «носитель культуры» и рассуждения о «русском человеке» вообще могли показаться неуместными или пустыми. Суворин рассуждал о «власти таланта, знания, просвещенной инициативы», обращаясь к некоему абстрактному «русскому человеку». 13 февраля, то есть в эти же дни, университетский человек, безвозмездно лечивший крестьян у себя в Мелихове, рассказывал ему в письме о своих буднях: «В среду, когда я принимал на пункте, привезли 3-х летнего мальчика, который сел в котел с кипящей водой. Ужасное зрелище. Больше всего досталось заднице и половым органам. Спина обварилась всплошь».

Чехов упомянул в этом письме свой медицинский отчет в земскую управу, но не написал Суворину о том, что включил в отчет свое впечатление от земской школы в селе Крюкове: «Теснота, низкие потолки, неудобная, унылая, железная печь, стоящая среди классной комнаты, плохая старая мебель <…> в маленьких сенях спит на лохмотьях сторож и тут же стоит чан с водой для учеников; отхожее место не удовлетворяет даже самым скромным требованиям гигиены и эстетики. Учитель с женой помещаются в одной небольшой комнате. Сарая при школе нет». Эта школа в центре России была не лучше сахалинских, о которых Чехов говорил, что они «бедны, обставлены нищенски». Школы,

подобные Крюковской, Чехов видел в других селах и деревнях своей волости, да и всего уезда.

«Университетский человек», которого Суворин призывал явиться «на окраинах, как власть имеющий культурную», не поехал бы в такие школы ни за какие коврижки. А «коврижки» — это 200–300 рублей в год жалованья, иногда помощь попечителя, если даст на дрова, на керосин, на учебники. Кто шел в земские учителя? Выпускники учительских и духовных семинарий, недоучившиеся гимназисты и гимназистки, сдавшие соответствующий экзамен на народного учителя, как сдал в свое время Иван Павлович. Он с трудом выдержал год в Судогде. Перед кем «блистали» бы замученные нищетой учителя? Перед мужиками, сомневающимися, что их детям нужна грамота? Перед священниками сельских приходов, часто относившимися к учителю с подозрением? Некоторые усматривали в учителе источник крамолы и доносили о своих сомнениях начальству.

По земским делам и медицинским вызовам Чехов много разъезжал по уезду. Видел, во что превращались реки из-за стока производственных отходов многочисленных фабричек, заводиков, промыслов. Строили их там, где им не полагалось быть, но владельцы всем пренебрегали. Как писал Чехову из Полтавской губернии Иваненко, винокуренные заводы спускали в реки всю «нечисть». Приезжала комиссия — «понюхает, пообедает, выпьет, закусит, оштрафует на 25 рублей тех, кто в день тысячи наживает, и тем дело кончается». Среди пациентов Чехова хватало людей, пострадавших от плохой воды или отравленных испарениями, кислотами в процессе изготовления кожаных изделий.

Этот реальный мир во всех смыслах был далек от Суворина, а Чехова не занимали журналистские страсти, газетная брань критиков, «душная», как он говорил, атмосфера неприязни, зависти. Зимой 1893 года Суворин пожаловался на критика «Русской мысли» Протопопова. Тот дал в своей статье нелицеприятную оценку «Новому времени», отцу и сыну Сувориным. Чехов начал ответ со слов, что лично с Протопоповым не знаком. Знает, что он писал о нем, но ни разу не читал. Действительно ли Чехов не читал статей Протопопова о себе или следовал выработанной уже привычке: на критику в свой адрес не отвечать? Хотя рецензенты писали о нем порою так, будто намеревались убить словом.

Он словно не замечал. Правда, в письме от 24 февраля 1893 года не скрыл своего чувства от *журналиста* Суворина: «Я не журналист: у меня физическое отвращение к брани, направленной к кому бы то ни было; говорю — физическое, потому что после чтения Протопопова, Жителя, Буренина и

прочих судей человечества у меня всегда остается во рту вкус ржавчины, и день мой бывает испорчен. Мне просто больно. <… > Ведь это не критика, не мировоззрение, а ненависть, животная, ненасытная злоба. Зачем Скабичевский ругается? Зачем этот тон, точно судят они не о художниках и писателях, а об арестантах. Я не могу и не могу».

Он посоветовал Суворину не отвечать Протопопову, потому, что «не стоит», потому, что при таком подходе Суворин тоже виноват в писаниях Буренина. Наконец, потому, что бранили не сына А. С. Суворина, а журналиста А. А. Суворина, который и сам бранил других в своей газете. И вообще: «Клеветническая или, говоря мягко, неразборчивая статья Протопопова ничего не прибавит и не убавит; количество друзей и врагов останется у Вас всё то же. А я понимаю Ваше настроение, сильно понимаю… Ну да Бог с ними!»

Но Алексей Алексеевич Суворин был из тех истеричных, завистливых, интригующих натур, которые чужую боль не брали в расчет, зато свою ощущали очень сильно. Не щадя чужие репутации, оскорбляя чужое достоинство, такие люди защищают свою честь бесчестными средствами. В начале марта он приехал в Москву выяснять отношения с редакцией «Русской мысли». Дело кончилось пощечиной, которую он дал Лаврову. Суворин записал в дневнике: «Бедный и милый Леля. Нехорошо, что я его пустил в Москву». Далее следовала брань, грубая и злая.

Всё случившееся он изложил по-своему в письме Чехову. Чехов собрался ответить, но раздумал. Однако выразил свое отношение в письме сестре от 11 марта: «Сукин сын, который бранится ежедневно и знаменит этим, ударил человека за то, что его побранили. Хороша справедливость! Гадко».

20 марта Суворин уехал в Италию. Но до отъезда он показал сыновьям письмо Чехова от 24 февраля. Об этом Чехову опять рассказал Александр: «В редакции у нас идет страшная сволочность и скандал следует за скандалом. <…> Я еще держусь, но и мне сообщено стороною, что после твоего письма старику ни один Чехов терпим в редакции быть не может. <…> упрекают тебя в самой черной неблагодарности. Ты-де всем от первой нитки до последней, от денег и до славы обязан старику. Без него ты был бы нулем. Ты же в знак благодарности суешь свой нос в семейные дела и восстановляешь его против детей. Об этом у нас говорят в редакции громко, даже в моем присутствии. <… > Я лично не чувствую себя достаточно твердо на своем месте в нашей редакции и не обманываю себя. Рано или поздно, если я не догадаюсь уйти сам, предложат удалиться. <…> Если оставить в стороне мою беллетристику, как кусок хлеба, то, как

добросовестный и дельный репортер, я пользуюсь таким доверием в других редакциях, что буде уйду из „Нов. Вр[емени]“, то в убытке не буду. Стесняет меня только мой долг в контору. Скажут: задолжал, мерзавец, и ушел, чтобы не платить».

Как и в случае с печатанием «Дуэли» осенью 1891 года, Александр зачем-то передал брату редакционные сплетни и дрязги. Не мог он забыть, что тогда выбил брата из душевной колеи. Сам же утешал, получив ответное письмо. Правда, не пожалел о своем поступке, мол, хотел «хоть немного познакомить с царствующим в редакции духом». И вот снова… Наверно, не долг «конторе» удерживал должника. Но его так называемые «тифы», то есть запои. Суворин терпел их не только потому, что Седой хорошо делал репортажи, бойко писал статьи на разные темы. Но и потому, что Александр Павлович оставался заложником, так сказать, зримым долгом Чехова «хозяину» «Нового времени».

Его, может быть, тешило, когда «больной» припадал к стопам благодетеля, «доброго г-на Суворина» и слал после очередного «тифа» унизительное письмо: «Откуда в Вас такая сила доброты? Утешьте меня, больного, тем, что Вы на меня не сердитесь. <…> Вас эта ласка не разорит, а для меня важнее, чем Вы думаете». Такие послания старшего из братьев Чеховых были схожи с посланиями младшего: то же подобострастие, малодушие. Не выгнали Александра Павловича и на этот раз. Оставили в покое. Пока…

Чехов написал Александру, что «старое здание затрещало и должно рухнуть», что «старика» ему жалко, что Суворин прислал «покаянное письмо» и с ним, вероятно, «не придется рвать окончательно». А дальше признался, почему навсегда ушел со страниц «Нового времени», но пока сохранил отношения с Сувориным: «Я оравнодушел в последние годы и чувствую свою animam[9] настолько свободной от забот суетного света, что мне решительно всё равно, что говорят и думают в редакции. <…> Но к чему я никогда не могу оравнодушеть, так это к тем передрягам, которые тебе volens-nolens[10] приходится переживать чуть ли не каждый месяц».

Чехов догадывался о душевном состоянии брата: «Чем глубже погружаюсь я в старость, тем яснее вижу шипы роз, коими усеян твой жизненный путь и тем грубее представляется мне материя, из которой сшиты подштанники нашей жизни». Он не корил за «тифы», не предлагал уйти из «Нового времени», не учил. Чехов сделал то, чего не мог не сделать — ушел сам из газеты. Но не сделал того, чего не мог пока сделать — прервать издание своих книг в суворинской типографии, потому что оставался должен

«конторе». Утешая брата, он говорил и о себе в этом апрельском письме: «Детство отравлено у нас ужасами, нервы скверные до гнусности, денег нет и не будет, смелости и уменья жить тоже нет, здоровье скверное, настроение хорошее для нас почти уже недоступно <…>»

* * *

Зима 1893 года, первая, проведенная в Мелихове, оказалась невеселой. Недомогал Павел Егорович. Почти весь февраль сильно болела Мария Павловна, наводя ужас на мать и брата стоном: «Я умираю!» Чехов сам не мог несколько недель выбраться из гриппа, который измучил его.

В распутицу «неуклюжее» Мелихово оказалось отрезанным от станции: не проехать ни на санях, ни на колесах. Выяснилось, что зайцы съели молодой сад, посаженный осенью. Всё шло как-то нескладно. Михаил всё время представлял брату счета, которые надо было оплатить, и планы переустройства усадьбы, тоже требовавшие расходов: «Антоша, брат, пора запасать семена. <… > Соломы продадим, вероятно, рублей на 50 и ржи, вероятно, на столько же — все-таки! Надо бы крыть железом каретник, но уж это обдумаю я. Заметь: нам еще строить баню, кухню и ремонтировать дом, т. е. ломать печки, перестилать полы и весь нижний венец переменить, строить теплый нужник, так что получится немножко страшная цифра — рублей 600. Я безумно дешево куплю сеялку».

Чехов отдавал всё, что у него было в наличии. В том числе гонорар за «Рассказ неизвестного человека», появившийся в мартовской книжке журнала «Русская мысль». О своем настроении он сказал: «Как в пустом горшке из-под кислого молока». Но не говорил, что оно дурное или тяжелое. В его письмах, несмотря на безденежье, ощущалось другое настроение. Он приглашал в гости «живописную Лику». Звал в Мелихово Шехтеля, Дюковского и Гиляровского. Хлопотал о бессрочном паспорте, что требовало хотя бы формальной, хотя бы краткосрочной государственной службы и отставки с оной. Шутил, что в его формулярном списке, в графе о наградах, заслугах и «геройствах», следует записать, что «отец имеет медаль для ношения на шее и брат Иван имеет тоже медаль, но в петлице». Сам он имеет жетон от «Петербургской газеты», а также Пушкинскую премию. Чехов радовался за брата Ивана, уже объявленного женихом. Его невеста, Софья Владимировна Андреева, из обедневших костромских дворян, работала с Иваном

Павловичем в одном училище. Но сам Чехов на совет старшего брата — «жиница» — ответил, что не имеет «чертога», куда бы «сунуть свою законную семью, если бы таковая была»: «Где я ее помещу? На чердаке? И <…> характер у меня слишком испортился, чтобы быть сносным семьянином».

Шутками он одолевал «психопатическое настроение», в которое его ввергала болезнь. Чехов обзывал ее «генеральской», «прескверной», раздражающей «до чёртиков», «до гадости» «гнусной», «подлой», а на операцию всё не решался: «Я раздражен, злюсь и проч. Лечусь воздержанием и одиночеством, т. е. стараюсь меньше слушать и еще меньше говорить». Домашние тоже сердились, и отсюда, как он признавался, — «ежедневная грызня», «грызотно-язвительное» настроение.

Этот семейный раздор застал Александр, когда в начале лета приехал в Мелихово. Ему все жаловались. По их словам выходило, что родные желали «кормильцу» добра, заботились о нем. А он хмур, неласков, чем-то удручен, но никогда не скажет чем. Каждый уводил гостя в лес поговорить. Отец считал, что причина только в том, что не слушают его, умного, знающего человека. Мать долго и подробно перечисляла свои заботы по дому, потом задавалась вопросом: а не сглазил ли кто их семью? не напустил ли порчу на Антона? Сестра обиженно недоумевала, за что ей такая мука: хлопочешь, хлопочешь, а вместо признательности — одно недовольство. Она разрывается между Москвой и Мелиховом, всё на ней — делай покупки, тащи с собой — и она же выходит виноватой. Вот Иван вскоре женится, Миша спит и видит, как бы скорей завести семью. Выходит, ей одной заботиться о доме, о хозяйстве?

Александр сбежал из Мелихова. На станции Лопасня, ожидая поезда, написал брату: «Мне очень жаль тебя. <…> Я все время страдал, глядя на тебя, на твое пакостное житье. <…> Словом, все без исключения желают тебе добра, но в результате выходит одно сплошное недоразумение. Примирить все эти недоразумения и взаимные оскорбления, слезы, неизбежные страдания, глухие вздохи и горькие слезы может только одно твое последнее решение, только твой отъезд. Мать тебя абсолютно не понимает и не поймет никогда. <…> Об отче наш’е (П. Е. Чехов. — А. К.) и говорить нечего». Старший брат давал один совет — уехать и как можно скорее: «Ты — добрый и хороший человек. Тебе Бог дал искру. С этой искрой ты везде дома. <…> Тебе во что бы то ни стало надо позаботиться сохранить душу живу. Брось все: свои мечты о деревне, любовь к Мелихову и затраченные на него труд и чувство. Мелихово не одно в мире».

Александр хорошо знал родных. Ропот матери, разглагольствования отца, жалобы сестры входили в ритуал домашней жизни. Вряд ли это были глубокие переживания. Но постигал ли сам Александр глубину и суть противоречий теперь уже не очень знакомой ему жизни семьи и жизни брата? Даже с житейской точки зрения совет выдавал скорее его собственное желание сбежать от своих семейных ссор, от трудных старших сыновей, от опротивевшей газеты.

Он не задался вопросом, кто будет содержать родителей и сестру. Он не выказал желания забрать к себе отца и мать. Не предложил материальную помощь. От него и не ждали этого. Но что значил тогда совет: беги, беги, спасай себя…

За минувшие десять с лишним лет, с тех пор как Чехов взвалил на свои плечи «семейный клобок», такие домашние «бури» случались не однажды. Обыкновенно они совпадали с тяжелым болезненным состоянием Чехова, с кризисом в работе, с душевной тревогой. Ему действительно не прощали такого настроения. Наверно, не по капризу, не из себялюбия. А потому, что, вероятно, не понимали подлинных истоков раздражения, хмурого молчания, скрытой досады сына и брата. Чехову порой, видимо, было легче и проще признаться в чем-то посторонним людям, чем родным. Словно он в семье не имел права на слабость, на срыв, на недовольство. Весной 1893 года Ольга Кундасова писала Суворину за границу, что Чехов жаловался ей на расстроенные нервы. Он, конечно, мог рассказать добрым приятелям, почему раздражен, признаться, что хандрит, злится. Мог назвать свое состояние «психопатическим». Но кому и как он смог бы объяснить, открыть «смертную тоску по одиночеству», томившую его всю весну.

Он и не открывал. Написал Суворину: «Но подул зефир, наступило лето — и всё как рукой сняло». Да, настроение Чехова зависело в том числе и от погоды. Едва потеплело, он повеселел: «Сегодня по случаю теплой погоды ходил пешком в деревню за 3–4 версты к тифозной бабе; шел лесом, солнце грело, и я чувствовал себя королем (не сербским) целые два часа». Но скоро и погода установилась, а Чехов говорил, что ему невесело, что «мыслей всяких много, но веселых мало». Так что и погода не помогла.

Конечно, настроение зависело и от его медицинских занятий. Как он предсказывал осенью 1892 года, больных к весне стало больше. К нему на прием приходило много чахоточных. В мае он упомянул в письме: «Сегодня у меня умерла больная от чахотки». Рассказывал: «После засухи у нас пошли дожди и всё зазеленело и ожило. Превосходное время. Всё бы хорошо, но одно только

дурно: не хватает одиночества. Уж очень надоели разговоры, надоели и больные, особенно бабы, которые, когда лечатся, бывают необычайно глупы и упрямы».

Итак, на него влияли погода, домашняя обстановка, врачевание, безденежье, собственное нездоровье. Но и то, для чего ему так нужно было одиночество, то есть его *работа*: «Я по уши ушел в чернильницу, прирос к литературе, как шишка».

Летом 1893 года Чехов, наконец, освободился от «каторги», как он называл и саму книгу о Сахалине, и свою долгую работу над ней. И отдал в «Русскую мысль». А еще закончил повесть, которую рекомендовал «повестушкой». Называлась она «Черный монах».

Глава четвертая «ВАКХИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ»

Повесть начиналась просто: «Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы». Завершалась история жизни магистра философии описанием смерти от горлового кровотечения, лужи крови и блаженной улыбки, застывшей на лице героя.

Странная повесть о человеке, которого близкие люди вообразили необыкновенным, великим, хотя ничего не понимали в том, что увлекало и занимало его ум. Монах, с бледным, «точно мертвым лицом» — галлюцинация Коврина. Призрак внушал магистру, которого ожидала университетская кафедра, ученая карьера, что ему уготован высокий, счастливый удел: «Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным царства Божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий…» Внушал не страшиться «отдать идее всё — молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага».

Коврин поверил призраку и гордился тайно «сознанием собственной высоты». Но в минуты и часы просветления, когда к нему возвращалось «его мирное, покорное, безразличное настроение», он «ясно сознавал, что он — посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть».

В беседах Коврина с черным монахом, в его размышлениях, в «возбужденном воображении» будто всплывало что-то из разговоров и размышлений героев «Палаты № 6» (имена Марка Аврелия и Диогена, мысли о бессмертии, о будущей прекрасной жизни, о познании, о смерти). Сходное — привычка героев к многочтению, бессонница, мозговое утомление; увлечение Рагина

философией, как нереализованная мечта о факультетской жизни; призраки, посещавшие Громова. Обе повести и книга «Остров Сахалин» оказывались связаны не только общим временем, когда Чехов работал над ними, но его глубоко скрытым настроением, душевным состоянием, которое он не поверял никому.

Черный монах, несущийся через поле, приснился Чехову, о чем он тогда же рассказал домашним, а впоследствии сам упомянул в письме. В переходе Коврина по лавам на другой берег реки словно мелькнула тень повторявшегося сна Чехова о реке, через которую ему надо переправиться. Весной 1893 года он попросил сестру непременно привезти книгу садовода-практика Н. Гоше — она упомянута в повести. Какие-то фразы, советы, суждения о хозяйстве, приметы мелиховского быта связывали повесть и письма Чехова весной и летом этого года. Они выдавали напряженнейшую работу над «повестушкой» и книгой «Остров Сахалин».

Однако недовольство написанным, уже ставшее привычным, было несколько иным. Чехов, восхищаясь описаниями природы у Тургенева, сказал, что нужно что-то иное. В другом письме признался, что надоело писать со скукой. Может быть, он опасался *самоповтора*, избегал соблазна писать в найденной манере следующую повесть, следующий рассказ.

В серьезных беседах Коврина с черным монахом об «избранниках Божиих», в искренних уверениях героини, Тани Песоцкой, что она и отец считают Коврина «величиной», «необыкновенным человеком», не чувствовалось ничего пародийного или иронического. Но, может быть, некий след размышлений самого автора об искушении человека чужим словом или самообольщением.

Князь А. И. Урусов, давний поклонник таланта Чехова, едва ли не единственный и страстный защитник обруганного «Лешего», приглашал Чехова в феврале 1893 года в гости. Шутил, что потом повесит на доме доску: «Здесь был Чехов». Уверял в своей манере: «Вы на всех парусах идете к Славе и литературному бессмертию, а это что-нибудь да значит. Мы же оттого и скучаем, что предвидим конец полнейший. Живет только Слово, созданное художественным замыслом и творческою волею». Чуть ранее Урусов уговаривал выступить на литературно-музыкальном вечере в пользу голодающих: «Ваше имя, громадный успех последнего Вашего произведения обеспечивает успех вечера».

Подобных слов Чехов уже слышал достаточно. Но оставался равнодушен как к критическим оценкам, так и к «возвышающему обману», к пророчествам ему славы. Он боялся стать «модным писателем», «любимцем публики». Всегда иронизировал над

принятыми в литературно-артистической среде комплиментами, возведением в «гении», в «первые таланты». Впоследствии рассказывал, как однажды поднимался по главной лестнице московского Благородного собрания. У зеркала, спиной к нему стоял актер Южин, держал за пуговицу Потапенко и говорил тому настойчиво: «Да пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в России». Но вдруг увидел в зеркале Чехова, покраснел и быстро добавил, указав через плечо: «И он…»

Летом 1893 года Чехов пошутил в письме к Мизиновой: «На Волге есть пароход „Антон Чехов“. Это открытие сделал Гольцев, читающий волжские газеты. Когда я построю пароход, то назову его Ликой. <…> Будьте здоровы, Ликуся милая, и не забывайте человека, имя которого носит один из пароходов. Не женщина, а пароход. Громоздко, но зато не так крикливо». Шутка таила скрытый смысл — словно Чехов не был готов отдать женщине свое имя. Правда подобные шутки то и дело мелькали в их переписке с прошлого года. Например: «<…> пишу Вам <…> без страха, что какая-нибудь тетушка, увидев эти строки, женит меня на таком чудовище, как Вы». Или: «Вырезываю из провинциальной газеты объявление и спешу послать Вам на случай, буде пожелаете выйти par dépit. Вы вполне подходите под условия».

Она в ответ рассказывала, что будто бы приняла предложение старика-виннозаводчика, дряхлого, толстого, но богатого. Нарочно удивляла фразами вроде: «Вы когда-то говорили, что любите безнравственных женщин — значит, не соскучитесь и со мной». Или: «Я вижу во сне Вас и приписываю эти кошмары тому, что приходится пить много шампанского. Каждый раз, как мне наливают новый стакан, я вспоминаю Вас и жалею, что не с Вами пью! <…> Замуж par dépit я решила не выходить. Par dépit теперь я прожигаю жизнь! Это во всяком случае и приятнее, и менее беспокойно». И продолжила это декабрьское письмо: «Есть на свете человек, который мог бы удержать меня еще от этого сознательного уничтожения себя, но этому человеку нет до меня никакого дела. Впрочем, уже поздно!»

Лика часто приезжала в Мелихово, гостила по несколько дней. Бабушка, ожидавшая внучку всё время в Покровское, без конца писала в дневнике летом 1893 года: «Лика у Чеховых»; «до сих пор у Чеховых». Лика присутствовала на венчании Ивана Павловича и Софьи Владимировны. На шутку о пароходе написала 28 июля, что назовет именем Чехова свою собачонку и вообще останется старой девой: «Тогда Вы поверите моей любви. <…> Кто заменил меня? Пишите побольше и почаще, умоляю! Человека, имя которого носит пароход — я забыть не могу, точно

так же и сердиться на него не могу, хотя все собираюсь!»

Он ответил 13 августа: «Приезжайте, милая блондиночка, поговорим, поссоримся, помиримся; мне без Вас скучно, и я дал бы пять рублей за возможность поговорить с Вами хотя бы в продолжение пяти минут. <…> Прите к нам, хорошенькая Лика, и спойте. Вечера стали длинные, и нет возле человека, который пожелал бы разогнать мою скуку».

Во всей их переписке это, может быть, самое важное письмо. Или самое решающее. За рассказом о буднях (больные, урожай, холера), как за тем, что на переднем плане, вырисовывался более глубокий план (мечта о путешествии; об отдельном доме на дальнем участке; о поездке в Петербург). А за этим — самое глубокое и редко, очень редко приоткрываемое: «Мне кажется, что жизнь хочет немножко посмеяться надо мной, и потому я спешу записаться в старики. Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание: я старик. Впрочем, всё это глупо. Простите, Лика, но, право, писать больше не о чем. Мне нужно не писать, а сидеть близко Вас и говорить».

В последние несколько лет в письмах Чехова прорывались слова: «Насмехается надо мной судьба»; — «У меня странная судьба»; — «Точно дразнится судьба»; — «Судьба соделала меня нянькою»; — «Нехорошее, насмешливое мое счастье!» Словно на секунду он позволял себе не пожаловаться, не пожалеть себя, а попросить пощады. У кого-то незримого, но кому была ведома его ноша. Будто не скрывал своей слабости и ждал помощи.

Сказал и тут же пошутил, но невесело: «Я сплю по 17 часов в сутки. Лика, если Вы влюбились в кого-нибудь, а меня уже забыли, то по крайней мере не смейтесь надо мной. <…> Будьте здоровы, милая моя Лика, и не забывайте меня. Если Вы увлеклись каким-нибудь Тишей, то все-таки черкните хоть строчку. Ваш А. Чехов».

Кажется, в первый и последний раз в их переписке Чехов сказал «*милая моя Лика*», отставив предыдущие эпитеты — «золотая», «перламутровая», «фильдекосовая», «прекрасная», «очаровательная», «изумительная», «благородная», «милая Лика» и т. п.

Мизинова ответила скоро. Всё ее письмо — град укоров, обид, обвинений. С первого до последнего слова. Она, судя по всему, не поняла или не могла понять его тихого, почти признательного послания, не услышала — «милая моя Лика…». Нет — сразу упрек, что долго не отвечал на ее письмо. Тут же обобщение: «Вы всегда думаете только о себе». Дальше — больше: «Письмо Ваше пропитано насквозь таким эгоизмом! Люди Вам

нужны для того, чтобы, когда наступает дурная погода и длинные вечера, делать нечего, а спать еще рано, чтобы тогда был бы около Вас кто-нибудь и разгонял Вашу скуку; а как только проходит такое время, Вы и не подумаете об нем».

В ней кипела обида. Лика выплескивала ее безоглядно, хотя чувствовала, что пишет «глупо и бестактно». Опять, как летом и осенью 1892 года, решала, что пишет «последнее» письмо. В который раз говорила: «Прощайте!» Уверяла: «Я буду бесконечно счастлива тогда, когда, наконец, ко всему этому и к Вам самим смогу относиться вполне равнодушно». Но на самом деле в каждой строчке, что она несчастна. И не только в своем чувстве к Чехову, а вообще во всей своей жизни. Так было с отрочества, в юности и теперь — какая-то неодолимая разбросанность и небрежность во всем. Всё с досады, всё под горячую руку, всё обращала в обиду. Поэтому, наверно, откуда бы ни уезжала, забывала необходимые вещи, нужные бумаги. Как писала бабушка в своем дневнике, узнав о новых планах внучки: «Вот ужасное *баламутство*. Остается <…> молиться за нее Богу».

В Лике, такой на вид невозмутимой, неспешной, действительно, крылось постоянное беспокойство, душевное бурление и словесное клокотание. Оно причиняло, наверно, ей много боли и вреда, а главное — толкало на всё то же par dépit. Жалея себя, она не жалела других. Всё это Чехов видел. Принимал ее характер («прокисший крыжовник»). Не обращал внимания на обидчивость («поссоримся, помиримся»). Но, вероятно, не извинял ей легкомысленной несправедливости по отношению к серьезному, главному.

Мизинова знала обо всех семейных несчастьях Чеховых. Видела в Мелихове очереди больных на прием к доктору. Он сам говорил ей о своих недомоганиях и безденежье. И тем не менее во всем августовском письме Чехова она услышала лишь слово «старик» и, видимо, расценила его как скрытый отказ, а их отношения как бесперспективные, пустые. И выпалила: «Вы старик! Если бы это написал кто-нибудь, кого я меньше знаю, то я приняла бы это за ненужное ломанье. Это пишете Вы, в 30 лет, имея все данные для того, чтобы быть довольным и молодым; было ли у Вас когда-нибудь большое горе и не удавалось ли Вам что-либо когда-нибудь? По-моему, Вам говорить, что Вы старик, более чем безнравственно! <…> Очень легко, сидя в Мелихове на диване, спя по 17 часов в сутки, сокрушаться в 30 лет о старости <…>. Прятаться за старость, чтобы иметь возможность только спать и есть, и писать в свое только удовольствие! Опять-таки не от старости все это, а просто характер такой! Впрочем, это не мое дело, и я извиняюсь, что рассуждаю о том, чего не

понимаю!»

Наверно, даже не резкость выражений («ломанье», «эгоизм», «безнравственно»), не обвинительный тон («Вы всегда думаете только о себе») задели Чехова. Это он прощал женщинам, как извинительную слабость. Его изумила ее бездумная напраслина: и большого горя-то он не знал, и всё-то ему удавалось, и живет-то, как Обломов, спит, сидит на диване, а не за письменным столом или на приемном врачебном пункте. Чехов ответил на обвинение с иронией: «Я ем, сплю и пишу в свое удовольствие? Я ем и сплю, потому что все едят и спят; даже Вы не чужды этой слабости, несмотря на Вашу воздушность». Это был намек на совсем не «воздушную», впечатляющую стать «Царевны-лебедь», как назвала ее одна из современниц, запомнившая облик Лики: «Ее пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под „соболиными“ бровями, необычайная женственность и мягкость и неуловимое очарование в соединении с полным отсутствием ломанья и почти суровой простотой — делали ее обаятельной, но она как будто не понимала, как она красива, стыдилась и обижалась, если при ней об этом кто-нибудь из компании Кувшинниковой с бесцеремонностью художников заводил речь».

Но, наверно, дело даже не в упреке Лики, мол, не Чехову жаловаться на судьбу («все данные для того, чтобы быть довольным и молодым»). Это можно счесть за комплимент: она воспринимала его молодым, полным сил. Дело — в главном. В том, чего она на самом деле не понимала и к чему отнеслась с неуважением. Как к пустяку по сравнению, видимо, с ее занятиями, ее трудами, ее огорчениями. На это Чехов ответил уже не с иронией, а сердито: «Что же касается писанья в свое удовольствие, то Вы, очаровательная, прочирикали это только потому, что не знакомы на опыте со всею тяжестью и с угнетающей силой этого червя, подтачивающего жизнь, как бы мелок он ни казался Вам».

«Очаровательная» Лика разочаровала Чехова. И это было необратимо. Красивой, «перламутровой» и «фильдекосовой» «царевне» позволительны ирония, насмешки над чем угодно, даже над ним самим. Но не над *его трудом*, этим «червем, подтачивающим жизнь». Письмо от 1 сентября он закончил словами, всегда выдававшими крайнюю усталость, «круглое одиночество»: «холодно, Лика, скверно». Слово *скверно* звучало в его письмах в минуты безнадежности и сильного огорчения.

Добрые отношения оставались, длились, но что-то невозвратно изменилось в отношениях Чехова и Л. С. Мизиновой. Она приезжала в Мелихово, они встречались в Москве. И все-таки…

Конечно, случайно в том августовском письме промелькнуло имя Потапенко, одесского знакомого Чехова: «Были у нас Потапенко и Сергеенко. Потапенко произвел хорошее впечатление. Очень мило поет». Еще только ожидая гостя, Чехов говорил о нем: «Сама скука»; «Бог скуки». Но ошибся. И как когда-то с Щегловым, у Чехова быстро установились с Потапенко приятельские отношения.

Может быть, именно Чехов познакомил его с Мизиновой в какой-то общей московской компании, к которой примкнул Игнатий Николаевич. Уже вдвоем они приехали встречать в Мелихово Новый год. 28 декабря 1893 года Чехов начал письмо к Гольцеву словами: «Сейчас приехали Потапенко и Лика. Потапенко уже поет». Закончил письмо строкой: «И Лика запела».

* * *

Это была не единственная перемена в окружении Чехова. Он сближался с кружком, который образовался в Москве из прежних приятелей и новых приятельниц: М. А. Саблин, В. А. Гольцев, В. М. Лавров, Т. Л. Щепкина-Куперник, В. А Эберле, Л. Б. Яворская, Ф. А. Куманин, П. А. Сергеенко, В. А. Гиляровский.

Этому предшествовало и способствовало невеселое лето 1893 года. В уезде и волости участились заболевания дифтеритом, опасались холеры. В конце июля Чехов написал Суворину: «Медицина утомительна и мелочна порой до пошлости. Бывают дни, когда мне приходится выезжать из дому раза четыре или пять. Вернешься из Крюкова, а во дворе уже дожидается посланный из Васькина. И бабы с младенцами одолели. В сентябре бросаю медицинскую практику окончательно». Он иронизировал: «Я точно под арестом, или — лучше — состою смотрителем арестного дома». Холера, точнее угроза холеры, держала его в Мелихове, так как он обещал земству, как и в прошлом году, быть до осени участковым врачом. И, может быть, от этого ему еще сильнее хотелось, как он говорил, «свободы и денег». Хотелось плыть на пароходе, думать не о холере и вообще «встряхнуться». Но не получалось… Всё те же больные, больные: «Нехорошо быть врачом. И страшно, и скучно, и противно. <…> Девочка с червями в ухе, поносы, рвоты, сифилис — тьфу!! Сладкие звуки и поэзия, где вы?»

Какие болезни врачевал Чехов на своем пункте? Все, кроме тех, которые требовали серьезного хирургического вмешательства. Все инфекционные заболевания (дифтерит, корь, коклюш, скарлатина и т. д.). Легочные заболевания. Венерические

заболевания. Травмы. Принимал роды. Его вызывали к хроникам и душевнобольным. В августе он рассказывал Лейкину: «Лето в общем было невеселое, благодаря паршивой холере. Я <…> опять ловлю за хвост холеру, лечу амбулаторных, посещаю пункты и разъезжаю по злачным местам. Не имею права выехать из дома даже на два дня». И бранил себя: «У меня не характер, а мочалка».

Чехов мечтал не только о пароходе, но и о письменном столе. Говорил, что «сюжетов скопилась целая уйма». Но опять за ним приезжали, везли к больному. Он даже выругался однажды — «если не подохну от холеры или дифтерита». Чтобы это не походило на жалобы, а тем паче на отчаяние, каковых не было, Чехов рисовал картины своей жизни, отдельной ото всех и ото всего. Один вариант: «В Москве я буду жить в „Лоскутной“, а в Петербурге найму себе теплый номер где-нибудь подальше от центра и буду жить в нем до весны». Другой вариант: «Когда я получу гонорар за „Сахалин“, то построю себе дом в лесу — с камином, мягкими полами, шкафами для книг и проч. и найму лакея. Куплю тюльпанов и роз сразу на 100 р. и посажу их около дома».

Он не утешал, а веселил себя этими фантазиями. Какой дом! Какой лакей! У него было в наличии место для дома, обещавшее вид на поле и лес вдали. И долг, который почему-то не сокращался, а возрастал, несмотря на успешную распродажу его книг. Ему казалось, что 5 тысяч, взятые на покупку Мелихова, после половинного погашения в январе, снизились к осени до тысячи. И вдруг пришел счет, что он должен магазину 3482 рубля. Чехов не запаниковал, не предположил на минуту ошибку или недобросовестность нововременского бухгалтера. Он сразу и фатально согласился: «Впрочем, чёрт с ней, с бухгалтерией. Быть посему». И в этом случае он, наверно, мог сказать о себе — «не характер, а мочалка»? Или это было всё от того же мироощущения, которое определяло отношение к болезни? *Всё принимать, ко всему быть готовым.*

В эти же августовские дни, когда случилась история со счетом, он рассказывал в письме Суворину: «Сегодня ночью у меня было жестокое сердцебиение, но я не струсил, хотя было тяжело дышать <…> все эти ощущения вроде толчков, стуков, замираний и проч. ужасно обманчивы. <…> Враг, убивающий тело, обыкновенно подкрадывается незаметно, в маске, когда Вы, например, больны чахоткой и Вам кажется, что это не чахотка, а пустяки. <…> Значит, страшно то, чего Вы не боитесь; тоже, что внушает Вам опасения, нестрашно. <…> Я знаю, что умру от болезни, которой не буду бояться».

Впервые, кажется, Чехов назвал своего невидимого врага ясно и определенно: *чахотка*. Впервые обозначилось в письмах предчувствие смерти. Даже не предчувствие, а большее: «Несмотря на все свои широкие планы и мечты об одиночестве, двухэтажном доме и проч., я все-таки ясно сознаю, что рано или поздно я кончу банкротством, или, вернее, ликвидацией всех планов и мечтаний». Вот этого глубокого чувства, к несчастью, не угадала Мизинова в письмах Чехова, занятая исключительно собой, своими обидами. А оно проступало в словах: «Мне кажется, что жизнь хочет немножко посмеяться надо мной…»

Чехов покорился денежному счету. И предложил Суворину убийственный для себя план, некую, как он выразился, «финансовую выкладку». А именно: книжный магазин «Нового времени» гасит его долг, а еще выплачивает ему сразу три тысячи или ежегодно 300 рублей в течение десяти лет. За это суворинская фирма десять лет печатает и продает по своему усмотрению все сборники Чехова, уже ею изданные. Ему казалось, что он придумал «фантастический план», но Суворин назвал этот проект «глупой шуткой», убеждая, что Чехов может заработать на книгах 20–30 тысяч. На что тот ответил: «Прекрасно. Говорят также, что я буду в раю. Но когда это будет? А между тем хочется жить настоящим, хочется солнца, о котором Вы пишете».

Только в том состоянии, в котором Чехов находился в августе 1893 года — «нервы раздрызгались чертовски, как корабельные снасти во время бури», — мог возникнуть еще один проект спасения от денежного крушения. Он вынуждал себя с Нового года вернуться на страницы «Нового времени», печатать два рассказа в месяц, гонорар — 200 рублей за рассказ в 600–700 строк, то есть менее 30 копеек за строчку. Тогда как Худеков, издатель «Петербургской газеты», предлагал ему еще в конце 1891 года 40 копеек за строчку.

Впрочем, Чехов предполагал, что и это предложение Суворин примет за шутку. Действительно, хозяину газеты было не до него. Вернувшись в Россию в конце июля после четырехмесячного путешествия по Европе, Суворин через месяц, в конце августа, снова отправился в Европу. В своем дневнике он записал 17 сентября: «Вся жизнь потрачена на труд, и к старости, когда смотришь в могилу, нет никого, кто принимал бы сердечное участие, кто берег бы. <…> Скука и тоска. Тоска человека, выброшенного из жизни, общипанного, куцего какого-то, переставшего жить настоящею жизнью, но желающего жить и чувствующего бессилие жить». Он уже давно принимал свои недуги за смертельные. То и дело бросал в дневнике фразы: «точно приготовления к могиле»; — «однако, г. Суворин, мне

очень не по себе»; — «начало конца». Жаловался Чехову, а тот ставил диагноз: «мерлехлюндия» и шутил: «Зачем было покидать Воронеж и браться за журналистику?»

Жалобы Суворина тонули в рассказах о встречах, о французских курортах, парижских кафе, покупках дорогих вещей, прогулках по бульварам и т. п. Оттуда, из Парижа, потом Берлина, всё мелиховское, о чем писал ему Чехов, вероятно, не трогало богатого русского путешественника. Больные мужики, русская осень, долги, гниющие в поле хлеба, построенная новая кухня, людская — в бедной, более чем скромной усадьбе Чехова, так не понравившейся Суворину, — казались, наверно, далеким, туманным, скучным. В «Маленьких письмах», посылаемых Сувориным из-за границы осенью 1893 года, главная тема — праздники по случаю дружеского визита русской эскадры в Тулон. Незадолго до этого Россия и Франция заключили военно-политический союз как противостояние Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии.

Суворин писал о всемирном значении праздника, о чаемом «вечном мире»; о зрелище, которое бросает «яркие лучи к будущему». Не находя слов, истратив все имеющиеся, он восклицал: «Я в каком-то чаду в течение нескольких часов. <…> Разве не чувствуется тут присутствие Бога любви и братства, присутствие чего-то высшего, идеального, сходящего на людей только в высокие минуты? <…> Нельзя описывать того, что было у „Circle militaire“, когда появился на балконе второго этажа адмирал Авелан (командующий русской эскадрой. — А. К.). Тут слова ничего не скажут».

Последнее «письмо» о празднике Суворин закончил словесным апофеозом: «В газетных типографиях недоставало буквы s, так часто произносились печатные слова Russie, russes, и в разговорах, в чувствах, в сердце народном постоянно стояли эти слова вместе со словом „царь“. <…> Ах, Господи, какие это чудесные, славные чувства и как сладки слезы радости!» В дневнике Суворин не писал о празднике, отметил только: «Подробностей празднеств не записывал, некогда было решительно». Он был в Париже с Анной Ивановной и шестнадцатилетней Настей, поэтому сопровождал жену и дочь по магазинам, ворчал, что он для родных лишь «мешок с деньгами». Вместе они нанесли визит Саре Бернар, ужинали у нее дома. Бесконечные знакомства, завтраки, обеды. Жили Суворины в роскошном «Hotel Vendôme», в центре Парижа.

Суворин в «Маленьких письмах» и в дневнике — иногда словно два разных человека. Был ли третий человек, которому Чехов написал в августе, узнав о его отъезде за границу: «Когда я

прочел об этом в Вашем письме, то у меня в нутре точно ставни закрыли. В случае беды или скуки к*а*мо пойду? к кому обращусь? Бывают настроения чертовские, когда хочется говорить и писать, а кроме Вас я ни с кем не переписываюсь и ни с кем долго не разговариваю. Это не значит, что Вы лучше всех моих знакомых, а значит, что я к Вам привык и что только с Вами я чувствую себя свободно».

В этом признании — одно из свойств Чехова, скрытых от внешнего взгляда. Он очень трудно сходился с людьми душевно. Может быть, в силу природного характера. И в детстве и в отрочестве Чехов не избегал компании сверстников, но и не тосковал без нее. Дневника он не вел, да и письма его с годами укорачивались — даже Суворину. Чехов редко писал кому-то сам по порыву, по душевной потребности. Вопросами о личной жизни, о настроении не докучал, оставляя собеседнику свободу сказать то, что хочет. О себе лишь рассказывал на свой манер. Поэтому его письма выходили разнообразными, «пестрыми», эмоциональными. Мозаика новостей, подробностей, деталей складывалась, тем не менее, в общую картину и передавала его настроение. Иногда в письмах рассказ о каком-то событии или факте превращался в сюжет.

Как-то весной 1893 года Чехов передал историю несостоявшейся женитьбы младшего брата: «Брат Миша влюбился в маленькую графиню, завел с ней жениховские амуры и перед Пасхой официально был признан женихом. Любовь лютая, мечты широкие… На Пасху графиня пишет, что она уезжает в Кострому к тетке. До последних дней писем от нее не было. Томящийся Миша, прослышав, что она в Москве, едет к ней и — о чудеса! — видит, что на окнах и воротах виснет народ. Что такое? Оказывается, что в доме свадьба, графиня выходит за какого-то золотопромышленника. Каково? Миша возвращается в отчаянии и тычет мне под нос нежные, полные любви письма графини, прося, чтобы я разрешил сию психологическую задачу. Сам чёрт ее решит! Баба не успеет износить башмаков, как пять раз солжет. Впрочем, это, кажется, еще Шекспир сказал».

На самом деле не Клара Мамуна отказала жениху, а еще не объявленный официально женихом Михаил отказался от той, которую поначалу видел своей будущей женой, которой посылал сентиментальные письма и пылкие записки. И вдруг пошел на попятный, не спешил знакомиться с будущими родственниками, в письмах объяснял, почему они не могут быть вместе. Она простила — и вскоре действительно вышла замуж. Это-то и возмутило бывшего жениха. Так скоро забыт! Значит, не так уж сильно любила! Ему предпочли другого!

Своими восклицаниями он превращал житейскую коллизию в смешной водевиль, что и почувствовал Чехов, изложив по-своему романическую историю. Он всегда подтрунивал над выспренностью и наивным самодовольством младшего брата. Тому хотелось выглядеть героем драм, романов, а Чехов соглашался отвести ему комические роли. В августе он упомянул брата в письме Суворину: «Миша, после того как его надули, перестал говорить о женитьбе и несет чепуху о своей старости, о суете и проч.». Позже в письме сестре заметил, что «трудно ждать, чтобы этот молодой человек был внимателен к кому-нибудь другому, кроме собственной особы».

Отношения между ними так и не сложились. Если Александр и Иван никогда не посягали на откровенность Чехова, на душевную дружбу с ним, то Михаил всё еще не осознал, что они родные, но не близкие люди. И то, что он брат, не давало ему права на задушевные беседы и доверительные признания.

* * *

Говорил ли Чехов до сих пор еще кому-нибудь кроме Суворина, что он привык к нему, чувствовал себя свободно с этим человеком, правильно понятым, а потом не истолкованным дурно? Кому еще он доверял и доверялся? Покойному Свободину? Или Плещееву, весть о смерти которого 26 сентября 1893 года в Париже быстро донеслась до России?

7 октября Лидия Стахиевна послала короткое письмо с настоятельной просьбой к Чехову приехать в Москву: «Мне так хочется Вас видеть, так страшно хочется этого, и вот и только — я знаю, что это желанием и останется! <…> Ведь мне осталось только три-четыре месяца Вас видеть, а потом, может быть, никогда». И далее — просьба уже не о встрече, но хотя бы о письме: «Умоляю, напишите две строчки, так как Вы не приедете — Плещеева уже похоронили. Не возмущайтесь».

Вероятно, Чехов просил сообщить ему дату похорон Плещеева. Но она не смогла этого сделать по какой-то причине. Заупокойная литургия и погребение на Новодевичьем кладбище прошли как раз 7 октября. Чехов поехал в Москву только 27 октября. В эти дни он пережил еще одну потерю — 25 октября в Петербурге умер П. И. Чайковский. Уже из Москвы Чехов послал телеграмму М. И. Чайковскому: «Известие поразило меня. Страшная тоска… Я глубоко уважал и любил Петра Ильича, многим ему обязан. Сочувствую всей душой». Словосочетание «многим обязан» очень редко встречалось в письмах Чехова. Оно передавало особую душевную признательность за нечто, что существенно повлияло на него самого, на его жизнь.

Понять настроение Чехова по его письмам в эту пору — осенью и ранней зимой 1893 года — необычайно трудно. В глубине — состояние, обусловленное смертью Плещеева и Чайковского. На поверхности — какое-то неожиданное, на первый взгляд бравурное, кажущееся странным, необъяснимым. Да, у него были основания дать себе передышку. Во-первых, определилась судьба книги «Остров Сахалин», отданной в «Русскую мысль», где ее начали печатать уже в октябре. Во-вторых, Потапенко, узнав о казусе с долгом Чехова суворинской «конторе», навел в оной справки. Выяснилось, что бухгалтер ошибся, и всё не так страшно. Значит, отпали «фантастические» планы насчет возвращения в газету и кабалы на десять лет с изданием книг.

К тому же Чехов заключил договор с издателем

И. Д. Сытиным на сборник своих рассказов и получил 2300 рублей. К этому его подвигло предложение бывших владельцев имения — выплатить им оставшуюся по закладной сумму с уступкой 700 рублей, то есть всего 2300 — но сейчас, теперь, сразу. Чехов согласился и в конце года уплатил этот долг. На нем остался еще банковский долг в 5800 рублей (как он шутил, «быть должным банку приятно даже»). А еще долг суворинской книжной фирме и самому Суворину — 3490 рублей, который Чехов полагал погасить в крайнем случае в следующем году. Всего же — свыше девяти тысяч рублей. И все-таки, по сравнению с весной 1892 года, долг сократился наполовину.

В такие минуты на Чехова находил легкомысленный стих. Однажды он сказал о себе: «К тому же, когда у меня бывают деньги (быть может, это от непривычки, не знаю), я становлюсь крайне беспечен и ленив: мне тогда море по колено…» Это ощущение независимости от мыслей о деньгах Чехов иногда называл *праздностью*. И много раз говорил, что она необходима ему для личного счастья и для сочинительства. Когда бы за письменный стол его гнали не соображения о том, на что купить инвентарь, как расплатиться с работниками, где взять деньги, чтобы уплатить проценты в банк, а лишь *желание писать*.

Он отделял эту праздность от ничегонеделания, от банальной лени, приравнивая ее к наслаждению природой и одиночеством. Слово *лень* без конца мелькало в его письмах. Наверно, кого-то из его корреспондентов оно вводило в заблуждение, потому что имело много смысловых оттенков. От общеизвестного, обыкновенного — до такого, который передавал особенности личности Чехова, его, как он говорил, «психико-органические свойства». Как-то на упрек Суворина он ответил: «Вы пишете, что мой идеал — лень. Нет, не лень. Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений. Говорил я Вам не о лени, а о праздности, говорил притом, что праздность есть не идеал, а лишь одно из необходимых условий личного счастья».

Иногда под ленью подразумевалось состояние душевной усталости. Порой он скрывал за этим словом свою опустошенность после напряженной работы, когда, наверно, еще шло расставание автора со своими созданиями, когда он словно перенастраивался на новую работу и замедлившееся сочинительство называл ленью. Физическую усталость, например, после Сахалина или в 1892 году в «холерное» лето он тоже прятал за этим словом. Рассказывал в письме Н. М. Линтваревой о бесконечных разъездах по своему медицинскому участку и шутил: «Моя лень оскорблена во мне глубоко».

Было еще одно утомление, при котором Чехов поминал лень.

Это *однообразие*. Оно словно усыпляло его. Шла ли речь об одноцветных пейзажах, о монотонном образе жизни, о пустых разговорах. Его раздражали даже одинаковые конверты, купленные домашними про запас. Глубокой осенью 1892 года он писал Суворину из Мелихова: «Однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, лунный свет, гробовая тишина днем и ночью, бабы, старухи — всё это располагает к лени, равнодушию и к большой печени. <…> Один мой сосед, молодой интеллигент, сознавался мне, что любит читать, но не в состоянии дочитать книгу до конца. Что он делает в зимние вечера, для меня непостижимо».

Когда мысль о деньгах томила особенно сильно, Чехов не скрывал того, как не хочется ему писать, какая лень садиться за письменный стол. Однако с годами, незаметно, но неуклонно, со словом *лень* стало сочетаться слово *старость*. Осенью 1892 года Чехов писал Щеглову о своей мелиховской жизни: «И тепло, и просторно, и соседи интересные, и дешевле, чем в Москве, но, милый капитан… старость! Старость, или лень жить, не знаю что, но жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто бы надоело. Словом, душа вкушает хладный сон».

Эта перемена: *лень писать — лень жить*, могла быть связана и с его давним странным чувством, что после 30 лет наступает старость, точнее, старение, утрата внутреннего возбуждения, необходимого для сочинительства. Может быть, так проявлялась уже осознанная реальность: у него чахотка и это необратимо. Или переполняло недовольство тем, что он написал в последние годы. Или сказались «тяжесть и угнетающая сила» сочинительства, этого «червя», уже много лет подтачивавшего его жизнь.

Была и еще одна причина: многолетняя усталость, усугубившаяся в Мелихове трудными «холерными» заботами, медицинскими занятиями, хлопотами с имением. Письмо Александру от 4 сентября 1893 года он закончил строкой: «Утро. Приемка больных. Сейчас принял № 686. Холодно. Сыро. Нет денег».

* * *

И вдруг Чехов неожиданно засобирался в путь — будто бы на Мадейру («Это от грудей хорошо. Есть попутчик: Шехтель»), В связи с этим решил «закончить» свою кратковременную государственную службу. Дело в том, что для получения бессрочного паспорта Чехов хлопотами Александра Павловича был определен в марте 1893 года младшим сверхштатным

чиновником в Медицинский департамент Министерства внутренних дел. 12 ноября этого же года Чехов по его просьбе был освобожден от службы. Как лицо, вышедшее в отставку, он получал желанный паспорт. До этого момента мещанин А. П. Чехов имел лишь временный вид на жительство, выдаваемый на пять лет.

Еще весной директор департамента передавал Чехову совет — не спешить с отставкой, мол, беспокоить нового чиновника не будут, а вот некоторые льготы и перемены в чинах последуют, как положено. Александр, предлагая тут же, поступив, выйти в отставку, шутил: «И так как твоя служба продолжится всего только несколько дней, то постарайся послужить родине как можно поусерднее».

Свести «службу» к одному дню Чехов счел уж совсем неловким и лишь в октябре попросил брата закончить это дело. И набросал в письме пародию на свой «формулярный список»: «Раньше нигде не служил, в сражениях, под судом и под венцом не был, орденов и пряжки XL не имею. Имею две благодарности от земских собраний за организацию холеры и доблестную службу, а также в 1888 г. был награжден Пушкинской премией за послушание родителей. Имею недвижимое: 213 дес. Происхождения необыкновенного, весьма знатного. Отец мой служил ратманом полиции, а дядя и по сию пору состоит церковным старостой <…>»

Уже 11 ноября петербургский «ходок» сообщал в своей насмешливой манере: «Вчера секретарь департамента <…> уведомил меня о радостном событии: тебя уже турнули в шею из сонма чиновников <…> и твой беспаспортный дух может успокоиться, буде он мятется». Вскоре уточнил, что пришлет паспорт через две недели: «Потерпи, Антошичька! За долготерпение дядя Митрофан и протоиерей Покровский тебя превознесут. Прощайте, молодой человек в отставке, и будьте здоровы. <…> Я об тебе пекусь».

Еще одной шуточно обсуждаемой, но на самом деле нешуточной темой в осенней переписке старших братьев стали слухи и сплетни о болезни Чехова. Александр рассказал со слов коллег, как в редакцию «Нового времени» приезжал Лейкин и уверял, будто Чехов ему единственному доверил «печальную повесть» о «раннем угасании от неизлечимого недуга». Чехов написал в ответ: «Поблагодари Лейкина за сочувствие. Когда его хватит кондрашка, я пришлю ему телеграмму». И продолжил, уже для брата: «Маленько покашливаю, но до чахотки еще далеко. Геморрой. Катар кишок. Бывает мигрень, иногда дня по два. Замирания сердца. Леность и нерадение». Так «хохлацкая лень», в

шутку упоминавшаяся когда-то как свидетельство здоровья, теперь, тоже в шутку, оказалась в перечне серьезных болезней Чехова.

Еще до этого, видимо, по строчкам из предыдущего письма, Александр почувствовал невысказанное настроение брата. Чехов дал совет обучать старшего племянника Николая какому-нибудь ремеслу, коли он оказался «туповат в науках»: «Во всяком разе иметь надо в виду ближайшую цель: кусок хлеба. На папеньку-то ведь и на дядюшек надежда плохая». Александр откликнулся скрытым утешением: «В сущности же из всей плеяды братьев только ведь ты один имеешь счастие считаться моим братом и другом, поелику Иван для сего слишком положителен, а Михайло в чинах по службе далеко ушел. Мы с тобою как-то ближе: ты — не имеющий чина, а я — скромный губернский секретарь».

В письме от 11 ноября 1893 года он ругмя ругал Лейкина. Тот продолжал звонить во всех редакциях, кружках и домах о близкой кончине Чехова: «Уйми ты Лейкина. <…> Он тебе делает отрицательную репутацию, вызывая везде ни к чему не нужные сожаления. Ведь не всякий знает, что Лейкин — осёл и дурак <…>. Та же публика, увидев тебя жива и здрава, обидится на тебя за то, что ты обманул ее и не умер от чахотки. <…> Посоветуй Лейкину прилепить язык к гортани, и да будет он проклят».

Но о том, что у Чехова, по слухам, идет горлом кровь, что у него чахотка, Чехову писал из Петербурга и Суворин. На все подобные разговоры и доносившееся из столицы сочувствие Чехов ответил брату 22 ноября: «Конечно, всё это вздор, но положить конец вздорным слухам не в моей власти; не могу же ведь я выслать медицинское свидетельство. Полают и отстанут». Правда, самому Суворину десятью днями раньше Чехов написал: «Я жив и здрав. Кашель против прежнего стал сильнее, но думаю, что до чахотки еще очень далеко». И продолжил: «В последнее время мною овладело легкомыслие и рядом с этим меня тянет к людям, как никогда <…>»

Чехов уверял Суворина, что писать что-либо ему не хочется («не хватает страсти») и всему — литературе, медицине — он предпочитает чтение («в продолжение многих часов», «лежа на диване»). В этом же письме он рассказывал: «Третьего дня я вернулся из Москвы, где прожил две недели в каком-то чаду. Оттого, что жизнь моя в Москве состояла из сплошного ряда пиршеств и новых знакомств, меня продразнили Авеланом».

Можно подумать, что Чехов пародировал «письма» Суворина из Парижа о празднике, банкете. Даже главные состояния схожи — «в каком-то чаду». Но, действительно, кружок новых приятелей и приятельниц Чехова назвался «эскадрой», а его именовали

Авеланом. Началась череда обедов, застолий, катаний. У всех в компании появились прозвища. Пятидесятилетний Саблин — «серебряный дедушка». Татьяна Щепкина-Куперник — «лиловая безумная», а Лидия Яворская — «зеленая безумная», за пристрастие к любимому цвету. Тех, кто их не понимал или осуждал, они звали «разумными».

«Луврские сирены», как называл Чехов обеих приятельниц, так как одна из них жила в гостинице «Лувр», вовсю околдовывали симпатичного, остроумного литератора. Он охотно поддавался чарам молодых, интересных женщин, искушавших «святого Антония», певших ему в уши о его исключительности, о том, что он знаменит, слава его растет. Софья Владимировна, жена Ивана Павловича, с самого начала знакомства, пристально, даже с долей скрытой ревности, наблюдала за деверем. Она запомнила взгляд, которым Чехов окидывал входящую женщину. В этом взгляде, по ее словам, «чувствовался настоящий мужчина». Однажды, затевая любительский спектакль силами литераторов, Чехов пошутил: «Во всяком разе пора перестать быть очень серьезными, и если мы устроим дурачество монстр, то это шокирует только старых психопаток, воображающих, что литераторы гипсовые».

По случаю приезда Чехова в Москву затевались празднества. Саблин предпочитал везти всех в «Яр» и «Стрельню», он любил цыган. Или зазывал завтракать к Тестову и там закусывать водку грудинкой, вынутой из щей. Лавров знал какие-то ресторанчики на окраинах, где посетителей баловали белорыбицей и особенной ветчиной. Гольцев, в шутку называвший себя «лысым русским либералом», настраивался на долгий разговор под бутылочку любимого красного вина. Участникам «эскадры», «плававшей» по ресторанам, запомнились и домашние приемы у Лаврова. Потапенко описывал «бесконечно длинные, вкусные, сытные, с обильным возлиянием и достаточно веселые обеды, многолюдные и речистые, затягивавшиеся далеко за полночь <…>. Чехова они утомляли, и потому (однако ж единственно поэтому) он шел на них неохотно <…>. В Москве Чехов оставался по нескольку дней, но в эти дни ничего не писал. Его манера работать вдали от людских глаз — здесь, где он был постоянно на виду у всех, была неосуществима. <…> Зато и уезжал он внезапно, словно по какому-то неотразимому внутреннему побуждению. Вот сегодня собирались в театр, взяли билеты, и он интересовался пьесой <…> и он обещал. Всё равно <…> уезжал, несмотря ни на что».

Так же внезапно он уехал 7 ноября 1893 года. Уже из Мелихова Чехов написал два письма. Одно Гольцеву с поздравлениями и сожалениями, что не смог «приплыть» и

поздравить именинника лично. Другое — Лаврову в связи с юбилеем Григоровича. Еще пять лет назад Чехов говорил, что по-человечески Гольцев ему симпатичен: «человек милый и хороший». Но иронизировал над ним в роли редактора: «вице-директор самого толстого и самого умного журнала во всей Европе»; «великий визирь „Русской мысли“»; «журнальный масон». И не принимал как литератора и литературного критика: «понимающий в литературе столько же, сколько пес в редьке».

Чехов, конечно, уже тогда был наслышан о его судьбе: Гольцеву отказывали в кафедре, в курсе в нескольких российских университетах, так как был разослан тайный циркуляр министра народного просвещения Д. А. Толстого, предписывавший не допускать его к лекциям «нигде в империи, ни в каком учебном заведении». Это было следствием выступлений Гольцева против любимой министром системы классического образования и вообще воззрений опального магистра. За них он подвергался арестам, обыскам, негласному надзору полиции.

Средоточие его идей — России нужна конституция, России нужны законы, которые подняли бы авторитет власти в глазах образованного общества. Это должно объединить оппозицию. И вообще взаимопонимание плодотворнее вражды. Поэтому Гольцев декларировал свое правило: «…в противнике желаю видеть человека, хочу идти навстречу его мнению, понять его и горячо поспорить с ним, в случае несогласия, но не оскорблять его лично». Это строки из его статьи в январском номере «Русской мысли» (1889).

С самим Виктором Александровичем у Чехова постепенно сложились настолько приязненные отношения, что они перешли на «ты». В окружении Чехова таких людей было немного. Из прежних приятелей — Гиляровский и Сергеенко, из новых — Потапенко, Лавров и Гольцев. Что-то в них располагало Чехова к себе.

Игнатий Николаевич Потапенко, сын военного, ставшего священником, и крестьянки, учился в духовном училище, затем в семинарии, в университетах (Новороссийском и Петербургском), в консерватории. Однако не стал ни священником, ни юристом, ни певцом. Стал журналистом, печатался в южных газетах. Затем перебрался в столицу. Первые же повести и романы создали ему свою публику и имя в литературных кругах. Он писал на злободневные темы, просто, в меру занимательно, в меру нравоучительно. Многословно, но не утомительно и не обременительно для читателя. Неглупый, скорее добродушный, чем добрый, приветливый, он легко вписывался в компанию. Не скупой, но и не бросающий денег на ветер, он тем не менее

безболезненно расставался с ними. Среди литераторов слыл «королем авансов», умел взять их всюду. Плещеев звал его «рыцарем аванса». Тратил на женщин, на азартные игры. Не получив развода от законной жены, жил семейно с другой женщиной, от которой имел детей. И, по-видимому, никогда не унывал. Хотя, конечно, увлечения стоили ему недешево. Вынужденный писать не просто много, а очень много, он осознавал, что исписывается, истощается. Однажды в откровенную минуту, когда они выпивали наедине, Потапенко сказал одному из приятелей: «Да, был когда-то талант, подававший надежды, но… Ах, что я сделал со своим талантом!»

28 ноября 1893 года Чехов то ли в шутку, то ли всерьез написал Суворину о Потапенко: «Это необыкновенный человек. Он может писать по печатному листу в день без одной помарки. Однажды в 5 дней он написал на 1100 руб. И по-моему, это курьерское скорописание есть вовсе не недостаток, как думает Григорович, а особенность дарования. Одна баба два дня ревет белугой, пока родит, а другой родить — всё равно, что в нужное место сбегать».

Обладавший хорошей памятью, Потапенко запомнил многое из встреч с Чеховым, которого, как и Чехов его, с 1893 года считал своим добрым и верным товарищем. По наблюдениям Потапенко, к чему Чехов «чувствовал непобедимый, почти панический ужас, так это к торжественным выступлениям, в особенности, если подозревал, что от него потребуется активное участие».

Осенью 1893 года в Петербурге 31 октября отмечали 50-летие литературной деятельности Григоровича. Москвичи тоже решили, пусть не так торжественно и многолюдно, но почествовать автора «Деревни» и «Антона Горемыки». Хлебосольный Лавров затеял обед в «Эрмитаже» и, конечно, готовились речи. Особенно уповали на слово Чехова. Чехов вообразил, как это будет выглядеть, и нарисовал картину, запомнившуюся Потапенко: «Ведь это же понятно. Я был открыт Григоровичем и, следовательно, должен сказать речь. <…> И при этом непременно о том, как он меня открыл. Иначе же будет нелюбезно. Голос мой должен дрожать и глаза наполниться слезами. Я, положим, этой речи не скажу, меня долго будут толкать в бок, я все-таки не скажу, потому что не умею. Но встанет Лавров и расскажет, как Григорович меня открыл. Тогда подымется сам Григорович, подойдет ко мне, протянет руки и заключит меня в объятья, и будет плакать от умиления. Старые писатели любят поплакать. Ну, это его дело, но самое главное, что я должен буду плакать, а я этого не умею. Словом, я не

оправдаю ничьих надежд».

Он не раз шутил, что в юбилейных речах много неискреннего, что, когда говорят о нем, он готов лезть под стол. Подтрунивал впоследствии над «глупой московской сентиментальностью». Однажды сказал, что лучший способ отметить чей-то юбилей — это учредить стипендию, чтобы дать возможность получить гимназическое или университетское образование. Например, кому-то из «кухаркиных детей». Чехов имел в виду пресловутый циркуляр Министерства народного просвещения от 1887 года, который, в сущности, разрешал препятствовать поступлению в гимназии детям лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников.

Юбилей прошел без Чехова.

Глава пятая. «ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ» И «ЖЕЛАНИЕ ПИСАТЬ»

Пережив приступ запоздалой молодости или прощания с молодостью, Чехов сказал, что никогда раньше «не чувствовал себя таким свободным». Это была какая-то странная свобода ото всего, нечто не схожее с тем, как он жил до сих пор. Он словно забывался на время своих отлучек из Мелихова. Не думал ни о расходах, ни о медицинских занятиях, ни о литературной работе. Ни о чем. Шутил: «и… девицы, девицы, девицы…» В общем, легкомыслие…

Но «легкомыслие» Чехова было, судя по письмам, воображаемым, а свобода мнимой. Как и ощущение покоя. Казалось бы, осуществилось то, о чем он мечтал осенью 1891 года — «жить в провинции <…> медициной заниматься и романы читать». И вдруг — всё это бросает и едет на целый месяц в Москву. Говорил, что ничего не пишет, что у него в столе только «несколько старых рукописей и начатых рассказов». Но шутил, что хочет «наградить русскую публику еще многими произведениями», что хочет «писать, как Потапенко, по 60 листов в год».

28 декабря в газете «Русские ведомости» появился рассказ «Володя большой и Володя маленький». О молодой женщине, вышедшей par dépit замуж за человека старше ее на тридцать лет и быстро изменившей мужу с тем, кого она, как ей казалось, любила.

К концу года, вероятно, был завершен рассказ «Скрипка Ротшильда» — о старом гробовщике, скрипаче-любителе, мрачно подсчитывавшем мнимые убытки; от скупости заставлявшем жену пить горячую воду вместо чая. И вдруг, похоронив жену, уже заболев тифом, он, всех ненавидевший и всеми ненавидимый, затосковал и сочинил перед кончиной мелодию. И отдал ее

вместе с любимой скрипкой бедному еврею-музыканту с фамилией известного богача: «И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десять раз».

Однако за всем уже написанным и опубликованным в последние два года всё время мерцало упоминание «комедии», «пьесы». Весной 1892 года он сказал Суворину, что у него есть сюжет комедии, но не придумал еще конца: «Кто изобретет новые концы для пьес, тот откроет новую эру. Не даются подлые концы! Герой или женись или застрелись, другого выхода нет. Называется моя будущая комедия так: „Портсигар“».

На вопросы о пьесе отвечал осенью 1893 года, что не пишет и не хочется. Но вдруг 28 декабря упомянул в письме Гольцеву.

Как бы то ни было, но кончался срок, когда-то, в 1889 году, отпущенный Чеховым фортуне, куда пустить его — «вверх или вниз по наклону». И самому себе: «Погодим еще лет пять, тогда видно будет». Словно кончался зарок, данный после «Лешего» — не писать пьес. И он теперь заговорил о комедии.

В последние две недели 1893 года Чехов болел, но зазывал в гости друзей и приятелей. 31 декабря в Мелихово съехались родные: Иван Павлович с женой; таганрогский двоюродный брат Георгий; Мария Павловна и Михаил Павлович. Приехали Мизинова и Потапенко.

Что обещал Новый год? Суворин посвятил свое «письмо» уверениям министра финансов С. Ю. Витте, что золотой запас в 609 миллионов рублей и доходный бюджет за счет вывоза русского хлеба за границу, а также надежды на новый урожай зерновых обеспечили финансовое благополучие России. Правда, высокопоставленный чиновник не исключал, что «сбыт хлебов на иностранные рынки может с течением времени все более и более затрудняться». Вот над этими выкладками Суворин позволил себе поиронизировать: «Его высокопревосходительство урожай все-таки состоит верховным министром финансов и, конечно, переживет еще многих министров финансов». И остается уповать прежде всего на него.

Что же до доходов: «Я желаю народу <…> чтоб он получал больше того, что платит, чтоб распределение налогов было правильнее, чтоб народ просвещали, чтобы не жалели средств на его образование, особенно теперь, когда „бюджет доходов вступает во второй миллиард“. При одном миллиарде мы тратили немного на этот предмет».

Подобные «письма» Чехов называл «либеральными». Говорил, что они удаются Суворину лучше, чем другие. Когда же глава «Нового времени» склонялся «к подножию трона», Чехов

уподоблял его тысячепудовому колоколу, «в котором есть трещинка, производящая фальшивый звук».

Наступающий год Чехов расписал следующим образом: весной писать пьесу, летом постараться вылечиться от кашля, который становился всё сильнее, а осенью засесть за роман. И, может быть, только в конце года — в Петербург. Но прожекты могло спутать всё еще владевшее им, как он его называл, «вакхическое настроение». От приглашения Суворина поехать вместе за границу Чехов отказался наотрез: нет денег, а взаймы он брать не хотел. Ему по карману был Крым. Там он надеялся спастись от опасного для него времени: таяния снегов, распутицы, весенних холодов. Кашель уже *изнурял* Чехова. Он предпочитал называть его бронхитом. Говорил, что недуг этот беспокоит «не нравственно, а, так сказать, механически».

Зимой он несколько раз приезжал в Москву. Но присутствовал ли 18 февраля на бенефисе Яворской в театре Корта? Лидия Борисовна умоляла его написать к этому дню одноактную пьесу: «Не касаясь блесток поэзии <…> одно Ваше имя возбудит тот интерес, которого недостает мне, как новичку пред московской публикой. Поддержите меня, как робкую дебютантку. <…> Вам это будет стоить немного труда. Два вечера — и готово».

Яворская, хотя ей исполнилось только двадцать два года, не походила на боязливую начинающую провинциалку. До приезда в Москву она играла в любительских спектаклях в Киеве, откуда была родом. Училась в Петербурге у В. Н. Давыдова и в Париже, служила в Ревеле. Она умела постоять за себя и взять свое. Роман с Коршем обеспечивал ей положение в театре, и в первый же сезон Яворская получила бенефис. Она сама распространяла о себе те слухи, которые придавали ей известности в артистических кругах. Лидия Борисовна умела играть в жизни и на сцене и оскорбленную невинность, и пряный порок. Прочесть что-то в больших голубых глазах было трудно — они поражали современников странной пустотой, кому-то казавшейся таинственностью. Известность актрисы довольно быстро приобрела в Москве скандальный оттенок из-за чересчур тесной дружбы с Щепкиной-Куперник. Тем более что неугомонная Татьяна Львовна давала поводы к сплетням, превозносила подругу до небес, организовывала на спектаклях подношения.

Она пыталась и Чехова вовлечь в это бесконечное и безграничное чествование. В преддверии бенефиса подруги попросила Чехова прислать два-три слова, автограф, который вместе с другими был бы выгравирован на серебряном бюваре. Привела пример: «Верьте себе… И. Левитан». И уверяла: «Мне

важна и дорога подпись нашего милого друга». Чехов отклонил поползновения и ответил, явно пародируя стиль «луврских сирен». Он-де готов «сжечь себя на костре», чтобы Яворской «было светло возвращаться из театра после бенефиса». Но «на коленях» умоляет уволить от подношения, ибо не подносил подарков даже актрисам, игравшим в его пьесах. Былой «чад» и угар минувшей осени улетучивались. К тому же «сирены» скрылись в Италию после окончания театрального сезона. «Эскадра» рассеялась.

15 марта 1894 года Чехову написала из Берлина Мизинова. Она ехала в Париж с Эберле учиться пению. В Париже ее ждал Потапенко. Еще зимой Лика поддразнивала, то ли себя, то ли Чехова, что она «окончательно влюблена в… Потапенко!». И подводила черту: «Что же делать, папочка? А Вы все-таки всегда сумеете отделаться от меня и свалить на другого! <…> Целую папочку». В письме из Берлина, всё то же, что и ранее в письмах из Москвы, из Покровского: «Ведь я скоро умру и больше ничего не увижу. Напишите мне, голубчик, по старой памяти <…>. Не забывайте отвергнутую Вами, но… Л. Мизинову».

Вероятно, к этому времени Лика уже знала, что она беременна. Потапенко овладел ею в отдельном номере ресторана, уверял, что оставит сожительницу, от которой имел двух малолетних дочерей, что женится на Лике. В Париже, где Потапенко был не один, а с семьей, Мария Андреевна угрожала самоубийством, умоляла не покидать ее, якобы больную, несчастную. Потапенко называл жену «психопаткой», жаловался приятелям, что она его разоряет, из-за нее он весь в авансах, долгах и пр. Лика, естественно, не написала Чехову, что ждет ребенка.

Он ответил ей из Ялты. Шутил, что она не умрет, никто ее не отвергал, что он здесь в окружении любительниц драматического искусства. Спрашивал, как ей в Париже, и уверял, что летом тоска погонит ее в Россию. Но, видимо, почувствовал что-то, потому что пожелал ей: «Будьте, Лика, здоровы, покойны, счастливы и довольны. Желаю Вам успеха. Вы умница». О себе рассказал тоже без шуток, очень серьезно: «<…> ни на одну минуту меня не покидает мысль, что я должен, обязан писать. Писать, писать и писать. Я того мнения, что истинное счастье невозможно без праздности. <…> Для меня высшее наслаждение — ходить или сидеть и ничего не делать; любимое мое занятие — собирать то, что не нужно (листки, солому и проч.), и делать бесполезное. Между тем я литератор и должен писать даже здесь, в Ялте».

В шутках, в серьезном разговоре о любимом и нелюбимом, о перебоях сердца из-за «мыслей об обязательной, неизбежной работе» ощущался какой-то новый тон. Теперь, когда Чехов,

может быть, догадался о близости Потапенко и Лики, он жалел ее и будто объединял себя и Мизинову общим «насмешливым счастьем»: «Но если Вы не приедете, то приеду я в Париж. Но я убежден, что Вы приедете. Трудно допустить, чтобы Вы не повидались с дедушкой Саблиным. <…> Целую Вам обе руки. Ваш А. Чехов».

Едва ли она, в ее настроении, обратила внимание на одно уточнение. Писать не потому, что нужны деньги, хотя они всегда были в недостатке, а потому, что он — «литератор». Кажется, Чехов сказал так впервые.

О чем шла речь? Едва ли за этим скрывалось опасение утратить литературное имя, стирающееся в памяти публики, если автор появляется редко. Или намерение поддержать репутацию в литературной среде, любящей посудачить о смолкнувших собратьях, что они «исписались», «кончились». Вероятно, подразумевалось внутреннее самочувствие человека, «отравленного» сочинительством. В таких случаях Чехов говорил, что данный человек — «несомненный литератор». Так он мог сказать даже о непишущем человеке, но ощущавшем жизнь подобно тому, как чувствует ее литератор.

Чехов часто говорил о себе — «я врач». По образованию. По занятиям медициной в клинике, в больнице, на своем мелиховском участке. Но был ли он «отравлен» медициной? Могли не заниматься ею? И не тосковать по ней?

Он повторял не раз: «моя медицина». Любил читать медицинскую литературу и периодику, поддерживая в себе определенный уровень знаний, чтобы, по его выражению, не «охалатиться» и не забыть науку. Еще не так давно, летом 1892 года, он говорил, что писание ради денег рождает в нем «ноющее чувство», поэтому он не уважает того, что пишет. Зато рад, что у него есть медицина, которой он занимается не ради денег. Однако через полгода, в феврале 1893 года, уточнил свое давнее противопоставление: «Медицина — моя законная жена, литература незаконная. Обе, конечно, мешают друг другу, но не настолько, чтобы исключать друг друга». Еще через полгода, в августе 1893 года, написал Суворину: «Осенью бросаю медицину, к январю кончаю с „Сахалином“ и тогда весь по уши отдаюсь беллетристике. <…> Сюжетов скопилось пропасть — сплошь жизнерадостные».

Наконец, еще через полгода, в январе 1894 года, Чехов словно подвел черту в письме Меньшикову, которому обещал еще в 1892 году прислать повесть для «Книжек „Недели“»: «У меня скопилось много сюжетов для повестей и рассказов, но я в плену и, как мне кажется, раньше июня из плена меня не пустят. После

июня до самого конца дней моих я буду уже заниматься исключительно одною беллетристикой. Брошу даже медицину и, думаю, имею на это право, так как отдал ей уже дань в виде книги о Сахалине».

«Плен» — это печатание книги «Остров Сахалин», сопряженное с корректурой. Завершение приходилось на лето 1894 года. Но то был журнальный плен. Тогда как сам труд завершен: «Мой „Сахалин“ — труд академический <…>. Медицина не может теперь упрекать меня в измене: я отдал должную дань учености и тому, что старые писатели называли педантством. И я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть и сей жесткий арестантский халат. Пусть висит!»

Вот после этих итогов Чехов и сказал: «Между тем я литератор и должен писать даже здесь, в Ялте». Болезни почти сократили в его жизни некоторые житейские радости и привычки: курение, алкоголь и «вакхическое настроение». Накопившиеся сюжеты томились в голове и требовали сил и времени. Невидимый враг, которого он не страшился, но о котором знал, тоже подтачивал его изнутри, как и сочинительство.

Может быть, поэтому Чехов заговорил о сокращении или даже прекращении «медицины» в пользу беллетристики. Они по-прежнему не исключали друг друга. Но сил на то и другое занятие, наверно, оставалось всё меньше. Месяц в Ялте не дал того, чего он обыкновенно ожидал от поездок: запаса «тепловых, цветовых и всяких других впечатлений». Кашель не ослаб, а перебои сердца усилились. Однако не ялтинская скука раздражала Чехова и гнала домой. Но нечто, видимо, имевшее отношение всё к тому же — «*Я литератор*». Словно что-то не давалось в руки, ускользало.

27 марта он написал Суворину: «Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: „чего-нибудь кисленького“. Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений».

Под «увлечениями» могли подразумеваться и религиозно-нравственное учение Л. Толстого, и философские идеи А. Шопенгауэра, и пророчества М. Нордау о вырождении, о болезнях «конца века», и «философия жизни» Ф. Ницше. Русский образованный человек постоянно искал «кисленького», примыкая к модным увлечениям. При этом сочетал временный интерес к популярным идеям с вековыми обычаями. Рассказывая с симпатией о семействе Линтваревых, о каждом из них, Чехов однажды заметил о старшей, А. В. Линтваревой: «Мать-старуха,

очень добрая, сырая, настрадавшаяся вдоволь женщина; читает Шопенгауэра и ездит в церковь на акафист». И о младшем, Г. М. Линтвареве: «Второй сын — молодой человек, помешанный на том, что Чайковский гений. Мечтает о жизни по Толстому».

В письме Суворину от 27 марта 1894 года промелькнуло слово «постой» в связи с «толстовской моралью», которая владела Чеховым, по его признанию, лет шесть-семь, а теперь перестала трогать: «Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. <…> Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках». Судя по письмам Чехова, «толстовская мораль» все-таки была сама по себе, а отношение к сочинениям Толстого и к его личности — само по себе. Зимой минувшего 1893 года он уверял Суворина: «Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он всё будет молод».

Уже несколько человек передавали Чехову, что Толстой хорошо отзывался о нем. Год назад А. И. Эртель, едва познакомившись с Чеховым и, видимо, желая выразить свою симпатию, предлагал вместе сходить к Толстому, который благоволит к Чехову. Но он отклонил предложение: «<…> мне некогда, а главное — хочется сходить к Толстому solo». В феврале 1894 года Меньшиков писал Чехову: «В Москве был у Л. Н. Толстого. Жена его Софья Андреевна и дочери очень Вами интересовались. „Если бы Чехов посетил нас, мы были бы очень рады“, — заметила она между прочим, — очевидно, и сам Т[олстой] очень Вас любит (а он необыкновенно интересен, прост и добр)».

Настойчивее всех был Петр Сергеенко. Зимой 1893 года он сообщал Чехову в своей выспренней манере: «Недели две тому назад мне пришлось беседовать о тебе с моим другом Львом Толстым, который очень интересовался тобой и рад с тобою свидеться. А сегодня мой друг приходил в „Америку“ за твоим адресом. (Они были с Репиным, к[ото]рый хотел видеть тебя)». Сергеенко всячески стремился сблизиться с Чеховым. Приглашал к себе, подозревал, что приятель придумывает причины для уклонения. И однажды даже проверил, действительно ли была больна Мария Павловна, на недомогание которой он сослался. Это задело Чехова, и он написал Сергеенко: «Я *никогда* не вру».

Но Петр Алексеевич поставил себе целью — познакомить Чехова и Толстого. Случись такое, он наверняка долго и многим обрисовывал бы свою роль посредника, свое законное место не около, а среди известных людей. Чехов рассказал Суворину в

письме от 7 августа 1893 года о несостоявшемся походе: «Я хотел быть у Толстого, и меня ждали, но Сергеенко подстерегал меня, чтобы пойти вместе, а идти к Толстому под конвоем или с нянькой — слуга покорный. Семье Толстого Сергеенко говорил: „Я приведу к Вам Чехова“, и его просили привести. А я не хочу быть обязанным С[ергеенк]у своим знакомством с Толстым». В этом сопротивлении было нечто общее с уклонением от участия в юбилейном обеде в честь Григоровича. Вообще с любой ситуацией, отдающей тем, что братья Чеховы, воспитанные на чинопочитании, называли иронически «целованием ручек».

Чехов тоже испытывал интерес к Толстому. Чем меньше трогала его «толстовская мораль», тем охотнее, может быть, он познакомился бы с самим Толстым. Так что из души его «уплыл» не Толстой, а закончился «гипнотизм» толстовской философии: «Я свободен от постоя». Свободен от гипнотизма не только этой, но и других идей, превращавшихся в моду: «Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отвращением». Так что, наверно, не «чего-нибудь кисленького», не нового увлечения или «постоя» хотелось Чехову. У сердитого настроения были иные истоки, нежели разочарование.

Он ехал в Крым с намерением писать пьесу. И не писал, «не хотелось». Писал прозу. Но и то с перерывами. Раздражали посетители, толпа на набережной: «люди нудные, скучные, природа кладбищенская»; — «Море прекрасно. Прекрасны пароходы. Но публика некультурная, нудная». Публика и вправду бывала назойливой. Один из современников вспоминал, как дамы и молодежь специально гуляли по набережной, чтобы увидеть «знаменитого Чехова»: «Чехов! Чехов! Вон он стоит! Вон он пошел! Вон он остановился!» Этот же новый ялтинский знакомый Чехова запомнил его рассказ, как пришла к нему в гостиницу молодая дама: «Конфузится, не может говорить от волнения, смотрит исподлобья. <…> Я ее принимаю, прошу садиться, спрашиваю: „Чем могу служить?“ Она села и, преодолев волнение, говорит: „Извините… Простите меня! Я хотела… на вас посмотреть! Я никогда… не видала писателя!“»

Некоторые посетители не сомневались, что случаи из их жизни — готовые сюжеты, «достойные пера» знаменитости. Так порой считали и корреспонденты Чехова. При встречах или в письмах ему теперь, как «модному писателю», задавали вопрос, который коробил его, подобно слову «кушать»: «Чем теперь заняты? Что подарите нам нового? Чем нас порадуете?» Утомительна была непременная фраза отдыхающих: «Наша красавица Ялта».

Как выглядел Чехов в ту весну? Как держался на людях? По

воспоминаниям, в компании более молчал, чем говорил. Делал вид, что попивает вино. Одет он был просто. Летняя рубашка с отложным воротником и шнурком вместо галстука, пиджак довольно скромный, без франтовства. В бородке пробивалась седина, стрижка стала короче. Взгляд еще заметнее ушел в себя.

Может быть, в Ялте Чехов работал над рассказом «Вечером» (позже «Студент»), опубликованным в газете «Русские ведомости» 15 апреля, то есть через десять дней после возвращения Чехова в Мелихово.

* * *

Критики, словно сговорившись, рассуждали о рассказе «Бабье царство» («Русская мысль», 1894, № 1), разойдясь в его оценке. И будто не заметили тогда же, зимой и весной 1894 года, двух рассказов Чехова в популярной московской газете «Русские ведомости» — «Скрипка Ротшильда» и «Студент». Словно они появились в захолустном издании. Между тем в них проступило что-то очень важное.

Яков Бронза никогда никому не сострадал и вдруг, незадолго до смерти, сидя на берегу реки, пожалел старую вербу: «Как она постарела, бедная!» Человек мысленно оглянулся в прошлое и не нашел «ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет». В тоске от «пропавшей, убыточной жизни» и в печали по несбыточному, наверно, родилась песня Якова («Скрипка Ротшильда»), Студент духовной академии, Иван Великопольский, удручен мыслью, что ужас жизни — «лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета» — был, есть и будет, и жизнь не станет лучше.

В этом чувстве слышались отзвуки настроения, остро пережитого Чеховым в последние годы, о котором он написал Суворину в октябре 1892 года: «Я, голубчик мой, далек от того, чтобы обманывать себя насчет истинного положения вещей; не только скучаю и недоволен, но даже чисто по-медицински, т. е. до цинизма, убежден, что от жизни сей надлежит ожидать одного только дурного — ошибок, потерь, болезней, слабости и всяких пакостей <…>»

На эти же годы пришелся страх, что он исписался, «высох», «иссяк», утерял вдруг радость сочинительства. Но каким-то скрытым напряжением душевных сил он, судя по письмам, одолевал свое состояние. И это обновляло интонацию его прозы. Недаром Чехов называл «Студента» своим любимым рассказом.

Его герой встретил у реки двух вдов, мать и дочь, содержащих огороды. В Страстную пятницу, у костра, он рассказал им про другую ночь, что случилась девятнадцать столетий назад в Гефсиманском саду. Про костер во дворе первосвященника, про отречение Петра и его горькие слезы. Мысль о вечном ужасе жизни, пусть на мгновение, но сменилась в душе студента мыслью о том, что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле».

Не простая смена мыслей в сознании героя, а душевный сдвиг стал сюжетом рассказов 1894 года. Некоторые из героев испытывали внезапное чувство минутной радости: «радость, что сегодня Рождество, вдруг шевельнулась в ее груди» («Бабье царство»); — «и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство» («Черный монах»); — «и радость вдруг заволновалась в его душе» («Студент»), Это было ощущение, которого еще недавно остро недоставало самому Чехову, в чем он признавался в минувшие годы. Болезнь приковывала его к одному месту (к курорту, к дому), то есть к однообразным впечатлениям. Ему же хотелось куда-то ехать, плыть: «Люблю я море и чувствую себя до глупости счастливым, когда хожу по палубе парохода или обедаю в кают-компании». Кажется, будь Чехов поздоровее, то опять уехал куда-нибудь далеко и надолго, в кругосветное плавание.

Он не раз говорил, что всё новое видит резко, а привычное будто туманится, расплывается. Видимо, наблюдательность обострялась в поездках, во встречах с незнакомыми людьми, от простора, движения. Вернувшись из Ялты, он предлагал Суворину отправиться «по святым местам»: московские монастыри, Троице-Сергиева лавра, Ярославль, наконец, по Волге. Затем, в последующие дни, называл Киев, и вообще «хоть в Соловки». Только бы уехать куда-нибудь.

Что-то гнало Чехова из дома. Несмотря на кашель, на перебои сердца. В один из апрельских дней он пережил почти предсмертное состояние: «Но на днях едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю: хожу с соседом-князем по аллее, разговариваю — вдруг в груди что-то обрывается, чувство теплоты и тесноты, в ушах шум <…> быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль: как-то неловко падать и умирать при чужих. Но вошел к себе в спальню, выпил воды — и очнулся».

Однако весной Чехов никуда не уехал. Он работал. Вернулся

к давнему сюжету. Когда-то, в 1889 году, он написал первую главу рассказа «Обыватели». О влюбленном учителе гимназии, «утомленном» своим счастьем. Теперь, пять лет спустя, Чехов продолжил повествование о «разнообразном счастье» героя, о семейной идиллии, о «приятной жизни», к которой Никитин пришел через «сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливую юность». И вдруг что-то с ним случилось. Какие-то новые мысли забродили в его голове, как «длинные тени». Семейное счастье показалось однообразным, захотелось бежать. Куда? Зачем? Почему?

Один из современников запомнил мнение Толстого об этом рассказе, теперь получившем название «Учитель словесности», что в небольшом сочинении о многом сказано. Однако хотя автор, Чехов, и «обладает художественной способностью прозрения, но сам еще не имеет чего-нибудь твердого и не может потому учить». И далее: «Он вечно колеблется и ищет. Для тех, кто еще находится в периоде стояния, он может иметь то значение, что приведет их в колебание, выведет из такого состояния. И это хорошо». Толстой, вероятно, имел в виду то же, что и литературные критики, не находившие у Чехова «общей идеи», ясного определенного мировоззрения. Но в отличие от них он уловил особенность воздействия сочинений Чехова на читателя. Таинственную *колебательность*, таящуюся в слове, в сочетании слов, в настроении, рожденном чтением.

Скрытое волнение прорывалось в письмах Чехова, этом своеобразном дневнике. Может быть, даже более точно передававшем его душевное состояние, чем передали бы дневниковые записи для себя. Письмо Суворину от 9 мая 1894 года он закончил неожиданной на первый взгляд, но, видимо, неслучайной зарисовкой, как возвращался с собрания земских врачей в психиатрической лечебнице в селе Покровском-Мещерском поздно вечером на своей тройке: «$^2/_3$ дороги пришлось ехать лесом, под луной, и самочувствие у меня было удивительное, какого давно уже не было, точно я возвращался со свидания. Я думаю, что близость к природе и праздность составляют необходимые элементы счастья; без них оно невозможно».

Лунный свет, бессонница постоянно упоминались в эти годы в письмах, рассказах и повестях Чехова. Часто действие разворачивалось около реки, заливного луга, переправы, в виду широкого поля, хотя герой повествования существовал в замкнутом пространстве больничной палаты, дома, усадьбы, комнаты.

Поздняя весна и лето тянулись в хозяйственных заботах. В

усадьбе строили флигель, ригу, обихаживали пруд. Иваненко, опять бессрочно гостивший в Мелихове, составил список того, что имелось у Чеховых из инвентаря и скота на 1 июня 1894 года. Выглядел перечень довольно скромно: пять лошадей, три коровы, две телки, три бычка, две овцы, баран, свинья, два поросенка, три собаки, четыре утки, селезень, 30 кур, утята, цыплята. Земледельческих средств тоже немного: веялка, две сохи, молотилка, каток и т. д. Упряжь совсем небогатая: семь хомутов, четыре подпруги и т. д. А всякой мелочи — топоры, совки, садовые ножницы и прочее — не более чем одна или две штуки. Работников всегда было немного — два-три человека. Прислуги тоже: кухарка Марьюшка, ее подручная Машутка, горничная Анюта. Долее всех в Мелихове задержался в работниках Роман Кириллович Постников. Из солдат, хитроватый, он хорошо изучил иерархию «хозяев». Слушался только Марию Павловну, перед всеми остальными лишь играл роль исполнительного и дельного помощника. Марьюшка, Мария Дормидонтовна Беленовская, «бабушка», осталась у Чеховых до конца жизни, став, по сути, членом семьи.

Михаил Павлович теперь служил в Угличе и в Мелихове гостил лишь по нескольку дней. Отпуск, как брат Иван, как сестра, он проводил на юге. Посему наймом косцов, плотников, печников, землекопов, баб и мужиков для работы в саду и огороде, в поле, в парниках, в лесу занимались либо Роман, либо Мария Павловна, либо сам Чехов. Правда, он шутил над собой: «Занимаюсь земледелием: провожу новые аллеи, сажаю цветы, рублю сухие деревья и гоняю из сада кур и собак». Однако в строительные дела вникал охотно. Потому что любил новые постройки.

В Москву Чехов ездил изредка. Его «эскадра» распалась. Кто-то пребывал за границей, кто-то на даче или в своем имении. Мизинова написала в апреле, что не приедет в Россию раньше Рождества, что она каждое утро «кашляет кровью», лечится, а «крови всё больше» и посему собирается в Швейцарию. Собиралась она туда по другой причине, однако так и не решилась написать правду, а якобы страшным недугом объясняла грядущий переезд и то, что занятия пением отпали. Но о Потапенко рассказала: «Он заходит иногда по утрам на ½ часа и, должно быть, потихоньку от жены. Она угощает его каждый день сценами, причем истерика и сцены через полчаса. Он объясняет все ее болезнями, а я так думаю, что просто это все притворство и ломанье!» В апрельском письме был намек на ее новое положение: «Я здесь для всех дама — Ваш портрет Варя показала хозяйке как портрет мужа! Та пристала показать, ну и пришлось.

Потому пишите мне M-me, а не M-elle, и не сердитесь, что Ваша карточка оказала мне услугу!»

14(26) июля Лидия Стахиевна опять пугала в письме скорой смертью, упрекала Чехова в том, что он не приехал в Париж, что не удержал ее от Парижа. Все это выглядело горькой шуткой, за которой была правда ее положения: «Впрочем, снявши голову, по волосам нечего плакать. <…> Меня все забыли. Последний мой поклонник — Потапенко, и тот коварно изменил мне и бежал в Россию. Но какая же с… его жена. Вы себе и представить не можете! Если захотите, он Вам расскажет обо мне всё, что знает, а мне самой о своей жизни и о себе писать противно. <…> Если я скоро окочурюсь, не поминайте лихом и перевесьте мои портреты из холодного места в теплый кабинет. Прощайте, дядя, умоляю, пишите, и я буду много писать, а сегодня уж очень скверно. Ваша Л. Мизинова».

Потапенко побывал в Мелихове в конце июля. Но, судя по всему, не рассказал «всего». Они условились поехать в Нижний Новгород. Как пошутил Чехов в письме Шехтелю еще в мае, поездка в Испанию, в Египет, на Корфу, Мадейру — это мечты, «и такими останутся, вероятно, до самой дохлой смерти». Зимой в письме Суворину он упомянул пьесу, в которой хотел вывести какого-то господина, который говорит цитатами из Тургенева. Но ни в Ялте, ни в Мелихове пьесу Чехов не писал. С разницей в десять дней то говорил: «Писать не хочется», то: «Боже, как мне хочется писать!» Иван Павлович рассказывал жене, что брат нездоров, «хандрит ужасно». Как-то весной Чехов написал Александру, что литература находится у него сейчас «на заднем плане <…> да и трудно совокупить желание жить с желанием писать».

Итак, теперь противопоставлялись не «медицина» и «литература», как главное занятие, как образ жизни. Тут выбор был уже сделан («Я — литератор»). Но два желания: *жить и работать*.

Два года назад Чехов говорил, что «лень жить», «жить как будто бы надоело». Зимой 1894 года написал Суворину: «Кажется, я психически здоров. Правда, нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, переходное и житейски естественное». Видимо, это «переходное» состояние разрешилось, и хотя он поминал «дохлую смерть», но словно отодвинул мысли о ней. Говорил, что ему «хочется жить», что его тянет куда-то «какая-то сила», и «захотелось куда-нибудь подальше, туда, где горизонт видно». Даже заговорил о новом пальто, о поездке за границу: «А хорошо бы где-нибудь в Швейцарии или Тироле нанять комнатку и прожить на одном

месте месяца два, наслаждаясь природой, одиночеством и праздностью, которую я очень люблю». Может быть, он думал о Лике, звавшей его в Швейцарию?

В его письмах зазвучали другие ноты: «У нас сенокос, коварный сенокос. Запах свежего сена пьянит и дурманит, так что достаточно часа два посидеть на копне, чтобы вообразить себя в объятиях голой женщины».

Чехов подчеркивал, что хочется ему житейской радости, «болтовни о пустяках», морских купаний, степного воздуха. Будто на прощанье, как перед длительным постом. Недаром упомянул заговены, последний день Масленицы: «А я стал мечтать о том, чтобы опять проехаться по степи и пожить там под открытым небом хотя одни сутки. Как-то лет 10 назад я занимался спиритизмом и вызванный мною Тургенев ответил мне: „Жизнь твоя близится к закату“. И в самом деле мне теперь так сильно хочется всякой всячины, как будто наступили заговены. Так бы, кажется, всё съел: и степь, и заграницу, и хороший роман… И какая-то сила, точно предчувствие, торопит, чтобы я спешил». Но почувствовав, что приоткрыл нечто сокровенное, тут же оговорился: «А может быть, и не предчувствие, а просто жаль, что жизнь течет так однообразно и вяло. Протест души, так сказать».

Так бывало не раз. Чехов в чем-то признавался, но потом смягчал свои слова. Словно не перекладывал ношу на другого, оставался наедине со своими чувствами, с тем, что трудно, невозможно объяснить. Несколько раз промелькнувшие слова «какая-то сила» и дотоле не упоминавшееся воспоминание набрасывали насмешливый покров на упоминание смерти, но называемые им сроки обретали особый смысл («10 лет…», «5 лет…»).

Итак, едва кончился «плен» книги «Остров Сахалин», Чехов уехал. Но не в Швейцарию, не в Испанию, а с Потапенко в Ярославль, чтобы потом добраться на пароходе до Царицына, оттуда в Калач, а затем по Дону в Таганрог. В родной город его звал дядя, заболевший и, вероятно, хотевший проститься.

Эту поездку Чехов сам назвал «странной». В Нижнем Новгороде приятели встретили… Сергеенко, этого «друга Льва Толстого». Бежали на вокзал и укатили на поезде в Москву. В Москве только пообедали, потом, по словам Чехова, «подумали, поговорили, сосчитали свои деньги» и поехали в Сумы, к Линтваревым. Здесь они пробыли шесть дней. Отсюда Чехов написал Гольцеву: «Потапенко, солнце и луна потонули в блаженстве…» С ними в Москву уехала Наталья Линтварева. Чехов уговорил ее, но в Мелихове она пробыла только десять дней. Мария Павловна рассказывала в письме брату Михаилу:

«Потапенко и Антоша привезли Наташу. Она <…> уехала с Антоном, до Харькова они ехали вместе. Меня поразила Ант[ошина] нежность к Наташе. Она похорошела и любит Ант[она], кажется, еще сильнее».

Сестра не ошибалась. Пожалуй, в это время Чехов и не скрывал своего теплого чувства к Наталье Михайловне. Его письма к ней осенью 1894 года дружеские, с шутками. Но была в них одна насмешливая деталь, словно предупреждавшая, что это всего лишь сердечное расположение. Чехов написал ей: «Я часто думаю: не собраться ли нам большой компанией и не поехать ли за границу? Это было бы и дешево, и весело. Я, Потапенко, Маша, Вы и т. д., и т. д. Как Вы думаете? Вот пригласите-ка дьякона из города и посоветуйтесь с ним. Если дьякон одобрит, то и поедемте все в будущем году осенью». Добропорядочной, трудолюбивой, неглупой Наталье Михайловне мешала оглядка на родных, знакомых. Любое решение, даже не самых важных жизненных вопросов, давалось ей трудно. Душевно глубокий и верный человек, она отступала, опасаясь, вдруг на нее упадет тень неодобрительного мнения, вдруг придется радикально менять свою жизнь.

В Таганроге Чехов пробыл шесть дней. Митрофан Егорович угасал, говорил, что не страшится «перехода в будущую жизнь». Желал всем быть хранимыми Богом, у всех просил прошения. И горевал о том, что не Павел Егорович будет читать отходную молитву, не любимый старший брат произнесет слова канона: «Видя близкий конец своей жизни, вспоминая непотребные мысли, поступки души моей, люто уязвляюсь стрелами совести. Но Ты, Всечистая, милостиво склонившись к душе моей, будь мне ходатаицей пред Господом». Павел Егорович, которому не было еще и семидесяти, крепкий, иногда покидавший Мелихово, отчего-то в Таганрог не поехал. Может быть, зарекся в день своего бегства никогда не возвращаться туда. Он не хоронил родителей, не поехал в Сумы, узнав о кончине Николая. Выполняя данное дяде слово, Чехов в последующие годы заботился о его вдове и своих таганрогских двоюродных братьях и сестрах. После Таганрога он направился в Феодосию. Здесь получил известие о кончине Митрофана Егоровича.

На даче Суворина он пробыл всего несколько дней и вместе с Алексеем Сергеевичем уплыл на пароходе в Ялту. Эти перемещения выдавали какое-то беспокойство, как и бегство из Нижнего Новгорода, неожиданная поездка в Сумы.

Всё не залаживалось еще с весны. Чехов строил планы, но они менялись. Всё время возникали неожиданные, а порой и нелепые обстоятельства. Как, например, с очередным счетом из книжного

магазина «Нового времени». Он оказался еще убийственнее, чем в 1893 году. Получался абсурд. Несмотря на продажу книг, долг Чехова «конторе» в 8170 рублей (на февраль 1892 года) уменьшился только на 600 рублей. И Чехов, за два года не взявший ни копейки, оставался должен 7567 рублей. При нравах в суворинском ведомстве цифра могла стать и астрономической. Удивительна не очевидная ошибка, но отношение к ней Чехова. Оно, правда, вписывалось в его настроение в это время.

Чехов попросил Суворина не смущать бухгалтера недоверием, так как он человек новый. Вскоре пришел другой счет. Долг не превышал тысячи рублей, и Чехов возликовал: «Я богач. <…> не дернуть ли мне подобру-поздорову за границу?» Он несколько раз называл желанную цель — озеро Комо в Италии. Однако поездка оказалась под угрозой. Для получения заграничного паспорта необходимо было представить в канцелярию одесского градоначальника кроме паспорта еще удостоверение о благонадежности. Его обыкновенно выдавал исправник по месту жительства. Чехов телеграфировал в Серпухов. Но вмешался Суворин. Он написал градоначальнику Одессы. Ночью, не дожидаясь ответа из Серпухова, чиновники открыли канцелярию и выдали Чехову паспорт.

В общем, всё шло не так, как задумывалось. И за границу Чехов уехал, по его словам, «тайно, как вор», опасаясь, что дома останутся этим недовольны. Как раз в эти дни Мария Павловна жаловалась Михаилу: «На все дела — я одна! Измучилась страшно, не сплю ночи, глаза горят, и сил положительно нет. <… > Я переутомилась совсем. Боюсь, еще и Антон доволен не будет. Никогда мне еще так не хотелось уехать и бросить, чтобы не возвращаться больше».

Конечно, хозяйку мелиховского дома раздражал ремонт. В первые дни сентября печники клали печь в столовой, плотники перестилали полы, делали колодец, маляры красили окна и двери, на новом флигеле крыли кровлю. Но всё это делалось в основном под приглядом Романа. Мария Павловна, как всегда с началом учебного года, приезжала в пятницу и уезжала в понедельник. Так что она привычно преувеличила свои тяготы и свою усталость. Это было свойственно и Евгении Яковлевне. Как-то Чехов пошутил, что женщины вообще любят подчеркивать, как много они трудятся и как мало домашние признают их заслуги. Хлопоты сестры Чехов всегда ценил, воздавал ей в похвалах, отовсюду привозил подарки: модные зонтики, перчатки, дорогие духи и т. п.

Может быть, если бы Мария Павловна ушла из гимназии, где получала маленькое жалованье, и занялась издательскими

делами брата, то не случались бы бесконечные казусы со счетами, с гонорарами Чехова. Но она не хотела.

Вести семейный бюджет, распоряжаться деньгами, которые Чехов, по-прежнему единственный добытчик, давал ей на мелиховское хозяйство, на московскую квартиру, которую она снимала в эти годы, на ее личные расходы — это одно. Совсем другое — вникать в цифры, сноситься с суворинской «конторой» и с прочими издателями, редакторами. Мария Павловна давно вошла в роль независимого человека и установила некоторую дистанцию в семье, между собой и всеми остальными.

Самолюбивая, мнительная, она не терпела даже шутки в свой адрес, тем более иронии или критики. Поэтому, может быть, она давно отдалилась душевно от насмешливого Александра. Отношения с братом Иваном тоже не стали близкими, сердечными. Проще всего сестре оказалось с Михаилом. Их сближали первые московские неуютные годы, а также природная черта младшего брата — он умел сочувствовать, поплакаться вместе с кем-то, посудачить о близких. Уже не разделяя бремя забот по Мелихову, охотно выслушивал жалобы сестры на свою долю и вздыхал, как и Евгения Яковлевна: «Бедная Маша!»

С братом Антоном, с «милым», «дорогим Антошей» у Марии Павловны сложились к этому времени непростые отношения. Ей, судя по разговорам с другими братьями, постоянно чего-то недоставало со стороны Чехова. Может быть, тешащей честолюбие признательности, еще большего заслуженного восхищения, как всё хорошо и ладно получается. Она рассказывала дома, что московские знакомые из артистического кружка находят у нее актерские способности, и шутила, что пойдет на сцену. Чехов двумя-тремя ироническими словами об армии дилетантов ставил ее на место. Правда, поощрял занятия сестры живописью, хотя предвидел, что серьезной художницы или профессиональных занятий из ее увлечения не получится.

И все-таки главная причина, видимо, в том, что душевная жизнь брата была для нее наглухо закрыта. Если простодушную Евгению Яковлевну это не интересовало — она все равно любила непонятного, душевно далекого от нее сына, — если Павел Егорович всегда был занят самим собой, то Мария Павловна, может быть, претендовала на более задушевные отношения, как и Михаил Павлович. Но их не было. Свидетельство тому — письма Чехова сестре, особенно в мелиховские годы. Всегда краткие, деловые, часто без обращения, похожие на записки. Ее письма к нему тоже часто без обращения, тоже заполненные хозяйственными мелочами, домашними событиями. Конечно, странно полагать, что брат и сестра, еженедельно встречаясь в

Мелихове, писали бы друг другу пространные письма. Но из-за границы Чехов писал ей так же скупо, только с мягкой интонацией.

* * *

С каждым годом всё заметнее становилось, что Чехов в семье *рядом* с близкими, но не *с ними*. Порой родные не понимали причины его внезапных отъездов, менявшихся вдруг намерений, уединения. То он часами возился с розами в саду, то уходил в дальний лес, то уезжал на несколько дней в соседний монастырь. Домашние давно заметили, что его раздражал нарушенный кем-нибудь порядок на письменном столе, громкие разговоры в гостиной, когда он работал в кабинете, особенно если кто-то в это время сидел рядом и шелестел газетой.

Дом был мал, тесен. Когда наезжало много гостей, то не знали, как всех разместить, надеялись, что с этого лета выручит новый флигель. Чехов очень гордился своей «игрушкой», постройка вышла изящной. Гости в Мелихове не переводились. Дневник Павла Егоровича пестрел именами и фамилиями. Кто-то приезжал на день, кто-то жил неделями, а то и месяцами, как Иваненко. Порой работать не было никакой возможности.

Размышляя еще летом о заграница, Чехов написал Суворину: «Пьесу можно будет написать где-нибудь на берегу Комо или даже вовсе не написать, ибо это такое дело, которое не медведь и в лес не уйдет, а если и уйдет, то чёрт с ним». Однако работал в поездке — но не над пьесой, а над «повестью из московской жизни». Еще в 1891 году, во время первой заграничной поездки он внес в записную книжку имена, фразы, некоторые из которых вошли теперь в повесть «Три года».

Она начиналась описанием обстановки в доме, где прислуга обеспокоена приметами, сулящими чью-то скорую смерть. Лунный свет словно заливает всё повествование с начала до конца. Это история о человеке, очень богатом и очень несчастливом. О его молодой жене, которая однажды на выставке, перед пейзажем — речка, бревенчатый мостик, тропинка, поле, костер — вдруг почувствовала свое одиночество: «И захотелось ей идти, идти и идти по тропинке; и там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного». Лишь один раз в повести блеснуло солнце, отразившееся в окнах вагона.

Эта повесть «отражений» неуловимо оказывалась связанной с повестями и рассказами Чехова последних лет. Словно продолжался разговор о счастье и несчастье, о свободе и неволе.

Не вообще, а в обыденной, каждодневной жизни человека. Размышление героя в финале обещало продление жизни, продолжение радостей и скорбей: «И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в будущем. <…> Поживем — увидим».

Второе заграничное путешествие Чехова тоже как-то не заладилось. Может быть, от частых переездов (Вена, Триест, Венеция, Милан, Генуя, Ницца, Париж) кашель у Чехова не унимался. Неустойчивая погода влияла на его самочувствие. Встреча с Мизиновой не состоялась. 20 сентября (2 октября) она послала Чехову письмо с горькими словами: «Я очень, очень несчастна! Не смейтесь! От прежней Лики не осталось следа, и, как я думаю, все-таки, не могу не сказать, что виной всему Вы! Впрочем, такова, видно, судьба! <…> Почему я пишу все это *Вам*, я не знаю! Знаю только, что кроме Вас никому не напишу! <…> Не знаю, посочувствуете ли *Вы* мне! Так как Вы человек уравновешенный, спокойный и рассудительный! У Вас вся жизнь для других и как будто бы личной жизни Вы и не хотите! Напишите мне, голубчик, поскорее. <…>*Вам* я верю. <…>. Прощайте, если не увидимся, не думайте обо мне дурно, а пока напишите поскорее. Ваша *Л. Мизинова*».

Она теперь жила в Швейцарии, в деревне возле Монтрё, у простой крестьянки. Получив письмо Чехова из Вены, она обрадовалась, звала, но просила: «Предупреждаю, не удивляться ничему. <…> Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь, не оставили, как говорится, камня на камне! Впрочем, я не думаю, чтобы Выбросили в меня камнем! <…> И около нет ни души, которая могла бы что-либо посоветовать и беспристрастно отнестись». Но задевала, как и прежде: «Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и к их недостаткам и слабостям! Если даже Вы не приедете (что очень возможно, при Вашей лени), то все, что я пишу, пусть останется между нами, дядя!»

Всё это было извинительно в ее состоянии. Его признание она как будто не услышала, а он написал ей в этом письме от 18 (30) сентября: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье я прозевал также, как Вас». Получался разговор двух несчастливых людей.

В Швейцарию Чехов не поехал. Он сослался на то, что неудобно «тащить» с собой Суворина. Однако Лика просила приехать без кого бы то ни было. Сестре Чехов написал, что в Швейцарию ехать ему не с руки и вообще надоело ездить. Потапенко он обозвал в этом письме «свиньей», а позже попросил Марию Павловну, если она придёт встречать его на вокзал,

никого не брать с собой: «Кроме Гольцева и Саблина, мне никого не хотелось бы видеть».

Эта заграничная поездка закончилась раньше срока. Ни тени былых восторгов от Венеции, от Италии, хотя Чехов заметил, что «заграница удивительно бодрит». На него, конечно, влияла плохая погода. Замечания и наблюдения Чехова на этот раз — простое упоминание ломбардских пейзажей, кладбища в Генуе, французского пива, миланского крематория. 9 октября Смирнова записала в дневнике: «Письмо от Суворина из Ниццы. Они с Чеховым друг другу надоели, оба скитаются и оба молчат. Чехов все ищет заглавие для своего рассказа».

В конце концов Чехов нашел название — «Три года». Казалось, что это не просто продолжительность истории героев. Но и завершение трехлетия в жизни самого Чехова. Между двумя поездками за границу. Между богимовским летом 1891 года и мелиховским летом 1894 года. Между давним шутливым письмом Лике, где Чехов вместо подписи нарисовал сердце, пронзенное стрелой, и пожелал ей: «Будьте здоровы и щасливы и не забывайте нас». И письмом из Ниццы от 2 (14) октября 1894 года, которое кончалось словами: «О моем равнодушии к людям Вы могли бы не писать. Не скучайте, будьте бодры и берегите свое здоровье. Низко Вам кланяюсь и крепко, крепко жму руку. Ваш А. Чехов».

Ни месяц в Крыму весной, ни почти месяц в Италии не помогли справиться с кашлем. Чехов написал Гольцеву из Ниццы: «Я кашляю, кашляю и кашляю. Но самочувствие прекрасное». Однако заметил, что похудел. Кто-то, может быть, Суворин, обронил в Петербурге, мол, Чехов неизлечимо болен. «Тактичные» люди, вроде Ясинского, спрашивали в письмах, правда ли это. Билибин писал Лазареву, что московские врачи отпустили Чехову всего лишь один год.

Наверно, не по этой причине, но Чехов начал постепенно отправлять книги из своей домашней библиотеки в Таганрог, в городскую библиотеку. Он задумался об издании собрания сочинений. Вероятно, какой-то разговор на этот счет был у него с Сувориным. Тогда же он предложил Алексею Сергеевичу «комбинацию» с новым сборником. Он готов был уступить книжному магазину значительный процент, чтобы к 1 января 1895 года за ним не было долга и можно было контролировать дальнейшие расходы и доходы. История со счетами приобретала скандальный, даже неприличный характер.

2 ноября Чехов получил новый счет. По нему выходило, что он должен не 1004 рубля, как ему сообщили два месяца назад, а 4155 рублей. Чехов написал Суворину: «Такие частые перемены в

настроении заставляют меня подозревать, что в шкафу у бухгалтера сидит хорошенькая и очень капризная дама».

С этим долгом Чехов хотел покончить как можно скорее. Так что решение «книжного вопроса», то есть полная ликвидация долга типографии и лично Суворину, а также неопределенные планы насчет собственного журнала сообразовывались не с завещательным настроением, а с чем-то иным. Это походило на подведение итогов перед чем-то новым. Чехов словно опять одолел скрытым душевным усилием ту самую опасную точку, которую предсказывал пять лет назад. Но желание жить по-своему и желание писать по-своему теперь стоили куда больших сил, а предчувствие торопило и торопило…

Некоторые современники говорили об аполитичности Чехова, о его общественном «индифферентизме», о других «из-мах», которые либо находили, либо не обнаруживали в его сочинениях (импрессионизм, символизм и т. д.). Действительно, политические события, как правило, не отражались в письмах Чехова. Он не исключал, что его корреспонденция перлюстрировалась. В мелиховские годы, как впоследствии утверждал Михаил Павлович, за Чеховым якобы осуществлялся негласный полицейский надзор. Дело, наверно, было не столько, а может быть, и вовсе не в осторожности и предусмотрительности Чехова, но в его равнодушии, в «индифферентизме» по отношению к публицистической шумихе, газетным и журнальным сражениям «партий», «кружков», «лагерей» всех оттенков (консервативных, либеральных, радикальных и т. д.).

Однажды в 1889 году Чехов написал с иронией в письме Суворину: «Конечно, политика интересная и захватывающая штука. Непреложных законов она не дает, почти всегда врет, но насчет шалтай-болтай и изощрения ума — она неисчерпаема и материала дает много». Иронична запись в книжке во время первого заграничного путешествия. Может быть, это отзвук разговоров с Сувориным: «Обыкновенные лицемеры <…> прикидываются голубями, а политические и литературные — орлами. Но не смущайтесь их орлиным видом. Это не орлы, а крысы или собаки».

Летом 1892 года в связи с «холерными бунтами», с прокламациями по поводу прошлогоднего голода, повлекшими аресты и ссылки, Чехов резко и определенно высказался в разговоре с Сувориным: «Если наши социалисты в самом деле будут эксплоатировать для своих целей холеру, то я стану презирать их. Отвратительные средства ради благих целей делают и самые цели отвратительными. Пусть выезжают на спинах врачей и фельдшеров, но зачем лгать народу? Зачем

уверять его, что он прав в своем невежестве и что его грубые предрассудки — святая истина? Неужели прекрасное будущее может искупить эту подлую ложь? Будь я политиком, никогда бы я не решился позорить свое настоящее ради будущего, хотя бы мне за золотник подлой лжи обещали сто пудов блаженства».

Если бы он высказался в письмах насчет журнала, о котором думал осенью 1894 года, скорее всего, он нашел бы точные слова о российской жизни, о современниках. Но он находил их, рассказывая кратко о своих товарищах по земской работе, о своем конкретном участии в ней.

Серпуховское земство обременяло Чехова всё новыми и новыми общественными и благотворительными делами. Его выбрали присяжным заседателем, и ему приходилось ездить на заседания окружного суда. Чехова уговорили стать попечителем училища в селе Талеж. Вместе с земскими врачами Чехов обсуждал на заседаниях Санитарного совета текущие дела, посещал окрестные фабрики, заводики, не щадившие рек, прудов, водоемов. Провинциальная и сельская жизнь разворачивалась в этих поездках по уезду, во встречах с коллегами, в невольных наблюдениях над разнообразной и однообразной обыденностью Серпухова, Российская провинция, всё *уездное и сельское* являли особый «русский мир», вобравший в себя большую часть населения империи.

Чехов знал провинцию еще по Воскресенску, Сумам, сибирским городам. Но по-настоящему она открылась ему в мелиховские годы. В главном и в частностях. Как раз, вернувшись в 1894 году из-за границы, еще из Москвы Чехов рассказывал Суворину в письме: «Маша говорит, что от постоянных дождей дороги испортились совершенно, езда возможна только окольными путями, только днем и не иначе как на простой телеге. Я, вероятно, пойду со станции пешком». 28 октября он писал сестре из Мелихова: «27-го ехал я в Угрюмово к больной и меня так трясло, что всё нутро мое выворотило подкладкой вверх. Езда *невозможна*». Иногда Чехов не мог выбраться из-за этого ни в Москву, ни в Серпухов.

Вернувшись с заседания окружного суда, Чехов, словно продолжая спор с Сувориным, написал: «Вот мое заключение: 1) присяжные заседатели — это не улица, а люди, вполне созревшие для того, чтобы изображать из себя так называемую общественную совесть; 2) добрые люди в нашей среде имеют громадный авторитет, независимо от того, дворяне они или мужики, образованные или необразованные». В этом же письме от 27 ноября он рассказал о талежском учителе: «Учитель получает 23 р. в месяц, имеет жену, четырех детей и уже сед, несмотря на

свои 30 лет».

Казалось, в письмах появилась интонация, отчасти схожая с той, которая была в письмах Чехова по дороге на Сахалин. Написанная и уже опубликованная книга «Остров Сахалин» не мешала более и уступала место резким впечатлениям деревенской и провинциальной жизни. Через годы, возвращаясь к этой поре, Чехов вспоминал: «В первые два года после покупки приходится трудно, минутами бывает даже очень нехорошо <…> мне было очень тяжело в первые годы (голод, холера), потом же всё обошлось <…>. С мужиками я живу мирно, у меня никогда ничего не крадут, и старухи, когда я прохожу по деревне, улыбаются или крестятся. Я всем, кроме детей, говорю вы, никогда не кричу, но главное, что устроило наши добрые отношения, — это медицина. <…> ко всем новичкам мужики относятся сурово и неискренне <…>»

Жизнь вне столицы требовала терпения, свободы от предубеждений и от иллюзий относительно русской деревни и российской провинции. В самом конце 1894 года Суворин спросил Чехова в письме: «Что должен желать теперь русский человек?» Он ответил: «<…>желать. Ему нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кисляйство».

Суворин вопрошал не просто так, а для очередного «Маленького письма», в котором он привел эти слова Чехова, как мнение «одного своего милого и даровитого приятеля». А далее украсил две строчки Чехова букетом фраз: «Надо желать, значит надо работать, надо стремиться к исполнению своих желаний, к накоплению той необходимой работы, которая открывает двери к лучшему будущему, к самоусовершенствованию, от которого зависит личная независимость. <…> Дай Бог, чтоб солнце доброты стояло над средней Россией, как настоящее солнце стоит над экватором».

Суворин опять взывал то ли к правительству, то ли к министру финансов, то ли к небу, чтобы увеличили бюджет на народное образование. Даже счел его снижение в последние годы хорошим знаком: «Будем верить, что это перед повышением его, в особенности для центра России».

Рассказ Чехова о талежском учителе он не упомянул.

Глава шестая. «Я НАПИШУ ЧТО-НИБУДЬ СТРАННОЕ…»

Новый год по обычаю начался с поздравлений. Утром приходили мелиховские мужики. Желали «барину» и всем обитателям дома многолетия. Получили, как записал в своем дневнике «мелиховский летописец», — «водки и закуски». К обеду

появились священник П. В. Величкин и учитель А. А. Михайлов из села Талеж. После первой встречи с учителем Чехов рассказал Суворину: «До такой степени забит нуждой, что о чем бы Вы ни заговорили с ним, он всё сводит к вопросу о жалованье. По его мнению, <…> когда новый царь переменит министров, то, вероятно, будет увеличено жалованье учителей и т. п.».

Пока Алексей Антонович уповал на «доброго царя» и «заботливых министров», Чехов, едва приняв попечительство над Талежской школой, стал помогать учителю. С начала зимы ему отвезли четыре воза сена, выдали ржи из своих запасов. Теперь и Михайлов, как ранее учитель Плотов из Щеглятьева, а позже учитель Забавин из Новоселок, пользовался книгами из библиотеки Чехова и журналами. Что-то Чехов выписывал специально для учителей. Какие-то книги привозил по их просьбе из Москвы.

Талежская школа существовала почти сорок лет. Обучались в ней в это время 67 крестьянских детей из соседних сел и деревень — Дубечня, Полушелково, Шелково, Горки, Попово, Малицы, Бершово. Относилась она к земским школам, помимо которых в уезде были еще церковно-приходские, фабричные. Располагались они в собственном, наемном или даровом здании. На содержание школы выделялось около 500 рублей в год. Жалованье учителю — около 300; священнику, который вел уроки Закона Божьего, — 50; на отопление — 50 и сторожу 20. На учебные пособия — 22 рубля.

Что преподавали в таких школах, как Талежская? Русское чтение, чистописание, арифметику, славянское чтение, Закон Божий. Ни рисование, ни рукоделие не предусматривались. Лишь пение молитв. Иногда, по инициативе учителя, вводились уроки огородничества, пчеловодства, а в старшем отделении — истории и географии. Детям давали представление о частях света, государствах, о больших реках, морях, о главных событиях отечественной истории.

При немногих школах числились библиотеки. Иногда они пополнялись книгами по специально разрешенным спискам. В основном духовно-нравственной, сельскохозяйственной, житийной литературой, сказками, историческими повестями, переложенными для народного чтения. Этими книгами учителя разрешали пользоваться и родителям своих учеников. Но мужики брали книги редко. Зимой они работали в Москве или на фабричках и заводиках, разбросанных по уезду. Многие были неграмотны или не имели привычки к чтению.

В попечителях состояли местные помещики, купцы, иногда богатые мужики. Некоторые значились таковыми лишь на бумаге.

Дарили школе портреты царствующих особ и забывали про свое попечительство. Немногие изредка вспоминали о своих обязанностях, иногда помогая школе дровами или одаривая детей на Рождество скромными кульками со сладостями. Лишь единицы считали нужным помочь с ремонтом, мебелью, учебными принадлежностями. Ежегодные отчеты учителей Серпуховской земской управе в 1890-е годы — это сплошной вопль: нет учебных пособий; школьное здание обветшало, вот-вот рухнет; средств, выделяемых на отопление и освещение, недостает; книг нет. Лишь однажды упоминалось, что на деньги попечителя выстроено новое здание.

Михайлов происходил из серпуховских мещан. Окончил уездное училище, сдал в прогимназии необходимый экзамен и получил в 1878 году свидетельство, дающее право быть учителем в земских школах. В Талежском училище он преподавал с 1893 года. Было заметно, что отношения батюшки и учителя очень сдержанные. Священник предпочитал беседовать за обедом с Павлом Егоровичем, а Михайлов — с хозяином дома.

2 января гостей не ждали. Погода выдалась теплая, пасмурная, тяжелая для визитов. В доме рано разошлись по своим комнатам. Довольно поздно кто-то подъехал к окнам. Чехов вышел на крыльцо вместе с сестрой. Гостья была званая — Щепкина-Куперник. Гость — неожиданный, но желанный, Левитан. Оказалось, что неугомонная Татьяна Львовна заехала к Исааку Ильичу посмотреть новые работы. И упомянула, что едет в Мелихово. Левитан, как она рассказывала потом, начал вздыхать, сетовал на то, что этот разрыв ему не по душе, что хотелось бы увидеться с Чеховым. Она стала уговаривать поехать с ней — и уговорила. Но в Мелихове гость пробыл всего одну ночь. Наутро Роман отвез Левитана на станцию. На своей визитной карточке Исаак Ильич написал, что «вернулся опять к тому, что было дорого и что на самом деле и не переставало быть дорогим».

Через день Чехов уехал в Москву под предлогом, что надо проводить мать, собравшуюся в Петербург к старшему сыну. А также для решения срочных дел. Поселился в «Большой Московской» гостинице на Воскресенской площади. Сюда посыльный доставлял ему записки Яворской. Лидия Борисовна стилизовала свои послания под тексты из пьес, в которых играла. Часто говорила репликами персонажей, а на свиданиях повторяла мизансцены из спектаклей: вставала на колени, простирала руки, искусно рыдала. Даже подписывалась именем одной из своих героинь.

Они встречались в компании и наедине. Яворская играла роль увлеченной женщины, поклонницы таланта. Представляя

Чехова новым посетителям своего «салона», говорила: «Наш генерал от литературы». В записках перемежала реплики из пьес с личными просьбами — то заказать салат, то быть на спектакле, то приехать к чаю, то помочь с переводом модной французской пьесы. Чехов приезжал, покупал, заказывал, исполнял то, о чем просила «очень милая женщина». Яворская умно и выигрышно шутила над собой. Чехов рекомендовал ее Суворину: «Она интеллигентна и порядочно одевается, иногда бывает умна. <… > Если бы не крикливость и не некоторая манерность (кривлянье тож), то это была бы настоящая актриса. Тип во всяком случае любопытный. Обратите внимание». В этом отзыве нет и тени сильного увлечения — но скорее итог невольного, почти машинального, изучения. Это почувствовала неглупая и очень близкая в то время приятельница Яворской, памятливая Щепкина-Куперник.

«Эскадра», то есть дружеская компания, не так часто, как в последние годы, но все-таки иногда собиралась в дни приезда Чехова в Москву. Бывали то там, то сям, слушали музыку. Но Татьяне Львовне казалось, что Чехов не с ними: «…зритель, а не действующее лицо, зритель далекий и точно старший — хотя многие члены нашей компании <…> были много старше его. <…> И где-то за стеклами его пенсне, за его юмористической усмешкой, за его шутками — чувствовались грусть и отчужденность. <…> радости у А. П. не было, и всегда на всё „издали“ смотрели его прекрасные умные глаза. И недаром он как-то показал мне брелок, который всегда носил, с надписью: „Одинокому весь мир — пустыня“».

В это же время Чехов встречался с Еленой Шавровой-Юст, уже замужней дамой, женой петербургского чиновника. Жила она теперь в столице, но в Москву наезжала довольно часто, навещала родных. Она запомнила ужин в «Большой Московской». Cher mâitre, «дорогой учитель», так Шаврова теперь называла Чехова, показался ей чем-то расстроенным, кашлял.

Его тогдашнее состояние угадывалось в январских письмах Суворину: «Только что вернулся с обеда, пил там мало, но во рту и в груди такое чувство, как будто я наелся мышьяку»; — «Был я у Левитана в мастерской. Это лучший русский пейзажист, но, представьте, уже нет молодости. Пишет уже не молодо, а бравурно. Я думаю, что его истаскали бабы. Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного: только молодость. Пейзаж невозможно писать без пафоса, без восторга, а восторг невозможен, когда человек обожрался. Если бы я был художником-пейзажистом, то вел бы жизнь почти аскетическую: употреблял бы раз в год и ел бы раз в день». Сердитое,

раздраженное, почти злое письмо. И будто бы не столько о Левитане, сколько о самом себе, о надоевшем «угаре», словно о какой-то душевной оскомине от собственных «романов».

Суворин в ответном письме, видимо, высказался на этот счет, потому что Чехов с еще большей горечью написал 21 января: «Фю-фю! Женщины отнимают молодость, только не у меня. В своей жизни я был приказчиком, а не хозяином, и судьба меня мало баловала. У меня было мало романов, и я также похож на Екатерину, как орех на броненосец. <…> Я чувствую расположение к комфорту, разврат же не манит меня, и я не мог бы оценить, например, Марии Андреевны».

Речь шла о незаконной жене Потапенко. За ней укрепилась «репутация» болтливой, вульгарной, молодящейся, не очень разборчивой дамы. Петербургские литераторы обсуждали между собой, сколько стоят мужу ее капризы и запросы. Сплетничали, будто поэтому Потапенко так много печатался, всюду брал авансы. На слухи о его новых увлечениях она отвечала истериками, сплетнями о их семейной жизни, порой шантажировала.

Чехов не скрывал своей антипатии к сожительнице приятеля. Он с юности ценил в женщине красоту, грацию, природный, а не разыгранный темперамент, естественное своеобразие. Всегда подсмеивался над претенциозной, искусственной «оригинальностью», которой навидался на своем веку.

К таким женщинам относились его наблюдения, что они за редким исключением не так умны и справедливы, как мужчины, быстро начинают считать любовника своей собственностью. Правда, и мужчина, «обжирающийся» многочисленными любовницами, в его глазах, «свинья». В общем, как он выразился однажды, «и женщина и мужчина пятак пара».

Неотразимый и чуть таинственный в глазах многих женщин, Чехов не обременял себя «романами», влекущими за собой тяжелую многолетнюю связь. Все его известные любовные увлечения оказывались непродолжительными. Зимой 1895 года он признался в беседе с приятелями, что имеет дело почти исключительно с замужними женщинами. Однажды Фидлер записал в своем дневнике: «Два года назад он говорил мне, что никогда еще не лишил невинности ни одну девушку». Эта дневниковая запись сохранила слова Чехова: «Я, вероятно, никогда не женюсь, потому что могу жениться только по любви».

Много раз и по самым многообразным поводам мелькавшее в письмах Чехова слово «люблю» не было до сих пор обращено к женщине. Он готов был «отвертеться» от свидания в пользу приятельского мужского застолья. Уклонялся от слишком

назойливого женского внимания. Знал цену неискренней дамской лести и фальшивым комплиментам, особенно актрис. Чехов не был и не слыл «дамским угодником». Но не походил и на женоненавистника, в чем его пытались обвинить некоторые читательницы, страдавшие, судя по слогу их писем, психическими отклонениями от нормы или когда-то сильно обиженные мужчинами. Наоборот, именно женские письма были полны признательности автору за уловленное ими в рассказах и повестях Чехова «глубокое томленье» человеческой души. Одна из читательниц не так давно написала ему, что ценит умение автора «наводить читателя на размышление, не давать ему всего просто, а заставлять его додумываться. <…> Есть в произведениях Ваших какая-то чудная загадочность».

Чехов не любил «вумных» особ, вроде чуждой ему Смирновой. Но встречал ли он действительно умных женщин? Естественных, свободных от предубеждений, не стремившихся казаться «интересными», не считавших себя «исключительными» натурами и не способных опускаться до «бабского», до мелких и пошлых побуждений? О немногих, как, например, о враче Елене Линтваревой, он говорил с неизменным уважением, чтил за преданность профессии. Иронически воспринимал умствования Гиппиус. Толи в шутку, то ли всерьез заочно «прописывал» ее мужу, Мережковскому, променять «свой quasi-гётевский режим, супругу и „истину“» на совсем другое — «на бутылку доброго вина, охотничье ружье и хорошенькую женщину. Сердце билось бы лучше».

В это время Чехов с интересом присматривался к В. А. Морозовой, новому, любопытному типу русской женщины — миллионерша, благотворительница, невенчанная жена Соболевского, редактора-издателя газеты «Русские ведомости».

Кажется, ни одна женщина к этому времени не привлекла Чехова умом как собеседница, с которой ему захотелось бы снова встретиться и поговорить. Но немного было и мужчин, с кем он ждал беседы. Пожалуй, Суворин, хотя Чехов, судя по отзывам, не считал его самым умным из тех, кого знал. Наверно, Короленко, но жизнь отдалила их друг от друга.

Между тем встреча с умным человеком, с талантом всегда доставляла ему ни с чем не сравнимую умственную и душевную радость, в чем он не раз признавался. Может быть, это ощущение было сродни чувству от собственного сочинительства — тайной, сложной беседы с самим собой.

Не только таких встреч, но и других свиданий становилось всё меньше и меньше. Болезнь держала Чехова в Мелихове. В январе он признался Суворину: «У меня хрипит вся грудь, а

геморрой такой, что чертям тошно — надо операцию делать». Суворин, пребывавший в расстроенных чувствах, усиленно звал Чехова в Петербург. Его жена, Анна Ивановна, умоляла приехать, чтобы, по ее выражению, «повеселить» Алексея Сергеевича или написать ему «что-нибудь хорошее и веселое», а то он сердится на «деловые» послания Чехова.

Чехов знал истинную причину огорчений Суворина. Петербургские и московские литераторы составили петицию Николаю II. Они просили отменить предварительную цензуру и вмешательство администрации в дела печати (исключение из номеров газеты тех или иных статей; даже прекращение изданий; изъятие из библиотек книг, прошедших цензуру, и т. д.). Чехов подписал петицию едва ли не первым среди москвичей. Суворин отказался. На том основании, что его-де обошли при составлении петиции, что Григорович, мол, не приехал к нему сам за подписью, тогда как «Новое время» — самая распространенная газета и т. п.

На самом деле Суворин хорошо знал придворную и министерскую машинерию. Он полагал, что ничего не получится из этого «похода» к трону. И хотел остаться в глазах власти верноподданным слугой Отечества. Однако отдавал отчет, что тем самым ронял себя в глазах литературной общественности, объединившейся ненадолго в уповании на ослабление цензуры. Участь жалобы опытный Суворин угадал правильно. Через два месяца петиция дошла до царя, который передал ее тем лицам, которые как раз и вмешивались в дела печати (министрам внутренних дел и юстиции и обер-прокурору Синода). Те пришли к заключению, что осуществление «вожделений» литераторов привело бы к «брожению умов» и тревогам, подобным тем, что волновали общество в 1870-е годы. Царь начертал на этом заключении: «Вполне согласен».

Молодой царь никого не обнадеживал. Кроме тех, кто рассчитывал, что всё останется по-старому. Обращаясь 17 января 1895 года к депутациям дворянства и земств, Николай II оговорился. Чаяния земств на участие в делах внутреннего управления он назвал не «беспочвенными», как хотел, а «бессмысленными», как вырвалось. Михаил Павлович утверждал спустя годы, что к Чехову якобы приезжал незнакомец, представился врачом, но говорил в основном на острые политические темы. Так или нет, но тогда, в январе 1895 года, Чехов написал Суворину, что в петиции нет ничего оскорбляющего достоинства и нет резона ее не подписывать. Но в Петербург, несмотря на просьбы А. И. Сувориной, не поехал.

Огорчился ли Суворин или таким образом давал понять, что

все-таки ждет, но в очередном своем «Маленьком письме» он процитировал письмо Чехова от 10 января и, не называя имени, отозвался о Чехове: «Мой приятель, помещик и доктор, мне пишет»; — «Мой приятель — человек либеральный, но не либерализма общепринятого: у него свой собственный, позволяющий ему говорить правду, как он ее видит и понимает, а не так, как учит доктрина». И в этом смысле противопоставил его Мережковскому, по мнению Суворина, человеку фразы и «доктрины». Суворин уже не раз использовал письма Чехова. Иногда даже годы спустя.

Чехов читал суворинские «письма» в газете, но не всегда отзывался. «Беседы» Суворина с читателями порой вызывали у Чехова почти открытую усмешку. В одной из статей, в начале 1895 года, Алексей Сергеевич с воодушевлением предлагал средство, как отвлечь университетскую молодежь от «политических» увлечений. Всё просто. Нужно занять ее физическими играми (коньки, лаун-теннис, велосипед, крокет) и здоровым досугом (концерты, чтение, хоровое пение). Тогда она «не вмешивалась бы не в свое дело». Чехов тут же заметил по этому поводу: да, игры — это «и здорово, и красиво, и либерально», но не ранее, «как студент российский перестанет быть голодным. Натощак никакой крокет, никакие коньки не заставят студиоза быть бодрым».

Что-то существенно изменилось в отношениях Чехова и Суворина. Будто разводило их без ссор и выяснения отношений. Вольно или невольно это обнаруживали статьи Буренина. 17 января, как раз в день рождения Чехова, С. А. Андреевский откликнулся на сборник «Повести и рассказы», изданный Сытиным, куда вошли сочинения последних лет. В рецензии были слова, что в Чехове «все видят общепризнанного наследного принца наших крупных писателей». Сказано более красиво, чем доказательно. Но Буренин не сдержался и поставил Чехова «на место». Как можно сравнивать Чехова с Пушкиным, Гоголем, Достоевским и Толстым! Он не выдержит сопоставления с уже забытыми Слепцовым, обоими Успенскими и Левитовым. Ему, пожалуй, грозит такое же забвение.

Снисходительность Суворина к выпадам и оценкам Буренина объяснялась несколькими причинами: их личные отношения; газетная политика; характеры обоих и т. д. Но всё заметнее проявлялась еще одна причина — своеобразная «глухота» Суворина к сочинениям Чехова. Писатель становился для него все менее понятным, и это раздражало Суворина. Прочитав первые главы повести «Три года», появившиеся в журнале «Русская мысль», он упрекнул автора в том, что тот изобразил в героях

своих родных и знакомых, и удивился отношению главного героя, молодого купца, к религии. Чехов ответил, что старик Лаптев совсем не похож на его отца — калибр не тот.

Конечно, миллионное дело Лаптевых и рублевый оборот Павла Егоровича в последние годы его торговли несравнимы. Однако было общее в норове отца Чехова и героя его повести: отношение к детям; наказание розгами; показная добродетельность; властность; страх, который они внушали домашним и служащим.

В рассказе Алексея Лаптева о детстве проступали реалии таганрогской поры братьев Чеховых: «Я помню, отец начал учить меня или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору запрещалось; мы должны были ходить к утрене и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. <…> Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть всё в том же амбаре <…>»

Судя по ответу Чехова, Суворину не понравилось отношение Алексея Лаптева к религии. В этом месте интонация письма Чехова такова, каковой она становилась, когда задевали нечто *очень, очень важное* для него: «Что же касается религии, то молодые купцы относятся к ней с раздражением. Если бы Вас в детстве секли из-за религии, то Вам это было бы понятно».

По обыкновению, не возражая на критику, соглашаясь, что плохо выразил что-то, Чехов отстаивал суть: «И почему это раздражение — глупость? Оно <…> не так глупо, как Вам кажется. Оно меньше нуждается в оправдании, чем, например, идиллическое отношение к религии, когда любят религию по-барски, с прохладцей, как любят метель и бурю, сидя в кабинете». Написал эти строки и оборвал разговор о религии. Прибегнул к иронии, как всегда в таких случаях. Не менее консервативных рассуждений Суворина с их «фальшивым звуком» Чехов не жаловал его статьи с «божественными словами», вроде «возлюбим друг друга» и т. п.

* * *

Чехов не избегал разговоров о религии, о церкви, но уклонялся от бесед и рассуждений о Боге, о вере в Бога. Не то что в большой компании, но даже наедине с кем-то. То было *сокровенное*. Но даже о религии он высказывался не часто,

неохотно. Может быть, в числе прочего и потому, что это вызывало в памяти таганрогские годы.

Павел Егорович своим усердием сверх ума и меры, бесконечными спевками в самодеятельном хоре, наказаниями за малейшее нарушение религиозных предписаний и церковных правил, не желая того, видимо, «отлучил» детей от религии. Вряд ли его средний сын забыл историю с злополучной пахлавой: отец даже не высек, а жестоко избил тринадцатилетнего сына на Страстной неделе за то, что тот, голодный, истомленный долгим постом, посмел съесть кусочек сладкого пирога.

Дети добродетельного регента не стали безбожниками, но в храм ходили скорее по обязанности, чем по душевной потребности. Бесконечное «целование» рук, наблюдения — в лавке отца, на торжественных обедах в отчем доме и у дяди — повлияли на ироничное отношение к некоторым, по выражению Чехова, «светильникам церкви». В 1887 году, в одном из посланий из Таганрога в Москву, он набросал сцену в доме Митрофана Егоровича. Как пришел отец Иоанн Якимовский, «жирный откормленный поп», как «дьячок сидел в почтительном отдалении и с вожделением косился на варенье и вино, коими услаждали себя поп и дьякон». Но тогда же, в последующих письмах, рассказал о поездке в Святые Горы. Упомянул «симпатичных монахов», замечательный звон колоколов в этой обители, похвалил даровую еду, которой монахи оделяли многочисленных богомольцев.

Он всегда внимательно присматривался в поездках к служителям церкви. Сохранил теплое чувство ко. Ираклию, который на Сахалине много рассказал о каторжном острове. Чехов с уважением отозвался о сахалинских священниках, которые, по его наблюдениям, «всегда держались в стороне от наказания и относились к ссыльным не как к преступникам, а как к людям, и в этом отношении проявляли больше такта и понимания своего долга, чем врачи и агрономы, которые часто вмешивались не в свое дело».

В книге «Остров Сахалин» есть краткое жизнеописание о. Симеона Казанского. Чехов написал, по сути, подлинное житие, повествование о человеке, который терпел тяготы, холод, «не жаловался, что ему тяжело живется. <…> В его время сахалинские церкви были бедно обставлены. Как-то, освящая иконостас в анивской церкви, он так выразился по поводу этой бедности: „У нас нет ни одного колокола, нет богослужебных книг, но для нас важно, что есть Господь на месте сем“». Чехов не отзывался о священнослужителях в целом, обо всех сразу. Не заблуждался на их счет. Но выделял среди них «людей долга».

Он иронизировал по поводу «идиллического», то есть отстраненного отношения к религии, и формального, сводимого лишь к исполнению обрядов, но ценил искреннее верование. После 1891 года в записных книжках появилась запись: «Между „есть Бог“ и „нет Бога“ лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало».

Но и знание, даже самое большое, выдавало порой хорошее религиозное образование, а не обретенную веру в Бога.

Как проходил это «поле» Чехов? Почему в состоянии душевного кризиса говорил, что ко всему «оравнодушел», заметно уходил в себя. Словно внутренне отрешался от мира, созерцал его со стороны, без себя, сосредоточивался на устроении души. И в таком настроении несколько раз признавался, что охотно ушел бы в монастырь, если бы туда принимали не религиозных людей и не заставляли молиться. В 1892 году он прочел рассказ Шавровой, один из героев которого, писатель, говорил другому герою: «И помните, что Богу всякие люди нужны». Чехов уточнил: «Ну нет, брюнеты, живущие на дамский счет, Богу совсем не нужны. По существующим понятиям Бог есть выражение высшей нравственности. Ему могут быть нужны только совершенные люди».

Ставшие совершенными? Стремящиеся к совершенству? Постоянно живущие в противостоянии искушениям (власть, деньги, лесть, слава), в смирении перед испытаниями (болезни, несчастья, одиночество)?

В повестях и рассказах последних лет повторялось желание героя освободиться от обыденности, куда-то уйти, очутиться в поле. Это воображаемое бегство не казалось ни поражением, ни победой, а скорее — душевным сдвигом, скрытым страданием. В 1890 году Щеглов туманно упрекнул Чехова в том, что он грешит против нравственности и художественности, например, в «Скучной истории», в рассказе «Припадок». Чехов сердито ответил, что «нет ни низших, ни высших, ни средних нравственностей, а есть только одна». Та, что дала «во время оно Иисуса Христа». Та, которая «мешает красть, оскорблять, лгать и проч.».

И далее словно противопоставил расплывчатым словесным недомолвкам Щеглова редкое в его письмах, почти исповедальное признание. Может быть, поэтому перешел и на другую лексику: «Я же во всю мою жизнь, если верить покою своей совести, ни словом, ни делом, ни помышлением, ни в рассказах, ни в

водевилях, не пожелал жены ближнего моего, ни раба его, ни вола его, ни всякого скота его, не крал, не лицемерил, не льстил сильным и не искал у них, не шантажировал и не жил на содержании».

Письмо это Чехов писал тогда в особом настроении. Он собирался на Сахалин, не исключал гибели. В таком же ключе написано через три недели письмо Лаврову: «Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял…» Через пять лет, разбирая рассказ Шавровой, он, в сущности, сказал то же самое: «Также мне кажется, не дело художника бичевать людей за то, что они больны. <…> Никто не виноват <…> но автор должен быть гуманен до кончика ногтей». Это касалось сочинительства.

Что же до житейской прозы, Yo, может быть, он повторил бы языком покаянной стихиры перечисление, из того самого письма 1890 года Щеглову: «Правда, в лености житие мое иждих, без ума смеяхся, объедохся, опихся, блудил, но ведь всё это личное и всё это не лишает меня права думать, что по части нравственности я ни плюсами, ни минусами не выделяюсь из ряда обыкновенного. Ни подвигов, ни подлостей — такой же я, как большинство; грехов много, но с нравственностью мы квиты, так как за грехи я с лихвой плачу теми неудобствами, какие они влекут за собой». Это давнее признание о плате за грехи и недавнее размышление у полотен Левитана об аскетической жизни художника оказывались в созвучии. Они таили мысль о скрытой, сложной связи между образом жизни человека и его талантом. И еще что-то…

В 1895 году Чехов написал рассказ «Убийство» — историю вражды и нетерпимости, приведшей к братоубийству. Совершилось оно в доме Тереховых, прозванных Богомоловыми. Дом и трактир в нем пользовались плохой славой: «в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги, как будто в этом дворе жили колдуны или разбойники <…>».

Между тем обитали в нем люди вроде бы религиозные. Однако осуждавшие, ненавидевшие друг друга за неправильное, как казалось каждому, толкование «леригии» и богослужения. Старший брат, Яков, чтил устав, считал, что «вера должна выражаться правильно», из года в год, изо дня вдень, в известном порядке. Младший, Матвей, полагал, что важнее «порядка» жизнь по заповедям. Он корил Якова за то, что тот торговал водкой, давал деньги в рост, жил неправедно. Призывал покаяться.

Плохо было обоим, ссорились они постоянно, даже на Страстной неделе. И вдруг Якову захотелось уйти от «порядка». Жизнь показалась ему «странной, безумной и беспросветной».

Ему почудилось, что он сам одержим бесами и похож на зверя, а злобу к брату «не одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами». В таком состоянии он погнал Матвея со двора. Тот опять призвал покаяться. Яков вдвоем с сестрой убили его.

Завершался рассказ описанием Дуэского рейда на Сахалине и партии арестантов. Здесь, наглядевшись на страдания людей, Яков, как ему теперь думалось, «узнал настоящую веру», познал, «как должно служить» Богу.

И что же? Кончились «мечтания» и «колебания» в вере, свойственные роду Тереховых? Или это просто новый «порядок»? Искупительны и спасительны ли тоска Якова Ивановича по родине, слезы, желание «спасти от погибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день»?

Всё происходящее в рассказе оказывалось взаимосвязанным с окружающим миром. На станции — ночь, сумерки, воющий сырой ветер, снегопад, «суровый» шум леса, грязный двор с громадными жирными свиньями. На рейде — «сплошная беспросветная тьма», стонущее море, пронзительный ветер, скрип деревьев. И всюду — «тоска медленно текущей жизни». И в доме Тереховых, где трактир соседствовал с молельной, а запах ладана — с испарениями двора. И на Сахалине, где всюду потемки, ужас, страдания.

Всё объединено в сознании героя, который «вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд, Прогонную, видит темноту, дикость, бессердечие и тупое, суровое, скотское равнодушие людей, которых он там покинул; зрение его туманилось от слез, но он всё смотрел вдаль, где еле-еле светились бледные огни парохода…».

* * *

Рассказы и повести мелиховских лет кажутся созданными в контексте единого глубинного настроения автора. Они соединялись внутренними и внешними скрепами. Иногда повторялись фразы. В записных книжках Чехова многочисленные записи к повести «Три года» чередовались с репликами неведомой еще пьесы, видимо, сложившейся в сознании. Сюжеты теснились, требовали выхода.

19 января Чехов пошутил в письме Суворину: «Хочется писать и кажется, что в этом году я буду писать так же много, как Потапенко. И деньги нужны адски. Мне нужно 20 тысяч годового дохода, так как я уже не могу спать с женщиной, если она не в шелковой сорочке. К тому же, когда у меня есть деньги, я чувствую себя как на облаках, немножко пьяно, и не могу не тратить их на всякий вздор».

Шутка насчет только что минувшего дня рождения: «ожидал подарков и не получил ни шиша» — подчеркивала иронию относительно «дохода». В эти дни он написал Билибину: «Старею. Денег нет. Орденов нет. Чинов нет. Долги есть». В общем, всё «по-старому и нового нет ничего». Это строки из ответа Чехова на письмо Мизиновой. Она говорила, что пишет ему в парижском кафе на бульваре Капуцинов, шумном, многолюдном, под музыку. Опять неловко и грустно шутила: «Мне хочется, чтобы с Вами случилось что-нибудь каверзное. А то уж слишком Вам покойно живется». Просила написать ей ласковое письмо. И тут же неуклюже задевала его: «Скоро ли Ваша свадьба с Лидией Борисовной? Позовите тогда меня, чтобы я могла ее расстроить, устроивши скандал в церкви! Ну, я пишу слишком много глупостей! Если бы я писала умнее, то было бы еще хуже».

Он отозвался ласково, но коротко, что ждет ее, что ему хочется поговорить с ней. И попрощался: «Буду ждать Вас с нетерпением. Желаю всего хорошего и остаюсь по-прежнему Ваш *А. Чехов*».

Не мог же он написать ей о том, о чем в этот же день написал Суворину: «Мне для здоровья надо уезжать куда-нибудь подальше месяцев на 8–10. <…> Иначе я издохну. <…> Ах, как надо уехать!» Но уехал всего лишь в Петербург, избежав бенефиса Яворской. Свой билет на место в первом ряду он попросил сестру передать брату Ивану.

И на этот раз Чехов остановился у Сувориных. К нему приходили. Он делал визиты, встречался, навещал кого-то.

Побывал у старшего брата. Свой возраст он ощущал теперь и по племянникам. Николай и Антон подросли. Их начали готовить к поступлению в гимназию, но учеба не шла. Чехов в который раз посоветовал брату не мучить детей, не заблуждаться, а приохотить к какому-нибудь ремеслу: переплетному, чертежному, типографскому. Зато маленький Миша поразил дядю. Чехов написал сестре: «В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек». Это сказано о четырехлетием мальчике, в будущем — необыкновенном актере.

Такая проницательность, вероятно, объяснима природной интуицией, а также исключительной наблюдательностью Чехова. За ним уже закрепилась репутация диагноста, способного даже заочно, после подробных расспросов, поставить предварительный диагноз. Впоследствии он подтверждался коллегами.

Чехов порой говорил — «мое чутье», «мое пророческое чувство». Верил, что они не обманывали его ни во врачебной практике, ни в наблюдениях над людьми. Он как-то, в 1891 году, пообещал Суворину, вечно жаловавшемуся на здоровье и говорившему о близкой смерти, двадцать лет жизни — что и сбылось. Однажды пожелал Плещееву в шутку найти под подушкой бумажник с 200 тысячами рублей. Довольно скоро Алексей Николаевич получил очень большое наследство.

Чехов порой обозначал, предсказывал какие-то вехи и события своей жизни. В 1890 году сказал, что примется за «серьезное» в 35 лет, то есть в 1895 году. Предполагал, что если купит «хутор», то просидит в нем лет пять. Шутил в 1892 году, что у него будет «свой» театр. В 1895 году, в феврале, предрекал, что в Крым попадет «лет через пять, не раньше».

Петербургское пребывание Чехова зимой 1895 года получилось странным. Его поместили в библиотеке. Иногда он откровенно уклонялся от суворинских гостей и уезжал то к Лейкину, то в театр, то в благотворительный маскарад, то на встречу со старыми и новыми знакомыми, шла Масленица. 9 февраля Смирнова обедала у Суворины. Вечером она записала в дневнике: «В 7-ом часу сели за стол; я между Сувориным и Григоровичем <…>. Я познакомилась, наконец, с Чеховым. Молча пожали друг другу руки и ни одного слова не сказали. Чехов за столом молчал. Когда заговорили о винах, посоветовал только не пить русских вин, потому что от них скоро стареют. Говорили за всех Скальковский и Григорович. Разговоры вполне анархические! злая критика всей нашей администрации: кто сколько украл, каких глупостей наделали».

Разговоры вполне суворинские, в духе его дневника. Но хозяин дома на этот раз молчал, так как привык после обеда

спать. Вскоре Чехов ушел к себе, за ним потянулось еще несколько гостей, и все вместе они уехали к Лейкину. В других компаниях он был разговорчивее. Кое-что записал Фидлер в своем дневнике. Он слышал от москвичей и от петербургских приятелей, что Чехов очень болен, что жить ему осталось не более года. Поэтому всматривался в собеседника: «Вид у Чехова совсем не чахоточный; подозрительно лишь его постоянное покашливание. „Это у меня уже несколько лет, а излечиться нельзя — только *скапутиться*. Мои легкие…“»

Речь зашла о литературном заработке Чехова. Фидлер удивился цифре, зная тиражи. Записал объяснение Чехова: «Я пишу ежегодно не более десяти листов, это приносит мне две тысячи пятьсот рублей; шестьсот рублей ежегодно приносят мне мои водевили — итого три тысячи сто рублей.

— Ну, а Ваши книги?

— Лишь теперь, когда я полностью рассчитался с Сувориным, они будут приносить мне около двухсот рублей ежемесячно.

— Кстати о Суворине: ходили слухи, будто Вы собираетесь жениться на его дочери Насте.

— Я? На Насте? Во-первых, она слишком молода для меня, во-вторых, психопатка и, вероятно, застрелится, а в-третьих, я женюсь только по любви…»

Впечатлили Фидлера еще несколько реплик Чехова из разговоров с ним в эти февральские дни. Он занес их в дневник. Слова Чехова о себе, что он почти не практикует как врач и вообще уже «фельдшер». Рассказ о диете: «Если я плотно поем или выпью рюмку водки, то уже не могу работать; поэтому за обедом я съедаю лишь несколько ложек супа, но зато как следует ужинаю и затем сразу же ложусь спать.

— Но ведь это очень вредно!

— Вовсе нет: это дело привычки».

И шутка о Короленко: «Я хотел бы, чтобы он запил или попал в руки падшей женщины, — тогда он создаст великое произведение».

Описывая обед в ресторане Палкина 10 февраля, Фидлер упомянул, что Чехов «пил умеренно; он собирался посетить еще один дом». Чей? Не указано. Конечно, Чехов не уточнил.

Он собирался в гости к Авиловой. Она пригласила его, когда они встретились у Лейкина. В своих мемуарах Лидия Алексеевна живописала этот вечер очень ярко. Ее ревнивый муж был в отъезде. Она надеялась на долгий разговор без помех с человеком, которого, как ей казалось, давно любит.

Однако явились неожиданные гости, помешали свиданию, испортили всем настроение. После ухода визитеров Чехов будто

бы сказал Авиловой: «Я вас любил. <…> Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, которых и я бросал и которые меня бросали; что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. И вы были для меня святыней. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это?»

По утверждению мемуаристки, она, тут же, после прощания с Чеховым, записала его признание. Если не дословно, то верно по смыслу. Но у Чехова в письмах нет ничего подобного слову «святыня», обороту «коснуться вас» и т. п. Это не из его лексикона.

Зато подобные выражения в изобилии встречались в рассказах Авиловой: «молодое лицо ее чувствовало на себе ласку осеннего солнца»; «взгляд отдыхал на них и нежился в их мягких вечерних тонах»; «моя любовь, обновленная страданием»; «оскорбить нашу новую любовь»; «смертельно тоскую о тебе»; «новое, чистое, светлое чувство» и т. п.

Письма Чехова Авиловой за всё время их переписки — очень сдержанны, без шутливого тона, подчеркнуто «профессиональны», посвящены ее рассказам. Разбор часто оказывался нелицеприятным.

О рассказах, переданных Авиловой в тот злополучный февральский вечер, он написал ей: «Вы талантливый человек, но Вы отяжелели, или, выражаясь вульгарно, отсырели и принадлежите уже к разряду сырых литераторов. Язык у Вас изысканный, как у стариков. <…> Вы мало отделываете, писательница же должна не писать, а вышивать на бумаге, чтобы труд был кропотливым, медлительным».

В отношениях с Авиловой, судя по письмам Чехова и дневникам современников, их общих знакомых, он соблюдал почтительную дистанцию. Едва ли забыл объяснение три года назад по поводу сплетни Ясинского. К тому же Худеков, зять Авиловой и издатель «Петербургской газеты», недолюбливал Чехова. Он слыл в столичных литературных кругах человеком злопамятным, самолюбивым и тщеславным.

Чехов сторонился худековского кружка. В нем и самой Авиловой многое было не по сердцу. Но все-таки она была своя, а он чужой, нелюбимый. В этом злоязычном мирке могли бы и ее не пощадить, если бы Чехов подал хоть малейший повод к сплетне. Здесь заметили интерес Авиловой к Чехову, включили ее в число столичных поклонниц «модного» литератора. Но никаких слухов об ответном увлечении, а тем более чувстве или романе никогда не возникало.

Не очень удачное замужество, тяжелый характер нелюбимого мужа, иронизировавшего насчет «писательства» жены, знакомства

с не самыми интересными литераторами Петербурга, домашний быт — всё это делало жизнь неглупой, добродетельной Лидии Алексеевны однообразной. Рассказы она писала для развлечения, а не для куска хлеба. Обладая скромным, но живым воображением, воспринимала и домысливала встречи с людьми и события своей монотонной жизни по законам мелодраматического жанра. Она «вышивала» свой «роман» с Чеховым по канве немногих реальных фактов. Сначала в своем воображении, впоследствии в мемуарах. В этом повествовании герой и героиня выглядели добропорядочными, даже скучными. Словно в посредственном буржуазном романе. С банальным сюжетом: *она* не может оставить семью или лишить детей отца; *он* молча страдает, бережет честь любимой и т. д. Отсюда словесные штампы в мнимых признаниях Чехова: «хороших людей гораздо больше, чем дурных»; «в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас». Таких банальностей доставало в ее рассказах.

Отметив «неловкие выражения», неудачные словесные «штучки» в «громоздких» рассказах Авиловой, Чехов закончил свое февральское письмо извинением: «Простите за сии наставления. Иногда приходит желание напустить на себя важность и прочесть нотацию. <…> Желаю Вам всего, всего хорошего. Искренно преданный *А. Чехов*».

Авилова, как она писала в своих воспоминаниях, промучилась после этого письма два дня, потом заказала в ювелирном магазине брелок в виде книги. На одной стороне по ее просьбе вырезали название книги Чехова. На другой — указали страницу и строки. Она выбрала слова Власича, героя рассказа «Соседи»: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». В рассказе Чехова эта выспренняя фраза, как и все остальные фразы героя, как он сам — шаблонны, скучны и нелепы. Но она в духе героев рассказов Авиловой, за что, вероятно, отмечена ею. Подарок был послан в Москву брату, с просьбой передать в редакцию «Русской мысли» для Чехова…

Чехов прожил в Петербурге 16 дней. Он намеревался в столице поработать. Теперь же шутил, не поехать ли для этого в Таганрог, как можно дальше от московских и петербургских соблазнов и помех.

Уехать он собирался едва ли не сразу. У него очень сильно болела голова, вплоть до мерцания в глазах. Но Суворин удерживал день за днем, хотя на этот раз беседовать им пришлось мало. Петербург становился совсем чужим. Уже из Мелихова Чехов уверял Суворина, что ему не хотелось уезжать в Москву, но гнали житейские заботы и литературная работа. Однако тон

писем — почти равнодушный. Без возбуждения, радости, бодрости, с какими Чехов раньше покидал столицу. В следующий приезд он решил остановиться в гостинице.

* * *

В Москве Чехов задержался всего на один день, чтобы сходить в баню. Наутро уехал в деревню. И просидел в Мелихове всю весну, лишь изредка отлучаясь в Серпухов по земским делам. Эта ли непрестанная «нехорошая» головная боль, известие ли о кончине Лескова, или еще что-то, скрытое ото всех, повлияли на смутное, тяжелое состояние Чехова. Он продолжал худеть. Многим говорил — «кажется, здоров». Добавлял, что к своим хворям «привык, как привыкают к бородавкам». По-прежнему не лечился, мол, «нечем». Шутил: «Для здоровья полезно укрываться с головой одеялом и лежать так день и ночь, а также натираться утром и вечером настойкой из смородинных почек».

Дни были заняты разными делами. Неотложными или вошедшими в привычку. Как, например, ежегодное наведение порядка с письмами. Их становилось всё больше и больше. Это на самом деле была уже не просто многолетняя почта. Складывался писательский архив. Но своеобразный, потому что в нем преобладали письма. А среди них — послания с просьбами. Просили о материальной помощи, о протекции. И очень часто — о книгах для различных библиотек.

Суворин рассуждал в своей газете о пользе для студенчества лаун-тенниса, хорового пения. Чехову писали из города Прилуки, где были две гимназии, жили 15 тысяч жителей, но не было ни одной общедоступной библиотеки. Земский учитель рассказывал, что в Конотопском уезде с его 150-тысячным населением острая нужда в библиотеках.

Чехов посылал свои книги. В марте 1895 года отправил большую партию в Таганрогскую библиотеку. Просил городскую власть «принять их и разрешить» впредь присылать книги. Большинство — с автографами лиц, даривших Чехову свои сочинения.

Но что значила эта толика? Что изменили бы библиотеки в деревенских школах, если миллионы крестьян оставались безграмотными и своих детей неохотно отпускали в школы?

В один из весенних дней пьяный деревенский мужик залез в мелиховский пруд. Дряхлая мать гнала сына из воды палкой. Прочие стояли и хохотали. Как-то раз эта старуха пришла к «доктору», избитая сыном. Описывая Суворину это зрелище:

мокрый сын идет босиком по снегу, мать за ним, Чехов оборвал рассказ словами: «Откладывать просвещение темной массы в далекий ящик, это такая низость!»

За две недели до этого обыденного мелиховского происшествия он прочел в «Новом времени» фельетон Смирновой «Что делать?». Софья Ивановна объясняла молодым читательницам из дворянских, купеческих и мещанских семей и их родителям, в чем призвание современной женщины. Всё просто: получить среднее образование; затем посвятить себя полезным занятиям, «производительному труду». Какому? Садоводству, полеводству, огороду. И не думать о высшем образовании, о профессии врача, учительницы — это удел исключительных натур. Рассуждала она нравоучительно: «Если мужчины <…> не в состоянии доходами с имения прокормить семью, то почему бы их женам, сестрам, дочерям не прийти им на помощь? <…> Половина бы наших имений не продавалась бы с молотка. <…> Изучать европейскую литературу можно и у себя дома в свободное от занятий время. <…> Прививка деревьев, уход за ними, культура ягодных кустов, сбор фруктов, хранение их — разве это не прямое дело женщины? <…> Разве поливать цветы такой тяжелый труд, что нужно брать для этого рабочего? <…> Дела кругом сколько хочешь, а мы жалуемся, что некуда идти…» Это стоило благомысленных мечтаний Суворина о крикете и лаун-теннисе. Или «советов» Михаила Павловича, самоуверенно составившего словарь «Закром» для сельских хозяев.

Если Суворин и на сей раз показал письмо своей приятельнице и задушевному другу, то оно не прибавило ей приязни к Чехову. Его ирония была безжалостной: «Хороший совет дает Софья Ивановна, девицы прочтут и спасутся; одно только неизвестно: куда сбывать яблоки и капусту, если имение далеко от города, и из какой материи шить платье, если рожь вовсе не продается и у хозяйки нет ни гроша».

Теперь, три года спустя после переезда в Мелихово, он знал: «Успех в хозяйстве, даже маленький, в России дается ценою жестокой борьбы с природой, а для борьбы мало одного желания, нужны силы телесные и закал, нужны традиции — а есть ли всё это у барышень? Советовать барышням заниматься сельским хозяйством — это всё равно, что советовать им: будьте медведями и гните дуги».

На усадьбе как раз шла стройка: заканчивали баню, начали конюшню, каретный сарай, амбар, курятник. Павел Егорович каждый вечер заносил в дневник события дня: привезли лес, паклю, железо. Его не интересовало, сколько стоили постройки,

материал — это не его забота, а сына. Главное, что хозяйство расширялось, обновлялось. Чехов же в эти дни шутил: «У меня уже нет денег. Фюйть! Но живу в деревне, ресторанов нет, извозчиков нет — и деньги как будто бы не нужны».

Деньги были очень нужны. Чеховы с трудом выволокли имение из запустения. Новые хозяйственные постройки — необходимость, так как прежние пришли в полную негодность. Строили, латали старое, только чтобы подгнившее меньше бросалось в глаза. Брали порядком, чистотой. Никаких куч мусора, разбросанного по усадьбе инвентаря, зарослей сорняков. Всё ухожено, всё скромно, но опрятно. Потому и нравилось гостям в Мелихове. Только в марте — апреле приезжали Лейкин, Ежов, Лазарев, Коробов, Гольцев, Щепкина-Куперник, Гиляровский, Куркин, Левитан… Злополучный Иваненко — вечный гость, приезжал, уезжал, жил неделями. Павел Егорович уточнял в дневнике: «Иваненко долго мылся в Бане. <…> Иваненко много говорит». Но Чехов давно притерпелся к этому нелепому, незлому человеку.

Приезд Лейкина сопровождался смешным казусом. Евгения Яковлевна, заказывая мясо, попросила кусок получше, так как у них гость, Лейкин, из Петербурга. Мясник даже не поверил и переспросил: «Тот, что книги пишет?» И прислал хорошего мяса. Чехов пошутил в письме: «Стало быть, мясник не знает, что я тоже пишу книги, так как для меня он всегда присылает одни только жилы». Может быть, просто лавочник читал Лейкина, это был его автор, а про мелиховского «помещика» только слышал, что тот пишет в газетах и журналах.

Лейкин, болтливый, обожавший сплетни, наверняка рассказал Чехову о встрече, которую занес в свой дневник: «В Москве писательница-дилетантка Лидия Алексеевна Авилова. Она уехала из Петербурга на прошлой неделе… <…> Она в горе, она десять дней тому назад писала из Москвы Чехову письмо в имение и звала его в Москву, а он ни сам не приехал и не ответил, она справилась в „Русской мысли“, в имении ли он теперь, а ей ответили, что уехал в Таганрог, а я сообщил ей <…> что он в имении, ждет меня и я завтра еду к нему. Вот ее и горе. Чехов теперь в деревне работает, пишет, в Москву ему ехать — терять время — вот он и просил в „Русской мысли“, чтобы вообще всем его поклонницам (а Авилова из их числа) говорили, что он уехал в Таганрог».

К 1036 сюжетам для мелких рассказов, в шутку упомянутых Чеховым в апрельском письме Билибину, добавлялись, тоже в шутку обозначенные весной того года, странные сюжеты — например, о героине, впадающей в безумие от запаха серы, будто

бы исходящего от мужа и от его постоянных разговоров о смерти. На самом деле Чехов умудрялся среди хозяйственных забот, неизбежных разговоров с гостями писать рассказ «Ариадна». О мужчине, которого чувство к женщине, искушаемой призраками богатства, титула, всеобщего поклонения, превратило в «женоненавистника». В повествование вплетались незаметно реалии последнего заграничного путешествия: скучное ничегонеделание; фальшивое восхищение туристов в музеях; глупые траты в дорогих отелях и магазинах. И какой-то горький привкус от встреч с «лувркими сиренами», от записок Яворской; хитростей «великой писательницы земли русской», как в шутку называл Чехов «милого дружка» Татьяну Щепки ну-Куперник.

Не в сюжете, а в интонации рассказа проступало что-то общее с письмами Чехова последних месяцев. В них он уже подвел незримую черту под «плаванием» своей «эскадры». Смирнова, прочтя «Ариадну», записала в дневнике: «Должно быть, какая-нибудь жестокая женщина насолила ему, а он, чтобы облегчить свою душу, описал ее». Что сильнее сказалось в этом упрощенном толковании: нерасположение к Чехову или собственный опыт сочинительства?

Критика рассказ словно не захотела заметить, будто поморщилась от него. Чехов, видимо, предчувствовал это. Вопреки обыкновению не отозвался о рассказе ни с радостью, ни с недовольством. Может быть, такое внешнее равнодушие к «Ариадне» скрывало или, наоборот, по-своему обнаруживало глубокое внутреннее волнение Чехова. Что-то прорывалось из-под спуда записей. Какой-то новый сюжет, давно томивший его. О ком-то, кто страстно говорил об искусстве, о рутинерах, давящих всё «новое и художественное».

В это время Чехов постоянно говорил о своей старости («А старость уже не за горами»; — «Постарел, и нет уже пыла»). Он пребывал внешне в том покойном настроении, которое наступало у него после принятого решения. Нечто подобное он переживал в 1889 году, когда решался — шагнуть ли из любимой беллетристики в «толпу драматургов» или, наконец, написать роман. Но так, как ему хотелось, виделось, «не по правилам».

Прошли пять лет, отведенные Чеховым самому себе в конце 1889 года на кропотливый серьезный труд «с чувством, с толком». Позади — Сахалин, три года мелиховской жизни, повести «Палата № 6», «Черный монах», «Три года». Он уверял, что драмы ему писать не хочется, «а комедии еще не придумал» и засядет за пьесу не ранее осени. Но какие-то оговорки, детали выдавали: Чехов уже напряженно обдумывал новую пьесу.

Почему он возвращался к драматургии? Почему в это время,

когда появились записи к будущим повестям и рассказам, выбрал не роман, о котором говорил в начале 1895 года, а пьесу? Может быть, потому, что именно в работе над драмой Чехов осознавал меру своей свободы и смелости? Проза — это, условно говоря, ровный путь с незаметным подъемом или спуском. Пьеса — *рывок*. Даже если срыв, все равно оставалось ощущение обретенной высоты. «Иванов» и «Леший» в этом смысле оказались незабываемы.

Чехов не оставлял прозу ради пьесы. Он работал одновременно и над новыми рассказами. Следствие чрезмерного труда — сильнейшие головные боли и письма, которые в это время приближались к прозе. В один из апрельских дней он рассказывал Суворину: «Ходил в деревню к чернобородому мужику с воспалением легкого. Возвращался полем. По деревне я прохожу не часто, и бабы встречают меня приветливо и ласково, как юродивого. Каждая наперерыв старается проводить, предостеречь насчет канавы, посетовать на грязь или отогнать собаку. В поле поют жаворонки, в лесу кричат дрозды. Тепло, весело». В начале мая он признался тому же адресату: «Я напишу что-нибудь странное. Для казны же и для денег у меня нет охоты писать. Я пока сыт и могу написать пьесу, за которую ничего не получу <…>»

Как и предыдущие, новая пьеса возникала по внутреннему побуждению. В данном случае даже в свободе от мыслей о деньгах, сроках, обязательствах перед театром. Но не в свободе от огорчений и недоразумений домашней и семейной жизни. Младший брат поставил его в неловкое, почти унизительное положение. Михаил Павлович служил теперь в глухом Угличе, куда перевелся в 1894 году из-за неприятностей по службе в Серпухове. Уже через год он начал хлопотать о месте в Ярославле, большом губернском городе. Рассчитывал, как всегда, на знакомство брата с Сувориным. Вообще-то он давно мечтал о Петербурге, о работе в «Новом времени». Это тешило его тщеславные надежды на известность, хороший заработок, столичные связи. Но на такую просьбу он пока не решался. Боялся отказа и потому умерил свои претензии.

В обыкновенной жалобно-напыщенной манере он писал Суворину очередную слезницу. Плакался на «кошмар» службы в провинции. Подчеркивал свое превосходство над средой: «Зачем я кончил курс в Университете, для чего я знаю языки, для чего мне открыто кое-что и природой и воспитанием? <…> Я не хочу ни повышения, ни увеличения содержания. <…> Дорогой Алексей Сергеевич, переведите меня, куда Вам угодно, как Вы же назначили меня на эту должность. Верьте, если бы сестра не

привыкла получать ежемесячную маленькую поддержку — я скорее вышел бы в отставку, чем осмелился бы беспокоить Вас этим письмом, да еще с просьбой о протекции». Постоянная ссылка на 25 рублей, которые он не очень аккуратно посылал сестре, как на главную причину его обращения, невольно обнажала натуру младшего Чехова. Он пытался выглядеть бескорыстным, благородным, а выглядел неискренним и мелочным.

Суворин не понял, чего хочет Михаил, и написал Чехову. Мария Павловна попросила «угличского» брата скорей прояснить ситуацию. Вместо внятного письма в Мелихово слабонервный чиновник грохнул телеграмму Суворину: хочу, мол, служить в Ярославле и перевода с повышением в должности. Алексей Сергеевич разъярился от очевидной глупости и сделал выговор Чехову, что такой телеграммой Михаил всех подставил. Чехову пришлось оправдываться и объясняться: «Телеграмма Миши бестактна. <…> Он очень добрый и неглупый человек, но мне с ним иногда бывает тяжело. <…> Отчасти я виноват, так как я написал ему, чтобы он *поспешил* ответом на Ваше предыдущее письмо ко мне <…>. Вообще протекция штука неприятная, и я охотнее принимаю касторовое масло или холодный душ, чем протежирую. Трудно просить, язык не слушается. Но в последнее время часто приходится просить то за одного, то за другого».

Не просить было тяжело, а невольно поощрять чужой эгоизм или корысть. Еще не так давно, зимой 1895 года, Чехов сказал Александру: «И почему не оказать протекции, если это полезно и притом никого не оскорбит и не обидит? Протекция лишь тогда гадка, когда она идет рядом с несправедливостью». Как бы ни расписывал Михаил свои служебные успехи, он был заурядным чиновником. Дела своего не любил. Давно понял, что зря не послушался брата и не пошел после университета в присяжные поверенные, не подался в литераторы. Для чиновничьей карьеры он был не приспособлен. Но высокой должности и хорошего оклада, житейского комфорта очень хотелось. Вот он и «рос» по службе с помощью Суворина.

Почему Чехов неохотно, но помогал брату? По просьбе родителей, всегда радевших о любимом младшем сыне? Не устоял перед жалобами брата, скучавшего в Угличе? Но, возможно, почувствовал несправедливость своей протекции. Когда в конце мая Михаил приехал в Мелихово, между братьями произошел тяжелый разговор. Он наложил отпечаток на их дальнейшие отношения. Вожделенное место в Ярославской Казенной палате было получено. Но впоследствии Чехов отказывал брату в подобных просьбах. Зато не отказывал

двоюродным таганрогским братьям — не только потому, что обещал это дяде при прощании, но и потому, что уважал Георгия за трудолюбие и преданность семье, а Володе хотел помочь найти себя. Весной 1895 года Чехов посоветовал ему после семинарии поступать на медицинский факультет, например, в Томском университете. И предложил помощь: плату за учебу и деньги на пропитание. А чтобы Володя не чувствовал себя бедным родственником, пусть потом, когда выучится, встанет на ноги, вернет, если сможет. И пошутил: «Процентов я не возьму».

Удалось ли Чехову поработать в мае, когда на Мелихово обрушилось нашествие гостей? В июне он не мог покинуть Мелихово, так как сестра, с братьями Иваном и Михаилом, уехала отдыхать на юг. Он остался с родителями. Поток гостей по-прежнему не иссякал, однако 17 июня он выбрался в Москву — отметить выход книги «Остров Сахалин». Пятилетний труд, не отпускавший Чехова, этот, по словам автора, «жесткий арестантский халат», занял свое место в его «беллетристическом гардеробе». По решению цензуры книге не нашлось места в публичных библиотеках и общественных читальнях. Она поступила в продажу и медленно расходилась среди читателей. Откликов в критике вызвала немного. Вчитываться в нее захотели единицы, а тем более вдумываться в неторопливое, сдержанное повествование, в это своеобразное житие русской жизни.

Имена Чехова и Короленко опять оказались рядом. Их не сопоставляли и не противопоставляли, как десять лет назад. Объединяли их книги: «Остров Сахалин» и «Голодный год». Один из критиков назвал их «честными дознаниями» правды. Переворота в общественном сознании эти труды не сделали. Но и писались обе книги не для этого.

Глава седьмая. НЕМОДНЫЙ ЛИТЕРАТОР

Июнь 1895 года благополучно завершался. Павел Егорович отмечал в дневнике события мелиховской жизни: гроза, пахота под рожь, молебен во дворе, цветение пионов, «корова захворала», «клубника поспела», «картошку окучивают», «крестьяне косили 40 человек». День своих именин он отметил со спокойной важностью: «Обедня была в Мелихове. Народу приходило много с поздравлением». И вообще — «Рожь и Овес у нас хороши и в Саду отлично».

Летом у Чеховых гостила таганрогская тетушка Людмила Павловна с двумя дочерьми, Сашей и Лелей. В своих письмах в Таганрог они описывали Мелихово. Впервые увиденный ими березовый и еловый лес. Странный возок, в котором их везли со

станции. Он походил на большую бельевую корзину, сидеть в нем было можно, лишь вытянув ноги. Таганрогских барышень удивили дощечки около фруктовых деревьев с названием и датой посадки. По утрам они видели иногда, как брат обрезал розы, встречали его у пруда. Он бросал корм из лукошка. С ним всегда были две таксы, Хина и Бром, ревновавшие хозяина друг к другу. Когда он, сидя на лавочке, играл с ними, они заглядывали ему в глаза. Чехов в шутку называл всех своих собак по имени-отчеству: Апель Крысыч, Рогулия Васильевна, Хина Марковна, Бром Исаич. Но иронизировал над подчеркнутым, демонстративным «нежничаньем» с домашними животными.

Гостей предупредили, чтобы до обеда они не заходили во флигель — там Чехов работал. Жизнь текла упорядоченная, деловая. Павел Егорович истово подметал дорожки сада, будто это главная забота. Евгения Яковлевна что-то шила, иногда читала газету «Неделя». Мария Павловна занималась хозяйством, огородом, садом и называла всё это своим «министерством».

Иногда мелиховский «летописец» уточнял, от кого получено письмо. Имени Левитана в июньских записях нет. Но как раз в последних числах Чехов получил тревожную весть из имения, где Левитан гостил у А. Н. Турчаниновой: «Ради Бога, если только возможно, приезжай ко мне. Хоть на несколько дней. Мне ужасно тяжело, как никогда». Левитан не назвал причину, не признался, что 21 июня пытался покончить с собой выстрелом в голову. Чехов узнал об этом из письма самой Анны Николаевны: «От Вашего приезда зависит жизнь человека. Вы, один, Вы можете спасти его и вывести из полного равнодушия к жизни. <…> Пожалуйста, не говорите никому о случившемся. Пожалейте несчастного».

Вслед письму пришла телеграмма. Чехов туг же выехал в Москву, а оттуда в озерный край. И прожил там несколько дней. В семье, где сложилась драматическая ситуация. Старшая дочь Турчаниновой увлеклась Левитаном, невольно став соперницей матери. Вокруг Исаака Ильича всегда складывались сложные отношения. То Кувшинникова ревновала его к Мизиновой. Теперь возник треугольник: Левитан, немолодая возлюбленная и молодая влюбленная девушка. Не называя фамилии, Чехов в письме Суворину написал, что его вызвали «к больному». Что было правдой. Мрачное настроение Левитана усугублялось болезнью сердца. О своем здоровье Чехов мог не говорить другу. Кашель не оставлял его ни на день. А в такую пасмурную, хмурую погоду, какая стояла в эти дни, кашель усилился.

Из имения Чехов поехал в Петербург по просьбе Суворина. Лейкин записал в дневнике после встречи: «Худ, желт,

покашливает и имеет нездоровый вид. Спрашивал его, у кого он был в Бологово. Оказывается, гостил в семействе Турчанинова, нашего помощника градоначальника. Рассказывал, что у Турчанинова очень хорошенькие дочери-девицы».

Наверняка любопытный Лейкин расспрашивал Чехова, зачем Суворин вызвал его телеграммой. Чехов не упомянул Левитана и не назвал причину приезда в столицу на один день. Может быть, Суворин попросил приехать, чтобы посоветоваться о своем театре, который он затевал в это время и который открылся вскоре? Может быть, говорил о будущем репертуаре и не отдаст ли Чехов «странную» пьесу, в шутку или всерьез обещанную ему в мае?

Второе лето подряд летние планы Чехова менялись, рушились. Не состоялось путешествие с Лейкиным на прибалтийские курорты. Не склеилась поездка с Сувориным в Феодосию. Как будто что-то помимо денежных соображений удерживало Чехова от дальней дороги.

8 августа он поехал в Ясную Поляну. Один, как и хотел. Его ждали. Еще накануне говорили о нем у Толстых. С. И. Танеев записал в дневнике слова Толстого, что «Чехов не всегда знает, чего он хочет». Это была его давняя точка зрения. Упоминания Чехова в письмах и дневнике Толстого, начиная с 1889 года, сводились до сих пор к главному: прекрасная форма, но нет ясного миросозерцания. Нет понимания того, что есть добро, что есть зло, нет «окна в религиозное».

Чехов, пережив и изжив «постой» толстовской морали в своей душе, по-прежнему ставил его выше всех в литературе. Но в последнее время, особенно после участия Толстого в помощи голодающим в 1891 году, чаще говорил о Толстом-чело-веке, который его интересовал. В те дни в яснополянском доме собралось много гостей: И. И. Горбунов-Посадов, Н. Н. Страхов, В. Г. Чертков, С. Т. Семенов. Толстой в это время работал над романом «Воскресение». Предполагалось чтение готовых глав. Без автора. Он был не совсем здоров. Но потом все собрались в кабинете хозяина дома. По воспоминаниям Семенова, Чехов «тихо и спокойно стал говорить, что все это очень хорошо. Особенно правдиво схвачена картина суда. Он только недавно сам отбывал обязанности присяжного заседателя и видел своими глазами отношение судей к делу: все заняты были побочными интересами, а не тем, что им приходилось разрешать. <…> Неверным же ему показалось одно — что Маслову приговорили к двум годам каторги. На такой малый срок к каторге не приговаривают. Лев Николаевич принял это и впоследствии исправил свою ошибку».

К вечернему чаю Толстой не вышел. Чехов беседовал с хозяйкой дома и ее дочерью, Татьяной Львовной. Назавтра, 9

августа, Чехов уехал из Ясной Поляны. В дневнике Толстого за эти дни записей нет. Лишь 4 сентября он написал сыну Льву Львовичу: «Чехов был у нас, и он понравился мне. Он очень даровит, и сердце у него, должно быть, доброе, но до сих пор нет у него своей определенной точки зрения». 7 сентября, в дневнике, Толстой назвал состоявшееся чтение напрасным, так как был недоволен романом.

Чехов ограничился двумя словами в письме Суворину: «Я был у Льва Николаевича, прожил у него 1 ½ суток. <…> Если пришлете свой настоящий адрес, то я опишу Вам свое пребывание у Л[ьва] Николаевича]». Однако вернулся к поездке в октябрьских письмах: «Впечатление чудесное. Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Л[ьвом] Николаевичем] были легки. При свидании расскажу подробно»; — «Дочери Толстого очень симпатичны. Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо, если бы он был неискренен и не безупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери <…>. Невесту и любовницу можно надуть как угодно, и в глазах любимой женщины даже осёл представляется философом, но дочери — другое дело».

Оба оценили человеческие свойства друг друга. Но не вели тех разговоров, к которым, наверно, привык Толстой. У него обыкновенно искали ответа, с ним спорили, ему внимали и вслушивались в каждое его слово. Чехов, по своему обыкновению, больше молчал, наблюдал и не торопился вступать даже в общие разговоры. Да и пробыл всего один день.

В Мелихово он вернулся совершенно больной, говорил, что сильно простудился в Ясной Поляне или на обратном пути. Через два года Чехов рассказал двум молодым современникам, что к Толстым он приехал тогда рано утром и будто бы хозяин повел гостя купаться и «первый разговор у них происходил по горло в воде». Если это не шутка Чехова, именно это купание могло ему выйти боком. Он написал Лейкину: «9-го авг[уста] у меня заболели волосы и кора правой половины головы, затем боль шла всё crescendo, и 15–16-го у меня начались сильные невралгические боли в правом глазу и в правом виске. Поехал я в Серпухов, вырвал зуб, принял чёртову пропасть антипирина <…> и проч. и проч. — и ничего не помогло».

Чехову казалось, что лето прошло «прахом», он не писал пьесу, вообще ничего не написал и всего лишь, по его признанию, «немножко полечивал, немножко возился в саду». А еще осваивал французский язык, шутил, что теперь не будет чувствовать себя в Париже дураком и сможет «спросить поесть и поблагодарить

гарсона». Ему в это время постоянно приходилось отказывать журналам. Его обещания относились к неопределенному сроку. Он говорил, что работает «туго, мало и кропотливо, как японец» и потому заказывать ему надо «по крайней мере за год». Чаще сваливал на «хохлацкую лень», но кому-то признавался, что болел. И все-таки что-то было еще, невысказанное, но ощутимое. Все его письма былым приятелям летом и осенью 1895 года печальны. В начале октября он откликнулся на дружеский призыв Щеглова встретиться, поужинать, «вспомнить старину»: «26 сент[ября] освящали памятник на могиле Плещеева. Была вся его богатая родня. Я слушал пение монашенок, думал о padre, о Вас. Пишете ли Вы пьесы? Право нам есть о чем поговорить. Давайте встретимся в Москве».

Щеглов в эти годы всё сильнее страдал от мизантропии, считал свою жизнь неудавшейся, нелепой. То впадал в пафосное увлечение толстовством, то народным театром. Но для Чехова при всем при том оставался «милым Жаном». Письмо к нему Чехов закончил уверением: «Я Вас ценю, высоко ценю».

Билибин целиком ушел в свое не очень удачливое писательство всё в тех же «Осколках». На его новогоднее предложение возобновить переписку Чехов ответил полным согласием: «Душа моя по-прежнему лежит к Вам…» Но регулярной, «хотя бы раз в месяц», переписки не получилось. Всё осталось в былом, в молодости.

Наверно, не только возраст и расстояние разводили Чехова с давними добрыми приятелями. Несмотря на дружеские застолья зимой в Петербурге, на «ты» после того, как выпили на брудершафт, так и не ожила переписка Чехова с Баранцевичем. Что-то подтачивало незлобивого Казимира Станиславовича с некоторых пор. Ему, судя по некоторым записям в дневнике Фидлера, было не очень уютно около Чехова. Он словно боялся, что его могут заподозрить в искательстве, в навязывании. Он будто был порабощен своими разочарованиями в себе, в людях. Однажды всерьез уверял собеседника, что Чехов «добился известности, потому что вел себя как трезвый политик». И вообще, Александр Чехов — «более талантлив. Но ничего не добьется: он — человек настроения и неумеренно пьет. А как хороши его рождественские рассказы!». Баранцевич имел в виду сборник «Святочные рассказы» А. Седого. Его одобрение и даже похвала не удивительны. То, о чем и как писал Александр Павлович, было близко Баранцевичу. Не могло не нравиться. Тот же мир, те же герои, одинаковые беллетристические приемы. И, вероятнее всего, общий читательский круг.

Когда в 1894 году Суворину прислали из Академии наук на

официальный отзыв роман Баранцевича «Две жены» в связи с присуждением Пушкинской премии, тот адресовался к Чехову. Его мнение, как бывало не раз с «письмами» и статьями в «Новом времени», Суворин положил в основу своего отзыва. Чехов ответил так, словно продолжал давний разговор о современной литературе: «Это буржуазный писатель, пишущий для чистой публики, ездящей в III классе. Для этой публики Толстой и Тургенев слишком роскошны, аристократичны, немножко чужды и неудобоваримы. <…> Станьте на ее точку зрения, вообразите серый, скучный двор, интеллигентных дам, похожих на кухарок, запах керосинки, скудость интересов и вкусов — и Вы поймете Баранцевича и его читателей».

Такова, по словам Чехова, «неколоритная» жизнь публики, предпочитавшей и «неколоритного» певца своего быта, своих чувств, вялых, однообразных, скучных. Чехов сравнил подобные сочинения с холодной, давно жареной, неаппетитной рыбой в буфете III класса. Но ее едят, и «есть люди, которые находят ее вкусной».

Чехов давно знал уже петербургский литературный мир, избегал его. Но с Баранцевичем встречался охотно и жалел его, прикованного, как каторжный к тачке, к своей нелюбимой службе и безрадостному сочинительству. Жалел и брата, невольно отмечая, во что превратилась его журналистская и литературная работа. Александр и сам не скрывал этого. 19 октября 1895 года он признался: «Милый Антошенька! <…> Послал я тебе на Лопасню второе издание своих „Святочных рассказов“ бандеролью. <…> Работаю много, но всё, что пишу, мне ужасно не нравится. Рву массу исписанного. Часто не досыпаю. Нервы расстроились. Поймал себя неожиданно на том, что мне одному вдруг стало страшно в комнате, страшно неизвестно чего и отчего. <…>Писанье вообще, самый процесс до того мне осточертел и опротивел и в голове так пусто, а душу „убивает такой индифферентизм“, что просто жаль становится прежней жизнерадостности, которая иногда ощущалась. Интересно, бывают ли у тебя жизнерадостные моменты, этакие беспричинные? <…> Пишу глупый роман <…>. Надо поспеть к Рождеству, а я сижу только на 2-м листе. <…> Старюсь здорово и быстро. Твой Гусев».

В следующем письме Александр Павлович прислал вырезку из газеты с коротким сообщением, кто является любимым автором у читателей одного из провинциальных российских городов. На первом месте Ф. Шпильгаген, чрезвычайно популярный немецкий романист минувших десятилетий, еще читаемый в 1890-е годы, автор романа «Загадочные натуры». В

1883 году Чехов опубликовал в «Осколках» рассказ «Загадочная натура», пародию на героев Шпильгагена, на расхожие беллетристические штампы, на вкусы публики и ее представления о литературном труде. Он перечислил их. Точнее, их перечислила, как свои чувства, убеждения, мысли, «хорошенькая дамочка», полулежавшая на дорожном диване, обитом малиновым бархатом. Она «исповедовалась» перед попутчиком, «начинающим писателем», сочинявшим «новэллы»: «Я страдалица во вкусе Достоевского»; «дух времени и среды»; «нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества»; «ошибки молодости»; «борьба со средой»; «слава… шум, блеск»; «самопожертвование, самоотречение»; «подруга, помощница, носительница идеалов».

Прошли годы, но Шпильгаген по популярности обогнал в захолустном городе и Толстого, и Тургенева, и Достоевского. На его сочинения было 420 требований! Из молодых литераторов провинциальная публика предпочитала Потапенко. Некоторые критики могли говорить, что в нескольких томах его сочинений меньше психологического содержания, чем в одном удачном рассказе Гаршина, Чехова, Короленко. Но читатели устанавливали свою иерархию. Потапенко писал о том, о чем говорили, спорили, что было злобой дня и занимало читающего русского обывателя. Он давал ответы даже названиями своих рассказов, повестей и романов — «Здравые понятия», «Любовь», «Звезда», «Семейная история», «Земля», «Генеральская дочь», «Крылатое слово», «Не герой».

Одни критики продолжали противопоставлять Чехова и Потапенко, у которого находили «идеального героя». Другие сожалели, что Боборыкин и Потапенко «первенствуют» в современной литературе, ничем не обогащая ее. Однако Чехова всё чаще отделяли от «модных» литераторов. В том числе, как написал один из критиков, и от «уличного» Потапенко, о котором говорили, что он «льстит интеллигентной толпе». Внутри критической «табели» началось перемещение. Потапенко отводили уже место в конце списка. Но читатели, особенно в провинции, по-прежнему его предпочитали многим и многим. И только еще — в массе своей — вчитывались в прозу Чехова.

Зато любили водевили Чехова. Они заполонили русскую сцену. Казалось, не было города, где бы не значились в афише «Предложение», «Медведь», «Юбилей». По числу постановок они не уступали популярным пьесам самых плодовитых драматургов, сочинениям Сумбатова (Южина), Тарновского, Шпажинского. Копеечные отчисления складывались в рубли. Чехов шутил, что водевили «кормят» его. К этой «славе» он относился иронически. И даже, может быть, досадовал, что оставался в глазах зрителей

всего лишь автором водевилей. «Иванов» и «Леший» шли очень редко. Чехов знал об этом.

Правда, к этому времени он вообще «оравнодушел» к своему успеху и неуспеху. Видимо, поэтому никак не откликнулся на присланную братом газетную вырезку. А по поводу его обид — Лейкин вычеркнул в газетной заметке имя Александра Павловича из списка участников обеда литераторов; Ясинский прошелся в фельетоне насчет «двойников» («Лев Толстой великий и Лев Толстой маленький», «Чехов Антон и Чехов Александр») — ответил: «Вообще всякие антикритики, обидчивые письма и напоминания о литературных приличиях надо предоставить Кугелю. <…> Интересно, что как только о тебе стали поговаривать там и сям, ты уж стал нервничать. Genus irritabile vatum![11] — сказал Гораций».

И перешел к домашним новостям и делам: «Миша получил перевод в Ярославль. Иван представлен к медали на шее, чего и тебе желаю».

* * *

Весь этот год Чехова одолевали просьбами со всех сторон. Кундасова просила похлопотать перед Сувориным и Сытиным о пополнении библиотеки в земской психиатрической больнице и народной библиотеки. Каратыгина умоляла слезно устроить ее в новый Суворинский театр, так как устала странствовать по провинции: «Суворин Вас обожает и всё сделает. <…> Милый, хороший, действуйте». Левитан просил помочь с изданием пьесы его знакомого. Толстой, во время визита Чехова в Ясную Поляну, попросил принять участие в судьбе слепого странника, пришедшего в тот день в Ясную Поляну за милостыней. Горбунов ходатайствовал о вдове литератора Астырева — просил найти ей место заведующей родильным приютом и пристроить остаток книг ее покойного мужа в книжный магазин Суворина. Киселев хлопотал через Чехова об издании сборника рассказов своей жены. Назойливый литератор Тищенко, за которого просили осенью прошлого года Линтваревы, теперь посылал Чехову свои рукописи. Да еще указывал, куда их потом направить, а еще хорошо бы найти ему место. Просил этот беспокойный человек, как все прилипчивые, самолюбивые люди, не сомневаясь в своем праве обременять собой всех вокруг и уверенный в своих литературных способностях: «Вы маг и волшебник. Вы что захотите, то и сделаете. <…> Между нами так много общего: Вы пишете, и я пишу. Разница только в том, что Вы печатаетесь, а я

нет. <…> Антон Павлович, помогите».

За кого-то Чехов хлопотал охотно. Иногда просто уступал настойчивому напору просителя. Многим помогал из сочувствия, хотя видел, что человек неустроен в силу своей глупости, безволия, пристрастия к алкоголю, из-за какого-то сбоя в психике. Были просьбы, которые Чехов воспринимал как долг, как личное дело, исполнял неукоснительно и упорно. Одна из них в 1895 году — спасение «Хирургической летописи».

Хороший нужный журнал издавался с убытками. Долг покрывал один из двух редакторов, хирург Н. В. Склифосовский, но его ресурсы истощились. Второй редактор, хирург П. И. Дьяконов, спасал журнал, как мог, искал средства. Чехов взялся помочь, бросился к издателям и вроде бы получил согласие Сытина. Обрадовался — и вдруг узнал, что издатель изменил свое решение.

Дело было не в отказе, не он оскорбил Чехова, но поведение Сытина. Черновик объяснительного письма Чехов написал с таким же гневом, как в 1890 году письмо Лаврову: «Эти длинные переговоры, признаюсь, поставили меня в глупое и смешное положение, в каком я никогда не бывал раньше. <…> Вы отнеслись на словах к предложению моему сочувственно <…> я <…> всюду трезвонил, что журнал устроен, поздравлял хирургов, все меня благодарили, и я принимал благодарности. <…> Но вы почему-то предпочли отказывать и обещать в одно и то же время, и притом обещать мне, а отказывать Д[ьяконову]. Для чего? Простите, всё это мне непонятно. Конечно <…> журнал будет устроен, но забыть того, что я пережил благодаря Вам, я уже не могу. Убедительно Вас прошу больше ничего не писать Д[ьяконову] и прекратить переговоры».

Неизвестно, послал ли Чехов переписанное письмо Сытину. Но дальнейшие переговоры осенью 1895 года он повел с Сувориным, обрисовав свою роль «маклера-неудачника»: «Узнав, что журнал погибает <…> я усердно искал, просил, унижался, ездил, обедал чёрт знает с кем, но никого не нашел. <…> Если бы не постройка школы, которая возьмет у меня тысячи полторы, то я сам взялся бы издавать журнал за свои деньги — до такой степени мне больно и трудно мириться с явной нелепостью. <…> Чтобы спасти журнал, я готов идти к кому угодно и стоять в чьей угодно передней <…> ибо спасти хороший хирургический журнал так же полезно, как сделать 20 000 удачных операций».

Суворин тут же выслал 1500 рублей и посоветовал обратиться к министру финансов Витте за субсидией. Алексей Сергеевич в таких случаях не раздумывал долго и помогал бескорыстно. Чехов возликовал и обещал вернуть, рано или

поздно, одолженную сумму. Сытин, узнав об участии в этом деле издателя-соперника, тут же согласился сам издавать «Хирургическую летопись». Но потом опять то соглашался, то отказывался, то менял условия с выгодой для себя. Вел себя так, как вели обыкновенно удачливые предприниматели. Особенно с такими наивными в этих делах людьми, как профессор Дьяконов, с такими людьми, как Чехов, нетерпимыми, когда речь шла о невыполненном обещании, лукавстве, скрытых расчетах.

О какой новой школе Чехов писал Суворину? И как же «странная» пьеса, давно упомянутая и, видимо, отодвинутая летними поездками к Левитану и Толстому, а потом длительными головными болями?

Имелась в виду школа в селе Талеж, где Чехов состоял попечителем. Он уже успел купить для школы новые парты, отдал на школьные нужды 100 рублей, помогал материально учителю. Но с самого начала своего попечительства Чехов задумал то, о чем теперь написал Суворину: «<…> весною я буду строить новую школу в селе, где попечительствую; загодя нужно составить план, сметы, съездить то туда, то сюда и проч.».

«Туда-сюда» — означало взять на себя все хлопоты с постройкой. Порядок был такой. Крестьяне нескольких деревень собирались на сход и договаривались, что согласны на строительство нового здания школы в таком-то селе или деревне. И просили у губернского земства 500 рублей безвозвратного пособия и 500 рублей беспроцентной ссуды. С обязательством выплатить ссуду в течение десяти лет под поручительство уездного земства. К тому же крестьяне соглашались в дальнейшем делать ремонт и содержать сторожа. В конце приговора указывалось, кого крестьяне избрали «строителем» школы.

Это ходатайство, план школы, смета рассматривались уездной земской управой. В случае одобрения уездным земским собранием документы направлялись в губернскую управу. Если губернское собрание давало согласие, то выделялась сумма в тысячу рублей. На оформление бумаг, то есть на разрешение, уходило более года. Чехову в этих бумажных делах, в их прохождении через управы помогал сосед, князь Сергей Иванович Шаховской, потомок знаменитого рода, в его ветви сильно оскудевшего. Господский дом в селе Васькине и земля находились во владении нескольких наследников, уже продававших землю В. Н. Семенковичу, инженеру-механику, племяннику поэта Фета, человеку совсем иного склада, чем Шаховской. Князь был умен, доброжелателен, энергичен, громогласен. Хозяйством он не занимался и рвался к полезной общественной деятельности, в

члены уездной земской управы. Надеялся противостоять «партии» местных помещиков, охранявших только свои интересы.

Сколько стоило строительство нового здания школы на самом деле? От полутора до трех тысяч. Чехов вложил в нее около трех тысяч рублей и свой большой труд, так как подрядчиков на такой стройке не полагалось. Все расчеты и отчетность избранный «строитель» вел сам с помощью учителя Михайлова. Письма и записки учителя к Чехову — это хроника стройки и летопись жизни земского служащего: «Крестьяне и староста не могут без Вас отмерить земли под постройку училища»; — «Покорнейше прошу Вас, будьте так добры, пришлите мне сегодня сена»; — «Крестьяне <…> для школы дают ту землю, на которой растет кустарник»; — «Завтра утром каменщики хотят класть фундамент, а потому прошу Вас сообщить о том, какой высоты его делать»; — «Кирпич нужен для столбов <…> всего <…> 2000, а для печей я не знаю, сколько нужно <…> прошу сообщить, откуда брать кирпич. Плотникам скоро нужен будет решетник, а потому прошу Вас сообщить, где его будете покупать и когда возить»; — «Антон Павлович, будьте так добры, пришлите конвертов, почтовой бумаги и бумаги для записок»; — «Белила, медянка и 29 ф[унтов] олифы получены, но разводить краски нельзя, так как Роман не дает всего масла. <… > Жду Вашего распоряжения и приказания Роману не удерживать краски».

Бревна, кирпич, белила, доски, клеенка для дверей, гвозди, стекла, пакля, расчеты с землекопами, плотниками, печниками… И все это при противодействии части мужиков, которые считали школу ненужной затеей. Они отказывались перевозить лес и кирпич, шумели на сходах, что «господам» делать нечего, что у мелиховского «барина» есть свои лошади и подводы, пусть на них и возят. Мужики подворовывали на стройке лес, кирпич, тёс, вообще всё, что плохо лежало. Учитель сторожил, как мог, укорял, совестил, стыдил…

Вот в эту заботу Чехов впрягся осенью 1895 года, упомянув о ней в письме Суворину от 21 октября, и тут же назвал еще одно свое важное дело: «Во-вторых, можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу тоже, вероятно, не раньше как в конце ноября. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви».

Итак, через шесть лет после того, как со скандалом «сошла» со сцены театра Абрамовой пьеса «Леший», Чехов вернулся к драматургии. По стечению обстоятельств в ту же осень князь

Урусов, все эти годы уверявший автора и своих знакомых, что «Леший» замечательная пьеса, написал Чехову. Исполняя просьбу Волынского, он умолял отдать «несправедливо нелюбимое детище» в журнал «Северный вестник»: «Я его хвалю всем, и все им интересуются»; — «Я всем проповедую поэтическое достоинство пьесы, к которой никто не относится так строго и несправедливо, как Вы».

Упрямый автор уклонился от вопроса насчет печатания, хотя обозначил судьбу злосчастной пьесы: «Я добуду „Лешего“, прочту и тогда пришлю Вам настоящий ответ. Кстати сказать, вчера я кончил новую пьесу, которая носит птичье название: „Чайка“. Комедия в 4-х действиях».

«Чайка» потребовала, судя по письмам, огромного напряжения. Чехов жаловался на головную боль. Говорил, что не может работать ни над чем другим, а ему к тому же мешают. Упоминание в одном письме одновременно странных пьес Метерлинка и пьес Сумбатова, написанных по общепринятым «правилам», тоже, казалось, обнаруживало, что Чехов гнул свою линию. И давним советам Немировича и «запретам» Ленского не внял.

В его корреспонденции этих лет еще мало писем от молодых читателей, если это только не просьба прислать фото или книгу. Но он будто слышал споры и размышления молодых современников о Метерлинке, о декадентах.

Осенью 1895 года, когда Чехов завершал «Чайку», молодой Иван Бунин писал своему тезке, поэту И. А. Белоусову: «Пусть мы маленькие люди, пусть мы только немного приобщены к искусству — всё равно! Во всякой идее, во всяком идейном деле дорого прежде всего даже не выполнение его, а искание этой идеи, любовь к ней!»

В это же время в переписке подруг, Марии Станюкович, дочери известного литератора, и ее петербургской приятельницы воодушевленно обсуждались стихи К. Д. Бальмонта, статья Буренина против молодых современных авторов, высказывания Толстого о декадентах. Столичная барышня подробно, живо рассказывала о спорах в кружке К. К. Арсеньева, уже немолодого юриста, известного литературного критика. Там читали рефераты, а в обсуждении участвовали Вл. Соловьев, Кони, Боборыкин, профессура. В центре полемики часто оказывались сочинения молодых «странных» литераторов. Свой рассказ она закончила словами: «Да и вообще в Петербурге заинтересованы личностью Бальмонта».

Это была, почти слово в слово, реплика из никому еще неведомой пьесы «Чайка». Популярный литератор Тригорин

обращался к молодому автору «странной» пьесы и «странных» рассказов: «Вам шлют поклон ваши почитатели… В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами, и меня все спрашивают про вас». Баранцевич вспоминал впоследствии один из разговоров с Чеховым на Луке в 1888 году. Речь зашла о декадентах. Чехов пошутил: «А что вы думаете? Вот увидите, они завоюют у нас полные права гражданства. Сперва их будут бранить и мало читать, потом перестанут бранить, начнут читать и морщиться. А затем уже станут читать, хвалить и даже восторгаться. А мы к тому времени насмарку и даже гонорары нам понизят!»

Гуревич назвала эти годы эпохой «переоценки ценностей»: «Слова „декадентство“ и „символизм“ уже носились в воздухе <…> интерес к новым литературным течениям уже жил в обществе в то время, когда только нарождалась наша русская молодая литература. И не литераторы, а отдельные „люди из общества“, по тем или другим мотивам следившие за иностранной литературой, доставили нам в 1893–94 гг. первые переводы Метерлинка, Гауптмана, Д'Аннунцио и некоторых других современных европейцев».

В декабре 1895 года в гостиницу, где останавливался Чехов, пришли Бунин и Бальмонт. Бунин запомнил свое первое впечатление от Чехова: «В Москве, в девяносто пятом году, я увидел человека средних лет, в пенсне, одетого просто и приятно, довольно высокого, очень стройного и очень легкого в движениях. Встретил он меня приветливо, но так просто, что я, — тогда еще юноша, не привыкший к такому тону при первых встречах, — принял эту благородную простоту за холодность».

На оттиске своего очерка «На хуторе» Бунин сделал надпись: «Антону Павловичу Чехову в знак глубокого уважения и искреннего сердечного расположения». Бальмонт, этот, по словам одного из тогдашних критиков, «рыцарь лунного света», подарил свою книгу «Под северным небом. Элегии, стансы, сонеты» с дарственной надписью: «Дорогому писателю Антону Павловичу Чехову, от глубоко преданного ему К. Бальмонта». В сборнике было стихотворение «Чайка»: «Чайка, серая чайка с печальными криками носится над холодной пучиной морской…»

Бунин запомнил случайный разговор во время одной из первых мимолетных встреч:

«— Вы много пишете? — спросил он меня однажды. Я ответил, что мало.

— Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким грудным баритоном.

— Нужно, знаете, работать… Не покладая рук… всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

— По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем…»

Десять лет назад Григорович убеждал Чехова бросить срочную работу, уважать свой талант. Его напутствовали и поддерживали в начале пути «старики» — в жизни и в литературе. Теперь он сам, тридцати пяти лет от роду, казался новому поколению литераторов старшим современником. Хотя разница между Чеховым и Буниным была десять лет, а с Бальмонтом и того меньше.

Григорович, Суворин, Саблин, Плещеев говорили, что молодели в обществе Чехова. Молодые литераторы признавались, что встречи с Чеховым поднимали настроение. Вероятно, у него было свое, особое ощущение собственного возраста. Даже в молодости он казался мудрее сверстников. Может быть, поэтому с ним чувствовали себя легко и просто люди старше его. И вместе с тем время не притупляло в нем острого живого восприятия мира. Болезнь подтачивала физически, но пока не утомила душевно. И он еще не говорил, что отстал от жизни или опаздывает, не успевает за нею.

Молодые литераторы, появившиеся в его окружении, не ощущали Чехова «старым писателем», ментором, мэтром. Никто из них не сказал о нем слов, близких по смыслу тем, что говорил в «Чайке» Треплев о Тригорине: «Сорок лет будет ему еще нескоро, но он уже знаменит и сыт, сыт по горло».

Чехову оставалось до сорока всего пять лет. Но ни «сытым», ни пресыщенным он себя не чувствовал и не казался таковым даже своим недоброжелателям. Может быть, поэтому в том числе он сразу и навсегда заинтересовал Бунина, который до конца жизни надеялся разгадать Чехова, его обостренное ощущение времени в себе и вовне, его самостоянье.

Советуя Суворину поставить Метерлинка, имел ли Чехов в виду отдать ему «Чайку»? Суворин давно составлял репертуар. Ему мерещился театр, где ставились бы зарубежные новинки, появлялись начинающие русские драматурги, новаторская драма, пьесы, отвергнутые казенной сценой.

В 1895 году, уже не в любительском, а постоянном театре Литературно-артистического кружка (в Суворинском театре), шли «Гроза», которой театр открылся 17 сентября, «Власть тьмы» Толстого, «Нора» Ибсена, «Ганнеле» Гауптмана, «Нахлебник» Тургенева, «Чужие» Потапенко, «Родина» Зудермана, «Женитьба» Гоголя, «Тайны души» Метерлинка и среди прочих одноактных пьес «Медведь» Чехова. Суворин хотел включить «Иванова». Однако Чехов воспротивился. Снова, снова и снова советовал: «Я бы ставил декадентские пьесы…»

Хозяин нового частного театра требовал давать каждую неделю новинку, посему заявленная программа сразу нарушилась. Старые пьесы смешались со свежеиспеченными, не самыми интересными. Суворин не смог отказать своей приятельнице Смирновой и включил в репертуар ее пьесу «Муравейник», потом драмы Буренина, Бежецкого, переделки В. А. Крылова, свои собственные комедии и шутки. Происходило то, о чем в переписке Чехова и Суворина шел давний спор.

В своих нововременских «письмах» Суворин не однажды упоминал современные пьесы, которые видел за границей, рассуждал о состоянии театра. В ноябре 1895 года он иронизировал, что публика, даже интеллигентная, ценит драматургов-классиков, но предпочитает на сцене «кокотку, грудь в корсете и без корсета»: «Публика станет всё то слушать и смотреть, что ее забавляет и развлекает, что ново, интересно, пикантно, отрицательно, нравоописательно и т. д., не спрашивая, чье это и какой художественной чеканки. Печать следует за этой толпой со своей рекламой, со своим скороспелым, пристрастным, угодливым отчетом».

Это суждение о «груди без корсета» и об услужливой театральной критике Суворин словно не относил к своему театру и своей газете. Между тем репертуар все более потакал вкусам публики. Время работы над «Чайкой», судя по письмам, стало переломным в давнем разговоре Чехова и Суворина о буржуазном писателе и буржуазном читателе, зрителе, о «модном» искусстве.

Чехов высказался на этот счет еще в 1889 году в связи с появлением русского перевода романа Поля Бурже «Ученик». Роман, написанный в преддверии 1900-х годов, «прекрасной эпохи» в истории Франции, имел шумный успех на родине. Не совсем обычен был герой: Сикст — ученый, дотоле атеист, признавал «непознаваемую тайну судьбы» сильнее науки. Чехов заметил тогда по поводу якобы растлевающего влияния научного знания на человека и потому о якобы благотворном предпочтении ему религиозной морали: «Попы ссылаются на неверие, разврат и проч. Неверия нет. Во что-нибудь да верят <…>. Что же касается разврата, то за утонченных развратников, блудников и пьяниц слывут не Сикусты и не Менделеевы, а поэты, аббаты и особы, исправно посещающие посольские церкви».

В том настроении, в каком Чехов находился перед сахалинской поездкой, роман Бурже задел его, судя по письмам, тем же, чем раздражала уже тогда толстовская мораль. В декабре 1889 года Чехов объединил двух писателей — чей талант он признавал, а Толстого высоко ставил, — в своем размышлении о разрушающем влиянии пресыщенного искусства. Возвращаясь к

разговору, который продолжался в течение всего 1889 года, Чехов написал Суворину 27 декабря: «Когда я в одном из своих последних писем писал Вам о Бурже и Толстом, то меньше всего думал <…> о том, что писатель должен изображать одни только тихие радости. Я хотел только сказать, что современные лучшие писатели, которых я люблю, служат злу, так как разрушают. Одни из них, как Толстой, говорят: „не употребляй женщин, потому что у них бели; жена противна, потому что у нее пахнет изо рта; жизнь — это сплошное лицемерие и обман, так как человек по утрам ставит себе клистир, а перед смертью с трудом сидит на судне, причем видит свои исхудалые ляжки“.

Другие же, еще не импотенты, не пресыщенные телом, но уже пресыщенные духом, изощряют свою фантазию до зеленых чёртиков и <…> компрометируют в глазах толпы науку <…> и третируют с высоты писательского величия совесть, свободу, любовь, честь, нравственность, вселяя в толпу уверенность, что всё это, что сдерживает в ней зверя и отличает ее от собаки и что добыто путем вековой борьбы с природою, легко может быть дискредитировано „опытами“, если не теперь, то в будущем».

Разговор с Суворинym о Бурже, об опасных литературных «опытах», об «игре в литературу», пробуждающей в человеке низменное, животное, был более чем серьезен. Резкий, этот спор относился не только к французскому романисту — не только к «пресыщенным духом», но и к Суворину, к самому Чехову. Казалось, все минувшие годы Чехов опасался чего-то, схожего с умственным и душевным пресыщением. Страшился, может быть, сильнее, чем показаться читателям скучным, неинтересным.

В 1892 году В. Тихонов начал свое письмо Чехову с семейной зарисовки: «Сейчас моя жена окончила читать Вашу „Дуэль“… Сидит она теперь за чайным столом, сидит и молчит, а я вижу, что она меня презирает… — Хорошо? — спрашиваю я. — Ах, оставь, пожалуйста, ничего, говорит, ты не понимаешь! Скажи, пожалуйста, говорит, ну зачем ты пишешь? (А я только было собрался рассказец настрочить.) Зачем, говорит, все вы пишете? — Как, говорю, матушка, зачем? Для литературы, т. е. чтобы литературу наполнять. Если бы мы, говорю, не писали, что бы ты стала читать, когда у тебя зубы болят? — Чехова, говорит, стала бы читать! <…> Чехов, говорит, не вам чета. Он-то пусть пишет; он должен, непременно должен писать, потому что он *настоящий*; а вы, говорит, только лишнюю копоть разводите. <…> через ваше бумагомаранье до него насилу доберешься. <…> Ну, говорит, пиши свой рассказ, а я спать пойду… В лоб меня поцеловала, а я вижу, что презирает. А разве я виноват, что не могу писать так, как пишет Чехов?»

Чехов говорил о некоторых литераторах — «настоящий». Он вкладывал в это слово определенный смысл: «настоящий», то есть желающий писать и одаренный чувством жанра («настоящий драматург»; «настоящий прозаик», «настоящий пейзажист»), Чаще всего так Чехов говорил, имея в виду вероятное развитие таланта.

Вл. И. Немирович запомнил слова Чехова о П. П. Гнедиче: «Это же настоящий писатель. Он не может не писать. В какие условия его ни поставь, он будет писать — повесть, рассказ, комедию, собрание анекдотов. Он женился на богатой, у него нет нужды в заработке, а он пишет еще больше. Когда нет темы сочинять, он переводит». Однажды на заданный ему вопрос: «А что бы вы стали делать, если бы вдруг очень разбогатели?» — Чехов ответил, что продолжал бы писать рассказы.

Немирович вынес из разговоров с Чеховым впечатление, что тот не очень много читал, «не запойно, и почти только беллетристику». На самом деле Чехов читал всегда специальную медицинскую литературу, журнал «Врач». Очень внимательно просматривал журнал «Вестник иностранной литературы», почти все «толстые» российские журналы, многое перечитывал. Однажды сказал, что чтение — это «местечко», куда он может «спрятаться от скуки». Судя по откликам на пьесы, романы, повести русских и зарубежных литераторов, за этой «скукой» прятался живейший интерес к современной литературе.

Особенно к той, в которой Чехов улавливал что-то новое. И к «модной», которая, как, например, сочинения Шпильгагена и Потапенко, пользовалась широким спросом.

Весной 1895 года Чехов прочел роман Генрика Сенкевича «Семья Поланецких». В эти годы польский писатель был чрезвычайно популярен в Европе и России. О его романе Толстой написал жене в октябре 1894 года, что прочел «с большим удовольствием» и нашел Сенкевича «прекрасным, благородным, умным». Чехов, не ведая того, разошелся с Толстым в оценке этого романа: «Это польская творожная пасха с шафраном. Если к Полю Бурже прибавить Потапенку, попрыскать варшавским одеколоном и разделить на два, то получится Сенкевич. <…> тут и катакомбы <…> и клевета на декадента, который умирает от морфинизма, поисповедавшись и причастившись, т. е. раскаявшись в своих заблуждениях во имя церкви. Семейного счастья и рассуждений о любви напущена чёртова пропасть <…> что становится в конце концов приторно и неловко, как после слюнявого поцелуя». Казалось, в этом отзыве выплескивалось недовольство не одним только польским романистом, «щеголявшим», по выражению Чехова, «перед буржуазным читателем своею образованностью»: «Цель романа: убаюкать

буржуазию в ее золотых снах. Будь верен жене, молись с ней по молитвеннику, наживай деньги, люби спорт — и твое дело в шляпе и на том и на этом свете».

Речь уже, вероятно, шла не о Сенкевиче, но о литераторах, хорошо знавших, о чем и как надо писать, чтобы публика сказала что-нибудь вроде «мило, талантливо» и забыла на следующий день. А главное, чтобы прочитанное не раздражало, не беспокоило: «Буржуазия очень любит так называемые „положительные“ типы и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым». Эту публику Чехов уже обрисовал в том письме летом 1894 года, в котором говорил о читателях Баранцевича: «… чистая публика, ездящая в III классе». Она не замечает фальши в сочинениях своих любимых авторов. А они, по мнению Чехова, «не могут быть не фальшивы»: «Это усовершенствованные бульварные писатели. Бульварные грешат вместе со своей публикой, а буржуазные лицемерят с ней вместе и льстят ее узенькой добродетели».

Апрельское письмо о романе «Семья Поланецких», где каждая страница, по его словам, «пестрела» Рубенсами, Боргезе, Корреджо, Боттичелли, Чехов продолжил вдруг тем самым казусом деревенской жизни: о пьяном мужике и его дряхлой матери, гнавшей сына палкой. Можно подумать, что подступала повесть из деревенской жизни, что она уже сложилась в сознании и Чехов вот-вот начнет ее писать.

Однако прямо или косвенно Чехов всю весну 1895 года говорил о пьесе, о драматургии. Всё выдавало, что он или уже писал, или вот-вот приступит к работе над пьесой. С 1889 года, со времени «Скучной истории» и «Лешего», длился, уходя в тень или становясь главной темой переписки Чехова, разговор о литературе, как средоточии и «зеркале» жизни. И вдруг он продолжился в «Чайке», в которой, по словам автора, «много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви». Словно для тех сюжетов, что теснились в его голове, автору нужно было что-то «сфокусировать» в своем слове, в интонации, чтобы обновить их. Видимо, Чехов начал писать пьесу до поездки в Ясную Поляну, а головные боли прервали работу. В октябре уже, вероятно, завершал. И для этого уехал в Москву. Но и тут ему мешали: «Пьеса моя растет, но медленно». Чехов иногда уподоблял сочинительство взращиванию. Так же порой говорил о росте таланта. Осенью 1895 года написал Вл. И. Немировичу: «Знание жизни у вас громадное и, повторяю (я это говорил когда-то раньше), Вы становитесь всё лучше и лучше, и точно каждый

год к Вашему таланту прибавляется по новому этажу».

В ноябре 1895 года Чехов уже знал название своей пьесы. Он хотел увидеть ее на сцене московского Малого театра. И уже нервничал: «Должно быть, от пьесы перебои мои участились, я поздно засыпаю и вообще чувствую себя скверно <…>» И, как всегда, заговорил, что неудовлетворен (кажется, он дотоле ни разу не похвалил себя ни за что написанное им): «Вышло не ахти. Вообще говоря, я драматург неважный». Но по некоторым признакам, по оговоркам недовольство «Чайкой» было иным, чем ранее, после «Иванова» или после повестей: «Начал ее forte и кончил pianissimo — вопреки всем правилам драматического искусства. Вышла повесть. Я более недоволен, чем доволен, и, читая свою новорожденную пьесу, еще раз убеждаюсь, что я совсем не драматург».

Уже о «Лешем» говорили как о «повести», ставили в упрек. Значит, Чехов продолжал настаивать на своем, то есть писал, как ему виделось, как хотелось. И, видимо, отдавал отчет, чем всё это может окончиться. В нем нарастала тревога. Она выказывалась в волнениях из-за машинистки, медленно печатавшей «Чайку». Он даже хотел забрать рукопись и послать ее Суворину для чтения. Но все-таки удержался. Однако не мог скрыть своего состояния.

Не страх, не паника, а будто непонятно к кому обращенная просьба уберечь от самого плохого: «У меня болит голова. Если бы в монастыри принимали не религиозных людей и если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи. Надоело канителить». Спрятаться за монастырскими стенами ото всех, ото всего?

Оборотной стороной серьезного этого желания выглядела странная шутка о женитьбе: «Мне надо бы купаться и жениться. Я боюсь жены и семейных порядков, которые стеснят меня и в представлении как-то не вяжутся с моею беспорядочностью, но всё же это лучше, чем болтаться в море житейском и штормовать в утлой ладье распутства. Да уже я и не люблю любовниц и по отношению к ним мало-помалу становлюсь импотентом». Казалось, будто Чехов вспомнил то, о чем написал родным по дороге на Сахалин: до 35 лет «попробовать личной жизни», а потом приняться за что-то серьезное. И теперь подвел черту под этим сроком, оставляя в прошлом «вакхическое настроение», былые увлечения. Где они, к кому он был сердечно расположен?

Лика? 8 ноября 1894 года она родила девочку, назвала Христиной. Весной 1895 года приехала в Россию, но без дочери. Бабушка ждала ее в Покровском. Никто из обитателей имения не знал о ребенке, девочку привезли лишь осенью. В том году Смирнова записала в дневнике со слов Суворина: «У Чехова был

роман с девицей Мизиновой. Он хотел жениться, но должно быть не сильно, потому что Суворин отговорил его. Потом с этой девицей сошелся Потапенко и оставил ее». Так под пером петербургской добродетельной дамы личная драма превратилась в банальный житейский анекдот.

Наталья Линтварева? Она приезжала в Мелихово один раз, на два дня. Имя ее в чеховских письмах уходящего года не упоминалось.

Слова о женитьбе, видимо, были вариацией на тему «рябой бабы». Этим образом, возникшем как-то в разговоре с В. Тихоновым, Чехов передавал однообразное, рутинное, скучное, надоевшее, затягивающее как болото, течение жизни, которое надо прервать. Советовал жениться на «рябой бабе», непременно крикливой, визгливой и бьющей мужа. Но когда и с нею будет скучно, то есть скучно со всем, чем человек снимает свою «мерлехлюндию» (алкоголь, женщины и другие возбудители), то пиши пропало. Так что любая «рябая баба», что бы ни подразумевало это выражение, — средство радикальное, но ненадежное, недолговечное, а главное, мешающее работать. Снять им скуку и тоску можно, но лишь на время, потом станет еще хуже.

Именно об этом с усмешкой писал Чехов в феврале 1895 года, передавая свое настроение накануне работы над «Чайкой»: «И теперь вот, то лежу, то брожу и не знаю, что делать со своей особой. Лечиться же нечем. По-прежнему всюду преследует меня звон и по-прежнему мне никто никогда не дарит ни подушек, ни брелок, ни галстуков. Вероятно, и не женат я до сих пор только по той причине, что жены имеют привычку дарить мужьям туфли. Но жениться и я не прочь, хотя бы на рябой вдове. Становится скучно».

«Рябая баба», как уподобление, как метафора, сродни той «грубой материи», из которой, по ироническому замечанию Чехова, сшиты «подштанники нашей жизни». И чем эта материя грубее, тем сильнее тоска по душевному спокойствию.

Может быть, чтобы одолеть свое состояние после завершения «Чайки», Чехов прибег не к невозможным средствам (шутки о женитьбе, разговор о монашестве), а к своему главному «лекарству», о чем написал Шавровой 26 ноября 1895 года: «Теперь пишу маленький рассказ: „Моя невеста“. У меня когда-то была невеста… Мою невесту звали так: „Мисюсь“. Я ее очень любил. Об этом я пишу». Работал, видимо, и в Москве, успокаивая нервы от перипетий с печатанием пьесы: «Сегодня св. Николая, в Москве малиновый звон. Я встал рано, зажег свечи и сел писать. А на дворе звонили, было приятно».

7 декабря Чехов послал один из отпечатанных экземпляров новой пьесы Суворину, оговорив еще до этого, чтобы тот никому не давал ее читать в Петербурге. Но в Москве согласился прочесть в гостиной у Яворской, в компании московских приятелей из артистического и литературного круга. Хотя до этого избегал таких широких чтений. Однако на сей раз изменил своим правилам.

Глава восьмая. ЛЮБИЛ ЛИ ЧЕХОВ ТЕАТР?

Суворин не исполнил просьбы Чехова и передал пьесу Смирновой. Она записала в дневнике 21 декабря 1895 года: «Прочла чеховскую „Чайку“. Удручающее впечатление. В литературе только Чехов, в музыке Шопен производят на меня такое впечатление. Точно камень на душе, дышать нечем. Это что-то беспросветное. После такой „комедии“ надо смотреть что-нибудь до глупости веселое».

Каково было впечатление самого Суворина? Как мог он воспринять сюжет о молодом самоубийце Треплеве? О юноше, не нужном матери, успешной провинциальной актрисе Арка-диной, занятой собой и своим любовником, известным беллетристом Тригориным? О Треплеве, начинающем авторе, чья первая пьеса была осмеяна во время единственного представления на эстраде, «наскоро сколоченной для домашнего спектакля»?

Восемь лет назад, в мае 1887 года, Суворин записал в дневнике: «Вчера застрелился Володя. <…> Вечно один, вечно сам с собой, оставленный, полузабытый, ты ни к кому не навязывался. <…> Вчера я слушал его странную комедию — везде умно, оригинально. Из него вышел бы талант, и я опять ничего не мог и не умел сделать. <…> Зачем он это сделал? <…> Но главное — мое невнимание, главное — я. <…> Остается жалеть, только жалеть бедного юношу, который жил неразгаданным и потому неразгаданным и умер».

По письму Чехова Суворину от 13 декабря 1895 года трудно понять, написал ли Суворин что-либо о «Чайке». «Резкое», как о «Палате № 6», или нечто одобрительное, но все-таки расстроившее автора? Вероятно, Суворин все-таки высказался, потому что в очень плохом настроении Чехов говорил о себе так, как сказал в этом письме — «мне скучно». Далее он написал то же, в чем признавался Суворину в феврале, почти слово в слово: «Я не знаю, что мне делать с собственной особой, так как положительно не знаю, чем мне наполнить время от полудня до ночи». Но дело, вероятнее всего, было не в «духе праздности», а в настроении, чего он не смог скрыть, и в том, что вызвало такое

раздраженное состояние. Скрытое от домашних, от посторонних, оно прорывалось в письмах Суворину: «Что касается моей драматургии, то мне, по-видимому, суждено не быть драматургом. Не везет. Но я не унываю, ибо не перестаю писать рассказы — и в этой области чувствую себя дома, а когда пишу пьесу, то испытываю беспокойство, будто кто толкает меня в шею».

Что произошло? Либо его сильно огорчил отзыв Суворина, либо случилось еще что-то. 17 декабря Чехов писал Суворину из Москвы, ночью, в явно тяжелом настроении: «Скука адская. <…> Жду рассвета, чтобы ехать на Курский вокзал, оттуда в Мелихово спать. Я уже две ночи не спал… Пьеса моя („Чайка“) провалилась без представления. Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать ее нельзя».

За десять дней — от отсылки экземпляра пьесы в Петербург до отъезда Чехова в Мелихово — произошло несколько событий, связанных с «Чайкой». Отзыв Суворина о пьесе; чтение «Чайки» у Яворской; разговор об этой пьесе с Немировичем. Слова о «провале без представления» могли относиться ко всем этим обсуждениям, в какой бы последовательности они ни происходили. Всё повторялось, как в истории с «Лешим».

В роли «военно-полевого суда» теперь, шесть лет спустя, выступили Корш и другие гости, собравшиеся у Лидии Борисовны. Щепкина-Куперник, не остановившаяся в своих воспоминаниях на подробностях, передала главное: «Я помню то впечатление, которое пьеса произвела. Его можно сравнить с реакцией Аркадиной на пьесу Треплева: „Декадентство“… „Новые формы?“ <…> Помню спор, шум, неискреннее восхищение Лидии, удивление Корша: „Голуба, это же несценично: вы заставляете человека застрелиться за сценой и даже не даете ему поговорить перед смертью!“ и т. п. Помню я и какое-то не то смущенное, не то суровое лицо Чехова. <…> Мое впечатление тоже было смутным».

Татьяна Львовна узнала в героях пьесы общих знакомых. В Аркадиной ей почудилось что-то от Яворской, в Маше от Вари Эберле, подруги Лики. А в истории увлечения Тригорина юной Ниной Заречной, его охлаждения, рождения у Нины ребенка — что-то от романа Мизиновой и Потапенко. Суворин, видимо, тоже говорил о сходстве Тригорина и Потапенко.

В связи с «Чайкой» возникла та же ситуация, что и с «Попрыгуньей». Правда, на этот раз не последовало выяснения отношений между автором и «узнавшими» себя якобы прототипами героев. Щепкина не упомянула Мизинову среди присутствовавших на чтении. Неизвестно, отдал ли Суворин

пьесу Потапенко, о чем просил Чехов. Но известно, что в эти декабрьские дни 1895 года «Чайку» прочел Вл. И. Немирович. Высказывавший когда-то претензии к «Иванову» («черновик для превосходной пьесы»), к «Лешему» («неясная фабула»), Немирович и к «Чайке» отнесся как «мэтр», «профессионально». Он вспоминал впоследствии, что затеял долгий разговор, оказавшийся монологом:

«Не могу объяснить, почему так врезалась мне в память его фигура, когда я подробно и долго разбирал пьесу. Я сидел за письменным столом перед рукописью, а он стоял у окна, спиной ко мне, как всегда заложив руки в карманы, не обернувшись ни разу по крайней мере в течение получаса и не проронив ни одного слова. Не было ни малейшего сомнения, что он слушал меня с чрезвычайным вниманием, а в то же время как будто так же внимательно следил за чем-то, происходившим в садике перед окнами моей квартиры; иногда даже всматривался ближе к стеклу и чуть поворачивал голову. Было ли это от желания облегчить мне высказываться свободно, не стеснять меня встречными взглядами, или, наоборот, это было сохранение собственного самолюбия?»

В этой мизансцене схвачена суть встречи двух очень разных людей и драматургов. Один, как «учитель», сидел за столом.

Создатель пьес «Шиповник», «Счастливец», «Последняя воля», «Новое дело», «Золото», с успехом шедших на сцене императорских театров. С 1891 года член Театрально-литературного комитета, решавшего судьбу пьес. Известный театральный критик, педагог, деятель. Автор романов, повестей. Он рассуждал спокойно и действительно со знанием дела о сценичности, о фабуле, о «правилах».

Судя по предыдущим газетным откликам и по устным отзывам, Немирович ценил Чехова как прозаика. В 1892 году в рецензии на повесть «Дуэль» именно он проницательно заметил о критиках Чехова: «И — помяните мое слово — они так же проглядят его лучшую вещь, как проглядели зарождение его успеха и спохватились только тогда, когда он и без критики пробил себе дорогу к сердцам читателей. Если бы Чехов слушался своих рецензентов, то ему следовало бы в продолжение десяти лет не показывать свету ничего из написанного, а потом сразу поразить всех чем-нибудь вроде „Мертвых душ“». В 1894 году, откликаясь на рассказ «Бабье царство», он сулил автору «славу Мопассана».

Если Чехов говорил о возрастании дарования Немировича, то Немирович отмечал «поступательные шаги в росте писательской личности» Чехова. Словно для одного было первостепенно усилие

вверх, для другого — постепенное, неуклонное движение. В эти годы популярность Немировича сравнима с успехом у публики Боборыкина и Потапенко — столь же многопишущих, столь же быстро схватывавших «злобу дня». Итак, Немирович в течение получаса последовательно, без сомнения в дружеском тоне, разбирал достоинства и недостатки «Чайки»: «Но очень вероятно, что я давал ему много советов по части архитектоники пьесы, сценической формы. Я считался знатоком сцены и, вероятно, искренне делился с ним испробованными мною сценическими приемами. Вряд ли они были нужны ему».

Да, Чехов как раньше не послушался тех, кто советовал ему писать роман, так и теперь шел «против правил». «Ученик» был упрям, очередной «урок» оказался втуне. Раздраженный, усталый после бессонных ночей, Чехов уехал в Мелихово. Ни словом не обмолвился об «учителях» и «судьях». Однако чтение не прошло для всех бесследно. Случайно или нет, но после этого завершилось навсегда «плавание» распавшейся «эскадры». Прервалось близкое знакомство с Яворской и Коршем. Стали постепенно сходить на нет приятельские отношения с Щепкиной-Куперник. «Луврские сирены» утеряли свою эфемерную власть над «Авеланом».

* * *

В Мелихове Чехов завершал работу над рассказом «Дом с мезонином». Будто писал эпитафию «дворянским гнездам», поэтическую элегию, на первый взгляд навеянную воспоминаниями о Бабкине, Сумах, Богимове, о Линтваревых и Смагиных. О барских домах со старыми амосовскими печами, красивых липовых аллеях, выродившихся фруктовых садах, где даже иволга, «должно быть, тоже старушка». И о том мире, что за пределами этих садов, парков, барских домов. О русской деревне, где миллионы людей несколько веков жили и живут, по словам рассказчика, «хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх», не имея времени «подумать о душе, о Боге».

Казалось, в этой страшной фреске, «нарисованной» рассказчиком, художником по профессии, не красками, а словами, сгустились деревенские впечатления Чехова после переезда в Мелихово. Всё увиденное, понятое во время приема больных, разъездов по уезду в холерные годы, услышанное от коллег, земских врачей П. И. Куркина, И. Г. Витте, П. И. Яковенко.

На одном берегу широкого пруда — усадьба, крокет, лаун-

теннис, зеленый сад, сияющий от солнца и кажущийся счастливым. Все «так мило одеты и веселы». По вечерам комнаты в белом доме с террасой и мезонином освещены лампами с покойным зеленым светом.

На другом берегу — избы, кабаки, а спокойного света только что на кресте колокольни, когда его освещает заходящее солнце.

В записных книжках Чехова среди записей к «Чайке» и «Дому с мезонином» уже появились записи к повести «Мужики», где эти два «берега» на минуту сблизятся. Это эпизод в церкви: «Когда читали Евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещичьей семье; вошли две девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный, розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу: она с первого взгляда решила, что это — порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них исподлобья, угрюмо, уныло, как будто вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если б она не посторонилась».

Избы мелиховских крестьян были не на другом берегу озера, реки или огромного пруда. Но рядом, под боком. В деревне в эти годы имелись две мелочные лавки с торговлей в розницу всяческим мелким товаром; две чайные лавки и винная лавка с продажей спиртного. Мелиховское население — 46 семей, 218 человек, 90 мужчин, 128 женщин.

По данным земского статистика Куркина, товарища Чехова по земской работе, в Московской губернии за 1883–1897 годы 366 692 ребенка скончались на первом году жизни. На пять с половиной тысяч населенных пунктов (сел, деревень) в губернии приходилось шесть земских лечебных заведений, в среднем по 30 кроватей в каждом. А на одного участкового врача — свыше шестнадцати тысяч пациентов. Были еще немногочисленные фабрично-заводские, частные и благотворительные больницы. Положение с народным образованием было не лучше. Помимо немногочисленных церковно-приходских и воскресных школ, а также школ грамоты действовали земские училища. В них в основном обучались крестьянские дети. Школ недоставало. На всю Бавыкинскую волость, к которой относилось Мелихово, приходилось всего шесть училищ. Они вбирали детей из сел и деревень, иногда отстоящих от школы на несколько верст. Преодолеть этот путь пешком в осенне-весеннее бездорожье, в зимнюю стужу и темноту детям оказывалось не под силу.

Только в 1894 году в Московской губернии открылись первые народные библиотеки. Одна из них — в Серпуховском уезде. Бравурное утверждение Суворина в одном из его газетных «писем», что в России «просвещение растет и будет расти», что

«остановить его уже нельзя, а двинуть более быстрыми шагами вперед есть полная возможность», отвечало, видимо, публицистическим интересам главы «Нового времени». Но не соответствовало действительности. Уездное земство тратило на каждую из народных библиотек ничтожную сумму. Закупали сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева. Пользовались ими крестьяне, но немногие — ни времени, ни сил на чтение тяжкий крестьянский труд не оставлял.

За спором героев рассказа «Дом с мезонином» угадывалась мужицкая Россия. А в словах художника — «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. <…> Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности…» — проступало «мелиховское течение» жизни Чехова. Занятия непрофессиональных поборников мужицкой грамотности и доморощенных лекарей, таких как Лидия Волчанинова, обрисованы в рассказе двумя выразительными абзацами: «В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкап, то другой…»

Лидия, по рассказам соседа-помещика, «была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет». На всё остальное — содержание имения (кажется, в две тысячи десятин), работников, прислуги, на туалеты матери и сестры, на их заграничное путешествие — у семьи Волчаниновых были «хорошие средства», оставленные покойным главой семьи, умершим «в чине тайного советника». Так что 25 рублей Лидии — это то, что называлось, ей «на булавки», да и то мало.

Такое «торопливое», дилетантское, между прочих дел, исполнение «долга» перед народом Чехов наблюдал в Бабкине, где «лечила» крестьян милейшая Мария Владимировна Киселева. И в Сумах, где «учила хохлят» добрейшая Наталья Михайловна Линтварева. И в Мелихове, где Чехову иногда, между другими хозяйственными делами, помогала на приемном медицинском пункте аккуратнейшая Мария Павловна.

Тяжелый труд коллег Чехова, земских врачей Серпуховского уезда, оказывался бессилен перед громадой, называемой — деревенская Россия. Одни становились равнодушными. Другие

превращались в корыстолюбцев. Но многие и многие честно тянули лямку. В их формулярных, то есть послужных списках, часто причиной отставки значилось — «по расстроенному здоровью».

Выходцы из мещан, из обер-офицерских детей, они, вместе с земскими учителями, земскими статистиками, составляли как наемные земские служащие так называемый «третий элемент», в отличие от членов и гласных земской управы. В среднем земский врач получал около тысячи рублей в год. Чтобы прокормить семью, врачи искали дополнительный заработок. Российские дороги, одиночество, оторванность от больших городов утомляли физически и нравственно. Лечебная «практика» доброхотов из дворянского сословия, лечивших по популярным медицинским книжкам, часто оставалась барской забавой, зависящей от настроения и обстоятельств «лекаря».

С рассказом Чехова «Дом с мезонином» произошло после его появления нечто сходное с рассказом «Припадок», с повестью «Палата № 6». Критики и читатели спорили с автором и друг с другом в основном по одному поводу: прав или не прав рассказчик. То есть сводили спор героев и свои впечатления к теории «малых дел», «служения ближнему» и другим злободневным вопросам. Психологическая и поэтическая подоплека событий, природа мнений и споров остались незамеченными.

В 1888 году читатели упрекали Чехова в том, что припадок Васильева («Припадок») не мотивирован. Григорович тогда написал Чехову, что это обвинение «объясняется небрежностью читателя, который — как это сплошь и рядом бывает — только перелистывает книгу, следя за сюжетом и не давая себе труда вникнуть в суть дела; или же просто недостатком верного литературного чутья». Суть же дела, по словам Григоровича, не в Васильеве, а «в высоком человечном чувстве», освещающем всё повествование. В настроении, «разлитом» в рассказе. В деталях, передававших это чувство.

Среди таких счастливо выбранных Чеховым деталей и образов, передававших чувство, которое освещало всё в рассказе «Дом с мезонином», — это не раз упомянутый зеленый цвет («зеленые ивы», «зеленый сад», «зеленый огонь лампы», «зеленая озимь»). Свет лампы упомянут в финале рассказа: «Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того, ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и

мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся…

Мисюсь, где ты?»

Давний критик Чехова Скабичевский, неустанно читавший его, теперь уже не сулил Чехову как литератору печальной «подзаборной» участи из-за многописания в газетах. Правда, тогда, в 1886 году, ревнитель строгого вкуса заметил, что молодой автор «Пестрых рассказов» «не говорит таких возмутительных пошлостей и глупостей, какие весьма нередко можно встретить на столбцах газет, в которых он сотрудничает». Но теперь их говорил сам Скабичевский. В обзоре «Больные герои больной литературы» он ввел героя рассказа, художника, в толпу «представителей общественного индифферентизма», «теоретиков чистого искусства», «метафизиков», «мистиков и декадентов». Это всё, имея в виду споры рассказчика с Лидией. Что же до его поведения с Мисюсь, то тут он, по мнению строгого критика, что-то ужасающее по безнравственности.

По его выражению, герой «улавливал» в свои сети «наивного подросточка», «ребенка» 16–17 лет. А чувство к Жене это — «блажная прихоть праздного эротомана», «чистопробного психопата». И никаких «серьезных видов на девочку», по словам Скабичевского, у художника не было, иначе он поехал бы за ней в Пензенскую губернию, которая «не за океаном» и там «мог бы беспрепятственно сочетаться с Женею узами брака».

При таком толковании обессмысливался даже спор о злободневных «аптечках» и «библиотечках». И оставались без внимания беседы художника с Женей, его монологи о Боге, о вечной жизни, о чудесном, о бессмертии, об искании правды и смысла жизни.

Исчезала беспокойная мысль и не угадывалось тяжелое чувство, томившее рассказчика и так напугавшее Лидию: «У ученых, писателей, художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и всё клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла <…>. И я не хочу работать и не буду… Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!» Тревога о самоистреблении людей, об уничтожении природы, о подчинении человека «потребностям тела», кажется, оказалась незамеченной, неуслышанной.

Всё это будто незримо сопряжено с мыслями и чувствами героев уже известных читателям «Палаты № 6», «Черного монаха» и еще неизвестной «Чайки». Созвучно пьесе молодого, одинокого Константина Треплева. Странного монолога «мировой души», словно взирающей откуда-то из мироздания уже после того, как всё сущее провалилось в тартарары, в ад, преисподнюю: «Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно». На земле блуждают только «бледные огни», рожденные гнилым болотом, «без мысли, без воли, без трепетания жизни». А дьявол с «багровыми глазами» не хочет нового возникновения жизни на земле, и ей суждено превратиться в пыль, как и луне и светлому Сириусу.

В последней главе рассказа «Дом с мезонином» тонкая связь с «Чайкой», с мистерией Треплева, может быть особенно выразительна: «На дворе было тихо <…> не было видно ни одного огонька. И только на пруде едва светились бледные отражения звезд. <…> Была грустная августовская ночь <…> покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля». В прощальном ночном разговоре художник говорил Жене о печальной судьбе земной цивилизации: «Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет — человечество выродится и от гения не останется ни следа».

Потом, простившись с Женей, он сидел на скамье и смотрел на дом, на окна мезонина: «Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад <…>. Становилось очень холодно».

Юная, доверчивая девушка со странным именем Мисюсь, словно галлюцинация, рожденная томительным настроением художника. Несколько раз о ней сказано — «тонкая», «бледная», «слабая», «сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки». Из объятий художника она будто ускользнула и растаяла в лунном свете — навсегда.

Кажется, что как Коврину («Черный монах») после лечения стало скучно жить, и он разорвал однажды всё написанное во время болезни, когда ему почудились в каждой строчке «странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, мания величия»; как художником («Дом с

мезонином»), когда он узнал, что Женя уехала, овладело «трезвое будничное настроение» и ему «стало стыдно всего», что он говорил у Волчаниновых и «по-прежнему стало скучно жить» — так и Треплев, автор пьесы о «мировой душе» и рассказов, о которых опытный и успешный Тригорин говорит, что в них — «что-то странное <…> похожее на бред», — одинокий, потерянный, кончал жизнь самоубийством.

Уже третья пьеса Чехова завершалась выстрелом. Хотя он и говорил три года назад, что не примется за пьесу, пока не придумает иной «заковыристый» конец, чем банальное — «герой или женись или застрелись». Но стрелялись герои по-разному. Иванов («Иванов») — отбегал в сторону ото всех и застреливался на глазах невесты, ее отца и еще трех человек. Войницкий («Леший») — стрелялся за сценой, но в присутствии матери, которая выходила из средней двери и падала без чувств, а все остальные наоборот устремлялись в комнату, где раздался выстрел. Это было зрелищно и действовало на зрителей, особенно, наверно, на зрительниц.

Треплев — после встречи с по-прежнему любимой им Заречной, после последней попытки объясниться с ней, после ее признания, что брошенная Тригориным, схоронившая ребенка, она любит его «даже сильнее, чем прежде»… после ухода Заречной — молча, «в продолжение двух минут», рвал все свои рукописи. Бросал под стол и уходил во внутренние покои. Оттуда доносился звук выстрела. Доктор Дорн, узнав, что случилось, «тоном ниже, вполголоса» говорил Тригорину, отведя его в сторону ото всех: «Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился…» Никаких и ничьих криков, обмороков, выхватывания револьвера… «Чайка» кончалась тихо, «вполголоса»…

Зато обсуждение в гостиной Яворской оказалось громким, бурным. Чехов избывал эти впечатления работой над рассказом, в котором угадывались поездка летом к Левитану, разговоры с Сувориным.

Поверила ли Шаврова признанию Чехова о невесте или восприняла как шутку, но таящую что-то, адресованное ей лично? В это время, в самом конце 1895 года, ее отношения с Чеховым приобретали романический характер. Теперь она, замужняя женщина, жила в Петербурге. Барышня из «хорошего семейства» разделила общую участь, став женой перспективного столичного чиновника. Образ жизни оказался предсказуем: театры, домашние приемы с обязательной игрой в винт, с разговорами гостей об очередных повышениях по службе. Время убивалось чтением

модных авторов. Елена Михайловна, пока бездетная, не нуждавшаяся в деньгах, очень много читала, покупала сочинения Шопенгауэра, французских символистов. Кое-что писала и печатала в газетах и журналах.

Как и для Авиловой, встреча с Чеховым, наверно, оказалась самым интересным и незабываемым событием, может быть, повлиявшим на ее не очень счастливую семейную жизнь. Она, судя по письмам, не хотела превращаться в красивое дополнение к карьере мужа. Но и на разрыв не хватало характера, а главное — куда бы она ушла? На сцену, как одна из ее сестер? Но способностей хватало только для участия в любительских спектаклях. В земские учительницы? Но никакого призвания Шаврова к этому занятию не чувствовала. Она скучала, уезжала под разными предлогами то в Москву к родным, то в Крым, то за границу. В Москве старалась задержаться подольше.

В декабре 1895 года Елена Михайловна призналась в письме Чехову, что ей хочется сделать что-то «безрассудное, разбить что-нибудь или влюбиться до чёртиков». И тут же оговаривалась: «Но, вероятно, я ничего подобного не сделаю, ибо меня воспитали в строгих правилах». Ничего, обещавшего сильное любовное чувство, Шаврова, видимо, не улавливала в письмах Чехова. Cher mâitre был доброжелателен, но строг в литературных советах, учтив в обращении. Однако что-то в «признании» Чехова насторожило Шаврову. Она написала в ответ: «…меня радует уже одна возможность того факта, что „дорогой учитель“ любил когда-то и что, значит, это земное чувство ему было доступно и понятно. Не делайте удивленного лица, но, право, мне почему-то кажется, что Вы слишком анализируете всё и вся для того, чтобы полюбить, т. е. быть ослепленным хотя на время».

Земное-неземное, грешное-чистое — не так говорили о своем чувстве герои пьесы «Чайка» и рассказа «Дом с мезонином», объединенные временем создания и настроением автора. Треплев не отделял своего чувства к Заречной от желания писать. Они взаимосвязаны в его сознании. Художник признавался в начале своего рассказа («Дом с мезонином»), что пребывал в «постоянной праздности». Потом, после встречи с Женей, понимал, что «победил ее сердце своим талантом», что ему хочется писать «только для нее», а без нее он «безнадежно одинок» и никому не нужен.

Было ли в этих переживаниях что-то близкое тому, о чем не раз Чехов говорил в своих письмах: желание жить и желание писать? Или тут иная неуловимая взаимосвязь и какое-то особое состояние одинокой души?

Утрата настроения, в котором и Треплев, и художник могли

работать, уподоблена в пьесе и рассказе падению, разрыву, ощущению холода. Когда Чехов испытывал чувство тревоги, ему иногда снилось, будто кто-то из добрых знакомых падает в колодец, а он с кем-то вытаскивает злосчастного.

29 декабря 1895 года, поздравляя Суворина с Новым годом, с новым счастьем, Чехов о себе рассказал немного. О том, что в доме «толчется народ» и ему помешали закончить «Дом с мезонином». О том, что надо писать что-то новое, потому что «не работать» ему нельзя. А так как пишет он очень медленно, то зарабатывает «чёрт знает как мало».

Сообщил также, что в самом начале нового года приедет в Петербург, приехал бы и раньше, если бы не временное безденежье.

* * *

На что жило семейство в эти годы? По-прежнему исключительно на гонорары Чехова. В журнале «Русская мысль» ему платили по 200 рублей за печатный лист. В газете «Русские ведомости» тоже не баловали. На круг выходило немного. Постоянным источником оставался книжный магазин Суворина, где Чехов или Мария Павловна получали 200 рублей ежемесячно в счет продажи книжек. Чехов уже погасил долг и конторе «Нового времени», и лично Суворину: оставался банковский долг за заложенное имение. Бюджет был напряженный. Хватало лишь на текущие расходы. Никакого дохода от имения не предвиделось. Но себя обеспечивали зерном, овощами, припасами. Хлеб пекли свой, сметана и масло были тоже свои. В зиму забивали скот (барана, поросят), коптили. Говядину покупали в лавке. Сыр, кофе, чай, вино, колбасы, конфеты, печенье, рыбу, пиво, прованское масло, крупы, сахар, орехи, любимую домочадцами халву, изюм, сельди — всё это и многое другое привозили из Москвы. Закупали в гастрономическом магазине Андреева на Тверской. Многие современники запомнили, как радушно принимали у Чеховых, как вкусно угощали.

Хотя Чехов и шутил, что будет строчить, как Потапенко, но вездесущего «Игнатия-многописца» ему бы никогда не удалось догнать. Тот писал для всех журналов и газет, везде брал авансы. И подсмеивался: «Нет, Чехов, далеко тебе до Потапенко, так же как Потапенко далеко до Мачтета!» А плодовитый Мачтет мог бы сказать, что ему далеко до Боборыкина. Потапенко зарабатывал очень много, но умудрялся брать взаймы у Суворина, у Чехова. Жены, любовницы, игра, рестораны требовали расходов. Но Игнатий Николаевич не горевал, жил, будто по присловью — не унывает, что сбирает, унывает, мало подают. Он и Чехов были на «ты». Вероятно, меж ними сложилась мужская солидарность, замешанная на общих походах в публичные дома, на знании тайных романов друг друга. Потапенко в общении был простой, легкий человек.

Роман Потапенко и Мизиновой завершился еще до рождения их ребенка. Лидия Стахиевна, возможно, простила «бедному Игнатию» свои страдания в Париже, свое швейцарское одиночество и новое положение, которое еще предстояло открыть не только матери и узкому кругу знакомых, но бабушке, родне в Покровском. В январе 1896 года старушка Иогансон записала в

дневнике: «Лидюша витает по своим знакомым». В этом же месяце, получив известие о женитьбе давнего поклонника внучки, доктора Балласа, сокрушалась: «А бедная моя Лидюша. Не исполнила мое желание соединения их, была бы славная парочка. Что делать, так уж судьба порешила».

В самом начале февраля 1896 года бабушка узнала о ребенке от самой внучки, приехавшей в Покровское: «Испытала ужасный удар, который меня в могилу сведет». Вряд ли ей открыли, кто отец Христины. Иогансон в эти дни прочла новую повесть Потапенко и восхищалась им: «Вот так писатель!» Старушка коротала свои дни чтением романов Сенкевича, беллетристики в «толстых» журналах. Теперь имя девочки не уходило со страниц ее дневника. Особенно с той поры, как Христину привезли в Покровское и оставили на попечении родных и няньки.

Чехов и Потапенко, видимо, объяснились еще поздней осенью 1895 года, так как Игнатий Николаевич написал тогда: «Итак — всё светло между нами, как и прежде, и я ужасно рад этому». Когда Чехов приехал в Петербург, жизнерадостный Игнациус пристегнул к компании Д. Н. Мамина-Сибиряка. Трио красивых мужчин шаталось по столичным ресторанам, где у двух петербуржцев, любителей застолий, литературных разговоров с вкраплениями слухов и сплетен, было много знакомых. Щеглов жаловался Билибину, толковал о «вероломстве» Чехова, изменившего будто бы прежним друзьям.

Наверно, Чехов и Мамин не упоминали имя М. М. Абрамовой. Для Чехова оно было связано с провалом «Лешего» в 1889 году. Для Дмитрия Наркисовича это «черное горе» всей его жизни. Мария Морицовна, ставшая в 1891 году невенчанной женой Мамина, любимой, боготворимой, через год скончалась в родах, оставив его с девочкой, единственным утешением отца. Среди столичных литераторов у Мамина сложилась репутация, сходная с мнениями о Потапенко. Писал он очень много и хвастался этим. Однако в доверительную минуту бранил свои сочинения. Он утверждал, что может одновременно работать над несколькими романами. Но при этом осуждал Потапенко за спешное «бумагомаранье» ради денег, ради оплаты счетов расточительной сожительницы.

Мамин называл Чехова «литературным слоном», а себя «писателем по недоразумению»: «Чехов обладает огромным богатством и удивительно талантлив; он словно Крез, вокруг которого разбросаны неисчислимые сокровища, а он даже не подозревает, как он богат». И он, и Потапенко в серьезном разговоре признавали превосходство Чехова. Игнатий Николаевич говорил, например, что его переводят больше, чем Чехова. Но не

потому, что он лучше, а потому, что проще. Тогда как Чехов — «очень тонкий художник». Плодовитый беллетрист преувеличивал внимание переводчиков к своим сочинениям.

Потапенко запомнил очевидный интерес Чехова к новому знакомому. Он купил в книжном магазине всё, изданное отдельно, и по мере чтения постоянно заговаривал о нем: «А знаешь… я про Мамина… Он в книгах такой же точно, как и в жизни. Тот же чернозем — жирный, плотный, сочный, который тысячу лет может родить без удобрения. <…> Но зато в каждом его рассказе какой-нибудь Поль Бурже извлек бы материала на пять толстых романов. Знаешь, когда я читал маминские писания, то чувствовал себя таким жиденьким, как будто сорок дней и сорок ночей постился… <…> Тоже и язык… У нас народничают, да всё больше понаслышке. Слова или выдуманные, или чужие. <…> А у Мамина слова настоящие, да он и сам ими говорит, и других не знает».

Игнатий Николаевич явно привнес в эти воспоминания свои давние впечатления от доброго приятеля. Мамин многих увлекал своими сочинениями, а при встречах живописными рассказами о любимом Урале, о своей пестрой насыщенной жизни. В знакомстве с людьми разных профессий, сословий с ним, может быть, мог бы соперничать в кругу Чехова только Гиляровский. В один из дней той зимы 1896 года Чехов побывал у него в Царском Селе. Как-то три приятеля зашли в фотографию и снялись на память.

Чехов на этот раз остановился в гостинице на Исаакиевской площади, но часто бывал у Сувориных. Многое из бесед и встреч занесла в свой дневник Смирнова. 4 января в Суворинском театре с шумным успехом прошла премьера пьесы Ростана «Принцесса Грёза» в переводе Щепкиной-Куперник. На следующий день, вернувшись от Сувориных, Софья Ивановна записала: «Чехов над этой принцессой издевается. Говорит, что это романтизм, битые стекла, крестовые походы. Про Танечку Куперник, стихами которой все восхищаются, говорит: „У нее только 25 слов. Упоенье, моленье, трепет, лепет, слезы, грёзы. И она с этими словами пишет чудные стихи“. Яворскую в „Принцессе Грёзе“ он называет прачкой, которая обвила себя гирляндами цветов».

В эту зиму Чехов посетил, наверно, все спектакли Суворинского театра. И оказался невольным свидетелем закулисной жизни, театральных неурядиц, актерских капризов, интриг и сплетен. Смирнова описала в дневнике скандал, связанный с постановкой ее пьесы «Муравейник». Яворская, теперь служившая в этом театре, не явилась на вечернюю генеральную репетицию и потребовала перенести завтрашнюю

премьеру: «Все актеры собрались и ждут, чем это кончится. Карпов вне себя, задыхается от злости <…>. Послали за Сувориным, велели разбудить его. Тот приехал, и с ним <…> Чехов. Суворин так взбешен, что в первую минуту готов Яворскую выгнать, прямо выгнать из труппы».

Потом Суворин принялся за послание к премьерше, рвал написанное. Чехов подсказывал дипломатические выражения, вроде «Вы обидите автора и товарищей, если не приедете». Смирнова, как автор, была против таких любезностей и продиктовала Суворину письмо-ультиматум. Всё это ночью, на повышенных тонах, в томительном ожидании ответа.

Ничего нового в закулисных «страстях» для Чехова не было. Он пережил нечто подобное, когда ставил «Иванова» у Корша в 1887 году и когда участвовал в 1888 году в переговорах с актерами во время постановки «Татьяны Репиной» Суворина в московском Малом театре. Притворство Яворской мог «оценить» не однажды, особенно вдень первого чтения и обсуждения «Чайки».

* * *

Любил ли Чехов театр? В молодые годы ходил в театр часто, однако упоминал редко. Потом высказывался о нем в письмах резко: «Современный театр — это сыпь, дурная болезнь городов. Надо гнать эту болезнь метлой, но любить ее — это нездорово. Вы станете спорить со мной и говорить старую фразу: театр школа, он воспитывает и проч…. А я Вам на это скажу то, что вижу: теперешний театр не выше толпы, а наоборот, жизнь толпы выше и умнее театра; значит, он не школа, а что-то другое…» Актрис он однажды назвал «коровами, воображающими себя богинями». На лицах актеров, скрывавших недовольство автором, пьесой, ролью, читал предательство, а в глазах — ложь.

В статьях, заметках и фельетонах 1880-х годов Чехов говорил о театре еще неодобрительнее: «Никто так сильно не нуждается в освежении, как наши сцены… Атмосфера свинцовая, гнетущая. Аршинная пыль, туман и скука».

Иронизировал в «Осколках московской жизни»: «1) Большой театр. <…> Нового ни на грош. <…> В балете вместе с балеринами пляшут также тетушка Ноя и свояченица Мафусаила. 2) Малый. Нового тоже ничего. Та же не ахти какая игра и тот же традиционный, предками завещанный ансамбль…» Не пощадил он и столичного театра. Уже в 1893 году, то есть после постановки «Иванова», после суда над «Лешим», написал: «В

режиме нашей Александринской сцены есть что-то разрушительное для молодости, красоты и таланта, и мы всегда боимся за начинающих». В ряд таких отзывов вписывалось негодование молодого героя «Чайки» Треплева: «<…> современный театр — это рутина, предрассудок. <…> Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». Далее в пьесе следовала ремарка — «*Смотрит на часы*».

Театр словно манил и пугал Чехова. Будто возбуждал и утомлял, и он готов был забыть про него: «Писать пьесы выгодно, но быть драматургом беспокойно и мне не по характеру. Для оваций, закулисных тревог, успехов и неуспехов я не гожусь, ибо душа моя ленива и не выносит резких повышений и понижений температуры». Это написано после успешного представления «Иванова» в 1889 году на сцене Александринского театра.

Тогда Чехов почти испугался успеха: «Во время удачи я трушу и чувствую сильное желание спрятаться под стол». И сбежал «из сферы бенгальского огня» в «полутемную кладовую». Шутил в те дни, что «великий драматург» превратился опять в «скромного беллетриста». Говорил, что «драматургия с ее шумом» выбила его из колеи нормальной человеческой жизни и началось «похмелье».

Он чуть ли не отшатнулся в те дни от театра и в письмах разным корреспондентам едва ли не отрекался от него и в шутку и всерьез: «Театр, повторяю, спорт и больше ничего»; — «Кстати, об успехе и овациях. Всё это так шумно и так мало удовлетворяет, что в результате не получается ничего, кроме утомления и желания бежать, бежать…» И он «бежал»… в прозу. Говорил зимой 1889 года: «Гладкое и не шероховатое поприще беллетриста представляется моим душевным очам гораздо симпатичнее и теплее. Вот почему из меня едва ли когда-ни-будь выйдет порядочный драматург». Но уже весной признавался, что начерно скомпоновал «Лешего». Однако тут же заявлял: «Пьес не стану писать. <…> Не улыбается мне слава драматурга»; — «Чтобы писать для театра, надо любить это дело, а без любви ничего путного не выйдет. Когда нет любви, то и успех не льстит».

Признаваясь в любви к прозе, Чехов в то же время не скрывал недовольства ею. Уверял в нелюбви к театру, но возвращался к пьесе. Словно в прозе искал пути обновления драмы, а в работе над драмой оживлял чувство прозы.

Современную драматургию, с ее «хлебными», «обстановочными», «сценичными» пьесами, имевшими успех у публики, Чехов не щадил в 1880-е годы так же, как и театр. Пьесы Б. Маркевича «Чад жизни», Е. Карпова «Крокодиловы слезы»,

К. Тарновского «Чистые и прокаженные», С. Гедеонова «Смерть Ляпунова», В. Александрова (В. А. Крылов. — А. К.) «Лакомый кусочек» и других авторов называл в письмах, фельетонах и юморесках «бездарнейшей белибердой», шаблонной стряпней с «пожаром и торжеством добродетели», «тягучими, как кисель». Говорил, что они написаны «помелом» и от них «скверно» пахнет. И всё это — изделия «закройщиков модной мастерской».

Он вволю посмеялся над «манией эффектов» и «фокусами» этой драматургии: «<…> героиня может в одно и то же время плакать, смеяться, любить, ненавидеть, бояться лягушек и стрелять из шестиствольного револьверища системы Бульдог…» Но самый, по выражению Чехова, «эффектный эффект» — это литераторы, выводимые в современных пьесах: «Обыкновенно это люди звериного образа, с всклоченной, нечесаной головой, с соломой и пухом в волосах, не признающие пепельниц и плевальниц, берущие взаймы без отдачи, лгущие, пьющие, шантажирующие».

Шли годы, но, по-видимому, театр и теперь, в 1896 году, оставался таким, каким Чехов обрисовал его в своих давних рассказах. Трагики по-прежнему кричали, шипели, стучали ногами («Трагик»), Комики все так же комиковали. У драматических старух, благородных отцов, резонеров, простаков, фатов, героев-любовников, гранд-кокет оставались все те же приемы. Актеры по-прежнему рассуждали о том, что «искусство пало» и публика любит не жизненность, а экспрессию, что играть надо «нервами и поджилками» («Критик»), А главное — развлечь зрителя.

Скандал на последней репетиции «Муравейника», описанный Смирновой, мог лишь убедить Чехова, что всё осталось по-старому.

* * *

Зачем Чехов приезжал в Петербург? По всей видимости, чтобы решить, куда отдать «Чайку»? О московском Малом театре он уже не говорил, может быть, вследствие разговора с Немировичем. О Суворинском театре тоже молчал.

14 января Чехов внезапно уехал из столицы, сославшись на «домашние обстоятельства». Скорее всего, он имел в виду женитьбу младшего брата. Михаил Павлович, наконец, выбрал себе невесту и пребывал в счастливых женихах, ибо избранница обожала своего Мишеньку, Мишуничку. Бесприданница, институтка, смирившаяся с долей гувернантки, Ольга Германовна

Владыкина становилась женой многообещающего чиновника, хозяйкой дома. «Сладкий Миша» обрел то, что искал: домовитую рукодельницу, простодушную натуру, искренне мечтавшую о мещанском счастье, которое она так описывала жениху: «Я наделаю потом и салфеток, и вееров, и абажуров, и всего, чего только пожелаешь! <…> Сядем за самовар или, если окажется у нас два стула, на них и будем поверять друг другу наши мысли, надежды и всё, всё… <…> Я буду ходить встречать тебя в Палату, а после обеда мы где-нибудь в уютном уголке нашей квартиры будем работать и говорить, говорить без конца». Невеста очень понравилась Евгении Яковлевне, пришлась по душе свекру. Они гордились любимым сыном, так разумно устроившим свою жизнь. Все расходы по венчанию, по праздничному застолью взял на себя Чехов. Михаил Павлович обещал возместить долг потом, когда накопит.

Итак, холостым оставался только один из сыновей. 17 января 1896 года Павел Егорович записал в дневнике: «Утро — 21°. Антоша Именинник, 36 лет. Полд[ень] — 7°. Рябая корова отелилась. Веч[ер] — 8°». Как всегда, в его сознании всё уравнивалось, ставилось на одну доску. Сам Чехов написал в этот день в одном из писем: «Я сегодня именинник — и все-таки мне скучно». В разговорах между собой родители могли задаваться вопросом, заведет ли собственную семью их средний сын. Они видели, что он по сердцу и Наталье Линтваревой, и Марии Дроздовой, новой приятельницы дочери. Но спрашивать, наверно, не решались. Сын оставался не чужим, но непонятным, отдаленным. Однако они, судя по всему, не переживали из-за этого. Их несомненно устраивало нынешнее течение мелиховской жизни. Спокойное, никому не подотчетное, с дочерью-хозяйкой во главе.

Александр запомнил это безмятежное бытие отца в Мелихове: «За столом он занимал почетное место против Антона. <…> Первый лучший кусок попадал на тарелку к нему. <…> Если ему приходило в голову начать есть „для здоровья“ в скоромные дни постное — мать беспрекословно исполняла его желание. Водку за обедом и ужином он пил из своего графинчика в виде настоя из каких-то загадочных трав. Комната у него была отдельная и уютная, и в ней пахло ладаном».

В буднях Евгении Яковлевны случались изредка домашние «бури»: оплошность прислуги; споры с мужем, чем кормить собак. В остальном — тихое однообразие. Утром непременный кофе мокко. В 11 часов обед с крохотной рюмочкой домашней настойки. В 3 часа пополудни чай, а в 7 часов вечера — ужин. Радости ее всё те же — уродились баклажаны, удалось варенье,

новая ротонда вышла удачной, а из купленного шевиота и фланели получились платья такие, как ей хотелось.

Щепкина-Куперник оставила в своих воспоминаниях идиллическую зарисовку о «стариках» Чеховых: «П[авел] Егорович] <…> давал мне читать свой дневник, возил меня в церковь, иногда выражал сожаление, что вот Антоша так хорошо пел в церкви на клиросе в Таганроге, и голос у него был, когда он мальчуганом был — прямо ангельский… а вот теперь — отстал, не поет — что бы съездить в церковь да попеть? <…> Я никогда не видела, чтобы Е[вгения] Я|ковлевна] сидела сложив руки: вечно что-то шила, кроила, варила, пекла… <…> Помню ее уютную фигуру в капотце и чепце, как она на ночь приходила ко мне, когда я уже собиралась заснуть, и ставила на столик у кровати кусок курника или еще чего-нибудь, говоря со своим милым придыханием: „А вдруг детка проголодается?“».

Не только с гостьей, но и между собой, может быть, родители не обсуждали семейные тяготы своих детей. Они в них не вникали. Павлу Егоровичу на фоне его собственных былых переживаний всё представлялось не стоящим внимания. Евгения Яковлевна довольствовалась удобным житейским правилом — всё принимать как неизбежное и в будущее не заглядывать. Они знали о том, что дети старшего сына от первого брака, Николай и Антон, оказались не способны к учебе. Но не представляли, что их старшие внуки, особенно Николай, превратятся в то, что вскоре Александр Павлович назвал «кошмаром» своей жизни. Родители замечали отчуждение своей второй невестки, жены Ивана Павловича, вежливо сторонившейся семьи мужа, но это их не беспокоило. Возраст, наступившее благополучие, деревенская жизнь упростили и без того несложный душевный мир «стариков» до незатейливого. Даже мелиховский дневник Павла Егоровича сводился теперь к записям о погоде и главным, с его точки зрения, домашним событиям. И среди таких записей — «Антоша приехал», «Антоша уехал».

18 января Чехов внес в Серпуховскую уездную земскую управу тысячу рублей как попечитель Талежской школы на строительство нового здания. Тем самым он ускорил дело. 19 января он вместе с князем Шаховским побывал в Талеже, на стройке.

22 января в тихой деревенской церкви прошло венчание. Чехов был посаженным отцом, но в шутку называл себя «побочным» отцом. Через два дня он опять уехал в Петербург. На этот раз остановился у Суворины.

Это пребывание сопровождалось волнениями в суворинской «клике». Сохранилась запись Чехова: «Как-то я и Александр

спускались по лестнице; из редакции вышел одновременно Б. В. Гей и сказал мне с негодованием: „Зачем это вы вооружаете старика (т. е. Суворина) против Буренина?“ Между тем я никогда не отзывался дурно о сотрудниках „Нового времени“ при Суворине, хотя большинство из них я глубоко не уважаю».

Тогда же, в феврале, у Чехова был разговор с Короленко, который запомнил, что тот не раз отзывался о Суворине хорошо, но «несколько презрительно»: «Характеризовал его, как психопата и истерика, часто страдающего от того, что пишут в „Новом времени“, неглубокого, возмущающегося сегодня тем, что завтра его уже не волнует». Суворин сам не однажды признавался в безволии, в «шатаниях», когда нужно было принимать решения. Упоминал свою зависимость от родных, от сотрудников газеты. Перепады суворинских настроений — то жалобы и стенания, то гнев — Чехов наблюдал неоднократно. Они были ему не в диковинку. Видимо, зимой 1896 года поводов для «шатания» было более обыкновенного. Может быть, поэтому он охотно уезжал вместе с Чеховым из дома.

В один из вечеров они отправились в театр на маскарад. Здесь Чехов встретился с Авиловой и Шавровой. Лидия Алексеевна создала из этого в своих мемуарах отдельную маленькую новеллу — будто бы Чехов узнал ее под маской, но она поняла это позже. Якобы попросил мнимую незнакомку рассказать ему, кого она любила. И она, прислонившись к его плечу, назвав по имени, близко глядя в лицо, сказала: «Я тебя любила <…> тебя, тебя… <…> Может быть, это была и не любовь, но, кажется, не было ни одного часа, когда я не думала бы о тебе. А когда я видела тебя, я не могла наглядеться. Это было такое счастье, что его трудно было выносить. Ты не веришь мне? Дорогой мой! ненаглядный!»

И будто бы Чехов просил ее быть на премьере «Чайки». Тогда со сцены она услышит нечто, адресованное только ей. Авилова спрашивала, узнал ли Чехов, кто она. Он шутил, что она Яворская… Как и в описании злополучного ужина в 1895 году, так и в изложении маскарадного эпизода Авилова пользовалась привычным стилем своих рассказов: «от волнения и неожиданности я дрожала»; «сердце то замирало, то билось усиленно»; «кажется, я уже меньше люблю, кажется, я выздоравливаю, кажется, я, наконец, победила».

Шаврова тоже упомянула этот вечер в своих воспоминаниях. Она сама подошла к Чехову. Он узнал ее по кольцу. Извинился, что не дал знать о своем приезде. Пошутил, что он в Петербурге инкогнито. Запомнила она и Суворина, вошедшего в свою директорскую ложу с тремя балеринами.

В «новелле» Авиловой была реплика Чехова — «Знаешь, скоро пойдет моя пьеса». И ее ответная — «Знаю. „Чайка“». Название пьесы Лидия Алексеевна могла услышать от кого-то из петербургских литераторов. Но знал ли Чехов в это время, как скоро и на сцене какого театра состоится премьера «Чайки»?

13 февраля Чехов и Суворин вместе выехали в Москву.

Глава девятая. «К СЛАВЕ И МУЗАМ»

Две поездки Чехова в Петербург зимой 1896 года имели несколько поводов — внести ясность в книжные расчеты с «Новым временем» и взять деньги на Талежскую школу, договориться о постановке «Чайки», уехать с Потапенко в Финляндию, на Иматру, чтобы, как он говорил в таких случаях, «встряхнуться» и настроиться на новую работу. В его письмах этих дней мелькнуло упоминание «Чайки»: «В ноябре приеду в Петербург и буду ставить пьесу на казенной сцене; проживу здесь всю зиму». Но нет никаких сведений, с кем Чехов вел переговоры или кто брался за них. Например, Суворин или Потапенко?

15 февраля 1896 года Чехов и Суворин встретились с Толстым в его московском доме в Хамовниках. В дневнике Суворина осталась развернутая запись. Разговор шел о картине Ге из жизни Христа, о задачах современного искусства (Толстой уже работал над трактатом «Что такое искусство?»), о смерти: «Когда я сказал, что всего лучше умереть разом, он (Толстой. — А. К.) заметил, что <…> лучшая смерть была бы такая, что человек почувствовал бы приближение смерти, сохранив свой разум, и сказал бы близким, что он умирает, и умирает со спокойной совестью». Гости заметили, что хозяин дома пребывал не в духе. Это проскальзывало в высказываниях Толстого, если Суворин правильно запомнил их и передал в дневнике: «О поэте Верлене: ничего не понимает, почему о нем пишут. Он читал его. По поводу декадентов сказал об интеллигентном обществе: „Это паразитная вошь на народном теле, а ее еще утешают литературой“».

Чехов обратил внимание на настроение Толстого. Сохранилась его запись об этом вечере: «Он был раздражен, резко отзывался о декадентах <…>» Особенность ситуации была в том, что в последнее время некоторые критики писали о рассказе «Ариадна» и повести «Три года» как о сочинениях декадентского толка. Чехову показалось, что и графиня С. А. Толстая, весь вечер отрицавшая художника Ге, тоже была чем-то раздражена. Видимо, визитеры оказались не ко времени. Возможная причина такого настроения супругов Толстых — приближение печальной даты —

23 февраля (год назад Толстые потеряли семилетнего сына, умершего от скарлатины). 22 февраля Лев Николаевич записал в дневнике: «Уже больше недели чувствую упадок духа. Нет жизни. Ничего не могу работать».

В дневнике Суворина нет ни слова о Шехтеле, с которым он хотел переговорить о здании для своего театра. Встреча состоялась в «Славянском базаре»: Чехов, Шехтель, Суворин и одна из актрис его театра. Чехов давно не виделся с другом молодости. И присматривался к нему, а позже написал: «В последнее наше свидание (ужин с Никитиной) Ваше здоровье произвело на меня какое-то неопределенное впечатление. С одной стороны, Вы как будто помолодели, окрепли, а с другой — Ваши глаза смотрят немножко грустно и вдумчиво, точно у Вас ноет что-то или ослабела какая-то струна на гитаре Вашей души. Должно быть, работа утомила Вас».

Словосочетанию «струны души» Чехов иногда придавал насмешливый оттенок («Этак вы все струны души моей истреплете!»). Но «натянутая струна» — всегда в серьезных размышлениях. Либо о смерти (например, в разговоре о болезни Григоровича в 1887 году: «…трудно сказать, когда, в какой день и час лопнет натянутая струна…»). Либо о психике людей, которым все в жизни давалось огромными усилиями, напряжением всех сил (так, он сказал о себе в 1888 году: «<…> я „счастья баловень безродный“, в литературе я Потемкин, выскочивший из недр „Развлечения“ и „Волны“, я мещанин во дворянстве, а такие люди недолго выдерживают, как не выдерживает струна, которую торопятся натянуть»). Либо, как в случае с Шехтелем, об утомлении от усиленного творческого труда. Речь шла именно о таком утомлении, а не о физической усталости, в которой Чехов признавался редко. Зато об умственном и душевном утомлении говорил часто. И почти всегда после завершения работы.

Так случилось и в 1896 году, весной. Когда закончилась работа над «Чайкой» и «Домом с мезонином», вернулась головная боль, открылось кровохарканье. Но Чехов ездил по делам школьной стройки, невзирая на холода и мартовское бездорожье. То в Талеж, то в Серпухов. Стройка шла вовсю, а земство еще не рассмотрело и не утвердило смету. На счет, с которого оплачивали покупку материалов и работы, деньги поступили только от «строителя» Чехова. Зато уездное земство обращалось к нему все с новыми просьбами: организовать прием страховки у мелиховских крестьян за лошадей и рогатый скот; сдвинуть с мертвой точки проведение шоссейной дороги и починку моста через реку Люторку; принять надзор над народными библиотеками при Хатунской и Вельяминовской школах и т. д. Но

главной заботой оставалась хлопотная стройка: доски, двери, гвозди, изразцы, железо, щебень, глина, кирпич и пр.

Настроение Чехова выдавали интонация писем, «шутки»: «грачи шагают по дорогам уныло, точно факельщики»; — «3–4 дня поплевал кровью, а теперь ничего, хоть бревна таскать или жениться». Но «женитьба» давно стала в письмах и разговорах Чехова шутливым выражением самого плохого, чего бы он хотел, то есть на самом деле не хотел, пожелать себе и другим. Недаром «сватая» в шутку приятелям и приятельницам воображаемых невест и женихов, превращал «семейное счастье» в несчастье.

В марте 1896 года Чехов поинтересовался у А. А. Тихонова (Лугового), редактора беллетристического отдела журнала «Нива», принадлежавшего А. Ф. Марксу: правда ли, что издатель «купил на вечные времена сочинения Фета»? И если «правда (и если не секрет), то — за сколько». Так, может быть, проступило скрытое размышление о продаже Марксу своих сочинений в полную литературную собственность?

Что заставило Чехова, еще не отойдя от работы над «Домом с мезонином», еще переделывая «Чайку», приняться за новую повесть «Моя жизнь»? Почему он задал вопрос о сочинениях Фета? Когда в эти апрельские дни Ежов поделился с Чеховым своей бедой, болезнью жены, он успокаивал его: «Редко у кого не бывало плеврита и редко кто не принимал креозота. У меня самого давно уже кашель и кровохарканье, а вот — пока здравствую, уповая на Бога и на науку, которой в настоящее время поддаются самые серьезные болезни легких. Итак, надо уповать и стараться обойти беду». Помимо медицинских советов Чехов дал Ежову рекомендательное письмо к доктору Корнееву: «Это хороший врач и добрейший человек». Говоря в это время мимоходом, что здоровье его «не ахти», давая советы легочным больным — кумыс, покой, хорошее обильное питание, отдых, — он сам не выполнял ни одного из этих предписаний.

Шехтель, получив от него письмо с упоминанием трехдневного кровотечения, написал в сердцах: «Сознаюсь, если бы у меня дело дошло до таких очевидных скверных симптомов — я бы бросил все и удрал бы поближе к солнцу, на поправку…»

Трудно даже сказать, что Чехов уповал на исцеление и «обходил» свою беду. Кажется, что он усугублял ее или махнул на себя рукой. Отправив в Петербург два экземпляра «Чайки» для прохождения в цензуре, напряженно работал над новой повестью. Над печальной историей одинокого противостояния человека своей семье, предрассудкам, общепринятым представлениям о житейском счастье. С самого начала Чехов подозревал, что цензура прицепится к повести. Еще с молодости он называл

рассказы, ощипанные цензурой, «плешивыми». Он работал, отвлекался на стройку, участвовал как попечитель в школьных экзаменах. Будто отошел от всего столичного и московского. Между тем его имя все чаще и чаще упоминалось в газетных и журнальных рецензиях, статьях и обозрениях.

С самого начала 1895 года критика не выпускала Чехова из поля зрения. Суждения опровергали одно другое. Например: «Г-н Чехов описывает нам не поддельную, а настоящую жизнь»; — «Внутренний смысл описываемых им событий для него совершенно темен, так же как и духовная природа человека, в разумении которой он безнадежно теряется». Ясинский вдруг заявил, что Чехов переживает спад. И свидетельством тому «бесцветные» герои нового рассказа. Правда, заверял, что сам он «почитатель» таланта Чехова.

Словно что-то сгущалось вокруг имени Чехова в критике. В той или иной форме, под тем или иным соусом рецензенты убеждали читателей, что талант Чехова исчерпан, что он не оправдал надежд. Часто обсуждали автора, а не его рассказ или повесть. Некоторые отзывы приобретали странную угрожающую интонацию. Утверждалось, что якобы жизнь не тревожит и не волнует Чехова, что он «по-видимому, очень доволен собою», а это опасно и он может вскоре «скатиться вниз». Кончался этот прогноз зловещим предупреждением: «Как ни сильно наше холопство перед именами, к которым мы привык-ли, — есть и ему предел. Пусть это г. Чехов помнит…»

Чехов ни с кем не ссорился, никогда не высказывался публично ни о ком резко или несправедливо. Вообще жил вдали от столиц. Всех этих и подобных отзывов не читал, чтобы, как он выразился однажды, «не засорять своего настроения». С большинством рецензентов он даже не был знаком. Нараставшая разноголосица мнений, противоречивость оценок и раздражение писавших о Чехове выдавали кризис в отношении к такому писателю, как он. Если в центре рассуждений о других авторах оказывалось то, что *нравилось* критику, было ему понятно и давало возможность продемонстрировать себя, то в статьях о Чехове главное — это то, что *не нравилось* критикам, чего они не понимали и потому ограничивались ярлыками (нет того, сего, этого…).

Чем точнее, тоньше Чехов улавливал сдвиги в настроении современников, особенности самочувствия людей в переходное время, душевное состояние человека в разную пору его жизни и в разных житейских коллизиях, тем резче реагировали на него критики. За минувшие годы они не устали задавать вопросы. Кто он, г-н Чехов? Художник идеи, правды, красоты? Отсутствие

«общей идеи», ясной моральной оценки, сюжетной завершенности — это недостаток или достоинство? Скучно то, *о чем* писал г-н Чехов (обыденность, будничность, сиюминутность, «серенькая жизнь», «серенькие люди»)? Скучно то, *как* он рассказывал об этом (поток мыслей, чувств, ощущений героя)? Скучно всё время *думать*, читая повести «Степь», «Скучная история», «Палата № 6», «Три года»? Как ни посмотри, скучный писатель!

Но книги Чехова расходились, их не хватало. Читатели привыкали к его манере. Да, в таких героях, в таком повествовании нет знакомого, привычного, но есть нечто другое, чего критики не объясняли. Возможно, читатели раньше критиков извинили автору его своеволие и вдумались в оригинальность прозы Чехова.

Статьи о Чехове иногда походили на «скорбный лист» его якобы психического недуга. У него находили «хандру», «усталость», «душевный вывих». А читатели все чаще писали Чехову, что они не *узнавали, а познавали* себя, читая его сочинения. И познание это не завершалось с последней страницей повести или рассказа. Письма Чехова, его прозу и драму и письма читателей объединяло теперь встречавшееся в них словосочетание — «если вдуматься…».

У Чехова не было своего критика, но к середине 1890-х годов появился свой читатель. Не такой многочисленный, как у популярных или модных литераторов, — но именно свой, чьи отклики остались в дневниках, в переписке с современниками. Т. Л. Толстая записала 19 апреля в дневнике: «Пап***а*** сегодня читал новый рассказ Чехова „Дом с мезонином“. И мне было неприятно, что я чуяла в нем действительность и что героиня его — 17-летняя девочка. Чехов — это человек, к которому я могла бы дико привязаться. Мне с первой встречи никогда никто так в душу не проникал. <…> А я его видела только два раза в жизни».

Алексей Тихонов, прочитав часть рукописи повести «Моя жизнь», написал Чехову в июне 1896 года: «С одной стороны, она злободневна; но не настолько, чтобы приблизиться к все еще модной Толстовщине; с другой — она вечна <…> все <…> выражено в ней словами и образами в высшей степени простыми. Нет проповеднического „глаголения“. <…> Вещь глубокая и сердечная, она, тем не менее, общедоступна».

Прочитав в августе конец рукописи, Тихонов тут же написал Чехову: «Вещь чудесная. <…> Начало этой второй части мне показалось сначала немного странным по недосказанности многих действий и психологических мотивов <…> но все это служит только к усилению впечатления <…>. Вся черновая работа подмалевки, грунтовки совершается самим читателем в

уме, и когда Вы накладываете последний блик, он тем ярче выступает, потому что читатель ждет его с напряженным вниманием. Не знаю, будет ли таково впечатление читателей, но на меня эта недосказанность всегда производит самое лучшее впечатление. Думаю, что и всякий читатель это любит».

Секрет воздействия прозы Чехова уже улавливался многими внимательными современниками. Его давний расчет на то, что читатель сам «подбавит» все «недостающие субъективные элементы» («лучше недосказать, чем пересказать»), этот расчет оправдывался. Хотя и стоил ему все эти годы напряженнейшей умственной и душевной работы. Беспощадной критики на страницах газет и журналов. Все откровеннее прорывавшейся неприязни многих литераторов. Даже со стороны тех, кто пребывал с Чеховым в приятельских отношениях.

Владимир Тихонов, который в 1890 году бранил своего брата Алексея за «зависть и вечное хуление Чехова», теперь, в 1896 году, сам признавался в дневнике: «Чехов — умный мальчик, умный и, кажется, хитрый мальчик. <…> Ох, не без хитрости! А жаль <…> будь Чехов поменьше хитер, он был бы еще умнее и умом своим шире и глубже, и таланту его, свежему и прекрасному, больше простору было. <…> Последнее время я не веду ни с кем переписки. <…> С Чеховым переписка не клеилась, да и какой он мне друг. <…> В настоящее время нет самого крошечного кружка писателей-беллетристов, — все особняком. Чехов — один».

Да, он был *один, одинок*, но по-прежнему у него не было никакого уединения. В июне 1896 года он писал сестре, уехавшей к Линтваревым: «Ходят плотники, ходят больные, ходит учитель…» Кто-то был желанным гостем. Кого-то, наверно, лучше бы не видеть лишний раз, а то и совсем. Как-то Семенкович, новый сосед, то ли купивший, то ли, по слухам, выигравший у князя Шаховского его часть имения, привез в Мелихово своего друга, редактора журнала «Дело», заведующего иностранным отделом газеты «Московские ведомости», врача при московских императорских театрах. Чехов записал в этот день: «Впечатление чрезвычайно глупого человека и гада. Он говорил, что „нет ничего вреднее на свете, как подло-либеральная газета“, и рассказывал, будто мужики, которых он лечит, получив от него даром совет и лекарство, просят у него на чаек. Он и Семенкович о мужиках говорили с озлоблением, с отвращением».

Мужиков они не знали, но ненавидели. Эта злоба отвращала Чехова от нового самонадеянного, расчетливого соседа. Под свой отказ помочь школе Семенкович подвел громогласные рассуждения о «темном» и «грязном» народе. У Чехова были

основания сердиться на мужиков. Они крали материал со стройки, и учитель Михайлов собирал доски и кирпич, спрятанные на подворьях. Они норовили запросить лишнего со «строителя» за работу, говоря, что такого «барина» просто нельзя не обмануть. Его безотказностью злоупотребляли богатые мужики. Они не посылали в город за врачом, которому надо было заплатить, а звали мелиховского «дохтура».

Чехов ездил по окрестным селам и деревням к больным и по земским делам. Из-под множества записей в книжке словно всплывала повесть о русских мужиках. Отгородиться от деревни можно было, наверно, либо ненавистью, как новый васькинский помещик, либо равнодушием, как Варенниковы, незлобивые соседи по мелиховскому имению, либо полной безучастностью, подобно Павлу Егоровичу. Он, как и прежде, благодушествовал и записывал в свою толстую тетрадь: «Вечер приятный, тихий»; — «Сад в полном расцвете яблонь и вишень»; — «Дождик побрызгал»; — «Пиона расцвела»; — «Жасмин расцвел. Благоухание!»

В этом «житии» никак не отражалось то, что происходило за забором мелиховского двора. И вообще — во всем мире. Даже если «летописец» слышал от домашних или гостей, читал в газетах о майских событиях на Ходынском поле во время коронации Николая II, в дневнике он об этом не упомянул. Но, может быть, поэтому не высказал, как в былые годы, восторгов по поводу торжеств, которые наблюдал и на этот раз. Дневник в отсутствие отца вел Чехов, подражая его стилю.

Описание коронации оставил в своем дневнике Суворин: выезд царя, иллюминация, коронование в Успенском соборе Кремля, спектакль в Большом театре. И, конечно, Ходынка: «Сегодня при раздаче кружек и угощения задавлено, говорят, до 2000 человек. Трупы возили целый день <…> ведь это битва редкая столько жертв уносит. В прошлое царствование ничего подобного не было. Дни коронации стояли серенькие, и царствование было серенькое, спокойное. Дни этой коронации ясные, светлые, жаркие. И царствование будет жаркое, наверно. Кто сгорит в нем и что сгорит? Вот вопрос. А сгорит, наверное, многое, и многое вырастет. Ах, как надо нам спокойного роста!»

Обо всем увиденном Суворин, конечно, рассказал Чехову. Вместе они побывали на Ваганьковском кладбище 1 июня 1896 года. Чехов записал: «<…> видел там могилы погибших на Ходынке». Суворин изложил подробности в своем дневнике: «Еще пахло на могилах. Кресты в ряд, как солдаты во фрунте. <…> Рылась длинная яма, и гроба ставились друг около друга. Нищий говорил, что будто гробы ставили друг на друга, в три ряда».

О Ходынке Чехову писали знакомые. Он в своих письмах даже перерыв в работе из-за поездки в Москву, из-за увиденного обозначил глухо: «Я, по разным обстоятельствам, не садился за стол недели две <…>» Но тон писем такой, какой бывал в тяжелые минуты. Это особенно заметно в письмах к Мизиновой. Их переписка приобрела спокойно-дружеский характер, и в умолчаниях угадывалось больше, чем в былых его насмешливых шутках и ее бурных упреках.

В то лето Лидия Стахиевна жила в Подольске с дочкой и нянькой. В письмах Чехову она не упоминала Христину. Чехов и Мизинова встречались в Москве, она приезжала в Мелихово. Иногда они сговаривались ехать вместе до Москвы (он от Лопасни, она ждала поезд в Подольске). Но их письма опаздывали. Или, как шутил Чехов, назначая ей встречу у Гольцева: «Впрочем, всё перепутается. Я свои дела не умею завязывать и развязывать, как не умею завязывать галстук».

Это было беспокойное лето. Помимо школы Чехов затеял построить колокольню возле мелиховской церкви (до этого колокола висели на столбах): «Посылаем во все стороны воззвания о пожертвованиях. Мужики подписываются на больших листах и прикладывают тусклую грязную печать, а я посылаю по почте». Как-то еще в молодости Чехов сказал, что, будь у него деньги, он выстроил бы церковь по своему вкусу. Готов был отдать часть своей земли в Мелихове под земскую больницу.

То в шутку, то всерьез Чехов называл маршруты своих поездок, едва он кончит обе стройки и повесть: Камчатка, Кавказ, Сумы, Таганрог, остров Таити, Бабкино. Одна только мысль, что «час освобождения близок», радовала мелиховского «узника».

11 июля он сообщил Суворину, что «колокольня уже красится», а повесть «близится к концу».

* * *

20 июля Чехов вырвался и укатил в Максатиху, в Тверскую губернию, где на даче жил Суворин. Пробыл там всего два дня. На одну ночь заглянул к младшему брату в Ярославль и 25 июля уже вернулся в Мелихово.

Что-то будто не давало ему покоя. То ли прохождение «Чайки» через цензуру, то ли не переписанная еще набело повесть и ее грядущая судьба.

Со стороны жизнь Чехова представлялась вполне благополучной. В июле 1896 года Щеглов записал в дневнике: «В моей нелепой и полунищенской жизни душевно радуюсь за

Чехова — он один устроился толково и сообразно достоинству известного писателя (вернее, ему одному судьба помогла так устроиться!!)». Меньшиков запомнил впечатление от Чехова, сложившееся у него в середине 1890-х годов: «Молодость, привлекательность, свобода, загремевшее по России и по всему свету имя, чудная семья, собственное имение, практика врача, то есть возможность сближаться с народом и обществом <…> и в довершение всего впереди огромный художественный труд, как высшее счастье…»

Сам «известный писатель» мотался в Серпухов по земским делам, приглашал гостей на освящение нового здания Талежского училища. Оно состоялось 4 августа. Торжественное и трогательное: молебен, речи. Мужики благодарили, поднесли попечителю икону, четыре хлеба (от деревень Талеж, Бершово, Дубечня, Шелково), две серебряные солонки. В мелиховском доме не знали, как разместить московских гостей. Наконец праздник закончился и многомесячная «школьная» забота свалилась с плеч. Чехов попросил Е. З. Коновицера, мужа Е. И. Эфрос, имеющего отношение к московскому газетному миру, ни в коем случае никому не рассказывать в Москве о новой школе: «Боюсь, как бы не напечатали чего-нибудь „Новости дня“. Когда в этой милой газете я вижу свою фамилию, то У меня бывает такое чувство, будто я проглотил мокрицу. Брр!»

Повестью Чехов, конечно, был недоволен, привычно ворчал: «…большая, утомительная, надоела адски». Словно не он ее писал, а читал чужую. Но на самом деле он волновался о прохождении «Моей жизни» через цензуру. История молодого человека из дворянского рода, сына городского архитектора, который не искал общественного положения, приличествовавшего ему по происхождению и социальному положению, в конце концов стал и остался маляром, могла зацепить, остановить внимание цензора. Поэтому он попросил А. Тихонова, если повесть покажется «слишком мрачной, нецензурной», немедленно выслать рукопись в Москву, в редакцию «Русской мысли» на его имя.

Потапенко еще весной взял на себя хлопоты с «Чайкой». Они оказались не очень обременительными, но своевременными. Цензор М. И. Литвинов просмотрел пьесу уже в мае. Его остановили всего лишь две-три реплики Треплева о сожительстве Аркадиной с Тригориным. Он готов бы исправить их по своему усмотрению. Но из уважения к автору, известному литератору, предложил это сделать ему самому. 15 июля он написал об этом Чехову, и канцелярия Главного управления по делам печати в этот же день отправила в Москву экземпляр пьесы с пометами

цензора.

11 августа Чехов сообщил Потапенко, что выслал ему пьесу и рассказал, какие фразы он вычеркнул, что можно зачеркнуть, а что заменить другими словами. Перемены были незначительными. Зато волнение, угадывавшееся в этом письме, — сильное: «Если изменения, которые я сделал на листках, будут признаны, то приклей их крепко на оных местах <…>. Если же изменения сии будут отвергнуты, то наплюй на пьесу: больше нянчиться с ней я не желаю и тебе не советую. <… > На 5-й же и на 37-й только зачеркивай. Впрочем, поступай, как знаешь. Прости, что я так нагло утомляю тебя».

Да, Потапенко уезжал за границу, менялся его адрес, письма Чехова и Потапенко и они сами могли разминуться на день. Но за всеми этими привходящими обстоятельствами ощущались одновременно нетерпение Чехова и его опасения. Он будто и торопил, и сдерживал события. Отсюда, наверно, грубоватый тон: «наплюй», «нагло», «нянчиться». А за ним, может быть, скрытая смятенность? Или нечто фатальное, сходное с его отношением к своей главной болезни — что будет, то и будет. Никакой попытки избежать возможного краха. Будто какая-то сила не позволяла остановиться.

В двадцатых числах августа Потапенко приехал в Москву. Он опять разминулся с Чеховым. Тот накануне уехал на юг. Именно в тот день, 20 августа, «Чайка» была пропущена цензурным комитетом. Игнатий Николаевич рассказал в письме, что помимо исправлений, сделанных Чеховым, он, уточнив пожелания Литвинова, внес незначительные перемены в некоторые реплики и обещал представить два экземпляра в комитет в самом конце августа, чтобы ее рассмотрели в начале сентября. Свое письмо Потапенко послал в Феодосию на дачу Суворина, куда, как ему сказали, поехал Чехов. Но кто-то слышал, будто он отправился на Кавказ.

Кажется, Чехов сам не знал все лето, куда он тронется, едва закончит стройки и повесть. Он собирался туда и сюда, а в промежутке — побывать в Ясной Поляне. Но перенес поездку к Толстому на сентябрь. Однако через Меньшикова, заехавшего в Мелихово по пути к Толстым, передал, что охотно бы приехал и даже помог бы М. Л. Толстой принимать больных, но пугает изобилие гостей.

Меньшиков все передал и с восторженной иронией рассказал в письме: «Софья Андреевна, со свойственною ей тонкостью, заявила, что такое уж их несчастье, что целые толпы разной сволочи осаждают их дом, а люди милые и дорогие им стесняются приехать», «но скажите ему, что мы всем сердцем

рады и примем его… <…>. Татьяна „очень Вас любит“, но чувствует какую-то грусть за Вас, думает, что у Вас оч[ень] большой талант, но безжизненное материалистическое] миросозерцание» и пр. <…> «Скажите, он очень избалован? Женщинами?» — «Да, — говорю, — к сожалению, избалован». — «Ну, вот, мы говорили об этом с Машей и советовались, как нам держать себя с ним. Эти дамы — противно даже — смотрят ему в глаза: — „Ах, Чехов вздохнул, Чехов чихнул!“ — „Мы с Машей решили его не баловать“, — прибавила Таня с прелестною откровенностью. Вы и представить не можете, как это мило было сказано. Я посмеялся и заявил, что непременно напишу Вам обо всем этом».

Меньшиков передал и мнение Толстого о Чехове: «Лев отозвался о Вас так, что Вы большой и симпатичный талант, но связанный (как я подсказал ему) *скептическим* миросозерцанием, и он боится даже надеяться, что Вы высвободитесь из этих пут (как, — прибавил он, — можно было ждать от Лермонтова, например). Чувствуется, что Лев очень любит Вас и следит за Вами, но не без родительской тревоги».

Но, может быть, эта «тревога» Толстого и «грусть» его дочери, которые Чехов почувствовал во время предыдущих встреч, удерживали его от поездки в Ясную Поляну. Он тоже, наверно, думал, как «держать» себя с именитым и знаменитым семейством, и явно не «баловал» своими визитами. Сохранял уважительную дистанцию.

* * *

Итак, не к Толстым, не к Суворину в Феодосию и не на Кавказ поехал Чехов из Москвы 20 августа, а в Таганрог. Он объяснил это желанием посмотреть «свою библиотеку», то есть узнать судьбу книг, посылаемых им в родной город. С недавних пор городскую общественную библиотеку в Таганроге опекал Павел Федорович Иорданов, санитарный врач, член городской управы, известный в городе попечитель и благотворитель. Из тех, кто не ограничивался посильным денежным пожертвованием на благое дело, но участвовал в нем лично, отдавал свое время и силы.

Состояние библиотеки Иорданов нашел плачевным, о чем еще весной написал Чехову и прислал список книг, полученных от него. Учет велся библиотекарем небрежно, часть книг безвозвратно пропала. Иорданов надеялся поправить дело и поделился с Чеховым своими «мечтаниями»: «вывести библиотеку из того захиревшего состояния, в котором она находилась до сих

пор»; устроить для нее особое здание вместо постыдной «хижины», где ютилась библиотека, и в этом помещении найти место «и народной читальне, и залу для народных чтений». На это Чехов ответил в июле 1896 года: «Ваша мысль об устройстве особого здания для библиотеки чрезвычайно симпатична, и я могу заранее пообещать Вам свое участие в ее осуществлении по мере сил, но самое горячее». И пообещал заехать в Таганрог дня на два, по пути на Кавказ.

Чехов задержался в Таганроге всего на два дня. Неизвестно, видел ли он ту «хижину», в которой ютилась библиотека, но, судя по дальнейшей переписке, поверил в Иорданова. Однако вряд ли намеревался сразу же теперь обращаться к доброму другу Шехтелю с просьбой о проекте нового здания. Разговор с Суворинским в феврале 1896 года о новом здании для Суворинского театра остался только разговором. Чехову было неловко перед Францем Осиповичем. Еще неудобнее Чехов, наверно, чувствовал себя после истории с «Народным дворцом».

В апреле 1896 года Чехов рассказал Шехтелю: «Как-то в моем присутствии небольшой дамский кружок, с известной бар. Штевен во главе, завел разговор о постройке в Москве Народного дворца. Я узнал, что затевается нечто en grand, с народным театром, с читальней, с библиотекой и с помещением для воскресных классов, и что ассигнуется на это несколько сот тысяч, жертвуемых московскими благотворительницами. Дамы рассуждали горячо, но желания их и намерения имели характер чего-то бесформенного, апокалипсического, ни одна не могла сказать определенно, какое представление имеется о будущем Народном дворце <…> я сказал, что недостаточно одних намерений и денег, нужно еще определенно знать, чего хочешь <…>» Чехов посоветовал обратиться к специалисту, к Шехтелю, и сам написал другу. Тот ответил тут же: «Ваше письмо не дало мне спать целую ночь, лежа в постели, я скомпоновал уже в общих чертах проект <…> я очень занят, но теперь, раз уже в моей голове начинает созревать чуть ли не до деталей этот проект, — я его сделаю, может быть, даже и в том случае, если не обратятся ко мне».

Дамы торопили Чехова, торопили Шехтеля. Тот набросал проект начерно… И вдруг всё затихло… В это время еще непонятно — пока? навсегда? Поэтому обращаться сейчас к Шехтелю с просьбой о таганрогской библиотеке, вероятно, было бы неловко. К тому же Чехов недоверчиво относился к грандиозным, но неопределенным замыслам, поэтому их договоренность с Иордановым была очень конкретна и реальна. Решили, что Чехов покупает для библиотеки книги на свои деньги

и на средства, выделяемые городской управой. Собирает их у издателей. Отдает книги из своей домашней библиотеки, в том числе с дарственными надписями. Все это он переправляет в Таганрог.

Природное свойство — видеть задуманное реальное дело в целостности, в возможностях, в оптимальном решении — соединялось в Чехове с существованием в мире своих вымышленных героев. Но эти начала не мешали друг другу. В воображаемом мире тоже все виделось автору в художественном единстве, психологическом и сюжетном осуществлении за рамками повествования.

Чехову, Иорданову или им вместе пришла в голову мысль об учреждении при библиотеке городского музея, где хранились бы и выставлялись изобразительные, рукописные материалы, раритеты и исторические документы. Вскоре Чехов предложил устроить при библиотеке большой, настоящий справочный отдел. Он набросал осенью 1896 года в письме Иорданову целую программу такого отдела, определил состав, перечислил необходимые виды изданий. Все это, по его соображениям, «чтобы привлечь в библиотеку деловую, серьезную публику». С этой же целью Чехов предложил помощь в таком деле, как подписка на журналы и газеты: «Конечно, на выписке изданий библиотека заработала бы немного, но важно не это, а то, что библиотека с течением времени приохотила бы к себе публику и стала бы для нее необходимой».

Договорились они и о том, что участие Чехова во всех этих трудах остается в секрете для публики, а особенно для газет, и таганрогских, и столичных. Но тут оба были бессильны. Все та же пресловутая московская газета «Новости дня» опубликовала корреспонденцию из Таганрога, что «известный беллетрист», г. Чехов, предложил Иорданову выписывать все книги для библиотеки через него, г. Чехова, «так как это даст возможность приобретать их гораздо дешевле». Хорошее бескорыстное трудоемкое дело было сведено к мелочному расчету. Чехов назвал это «вздором», но «довольно неприятным». Местная пресса добавила свою лепту в этот «вздор». Газета «Таганрогский вестник» сообщила горожанам, что Чехов, якобы в ознаменование 90-летия Таганрогской мужской гимназии, внес полугодовую плату за обучение «указанного им воспитанника», ну а «попечения А. Чехова о городской библиотеке всем уже известны. Очевидно, что талантливый беллетрист питает нежные чувства к своей родине. Этим не всякий может похвастаться».

Никакого «юбилейного» жеста не было. За сына хлопотал родственник Людмилы Павловны, вдовы Митрофана Егоровича. И

не полугодовой платой ограничилась помощь, а многолетним участием. Как вспоминал Георгий Митрофанович, именно он получал от брата деньги и вносил их за гимназиста, а Евтушевскому-отцу говорили, что его сын освобожден от платы.

23 августа Чехов уехал в Ростов-на-Дону. На следующий день он уже в Кисловодске. 31 августа Чехов выехал в Новороссийск. Оттуда 2 сентября — в Феодосию, на дачу Суворина. Отсюда он уехал 14 сентября. 17-го уже был в Мелихове.

Странная поездка: переезды, переезды… За все время всего лишь три письма домой, в несколько строк: «Жив и здоров». В Кисловодске — странная охота вместе с доктором Оболонским и бароном Штейнгелем на Бермамуте (плато в двадцати километрах от города). Чехов говорил, что отовсюду его гнал холод, но зачем-то отправился на эту охоту, от которой в дневнике осталось лишь одно впечатление: «холод и сильнейший ветер». А от Феодосии — лишь запись: «Видел И. К. Айвазовского, который сказал мне: „Вы не хотите знать меня, старика“, — по его мнению, я должен был явиться к нему с визитом».

Немногочисленные письма, с повторяющейся фразой «низко всем кланяюсь», походили на записки, почти на телеграммы. Словно Чехов опасался выдать свое душевное состояние. И все-таки оно прорвалось в письме от 12 сентября двоюродному таганрогскому брату: «Милый Жоржик, я всё еще на юге. <…> Собираюсь домой. 17 окт[ября] в Петербурге пойдет моя новая пьеса. <…> Пьеса моя пойдет в Александринском театре в юбилейный бенефис. Будет торжественно и шумно. Вот приезжайка!»

Переживания из-за повести «Моя жизнь», проходившей цензуру, и пьесы, пропущенной Театрально-литературным комитетом и разрешенной к постановке, наверно, усилили беспокойство, скрытое волнение Чехова. Охота ли на Бермамуте, холодные купания в море, нервное ли напряжение, что бы то ни было, но у Чехова началось кровотечение, которое он утаил от домашних, не упоминал в письмах. Зато все чаще шутил над собой и судьбой своей пьесы. То в письме Щеглову: «Около 6-го жажда славы повлечет меня в Северную Пальмиру, на репетиции моей „Чайки“. Предполагается, что эта пьеса пойдет 17-го октября в бенефис Левкеевой, причем роль героини 17 лет, тоненькой барышни, будет играть сама бенефициантка».

Е. И. Левкеевой было уже 45 лет, она имела успех в комических ролях, и ее участие в «Чайке» не предполагалось. Она выбрала для бенефиса пьесу А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева «Счастливый день», которая должна была идти в этот же вечер, сразу после премьеры «Чайки». Шутка насчет Левкеевой вдруг

обернулась реальностью — роль Нины Заречной предназначили в театре 42-летней М. Г. Савиной, премьерше александринской сцены. Роль Тригорина взял Сазонов, не любивший ни Чехова, ни его пьесы.

Ставил «Чайку» Е. П. Карпов, сам драматург, имевший опыт постановок. Это о нем Чехов писал Щеглову осенью 1888 года: «Современный театр — это мир бестолочи, Карповых, тупости и пустозвонства. На днях мне Карпов похвастал, что в своих бездарнейших „Крокодиловых слезах“ он пробрал „желторотых либералов“ и что потому-то его пьеса не понравилась и обругана. После этого я еще больше возненавидел театр и возлюбил тех фанатиков-мучеников, которые пытаются сделать из него что-нибудь путное и безвредное».

Этот отзыв, высказанный задолго до «Чайки», — будто реплика из будущей пьесы, негодующее недовольство Треплева: «<…> современный театр — это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят всё одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своею пошлостью».

Карпов, по мнению современников, был самолюбив, претенциозен, любил хвалить себя как драматурга и режиссера. Когда, очаровав общество своим пением или чтением чужих рассказов, оказывался в центре внимания, тогда становился добродушным и простым. Но чаще играл в значительность и ждал похвал. Известность Чехова как прозаика едва ли задевала Карпова. А на драматургической ниве он, к 1896 году автор пьес, некоторые из них шли на императорских сценах, с участием Савиной, Ермоловой, чувствовал себя уверенно. К тому же он был в это время главным режиссером Александринского театра. Поэтому в доброжелательном тоне его писем Чехову ощущалась снисходительность. Карпов просил Чехова приехать в Петербург, чтобы «потолковать» о «необычной пьесе». Но что он справится с ней, Евтихий Павлович, по-видимому, не сомневался.

Чехов полагал пробыть в Мелихове до 1 октября, потом — в Москву, задержаться там до 7-го. Потом «от расстегаев к славе и музам». Покориться в столице «театральному вихрю». На следующий день после премьеры — домой, «к телятам».

* * *

До «славы» оставался месяц. А пока Чехов занимался земскими делами. Едва с его помощью в Лопасне открыли почту и телеграф, он начал сбор денег на шоссейную дорогу и сам внес 100 рублей.

Предпоследний сентябрьский день Чехов провел в Серпухове, на очередном заседании Санитарного совета. Речь шла о тяжелейших бытовых условиях на местных фабриках. Опять, в который раз, обсуждали состояние школьных зданий, в которых ученики мерзли от холода, а квартира учителя не годилась для жилья. Может быть, в этот день у Чехова возникло намерение построить еще одну школу, подобную Талежской, которую уже называли образцовой.

8 октября он выехал из Москвы в Петербург. Остановился у Суворина, на верхнем этаже, где ему отвели две комнаты с отдельным входом. Но в театр, хотя и обещал, Чехов «побежал» не сразу. До него уже дошли слухи, что Мария Гавриловна Савина не является на репетиции и склонна отказаться от роли юной Заречной, но ни за что не возьмет и роль немолодой актрисы Аркадиной. Может быть, согласится на роль Маши Шамраевой.

Предварительный расклад рухнул. Карпов вел переговоры с исполнительницами. Остальные участники постановки с привычным интересом наблюдали за происходящим. На репетициях помощник режиссера подавал реплики за отсутствующих. Выучить роль удосужился лишь Сазонов. Остальные читали по тетрадкам. Всего на подготовку спектакля отводилось не более десяти дней. Такова была обыкновенная практика. Даже для такой «необычной» пьесы, как «Чайка». Карпов положился на свой опыт и не хотел осложнять отношения с актерами.

Роль Заречной передали Вере Федоровне Комиссаржевской. Она рассказывала позже, что сразу прочла «Чайку»: «Всю ночь проплакала. Утром я любила Чайку, и была она моей — я жила душою Чайки». Комиссаржевская вступила в труппу Александринского театра весной 1896 года, имея репутацию оригинальной актрисы, покорившей провинциальную публику. Проницательные критики прочили ей будущее «большой артистки». Один из них писал о Вере Федоровне в 1894 году: «Игру г-жи Комиссаржевской нельзя назвать искусством — это сама жизнь <…> она не декламирует монологов, она не прибегает к этим крикам, которыми многие так злоупотребляют. Она просто говорит, но ее простая речь трогает сердце».

Зрительский успех Комиссаржевской в провинции нарастал, а

с ним — зависть коллег, интриги, «подкопы». Столичная критика встретила ее прохладно. А. Р. Кугель писал после дебюта в Александринском театре, что не нашел в игре Комиссаржевской признаков недюжинного таланта. Она была чужда ему как актриса иного, нового толка. И он принял по отношению к ней чуть насмешливый тон и делано удивлялся ее успеху у молодежи. В таком же тоне он говорил о драматургии Чехова. Чехов и Кугель были знакомы, что называется, шапочно. Особой приязни друг к другу не испытывали. Однако таким откровенным, личным недругом Чехова, как Буренин, Кугель, конечно, не был.

Буренина могло раздражать в Чехове многое: отношения с Сувориным, литературный успех, неуязвимая сдержанность при встречах и казавшееся Виктору Петровичу презрительным молчание Чехова в ответ на его публичные выпады. С каждым годом все заметнее его злость перерастала в злобу. Былые сплетни теперь походили на клевету. Чехов будто мешал ему жить. Некоторым литераторам оказывалось легче заручиться поддержкой этого влиятельного критика, если разделить его недоброжелательство к Чехову, иногда похожее на ненависть.

Кугель, темпераментный, самолюбивый, последовательный в своих пристрастиях и заблуждениях, тоже бывал несправедлив. Но чаше всего это относилось не к личности драматурга или актера, а к пьесе или исполнению. Если они не отвечали театральным вкусам «старовера», как называл себя Кугель. Но иногда, как в случае с Чеховым, эта предвзятость проявлялась много лет и была беспощадной. Он любил Островского, Гоголя. Ценил мастерство Савиной, ее выработанную манеру, со строгим отбором приемов, динамичную, точную по форме. Участие Комиссаржевской в новой пьесе не очень чтимого Ку-гелем автора, да еще в роли, от которой отказалась Савина, подогревало интерес этого критика к премьере.

До нее оставались считаные дни. Чехов не был на репетициях ни 10, ни 11 октября. В один из этих дней он встретился у Сувориных с Григоровичем: «Он поразил меня своим мертвенным видом. Лицо желто-землистого цвета, как у раковых больных». Может быть, Чехов не исключал, что это их последнее свидание. Если бы Чехов был мистиком, то испугался бы явления смертельно больного Григоровича незадолго до премьеры «Чайки» на сцене того самого театра, куда, в том числе и по воле этого человека, не пропустили «Лешего». Но Чехов не верил в дурные предзнаменования. Он, конечно, жалел Григоровича. И одолевали его, судя по письмам, совсем другие предчувствия.

Вечерами он ездил в театр. В один из дней конфиденциально встретился с Потапенко, видимо, чтобы предупредить — на

премьеру он ждет сестру и Мизинову и лучше бы приятелю с женой посмотреть «Чайку» в другой день. Побывавши на новой квартире Потапенко, описал сестре «семейное гнездо»: «На столе у него прекрасная фотография Марии Андреевны. Сия особа не отходит от него; она счастлива до наглости. Сам он состарился, не поет, не пьет, скучен. На „Чайке“ он будет со всем своим семейством, и может случиться, что его ложа будет рядом с нашей ложей, — и тогда Лике достанется на орехи».

Шутка или водевиль в трех строчках — сожительница и бывшая возлюбленная в соседних ложах — обнаруживали не комическую, а драматическую изнанку романа Мизиновой. Недолгая связь с Потапенко и рождение девочки заметно изменили Лидию Стахиевну. Она пока не строила никаких планов, будто ждала чего-то, но уже не с тем нетерпением, как в былые годы. Как и прежде, не знала, чего она хочет более всего.

Пригласив сестру и Мизинову на премьеру, Чехов вдруг засомневался и 12 октября посоветовал Марии Павловне отложить поездку: «Пока „Чайка“ идет неинтересно. <…> Все злы, мелочны, фальшивы, на улице то весеннее солнце, то туман. Спектакль пойдет не шумно, а хмуро. Вообще настроение неважное. <…> По-моему, лучше отложить поездку в Петербург до зимы, когда здесь будет не так уныло. Полагаю решение сего вопроса на твое благоусмотрение».

Это письмо он, видимо, написал, побывав наконец на репетиции. Чехов и Потапенко, никем не замеченные, полтора часа просидели в темном зрительном зале. Потапенко запомнил что многие актеры читали роли по тетрадкам, кого-то не было вовсе: «Когда режиссер упрекал актера, читающего по тетрадке: „Как вам не стыдно до сих пор роль не выучить!“ — тот с выражением оскорбленной гордости отвечал: „Не беспокойтесь, я буду знать свою роль…“»

Антон Павлович вышел из театра подавленный. «Ничего не выйдет, — говорил он. — Скучно, неинтересно, никому это не нужно. Актеры не заинтересовались, значит, — и публику они не заинтересуют». У него уже являлась мысль — «приостановить репетиции, снять пьесу и не ставить ее вовсе». Он мрачно шутил, будто ему снится, как его женят на нелюбимой женщине и ругают в газетах.

На письмо Семенковича с предложением побывать в конторе или увидеть лично графа Орлова-Давыдова, чтобы тот «дал и денег и свое влияние» на строительство шоссе от Лопасни, Чехов ответил: «Не лучше ли списаться с графом? Ведь если он примет меня, как вельможа, и станет говорить со мной юпитерским тоном, свысока, то я не стану разговаривать и уйду. Я боюсь

генералов». Он, конечно, не забыл, как жена и сестра графа держались во время встреч по «холерным делам», точно Чехов пришел к ним наниматься.

Чехов уже давно никому не позволял говорить с собой свысока, «по-барски». Он не извинял чванливости, сословной спеси. Как не прощал сплетни и клеветы в свой адрес. Молча отторгал такого человека — клеветник словно умирал для него. Привыкнув в последние годы к мелиховскому уединению, куда приезжали те, кого он приглашал, Чехов избегал нежелательных встреч, после которых долго восстанавливал душевное равновесие.

В Петербурге это удавалось труднее. В столичной литературно-театральной среде злословили, что Чехов заносится, держит себя не по чину. И дотоле несловоохотливый собеседник, он удивлял петербургских знакомых своей замкнутостью, молчаливостью. Кому-то они казались даже угрюмостью, а сам Чехов — не очень любезным, чуть ли не гордецом.

Из-за пареза и невралгии Чехов стал хуже видеть, а подобрать стекла оказалось очень трудно, потому что у него был астигматизм (правый глаз близорукий, левый дальнозоркий). Поэтому Чехов чуть-чуть запрокидывал голову и прищуривался, чтобы лучше видеть. С некоторого времени он заметил у себя ослабление слуха. Все это вынуждало более слушать, чем говорить. Летом 1896 года он пошутил над собой: «Совсем калека!» Чехов уже незаметно ограждал себя от сильных впечатлений. А тут премьера…

13 октября, в воскресенье, он пришел на пятую репетицию уже не скрываясь. Провел в театре почти весь день. Актеры ждали от автора указаний, а он все сворачивал к главному: простоте тона. Опасался, что привычные актерские приемы убьют непринужденность. Актеры остались недовольными, даже разочарованными. Некоторые не понимали, как играть в этой странной пьесе. Это очевидно из дневниковых записей Смирновой. Ее мужу досталась роль Тригорина. На просьбу Карпова — быть темпераментнее — он отвечал, что «не видит в роли данных, чтобы играть ее горячо». Сам или по подсказке режиссера Сазонов выбрал грим: седая голова, рыжая борода. Но даже Софья Ивановна, не перечившая своему самоуверенному мужу, забраковала такую нелепость.

13 октября Суворин записал в дневнике: «Ужинали — Чехов, Давыдов и я. Давыдов сказал: „По-моему, талантливый человек не может быть мрачен. Он все замечает, все видит, вечно заинтересован чем-нибудь“. Он разумел актрис и актеров». Но, может быть, Владимир Николаевич имел в виду Чехова,

расстроенного репетициями. Затем заговорили о мизансценах, предложенных Карповым. Давыдов их критиковал: «Надо, чтобы все было уютно».

В понедельник, 14 октября, Чехов следил за репетицией вместе с Потапенко. Она проходила в Михайловском театре. Камерные ли размеры этой сцены, результат ли предыдущих репетиций или, как вспоминал Потапенко, произошло «театральное чудо», «Чайка» вдруг ожила: «Когда же вышла Комиссаржевская, сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра. <…> В зале не было публики, но был Чехов; она играла для него одного и привела его в восторг». Чехов написал родным: «Комиссаржевская играет изумительно».

15 октября Чехов не пошел на репетицию в Александринский театр. До премьеры оставалось два дня. Репетировали еще без декораций, спорили из-за мизансцен. Особенно по поводу простыни, накинув которую, Комиссаржевская читала в финале самое начало монолога «мировой души»: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли…»

Между двумя исполнениями Ниной Заречной «странной» пьесы Треплева происходили все события. Увлечение Нины известным беллетристом Тригориным, любовником Аркадиной. — Попытка самоубийства Треплева, потрясенного провалом своей пьесы, крахом своей любви к Нине, неудачными поисками новых слов, новых форм для томящих его образов и сюжетов. — Рождение и смерть ребенка Нины от Тригорина, бросившего ее и вернувшегося к Аркадиной. — Скитания Нины по провинциальным театрам.

Ремарка перед финальным исполнением монолога — «садится на скамеечку, накидывает на себя простыню, которую взяла с постели», — принадлежала Чехову. На репетиции Комиссаржевская выходила в таком виде на авансцену. Карпов, видимо, не задумывался, как это будет смотреться из зрительного зала. Опытные актеры подсказывали режиссеру, что это опасно — не засмеются ли в зале? Но Карпов оставил свою мизансцену. Смирнова, вернувшись с репетиции, записала в дневнике: «Конец еще не слажен, пьеса идет чуть ли не с трех репетиций. Давыдов и Николай (Сазонов. — А. К.) защищали Комиссаржевскую от Карпова, который по своей неопытности заставляет ее вести финальную сцену у задней кулисы, загородивши ее столом. Давыдов уверяет, что это говорящая голова. Много было разговоров о том, можно ли в простыне выходить на авансцену.

Карпов подсел ко мне, но когда я ему сказала, что пьеса плохо срепетована, ушел и больше не возвращался».

Назавтра, 16 октября, на генеральную репетицию, Чехов пришел вместе с Потапенко. Спектакль игрался уже в декорациях, актеры были в костюмах, в зале присутствовали первые зрители. Потапенко запомнил, что на сцене царила неопределенность: «Что-то как будто переломилось, словно артисты <…> надорвали свои силы. <…> Все шло гладко, но бледно и серо. Чеховские люди все больше и больше сбивались на александринских. Актеры, которые так вдохновенно на той репетиции отошли от себя, как будто забыли, как это они сделали». Публика в зале скучала.

Режиссер и актеры словно приспосабливали «Чайку» к себе, своей сцене, своим зрителям. Пьеса тускнела, увядала. Комиссаржевская, сразу сроднившаяся с пьесой, одна не могла спасти положение. На этом неопределенном фоне она сама становилась странной, а для кого-то в зале, может быть, и смешной. Все балансировало, попадало в опасную зависимость от случайности, вроде простыни, о которой так и не договорились на репетиции.

Потапенко запомнил обед накануне премьеры. Чехов, по его словам, «предчувствовал неуспех и сильно нервничал». То же самое он сказал сестре, когда утром встретил ее на вокзале: «Актеры ролей не знают… Ничего не понимают. Играют ужасно. Одна Комиссаржевская хороша. Пьеса провалится. Напрасно ты приехала».

Глава десятая. АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР. 17 ОКТЯБРЯ

Отличалась ли публика на премьере «Чайки» от обыкновенной? Поклонники Левкеевой пришли на бенефис любимой комической актрисы, которая играла в пьесе «Счастливый день», шедшей после «Чайки». Эти зрители ждали развлечения, удовольствия.

Петербургские литераторы и театральные критики собрались, чтобы увидеть новую пьесу Чехова. Казалось бы, привычная премьерная и бенефисная публика. Одни «свои» приготовились шумно приветствовать Левкееву в конце вечера. Другие «свои» любопытствовали, что написал их собрат по литературному цеху. Однако для многих из пишущей братии Чехов был чужой. Он, судя по письмам предшествующих лет, подозревал это, но не отравлял себя размышлениями об истоках и размерах скопившейся неприязни. В том числе тех, кто сидел в зале Александринского театра 17 октября 1896 года.

Ясинский писал о Чехове в «Петербургской газете» весной этого года уже с нескрываемым недобрым чувством: «Не все рождаются в сорочке, и не каждому писателю суждено сосредоточивать на себе восторженное внимание современников». Куплетский много раз до этого дня уверял читателей газеты «Сын отечества», что повести Чехова не оригинальны, слабы, а талант его страдает существенными недостатками. Россовский давно твердил в газете «Гражданин», что Чехов зазнался, что он «пренебрег литературной школой и <…> художественными вкусами читающей публики (может быть, и дурными, но все же господствующими)». И вообще сочиняет всякий «вздор».

Если собрать воедино подобные печатные и устные высказывания о Чехове других драматургов и критиков, пришедших на премьеру «Чайки», возникло бы ощущение, что зал распирало от желания объединиться и поставить выскочку на место. Но тут же, в соседних креслах, сидели литераторы и журналисты, признававшие талант Чехова. Таковых, наверно, было больше, чем откровенных недоброжелателей.

Конечно, не существовало никакого прямого сговора между теми, кому не нравился Чехов, кого обрадовали нелестные суждения о «Чайке», уже разошедшиеся в столичных театральных и литературных кругах. Не встречались специально Мережковский и Боборыкин. Не списывались заранее Ясинский и Кугель, не договаривались о «кошачьем концерте», свисте, шиканье. Была тайная и явная недоброжелательность небольшой

группы людей. И царило веселое настроение толпы, ожидавшей выхода бенефициантки. А заодно согласной поглядеть «комедию» г. Чехова.

Вид зрительного зала запомнила Шаврова: «Нарядная публика, вся пресса, все критики, литераторы. <…> В театре было много артистов драмы, оперы и балета, участвовавших в чествовании бенефициантки, и много шумной молодежи на галерке». В общем, как тогда говорили, «весь Петербург». Первые реплики учителя Медведенко — «Отчего вы всегда ходите в черном?» и ответ Маши Шамраевой, в которую он влюблен: «Это траур по моей жизни» — зал выслушал спокойно. Актеры так и не выучили как следует свои роли. Они надеялись на суфлера. Публика к этому привыкла. Однако вялый тон каких-то разговоров на сцене о деревенской скуке, о рутине в искусстве сразу навеял скуку в зале.

Но и это обыкновенная история в театре. Зрители выражали ее всегда одинаково. Позволяли себе кашлянуть, тихо перемолвиться с соседом. Если бы актеры хотя бы играли в тот вечер с живым интересом к своим героям, то недоумение первых минут, может быть, рассеялось. За время нескольких репетиций, осложненных неурядицами из-за распределения ролей, актеры не поняли, не уловили «простоты» тона. Того, о чем говорил им автор. Скрытая ирония «Чайки», внутренний психологический комизм и трагизм пьесы оставались для них неразгаданной загадкой.

А скука зрительного зала нарастала, искала выхода, повода, чтобы вырваться наружу. Зрители словно ждали какой-нибудь нелепицы. На ее, публики, взгляд, в «Чайке», написанной не по привычным канонам, было за что зацепиться насмешливому глазу, над чем посмеяться. И салонному острослову, и гостинодворскому зубоскалу. В театре все рядом и все равны: сановный чиновник и приказчик из магазина.

Актер Ю. М. Юрьев запомнил: «В партере кто-то нарочито громко вздохнул, раздалось протяжное: „О-ох!“ Выходка скучающего зрителя понравилась, ее встретили сочувственно. В знак солидарности в ответ прокатился легкий смех. Смех, по-видимому, ободрил некоторых смельчаков и подвигнул их на дальнейшие действия». Зал будто получил разрешение на «свободу». Публика быстро превращалась в толпу. Возмущение некоторых зрителей: «Тише!», «Молчите!», «Как не стыдно!» — оказалось тщетным. Партер, бельэтаж и галерка соревновались в пошлом и безнаказанном издевательстве.

Окончательно всё сорвалось в первом акте, едва Комиссаржевская, в белом, села на бутафорский камень и,

освещенная театральной луной, прочла первые строки пьесы Треплева: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки…»

Публика, притихшая на короткое время, пустилась во все тяжкие. Именно партер и бельэтаж, а не галерка, как будто объединились с героиней пьесы, актрисой Аркадиной. Она сорвала домашнюю премьеру сына, посягнувшего встать в ряды «жрецов» искусства да еще с какой-то новой, необычной пьесой о «мировой душе». Зрители мешали представлению «Чайки». Тем самым, вольно и невольно, они выказывали отношение к автору. Он заставил их слушать какие-то нелепые разговоры, какой-то странный монолог со словами: «Общая мировая душа — это я… я… Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. <…> Во вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух».

В пьесе доктор Дорн не посмел остановить Аркадину и возразить ей. Слова одобрения он сказал Треплеву наедине. Зрители, которых заинтересовала «Чайка», не смогли остановить лавину насмешек, неудержимый смех вконец разыгравшихся весельчаков из публики. Между сюжетом пьесы (прерванное представление) и «сюжетом» спектакля 17 октября 1896 года (скандал в зрительном зале) возник резонанс.

На сцене Треплев убегал со словами: «Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию! Мне… я…» В зале, может быть, именно в это время Чехов вышел из ложи Суворина. Потом его видели за кулисами, в кабинете Карпова, в уборной Левкеевой.

Авилова запомнила, что поднялось в зале, едва опустился занавес после первого акта: «…хлопки заглушались свистом, и чем больше хлопали, тем яростнее свистели. И тогда ясно стал слышен и смех. Мало того, что смеялись, — хохотали. Публика стала выходить в коридоры или в фойе, и я слышала, как некоторые возмущались, другие негодовали:

— „Символистика“… „Писал бы свои мелкие рассказы“… „За кого он нас принимает?“… „Зазнался, распустился“…

Остановился передо мной Ясинский, весь взъерошенный, задыхающийся.

— Как вам понравилось? Ведь это чёрт знает что! Ведь это позор, безобразие…

Его кто-то отвел. Многие проходили с тонкой улыбкой на губах, другие разводили руками или качали головами. Всюду слышалось: Чехов… Чехов…»

Мимо Авиловой, сидевшей в амфитеатре, текла публика

партера. Она направлялась в фойе, где разыгрывался второй акт спектакля, затеянного зрителями. «Режиссировали» его, а также исполняли главные роли петербургские литераторы и рецензенты. Сам по себе затевался своеобразный сговор: как завтра отщелкать Чехова в газетах. Театральные критики обменивались возмущением, остротами, злорадными репликами, будто уже строчили рецензии. Они уловили общее мнение: пьеса ужасна, автора надо «пробрать», сказать наконец вслух, что он «исписался».

Однако в фойе, помимо торжества литературных недоброжелателей Чехова, совершалось нечто и в стане его приятелей. В разговорах с противниками пьесы они не защищали «Чайку». Возмущались поведением публики, но соглашались, что пьеса не сценична, что она «странная».

Лейкин написал в дневнике вечером 17 октября: «По-моему, в том, что дал для сцены Чехов, нет пьесы, но есть совершенно новые типы и характеры, хотя и не особенно ярко намеченные. Это набросок пьесы — и только. Видно также, что Чехов стремился быть как можно более оригинальным. Ни банальностей, ни общих мест никаких, а публика Александринского театра любит банальности и общие места. <… > Друзья Чехова ушли из театра опечаленные. Мне самому было жалко его за неуспех».

В рецензии, появившейся на следующий день, Лейкин воспроизвел главные претензии литераторов и критиков к «Чайке»: «Она не для сцены»; — «Движения никакого»; — «Падение, полное падение»; — «Нет, он не драматург». Позже, в письме Чехову, Лейкин повторил свои впечатления от поведения рецензентов на премьере: «Они тотчас же после первого акта зашипели, забегали по коридорам и буфету, с апломбом восклицая: „Где тут действие! Где тут типы! Вода и вода“, — прямо подготовляя неуспех первого представления, ибо обращались с разговорами к бенефисным завсегдатаям, а те в большинстве случаев глупы и слушают то, что им говорят, сами ничего не понимая».

Особенно Николай Александрович запомнил возмущение Кугеля и рассказал в письме Чехову: «Предчувствуя, что он наутро начнет выливать помои на пьесу, я отправился в ложу Худековых и просил Николая Худекова, чтобы он взял Кугеля под уздцы и сдержал. То же самое прибавила от себя и добрейшая Надежда Алексеевна (сестра Л. А. Авиловой. — А. К.), его мать, которой пьеса нравилась! Сын обещал матери и мне, но наутро все-таки появилась ругательная заметка Кугеля, которая меня буквально взбесила».

У Лейкина была возможность защитить «Чайку». В той самой «Петербургской газете», для которой писал Кугель. Но он дал вместо рецензии зарисовки публики в манере своих «Осколков» — ни анализа пьесы, ни разбора спектакля. Хотя накануне, в дневнике, обещал «устами действующих лиц» своих «Летучих заметок» «указать на достоинства „Чайки“ как литературного произведения».

Понять оригинальность «Чайки» Лейкин не смог. Как и Суворин, чье мнение Лейкин слышал в антрактах и при разъезде публики. И воспроизвел в своих «заметках», где он обозначен главным внешним признаком — «борода лопатой»: «Так очень многие пьесы в первое представление проваливаются, а потом в последующие представления отлично смотрятся и даже хорошие сборы дают <…> ведь сегодня бенефисная публика. <…> Ей никогда ничего не нравится. <…> А к следующему представлению сделают необходимые купюры, и пьеса будет смотреться».

Какие купюры? Все новое, «странное» заменить привычным: «Нужны эффекты, нужна рутина сценическая, нужны банальности». Что же до злых реплик и выпадов, то не стоит обращать внимание: «Букашки, мошки, таракашки. Это они от зависти к таланту». Так Лейкин запомнил слова Суворина на премьере.

Сам Алексей Сергеевич изложил свое мнение в дневнике ночью, после спектакля: «Пьеса не имела успеха. Публика невнимательная, не слушающая, кашляющая, разговаривающая, скучающая. <…> Но в пьесе есть недостатки: мало действия, мало развиты интересные по своему драматизму сцены и много дано места мелочам жизни, рисовке характеров неважных, неинтересных. Режиссер Карпов показал себя человеком торопливым, безвкусным, плохо овладевшим пьесой и плохо срепетировавшим ее».

Далее шло признание: «Я убежден был в успехе и даже заранее написал и велел набрать заметку о полном успехе пьесы. Пришлось все переделать». Но главный упрек Суворин адресовал автору: «Если б Чехов поработал над пьесой более, она могла бы и на сцене иметь успех». Он защищал Чехова от тех, кого счел литературными завистниками. В дневнике иронизировал: «Мережковский, встретив меня в коридоре театра, заговорил, что она не умна, ибо первое качество ума — ясность. Я дал ему понять довольно неделикатно, что у него этой ясности никогда не было».

В рецензии Суворин обрушился на «глашатаев сценического неуспеха» Чехова. Прибег к пророчеству, одному из любимых

своих приемов: «Ан. Чехов может спать спокойно и работать. <…> Он останется в русской литературе с своим ярким талантом, а они пожужжат, пожужжат и исчезнут».

Это пафосное заступничество оказалось сродни праведному негодованию Лейкина. Оба отозвались о «Чайке» почти снисходительно. Оба усмотрели в ней «сценическую неопытность» автора. Они почувствовали в пьесе что-то (отсутствие эффектов, равноправие действующих лиц, «горькую поэзию»). Однако «Чайка» осталась для них такой же тайной, как и для тех «судей», которых они от души бранили.

Но был зритель, который то, что рецензенты сочли недочетами, изъянами «Чайки», оценил как художественное открытие. Он не принадлежал к литераторам и журналистам. В пьесе талант Треплева угадал и признал доктор Дорн. «Чайку» сразу принял и восхитился ею юрист А. Ф. Кони. Это было еще одно созвучие между сюжетом пьесы и «сюжетом» ее судьбы в Александринском театре.

Кони не был на премьере — он увидел один из следующих спектаклей. Но, может быть, и 17 октября кто-то другой вслушивался в реплики героев, несмотря на шум в зале. И расслышал в них то, что вскоре уловил известный адвокат. Не могли же ретивые и громогласные рецензенты заразить всю публику своим недовольством.

Вслушивалась Авилова, взывавшая потом в своем письме, опубликованном «Петербургской газетой»: «Посмотрите, господа, на сцене „не пьесу“! <…> Может быть, после таких „не пьес“ мы и вокруг себя увидим то, чего не видали раньше, услышим то, чего не слышали». Смирнова записала в дневнике 17 октября: «Неслыханный провал „Чайки“. <…> Одного из лучших наших беллетристов, Чехова, освистали как последнюю бездарность. <…> Ума, таланта публика в этой пьесе не разглядела. <…> Ее мрачного, безнадежного колорита публика не поняла, а кричала: скучно! непонятно! Самый треск этого провала на сцене, где всякая дрянь имеет успех, говорит в пользу автора. Он слишком талантлив и оригинален, чтобы тягаться с бездарностями». Возмущалась публикой и безвестная зрительница, написавшая автору, что его пьеса «одна из лучших современных пьес, русских и иностранных» и всё его несчастье в том, что он ушел «далеко вперед».

Но какой-то злой дух уже вселился в публику. После антракта зрители вошли во вкус. Многие исполнители дошли от этих «шуток» до полуобморочного состояния. Комиссаржевскую отпаивали валерьяновыми каплями. Юрьев, находившийся среди актеров, запомнил трясущиеся от волнения руки К. А. Варламова:

«Господи, что же это такое? <…> Что же происходит?! С лишком тридцать лет я на сцене — и ничего подобного никогда не бывало!.. Ну, проваливались пьесы, шикали автору, шикали актерам… А это что же?! Да неужели такая срамная пьеса? Ведь нет же!!! Ничего не понимаю!»

Мемуарист воспроизвел свой разговор с Чеховым, который в начале второго акта вошел в зал и встал в проходе между партером и местами за креслами. «„Юрий Михайлович, скажите, что происходит? Неужели же так безобразно то, что я написал? <…>Так почему же?.. Почему?“ — допытывался Антон Павлович. — „Думаю, что в данный момент на этот вопрос вам никто не может ответить… Публика, как отравленная… Ничего не понять!“»

Это свидетельство важно потому, что уже в первом антракте в фойе распустили слух, будто автор сбежал от позора. Во втором антракте «бегство» Чехова оказалось главной темой разговоров: «Сбежал!» Странно, но этот слух остудил публику. Уже меньше шикали и «шутили». Словно у зрителей отняли сладостный момент: освистать автора, если он посмел бы выйти на поклоны. Поэтому, может быть, третий акт прошел тише. Ну, повеселились, когда на сцене Аркадина перевязывала сыну голову после его попытки самоубийства. Ну, посмеялись над объяснением Аркадиной и Тригорина, сыгранным актерами очень грубо. Но, едва опустился занавес, опять поднялся шум. Зрители продлевали редкое удовольствие — вести себя в зале Александринского, Императорского театра едва ли не как в цирке и смеяться над актерами, как над клоунами на манеже.

Последний акт — монолог несчастного Треплева о своем одиночестве; появление измученной, исстрадавшейся Нины; их диалог — оказался в таком противоречии с настроением зала, что взрыв был неизбежен. И он последовал, когда Комиссаржевская накинула на себя пресловутую простыню, о которой актеры спорили с Карповым на репетиции.

Комиссаржевскую не было слышно из-за хохота, свиста. Издевательское шипение не прекращалось до последней реплики Дорна, что Треплев застрелился. Едва занавес опустился, оно переросло в оглушительный свист. Он заглушал хлопки. Рецензенты торопились к выходу. Кто-то из них, конечно, остался на бенефис Левкеевой. Тут сцена и зал наконец обрели друг друга: речи, Савина поднесла ценный подарок, приветствия, цветы, лавровые венки… В общем, «Счастливый день».

* * *

Чехов ушел из театра незамеченным. Известно, что он бродил по Петербургу. В одиночестве поужинал в трактире Романова на Обводном канале. В первом часу ночи к Сувориным приехала Мария Павловна. Послали узнать, нет ли его у Потапенко, у Левкеевой, где собрались после бенефиса артисты. Нигде Чехова не было. Старший брат тоже искал у знакомых и тоже побывал у Сувориных. Оставил записку: «Это чудесная, превосходная пьеса, полная глубокой психологии, обдуманная, хватающая за сердце…»

Чехов пришел в два часа ночи. Суворин записал в дневнике: «Я пошел к нему, спрашиваю, где вы были? „Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление… Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача“. Завтра в 3 ч[аса] хочет ехать. „Пожалуйста, не останавливайте меня. Я не могу слышать все эти разговоры“. Вчера еще, после генеральной репетиции, он беспокоился о пьесе и хотел, чтобы она не шла. <…> Чехов очень самолюбив, и когда я высказывал ему свои впечатления, он выслушивал их нетерпеливо».

Говорить автору о недостатках пьесы, о слабости спектакля, рассуждать о публике, о скандале? И все это ночью? Не удивительно, что Чехов прервал ненужный разговор. Суворин, вероятно, хотел объяснить *свое* состояние. Вернувшись к себе, он сел за новую рецензию о «Чайке», потом написал в дневнике: «Теперь без нескольких минут 5 — и я писал о пьесе, желая сказать о ней все то хорошее, что я думал о ней, когда я читал. Она близка мне по личным несчастиям. Личность Треплева, молодого литератора, напоминает собою покойного Володю. Я и слушал ее с тяжелым чувством».

Суворин все списал на самолюбие Чехова. Он ворчал, учил, ругался в ночном объяснении. Он навязывал Чехову логику своего поведения: надо остаться, следует срочно внести в пьесу поправки, непременно увидеться с Карповым, изменить некоторые мизансцены. Так поступил бы он сам в подобной ситуации. Чехов категорически от всего отказался.

Но не было ли в уговорах Суворина самооправдания и одновременно приговора их отношениям с Чеховым — не внешнего, житейского разрыва, а душевного? Это произошло не вдруг и началось задолго до премьеры «Чайки». Их интерес друг к другу угасал давно, что выдавало взаимное раздражение в заграничных поездках, когда их несходство открывалось особенно заметно (вкусы, пристрастия, привычки). Чехов и Суворин расходились незримо и неуклонно уже несколько лет, дистанция увеличивалась, меняя точку зрения обоих. «Чайка» пробудила в

Суворине воспоминания о сыне-самоубийце. Но провал пьесы тронул его мало. Недаром, видимо, запись о минувшем дне он закончил привычной и важной для него хроникой разговоров в канцеляриях министров.

Чехов в ту ночь если и спал, то несколько часов. Утром Потапенко застал его за писанием писем. Запомнил открытый, аккуратно уложенный чемодан с множеством книг. Чехов решил уехать в полдень, неудобным поездом, но лишь бы скорее из Петербурга. На уговоры приятеля якобы ответил: «Буду спать и мечтать о славе… Завтра буду в Мелихове. А? Вот блаженство!.. Ни актеров, ни режиссеров, ни публики, ни газет. <…> Если бы ты видел физиономии актеров! Они смотрели на меня так, словно я обокрал их, и обходили меня за сто саженей. Ну, идем…»

Спустились вниз. Отдали швейцару письма и уехали на вокзал. Писем было три. Одно — ответ Суворину на его ночное послание, врученное Чехову утром. Суворин трижды обозвал Чехова «бабой», обвинил в трусости, в бегстве. Опять перечислял недочеты «Чайки». Предлагал внести поправки, советовал поставить пьесу в Москве и т. д. Чехов ответил: «Я уехал в Мелихово. Желаю всего хорошего! <…> Печатание пьес приостановите. Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но всё же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении. Пишите мне. <…> Получил Ваше письмо. В Москве ставить пьесу я не буду». И закончил: «*Никогда* я не буду ни писать пьес, ни ставить».

На вокзале к приятелям подошел разносчик газет. Потапенко запомнил, что Чехов отказался: «Не читаю». И сказал: «Посмотри, какое у него добродушное лицо, а между тем руки его полны отравы. В каждой газете по рецензии». В этот день Лейкин записал в дневнике: «Сегодня во всех газетах, кроме „Нового времени“, торжественно заявляется о провале чеховской „Чайки“ <…> и притом с каким-то особенным злорадством. Точь-в-точь будто поймали волка, который до поимки его задрал много скотины. А уж как допустила подобный тон по отношению к пьесе Чехова „Петербургская газета“, — я просто удивляюсь. Ее театральный рецензент <…> Кугель (Homo novus) просто скачет от радости на столбцах газеты и авторитетно ругается».

Значит, Худеков «не взял под уздцы» своего рецензента, как обещал своей матери и Лейкину на премьере «Чайки». Кугель, подобно Буренину, озаботился тем, чтобы открыть читателям и зрителям глаза на дарование Чехова — по его мнению, незаслуженно возвеличенное «друзьями», а на самом деле якобы пораженное «каким-то глубоким внутренним недугом». А «Чайка»? Это — «нисколько не пьеса». Смотреть ее было «и больно и тяжело». Она «мертва, как пустыня», «невозможно

дурная», даже «болезненная». И вообще — «символический вздор».

Ясинский назвал пьесу — «просто дичью» («Биржевые ведомости»), И презрительно пожалел автора: «Чехов все-таки большой писатель. Вечные похвалы парализовали в нем критическое отношение к себе, но это на время. Неудача должна послужить ему же на пользу. <…> Не надо только терять мужества». Однако его задела фраза в статье Суворина о «восторженных глашатаях сценического неуспеха» спектакля. Он отнес ее к себе тоже и возразил 20 октября все в той же газете: «Я только удивляюсь, зачем г. Суворин утверждает, будто Чехову все завидуют и, завидуя, бешено радуются на трупе „Чайки“ его неуспеху. Чехова все любят. <…> Кто желает добра Чехову, кто ценит и понимает его талант, тот не станет хвалить его „Чайку“».

С такой точки зрения, «выше» всех «оценил», «лучше» всех «понял» и «больше» всех «желал добра» Чехову рецензент газеты «Новости и Биржевая газета». Он начал с разоблачения: «Я не знаю, не помню, когда г. Чехов стал „большим талантом“, но для меня несомненно, что произведен он в этот литературный чин заведомо фальшиво. <…> его, несомненно, читают и сейчас же забывают прочитанное <…>» И закончил выводом, что «пьеса г. Чехова <…> нелепа, вымучена <…> дикая пьеса <…> в ней все первобытно, примитивно, уродливо и нелепо».

18 октября и в последующие дни столичные газеты словно соревновались, кто больнее ударит автора «Чайки». Кто изобретательнее унизит пьесу, в которой, по словам рецензентов, все «сумбурно и дико», «туманно, дико». Герои ее — «идиоты», «полуидиоты», «психопаты, пациенты из камеры сумасшедших». И вообще это — «кляуза на людей».

Этот словесный шабаш у многих вызвал недоумение. Гольцев вопрошал в петербургской газете «Неделя»: «Кому, какое зло мог сделать Чехов, кого обидеть, кому помешать, чтобы заслужить ту злобу, которая на него неожиданно кое-откуда выступила? Неужели для этого достаточно быть талантливым, любимым, знаменитым? <…> Каждому из нас по временам приходится испытывать на себе эту непонятную, совершенно необъяснимую и неожиданную, бешеную злобу людей, о которых мы часто не имели никакого понятия и которым, уж конечно, ничего дурного не делали». И сам себе дал ответ: «Иногда достаточно <…> быть своеобразным, быть самим по себе, не заискивать у разных самозваных авторитетов…»

Еще резче поставил вопрос критик С. В. Танеев в журнале «Театрал». Он писал о премьере, что «это было какое-то издевательство над автором и артистами <…> словно

зрительный зал переполнен был на добрую половину злейшими врагами г. Чехова. <…> Особенно злорадствовали строгие ценители и судьи из „пишущей“ братии. Тут сводились личные счеты». О том же писал в «Новом времени» и Потапенко, видевший второе представление «Чайки». Он перечислил «ошибки» Чехова, вызвавшие такой смерч обвинений.

Во-первых, создал «серьезное, истинно художественное произведение», но отдал его на суд бенефисной публике, которая приходит в театр не за искусством, а для развлечения. Во-вторых, написал «Чайку» вопреки сценическим условностям и правилам. Но ставили и играли ее, кроме Комиссаржевской, как раз по старым правилам и привычными приемами. И, наконец, рецензенты, вся эта газетная шумиха и суета, такая понятная в своем главном побуждении: «Почему он талант, а я — бездарность? <…> И томятся, долго томятся рецензенты, пока им на зубок не попадется настоящий талант. <…> И они начинают лгать <…> и перевирают содержание пьесы, и довольны и счастливы. Это — их праздник».

В каком состоянии Чехов возвращался домой? В малолюдном вагоне, простуженный, с высокой температурой, кашляющий. Случившееся, как он сказал позже, представлялось ему адом. Во всех первых рассказах о премьере «Чайки» он повторял слово «жарко»: «и в театре было жарко»; «бранят меня так, что небу жарко». О себе наоборот говорил, что поступал «разумно и холодно», размышлял «холодно».

Без конца задавался вопросом: отчего провалился спектакль? Вспоминал репетиции, на которых, по его словам, «ничего нельзя было понять; сквозь отвратительную игру совсем не видно было пьесы». Об игре на премьере ему и вспоминать не хотелось: «Я не видел всего, но то, что я видел, было уныло и странно до чрезвычайности. Ролей не знали, играли деревянно, нерешительно, все пали духом; пала духом и Комиссаржевская, которая играла неважно».

Может быть, дело в режиссере? В общей практике всех российских театров — ставить быстро, в имеющихся декорациях и костюмах? И об этом Чехов размышлял после премьеры: «Распределял роли не я, декораций мне не дали новых, репетиций было только две». Но в 1889 году так же споро ставили «Иванова» на этой же сцене. Тоже были трудности с распределением ролей. И тогда Чехов, побывав на репетициях, писал, что «актеры играют плохо, из пьесы ничего путного не выйдет». И публика была бенефисная (25-летие службы режиссера Ф. А. Федорова-Юрковского). И опасения были схожи. Плещеев тогда предупреждал, что публика «привыкла к шаблону <…> и нового,

не рутинного не любит; особливо, если это новое — тонко». Но были успех, аплодисменты…

Опытные актеры Александринского театра — Савина, Давыдов, Варламов, Стрепетова — усилили в «Иванове» знакомое, родное и сыграли с удовольствием. Хотя Чехов, видимо, не исключал, что как драматург он проиграл в своих собственных глазах, что был недостаточно смел, нарушая «правила» сцены. Щеглов вспоминал: «Помню, дня за два, за три до петербургского представления „Иванова“ он очень волновался его недостатками и условностями и импровизировал мне по этому поводу мотив совсем своеобразного одноактного драматического этюда „В корчме“ — нечто вроде живой картины, отпечатлевшей в перемежающихся настроениях повседневную жизнь толпы… <… >.

— Понимаете, что-нибудь в этом духе… А насчет „Иванова“ оставьте, — резко оборвал он, — это не то, не то!.. Нельзя театру замерзать на одной точке!..»

В «Чайке» Чехов, по его выражению, «врал» против условий сцены. Он, пережив собственное раздражение от «Иванова» и «Лешего», написал «то»… Но актеры и режиссер Александринского театра всё делали по-старому.

Так кто же прав: театр со своими «правилами»? Или он, автор, написавший не в угоду зрителям и актерам, а так, как ему хотелось, виделось, чувствовалось?

Наверно, не вопрос, кто виноват в провале, более всего одолевал Чехова. Но сомнение в себе, о чем он откровенно рассказал в письме к Кони: «После спектакля, ночью и на другой день, меня уверяли, что я вывел одних идиотов, что пьеса моя в сценическом отношении неуклюжа, что она неумна, непонятна, даже бессмысленна и проч. и проч. Можете вообразить мое положение — это был провал, какой мне даже не снился! Мне было совестно, досадно, и я уехал из Петербурга, полный всяких сомнений. Я думал, что если я написал и поставил пьесу, изобилующую, очевидно, чудовищными недостатками, то я утерял всякую чуткость, и что, значит, моя машинка испортилась вконец. Когда я был уже дома, мне писали из Петербурга, что 2-е и 3-е представление имели успех; пришло несколько писем <…> в которых хвалили пьесу и бранили рецензентов <…> но всё же мне было и совестно и досадно, и сама собою лезла в голову мысль, что если добрые люди находят нужным утешать меня, то, значит, дела мои плохи».

Это душевное признание созвучно по интонации и по откровенности давнему отклику Чехова на письмо Григоровича в 1886 году. Тогда маститый писатель говорил молодому автору о

своеобразии его прозы, о том, что у него *настоящий* талант, выдвигающий Чехова «далеко из круга литераторов нового поколения». Неожиданное послание было чрезвычайно важно и своевременно.

Теперь, десять лет спустя, Кони писал Чехову, уже известному прозаику, о своеобразии его пьесы, о настоящем даре драматурга: «„Чайка“ — произведение, выходящее из ряда по своему замыслу, по новизне мыслей, по вдумчивой наблюдательности над житейскими положениями». Он не просто почувствовал новизну пьесы, но понял суть художественного открытия Чехова: «Это *сама жизнь* на сцене с ее трагическими союзами, красноречивым бездумьем и молчаливыми страданиями, — жизнь обыденная, всем доступная и почти никем не понимаемая в ее внутренней жестокой иронии».

«Профан», как назвал себя Анатолий Федорович в начале письма, уловил главное. Он ощутил те новые отношения сцены и зала, которые таились в «Чайке». Они не были разгаданы режиссером Карповым и артистами, а публикой — отринуты и освистаны. По словам Кони, обыденная жизнь воплощена в пьесе так, что кажется «доступной и близкой». В какой-то момент зритель может забыть, что перед ним сцена, и вообразить, почувствовать себя *внутри* этой жизни. Сцена и зал могли объединиться общим ощущением жизни, общим настроением.

Кони встал на сторону Чехова. Он восхитился финалом пьесы, сформулировав одно из главных свойств поэтики Чехова: «И то, что пьеса прерывается внезапно, оставляя зрителя самого дорисовывать себе будущее — тусклое, вялое и неопределенное, — мне очень нравится. Так кончаются или, лучше сказать, обрываются *эпические* произведения». Письмо Кони, подобно письму Григоровича, тоже было неожиданным, как чудо, как «молния». Чехов благодарил с такой же горячностью и открытостью: «Верьте, что чувства, побуждавшие Вас написать мне его, я ценю дороже, чем могу выразить это на словах, а участие <…> я никогда, никогда не забуду, что бы ни произошло».

Конечно, не это письмо, «прекрасное и убедительное», по словам Чехова, уничтожило его сомнения. Если бы опасения, что «машинка» вконец испортилась, а чуткость изменила, оказались очень сильными, неодолимыми, он, может быть, запретил следующие спектакли, даже ценой неустойки. Чехов не сделал этого. Если бы Чехов усомнился в своей художественной правоте, он ни в коем случае не разрешил бы напечатать пьесу в «Русской мысли» (он так и не отдал в печать «Лешего»). Чехов передал Гольцеву машинописный экземпляр, хотя сразу предположил, что

его будет «хлестать» и литературная критика: «А это противно, точно осенью в лужу лезешь».

* * *

Что помогло Чехову осилить провал «Чайки»? Природная черта и всею жизнью укорененное свойство: *ожидать в первую очередь неудачи и быть готовым к ней*? Он говорил о себе: «Когда мне не везет, я храбрее, чем тогда, когда везет». Или такие свойства его личности, как терпение, приятие любых испытаний? Недаром он советовал ближним: «Уповай и больше ничего», а в книге Марка Аврелия отчеркнул записи, что всякая судьба благо, хотя бы то были болезнь, поношение, срам, что человек должен уметь перенести всё и быть выше внешнего. В кратких пометах Чехова (как он понимал смысл записей, что остановило его внимание) повторялись слова: не суди, смерть, судьба, удел, несчастье, обида, гнев, труд, свобода, начало, слава. Но чаще других — «как жить».

Может быть, в эти дни ему помогли опыт многотерпения и привычка все случающееся соизмерять с тем, что в конце концов ждет каждого человека, то есть со смертью? Ощущение относительности, временности любого события, состояния? Чехов однажды сказал, что «с роком приходится мириться, как с погодою». И добавил объяснение: «Я фаталист, что, впрочем, глупо» (может быть, отсюда склонность Чехова к словам: пока, по-видимому, наверно, кажется, должно быть). На упреки Суворина в малодушии, в трусости, в бегстве из Петербурга он ответил: «Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось; я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему, о чем и предупреждал Вас с полною искренностью. Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой — и теперь хоть новую пьесу пиши».

Ироническое упоминание касторки, как лечебного средства от пережитого, усилено в этом неспокойном, даже сердитом письме натуралистической подробностью: «Вчера у одного богатого мужика заткнуло калом кишку, и мы ставили ему громадные клистиры. Ожил». Будто невольно обнаружилось скрытое ощущение человека, на которого вылился поток грязи, клеветы, злобы.

Чехов пережил часы премьеры, дни и недели после премьеры. 14 декабря, словно подводя черту, написал Суворину: «Вы и Кони доставили мне письмами немало хороших минут, но всё же душа моя точно луженая, я не чувствую к своим пьесам ничего, кроме

отвращения, и через силу читаю корректуру. <…> Виновато в этом не то, что моя пьеса провалилась; ведь в большинстве мои пьесы проваливались и ранее, и всякий раз с меня как с гуся вода».

Конечно, шиканье на премьере «Иванова» в театре Корша в 1887 году и «Лешего» в театре Абрамовой в 1889 году и последовавшие ругательные рецензии Чехов воспринял не то чтобы совсем равнодушно — но не так, как провал «Чайки». Тогда все дело было в новизне пьес, в склоке между театрами.

Суть того, что случилось в зрительном зале и фойе Александрийского театра, Чехов определил для себя так: «17-го октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно: те, с кем я до 17 окт[ября] дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копья (как, например, Ясинский) — все эти имели странное выражение, ужасно странное… <…> Я теперь покоен, настроение у меня обычное, но всё же я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили».

Чехов давно изжил свои кратковременные упования на литераторские «артели», кружки, союзы. Еще в 1891 году, после сахалинской поездки, он удивлялся «густой атмосфере злого чувства», которое ощутил вокруг себя в Петербурге. 17 октября 1896 года театр, по его выражению, «дышал злобой, воздух сперся от ненависти». Так он ответил Немировичу, который услышал про «странный неуспех» и опасался, что Чехов махнет рукой на театр. Владимир Иванович не исключал, что после такой демонстрации столичной «пишущей» братии Чехов окончательно уйдет в себя. Он засел за длинное дружеское письмо. Предложил встретиться, поговорить, но сомневался, получится ли из этого толк: «Неужели лучше, чтобы каждый работал тихонько, в своем кабинете, скрывая от всех волнующие его вопросы и ища ответов на них только в книгах или собственных муках (да, муках), а не в беседах».

Свой ответ Чехов начал с вопроса: «Милый друг, отвечаю на главную суть твоего письма — почему мы вообще так редко ведем серьезные разговоры. <…> О чем говорить?»

И выделил три темы: общая, профессиональная и личная жизнь. Что касалось первой, тут мнение Чехова категорично: «У нас нет политики, у нас нет ни общественной, ни кружковой, ни даже уличной жизни, наше городское существование бедно, однообразно, тягуче, неинтересно <…>» Что означало «нет»? Вообще нет? Получая отовсюду просьбы помочь городским библиотекам, принять участие в сборниках, издававшихся в

пользу голодающих, малоимущих, пострадавших, больных, Чехов не мог отрицать общественную жизнь. Однако то были формы благотворительности. Усилия отдельных людей. Но не формы устойчивой традиционной гражданской жизни, общественного самосознания.

Этот вывод в словах Чехова: «<…> общие идеи, как неприменимые к настоящему, так же быстро расплываются и ускользают, как мысли о вечном блаженстве». В таком случае, обсуждать «общие идеи» — значит просто болтать. От этой болтовни, под любым идейным соусом, Чехов всегда уклонялся. Как-то сказал в 1890 году, что «на Руси страшная бедность по части фактов и страшное богатство всякого рода рассуждений».

Он не любил юбилейных торжеств, особенно по общезначимому поводу. И, будто продолжая разговор с Немировичем или свое размышление, записал три месяца спустя в дневнике: «19 февр. обед в „Континентале“ в память великой реформы. Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п. в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе ждут кучера, — это значит лгать святому духу».

В последние годы Чехов отстранился и от профессиональной среды. О чем написал Немировичу прямо: «Говорить о литературе? Но ведь мы о ней уже говорили… Каждый год одно и то же, одно и то же, и всё, что мы обыкновенно говорим о литературе, сводится к тому, кто написал лучше и кто хуже…» Интонация и построение этой фразы сходны с репликой главного героя пьесы «Дядя Ваня», которую Чехов той осенью готовил для сборника своих драматических сочинений. Войницкий с раздражением бросал матери: «Но мы уже пятьдесят лет говорим и говорим, и читаем брошюры. Пора бы уж и кончить». Работу над этой пьесой выдавали и другие письма этой поры. Может быть, поэтому Чехов не прямо, но отказался от скорой встречи с Немировичем. А не только потому, что избегал разговора о «Чайке».

Оставалась тема личной жизни — но в нее он не допускал никого. Природный характер, чувство юмора, инстинкт самосохранения — всё и всегда удерживало его от исповедей, признаний, душевных излияний. Мемуары и воспоминания современников сохранили реплики, шутки, короткие замечания, скупые рассказы Чехова. Но не развернутые монологи или подробные воспоминания Чехова о своем прошлом. И уж тем более не сплетни о ком бы то ни было. Это претило Чехову. Отсюда, конечно, ироническая зарисовка, которой он завершил

тему «личной жизни» в письме Немировичу: «Мы боимся, что во время нашего разговора нас подслушает какой-нибудь некультурный эскимос, который нас не любит и которого мы тоже не любим; я лично боюсь, что мой приятель Сергеенко, ум которого тебе нравится, во всех вагонах и домах будет громко, подняв кверху палец, решать вопрос, почему я сошелся с N в то время, как меня любит Z».

Были в этом письме строки, выдававшие настроение Чехова. Это совет Немировичу, похожий на обращение к самому себе: «Короче <…>предоставь обстоятельства их собственному роковому, неумолимому течению, уповая на лучшее будущее».

Что-то изменилось в Чехове после 17 октября. Появилось поначалу еле заметное томление души, похожее на постоянную сердечную боль и какое-то глубокое безрадостное сиротство. В нем словно стало возрастать то чувство неизбежного, в котором когда-то, десять лет назад, он признался Григоровичу, пересказывая повторяющийся сон. Теперь это чувство неминуемого, неотвратимого, чувство перехода стало проступать в письмах.

Одному из современников Чехов показался в это время глубоко несчастным, но «не по внешним обстоятельствам», а «по трагической тени, омрачающей <…> ум, сердце, настроение». В начале декабря он написал Суворину: «Если весной война, то я пойду. В последние 1 ½ — 2 года в моей личной жизни было столько всякого рода происшествий <…> что мне ничего не остается, как ехать на войну, на манер Вронского — только, конечно, не сражаться, а лечить. <…> хоть брось, так скверно».

Под событиями самого последнего времени Чехов имел в виду пожар в мелиховском доме. Мало того что едва не погорели, но чудом не погибла Евгения Яковлевна. Топор, которым сосед, князь Шаховской, рубил стену, пролетел в сантиметре от ее головы. Чехов мог думать и о горе Лики Мизиновой, похоронившей 16 ноября двухлетнюю дочь. Иогансон, бабушка Лики, вела в дневнике горестную хронику последних дней несчастного ребенка. В самый день кончины Софья Михайловна записала: «Скончалась наша дорогая Христинка. <…> Бедная Лидюша, какого ангела лишилась, да утешит ее Господь и вразумит на все хорошее, вести жизнь разумную». После похорон старушка рассказала в дневнике, как все свершилось, а закончила вопросом: «В тот же день, с вечерним поездом уехала Лидюша. <…> Жаль очень Лидюшу, как-то теперь заживет она? И ужасно ей».

Все это случилось через месяц после премьеры «Чайки», на которой Мизинова была вместе с Марией Павловной. Вместе с

ней она 19 октября приехала в Мелихово. А в начале ноября писала Чехову из Покровского, от бабушки: «Да, здесь все говорят, что и „Чайка“ тоже заимствована из моей жизни, и еще, что Вы хорошо отделали еще кого-то!» Так прежде всего думала она сама, конечно, не предполагая, что сюжет о покинутой Нине Заречной, потерявшей маленького ребенка, так скоро и страшно сблизится с «сюжетом» ее жизни. Словно он был не заимствован, а предвосхищен, предугадан в пьесе.

Конец 1896 года прошел в бесконечных хлопотах по самым разным делам. Среди них — очередные «транспорты» в таганрогскую городскую библиотеку. Чехов к этому времени отправил уже около 700 книг. Более половины — с автографами. Снова и снова он просил таить его участие в делах библиотеки и не сопровождать в каталогах эти дары пометкой — «пожертвовано». Выбор книг, закупаемых Чеховым для библиотеки родного города, выдавал не только вкус литератора, но и воспоминания о том, чего недоставало таганрогскому гимназисту когда-то в его чтении. Отправляя посылки, Чехов размышлял в сопроводительных письмах к Иорданову, что должно быть в фондах. Это — фундаментальные энциклопедические издания и словари; зарубежные классики в подлинниках и хороших переводах; современная отечественная литература. И вообще всё делать «en qrand», то есть по-крупному, по-настоящему, как приличествует культурному городу. Тогда удастся привлечь серьезную публику, сделать библиотеку «необходимой» для людей разного возраста.

Чехов по-прежнему вел прием больных, когда был в Мелихове. Каждое утро на дворе его ждали крестьяне окрестных сел. В затруднительных случаях он направлял больных к своим коллегам. В Москву — к Коробову и Оболонскому. В Покровское-Мещерское — к Яковенко. Они бесплатно консультировали, а если надо было, то помещали в лечебные учреждения. Часто Чехов вносил деньги за пребывание своих пациентов в больнице, если волостное правление требовало оплату. Осенью 1896 года на ежегодном уездном собрании Чехову объявили благодарность за участие в постройке Талежского училища и за щедрое пожертвование на эту школу. Тогда же он согласился на просьбу земства стать помощником предводителя дворянства по школьному делу. И даже обязался через год представить отчет о состоянии всех пятидесяти девяти земских школ уезда. В это же время Чехов втягивался в еще одну огромную общественную работу — первую в России перепись населения. Уже создавались участки, назначались счетчики, готовились анкеты.

Настроение после провала, правка корректуры пьес,

будничные заботы — всё сказывалось на душевном состоянии Чехова, на его кратковременном романе с Шавровой. Замужество «фарфоровой барышни» оказалось не очень счастливым, как и у Авиловой. У Лидии Алексеевны — ревнивый, грубоватый муж, далекий от литературы. У Елены Михайловны — скучный чиновник-карьерист из именитого семейства. Литературное «баловство» жены не трогало его. От нее — хорошенькой, воспитанной, умненькой — требовалось вписаться в принятые рамки и не мешать успешному продвижению мужа по службе.

Переписка с Чеховым оставалась едва ли не главной душевной отрадой в петербургском существовании Шавровой. В 1895 году она признавалась, что обязана ему «многими, очень хорошими минутами». В 1896 году искала встреч. В апрельском письме в шутку спросила: «Не оставили ли Вы проекта ехать в Австралию? Возьмите меня с собою». Он ответил тоже шуткой: «В самом деле, Вам в Австралию бы проехаться. Со мной!!»

Шаврова продолжила этот диалог: «Едем вместе в Австралию, на Северный полюс или в преисподнюю, куда хотите! Хорошо?» После премьеры «Чайки» она ринулась за Чеховым в Москву. Написала, с каким напряженным интересом слушала пьесу, какое сострадание испытала к действующим лицам. Точно к настоящим живым людям. Об актерах, о публике она не обмолвилась ни словом. Всё лишь о пьесе. Чехов усомнился в ее восторгах, полагая, что «синичка» (так он иногда звал Елену Михайловну) просто утешала его. Однако поблагодарил. Она обиделась и написала 4 ноября: «Актеры, декорации, репетиции и настроение, все это, конечно, очень важно, — но Шекспир, разыгрываемый даже самыми бездарными лицедеями в деревянном сарае, — останется все-таки Шекспиром». На вопрос Чехова, как она поживает, ответила: «Довольно скверно. Я не люблю ныть, но, право же, судьба была ко мне жестока и страшно несправедлива. Ну, да что об этом говорить. Надо только пока возможно держаться над водой и не давать волнам захлестнуть себя, как сказал какой-то философ».

Минувшим летом Шаврова много болела, лечилась и под этим предлогом часто отлучалась в Москву к родным. В Мелихове она не была ни разу. Они встречались в гостинице. Так было и 17 ноября. Она пришла в 7 часов вечера. Свидание затянулось, и потом оба шутили, что виноваты остановившиеся часы.

Наутро Чехов уехал домой. С собой он увез рукопись ее рассказа «Жена Цезаря» (история замужества и разочарования). Множество деталей: облик героини; манеры и портрет мужа, выходца из аристократического рода, делающего чиновничью карьеру; бытовые подробности; окружение героев — выдавало

автобиографичность повествования. Завершалось оно адюльтером. Скуку своей петербургской жизни, подчиненной принятому порядку вещей, героиня развеяла изменой. При этом она не собиралась оставлять мужа, разрушать свой мирок, такой теплый, уютный: «Ломать свою с таким трудом налаженную жизнь? Уезжать куда-то? Вести бродячую жизнь для чего-то? И находиться в двусмысленном положении разводки, хотя бы и короткое время? И зачем все это? Ради чего? Когда все может так прекрасно устроиться без треска, скандала и неприятностей».

Рассказ вызывал в памяти роман Толстого «Анна Каренина». Но градус переживаний героини, финал истории, ощутимая ирония обнаруживали увлечение автора современной французской поэзией. Эти «цветы зла» взрастали в уголке столичной квартиры, описанном в рассказе: «Там горела большая лампа под светло-желтым абажуром, стоял рояль, было много цветов, книг и журналов, а на мольберте начатый этюд углем. Здесь было тепло, светло и уютно, а главное — не было того строгого мертвящего порядка как во всех остальных комнатах».

Шаврова признавала свое дилетантство. Говорила о себе — «автор не печатных произведений», «волонтер». Шутила, что с литературой ее связывали только письма Чехова. Но иногда «синичка» пыталась вторгнуться в неведомые ей сферы (психиатрия), писать «во вкусе Достоевского», рассуждать в духе почитаемого ею Шопенгауэра, подражать любимому Бодлеру. Тогда Чехов дружески ставил ее на место: «Вам прекрасно удаются „благородная бедность“ и девицы»; — «По-моему, надо пройти все ступени, прежде чем стать литературной графиней. Не стыдитесь быть титулярной советницей в салопе, пьющей по утрам вместо кофе — кофейную гущу. Бейте ворону — сороку, добьетесь до бела лебедя». Но и в кругу своих тем, как настаивал Чехов, надо шлифовать, отделывать: «Пишите без конца, а то Вы всё будете начинающей». Не раз он советовал ей попробовать себя в романе. Она старалась, но ей не хватало смелости и потребности в сочинительстве. Могла писать, но могла и не писать. Хотела стать актрисой, но не ушла на сцену, как ее сестра. В общем — «а на мольберте начатый этюд углем», невольная пародия на собственное дилетантство.

Догадывалась ли Мизинова о тайных свиданиях Чехова с Шавровой? Чувствовала ли, что ее отношения с ним догорели? Судя по письмам, понимала, что не просто так Чехов иногда не извещал о своем приезде в Москву и предпочитал встречаться с ней в компании. Она тоже теперь считала за лучшее приезжать в Мелихово с кем-то, заодно. 26 декабря Лидия Стахиевна написала Чехову: «Благодарю Вас за то, что были в Москве и не захотели

меня видеть! Не знаю, как это понимать, а потому боюсь ехать в Мелихово на Новый год, чтобы своим присутствием не испортить Вам праздника. 30-го утром я буду в Москве и желала бы получить от Вас письмо, что могу спокойно приехать, не сделавши Вам этим неприятного».

Вероятно, речь шла о кратковременном приезде Чехова в Москву 20–21 декабря, когда он побывал в мастерской Левитана. До него дошли слухи, что Исаак Ильич очень болен. К тому же его звал повидаться Шехтель. Вместе они были в мастерской у друга. Чехов записал после встречи: «У Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни».

Шехтель неспроста приглашал в Москву — он был обеспокоен разговорами в литературно-артистических кругах о нездоровье Чехова. Впечатление он вынес невеселое. Внешне Чехов очень изменился. Шехтель, художник, помнивший веселого студента-медика, потом неотразимого обаятельного собеседника, спутника в московских похождениях, заметил перемену, как никто остро. Может быть, тогда у него зародилась мысль о портрете Чехова для галереи Третьякова — хорошо бы заказать его Репину. Шехтель будто почувствовал в друге физическую усталость, душевное утомление, нечто, скрытое от не столь проницательных глаз.

В конце декабря Шаврова приехала на Рождество в Москву. Ждала встречи. Не дождалась. 31 декабря написала, что желает «учителю» здоровья, «любви, много любви, безбрежной, безмятежной, нежной», а еще — большого дохода: «Уж желать так желать!» Чехов ответил на следующий день. Тоже пожелал здоровья и наслаждения жизнью: «А главное, желаю того, что Вы забыли пожелать мне в Вашем письме, — желания жить».

Глава одиннадцатая. ПАЛАТА № 16

Из писем и разговоров Чехова в это время словно ушла радость. Обыкновенно, после одоления крупных неурядиц, серьезных огорчений и болезни она сквозила в интонации, а теперь не возвращалась. В важнейшем для Чехова внутреннем ощущении: желание жить — желание писать — что-то нарушилось. И может быть, именно его он восстанавливал напряженной работой над повестью «Мужики».

Заметки к повести о русской деревне, о мужиках давно появились в записных книжках Чехова. С каждым годом их становилось все больше. То детали убогого крестьянского быта (глухая от побоев кошка). То нравы деревенской жизни

(озлобление, побои, сквернословие, пьянство). Деревенская жизнь открылась Чехову не в Мелихове — до этого были звенигородская больница, поездка «на голод». Среди маленьких рассказов, написанных для «Осколков» и столичных газет, много таких, которые приоткрывали происходившее на «земле» («Добродетельный кабатчик», «Ванька», «Кулачье гнездо», «Егерь», «Злоумышленник», «Староста», «День за городом», «На мельнице», «Беглец»), Постепенно земная крестьянская жизнь обретала в прозе Чехова «небо», авторское чувство *общей* жизни («Студент», «Дом с мезонином»).

Но, конечно, мелиховские годы явили мужицкую жизнь в ее средоточии. Минувшие пять лет — это тысячи больных, которых Чехов принял на своем медицинском пункте, хорошо знакомые теперь деревни и села Бавыкинской волости и других волостей Серпуховского уезда, куда Чехов выезжал по вызовам или по земским делам. И, конечно, вольное и невольное участие в делах мелиховских крестьян.

Начиналась новая небольшая повесть (девять коротких главок) с возвращения Николая Чикильдеева, бывшего гостиничного лакея, в родную деревню Жуково. Отсюда его увезли в город мальчиком, как и других жуковских ребят, и отдали в коридорные. Теперь больной, семейный, он приехал домой, где его никто не ждал. Николай увидел отчий дом и испугался: «Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги — это вместо картин. Бедность, бедность!»

Скупыми, точными словами Чехов настраивал этот, как сказал один из первых читателей повести, «строгий реквием»: «Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься! <…> В избе всегда плохо спали; каждому мешало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое: старику — боль в спине, бабке — заботы и злость, Марье — страх, детям — чесотка и голод. <…> Прежде, лет 15–20 назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. <…> говорили о грамоте с золотою печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; теперь же у жуковцев не было никаких тайн, вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о том, что нет снега…»

Ужасное пьянство в праздники, всеобщее равнодушие к сквернословию и столь же всеобщая вера в заступничество

небесных сил, сплотившая людей во время крестного хода: «Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не всё еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой невыносимой нужды, от страшной водки. <…> Но отслужили молебен, унесли икону, и всё пошло по-старому, и опять послышались из трактира грубые, пьяные голоса».

С какой-то дотоле неведомой простотой, поначалу сдержанной, почти суровой, Чехов писал житие русского мужика. Ни пиетета перед какими-то особыми добродетелями. Ни презрения за воровство, обман, пьянство. Ни чувства вины перед народом. Ни рассуждений о народе-богоносце. Действительно, реквием…

Какая-то ошеломляющая скорбь завершала повесть: «Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. <…> Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?»

Об этом — мужицкой нужде, тяжком физическом труде, болезнях — говорил художник, герой повести «Дом с мезонином», написанной всего год назад. Его спор с Лидией смягчался акварельной дымкой финала: «Мисюсь, где ты?»

В новой повести все обжигало и завершалось картиной жаркого полдня и детским голосом, поющим под окнами избы, «которая казалась побогаче и новее. <…>

— Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой».

Когда Чехов работал над повестью «Мужики»? В ноябре-декабре 1896 года? В январе — феврале 1897 года? Вероятно, как говорил Чехов в таких случаях, «сруб» он создал до Нового года. На начало года пришлась перепись, отнявшая много сил и времени. Почему из всех сюжетов, давно дожидавшихся своего часа, Чехов выбрал этот? И даже не сюжет, потому что *случилась* лишь смерть Николая Чикильдеева. Но и она меркла в отсветах скорбного эпического повествования. Жизнь оказывалась страшнее смерти, которой никто не боялся. Что могло быть ужаснее вечного страха людей перед болезнями, властями, неизбывной бедностью, голодом?

Одна природа невыразимо прекрасна в деревне. Богомольная Ольга, жена Николая, ощущала ее, как присутствие иного мира: «Она верила в Бога, в Божью Матерь, в угодников; верила, что

нельзя обижать никого на свете — ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных». Так же жалостливо и светло она ощущала закаты, чистую реку, пролет журавлей, пение жаворонков.

Интонация повествования о русской деревне кажется созвучной рассказу о Сахалине: суровая простота согрета состраданием и печалью. Счастья нет и не может быть в этих мирах. Покидая деревню, Ольга «всё оглядывалась на избы», ей было «жаль всех этих людей, больно…».

«Мужики» стали апогеем мелиховской жизни Чехова. После этой повести будто началось прощание с Мелиховым. Работа над повестью, прием больных, перепись, разъезды по уезду, день за днем, день за днем… И в непогоду тоже… Непроезжие дороги… Усталость… Недомогание…

11 января 1897 года Павел Егорович записал в дневнике: «Утро — 10°, Антоша в Биршове записал всех». Чехов рассказал в этот же день в письме Суворину: «С утра хожу по избам, с непривычки стукаюсь головой о притолоки, и как нарочно голова трещит адски; и мигрень, и инфлуэнца. В одной избе девочка 9 лет, приемышек из воспитательного дома, горько заплакала оттого, что всех девочек в избе называют Михайловнами, а ее, по крестному, Львовной. Я сказал: „Называйся Михайловной“. Все очень обрадовались и стали благодарить меня. Это называется приобретать друзей богатством неправедным».

12 и 13 января он переписывал население села Мелихова. Опять из избы в избу… С неудобным портфелем, в который не влезали переписные листы, с отвратительной чернильницей. Недоставало только нацепить аляповатый знак, похожий, по словам Чехова, на «ярлыки пивного завода». Власти, как в случае с голодом и холерой, предпочитали провести перепись силами добровольцев, бескорыстных помощников из числа земских учителей, священников, писарей, грамотных крестьян. Ездить им предлагалось на «обывательских лошадях», чтобы не обременять казну «новыми, не предусмотренными расходами». За безвозмездные труды счетчикам была обещана медаль «из темной бронзы для ношения на груди, на ленте государственных цветов».

Чехов получил впоследствии такую медаль. Он не просто состоял счетчиком. Он возглавлял участок, опекал 15 человек («на манер ротного командира»), о которых рассказал по окончании переписи: «Счетчики работали превосходно, педантично до смешного. Зато земские начальники, которым вверена была перепись в уездах, вели себя отвратительно. Они ничего не делали, мало понимали и в самые тяжелые минуты сказывались больными. <…> и как досадно иметь с ними дело».

У счетчиков возникали те же вопросы, с какими столкнулся Чехов: как записывать питомцев Воспитательного дома, занятия малолетних детей, имевших заработок (они работали на фабричках, заводах, вроде тех, что в Судогде, где в 1890 году служил в школе Иван Павлович).

Как раз в дни переписи Суворин спросил мнение Чехова об угрозе чумы. Тот ответил: «Если придет, то едва ли напугает очень, так как и население, и врачи давно уже привыкли к форсированной смертности, благодаря дифтериту, тифам и проч. Ведь и без чумы у нас из 1000 доживает до 5-летнего возраста едва 400, и в деревнях, и в городах на фабриках и задних улицах не найдете ни одной здоровой женщины. Чума будет тем страшна, что она явится через 2–3 месяца после переписи; народ истолкует перепись по-своему и начнет лупить врачей, отравляют-де лишних, чтобы господам больше земли было».

В эти же дни он переслал Ежову письмо Коробова: тот хлопотал о благотворительном обществе при городской больнице и просил дать заметку в московских газетах. Чехов обращался с этой просьбой к Ежову, сотрудничавшему в московской прессе, и сопроводил письмо Коробова своими соображениями: «В городских больницах в Москве лечится, главным образом, голь, которая, выписавшись, заболевает вновь и погибает, так как не имут одежды, достаточно не дырявой, чтобы можно было жить на морозе и в сырости. Ослабленные болезнью дети и выпущенные из больниц дохнут по той же причине. <…> Богатый москвич тратит сотни и тысячи на то, чтобы из меньшей братии создать побольше проституток, рабов, сифилитиков, алкоголиков — пусть же дает он хотя гривенники для лечения и облегчения порой невыносимых страданий этой обобранной и развращенной им братии».

* * *

Зима 1897 года в жизни Чехова — это огромное напряжение физических и душевных сил, сопоставимое, может быть, только с сахалинским трудом. Его проза обрела прозрачную глубину и библейскую интонацию, услышанную Репиным уже в повести «Моя жизнь». В письмах Чехова этой поры нет слов о смерти, нет даже предчувствия беды. Но он будто спешил, искал все новые и новые обязательства. Именно в это время затеял еще одну стройку — новое школьное здание в селе Новоселки. Задумал убедить земство страховать жизнь учителей, а еще написать «на потребу земцам» книгу вроде «Сахалина», очерк о шестидесяти

школах Серпуховского уезда с «бытовой, хозяйственной стороны».

8 февраля Чехов рассказывал Суворину: «Опять я строю школу. Была у меня депутация от мужиков, просила, и у меня не хватило мужества отказаться. Земство дает тысячу, мужики собрали 300 р. — и только, а школа обойдется не менее 3 тысяч. Значит, опять мне думать всё лето о деньгах и урывать их то там, то сям. Вообще хлопотлива деревенская жизнь. Ввиду предстоящих расходов уместно будет поставить вопрос: послали ли Вы условие в театральную контору?»

Это означало, что он предполагал отдать на школу гонорар за постановку «Чайки». И свою роль в новом деле он, видимо, специально осветил не так, как было на самом деле. В начале февраля Чехов сам ездил в Новоселки, заранее попросив учителя Н. И. Забавина собрать нескольких мужиков, «поумнее и потолковее», для разговора о стройке. Учитель в эти же дни ездил вместе с новоселковским старостой в деревню Лютерецкое. И потом рассказывал Чехову, как шумели мужики и особенно бабы, прежде чем подписали «приговор», то есть дали согласие на участие в стройке.

Судя по всему, Чехова просил о школе Шаховской. Он стал попечителем Новоселковской школы, но средств у князя не было. Он мог обещать только содействие как член Серпуховской земской управы и какую-то денежную лепту. А в дальнейшем, наверно, полагался на лучшие обстоятельства. По отчетам, сдаваемым в управу, Шаховской, конечно, знал, что сделано было Чеховым за два года попечительства над Талежским училищем. Кроме нового образцового здания — это купленные для классной комнаты три шкафа, 24 парты, три вешалки, стенные часы, стол для учителя, картины.

Теперь Чехов надеялся выстроить к лету еще одну образцовую школу. Вместо одноэтажной, деревянной, покрытой соломой и пришедшей с момента открытия в 1869 году в полный упадок. В переписке Чехова, в дневнике «мелиховского летописца» Павла Егоровича появилось имя Николая Ивановича Забавина. Из поповичей, выпускник духовной семинарии, он уже семь лет преподавал в Новоселковской школе. Забавин был иного склада, нежели талежский учитель. Он ввел во всех отделениях пение, рисование, заботился о библиотеке. Очень любил природу, поэтому среди его отчетов о том, как идет стройка, вдруг встречалась поэтичная зарисовка. Иметь с ним дело было легко. Забота о Михайлове (Чехов снабжал его книгами, газетами, дровами, продуктами) теперь распространилась и на новоселковского учителя.

Чеховы помогали многим. Людей, которые часто бывали в

доме (священник, псаломщик, фельдшерица З. В. Чеснокова, ветеринарный врач В. С. Глуховской), оделяли домашними припасами, дарили им то, что они не могли себе позволить по скромности доходов. Для лопасненского почтмейстера, например, выписывали журнал «Нива». Помогали, как могли, притом что прорех в имении было предостаточно. Так, в последний день января Павел Егорович записал: «Сена осталось в риге половина, дай Бог, чтобы хватило до весны. Соломы яровой уже нет. Хворост уже весь пожгли, дров еще не покупали».

Чехов, который болел с середины декабря 1896 года, не отказался от переписи, взвалил на себя новую тяжелую стройку, принимал больных, собирал книжные посылки в Таганрог, ящик за ящиком. При этом писал повесть, правил корректуру сборника своих пьес.

Он признавался в начале 1897 года: «Работы много»; — «Никогда еще у меня не было столько работы, как теперь». Январские письма деловые, будто Чехов писал их накоротке, в редкие минуты не отдыха, а остановок: «Дело в том, что я занят, занят по горло: пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю, а тут еще разные „обчественекие“ дела, перепись in spe[12], поездки, пациенты и тьма-тьмущая гостей… Голова кружится! При такой обстановке мудрено писать письма».

Может быть, этим трудом — выше своих сил — Чехов превозмогал и превозмог свое состояние после 17 октября 1896 года? После письма Суворину от 14 декабря («Я теперь покоен, настроение у меня обычное, но всё же я не могу забыть того, что было…») он более не возвращался к провалу «Чайки».

Внешне Чехов всегда был спокоен. А внутренний покой, то есть желание жить и желание работать, он вернул, восстановил этим сверхусилием. Даже не на пределе своих сил, а за пределами. Но и усталость тоже оказалась запредельной.

Закончив дела с переписью, наладив «школьное» дело, 6 февраля Чехов уехал в Москву и пробыл там 16 дней. Говорил, что хочет отдышаться, так как, по его предположению, «весь пост и весь апрель придется опять возиться с плотниками, с конопатчиками и проч.». Однако и отдых Чехов устроил себе странный, какой-то «неразумный». Свидания с Шавровой и молодой актрисой Людмилой Озеровой. Встречи с Селивановой, Кундасовой, с приятелями из «Русской мысли» Гольцевым и Лавровым, с Коробовым, Ежовым, Шехтелем, с редактором газеты «Русские ведомости» Соболевским, В. А. Морозовой, М. А. Саблиным, издателем К. Т. Солдатенковым, с врачом П. И. Дьяконовым, профессором-экономистом А. И. Чупровым, с Сытиным, Эртелем, Левитаном, Щегловым, художником

Поленовым.

По словам Чехова, его дни и часы в Москве «перепутались». Своим временем он не располагал. И постоянно куда-то спешил, ехал, встречался, разговаривал, хотя недомогал все сильнее и сильнее. Обеды, обеды, обеды… В одной из записок к Шавровой он даже возопил: «<…> одна мысль о еде противна моему простуженному мозгу». В другой записке, к ней же, пожаловался: «О, если бы Вы знали, как мне хочется спать, как я изнемог от юбилеев и обедов!!»

Обеды переходили в ужины, а ужины затягивались до раннего утра. Такого «плавания» в ресторанных «водах», таких затянувшихся застолий Чехов не позволял себе, может быть, со времен «эскадры Авелана». Но на этот раз вечерняя компания была мужской, а утро и день уходили на рандеву и полуделовые встречи. В частности, по поводу проекта «Народного дворца», затеянного московским кружком год назад. Дамы торопили тогда Шехтеля и Чехова. Шехтель свое слово сдержал. Но с претворением желаний и намерений, уже тогда названных Чеховым неопределенными, в этом году дела обстояли еще неопределеннее: «План готов, устав пишется, и остановка теперь за пустяком — нужно ½ миллиона». Несколько сот тысяч, первоначально обещанных московскими благотворительницами, теперь уже не упоминались, и речь шла не о благотворительном, а об акционерном обществе.

Судя по письмам к Чехову одной из этих дам, он верил в затею чуть ли не сильнее, чем они. Он хотел встретиться как можно быстрее, а ему говорили, что «лица, участвующие в кружке», — «народ все занятой и их надо предупреждать за несколько дней». Встреча состоялась 16 февраля в редакции «Русской мысли». Замысел Шехтеля («Народный дом») всем понравился. Он подразумевал именно «дом» (театр, библиотека, читальный зал, аудитории для занятий). Архитектор опережал время. Проект, бескорыстно выполненный автором, был оригинален. Однако остался лишь на бумаге. «Горячие» мечтания милых дам остыли, улетучились.

Чехов понял это. Но на его настроение гораздо сильнее повлияла встреча, состоявшаяся накануне, о чем он оставил запись: «Вечером был у проф. Остроумова; говорит, что Левитану „не миновать смерти“. Сам он болен и, по-видимому, трусит». Запись какая-то глухая, скрывающая нечто важное. Поехал ли Чехов к известному врачу-терапевту из-за друга? Из-за себя? Отчего-то не преминул отметить настроение Остроумова. Ни слова о том, был ли разговор о состоянии самого Чехова. Не обмолвился он об этом и в письмах, которых в дни пребывания в

Москве написал очень мало.

Свое московское времяпрепровождение он назвал «как бы сном», а из «сновидений» упомянул лишь несколько. Одно — это Озерова, о которой Чехов рассказал Суворину 8 февраля, в письме из Москвы: «Придет, сядет с ногами на диван и глядит в сторону; потом, уходя домой, надевает свою кофточку и свои поношенные калоши с неловкостью девочки, которая стыдится своей бедности. Это маленькая королева в изгнании».

Как-то Чехов дал Лазареву совет: «Для того чтобы подчеркнуть *бедность* просительницы, не нужно тратить много слов, не нужно говорить о ее жалком, несчастном виде, а следует только вскользь сказать, что она была в рыжей тальме». В набросанной им мизансцене проступали житейская история Озеровой и его отношение к Людмиле Ивановне. Взгляд художника, чуть-чуть со стороны, словно набрасывал этюд к будущей картине. Год назад она с успехом сыграла в пьесе Гауптмана «Ганнеле», поставленной в театре Литературно-артистического кружка, у Суворина. Потом, осенью, Озерова провалилась в роли Луизы в спектакле «Коварство и любовь» в другом столичном театре. Об этом трубили петербургские критики. Кугель и его коллеги оттачивали перья: «нелепое исполнение», «нелепая игра», «неестественная манерность», «стенающий голос».

Чехов написал ей что-то ободряющее, потому что, как он сказал тогда Суворину, «нет ничего больнее, чем неуспех». Но Озерова, видимо, восприняла письмо как послание судьбы, о чем в приподнятом, несколько экзальтированном, иногда и, правда, нелепом тоне писала Чехову зимой 1897 года. Свои письма она подписывала: «самая маленькая Чайка», «ваша маленькая королева в изгнании».

Яворская откровенно играла чужими словами в письмах Чехову. Озерова пыталась говорить на языке, который был ей, вероятно, несвойствен, и потому искренность казалась фальшью: «А в такую ненастную ночь маленькая птичка одна, в слезах, забьется куда-нибудь на дерево, а мысленно будет близко, близко возле Вас. <…> Но среди мрака, меня окружавшего, Ваши добрые, простые, ласковые слова глубоко, глубоко запали мне в душу, и эти полтора года невольно мечтала я, — как увижу Вас, как отдам Вам свою больную, истерзанную, униженную, оскорбленную душу и как Вы все поймете, рассудите, утешите и успокоите. <…> Пожалуйста, будьте добры, поскорее приезжайте. Простите!!!!!»

Озерова — не единственная из тех неуравновешенных, нервных, почти психопатических женщин, которые льнули к

Чехову. Они обманывались в своих надеждах обрести в нем терпеливого, внимательного утешителя. Не больные, но с заметными отклонениями от нормы, они утомляли Чехова перепадами настроения, странностью поступков. Письма Кундасовой, Похлебиной — это намеки, жалобы, иногда угрозы, обвинения. У Озеровой — любовная патетика: «Упасть к ногам Вашим, беззаветно ласкать, целовать Ваши руки, не наглядеться в глаза Ваши…» И восклицательные знаки!

Каждым восклицанием в своих февральских письмах Озерова не приближалась к Чехову, а приближала развязку. 22 февраля он поехал из Москвы не домой, а в Серпухов. Людмила Ивановна, продлевая свидание, проводила его на вокзал и даже далее. Чехов записал в дневнике: «До Царицына меня провожала Ганнеле-Озерова, маленькая королева в изгнании, — актриса, воображающая себя великой, необразованная и немножко вульгарная».

Остальную часть пути Чехов проехал один. Днем он участвовал в заседании Санитарного совета, на котором одобрили план нового здания школы в Новоселках. Включили доктора Чехова в комиссию по организации Крюковско-Угрюмовского фельдшерского пункта. В последние дни февраля земская управа, явно рассчитывая на благотворительность Чехова, утвердила его попечителем Чирковского училища.

Вечер 22 февраля он провел с любителями, приехавшими в Серпухов сыграть спектакль в пользу Новоселковской школы. Это была затея Шавровой, к которой она привлекла свою родную сестру и ее московских знакомых. Здесь, у клубной кассы, Чехов встретил своего бывшего ученика, одного из сыновей камергера Яковлева. Он не сразу, но узнал Чехова: та же улыбка, глаза, но теперь пенсне, бородка. О спектакле Чехов потом отозвался с благодушной иронией: «Играли солидно, с выдержкой, лучше актеров. Платья из Парижа, бриллианты настоящие, но очистилось всего 101 р.». Вечером, после спектакля, «устроитель» угощал всю компанию ужином, поэтому шутка, что он получит на школу только 7 рублей 22 копейки, походила на правду.

Уже ночью возвращались все вместе в Москву. Шаврова напоминала Чехову год спустя: «Знаете, поездка туда, возвращение в маленьких санках ночью, после спектакля, по тающему снегу, весенний воздух, черные леса на горизонте, а потом наш веселый ужин и тихий разговор в купе. <…> Какой я себя чувствовала легкой, свободной…» Чехов вышел в Лопасне, где его ожидал Роман, и в 5 часов утра приехал домой, лег спать и, по его словам, «спал, спал, спал без конца».

Кончилась Масленица. Начался Великий пост. В последние

дни февраля Павел Егорович записал в дневнике: «Снег тает. <…> Был учитель из Новоселок. <…> Антоша ездил в Новоселки. <…> Целый день идет снег…» В записи от 1 марта он подчеркнул слова: «Весна. <…> Тихо, снег прекратился, но пасмурно. Сегодня *пятилетняя годовщина*, как куплено имение в Мелихове. <…> Антоша поехал в Угрюмово. <…> Доктор Витте и князь Шаховской ночевали у нас».

В этот же день Чехов написал Суворину: «Новостей нет, или есть, но неинтересные или печальные. Много говорят о чуме и войне, о том, что синод и министерство просвещения сливаются воедино. Художник Левитан (пейзажист), по-видимому, скоро умрет. У него расширение аорты. А мне не везет. Я написал повесть из мужицкой жизни, но говорят, что она не цензурна и что придется сократить ее наполовину. Значит, опять убытки».

«Значит, опять убытки» — это ироническая автоцитата из рассказа «Скрипка Ротшильда». Невеселые слова, будто бросившие тень на судьбу новой повести. Но главное в эти дни — судьба Левитана. 4 марта Чехов приехал на один день в Москву и потом рассказал Шехтелю: «Я выслушивал Левитана: дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует».

С этого времени странным образом многие встречи, дела, планы Чехова срывались, разлаживались — словно что-то нарушилось в течении его жизни. Так, 4 марта он назначил свидание Шавровой в ресторане «Славянский базар», в час дня. Но она получила его письмо в половине третьего. Послала записку в редакцию «Русской мысли», поехала в ресторан, посмотрела сверху, не увидела Чехова. Потом заехала на всякий случай в «Большую Московскую» оставила визитку. Нигде не нашла и написала в Мелихово: «Как мне обидно, Cher mâitre, если бы Вы знали! Мне так хотелось видеть Вас, и я так ждала Вашего письма и приезда. В эту субботу, самое позднее в воскресенье, я должна уехать. Больше нельзя оставаться. Прощайте, Cher mâitre, будьте здоровы и счастливы».

Чехов написал ей 6 марта, что не верит в неисправность почты. Елена Михайловна получила и это письмо в 3 часа пополудни. На его предложение сыграть еще один спектакль в Серпухове ответила полным согласием: «Для репетиций я приеду в Москву, остановлюсь в „Лоскутной“ и Вы придете ко мне пить чай. Непременно дайте мне знать, когда будете в Петербурге и где остановитесь. Если не захотите приехать ко мне, то и не надо. Я приеду к Вам. Видите, как это просто <…> не надо никаких счетов и визитов. <…> Приезжайте в Петербург и не женитесь. Послушайтесь совета опытной женщины. До свидания. Напишите в Петербург».

Не состоялась и встреча с Комиссаржевской. Вера Федоровна спрашивала в конце февраля: «Когда же Вы приедете? Мне ужасно хочется Вас повидать и поговорить с Вами о многом». Чехов собирался в Петербург. Еще в январе говорил Суворину: «Отлучиться трудно, но всё же до весны мне придется побывать в Петербурге по очень важному делу — важному прежде всего для меня». В начале марта повторил, что ему надо в Петербург, где «придется хлопотать по одному делу».

Однако не уточнял, что за дело у него в Петербурге. Речь могла идти о газете, о чем Суворин знал от Чехова и от Щеглова. 15 октября 1896 года он записал в дневнике: «Сегодня Чехов говорил Щеглову: „Спросите Соловьева, разрешит он мне газету или нет?“». Соловьев в то время был «главным цензором», то есть возглавлял Главное управление по делам печати. В марте 1897 года, после встречи с Щегловым, Суворин высказался в дневнике обстоятельнее: «Он говорил <…> по поводу того, что Чехов хочет издавать газету вместе с Гольцевым. Чехову всего лучше издавать газету одному. Он человек оригинальный, своеобразный, к партиям не принадлежащий, а потому ему есть что сказать. Они вдвоем не уживутся. Разве Гольцев совсем стушуется. Иначе все будут обращаться к Чехову, и это породит ревность у Гольцева. Я того же мнения. Гольцев слишком ничтожный человек, чтоб иметь право сидеть на крыле такого орла, как Чехов».

Сближение Чехова с редакцией «Русской мысли», появление в этом журнале почти всех повестей и рассказов Чехова последних лет, несомненно, задевали Суворина. Намерение Чехова издавать газету да еще с ненавистным Алексею Сергеевичу человеком, могло вызвать профессиональную ревность. Так что у Чехова были основания не уточнять, какое важное дело влекло его в Петербург. Но действительно ли он думал о газете? Осенью 1896 года он упомянул об этом как-то вскользь и неопределенно в письме Александру: «Ходят слухи, что я буду издавать в Москве свою газету».

Судя по письмам Гольцева, о газете мечтал именно он. В канун 1897 года, поздравляя Чехова, он нетерпеливо спрашивал: «А в Петербург поедешь? Надо, надо хлопотать о газете. Мне страшно ее хочется». В январе нового, наступившего года он опять торопил Чехова: «Когда в Москву и в Петербург?» Гольцев явно нажимал на Чехова, видимо, понимая, что известному писателю скорее разрешат новое издание, чем ему, главе журнала с предварительной цензурой. Но кроме сильного личного желания и официального разрешения для издания газеты нужны деньги. Их у Гольцева и Чехова не было. Они, вероятно, рассчитывали на кого-то с капиталами. Это скрыто подтверждала запись в

дневнике Чехова от 15 февраля: «Блины у Солдатенкова. Были только я и Гольцев. Много хороших картин, но почти все они дурно повешены. После блинов поехали к Левитану, у которого Солдатенков купил картину и два этюда за 1100 р.».

Результат переговоров с меценатом, книгоиздателем, коллекционером и очень состоятельным человеком неизвестен. Может быть, какие-то посулы прозвучали, потому что Чехов все-таки собирался в Петербург по «важному делу». Но откладывал поездку, хотя появилось еще одно обстоятельство, связанное с Петербургом. П. М. Третьяков заказал портрет Чехова художнику И. Э. Бразу, жившему в столице. Бразу и Комиссаржевской Чехов написал, что возможно приедет на шестой-седьмой неделе поста, то есть в первой половине апреля, или позже, во второй половине мая. За этой неопределенностью, за растянутым сроком, за признанием в письме Вере Федоровне — «мне не хочется в Петербург» — скрывалось что-то серьезное, а не просто нежелание позировать художнику.

Одна причина названа в письме Суворину от 1 марта: цензурная судьба повести «Мужики». Еще до поступления ее в цензуру стало очевидно: что-то надо изымать. Может быть даже, как опасался Чехов, «придется сократить ее наполовину». И он сам исключил главу с разговором мужиков о религии и властях. Поэтому до выхода в свет апрельской книжки журнала визит в Главное управление по делам печати был преждевременен. Он мог бы привлечь особое внимание «главного цензора» Соловьева к повести и журналу.

Гольцев просил как можно скорее прислать повесть. 17 марта Чехов отправил рукопись в Москву и обещал приехать в понедельник, 24 марта, чтобы прочесть корректуру, как он выразился, «в единый миг». В эти же, двадцатые числа марта он намеревался побывать на первом всероссийском съезде сценических деятелей, увидеться там «кое с кем». Непременно «забежать» к Шехтелю. А затем 28–29 марта вместе с Сувориным уехать в Петербург. Об этих планах Чехова знала и Авилова, собиравшаяся в Москву.

Отъезд в Петербург теперь смещался на конец марта, о чем Чехов сообщил Бразу. Изменение сроков выдавало какое-то внутреннее беспокойство Чехова, те самые соображения, которые то удерживали, то подгоняли его. Это — безденежье и самочувствие Чехова. Еще в феврале он просил старшего брата поторопить контору императорских театров с гонораром за постановку его пьес: «А деньги мне нужны до зареза, так как у меня опять строится школа». В начале марта он писал ему же: «Денег нет». 14 марта Чехов обратился к Н. Н. Хмелеву,

председателю Серпуховской земской управы, с просьбой прислать хотя бы 500 рублей из той тысячи, которую земство выделило на Новоселковскую школу, так как нечем оплатить счет за лес: «Пожалуйста!» Чехов говорил, что в марте ему надо во что бы то ни стало добыть тысячу рублей на стройку. И шутил, что для этого «вероятно, придется зарезать человека, ибо легальные источники все иссякли».

По поводу своего нездоровья Чехов в это время не высказывался. Он его скрывал и лишь изредка проговаривался. После сильной простуды в октябре 1896 года у Чехова не проходил кашель. В ноябре он убеждал Лейкина, главного своего «жалельщика» и распространителя слухов о его близкой смерти, что здоров. Кашляет же так давно, что «привык не видеть в кашле ничего угрожающего». И «одышки нет», и ходить он может много и скоро. Однако в декабре 1896 года признался Шехтелю: «Во мне бациллы, я постоянно покашливаю, но в общем чувствую себя недурно и пребываю в непрерывном движении. Ходят слухи, что Левитан серьезно болен».

В самом конце года Чехов тяжело заболел гриппом, перенес его на ногах. В конце февраля кашель усилился. 12 марта 1897 года Чехов вдруг признался в письме Иорданову: «Я кашляю. Хотелось бы пожить в Таганроге, подышать дымом отечества, да всё некогда». 18 марта, приглашая Авилову пообедать или поужинать с ним, когда он приедет в Москву, Чехов оговорился в шутку: «Теперь я не надую Вас ни в каком случае; задержать дома меня может только болезнь». Болезнь его не задержала, хотя именно в эти дни у Чехова показалась кровь. Семенковичу, который прислал к нему своего недужного работника, он написал, как лечить больного, и добавил о себе: «Я сам нездоров: плюю кровью».

* * *

21 марта Чехов уехал в Москву, намереваясь затем отправиться в Петербург. На станции Лопасня он встретил сестру. Это была пятница, и Марию Павловну ждали дома в Мелихове. Она запомнила, что брат все время покашливал и отворачивался от нее. Дома Евгения Яковлевна сказала дочери, что в последние дни он очень сильно кашлял. Это была для Чехова самая опасная пора: таяние снега, туман, дожди, сыро, пасмурно. Павел Егорович записал в дневнике: «Во всю ночь дождь. Пруд начинает наполняться Водою. <…> Дорога спортилась зимняя».

На другой день, в субботу, Чехов не собирался выходить из

гостиничного номера. Он ожидал корректуру. Послал письмо Авиловой, что «немного нездоров», что «погода туманная, промозглая», и потому не навестит ли она его, не дожидаясь, когда он придет с визитом. Однако не усидел в гостинице и не отменил встречу с Сувориным, который приехал на актерский съезд. Вместе они отправились вечером в ресторан «Эрмитаж».

Здесь, за ресторанным столом, у Чехова пошла горлом кровь.

Он попросил принести льду. Суворин повез его в свой номер в гостинице «Славянский базар». Отсюда Чехов послал телеграмму доктору Оболонскому. Тому самому, с которым когда-то, в 1889 году, увозил заболевшего Николая домой, в Кудрино. Тогда они вместе поставили диагноз (чахотка), вместе лечили художника.

Теперь Чехов написал коротко: «Я заболел». Николай Николаевич приехал тут же. Кровотечение удалось остановить только к утру. На вопрос Суворина, что это за кровоизлияние, Оболонский ответил, что оно «геморроидального» характера, но это свидетельство того, что легкое «слабое» и при неблагоприятных обстоятельствах болезнь может сделаться опасною. Сам Чехов сказал Суворину жестче и определеннее: «Для успокоения больных мы говорим во время кашля, что он желудочный, а во время кровотечения, что оно геморроидальное.

Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки».

Кровотечения и сильное кровохарканье случались у Чехова и раньше. Иногда он отделывался нарочито-небрежным: «причина сидит, вероятно, в лопнувшем сосудике»; — «вероятно, пустяки»; — «скрипенье в правом легком». Иногда грубовато-краткими признаниями: «хрипит вся грудь»; — «поплевал кровью»; — «у меня не инфлуэнца, а другое какое-нибудь свинство». Порой уверял, что у него вовсе не чахоточное кровотечение. Называл свой недуг то «катаром легкого», то болезнью горла и почему-то никогда бугорчаткой.

На самом деле уже с 1884 года, а может быть, и раньше Чехов знал, что его легкие поражены. Однажды он сказал, что лучше от больного не скрывать правды о его болезни, за исключением чахотки и рака. Но себе он правду сказал давно. И очень сердился, когда ему говорили ее другие. В 1888 году Е. М. Линтварева, врач по образованию, спросила его в письме: «Неужели Вы не принимаете никаких мер?» Чехов ответил с иронией, почти сердито: «Вы рекомендуете мне принять меры, а не называете этих мер. Принимать доверов порошок? Пить

анисовые капли? Ехать в Ниццу? Не работать? Давайте, доктор, условимся: не будем больше никогда говорить ни о мерах, ни об „Эпохе“…» К тому же он не раз подчеркивал, что туберкулез легких если и излечим, то лишь на самой ранней стадии, до кровохарканий, а тем более кровотечений.

Тогда же Чехов подробно рассказал Суворину о своих кровотечениях. И подвел всё к двум выводам: «Дело в том, что чахотка или иное серьезное легочное страдание узнаются только по совокупности признаков, а у меня-то именно и нет этой совокупности. Само по себе кровотечение из легких не серьезно; кровь <…> хлещет, все домочадцы и больной в ужасе, а кончается тем, что больной не кончается <…>»

Что касается «совокупности признаков», то к 1897 году она была: худоба; одышка; кровохарканье или кровотечение в пору поздней осени и ранней зимы, в конце зимы и в начале весны и во всякую длительную холодную погоду; постоянный кашель. Окружающие замечали это. Отсюда слухи, разговоры, доходившие до Чехова и раздражавшие его. Он упрямо, даже непреклонно не хотел считаться чахоточным. Часто упоминал другие недуги — геморрой, головную и зубную боль, перебои сердца, болезнь глаз, кишечное расстройство, варикозное расширение вен. Но только не чахотку. И продолжал упорствовать: «…выслушивать себя не позволю».

Он таил эту правду в себе, наверно, по нескольким причинам. Не хотел жалости, сочувствующих взглядов и неизбежного пристального интереса. Отдавал, по-видимому, отчет, какое оружие получат его недруги, такие как Буренин, «прославившийся» травлей умиравшего от чахотки Надсона. Не заблуждался насчет «деликатности» бульварной прессы, которая бы охотно сообщала, каково самочувствие «известного беллетриста» Чехова. Болезнь — это его частное дело, а не забава для толпы, какими бы сочувственными словами и сострадающими взглядами она ни прикрывала свое праздное, равнодушное любопытство.

Однако он принимал все возможные меры для безопасности своих родных, знакомых, своих пациентов. От природы чистоплотный, брезгливый к грязи, презиравший бытовую распущенность, Чехов с годами становился сверхаккуратным, чрезвычайно осторожным.

Упомянутая Чеховым «логика» была только его личной логикой: «Лечиться я не буду». «Желание жить» не включало эти заботы. Они убивали это желание. А оно тончайшим образом было связано с «желанием писать». Недаром он сказал однажды: «Болезнь — это кандалы». Лечение лишило бы его внешней

свободы и внутреннего покоя. Болезнь отнимала силы для работы, а лечение уничтожало бы настроение, необходимое для работы.

Отказавшись от забот о своем физическом существовании, оговорившись не раз, что «всё от Бога», лучше, чем кто-либо, зная все признаки и само течение чахотки, ее неизлечимость, Чехов, вероятно, сумел освободиться от страха перед своим невидимым врагом. Долгие годы он боялся сыпного тифа, а чахотки не страшился. Говорил, что она подкрадывается незаметно. Она есть смерть, поселившаяся в теле. Но не мгновенная, а дающая срок, который не стоит тратить на лечение.

Что это? Бесстрашие перед чахоткой, перед смертью? Изображение смерти в его повестях и рассказах после Сахалина («Гусев», «Палата № 6», «Черный монах», «Скрипка Ротшильда», «Три года», «Мужики») не бесстрастно и не равнодушно, что бы ни говорили некоторые критики, приписывая ему хладнокровие в разговоре о смерти. Они объясняли все либо профессией Чехова, либо его «индифферентизмом», «квиетизмом», «пессимизмом». На самом деле оно всегда сдержанно, просто. Таково описание смерти в только что завершенной повести: «Николай стал дрожать; лицо у него осунулось и, как говорили бабы, сжалось в кулачок; пальцы посинели. Он кутался и в одеяло, и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал; просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер».

В том, что случилось в ресторане, для Чехова не было, по-видимому, ни драмы, ни потрясения. Произойди это дома, в Мелихове, он, может быть, «обошел бы беду». Незаметно для родных стал бы принимать, как всегда, в таких случаях, рыбий жир, креозот, предпринял другие меры. Но всё случилось на людях. Кровотечение было, как никогда дотоле, обильно и трудноостановимо.

23 марта Чехов оставался в номере у Суворина, куда опять приезжал Оболонский. Посыльный, по просьбе Чехова, привез из «Большой Московской» корректуру «Мужиков». Вечером заехал Щеглов, узнавший от Суворина, что стряслось. Таким образом, беда становилась общеизвестной. К тому же быть рядом с разговорчивым Алексеем Сергеевичем и молчать было невозможно.

24-го, рано утром, Чехов разбудил Суворина и сказал, что возвращается в свою гостиницу. Суворин пытался отговорить, упирал на то, что ни к чему никакие встречи, никакие дела. Но напрасно — Чехов ушел. Он написал короткое письмо Авиловой, объяснил, почему его не было в гостинице ни в субботу, ни в

воскресенье: «<…> едва сели за стол, как у меня кровь пошла горлом форменным образом». Ни слова о возможной встрече, о визите. Чехов попросил прийти только Коновицера, знакомого московского адвоката. Может быть, он хотел на всякий случай посоветоваться о завещании. Сказал же, едва переехав в Мелихово: «Дело <…> в том, что всё время обязан думать о сроках и о всякой гадости, присущей долговым обязательствам. К тому же <…> вдруг я уйду от вас грешных в иной мир, т. е. поколею?»

В ночь на вторник кровь хлынула вновь. В 6 часов утра Чехов послал за Оболонским. Тот приехал немедленно. Оставлять больного в гостинице, а тем более отпускать домой (трястись по железной дороге, потом по чудовищному весной Каширскому тракту) доктор не решился. Он поехал к Остроумову, получил визитку с распоряжением — «принять в клинику А. П. Чехова». Чехов пошутил, что так как у него нет настоящей квартиры в Москве, то «пришлось лечь в клиники».

* * *

Сначала его поместили в палату № 16, о чем Оболонский известил Суворина. Тот поспешил на Девичье поле и потом записал в дневнике: «Как там ни чисто, а все-таки это больница и там больные». <…> Больной смеялся и шутил по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и спросил: «Разве река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, что не имеет ли связи эта вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней тому назад он говорил мне: «Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: „Не поможет. С вешней водой уйду“».

По письмам и воспоминаниям современников трудно установить, сколько людей побывало у Чехова за дни его пребывания в клинике, с 25 марта по 10 апреля, несмотря на запреты и предостережения врачей, что больному вредно много говорить, долго сидеть и ходить. Чехова навестили: Суворин, Авилова, Толстой, Щеглов, Озерова, Яковлев, Ольга Шаврова. Приходили, но их не пустили: Коробов, Шехтель, Сытин, Саблин, Горбунов.

Самый пространный рассказ оставила Авилова. Он выдержан в общем литературном стиле ее сочинений. Доктор с трудом пустил ее к больному. Чехов тихим голосом произносил многозначительные фразы: «Как вы добры…»; — «О, как не везет нам!»; — «Я слаб, — прошептал он. — Милая…»; — «Так завтра непременно приходите опять. Я буду ждать. Придете?» На следующий день, 26 марта, она принесла букет. И это свидание Авилова воссоздала вольно или невольно в жанре мелодрамы. Она увидела «те же ласковые, зовущие глаза». Чехов будто бы говорил тихо, слабо пожимал ее руку и умолял не уезжать: «Нет! Останьтесь еще на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу!»; — «Останьтесь один день для меня. Для меня, — повторил он»; — «Не владею я собой… Слаб я… — прошептал он. — Простите…» Свое состояние она описала в таком же духе: «Ах, как мне хотелось встать тут на колени, около самой постели, и сказать то, что рвалось наружу. Сказать: „Любовь моя! Ведь я не знаю… не смею верить… Хотя бы вы один раз сказали мне, что любите меня, что я вам необходима для вашего счастья“. Но никогда…»

Да, Авилова навещала Чехова, но обе встречи она живописала так, как описывала подобные моменты в своих рассказах. Ее

героини «смеялись от счастья», «опускались на колени», жили «с томительной жаждой радости, счастья и с тяжелой необходимостью подчиняться чужому настроению». Многие из них ждали, что герой вот-вот скажет им слова любви. Отсутствие личного счастья проступало в рассказах Лидии Алексеевны. Жизнь с ревнивым, неинтересным мужем, однообразные петербургские будни украшались придуманной жизнью.

Будни Шавровой были отчасти сходны с семейной жизнью Авиловой. То же подчинение настроению мужа, ожидание писем от Чехова, встреч с ним, та же подмена реальности воображаемыми историями. И все-таки в ее письмах и воспоминаниях сквозит иная интонация. Едва до Петербурга дошли вести о болезни Чехова, едва принесли его письмо от 26 марта, она ответила ему с иронией над собою, чтобы не показаться мелодраматичной: «Я предчувствовала, что что-то неладно <…>. Господи, как же это могло случиться? <…> В течение этих двух недель я каждый день ожидала Вас сюда <… >. В Петербурге холодно, серо и гадко. <…> Мне скучно, и я живу будущим, что весьма непрактично, как сказал Шопенгауэр. (Ужасная вещь — иметь дело с литераторшей, не правда ли?) Скажите Вашему профессору, что я умоляю его на коленях скорее вылечить Вас, за что я посвящу ему большой роман (!?). <…> выздоравливайте…»

Шаврова догадалась по письму Чехова, что жалость, ахи и охи неуместны. Он словно предупредил ее нарочитой грубоватостью и шутками, что пишет на бумаге, на которой «только что стоял графин», что просит написать, иначе «подохнет с тоски». И хорошо, если бы ему прислали «чего-нибудь съедобного, наприм[ер], жареную индейку», а то ему ничего не дают, кроме холодного бульона.

Елена Михайловна в тот же день написала сестре. Ольга Михайловна побывала в клинике и потом отчиталась в письме: «Я застала его на ногах, как всегда корректно одетого, в большой белой, очень светлой комнате, где стояла белая кровать, большой белый стол, шкапчик, несколько стульев. Он как будто немного похудел и осунулся, но был, как всегда, ужасно мил и весело шутил <…> не мог оставаться без дела. Ну, как думаешь, за чем я его застала? Он подбирал себе стекла для pincenez и очков! На столе стоял ящик со стеклами, а на стене висели картонные листы с буквами и надписями разной величины, какие бывают у оптиков в глазных лечебницах».

Как на самом деле чувствовал себя Чехов? Врачи обещали отпустить его «из темницы» не раньше Пасхи, то есть к 13 апреля. Кровотечение еще продолжалось. Иногда оно усиливалось, если

посетители злоупотребляли временем и словно забывали, что они в клинике. Так случилось после визита Толстого. Чехов впоследствии записал в дневнике: «28 марта приходил ко мне Толстой Л. Н.; говорили о бессмертии».

Чехов рассказал об этой встрече и «преинтересном разговоре» в письме Меньшикову уже по выходе из клиники: «Он признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы; мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю».

Толстой не оставил записей о беседе в клинике Остроумова. Но в его дневнике этой поры постоянно пробивались мысли о смерти — как казалось Толстому, очень близкой. А еще — житейская тоска из-за душевного расхождения с близкими. С начала 1897 года до конца марта — она как пунктирная линия: «Не сплю от тоски. <…> Вчера сижу за столом и чувствую, что я и гувернантка — мы оба одинаково лишние, и нам обоим одинаково тяжело. <…> Пишу с тем, чтобы знали хоть после моей смерти. <…> Думал: всё равно от чего-нибудь умирать надо. <…> Не только не жалко, но хочется уйти от этой скверной, унизительной жизни. <…> И невыразимая тоска. <…> То, что смерть теперь уже прямо представляется мне сменою: отставлением от прежней должности и приставлением к новой. Для прежней должности кажется, что я уже весь вышел и больше не гожусь. <…> Жив. Совершенно здоров».

Толстой, конечно, привнес в разговор с Чеховым о смерти и бессмертии свое тогдашнее настроение. Говорил по преимуществу он один. Чехов больше слушал. Его настроение угадывалось в письмах этих дней. Он повторял два слова: «положение неопределенное». То, что Льву Николаевичу мнилось, что страшило в его преклонные годы, то для тридцатисемилетнего Чехова было реальностью. Но ни в письмах, ни в дневниковых записях, ни в разговорах он не произносил слово «смерть». Не размышлял, не рассуждал о ней, как Толстой, как Суворин.

Разговор с Толстым о бессмертии впоследствии отозвался в дневнике Суворина. Чехов, видимо, передал его при встрече в Петербурге летом 1897 года. Алексей Сергеевич, переживавший разлад со своей семьей, объединил в записи свой страх перед одиночеством и смертью: «Чехов приехал. <…> Смерть — жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти

уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешаться тем, что сольюсь с козявками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже цели этой не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать».

В письмах Чехова после того, как «неопределенное положение» определилось, интонация совершенно другая, чем в дневниковых записях Толстого и Суворина. Он писал с легкой иронией о диагнозе врачей, которые все-таки «выслушали» его, наконец. И нашли то, что он давно подозревал сам («притупление и хрипы»). Рассказал о рекомендациях коллег, тех самых «мерах», о которых он до сих пор не разрешал никому говорить.

У него определили верхушечный процесс в обоих легких. Болезнь была неизлечима, но процесс можно замедлить, если больной коренным образом изменит свою жизнь. В начале апреля он написал Суворину: «Велят жить непременно в деревне, но ведь постоянная жизнь в деревне предполагает постоянную возню с мужиками, животными, стихиями всякого рода, и уберечься в деревне от хлопот и забот так же трудно, как в аду от ожогов». Так отпала рекомендация о покое.

Врачи настаивали на том, что медицинская практика (ежедневная, сопряженная с выездами в мороз, в холод, в дождь) усугубляет состояние больного и ее надо оставить. Чехов согласился с ними, хотя признался, что это будет для него «и облегчением, и крупным лишением». Он предполагал «бросить все уездные должности». Но, несомненно, отдавал отчет, что все равно мужики будут идти к «доктору», что земские коллеги непременно вовлекут в общие дела. Так что и эти отказы тоже оказались бы относительными.

«Меры», предписанные врачами, Чехов описал насмешливо: «<…> покупаю халат, буду греться на солнце и много есть. <…> До сих пор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было не вредно; теперь же на поверку выходит, что я пил меньше того, чем имел право пить. Какая жалость! Автора „Палаты № 6“ из палаты № 16 перевели в палату № 14. <…> После того вечера, когда был Толстой (мы долго разговаривали), в 4 часа утра у меня опять шибко пошла кровь. <…> Ко мне то и дело ходят, приносят цветы, конфекты, съестное. Одним словом, блаженство».

7 апреля, за два дня до выписки, Чехов в письме Суворину сам себе поставил «окончательный диагноз» и назвал свои

«меры»: «Если верить самочувствию, то я здоров совершенно <…> меня выпускают из клиники, я уезжаю домой и буду там жить, как жил».

Глава двенадцатая. ПОСЛЕ КЛИНИКИ…

11 апреля 1897 года, в Великую пятницу, Чехов вернулся в Мелихово. Родители не знали, что с ним случилось.

Павел Егорович в первые апрельские дни безмятежно заполнял дневник событиями домашней жизни: «Старуха Марьюшка именинница. Гости и дворня поздравляют ее. <…> Трубы чистят в доме. <…> Купили мне 2 руб[ашки] и 2-е кальсон. Миша и Леля приехали. <…> От Андреева провизия получена. <…> Рамы выставили в доме. <…> Редиску и салат ели из парника. <…> Посадил 10 тополей. Антоша и Ваня приехали. <…> Пасха. Наша прислуга получила подарки. Приходили из села поздравлять 40 мужиков и 23 бабы, всем дали денег».

До конца месяца в Мелихове побывали, кроме родных, монахи из монастыря, два незнакомых студента, священники, доктор П. И. Радзвицкий, художник П. И. Серегин, Мизинова, Селиванова, Семенкович, Дроздова, Коновицер, Коробов, Глуховской, Щеглов, Забавин, какие-то, не поименованные «летописцем», две «толстые дамы».

Сам Чехов успел съездить в Новоселки, посмотрел, как идет стройка. Побывал в Москве. Готовил очередную книжную посылку в Таганрог. Разговоры о своей болезни он вежливо пресекал. В конце апреля написал Шавровой: «Здоровье мое ни то ни се и порядочно-таки мне надоело. Стараюсь о нем не думать и злюсь, когда о нем говорят. Вы знаете, я зол, как тигра лютая».

Исключая скрытое от домашних лечение и временное переселение Чехова в комнату сестры, все осталось по-старому. Как он писал в письмах — «нового ничего нет». Главные рекомендации врачей — специальный уход за больным, покой, полноценное питание, теплый дом, летом поездка на кумыс, зимой в теплые края — оказались неисполнимы.

Что значило решение общего семейного «совета», то есть Чехова, Марии Павловны и Ивана Павловича, «покомфортабельнее устроить помещение»? Как бы ни благоустраивали мелиховский дом, он не становился просторнее и теплее. Специальный уход? Постороннюю лечебную помощь Чехов категорически отвергал. Сам ставил себе «мушку», то есть пластырь из шпанской мухи. Сам делал себе уколы, «прыскал» мышьяк. От напоминаний, что надо больше есть, сердился. На

дружеский совет в одном из писем этой поры — пить молоко с овсом, ответил: «<…> лечиться скучно и мысль, что в таком-то часу я должен выпить столько-то молока, постоянно бы меня раздражала и угнетала, как насильственное представление». Что же до многолюдства, то он в шутку предлагал радикальное средство: «Надо жениться. Быть может, злая жена сократит число моих гостей хотя наполовину». Сам он «сокращать» не умел. И на вопросы приятелей, можно ли навестить его, отвечал, что будет ждать с радостью.

Покой? Когда он был у Чехова? Особенно сейчас, когда одолевали насущные вопросы, текущие дела по имению, по новоселковской стройке, по отдельному изданию повести «Мужики». 2 апреля, когда Чехов еще был в клинике, апрельская книжка «Русской мысли» поступила к московскому цензору С. И. Соколову. По прочтении повести он написал донесение в Московский цензурный комитет, что в ней «слишком мрачными красками описывается положение крестьян, проживающих в деревнях».

Глава комитета немедленно препроводил в Петербург начальнику Главного управления по делам печати Соловьеву этот номер журнала. От себя добавил, что новая повесть Чехова — «это нечто, по первому впечатлению, предосудительное». «Главный цензор» наложил резолюцию: «Задержать, если не исключат стр. 193». Это та самая страница, финал реквиема, последний взгляд Ольги, вдовы Николая Чикильдеева, на деревню: «Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала о том, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду и как все плакали, сочувствуя ее горю. В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Мужик. Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают, плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. <…> И теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы».

Московский цензор настрочил 3 апреля еще одно донесение о «мрачной повести», а председатель комитета обратил внимание своего столичного начальства уже на предосудительное

направление самого журнала «Русская мысль». Соловьев приказал направить в Москву телеграмму с требованием, если не будет исключена злополучная страница, арестовать апрельскую книжку. В срочном порядке из отпечатанного тиража в типографии вырезали указанную страницу и заменили новой. Текст «разогнали» так, чтобы ничего не было заметно.

7 апреля в газете «Русские ведомости» появилось сообщение о выходе очередного номера журнала.

26 апреля Чехов взял в редакции оттиски. По его выражению, цензура выхватила «порядочный кусок». Но Чехов надеялся восстановить его в отдельном издании. Коробов, прочитав журнал, удивился, почему цензура не запретила всю повесть, ибо «Мужики», по его словам, «вопиют, бьют в набат».

Повесть сразу ошеломила читателей, кого-то напугала, у кого-то вызвала восторг, а у кого-то протесты. Отклики были такими же скорыми и всеобщими, как после появления «Палаты № 6», но, может быть, более страстными и личными, хотя речь шла о русской деревне. Меньшиков отозвался в первые же дни: «Прочитать этот рассказ безнаказанно нельзя». Немирович написал Чехову: «Читал с огромным напряжением „Мужиков“». Сумбатов не скрыл своего потрясения: «Удивительно высок и целен твой талант в „Мужиках“. Ни одной слезливой, ни одной тенденциозной ноты. И везде несравненный трагизм правды, неотразимая сила стихийного, шекспировского рисунка; точно ты не писатель, а сама природа. <…> Я всё вижу без описаний, а фрак вернувшегося „в народ“ лакея я вижу со всеми швами <…>. Я никогда не плачу: когда он надел, а затем уложил фрак, я дальше долго не мог читать».

Об этих и других первых откликах Чехов лишь заметил: «Получаю много писем по поводу своего здоровья и „Мужиков“». И только.

В его апрельских и майских письмах то и дело обнаруживалось беспокойство насчет ближайшей осени и зимы. 15 апреля он рассказал Иорданову о том, как врачи «заарестовали» его и какой поставили диагноз: «Будущее мое неопределенно, но, по-видимому, придется жить где-нибудь на юге. Крым скучен до безобразия, а на Кавказе лихорадка. За границей меня всякий раз донимает тоска по родине. Для меня, как уроженца Таганрога, было бы лучше всего жить в Таганроге, ибо дым отечества нам сладок и приятен, но о Таганроге, об его климате и проч. мне известно очень мало, почти ничего, и я боюсь, что таганрогская зима хуже московской».

Едва ли Чехов забыл, какие там зимы. Наверно, хорошо помнил, особенно каково было в те годы, когда остался в родном

городе один. По-видимому, он не хотел обижать Иорданова откровенным мнением о таганрогской зиме. Действительно, малопригодной для человека с больными легкими — ветры, туманы, сырость. Крым ему не нравился, о Кавказе он слышал не самые лучшие отзывы как о курорте, но подумывал о Сочи, о Кисловодске — а еще о Египте, о Ницце.

В письме к Линтваревой от 1 мая 1897 года Чехов, размышляя о зиме, о поездке на юг, за границу, признался: «Если бы Вы знали, как мне хочется на Луку! <…> Если удастся урвать 2–3 дня между 25 мая и июнем, то непременно приеду в мае же». Пока звал ее в Мелихово: «А Ваш приезд был бы для всех нас, особенно для меня, настоящим праздником».

Лука, Линтваревы — это лето 1888 года, приезд туда А. Н. Плещеева, рыбная ловля, вечерние беседы, радость хозяев от встречи с любимым поэтом. Это давнее время Чехов вспоминал в клинике, в разговоре с Щегловым: «А ведь знаете, я почти привык здесь… здесь так удобно думать! А по утрам я хожу гулять, хожу в Новодевичий монастырь… на могилу Плещеева. Другой раз загляну в церковь, прислонюсь к стенке и слушаю, как поют монашенки… И на душе бывает так странно и тихо!..»

Щеглов привел эти слова Чехова в своих мемуарах и обратил внимание на их сходство со строками из повести «Палата № 6» — о посещении церкви Рагиным: «Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях, и ему было покойно, грустно…» Такое же отдаленное, на первый взгляд странное созвучие, похожее на предчувствие, угадывалось между повестью «Черный монах» и тем, как он передавал случившееся с ним в ресторане «Эрмитаж». В последней главе повести описано легочное заболевание Коврина: «У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такою же болезнью десять лет, даже больше; и доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить».

Упоминания в письмах собственных недомоганий давно напоминали особую историю болезни доктора Чехова. Особую, потому что оценить настоящее положение дел, располагая этими письмами, смог бы только профессионал. По деталям, оговоркам, симптомам, почти неуловимым признакам.

Свое действительное состояние Чехов скрывал. Изредка упоминал «бациллы», «коховские запятые», «верхушечный процесс

в легких». Говорил спокойно, обыденно. Позже даже шутил: «Бациллы ведут себя прилично, не либеральничают; по крайней мере, в моих плевках давно уже не было красного…» А чтобы не задавали вопросов, сразу уверял корреспондентов, что чувствует себя «недурно», «прекрасно», что «совершенно здоров», «ничего не болит», «поправился», «отъелся» и т. д.

Судя по этой сдержанной, но не унылой интонации, Чехов не выбился из душевной колеи. Общий тон писем стал даже ровнее. Словно определенность диагноза внесла ясность, особый внутренний настрой.

* * *

«Обойти беду» не получилось. Значит, приходилось отныне жить с бедой, взирая на будущее, как он советовал другим, «с упованием». Не на здоровье, которое было невозвратимо. Но на то, что оставалось доступно и по-прежнему желанно. Может быть, даже сильнее, чем прежде. В этом было нечто сходное с тем, что Чехов почувствовал в состоянии и настроении Левитана: «У него страстная жажда жизни, страстная жажда работы, но физическое состояние хуже, чем у инвалида».

О себе он сказал в письме к Линтваревой: «Видите, какой я калека. Но это я тщательно скрываю и стараюсь казаться бодрым молодым человеком 28 лет, что мне удается очень часто, так как я покупаю дорогие галстуки и душусь Vera-Violletta». Он охотно перемежал серьезное и смешное. Упомянув в письме к Шавровой, что ему надо добыть денег, закончил шуткой: «Если бы Вы умели делать фальшивые бумажки, то я на коленях умолял бы Вас развестись с мужем и выйти за меня». Говорил, что «скучно всю жизнь быть умным». Скучные люди угнетали его.

Дроздова, гостившая летом 1897 года в Мелихове, запомнила розыгрыш Чехова. Однажды он рассказал ей по секрету об одном из гостей, соседе-помещике, что с ним опасно оставаться наедине. Самому «опасному» соседу Чехов поведал, как любит эта замечательная девушка катание на тройках, но уговорить ее трудно, уж очень застенчива. И потом наблюдал, как Дроздова отбивалась от настойчивых предложений прокатиться. Но, понаблюдав недолго, рассмешил обоих, раскрыв, что все подстроено.

В эти дни Чехов обронил в одном из писем, что в его голове «киснет» тьма сюжетов. А главное, признавался, как ему «хочется двигаться, ужасно хочется». И не просто, допустим, на речном пароходе, но на морском, где, по его словам, и публика

интереснее, и пейзажи не так однообразны. Разговор о кругосветном плавании, возникавший в письмах Чехова до и после сахалинской поездки, всегда выдавал скрытое волнение, возбуждение или предвкушение чего-то, какое-то упование.

От дальней поездки его удерживали строительство школы и отсутствие сестры, отдыхавшей в Крыму. Он уезжал ненадолго в Москву. Выбрался в «Успенское», имение миллионера Сергея Морозова, чтобы повидаться с Левитаном. Рассказывал в письме: «<…> дом, как Ватикан, лакеи в белых пикейных жилетах с золотыми цепями на животах, мебель безвкусная, вина от Леве, у хозяина никакого выражения на лице — и я сбежал». В этом же письме Суворину, от 21 июня, признался, что сбежал бы из Мелихова, где его томили установившаяся жара, многочисленные гости, грядущая зима: «Урожай будет неважный; цена на хлеб и на сено растет. Болезней нет. Водку трескают отчаянно, и нечистоты нравственной и физической тоже отчаянно много. Прихожу всё более к заключению, что человеку порядочному и не пьяному можно жить в деревне только скрепя сердце, и блажен русский интеллигент, живущий не в деревне, а на даче».

Эти два впечатления — как два этюда к какому-то замыслу. То ли к продолжению «Мужиков», обещанному Гольцеву. То ли к новому повествованию о русской деревне, но более резкому.

Чехов всё еще получал письма с откликами на повесть, критики обсуждали новинку. Один из них (Н. Ладожский) находил ее «великим произведением», но, по его словам, «сомнительно, чтобы Чехов любил людей и всего более людей русских». Многие сравнивали повесть Чехова с «Властью тьмы», подчеркивали, что «по мрачности и безнадежности» она далеко оставляет за собой драму Толстого. Сам Толстой говорил впоследствии, как это запомнилось современнику, что «Мужики» — «это грех перед народом», что Чехов «не знает народа».

Критическая разноголосица быстро переросла в спор двух «партий», двух «лагерей», либерального и народнического. О «любви» к русскому народу: кто любит его больше и надо ли вообще «любить» русскую деревню, а если помогать ей, то как? Кто спасет ее? Она сама или какая-то сила извне? Но затем полемика вышла и за эти рамки. В центре оказался вопрос: «Мужики» — это правда или неправда о русской деревне?

Для одних — «ужасная и простая правда»; — «великая художественная правда»; — правдиво до иллюзии самой жизни; — сконцентрированное, но не утрированное изображение. Для других — фальшивый лубок; — поспешный черновик; — намеренное сгущение красок, рассчитанное на «потрясение читательских нервов».

Критик Е. А. Соловьев, еще год назад обещавший сказать, что «аз есмь Чехов» («Пусть это г. Чехов помнит»), наконец высказался в газете «Новости и Биржевая газета»: «Очень может быть <…> что от этого таланта осталась теперь лишь одна труха <…> критика давно отметила это <…> но не хотела или не умела назвать вещь своим именем. А имя, повторяю, очень простое — трусость мысли и чувства, не позволяющая г. Чехову ни отрицать, ни признавать. <…> Он всегда верен себе, всегда смотрит на жизнь глазами фаршированного карася или замерзающего судака, и уже „большого“, крупного вы от него не дождетесь. <…> А ведь находятся критики, провозглашающие его в единую из пятниц гением… Ах, Господи!»

В этом отзыве исчерпал себя по отношению к Чехову не оскорбительный тон (его нельзя искоренить так же, как зависть, злобу и низость). Но будто истощился десятилетний запал тех критиков, которые требовали от Чехова «обшей идеи», «определенного миросозерцания», ясной моральной оценки и проповеди общественных идей.

На сочинениях Чехова уже другие критики и литераторы осознавали перемены в мировом и отечественном искусстве.

Все чаше появлялись статьи и рецензии, авторы которых искали и находили слова для объяснения воздействия Чехова на читателей, прямо или косвенно признавали огромный интерес к его сочинениям. Как раз в это время один из известных литераторов в шутку и всерьез попросил Гольцева: «Нельзя ли меня не помещать в одну книжку с Антоном Павловичем? Ведь это значило бы заранее обдуманным намерением погубить меня…»

Потапенко прошелся в своей статье о «Мужиках» насчет критиков, которым мешает наслаждаться прекрасным какая-нибудь любимая теория. Некий «аноним» вообразил, что автор имел в виду Буренина, и в письме в редакцию радовался тому, как наконец-то «отделали» главного рецензента «Нового времени». Буренин, безжалостный к другим, смертельно оскорблялся даже скрытым или мнимым выпадом в свой адрес. Он вставал в позу несправедливо обиженного, потерпевшего от навета и поношения. Виктор Петрович в таких случаях прибегал к шантажу и ультиматумам. И написал письмо Суворину в духе Фомы Опискина — мол, могли бы пощадить его «тусклую старость», подождать, пока он сам не уйдет из газеты, которой отдал двадцать лет жизни и трудов. И вообще, нельзя поносить его на тех самых страницах, где и он печатается: «Как я могу писать в пятницу, когда в воскресенье я могу быть обруганным?» Свою брань в адрес коллег, сотрудников и авторов «Нового

времени» в этой же самой газете он словно не помнил. Суворин, конечно, принял сторону Буренина и отчитал Потапенко. Но Игнатий Николаевич от своих слов не отступился и ответил «хозяину»: «Не согласен я с Вами, что повторил то, что сказал Буренин. Может быть, я сказал плохо, но совсем не то или, лучше сказать, — как раз не то». И в этом он был не одинок.

Меньшиков заметил в своей статье, что «в последние два-три года русская критика была крайне немилостива к г. Чехову. <… > рецензенты взапуски пророчествовали о падении таланта Чехова, о безнадежности всяких ожиданий от него». Сам же он высказал значимую догадку: «Читая точно кованные из дорогого металла рассказы Чехова, ощущаешь огромный удельный вес потраченного материала: ни одной лишней буквы. Мысль сжата у него до ее идейной сути и обладает упругостью заведенной пружины: попадая в мозг читателя, она развертывается там и продолжает свое движение, свою внутреннюю жизнь». Закончил выводом, что «Мужики», как вещь художественная, «дают не только *полное* знание в затронутой области, но и знание, *важное* по существу».

Чехов читал эту статью и 14 июня написал Михаилу Осиповичу: «Ваша статья о „Мужиках“ вызвала во мне много мыслей, подняла в моей душе много шуму, но я всё же не собрался написать Вам, решив, что в письме всего не напишешь, что нужно говорить, а не писать. Когда мы увидимся?» В 1897 году их встреча не состоялась. Но состоялось множество других. Чехов рассказывал Лейкину в начале июля: «У меня гостей — хоть пруд пруди. Не хватает ни места, ни постельного белья, ни настроения, чтобы с ними разговаривать и казаться любезным хозяином. Я отъелся и уже поправился так, что считаюсь совершенно здоровым, и уже не пользуюсь удобствами больного человека, т. е. я уже не имею права уходить от гостей, когда хочу, и мне уже не запрещено много разговаривать».

Двоюродный брат Володя запомнил, как, видимо, в поисках одиночества Чехов подолгу стоял у пруда, бросая корм, ловил с Иваненко рыбу. Или отправлялся за грибами. Но вдруг неожиданно возвращался, скрывался во флигеле. Мария Павловна будто бы в таких случаях поясняла: «На Антошу насело». Подметил гость и то, что Чехов, например, охотно ухаживал за цветами (он любил розы, пионы, тюльпаны), однако никогда не нюхал их. Не видел он брата на лошади. Но по простодушию не связывал это с болезнью Чехова, который уже давно тяжело переносил даже вагонную тряску, не любил сильные запахи.

Молодой семинарист удивлялся вопросам брата. Однажды Чехов спросил его о различии между христианством и

конфуцианством. Советовал непременно прочесть Марка Аврелия и подарил книгу его сочинений. Говорил о Гёте, Гоголе, Толстом. Однако когда уставал от долгой беседы, то уходил под благовидным предлогом. Или заговаривал о путешествии, о том, что хорошо бы куда-нибудь уехать.

Помолчать и то не всегда удавалось Чехову во время сеансов. Приехавший в Мелихово художник Браз писал его портрет — и мучился. Все, кто ни брался за такой труд, признавались, что выражение глаз у Чехова постоянно менялось, будто ускользало. Что-то оставалось скрытым даже от взгляда художника.

Позировать, да еще в жару, Чехову было тяжело. Он ходил даже во время домашних трапез. Неподвижное сидение утомляло его. Портрет остался незавершенным и не понравился ни Чехову, ни Бразу.

13 июля тихо и скромно, в отсутствие земства, в Новоселках освятили новое здание школы. Мужики поднесли «строителю» икону. 22 июля кончилось «заточение» Чехова. Однако поехал он не на кумыс, как рекомендовали врачи, а в Петербург. Всего на неделю. Но по важному делу: понять свое финансовое положение перед отъездом за границу. Чехов навестил Лейкина в его имении под Петербургом и сказал, что еще не решил, куда поедет, где проведет зиму. Доктора рекомендовали Грецию, Корфу, Мальту, Ривьеру. Сам Чехов подумывал, не купить ли участок в Ялте и не построить ли там дом. Летом жить в Мелихове, зимой — в Крыму.

Сборники Чехова выходили в издательстве Суворина десятым, некоторые одиннадцатым изданием, как и прежде каждый в тысячу экземпляров. Готовился новый, куда вошли повести «Моя жизнь» и «Мужики». Расчеты показали, что деньги на поездку есть, но почти в обрез, потому что в первую очередь Чехов должен был обеспечить семью. Он начал исподволь готовиться к долгой разлуке. Мизинова грустно шутила: «Я должна же Вас видеть перед отъездом! <…> Должна наглядеться на Вас и наслушаться Вас на целый год!»

Она невольно, может быть, раньше других почувствовала, что началось прощание с Мелиховым. Мизинова и теперь приезжала к Чеховым, в хорошо знакомый дом, в давно знакомое семейство. Но Мария Павловна, увлекшаяся живописью, подружилась с художницами Дроздовой и Хотяинцевой. В первый день августа Лидия Стахиевна писала из Покровского: «Здесь очень хорошо. Все-таки я привыкла с детства и к дому и саду, и здесь я чувствую себя другим человеком совершенно. Точно нескольких последних лет жизни не существовало, и ко мне вернулась прежняя „Reinheit“[13], которую Вы так цените в женщинах, или, вернее, в девушках! (?) <…> Вы и представить себе не можете, какие

хорошие нежные чувства я к Вам питаю! <…> Но не вздумайте испугаться и начать меня избегать, как Похлебину. Я не в счет и „hors concours“[14]! Да и любовь моя к Вам такая бескорыстная, что испугать не может! Так-то, голубчик! <…> Это письмо разорвите и не показывайте Маше. Она вообразит, что я опять в числе поклонниц, а я повторяю: hors concours. И, пожалуйста, не истолкуйте меня не так, как надо».

Мизинова еще дважды приезжала в августе к Чеховым. Один разе Левитаном. Павел Егорович записал в тот день: «Теперь у нас обедали 2 художницы и 1 худ[ожник] Левитан». Она не могла не заметить интереса Александры Александровны Хотяинцевой к Чехову. Он был оживлен, смешил художницу шутками, разговорами со своими таксами Хиной Марковной, которую звал еще «рыжей коровой», и Бромом Исаичем, которого за толщину дразнил «царским вагоном». Он любил смешно называть собак: Селитра, Мюр, Мерилиз, Майор, Катар, Заливай.

Однажды Чехов сказал Хотяинцевой: «И я и Левитан не ценили жизни, пока были совершенно здоровы, теперь только, когда мы оба серьезно заболели, мы поняли ее прелесть!» Она запомнила, как Чехов поддразнивал ее. Если ловилась на подвох, то утешал: «Говорить глупости — привилегия умных людей!» Себя называл Потемкиным: «Когда я еду мимо церкви, всегда звонят, так было с Потемкиным». Хотяинцева усомнилась: «Дня через два, рано утром, мы поехали на станцию. Проезжаем через село, равняемся с церковью — зазвонили колокола.

— Слышите?! Что я вам говорил!

И тут же спросил, — неожиданные вопросы были ему свойственны:

— А вы играли в моем „Медведе“? Нет? Очень приятно, а то каждая почти барышня начинает свое знакомство со мной: а я играла вашего „Медведя“!»

Август уже был на исходе, но Чехов так и не поехал ни на кумыс, ни в Кисловодск. Теперь он размышлял над заграничным маршрутом: Биарриц, там встретиться с Сувориным и Соболевским, затем на всю зиму в Ниццу. Говорил, что сразу приоденется, купит «шкуру пофранцузистей».

Последние летние дни ушли на улаживание домашних дел и завершение общественных обязательств. Школа в Новоселках обошлась в 3200 рублей. Одна тысяча была выделена земством, а все остальное либо пожертвовано лично Чеховым (свыше полутора тысяч), либо собрано им.

Отсылая счета в земскую управу, он приложил список жертвователей и просил непременно поблагодарить их официально. И сообщал Шаховскому, что готов отдать 100 рублей

на постройку училища в Степыгине. Это были деньги из тех полутора тысяч, присланных Сувориным осенью 1895 года на спасение журнала «Хирургическая летопись». Тогда средства нашлись. В мае 1897 года Чехов спросил Суворина: «Предполагаются еще постройки в недалеком будущем, и если Вы ничего не будете иметь против и если я буду жив и здоров, то из Вашего пожертвования я буду выдавать на каждую вновь строящуюся школу по сту рублей, и таким образом Вы окажете помощь не один, а пятнадцать раз. Согласны?»

С некоторых пор, пожалуй с сахалинской поездки, Чехов, уезжая куда-то на более или менее длительный срок, не оставлял за собой невыполненных просьб и обещаний, нерешенных денежных дел. В конце августа он предупредил Забавина: «За училище мы никому не должны ни одной копейки».

Чехов всегда уезжал как будто навсегда. Словно не исключал роковые случаи, какие уже пережил в прошлые годы (случай с шестом в купальне; страшная авария с почтовыми тройками на сибирских дорогах; опасное купание в океане и др.). Но пока не составлял официального завещания. То ли полагал, что всё устроится по закону, то ли не хотел писать неизбежного — «в случае моей смерти».

Как он уладил финансовые дела и где взял средства на поездку? 1700 рублей — это деньги, вырученные продажей его книг. О тысяче рублей он договорился с Гольцевым и Лавровым, что если ему потребуется такая сумма, они вышлют во Францию.

Его убеждали, что этой суммы окажется недостаточно. Мизинова и не в меру энергичная Кундасова предлагали переговорить через Я. С. Барскова, редактора журнала «Детский отдых», и через Левитана о займе у кого-то из богатых людей. Чехов ответил полусогласием, мол, даст знать, если деньги понадобятся.

Сестре он оставил сразу значительную сумму и объяснил, что ежемесячно она может получать 200 рублей в книжном магазине «Нового времени» и тратить его театральный гонорар, который будет присылать Александр из Петербурга. Ему казалось, что этого достанет, и он был спокоен на сей счет.

* * *

1 сентября 1897 года Чехов уехал туда, куда, как он пошутил в письме к старшему брату, «съезжаются одни только аристократы». 3(15) сентября приехал в Берлин и в этот же день отправился в Париж. Здесь он встретился с Суворинами. В

Париже действительно «приоделся» (брюки, сорочки, фуфайка, галстуки, цилиндр).

Его тут же увлекли смотреть город. Бульвары, парижская толпа, сады — всё оживляло, молодило. И Чехов подумывал — не пожить ли здесь весь октябрь, а уж потом «на зимовку»? Но в один из дней он заметил у себя кровь и заторопился на юг Франции. Однако и здесь поначалу встретил дождь, напугал ветер, всегда опасный для него. Многое занимало Чехова — толпа, нравы, французская кухня. Но всего было чрезмерно: еды, соотечественников, казино, публичных женщин: «Русских очень, очень много. <…> Русские старики бледны, очевидно, изнемогают по ночам около кокоток <…>»

Как всегда, заграничные письма Чехова запестрели мгновенными зарисовками. Он часто сидел на берегу океана, читал газеты и наблюдал: «<…> мимо меня пестрою толпою проходят министры, богатые жиды <…> испанцы, пудели; платья, разноцветные зонтики, яркое солнце, масса воды, скалы, арфы, гитары, пение — всё это вместе взятое уносит меня за сто тысяч верст от Мелихова. <…> На днях в Байоне происходил бой коров. Пикадоры-испанцы сражались с коровами. Коровенки, сердитые и довольно ловкие, гонялись по арене за пикадорами, точно собаки. Публика неистовствовала».

Да, от русской деревни, от мелиховского дома, где уже топили печи, от провинциального уездного Серпухова до французского курорта были тысячи верст в буквальном и переносном смысле слова. Но сюда Павел Егорович, по просьбе сына, пересылал русские газеты, о чем непременно и с важностью упоминал в своем дневнике. Причины, погнавшие сына так далеко, он не осознавал глубоко, ибо по-прежнему исповедовал житейское правило: все во власти Божьей, не нашим умом, а Божьим судом.

Мизинова рассказывала в письме об общих знакомых. Но грубоватый тон, наверно, нарушал установившиеся дружеские отношения. Зачем-то задела Шаврову: «Я недавно размышляла о Вашем романе с писательницей и додумалась вот до чего: ел, ел человек вкусные и тонкие блюда — и надоело ему все, захотелось редьки!» Обозвала Щепкину-Куперник «Танькой», иронически заметив: «В лице у нее еще больше той Reinheit, которую Вы так цените в женщинах и которой так много в лице m-me Юст!» Это походило на недоброжелательство и намекало на замужнее положение Шавровой, позволившей себе любовную связь, и на «особые отношения» Щепкиной-Куперник и Яворской. Упомянула Хотяинцеву: «Маша по-прежнему неразлучна с художницей, которая в свою очередь по-прежнему в ее чертах ищет черты

„другие“! <…> Впрочем, я не завидую, она очень симпатична и интересна, и я вполне Вас одобряю».

Чехов ответил ей: «Верьте, что я ценю в женщинах не одну только Reinheit, но и также доброту». Однако сам не удержался от колкостей и намеков на дурное влияние Кувшинниковой, «пожирательницы молодых художников», на нравы салона под «пожарной каланчей». И упомянул, что для «упражнений на французском языке» завел француженку девятнадцати лет: «Извините меня за это, пожалуйста».

В следующем письме Мизинова позволила неделикатный демарш и, кажется, переступила грань дозволенного в их отношениях: «Вот и за Вас я порадовалась, что наконец-то Вы взялись за ум и завели себе для практики француженку. Надеюсь, что моя приятельница Кувшинникова оказалась неправой относительно Вас и Вы не осрамились! Надеюсь! Пусть она Вас расшевелит хорошенько и разбудит в Вас те качества, которые находились в долгой спячке. Вдруг Вы вернетесь в Россию не кислятиной, а живым человеком — мужчиной! Что же тогда будет! Бедные Машины подруги!»

Лидия Стахиевна, видимо, поняла, что переборщила, что подобного Чехов может не извинить ей. Через три недели она повинилась: «Если Вас напугал тон моего письма, то успокойтесь — это только шутка и простите за фамильярность. Будьте здоровы». Но, возможно, эта «шутка» на самом деле не прошла бесследно. Отныне в его письмах к ней появилась интонация воспоминания — так он писал тем, с кем жизнь развела его. Например, Билибину, Лейкину, Ежову, то есть подчеркнуто дружелюбно, вежливо, но все-таки отстраненно.

От биаррицкого безделья, от одиночества, оттого, что не писали из дома (это всегда обижало Чехова), он затосковал и 22 сентября (4 октября) перебрался в Ниццу, где поселился в «Русском пансионе» («Pension Russe»). Снять номер в дорогом отеле Чехов не мог. Уже в Биаррице он понял, что, конечно, расходы оказались куда больше, чем он планировал. И попросил Гольцева выслать по телеграфу обговоренную тысячу. К тому же все осложнилось денежным недоразумением.

Сестра написала ему 17 сентября: «…у меня денег осталось очень мало, и я хорошо не поняла, как их нужно доставать, ты обещал мне дать какие-то листки для получения их, но, должно быть, забыл». Нервная и мнительная, как и братья, Мария Павловна, не дождавшись денег из книжного магазина (1 октября), почему-то не обратилась за помощью к Ивану и Михаилу (временно выручить ее небольшой суммой). Она забила в колокола. Заговорила о своих заботах по хозяйству, о своем

плохом самочувствии, дурном настроении, даже пожаловалась на двух добродушных лаек, присланных Лейкиным. О том, что не хватает денег, написал за границу и Павел Егорович. Причем таким тоном, что-де у хорошего хозяина так не бывает. Но тоже при этом не попросил помощи у других сыновей.

Получив письма из дома, узнав из телеграммы Гольцева, что вопрос о тысяче откладывается, Чехов дрогнул и засобирался в Россию. До этого момента он полагал, что станет работать, когда войдет в заграничную колею, осядет на одном месте, а до той поры ему хватит взятой суммы.

Впервые позволив себе праздную жизнь, Чехов прожил ею всего три недели, ибо деньги у него таяли, «как мороженое». А тут еще укоры домашних. Оставалось одно: садиться срочно за письменный стол. Но пока он напишет, пока опубликуют, вышлют гонорар, а деньги нужны дома сейчас.

25 сентября (7 октября) он напомнил сестре о договоренности с книжным магазином, о согласии редакции «Русской мысли» выдавать ей, без всяких формальностей, испрашиваемую сумму. На шутку брата — «деньги тают, как безе», Мария Павловна ответила 30 сентября: «У меня тоже деньги тают, как бланманже». И перечислила подробно хозяйственные дела, отнимавшие у нее деньги, силы и время: ремонт флигеля, копка пруда, посадка деревьев. Но тут же оговорилась: «Будь здоров и не собирайся домой. Дома еще больше денег будешь тратить, непременно затеешь какую-нибудь постройку! Я бы с удовольствием теперь уехала от холода и сырости. Кости ноют, и настроение скверное».

Этот список дел и расходов расстроил Чехова. Он тут же послал старшему брату в Петербург доверенность на получение гонорара за «Иванова», вновь шедшего на сцене Александринского театра. Сестре написал с сокрушением, что ему совестно: «Если тяжело, то потерпи, что делать? За труды я буду присылать тебе награды». В эти же дни он послал письмо секретарю Общества русских драматических писателей, попросил выслать на имя Марии Павловны в Лопасню гонорар за постановку его, Чехова, пьес на сценах провинциальных театров.

Вероятно, через Мизинову или еще кого-то слух о денежных затруднениях Чехова дошел до Левитана. Исаак Ильич тут же отбил телеграмму с просьбой сообщить точный адрес, куда отправить две тысячи рублей. Чехов адрес послал, но денег не просил. Его молчание на этот счет Левитан принял за согласие и написал, что по его просьбе Сергей Морозов высылает Чехову две тысячи без всяких условий и векселей. И умолял: «Милый, дорогой, убедительнейше прошу не беспокоиться денежными

вопросами — всё будет устроено <…>. Голубчик, если не хочется, не работай, не утомляй себя. Все в один голос говорят, что климат Алжира чудеса делает с легочными болезнями. Поезжай туда и не тревожься ничем. <…> Очень вероятно, что я подъеду к тебе и сам; авось, вдвоем не соскучимся. <…> Жму твою руку. Очень любящий тебя. Твой Левитан».

Так как сестра ничего не писала о получении денег, Чехов не выдержал, снял со своего счета в банке «Лионский кредит» и выслал около 400 рублей. В октябре Мария Павловна получила деньги отовсюду: из книжного магазина — 200 рублей, от Кондратьева — 162 рубля, из Ниццы — 371 рубль. В ноябре — 200 рублей из книжного магазина, 656 рублей от старшего брата (театральный гонорар). Все уладилось. Она теперь уверяла, что «дома по части хозяйства и построек все благополучно», что рисунки ее одобрил сам «знаменитый Суриков» и даже лайки были прощены. В октябре она писала: «Беспокоиться тебе нечего, я теперь знаю, откуда мне брать финансы. <…> Дома трат очень мало. Если я тебе перечисляла расходы, то только для того, чтобы ты мог распорядиться, особенно относительно школ. <…> Я чувствую себя виноватой, что писала тебе о деньгах. Будь здоров и не беспокойся. Все благополучно. Твоя Маша».

Чехов не винил сестру. Только попросил, когда в ее руках произойдет «скопление капиталов», перевести ему через тот же «Лионский кредит» тысячу франков, то есть посланную им сумму и не более. Однако на самом деле эта денежная катавасия поставила Чехова в положение, какое он не выносил, избегал и тяжело избывал, если попадал в него. Мало того что он получил непрошеную помощь от Морозова. Ему пришло письмо от Барскова. Может быть, Левитан рассказал Мизиновой, а та Кундасовой о ситуации с деньгами, и Ольга Петровна поспешила к редактору «Детского отдыха». Тот меценатов вроде Морозова не нашел, но прислал письмо, возвышавшее корреспондента в собственных глазах, однако невольно унижавшее Чехова. Барсков рассыпался в комплиментах. Расписал, как намекал «денежным и сведущим лицам» о денежных затруднениях Чехова и получал отказ. Не прямо, а как-то боком предлагал Чехову «от времени до времени» некое вспомоществование. В долг? На каких условиях?

Но добить мог последний пассаж: «Если приходилось упоминать Ваше имя, то я шел прямо от Вашей литературной известности и от последних журналов и газетных известий. <…> Очень возможно, что Вы предпочитаете обратиться к Суворину или Лаврову, с которыми имеете деловые отношения, нежели к российским меценатам. <…> Если я не пригоден в данную минуту, не пригожусь ли впоследствии…» Неясно, чего более

хотел этот многословный человек: согласия Чехова или отказа?

Чехов изложил свой отказ дружески-любезно и ясно: «Многоуважаемый Яков Лазаревич <…> нет надобности присылать мне деньги, так как в настоящее время я имею в своем распоряжении более 7 тысяч франков. Этого мне хватит, тем более, что у меня расходы не Бог весть какие, а главное — я теперь в таком настроении, что могу работать и, по всей вероятности, это настроение не мимолетно. Мне хочется писать. Стало быть, если бы, представьте, у меня украли те 7 тысяч, то все-таки я не остался бы на бобах».

Понял или нет отзывчивый редактор, что хлопоты его неуместны, что Чехов жил только своим трудом? Однако в самом Чехове послание и «забота» Барскова оставили тяжелое впечатление. Но корил он не его, не Мизинову и Кундасову. Одного себя. За то, что не отказался наотрез еще в Москве от дружеского вмешательства в вопрос, который всегда решал сам, в свои денежные дела. Это недоразумение, по словам Чехова, легло «желтым пятном» на его гордости.

Что же до денег Морозова, то он сразу решил возвратить их в «необидной форме». О чем сообщил Левитану. Исаак Ильич, наверно, только что не зарыдал от досады на щепетильность и гордость друга: «Антоний Премудрый! <…> С чего ты выдумал, что деньги можешь послать обратно?!! Бог знает что такое! Тебе надо их непременно оставить у себя, непременно, на всякий случай оставить. Морозову не к спеху. Зачем на неделю поехать в Россию? Уж это, прости, просто дико! Ведь достаточно малейшей простуды, что так легко здесь схватить зимою, и все, наверстанное тобою на юге, пойдет прахом! Ради Бога не делай этого! Здесь скверно, очень скверно. <…> Сиди на юге и поправляй свое здоровье, остальное вздор, все вздор». Но в декабре Чехов вернул деньги по почте, сопроводив благодарностью.

В письме от 17 октября Левитан написал, что увлечен работой и не знает, когда выберется за границу, тем более на Ривьеру, которую не любил: «Приторно».

* * *

Нравилась ли Ницца Чехову? Что представлял собою пансион? Кто жил здесь?

Располагался он на улице Гуно, 9. Место не из лучших, ибо высокие соседние дома загораживали море и горы, хотя недалеко от центра, от Английской набережной. Чехов сказал о ней —

«узкая, как щель, и вонючая. Барыни стесняются жить здесь, говоря, что стыдно приглашать знакомых на такую улицу». Во дворе пансиона росли высокие пальмы, апельсиновые и померанцевые деревья.

Комната, которую первоначально занял Чехов, — наверху, угловая. Окна пропускали много света. Ковер застилал весь пол. Большая кровать. Чехов шутил, «как у Клеопатры». Камин. Туалет.

Пансион почти всегда был переполнен. Не для богатых, но и не для бедных, он привлекал русских среднего достатка. И особенно кухней. Хозяйка, В. Д. Круглополева, держала русскую кухарку. Кормили здесь вкусно: щи, пироги, борщи. За комнату, обед и кофе Чехов платил 70 франков в неделю, то есть 100 рублей в месяц.

К утреннему кофе в пансионе подавали два вареных яйца и рогалики. В 12 часов — завтрак. Обильный, разнообразный: бифштекс, соус, сыр, фрукты. В половине третьего пополудни — большая чашка шоколада. Вечером, в половине седьмого, обед: суп или борщ, рыба или котлеты, птица, овощи, фрукты. Вечером, по желанию, чай с бисквитами. Для «малоежки», как называли Чехова родные и хорошие знакомые, такая еда казалась чревоугодием. Он ограничивался маленькими порциями и улыбался незаметно, когда ловил оценивающий взгляд кого-нибудь из сотрапезников, не больше ли положено на чужую тарелку. В дни напряженной работы Чехов почти постился, так как, по его словам, «для писания же нужно прежде всего избегать сытости». Вставал Чехов в 7 часов утра, ложился около полуночи. Если вечер выдавался очень теплый, наблюдал здешние закаты, какие-то необычные, фиолетовые. Ночью белые занавеси на окнах пропускали лунный свет.

Первые отзывы Чехова о Ницце таковы, словно он шлет словесные виды: «очаровательное море, пальмы, эвкалипты». Потом еще короче: «Море, пальмы. Эвкалипты. Олеандры. Женщины. Апельсины».

Как складывалось времяпрепровождение Чехова в первые недели и месяцы? Пользуясь теплом, он часами сидел на набережной, наблюдал море и черты заграничного быта. Вежливость в обращении, когда даже нищим говорят madame и monsieur. Все сопровождалось улыбкой и непременным bonjour. Кухарки ходили не в платках, а в шляпках. Собак прогуливали в намордниках.

Время уходило на чтение французских и русских газет: «Русские ведомости», «Русское слово», «Новое время», «Мировые отголоски», «Одесские новости», «Биржевые ведомости», «Таганрогский вестник». В последние годы Чехов занимался

французским языком и теперь читал почти свободно. Вскоре он полюбил пение уличных музыкантов, удивлявших хорошими голосами и оперным репертуаром.

Постепенно завязывались знакомства. Профессор М. М. Ковалевский, умный, легкий в общении. Уволенный, по словам Чехова, «за вольнодумство» из Московского университета, он читал лекции в европейских учебных заведениях по экономике, истории и праву. Затем художник В. Я. Якоби, смешной ругатель всего и всех. И, конечно, Н. И. Юрасов, русский вице-консул, художник по увлечению, старый, даже казавшийся дряхлым, но очень трогательный человек. Компания сходилась на обед то у одного, то у другого, иногда играли в пикет.

Чехов полагал в первые недели ниццкой жизни, что проживет здесь не более месяца, а потом в Париж или в Алжир, а может быть, соберется к Рождеству домой, в Мелихово. И потому сначала не настраивался на работу, хотя сразу же стал укорять себя: «праздность опротивела»; — «совестно ничего не делать»; — «одолела праздность». Развлекался покупкой подарков, которые переправлял в Россию с отъезжающими. Выбирал, как всегда, тщательно, сообразуясь не с ценой, а со вкусом и представлением о конкретном человеке. Вещи были легкие, изящные: галстуки, перчатки, портмоне, канцтовары, шкатулки, щетки, записные книжки, очень хорошая бумага, оригинальные перья и т. п.

Иван Павлович, получив очередную посылку, писал брату в Ниццу: «Я, как маленький, рад был ей. <…> Я тебе очень, очень обязан». Однажды Чехов написал ему из Ниццы: «Вчера я видел, как около училища школьники играли в мяча, по-видимому, в беглого. С ними были учитель и поп. Игра была шумная, как когда-то в Таганроге, и поп бегал взапуски, не стесняясь присутствием посторонних». В ответном письме брат рассказывал о своих школьных буднях. Кроме основной работы в Петровско-Басманном мужском училище, он в эти годы читал лекции в народных аудиториях, опекал несколько московских библиотек-читален, помогал обществам, занятым народным образованием. Шутил, что дел у него столько, что «приходит в трепет», а вдруг всего не переделаешь.

В этом бескорыстном служении ощущалась скрытая подоплека. Словно ему чего-то недоставало. Хотя казалось бы? Образцовый педагог. Любимая, даже обожаемая жена. Большие надежды на подраставшего сына Володю. То ли Иван Павлович чувствовал одиночество в своей семье, то ли на пределе сил занимался учительским делом, но оно не было его призванием.

Письма Чехова к нему отличались от писем к другим братьям. Александру он писал откровеннее, прямее,

насмешливее, рассчитывая на его ум и чувство юмора. В посланиях Михаилу сквозила отстраненность. Не снисходительность, но легкая необидная ирония над его самолюбивыми претензиями. Ивану он писал осторожно, без шуток, спокойно и серьезно, с подчеркнутым вниманием к Софье Владимировне и племяннику.

Александр в переписке тоже был откровенен, еще более насмешлив и душевно расположен. Он вообще по-настоящему был привязан только к Антону, знал, как тот относится к нему, поэтому позволял, как и в юности, смешливые обращения: *Антон Палч!; Махамет!; Каллист Анемподистович; Заграничный брат!; Отщепенец от родины!; Монсиньор, Брат мой! А подписывался: Твой Гусиных; Благогусев; Твой Сидоренко-Гусиных; Твой Гусятников; Твой Гусиных-Ощипаных* и т. п. Михаил по-прежнему обижался на то, что брат редко пишет ему, размышлял над причинами такой скудной переписки. Но все так же важно и фамильярно подписывался: *Твой Мишель*. И желал в конце: «Ну, будь здоров. Расти большой»; «До свиданья, голубчик». Так же и обращался: *Милый; Милый друг!; Дядя*!

Переписка с Иваном тоже была небогата, но это объяснимо. Они постоянно виделись в Мелихове и Москве. Известно, что Чехов, зная его верность и надежность, доверял ему какие-то свои соображения и намерения. Иван Павлович, в отличие от братьев и сестры, не оставил мемуаров и обстоятельных воспоминаний. И если что-то рассказал, то лишь жене. Но и она, тоже скрытная, сдержанная, ограничилась впоследствии краткими рассказами о семье мужа.

В конце октября Чехов написал Ивану: «Стал работать». Он работал уже три недели, потому что в письмах появились наблюдения, детали, всегда выдававшие напряженное, сосредоточенное состояние Чехова. Он пошутил, что Юрасов так стар, что «на лысой голове его видны отчетливо швы черепа». Упомянул, что видел на улице «такса с длинной шерстью; это продолговатая гадина, похожая на мохнатую гусеницу».

9 (21) октября Чехов, якобы по случаю дурной погоды, сел писать рассказ. Как всегда, ему мешал чужой письменный стол. И все-таки 17 (29) октября он послал Соболевскому рассказ «В родном углу». О молодой девушке, институтке, неглупой, образованной, знающей три языка. Она вернулась в родной дом. Удивилась, потом ужаснулась уездной жизни и все задавала себе вопросы: «Что делать? Куда деваться?» Кончила замужеством с нелюбимым человеком, чтобы только уехать из родного степного угла. И попыталась утешить себя безутешной мыслью: «Он славный… Проживем как-нибудь. <…> Прекрасная природа,

грезы, музыка говорят одно, а действительная жизнь другое. Очевидно, счастье и правда существуют где-то вне жизни… Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо…»

Что-то связующее было в этом рассказе с давней повестью «Степь», с пьесой «Дядя Ваня», с записями этого времени к будущим пьесам («Три сестры», «Вишневый сад»). И с разговором в клинике о бессмертии. Будто длилось и длилось скрытое размышление Чехова о русской жизни, о жизни вообще.

Пошутив в письме, что бумага здесь — «аппетитного вида» — и хорошие перья понуждают к работе, Чехов тут же принялся за новый рассказ, или, по его словам, за «пустячок». Он тоже оказался отдаленно созвучен давним сочинениям.

В финале повести «Скучная история» и рассказа «Печенег» — бессонная ночь в жизни самого просвещенного героя Чехова и самого невежественного, дремучего, «печенега». Оба думали о близкой смерти. Общее в повествовании о них, особенно в описании лунной ночи, — это ощущение присутствия кого-то незримого, наблюдающего за людьми, за землей. «Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном <…> на небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что всё смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать…» («Скучная история»).

«Как раз над двором плыла по небу полная луна <…> далеко видна степь, над нею тихо горят звезды — и все таинственно, бесконечно далеко, точно смотришь в глубокую пропасть» («Печенег»).

С началом работы у Чехова показалась кровь. Но он уже писал третий рассказ — «На подводе». О сельской учительнице, тринадцать лет отработавшей в деревне. Она обессилена нуждой, бесправием, безнадежностью, страхом перед всеми: членами земской управы, попечителем, грубым малограмотным владельцем кожевенного заведения. Перед самой жизнью.

Как в повести «Мужики» за историей одного семейства Чикильдеевых, так и в этом рассказе за судьбой одной учительницы развертывалась жизнь многих. Там мужиков, здесь земских служащих: «И когда тут думать о призвании, о пользе просвещения? Учителя, небогатые врачи, фельдшера при громадном труде не имеют даже утешения думать, что они служат идее, народу, так как всё время голова бывает набита мыслями о куске хлеба, о дровах, плохих дорогах, болезнях. Жизнь трудная, неинтересная, и выносили ее подолгу только молчаливые ломовые кони, вроде этой Марьи Васильевны; те же

живые, нервные, впечатлительные, которые говорили о своем призвании, об идейном служении, скоро утомлялись и бросали дело».

Эту стезю одолевали земские учителя Михайлов и Забавин. Эту работу не бросали Иван Павлович и его жена, обучая грамоте детей лакеев, прачек, извозчиков. Как раз в Ницце в октябре Чехов узнал из письма двоюродного брата Георгия, что Таганрогский училищный совет хотел бы избрать его почетным попечителем всех церковно-приходских и земских школ города. Председателем этого совета был Покровский, тот самый протоиерей, когда-то обидевший Евгению Яковлевну словами, что из ее детей ничего не выйдет.

Чехов написал брату: «Отцу протоиерею Покровскому вместе с глубоким поклоном и сердечным приветом, которые я ему посылаю, передай, что я уже состою попечителем двух земских школ и состою также <…> помощником серпуховс<кого> уездного предводителя дворянства по наблюдению за народным образованием в уезде. Но от чести послужить родному городу я не отказываюсь. Чем богат, тем и рад и, если буду жив и здоров, сделаю всё, что в моих средствах — материальных и духовных».

Сюда, в Ниццу, Павел Егорович сообщал сыну, что на его имя из земства прислали много пакетов и повесток. Одна из них — о библиотеке в Хатуни, которую Чехову, с его согласия, надо принять и далее опекать. Забавин рассказывал в письме, что посадил с детьми около новой Новоселковской школы 15 елочек и 17 сосенок, и в который раз благодарил: «Тысячу раз сказал я Вам <…> от всей души великое спасибо за школу, теперь только я начинаю жить по-человечески: у меня есть приличная квартира, приличная мебель…»

В рассказе «На подводе» мелькнуло описание, сходное с тем, из давних, повторявшихся сновидений и сахалинских впечатлений Чехова. Это — река, «быстрая, мутная и холодная» после половодья. Ее надо преодолеть, перебраться на другой берег: «Лошадь вошла в воду по брюхо и остановилась, но тотчас же опять пошла, напрягая силы, и Марья Васильевна почувствовала в ногах резкий холод». В этом же рассказе, как в «Доме с мезонином», мелькнуло упоминание о крестах на храме, отражавших закатное солнце. И как в повести «Три года» — о розовом дыме и окнах поезда, на которые «больно было смотреть», так как они «отливали ярким светом».

В послесахалинских повестях и рассказах Чехова усиливалась в чувствах и ощущениях героев память души об ожиданиях и обещаниях молодости, о былых надеждах на радость и счастье…

Когда Авилова заметила в своем письме, что герои Чехова

мрачны, он ответил ей из Ниццы: «Увы, не моя в том вина! У меня выходит это невольно, и когда я пишу, то мне не кажется, что я пишу мрачно; во всяком случае, работая, я всегда бываю в хорошем настроении. Замечено, что мрачные люди, меланхолики пишут всегда весело, а жизнерадостные своими писаниями нагоняют тоску. А я человек жизнерадостный; по крайней мере первые 30 лет своей жизни прожил, как говорится, в свое удовольствие».

Едва рассказы Чехова, написанные в Ницце, появились в ноябре и декабре 1897 года в газете «Русские ведомости», как о них заговорили не только в Москве. Читатели спрашивали Чехова в письмах, а рецензенты рассуждали в газетах, почему жизнь и думающий, остро чувствующий человек так невеселы, даже мрачны в сочинениях Чехова. Коробов, университетский приятель Чехова, просил: «Напиши что-нибудь жизнерадостное, что бывает в ранней юности, когда хочется кричать и скакать от радости бытия».

Одни говорили, что впечатление от рассказов, как «обухом по голове». Другие недоумевали, как может Чехов жить с таким настроением. Многие размышляли о русской жизни, рождающей в художнике такое настроение, о русском человеке, не умеющем быть счастливым.

Лишь немногие писали и говорили Чехову, что ощущают в его повествовании незримые свет и тепло, выраженные совершенно по-новому, непривычно, неуловимо…

Глава тринадцатая. ПОЛУГОДИЕ В НИЦЦЕ

Осень в Ницце обнадеживала теплом, и Чехов говорил, что будет жить здесь каждую зиму. Домой он писал, что совершенно здоров. О трехнедельном кровотечении умолчал. Шутил в письме к Шавровой, что он прыгает, «как теленок, которого еще не женили»: «О, какое счастье, что я еще не женат! Какое это удобство!»

Женитьба — как житейское «удобство» или «неудобство» — была давней шуткой Чехова. Едва речь заходила о браке, о семейной жизни, Чехов тут же ставил условия — в шутку и всерьез. Он допускал женитьбу, если она не помешала бы литературной работе. Если это был бы брак по любви. Если избранница будет до чрезвычайности чистоплотна в быту, не плаксива, не деспотична, справедлива. Самостоятельна, независима от своего «семейного клобка». Добра, умна, не сплетница, не праздна, не вздорна, не суетлива. Красива и интересна. Весь этот перечень рассыпан в письмах Чехова до 1897

года. И отражал наблюдения сначала над домашней жизнью родителей и старших братьев, потом знакомых семейных пар (Суворины, Киселевы, Пальмины, Билибины, Лейкины). Наконец, над «семейным счастьем» младших братьев.

Жизнь в пансионе, вынужденные совместные трапезы с русскими дамами и девицами, наверно, могли только укрепить Чехова в его «условиях» к браку. Состоятельные соотечественницы оказались невыносимы. Их болтовня, кокетство, суетность и претенциозность часто вынуждали Чехова за обедом глядеть в тарелку, чтобы не участвовать в общем разговоре, не видеть ужимок, уловок, гримас и гримасок. Если бы еще не слышать их…

В Ницце начинался зимний сезон. Публики прибывало, город украшался. Ожидали карнавала, музыкального конкурса. Всюду звучала музыка. Но кровотечение удерживало Чехова дома. После полудня он не покидал пансиона, сократил прогулки, перебрался в комнату этажом ниже, не хватало сил подняться по лестнице. Так стал очевиден один из самых серьезных симптомов болезни — одышка.

Однажды в ноябре Чехов взвесился в осеннем пальто, в шляпе, с палкой. И записал в книжке — «72 кило». В это же время он сфотографировался. На портрете заметно изменившееся выражение глаз. Давно исчезнувшая округлость лица сделала черты строже, тоньше. Сам Чехов признавался, что на самом деле он «далеко не так толст, как вышел на фотографии». Написал А. И. Суворинной, что из-за кровотечения не живет, а прозябает: «И это меня раздражает, я не в духе, и мне всё время кажется, что русские за обедом говорят глупости и пошлости, и я делаю над собою усилие, чтобы не говорить им дерзостей. <…> Природа здешняя меня не трогает, она мне чужда, но я страстно люблю тепло, люблю культуру… А культура прет здесь из каждого магазинного окошка, из каждого лукошка; от каждой собаки пахнет цивилизацией».

Как всегда, самые серьезные и важные признания Чехов делал в письмах знакомым, а не родным. О кровотечении он не сообщал домой. Слов «если буду жив», как в некоторых письмах, не написал бы сестре, чтобы не пугать ее. Но он не писал родным и о том, что занимало его ум. Письма Марии Павловне — деловые, шутливые, наполненные летучими уроками французского языка, который он осваивал в ежедневном, внимательном чтении газет.

Во Франции разгорался скандал, связанный с делом Дрейфуса. Офицера Генерального штаба, еврея по происхождению, обвинили в 1894 году в шпионаже в пользу Германии, осудили и сослали навечно на Чертов остров близ Французской Гвианы. Не спасли ни заявления обвиняемого, что

он невиновен, ни отсутствие серьезных улик, ни ссылки защитника на ошибки и предвзятость следствия. Общественное мнение подогревалось антисемитскими выпадами газет в адрес Дрейфуса. Хотя в кругу сослуживцев он слыл за патриота, одержимого идеей вернуть Эльзас, отторгнутый Германией в 1871 году. Возникло движение в защиту осужденного. Французы чувствовали, что за кулисами этого безжалостного «театра» скрывались преступные действия. Но не пленника Чертова острова, а чиновников военного и судебного ведомств.

Осенью 1897 года в печати назвали имя истинного изменника и автора шпионского донесения — майора французской армии Ф. Эстергази. Одни газеты усилили шовинистическую кампанию. Другие публиковали статьи с требованиями пересмотреть дело. «Новое время» присоединилось к первым. Суворин в своих ноябрьских и декабрьских газетных «письмах» называл Дрейфуса «осужденным предателем». После экивоков насчет необходимого «беспристрастия» он свел все версии к «еврейскому заговору», ужасному «по своим средствам, по своей наглости, по своим приемам». И по результатам, ибо, как иронизировал Суворин, «евреи — молодцы. Они знают толк в деньгах, они крепки своей солидарностью, своей ловкостью, они умеют пролезть всюду, куда христианину и в голову не придет пролезть, и если они хорошо и твердо захотят, то Дрейфус действительно сделается не мессией, конечно, но, может быть, начальником французского генерального штаба… Какая это страшная сила — евреи!»

Чехов не мог пропустить этот пассаж. Еще в 1891 году он сказал Суворину: «Да разве такие слова, как православный, иудей, католик, служат выражением каких-нибудь исключительных личных достоинств, заслуг?» В отношении к человеку он всегда исходил из таких понятий, как порядочность, доброта, правдивость, то есть того, о чем писал когда-то старшим братьям. Но не из принадлежности человека к определенному вероисповеданию, национальности, расе. С самого начала скандала он говорил о своем впечатлении, что Дрейфус невиновен. Правда, пока в письмах Суворину уклонялся от обсуждения дела об измене, как и в других письмах в Россию. Лишь нелестно отзывался о газетах, с которыми объединилось суворинское издание в деле Дрейфуса. И хвалил французский народ, «задающий тон европейской культуре».

Чехов составлял свое мнение по всем доступным ему печатным источникам. Он словно вел собственное расследование, в котором на передний план выходило политическое «закулисье», развращавшее общественную совесть и умалявшее в людях нравственное чувство. Если подобное — ложь, подлог, клевета —

позволено министрам, высшим военным чинам, ведущим журналистам, то оно, выходит, разрешено всем?

Когда работа, неотложный большой труд, скрытое размышление занимали время и мысли Чехова, его письма становились подчеркнуто спокойными. Внешнее проявление чувств и внутреннее душевное напряжение, видимо, оказывались обратно пропорциональны. Судя по письмам конца 1897 года, Чехов сосредоточился на обдумывании рассказов, обещанных журналам «Русская мысль» и «Cosmopolis», и на том, как устраивать теперь свою жизнь.

Слова — «если буду жив»; — «умирать я не собираюсь»; — «я махнул рукой на кровь»; — и длительное кровотечение выдавали очевидное. Легочный процесс не замер даже в теплой Ницце, при почти праздной жизни. Так что же делать?

Строить дом в Ялте или здесь, в Ницце? Уезжать за границу только на зиму? Заплатить оставшийся «капитальный» долг банку, чтобы мелиховское имение и угодья целиком принадлежали семье? При любом раскладе требовались большие деньги. Тогда как даже небольшие давались тяжело. Работа обостряла процесс в легких и вызывала кровотечение. О здоровье нечего было и помышлять, лишь бы протянуть на остатках легких. Чехов написал Суворину перед Новым годом: «Что же касается моего здоровья, то болезнь моя идет crescendo и уже, очевидно, неизлечима…» И свел на шутку, мол, говорит о «лени».

Может быть, поэтому на картину, изображенную Соболевским в письмах Чехову по возвращении в Москву как существование в аду, он ответил скрытой иронией. Василий Михайлович жаловался: «Стон пьяных голосов на улицах, непроходимая тьма и скука в домах, болезненное чувство беспричинного страха за свое существование <…> тоска, тоска и тоска, гнетущая не только больных и алкоголиков, но решительно всех мыслящих русских людей, — вот наша обстановка повседневная, беспросветная, нисколько мною не преувеличиваемая. <…> Солнце пропало в России, где в сущности люди живут по необходимости: только потому, что нас, славян, никуда больше не пустят. <…> Мы здесь живем по-прежнему, сидим и ждем чего-то. А чего ждать? Все так и будет, как с Вашей учительницей: поехала в город — вернулась <…> и больше ничего мы не увидим».

Может быть, Соболевский искал у Чехова утешения? Или непроизвольно настраивался на интонацию последних рассказов Чехова и тем самым располагал его к доверительным дружеским беседам. К тем российским бесплодным проникновенно-«вольнодумным» разговорам, которые любили в некоторых московских редакциях и гостиных.

Упоминая в ответных письмах газету «Русские ведомости», благополучно редактируемую Соболевским, желая здоровья всем домашним своего корреспондента, Чехов словно говорил пятидесятилетнему человеку, счастливому в браке, в детях, успешному в своем деле, не бедному, не страдающему, к счастью, неизлечимыми недугами, что грешно впадать в такую красочную меланхолию: «Вы такими мрачными красками изобразили Москву с ее погодой, юбилеями, похоронами; я не могу ответить Вам тем же, так [как] у нас в Ницце юбилеев нет <…> все живы и погода изумительная, райская»; — «Не приедете ли Вы? Поехали бы вместе в Монте-Карло, в Корсику, в Алжир. Подумайте-ка!»; — «Когда приедете? Quatre premier[15] и устрицы ждут Вас»; — «Будьте здоровы и благополучны. Не забывайте пребывающего в одиночестве и скучающего *А. Чехова*».

* * *

За месяц до Рождества Чехов распорядился в письме сестре: «Не забудь <…> сотскому Григорию дать 1 рубль, священнику, когда приходит с крестом, не давать меньше 3 р. <…> узнай, сколько в Талежской школе мальчиков и девочек, и, посоветовавшись с Ваней, купи для них подарков к Рождеству. Беднейшим валенки; у меня в гардеробе есть шарфы, оставшиеся от прошлого года, можно и их пустить в дело. Девочкам что-нибудь поцветистее; конфект не нужно».

После праздников Чехов собирался с Ковалевским в Алжир. На несколько недель, потом обратно в Ниццу и лишь весной в Россию. Ему уже прискучили сидение на одном месте, однообразие впечатлений, поездки в Монте-Карло. Над уверениями, будто можно выработать некую систему и непременно выигрывать, он подсмеивался. Сам играл редко и по маленькой. Над своим выигрышем шутил, из-за проигрыша не расстраивался. Записал однажды в книжке: «Видел, как мать Башкирцевой играла в рулетку. Неприятное зрелище. <…>Я видел, как крупье украл золотой». Один раз наблюдал за проигравшимся англичанином. Тот, не вставая из-за игорного стола, молча разорвал в клочья портмоне, потом так же молча встал и вышел, подчеркнуто спокойно.

Это было скучно и не волновало Чехова. В середине декабря он признался Суворину, что пишет «маленький роман», но, видимо, что-то не заладилось. Жаловался, что «сюжеты перепутались в мозгу», что ему мешают хорошая погода, чужой письменный стол, бесконечные трапезы в пансионе, и вообще, как

он пошутил, «не с кого взыскивать». С соотечественниками Чехов сходился трудно. Не шел далее вежливых приветствий. В беседы вступал неохотно, более наблюдал.

Итак, не получалось ни лечения, ни отдыха, ни работы. Для отдыха нужны деньги, для денег работа, для работы здоровье, для здоровья лечение и отдых. И деньги немалые. Не рубли, как семнадцать лет назад, в первые московские годы, в бытность семьи на Грачевке. Не две-три сотни в месяц, как в пору первых литературных заработков, на которые Чехов содержал «семейный клобок», перебиравшийся с одной квартиры на другую. Но тысячи…

Пусть не десятки тысяч, которые в Монте-Карло русские спускали за вечер. Всего несколько в год, но все-таки…

Невозможны были ни возврат к нищете полуподвальных помещений, к «благородной бедности» с ненавистными авансами, залогами то часов, то золотой монеты; ни к постоянным долгам предсахалинской поры и к большому долгу в мелиховские годы.

Дело не в реноме известного писателя. Не в «плебейской гордости», над которой он сам подшучивал. Но в ощущении свободы и покоя. Чехов много раз, по его выражению, «выскакивал» из денежной петли, из отчаянного безденежья. Он никогда не хотел богатства, отсюда его постоянные шутки над женитьбой на богатой, над возможным выигрышем. Он, судя по его письмам, по воспоминаниям и дневникам современников, боялся искушения скупостью, жадностью. Если у него появлялись лишние деньги, то они как-то быстро улетучивались.

Уходили на дружеское застолье, подарки, книги. Но более всего на очевидную и скрытую благотворительность. На нее он отдавал не из лишних, а из средств, необходимых на хозяйство, на текущие расходы. Не гасил основной долг банку, однако куда большую сумму уже истратил на строительство двух школ, колокольни и пожарного сарая в Мелихове. На плату за неимущих гимназистов, помощь погорельцам. На лекарства для крестьян, которых он лечил, на попечительство. В записной книжке Чехова есть шутливая запись: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой».

Было ли это проявлением его природной доброты, которой в это время уже злоупотребляли? Или это диктовала память о таганрогском отрочестве и московской юности? Или, может быть, такое самостоянье помогало в сочинительстве?

Здесь, в Ницце, Чехов продолжал уже привычную опеку. Опять хлопотал о журнале «Хирургия» (так теперь назывался журнал «Хирургическая летопись»). Вел переговоры с земляками, жившими во Франции, о помощи музею при Таганрогской

городской библиотеке, хотя не очень на это рассчитывал. Когда Иорданов написал ему, что если попадет в Петербург, то «наберется храбрости» и «совершит нашествие» на известных и состоятельных уроженцев Таганрога, Чехов согласился, что хорошо бы «внушить им любовь к отечеству». Но сомневался, получится ли, особенно с богачами: «Например, Нотович — эта жирная, богатая скотина — мог бы сделать для Таганрога то, чего не в силах сделать ни я, ни Вы, так как у нас нет своей газеты („Новости и Биржевая газета“. — А. К.) и своего дома в Петербурге. Побывайте у певца Чернова, это добрый человек».

Помощь Чехова всегда была не «вообще», не мимолетна. Он отдавал свои деньги, а главное — свое время, свои силы. Оказывал внимание конкретному делу или человеку. В больших и длительных заботах (школы, библиотеки, приюты) и в том, что могло показаться странностью, мелочью. Например, просил знакомых присылать ему в Ниццу не заказные письма, а простые, так как посыльный приходил иногда несколько раз, чтобы застать Чехова и вручить ему письмо лично. Так же было в Мелихове, до открытия в Лопасне почтового отделения, когда сотский добирался из Серпухова.

Или, допустим, зная об увлечении филателией младшего брата Дроздовой, Чехов аккуратно снимал марки с писем, собирал и передавал для него. Русские газеты, присылаемые из дома и из Москвы, он отдавал по прочтении доктору В. Г. Вальтеру, земляку и коллеге. Отсюда, из Ниццы, Чехов написал в Таганрог брату Георгию и попросил поддержать дружеским вниманием Ольгу Шаврову. Она, вопреки «аристократке-maman», ушла на сцену, взяла сценическое имя Оленина и играла свой первый сезон в Таганроге. И таких «мелочей» (естественных, не напоказ) было немало.

В середине декабря 1897 года Чехов сел за рассказ, обещанный журналу «Cosmopolis». Ф. Д. Батюшков, редактор русского отдела, просил прислать «интернациональный рассказ» на сюжет из заграничной жизни. Чехов отказался: «Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать только по воспоминаниям и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично».

Впечатления первого заграничного путешествия (1891), воспоминания о Венеции, Флоренции, Ницце всплыли в «Рассказе неизвестного человека» (1893), печальном и с какой-то интонацией, будто предвосхищавшей ниццкую зиму 1897/98 года. Воспоминания от второй заграничной поездки (1894)

вплелись в рассказ «Ариадна» (1895): и не понравившаяся Чехову Аббация, с ее скучной, сытой, богатой курортной толпой, и описание отелей, с едой, похожей на ту, которую теперь подавали к столу в «Русском пансионе».

Тень ускользнувшей незаметно, будто растаявшей жизни лежала на судьбах героев этих рассказов и тех, что были написаны здесь, в Ницце, осенью 1897 года. В записной книжке среди записей к рассказам «В родном углу» и «На подводе» есть такая: «Пусть грядущие поколения достигнут счастья: но ведь они должны же спросить себя, во имя чего жили их предки <…> и во имя чего мучились».

На этой же странице запись к рассказу, который Чехов писал в конце 1897 года на сюжет, уже «процеженный» памятью. Однако не из «местной», то есть заграничной жизни, как просил Батюшков, но опять о России, снова о минувшей молодости, о несбывшемся.

На «фильтре» памяти остались воспоминания о Бабкине, о Киселевых, ныне разорившихся, очаровательно праздных, милых, надеявшихся на наследство от тетушек, бабушек. И о Линтваревых, об обитателях лучанского дома, не праздных, но не очень счастливых. И о Смагиных, о старом доме и старых слугах. В ниццких рассказах Чехова словно усилился мотив не просто ушедшего, а *отжившего*.

Прежние повторявшиеся детали и образы — поле с цветущей рожью; огни на линии железной дороги; лунный свет; звуки шагов в ночи — будто угасали. А новые детали и образы — погасшие лампы; смолкшая музыка; прерванное веселье; старые вещи — передавали настроение необратимых перемен, прощания, отъезда, исчезновения. И как в рассказе «У знакомых» сам собою, исподволь возникал недоуменный вопрос: «И куда оно всё девалось! <…> Как это всё сложилось, однако…»

В дни работы над этим рассказом у Чехова опять началось кровотечение. Может быть, потому, что в Ницце вдруг похолодало и, по словам Чехова, «лупил неистовый дождь». Работа, холод и болезнь держали Чехова «под арестом».

Ницца слыла курортом, но не для легочных больных, хотя их здесь было достаточно. Как правило, врачи посылали таких больных в Швейцарию, рекомендовали жаркий климат Алжира. Чехов хотел проверить этот совет и сговаривался с Ковалевским о поездке в январе 1898 года. Но уточнял — «не лечиться, а путешествовать». Обещанные Гольцеву рассказы он отложил на февраль. Сослался на то, что «сюжет такой, что легко не пишется» и вообще трудно работать не дома. На самом деле Чехов заскучал от однообразия. Просил добрых знакомых: «Напишите мне

письмо. Скучно»; — «Не забывайте»; — «Без писем скучно. Да и как-то подбадривают письма к работе»; — «Скучно и грустно мне жить одинокому».

Отозвался Потапенко: «Ты скучаешь в Ницце, а я в Петербурге слишком не скучаю. С наслаждением читаю твои очерки в „Русских ведомостях]“ — плоды твоей скуки. Я за эту неделю „выпустил“ шесть рождественских очерков — самый возмутительный, неискренний жанр, какой только есть, и вот сегодня, 25 декабря, ничего не делаю, и мне это странно». Игнатий Николаевич шутил, что приедет в январе в Ниццу, сорвет в казино огромный выигрыш, так как нашел «способ»: «Это честнее, чем писать <…> романы в тридцать печатных листов, — ощущение, тебе совершенно незнакомое. Выиграю, построю в Петербурге театр и буду конкурировать с Алексеем Сергеевичем Суворины». Об отечестве тоже отозвался несерьезно, иронически, в отличие от Соболевского: «В Петербурге ничего нового. А что делается в России, этого, хоть убей меня, не знаю. Лавров в Ельце устраивает благотворительные базары для голодающих, отсюда замечаю, что где-то голодают. К Новому году, по обыкновению, ждем перемен к худшему».

Неунывающего Потапенко интересовали другие житейские сюжеты. Один из них он упомянул в своем письме: «Существует ли русская кухарка в пансионе и ее дочь Наташа темного цвета (полубелого)? Вот видишь, у меня и тут есть воспоминания, а не только — бурсацкие, консерваторские, статистические и т. д.».

Потапенко уже бывал в Ницце, жил в «Pension Russe» и, как все постояльцы, знал историю кухарки. Она попала во Францию давно, с какой-то русской семьей. Вышла замуж за негра, родила дочь. Но муж, моряк, бросил семью, когда однажды вернувшись из плавания, узнал, что жена родила белого ребенка. Мать не любила дочь-мулатку, та днем не показывалась уходила куда-то по вечерам, иногда возвращалась не одна. По воспоминаниям Потапенко, забывшего имя несчастной девушки, «это странное сплетение обстоятельств почему-то сильно овладело вниманием А[нтона] П[авловича]. Впрочем это было понятно.

„В жизни все просто“ — обыкновенно говорил он, бракуя в литературе все нарочитое, искусно скомпонованное, эффектное. А тут вдруг перед ним жизнь, дающая готовый сюжет для бульварного романа.

Простая русская девушка, негр, белый ребенок, таинственная мулатка, выходящая на ночной промысел…

Иногда за обедом, когда подавали русское блюдо, он сопоставлял, по обыкновению отрывисто и без всяких

объяснений: „Русский борщ и мулатка“.

И всегда, когда по двору проходила смуглолицая Соня, он всматривался в нее и следил за нею глазами».

* * *

В середине декабря Чехов зазывал в Ниццу Хотяинцеву, которая в это время обучалась у французских мастеров живописи: «Продолжает ли Париж нравиться Вам, или Вы уже соскучились и Вас тянет на снег? Ведь мы с Вами, как лайки, без снега чувствуем себя не совсем ладно. <…> Приезжайте, побродим вместе, поездим, а главное потолкуем о том о сем, вспомним старину глубокую. <…> Поминайте меня в своих святых молитвах. Мне скучновато. Дамы, живущие в Pens[ion] Russe, обедающие со мной ежедневно, — это такие идолищи, что просто хоть караул кричи».

Хотяинцева собралась на русское Рождество. Чехов договорился о комнате во флигеле. Теперь он был не одинок за обеденным столом. Более того, привлекал внимание. Рядом с богатыми дамами эта симпатичная, очень естественная, остроумная девушка в скромном платье казалась белой вороной. К тому же она, ученица Репина, смотрела на обитателей пансиона взглядом художницы. Они это замечали и еще больше сплетничали.

Хотяинцева шокировала тонных дам тем, что свободно, одна, заходила в комнату Чехова. Они беседовали часами. В первые дни ее пребывания в Ницце лил дождь. Во время бесед Александра Александровна рисовала карикатуры. В хорошую погоду они гуляли по набережной. Ницца показалась ей похожей на Ялту, только побогаче и покрасивее.

В письмах Марии Павловне она описала Монте-Карло, куда Чехов повез ее посмотреть рулетку и игроков: «Вся дорога от Ниццы (поезд идет ½ часа) очаровательная, по берегу моря. Красивые виллы, апельсиновые сады, розы, всё это под чудным теплым солнцем, точно у нас в мае. Конечно, только это все чужое, „ненастоящее“, а точно оперная декорация или олеография».

В казино они не играли, а наблюдали: «Столов много, и везде толпа сидит и стоит, едва проберешься посмотреть. <…> Залы очень красивые, немного темноватые, свет сверху и всё наполнено звуком денег — разговоров, кроме ставок и возгласов крупье, никаких».

В Монте-Карло звук денег, а в Ницце, по словам Хотяинцевой, «запах денег»: «На Promenade des Anglais гуляет расфранченная толпа богатых, праздных людей. Они даже поворачиваются спиной к морю и рассматривают катающихся. Масса роскошных экипажей, велосипедистов и разных фасонов автомобилей.

Вообще в Ницце пахнет миллионами».

31 декабря (старого стиля) Чехов и его гостья днем побывали в Монте-Карло, а вечером встречали Новый год. К ним присоединился доктор Вальтер. В 10 часов, как рассказала Хотяинцева в письме, «поздравили друга друга <…> в России теперь 12 часов, и разошлись спать. <…> Во сне сегодня мы будем видеть большие монеты в 100 франков, на которые нагляделись сегодня <…> на рулетке».

В первом письме нового, 1898 года Чехов упомянул цветы, присланные ему накануне из Канн каким-то русским семейством. Он оставил букет, хотя обыкновенно отдавал кому-нибудь, так как сильные запахи усиливали кашель. Но здешние цветы очаровывали нежным ароматом. Хозяин виллы по соседству с домом Ковалевского в Болье разводил фиалки, и гости Максима Максимовича запомнили на всю жизнь необыкновенный запах. В декабре Чехов послал из Ниццы в Мелихово букет, к именинам матери. Но цветы доставили в сломанной коробке, замерзшими. Домашние сочли такой подарок блажью, а он волновался, успело ли поздравление к сроку. Чуть позже хотел послать букет Софье Владимировне, но, узнав об Участи первого букета, раздумал.

Хотяинцевой тоже нравились здешние цветы. Она задержалась в Ницце, много работала. И рассказывала Марии Павловне в письмах: «Антон Павлович работает по утрам, потом мы ходим на почту и гуляем по набережной. За завтраком и за обедом сидим на неудачном конце стола — приходится слушать глупые разговоры самых противных здешних дам. <…> Я дразню Ант[она] П[авловича], что его здесь не признают — эти дуры не имеют о нем понятия действительно. <…> Ант[ону] П[авловичу] я, должно быть, здорово надоела, хотя он выносит меня довольно терпеливо. <…> Рисую акварелью несколько пейзажей, теперь стряпаю два жанра — рынок цветов и рулетку. Утром хожу на рынок и делаю наброски карандашом. Очень красиво, такая масса цветов. <…> За завтраком те же дамы и те же разговоры: рулетка, туалеты, критика еды. Потом А[нтон] П[авлович] работает и глотает газеты, я иду куда-ни-будь рисовать, одно время полюбила порт, там красивые яхты и пароходы. <…> А[нтон] П[авлович] жалуется, что такой анафемски добродетельной жизни никогда не вел».

Хотяинцева нарисовала карикатуру на хозяйку пансиона, которая под благовидным предлогом являлась посмотреть, чем заняты господин Чехов и эта странная русская девушка. Такая чудаковатая, в одном и том же платье, всё время рисующая. Чехов одновременно восхищался Хотяинцевой, но и недоумевал: «<…> она, как вообще женщины, лишена того хорошего любопытства,

которое так двигает мужчин, и на нее ничто не производит впечатления». В данном случае он, скорее всего, ошибался. И Ницца, и рулетка, и курортные нравы заинтересовали Хотяинцеву. Она даже съездила в Монте-Карло одна, что-то выиграла в рулетку, тут же спустила, потом шутила над собой.

Александра Александровна была человеком иронического склада, острого ума, скрытная. Шутки и парадоксы Чехова она понимала и некоторые запомнила. Как, например, однажды, любуясь особенно высокой пальмой, он сказал: «Хорошо бы такую в Мелихове посадить!» Она рассказывала впоследствии, как много писем получал Чехов в Ницце. Но уверял ее, что сам не любит писать писем: «„Некогда, видите, какой большой писательский бугор у меня на пальце? Кончаю один рассказ, сейчас же надо писать следующий… Трудно только заглавие придумать, и первые строки тоже трудно, а потом всё само пишется… и зачем заглавия? Просто бы № 1,2 и т. д.“ Однажды, взглянув на адрес, написанный мной на конверте, он накинулся на меня: „Вам не стыдно так неразборчиво писать адрес? Ведь вы затрудняете работу почтальона“. Я устыдилась и запомнила».

В пансионе не знали, что Чехов — известный русский литератор. Однажды он сказал Хотяинцевой: «Здесь живет человек сорок русских, никто из них никогда не слыхал обо мне, никто не знает, кто я. Впрочем, одна дама смутно подозревает, что я пишу в газетах». «Через несколько дней, однако, — вспоминала Хотяинцева, — появились какие-то молодые супруги из Киева, очевидно, знавшие, кто такой Чехов. Комната их была рядом с комнатой Антона Павловича, и через тонкую стенку было слышно довольно ясно, как они по очереди читали друг другу рассказы Чехова. Это забавляло Антона Павловича. Иногда сразу нельзя было догадаться, какой именно рассказ читается, тогда автор прикладывал ухо к стене и слушал.

— А… „Свадьба“… нет, нет… Да, „Свадьба“!

Я нарисовала на это карикатуру и пугала, что он простудит ухо». В одной из акварельных зарисовок Хотяинцева, немного шаржируя, изобразила едущую на извозчике компанию. Всю коляску занял вальяжный, крупный Ковалевский. Она сама сидит боком. Чехов, худенький, согбенный, притулился около сиденья извозчика, спиной к нему. Голова опущена, руки сжимают зонтик.

Хотяинцева много работала в Ницце и уезжала в Париж не с пустыми руками. Мария Павловна рассказала брату, что получила от нее три письма, что она «восторгается Ниццей и рулеткой». В этом же письме от 19 января сестра упомянула Мизинову: «Лика еще мастерской не открыла, ждет из банка деньги. Настроение у нее превосходное».

Лидия Стахиевна поделилась с Чеховым своим планом: продолжить обучение пению. На какие средства? На доход от модной мастерской, которую она откроет, едва получит из банка деньги за заложенный участок земли, подаренный ей бабушкой. Это была очередная химера. Практичная и дальновидная Мария Павловна высказалась прямо: «Я страшно против этого — мне даже жутко становится, когда она говорит об этом. Но ее друзья, как то: Варя, Шаляпина и пр., советуют ей, конечно не зная ее характера. Она сразу вообразит себя Войткевич или Ламановой и потратит все деньги, тогда что она будет делать! Чтобы быть хорошей портнихой, надо знать это дело с детства».

Чехов поддержал затею с мастерской, но в шутливом тоне, пожелав отличного настроения: «При Вашем дурном характере последнее необходимо, как воздух, иначе от Вашей мастерской полетят одни только перья». В ее выдержку и расположение к каждодневному труду Чехов не верил. Но разочаровывать, а тем более читать мораль считал излишним. Сестре он тоже написал шутливо, но определенно: «Она будет шипеть на своих мастериц, ведь у нее ужасный характер. И к тому же она очень любит зеленые и желтые ленты и громадные шляпы, а с такими пробелами во вкусе нельзя быть законодательницей мод и вкуса. <…> Но я не против того, чтобы она открыла мастерскую. Ведь это труд, как бы ни было».

«Ужасный характер» Мизиновой происходил, может быть, от душевного свойства, тоже в шутку обозначенного Чеховым среди новогодних пожеланий: «Будьте здоровы и не хандрите. Не будьте кислы, как клюква. Будьте рахат-лукумом». Словно какая-то глубокая меланхолия, беспричинное недовольство мешали ей жить. Лидия Стахиевна легко подчинялась своему настроению. Ей вообще всё быстро приедалось, прискучивало. Потом она ненадолго воодушевлялась, загоралась чем-то, как, например, затеей с мастерской. 13 января 1898 года Мизинова, забыв свое декабрьское затворничество («нигде я не бываю, никого не вижу»), писала в Ниццу: «От одного решения приняться за это дело я уже почувствовала себя хорошо, похудела, похорошела (извините!) и сделалась, говорят, похожей на прежнюю Лику, ту, которая столько лет безнадежно любила Вас! Я даже начинаю бояться, как с прежней наружностью не вернулась и прежняя глупость эта! Впрочем, простите, с Вами ведь нельзя так разговаривать, а то Вы сейчас испугаетесь, перестанете писать, чтобы поставить дерзкую на место!»

Не умеющая или не знающая, как быть счастливой тем, что есть (здоровье, красота, музыкальные способности), она, возможно, сама делала себя или воображала несчастливой.

И это могло быть одной из причин, которые развели Чехова и Мизинову. Постоянные перепады, исключительное внимание к своему настроению и в конечном счете равнодушие к тому, чем жил он, гасили его влечение. И, наверно, любила она не Чехова, а свое чувство к нему.

Вероятно, до поры до времени этого хватало, чтобы согреть их отношения, сделать их душевно теплыми. Но недостало для чувства, что кто-то из них двоих или оба не могут жить друг без друга.

* * *

В своем глубинном настроении, в своем состоянии после клиники, в своей ниццкой «ссылке» Чехов, судя по письмам, был как никогда одинок. И это ощутила, наверно, юная Ольга Васильева.

Хотяинцева успела перед отъездом в Париж описать Марии Павловне визит одного русского семейства, отца и двух дочерей, может быть, того самого, от которого Чехов получил букет. Одна из посетительниц просила разрешения переводить рассказы Чехова. Он не возражал. Не отказал и в другой просьбе — сфотографировать его. В следующий раз юные соотечественницы пришли одни. Ольга, «маленькая, толстенькая, щеки малиновые. Притащила с собой аппарат, снимать А[нтона] П[авловича], бегала вокруг, приговаривая: „ах, он не так сидит“. <…> Уже в первый раз <…> она заметила, что А[нтон] П[авлович] бранил французские спички, очень скверные, правда. Сегодня принесла две коробочки шведских. Трогательно?».

Фотографии получились не очень удачными, но девочка прислала их Чехову. Так началось многолетнее знакомство, которое в жизни Ольги Васильевой оказалось драгоценным и незабываемым. Несмотря на юный возраст, она поняла это сразу и в том же 1898 году написала Чехову: «С тех пор, как я побывала у Вас в Ницце, у меня в душе нашлось что-то лучшее, чего прежде в ней не было; каждое слово, сказанное Вами, должно быть, навсегда осталось в моей памяти <…> лучше того времени, которое я провела у Вас, светлее его, должно быть, никогда не будет в моей жизни».

С самых первых писем Чехов обращался к новой знакомой подчеркнуто ровно, без сентиментальных нот или шутливой интонации. Может быть, потому, что уловил некое сходство, как он назвал ее, «многоуважаемой соотечественницы», с другими соотечественницами, искавшими в его обществе душевного покоя.

В ней угадывалась натура, склонная к поиску и ожиданию *идеального, особенного*, как в книгах.

Январские письма Чехова вообще очень сдержанны. Дело в том, что расстроилась давно ожидаемая поездка в Алжир. Он жил этим путешествием, едва приехал за границу. Ждал всю осень, упоминал грядущую перемену чуть ли не в каждом письме, потому что любил новые места, новые «резкие» впечатления. С начала декабря писал: «О поездке в Африку я мечтаю денно и нощно»; — «В Алжир поеду непременно — вероятно, в начале февраля, и буду Вам писать оттуда письма и, быть может, рассказы».

Чехов явно надеялся, как он говорил в таких случаях, «подсыпать под себя пороху». Он давно уже хотел поехать в Африку, в Тунис, в Египет. Потапенко запомнил одну случайную встречу. Они с Чеховым ехали из Москвы в Лопасню. Их соседом оказался какой-то помещик из Вологодской губернии. Он кашлял. Чехов признался, что он врач и расспросил попутчика о его болезни. Тот рассказал о недуге и перепробованных средствах. На все это будто бы Чехов сказал: «Все это пустое. Нужно бросить Вологодскую губернию, закатиться куда-нибудь под тропики и пожить там года два-три». На возражения и сомнения помещика, а как же семья, имение, Чехов якобы в шутку и всерьез посоветовал: «Семью прогоните, а имение продайте и поезжайте! Иначе ничего хорошего не выйдет». Сам он семью не прогнал, имение не продал и не то что на год-два, но даже на месяц, как мечтал, не поехал в Африку, не «закатился под тропики». Ковалевский вдруг написал из Парижа, что он сильно болел и сейчас не совсем здоров, посему путешествию, видимо, не бывать.

Чехов, конечно, не знал, что в декабре 1897 года Ковалевский делился своими сомнениями в письме Соболевскому: «У Чехова еще до моего отъезда из Болье показалась кровь. Слышу, что и теперь это бывает с ним по временам. Мне кажется, сам он не имеет представления об опасности своего положения, хотя, на мой взгляд, он типично чахоточный. Меня даже пугает мысль взять его с собою в Алжир. Что, как еще сильнее разболеется. Дайте совет, как быть!» Не исключено, что осторожный Соболевский посоветовал Ковалевскому отложить, а лучше всего отменить поездку в Алжир. Как бы то ни было, Максим Максимович написал, что из-за его хворей «путешествию, видимо, не состояться».

В конце января недужный приехал из Парижа и вопрос о поездке отпал окончательно. Чехов написал младшему брату: «В Алжир я, по всей вероятности, не поеду, так как заболел мой спутник. Собираться домой стану в марте, но попаду домой,

вероятно, не раньше апреля. Здоровье мое хорошо». Однако, судя по интонации январских писем, он давно понял или почувствовал, что поездке в Алжир не быть. И вернулся к своим будничным заботам. Собирал и покупал книги для Таганрогской библиотеки, переправлял их на родину. Писал Иорданову, чтобы тот не тратил выделенные городом деньги на покупку книг, копил на новое здание библиотеки.

С каждой оказией Чехов посылал подарки, купленные для родных и знакомых. Они по-своему обнаруживали его вкус. Что он выбрал за эти месяцы в магазинах Парижа, Ниццы и Монте-Карло? Брату Ивану — галстуки, носки, портмоне. Отцу — металлический кошелек, соломенную шляпу, лупу, хорошую ручку. Матери — карты, домашнее платье, удобные ножницы, иголки, кошелек, платки, зонтик. Сестре — модные лайковые перчатки; портмоне; дорожный набор (спиртовка и кастрюлька); зонтик; японские чашки; изящные перламутровые безделушки; красивые карандаши; записную книжку в изысканном переплете; много дорогой парфюмерии (духи в футлярах, мыло, кремы, какие она заказывала в своих письмах). Для фельдшерицы Чесноковой — духи и зонтик. А еще подарки горничным Маше и Анюте, Роману и другим мелиховским обитателям. Какие-то свертки и пакеты с надписью «положить у меня на столе» тоже содержали подарки. И что-то, купленное Чеховым для себя. Например, башмачок для вытирания перьев, хорошие красивые щетки, изящный штопор, кнопки, бумага, конверты.

Домашние благодарили. Евгения Яковлевна писала сыну в Ниццу накануне его дня рождения: «Милый и дорогой Антоша, поздравляю тебя с ангелом, желаю тебе здоровья, более всего, мы за тобой соскучились, давно тебя не видали. Благодарю тебя за портрет и за цветы, а более всего за платье, очень радовалась, когда получала, ты наше сокровище, ты нашу старость покоишь, спасибо тебе». И пожаловалась: «У меня на праздниках на нижней челюсти выпал зуб, на котором все зубы вставные держатся. <…> Прости, что такую чепуху тебе описала, больше некому пожаловаться. Пиши мне».

Чехов тут же написал сестре: «Если матери нужно починить зубы, то устрой так, чтобы она поехала в Москву; денег не следует жалеть в таких случаях. <…> Скажи папаше, чтобы он прислал мне размер своей груди в сантиметрах, я в Париже куплю ему пиджак. Кланяйся всем. Твой А. Чехов». Мария Павловна тоже написала в один день с матерью: «Поздравляю тебя, Cher Антоша, с ангелом со всевозможными благими пожеланиями. День твоих именин я проведу в Мелихове и буду есть пирог».

Поблагодарив сестру за память; Чехов невесело пошутил:

«Милая Маша, спасибо за письмо с поздравлением, вчера получил. Мне стукнуло уже 38 лет; это немножко много, хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я прожил уже 89 лет».

Но грустным день рождения был еще и потому, что в Ницце скончался тяжело болевший доктор А. А. Любимов, хоронили его 16 (28) января. Чехов рассказал в письме Суворину: «Умирать ему очень не хотелось. <…> Я был на похоронах. Здешнее русское кладбище великолепно. Уютно, зелено и море видно; пахнет славно». Чехов еще не раз поднимался сюда.

Тихое, зеленое, уютное кладбище он описал в повести «Степь». Потом также говорил о лучанском кладбище, где похоронили брата Николая. В набросках продолжения «Мужиков» повествовалось, как Ольга читала письмо, присланное из деревни: «В письме были только поклоны да жалобы на нужду, на горе, на то, что старики еще живы и даром едят хлеб, но почему-то в этих кривых строках, в которых каждая буква была похожа на калеку, Ольге чувствовалась особая, скрытая прелесть, и кроме поклонов и жалоб, она читала еще о том, что в деревне теперь теплые ясные дни, что по вечерам бывает тихо, благоухает воздух и слышно, как в церкви на той стороне бьют часы; представлялось ей деревенское кладбище, где лежит ее муж; от зеленых могил веет спокойствием, позавидуешь усопшим — и такой там простор, такое приволье!»

Лишь об одном, кажется, кладбище Чехов рассказал иначе. О том, которое увидел на Сахалине, в Александровске: «Вследствие особого строения здешней почвы почвенная вода даже на кладбище, которое расположено на горе у моря, стоит так высоко, что я в сухую погоду видел могилы, наполовину заполненные водою». На могилах каторжников стояли маленькие кресты — «все под один образец, и все немы».

17 (29) января, в свой день рождения, Чехов днем поехал в Монте-Карло и пошутил потом в письме к Шавровой: «500 тыс[яч] не выиграл; и никогда не выиграю, так как играть не умею и утомляюсь скоро в игорной зале. А вот если бы я не был хохол, если бы я писал ежедневно, хотя бы по два часа в день, то у меня давно бы была собственная вилла. Но я хохол, я ленив. Лень приятно опьяняет меня, как эфир, я привык к ней — и потому беден». В том настроении, в каком Чехов пребывал зимой 1898 года в Ницце, ему не работалось. Он уверял, что «здоров, как бык», и одновременно просил брата Ивана прислать с ближайшей оказией гваякол — разновидность эфира.

Установившуюся погоду Чехов называл «очаровательной», «чудесной», «невероятной». Это тоже не располагало к работе. И вообще он настраивался на отъезд в Россию. А пока предстояли

сеансы Бразу. Третьяков согласился оплатить художнику расходы на поездку, чтобы тот написал новый портрет Чехова.

В Ницце начался карнавал, всюду гремела музыка. Так что ни о какой работе не могло идти и речи. Повесть, обещанная «Русской мысли», повисла, по словам Чехова, как дамоклов меч. Последнее, над чем работал Чехов в январе 1898 года, — это корректура рассказа «У знакомых». Рассказа, написанного в чужом доме, за чужим столом, среди чужих людей. С не совсем обычным для Чехова названием. Не у родных, но и не совсем незнакомых. Не у своих, но и не у чужих. Не случайно, но, может быть, в последний раз. Какая-то особая житейская ситуация. Какое-то особенное душевное чувство, когда настоящее не удерживает прошлого и не нуждается в нем, а в самом настоящем проступает неясное и тревожное грядущее.

В таком настроении адвокат Подгорин приехал к давним знакомым, владельцам имения, всего за шесть лет разоренного никчемным хозяином, который всему предпочитал поездки в Москву, «где он завтракал в „Славянском базаре“, обедал в „Эрмитаже“ и кончал день на Малой Бронной или на Живодерке у цыган…». Но ни сам Лосев, ни обожавшая его жена не хотели и не могли отдать отчет в том, что произошло. Или представить, что приближалось. Он, по привычке к ломанью, к фразе, к праздности, махнул на всё рукой и хотел только скорее освободиться от этой обузы: «Я совсем не деревенский житель. Мое поле — большой шумный город, моя стихия — борьба!» Она по простодушному неведению хозяйственной жизни и жизни вообще произносила со слезами пустые клятвенные заверения: «Ах, наши дела так плохи, так плохи, что хуже, кажется, и быть не может <…>. Имение наше продается, торги назначены на седьмое августа <…> взять взаймы уже негде. <…> Я здесь родилась, это мое гнездо, и если у меня отнимут его, то я не переживу, я умру с отчаяния. <…> Без Кузьминок я не могу. И не могу, и не хочу. Не хочу!»

Некоторые детали, очень важные для Чехова, перешли в этот рассказ из предыдущих сочинений: поле цветущей ржи; сад; огни по линии железной дороги; лунная ночь; звук шагов; черные тени. Но все они выдавали теперь другое состояние героя. Всё не удавалось, всё кончалось чувством неловкости, досады. Подгорину хотелось уехать. Не получилась прогулка в поле. Не влекла таинственная темнота сада. И лунный свет освещал не только бледное лицо красивой молодой девушки, стоявшей на валу, но и старые поломанные кресла, сваленные под лестницей в старой башне: «они <…> казалось, ожили к ночи и кого-то подстерегали здесь в тишине».

Подгорин думал в эту ночь о том, что, очевидно, «отжили и свидания в лунные ночи, и белые фигуры с тонкими талиями, и таинственные тени, и башни, и усадьбы, и такие „типы“, как Сергей Сергеич, и такие, как он сам, Подгорин, со своей холодной скукой, постоянной досадой, с неумением приспособляться к действительной жизни, с неумением брать от нее то, что она может дать, и с томительной, ноющей жаждой того, чего нет и не может быть на земле. И теперь, сидя здесь, на этой башне, он предпочел бы хороший фейерверк, или какую-нибудь процессию при лунном свете <…> другую женщину, которая, стоя на валу, там, где стоит теперь Надежда, рассказывала бы что-нибудь интересное, новое, не имеющее отношения ни к любви, ни к счастью, а если и говорила бы о любви, то чтобы это было призывом к новым формам жизни, высоким и разумным, накануне которых мы уже живем, быть может, и которые предчувствуем иногда…».

Но этот «новый идеализм», сменявший «старый идеализм» болтуна и бездельника Лосева, будто подсвечен репликой, произнесенной сразу после этого внутреннего монолога Подгорина: «Никого нет, — сказала Надежда. И постояв еще минуту, она пошла по направлению к лесу, тихо, понурив голову. Собака побежала впереди. И Подгорин долго еще видел белое пятно».

Отжили ситуации, на которых держался старый русский роман уходящего столетия. Но новые ситуации неясны, они тоже пока, как «белое пятно». Устарели прежние формы жизни. Но кому осуществлять новые — «высокие и разумные»! — «Никого нет»?

Отправляя Батюшкову 23 января (4 февраля) 1898 года выправленную корректуру рассказа «У знакомых», Чехов написал: «У нас только и разговора, что о Зола и Дрейфусе. Громадное большинство интеллигенции на стороне Зола и верит в невинность Дрейфуса. Зола вырос на целых три аршина; от его протестующих писем точно свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что, слава Богу, есть еще справедливость на свете и что, если осудят невинного, есть кому вступиться. Французские газеты чрезвычайно интересны, а русские — хоть брось. „Новое время“ просто отвратительно».

Глава четырнадцатая. 1898 ГОД. НАКАНУНЕ

Весь декабрь 1897 года во Франции шло следствие в связи с обвинениями в измене Эстергази. 30 декабря (11 января 1898 года по новому стилю) военный суд оправдал его, а 1 января

появилось письмо Эмиля Золя «Я обвиняю!». Французский писатель обращался к президенту республики Фору и называл высшие военные чины Франции, причастные к делу Дрейфуса, «злокозненной сворой истинных преступников». Вскоре его предали суду присяжных за обвинения, выдвинутые в этом письме и других выступлениях, против военного министерства, Генерального штаба и военного суда.

Письмо взорвало не только французское общество. Последовали обращения о пересмотре дела Дрейфуса, подписанные известными писателями, художниками, учеными Европы. Среди них — Метерлинк, Моне, Ренуар, Пруст. Суворин объяснял читателям «Нового времени», что якобы Золя, уверенный в успехе своих первых писем, в силе своего воздействия на правительство, был задет оправданием Эстергази и поэтому, мол, учинил громкий скандал. Главное в происходящем, доказывал Суворин, — это сила еврейства, рассеянного по всему миру, но могущественного, образовавшего «синдикат с центральной кассой, в которую плывут деньги <…> добровольные пожертвования и принудительный налог». В финале своего «Маленького письма» от 3 (15) января Суворин хвалил суд за то, что «еврейская плутократия и союзная ей французская поставлены на свое место. Это было необходимо сделать, ибо горе было бы государству, если б оно стало идти по указке этой „нечистой силы“».

Чехов не читал еще этой статьи, когда написал Суворину 4(16) января: «Зола благородная душа, и я (принадлежащий к синдикату и получивший уже от евреев 100 франков) в восторге от его порыва. Франция чудесная страна, и писатели у нее чудесные». Он, как не раз признавался, внимательно следил за делом Дрейфуса по французским и русским газетам. Но не спешил излагать свое мнение, хотя сразу сказал: «По-моему, Дрейфус не виноват». Он доверял не разговорам, не газетам, но здравому смыслу, нравственному чутью, чувству справедливости, развитому в нем, судя по письмам, до чрезвычайности.

В начале февраля 1898 года, в разгар процесса, Чехов объяснился с Сувориным. Это письмо, конечно, говорило обоим больше того, что содержало — то есть не ограничивалось обсуждением юридических тонкостей. Размышление Чехова было подчинено определенной логике. Он указал на очевидные нарушения права. Подчеркнул непорядочное поведение малой французской прессы, ругавшей Золя, и поведение тех журналистов, которые три года назад, в момент публичного разжалования Дрейфуса, кричали ему: «Замолчи, иуда!»

Чехов назвал последствия действий французского

правительства и суда: смущенная совесть людей; беспокойство в обществе; ощущение чего-то неладного, нечистого. Назвал и приемы, которыми чиновники и поддерживающая их пресса, а также поверившая им часть общества успокаивали общественную тревогу. Средства испытанные: ложь, образ врага, клевета: «Пошли небылицы. <…> Капитал, жупел, масоны, синдикат, иезуиты — это призраки, но зато как они облегчают наше беспокойство! Они, конечно, дурной знак. Раз французы заговорили о жидах, о синдикате, то это значит, что они чувствуют себя неладно, что в них завелся червь, что они нуждаются в этих призраках, чтобы успокоить свою взбаламученную совесть».

Он говорил о французах, о французской печати, но одновременно о российских газетах и о русских, ругавших Золя, искавших врага в мировом еврействе, в «синдикате» и прочем: «Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем причины вне нас и скоро находим: „Это француз гадит, это жиды, это Вильгельм…“» Однако за — «мы», «нас», «наше» — сначала угадывался, затем прямо был поставлен вопрос: как вести себя отдельному человеку, когда совесть его смущена, «взбаламучена», когда он чувствует, что его вовлекают в дурное, в несправедливое?

В «Маленьком письме» от 29 января (10 февраля) Суворин вспомнил процесс кальвиниста Жана Каласа, обвиненного в убийстве сына якобы за то, что тот хотел перейти в католичество, и казненного в 1762 году. Вольтер провел свое следствие и добился посмертного оправдания Каласа. Это был, по словам Суворина, «один из тех редких писательских подвигов, которым всемирная литература будет вечно гордиться». В действиях Золя он такого подвига не нашел. Но лишь шумное и запоздалое присоединение к обвинителям, которые будто бы использовали имя, известность Золя не для победы правосудия, а для победы над правительством и легенды о «мученике еврее».

Не касаясь рассуждений Суворина о том, что было *вокруг* дела Дрейфуса и процесса Золя, Чехов, следуя своей логике и своему чувству, дал ответ на им же самим заданный вопрос: «Да, Зола не Вольтер, и все мы не Вольтеры, но бывают в жизни такие стечения обстоятельств, когда упрек в том, что мы не Вольтеры, уместен менее всего. Вспомните Короленко, который защищал мултановских язычников и спас их от каторги. <…> Пусть Дрейфус виноват, — и Зола все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание. Скажут: а политика? интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно

обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров и жандармов и без них много <…>»

Чехов отбрасывал шелуху оправданий — «мы не Вольтеры» — и обнажал сердцевину: «И какой бы ни был приговор, Зола все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошая старость и умрет он с покойной или по крайней мере облегченной совестью». В таком финале слышался отдаленный отзвук постоянных жалоб Суворина в письмах Чехову на ожидавшую его одинокую старость. Он очень часто писал об этом в дневнике: «старость безрадостная, скверная»; — «к старости, когда смотришь в могилу, нет никого, кто <…> берег бы»; — «желание работать не прошло еще, но силы надорваны. <…> Впрочем, я достиг таких результатов, о каких никогда не мечтал. За что-нибудь они даются, эти результаты, и это сознание успокаивает меня». Итак, Суворина успокаивали в его тоске «результаты» собственной деятельности. Чехов писал ему о «покойной или, по крайней мере, облегченной совести», как залоге «хорошей старости».

Чехов не преувеличивал влияния на Суворина своих писем о деле Дрейфуса и процессе Золя. Ковалевский вспоминал впоследствии разговор с Чеховым зимой 1898 года: «Суворин, как рассказывал мне Чехов, в ответ на одно из таких писем, написал ему: „Вы меня убедили“. „Никогда, однако, — прибавил Чехов, — ‘Новое время’ не обрушивалось с большей злобой на несчастного капитана, как в недели и месяцы, следовавшие за этим письмом“. — „Чем же объяснить это?“ — спросил я. „Не чем другим, — ответил Чехов, — как крайней бесхарактерностью Суворина. Я не знаю человека, более нерешительного и даже в делах, касающихся собственного семейства“».

* * *

За два дня до решения суда, приговорившего Золя «за клевету» к году тюрьмы и штрафу, Чехов написал Хотяинцевой: «Вы спрашиваете меня, всё ли я еще думаю, что Зола прав. А я Вас спрашиваю: неужели Вы обо мне такого дурного мнения, что могли усумниться хоть на минуту, что я не на стороне Зола? За один ноготь на его пальце я не отдам всех, кто судит его теперь в ассизах, всех этих генералов и благородных свидетелей. Я читаю стенографический отчет и не нахожу, чтобы Зола был неправ, и не вижу, какие тут еще нужны preuves[16]».

Почему Чехов не присоединил свой голос в поддержку Золя, как, например, упомянутый им в февральском письме Суворину

норвежский писатель Бьёрнстьерне Бьёрнсон, начавший свое послание словами — «Все народы Европы…»? Может быть, потому, что речь шла не о конкретном участии в судебном процессе, как в случае — с Короленко, защищавшем невинных удмуртов, приговоренных к каторге за будто бы совершенное ими человеческое жертвоприношение. Может быть, по нелюбви к поступкам, похожим на жест вроде тех, что любил герой его рассказа «Соседи»? Власич, прочитав статью и пережив, как он выражался, очередную «честную, светлую минуту», отправлял письмо в редакцию всего с одной строчкой: «Благодарю и крепко жму руку!»

Над письмами в редакции — даже искренними; над публичными восторгами — даже по достойным поводам; над проникновенными юбилейными речами — даже своих добрых приятелей, Чехов подтрунивал. Письма читателей с восторгами в свой адрес и с общественным пафосом называл «захлебывающимися». Правда, к просьбе Михаила — написать, «как относится к Дрейфусу и Зола <…> обыкновенное обывательское общественное мнение, хотя в той же Ницце?» — Чехов отнесся без иронии: «Ты спрашиваешь, какого я мнения насчет Зола и его процесса. Я считаюсь прежде всего с очевидностью: на стороне Зола вся европейская интеллигенция и против него всё, что есть гадкого и сомнительного. <…> „Нов[ое] время“ ведет нелепую кампанию, зато большинство русских газет если и не за Зола, то против его преследователей».

Михаила Павловича интересовало мнение и жителей российской столицы. Старший брат написал ему в своем насмешливом стиле, что оставляет его в «неведении, ибо общество об этом ничего не думает. Думало, да перестало. У него своих мнений нет. Это стадо. Лучшие же люди думают так…». Далее Александр Павлович привел фрагмент письма Чехова к нему от 23 февраля (7 марта): «В деле Зола „Нов[ое] время“ вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (впрочем в тоне весьма умеренном) — и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что он любит военных, — не хочу, потому что всё это мне уже давно наскучило. Я тоже люблю военных, но я не позволил бы кактусам, будь у меня газета, в Приложении печатать роман Зола задаром, а в газете выливать на этого же Зола помои и за что? за то, что никогда не было знакомо ни единому из кактусов, за благородный порыв и душевную чистоту. И как бы ни было, ругать Зола, когда он под судом, — это не литературно».

В первый день марта Александр писал брату в Ниццу:

«Старика видел третьего дня, спрашивал, нет ли вестей от тебя: получил в ответ, что давно уже он не читал от тебя ни одной строчки. Тон ответа — угрюмый, недовольный». Через две недели он рассказывал: «Старик С[уворин] так болен, что уже три дня не принимает к себе не только людей, но даже и писем. Ожидается катаклизм. Оргия кактусов-коршунов уже началась на тему: „Не стая воронов слеталась“… До чего они отвратительны!»

Теперь Чехов уже не говорил брату, как в былые годы, что в редакции нужна партия свежих сил, порядочных людей и т. п. Он соглашался, что и редакция, где господствовал Буренин, и театр Суворина, где царствовала Яворская, — это клоака. Переписка Чехова и Суворина уже давно будто «спотыкалась», теряла былой характер продолжающейся беседы, живого интереса. Они исчерпали свои отношения. Чехов, прозаик, драматург, терял в глазах Суворина ясные очертания. Он теперь вольно и невольно объединялся в его оценке с Бурениным, считавшим, что Чехов сбился с «правильного пути». Суворин, в глазах Чехова, кажется, сливался с его газетой, с семейным фоном, давно чуждыми Чехову. Их предстоящая встреча в Париже весной 1898 года упоминалась с сомнением.

* * *

Чехов все чаще говорил о возвращении домой. А пока ждал в Ниццу Потапенко и Браза. Одного — с охотой, другого — с неудовольствием. Он полагал, что и второй портрет не получится: «Не думаю, чтобы вышло очень хорошо».

Наконец друг за другом приехали и поселились в «Русском пансионе» Потапенко и Южин. Оба принялись искушать своим планом — обогатиться на рулетке, сорвать куш в миллион, никак не меньше. Или, как говорил Игнатий Николаевич, сменить «одно мошенническое ремесло на другое». Он вспоминал впоследствии, как они искали заветный «способ»: «Мы накупили целую гору бюллетеней, даже маленькую рулетку, и по целым часам сидели с карандашами в руках над бумагой, которую исписывали цифрами. Мы разрабатывали систему, мы искали секрет». Но однажды Чехов «определенно и твердо заявил, что с рулеткой покончено: и действительно, после этого ни разу больше не поехал туда».

Чехов рассказывал сестре 4 (16) марта: «Играют каждый день, и пока до миллиона еще далеко, очень далеко. Южин проиграл уже 7 тысяч (это секрет, никому не говори в Москве), а Потапенко выиграл только 50 фр. Очень забавно смотреть, когда они

играют». Южин спустил до приезда жены 15 тысяч франков. Потапенко проигрался дотла. Одолжил деньги на дорогу в Россию у Чехова, но уверял всех, что играл успешно. Он поклялся, что по возвращении в Петербург получит в «Ниве» аванс для себя и для приятеля. Если он, Чехов, пообещал редакции новый рассказ, то пусть раскошелятся. Логика и аргументы неунывающего «Игнациуса» действовали неотразимо.

Оба несостоявшихся миллионера потеряли не последнее, верили в удачу, в новые гонорары. Чехов, по его словам, в это время «изворачивался». Дело в том, что он соблазнился и купил для Таганрогской библиотеки сочинения всех французских классиков, 319 томов. Вернув деньги Морозову, не желая просить сестру прислать толику из того, что она положила на свою сберегательную книжку, не вправе обращаться в «Русскую мысль», для которой он так и не написал обещанную повесть, он был стеснен. Но не экономил — тратил оставшееся на дружеское застолье, на подарки домашним. Будто запрещал себе впадать в вынужденные расчеты. Словно опасался плена мелочного самоограничения.

В этой черте проявлялась, вероятно, внутренняя свобода. Если попечительствовать, то строить новое и образцовое здание. Если посылать книги в родной город, то лучшие, помногу и постоянно, а не скромными и редкими посылками. Кажется, что в этом он не знал меры. Теперь Таганрог просил его помочь с памятником Петру Великому, а для этого переговорить со скульптором М. М. Антокольским, жившим в Париже. Чехов писал Иорданову: «Давайте поручения, исполню их охотно». И так во всем — отдать, сделать больше, чем хочешь.

Он уже не успевал вернуться домой, как задумывал, к Пасхе. Задерживали портрет и погода в России, где еще не сошел снег, не растаял лед в мелиховских прудах, дули холодные ветры. А в Ницце уже в январе цвели фруктовые деревья. Чехов всю зиму обходился без осеннего пальто. Но от однообразия дней, по его словам, «похожих друг на друга, как облака», он томился. И «очаровательная», «удивительная», «чудесная», «изумительная», «прекрасная», «великолепная» теплая погода тоже прискучила. Чехов твердил в письмах: «Нового ничего нет». У всех русских, приезжавших в Ниццу, спрашивал, что нового в России. Все чаще вспоминал свой флигель, где надеялся засесть за работу, «привести себя в порядок».

Письма из России приходили невеселые. Писали не о процессе Золя (как бы ни казалось Михаилу Павловичу, что «вся» интеллигенция думала только об этом), но о «русских вопросах». Батюшков надеялся, что автор рассказа «У знакомых»,

«напитавшись» за границей солнцем и «живой энергией его лучей», справится с «грустными думами» и напишет что-нибудь «бодрое, возбуждающее дух к жизни и деятельности». Морозова рассказывала: «Стали раздаваться голоса и о недороде, и если не о голоде, то о большой нужде крестьянской. Но общество холодно и спокойно». Талежский учитель Михайлов просил о заступничестве: местный священник и четверо мужиков доносили в учебный округ, что будто бы учитель пьет и ссорится с крестьянами. Михайлов умолял: «Покорнейше прошу Вас, Антон Павлович, не оставить меня своим милостивым вниманием и защитить от клеветы попа». Куркин писал о делах Серпуховского санитарного совета, о коллегах-врачах, надеялся на скорую встречу: «Это большое горе, что Вы так долго не возвращаетесь к нам…»

Душевный «беспорядок» Чехова выдавало недовольство южной природой, мол, «травы нет, флора декоративная, точно олеография, птиц не слышно и не видно». А в Мелихово скоро прилетят скворцы… Для этого «полезного народа» он просил сестру прибавить скворешен в саду и на дворе. Просил пересадить берлинские тополя, лиственницы, бузину от дома в парк. Еще из весенних забот — осторожно отрезать гнилые стебли у роз, поставить палочки у лилий, «чтобы не растоптали», покрасить фруктовые деревья известкой, удобрить землю под вишнями. Все просьбы касались сада, деревьев, парка, цветов. В них тоже сквозило желание скорее вернуться домой…

Его стали раздражать окружающие. Южин — своими актерскими манерами. Браз — своими жалобами на Репина, якобы завидующего успеху ученика. Мешали визитеры. Казалось, что все стесняло. С 8 утра до полудня он позировал Бразу. Неподвижность, зависимость от чужой работы, которую нельзя прервать, наверно, сильно утомляли Чехова. Он иронизировал: «Я опять сижу в кресле с бархатной спинкой; черный пиджак, белый галстук, черные брюки. Говорят, что очень похож». В письме к Хотяинцевой, отосланном на следующий день, 23 марта (4 апреля), уточнил: «Говорят, что и я и галстук очень похожи, но выражение, как в прошлом году, такое, точно я нанюхался хрену. Мне кажется, что и этим портретом Браз останется недоволен в конце концов, хотя и похваливает себя».

Прежде всего, был недоволен сам Чехов: «Что-то есть в нем не мое и нет чего-то моего». Портрет казался ему неинтересным, «вялым». Что-то позирующее, чуть картинное, внешнее. А душевная суть ускользнула, так и осталась не угаданной или не переданной художником. В общем, «не то».

Однако сеансы все-таки близились к концу. Потапенко

сдержал слово — по части авансов ему не было равных. Чехов получил из «Нивы» две тысячи франков, то есть 751 рубль. Еще тысячу франков, свой долг, Потапенко прислал Чехову в Париж.

Итак, полугодовая ниццкая «ссылка» Чехова завершалась. Помогла ли Ницца? Он высказался прямо: «Я здоров, но не стал здоровее, чем был; по крайней мере в весе не прибавился ни капли и, по-видимому, уже никогда не прибавлюсь».

14 (26) апреля 1898 года Чехов приехал в Париж. Остановился в отеле «Дижон», не самом дорогом, но и не самом дешевом, в центре города. И тут же побывал у Хотяинцевой. Она жила за Латинским кварталом, на Монпарнасе, недалеко от кладбища, поэтому Чехов написал сестре, что она живет очень далеко, «вроде как бы около Ваганькова», вместе с другими русскими художницами, «очень милыми и добрыми»: «Все они нигде не бывают, живут, как в Калуге, ведут, по-видимому, жизнь неподвижную и полнеют так, что даже страшно. Ходят в старых просторных платьях, обедают в дешевой кухмистерской <…>» Замечание о старых просторных платьях не укор обитательницам русской колонии — в них удобнее работать. Это были художницы, а не рисующиеся дилетантки, вроде героини рассказа «Ариадна», которая, «во фригийской шапочке и в фартучке, писала красками этюд, сидя на набережной, и большая толпа стояла поодаль и любовалась ею».

Хотяинцева рассказывала Марии Павловне в письмах из Парижа, что на пленэре работают они утром, потом занимаются в мастерских, затем опять рисуют на воздухе, а вечером — классы. Однако по субботам ходили в театры, читали всей компанией, часто бродили по Парижу, пропадали в музеях. Однажды, в том же 1898 году, Хотяинцева дружески выговаривала сестре Чехова: «Вероятно, опять все по огороду бегаете, красненькие, синенькие собираете, а работаете мало? А[нтон] П[авлович] писал, что вы заняты школой. <…> Вот я Вас к рукам приберу, как приеду…»

Чехов и Хотяинцева встречались в Париже. Но не часто. Она неохотно отвлекалась от занятий, а ему мешали дожди, визиты и нездоровье («у меня показалась кровь в мокроте»), которое он скрыл от родных. В парижских письмах, может быть, впервые обозначился грозный признак. Чехов в шутку или всерьез объяснял непрекращавшиеся желудочные боли конфетами, которыми угощал его Ковалевский по пути из Ниццы в Париж. Он даже просил сестру приготовить к его приезду кислого молока.

Дело могло быть не в сладостях, но в том, что туберкулезный процесс захватил не только верхушки легких. Или первичный очаг вообще возник не в легких? И перенесенный в отрочестве перитонит не прошел бесследно, а пробудил «бациллы»,

дремавшие еще с детских лет? Получить их Чехов мог от дяди Ивана Яковлевича, от тетки Федосьи Яковлевны. Отсюда и многолетние жалобы Чехова на катар кишок, ограничения в еде, невольный пост. Он давно избегал всего жирного, острого. Обходился малым, безопасным. В последние годы оставил из былых пристрастий только утренний кофе. Здесь, в Париже, он пил его в кафе на бульварах. Как и в Ницце, наблюдал толпу, читал газеты. Правда, погода мешала прогулкам. Вечерами Чехов сидел в гостиничном номере, если не шел по приглашению на обед. Однако побывал в Версале и на художественной выставке в помещении Галереи машин на Марсовом поле.

Встретился со скульптором Антокольским. Марк Матвеевич тронул его подношением будущему музею Таганрога — гипсовый овал «Последний вздох»: голова и плечи распятого Христа. Антокольский согласился помочь с памятником Петру I. Он предложил не делать точную копию статуи, изготовленной им ранее и установленной в Петергофе, а изменить размер, увеличить пьедестал. Чехов написал Иорданову после встречи: «Это памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу даже всесветный конкурс, и о лучшем даже мечтать нельзя. Около моря это будет и живописно, и величественно, и торжественно, не говоря уж о том, что статуя изображает настоящего Петра, и притом Великого, гениального, полного великих дум, сильного. <…> Ант[окольский] надеется, что всё обойдется даже дешевле 20 тыс. <…> Сколько возьмет сам Антокольский? По-видимому, ничего».

Во встречах и в прогулках Чехова иногда сопровождал И. Я. Павловский — тот самый, который давным-давно, в 1869 году, гимназистом старших классов снимал у Чеховых комнату в доме Моисеева. Чехов уже встречался с ним в 1891 году. Французский корреспондент «Нового времени», он сопровождал тогда его и Суворина в прогулках по Парижу. Затем они увиделись в 1894 году, тоже в Париже, и началась переписка. Чехов привлек земляка к сбору денег на памятник Петру I. Он обращался с этим ко всем уроженцам родного города, к выпускникам Таганрогской гимназии.

Летом 1896 года Павловский гостил в Мелихове. Он охотно вызвался участвовать в организации музея, точнее, музейного отдела при городской библиотеке. Обещал написать богатым братьям, живущим в Америке, переговорить кое с кем в Париже. Но сразу захотел гарантий, что затея с музеем серьезна и занимаются этим солидные люди. Он спрашивал Чехова: «Готов ли город сделать какие бы то ни было, хотя самые микроскопические жертвы для этого дела? А то нашлешь им

всякой всячины, а она будет валяться, портиться. <…> Наконец, есть ли даже место для подобных вещей? Ответьте на эти вопросы».

Весной 1898 года в Париже разговор о музее возобновился. Павловский не отказывался от помощи, но выдвигал новые условия. Все это тонуло в других разговорах парижского корреспондента: о его положении в «Новом времени»; об имении, которое он хотел бы купить в России; о собственных пьесах, которые он надеялся с помощью Чехова пристроить на сцену московских театров. И конечно, о деле Дрейфуса, о процессе Золя. Скорее всего, именно Павловский уговорил Чехова встретиться с французским журналистом Б. Лазаром, автором брошюры 1896 года «Судебная ошибка. Правда о деле Дрейфуса». Чехов уступил, хотя не любил интервью, давно зарекся от них. Встреча состоялась в конце апреля, но ничего хорошего из нее не вышло. Чехов писал Павловскому: «Сам Bernard Lazare, как оказывается, не воспользовался нашим разговором и передал материал другому лицу, это же лицо написало нечто такое, с чем я не могу связать своего имени». Подобная вольность, конечно, удивила Чехова, но еще сильнее рассердила манипуляция безвестного «лица» с чужими суждениями.

Вообще, все складывалось в Париже не очень удачно. Плохая погода, дождь, холод. Суворин перенес дату приезда, это задерживало Чехова. Как и вести из дома, что не стоит торопиться, потому что весна холодная, даже печи продолжали топить. С приездом Суворина у Чехова изменился адрес. Он переехал в ту же гостиницу, где остановился Алексей Сергеевич. За десять дней они, наверно, многое обсудили. Но, судя по всему, оба остались не очень довольны встречей.

Из всех разговоров Суворин привел в дневнике только один, и тот, может быть, ради своего комментария: «Он мне рассказывал, что Короленко убедил его баллотироваться в члены Союза писателей, сказав, что одна формальность. Оказалось, что среди этого Союза оказалось несколько членов, которые говорили, что Чехова следовало забаллотировать за „Мужиков“, где он будто бы представил мужиков не в том виде, как следует по радикальному принципу. Поистине ослы эти господа, понимающие в литературе меньше даже, чем свиньи в апельсинах, и эти свиньи становятся судьями замечательного писателя. Вот она, эта толпа, из которой выскакивают бездарные наглецы и руководят ею. „Меня чуть не забаллотировали“, — говорил Чехов».

Об обстоятельствах выборов, прошедших 31 октября 1897 года, Чехов мог знать от петербургских литераторов, например от Потапенко. Не мнения о «Мужиках», а вот это «почти

забаллотировали», может быть, уязвило Чехова. Как и в случае с «Чайкой», за таким голосованием, наверно, ощущалось Чеховым отношение к нему лично. Словно опять «не имела успеха» его личность. Эту скрытую обиду на очередной «щелчок» уловил Суворин и отметил в дневнике, опустив все остальные разговоры с Чеховым в Париже.

Воспоминания В. А. Поссе сохранили рассказ Чехова об одной из парижских встреч с Сувориным весной 1898 года: «Помню <…> мы сидели в Париже в каком-то кафе на бульварах: Суворин, парижский корреспондент „Нового времени“ Павловский и я. Это было время разгара борьбы вокруг „дела Дрейфуса“. Павловский, как и я, был убежден в невиновности Дрейфуса. Мы доказывали Суворину, что упорствовать в обвинении заведомо невиновного только потому, что он еврей, как это делает „Новое время“, по меньшей степени, непристойно. Суворин защищался слабо, и, наконец, не выдержав наших нападок, встал и пошел от нас. Я посмотрел ему вслед и подумал: „Какая у него виноватая спина!“».

Именно на этой ноте взаимного недовольства Чехов и Суворин распрощались в Париже.

* * *

4 мая Чехов приехал в Петербург и в этот же день отбыл в Москву. Немногие столичные встречи — накоротке. Скорее, скорее в Мелихово! Павел Егорович записал в дневнике 5 мая: «Погода прекрасная. Деревья все оделись в зелень. <…> Гром гремит, склонно к дождю. <…> Антоша приехал из Франции. Привез подарков много. <…> Овес всходит».

В последующие дни в дневнике замелькало: «приехали», «уехали», «был», «ездил». И, конечно, обычные хлопоты: «сажали», «сеяли», «рубили» и т. п. Чехов писал Шавровой: «Скоро я буду в Москве. Скоро, но когда именно, не знаю, так как по крайней мере до 24-го мая должен заниматься экзаменами и всякими мужицкими и земскими делами. В глубине лета буду, вероятно, на Кавказе».

Жизнь вошла в прежнюю колею: «<…> я чувствую себя очень сносно, по крайней мере не считаюсь больным и живу, как жил»; — «У нас всё по старому. Много дела, много хлопот и много разговоров и очень мало денег». Однако Чехов уже затеял строительство школы в Мелихове. Дома, за собственным письменным столом, наладилась и работа: «Моя машина уже начала работать». Так Чехов обрадовал Гольцева, обещая рассказ

для «Русской мысли».

Лишь письмо Немировича выбивало из колеи. Владимир Иванович сообщал, что «поплыл в театральное дело», создает вместе с Алексеевым (К. С. Станиславский. — А. К.) новый «исключительно художественный театр». И решил культивировать «*только* талантливейших и недостаточно еще понятых» современных русских авторов. В первую очередь — Чехова, автора «Иванова» и «Чайки»: «<…> тебя русская театральная публика еще не знает. Тебя надо показать так, как может показать только литератор со вкусом, умеющий понять красоты твоих произведений — и в то же время сам умелый режиссер. Таковым я считаю *себя*».

Немирович заклинал разрешить постановку «Чайки». Той самой пьесы, в которой не так давно находил сценические недочеты, советовал автору, как их исправить. Теперь он уверял, обещал, что «настоящая постановка ее с *свежими* дарованиями, *избавленными от рутины*, будет торжеством искусства…» Чехов знал, что Немирович преподавал в училище при Московском филармоническом обществе. Учитель ставил с учениками классные и экзаменационные спектакли. Но какой он режиссер? Какой Станиславский актер и режиссер? Чехов этого не знал. Знакомство меж ними было, что называется, шапочное.

Немирович не отказался от мнения о несценичности «Чайки». Теперь он объяснил это в переписке со Станиславским летом 1898 года: «В этой последней отсутствие сценичности доходит или до совершенной наивности, или до высокой самоотверженности. Но в ней бьется пульс русской современной жизни, и этим она мне дорога». Для Немировича, по его признанию, постановка «Чайки» стала «вопросом художественного самолюбия». Он занимался ею с тем же напряжением, с каким писал свои романы и пьесы.

В самом конце письма Суворину от 12 июня 1898 года Чехов просто упомянул о новом театре, о том, что в июле начинают репетиции. Ни словом не обмолвился, что отдал Немировичу и Станиславскому свою «Чайку». Майские и июньские письма Чехова выдавали, что он работает. Много работает. В письмах — короткие фразы, много вопросов. В середине июня он отослал в «Ниву» рассказ «Ионыч», а в «Русскую мысль» — рассказ «Человек в футляре». В июле туда же рассказы «Крыжовник» и «О любви».

Рассказы не о городе и деревне, не о российской провинции (хотя всё происходило именно там). Но о людях, будто не замечавших, что происходит вокруг, привыкших к «суровой, утомительной, бестолковой жизни» — и вдруг испытавших какое-то беспокойство, какую-то тревогу внутри себя. «Маленькая трилогия» воспринималась каким-то необычным, странным по

форме, романом о русской жизни, о жизни вообще. В ней опять упоминались лунный свет, поле, железная дорога, берег реки. Но теперь все это обрело другое звучание и назначение. Не просто психологическая деталь или пейзаж, передававший настроение героя. Но нечто иное: *время и пространство человеческой жизни*; тоска земного существования; томление души. За тремя «историями», «случаями» ощущались беспредельность бытия, краткость человеческого века.

Поле казалось «бесконечным». Лунная ночь давала лишь краткое мгновение тишины в природе и в душе человека, когда чудилось, что «зла нет на земле и всё благополучно». Общая для всей «трилогии» интонация — прощание и упование. Она, видимо, была созвучна настроению самого Чехова. 25 июня, отсылая Иорданову еще один ящик с книгами, он признался: «Зимой я ничего не делал, теперь приходится наверстывать, валять, как говорится, и в хвост и в гриву. Нужно много писать, между тем материал заметно истощается. Надо бы оставить Лопасню и пожить где-нибудь в другом месте. Если бы не бациллы, то я поселился бы в Таганроге года на два на три <… >»

В возвращении памятью к детству и отрочеству, в ощущении исчерпанности деревенских и уездных впечатлений, в упоминании недуга — словно предчувствие перемен. Ожидание душевного возбуждения, которое было необходимо Чехову для работы. Это заметно даже в воспоминаниях не о Ницце, а о Париже. Чехов пошутил в письме Лейкину: «В Париже было очень весело, интересно, и теперь я нахожу, что парижский климат для нашего брата это самый здоровый климат, как бы там ни было сыро и холодно». Но «бациллы» гнали в теплые края. В начале июля у Чехова опять показалась кровь. Он решал вопрос — куда ехать.

В Крым? На Кавказ? Сразу на осень и всю зиму? Где взять денег? Засесть за новые рассказы и повести? Но после огромного напряжения, с которым Чехов теперь работал, ему нужна была пауза. Он говорил, что даже мысль о работе неприятна: «Когда я теперь пишу или думаю о том, что нужно писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана — простите за сравнение». Из экономии он решил зимовать не за границей, а в Крыму. Хотя от мысли об отъезде, о чужом письменном столе у Чехова, по его словам, опускались руки и ничего не хотелось делать.

В начале августа ему передали просьбу А. Ф. Маркса, издателя «Нивы», о встрече в Петербурге, если он поедет за границу через столицу. Чуть позже Чехов завел разговор с

Сувориным о собрании сочинений: «Это вывело бы меня из затруднения, это советует мне Толстой. <…> В пользу моего намерения говорит и то соображение, что пусть лучше проредактирую и издам я сам, а не мои наследники». Но Суворин, давно подчинившийся капризам, ультиматумам, требованиям своего сына Алексея, в лучшем случае выдал бы аванс в несколько тысяч из своих личных денег. Доход от продажи томов собрания сочинений сначала пошел бы на погашение долга, а потом его, не исключено, выплачивали бы Чехову, как и в предыдущие годы, с чудовищными ошибками бухгалтера, неаккуратно и малыми суммами.

Маркс не написал прямо, зачем намеревался увидеть Чехова. Однако не выяснять же это через Потапенко, вхожего в «Ниву», или другим окольным путем. Подобное было не в характере Чехова. Получалось бы, словно он просил, набивался. В таких ситуациях он полагался на судьбу: пусть будет, что будет. Он всегда опасался сплетен о «нечистоте» помыслов. Даже намек на корыстные мотивы или искательство Чехов переживал с болью, а сплетника не извинял.

9 сентября он без особой охоты покинул Мелихово. Предварительно оплатил все текущие денежные обязательства: за лечение крестьян в земской больнице; за аренду избы для мелиховской школы; за обучение сына серпуховской жительницы, которой он обещал посылать молодому человеку 20 рублей ежемесячно до окончания института. Послал 100 рублей в местное общество, помогавшее учителям и учащимся. Отдал взнос в кассу помощи врачам Серпуховского уезда и т. п.

Опасаясь новой «денежной истории», подобной прошлогодней, Чехов оставил сестре большую сумму денег. Решили, что она опять будет получать деньги в книжном магазине, театральный гонорар, а в случае необходимости снимать с сберегательной книжки.

В Москве Чехов намеревался пробыть два-три дня, но задержался. В первый же день отправился в Охотничий клуб, на репетицию «Чайки». Немирович уже писал Чехову об исполнителях, о своем видении пьесы и распределении ролей:

«*Аркадина* — О. Л. Книппер (единственная моя ученица, окончившая с высшей наградой <…>). Очень элегантная, талантливая и образованная барышня, лет, однако, 28.

Треплев — Мейерхольд (окончивший с высшей наградой <…>).

Нина — Роксанова. <…> Молодая, очень нервная актриса.

Дорн — Станиславский. <…>

Тригорин — очень даровитый, провинциальный актер,

которому я внушаю играть меня, только без моих бак. <…>

Mise en scène первого акта очень смелая. Мне важно знать твое мнение».

Мизансцена удивила и восхитила Чехова, он назвал ее «небывалой в России». Немирович рассказывал в письме Станиславскому от 12 сентября: «Он нашел, что у нас на репетициях приятно, славная компания и отлично работает. На другой день мы (без Чехова) переделали по его замечаниям (кое-где я не уступил), и вчера он опять слушал. Нашел много лучшим».

В. Э. Мейерхольд записал 11 сентября в своем дневнике, что автор возражал против звуков, имитирующих кваканье лягушек и т. п. На объяснение, что так реальнее, сказал: «Сцена — искусство. У Крамского есть одна жанровая картина, на которой великолепно изображены лица. Что, если на одном из лиц вырезать нос и вставить живой? Нос „реальный“, а картина-то испорчена».

На этой репетиции присутствовал Суворин. Правда, глава петербургского Малого театра хотел увидеть репетиции пьесы А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Он ставил ее в своем театре и привез исполнителей двух главных ролей П. Н. Орленева (Федор) и К. И. Дестомб (Ирина). Однако Немирович отговорился: мол, репетиции этой пьесы приостановлены до переезда в театр. Но рассказал, как она будет поставлена. Актеры не верили в искренность похвал, которые расточал Суворин.

Чехов тоже предостерегал Немировича быть осторожным — ведь речь шла о конкуренции. Чехов знал, как ревнив Суворин к чужому успеху, если он к нему не причастен. Тем более к театральному. Спустя две недели в «Новом времени» появилась заметка, похожая на антирекламу: сочувствуем-де новому предприятию москвичей, но решительно не согласны с их режиссерскими приемами.

Немирович написал Чехову: «Суворин, как ты и предсказывал, оказался… Сувориным. Продал нас через неделю. На твоих глазах он восхищался нами, а приехал в Петербург и махнул подлую заметку. Не могу себе простить, что говорил с ним о вступлении в Товарищество». Чехов не понял «психологии» заметки и спросил Суворина: «Вам там так нравилось и Вас так сердечно принимали, что поводом к подобной заметке могло послужить какое-нибудь крупное недоразумение, о котором я ничего не знаю. Что произошло?»

В тот же день 11 сентября, когда Чехов и Суворин были на репетиции «Чайки», они побывали в галерее Третьякова на осенней выставке, где Браз выставил портрет Чехова. Сохранилась

карикатура Хотяинцевой: группа лиц перед картиной. Среди них узнаваемы Чехов, Суворин, а впереди всех, видимо, Щепкина-Куперник. Она в те дни оказалась в Москве и усиленно приглашала Чехова и Марию Павловну к себе на обед, в театр Корша и вообще предлагала — «С любезным сердцу Авеланом / Пуститься снова по волнам. / Скромней, чем некогда… не все же, / Как встарь кутить до бела дня?»

Эти шутливые строки, может быть, на самом деле подвели черту под московским прошлым Чехова — не университетским, а эпохой «Большой Московской гостиницы», где останавливался Чехов в середине 1890-х годов, куда посыльные приносили записки от участников «плаваний» по московским редакциям, ресторанам, театрам, концертам.

Все это было лишь несколько лет назад. Теперь же не было свиданий с Яворской, Шавровой, Мизиновой, Озеровой. Редкими стали встречи с Левитаном и Потапенко, в основном по делу — с Гольцевым и Лавровым. Иссякла даже переписка с ними. Шаврова более не умоляла о письме хоть в несколько строчек. Не спрашивала в записках, как весной 1898 года, когда Чехов вернулся из-за границы: «Неужели нам не суждено увидеться?»

Мизинова писала из Парижа, что задержится здесь до зимы, хотя все ей опостылело. Спрашивала: «Когда же Ваша свадьба? Мне здесь покоя не дают с этим! И где Ваша невеста? А все-таки гадко с Вашей стороны не сообщить об этом такому старому приятелю, как я. Я это узнала только здесь». Это были явно отзвуки слухов о пребывании Хотяинцевой в Ницце, ее встреч с Чеховым в Париже. Свое письмо Мизинова закончила словами: «Прощайте, жму Ваши лапы и остаюсь все та же Ваша Лика».

Накануне отъезда в Ялту Чехов побывал на репетиции «Царя Федора Иоанновича». Потом рассказал о впечатлении: «Меня приятно тронула интеллигентность тона, и со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. <…> Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».

Ирину играла Ольга Леонардовна Книппер, которую Чехов видел и на репетиции «Чайки». Однако отозвался не об «актрисе Ирине Николаевне Аркадиной», но о «царице Ирине». Может быть, в тот день репетировали сцены, в которых звучали слова из роли: «Напрасно ты тревожишься. Кто может нас разлучить?»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЯЛТА (1898–1904)

Глава первая. ПЕРВАЯ ЗИМА В ЯЛТЕ

Уже из Ялты Чехов написал сестре, как доехал до Крыма: «В Севастополе в лунную ночь я ездил в Георгиевский монастырь и смотрел вниз с горы на море; а на горе кладбище с белыми крестами. Было фантастично. И около келий глухо рыдала какая-то женщина, пришедшая на свидание, и говорила монаху умоляющим голосом: „Если ты меня любишь, то уйди“». В нескольких строчках изложена житейская драма. Всего одна реплика, две-три выразительные детали. И что-то в пейзаже сходное с Ниццей, с кладбищем, откуда открывался вид на море.

В Ялте Чехов бывал не раз. Называл ее «татарско-парикмахерским городом», неинтересным, «скучнейшим». Курортную публику считал «нудной», «некультурной», а растительность — «жалкой». Но все-таки и теперь выбрал не Кавказ, а Крым. Может быть, остановился на Ялте потому, что воздавал должное удобствам: регулярная почта, чистота, библиотека, читальня, медицинская помощь.

Он полагал, что приехал на время, а потом отправится в Италию, в Париж. В Ялте скучал. Но, кажется, уже давно томился в любом месте, где не мог работать, где мешала чужая обстановка. Он тогда впадал в скрытое раздражение, называл себя «скучающим скитальцем». Гостиницы, съемные квартиры, пансионы Чехов не любил. Всё не свое, непривычное — освещение, запахи, еда, вид из окна, письменный стол. Ко всему надо привыкать, приспосабливаться.

20 сентября он написал почему-то не сестре, а отцу насчет разных хозяйственных дел: где посадить яблони, тополя, лиственницы, как укрыть розы на зиму. Распорядился театральным гонораром (около тысячи рублей) — весь истратить на строительство Мелиховской школы. Закончил письмо надеждой, что дома «всё благополучно и мирно» и признанием: «Всё же в Мелихове лучше». Лучше было не в Мелихове, где, судя по записям Павла Егоровича, утром «по траве белый мороз», днем дожди и даже «срывается снежок».

Лучше было в молодости, когда не верилось в чахотку, когда работалось. Здесь, в Ялте, всё напоминало, почему он не дома, и тогда Чехов говорил: «Эта вынужденная праздность и шатанье по курортам хуже всяких бацилл». И признавался, что уже «наскучило скитаться по белу свету».

Тревожное состояние, наверно, усиливала мысль о «злосчастной», как называл ее автор, пьесе «Чайка». Конечно, в силу характера и предыдущего опыта, Чехов готовился к неуспеху, а не к триумфу. Вдруг провал, нечто подобное тому, что случилось два года назад? В этом настроении Чехов, кажется, впервые откровенно обозначил свое отношение к роману Лики и Потапенко. Свое сентябрьское письмо она закончила вопросом: «Вообще, как поживают Ваши друзья Южин и…? Напишите же, не будьте с… с…»

Спрашивала она, конечно, о Потапенко, но зачем?

Ответил он не жестко, но с непривычной откровенностью: «Увы, я не принадлежу к числу „моих друзей“, и все мои просьбы, обращенные к Вам, всегда оставались без удовлетворения. <…> У Немировича и Станиславского очень интересный театр. Прекрасные актрисочки. Если бы я остался еще немного, то потерял бы голову. Чем старше я становлюсь, тем чаще и полнее бьется во мне пульс жизни. Намотайте себе это на ус. Но не бойтесь. Я не стану огорчать „моих друзей“ и не осмелюсь на то, на что они осмеливались так успешно».

Закончил пожеланием счастья и здоровья, звал в Ялту. Она ответила через месяц. Звала в Париж, шутила насчет «актрисочек». Но тоже просила «не бояться»: «Вы ведь трус! Пожалуй, не заедете в Париж, боясь моей любви, — Вы всегда пугаетесь этого, даже раньше, чем надо, и бежите подальше. Кажется, так я о Вас слыхала…» И тут же осеклась: «Не сердитесь, что пишу глупости, и в самом деле не испугайтесь, еще, пожалуй, и не ответите — знаю я Вас. <…> До свиданья, пишите и приезжайте. Жму Вашу гениальную руку».

Вместе с письмом послала свою фотографию с надписью: «Дорогому Антону Павловичу на добрую память о восьмилетних хороших отношениях. Лика». На обороте строки романса Чайковского — Апухтина: «Будут ли дни мои ясны, унылы, / Скоро ли сгину я, жизнь погубя, — / Знаю одно, что до самой могилы / Помыслы, чувства, и песни, и силы — / Всё для тебя!!» Чуть ниже еще строка: «Пусть эта надпись Вас скомпрометирует. Я буду рада. Париж, 11-го октября 1898 г.». Еще ниже: «Я могла написать это восемь лет тому назад, а пишу сейчас и напишу через 10 лет».

На этом их переписка, по сути, завершилась. Были еще письма, подобные эху: она звала в Париж, он — в Россию. Но душевное прощание уже состоялось. Произошло оно не вдруг, но неизбежно. Им словно не хватало в себе и друг в друге чувства, о котором думал герой рассказа Чехова «О любви», месяц назад появившегося в «Русской мысли». Чувства, что «нельзя друг без

друга», нельзя…

Осенью 1898 года Михаил, любивший давать советы и к тому же гордившийся своим семейным счастьем, рекомендовал брату жениться. Даже назвал имена возможных избранниц — Н. М. Линтварева или А. А. Хотяинцева. На что получил ответ. Почти такой же, какой Чехов дал Александру десять лет назад. Когда Александр после смерти жены решил посвататься к Елене Линтваревой, Чехов прямо и ясно выразил свое отношение к браку, что всё дается не женитьбой, а *любовью*. Теперь он объяснял младшему брату: «Жениться интересно только по любви <… >. В семейной жизни самый важный винт — это любовь, половое влечение, едина плоть, всё же остальное — не надежно и скучно, как бы умно мы ни рассчитывали. Стало быть, дело не в симпатичной девушке, а в любимой; остановка, как видишь, за малым».

Авилова украсила свои воспоминания о Чехове эпизодом в клинике, где она навещала его весной 1897 года. Будто он набросал и подал ей записку с просьбой принести корректуру повести «Мужики». Но вдруг взял записку обратно и якобы приписал: «Я вас очень лю… благодарю». Потом зачеркнул «лю» и улыбнулся. И все это объяснение происходило, по ее утверждению, на глазах лечащего врача, который подал Чехову бумагу и карандаш. Сцена получилась мелодраматической — и неправдоподобной. Ни разу к этому времени Чехов не написал всерьез слово «люблю» в переписке со многими симпатичными девушками, приятельницами сестры, и вообще в переписке с женщинами.

Так что годы шли, а дело по-прежнему оставалось за «малым». Не за симпатичной девушкой, а за любимой. Шутка насчет «актрисочек» и вопрос в письме Немировичу после премьеры «Царя Федора Иоанновича» об одной из них выдавали что-то: «Но отчего не пишут об Ирине-Книппер? Разве вышла какая заминка? Федор у вас мне не нравился, но Ирина казалась необыкновенной; теперь же о Федоре говорят больше, чем об Ирине».

Действительно, о Книппер почти не писали в рецензиях. Всех восхищал Москвин. Так что обида Чехова за актрису, которую он видел всего два раза и нашел ее «необыкновенной», передавала вспыхнувший интерес. Что-то тронуло его в голосе молодой женщины, что-то откликнулось, вероятно, в его душе на слова царицы Ирины, так много в этой пьесе молившей и молившейся о милосердии, о доброте. Какой-то покой он уловил, вероятно, и в словах и в голосе.

27 сентября сестра перечисляла с подчеркнутым

неудовольствием мелиховские заботы: «Сегодня целый день идет снег, боюсь, что не управимся с делами. Еще огород не пахали, деревья не окопаны и не унавожены. Работника второго никак не найдем». С началом учебного года Мария Павловна приезжала в Мелихово, как и во все предыдущие годы, только на выходные дни. Из дневника Павла Егоровича ясно, что в ближайшие дни и яблони окопали, и навоз разложили, и двери в доме поправили. Все шло своим чередом. Просто Марии Павловне, конечно, надоело ездить из Москвы в Мелихово, часто по бездорожью, в плохую погоду. Ее утомляли домашние мелочи, деревенская жизнь, бестолковые мужики и бабы. Судя по ее оговоркам в письмах к родным, она давно бы рассталась с имением, не приносившим дохода, убыточным, заложенным — и ей уже наскучившим, ненужным.

Когда она получила письмо брата с описанием именьица Кучукой для летнего отдыха, то сразу ответила. Одобрила такую покупку и деловито уточнила, что «скоро оно будет стоить гораздо дороже». Предложила — не заводить хозяйства, а виноградник и маленькую табачную плантацию отдать в аренду. И опять перечислила мелиховские неурядицы: забор валится, столбы в конюшне подгнили, скот кормить нечем и вообще — одно беспокойство, хоть плачь.

Но что делать с родителями в случае продажи имения? Опять снимать большую квартиру или покупать дом в Москве? Вернется то, от чего бежали шесть лет назад: большие расходы, домашние ссоры, ропот матери, «благомыслие» отца. И все это придется слушать каждый день. Да и жалко было лишать стариков обретенного покоя, особенно отца. Павел Егорович «смотрел» за хозяйством, жил событиями мелиховских буден. В первые дни октября он записывал в своем дневнике: «Обедню стоял в Васькине. <…> Снег срывается. <…> Метель». Последняя запись внесена 8 октября. На другой день Павел Егорович наблюдал за работником, укладывавшим в телегу ящики с книгами (очередная посылка Чехова в Таганрог). Ему показалось, что уложено небрежно, надо переделать, «как положено» — и сам поднял тяжелый груз. Он давно страдал грыжей.

От рывка произошло ущемление. Послали за доктором, в Угрюмово. Тот посоветовал немедленно ехать в больницу, делать операцию. Павел Егорович, всегда паниковавший в такие минуты, лишь кричал от боли и противился. Отчего и вовсе нерешительная Евгения Яковлевна потеряла голову. Они оба ждали дочь, но в эту пятницу она, как нарочно, не приехала. К вечеру доктор Григорьев настоял, и больного повезли в Москву. Там, в клинике, поздно ночью, сделали первую операцию. Через

день — вторую. 12 октября Павел Егорович скончался. Похоронили его на Новодевичьем кладбище, у монастырских стен.

Чехов узнал о случившемся 13 октября. Домашние опасались, что он тут же выедет в Москву, где в эти дни похолодало, и не сразу сообщили ему о несчастье. Узнав о семейном горе, Чехов послал телеграмму: «Отцу царство небесное вечный покой грустно глубоко жаль пишите подробности здоров совершенно не беспокойтесь берегите мать *Антон*».

Подробности оказались тяжелыми. Иван рассказал о своем настроении и скрыл детали. Михаил упирал в письме на то, что он и только он «заведовал» похоронами, расписал поведение старшего брата, его «пьяную харю», нелепый фотографический аппарат. Сам Александр записал в своем дневнике: «Я почувствовал себя здесь совершенно ненужным и лишним. <…> Никто из родных по поводу моего отъезда не протестовал… <… > Иван проводил меня на вокзал, и мы распрощались. Отца похоронили без меня».

14 октября Чехов написал сестре: «Вся Ялта знала о смерти отца, а я не получал никаких известий <…> грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас; сознание, что вам всем приходится переживать в Москве такую передрягу в то время, как я живу в Ялте, в покое, — это сознание не покидает и угнетает меня всё время».

Спустя три месяца Чехов рассказал об отце одному из давних знакомых: «Последние годы своей жизни он прожил у меня в имении; старость у него была хорошая».

* * *

Чехов сразу понял: «Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни». Он тут же предложил сестре и матери поселиться навсегда в Ялте, хотя несколькими днями ранее говорил: «<…> мы, т. е. вся наша семья, имеем уже непобедимое тяготение к северу». Еще 9 октября он планировал, что купит Кучукой для летнего отдыха братьев и сестры, а себе построит маленький домик в Ялте. 14 октября уже говорил: «<…> мы поселились бы здесь навсегда». Что повлияло на такое скорое решение? Кто «мы»?

Может быть, ему тяжело было возвращаться и подолгу жить в Мелихове, где всё напоминало бы о случившемся и всё отравляло

чувство вины. Чехов полагал, что будь он дома, то спас бы отца.

В состоянии беды, катастрофы, сильного душевного напряжения Чехов принимал быстрые решения. Казалось, что *вдруг, странно*, а на самом деле словно подчинялся своему «пророческому чувству». Смерть отца, собственная неизлечимая болезнь, вынужденное скитальчество — всё предопределяло важную, решающую перемену. Об устройстве «нового гнезда». На юге, в Ялте, в большом удобном доме, вместе с матерью. Климат вроде бы подходил. Однако поселиться, может быть, не в самом городе, а на отшибе. Чтобы меньше досаждали нежданные гости и незнакомые визитеры. Но главное условие — вид на море и горы. И дом строить с хорошими печами, теплый, без сквозняков, так как зимой в Ялте, по словам горожан, жесточайшие ветры.

Чехов принял предложение Суворина, сделанное еще до печального события, об авансе в пять или десять тысяч рублей на льготных условиях. Но попросил только пять. С тем, чтобы вычитали из доходов за продажу его книг. И не более одной тысячи в год. Говорил: «А то мне придется круто». Он рассчитывал на реализацию уже напечатанных сборников и первых томов собрания своих сочинений, затеваемого Сувориным.

Уже 20 октября 1898 года он сообщил в Москву, что нашел участок с садом, виноградником, «своей водой». Написал очень коротко. Ни словом не обмолвился, что рядом татарское кладбище, что земля твердая, как камень, а виноградник старый. Словно это не важно.

Мелиховские годы открыли в Чехове свойство, видимо, связанное с его характером, с самой его личностью. Он любил чертить планы, воображая будущую постройку (будь то дом, школа, флигель, колокольня), размечать сад, аллеи. Особенно если всё с нуля, там, где до того ничего не было. Осенью 1898 года он уже представлял себе ялтинский дом: никаких служб, небольшой огород, сад, цветник. Жилище одинокого мужчины и его матери преклонного возраста. Переезд сестры глухо подразумевался: если она сама захочет, в плане постройки ей отводилась своя комната. Но это был уже не семейный дом, ибо семьи Чеховых более не существовало.

Пять тысяч, полученные от Суворина, предназначались на покупку именьица и участка для дома в Аутке. Где взять средства на строительство дома и на возросшие текущие расходы, на оплату московской квартиры Марии Павловны? Содержание матери и сестры, обеспечение им достатка и покоя оставались, как и прежде, сыновним долгом и братской заботой Чехова. Денежный вопрос опять превращался в главный.

Брать у Суворина еще под собрание сочинений? Под то, что

он в шутку называл своей «движимостью»? Однако продолжалась старая история. Типография «Нового времени» нарушала ею же поставленные сроки. Один сваливал вину на другого. Для самооправдания или жалея Чехова, типографские служащие говорили ему, что он «хлопнет» себя по карману этим изданием, то есть прогорит. И вообще, лучше печатать старые сборники очередными изданиями. Или выпускать первые тома собрания сочинений тиражом в десять тысяч, а не в тысячу, как сборники. И не по рублю за экземпляр, а дороже.

Чехову открыли глаза и на то, что его книги допечатывали и контрабандой выбрасывали на книжный рынок, ничего не платя автору. Пользуясь беспорядками и бесконтрольностью, книги просто воровали из типографии и продавали — и все равно их не хватало. Чехов в шутку написал Суворину, как раз осенью 1898 года, что боится ялтинских дам. Они готовы побить его зонтиками, потому что недовольны. Книги не успевали выписывать, они тут же раскупались. Об этом Чехову сообщали из многих других мест. Это огорчало его.

Досаждали ему и газеты. Не рецензиями — к этому он привык, — но известиями о его болезни. В октябре 1898 года «Одесские новости» сообщили, что состояние здоровья Чехова тревожное. Столичная пресса («Новости и Биржевая газета») повторила слух: «…постоянный кашель, колебания температуры, временами кровохарканье». Московская газета «Новости дня», которая уже давно «отличала» Чехова, тут же подхватила молву. Даже газеты «Русские ведомости» и «Курьер», с которыми у Чехова были приязненные отношения, не удосужились проверить это известие. Не усомнились, стоит ли писать об этом, да еще в дни семейного горя.

Чехов был убит бестактностью газет. Он испугался, что слух дойдет до родных. Предупредил Ивана: «Всё это чистейшая ложь, глупая выдумка <…> как бы не прочла мать. Еще раз подтверждаю честным словом, что телеграмма лжет». Он тут же разослал письма и телеграммы тем, кто, обеспокоенный, запрашивал его о здоровье (Комиссаржевская, Шаврова, Каратыгина). И тем, кто распространил слух.

Одни газеты принесли извинения, другие поместили опровержение. Простодушнее и откровеннее всех оправдался Н. Е. Эфрос, один из редакторов «Новостей дня». Тревожный слух он будто бы узнал из телеграммы Кугеля и от одесского корреспондента. Но поначалу не хотел помещать в своей газете. Однако, как рассказывал Эфрос, всюду, даже в театрах, только и говорили, что «Чехову хуже»: «Могли я при таких условиях, даже обладая тактом в полной мере, не поместить этого сообщения? Да

назавтра я бы не обобрался упреков, что не даю того, что не может не интересовать каждого». Уверял Чехова, что «прямо был обязан напечатать». И потому не признал вины, счел себя обиженным. Огорчение Чехова не принималось в расчет. По «газетной» логике не только сочинения известного, тем более знаменитого, популярного человека, но и его личная жизнь, в том числе болезни, семейное горе, принадлежали публике.

Чехов никогда не отвечал публично литературным критикам и театральным рецензентам. Еще в 1887 году он упомянул правило — встречать «молчаливым поклоном» даже «ругательно-несправедливую» газетную и журнальную критику, — ибо «отвечать не принято, и всех отвечающих справедливо упрекают в чрезмерном самолюбии». В письмах он редко высказывался о критике на свои сочинения. Но выпады лично против себя, внимание к себе, даже в связи с благотворительностью, воспринимал болезненно. Говорил, что это его «неприятно волнует». Чехов постоянно просил, например, Иорданова не сообщать таганрогским журналистам о передаче книг в городскую библиотеку, об участии в переговорах насчет памятника Петру I для родного города, о пожертвованиях в приюты и т. п.

Чехов не терпел выходить на поклоны в театре. Всегда отказывался от чтения своих рассказов на заседаниях различных обществ, кружков, на вечерах. Ссылался на то, что ему недостает голоса, что некогда и т. п. Он, хотя и говорил, что любит юбилеи, на самом деле избегал их. Особенно если его просили произнести речь, сказать приветственное слово. Однажды, в 1893 году, признался Эртелю: «Главное — у меня страх. Есть болезнь „боязнь пространства“, так и я болен боязнью публики и публичности. Это глупо и смешно, но непобедимо. Я отродясь не читал и никогда читать не буду. Простите мне эту странность. Когда-то я играл на сцене, но там я прятался в костюм и в грим, и это придавало мне смелость».

Такое поведение удивляло многих его современников. Что за этим? Скрытая гордыня? Необыкновенная скромность? Иронический взгляд, словно со стороны, на себя в роли «автора», «известного писателя», «оратора»? Житейский опыт, убедивший, что в собрании коллег лучше держаться в тени, чем на свету, чтобы не усиливать неизбежные зависть, кривотолки, сплетни? Всё это его задевало. А бестактные «бюллетени» о здоровье, точнее, нездоровье, вызывали гнев. Разговоры о болезни Чехова уже давно велись в литературных кругах Москвы и Петербурга.

Теперь она стала газетной новостью или, по словам Эфроса, тем, что интересовало каждого. Чехов, в конце концов, извинил

журналисту «заботу» о своей газете и читателях. Он полагал, что после телеграмм в редакции всё успокоилось. И вернулся к текущим делам. Гнев вообще проходил у него быстро. Он потом даже корил себя за эти вспышки. Но чувство обиды, когда уязвляли его честь, достоинство, оставалось в нем, судя по письмам и воспоминаниям современников, навсегда. Он не выяснял отношений с обидчиком, не отвечал тем же. Однако не мог забыть. Выходка газет осенью 1898 года прибавилась к таким «щелчкам», коих накопилось уже достаточно.

В конце октября Мария Павловна приехала в Ялту, чтобы обсудить насущные дела. После отъезда ее Чехов написал, как она понравилась его ялтинским знакомым. Может быть, в этом комплименте скрывался невысказанный вопрос: переедет ли сестра в Крым или останется в Москве? Пока же она срочно нашла другую квартиру и перебралась туда с матерью. С Мелиховым обе простились без сожалений. В деревенском доме осталась немногочисленная прислуга — присматривать за хозяйством, показывать имение, если найдутся покупатели. В отличие от брата Мария Павловна хотела скорее избавиться от этой обузы. Но переезжать в Ялту, несмотря на заверения, что думает об этом серьезно, она пока не собиралась. Поэтому, наверно, подчеркивала в письмах, как ценят ее в гимназии, как хороша новая московская квартира и как довольна Евгения Яковлевна. Недаром Мизинова заметила в шутку, что бывшая подруга предпочитает теперь «высший свет». Она имела в виду мир московских художников, артистов, литераторов и музыкантов, знакомых Чехова и Левитана. Бенефисы, вернисажи, литературные вечера, премьеры. Всё в меру, без головокружения. Но в охотку, в удовольствие.

Мария Павловна не заблуждалась на свой счет и с легкой иронией писала брату в Ялту осенью 1898 года: «В общем, в Москве очень весело. У меня совершенно неожиданно оказалось много друзей обоего пола, которые заботятся обо мне, как о маленькой. Приписываю это всецело тебе. По вас и нас почитают». Она не была человеком этой среды, но вошла в нее. Льстило внимание известных людей, нравились комплименты ее живописным работам. Однако становиться художницей, жить этим сестра Чехова не собиралась. Искусство ей нравилось, но глубоко не задевало. Может быть, поэтому ее отзывы о рассказах и повестях брата — редки, скупы, банальны: «прочитала с удовольствием твой рассказ и пожалела, что он так короток»; — «твои рассказы < … > мне очень понравились».

Как в семье относились к тому, чем занимался Чехов? Родителей это не интересовало. Покойный Павел Егорович

отмечал рассказы старшего сына в «Новом времени». О сочинениях среднего сына ни разу не отозвался ни в дневнике, ни в письмах. «Мамаша», как звали ее дети, ссылалась на плохое зрение. На самом деле она всю жизнь стеснялась своей малограмотности, робела перед «учеными» занятиями сыновей и дочери. Александр чаще передавал чужие впечатления, свои же облекал в шутки. В 1897 году похвалил новую повесть: «Хорошенькая вещичка „Мужики“. Вот он где, талант! Ты бы себя почаще скипидаром подмазывал на эту тему». Неловкость отзыва скрывала, видимо, горький самосуд: из него самого ничего серьезного не получилось.

Иван читал всё написанное братом и многое из того, что писали о нем в газетах и журналах. Критические оценки переживал так, словно бранили его самого, но не высказывался пространно. Давняя, с отроческих лет, душевная привязанность определила приятие всего, что брат писал и делал. Самый говорливый и словоохотливый Михаил, как ни странно, очень редко упоминал сочинения брата. Может быть, потому, что всегда и прежде всего интересовался самим собой. Уже в юности он «ударился» в литературу. Печатал в журналах для детей рассказы и повести под псевдонимом М. Богемский. Служа в Ярославле, от скуки и для вящей славы, писал театральные рецензии. Ему хотелось бы, по его выражению, «поболтать» с братом о прекрасном, «высоком», но в его письмах получалась действительно болтовня. Дистанция между ними увеличивалась с каждым годом.

Родные, каждый по-своему, ощущали популярность, а потом известность Алтоши, Антона, Антуана, как его называли в семье. Но вряд ли отдавали отчет в том, что их фамилия превращалась в имя — *Чехов*, вошедшее в общественное сознание.

Спор вокруг сочинений Чехова вышел к 1898 году за рамки литературной критики. Он превратился в разговор о русской жизни. Чехова переводили на многие европейские языки, просьбы о переводах увеличивались год от года. Ему приходило всё больше читательских и зрительских писем. Его имя упоминали в своих дневниках и письмах не знакомые с ним лично современники. Для родных он оставался сыном и братом. Семейная переписка этих лет все та же, что и прежде: домашние новости, хозяйственные подробности. Чехов не рассказывал никому, над чем работал. Лишь в письме сестре упомянул в связи с денежным вопросом: «Деньги для домашних расходов можешь брать в „Русской мысли“. Я уже написал Гольцеву, чтобы тебе выдавали, сколько пожелаешь, до 500 р. Завтра посылаю в „Русскую мысль“ рассказ».

Рассказ этот — «Случай из практики» — словно продолжал диалоги героев «маленькой трилогии» о счастье и несчастье, об одиночестве, о «почтенной бессоннице» думающего, чувствующего человека. Все те же ночные разговоры, беспокойные, тревожные, но не страшные, хотя речь шла о дьяволе, о мистическом. Но странные пугающие звуки сменялись в финале рассказа тихим рассветом.

* * *

Проза Чехова все заметнее оказывалась в созвучии с его письмами и душевным состоянием. Как-то глубокой осенью 1898 года сестра написала о нехороших приметах, внушавших ей и матери «опасение за будущее». Он успокаивал: «В Ялте тоже воют собаки, гудят самовары и трубы в печах <…> всё это на меня не действует. Скажи матери, что как бы ни вели себя собаки и самовары, всё равно после лета должна быть зима, после молодости старость, за счастьем несчастье и наоборот; человек <…> не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским, — и надо быть ко всему готовым и ко всему относиться как к неизбежно необходимому, как это ни грустно. Надо только, по мере сил, исполнять свой долг — и больше ничего».

Вряд ли эти слова предназначались Евгении Яковлевне или даже сестре — скорее уж самому себе. Словно сказаны о своем нездоровье, одинокости и одиночестве, близком конце.

Чехов уверял родных, что не кашляет, не болен. Но с началом работы, по его выражению, «кровохаркал тайно от своих». И грядущее одиночество в ялтинском доме уже принял как неизбежное. Еще говорил о лете в Мелихове, жалел трудов («Ведь мы из чёрт знает чего сделали хорошее имение»), но согласился с сестрой. Однако спрашивал, не оставить ли кусок земли в 10–20 десятин за мелиховской церковью. Думал ли он отдать его мужикам? Отвести под мелиховскую школу или земскую больницу? Может быть, построить там маленькую дачу?

По письмам сестры брат понял, что она не хочет переводиться в ялтинскую гимназию или просто жить в Ялте с ним и матерью. Однако не уговаривал: «Это твое дело». Что понимал он под упомянутым в письме «долгом», исполняемым по мере сил? Саму жизнь? Свое предназначение? Помощь ближним? Здесь, в Ялте, Чехов уже собирал пожертвования в пользу голодающих. Все больше поступало просьб об участии в благотворительных сборниках (в пользу чахоточных, слепых, нуждающихся). Все

больше просьб дать рекомендательное письмо, пристроить рукопись, прислать книги, деньги. По-прежнему просили разные суммы — от рубля до нескольких тысяч.

Школу в Мелихове Чехов строил полностью на свой счет, пожертвования были скромные, а требовалось три-четыре тысячи. Он предназначал на стройку гонорар за постановки своих пьес в провинции, в Петербурге, за грядущую премьеру «Чайки» в новом московском театре. Складывалось впечатление, что он спешил. Дом задумывал вроде бы для себя, а на самом деле — для матери и сестры. Все время подчеркивал, как Евгении Яковлевне будет хорошо: все удобства, и церковь рядом. Когда-то он так выбирал дачу для родителей — теперь свой последний дом.

Облик Чехова той поры запомнил ялтинский доктор И. Н. Альтшуллер: «Имел он тогда еще довольно бодрый вид <…> несмотря на то, что ходил несколько сгорбившись. <…> Только намечавшиеся складки у глаз и уголков рта, порой утомленные глаза и, главное <…> заметная одышка, особенно при небольших даже подъемах <…> степенная медленная походка и предательский кашель говорили о наличии недуга».

В конце ноября 1898 года Чехов попросил Альтшуллера приехать к нему. Кровохарканье уложило его в постель. Доктор выслушал, расспросил и поставил свой диагноз: «Я нашел распространенное поражение обоих легких, особенно правого, с явлениями распада легочной ткани, следы плевритов, значительно ослабленную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание».

Чехов теперь говорил мало и тихо. В дни обострения болезни раздражался, но сдерживался. Его выдавали мелочи. Например, недовольство конвертами, присланными родными из Москвы — «однообразные». Все бесцветное, невыразительное, даже в такой малости, по-видимому, мешало, нервировало, потому что усугубляло однообразие жизни.

Переписка его свелась по преимуществу к деловым письмам. Ответы на приветственные послания былых знакомых окрашивала прощальная интонация. В них всплывали воспоминания о прошлом. В конце ноября 1898 года Чехов признался Шавровой, что хотел бы очутиться пусть в холодной сырой, но оживленной Москве. Там «хорошая толчея», театры. Шутил: «<…> я каменею от скуки — и кончится тем, что брошусь с мола в море или женюсь».

Альтернатива — погибнуть или жениться — повторялась в письмах Чехова этой поры, как усмешка над своей жизнью. А может быть, как симптом кризиса. В таком настроении Чехов всегда обозначал выбор: или — или… Так было перед поездкой

на Сахалин, потом в 1894 году, перед «Чайкой».

Не оттого ли рассказы, написанные осенью и ранней зимой 1898 года, неуловимо связаны с повестями предыдущих лет. Сюжет о самоубийце, земском страховом агенте Лесницком («По делам службы») — с историей судебного пристава Громова («Палата № 6»), Сюжет «Новой дачи» — с повестью «Моя жизнь», ее деревенскими эпизодами, и повестью «Мужики». Все то же беспокойное чувство: как совестливому человеку желать для себя светлой, спокойной жизни в безотрадной стране среди несчастливого народа.

Мелиховская жизнь, кажется, не уходила из сознания. Когда-то увиденное «жалкой весной» 1895 года — дряхлая мать била палкой старого сына, залезшего в пруд, — всплыло в эпизоде из рассказа «Новая дача»: отец и сын, оба пьяные, с бессмысленными глазами, бьют друг друга палками. Случилось это на Воздвижение, храмовый праздник. Кончался рассказ картиной, предвосхищавшей финал повести «В овраге»: отсвет солнца на пилах мужиков. «В кустах по берегу поют соловьи, в небе заливаются жаворонки», а в умах и душах человеческих туман. Вроде бы думали о себе мужики, они «народ хороший, смирный, разумный», Бога боятся. Но откуда столько вражды, вздора? «И, не зная, что ответить себе на эти вопросы, все молчат <…> и идут дальше молча, понурив головы».

Это Потапенко казалось, что Чехов «сбросил» сахалинские впечатления в книгу о каторжном острове и забыл. Ничто не «сбрасывалось». Всё оставалось, порой доводя до ощущения «камня» на душе. До нестерпимого желания куда-то ехать, оказаться в пути, видеть новые места, встречать незнакомых людей. Но болезнь держала на одном месте, в комнатном заточении, как в тюрьме. Чехов писал Суворину в самом конце ноября: «Хочется с кем-нибудь поговорить о литературе, о том о сем, а говорить здесь можно только о литераторах, но не о литературе».

Любое ограничение, видимо, не отвечало природе Чехова. Может быть, и отсюда тоже (помимо болезни ног) его привычка ходить во время обеда, вставать и расхаживать по кабинету в часы работы. Он никогда не диктовал, не писал «с голоса». Будто само движение руки по листу бумаги и написанное слово побуждали к следующему слову, к продолжению.

Письма Чехова напоминали беседу, в словах и интонациях угадывались возможные возражения, реплики незримого адресата. Поэтому, наверно, они производили такое впечатление на современников. Многим хотелось длить и длить эту беседу. Но после тридцатилетия, рубежа между молодостью и «старостью»,

многостраничные послания ушли из переписки Чехова. Чего-то недоставало: то ли настроения, то ли внутреннего побуждения, то ли все силы отнимала напряженная работа.

* * *

Первая ялтинская зима в жизни Чехова началась небольшим морозом, легким снежком. Он работал и решал денежные дела, полагая, что новый дом обойдется ему в десять тысяч. Собирался сразу заложить его, получить под это семь тысяч, три тысячи восполнить гонорарами и таким образом вернуть долг. В дальнейшем оставались бы только банковские долги: за мелиховское имение и дом в Ялте.

Но эти обязательства не волновали Чехова. Пока он мог писать, он рассчитывал на литературный заработок. Потому и тянул с Мелиховым. Все-таки какая-никакая связь с Москвой, с севером. А в случае его смерти — продажа двух недорогих имений (Мелихово, Кучукой) и ялтинского дома позволит матери и сестре устроиться там, где они захотят, и получать ренту с капитала. Но пока получалась, по его словам, «путаница»: «И Крым нравится, и не хочется расставаться с севером… Просто сам не знаю, что мне нужно».

Ялта, конечно, провинция — но не та, что в российской глубинке. Все-таки курортный город. Зимой публика менее интересная, летом попестрее. Как говорил Чехов уже в это время, «тут бывает сезон, а жизни нет». Театр не ахти, труппы заезжие, плохие. Репертуар? Обыкновенный.

В начале декабря Чехов получил письмо от Максима Горького. Они не были знакомы, но молодой литератор проявлял большой интерес к Чехову. Он рассказывал о впечатлении от «Дяди Вани». Как после спектакля в нижегородском театре пришел домой «оглушенный, измятый»: «Для меня — это страшная вещь, Ваш „Дядя Ваня“ — это совершенно новый вид драматического искусства, молот, которым Вы бьете по пустым башкам публики. <…> Но, слушайте, чего Вы думаете добиться такими ударами? Воскреснет ли человек от этого? <…> Не обижайтесь на меня, если я что-нибудь неладно сказал. Я человек очень нелепый и грубый, а душа у меня неизлечимо больна. Как, впрочем, и следует быть душе человека думающего».

Чехов поблагодарил за письмо. О своей пьесе сказал, что никогда не видел ее на сцене, но слышал, будто она часто идет на провинциальных подмостках. И добавил: «К своим пьесам вообще я отношусь холодно, давно отстал от театра и писать для театра

уже не хочется». Однако через две недели, 17 декабря 1898 года, в пространном письме сестре о деньгах, Кучукое, о школе в Мелихове, об Аутке вдруг перебил себя вопросом: «Когда я пишу сии строки, в Москве идет „Чайка“. Как она прошла?»

Из телеграммы Немировича, посланной по требованию публики и полученной в Ялте ночью, Чехов узнал о необыкновенном успехе, вызовах, радости актеров. Наутро ответил: «Передайте всем: бесконечно и всей душой благодарен. Сижу в Ялте, как Дрейфус на острове Диавола. Тоскую, что не с вами. Ваша телеграмма сделала меня здоровым и счастливым. Чехов».

Случайно или нет, но, возможно, впервые после провала «Чайки» в Александринском театре Чехов написал в одном из декабрьских писем — «моя пьеса». Хотя два года не хотел ни слышать, ни говорить о ней. Премьера «Чайки» в Московском Художественном театре словно встряхнула его. Оживился тон писем. Вспыхнули планы: весной — в Москву, летом — по гостям, а, может быть, после зимы сразу в Монте-Карло, с Южиным и Потапенко, «на гастроли». Со всех сторон ему писали первые зрители, что успех «блестящий», «колоссальный», «шумный», «огромный».

Но вдруг заболели Книппер и Станиславский. Два спектакля отменили, и Чехов шутил: «Мне не везет в театре, ужасно не везет, роковым образом, и если бы я женился на актрисе, то у нас наверное бы родился орангутанг — так мне не везет!!»

Даже снег, выпавший в Ялте, не обрадовал Чехова. Хорошо еще, что на Рождество приехал брат Иван, и Новый год Чехов встречал не в одиночестве. Еще одно событие не вышибало его из колеи, но меняло колею буден, дел и работы.

Чехов получил известие, что издатель Маркс не против купить его сочинения. Весть эту сообщил и вызвался стать посредником Сергеенко — тот самый земляк, от которого он сбегал при встречах. Тот, кто любил покровительствовать, посредничать, но не без задней мысли о собственной, пусть не великой, но моральной или материальной выгоде. Чехов держался от него подальше и шутил: «Это погребальные дроги, поставленные вертикально». Сергеенко представлял дело так, будто его подвигнул на переговоры Толстой. О чем оставил дневниковую запись от 13 января 1899 года: «Л. Н. все время говорит о Чехове и благословляет меня на поездку в Петербург: „Ведь Марксу теперь остается издать только меня и Чехова, который гораздо интереснее Тургенева или Гончарова. Я первый приобрел бы полное собрание его сочинений. Так и скажите Марксу, что я настаиваю“».

Почему Чехов согласился на посредничество Сергеенко? Потому, что именно Петр Алексеевич известил его о разговоре с управляющим конторы изданий Маркса? Сам Сергеенко обозначил в письме Чехову от 25 декабря свою настоящую, в данное время, и возможно будущую роль в сделке очень дипломатично: «Я при свидании с Грюнбергом поставлю дело на рельсы, а затем уже его может катить, на кого упадет твой жребий».

Чехов порой соглашался на что-то — ему лично неудобное, — лишь бы не причинять неудобства или не обидеть невольно другого человека. Не было ли подобного мотива в данном случае?

А может быть, все проще? Сергеенко предлагал свои услуги. Определенно и дружески. Он жил в Петербурге. Все столичные знакомства Чехова ослабли или совсем прервались. Как раз к Новому году пришло письмо от Баранцевича. Он благодарил Чехова за телеграмму в связи со своим юбилеем, 25-летием литературной деятельности: «Ты помнишь товарищей, даже не общаясь с ними». Далее отозвался об этой самой «деятельности» — никому не нужна, бесполезна, не интересна. И всё его писательство — наказание Божие. Чехов утешал в ответ: «<…> но всё же ты веришь в это писание в лучшие минуты жизни, ты не бросаешь их и никогда не бросишь, — и пусть будет по вере твоей, пусть теперь, после юбилея, писания твои будут твоею радостью и принесут тебе ряд утешений».

Еще грустнее было письмо от Щеглова. Он тоже отчаялся в своей литераторской судьбе: «Старая, никому не нужная и ни к чему не годная мочалка!» Щеглов по-прежнему бросался из крайности в крайность. То впадал в восторги, то в меланхолию. Всё больше ожесточался. Чехов и на этот раз попытался успокоить «милого Жана». Но в отличие от прежних лет его дружеское письмо напоминало по тону не «рецепт», а грустный и окончательный диагноз: «Мне всегда казалось, что Вы несправедливы к современной жизни, и всегда казалось, что это проходит болезненной судорогой по плодам Вашего творчества и вредит этим плодам, внося что-то не Ваше. Я далек от того, чтобы восторгаться современностью, но ведь надо быть объективным, насколько возможно справедливым».

Говорить о литературе, чего Чехову так хотелось в эти месяцы, с *прежними приятелями* не получалось. Надо было бы что-то объяснять или объясняться. При этом без надежды на взаимопонимание. Словно они жили в разных временах.

Наверно, это чувство подпитывалось в Чехове чтением своих ранних рассказов. Он готовил их для первого тома собрания сочинений у Суворина. Многое просто забыл. Перечитывал,

удивлялся и шутил: «Прочтешь — и вроде как будто рюмку водки выпил».

Но теперь, когда возникло предложение Маркса, предстояло отказать Суворину, разорвать многолетнее сотрудничество с ним. Невольно Чехов будто подводил итоги своей жизни и своего сочинительства. Или у него начиналась какая-то другая жизнь?

* * *

1 января 1899 года Чехов написал Сергеенко: «Я был бы очень не прочь продать ему свои сочинения, даже очень, очень не прочь, но как это сделать? <…> Мне и продать хочется, и упорядочить дело давно уже пора, а то становится нестерпимо».

Чем объяснялась такая торопливость, несвойственная Чехову? Конечно, его угнетали беспорядки в типографии Суворина. Остро стоял денежный вопрос. Содержание мелиховского имения, московской квартиры матери и сестры, траты на собственное пребывание в Ялте, строительство дома на купленном участке — всё требовало немалых средств. Рассчитывать на гонорары? Значит много и напряженно работать, зная о неизбежных последствиях: кровохарканье, головная боль, перебои сердца.

Два обстоятельства — безденежье и «порядки» в суворинской типографии — объясняли готовность печататься у Маркса. Но трижды повторенное слово «очень» невольно выдавало какую-то глубокую подоплеку. Чехов обнаружил ее сам через четыре года: «Да и не надо все-таки забывать, что, когда речь зашла о продаже Марксу моих сочинений, то у меня не было гроша медного, я был должен Суворину, издавался при этом премерзко, а главное, собирался умирать и хотел привести свои дела хотя бы в кое-какой порядок». Может быть, в это время Чехов впервые сказал родным, что просит похоронить его в Москве, рядом с могилой отца.

Итак, главное побуждение: освободить родных в случае его смерти от денежных обязательств и обеспечить матери и сестре материальное благополучие. Зимой 1899 года Чехов написал сестре: «Храни Создатель, я старательно уклоняюсь всего, что могло бы осложнить жизнь мою, или моих наследников».

Собирался умирать… И очень хотел жить… Часто упоминал в письмах в это время то, что любил: дружеское застолье, степь, звон московских колоколов, интересных людей.

16 января, в канун своего 39-летия, Чехов отправил две телеграммы. Одну — Суворину: «Маркс предлагает право собственности 50 000. Прошу 75 000. Телеграфируйте Ваше

мнение. Что делать? Кланяюсь. Чехов». Другую — Сергеенко: «Желательно 75 000. Приехать не могу, сделаю всё, что прикажешь. Благодарю [от] всей души. Телеграфирую Суворину. Жду подробности. Чехов». Суворин ответил в тот же день: «Я не понимаю, зачем Вам торопиться с правом собственности, которое будет еще расти. <…> Семь раз отмерьте сначала. Разве Ваше здоровье плохо. От Вас давно нет писем. Суворин».

Чехов намеревался продать право собственности на издание того, что уже было написано. Он оставлял за собой доход с постановок пьес и право на то, что будет написано («будущее наше покрыто мраком неизвестности»). Он хотел издаться у Маркса и получить несколько десятков тысяч, чтобы при жизни побеспокоиться о матери и сестре и о своих сочинениях. В письме от 17 января он упоминал первый и последующие тома, тем самым давая понять Суворину, что он еще не принял решения. Но обозначил главное, то, что в эти же дни он объяснил Сергеенко: «Чтобы жить, я по крайней мере 50 000 должен сделать своим, так сказать, основным капиталом, который давал бы мне около 2 тыс[яч] в год». На эту ренту мать и сестра смогли бы безбедно жить после его смерти. 25 тысяч Чехов предназначал в своих размышлениях на уплату долгов, на новый дом в Ялте, который тоже отошел бы Евгении Яковлевне и Марии Павловне.

Суворин узнал от Сергеенко условия Маркса: право собственности на все сочинения Чехова. Как уже написанные, так и на те, что будут «обнародованы» в течение двадцати лет после подписания договора. То есть Чехов мог напечатать вновь написанное один раз в повременных изданиях или сборниках с благотворительной целью и получить гонорар от издательства, журнала или газеты. Затем это отходило Марксу в полную литературную собственность за определенный гонорар (оплата менялась, возрастая, каждые пять лет). Издатель полагал выплатить (за сочинения, напечатанные к моменту заключения договора) 75 тысяч рублей, но не сразу: 20 тысяч после вступления договора в силу, остальное в течение двух лет. 18 января Суворин послал телеграмму в Ялту: «Напишите мне, что Вас заставляет это делать. Не знаю, какая сумма Вас может вывести из затруднения, но если Вы можете обойтись двадцатью тысячами, я Вам их тотчас вышлю, это я могу, и хотел бы сделать от всей души <…> милый Антон Павлович».

Суворин не написал главного: сколько он готов в целом заплатить за право собственности на сочинения Чехова. Он предложил деньги не как книгоиздатель, а как добрый знакомый Алексей Сергеевич «милому Антону Павловичу». Ни слова нет в телеграмме об обязательном в таких случаях договоре. Зная

Суворина и влияние на него домашних, Чехов вправе был опасаться, что без нотариально заверенного документа всё может ограничиться этой суммой в 20 тысяч. Выглядела она как аванс под продажу томов собрания сочинений, грозивший превратиться в долг. Он гасился бы, как и в прошлые годы, с бухгалтерскими ошибками, неразберихой в счетах и длился многие годы. И означал денежную и моральную кабалу при жизни Чехова и возможное сутяжничество наследников после его смерти. Да и 20 тысяч Суворин лишь обещал выслать. Сергеенко написал Чехову после встречи с ним 18 января: «Нам не дают ничего, кроме жалких слов». И процитировал эти реплики: «Что такое 75 тысяч?»; — «Чехов всегда стоил дороже»; — «И зачем ему спешить. Денег он всегда может достать. Деньги — говно собачье!» Воспроизвел Сергеенко и свой диалог с Сувориным: «Когда же я <…> сказал: „Значит, Вы дадите больше, чем Маркс?“ — послышалось шипенье и только: „Я не банкир. Все считают, что я богач. Это вздор. Главное же, понимаете, меня останавливает нравственная ответственность пред моими детьми и т. д. Как я могу навязывать им в будущем различные обязательства и т. д. А я дышу на ладан“».

23 января Александр Павлович сообщил брату то, что слышал «стороною», то есть в редакционных коридорах: «Старик очень хотел купить у тебя то, что купил немец, но наследники не разрешили ему затрату столь крупного капитала. Говорят, сцена была бурная. Во всяком случае, он недоволен, что по усам его текло, но в рот не попало». Еще до этих писем Чехов предугадал возможный ход событий. 19 января он ответил Суворину тоже телеграммой: «Главное побуждение: хочется привести свои дела <в> некоторый порядок. <…> Благодарю сердечно за телеграмму. Кланяюсь. Чехов».

Всё определилось — Чехов принял условия Маркса. 26 января 1899 года издатель и Сергеенко по доверенности, высланной Чеховым, подписали в Петербурге договор. Чехов сохранил за собой право на поспектакльную плату за пьесы, то есть театральный гонорар. В переговорах и в конечных формулировках он все время шел на уступки. Маркс жестко нажимал. Чехов вынужденно соглашался, как всегда в подобных случаях. Согласился и на то, что получит не всю сумму сразу, как хотел, а частями. При его образе жизни на два дома, при бесконечной благотворительности и ссудах, родным, знакомым и незнакомым, всё оставалось по-старому. Он шутил, что «рантье» ему не быть, а деньги, как и прежде, будут «уплывать». Ему сразу стали говорить, что он продешевил, что Маркс быстро окупит свои расходы и получит большой доход. Даже Сергеенко не скрыл

сомнения: «И выгодна для тебя подготовленная мною сделка или нет, откровенно говоря, я сказать не могу».

Некоторые пункты договора походили на мрачную шутку. Какие двадцать лет будущего литературного труда, если он сам «собирался умирать»? Оставляя это условие, Чехов «обязался» в телеграмме: «Согласен. Даю слово не жить более восьмидесяти лет». Маркс иронии не понял. Сергеенко рассказал в письме, как расчетливый немец вскочил из-за стола, бормотал на родном языке цифры, цифры, а кончил возгласом: «Не-ет, это невозможно. Я должен оградить свой интерес».

Какой срок жизни Чехов отводил себе? Он назвал его 6 февраля 1899 года, завершая в письме Суворину разговор о происшедшем: «Я думаю так: продажа выгодна, если мне осталось жить недолго, меньше 5–10 лет; и невыгодна, если я буду жить дольше». Минимум пять лет, если не лечиться, не принимать никаких мер, всё оставить по-старому. Максимум десять, если хотя бы уезжать на зиму в страны с сухим жарким климатом или в Швейцарию, куда в эти годы обыкновенно направляли больных чахоткой. Если наладить полноценное питание. Если кто-то возьмет на себя труд обеспечить необходимый ежедневный уход и покой. Но в размышлениях и в решении о договоре Чехов исходил совсем из другого.

Еще до его подписания Чехов сказал сестре: «И продажа, учиненная мною, несомненно имеет свои дурные стороны». Но по выработанной привычке счел за благо рассмотреть хорошие стороны. Наконец-то его будут издавать, как следует, «образцово». Он забудет о типографиях, книжных магазинах, расчетах и т. п. Погасит долги и, может быть, станет спокойно работать, «не боясь будущего».

Никакой коммерческой выгоды Чехову договор не давал. Обеспечивать семью он рассчитывал главным образом гонораром за новые произведения и постановки своих пьес в российских театрах. Так что сочинительство продолжалось. Более того — этим договором Чехов взвалил на себя огромный труд, почти непосильный. Он обязан был в течение шести месяцев собрать, отредактировать и доставить Марксу тексты ранних произведений. Это требование он назвал «каторгой»: «Каторга не в смысле тяжести труда, а в смысле его невозможности, ибо редактировать можно только исподволь, по мере добывания из пучин прошлого своих, по всему свету разбросанных детищ. Ведь я печатался целых 20 лет! Поди-ка сыщи!» В этот же срок Чехов обязывался договором «проредактировать» все свои сочинения и распределить их по томам. Готовя первый том не состоявшегося у Суворина собрания своих сочинений, он убедился: что-то

хотелось переделать, переписать.

Были в договоре пункты, обидно задевавшие Чехова. Это — право Маркса отказаться от нового произведения, «если оно по своим литературным качествам будет *найдено* неудобным для включения в полное собрание его сочинений». Чехов счел этот пункт «странным»: «Кем найдено? Ведь это такая ширь для произвола!» Но оставил без изменений. Он не воспротивился пункту о неустойке, ограждавшему интерес Маркса. В случае, если бы Чехов не передал издателю какое-то из своих сочинений или уступил что-то другим издателям, он должен был выплатить Марксу неустойку в пять тысяч рублей. Эту запись Маркс требовал представить до подписания договора, иначе соглашение уничтожалось бы. Чехов представил таковую. Этот пункт он назвал — «проступки против собственности». И вообще считал, что в документе «много всякой всячины, совершенно ненужной».

Зато в договоре не содержалось ни одного пункта, защищавшего интересы Чехова. Ни об обязательствах и ответственности издателя в случае нарушения условий о сроках и тиражах издания. Ни о праве автора разрешать перевод своих произведений на иностранные языки и получать за это гонорар, хотя он настаивал на таком пункте. Ни о его праве редактировать свои сочинения при новом издании сочинений у Маркса, хотя и это он просил оговорить в договоре.

Почему Чехов оказался так уступчив и сговорчив? Да, рядом с ним не было опытного в подобных делах юриста. Ялтинские нотариусы не могли даже составить доверенность на подписание договора. Как иронизировал Чехов, они ссылались на то, что «в Ялте еще не было ни одного случая продажи литературной собственности». Сергеенко, видимо, тоже был несведущ. Его занимала роль посредника, а не юридические тонкости. Тем более что Маркс сбил его деловые амбиции. Петр Алексеевич полагал самонадеянно, что одолеет «немца» и получит для Чехова 100 тысяч. Маркс начал с пятидесяти, уперся на семидесяти пяти и не сдвинулся с этой цифры.

Может быть, объяснение все в том же признании Чехова — «*собирался умирать*»? Или в его характере и привычках — не торговаться, не просить, не настаивать? Говорил же он когда-то о себе, что «непрактичен, доверчив и тряпка». Признавался же не раз, что страдал из-за своей уступчивости и сговорчивости в житейских делах, терпя от этого расходы, неудобства. Когда в 1896 году с ним несправедливо обошлись в Александринском театре, назначив 8 процентов сбора за «Чайку», а не 10 процентов, как платили другим драматургам, Чехов отказался протестовать: «Просить прибавки я не стану. <…> Пусть экономят». На нем

часто «экономили».

На слова из письма Авиловой, что у него «необыкновенное уменье жить», Чехов ответил 18 февраля 1899 года: «Может быть, но бодливой корове Бог рог не дает. Какая польза из того, что я умею жить, если я всё время в отъезде, точно в ссылке. Я тот, что по Гороховой шел и гороху не нашел, я был свободен и не знал свободы, был литератором и проводил свою жизнь поневоле не с литераторами; я продал свои сочинения за 75 тыс. и уже получил часть денег <…>. Осталось у меня 50 тыс., которые (я получу их окончательно лишь через два года) будут давать мне ежегодно 2 тыс., до сделки же с Марксом книжки давали мне около 3½ тыс. ежегодно, а за последний год я, благодаря, вероятно, „Мужикам“, получил 8 тыс.! Вот Вам мои коммерческие тайны. Делайте из них какое угодно применение, только не очень завидуйте моему необыкновенному уменью жить. <…> Беллетрист Иван Щеглов называет меня Потемкиным и тоже восхваляет меня за уменье жить. Если я Потемкин, то зачем же я в Ялте, зачем здесь так ужасно скучно? Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе, и я ничего не пишу». И закончил то ли с иронией, то ли с улыбкой: «Вы очень добры. Я говорил уж это тысячу раз и теперь опять повторяю. Будьте здоровы, богаты, веселы и да хранят Вас небеса. Крепко жму Вам руку. Ваш А. Чехов».

Итак, договор состоялся. Чехов шутил, что вдруг, «ни с того ни с сего» стал «марксистом», что теперь может есть свежую икру, когда захочет. Контора Маркса вскоре выяснила и уладила дела с издателями, выпускавшими сочинения Чехова. В том числе с «Новым временем», у которого «Нива» купила остатки тиражей. Отныне Чехов не должен был суворинской типографии ни копейки. И не имел с ней никакого дела. О чем он сказал с юмором: «<…> у меня такое чувство, как будто Святейший синод прислал мне, наконец, развод, после долгого, томительного ожидания».

Самому Суворину он написал 27 января, на следующий день после подписания договора: «Итак, значит, начинается новая эра <…>. Я могу проиграть теперь 2–3 тысячи в рулетку. Но все-таки мне невесело, точно женился на богатой… <…> и мне теперь остается, по русскому обычаю, поблагодарить Вас. <…> Мы расходимся мирно, но жили тоже очень мирно, и, кажется, за всё время, пока печатались у Вас мои книжки, у нас не было ни одного недоразумения. <…> Вы пишете, что Вам нужно поговорить со мной; и мне тоже нужно поговорить. Стало быть, пожалуйста, приезжайте. <…> Желаю здоровья и полнейшего благополучия. Ваш А. Чехов». Чехов всегда прощался мирно и с

благодарностью.

Он подвел своеобразный итог своего сорокалетия в письме к Россолимо в этом же году. Выпускники 1884 года, собравшись на товарищеский обед, решили издать альбом фотографий с краткими биографическими данными. Чехов отослал то и другое, но написал Григорию Ивановичу: «У меня болезнь: автобиографофобия. Читать про себя какие-либо подробности, а тем паче писать для печати — для меня это истинное мучение. На отдельном листочке посылаю несколько дат, весьма голых, а больше не могу». И пошутил над собой: «Если хотите, то прибавьте, что, подавая ректору прошение при поступлении в университет], я написал: „по медицынскому факультету“. <…> Очень жалею, что меня не было на обеде, что не удалось повидаться с товарищами».

Зимой 1899 года решился еще один насущный вопрос. Сестра не предполагала насовсем перебираться в Ялту. Чехов согласился с ее желанием «не расставаться надолго с Москвой». Он счел, что и ему надо жить в Москве «хоть два месяца в году, хоть месяц». Сквозной мотив январских писем, помимо договора, — Москва, новый театр. Едва сестра сказала, что уже во второй раз посмотрела «Чайку» и Книппер по-прежнему восхитительна, Чехов тут же откликнулся: «Если ты познакомилась с Книппер, то передай ей поклон». Через Лазарева он попросил исполнителей — сняться вместе в гриме, и без грима — каждого, в отдельности.

Сестра передала поклон и 5 февраля написала брату в Ялту: «Если бы ты знал, как они обрадовались! Книппер запрыгала. <… > Я тебе советую поухаживать за Книппер. По-моему, она очень интересна». Он согласился: «Книппер очень мила, и конечно глупо я делаю, что живу не в Москве». Театральный мир поначалу захватил Марию Павловну. Актеры так убедительны в комплиментах, в восторгах. Всю зиму сестра рассказывала в письмах в Ялту о своей московской жизни: «Было весело, все поздравляли с успехом, говорили приятные слова по твоему адресу»; — «Каждый день где-нибудь бываю или у меня кто-нибудь. Живется приятно»; — «Одним словом, веду светскую жизнь»; — «„Чайка“ производит фурор, только и говорят, что о ней. Билетов достать нельзя»; — «Почти не сижу дома, очень часто бываю весела, даже забываю, что я стара!»

В Ялте Чехов сидел дома из-за непогоды. Строчил каждый день письма. Часто упоминал Московский Художественный театр, успех «Чайки». Восторженные зрители прислали ему адрес. Он шутил: «<…> в красном сафьяновом портфеле, за подписью 210 душ, из коих 4 миллионерши, 5 княгинь, одна графиня и одна знаменитая актриса — Федотова». Он ждал весны, чтобы скорее

уехать на север. В Ялте он жил только письмами, доносившими толки о «Чайке», рассказы о том, как Толстой читает в домашнем кругу рассказ «Душечка» и восхищается — а он, автор, не может получить журнал со своим рассказом.

Чехову казалось, что живи он не в Ялте, то эта зима была бы, по его словам, «счастливейшей». Но до него доносился лишь «гул славы». Он роптал не на Ялту, а на то, что из-за болезни провел зиму не в Москве. Наверно, проведи он ее в Ницце, переживал бы нечто сходное: не работалось, всё чужое, не с кем поговорить о литературе, о театре. Получалась какая-то заочная жизнь. И он сетовал: «Я точно армейский офицер, заброшенный на окраину»; — «Я теперь подобен заштатному городу, в котором застой дел полнейший»; — «Скучно, надоело быть на зимнем положении; готов караул кричать».

Болезнь «ссылала» его то за границу, то в Ялту, тогда как ему не хотелось навсегда оставлять Москву. Как только Чехов получил первые 20 тысяч, он тут же заговорил о московском жилье: «Я всё думаю: не купить ли нам в Москве в одном из переулков Немецкой улицы 4-х оконный домик подешевле?» Почему-то он предпочитал дарить родным и хорошим знакомым отнюдь не дешевые подарки, выбирал вещи, сделанные из добротного материала, со вкусом. Но, приобретая имение, дом, уточнял — «подешевле». Видимо, что-то искусительное было для Чехова в желании человека выделить, возвысить себя наглядным достатком.

Почему домик на окраине? Потому что, по его словам, чем «дальше от центра, тем меньше возни с чисткой снега и со всякой ерундой, тем дешевле жить, тем меньше гостей и тем они приятней, а на извозчика можно ассигновать сумму». Подальше, потише…

Чехов уехал из Москвы в Мелихово в 1892 году, в том числе из-за неизбежной в городе суеты: сплетен, слухов, неприятных встреч, разговоров. Не меньше он опасался их в Ялте. В конце февраля 1899 года написал доктору И. И. Орлову, хорошо знавшему провинциальные нравы вообще и ялтинские в частности: «В самом деле, Ялта зимой — это марка, которую не всякий выдержит. Скука, сплетни, интриги и самая бесстыдная клевета. Альтшуллеру приходится кисло на первых порах, многоуважаемые товарищи сплетничают про него неистово». В Петербурге или в Москве от этого можно было бы сбежать в театр, встречаться с теми, к кому лежала душа. Но совсем спастись от сплетни, зависти, недоброжелательства не удалось бы даже в столицах.

В письме Орлову прорвалось какое-то глубинное настроение

Чехова, сходное с тем, что «кипело» в нем после Сахалина. Орлов в своем письме рассказывал о себе, о коллегах врачах. Он опасался похода высшего чиновничества против земской интеллигенции, в которую доктор верил, на которую надеялся: «Хотя бы вздуть огонек и развести местную общественную жизнь, да уж очень у них гасительные средства велики. <…> Только бы чуточку живительного дыхания чистого свободного воздуха — и вспыхнула бы искорка, и потекла бы теплым живительным огоньком, согревая и возбуждая всех нас, интеллигентных работников, к отрадной деятельности на пользу родной мужицкой деревни, на просветление ее мрака всяческой нищеты и убожества».

На эти неподдельные переживания и искренние упования земского доктора (на кружки, сообщества, съезды и собрания интеллигенции) Чехов ответил неожиданно страстно. Словно в молодые годы: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже тогда, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало. <…> они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука всё подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д., и т. д. — и всё это делается <…> помимо интеллигенции en masse и несмотря ни на что».

Что-то было общее в этом невольном монологе с давней эпитафией Пржевальскому: «В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверие <…> подвижники нужны, как солнце. <…> Если положительные типы, создаваемые литературою, составляют ценный воспитательный материал, то те же самые типы, даваемые самою жизнью, стоят вне всякой цены. <…> Читая его биографию, никто не спросит: зачем, почему? Какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав».

По тону письма Орлову, по другим признакам все заметнее и сильнее проступало то душевное усилие, которым Чехов одолевал кризисы. Оно выдавало душевное напряжение, желание писать и какое-то глубокое беспокойство.

Глава вторая. «ДЕЛО СУВОРИНА»

Александр в письме от 26 февраля 1899 года подробно

описал брату петербургские беспорядки. Как в Москве Татьянин день (12 января), так 8 февраля в Петербурге — день основания университета, студенты всегда отмечали шумно и весело. Всё, как правило, обходилось без последствий. Полиция старалась не вмешиваться и не придиралась к молодежи в эти дни, хотя кто-то, конечно, выходил за рамки. Так год назад студенты ворвались в цирк, «заняли арену, велели оркестру играть гимн, пропели его без шапок и мирно удалились». Министр народного просвещения Н. П. Боголепов рекомендовал ректору Петербургского университета впредь предотвращать подобные выходки. Студентов предупредили о возможных карах.

Кто-то, как рассказывал Александр, озаботился на сей раз прислать полицию. Студенты собирались через Дворцовый мост выйти на Невский проспект, но им загородили дорогу: «Отсюда — драка, полицейские нагайки, окровавленные головы, оторванные уши и… политическое преступление. <…> 9-го оскорбленные студенты собираются в университете и постановляют на сходке, чтобы вести себя тихо и смирно, но лекций не посещать. Является опять полиция, переписывает, разгоняет, запирает университет и 500 человек высылает на родину».

Студенты других столичных вузов поддержали товарищей, заявив, что «они — самые верноподданные, но на лекции ходить не будут». Министр внутренних дел И. Л. Горемыкин и обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев доложили царю, что «вспыхнул политический мятеж». В окружении Николая II раздавались голоса в защиту молодежи, отрицавшие «политический умысел».

Александр передавал в письме слухи и сплетни о дворцовых интригах вокруг случившегося, советы царю учинить репрессии. Полиция сама расклеивала прокламации, но выдавала их за студенческие воззвания, собирая таким образом «доказательства» молодежного бунта. По повелению царя была создана комиссия во главе с военным министром П. С. Ванновским для расследования причин и обстоятельств беспорядков. Далее, по выражению Александра, «чёрт дергает» Суворина написать «Маленькое письмо»: «…Молодежь возмущена и пишет ему уйму негодующих писем, начинающихся, начиненных и кончающихся „подлецом“. Старика это ужасно волнует и портит ему кровь. В своем кругу он читает целую лекцию самооправдания и печатает второе письмо. На этот раз эффект получается совсем не тот, которого ожидал старина: студенты <…> делают коллективное постановление отказаться от чтения нашей газеты, впредь ее не выписывать <…>. Старик теперь ходит и храбрится, но храбрится виновато. Это уже, если хочешь, и финал. <…> Ждут

теперь, что скажет комиссия Ванновского».

О чем писал Суворин в своих нововременских «письмах» 21 и 23 февраля? Две темы сначала волновали его: «любовь и милость», «великодушие», «доброта и милость», «сосредоточенные для нас в сердце государя». Еще — «известные условия общежития, известная дисциплина и повиновение», которых требует государство. Перед первыми он призывал «преклониться», а вторым — подчиниться. Автор «писем» выносил за скобки угрозы ректора, действия полиции, массовое исключение студентов, то есть неправовые действия администрации. Он долбил в одно место: студенты взбунтовались. И настаивал: «По каким причинам это случилось — все равно. Самый факт важен. <…> По моему мнению, стачка подобного рода не должна даже существовать в умах молодежи <…>. Не молодежь содержит учебные заведения, а государство. Государство берет для этого деньги с народа, у которого и первоначальных школ мало, и это надо помнить. <…> Школой необходимо дорожить <…>. Но улица школе не принадлежит, и на ней ее питомцы обязаны подчиняться тому режиму, которому подчиняются все прохожие».

Чехов рассказал в мартовском письме Орлову, что получил и получает много писем по поводу студенческой истории: «И исключенные студенты ко мне приходили. По-моему, взрослые, т. е. отцы и власть имущие, дали большого маху <…>»

В этой почте были три письма Суворина, похожие, по словам Чехова, на «покаянный канон». Читал Чехов и сами злополучные «Маленькие письма» Суворина, о которых отозвался в письме от 4 марта: «Получаются письма из Петербурга, настроение в пользу студентов. Ваши письма о беспорядках не удовлетворили — это так и должно быть, потому что нельзя печатно судить о беспорядках, когда нельзя касаться фактической стороны дела». В таком случае мнение, высказанное в печати, без обсуждения фактов, вольно или невольно превращалось в ложь, в одобрение репрессивных действий. Чехов подчеркнул очевидное: «Государство запретило Вам писать, оно запрещает говорить правду, это произвол, а Вы с легкой душой по поводу этого произвола говорите о правах и прерогативах государства — и это как-то не укладывается в сознании».

Чехов заговорил с Сувориным о правах личности: «Вы говорите о праве государства, но Вы не на точке зрения права. Права и справедливость для государства те же, что и для всякой юридической личности». Он поставил вопрос резко: «Если государство неправильно отчуждает у меня кусок земли, то я подаю в суд, и сей последний восстановляет мое право; разве не должно быть то же самое, когда государство бьет меня нагайкой,

разве я в случае насилия с его стороны не могу вопить о нарушенном праве?» Суворин упирал только на обязанности студентов, корил их за неблагодарность. По логике автора «писем» молодежь оказывалась чуть ли не виноватой в народных бедствиях. По мнению студентов и многих читателей газеты, сочувствие издателя «Нового времени», может быть, и искреннее («Я знаю, сколько бедных среди молодежи, как горька их жизнь…»), было лукавством, демагогией, жестом. Завершая разговор, Чехов подвел итог: «Понятие о государстве должно быть основано на определенных правовых отношениях, в противном же случае оно — жупел, звук пустой, пугающий воображение».

Вместе с тем было очевидно, что многие обличители «Нового времени» руководствовались личными мотивами. Одни хотели сокрушить газету-соперницу. Другие сводили давние счеты. Третьи спекулировали на злободневной теме, нарочито шумно выражая свой праведный гнев и нравственные упреки в адрес Суворина. Хотя еще вчера сочли бы за счастье попасть в «Новое время», издать там свои сочинения. Некоторые умудрялись печататься одновременно у Суворина и в газетах, участвовавших в походе против него. Александр писал о них брату: «Я этого с этической стороны что-то не разберу…»

Самые неистовые разоблачители из Союза взаимопомощи русских писателей возбудили 12 марта «дело Суворина». Протокол заседания комитета решили передать в суд чести, существовавший в этом объединении. Суворин впадал то в неистовство, то в черную меланхолию. Писал в дневнике о бессилии чиновников, о правительстве, что оно «глупо, нелепо, бесхарактерно». Объяснялся, утверждал, что свои статьи писал ради царя, ради молодежи. Обладавший от природы чутьем к общественному настроению, развивший, по наблюдению Чехова, «свой инстинкт до большого ума», Суворин ощущал: «Мы переживаем какое-то переходное время. Власть не чувствует под собой почвы, и она не стоит того, чтоб ее поддерживать. Беда в том, что общество слабо, общество ничтожно, и может произойти кавардак невероятный. Он нежелателен». Но поддерживал власть, чтобы упрочить свое дело, предотвратить «кавардак». Теперь он чувствовал, что его отовсюду «вышвыривают». Сыновья рвались к полному главенству в семье и в редакции. Конкуренты топили сильного противника. Петербургская литературная среда вытесняла на обочину. Суворину всюду мерещились подлинные и мнимые недоброжелатели.

Эта ситуация не была тайной для Чехова. На вопрос Авиловой, жалко ли ему Суворина, он ответил: «Конечно, жалко. Его ошибки достаются ему недешево. Но тех, кто окружает его,

мне совсем не жалко». Он отделял свою человеческую жалость к старому, несчастливому человеку, которому был признателен за дружескую помощь, от своего отношения к газете «Новое время». Анна Ивановна Суворина косвенно укорила Чехова за то, что ее муж в такую трудную минуту остался один. Чехов объяснился с нею — точнее, с обоими, зная, что она покажет письмо Алексею Сергеевичу: «Вы упрекаете меня в вероломстве <…> но что я в положении искренне расположенного человека мог бы сделать теперь? Что? Теперешнее настроение произошло не сразу, оно подготовлялось в продолжение многих лет, то, что говорится теперь, говорилось уже давно, всюду, и Вы и Алексей Сергеевич не знали правды, как не знают ее короли. Это я не философствую, а говорю то, что знаю».

На что рассчитывала Анна Ивановна? Прямо просила лишь «выписать» мужа на время, вызволить его из Петербурга. Может быть, на самом деле имела в виду публичную защиту? Например, «открытое письмо» в какую-нибудь газету? Или, допустим, возвращение на страницы газеты? То и другое вынуждало к демонстративному жесту, ввязывало в раздраженную полемику, чего Чехов избегал, даже отрицал. Но главное: защищать в этой ситуации Суворина значило защищать «Новое время».

Действительно, теперешнее настроение возникло не вдруг. Чехов давно подметил, что газетная суета, редакционное политиканство съедали литературные занятия Суворина, умаляли в нем человека, привнося мелочность и пошлость. Он не скрывал, что слышит «фальшивые ноты» в консервативных и верноподданнических рассуждениях Суворина, в таких выражениях, как, допустим, «к подножию трона». С годами такие звуки усиливались, выдавая внутреннее разрушение в самом Суворине и распад в редакции. Уже в 1893 году Чехов заметил, что «старое здание затрещало и должно рухнуть».

Что же до «суда чести», затеянного Союзом писателей, то, по словам Чехова, это «бессмыслица, нелепость», о чем он написал самому Суворину 24 апреля: «<…> в азиатской стране, где нет свободы печати и свободы совести, где правительство и $^{9}/_{10}$ общества смотрят на журналиста, как на врага, где живется так тесно и так скверно и мало надежды на лучшие времена, такие забавы, как обливание помоями друг друга, суд чести и т. п., ставят пишущих в смешное и жалкое положение зверьков, которые, попав в клетку, откусывают друг другу хвосты. <…> Ваши письма могут быть предлогом к острой полемике, враждебным демонстрациям против Вас, ругательным письмам, но никак не к суду». Почему?

Во-первых, по словам Чехова, судить за гласное мнение,

высказанное в печати «(какое бы оно ни было), — это рискованное дело, это покушение на свободу слова», так как «ни один журналист не мог бы быть уверен, что он рано или поздно не попадет под этот странный суд». Во-вторых, эти «обвинительные пункты», по словам Чехова, «как бы умышленно скрывают главную причину скандала, они умышленно взваливают всё на беспорядки» и на «письма» Суворина, «чтобы не говорить о главном»: «Отчего, раз пришла нужда или охота воевать с Вами не на жизнь, а на смерть, отчего не валять начистоту?» В-третьих, в обвинительных пунктах Суворин, автор конкретных «писем» о студенческих волнениях, не отделен от своей газеты и ему предъявлены обвинения многолетнего недовольства, превратившегося в предубеждение против издателя.

Но в каждом из трех умозаключений Чехова таился или прямо высказывался контрдовод, относящийся не к зачинщикам «суда чести», но к самому Суворину. В том предубеждении против издания, которое лавиной обрушилось на Суворина, он был повинен не менее, чем его «зулусы» и «кактусы». Может быть и больше, как глава газеты, о чем Чехов прямо сказал Суворину: «Составилось убеждение, что „Новое время“ получает субсидию от правительства и от французского генерального штаба. И „Нов[ое] время“ делало всё возможное, чтобы поддержать эту незаслуженную репутацию, и трудно было понять, для чего оно это делало, во имя какого бога». И вообще, по выражению Чехова, поступало «не литературно» — доносы на другие газеты, искажение чужих слов и т. д.

Таким образом, «забавы» литераторов («обливание помоями», «суды чести» и т. п.) и «нелитературное» поведение «Нового времени» оказывались за рамками справедливости, правды, искренности.

* * *

Апрельское письмо Суворину словно продолжало февральское письмо Орлову об интеллигенции в целом и об *отдельных* людях. Они не «ходили в народ», а жили среди него, как земские учителя Михайлов, Забавин. Не обвиняли окружающих в бездействии, но делали то, что могли. Как Иорданов в Таганроге, Егоров в Нижегородской губернии во время голода, как публицист А. С. Пругавин в Самарской губернии, пострадавшей от неурожая 1898 года. Осенью минувшего года он прислал Чехову воззвание кружка, созданного с целью помощи голодающим крестьянским детям, и книжку для сбора пожертвований. Чехов отредактировал обращение и опубликовал в ялтинской газете «Крымский курьер». Сам стал собирать добровольные взносы. К апрелю 1899 года было собрано и отправлено в Самару 1223 рубля 53 копейки.

В марте 1899 года к Чехову воззвал Сергеенко — о помощи голодающим Казанской губернии. Чехов ответил: «Милый Петр Алексеевич, посылаю по глаголу твоему <…> и очень, очень рад, что это так вышло, т. е. что ты обратился ко мне и что я исполнил твое желание». После его сообщения в местной газете деньги поступали не только из Ялты. Одна книжка для сбора пожертвований сменялась у Чехова другой. Однако когда позже Пругавин попросил позволения воспользоваться письмами к нему и пояснениями на бланках переводов (он готовил к печати свои заметки о голоде), Чехов ответил отказом: «Большое Вам спасибо, я прекрасно понимаю, в чем дело, и ценю высоко Ваши намерения и Ваше отношение ко мне и уклоняюсь от напечатания моих писем только по причинам, так сказать психологическим. Напечатание связало бы меня на будущее время; потом, когда бы я писал письма, я был бы уже не свободен, так как мне всё казалось бы, что я пишу для печати».

Теперь здесь, в Ялте, он волей-неволей втягивался в помощь чахоточным больным, знакомым и незнакомым. Он получал столько писем, что почтальон, по его словам, изумлялся и роптал. Чехов шутил, что если отвечать на все письма, то нужно сидеть за столом с утра до вечера. Он признавался в скверном настроении, так как не работал, а в письмах приходилось «или утешать, или отчитывать, или грызться на собачий манер». В конце марта рассказывал сестре, что перед ним на столе лежат «целые горы рассказов», которые он приготовлял для Маркса, но мешают вечная толчея, телефон, почта и пр. И хорошо бы уехать в Москву.

И что вообще, он выбит из колеи.

Беспокойное состояние Чехова в это время выдавали в письмах обилие восклицательных знаков, грубоватые слова («идиотство», «рухлядь», «физиономия», «сдурела», «подлейшая»), самоирония — «Продал я Марксу прошедшее, настоящее и будущее <…> чтобы привести свои дела в порядок».

Что так вывело Чехова из душевного равновесия? Договор с Марксом? «Суворинская история»? Редактирование ранних рассказов для первых томов собрания сочинений? Ялтинское окружение? Остановившаяся из-за непогоды стройка в Аутке? Всё это вместе не позволяло сосредоточиться. Или дело было в том неуловимом возбуждении, которое нарастало и прорывалось и в письмах Чехова по поводу студенческих беспорядков? Они по интонации оказались сходны с отрывком, записанным им когда-то на отдельном листе: «Я думал <…> что пока мы в своих интеллигентных кружках роемся в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев <…>. И я думал, что если бы теперь вдруг мы получили свободу, о которой мы так много говорим, когда грызем друг друга, то на первых порах мы не знали бы, что с нею делать, и тратили бы ее только на то, чтобы обличать друг друга в газетах <…> и запугивать общество уверениями, что у нас нет ни людей, ни науки, ни литературы, ничего, ничего! А запугивать общество <…> значит <…> прямо расписываться в том, что мы не имеем ни общественного, ни политического смысла».

Может быть, весной 1899 года впервые обозначилось в письмах и разговорах Чехова противостояние двух начал его нынешней жизни. Он обозначил их словами «север» — «юг», Москва — Ялта. В начале апреля он рассказывал, что сажает на участке деревья, но хочется уехать на север: «Скучна роль человека не живущего, а проживающего „для поправления здоровья“; ходишь по набережной и по улицам, точно заштатный поп». Заштатный, то есть будто исключенный из общей жизни, существующий вне ее, отчего притупляется живое чувство, теряется острота зрения и слуха. Толчея есть, а движения нет. При всем разнообразии лиц — однообразие разговоров. Есть курортная публика, но нет толпы, как в Париже, Генуе, Москве, усиливающей ощущение жизни.

Максим Горький, в те дни познакомившийся с Чеховым, рассказывал в письмах о первых впечатлениях: «Чехов — человек на редкость. Добрый, мягкий, вдумчивый. Публика страшно любит его и надоедает ему. Знакомых у него здесь — конца нет.

Говорить с ним в высокой степени приятно, и давно уже я не говорил с таким удовольствием, с каким говорю с ним».

Публика действительно мешала, отнимала силы и время. Многие из «поправляющих здоровье» включали встречу с «известным писателем» в программу своего отдыха в Ялте. С ним искали знакомства, чтобы поговорить о «серьезном», узнать его мнение. Так возникла «мода на Чехова». Современники шутили, что «быть в Ялте и не посетить Чехова считалось для столичного литератора почти таким же преступлением, каким считается для истинного католика быть в Риме и не видеть папы». Между тем в критике резче обозначилась перемена, проявившаяся несколько лет назад. Для одних рецензентов Чехов — безыдейный автор, посредственный писатель. Его влияние на общество почти незаметно. Он сам ко всему равнодушен, а его герои ничтожны. Он остался в прошлом, не меняется и по-прежнему «жертва безвременья». Для других Чехов — властитель дум. Воздействие его рассказов на читателей сильнее больших романов маститых беллетристов. Он уловил «настроение эпохи». Он — провозвестник новых путей в искусстве. Без манифестов и трактатов он совершил переворот в русской прозе и драме.

Читатели и зрители не пытались разгадать тайну воздействия его сочинений. Но рассказывали в письмах, как они их «*настраивали*», будто камертон. Наблюдение Толстого о «колебательном» влиянии Чехова, выводившего человека из душевного и умственного «стояния», оказалось точным.

Пьеса «Дядя Ваня» после публикации в сборнике пьес (1897) ставилась во многих российских городах. Провинциальная пресса пестрела рецензиями на спектакли по пьесам Чехова. Все чаще пересказ содержания переходил в размышление о «нервном веке», о русской жизни на рубеже столетий. Но многие зрители находили пьесу скучной, неинтересной, не дающей забыться, отвлечься от тусклых буден. Им хотелось какой-нибудь жгучей тайны, ошеломляющей мелодрамы, забавной комедии. Так нет, на сцене неудачники, какой-то странный финал, какое-то «небо в алмазах» и рефрен — «мы отдохнем», «мы отдохнем». Один из журналистов иронизировал по поводу таких зрителей: «Ах, господа, нужно только вдуматься и такая драма — больше того, трагедия, почище всяких трагедий с убийствами и проклятиями — встанет здесь перед вами, что жуткое чувство невольно закрадется в душу».

Горькому показалось, что в пьесе «Дядя Ваня» автор «к людям — холоднее чёрта»: «Вы равнодушны к ним, как снег, как вьюга. <…> Как ни много хвалят Вас — все-таки Вас недостаточно ценят и, кажется, плохо понимают. Не желал бы я лично служить

доказательством последнего». И попросил: «Напишите мне, пожалуйста, как Вы сами смотрите на „Ваню“?» Чехов отвел суждение о равнодушии. Да, он «холоден». К своим пьесам, но не к людям. Упрек в равнодушии давно был общим местом многих критических статей о Чехове. Природа этого «холода» оставалась неразгаданной, хотя сам Чехов не делал из нее тайны. Однажды он дал Авиловой «читательский совет»: «<…> когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее — это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны».

Чем спокойнее, даже равнодушнее казались его письма, тем большее скрывалось за этим тоном душевное волнение, переживание, горестное чувство. Чем «объективнее», «холоднее» он писал, тем сильнее впечатляло его повествование. Но часто эту особую сдержанность в житейском поведении и в сочинениях принимали за сухость, равнодушие, «холодность».

Казалось «холодное» отношение Чехова к своим пьесам только усиливалось. Но на самом деле, наверно, возрастало его напряженное душевное состояние. Это обнаружил казус с несостоявшейся постановкой «Дяди Вани» в московском Малом театре. В феврале 1899 года Чехов обещал отдать туда эту пьесу, несмотря на воспоминания о судьбе «Лешего» в Театрально-литературном комитете в 1889 году, несмотря на просьбу Немировича предпочесть их театр.

В самом начале марта пьесу прочли на труппе. Актерам она понравилась, дело было за комитетом. 26 марта Мария Павловна передала брату новость, услышанную от Немировича. Члены комитета (Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовский, И. И. Иванов) в отсутствие четвертого члена, Вл. И. Немировича, на заседании 20 марта одобрили, но не утвердили включение пьесы в репертуар Малого театра. Решили — предложить автору сделать некоторые изменения. В зависимости от переделок прийти к окончательному выводу. Немирович отсутствовал на заседании не случайно — он хотел заполучить пьесу в свой театр и, видимо, положился на судьбу. Если члены комитета проголосуют единогласно, то его голос ничего не решит. Если двое будут против, то не ему биться за интересы Малого театра. Если предложат доработать пьесу, то дальнейшее предсказуемо. Об этом он сказал Марии Павловне, а она написала брату: «Немирович и решил так: переделывать пьесу ты не станешь, а он в своем театре поставит ее и без переделки, потому что находит ее великолепной и т. д. Станиславскому она нравится больше „Чайки“. <…> Владимир Иванович просит тебя сделать запрос телеграммой в комитет: одобрена ли твоя пьеса и

как?»

Комитет ставил условия о переделке уже опубликованной пьесы. Немирович нажимал на Чехова советами о запросе, просьбами о срочных телеграммах. И то и другое обусловило ответ Чехова сестре: «Что касается „Дяди Вани“, то я ничего не буду ни писать, ни телеграфировать <…> всё это мне уже надоело ужасно, до одурения. Вообще, повторяю, всё это мне надоело, пьес я больше ставить не буду нигде и ни у кого. И писать не буду никому».

История повторилась — не цензура, а Театрально-литературный комитет опять забраковал пьесу Чехова. И тогда, в 1889 году, и теперь Чехов отказывался писать в комитет. Он не хотел выглядеть просителем. Дело было, наверно, не только в самолюбии, но и в профессиональном достоинстве. В угоду профессорам (не литераторам, не драматургам) исправлять пьесу, широко идущую на сценах российских театров? Тут, наверно, для Чехова и вопроса не существовало, и вообще было не до пьесы.

С Мелиховым ничего не решено. С покупкой московского «домишки» никакой ясности. Едва он собрался в Москву, погода в Ялте улучшилась, и жалко было уезжать. В Москве ждали — чужая квартира, постройка школы в Мелихове, подготовка к переселению в Ялту. Да еще чтение корректуры почти на перекладных. Не говоря уже о визитах, встречах, переговорах, в том числе по поводу «Дяди Вани».

10 апреля Чехов покинул Ялту после полугодовой «ссылки», как он называл свою жизнь в Крыму. Не сравнить с прошлогодней «ссылкой» в Ниццу. Слишком много перемен: смерть отца, строительство дома, продажа сочинений Марксу, тьма больших и малых дел. Физическое состояние не улучшилось, хотя Чехов на вопросы о здоровье говорил «in statu[17]». И все-таки он справился с первой ялтинской зимой. Вероятно, одолел и настроение, которое определил словами — «собирался умирать».

По письмам заметно, что Чехов оживлялся от встреч с теми, кто был ему душевно близок или очень интересен. Но утомлялся, уставал от московской толчеи еще сильнее, чем от ялтинской: «В Москве <…> посетителей тьма-тьмущая, разговоры бесконечные — и на второй день праздника от утомления я едва двигался и чувствовал себя бездыханным трупом». Так он написал 24 апреля доктору Альтшуллеру.

Из всех дел, отрадных минут и встреч Чехов выделил любимый московский колокольный звон, к тому же праздничный, на Святой неделе; встречи с Толстым и университетским приятелем Россолимо. Всё остальное было до изнурения неинтересно, ненужно, прескучно. Суворин слал письма,

телеграммы, тексты своих объяснений «суду чести». Чехов находил их «маловыразительными». Он давал Алексею Сергеевичу советы, хотя отдавал отчет, что всё это, по его выражению, «как бульканье камешка, падающего в воду».

«Суд» состоялся в середине мая 1899 года. Суворина осудили единогласно за «приемы», но не за сами статьи. Короленко, член суда, оставил дневниковую запись: «Многие ждали, что суд чести осудит Суворина. „Если не за это одно, то за всё вообще“. Мы строго держались в пределах только данного обвинения, и по совести я считаю приговор справедливым. В данном деле у Суворина не было бесчестных побуждений: он полагал, что исполняет задачу ментора. Но у него давно уже нравственная <…> глухота и слепота, давно его перо грязно, слог распущен, мысль изъедена неискренней эквилибристикой… <…> Чехов рассказывал мне, что Суворин иногда рвал на себе волосы, читая собственную газету. Все эти приемы в „Маленьких письмах“ мы и отметили и осудили. Но мы считали неуместным и опасным становиться судьями всего, что носит характер „мнений“ и „направления“. С этим нужно бороться не приговорами. А от нас именно этого и ждали».

В который раз Чехов и Короленко, не сговариваясь, оказывались близки в суждениях, в оценке событий. Как раз в марте 1899 года Чехов написал Авиловой: «Короленко чудесный писатель. Его любят — и недаром. Кроме всего прочего, — в нем есть трезвость и чистота».

В тот день, когда Суворин получил в Петербурге приговор «суда», Чехов, наверно, еще не зная об окончании «передряги», писал ему из Мелихова: «Между прочим, Вашими письмами и телеграммами Вы тогда задали мне нелегкую задачу. <…> Не знаю, пригодились ли Вам эти мои советы; мне очень тогда не хотелось, чтобы состоялся суд чести <…>. Раздражения было много <…>. Но теперь, кажется, всё идет к тому, чтобы жизнь благополучно вошла в свою прежнюю колею. <…> Справедливо ли газетное известие, что Вы написали новую пьесу? Я бы на Вашем месте роман написал. Вы бы теперь, если бы захотели, могли написать интересный роман, и притом большой. Благо, купили имение, есть где уединиться и работать». В этом совете, завершившем для Чехова шумное «дело Суворина», словно слышался иронический отзвук реплики профессора Серебрякова из «Дяди Вани»: «После того, что случилось, в эти несколько часов я так много пережил и столько передумал, что, кажется, мог бы написать в назидание потомству целый трактат о том, как надо жить. <…> Надо, господа, дело делать! Надо дело делать!»

Суворин отозвался на шутку Чехова насчет романа

дневниковой записью: «Он бы на моем месте, конечно, написал. Но я на своем не напишу. Мне жизнь не ясна. <…> Под влиянием слов Чехова я было раскрыл тетрадь. Подумал, подумал над белыми страницами и положил тетрадь в стол. Уже поздно». Через три недели в дневнике появилась запись: «„Новое время“ заплесневело, замучено, серо. Так мне кажется и, думаю, я не ошибаюсь. <…> Может лучше, если совсем замолкнуть <…>. Это мучительно питать у читателя раздражение».

* * *

До отъезда в Мелихово, за время пребывания в Москве, Чехов успел побывать у В. А. Теляковского, управляющего Московской конторой императорских театров. Он отказался что-либо переделывать в «Дяде Ване» и просил, по словам сановного собеседника, «не подымать шума из этого факта». Судьба пьесы решилась, и Чехов передал ее Немировичу.

С самого приезда в Москву Чехов встречался с «чайкистами» — так он называл исполнителей «Чайки». Книппер рассказывала в воспоминаниях, как удивились она и ее домашние, когда Чехов пришел к ним с визитом в первый день Пасхи. Запомнила, как Чехов и она вместе ходили на выставку. Около картины Левитана они стали «свидетелями того, как публика не понимала и смеялась над его чудесной картиной „Стога сена при лунном свете“ — так это казалось ново и непонятно».

Чехов увидел «Чайку» 1 мая 1899 года в холодном зале театра «Парадиз». Увиденное он описал Горькому 9 мая: «„Чайку“ видел без декораций; судить о пьесе не могу хладнокровно, потому что сама Чайка (М. Л. Роксанова. — А. К.) играла отвратительно, всё время рыдала навзрыд, а Тригорин (беллетрист) (К. С. Станиславский. — А. К.) ходил по сцене и говорил, как паралитик; у него „нет своей воли“, и исполнитель понял это так, что мне было тошно смотреть. Но в общем ничего, захватило. Местами даже не верилось, что это я написал».

Актеры запомнили недовольство Чехова, его слова, что спектакль затянут. Но через неделю, 15 мая, в письме Иорданову, Чехов высказался иначе: «Постановка изумительная. <…> Малый театр побледнел, а что касается mise en scene и постановки, то даже мейнингенцам далеко до нового Художественного] театра, играющего пока в жалком помещении. <…> Все участвующие в „Чайке“ снялись вместе со мной; вышла интересная группа».

Что произошло между двумя датами, 9 и 15 мая, когда Чехов

послал из Мелихова письма с отзывами о спектакле? Может быть, сказалось пребывание в Мелихове Книппер? После смерти Павла Егоровича никто не отмечал каждодневные события, прервалась хроника мелиховской жизни, поэтому точная дата приезда гостьи неизвестна. Но по фразе из письма Немировича к Чехову — «Впрочем, всё это тебе расскажут» — и по другим признакам Книппер гостила в Мелихове в середине мая. Как бы то ни было, весной 1899 года завязывался сложный узел взаимоотношений Чехова, его сестры и Книппер.

Но может быть, сказались перепады в настроении Чехова от скрытого недовольства? Уже полгода он правил корректуру первых томов, готовил следующие, то есть редактировал «старое» и ничего не написал нового. Одна суета и вообще, по его выражению, «какая-то белиберда».

Последний рассказ Чехова «Новая дача» появился в самом начале 1899 года. Но желание писать прорывалось в советах Суворину приняться за роман, а Горькому — за пьесу. Оно ощущалось в письме драматургу Е. П. Гославскому, в разговоре о том, что есть «язык театральный», которым приспосабливают пьесу к сцене (мизансцены, уходы, специальные роли), но в котором, по мнению Чехова, нет поэзии. И что есть язык искусства в драме — компактность, выразительность, пластичность фразы. В этом разница между профессиональным драматургом и художником.

Профессорам, не пустившим «Дядю Ваню» на сцену Малого театра, наверно, недоставало в пьесе «театрального языка», «сценичности», а поэтический язык «новой драмы» оказался им недоступен. Однако времени на сочинительство у Чехова не было. В Мелихове упаковывали вещи, со стен снимали картины, фотографии. В разгаре было строительство новой школы. Чехов рассказывал, что «ходят плотники, каменщики, конопатчики, нужно подолгу торговаться, объяснять, ходить на постройку — и в общем живется не скучно и не весело, а так себе». Продолжалась «путаница».

Может быть, такого житейского беспорядка и душевного беспокойства давно не было в его жизни. Всё неустойчиво, всё неопределенно. Переносы сроков отъезда из Мелихова. Согласие и отказы возможных покупателей имения. Новые знакомства и утрата прежних. На письмо Шавровой с известием, что она болела, потеряла маленького сына, на ее просьбу не забывать тех, кому «жизнь показала свои когти», Чехов ответил утешающе: «Мне грустно, что Вам живется невесело, что Вы называете себя неудачницей». Их переписка завершалась, как и переписка с Мизиновой.

Неизменным оставался «денежный вопрос». Чехов иронизировал над своей «состоятельностью». Шутил, что не понадобилось ехать в Монте-Карло, чтобы в один месяц жизни в Москве прожить три тысячи. Говорил, что от «капиталов, вырученных за произведения, скоро останется одно только приятное воспоминание». Эта тема обыгрывалась в переписке с Александром, как тема «благодетеля» и «бедного родственника»; «богатого» главы семьи и «наследников». Чехов шутил: «Если тебе Маркс прислал мои деньги, то возврати»; — «Пожалуйста, не причисляй себя к числу наследников, которым поступит доход с моих пьес. Это завещано другим, ты же получишь после моей смерти собаку Белку и рюмку без ж-ки»; — «Бедный, неимущий Саша! <…> Хотел прислать тебе старые брюки, но раздумал; боюсь, как бы ты не возмечтал». Александр тоже не скупился на шутки: «Не знаю, кто кого надул, ты Маркса или Маркс тебя. <…> Презирающий богачей Бедный Гусев»; — «Вторым разорителем Маркса является Вас. Немирович, который продает ему свои сочинения за 120 тыс[яч], мотивируя тем, что он, как писатель, выше тебя и ты ему не годишься даже в подметки».

Известие о договоре, успех «Чайки» в Москве, обилие рецензий и статей о сочинениях Чехова сопровождались возросшими разговорами о Чехове среди литераторов. Особенно петербургских. Фидлер привел слова Мережковского, сказанные весной 1899 года на ужине у Случевского: «„Не пишущих гениев куда больше, чем пишущих“. Считает Альбова гораздо более крупным писателем, чем Антона Чехова». Он же записал после встречи с Потапенко: «Хочет написать поздравительное письмо по поводу семидесяти пяти тысяч. „Знаю наверняка: он думает, я завидую его успехам“».

Александр попал в точку с шуткой о «просителях», которые теперь будут одолевать брата. В потоке писем резко возросли с 1899 года просьбы о материальной помощи. Отовсюду поступали слезные просьбы — денег, денег… Писали, судя по слогу, профессиональные «нищие», непременно упоминавшие чахотку, якобы поразившую кого-то из близких. Не жалели высоких слов авантюристы, убеждавшие, что им недостает нескольких тысяч, например, на строительство санатория для легочных больных. Часто начинали с извинительных фраз: «Вы не Крез, всем помочь не можете»; — «Всех пожалеть трудно»; — «Вы человек добрый, я это понял(а) из Ваших рассказов»; — «Вы человек гуманный» и т. п. Заканчивали цифрой: от трех рублей до нескольких тысяч.

Знакомые земские врачи, учителя, служащие ходатайствовали за больных коллег, вдов, сирот. Чехов помогал. Не отказывал тем, кто приходил к порогу дома. В своих письмах и

разговорах Чехов умалчивал об этой статье расходов.

Зимой 1899 года он получил из Харькова письмо от Г. А. Харченко — того, что служил вместе с братом в «мальчиках» в таганрогской лавке Павла Егоровича. Теперь он работал в конторе, имел большую семью, был ограничен в средствах. Но очень хотел дать дочерям гимназическое образование. Чехов ответил: «К желанию Вашему <…> я могу относиться только с полным сочувствием. Когда Вашей старшей дочери минет девять лет, то отдайте ее в гимназию и позвольте мне платить за нее до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение». Так еще на одного человека увеличился список учащихся, подопечных Чехова.

* * *

Что же до настоящих наследников, то тут всё определялось характерами братьев и сестры, сложившимися семейными отношениями. Евгения Яковлевна не вникала особенно в денежный вопрос. Мария Павловна знала: ялтинский дом, участок в Кучукое, сбережения на ее книжке — всё это в первую очередь строилось, покупалось, откладывалось для матери и для нее. Чехов всегда подчеркивал это, чтобы не оставалось никаких сомнений на сей счет.

Александр Павлович, затеявший в 1899 году строительство загородного дома под Петербургом, был введен в заблуждение подрядчиком, как когда-то Павел Егорович. Сколько он ни напрягался, ни строчил без продыху, обойтись без займа не мог. И попросил у брата тысячу на год: «Само собой разумеется, что ты отнюдь не обязан хлопотать и <…> вывозить меня из неловкого положения». Чехов тут же ответил, что поможет, и пошутил, наверно, имея в виду кредиторов отца и повестки в суд, которые получал, когда вся семья уехала из Таганрога в Москву: «За тысячу ты должен будешь возвратить мне через год 1800 р., в противном случае же я подам в коммерческий суд в Таганроге».

Иван Павлович старательно избегал любого займа и не выходил за рамки семейного бюджета. По-прежнему экономил на питании, одежде, летнем отдыхе, хотя мечтал о загородном домике, о заграничном путешествии. Иногда Чехов корил брата за отказ от его помощи. Летом 1899 года он предложил ему отдохнуть всей семьей в Крыму, поселиться в Кучукое. Но тот предпочел Алупку, а курьерскому поезду почтовый. В таких случаях в семье говорили: «Иван есть Иван».

Михаил тоже оставался Михаилом. Едва заговорили о

продаже Мелихова, Михаил Павлович стал напоминать сестре, сколько труда и денег он вложил в это имение. И, наконец, не выдержал и прямо возмутился «богатым» братом, ревниво выспрашивая у сестры: «А вот что: скажи ты мне на милость, куда только за один год он прожил 25 тысяч? <…> Эх, не расчетлив! <…> Ну, что если бы мне такую сумму денег! Ведь всё перевернул бы вверх дном». Однако спохватился: «Ну, да ведь осуждать-то легко: его святая воля! Ему лучше видно!»

И все-таки не успокоился — поздней осенью 1899 года решился изложить брату свои обиды, расчеты, претензии. Чехов не стал объясняться, но объяснил: «В финансовом отношении дело обстоит неважно, ибо приходится жаться. Дохода с книг я уже не получаю, Маркс по договору выплатит мне еще не скоро, а того, что получено, давно уже нет. Но оттого, что я жмусь, дела мои не лучше, и похоже, будто над моей головой высокая фабричная труба, в которую вылетает всё мое благосостояние. На себя я трачу немного, дом берет пустяки, но мое литературное представительство, мои литераторские (или не знаю, как их назвать) привычки отхватывают себе ¾ всего, что попадает мне в руки». И продолжил: «Меня здесь одолевают больные, которых присылают сюда со всех сторон — с бациллами, с кавернами, с зелеными лицами, но без гроша в кармане. Приходится бороться с этим кошмаром, пускаться на разные фокусы» — кому-то оплачивать квартиру, кому-то услуги врача.

Дожди, холодное, «поганое лето» держали Чехова в Мелихове: «<…> зябну и неистово читаю корректуру, которую целыми пудами присылает мне Маркс». Сам же пудами отправлял в Ялту домашние вещи, книги. Но пока не спешил туда. Ему хотелось уже поселиться в собственном доме, не обретаться на чужой квартире. Хотелось, наверно, устойчивого, постоянного.

В июне 1899 года началась переписка Чехова с Ольгой Книппер. Она в это время отдыхала на Кавказе. В двух первых посланиях он словно искал интонацию: «Здравствуйте, последняя страница моей жизни, великая артистка земли русской. Я завидую черкесам, которые видят Вас каждый день».

Чехов и Книппер уже выбрали себе в шутку роли: он — «автор», «писатель»; она — «актриса». Она звала его в Мцхет, оттуда вместе в Батум и Ялту: «Может, вздумаете?» Чехов ответил полным согласием и назначил встречу в Батуме. Он писал весело и определенно: «Мое крымское имение Кучукой теперь летом, как пишут, изумительно. Вам непременно нужно будет побывать там».

Как раз в эти дни сестра спросила Чехова, не встретил ли он в Москве Мизинову. Он ответил одной строкой — среди

хозяйственных сообщений и распоряжений о стройке мелиховской школы, среди дорожных хлопот: «Про Лику ничего не знаю». Мизинова обещала побывать в Мелихове еще в июне. Но приехала ли туда в последний раз? И когда случился ее неудачный московский визит, про который она упоминала в сентябрьском письме в Ялту: «Мне сказали, что Вы, может быть, приедете в Москву (вероятно, для свиданий с невестами?). Если захотите меня видеть — пришлите за мной, но тогда, когда у Вас никого не будет, чтобы я не могла помешать, как последний раз! А то чувствуешь себя очень неловко, когда являешься не вовремя! А я последнее время у Вас, по-видимому, всегда не вовремя! <… > Если бы я имела возможность бежать в Австралию — то была бы счастлива! Ну, Бог с Вами, желаю Вам всяческих благ и жму Вам руку. Ваша Лика. Ах, как скучно жить!»

Кто бы ни был в гостях у Чехова в момент появления Мизиновой, главное — чувство неловкости с обеих сторон. Она нашла точное слово: «не вовремя». Время их взаимного интереса, душевной связи и «побега в Австралию» давно миновало.

К середине лета 1899 года в Ялту отправили б*о*льшую часть мебели и утвари. Чехов вырыл в саду любимые растения: «Эти растения я взял на память о нашем имении, быть может примутся. Одно из этих растений принадлежало отцу». Вид разоренного дома, конечно, угнетал, и вообще, по словам Чехова, в Мелихове «всё как-то потускнело и пожухло». Когда-то, весной 1897 года, он в шутку назвал срок окончания мелиховской жизни: «Пробуду я в Мелихове до сентября 1899 года». Так оно и получалось.

Часть лета Чехов прожил в Москве. Но здесь досаждали уличные запахи, обеды в ресторанах, отсутствие добрых знакомых, разъехавшихся по дачам. И ужасно надоела корректура. В нескольких письмах он рассказал, что гуляет по Тверскому бульвару, беседует с падшими женщинами. Может быть, он вернулся к продолжению повести «Мужики»? В записных книжках Чехова остались заготовки вроде умозаключения: «Когда живешь дома, в покое, то жизнь кажется обыкновенною, но едва вышел на улицу и стал наблюдать, расспрашивать, например, женщин, то жизнь — ужасна». Так проступал сюжет о жизни Ольги и ее дочери в городе, где она служила в меблированных комнатах. Саша жила у тетки, принимавшей «гостей». В конце концов и Саша занялась проституцией.

Какая-то интонационная связь есть между московскими письмами Чехова летом 1899 года и двумя страницами незавершенного продолжения повести «Мужики». В письме сестре от 29 июня он рассказывал: «Был я сегодня в Ново-Девичьем.

Могила отца покрыта дерном, иконка на кресте облупилась». Это случилось в день апостолов Петра и Павла. Наверно, он не обошел могилу Плещеева. Может быть, этим настроением вызваны строки: «От зеленых могил веет спокойствием, позавидуешь усопшим…»

12 июля Чехов выехал из Москвы в Таганрог. Сорвался как-то внезапно, хотя собирался 20 июля (а еще лучше 15-го) встретиться с Книппер в Батуме. И вдруг — Таганрог, перенос встречи в Новороссийск, на 17-е. Объяснил он поездку так: «по важному делу», якобы «для осмотра тамошних заводов». Но осматривал ли и зачем? В июне Чехов говорил сестре о каком-то очень важном деле в Москве, но не объяснил, что за дело. Потом за чем-то важным поехал в Таганрог. Были ли связаны эти дела?

Известно лишь, что в Таганроге Чехов побывал в городской библиотеке, встречался с Иордановым и согласился стать попечителем детских приютов. В воспоминаниях современников упоминался консилиум таганрогских врачей, будто бы решавших вопрос, можно ли Чехову жить в Таганроге. Доктор И. Я. Шамкович якобы сказал потом жене: «Я удивляюсь, как может человек дышать такими легкими…»

Все, кто запомнил этот приезд Чехова, говорили, что выглядел он утомленным, худым и бледным. Жил Чехов не у родных, а в гостинице. Пробыл в Таганроге всего два дня. Однако успел зайти в гимназию, навестить места своего детства и отрочества — Дубки, Карантин, Банный спуск. Выглядело всё это так, будто Чехов приезжал прощаться с родным городом, может быть, отдать какие-то важные распоряжения на случай его смерти. И в самом деле, более в Таганрог Чехов не приезжал.

17 июля он выехал в Новороссийск. Здесь встретился с Книппер. Вместе они прибыли в Ялту. Она остановилась в семье Срединых, он в гостинице на набережной, потом перебрался во флигель на Аутке. Так было удобнее присматривать за стройкой. Дача, представлявшаяся по плану маленькой, тесной, похожей, по выражению Чехова, «на коробку из-под сардин», на самом деле показалась пусть не просторной, но красивой, удобной: «Лучше и не надо. Комнаты малы, но это не бросается резко в глаза. Виды со всех сторон замечательные <…> остается пожалеть, что этого дома у нас не было раньше. <…> Одним словом, не дом, а волшебство». Однако расходов дом потребовал больше, чем планировалось. Чехов вынужденно, опять через Сергеенко, попросил Маркса выплатить пять тысяч из тех десяти, что полагались ему в декабре. На этот случай была договоренность. Маркс почему-то назвал эту услугу просьбой об авансе и выслал лишь две тысячи. История с «авансом» получилась неприятной.

Облик и настроение Чехова сохранили дневниковые записи Смирновой, оказавшейся в Ялте: «Он постарел и выглядит не знаменитым писателем, а каким-то артельщиком»; — «Он ходит в серых штанах и отчаянно коротком синем пиджаке». Чехов жаловался Софье Ивановне на Ялту. Отзывался без сочувствия о нововременцах, шутил, что боится их. 30 июля она записала в дневнике: «Видела на набережной Чехова. Сидит сиротой на скамеечке».

Стройка затягивалась, и пришлось возвращаться в Москву, где опять шли дожди, похолодало. Поездка в Таганрог выглядела странной, а в Ялту — бесполезной. И весь этот летний вояж не приблизил к главному: к работе за письменным столом. От дороги, усталости, нерешенных дел, скрытого беспокойства, от холода и сырости у Чехова усилился кашель, началось кровотечение, вернулась головная боль. Он вопрошал себя ли, кого-то незримого: «Доколе я буду так блуждать, когда войду в свою колею и стану вновь оседлым человеком — ведомо одному Аллаху».

Мелиховское имение наконец продали, но покупатель не готов был заплатить сразу. Опять Чехову не везло с деньгами. В Мелихове, как и в Таганроге, он с тех пор не бывал. Детство и отрочество, выпавшие на годы в городе у Азовского моря; молодость в Москве; зрелые годы, пришедшиеся на мелиховское бытие, — всё осталось в прошлом. Кроме Москвы, куда Чехов надеялся возвращаться, хотя к этому времени разговоры о покупке дома угасли. Уже не было денег, уже решили: Евгения Яковлевна с кухаркой Марьюшкой переселяются в Ялту.

От вынужденной праздности и болезни Чехов готов был «скакать» в Ялту хоть завтра. Настроение выдавали прощальные фразы писем: «Будьте здоровы и Богом хранимы». Так он говорил, когда тайно тосковал. Такое состояние сохранили предсахалинские письма, потом сразу после Сахалина. Затем в середине мелиховского семилетия. И теперь оно прорывалось в канун осени 1899 года.

25 августа Чехов все-таки уехал в Ялту.

В ауткинском доме одновременно настилали паркет, оклеивали комнаты, свозили мебель и вещи, все лето хранившиеся в другом месте. Всё требовало затрат. Чехов решился взять под вексель несколько тысяч в каком-нибудь банке до декабря, когда Маркс переведет оставшиеся восемь тысяч, полагавшиеся по договору.

Глава третья. ЯЛТИНСКАЯ «ОСЕДЛОСТЬ»

В начале сентября в Ялту приехали Евгения Яковлевна и Мария Павловна. Все размещались в своих комнатах. Мать и сын на втором этаже, дочь на третьем, в «башне».

Из окна кабинета Чехова открывался вид на море, на горы. Определилось место письменного стола: перед турецким диваном, утопленным в нише. Напротив — камин. Окно — венецианское на юг. Верхнюю часть застеклили разноцветными стеклами (зеленые, желтые, красные, синие). В солнечную погоду по кабинету разливался свет, словно игравший красками и, может быть, напоминавший Чехову любимую Италию и Венецию.

Как всякий новый дом, эта обитель тоже медленно обретала жилой вид. Решали, где повесить картины покойного Николая, многочисленные фото, как поставить мебель в комнатах первого этажа.

После отъезда Марии Павловны в Москву Чехов рассказывал ей в письмах о здоровье матери и домашних новостях. О себе сообщал мало: «Ноябрьские ветры дуют неистово, свистят, рвут крыши. Я сплю в шапочке, в туфлях, под двумя одеялами, с закрытыми ставнями — человек в футляре. Нового ничего нет, мать здорова».

В первую же осень выяснилось, что у нового дома, этого «волшебства», оказалась огорчительная особенность. Несмотря на печное отопление, в нем было холодно. Для Чехова, страдавшего с детских лет от холода, а теперь еще и больного, недостаток тепла оказался мучителен. В декабре он предложил поставить две керосиновые печи, чтобы согреть «ущелье», пространство около лестницы. Теперь, наверно, дому более подходило другое название, промелькнувшее ранее в письмах Чехова, — «логовище», приют одинокого человека.

Из письма в письмо переходила фраза, что ничего нового нет. И еще одна — «если бы я жил в Москве…». Чехову писали, что первый том собрания сочинений раскупили, едва он появился, что попасть в Художественный театр трудно, что москвичи ждут премьеру «Дяди Вани». Она прошла 26 октября. Телеграммы, письма уверяли в успехе, нараставшем от спектакля к спектаклю. О нем рассказывала и сестра.

11 ноября Чехов написал ей: «Жить теперь в Крыму — это значит ломать большого дурака. Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь, точно не знаешь, какая скука, какой это гнёт ложиться в 9 час. вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как всё равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я — это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь

поставили, когда на нас тут некому играть».

Мария Павловна действительно точно дразнила рассказами о втором представлении «Дяди Вани», на котором ее чествовали за кулисами почти как автора: «Прислали за мной, чтобы шла на сцену. Встретил меня сияющий Немирович, а потом и остальные вышли из своих норок-уборных, и пошли самые теплые приветствия. Я не могла, конечно, не выразить своего удовольствия по поводу их великолепной игры, особенно игры Алексеева, который лучше всех. Книппер и Лилина очень милы. <…> Одним словом, успех огромный. <…> Только и говорят везде о твоей пьесе. Непременно тебе нужно написать еще пьесу».

Может быть, сестра полагала, что ее шутливые описания обедов в Литературном кружке, где «вкусно можно покушать» и где ее принимали, «как Аркадину в Харькове», и куда не просто звали, а зазывали, — скрашивали одиночество брата, развлекали его? Или ему интересны и важны упоминания, что Книппер ночевала у нее и они «смеялись не переставая», что они видятся часто и Мария Павловна познакомилась с «мамашей», то есть с «тещей» брата?

Ей, всегда занятой домашними делами, гимназией, мастерской, обязательными поездками в Мелихово, заботами о матери, нынешняя полная свобода, наверно, кружила голову. Хотя она знала цену актерским похвалам. Недаром грубовато описала встречу с Ленским. Тем самым, который ровно десять лет назад, прочитав пьесу «Леший», вынес приговор об отлучении Чехова от драмы, будто бы ему недоступной. Теперь, ввиду успеха «Чайки» и «Дяди Вани», он сменил гнев на милость. Мария Павловна рассказала: «Сашечка Ленский подошел ко мне, долго тряс мою руку и просил, чтобы я передала тебе, что он всегда любил тебя и любит. Меня это, представь, нисколько не тронуло. Уж очень рожа актерская. Но уже один тот факт, что он подошел, не кланявшись восемь лет!»

Мария Павловна без конца восхищалась Книппер: ее красотой, трудолюбием, обаянием. В каждом письме хоть несколько слов, но непременно о ней: «Обещала зайти Книппер»; — «смех Ольги Леонардовны»; — «Сегодня пойду с Ольгой Леонардовной слушать Мунэ-Сюлли»; — «Немирович <…> был у меня, сидел долго, много болтали, и у меня явилась мысль отбить его у Книппер»; — «Твоя Книппер имеет большой успех».

Чехов в своих письмах сестре передавал Книппер поклоны и лишь однажды назвал ее «необыкновенной женщиной». Зато в посланиях к самой актрисе не скупился: «Милая, драгоценная, великолепная актриса!»; — «Моя радость!»; — «Великолепная женщина»; — «Ангелочек»; — «Милая, знаменитая,

необыкновенная актриса!»; — «Милая актриса, хороший человечек»; — «Очаровательная женщина!»

Никогда, кажется, дотоле Чехов не писал таких писем. Ни к одной женщине не обращал таких слов. Никому не рассказывал в таких подробностях о своих буднях. Ни сестре, ни женщинам, которыми увлекался. В первом же сентябрьском письме он признался: «Я привык к Вам и теперь скучаю и никак не могу помириться с мыслью, что не увижу Вас до весны <…>»

Когда он успел привыкнуть? Они виделись весной в Москве и в Мелихове. Потом летом встретились в Новороссийске, вместе возвращались из Ялты в Москву в первых числах августа. Чехов не раз вспоминал, как они ехали на лошадях до Бахчисарая, через Ай-Петри. Видимо, эта поездка что-то значила для него, что-то прояснилось в их разговорах.

Чехова оставляли равнодушным статьи и рецензии, в которых его хвалили, но неверно толковали. Он ценил не одобрение, а понимание. Не рассуждение, даже очень умное, а душевное движение.

Вероятно, Книппер в разговорах о «Чайке» и «Дяде Ване» расположила Чехова интересом к своим ролям. Не комплиментами автору, приятными, тем не менее банальными. Но вопросами, замечаниями. Она и в письмах говорила о своих героинях, о том, как в театре «налаживают» «Дядю Ваню», о том, что смущает ее в репликах, монологах, просила объяснить: «Говорите, писатель, говорите сейчас же».

И он отвечал, растолковывал. Она делилась волнениями по поводу первых спектаклей нового сезона, огорчениями из-за премьеры «Смерти Иоанна Грозного». Чехов утешал ее: «Искусство, особенно сцена — это область где нельзя ходить не спотыкаясь. Впереди еще много и неудачных дней, и целых неудачных сезонов; будут и большие недоразумения, и широкие разочарования, — ко всему этому надо быть готовым, надо этого ждать и, несмотря ни на что, упрямо, фанатически гнуть свою линию».

Чехов сразу заговорил с Ольгой Леонардовной, как с человеком, для которого, судя по всему, сцена не развлечение, не средство пропитания, а профессия. Может быть, и нечто большее. Он всегда отличал людей, по его выражению, «отравленных» профессией (будь то литература, медицина, театр, живопись), от дилетантов, от случайных людей или нестойких, бросающих свое занятие при первых трудностях. Ему было интересно с «фанатиками», с людьми, одержимыми профессией. С Левитаном и Шехтелем. С Сувориным, верным журналистике. С Ковалевским, увлеченным историей и социологией. С Куркиным, преданным

медицинской статистике. Это о нем Чехов сказал, что он «несравненно больше, чем кажется».

В Горьком, еще колеблющемся, еще ищущем чего-то вне сочинительства, Чехов сразу уловил признаки «отравы», потому и написал ему летом 1899 года: «Что бы Вы там ни говорили, Вы вкусили от литературы, Вы отравлены уже безнадежно, Вы литератор, литератором и останетесь». Чехов ощущал это или угадывал благодаря особенной проницательности. Недаром Щеглов говорил, что Чехов «видит человека насквозь и, как потом выясняется, никогда не ошибается в своих суждениях».

Книппер, барышня из хорошего семейства, обученная пению, рисованию, игре на фортепьяно, языкам, вышиванию, танцам, когда материальные обстоятельства в семье изменились, стала зарабатывать уроками музыки. Потом выбрала сцену — и попала на нее тридцати лет от роду, закончив училище Московского филармонического общества, класс Немировича. Во все годы учебы содержала себя уроками, как многие курсистки, как ее однокурсницы.

Почти в таком же возрасте на сцену поступила и Комиссаржевская. «Славный, симпатичный», по словам Чехова, талант Веры Федоровны трогал автора «Чайки». Ценил он и заботу Комиссаржевской о его здоровье. Осенью 1898 года она заклинала Чехова поехать к доктору, будто бы успешно лечившему чахотку: «Сделайте, сделайте, сделайте, сделайте, сделайте, я не знаю, как Вас просить. <…> Но ужасно, если Вы не сделаете, прямо боль мне причините. Сделаете? Да?» Она не могла скрыть своего «хорошего чувства» к Чехову. Была искренна, по ее выражению, «до дна» и ждала от него того же. Вера Федоровна просила Чехова писать ей, почувствовать, как она этого ждет, как ей хотелось бы повидать его.

Чехов всегда отвечал ей искренно, тепло. Желал ей благополучия, «счастья и всего, что только есть хорошего на этом свете». Но что-то словно удерживало его от активной переписки с актрисой. Может быть, отпугивал эмоциональный напор, даже такой понятный, как забота о его здоровье?

* * *

К Книппер он, судя по письмам, потянулся сразу и сильно. Что влекло Чехова к этой актрисе с сияющими лукавыми глазами, с взглядом, умевшим, как утверждали современники, выразить всё без слов? Почему она после первых же встреч весной и летом 1899 года стала главным адресатом его писем?

Таких причин, как ее умение писать письма или его ялтинское одиночество; как иссякшая переписка с Сувориным или его интерес к судьбе своих пьес в Художественном театре, наверно, недостаточно.

Чехов, что видно из обращений, согласился с мнением Немировича о его лучшей ученице: элегантная, талантливая, образованная. Всё это импонировало ему в женщинах. Он ценил ее в роли Аркадиной. Наверно, заметил темперамент Книппер. Сильный, но без разлива эмоций: всё в блеске глаз, в модуляциях красивого голоса, в выразительном жесте.

Однако во всех обращениях ощущалось сразу нечто большее, чем восхищение даровитой актрисой и красивой женщиной. «Вы» в письмах Чехова будто подразумевало «ты». Довольно скоро он сказал, что привык к ней. Несколько раз Чехов еще до встречи с Книппер объяснял, что человек, к которому он привык, вовсе не лучше других. Просто он доверял ему, чувствовал себя с ним свободно, легко, не ждал подвоха. Этот человек был ему интересен.

В литературной и артистической среде поползли слухи. Фидлер отметил в дневнике 10 октября, что «позавчера в Союзе слышал чье-то утверждение, будто Антон Чехов женится вскоре на московской драматической актрисе Книппер. День бракосочетания был уже якобы объявлен, но жених заболел». На следующий день он встретил Александра Павловича, спросил его. Тот ответил: «Другие его женят вот уже, наверно, в сотый раз; а на самом деле в этом нет ни слова правды!» В этот же день, 11 октября, Александр написал брату: «Господин Чехов, Петербург женит Вас упорно и одновременно на двух артистках. Ко мне очень многие обращаются с расспросами о подробностях и о Ваших чувствах. Ничего не имея против Вашего двоеженства, я все-таки прошу Ваших инструкций — что мне отвечать вопрошающим. Теперь пока, на свой страх и риск, я отвечаю, что Ваш предстоящий doppel[18]-брак — сущая правда, хотя Вы уже и сочетались законным браком один раз на Цейлоне и другой — в Японии. Обе супруги здравствуют и проливают горькие слезы». Несколько лет назад Александр пошутил в связи с очередной сплетней о женитьбе брата: «Слухи эти подтверждают, что ты еще не вышел из моды и что публика тобою интересуется».

Чехова постоянно упоминали в гостиных, в ресторанных сходках, в частных беседах. Все тот же петербургский «летописец» Фидлер записал в дневнике 9 ноября 1899 года: «Вчера — день рождения Альбова <…>. Острогорский весьма пренебрежительно говорил о сегодняшней молодежи и сказал, что о Чехове невозможно составить себе определенного мнения,

поскольку у него отсутствует собственное лицо; драмы же — и вовсе непонятны. Позняков <…> утверждал, что не читал ничего более возмутительного по мысли, чем „Мужики“ Чехова». И «пренебрежительный», и «возмущенный» отзывы принадлежали членам союза (Н. И. Познякова приняли в один день с Чеховым, 31 октября 1897 года). Так что у слухов, что Чехова едва не забаллотировали, были основания, а мотивы личной неприязни крылись во тьме взаимоотношений.

Чехов уже много лет был далек от этой среды. Если и советовал Горькому «потереться около литературы и литературных людей», то лишь год-два, не более. Не для того, чтобы чему-то научиться у коллег, но окончательно «заразиться» литературой. Горький отнесся к совету сдержанно. Еще из Нижнего Новгорода, в январе 1899 года, он написал Чехову, что не лестно думает о столичных журналистах, что «все эти их партии — дело маложизненное», замешанное на «личном самолюбии не очень талантливых людей». Побывав в Петербурге осенью 1899 года, рассказывал в письмах Чехову в Ялту: «Поездка в Питер — это какой-то эпилептический припадок или кошмар, во всяком случае нечто до такой степени неожиданно тяжелое, неприятное, грустное, и жалкое, и смешное, что я и теперь еще не могу хорошенько переварить все, что впитал в себя там».

Зато впечатления петербургских литераторов от Горького были яркими. Они запомнили его слова, что в столице плохой климат, «нет настоящих людей, одни сатиры и фавны, именующие себя писателями». На одном из обедов, где было много выспренних речей и лицемерного братания, отвечая на тост в его честь, Горький сказал, что «на безлюдье и Фома — дворянин». Он имел в виду себя и провинциальную среду. Но кто-то мог отнести это на свой счет.

На петербургский «кошмар» Чехов никак не откликнулся. Горькому это было в диковинку, а Чехов уже пережил подобное после сахалинской поездки, когда на обедах, по его словам, столичные литераторы угощали пошлыми дифирамбами и в то же время готовы были съесть. Вынеся всё это за скобки их переписки, Чехов, наверно, давал понять, что не стоит придавать этим пошлым мелочам большого значения. Не стоит отравлять себя мыслями о них, что душевно здоровее и для работы полезнее — забыть, словно не видел, не слышал. Не замечать так же, как злобные рецензии, слухи, сплетни, которые, если принимать их близко к сердцу, мешают и отнимают силы, отвлекают от работы. Не отозвался он и на шутки брата насчет женитьбы. В начале октября, едва в доме смолк стук паркетчиков, Чехов сел за работу. Наконец-то не за корректуру, которой он занимался более

полугода и продолжал ее читать, но за новое.

Он писал рассказ «Дама с собачкой». Обещал «Русской мысли» маленький роман в четыре листа; рассказ для «Нивы»; для «Недели»; рассказ в «Русские ведомости»; в «Журнал для всех» и «Жизнь». И почти всё это — к концу 1899 года, несмотря на то, что с конца сентября его опять изматывал катар кишок, о котором он вскоре стал говорить в шутку, что это «все-таки гимнастика», «игра природы». На самом деле терял в весе, недомогал.

В начале октября в письме Мейерхольду он сказал о своем ялтинском бытии: «Погода здесь великолепная, теплая, но ведь это только соус, а к чему мне соус, если нет мяса».

* * *

Сердцевиной пока оставалась работа. Чехов не писал почти год. Многочисленные обещания выдавали, может быть, то, что уже случалось с Чеховым ранее. Словно он скрытым ото всех сверхусилием одолевал какой-то кризисный момент в своем сочинительстве. И являл в прозе и драме обновленную интонацию, чуть иное присутствие автора, в чем-то изменившиеся отношения с читателем и зрителем.

Это напряжение нарастало постепенно. Многомесячное внимательное перечитывание и редактирование рассказов и повестей для первых томов собрания сочинений, видимо, сыграло свою роль. Оно будто стало катализатором, усилило работу памяти, оживило хранившиеся на ее «фильтре» сюжеты и образы. За осенними признаниями в письмах: «я злюсь»; — «у меня нет ничего нового и интересного»; — «право, я злюсь, злюсь»; — «мне здесь скучно, а без писем можно повеситься, научиться пить плохое крымское вино, сойтись с некрасивой и глупой женщиной» — ощущалось нетерпение. Чехов сообщил Гольцеву 30 октября, что высылает рассказ, и просил прислать корректуру, чтобы, как всегда, «пошлифовать его малость».

Едва новый рассказ появился в декабрьской книжке «Русской мысли», начались споры о переменах в прозе Чехова. Причину расхождений, кажется, уловил Горький. Он написал Чехову: «Читал „Даму“ Вашу. Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро — насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время — факт! Дальше Вас — никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После самого незначительного Вашего рассказа — всё кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом. И — главное — всё кажется не простым, т. е. не

правдивым».

Читатели, ожидавшие от литературы ясной морали, плоского повествования, конечно, остались недовольны. Такие судили автора и героев рассказа приговором: история курортного романа, соблазнения и незаконной любви безнравственна. Те, кто уловил мерцание беспредельной глубины, услышал голос автора, писали ему, что хочется «много думать и много плакать». Противники рассказа не останавливались перед сравнением героев «Дамы с собачкой» с животными. Защитники говорили о своем душевном беспокойстве после чтения рассказа, признавались, что оглянулись на свою жизнь.

Были и такие недоумевающие, как Лейкин, который записал в дневнике 24 декабря: «Небольшой этот рассказ, по-моему, совсем слаб. Чеховского в нем нет ничего. Нет тех картин природы, на которые он был такой мастер в своих первых рассказах. Действие в Ялте. Рассказывается, как один пожилой уже приезжий москвич-ловелас захороводил молоденькую, недавно только вышедшую замуж женщину, и которая отдалась ему совершенно без борьбы. Легкость ялтинских нравов он хотел показать, что ли!»

Для «хозяина» и автора журнала «Осколки» такое изложение рассказа, может быть, и не удивительно. Но почти в таком духе пересказал сюжет «Дяди Вани» Теляковский, придворный, «человек мундира» в своей дневниковой записи от 24 ноября того же года. Вернувшись из Художественного театра, он изложил свое «тяжелое» впечатление на нескольких страницах: «Что такое представляет из себя жена профессора Елена Андреевна? Неизвестно, что ее побудило выйти замуж за профессора, но известно, что его она не выносит, а художествами готова заниматься со всеми мужчинами, и потому-то все в нее влюбляются и все ее мнут и жмут, и, намявшись и нажавшись, она решает, что пора уезжать».

В общем, по мнению Теляковского, этот мужской хоровод вокруг одной «самки» — никакая не современная жизнь: «Где же сила и мощь России, в ком из них? <…> Вообще, появление таких пьес — большое зло для театра. Если их можно еще писать, то не дай Бог ставить в наш и без того нервный и беспочвенный век». Негодование «управляющего», конечно, замешано на досаде. Но, наверно, суть не в одной ревности к Художественному театру. Может быть, в явной растерянности перед «новой драмой» и новым театром, новым искусством: «Что замечательно — это что всё нынче называется художественным. Театр — Художественный, клуб, где все собираются, — художественный, афиша оборванная и с литографированным счетом на масло и молоко — художественная, отсутствие игры на сцене — игра

художественная <…>. Да что же это, в самом деле, за качество — художественность? <…> Наконец, когда уже никто ничего не может понять, то говорят: да, оно непонятно, зато есть настроение. Но в чем же смысл и настроение „Дяди Вани“?»

Теляковский изумился: публика симпатизировала этим пьющим героям: «Выходит, что все они правы, когда пьют, когда жмут чужих жен <…>. На таких пьесах публику театр не воспитывает, а развращает…» Закончил он совсем сокрушенно: «А может быть, я по поводу пьесы „Дядя Ваня“ ошибаюсь. Может быть, это действительно современная Россия. Ну, тогда дело дрянь, такое состояние должно привести к катастрофе. Надо еще раз посмотреть пьесу, немного погодя».

Однако не только в пьесе, но и в самой постановке этот внимательный зритель подметил свойство, насторожившее его: «Публика увлекается различными звукоподражаниями и перестает слушать пьесу…» Постановка, по его выражению, кажется иногда «даже важнее пьесы и артистов».

В Москве спорили о «Дяде Ване». Всюду, куда дошла книжка журнала, читали «Даму с собачкой». До Чехова доносились отдельные отзывы. Но даже если бы их было в десятки раз больше, ему не хватало другого, о чем он написал Вишневскому, когда-то таганрогскому гимназисту, а теперь актеру Художественного театра: «Как мне досадно и горько, что я не могу быть со всеми Вами, что и репетиции и спектакли пропадают для меня почти даром, и с ними я знаком только понаслышке, между тем для меня достаточно было бы побыть на репетициях, чтобы зарядиться, приобрести опыт и засесть за новую пьесу».

Когда Книппер рассказала о волнениях перед первыми спектаклями, Чехов ответил ей: «У меня ведь сезон не начинался, у меня нет ничего нового и интересного, всё то же, что и было. И ничего не жду, кроме дурной погоды, которая уже на носу». Может быть, для прозы доставало того, что процеживалось «фильтром» памяти, вызревало годами, хранилось в записных книжках. Однако и в этом случае он ждал, чтобы его «машина» заработала, чтобы возникло ощущение, будто «мозг машет крыльями». Для сочинительства Чехову, как он говорил, нужны были внутреннее возбуждение, тайное волнение, «толкастика». Такое состояние рождали или ему способствовали дальние поездки. Или путешествие за границу. Оно возникало и без видимых внешних причин. Для работы над пьесой такое предшествующее настроение было очень значимо. Но еще важнее автору было увидеть свою пьесу на сцене.

Чехов еще в молодости говорил, что оригинальность пьесы незаметна в тексте. Он не любил, по собственному признанию,

видеть свои пьесы в печати. Спорил с Сувориным, что даже «читаемая» пьеса, то есть написанная для чтения, становится «играемой», если ее играют хорошие актеры. Настаивал на том, что недостатки пьесы обнаруживаются на сцене. Однако Чехов оказался трудным автором для театра. Он всегда уточнял: «… автор — хозяин пьесы, а не актеры». Со времен постановки «Иванова» сердился, когда слышал прямые или косвенные актерские заявления, будто они создают пьесе успех.

В октябре 1899 года он, в который раз, отказал Урусову в публикации пьесы «Леший»: «Эту пьесу я ненавижу и стараюсь забыть о ней. <…>Вот Вам яркий случай извращения родительского чувства!» Конечно, Чехов не забыл обстоятельств, случившихся десять лет назад. И особенно помнил, может быть, не провал на премьере, не приговор Ленского — но свое ощущение, что оказался недостаточно смел в нарушении «правил». Сейчас, когда он искал необходимый ритм и тон для новой пьесы, напоминание о «Лешем» было совсем не ко времени. Урусов потом шутил, что он у Чехова «не в фаворе».

Но, кажется, это Чехов всегда пребывал не в фаворе у самого себя. Был вечно недоволен написанным. Избегал говорить о себе «писатель», а свой труд называть «творчеством». Как только он ни обзывал свою работу — «потуги», «выжиманье», «поденщина», «жеванье». О своих «чадах» он говорил: «пустячок» («Степь»); «плохенький рассказец» («Спать хочется»); «пустенький французистый водевильчик» («Медведь»); «канифоль с уксусом» («Огни»); «пошловатенький водевильчик» («Предложение»); «нечто неуклюжее и громоздкое», «дерьмо», «тяжелая, увесистая белиберда» («Скучная история»); «скверная повесть» («Палата № 6»); «скучновато и вяло» («Три года»). Что диктовало Чехову такое отношение? Он давно сказал, что «собственная совесть автора» — лучшая цензура, лучший редактор. Однажды, в 1888 году, перечисляя написанное им в «истекшем сезоне», усмехнулся: «Если промыть 100 пудов этого песку, то получится (если не считать гонорара) 5 золотников золота, только».

В 1899 году Чехов «промывал» всё сочиненное им к этому времени. Изумился собранной громаде (ему в этом посильно помогали братья Александр и Иван; москвичи, приятели молодости, Ежов и Лазарев; петербуржцы, Авилова и Фидлер). Чехов многое не включил. Отбросил 200 рассказов и «всё не беллетристическое». Многое отредактировал или, по его выражению, «починил». Так что «полного собрания сочинений» не получалось.

Что испытывал он, помимо изумления, перед грудой тетрадей с собственными рассказами, переписанными чужой рукой? Перед

корректурными листами, возродившими почти забытое? Эта напряженная работа, наверно, не только утомляла физически, но влияла на душевное состояние.

После Сахалина Чехов пережил несколько раз страх, что он «выжат» досуха, что в его прозе нет «сока», который пьянит читателя. В те годы трудно понять, что для него страшнее: утратить радость жизни или радость сочинительства.

Творческое бессилие, судя по признаниям в письмах, с годами стало пугать Чехова, ибо, по его словам, он «по уши ушел в чернильницу», «отдался» беллетристике целиком. Не смочь ничего написать, хотя в голове «пропасть сюжетов», казалось, видимо, страшнее любой другой немощи. Может быть, именно *сочинительством* он сопротивлялся старению сильнее всего. Оно душевно молодило и обновляло чувства, хотя обременяло печалью познания. Но напряжение, связанное с работой, дорого обходилось давно и необратимо подорванному здоровью.

Может быть, в какой-то момент два сильных желания — *жить и писать*, о которых он говорил, что их трудно «совокупить», оказались неотделимы друг от друга? Объединились в одно общее чувство? Скрытые ото всех, отношения автора с сюжетами, скопившимися в сознании, становились главенствующими? Внешняя жизнь, невольно подчинявшаяся болезни, умалялась, словно обесцвечивалась. Зато внутренняя, наедине со своими еще не «рожденными» «чадами» и «детищами», значила всё больше и всё сильнее определяла его настроение.

Чехов очень редко приоткрывал этот мир. Всегда уклонялся от ответа на вопросы, подобные тому, что однажды задал Гольцев, попросивший рассказать, как являются Чехову «образы и планы рассказа и повести».

С этой «армией людей», с «пропастью сюжетов», с отдельными героями у него, судя по мимолетным признаниям, складывались сложные, беспокойные, но влекущие отношения: «<…> всё же, что сидит у меня в голове, интересует меня, трогает и волнует <…>» Говорил: «К тому же люди, которых я изображаю, дороги и симпатичны для меня <…>»

Чехов мог на них сердиться, недоумевать, злиться, когда «не вытанцовывалось», но любил. Особенно тех, которых еще только предстояло описать, изобразить, оживить. «Дорогие образы» он отделял от того, что «валялось» в голове, будто «в складе, как книжный хлам». Он как-то сказал, что писать рассказы — это «ласкать музу». Но не надо спешить, ибо всё перепутывается и тогда мозг подобен «заржавленной проволоке», вообще наступает истощение.

Однажды Чехов проговорился, что не выбирает, а «поджидает» сюжет. Словно уподобил это состояние своему любимому занятию: ужению рыбы, в котором ценил не улов (рыбу он выпускал), но сосредоточенное тихое одиночество, затаенное волнение, ожидание. Зато, когда сюжет был «пойман», последующее он определял другими словами: «архитектура», «сруб», «фундамент», «корпус». Он говорил, что сюжет должен сложиться в его мозгу целиком. Лишь после этого садился за письменный стол. Однако и тут поджидал подходящего настроения, толчка, какой-то особой радости в душе.

Чистая безотчетная отрада связывалась в душе его героев с детством, с воспоминаниями о молодости, о родном доме. То была, наверно, *радость жизни*. Не жизненная природная бодрость, как в Наталье Михайловне Линтваревой, здоровой, энергичной, смешливой, однако боявшейся жизни, верившей в приметы, пугавшейся предзнаменований, так и не решившейся дать волю своему чувству к Чехову.

Просвет, который он дарил некоторым героям, — это ощущение мгновенного счастья. Вероятно, схожее с тем, что сам Чехов пережил в Венеции в 1891 году. Таких мгновений выпало на долю Чехова не так уж много. В детстве радость жизни гасил отец постоянными напоминаниями о грехах, больших и малых, в прошлом, настоящем и будущем. Грешно играть, грешно много смеяться, грешно сидеть без дела, грешно… грешно… грешно…

Отзвук этого подавленного детского чувства, может быть, слышался в словах Мисаила Полознева, героя повести «Моя жизнь», о сестре Клеопатре: «В ее теперешней веселости было что-то детское, наивное, точно та радость, которую во время нашего детства пригнетали и заглушали суровым воспитанием, вдруг проснулась теперь в душе и вырвалась на свободу».

В самые кризисные моменты он упоминал в своих письмах или в настроении своих героев утраченную радость жизни («Скучная история»; «Черный монах»; «Моя жизнь»). Для кого-то из них она осталась неведомой, непережитой, ненужной. Всё это вплеталось в размышления героев о смысле жизни, о страданиях, неотделимых от счастья. В финале послесахалинского рассказа «В ссылке» молодой татарин, от болезни похожий на мальчика, тоскующий по родному дому, смотрит с отвращением на пьяного старика, давно равнодушного ко всему на свете, и говорит: «<…> а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего и тебе ничего…»

В 1897 году Чехов получил в общем потоке своей корреспонденции рукопись рассказа. На вопрос начинающего автора, гимназистки, стоит ли ей продолжать, сказал: «<…>

конечно, при условии, что писание доставляет Вам удовольствие <…>» В следующем письме уточнил: «Писать с удовольствием — это не значит играть, забавляться. Испытывать удовольствие от какого-нибудь дела значит любить это дело». Он к этому времени оставил «игру в литературу», как называл свой труд в самом начале сочинительства, в первые московские годы. Пережил колебания между литературными занятиями и профессией врача. И перепады настроения в работе: то острого недовольства, то самоедства, то краткой радости, то какого-то чувства, похожего на ужас, когда казалось, что истощился, иссяк, бессилен.

После 1897 года, то есть после мартовского кровотечения, после произнесенного вслух диагноза и перемен в образе жизни (конец медицинской практики, обязательный отъезд зимой на юг), работа приобретала какой-то новый смысл и требовала особых условий. Заграничное *путешествие* возбуждало Чехова. Но *жизнь* за границей, на одном месте, даже в «райской» Ницце, не располагала к работе. Стихия чужого языка, чужой письменный стол, чужой вид из окна, чужие уличные звуки. Чехов говорил о работе в таких условиях — «сущая каторга», «точно повешен за одну ногу вниз головой», «точно на чужой швейной машине шьешь».

Между тем он был человеком привычки в своем обиходе, человеком порядка. Дома, даже если не ожидались гости, никогда не ходил в халате. Хранил все номера газет и огорчался, если что-то пропадало, потому что потом на поиски уходило время. В конце года сортировал письма, складывал в пакеты и убирал в диван. Предпочитал в Москве стричься у одного и того же парикмахера; покупать конфеты в одном и том же магазине. Беспорядок на письменном столе, точнее, нарушенный кем-то «его» порядок, сердил Чехова, и он возвращал вещи на свое место. Привычный вид, видимо, помогал войти в работу. Так же, например, как удовольствие писать по утрам при свечах, не зажигая керосиновую лампу. Эта внешняя упорядоченность, следование и подчинение привычкам были, наверно, не только данью природному характеру, самовоспитанию, но условием самочувствия, необходимого для работы, приметой сочинительства. Свидетельством чему его записные книжки.

Он их тоже упорядочивал — делил на обиходные (перечень растений для сада; собрание рецептов; адресная книжка; свод записей расходов и денежных расчетов; записи в связи с попечительскими делами). И те, в которые Чехов заносил выражения, отдельные слова, реплики, суждения, сюжеты. Смешные и трагические, анекдотические и серьезные: «Шел по улице такс, и ему было стыдно, что у него кривые ноги»; — «Для

ощущения счастья обыкновенно требуется столько времени, сколько его нужно, чтобы завести часы»; — «Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически»; — «Воробьихе кажется, что ее воробей не чирикает, а поет очень хорошо»; — «Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь»; — «То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть»; — «Разговор на другой планете о земле через 1000 лет: помнишь ли ты то белое дерево… (березу)».

С этими книжками у Чехова сложились незримые отношения. Он переносил записи из одной книжки в другую, иногда уточняя, редактируя. Что-то использованное вычеркивал, что-то обводил чернилами, так как карандашная запись угасала, стиралась. С годами сложился огромный запас замыслов, намеченных образов, заготовок.

За последние два года, когда у него не было своего дома, своего угла, сюжеты, как он говорил, «перепутались в мозгу» «кисли в голове». В 1899 году он заметил в письме сестре: «<…> чем покойнее (в физическом смысле) существование, тем легче и охотнее работается». Уточнил в другом письме: «Сюжетов много, но нет оседлости».

Итак, осенью 1899 года главным побуждением к работе были не мысль о заработке; не обязательства перед редакторами газет и журналов; не денежные долги, но желание писать, превратившееся в желание жить. Былая дилемма (одно из двух) исчезла — *сочинительство давало ощущение самой жизни*, текущей не мимо него, а через него. Может быть, и Книппер он отметил за природное чувство жизни, не равнозначное жизнерадостности.

* * *

Закончив рассказ «Дама с собачкой», Чехов приступил к сюжету, уже поселившемуся в записных книжках, и отодвинул все другие. Об одном из отложенных он написал Немировичу 24 ноября: «Пьесы я не пишу. У меня есть сюжет „Три сестры“, но прежде чем не кончу тех повестей, которые давно уже у меня на совести, за пьесу не засяду. Будущий сезон пройдет без моей пьесы — это уже решено».

Хотя в записной книжке уже были записи к этой пьесе (например, спор, сколько в Москве университетов). Но они перемежались с другими записями — о плачущем во время

службы архиерее, у которого болела душа, о крестьянине, служащем в городе в сыскном отделении. Эта запись вошла в повесть, потеснившую другие сюжеты — «В овраге». О селе Уклеево, где фабрики отравляли отходами воду, землю, скот. Их официально запрещали, но они, с ведома станового пристава и врача, получавших взятки, все равно работали. О селе, где в бакалейной лавочке, расположенной «как раз против церкви», мещанин Цыбукин торговал, обманывал и обижал всех, травил мужиков протухлой свининой. Село казалось ямой, и в эту яму, в семейство Цыбукиных попала бесприданница, юная, красивая, по-детски доверчивая Липа.

На богатой свадьбе Липы и Анисима, служившего в полиции, плотник Костыль призывал всех жить в мире и согласии, а под окнами, «на дворе кричала какая-то баба:

— Насосались нашей крови, ироды, нет на вас погибели!»

В повести «В овраге», как почти во всех повестях и рассказах Чехова последних лет, упомянуты и церковь, освещенная солнцем. И людская толпа (мужики, нищие, фабричные). И лунная ночь, в которую кротким и скорбным душам, Липе и ее матери, казалось, что кто-то с высоты неба смотрит на Уклеево: «И как ни велико зло, всё же ночь тиха и прекрасна, и всё же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и всё на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью». Но при свете дня Аксинья, другая сноха Цыбукина, плеснула кипятком на младенца Никифора, потому что свекор завещал внуку, а не ей, клочок земли. В другую лунную ночь Липа, возвращалась из больницы с мертвым сыном на руках. Плутала, пока не встретила двух батраков, и старик утешал ее: «Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. <…> Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил; значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия!»

В словах старика будто отозвалась запись начала 1890-х годов, связанная с повестью «Три года», но не использованная в ней: «Счастье и радость жизни не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь всё равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами».

Но может быть, в утешениях старика и финале повести «В овраге» проступала какая-то личная подоплека. Потаенное настроение Чехова, связанное с одной из главных и тяжелых примет его ялтинского бытия, о чем он написал в ноябре 1899 года: «Приезжие больные, в большинстве бедняки, обращаются ко мне с просьбой устроить их, и приходится много говорить и

переписываться». Больные писали Чехову, приходили, искали у него помощи через его знакомых и родных. Какая-то барышня хлопотала о студенте-медике перед Гольцевым, тот направил ее к Марии Павловне. Она написала брату в ноябре: «Просят тебя, чтобы ты что-нибудь ему устроил, слышали, что ты печешься и собираешь для таких больных. <…> Может быть, ты и устроишь что-нибудь для него».

Чехов устраивал, снабжал деньгами, просил хороших ялтинских знакомых. Сестре ответил: «Одним словом, от сих бед никуда не спрячешься и прятаться грех; приходится мириться с этим кошмаром и пускаться на разные фокусы. Будем печатать воззвание насчет чахоточных, приезжающих сюда без гроша».

Два кошмара российской жизни — сахалинский и деревенский — Чехов уже пережил. Это был третий. По словам Чехова, Россия «выбрасывала» сюда чахоточных бедняков, «чтобы отделаться от них». И они умирали беспомощные и без помощи: «Это один ужас!» По воспоминаниям современников, Чехов оплачивал пребывание больных в приюте, давал деньги на квартиру, собирал средства на лечение, как до того собирал для голодающих.

Когда-то в Таганроге и в первые московские годы Чехов помогал сердобольному дяде распространять его воззвания в пользу бедных. Действовал Митрофан Егорович бесхитростно: находил в официальных изданиях сообщения о наградах. Затем поздравлял этих людей и взывал к их милосердию, полагая, что в радости человек более расположен к сострадательной лепте. Чехов действовал иначе. Он обращался к людям, известным своей благотворительностью. Помещал в газетах воззвания о помощи, рассказывал о деятельности Ялтинского благотворительного общества. Просил знакомых, связанных с газетами, напечатать его воззвание, в котором писал: «Мы обращаемся к вам с просьбой пожертвовать в пользу неимущих больных что можете; всякое малейшее пожертвование, хотя бы в копейках, будет принято с глубокой благодарностью. Попечение о приезжих больных <…> есть общее дело всех истинно добрых русских людей, где бы они ни проживали. Отчет Попечительства будет своевременно высылаться жертвователям и печататься в газетах». Речь шла о помощи деньгами, вещами, почтовыми марками.

Чехов рассказывал Горькому в письме от 25 ноября: «Одолевают чахоточные бедняки. <…> Видеть их лица, когда они просят, и видеть их жалкие одеяла, когда они умирают, — это тяжело. <…> Третьего дня здесь в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе умер поэт „Развлечения“ Епифанов, который за 2 дня до смерти попросил яблочной пастилы, и когда

я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом, радостно: „Вот эта самая! Она!“ Точно землячку увидел». Это «жалкое» одеяло, видимо, стояло в глазах Чехова. В эти же дни он упомянул его в другом письме: «Самое ужасное — это одиночество и… плохие одеяла, которые не греют, а только возмущают брезгливое чувство».

В горькой шутке Чехова, что чахоточные бедняки смущают его «сытое и теплое спокойствие», что прятаться от беды грешно, проступало нечто большее, чем смущение и сострадание человека, пораженного той же болезнью. Слово «грех» не так часто встречалось в письмах Чехова, даже в речевых оборотах. Он словно избегал его. В его рассказах грех, совершенный героем (против своей совести, против жизни другого человека), — это горе, мука, душевная пытка, маета («Барыня», «Казак», «Перекати-поле», «Убийство»), Тот же, кто не ощущает своего греха, не терзается, не мучается, тот потерян для добра («Встреча», «Воры», «Бабы»).

О загубленном таланте и о погубленной жизни как о грехе человека перед самим собой Чехов не однажды писал в письмах в середине 1880-х годов. Не в последнюю очередь имел в виду судьбы старших братьев, которых он не спас, оказался бессилен перед их губительными пристрастиями. Однако не впадал никогда в холодное учительство. Судя по дневниковым записям, по письмам, по записным книжкам, Чехов с годами все пристальнее всматривался в минувшее. В конце 1899 года он обратился к давнему замыслу об умирающем архиерее, но почему-то опять отложил этот сюжет. Что-то удерживало его, словно не наступило время. Или чего-то недоставало, и Чехов «поджидал».

Пока, уже недомогая, он заканчивал повесть «В овраге». Говорил, что болеет «на ходу». Завершив, решил, что эта повесть — «последняя из народной жизни». В повестях «Мужики», «В овраге», в рассказе «Новая дача», эта жизнь — какой-то новый, не ведомый дотоле русский эпос. В том, как рассказано о ней, — какая-то особенная житийность русской прозы.

Отдельная судьба связана была с обшей, как и каждая отдельная фигура была вписана в общую картину. Между ближним и дальним планами ощущались пространственные связи, а всё объединялось общим повествовательным воздухом, единым авторским чувством. Но эта целостность не замкнута, а бесконечна. Обе «народные» повести заканчивались изображением дороги, по которой идут мать и дочь. И ничто не обещало им легкого пути: «Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и

Прасковья пошли дальше и долго потом крестились».

Они только что встретились с стариком Цыбукиным. И словно не помня убийства младенца, совершенного в его доме, и зла, сотворенного над Липой, изгнанной из этого дома, обе поклонились ему: «Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть». И долго обе крестились потом — то ли о спасении его грешной души, то ли своей собственной.

Чехов успел завершить работу до гостей — на Рождество в Ялту приехали Мария Павловна и Левитан. Поездка далась неизлечимо больному Исааку Ильичу тяжело. Он с трудом одолевал при ходьбе даже легкий подъем. Прогулки Чехова и Левитана по Ялте не затягивались, у обоих была сильная одышка — у Левитана из-за больного сердца, у Чехова из-за легких. В один из дней Левитан написал этюд, который вставили в каминное углубление, будто для него и сделанное. Чехов рассказал об этом Книппер: «На моем камине он изобразил лунную ночь во время сенокоса. Луг, копны, вдали лес, надо всем царит луна». А несколькими строчками выше рассказал о своей новой «страшной» повести: «Много действующих лиц, есть и пейзаж. Есть полумесяц, есть птица выпь, которая кричит где-то далеко-далеко: бу-у! бу-у! — как корова, запертая в сарае. Всё есть».

В описании двух пейзажей, случайно или нет объединенных Чеховым в одном письме, в двух соседних абзацах тем самым уловлено созвучие, какая-то глубинная связь с настроением от встречи с Левитаном. Серебряный полумесяц и выпь, с ее заунывным и глухим криком, соловьиное пение, перекликание лягушек — всё это из описания ночи, когда Липа блуждала с мертвым ребенком по степи: «Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз! <…> О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы… Когда на душе горе, то тяжело без людей…»

Глава четвертая. УЖАСНО ДЛИННАЯ ЗИМА

В последние дни 1899 года Чехов написал для «Петербургской газеты» рассказ «На святках». На первый взгляд

это странно — два года назад он отказал Соболевскому, просившему рассказ для праздничного номера. Сослался тогда на то, что не любит «святочных номеров» — «этой кучи рассказов, стихов и благочестивых рассуждений». К тому же Чехов, человек не злопамятный, но не извинявший некоторые обиды, вряд ли забыл, какую роль сыграла «Петербургская газета» в травле «Чайки» осенью 1896 года. Не гонорар же прельстил его? Сумму, 350 рублей, а то и больше, ему охотно заплатили бы и другие газеты, одолевавшие подобными просьбами.

Всё началось с телеграммы Худекова от 21 ноября 1899 года. Он просил разрешения поместить в своей газете рассказ, уже опубликованный в ней когда-то, но не назвал его. Чехов не возражал, однако адресовал к Марксу. Тот согласился. Выяснилось, наконец, что речь шла о рассказе «Художество» (1886). Худеков поблагодарил за разрешение и в своей приторной манере попросил «одолжить», прислать «новенький, свеженький рассказец» для рождественского номера. И уже 27 декабря Худеков «низко, пренизко» кланялся за рассказ «На святках», за такое «доброе расположение». В конце письма рассказал: «Вчера вынесли мы на Волково Григоровича. Как не хотелось ему умирать. Незадолго перед смертью он был у меня и всё твердил „жить хочу!“. Долго и много вспоминал про Вас и как душевно отзывался он о „невольном изгнаннике“, обреченном жить вдали от друзей… в прескучной Ялте».

Григорович умер в Петербурге 22 декабря. Может быть, рассказ «На святках», неожиданно написанный Чеховым между 20 и 25 декабря, оказался откликом на эту весть. В его интонации печаль и взгляд в прошлое. Зачин письма старухи Василисы к дочери — как послание в минувшее, словно скрытое отражение того настроения, в каком Чехов пребывал в последние годы: «А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей! Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!» Эти строки будто перекликались со строками из повести «Мужики»: «О, какая суровая, какая длинная зима!» — и строками из писем Чехова о долгих томительных ялтинских зимах.

Всё, наверно, отвечало подспудному настроению Чехова, которое прорывалось в письмах, в декабре 1899 года: «Никогда в Ялте не было так гнусно, как теперь. Уж лучше бы я в Москве сидел»; — «Я жалею, что не могу приехать в Москву хоть на недельку. <…> Хандры у меня нет, но скучаю я изрядно, скучаю от вынужденной добродетельной жизни». Чехов скучал в ту зиму не «изрядно», а сильно. 8 января 1900 года он написал о Ялте и о своей неволе Суворину, вдруг возобновившему переписку: «А этот

милый город надоел мне до тошноты, как постылая жена. Он излечит меня от туберкулеза, зато состарит лет на десять. Если поеду в Ниццу, то не раньше февраля».

Дело было и в Ялте, уже известной и понятной до мелочей. И в запрете врачей покидать ее. Но, пожалуй, медицинское вето влияло на настроение Чехова сильнее, чем скука зимней Ялты. Любая внешняя «узда» — в образе жизни, во взаимоотношениях — судя по истории его знакомств, по письмам, по дневникам современников, раздражала Чехова. Нажим, запрет, условия с чьей-то стороны порой расстраивали, сдерживали, даже меняли его отношения с человеком. Болезнь же всё сильнее и заметнее ограничивала Чехова, что-то отнимала у него. Отменяла поездки, некоторые привычки, какие-то намерения, обещания. Дозировала разговоры, диктовала ритм и темп будничной жизни. Грозила быстро состарить не только физически, но и душевно.

Но оставался пока вкус к жизни, которая еще таила сюрпризы. Один из них — избрание Чехова почетным академиком Императорской академии наук по разряду изящной словесности, учрежденному в апреле 1899 года. Еще год назад Чехов в письме Суворину говорил, что считает эту затею лишней. Говорил, что звания и регалии не сделают сочинения русских писателей и вообще литературную деятельность в России более интересными. Предполагал: «Примешается только неприятный и всегда подозрительный элемент — жалованье… Впрочем, поживем — увидим». Вопрос о жалованье отпал после дополнительного правительственного указа от 23 декабря 1899 года, которым уточнялось, что «писатели-художники и литературные критики» избираются только в почетные, а не в действительные члены академии. Известны слова академика, историка М. И. Сухомлинова: «Академик в академии хозяин, писатель — гость».

До декабрьского уточнения Чехов уговаривал Н. П. Кондакова, академика, историка искусства, который жил в Ялте и часто встречался с Чеховым, содействовать избранию Баранцевича и Михайловского: «Первый, замученный, утомленный человек, несомненный литератор, в старости, которая уже наступила для него, нуждается и служит на конно-жел[езной] дороге так же, как нуждался и служил в молодости. Жалованье и покой были бы для него как раз кстати». Избрание Михайловского, по мнению Чехова, «удовлетворило бы ¾ всей литературной братии».

Дополнительный указ Чехов воспринял иронически и написал Суворину 8 января: «Беллетристы могут быть только почетными академиками, а это ничего не значит, всё равно как

почетный гражданин города Вязьмы или Череповца: ни жалованья, ни права голоса. Ловко обошли! В дейст[ительные] академики будут избираться профессора, а в почетные академики те из писателей, которые не живут в Петербурге, т. е. те, которые не могут бывать на заседаниях и ругаться с профессорами».

Он лишь через девять дней узнал, что именно 8 января его, живущего в Ялте, избрали почетным академиком. Конечно, при избрании руководствовались другими соображениями, но шутка об удаленности походила на правду. Всего избрали десять человек. Среди них — Толстой, Короленко, Кони, Чехов, К. Р. (великий князь Константин Романов) и др. Узнав о такой чести, да еще в свой день рождения, Чехов пошутил, что придется отвечать на телеграммы, письма, иначе «потомство обвинит в незнании светских приличий». Но пророческое чутье его не обманывало: это ненадолго. 28 января он пошутил в письме Меньшикову: «Званию академика рад <…>. Но еще более буду рад, когда утеряю это звание после какого-нибудь недоразумения. А недоразумение произойдет непременно, так как ученые академики очень боятся, что мы будем их шокировать».

В январе Чехов уверял одних корреспондентов, что здоровье его превосходно. От других не скрывал, что ему нездоровится. Третьим писал: «Я жив, почти здоров». На самом деле он болел. Пошел на то, что очень не любил: позволил доктору Альтшуллеру выслушать себя. И пошутил в письме Гольцеву в конце января: «Я, начиная с 17 янв[аря] (день именин и возведение в бессмертный чин), был болен и даже подумывал, как бы мне не обмануть тех, кто выбрал меня в „бессмертные“, но ничего, ожил и теперь здравствую, хотя, впрочем, с мушкой под левой ключицей». Далее он написал: «Доктор нашел, что в правом легком совсем хорошо, лучше, чем было в прошлом году». Кто кого утешал? Альтшуллер успокаивал Чехова? Чехов не расстраивал Гольцева?

Одно достоверно и подтверждалось письмами: настроение Чехова в январе резко упало. По некоторым оговоркам можно предположить, что он опять, как год назад, приводил в порядок свои финансовые дела. На всякий случай.

Получив по договору с Марксом вторую часть денег, Чехов положил половину в банк на имя сестры на три года, то есть она смогла бы взять их через этот срок. Одну тысячу он послал старшему брату, как и обещал осенью минувшего года. Б***о***льшая часть денег хранилась в московском банке на текущем счету Марии Павловны. Чехов послал сестре записку, что и эти «московские деньги» принадлежат ей. Из этих средств она оплачивала свою московскую квартиру, брала на расходы по ялтинскому дому, на покупки. И еще 25 рублей, которые раньше

ей посылал брат Михаил, но с некоторых пор (после рождения дочери) прекратил помощь, сославшись на семейные обстоятельства.

Отношения Чехова с братом окончательно охладели. Дело в том, что Михаил Павлович в который раз пытался перебраться на новое лучшее место с помощью Суворина. Еще год назад он просил о протекции, но Чехов сказал, что не может ничего придумать. В декабре 1899 года ярославский чиновник напрямую обратился к Суворину: «Вы всё можете. Вся моя судьба до сих пор была в Ваших руках: я вновь поручаю ее Вам. <…> Вы моя единственная надежда!» Суворин мог подумать, что Михаил Павлович действовал с согласия брата и, может быть, расценил это как знак к возобновлению отношений. Так что его неожиданное январское письмо в Ялту случилось не «вдруг». Он готов был в очередной раз составить протекцию, но, видимо, ждал, что об этом попросит сам Чехов. Однако в ответном письме нет ни слова о Михаиле. Чехов не знал об обращениях младшего брата.

Тогда Суворин дал понять своему вечному протеже, что такие вопросы лучше решать при личной встрече. Но даже после состоявшегося разговора Михаил Павлович, возможно, не понял, что он сам и его карьера безразличны Суворину, что тот всего лишь попытался через него вернуть былые отношения с Чеховым. 26 января, вернувшись из Петербурга в Ярославль, он накатал в Ялту огромное письмо. Описал слезы Суворина, волнение и «пылающие щеки» Анны Ивановны. Изложил точку зрения Алексея Сергеевича на причины расхождения: «Антоша не захотел простить моей газете ее направления. <…> Я знаю это… <…> Я помню, как еще в Ницце, когда мы с Антоном Павловичем шли побережу, или, кажется, по какому-то говенному бульвару, я спросил у Чехова: „Отчего Вы не пишете в ‘Новом времени’?“ И Чехов вдруг сверкнул глазами, как только может сверкать он один, и сказал резко: „Оставим этот разговор“. Я отлично помню это».

Суворин высказался и насчет договора с Марксом: «Нет, нет, здесь есть что-то темное, необъяснимое… <…> Конечно, я сознаю, что у нас относительно Чехова был непорядок… Мы теряли его рукописи, путали счеты. Я знаю это и сознаю, что это скверно. <…> Нет, Чехов не искренен!» Михаил Павлович передал, уверяя, что старается «сохранить точные слова», отношение Суворина к Чехову: «Я ужасно любил и люблю Антона. Знаете, с ним я молодею… Ни с кем в моей жизни я не был так откровенен, как с ним… И что это за милый, великолепный человек! Я с радостью выдал бы за него Настю».

Апофеоз послания — мольба Михаила: «Антуан, милый, возврати им свое расположение!» Чехов ответил брату 29 января 1900 года не очень характерным для него письмом. Оно состояло из пунктов. Словно он вычленил из рассказа брата главное. Прежде всего факты, которых на самом деле не было (разговор в Ницце). Затем те объяснения фактов, которые не соответствовали действительности (договор с Марксом). И наконец вывод: «<…> тебя обворожили и представили тебе в ином свете <…>. О каком-либо примирении и речи быть не может, так как я и С[уворин] не ссорились и опять мы переписываемся, как ни в чем не бывало».

В композиции, в тоне письма ощущалось, насколько Чехову неинтересно, скучно растолковывать неискренность четы Сувориных, распутывать словесные хитросплетения, в которых неточности перерастали в вымыслы. Тем более что Михаила интересовала не правда, а собственная карьера. Но и это Чехов вынес за скобки. Он уже не однажды давал брату совет. Последний раз — не далее как в декабре минувшего года: «Ты бы стремился не в управляющие, а поближе к Москве, а то бы и в самую Москву. Провинция затягивает нервных людей, отсасывает у них крылья». Но Михаил Павлович если и рвался из провинции, то не в Москву, которую не любил с детских лет, а в Петербург. И ближе не к родным, а к Суворину, все еще влиятельному, «доброму» Алексею Сергеевичу.

Письмами брату и сестре заканчивался январь, оказавшийся и обычным, и необычным. Но за всеми событиями, «маленькими бедами», признаниями, шутками ощущалось то, что можно было бы назвать «зима в Ялте»: «<…> скучаю без культуры, без московского звона. Дорого дал бы, чтобы провести хотя один день в Москве и повидать всех вас»; — «Мне здесь скучно, надоело, и такое чувство, как будто я выброшен за борт»; — «Мне кажется, что я живу в Ялте уже миллион лет»; — «Жизнь моя не идет и не течет, а влачится».

Настроение Чехова резко упало, когда он заболел. Ему стало хуже, но он, по его выражению, «перемогался», скрывал ото всех свое состояние. Визитерам не отказывали, гостей принимали. Хотя от некоторых даже Евгении Яковлевне становилось дурно. Чехов надеялся превозмочь упадок сил, потому что не раз признавался, что болезнь обесцвечивала его существование. На вопрос Коробова, как Чехов чувствует себя в звании академика, ответил, что ничего сказать не может: «Известие <…> застало меня в некоторой прострации, когда скверно себя чувствовали и я, и мать, так что я и не разобрал как следует, в чем дело, какого вкуса это звание, а потом, когда выздоровел, то уже была

привычка к новому положению <…>»

Но, наверно, он не ответил бы на этот вопрос и не будучи так болен, потому что звания, регалии, ордена, знаки отличия не имели ценности в его глазах. С детских лет он слышал рассуждения отца о «медалях». В одной из записных книжек Чехова есть запись, в которой угадывается пародия на Павла Егоровича или на всех людей, кичащихся наградами: «…отец семейства N слушает, как сын студент читает вслух семье Ж. Ж. Руссо, и думает: „Как бы там ни было, у Ж. Ж. Руссо золотой медали на шее не было, а у меня вот есть“». Наградами своих сыновей бывший ратман, бывший член торговой депутации возносился не меньше, чем своими. Последняя запись, внесенная Павлом Егоровичем в свой дневник за полгода до кончины: «К Пасхе Миша получил Орден».

«Наградная» тема возникала в письмах Чехова не только как усмешка над тщеславием отца, но и как будто ироническое предостережение самому себе. В 1893 году в связи с государственной «службой» для получения «вечного» паспорта Чехов писал старшему брату, что надо бы собрать все его «заслуги и геройства» воедино. Сам составил шутливый перечень: «Мой отец имеет медаль для ношения на шее и брат Иван имеет тоже медаль, но в петлице. Наконец, я сам, чёрт возьми, имею жетон от „Петербургской газеты“ и в 1888 г. получил Пушкинскую премию из Академии наук <…>. Указ об отставке я тщусь украсить, дабы получить орден Станислава 3 степени и пряжку XL».

Чехов назвал «младший» орден в иерархии русских орденов (хотя он тоже давал права на личное дворянство) и «пряжку», нагрудный знак, в котором римские цифры обозначали срок беспорочной службы. Его носили ниже орденов и медалей. Иронизируя над своим кратким пребыванием в медицинском департаменте, Чехов поставил цифру XL, то есть 40 лет.

Шутки шутками, однако в 1897 году Чехов получил бронзовую медаль за труды по первой всеобщей переписи населения. А в записной книжке появилась мимолетная зарисовка с неуловимым подтекстом:

«— И вот вышел он во всех своих регалиях.

— А какие у него регалии?

— Бронзовая медаль за труды по переписи 97 г.».

В начале декабря 1899 года газета «Новости дня» сообщила о награждении Чехова орденом Святого Станислава 3-й степени за благотворительную деятельность в области народного просвещения. Не получив «пряжки» за мимолетную чиновничью карьеру, Чехов заслужил «младший» орден за попечительство над земскими школами и библиотеками Серпуховского уезда. Тот

самый орден, который Чехов не раз в шутку поминал в своих письмах. Летом 1889 года Свободин рассказал Чехову: «Вчера в Красносельском театре в присутствии его величества разыграли мы Вашу милую шутку — „Предложение“ <…>. Хохот стоял в зале непрерывный. Царь смеялся от души. Вызывали нас два раза, — чего не бывает в официально-чинном Красносельском театре». Узнав об этом также из других писем, Чехов шутил: «Жду Станислава и производства в члены Государственного совета». Однажды шутка получилась горькой: «Мне снилось, что я получил Станислава 3 степени. Мать говорит, что мне предстоит нести крест».

Получив теперь, десять лет спустя, этот орден, который имел форму маленького креста и носился в петлице, Чехов не обмолвился о нем ни словом. А. Я. Бесчинский, один из редакторов «Крымского курьера», вспоминал, что Чехов просил ничего не печатать об этом в местной газете. Но от внимательных современников этот факт не ускользнул. Билибин, из переписки которого почти исчезло имя Чехова, вдруг спросил Ежова, то ли со скрытой иронией, то ли с удивлением: «Читали вы, что Чехов получил Станислава 3-й степени?»

Что касается личного дворянства, то и о нем Чехов не упоминал. В его записных книжках была ироническая запись: «Когда он узнал, что отец его получил дворянство, то стал подписываться так: Алексий». И еще запись на отдельном листе о молодом человеке, который женится на дочери чиновника, получившего дворянство только шесть лет назад. Потому на гербе девицы должны быть изображены судак, лещ и бутылка сивухи, «так как дед ее торговал в Харькове рыбой, понимаете ли, а отец служил по акцизу».

«Аристократическая» спесь, рассуждения одного героя о «белой кости» («В усадьбе») и претензии другого героя на родовитость, хотя дед его был мужик, а отец — солдат («Крыжовник»), воспринимались повествователем «комедианством», нелепостью. Какой-то ущербностью, даже болезнью, как у Федора Лаптева, который вдруг вообразил себя «представителем именитого купеческого рода» («Три года»), В этой повести современники, хорошо знавшие ближайшее окружение Чехова, разглядели прототипы — Павла Егоровича, Кундасову, По-хлебину. Чехов отрицал сходство. Однако между его письмами и признаниями главного героя, внука крепостного, сына купца, университетского человека Алексея Лаптева, существовала, конечно, не прямая, но тонко опосредованная связь. В отношении к религии, в воспоминаниях о детстве, в описании «амбара».

Лаптев рассказывал жене: «Играть и шалить мне и Федору запрещалось; мы должны были ходить к утрене и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна и всё это любишь, а я боюсь религии, и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было восемь лет, меня уже взяли в амбар; я работал, как простой мальчик, и это было нездорово, потому что меня тут били почти каждый день. Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть всё в том же амбаре <…>»

Ничто в повести не обозначалось напрямую. Но мелькали детали из обстановки и быта «амбара» Гаврилова, где служили Павел Егорович, двоюродные братья Михаил Чехов и Алексей Долженко. Однако автобиографизм повести «Три года», наверно, не в этом, даже не в сходстве реалий детства Чехова и главного героя повести. Но, может быть, в том, что обнаружилось, как сильны в Чехове воспоминания о таганрогском детстве, что они, кажется, так и не отпустили его.

И еще — как он одинок и всегда наедине со своим прошлым, с самим собой. Последняя строка повести: «Поживем — увидим». В письмах Чехова эти слова встречались не раз, имели какой-то фаталистический оттенок, передавали не просто житейское, а какое-то особое чувство одиночества.

Оно прорвалось в письме Меньшикову от 28 января 1900 года. Чехов испугался слухов о болезни Толстого: «Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором <…>. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шаршавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени».

Меньшиков в ответном письме остановился на словах Чехова о вере. Отказавшись рассуждать о «вере» Толстого *высказанной*, Михаил Осипович восторгался его *невысказанной* верой, ощущавшейся в народных рассказах Толстого, «во многих отдельных мыслях и обмолвках». По сути, Чехов писал ему об этом же, восхищаясь романом «Воскресение». Но удивился концу: «Писать, писать, а потом взять и свалить всё на текст из Евангелия — это уж очень по-богословски. Решать всё текстом из Евангелия — это так же произвольно, как делить арестантов на

пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? Надо сначала заставить уверовать в Евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уж решать всё текстами».

Чехов развел в этом суждении богословие и веру в Бога, как до того во многих высказываниях, в чувствах и судьбах своих героев не уравнивал эту веру с религией, с благочестием и религиозным чувством. Религиозное воспитание, данное благочестивым отцом, лишило Чехова религии и вспоминалось только как страдание, омрачившее всё детство. От религиозного чувства осталась и с годами все чаще упоминалась в его письмах, повестях и рассказах — любовь к колокольному звону. Общая со всеми детски безотчетная радость в ночь и в первый день светлого праздника Пасхи. Душевное успокоение в безлюдном храме от одинокой молитвы, от пения церковного хора. То есть эстетическая сторона этого чувства. Этическая сторона угадывалась в речи, когда Чехов прибегал в письмах к словам молитв, акафистов, псалмов. Когда повторял значимые для него библейские тексты («и пусть будет по вере твоей»; «в поте лица твоего будешь есть хлеб»; «несть праведен пророк в отечестве своем»; «да не зайдет солнце во гневе вашем»; «несть власти, аще не от Бога»), Но что было за всем этим, что есть на самом деле вера в Бога и какими усилиями приходят к ней?

Благочестив и религиозен Яков, но как ужасен его конец без света веры («Убийство»), Чуток к религиозному чувству Иван Великопольский, но сохранится ли оно в нем, когда минует молодость и жизнь, может быть, не будет казаться «восхитительной, чудесной и полной высокого смысла», каковой показалась ему в светлую минуту («Студент»)? Лаптев, который в детстве «веровал в Бога и ходил ко всенощной», был очарован религиозностью своей избранницы. Это поначалу возвышало Юлию в его глазах: «Когда она была его невестой, ее религиозность трогала его, теперь же эта условная определенность взглядов и убеждений представлялась ему заставой, из-за которой не видно было настоящей правды» («Три года»).

Сама Юлия Сергеевна, вернувшись через полгода ненадолго в родной город, испытала в храме новое чувство: «Вечером она оделась понаряднее и пошла ко всенощной. Но в церкви были только простые люди, и ее великолепная шуба и шляпка не произвели никакого впечатления. И казалось ей, будто произошла какая-то перемена и в церкви, и в ней самой. Прежде она любила, когда во всенощный читали канон и певчие пели ирмосы, например, „Отверзу уста моя“ <…> теперь же она ждала только,

когда кончится служба». Еще через год она, нервно возбужденная, спрашивала мужа: «Скажи, Алеша, отчего я перестала Богу молиться? Где моя вера? Ах, зачем вы при мне говорили о религии? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь».

Так что же? Вера дается не усвоенной из книг системой идей и воззрений? Не простым приятием учения? Не машинальным исполнением установленных церковью обрядов? Но незримым трудом, ибо, по словам Чехова, «нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко. Один на один со своею совестью»? Может быть, она дается, как талант, от Бога, как дарится иным врожденный инстинкт распознавать, что есть добро, а что есть зло, как награждается кто-то природным чувством радости жизни и благодарности за нее — и тогда надо беречь в себе веру подобно дарованному таланту, поддерживать ее душевными усилиями и поступками?

Чехов иногда приводил в своих письмах слова из Соборного послания апостола Иакова: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. <…> Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? <..> Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?»

Это увещание Чехов отдал одному из героев повести «Дуэль», молодому дьякону Победову: «Вера без дел мертва есть, а дела без веры — еще хуже, одна только трата времени и больше ничего». Ведомый «беспокойным любопытством» и каким-то неясным побуждением, дьякон отправился к месту дуэли Лаевского и фон Корена пешком. Он шел ночью по высокому каменистому берегу и, слушая шум незримого моря, думал: «Какою мерою нужно измерять достоинства людей, чтобы судить о них справедливо? Дьякон вспомнил своего врага, инспектора духовного училища, который и в Бога веровал, и на дуэлях не дрался, и жил в целомудрии, но когда-то кормил дьякона хлебом с песком и однажды едва не оторвал ему уха. Если человеческая жизнь сложилась так немудро, что этого жестокого и нечестного инспектора, кравшего казенную муку, все уважали и молились в училище о здравии его и спасении, то справедливо ли сторониться таких людей, как фон Корен и Лаевский, только потому, что они неверующие?»

Отчаянный крик дьякона — «Он убьет его!» — предотвратил смертельный исход дуэли. А затем в повести последовал «богословский разговор» между Победовым и духанщиком Кербалаем.

«— Как по-татарски — Бог? — спрашивал дьякон, входя в духан.

— Твой Бог и мой Бог всё равно, — сказал Кербалай, не поняв его, — Бог у всех один, а только люди разные. Которые русские, которые турки или которые английски — всяких людей много, а Бог один.

— Хорошо-с. Если все народы поклоняются единому Богу, то почему же вы, мусульмане, смотрите на христиан как на вековечных врагов своих?

— Зачем сердишься? — сказал Кербалай, хватаясь обеими руками за живот. — Ты поп, я мусульманин, ты говоришь — кушать хочу, я даю… Только богатый разбирает, какой Бог твой, какой мой, а для бедного всё равно. Кушай, пожалуйста».

Чехов всегда уходил в письмах от рассуждений о вере в Бога, как и от разговоров о своем таланте. Пропускал мимо ушей комплименты в свой адрес. Был к ним безразличен. А особенно пышные снижал юмористической интонацией. Когда Щепкина-Куперник поздравила Чехова с избранием в академию, назвала его, повторяя отзывы критиков, «гордостью русской литературы», он ответил намеком на елейное славословие: «Кланяюсь Вам низко, до земли и целую ручку. Когда дома кладете поклоны или шепчете молитву, идя по улице в салопе, то поминайте меня в Ваших молитвах!»

Но в том, что он говорил и писал о вере и таланте других людей, тоже улавливалось невысказанное. Так, на очередные жалобы и сетования Щеглова — болен, неустроен, всеми обижаем — Чехов ответил в феврале 1900 года: «Господь послал Вам доброе нежное сердце, пользуйтесь же им, пишите мягким пером, с легкой душой, не думая об обидах, Вами понесенных. <…> Вы владеете настоящей искрой Божией. <…> Будьте объективны, взгляните на всё оком доброго человека, т. е. Вашим собственным оком <…>. Простите всем, кто обидел Вас, махните рукой и, повторяю, садитесь писать».

Что и о чем? Конечно, «не критику на русскую жизнь», а «песнь» по поводу жизни, которая, по словам Чехова, «дается только один раз и тратить которую на обличение <…> нет расчета». И непременно оставить, бросить «желчь, сердитость» и не заводить свою жизнь в узкое русло обид, протестов.

Зло, ненавистничество никогда не интересовали Чехова, ни с какой точки зрения. Они казались приметой людей бесталанных, но претенциозных, бесплодных, тщеславных и чаще всего вульгарных. Иногда даже религиозных, но без веры в Бога. А борьбу с наветами он считал ненужной, обессиливающей, умаляющей человеческое достоинство. Когда старший брат

послал в январе 1900 года опровержение на ядовитую реплику «Одесских новостей», которой он был незаслуженно задет, Чехов посоветовал не делать этого. Даже если обвинят в изготовлении «фальшивых бумажек»: «Ведь опровергать газетчиков всё равно, что дергать чёрта за хвост или стараться перекричать злую бабу. <…> единственный случай, когда прилично нам печатать опровержение, это когда приходится вступиться за кого-нибудь. Не за себя, а за кого-нибудь».

Этой же зимой он дал совет одному из знакомых журналистов по поводу взаимоотношений между коллегами: «Когда гончим псам запрещают убегать в лес за дичью, то они дома бросаются на мирных домашних животных и рвут в клочья кошек, телят, кур и проч. <…> Это нехорошо. Местную травлю или полемику я всегда считал злом. Если бы я был журналистом, то никогда бы не трогал своих, как бы мне ни было тяжело и больно работать с ними».

Длинная зима, плохое самочувствие и трезвое понимание грядущего влияли на интонацию писем Чехова. Он будто исподволь уговаривал не тратить душевные силы на утомительные мелочи, на раздражающие мнимости. Правда, сравнивал свои невольные советы с наставлениями протопопа, шутил, что «заговорил певучим тоном богомолки». Но вдруг прорывалось скрытое. Как 3 февраля в письме Горькому: «Вы человек молодой, сильный, выносливый, я бы на Вашем месте в Индию укатил, черт знает куда, я бы еще два факультета прошел. Я бы, да я бы — Вы смеетесь, а мне так обидно, что мне уже 40, что у меня одышка и всякая дрянь, мешающая жить свободно».

Он, вероятно, не мог посоветовать себе самому — махнуть рукой на эту «обиду». Она только усугублялась. И он понимал по своему состоянию, наверно, лучше, чем доктор Альтшуллер, что в правом легком не совсем «хорошо», не совсем «чисто», и мушка не спасает.

* * *

Чехов советовал Щеглову написать для Художественного театра, «необыкновенного театра», большую пьесу. А сам не спешил, хотя Немирович с минувшей осени умолял: «Ты должен написать, должен, должен!»; — «Но вот я ничего не знаю о твоей новой пьесе, т. е. будет эта пьеса или нет. Должна быть. Непременно должна быть. Конечно, чем раньше, тем лучше, но хоть к осени, хоть осенью!»

После краткой паузы, в феврале, в письмах Чехова ощущалось желание писать. Это нетерпение выдавали давние воспоминания, вдруг всплывавшие в памяти. К тому же с каждым годом он все сильнее страшился больших перерывов в работе, боялся утратить чувство нового, гибкость изложения. Однако что-то удерживало Чехова. Может быть, слишком настойчивые уговоры Немировича и Книппер? Она тоже спрашивала: «А пьесу надумываете? Ведь мы не можем без чеховской пьесы начинать сезон, понимаете, писатель?» Даже сестра заговорила в несвойственном ей тоне: «Я тебя тоже очень прошу написать пьесу, а то скучный будет сезон». Это походило на нажим, которого он не любил.

Он, может быть, «поджидал», когда сюжет совсем сложится в голове, что последует какой-то легкий толчок, возникнет возбуждение, и томительная и утомительная скука ялтинской зимы превратилась бы в усталость от работы. Между тем ему со всех сторон жаловались на хандру. Книппер — между кокетливой просьбой ответить ей «сию же секунду», будут ли они лето вместе, и поздравлениями с «академиком» — написала, что ей «хочется плакать и жаловаться», «хочется удрать из Москвы и из театра». Чехов не выдержал и ответил 10 февраля: «А Вы-то зачем хандрите? Зачем хандрите? Вы живете, работаете, надеетесь, пьете, смеетесь <…> чего же Вам еще? Я — другое дело. Я оторван от почвы, не живу полной жизнью, не пью, хотя люблю выпить; я люблю шум и не слышу его, одним словом, я переживаю теперь состояние пересаженного дерева, которое находится в колебании: приняться ему или начать сохнуть?»

Горький воспринял слова Чехова о возрасте как сожаление, что мало сделано. И то ли упрекнул в напрасной жалобе, то ли утешил: «Вам только еще 40 лет! А между тем, какую уйму Вы написали и как написали. Вот оно что! Это ужасно трагично, что все русские люди ценят себя ниже действительной стоимости. Вы тоже, кажется, очень повинны в этом». Чехов пояснил, что его мучает не мировая скорбь, не тоска существования: «<…>

просто скучно без людей, без музыки, которую я люблю, и без женщин, которых в Ялте нет». И пошутил: «Скучно без икры и без кислой капусты». Что касается икры, то ее, по просьбе Чехова, прислала с оказией сестра и обещала привезти еще на Пасху. А музыку, шум, пение, встречи с красивыми интересными женщинами сулил обещанный приезд в Ялту Московского Художественного театра. Свой отъезд за границу Чехов перенес с февраля на март, а потом и вовсе на конец лета.

Настроение, видимо, переломила и наступившая крымская весна: распустились вербы; в фунте расцвела камелия, пережив зиму; принялись розы, посаженные осенью. Принялся и отцовский пион. Чехов приписывал это чудо своему искусству сажать цветы. Уверял: «Мне кажется, что я, если бы не литература, мог бы быть садовником». Чехов называл свои сады дилетантскими. Охотно давал советы, где купить саженцы, что лучше посадить, как ухаживать. Может быть, жизнь сада цветение, созревание, зимний сон, весеннее пробуждение — ощущалась им сродни литературной работе, такой же потаенной, скрытой, тихой?

В том, как он перечислял русские и латинские названия деревьев, кустарников, цветов или для наглядности изображал их в письмах, угадывалось не просто удовольствие, а сквозили радость, душевная отрада. Если что и утешало Чехова зимой 1900 года, то, наверно, ползущие из земли лилии, ирисы, тюльпаны, гиацинты. Сад, показавшийся в это время одному из современников «жиденьким», в письмах Чехова представал иным: «Верба уже позеленела; около той скамьи, что в углу, уже давно пышная травка. Цветет миндаль. Я по всему саду наставил лавочек, не парадных с чугунными ногами, а деревянных, которые выкрашу зеленой краской. Сделал три моста через ручей. Сажаю пальмы». И не сомневался: «Сад будет роскошный».

Он уже предвкушал, какой сад, какие клумбы он разобьет на новом участке в Гурзуфе, купленном зимой, а Кучукой решили все-таки продать. О гурзуфском домике Чехов обронил пренебрежительно — «жалкий домишка», «паршивенький». Зато восхищался маленькой бухтой, прекрасным видом, близким парком, упоминал растущую там шелковицу. В шутливом поздравлении Александра с новосельем в загородном доме, в пожелании ему дождаться «собственных очень высоких деревьев» словно слышалось невысказанное: дождется ли он этого в своих крымских садах?

Разговоры о приезде Московского Художественного театра в Ялту велись еще зимой. Планы и маршрут поездки менялись, а вместе с ними настроение Чехова. Однако весь февраль и март он зазывал добрых знакомых непременно приехать в дни гастролей.

Обещал, что скучно не будет, — и очень нервничал. Приезд Вишневского, посланного театром подготовить гастроли, Чехов описал сестре как водевильный сюжет или курьез из провинциальной жизни: «Он пробыл здесь 4 дня и всё это время сидел у меня за столом и сочинял своему начальству телеграммы или рассказывал, как он прекрасно играл. Он читал роль из „Дяди Вани“ и совал мне в руки пьесы, просил, чтобы я подавал ему реплику; он орал, трясся, хватал себя за виски, а я смотрел и слушал с отчаянием в душе, уйти же было нельзя, так как шел снег, — и этак 4 дня!!»

Это напоминало сюжет известного рассказа Чехова «Драма»: полная дама Мурашкина в шляпке с рыжей птичкой пришла к известному литератору и упросила выслушать ее пьесу. Сначала довела его до иронии: «Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку да спала бы в погребе». А потом и до исступления, в состоянии которого он убил сочинительницу. «Присяжные оправдали его».

Вишневский был из натур, явно противопоказанных Чехову. Не глупый, но и не умный, простодушно самодовольный. Не корыстолюбивый, но умевший блюсти собственные материальные интересы, он, наверно, досаждал своим себялюбием, иногда бестактностью и некоторой неисправимой упрощенностью. В нем ощущалось что-то общее с Сергеенко. Оба они постоянно подчеркивали, что Чехов их знает, а они его отличают среди других.

Узнав из письма Книппер, что она приедет раньше других артистов, Чехов пошутил: «Только, пожалуйста, не берите с собой Вишневского, а то он здесь будет следовать за Вами и за мной по пятам и не даст сказать ни одного слова; и жить не даст, так как будет все время читать из „Дяди Вани“». Предстоящие гастроли и радовали, и волновали Чехова. Он заранее воображал, что, по его выражению, «ненужная публика», скупившая билеты из любопытства (что это за необычный театр, о котором столько говорят и пишут), останется недовольна репертуаром: что ей «Одинокие» Гауптмана, «Эдда Габлер» Ибсена, «Дядя Ваня», «Чайка»? Не поймет исполнения, непривычной манеры.

Предчувствие возможного неуспеха и испортившаяся погода тревожили Чехова. В таком состоянии он не мог работать, о чем написал 10 марта Немировичу: «В Ялте отвратительная погода, можно прийти в отчаяние. Эта зима кажется мне ужасно, ужасно длинной; я совсем не жил, хотя и прожил все деньги, какие у меня были в руках или на текущем счету. <…> Пишу ли я новую пьесу? Она наклевывается, но писать не начал, не хочется, да и надо подождать, когда станет тепло». В этот же день рассказывал

в письме Суворину: «После весны началась здесь в Ялте зима; снег, дождь, холодно, грязно — хоть плюнь. <…> Как много здесь чахоточных! Какая беднота и как беспокойно с ними! Тяжелых больных не принимают здесь ни в гостиницы, ни на квартиры, можете же себе представить, какие истории приходится наблюдать здесь. Мрут люди от истощения, от обстановки, от полного заброса — и это в благословенной Тавриде. Потеряешь всякий аппетит и к солнцу, и к морю».

Может быть, поэтому он не исключал, что в его «состоянии пересаженного дерева», когда он, по его словам, «отвык от севера и не привык к югу», предпочтительнее заграница. Однако там неплохо жилось, но плохо работалось. А без работы оставалось бы лишь доживать, тянуть время где-нибудь в благословенной Ницце или в Швейцарии и вернуться на родину только умирать.

Колебания, где жить: в Ялте, в Москве, за границей — лишали покоя. Постоянно жить в Ялте он после пережитой тяжелой зимы, видимо, не очень хотел. Но если купить виллу за границей, то кто возьмет к себе мать? Ее не звали ни в Ярославль, ни в Москву, ни в Петербург. Михаил Павлович решал свои служебные и семейные дела. Он и раньше не звал Евгению Яковлевну к себе на жительство, а теперь и подавно. К старшему сыну мать не поехала бы, наверно, сама. Он долгие годы содержал тещу, которая в конце 1899 года пребывала в старческом слабоумии и медленно угасала. У Ивана Павловича едва хватало средств на свою семью, лишний рот, наверно, оказался бы в тягость. Но главное было не в деньгах, потому что Чехов, случись матери переселиться в семью московского сына, обеспечивал бы ее так же, как сестру.

Внешне тихая, бессобытийная, жизнь Ивана Павловича оказалась исполненной незримыми страданиями и страхами. Одинокий в родной семье, ни к кому, кроме брата Антона, сердечно не привязанный, он дорожил женой. Он прилепился к ней навеки, ощущал самой родной, называл самыми ласковыми именами. Оставался покорным, нежным, готовым на всё. Она оказалась верной женой, разумно распоряжалась скромным семейным достатком. Судя по всему, она выходила замуж с надеждой «дожить до любви». Чехов сразу, тогда же, весной 1893 года, заметил скрытое несоответствие чувств и написал Александру, что Иван женится, «привозил показывать свою невесту, костромскую дворяночку, которой он робко говорил „ты“». Ее душевный холодок, отстраненность, закрытость ощущались даже посторонними. Может быть, и поэтому тоже супруги полюбили Художественный театр, смотрели не раз «Чайку» и «Дядю Ваню». Словно угадывали в героях этих пьес свое

душевное состояние, а в актерах находили то, чего им самим недоставало. Веселость, обаяние, легкость, подлинную или умело изображаемую искренность, доброжелательность.

В еще большей степени это всё очаровало Марию Павловну. В письме от 21 февраля 1900 года она описала брату один из ужинов в ресторане «Эрмитаж»: «Было очень приятно. В этом же зале был юбилей „Русской мысли“, где мухи дохли от скуки, от скучных речей. Директора и артисты Художественного театра ведут себя иначе. <…> Обнимались, целовались, говорили глупости, аплодировали и визжали. Запинались в речах и нисколько не смущались! <…> Я, не закрывая рта, хохотала. <…> Книппер уехала в Тулу в гости к знакомым, и теперь мне без нее скучно. Мы очень подружились».

Этой зимой Мария Павловна перешла с Ольгой Леонардовной на «ты». Их письма друг к другу полны шутливых признаний, взаимных уверений, что любят, скучают в разлуке. Ни с кем дотоле у сестры Чехова не складывались такие дружеские отношения. Вторая зима проходила весело, шумно, разнообразно. Мария Павловна даже шутила, не пойти ли ей на сцену. Она всюду появлялась с блестящей, умной, очаровательной подругой. До тех пор несловоохотливая, Мария Павловна признавалась, что научилась «болтать» и в обществе чувствует себя превосходно. Для нее наступило счастливое время. Не обремененная ни родной, ни собственной семьей, живущая так, как ей хотелось (немного часов в гимназии, занятия живописью, театры, рестораны, клубы), она редко писала брату этой зимой.

Легкая усмешка ощущалась в словах Чехова о сестре в одном из февральских писем: «1) сестра живет в Москве, куда уехала еще осенью, 2) из писем ее не видно, читала она мою повесть или нет; вероятно, не читала. В Москве она очень занята».

В конце февраля Мария Павловна отозвалась на повесть: «Прочла я твой рассказ „В овраге“. Он так удивительно хорош, что я даже прослезилась от умиления, как Федотова. Особенно тронуло меня то место, где Липа подала старику пирог, и он стал есть его, в конце рассказа. По-моему, ты еще никогда так хорошо не писал, положительно не к чему придраться. Все ходят с большими глазами и говорят — вы читали?..»

Действительно, многие читали, многие писали Чехову. Ему передавали радостное восхищение Толстого. Миролюбов признавался, что читал с перерывами: «Знаете, как это бывает, — застелет глаза слезами, что-то в груди подымется, разрастется, как будто летишь куда…» Горбунов прислал в марте проникновенное письмо: «Я в первый раз ближе, больше, сильнее почувствовал не талант ваш, а *сердце* ваше, *любовь* к человеку в

сердце вашем, нежную, глубокую любовь ко всему страдающему и ко всему умирающему душою в этой жизни <…>. А про мастерство — что уж говорить! Эта ночь, когда она идет с ребенком, костер, этот старик, я мало в жизни читал такого художества. Но главное, это — любовь, это — жалость великая в этой вещи. <…> Это вещь христианская совершенно, — нет, шире — человечнейшая».

Однако именно эта нота удручила князя Урусова. Он, восторженный поклонник «Лешего» и «Чайки», писал о повести «В овраге» одной из своих знакомых с нескрываемым разочарованием: «Здесь я вижу — шевелится кончик мышиного хвостика, и тенденция выглядывает из норки. Видите ли: сыщик — он и преступник, а нищая — одна прелесть. Богатые да устыдятся… и вдруг запахло постным маслицем Толстовской „благой вести“. Натура и та стушевалась. <…> Я уже не вижу художника <…> я вижу господина, который желает кое-чему меня, грешного, наставить. Я бы, пожалуй, и не прочь: ну наставляй… Но ведь это дело не гения, а посредственности. Вообще же говоря, когда в беллетристике появляются добрые нищие <…> и умирающие младенцы, тогда дело идет плоховато, наблюдательность иссякает и появляется приятный, всеми любимый шаблон».

Князь словно забыл об умершем сыне Заречной («Чайка»), о предсмертном воспоминании Марфы об умершем ребенке («Скрипка Ротшильда»). Этот рассказ Урусов назвал когда-то шедевром. Сказалось ли на отзыве Урусова его настроение в последние месяцы жизни, страдания от тяжелой болезни, или ему, всегда ждавшему от искусства «счастливых поэтических минут», показались «постными» и непоэтичными фигуры Липы и ее матери. Но он был не одинок. Эта повесть напугала или оттолкнула не одного только умного и душевно расположенного к Чехову князя, его внимательного читателя.

Множество откликов на повесть появилось в печати. О миросозерцании автора повести высказывались либо со вздохом («безотрадно-мрачные краски», «чем-то безотрадным, беспросветным веет от повести»), либо никак, потому что оно не извлекалось привычными приемами. В самом конце января в газете «Нижегородский листок» появилась статья Горького, которая сильно раздражила Гольцева. Он попытался опровергнуть ее 14 февраля в московской газете «Курьер». В тоне этой заметки было нечто большее, чем недовольство суждениями автора. Может быть, Гольцев обижался на Горького за ту роль, какую он сыграл в том, что повесть появилась не в «Русской мысли», а в журнале «Жизнь». Но и обида не объясняла протеста Гольцева

против статьи Горького — в нем прочитывалась поколенческая ревность. Молодой Художественный театр обеспечил себе успех, внимание, прессу постановкой пьес Чехова. Молодые литераторы не оставляли Чехова в прошлом, а обещали ему, как Горький, встречу со многими следующими поколениями читателей.

Не называя фамилию критика, когда-то сулившего Чехову бесславную кончину «под забором», Горький вынес свой вердикт: «Критик этот жив до сего дня и… я не хотел бы быть на его месте, если он не забывает того, что пишет. Критик этот умрет, и тогда вспомнят, немножко попишут о нем и снова забудут его. А когда умрет Чехов — умрет один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый — друг, любящий ее, сострадающий ей во всем, и Россия вся дрогнет от горя и долго не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям <…> пропитанным глубоким знанием жизни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и чуткого человека, который всё понимает».

Если бы эта статья появилась в столичных газетах, то недовольство ею было бы куда большим и сильным. Речь в ней шла не о прижизненной известности и славе, к чему так чутка литературная среда, но о том, что отменяет забвение: «Его скорбь о людях очеловечивает <…> всех, кого она коснется. <…> Осветить *так* жизненное явление — это значит приложить к нему меру высшей справедливости. Чехову это доступно…»

Чехов написал Горькому, что этот отзыв был «бальзамом» для его души. Но, наверно, ни такие статьи, ни читательские письма не могли изменить настроение Чехова зимой 1900 года. Это всё были отражения отражений, но не сама жизнь. И он шутил: «Всё чаще и чаще посещает мечта — продать дачу и уехать в Монте-Карло и поставить там на quatre premier сразу сто франков. Жизнь оседлая, правильная, да еще в провинции — это слишком длинная жизнь, месяц ее следует считать за год, как под Севастополем».

Говорил, что боится телефонных звонков, а вдруг сообщат, что гастроли отменятся. Чехов попросил сестру привезти в Ялту на Пасху «пять пудов» закусок (икру, ветчину, маслины), а ему лично помочи («обыкновенные, не для велосипеда») и цилиндр. Он готовился «поговорить, погулять, кое-где побывать, выпить и закусить».

Театр ехал к нему показать «Дядю Ваню» и побудить к новой пьесе. Кончалось безлюдное зимнее время.

Глава пятая. «ТОЧНО СПЕЛЁНАТЫЙ»

В Ялту съезжались интересные люди: Горький, Поссе, Бунин, Мамин-Сибиряк, Рахманинов, Васнецов. В воспоминаниях некоторых из них сохранились описания встреч с Чеховым в марте и апреле 1900 года, упоминались разговоры, его суждения, отзывы.

Одну из бесед запомнил Поссе: «Не было ни Горького, ни Миролюбова и никого посторонних. Помню, сидел я у письменного стола, а Чехов в глубине комнаты в полумраке, на диване. Говорили об общественных настроениях, о литературе, о „Жизни“. Потом беседа приобрела более интимный характер. Помолчали каждый со своими мыслями.

— А что, Владимир Александрович, могли бы вы жениться на актрисе? — прервал молчание тихий голос Антона Павловича.

Вопрос застал меня врасплох, и я несколько неуверенно ответил:

— Право, не знаю, думаю, что мог бы.

— А я вот не могу! — и в голосе Чехова послышалась резкая нота, которой раньше я не замечал. <…>

Кажется, в тот же вечер Чехов сказал мне:

— Неверно, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет, настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной. Это как с хорошим старым вином. Надо к нему привыкнуть, надо долго пить его, чтобы понять его прелесть».

Какие-то беседы запомнил Б. А. Лазаревский, юрист, военный следователь, в то время автор единственной книги рассказов. Зимой 1900 года он, приезжая в Ялту по служебным делам, непременно приходил на Аутку. Все разговоры записывал в дневник. Одолевал «литературными» вопросами, не замечая, что утомлял хозяина дома, иногда просто забалтывал. Он был безнадежно и простодушно самоуверен, скор на оценки и не очень далек, бесхитростно банален. Увидев на столе рукопись, попросил показать ему и потом с удовлетворением записал: «То же, что и у меня в работе и, я думаю, у всех пишущих. <…> Как называется эта новая вещь, я не спросил принципиально, так как и Чехов и я одного мнения, что заглавие — последнее дело».

Едва познакомившись, Лазаревский заявил Чехову: «Вы, Антон Павлович, все-таки один из счастливейших. <…> Всё у вас есть, богатство и известность, можете сказать себе: „Достиг я высшей власти“».

И услышал в ответ: «Какое же у меня богатство? Кроме того, я не могу даже жить там, где хочу, а должен жить здесь благодаря своему здоровью. Здесь счастья и счастливых мало, это только

кажется так».

Чехов уходил от разговоров. Уже не писал о литературе, о себе, как в былые времена Плещееву, Суворину. Разгонялся тогда так, что рука уставала. Письма Чехова заметно изменились: другой накал чувств, иная интонация, даже лексика будто не та.

В двадцать лет он завершал свои послания веселым словесным росчерком: «Остаюсь твой доброжелатель и благодетель, брат твой строгий, но справедливый. А. Чехов»; — «Остаюсь твой брат, написавший эти щелочные и санитарные строки, А. Чехов. Братья, будем целомудренны, как римляне!»; — «Будьте здоровы и не забывайте, что у Вас есть покорнейший слуга Л. Чехов. Больных делов мастер»; — «Знайте, несчастная раба хандры, что у Вас в Москве есть покорнейший слуга, готовый почистить Ваш давно не чищенный самовар. А. Чехов».

В двадцать пять лет, в годы многописания, он полюбил оборот: «кланяюсь и пребываю А. Чехов»; — «пребываю Ваш А. Чехов»; — «пребываю уважающим»; — «пребываю преданным» и т. п. Часто заключал словами: «За сим прощайте»; — «Однако прощайте». Он словно не боялся еще этого слова. Оно звучало как запятая, а не точка в разговоре с адресатом и обещало новую встречу, передавало неостановимое движение мысли и чувства.

В тридцать лет всем прочим формам эпистолярного прощания Чехов предпочитал пожелания. Чаще всего желал здоровья, здоровья и здоровья. Слово «прощайте» сменилось на «до свидания!». И, как тревожное предчувствие, обороты: «Будьте здоровы и небом хранимы»; — «Дай Бог всего хорошего»; — «Да хранят Вас все святые!»; — «Будьте хранимы Господом Богом и всеми его силами небесными».

Появившись в предсахалинские месяцы, в письмах из Сибири и с Сахалина, эти пожелания потом стали проще и чуть отстраненнее: «желаю всего хорошего»; — «будьте здоровы»; — «низкий поклон»; — «низко кланяюсь». Словно все внешние проявления чувств постепенно уходили внутрь.

В тридцать пять лет, в мелиховские годы, темп писем замедлился еще заметнее. Они уже не передавали, как ранее, смену чувств Чехова, все более и более сосредоточенного на своем внутреннем мире. Он приоткрывал его очень редко.

Передавал настроение интонацией последних строк, чаще всего посвященных природе: «Идет снег. Прилетели грачи и опять улетели»; — «У нас ночью было 12 градусов мороза»; — «Холодно»; — «Снегу еще на аршин»; — «Начинается осень»; — «Грязно». Чехов словно отрывал взгляд от листа, а само письмо казалось паузой в работе.

Зимой 1900 года в письмах много дополнений, уточнений,

будто, уже попрощавшись, Чехов вспоминал что-то. Или так выдавало себя его одиночество. Вопросами, замечаниями, просьбами он словно продолжал разговор, хотя иногда говорить, кажется, было не о чем. Всем желал: «Будьте здоровы»; — «Будьте здоровы — главным образом»; — «А главное — здоровья».

И непременно поклоны, приветы родным и близким адресата, общим знакомым. Будто таким образом, хотя бы мысленно, Чехов оживлял пространство вокруг себя. И еще — просьба ко всем писать ему: «Не забывайте меня, пожалуйста»; — «Спасибо, что вспомнили»; — «Спасибо Вам большое за письмо, за то, что вспомнили»; — «Напиши хоть 2–3 строчки, как и что»; — «Не забывайте обо мне, пишите хотя бы изредка».

Как только в Ялте весной 1900 года появились интересные ему люди, тон финальных строк изменился. Письмо к Книппер от 26 марта уже иное: «Чу! Кто-то приехал. Вошел гость. До свиданья, актриса!»

Мария Павловна и Ольга Леонардовна приехали в Ялту раньше всех. 7 апреля в Севастополь прибыл Московский Художественный театр. Именно в эти дни обострился недуг, мучивший Чехова с ранней юности. Болезнь давняя, противная, изматывающая тлела всю зиму и вдруг превратилась в страдание. Но он все-таки поехал в Севастополь. Станиславский запомнил, что при виде Чехова, сходившего с парохода, едва не заплакал. Бледный, сильно похудевший писатель старался улыбаться. На вопросы о самочувствии, всегда раздражившие его, отвечал кратко: «Я здоров».

Гастроли начинались спектаклем «Дядя Ваня». Играли в летнем театре. Холодно было и снаружи, и внутри. Чехов просил посадить его так, чтобы остаться невидимым публике. Решили, что лучше всего ему сесть в директорской ложе, за четой Немировичей. Но все-таки его заметили. Десять лет он не знал такого очевидного, шумного успеха своей пьесы. Со времен «Иванова» в Александринском театре в Петербурге со Стрепетовой, Савиной, Свободиным в главных ролях. О своих чувствах в этот раз, когда его, после единодушных криков зала — автора! автора! — вынудили выйти на сцену, Чехов не упоминал.

В отличие от Щеглова, который утверждал, что Чехов не любил театра, что и драматургом-то он сделался чуть ли не случайно, а лучшее, им написанное для театра, — это водевили, Станиславский подметил иное. Да, Чехов отказывался читать и объяснять актерам свои пьесы. Да, не выносил поклоны публике. Но, по словам Константина Сергеевича, Чехов «любил прийти на сцену смотреть, как ставят декорации. В антрактах ходил по уборным и говорил с актерами о пустяках. У него всегда была

огромная любовь к театральным мелочам — как спускают декорации, как освещают, и когда при нем об этих вещах говорили, он стоит, бывало, и улыбается».

В этом наблюдении есть что-то общее с воспоминаниями художника В. А. Симова. С его рассказом о том, как в середине 1880-х годов Чехов приходил в мастерскую, где Коровин, Левитан, Симов и Николай Чехов писали декорации для спектаклей «Частной русской оперы» С. И. Мамонтова: «Весь пол устлан только что сшитыми и загрунтованными занавесями декораций, написанных днем. Играют свежие краски причудливыми заливами <…>. Еще нет ни охлаждающих порицаний, ни увлекающих восторгов. Это один из лучших моментов жизни художника-декоратора — момент самовлюбленности, сменяющийся подчас неудовлетворением, исканием чего-то ярко наметившегося, но еще не достигнутого. Радость и страдание рядом…»

Именно такие моменты и любил Чехов, будь то работа приятелей-художников, актеров или собственное сочинительство. Там, в душной мастерской, он, сидя со всеми на печке, «разглядывал декорации, охотно принимал участие в обмене мнений, высказывая меткие и очень основательные замечания не живописца-профессионала, а просто художника по натуре».

То же и с театром. Чехова занимало, как возникал спектакль, что предшествовало суду зрителей и критиков, сам театральный процесс. Станиславский, наблюдавший за ним в театре, считал, что Чехов «по природе своей был театральный человек. <…> Он любил тревожное настроение репетиций и спектакля, любил работу мастеров на сцене, любил прислушиваться к мелочам сценической жизни и техники театра, но особенное пристрастие он питал к правдивому звуку на сцене». Россолимо, приятель Чехова по университету, запомнил его признание, что он, заканчивая абзац или главу, «особенно старательно подбирал последние слова по их звучанию, ища как бы музыкального завершения предложения». Проверял внутренним слухом, как камертоном.

Может быть, в живом интересе к репетициям, к мелочам сценического оформления проявлялся «режиссерский» слух Чехова, свойственный создателям новой драмы? Или он искал того, что тоже подметил Станиславский: «В большинстве случаев он приходил просто за кулисы и, переходя из уборной в уборную, жуировал закулисной жизнью, ее волнениями и возбуждениями, удачами и неудачами и нервностью, которая заставляла острее ощущать жизнь».

Чехов не дождался в Севастополе спектакля «Чайка». К

холоду добавился ветер, и он уехал в Ялту, а 15 апреля встречал москвичей в своем доме. Начались десять дней прогулок, обедов, ужинов, застолий, разговоров. Гости засиживались до глубокой ночи. Наутро все собирались на набережной, встречались в городском саду, около театра и опять на «Белой даче». Станиславский оставил в воспоминаниях летучую зарисовку тех дней: «Горький со своими рассказами об его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остротами — всё это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников».

Чехов шутил, что это время прошло для него «как в тумане», что он «совсем угорел». Бунину казалось, что Чехов чувствовал себя «сравнительно хорошо». И, конечно, никто не догадывался, что он еще не пришел в себя после кровотечения и шумные многолюдные обеды, поздние ужины, краткий сон, бесконечные разговоры давались ему с трудом, тяжело. А чествование — 23 апреля на последнем гастрольном спектакле («Чайка») и следом, на прощальном завтраке, — донельзя утомило. Но, видимо, пустота, образовавшаяся сразу после отъезда театра, была еще невыносимее, чем зимой. Чехов «удрал» в Москву. Вопреки всему: физической усталости, болезненному состоянию, вестям, что в Москве холодно.

Такие, безрассудные на первый взгляд, срывы случались и раньше. Заканчивались они плачевно. И вновь повторялись. Зачем Чехов в начале мая 1900 года устремился в Москву? Повидаться, может быть, в последний раз с Левитаном? Просто, как он говорил, вдохнуть цивилизации? Или какая-то скрытая причина и неведомая сила потянули в Москву? Всего на одну неделю.

Об этом пребывании Чехова в Москве известно немного. Он навестил Левитана и был убит состоянием друга. В один из дней встретился с Сувориным, который приехал по его телеграмме. Вместе они, как делали не раз, поехали по московским монастырям. Сначала в Новодевичий, где навестили могилу Павла Егоровича. Потом в Донской и в Данилов. Суворин записал в дневнике: «Я ему много рассказывал. Он смеялся. Говорили о продаже им сочинений Марксу. У него осталось 25 000 руб. — Не мешает ли вам то, что вы продали свои сочинения? — Конечно, мешает. Не хочется писать. — Надо бы выкупить, — говорил я ему. — Года два надо подождать, — говорил он. — Я к своей собственности отношусь довольно равнодушно».

Как раз два дня назад, 11 мая, Чехов коротко ответил Марксу на его вежливые, но настойчивые просьбы, похожие на

требования, дать рассказ в «Ниву». Хозяин журнала и издательства нажимал в своих письмах учтиво, но жестко: «Я очень Вас прошу не отказать в присылке мне <…> хотя одного из ближайших новых Ваших произведений. <…>надеюсь, что у Вас найдется что-нибудь готовое для „Нивы“ и можно ли рассчитывать на скорое получение рукописи».

Договор с Марксом не содержал обязательства Чехова печататься в «Ниве». Издатель пытался надавить на «своего» автора, сочинения которого он купил. Ему, видимо, показалось, что он преуспеет в этом. Ответ Чехова — «рассказ я вышлю Вам, как только напишу его» — мог укрепить Маркса в ощущении своих прав. Однако слова «покорного» автора в разговоре с Сувориным — «Не хочется писать» — выдавали сопротивление Чехова. Он ничего не написал для «Нивы». Договор с Марксом словно привнес в работу какую-то «отраву». В это время Чехов многим говорил, что ему не хочется писать, что он не литератор, а врач.

Из Москвы он уехал 17 мая, простуженный, с температурой, расстроенный свиданием с Левитаном. Уже из Ялты спрашивал в письме: «Как Левитан? Меня ужасно мучает неизвестность. Если что слышали, то напишите, пожалуйста». Сестре он сказал, что дни Левитана сочтены. Она написала Книппер 20 мая: «Как жаль Левиташу. Антоша говорит, что он очень плох».

Это были строки из ее письма «милому немцу», как Мария Павловна звала Ольгу Леонардовну. Само послание было об ином: «По тебе сильно скучаю. Если бы ты могла, насколько возможно, приехать раньше. Съездили бы до июля в Гурзуф, устроили бы там вместе все, что необходимо для жизни. Как было бы хорошо! Комнатка наша очаровательна, прохладна и располагает к мечтам. <…> Не увлекайся — лучше Чеховых никого не найдешь! Целую тебя в твою шершавую мордочку, будь здорова и не забывай меня. Сердечный привет всему твоему семейству. <…> Твоя Маша».

Книппер ожидали в Ялте в июле, но Чехов увиделся с нею раньше.

В конце мая он в компании с Горьким, Васнецовым и доктором Алексиным уехал во Владикавказ, оттуда в Мцхет, потом Тифлис, Батум. И это тоже выглядело срывом и обострило болезнь. Будто что-то гнало из дома, вопреки здравому смыслу. Словно проявлялись, как он их называл, «шалые свойства» натуры. Не увлекла же его романтическая встреча с Книппер в поезде Тифлис — Батум, когда они вместе проехали несколько часов до станции, где Ольга Леонардовна с матерью пересела на другой поезд? Но что тогда?

* * *

В майской записи Суворина приведены слова Чехова об одном знакомом докторе, у которого в силу специфики его практики (публичные дома) «масса наблюдений» для рассказов. Но у Чехова в Ялте была своя громада врачебных наблюдений. Еще недавно он жаловался сестре: «Вчера, 25 марта, ко мне приходили непрерывно весь день; всё доктора из Москвы и из провинции присылают с письмами, просят отыскать квартиру, „устроить“, точно я комиссионер!» В этот же день он терпеливо объяснял Меньшикову, просившему от имени брата и сестры Венгеровых дать совет и «указать в Крыму психиатра», готового взять на лечение их душевнобольного родственника, страдающего к тому же чахоткой. Врачи рекомендовали немедленно везти несчастного в Крым.

Чехов с нескрываемым человеческим и профессиональным негодованием отозвался о коллегах: «<…> ваши северные врачи посылают его сюда, потому что незнакомы с местными условиями <…> присылают сюда издалека больных в последнем градусе, умирающих здесь очень скоро, в убогой обстановке, на чужой стороне, в одиночестве… (Эти врачи почти каждый день угощают меня сюрпризами, и я Вам многое расскажу при свидании.) Если процесс в легких только начинается, то есть смысл прислать сюда больного осенью или зимой, но присылать неизлечимо больного, да еще на летние месяцы, когда здесь бывает жарко и душно, как в пекле, и когда в России бывает так хорошо, — это, по-моему, совсем не по-медицински, это значит, попросту, отделаться от больного».

Особенна трагичной, по словам Чехова, оказывалась участь тяжелобольных, которых не принимали ни в семейный пансион, ни в отель, ни на частную квартиру: «Вообще и кстати говоря, здесь, в знаменитом и хваленом русском курорте, единственном у нас, — для призрения больных еще *ничего* не сделано, и русский человек еще пальцем не шевельнул, чтобы сделать что-нибудь».

В эти же мартовские дни он с неменьшим раздражением написал Вишневскому: «Вчера княгиня Барятинская взяла адрес Владимира Ивановича, хочет просить его и Алексеева сыграть в пользу ее санатория. Если решите играть в чью-нибудь пользу, то играйте в пользу Попечительства о приезжих больных, которое *страшно* нуждается в деньгах. У Барятинской много денег, ей помогают и правительство, и аристократы, у Попечительства же пока нет ничего и никого, кроме меня и еще двух-трех человечков».

Московский Художественный театр устроил 22 апреля

литературный вечер в пользу попечительства. Страшной нужды это, конечно, не отменило. Но что делать? Рассказать об этой теплой «каторге», как он рассказал о Сахалине? Написать повесть, но уже не из народной жизни, а из жизни больных, отверженных?

Однажды, в 1895 году, Чехов сказал Шавровой, разбирая рукопись ее рассказа: «Лично для себя я держусь такого правила: изображаю больных лишь постольку, поскольку они являются характерами или поскольку они картинны. Болезнями же я боюсь запугивать». В его записных книжках есть запись: «Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем, это самое неинтересное в его жизни». Есть ироническое: «Отчего умер ваш дядя? — Он вместо 15 капель Боткина, как прописал д[ок-тор], принимал 16». И нет ни одной записи о чахотке (кроме упоминания двух книг, посвященных этому заболеванию). И лишь одна затерявшаяся реплика, то ли услышанная Чеховым от домашних, то ли от кого-то в разговоре: «Кровохаркание: — Это в тебе прорвало нарыв… ничего, выпей еще водочки». То же самое с записями о смерти: «И беда, что <…> эти обе смерти <…> в жизни человеческой не случай и не происшествие, а обыкновенная вещь». Такая же фаталистическая ирония в другой записи: «…глядя в окно на покойника, которого несут: — ты умер, тебя на кладбище несут, а я завтракать пойду».

Это была реплика Суворина. Он описал этот эпизод в дневнике в 1900 году: «Раз, приехав с чьих-то похорон вместе с Чеховым, или с кладбища, куда мы с ним часто ездили, я пил с ним чай у себя дома. Мы сидели вдвоем. Я сказал:

— Вот и меня похоронят и так же вот придут домой, и станут пить чай и говорить о всяком вздоре.

Он засмеялся: „Конечно, будет так“».

Смерть — «обыкновенная вещь», а жизнь, кажется, до самого своего конца оставалась *необыкновенной*. Поэтому, наверно, так значимы в его рассказах и повестях описания последних часов и минут героев. Чехов сплетал реальные признаки и детали с предсмертными видениями. Они будто всплывали из-под спуда житейских воспоминаний, впечатлений, из всего увиденного, пережитого. Может быть, в них проступала та самая, утраченная или вовсе не испытанная человеком или оставшаяся мечтанием радость жизни, ее красота и правда.

Бессрочно отпускной солдат («Гусев»), ввиду болезни возвращающийся со службы домой, кончается в лазарете. Засыпает навсегда: «Снится ему, что в казарме только что вынули хлеб из печи, а он залез в печь и парится в ней березовым веником». Доктор Рагин («Палата № 6»), избитый сторожем Никитой, потрясенный «страшной невыносимой мыслью» о боли,

которую годами терпели от сторожа обитатели палаты, а он, доктор, «не знал или не хотел знать этого», умирает от апоплексического удара: «Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом… сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом всё исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки».

Магистр Коврин («Черный монах»), излеченный врачами от галлюцинаций, но не от наследственной чахотки, едет в Крым, в Ялту. Он умирает в Севастополе, в гостинице: «<…> кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. <…> Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна».

Смерть, как неизбежное мгновение человеческого существования, постоянно присутствовала в письмах, в дневниковых записях, в произведениях Чехова. Как и мысли о том, что за гранью смерти, вне земной жизни, что не измеряется смертной меркой, что не есть человек, а есть «прекрасное, вечное». У него есть запись: «…умирает в человеке лишь то, что поддается нашим пяти чувствам, а что вне этих чувств, что, вероятно, громадно, невообразимо высоко и находится вне наших чувств, остается жить». Но эту грань Чехов не переступал в своих письмах и сочинениях. Хотя признавался одному из приятелей, что будто бы ему однажды являлись привидения.

Всегда и во всем ему оставалось интереснее то, что в пределах человеческих чувств, в пределах видимого мира. Чахотка сокращала его земной срок, но, судя по письмам, усиливала жажду жизни.

Один из современников, встретившийся с ним в Ялте в июне 1900 года, рассказал в письме родным, как Чехов сидел на камне, на берегу моря: «…долго сидел <…> потом, вздохнув, сказал: „Все бы так сидел тут и любовался“». Эту особенность мироощущения безнадежно больных туберкулезом Чехов подметил и описал в судьбах некоторых своих героев. Владимир Иванович («Рассказ неизвестного человека») на пороге смерти боготворил Соню. Ребенка несчастной женщины, ушедшей от мужа, брошенной любовником, отцом Сони, и покончившей с собой. Чужое дитя стало для него всем.

Клеопатра, сестра Мисаила («Моя жизнь»), больная чахоткой, обреченная, ждала ребенка и «уже страстно любила своего маленького; его еще не было на свете, но она уже знала, какие у

него глаза, какие руки и как он смеется. <…> Конца не было разговорам, и всё, что она говорила, возбуждало в ней живую радость».

Есть у Чехова насмешливая, ироничная запись на отдельном листе: «…была жажда жизни, а ему казалось, что это хочется выпить — и он выпил вина». Рядом с этой записью другая, созвучная ей: «На катке; он гонялся за Л., хотелось догнать и казалось, что он это хочет догнать жизнь, ту самую, которой уже не вернешь, и не догонишь, и не поймаешь, как не поймаешь своей тени».

Большая часть этого листа заполнена ремарками и репликами к пьесе «Три сестры». И к рассказу или повести «Калека». Эту рукопись любопытный Лазаревский усмотрел на столе в кабинете Чехова летом 1900 года. Общим мотивом пьесы и рассказа оказалась ускользающая жизнь, безответная любовь, утраченные иллюзии.

* * *

Чехов собирался пробыть в Ялте до августа. Намеревался отправить часть гостей в гурзуфский домик, чтобы меньше отвлекали от работы. В конце июня Лазаревский пришел «навестить» писателя, был приглашен к обеду. Потом перечислил в дневнике всех, кого увидел за столом: Чехов, Евгения Яковлевна, Мария Павловна, Иван Павлович, Ольга Леонардовна.

Записал памятливый гость, о чем говорили. Особенно — свой разговор с сестрой Чехова. Лазаревскому, еще со времен апрельских гастролей Художественного театра, очень понравилась актриса М. Ф. Андреева. Ему даже показалось, что Чехов тоже отличал ее, что она «для его сердца близка». Когда он выказал свою симпатию в беседе с Марией Павловной, та вскинулась и будто бы сказала: «И что в ней находят, право! Ведь играет она совсем уже не так особенно. Не нравится мне она. Она у нас часто бывает. Вот О. Л. Книппер, это другое дело, это прелесть что за человек, и какая большая артистка! Как я люблю ее! Это мой лучший друг».

Осталась в этой дневниковой записи и фраза Чехова о браке. Когда заговорили о семейном счастье, он сказал: «Хороший муж или дурной муж данный человек, сказать трудно и невозможно — это „тайна“». В воспоминаниях Лазаревского эта фраза передана иначе: «Ничего нельзя знать… Счастливы ли муж и жена, известно только им и Богу. Больше никому».

Летом 1900 года, до августа, Лазаревский записал в дневнике

свои «Разговоры с А. П. Чеховым». На рассуждения собеседника о новой, второй книжке своих рассказов Чехов посоветовал подождать года три. И сослался на прошлое, на начало, свое и Горького: «Вы что? Вы аристократ перед нами. Вот сразу в толстые журналы хотите попасть, а мы? <…> Вы образование получили, у вас жена — любящая, прекрасная женщина, а у Горького ничего, ничего этого не было, да и у меня, кроме образования, ничего. Прежде чем так жить, как мы живем теперь, сколько пришлось перемучиться…»

Внимательный «ученик» занес в свой дневник и то, как выглядел Чехов тем летом: «Одет он был <…> положительно франтом. Запонки золотые, желтые ботинки, пиджак, пальто, — всё это самое элегантное». Но настроения Чехова он не уловил. Оно, судя по письму Горькому от 7 июля, было смутным: «К Вам — увы! — приехать не могу, потому что мне нужно в Париж, нужно в Москву <…> нужно оставаться в Ялте, чтобы писать, нужно уехать куда-нибудь далеко, далеко и надолго… Нового в Ялте ничего нет. <…> Когда Вас провожали, я был немножко нездоров, а теперь ничего. Ну, будьте здоровы, счастливы и Богом хранимы. Ваш А. Чехов». Четырехкратное «нужно»; разноречивые намерения (уехать, остаться); конкретность и неопределенность (Москва, Париж, «далеко и надолго») — всё выдавало особое душевное состояние Чехова. Тревожное, будто на пороге каких-то перемен, решений.

22 июля в Москве скончался Левитан. О том, как Чехов узнал и принял эту весть, известно очень мало. Он не обронил ни слова в письмах, не написал впоследствии воспоминаний, хотя обещал Дягилеву. На напоминания ответил, что ему хотелось бы сказать не несколько слов, как его просили, а много. Но откладывал и откладывал, словно что-то удерживало его. Отношения с Исааком Ильичом были из тех немногих дружеских связей, которые длились с первых московских лет Чехова. Истаяли, прервались знакомства с множеством приятелей. От тех лет, от того молодого круга остались только верный Франц Осипович Шехтель, преданные Петр Иванович Куркин и Николай Иванович Коробов. Но они жили в Москве, обремененные семьями, делами, общественными заботами.

С Левитаном навсегда сроднили талант и доверие друг к другу. Их объединяло, наверно, общее чувство одиночества. Того *душевного сиротства*, которое не покидало даже в компании, в толпе, среди родных. Левитан ощутил его в «Чайке», посмотрев спектакль Художественного театра. Он написал тогда Чехову: «От нее веет той грустью, которой веет от жизни, когда всматриваешься в нее». Когда-то, в 1887 году, Левитан описал в

письме Чехову свое состояние и потаенное смятение, когда он угадывал разлитое во всем «божественное нечто», не всем зримое, постигаемое не разумом, не анализом, а любовью. И мучился: «Но это мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения».

Жизнь распорядилась так, что в эти тяжелые дни, в самом начале августа, в Ялту приехала Комиссаржевская. По складу души, по той же, что у Левитана муке — выразить невыразимое, Вера Федоровна была близка Чехову. Он не пригласил ее к себе, на Аутку, где по-прежнему обретались гости, родные. Встречался с ней и ее спутницей М. И. Зилоти в Ялте. В один из дней все вместе они съездили в Гурзуф. Разговоры не получались.

Комиссаржевская написала Чехову перед отъездом: «Я не таким ждала Вас встретить. <…> Знаете, это ужасно странно, но мне все время было жаль Вас. Я совсем не умею ни разобраться в этом ясно, ни тем более объяснить, но жаль, жаль до грусти. А еще что-то неуловимое было все время в Вас, чему я не верю, и казалось, вот-вот какое-то движение надо сделать — и это неуловимое уйдет». Умная, нервная, чуткая, душевно расположенная к своему собеседнику Вера Федоровна нашла точное слово — Чехов был словно «спелёнатый», несвободный, сам не свой. Объяснима печаль Чехова, переживавшего известие о кончине Левитана. Понятна его сосредоточенность — он писал новую пьесу «Три сестры».

Но откуда «*неуловимое*», вызвавшее в ней жалость?

Сказал ли ей Чехов, что среди гостей — Ольга Леонардовна Книппер? И гостья не простая — они уже были на «ты». Первое письмо, отправленное ею 6 августа в Ялту, по дороге в Москву, не скрывало новых отношений: «Будущее лето мы с тобой постараемся пожить на севере, хорошо? <…> Вспоминаю Гурзуф и жалею о многом. Ты меня сейчас немкой выругаешь — правда? Ну, будь здоров, живи, не кисни, пиши и для всех и для меня в особенности. Целую твою многодумную голову, почувствуй мой горячий поцелуй. Addio, мой академик. Люби меня и пиши. Твоя актриса».

Еще откровеннее второе письмо, по прибытии в Москву, после репетиции в театре: «Влад. Ивановичу сказала про наши с тобой грешки. <…> Пиши, ради Бога, пьесу, не томи ты всех, ведь она у тебя вся почти готова. Ну, покойной ночи, спи, отдыхай, люби меня, будь ласков с Машей и матерью. Целую тебя, дорогой мой писатель.<…> Твоя Ольга». О «грешках»

Немирович сообщил Станиславскому: «…она мне сказала, что брак ее с Ант. Павл, *дело решенное*… Ай-ай-ай! Это, может быть, и не секрет, я не расспрашивал. Но она мне так сообщила: „После мамы вам первому говорю“».

Наверно, эта новость не осталась секретом для всего театра. Книппер словно спешила оповестить свое окружение, обозначить свое новое положение в театре, в глазах родных и знакомых. Ей исполнялось 32 года. Дочь прусского подданного, инженера-директора кононовских технических заведений в Вятской и Саратовской губерниях, она окончила курс в Московской частной женской гимназии и в 1885 году сдала экзамен на звание домашней учительницы — как Мария Павловна, как многие ее современницы. Семейная катастрофа не сломила ее, а будто подхлестнула. Эти драматические события остались в намеках окружающих, в неясных слухах: будто бы самоубийство отца и отказ семейства Гончаровых (тех самых, с Полотняного завода), с которыми дружила семья Книпперов, видеть в Ольге избранницу их сына.

С немецким упорством она отстаивала свою самостоятельность, свой выбор профессии, образ жизни, круг знакомств. Умная, наделенная сильным характером, она знала, чего хочет, и добивалась своего. Не злая, не коварная, не завистливая, Ольга Леонардовна держалась в училище, потом в театре своими внутренними правилами. Главное из них: при всех обстоятельствах не терять лица, сохранять чувство меры и юмора. Замеченная и выделенная еще в училище своим учителем Немировичем, она сразу заняла в театре заметное место. О ее даровании Немирович говорил в 1898 году: «определенна», то есть не склонна к романтическому, мелодраматическому, тем более — к символистскому репертуару. Он полагал, что она «еще возьмет свое», что не перегорит на двух-трех ролях, а будет осваивать актерское мастерство спокойно. В ролях, подходящих ее темпераменту и задаткам, внешним данным. Немирович ценил в ней стремление к безупречному исполнению.

Она казалась на сцене умной, интересной актрисой. Совсем иного склада, чем те, кого хорошо знал Чехов, — Комиссаржевская, Савина, Ермолова, Стрепетова, Яворская. В ней в эти годы, по свидетельствам современников, ощущались физическое здоровье, душевное равновесие, «осмысленное» сияние глаз. И надежность, остро необходимая молодому театру на первых порах. То есть терпение, выносливость, готовность всецело принадлежать делу. Художественный театр в те годы укреплял свое материальное основание, вырабатывал внутренний распорядок, формировал труппу и репертуар. В 1900 году

Немирович объяснял, что у них «дорога отличная» только для очень терпеливых людей: «Может пройти год, два, три — и актриса всё будет в тени. <…> Специально же для актеров ставить что-нибудь мы не будем. Решили это бесповоротно».

Но возраст, конкуренция… Ждать годы? Уходить в другой театр? Ехать в провинцию? Вероятно, для Книппер вопрос стоял иначе: только здесь, в этом театре, где к ней пришел успех, где ей покровительствовал учитель, где она ко двору со своим дарованием. Поэтому сама попросила попробовать ее на роль Купавы («Снегурочка»), И, конечно, не скрывала, что рассчитывает на роль в новой пьесе Чехова. Одно название «Три сестры» обещало многое.

Книппер опоздала к началу репетиций, но привезла надежду, что Чехов напишет пьесу к 1 сентября.

После ее отъезда из Ялты возобновилась переписка, ставшая не *сокровенным*, а скорее *житейским* дневником Чехова. За время, оставшееся до конца года, Чехов написал Книппер более тридцати писем. Такого обилия посланий не выпадало даже на долю тех, кому ранее он писал чаще других, то есть сестре и Суворину.

Никому Чехов дотоле, не то что женщинам, но и приятелям, не рассказывал о себе так откровенно: «борода седеет»; «страшно лезут волосы»; желудок «протестует»; «денег выходит чертовски много». Так, наверно, пишут мужья состарившимся вместе с ними женам. Чехов же адресовал свои жалобы и подробности красивой, здоровой, подчеркнуто подтянутой молодой женщине. Он словно скрыто предупреждал ее, за кого она так стремится замуж.

Действительно, даже с прошлого года Чехов заметно изменился внешне: борода сильно поредела и поседела; складки над переносицей и морщины под глазами стали еще глубже. Выражение глаз — еще напряженнее. Он выглядел старше своих сорока лет. Элегантные костюмы не могли скрыть нездоровой худобы.

Еще недавно Чехов называл главной причиной своей скуки ялтинское окружение, одиночество. Теперь он писал Книппер: «Милая, славная <…> думаю о тебе, мечтаю и скучаю оттого, что тебя здесь нет»; — «Без тебя я повешусь»; — «Мне без тебя адски скучно»; — «Журавль скучает. Я тебя люблю»; — «Милая моя Оля, ангел мой, мне очень, очень, очень скучно без тебя»; — «Страшно скучаю. Понимаешь?»

Чехов обращался к ней так, как дотоле ни к кому в жизни: «радость моя»; «моя актриса»; «девочка хорошая»; «хорошая моя актрисочка»; «милая моя»; «немочка моя хорошая»; «милюся моя»; «миленькая моя»; «ангел мой»; «бабуся»; «дуся моя»; «крокодил

души моей»; «актрисочка замечательная»; «Оля, голубчик»; «моя золотая, ненаглядная девица»; «душка». Но ей было мало. Она упрекала, что он холоден, что письма его «не очень нежные». Сама Книппер называла его: «мой Антон»; «Антон, родной мой»; «мой человек будущего»; «славянский халатик»; «академик»; «большое дитя»; «милый писатель»; «ялтинский отшельник»; «нежный мой Антон»; «далекий милый человечек».

Она постоянно напоминала о минутах близости: «Почувствуй мой горячий поцелуй»; — «Помнишь, как ты меня на лестницу провожал, а лестница так предательски скрипела? Я это ужасно любила»; — «Я никуда не хожу, никого не хочу видеть.

А тебя хочу, хочу, хочу, хочу, хочу…»; — «Неужели тебе не хочется увидать твою актриску, поцеловать, приласкать, приголубить? Ведь она твоя». Он отвечал на это с легкой усмешкой: «Целую тебя крепко, крепко, четыреста раз»; — «Целую тебя крепко, до обморока, до ошаления»; — «Пиши мне почаще, не скупись. За это я тебя награжу, я тебя буду любить свирепо, как араб».

Так протекал их эпистолярный «медовый месяц», не после женитьбы, а в ожидании ее. Книппер уже сочла вопрос решенным и писала то в шутку, то всерьез: «Знаешь, мне в Москве проходу не дают. Многие уверены, что мы уже повенчаны. <…> родных моих все поздравляют, а те физиономии вытягивают, т. к. ничего не знают». Она не преминула передать театральные розыгрыши на этот счет: «Вишневский меня почему-то называет „бедной невестой“ и при этом громко и значительно хохочет <…>. Санин мне разрешает меньше давать на подписки, т. к. „этой девушке нужны теперь деньги“, говорит он. Ты не понимаешь, на что они все намекают?»

В связи с возможным приездом Немировича в Ялту Ольга Леонардовна предупреждала Чехова: «Если он с тобой заговорит, ты от меня не отрекайся по твоему обыкновению и не ставь меня в неловкое положение, т. к. он знает, что я с ним говорила с твоего ведома, понимаешь?» И вопросы в письмах пыталась задавать сразу как деловая, энергичная, заботливая жена: «Пыль вытирают? Сюртуки тебе чистят и желтые туфли, или нет?» Словно она уехала ненадолго из дома и инспектирует прислугу. Он снижал это заочное подчеркнутое попечительство юмором: «Хожу весь в пыли, в пуху и в перьях!»

Она словно сомневалась в их совместном будущем и всё вопрошала: «А ты мне веришь?»; — «А ты думаешь?» В ее письмах осенью 1900 года зазвучал повелительный тон: «Живи, не кисни, пиши»; — «Люби меня и пиши»; — «Отдыхай, люби меня»; — «Пиши больше о себе, всё пиши»; — «Не злись, люби меня

крепко»; — «Напиши, что любишь меня».

Ей, наверно, была необходима определенность, понятная в такой ситуации: «Люби меня и приезжай и опять люби, чтоб было много любви, тепла, и ради Бога, не таи ничего в себе, все говори, чтоб все было ясно, все договорено». Однако Книппер не нажимала. Поэтому в ее августовских и сентябрьских письмах настойчивые вопросы смягчались лирическими пассажами: «Боже, пишу, как институтка!» И в самом деле, мелькали выражения — «светло смотрят вдаль»; «ужасно мне стало хорошо на душе»; «с диким восторгом»; «страшные муки». Но при этом очень выразительно описывала великолепную ветчину на дне рождения дядюшки; чаепитие у Вишневского; уютную новую квартиру Марии Павловны и обеды, ужины, поездки…

Книппер много репетировала в ту осень, работала над несколькими ролями. Однако не затворничала. Ее письма Чехову пестрели словами — «кутили», «хохотали», «пили ликеры», «болтали», «много смеялись», «подурили», «побегали», «шумно обедали». Иногда словно спохватывалась, называла Ялту «ссылкой» и воображала: «Как мне хочется посидеть у тебя в кабинете, в нише, чтоб было тихо, тихо — отдохнуть около тебя, потом потормошить тебя, глупостей поговорить, подурачиться». Но мимолетные мечтания таяли, и опять сердце «прыгало» в ней от радости жизни. Чехов говорил, что даже вопросы «выпрыгивают» из ее писем. И потому жалобы Книппер в это время на тоску, на хандру выглядели как издержки интересной, полной, нескучной жизни.

И все-таки за всеми словами, уверениями, просьбами все время мыслилась, подразумевалась осенью 1900 года пьеса «Три сестры».

* * *

Книппер внушала, что пьеса «*должна*» выйти отличной. Она обещала, если автор привезет рукопись к сроку, не только обиходить его, но и «душу разгладить». Ольга Леонардовна даже выговаривала Чехову за то, что он не гонит в шею визитеров, проводит дни «в пустой болтовне». Она ждала новую роль: «Как я буду счастлива, как я буду ликовать!»

В этом нетерпении, в своей московской, деловой и неделовой, суете Книппер не сразу ощутила первый кризис в их отношениях. Чехов написал ей 30 августа, что болен. Она заметила только первые строки: «Милая моя Оля, я жив и здоров, чего и тебе, актрисе, желаю». Последние же — «Был немножко нездоров,

ворчал, а теперь ничего, опять повеселел» — оставила без внимания. Видимо, не уловила еще особенности его писем (писать о нездоровье между строк), поэтому не придала им значения. Свой ответ начала словами: «Как я рада, что ты здоров и что ты работаешь».

Через две недели Чехов не скрыл, что *очень* болен: «А я вот уже 6 или 7-й день сижу дома безвыходно, ибо всё хвораю. Жар, кашель, насморк. Сегодня, кажется, немного лучше, пошло на поправку, но всё же слабость и пустота, и скверно от сознания, что целую неделю ничего не делал, не писал. <…> Приехал Альтшуллер». Книппер тут же набросала ответ: как ждет его в Москве, как ей будет с ним «покойно, хорошо», а рядом с ней и ему будет лучше: «Буду тебя любить, холить, буду тебе петь».

Едва ли бы он смог сейчас же, немедленно пуститься в путь, как бы ему ни хотелось вырваться из «своей тюрьмы», из Ялты.

Книппер же настаивала: «Если ты не можешь жить здесь зиму — я тебя *должна* видеть перед наступлением зимы, а то мне будет слишком тяжело, милый мой Антон. <…> Ты должен приехать. Милый, голубчик, скорее, скорее будь здесь. Нам надо увидеться».

С середины августа Чехов работал над новой пьесой. Мелким, уже не бисерным, а микроскопическим почерком он заполнял листы репликами, ремарками. И не знал — допишет ли, не бросит ли…

Пьеса не вытанцовывалась и казалось, что всё мешает. Дурная ветреная погода, гости, плохое настроение, которое выдавали грубые словечки («рыло», «подло», «чертовски», «околеть»), И оборот — «Ну, да всё равно». Так Чехов говорил, когда считал объяснения напрасными, бесполезными. Эти слова перешли в рукопись, лежавшую на столе, и отданы трем героям, чья судьба сложилась трагически (Тузенбах, Чебутыкин, Маша).

Напряженную работу над «Тремя сестрами» выдавали и другие фразы, то ли перешедшие из писем в пьесу, то ли из пьесы в письма: о московском трактирчике, в котором Чехов охотно посидел бы теперь. Или о том, с каким удовольствием он поехал бы куда-нибудь. В августовских и сентябрьских письмах Чехов без конца упоминал бездождье, засуху, сохнущие деревья, ветер, сердитое море. Хотел уехать за границу по маршруту — Париж, Ницца, Африка: «Как-нибудь протяну до весны, до апреля или мая, когда опять приеду в Москву». Он умолял Книппер писать ему чаще, больше, потому что ее письма улучшали настроение, которое, по его словам, «почти каждый день бывает сухим и черствым, как крымская земля».

Письма Чехова к Книппер в это время необычны для него в

обращениях и концовках. Они ласковы, нежны. Всё остальное — рассказ о быте, вопросы, упоминания пьесы. И почти ничего о своем душевном состоянии. О нем он писал другим. Например, Комиссаржевской: «Я чувствую, как здесь я не живу, а засыпаю или всё ухожу, ухожу куда-то без остановки, бесповоротно, как воздушный шар». Признавался сестре, что ему мешают, что «всё кажется, что писать не для чего, и то, что написал вчера, не нравится сегодня». Некоторым знакомым говорил, что чувствует себя забытым, надеется протянуть подступающую зиму.

Свое состояние он назвал «полусном». Не сном и не явью. Говорил, что хотел бы «очнуться». Может быть, поэтому так эмоциональны приветствия и прощания в его письмах к Книппер? Будто опасался, что переписка вот-вот оборвется и всё пойдет по-старому, как прежде.

Вот этого настроения, видимо, не ощущала Книппер на таком далеком расстоянии. Она думала и писала всё более об их отношениях, о браке, о судьбе сезона. Даже подозревала, что он раздумал жениться. В письме от 24 сентября поставила вопрос просто: «Или ты меня знать не хочешь, или тебе тяжела мысль, что ты хочешь соединить свою судьбу с моей? Так напиши мне все это откровенно, между нами все должно быть чисто и ясно, мы не дети с тобой».

25 сентября в Ялту ушла телеграмма Немировича: «Измучились от ожидания твоей пьесы нужна чрезвычайно. Когда приедешь?» Театру действительно очень нужна была новая пьеса. Особенно после неуспеха «Снегурочки».

Книппер, чего она не скрывала, нужна была ясность. На самом деле, «не дети». Она почти велела: «Ну, подумай и отвечай твоей *Ольге*». Он ответил 27 сентября. Удивился ее тону, объяснил задержку с отъездом исключительно болезнью. Отклонил всякие объяснения «с серьезными лицами, с серьезными последствиями». И еще раз повторил: «<…> я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, еще долго, т. е. что я тебя люблю — и больше ничего». Свое состояние Чехов, наверно, передал в этом письме описанием крымской природы: «Бедные деревья <…> за всё лето не получили ни одной капли воды и теперь стоят желтые; так бывает, что и люди за всю жизнь не получают ни одной капли счастья. Должно быть, это так нужно».

Эти слова оказались созвучны реплике героя новой пьесы. Тузенбах, уходя на дуэль, в который раз говорил Ирине слова любви. В ответ услышал ее обещание быть верной и покорной женой, но «любви нет, что же делать». И попрощался: «Надо идти, уже пора… Вот дерево засохло, но всё же оно вместе с другими

качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то всё же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая… (*Целует руки*)».

Свое письмо от 27 сентября Чехов закончил словами: «Прощай, прощай, милая бабуся, да хранят тебя святые ангелы. Не сердись на меня, голубчик, не хандри, будь умницей». Его объяснение в любви подразумевало любовь. Ее слова о любви не скрывали вопроса о замужестве.

Но не вопрос о семейном укладе, общем доме, ее переезде в Ялту, уходе из театра. Об этом в письмах Ольги Леонардовны пока не было ни слова, словно факт женитьбы не менял их жизни.

Он не мог излечиться от болезни. Она не могла бросить театр. Ситуация ясно и просто определена в финале этого письма: «Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству». Назавтра Чехов написал еще одно очень спокойное письмо.

Книппер ответила как-то небрежно. Попросила извинить за последние «сумасбродные» письма. Подчеркнула тоном, что ей тоже несладко живется и пусть он это берет в расчет: «Если любишь, так поймешь». Затем рассказала о неудаче театра со «Снегурочкой». И не преминула поведать об ужине в «Континентале», где актеры в компании Горького и Бунина кутили до утра. Закончила и вовсе обидно: «Что ты там делаешь целые дни? О чем ты можешь беседовать с М-те Бонье? Слушать сплетни, переливать из пустого в порожнее? Такая жизнь должна давить. Тебе надо вон из этой тухлятины, pardon за выражение. <…> Люби меня и верь мне. А ты мой?»

На другой день, словно спохватившись, написала совсем другое письмо: о восторгах зрителей на спектакле «Дядя Ваня». О любви к нему публики. О том, как она чувствует свою роль в этой пьесе своего «милого скромного писателя». Риторически вопрошала и заверяла: «Так ты меня любишь? Мы с тобой будем хорошо, хорошо жить, несмотря на всяких бесов. Я в этом слепо убеждена».

В последующих посланиях этой осени Книппер — покорная, кроткая, заботливая: «Мне больно думать, что ты там один живешь, я не могу этого переварить»; — «Я не знаю, как я переживу эту зиму <…> не знаю, чем утешить себя, — работой только, разве».

Кризис, судя по всему, миновал. Чехов собирался приехать в Москву в середине октября, пожить всего пять дней и уехать за границу. Словно он сбегал ото всего и ото всех. Такое усталое спокойствие, похожее на равнодушие, ощущалось в письмах Чехова в моменты, как он говорил, «круглого одиночества».

Теперь оно, возможно, совпало с окончанием работы над «Тремя сестрами» и даже, может быть, помогло закончить пьесу.

* * *

Пьеса далась Чехову нелегко, о чем он написал Горькому: «Ужасно трудно было писать „Трех сестер“. Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — генеральские дочки! Действие происходит в провинциальном городе, вроде Перми, среда — военные, артиллерия».

Теперь, когда погода улучшилась, состояние чуть-чуть поправилось, пьеса была написана, он не хотел ехать в Москву. Там театр, неизбежные объяснения с Книппер, а тут, наконец, работается. Но его ждали, и в конце октября Чехов отправился в путь. Остановился не у сестры, где гостила Евгения Яковлевна, не у брата Ивана, а в гостинице «Дрезден» на Тверской. И прожил не четыре-пять дней, но полтора месяца. Очень нелегких, порой тягостных.

Вскоре после приезда случилось несчастье. Покончил с собой Абрам Синани, студент, сын И. А. Синани, доброго ялтинского знакомого, хозяина книжной лавки. Исаак Абрамович все последние годы охотно брал на себя поручения в связи со строительством «Белой дачи», гастролями Художественного театра. Его лавку — место встречи ялтинцев и приезжих — знали все в городе. Что побудило молодого человека к самоубийству? Чехов говорил, что «мальчик погиб от меланхолии». Просил знакомых не уточнять при расспросах, что произошло на самом деле, чтобы пощадить родителей. Потом ходили неясные слухи, будто А. Синани состоял в террористической организации и, то ли спасая товарищей от ареста, то ли не решившись на террористический акт, покончил с собой. Но это могли быть только слухи.

Опознать самоубийцу почему-то попросили Чехова. Он поехал не один, а с С. С. Голоушевым, знакомцем с университетских времен, а теперь по общему театральному кругу. Голоушев запомнил поездку. Они ехали в пролетке. На вопрос спутника о самочувствии Чехов якобы ответил: «По правде сказать, плохо. Мы ведь с вами два авгура, и нам скрывать друг от друга нечего. Чувствую, что сидит во мне враг, проник во все поры моего тела и ест меня, ест не останавливаясь. В сущности, он даже меня и съел. Остался только один футляр, который живет по недоразумению. И сказал я тоже всё, что мог. Сказать мне больше нечего, и смешно, что от меня всё еще чего-то ждут…» Как

рассказывал Голоушев, Чехов помолчал; затем усмехнулся и продолжал: «Стал я, знаете, похож на вареного рака в портерной. Какой-то шутник давно съел в нем всё, что только можно было съесть, а потом аккуратно сложил скорлупу и оставил на тарелке, а дураки думают, что рак еще совсем целый и что им еще отлично можно полакомиться».

Чехову предстояло встретить отца самоубийцы, сообщить о несчастье и быть рядом в эти ужасные дни.

Время шло, отъезд за границу все откладывался. То из-за хорошей погоды (легкий мороз, безветренно). Потом Чехов простудился и ждал, когда пройдет головная боль и стихнет кашель. Но, избавившись от недомогания, все равно тянул с точной датой. Он, по его выражению, «увертывался» от некоторых встреч и визитов и кочевал между гостиницей, квартирой сестры и Художественным театром, где днем бывал на репетициях, а вечером на спектаклях. Встречался в Москве с Горьким и Васнецовым. Познакомился с В. А. Серовым, настойчиво просившим о нескольких сеансах для портрета.

Работал он урывками, переписывал пьесу, о которой сказал в письме к Комиссаржевской от 13 ноября: «Пьеса вышла скучная, тягучая, неудобная <…> и настроение, как говорят, мрачней мрачного». Говорили об этом и артисты после чтения пьесы в театре. Чехов слушал с ними вместе и, по воспоминаниям присутствовавших, нервничал. Первые минуты после чтения напоминали отчасти давнюю ситуацию в гостиной Яворской, когда собравшиеся литераторы, актеры недоумевали, что за странная пьеса «Чайка». Теперь «Три сестры» показались не пьесой, но всего лишь схемой, вместо ролей какие-то намеки.

Актеры задавали Чехову вопросы о смысле той или иной реплики, ремарки. Он отвечал кратко, неохотно, почти раздраженно. И уверял, что он писал комедию, никак не слезоточивую драму. Получалось, что пьесу следует доработать, но не к следующему сезону, как полагал Чехов, а теперь, до отъезда за границу.

В Москве заговорили о «Трех сестрах», пошли толки в публике. На спектаклях, где бывали Чехов и Горький, им устраивали шумный прием, который Чехов называл скандальным и неуместным. В один из вечеров в антракте спектакля «Чайка» Горький и Н. Д. Телешов пили чай в кабинете дирекции. Крики «Горь-ко-ва!!», шум в коридоре, стук в дверь вынудили Горького выйти в коридор и обратиться к толпе с недоумевающим укором: «Мне, господа, лестно ваше внимание, спасибо! Но я не понимаю его. Я не Венера Медицейская, не пожар, не балерина, не утопленник. <…> мне обидно, что вы, слушая полную

огромного значения пьесу Чехова, в антрактах занимаетесь пустяками».

Газеты, в том числе «Новое время», перевирая факты и слова Горького, бранили его за якобы неуважение к публике, к обществу. Чехов написал Суворину: «То, что пишется в „Новом времени“ о Горьком и обо мне, — неверно, хотя и пишется очевидцами». Его не могло не расстроить мнимое сочувствие автора заметки «Из публики», на самом деле бестактное и безжалостное: «Мы с участием смотрели на него, как на человека, по слухам, больного, радуясь, что он на вид здоровее, чем говорят. Отчего публике не посмотреть на своих любимцев?»

Журналисты с каждым годом всё бесцеремоннее вторгались в личную жизнь известных людей, добывали слухи, сплетни, искажали факты. Весной 1900 года Чехов сказал Книппер, что газеты никогда не писали о нем правды.

В такой обстановке визитов, встреч, просьб, газетной шумихи он работал в гостинице, все еще откладывая отъезд из Москвы. Немирович говорил впоследствии, что Чехов тех дней остался в его памяти — «энергичный, веселый, помолодевший — просто счастливый; охвачен красивым чувством и новую пьесу уже переписывает». Чехов рассказывал в ноябрьских письмах 1900 года совсем о другом: «Приехал сюда совершенно здоровым, а теперь опять кашляю и злюсь, и, говорят, пожелтел»; — «Все эти дни мне нездоровится, голова болит очень»; — «Был здоров, даже очень, а теперь опять стал покашливать. Пора уезжать».

Так он писал тем, кому доверял. Остальным мог сказать, что все замечательно, что он «благоденствует». На самом деле превозмогал себя и по утрам работал в гостинице.

В начале декабря погода изменилась к худшему. Чехов, как ни хвалил Москву, устал от нее. В эти дни он получил от Маркса в соответствии с договором 10 тысяч, а оставшиеся 15 тысяч, последнюю сумму, попросил перевести в январе в Москву, на имя сестры. Не успев внести все изменения в пьесу, Чехов уехал 10 декабря за границу. Чуть ранее он пошутил в письме Суворину, что слух о его женитьбе — «неправда», а правда в том, что он отбывает «в Африку, к крокодилам».

Глава шестая. СНОВА В НИЦЦЕ

Чехов не уточнял, когда вернется в Россию. Говорил кратко: до весны. В Ницце он опять поселился в том же «Русском пансионе», что и три года назад. Встретился со старыми знакомцами — Ковалевским, Юрасовым. Казалось, ничто не изменилось — те же обильные обеды, такие же неинтересные

русские дамы, опять уличные певцы… По-прежнему прекрасная погода — теплая, ровная. Знакомое ощущение: «Жизнь здесь совсем не такая, как у нас, совсем не такая… И богаты чертовски, и здоровы, и не старятся, и постоянно улыбаются». В общем, «как в раю»: цветы, музыка, поспевающие апельсины.

Сам он не был не то что «чертовски», а даже просто богатым человеком. Теперь денежным источником оставались только доход с постановок пьес и гонорар за первую публикацию в газетах и журналах.

Жизнь Чехова в последние годы будто шла по кругу. Он возвращался то в Ялту, то в Москву, то в Ниццу. Но не прежним, а сильно изменившимся, что отметили ницкие знакомые Чехова. Хотя ему показалось, что после Москвы он здесь помолодел на десять лет. Его письма к Книппер из Ниццы походили на летние, но обращениями и прощаниями он словно подчеркивал разницу в возрасте, свою немощь и ее расцвет. Он звал ее: «баловница моя», «девочка моя», «ангел мой», «деточка моя». Она подчеркнуто напоминала их свидания в гостинице «Дрезден». Шутливо, но твердо определяла распорядок его жизни: отдыхать, здороветь, работать, хорошо есть, жить с комфортом, думать о ней, говорить ей слова любви. Ее письма прерывались распоряжениями Чехову. Надо чаще писать Евгении Яковлевне — «Зачем огорчаешь старуху?» Надо благодарить сестру за попытки продать Кучукой — «Ты ей должен хороший процент дать за хлопоты, слышишь?»

Конечно, не меркантильные соображения диктовали такие наказы. Но, наверно, демонстрация, что она уже член семьи, будущая хорошая невестка. И вовсе не то, что есть актриса в глазах обывателей. Теперь она претендовала на большее: знать, что у него на душе. Может быть, такой виделась ей роль спутницы, жены Чехова: поднимать его настроение, ободрять, воодушевлять… Отсюда в ее письмах бесконечные пожелания: «Что у тебя на душе? Не надо только гнета, не надо едкой тоски»; — «Живи с комфортом»; — «Ах ты, киселек славянский»; — «Ты не застывай там»; — «Будь здоров, весел, бодр».

Слова «бодро», «крепко» — одни из самых любимых в ее лексиконе. Иногда письма в Ниццу напоминали речи Шурочки, героини из пьесы «Иванов», обращенные к Иванову («Уверяю тебя, мой дорогой… Вот тебе моя рука: придут хорошие дни, и ты будешь счастлив. Будь бодр, погляди, какая я храбрая и счастливая…»). И одновременно в письмах, словно реплики Аркадиной из «Чайки», когда Книппер писала: «Целую твою милую голову и хорошие глаза твои, и мягкие волосы, и губы, и щеки, и умный лоб и прижимаю тебя к груди, и люби, люби меня и пиши чаще твоей собаке». Или вдруг фразы, созвучные

репликам Елены из «Дяди Вани», тоже роль Ольги Леонардовны: «Мне сейчас хочется читать красивые, красивые стихи и глубокие». Даже реплики из «Трех сестер» вдруг появились в ее письмах, как отзвуки репетиций этой пьесы в театре: «…всё хорошо, всё от Бога»; — «Сегодня и завтра свободна».

Может быть, она хотела говорить, вольно или невольно, на языке его созданий? Пусть на словах, но сблизиться с ним в привычках, в пристрастиях. И поэтому признавалась, как нравится ей московский звон, как хочется ей пойти в церковь, «постоять там со своими мыслями». А за всем этим следовало: «Гуляешь ли, как распределены твои часы, скоро ли начнешь писать?»; — «Начал что-нибудь писать, или все фланируешь?»

На наказы, ободрения, призывы Чехов отвечал иногда с иронией: «<…> а я всегда — правда твоя — был кисель и буду киселем, всегда буду виноват, хотя и не знаю, в чем. <…> Я твой!

Возьми меня и съешь с уксусом и прованским маслом». Он рассказывал о работе над пьесой. Говорил, что удивляется, как он мог написать «сию штуку». Для чего? Зачем? Но при этом просил, настаивал, чтобы она писала о репетициях.

Ольга Леонардовна писала. Подробно, интересно. О своей Маше Прозоровой, для которой она нашла тон «аристократки с изящной резкостью». О детали, найденной Станиславским, чтобы передать настроение в сцене Маши и Вершинина — «мышь скребет». Станиславский вспоминал впоследствии, как это произошло. Артисты выучили роли, вроде бы всё стало ясно, понятно: «И тем не менее пьеса не звучала, не жила, казалась скучной и длинной. Ей не хватало *чего-то*».

Пробовали то, другое, но становилось еще скучнее. В один из вечеров от бессилия актеры просто замолчали на полуслове: «Кто-то стал нервно царапать пальцами о скамью, от чего получился звук скребущей мыши. Почему-то этот звук напомнил мне о семейном очаге; мне стало тёпло на душе, я почуял правду, жизнь, и моя интуиция заработала. <…> Оказывается, они совсем не носятся со своей тоской, а, напротив, ищут веселья, смеха, бодрости: они хотят жить, а не прозябать».

О том, что роль Маши у нее получилась не сразу, Книппер не писала. То ли понимала, что всё еще наладится, то ли не хотела огорчать Чехова. Его состояние угадывалось по косвенным признакам. Он отменил до будущего года поездку в Египет и Алжир. Однажды пожаловался, что болит спина. Но перемену в планах объяснил не недугами, а тем, что в Ницце ему хорошо работается. Он встречался с соотечественниками, зимовавшими здесь, в том числе с художником В. И. Якоби, которого не все из

русских жаловали. Он любил рассказывать сальные анекдоты и поносить окружающих. Но Чехов усмотрел в этом не злобность и склонность к пошлости, а скорее попытку одолеть страх смерти.

Они познакомились осенью 1897 года здесь же, в Ницце. Вас. И. Немирович-Данченко запомнил свой разговор с Чеховым о злоязычном художнике и слова собеседника: «Вы всмотритесь: рассказывает анекдоты, хохочет, а в глазах у него ужас смерти… Да, впрочем, что ж… Мы все приговоренные. <…> Иной раз мне кажется, все люди слепы. Видят вдали и по сторонам, а рядом, локоть о локоть, смерть, и ее никто не замечает или не хочет заметить… Вон Якоби, тот себя одурманивает скверными анекдотами, и ведь он, как и я, видит ее, видит!»

Так ли говорил Чехов или мемуарист прибавил что-то от себя, но в «райской» Ницце всегда хватало печальных впечатлений. Не таких и не столько, как в Ялте, но все же… Зимой 1900 года Чехов навестил в Ментоне сестру Немировича. Назавтра написал Книппер: «Она больна чахоткой, скоро умрет». Одна из соотечественниц, жившая в пансионе, и годы спустя не забыла взгляда Чехова в ответ на свою реплику за обеденным столом, что в Ялте живут «бывшие люди».

Новый, 1901 год в пансионе встречали вместе, но Чехов скоро ушел к себе. Его раздражали надоевшие разговоры и «ужасно скучные» дамы, напрасно обращавшие на себя внимание известного писателя. Два года назад его не знали и не узнавали. Теперь, после многочисленных рецензий на спектакли Художественного театра, его успеха у молодежи, газетного шума вокруг Чехова и Горького, всё изменилось. Чехов стал узнаваем, о чем рассказал Книппер: «Со мной обедает много дам, есть москвички, но я ни полслова. Сижу надутый, молчу и упорно ем или думаю о тебе. Москвички то и дело заводят речь о театре, видимо, желая втянуть меня в разговор, но я молчу и ем. Мне бывает очень приятно, когда тебя хвалят. А тебя, можешь ты себе представить, очень хвалят. Говорят, будто ты хорошая актриса».

Однажды он все-таки откликнулся на эти разговоры. И пошутил, что вот, мол, Книппер на сцене такая красивая и смелая. На самом деле она по субботам ходит к всенощной, дома штопает чулки, а ее мамаша во время спектакля сидит за кулисами, вяжет и наблюдает за дочерью.

* * *

Иногда он поднимался на «русское» кладбище. Чехов любил открывавшуюся отсюда даль. Вас. И. Немирович-Данченко привел

в воспоминаниях его слова, когда-то услышанные им от Чехова здесь, в Ницце: «Как жить хочется! Чтобы написать большое-большое! <…> А в ушах загодя — „вечная память“».

Чехов никому никогда не писал пространно о смерти. Не философствовал на этот счет. Смерть есть смерть. В отрочестве он не по своей воле участвовал в отпевании покойников. В юности видел умирающих в клинике, в больнице. В Мелихове сталкивался со смертью детей, гибелью крестьян от заразных болезней, пожаров, травм, алкоголя. С какого-то момента он перестал упоминать свой давний-давний сон о похоронной процессии, втягивающейся в кладбищенские ворота. Это совпало со временем, когда участью детей в его сочинениях все чаще было сиротство.

В только что законченной пьесе на всё ложилась тень воспоминаний об умерших родителях. Не ужасная, не роковая, но очень значимая в общей тональности пьесы, в ощущении преходящей жизни и неизбежной смерти. Это ощущение, будто дождавшись своего срока, вернуло Чехова к давно возникшему сюжету об умирающем архиерее. О судьбе человека, вроде бы достигшего всего, доступного в его положении. Но почувствовавшего на пороге смерти, что «не всё было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать <…> и в настоящем волнует всё та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей».

В воспоминаниях преосвященного Петра упоминались белая церковь, в которой он служил за границей, шум теплого моря: «И вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом». Неизвестно, в какой момент работы над рассказом возникли эти строки, но в них, конечно, жило чувство, пережитое автором в Ницце.

Однако рукопись рассказа «Архиерей» в который раз оказалась отложенной, интонация новогодних поздравлений приглушенной. Шутки звучали невесело: «Тебе нужен муж, или, вернее, супруг с бакенбардами и с кокардой, а я что? Я — так себе». В этот же день, 2 (15) января, написал Книппер еще одно письмо: «Сегодня я весь день сижу дома, как и вчера. Не выхожу. <…> Целую тебе обе руки, все 10 пальцев, лоб и желаю и счастья, и покоя, и побольше любви, которая продолжалась бы подольше, этак лет 15. Как ты думаешь, может быть такая любовь? У меня может, а у тебя нет. Я тебя обнимаю, как бы ни было…»

Чехов и Книппер обменивались письмами, но, наверно, не

находили в них того, что ждали. Ей недоставало элегии, лирических или шутливых описаний. Он не находил рассказа, как идут репетиции «Трех сестер», и потому воображал, что всё плохо и провал неизбежен. Едва ли не внушал себе, что катастрофа неизбежна: «Как идут „Три сестры“? Ни одна собака не пишет мне об этом»; — «Как идет пьеса? <…> И когда я здесь виделся с Немировичем-Данченко и говорил с ним, то мне было очень скучно и казалось, что пьеса непременно провалится и что для Художественного театра я больше писать не буду».

Эту тоску предчувствий Чехов называл *меланхолией*, улавливал умалчиваемое в письмах Книппер. Прямо спросил ее однажды о роли Маши: «Хорошо ли ты играешь, дуся моя? Ой, смотри! Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. <… > Понимаешь?»

Их самочувствие не совпадало и не могло, видимо, совпасть. Она уверяла в начале января 1901 года, что у нее на душе «хорошо и спокойно и тепло пока», что она избавилась от простуды и теперь «хорошая, розовая, теплая», «хочется всему улыбаться», что душа ее «ликует», «хочется жить бодро»: «Хотела бы перелететь к тебе хоть на несколько часов, поболтать, обнять тебя, поцеловать, потрепать, за волосы — о pardon, academicus! И подурить хочется с тобой. Но ведь это всё будет, да? Пока мысленно проделываю».

В его письмах за фразами «всё благополучно», «всё равно», «всё по-старому» скрывалось смятение. Пьеса была во власти театра. Беспокойство словно разъедало, и Чехов говорил, что у него «ржавчина» на душе. Просил: «Пиши, собака! Рыжая собака! Не писать мне писем — это такая низость с твоей стороны!» Она писала, и часто, и много, но не о том. Без конца — «люблю», «люби», «будем любить», «думай обо мне», «думай о нашей жизни», «чувствуй, что мне хорошо», «хочу тебя поласкать», «не кисни, полней, здоровей», «спи спокойно». Наверно, он просил не об этих эпистолярных объятиях, подбадриваниях и уверениях в любви. Но о главном для него в эти дни: «Хоть бы написала, что делается с „Тремя сестрами“. Ты еще ничего мне не писала о пьесе, решительно ничего, кроме того, что была-де на репетиции или репетиции сегодня не было. Отколочу я тебя непременно, чёрт подери».

Ему писали другие: Станиславский, Вишневский, И. А. Тихомиров. Так что какое-то представление о спектакле у Чехова могло сложиться. Однако он улавливал что-то тревожное в атмосфере репетиций, в обстановке вокруг театра. Газеты писали

о спаде интереса к «художественникам», об упованиях театра и зрителей на новую пьесу Чехова.

В таких условиях премьера становилась событием, которого одни ждали с радостью, а недоброжелатели Чехова и Художественного театра, может быть, с расчетом на провал. Недаром Боборыкин, с его нюхом на всё новое, спорное, уловил отношение к театру и передал в новой повести «Однокурсники». Боборыкин славился тем, что всё увиденное тут же «укладывал» на страницы своих рассказов, повестей и романов. И не стеснялся признаваться в этом. Он не утаил в воспоминаниях, что один из персонажей его романа «Ходок», писатель Малышев, списан с Чехова. Как тип, «и по содержанию и по форме». И в этом «портрете», и в устных отзывах Пьер Бобо, как звали Боборыкина современники, не мог скрыть своей зависти к успеху Чехова. Он тщился уловить самые модные, сиюминутные увлечения, идеи, разговоры, а молодые чтят Чехова, ждут его новые повести, рассказы и особенно пьесы.

В дневнике Смирновой сохранилась запись от 3 января 1897 года: «В шекспировском обществе Боборыкин сделал скандал Урусову за то, что тот в своем реферате превознес чеховскую „Чайку“. Боборыкин имени Чехова не может слышать.

— А мы что же! — подскочил он к Урусову. — Мы, значит, все посредственности!

— Позвольте, а я об вас и не говорил совсем.

— Вот именно, вы об нас не говорили… Мы, значит, не существуем».

У Боборыкина могла быть не одна причина для яростного недовольства. Человека, о котором острая на язык Гиппиус сказала, что «он чувствует благоухание фиалок, прежде чем они появятся на земной поверхности», ожидание зрителями новой пьесы Чехова в постановке Художественного театра, несомненно, сильно задевало. Как, видимо, и других опытных драматургов, чьи пьесы шли в Александринском и московском Малом театрах, но которых не звали в новый театр. Как и тех, кто через Чехова пытался попасть на сцену молодого театра, но получал отказ. Однако почему-то обижались на Чехова.

Летом 1899 года между Боборыкиным и Немировичем был разговор о русской сцене, о репертуаре Художественного театра. Продолжая его в письмах, Владимир Иванович объяснял уважаемому Петру Дмитриевичу свой критерий отбора пьес для постановки: новые образы, новое настроение, новая интерпретация старых мотивов и никакой рутины.

Немирович заинтересовался пьесой, над которой работал Боборыкин. В апреле 1900 года пьеса была закончена, послана

Немировичу и отклонена им с советом — не ставить ее никогда. В этом же письме от 30 апреля Немирович рассказал об успешных гастролях театра в Севастополе и Ялте. Возвращаясь к репертуару, к состоянию современной драматургии, еще раз, уже косвенно, отказал Боборыкину: «Из русских авторов прочел все новые пьесы более или менее определившихся драматургов, но не нашел ничего, что взвинтило бы меня. Очень увлечен желанием написать для нас Горький. Что-то выйдет из этого?»

Поэтому не удивительно, что Художественный театр и пьесы Чехова упоминались в новой повести Боборыкина «Однокурсники». Один из ее героев испытал недоумение на представлении «Чайки»: «Чем объяснить такой успех, такое увлечение? Неужели молодые души жаждут картин, от которых веет распадом и всеобщим банкротством. Он не мог и не хотел с этим согласиться». Зато с Боборыкиным согласился Буренин, который зимой 1901 года отметил повесть только за эту страницу, только за критические замечания героя о «Чайке», пьесе, по словам нововременского рецензента, «фальшивой по идее и неважной во многих отношениях».

Публика, знавшая из газет о скорой премьере, ждала новую постановку. Лавров хотел опубликовать пьесу на волне растущего интереса, просил скорее прислать экземпляр. Чехов уговаривал отложить, дать ему время на корректуру. В случае с «Тремя сестрами» особенно важной, так как в беловой автограф, находящийся в театре, постоянно вносились изменения.

К концу января главная жалоба Чехова из Ниццы: скучно, скучно, скучно… Поездка в Алжир отменилась. Дело, наверно, было не в мистрале, ветре с гор, приносящем холодную погоду, а в том, что Ковалевский, как и в 1897 году, побоялся сопровождать Чехова. В это время Книппер уже подробно рассказывала о репетициях. Не скрывала, что делает ставку на роль Маши: «Если я ее провалю, махну на себя рукой!» Немирович обговаривал с ней каждую мизансцену, каждую реплику.

В «Чайке» и «Дяде Ване» верх, по отзывам зрителей, брала Лилина. Мария Петровна уловила сиротство Маши и Сони, драму безответной любви и оказалась душевным камертоном этих спектаклей. Так что «Три сестры» значили для Книппер очень много. Это была роль, написанная Чеховым для нее. Она расспрашивала — он растолковывал. И от объяснений, по-видимому, нервничал еще сильнее. Чехову мерещилось на огромном расстоянии, что актеры несут «чепуху несосветимую». Шутил, что его «на старости лет ошикают», а если пьеса провалится, он поедет в Монте-Карло и проиграется дотла.

Что так пугало Чехова в предстоящем событии?

Да, «Чайка» провалилась в Александринке, но потом шла во многих российских городах. После ее публикации Чехов получал письма с тонкими, умными суждениями об этой пьесе.

Да, «Дядя Ваня» не получил одобрения Театрально-литературного комитета. Однако и до и после этого приговора пьеса охотно ставилась в провинции, стала репертуарной.

Но в последние два года Чехов не раз признавался, что боится, не утратил ли он чувства нового. Это сомнение в себе, это опасение повторить самого себя не покидало его. С некоторых пор, похоже, оно превратилось в скрытую тревогу перед выходом книжки журнала с новой повестью или рассказом, перед премьерой новой пьесы. В таком состоянии он не мог работать, о чем написал Книппер в конце января: «Я пишу, конечно, но без всякой охоты. Меня, кажется, утомили „Три сестры“, или попросту надоело писать, устарел. Не знаю».

Он захотел прервать сочинительство: «Мне бы не писать лет пять, лет пять путешествовать, а потом вернуться бы и засесть». Ему воображалось путешествие, но уже не в Африку, а на Шпицберген, на Соловки. Но не состоялась даже поездка в Алжир. Покорившись обстоятельствам, он согласился на короткое путешествие по Италии с Ковалевским и А. А. Коротневым, зоологом, основателем русской биологической станции в Виллафранке. Поехал, по его словам, «повертеться» недели две и оттуда в Россию, в Крым, в Ялту.

В Ницце Чехов пробыл на этот раз всего полтора месяца. Поглощенный и утомленный работой над «Тремя сестрами», он покидал ее без радости и огорчений. Старые знакомцы провожали его, полагая, что вряд ли увидятся вновь. Лишь один человек из провожающих знал, что увидит, непременно увидит Чехова, встретится с ним. Это была Ольга Васильева — та самая, которая три года назад фотографировала Чехова здесь же, в Ницце. Все это время она изредка писала ему, вообразив, что должна посвятить себя переводам его сочинений. Наивная влюбленность выражалась в том, что она собирала газетные вырезки с упоминаниями Чехова, старалась быть там, где в это время жил он. Узнавала обиняком, как он себя чувствует. Ходила на «свидание» с портретом Чехова в Третьяковскую галерею. Просила его: «Благословите меня на служение Вам».

Сама приемная дочь богатой помещицы, Васильева в девятнадцать лет взяла на воспитание девочку Марусю, которую Чехов в шутку звал дочерью. В минуты экзальтации, когда Оле казалось, что она сходит с ума, ее успокаивала мысль о духовном завещании, о котором она написала Чехову 6 (19) марта 1901 года из Канн: «Я в нем Марусю Вам оставила. Низко, низко Вам

кланяюсь, очень, очень благодарю за все счастье, за всю радость, которую Вы доставляли мне, навещая меня в Ницце, — без мамы никогда так счастлива я не была, да и не буду». Она по-хорошему завидовала Марусе, потому что ласковые слова Чехова и внимание доставались не ей, а ее приемышу.

Он остужал чувства мечтательной барышни. Пытался удержать от благородного, но скоропалительного порыва — продать имение в Одессе, а вырученные средства пожертвовать на строительство больницы. Чехов, судя по его письмам Васильевой, понимал, что из таких благих намерений едва ли что получится, а вот обмануть наивного непрактичного человека вполне могут. Предостерегал ее, давал советы.

Накануне отъезда из Ниццы он отправил Ольге Родионовне открытку с пожеланием «всего хорошего, самого чудесного». Она ответила мольбой: «Пожалуйста, не скройтесь совсем! Вот всё, что я прошу!»

* * *

Итак, не Соловки, не Алжир, а Италия. Может быть, Чехов надеялся, что чудесная, любимая им Италия встряхнет от «полусна», чудодейственно оживит. Однако холода, дождь, снег, не самые интересные спутники, — всё сокращало маршрут (отпали Корфу, Неаполь) и не улучшало настроения. Ночью, по дороге из Пизы в Рим, в вагоне поезда, Чехов и Ковалевский говорили о своих планах и надеждах. Максим Максимович, наверно, обсуждал летнюю поездку с лекциями в Америку, был благодушен по обыкновению. Но запомнил слова Чехова: «Мне трудно задаться мыслью о какой-нибудь продолжительной работе. Как врач, я знаю, что жизнь моя будет коротка». Говорил без страха, без жалоб.

Ковалевский, сопровождая Чехова по Риму, отметил, что в нем не было всеядного любопытства, присущего туристам, и будто бы «осмотр музеев, картинных галерей, развалин более утомлял, чем пленял» Чехова. А интересовала жизнь на улице, в городском саду. Спутник Чехова, как когда-то в 1891 году Суворин, Мережковский и Гиппиус, ждал восторгов, приличествующих путешественнику, и, не дождавшись, приписал это равнодушию Чехова к достопримечательностям.

Может быть, Чехов и Ковалевский не очень подходили друг другу для совместного путешествия. Одно дело встречи в Ницце, в дружеском кругу. Другое — дорога, житейские мелочи. Два разных характера, темперамента, образа жизни. Максим Максимович привел в воспоминаниях целую общественно-политическую программу, якобы изложенную Чеховым в их беседах. При этом он заметил, что «нелегко было вызвать Чехова на сколько-нибудь продолжительный разговор». Так что, скорее всего, то были суждения самого Ковалевского. Нечто от его взгляда на судьбу русского дворянства, земельный вопрос, на здравоохранение, народное образование, на политическое устройство, земство, печать, свободу слова. Во всем этом более слышался публицист, оратор, лектор Ковалевский, нежели Чехов. Утомленный, больной, тосковавший по дому, волновавшийся о премьере и вообще не склонный к длинным монологам.

В один из дней они вышли вместе из собора Святого Петра, где наблюдали за процессией «выкуривания следов карнавала». Ковалевскому это зрелище показалось достойным описания. На что Чехов ответил: «Нимало. Современный рассказчик принужден был бы удовольствоваться одной фразой: „Тянулась глупая

процессия“». Ковалевский связал такую краткость с особенностями литературной манеры Чехова — избегать ненужных подробностей. Но, может быть, эта реплика выдавала внутреннее состояние Чехова? Как раз описание толпы в его повестях и рассказах последних лет сосредоточено на кажущихся случайными подробностях. Например, в финале повести «В овраге» — красная кирпичная пыль на лицах баб и девок; волнушки и грузди в корзинах старух и детей. Поэтому короткий ответ о «глупой процессии» выдавал, может быть, настроение Чехова. Ковалевский запомнил, что Чехов в эти дни был не в духе из-за работы над корректурой «Трех сестер». Он получил ее в Риме. Говорил, что спешка повредила пьесе, что он недоволен, и в который раз зарекался писать для театра.

Но нервничал он сильно по другой причине. Премьера состоялась в Москве 31 января 1901 года. В день отъезда Чехова из Флоренции в Рим. Однако ни назавтра, ни в следующие дни он не получил никаких известий. Сбитые с толку его сообщениями о маршруте, Немирович и Книппер телеграфировали, не зная, где и когда телеграмма найдет путешественника. Только 3 (16) февраля до него дошла вторая телеграмма Немировича о «громадных вызовах», «большом успехе», «настоящей овации». Но Чехов, судя по некоторым признакам, ощутил в этих словах преувеличение и скрытое утешение. Упоминая о телеграмме в письме к Книппер от 7 (20) февраля, он объяснил лапидарность своего послания плохим освещением: «Писать трудно, паршивый электрический свет». Когда Чехов бывал огорчен, расстроен, ему всегда недоставало света из окна или от свечей. Словно всё меркло.

Из-за переездов он получал свою корреспонденцию с опозданием. В письмах, догнавших его в Риме, Ольга Леонардовна уже не рассказывала о репетициях. Зато много писала о своей любви к нему: «Думай о весне, о красоте жизни. Ты ведь любишь и то и другое, ты мой поэт!» Опять заклинала любить ее: «Когда ты будешь совсем мой?!! <…> Я хочу, чтоб ты был счастлив со мной, чтоб у нас была своя жизнь, чтоб никто не влезал в эту жизнь. <…> ты, мой поэт, ты, поклонник всего прекрасного и изящного. <…> Я теперь только думаю о жизни с тобой. Твоя *актриска*».

Письмо от 26 января она закончила вопросом и предложением: «В апреле приедешь? Мы с тобой тихонько перевенчаемся и будем жить вместе. Без всяких хлопот. Согласен?» Следующее письмо завершалось совсем по-домашнему: «Ну, спи, мечтай обо мне, о нашей будущей жизни, супруг мой милый. Целую крепко. Твоя *собака*».

Эти два письма и два следующих Книппер адресовала в Италию. Но Чехов их не получил. Оборвав поездку, он, в енотовой шубе Ковалевского, спасаясь от ветра, снега, выехал 7 (20) февраля в Россию.

На одесской таможне усердный чиновник вознамерился проверить портфель с письмами. Никакие резоны окружающих, что это известный писатель, не действовали. Чиновник доставал большие конверты, — в которые Чехов уже запаковал по своей привычке письма каждого из своих корреспондентов, — вскрывал их и просматривал, заявив: «Для меня служба выше всяких Чеховых». Рассказ об этом инциденте, по воспоминаниям литератора А. М. Федорова, Чехов закончил словами: «Очень уж характерна у нас наклонность всякого такого ничтожества поизмываться над беспомощным человеком и показать свою власть».

Федоров запомнил «бегство» Чехова из одесской гостиницы: «Да, вот в газетах уже напечатали, что я здесь. Интервьюеры уже наведывались. Не люблю я этого. А потом, пожалуй, барышня придет спрашивать, как жить надо, а я и сам не знаю. А то гимназисты любят к писателям ходить советоваться — насчет самоубийства. Ужасно приятно в 16–17 лет думать о самоубийстве». Собеседник обратил особое внимание на слова Чехова о критике и об участи драматурга: «Не знаешь, за что и откуда ударят. <…> В особенности за пьесы. Это ведь ужасно как страшно, — пьесу ставить. Тут и публика, и актеры, и погода, и именинники, — всё путается». Речь об этом зашла в связи с «Тремя сестрами». Чехов по-прежнему не знал, как принимали спектакль, что писали в газетах.

Наконец 15 февраля 1901 года он добрался до Ялты. И тут же написал сестре: «Приехал ночью, не спал и ничего не знаю насчет Москвы, насчет пьесы и проч. и проч. <…> Был за границей, но все же нового нет ничего, писать не о чем. Будь здорова и пиши, буде есть время. <…> Сегодня у меня целый день народ, не дали отдохнуть».

По этому письму видно, что он расстроен. Вскоре его «догнали» письма, посланные в Италию. Но, несмотря ни на что, ему казалось, что пьеса не имела успеха. Он обреченно написал Книппер 20 февраля: «Похоже на неуспех, потому что все, кто читал газеты, помалкивают и потому что Маша в своих письмах очень хвалит. Ну, да всё равно».

Чехов говорил так в том состоянии, которое сам называл безразличным, безличным, безвольным. Признавался, что порой оно длится месяцами и отчасти объясняет «весь строй» его жизни, а чтобы вырваться из этого настроения, он строит

«фантастические» планы. Этими же словами Чехов передавал душевную тоску своих героев («Тоска», «Святой ночью», «Моя жизнь», «Чайка», «Три года», «На подводе», «В овраге», «Дядя Ваня»).

С этого значимого присловья началась работа над пьесой «Три сестры» в конце лета 1900 года. Им и завершилась зимой 1901 года. Почти все герои этой пьесы говорили «всё равно». Предпоследняя реплика в пьесе — доктора Чебутыкина: «Тара… ра… бумбия… сижу на тумбе я… (*Читает газету*). Всё равно!»

Словами «Ну, да всё равно» Чехов словно подвел черту и перешел к вопросам Книппер о летнем отдыхе: «Не знаю, решим сообща, моя замечательная умница, славная жидовочка. <…> Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день».

* * *

В один из вечеров, в зимних сумерках, Бунин читал Чехову его рассказ «Гусев». Закончил, потом уже не вслух, а про себя еще раз прочел финальные строки о закате над Индийским океаном. И вдруг услышал «глухой, тихий» голос Чехова: «Знаете, я женюсь…» И далее, по воспоминаниям Бунина, «сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой…».

Бунин рассказывал впоследствии: «Я, конечно, уже знал о его романе с Ольгой Леонардовной Книппер, но не был уверен, что он окончится браком. <…> Я <…> понимал, что она совершенно из другой среды, чем Чеховы. Понимал, что Марье Павловне нелегко будет, когда хозяйкой станет она. Правда, Ольга Леонардовна — актриса, едва ли оставит сцену, но все же многое должно измениться. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и всё это будет отзываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал: „Да это самоубийство! хуже Сахалина“, — но промолчал, конечно».

Бунин, или Букишон, как называл его Чехов, уже присмотрелся к обитателям ауткинского дома. Всю зиму с Рождества до середины февраля он прожил здесь, чему радовались Евгения Яковлевна и Мария Павловна. Отзвуки их разговоров сохранились в воспоминаниях Бунина: «Я спрашивал: „Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь?“ — „Никогда в жизни“ — твердо отвечали обе».

Запомнил Иван Алексеевич откровенные беседы с Марией Павловной о Левитане, о Мизиновой. У него сложилось впечатление, что Лидия Стахиевна была влюблена в Чехова, но ему не нравился ее характер, он отказывал ей во вкусе. Умный человек, тонкий психолог, Бунин заметил: «При взаимной любви этого не бывает». Он поверил утверждению сестры Чехова, что она не вышла замуж из-за брата. В определенном смысле так оно и было. Не будь около нее такого брата, не обеспечь он ей достаток, не дай положение «сестры Чехова», ее жизнь сложилась бы иначе.

Внимательный, зоркий гость подметил некоторые черты в облике и поведении Чехова, его привычки. Особенно мужество, с каким Чехов переносил боль, недомогание:

«— Тебе нездоровится, Антоша? — спросит его мать или сестра, видя, что он сидит в кресле с закрытыми глазами.

— Мне? — спокойно ответит он, открывая глаза, такие ясные и кроткие без пенсне. — Нет, ничего. Голова болит немного».

И умение сдерживать себя при довольно вспыльчивом характере. И усталое выражение глаз. И привычку к утреннему кофе. И то, как за обедом Чехов мало ел, вставал, ходил, иногда останавливался около матери и, «взяв вилку и ножик, начинал мелко-мелко резать мясо, всегда с улыбкой и молча». Запомнил Бунин и педантичную любовь Чехова к порядку в одежде, в комнате, на письменном столе. И то, что у него были «большие, сухие, приятные руки».

Бунин рассказал в воспоминаниях, как сжималось его сердце при виде кабинета с двумя горевшими свечками. От мертвой тишины в доме, где обитали мать и сын, каждый в своих комнатах. Он воображал одинокие зимние вечера Чехова в ялтинском доме, «полные, может быть, горьких дум о судьбе, так одарившей его и так посмеявшейся над ним».

Догадывался ли Чехов, что между Буниным и Марией Павловной завязались дружеские отношения? Еще осенью 1900 года Книппер намекала в письмах, что, мол, с Машей что-то творится. Зимой в Ялте Бунин и Мария Павловна переживали, наверно, лучшую пору своей дружбы.

Здесь, в тихом доме, Иван Алексеевич чуть отошел от бед и забот: развод с женой, подготовка книги стихов. Но терзался из-за безденежья и в декабре 1900 года умолял брата Юлия: «М[ария] П[авловна] зовет то в Кучукой, то в Гурзуф, то на вечера. А у меня, клянусь Богом, 1 р.!! <…> *Христа ради вышли мне 9р. немедленно: я тебе сейчас же вышлю расписку на получение этих денег в „Курьере*“». Назавтра он торопил брата: «Все эти дни я так натянут, так взвинчен тем, что у меня буквально ни гроша, что

мечусь по комнате и ничего не делаю. Вчера мы были с М[арией] П[авловной] у Елпатьевс(кого) и так как это очень далеко, то я истратил на извозчика 80 к. Теперь у меня 20 к.!! <…> Ради Христа, сию же минуту вышли мне телеграфом 10 р.».

Ему же он писал в те дни: «<…> она очень хорошая и умная, и мы с ней очень подружились». После ее отъезда в Москву Бунин и Евгения Яковлевна остались в доме одни. Он много читал, писал стихи. Рассказывал в письме Чехову в середине января: «Здесь очень тихо, погода нежная, и я чудесно отдохнул за эти дни в Вашем доме. <…> Утром моя комната полна солнцем. А у Вас в кабинете, куда я иногда заходил погулять по ковру, — еще лучше: весело, просторно, окно велико и красиво, и на стене и на полу — зеленые, синие и красные отсветы, очень сильные при солнце. Я люблю цветные окна, только в сумерки они кажутся грустными, и в сумерки кабинет пуст и одинок, а Вы далеко».

Марии Павловне он тоже описывал свое ялтинское житьё-бытьё и признавался: «И часто, очень часто из этой тихой моей жизни пробивается самая искренняя грусть по Вас, большая потребность поговорить с умной и милой Мафою. <…> Если бы Вы были здесь сейчас, я бы крепко поцеловал у Вас ручку и рассказал бы Вам много трогательного и красивого, что придумал и видел за последнее время. <…> Прощайте, Амаранта, — Ваш до гроба Дон Зинзага».

Когда Чехов вернулся из-за границы, он и Бунин встречались почти каждый день. Может быть, никого Чехов не задел душевно так, как Бунина, — на всю жизнь. Никто не всматривался и не вслушивался в него с таким бескорыстным интересом и искренним теплом, как Бунин: «И в эти дни мы особенно сблизились, хотя и не переходили какой-то черты, — оба были сдержанны, но уже крепко любили друг друга. У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился, как старший <…> но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство… <…> Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему становилось лучше, он был неистощим на все это».

Из всех розыгрышей, шуток Бунин запомнил и то, как однажды они возвращались с Чеховым с прогулки: «Он очень устал, идет через силу — за последние дни много смочил платков кровью, — молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

— А слыхали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!

Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:

— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина».

Бунин хотел что-то разгадать в Чехове, важное для него самого. Уезжая из Ялты в конце февраля, написал одному из друзей: «Задержал в Ялте приехавший Чехов. Провел с ним неделю изумительно. Если бы ты знал, что это за человек».

* * *

Но Бунин всегда ощущал, что, несмотря на разговоры, взаимную дружескую приязнь, душевное влечение, Чехов, даже на людях, оставался наедине со своими мыслями. Эту глубоко скрытую внутреннюю жизнь не приоткрывали ни его дневниковые записи, ни письма. В том числе и письма к Книппер. Они передавали лишь настроение. И, наверно, оно угадывалось не столько в словах, сколько в умолчаниях. В том, что он упоминал, но не пояснял.

По поводу брани Буренина в рецензии на повесть Боборыкина, мол, Чехов сам или театр так рекламировали свои создания, что «обморочили» публику, Чехов сказал устало и безразлично: «Я отродясь никого не просил, не просил ни разу сказать обо мне в газетах хоть одно слово, и Буренину это известно очень хорошо, и зачем это ему понадобилось обвинять меня в саморекламировании и окатывать меня помоями — одному Богу известно».

Такая злоба, наверно, страшна не только психологическими травмами. Но тем, что она могла втянуть человека в отвратительное чувство ответной неприязни, непроходящей обиды. Словно заворожить дурными ощущениями, отравляющими жизнь. А говорить об этом, жаловаться, объясняться значило бы придавать ничтожному большое значение. Смирнова записала в дневнике после встречи с Чеховым в 1899 году в Ялте его слова: «Наша русская злость лишена всякого таланта. Это просто болезнь печени».

Чехов избежал этого всепоглощающего чувства, потому что понимал природу злобы, произраставшей часто на почве творческой несостоятельности, упрощенности и мелкости натуры. С некоторых пор Чехов «оравнодушел» к газетной брани, к сплетням и наветам. Это было самое неинтересное на свете.

Он советовал Ольге Леонардовне не принимать близко к

сердцу отклики столичной прессы на гастроли Художественного театра: «От „Нового времени“ я не ждал и не жду ничего, кроме гадостей, а в „Петербургской] газете“ пишет Кугель, который никогда не простит тебе за то, что ты играешь Елену Андреевну — роль г-жи Холмской, бездарнейшей актрисы, его любовницы. <…> Наплюй, моя хорошая, наплюй на все эти рецензии и не грусти».

Утомление сквозило в ответе на письмо младшего брата. Михаил Павлович решил все-таки бросить государственную службу. Он получил от Суворина неопределенное обещание места в «Новом времени» с ежемесячным жалованьем в 200 рублей. В привычной высокопарно-грубоватой манере он написал Чехову: «Я понимаю — служить государству, служить идее, но служить генеральскому желудку и печени для меня унизительно. <…> Надо убегать от них подальше и постараться быть независимым. И если бы я послушался тебя 12 лет назад, то мне не пришлось теперь начинать сначала».

Чехов охладил пафос бывшего чиновника и будущего «независимого» журналиста: «Что ты будешь жить в Петербурге, это, конечно, очень хорошо и спасительно, но насчет службы у Суворина ничего определенного сказать не могу, хотя думал очень долго». И посоветовал предпочесть газете службу в типографии, чтобы не иметь дела с редакцией, потому что газета «в настоящее время пользуется очень дурной репутацией, работают там исключительно сытые и довольные люди (если не считать Александра, который ничего не видит) <…>» Или стать присяжным поверенным.

Однако Михаил Павлович опять не внял советам. Продал в Ярославле имущество и горячо заверил Суворина, что станет служить газете и постарается «быть если не талантливым, то полезным». Чехов предвидел, что его предостережения останутся втуне, он знал брата, в котором всегда боролись осторожность и большие претензии, неуверенность в себе и тщеславие. Новое положение льстило бывшему чиновнику: столичный житель, здоровые хорошие дети, дочь и сын, работящая, домовитая жена. Михаил Павлович, не скрывая, кичился перед родными своим семейным счастьем. Александра и Ивана он считал неудачниками, а сестра и Антон вовсе бессемейны, бездетны, бобыли. По сути, он давно отдалился от родных. Теперь, перебравшись в Петербург и служа у Суворина, он виделся с Александром очень редко.

Вообще родственные узы в семье Чеховых заметно ослабли. Переписка Чехова с братьями свелась к редким письмам. Сестра жила своей жизнью. Она приезжала в Ялту только в каникулярное

время. Мать была рядом с Чеховым, в соседней комнате, но они встречались лишь за обедом, обменивались несколькими фразами — о погоде, о письмах из Москвы. Дни Евгении Яковлевны складывались однообразно и мирно. Гости ее утомляли, были не интересны, и она скрывалась у себя наверху. В письмах Чехова зимой 1901 года не раз упомянуты невкусные домашние обеды. Действительно, Евгения Яковлевна не занималась кухней, а тем более диетой сына. На стол подавали то, что любили она и старуха Марьюшка: суп с бараниной, овощи под маринадом, соусы. Чехову это было противопоказано. Он вообще ел мало, а от жирного, острого отказывался наотрез.

Мария Павловна, наезжая в Ялту, учила кухарку диетическим блюдам. Но едва она покидала дом, всё шло по-прежнему.

В эту зиму Чехов похудел еще заметнее. Сразу по приезде из-за границы он заболел. Его мучил кашель. Почти неостановимый, изнуряющий, с мокротой. Конечно, не следовало так рано уезжать из Ниццы. Но оттуда гнала безотчетная тоска, из Италии — непогода, а из Ялты — неизвестно что. То ли «серая, грязноватая погода», то ли «серая, вялая» публика, то ли неприятности.

«Русская мысль» опубликовала в февральской книжке пьесу «Три сестры» по копии с одного из театральных экземпляров. Мало того что пропала зря работа Чехова над корректурой. Журнальная публикация изобиловала чудовищным количеством искажений по вине тех, кто делал копию, кто вносил изменения, присланные Чеховым в театр из Ниццы. Лавров, в это время отдыхавший в Ялте, оправдывался тем, что будто бы корректуру смотрел и «исправлял» Немирович.

В общем, как Чехов говорил в эти зимние дни, «всё неинтересно». Он готов был сорваться из Ялты. Но куда? Зачем? Скучно оказывалось везде, может быть, потому, что интерес угасал в нем самом. И ждал он теперь только писем Книппер, ее приезда. В их переписке шел непрерывный разговор о том, что, наверно, только и оставалось его жизнью: о его созданиях, уже воплощенных или томящихся в сознании.

Она твердила без конца: «А ты работаешь или нет? Есть желание? Не кисни только, умоляю тебя, а то любить перестану». Это не походило на просьбы к Чехову актеров Свободина, Комиссаржевской, Яворской, Федотовой написать пьесу к их бенефису. Книппер не просила, а побуждала к сочинительству. Он в ответ признавался сестре, что «не хочется ничего делать по письменной части». Но в эти же мартовские дни рассказывал Книппер о письмах с восторгами по поводу «Трех сестер» в Художественном театре, об успехе этой пьесы в Киеве и говорил: «Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная,

очень смешная, по крайней мере по замыслу».

Жизнь, может быть, поддерживалась и длилась интересом к тому, что ожидало в его голове своего часа, и чувством к Книппер. Она в это время писала ему много о своей роли: «С каким наслаждением я играю Машу! Ты знаешь, она мне кроме того принесла пользу. Я как-то поняла, какая я актриса, уяснила себя самой себе. Спасибо тебе, Чехов! Браво!!!»

Актриса и роль будто сливались в письмах Книппер Чехову. Ее собственные слова казались похожими на те, какими он передавал тоску и любовь Маши: «Как я хочу сейчас тебя видеть, дорогой мой Антон! Как хочется поговорить с тобой о всем, что накопилось за эти дни». В определенном смысле актриса Книппер была созданием драматурга Чехова. Она состоялась в спектаклях по его пьесам. Не Аркадина из «Чайки», цепко удерживавшая безвольного любовника. Не вялая душа, Елена Андреевна из «Дяди Вани», так и не решившаяся дать волю своим чувствам. Но истомившаяся душа, Маша из «Трех сестер», стала ее любимой ролью. Она играла на сцене решимость и безоглядность. Роль словно подхлестывала ее на такое же поведение в жизни: «А главное, пиши, я сто лет не получаю писем — что это значит? <…> Или ты хочешь скрыть, что мы в переписке? Неужели это надо? Не будь немцем. Я скоро ничего не буду скрывать, надоело. Целую. *Твоя собака*».

В следующем письме от 24 февраля 1901 года: «Ну, бегу, прощай, пиши чаще, а то глупостей натворю; я нервлю теперь». В письме от 3 марта: «А на Пасху все-таки не приеду в Ялту; подумай и поймешь почему. Это невозможно. Ты такая чуткая душа и зовешь меня! Неужели не понимаешь?»

Конечно, он понимал — речь шла о замужестве. Больной, одинокий («был болен и одинок»; «я в пустыне»), ощущавший, что никому он не нужен и ему «всё неинтересно», всё сливается в серый цвет, Чехов, вероятно, не хотел потерять эту красивую, интересную, умную, уже родную ему женщину, к которой он привык и которой доверял. И если для нее церковный брак так важен, если ее не останавливала его болезнь и устраивала жизнь в разлуке, то выходило: быть по сему.

На ее шутку о слухе, будто он женат на девице из Екатеринославской губернии, Чехов ответил 7 марта: «Вот получу развод <…> и женюсь опять. Позвольте сделать Вам предложение». За шутками открывалось серьезное: «На Страстной я жду тебя <…> жду и жду, это имей в виду»; — «Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы»; — «Я ведь тебя люблю, знай это, жить без тебя мне уже трудно»; — «Я тебе друг, большой друг, собака ты этакая». Ему нравились ее письма, ее почерк. Они

придавали его будням ощущение радостного миража. Однако он не скрывал от нее реальности и много раз предостерегал. В ответ на планы поездки в Швецию и Норвегию летом 1901 года Чехов ответил 16 марта: «Мне так надоело рыскать, да и здравие мое становится, по-видимому, совсем стариковским — так что ты в моей особе получишь не супруга, а дедушку, кстати сказать».

Ему хватало сил на легкую работу в саду. И только. Чтение корректуры очередных томов собрания сочинений — вот и все литературные занятия. Чехов пообещал рассказ журналу «Жизнь», «Журналу для всех». Но, может быть, не столько эти обязательства, сколько глубоко скрытое настроение возвратило к сюжету об умирающем архиерее.

Чехов словно боялся одновременно оставить этот рассказ незавершенным и закончить, поставить точку. Он оберегал его от посторонних глаз, как и свою потаенную душевную жизнь. Видимо, что-то было в «Архиерее» особенное. Авторское присутствие возрастало с годами в прозе Чехова. Необычное, неуловимое, не удававшееся подражателям, оно оставалось загадкой для критиков и читателей.

Зато пьесы казались понятнее. Каждое второе письмо, полученное Чеховым в ялтинском заточении от знакомых и незнакомых людей, — о «Дяде Ване» и «Трех сестрах». Эти пьесы шли в провинции. Зрители сравнивали постановки, рассказывали о себе, о том, что узнали себя в героях Чехова.

Книппер уловила особенность воздействия «Трех сестер»: «Тот, кто ее понял, тот не выносит гнета в душе, а кто не понял — жалуется на безумно тяжелое впечатление». Многим казалось, что автор, по выражению одного из театральных критиков, «разыгрывает новые вариации на старую тему». Тему угнетающей тоски и безотрадности жизни, бессилия человека перед судьбой, одиночества, безнадежности самого человеческого существования.

Поток рецензий — недоуменных, хвалебных, ругательных, порою пошлых, иногда глупых — казался нескончаемым. «Петербургский листок», в 1896 году склонявший «дикую» пьесу «Чайка», и теперь отличился оскорбительным фельетоном: мол, Чехов скоро запрудит сцену всей своей родней, тогда как его успех — это дело критики, а сам он доброго слова не заслуживает. Среди всех отзывов было необычное суждение журналиста и литератора Леонида Андреева. Он писал в газете «Курьер» 4 февраля 1901 года: «Чехова взасос читали, под чеховские унылые мелодии лились слезы по всему лону русской земли, но Чехова еще, как следует, не понимали, чему мешали, главным образом, многочисленные критические статьи о его

творениях. И дивная, неподражаемая постановка чеховских вещей на сцене Художественного театра была первой настоящей критической статьей о нем — яркой, беспощадной, правдивой, не оставляющей ни сомнений, ни колебаний. <…> Печальнейшие чеховские драмы, с жесткой правдивостью впервые представшие перед глазами удрученных зрителей, явились невольными проводниками *бодрости*». А еще — «эпитафией над целой полосой времени и жизни», но не над самой жизнью.

Тогда же в 1901 году Андреев, словно развивая и уточняя свою мысль, рассказал в той же газете о своем впечатлении от «Трех сестер»: «…еще не кончился акт и не опустился занавес, как мы перестали быть зрителями и сами <…> превратились в действующих лиц драмы. Никогда ни один театр не поднимался до такой высоты, настолько переставал быть театром, как этот. <…> Человек шел в театр повеселиться, а там его, как залежавшийся тюфяк, перевернули, перетрясли и до тех пор выколачивали палкой, пока не вылетела из него вся пыль мелких забот, пошлости и непонимания».

Андрееву показалось, что в этой пьесе Чехов «перешагнул какую-то незаметную черту» и что «трагической мелодией» стала не пропавшая жизнь, а тоска по жизни: «Жить хочется, смертельно, до истомы, до боли жить хочется!» В это же время драматург С. А. Найденов записал в дневнике: «После представления „Трех сестер“ захотелось жить, писать, работать — хотя пьеса была полна печали и тоски. <…> Какое-то оптимистическое горе… какая-то утешительная тоска. И горечь и утешение».

Личное, глубинное настроение Чехова совпало с тем, что он угадал, почувствовал в настроении современников. Возник резонанс, может быть, неожиданный для самого Чехова. Для него, опасавшегося, что он устарел, не понимает новое время, исписался и в сущности, как писатель, умер, многочисленные отклики зрителей оказались необходимы.

В начале марта Поссе делился с Чеховым своей тревогой: «Серьезное теперь время, очень серьезное! Масса сосредоточенного страдания. Горький здесь и страшно волнуется! <…> Театр отступил на задний план, но все же Ваши „Три сестры“ смотрятся с захватывающим интересом. <…> Правительственному сообщению не верьте. Всё было совсем иначе и несравненно ужаснее. Несколько студентов убито». Речь шла о студенческих волнениях в российских университетах из-за введения «временных правил», позволявших исключать студентов и отдавать в солдаты в случае «учинения скопом беспорядков». Литераторы написали письмо протеста (Гарин-Михайловский,

Мамин-Сибиряк, Михайловский, Поссе, Вейнберг и др.). В газетах оно не было напечатано и ходило по рукам. Таким же образом распространялось обращение Льва Толстого «Царю и его помощникам».

Толстой говорил о необходимости «уравнять крестьян во всех их правах с другими гражданами»; «уничтожить бессмысленное, ни на что не нужное, оставленное только для самого трудолюбивого, нравственного и многочисленного сословия людей, позорное телесное наказание»; сделать образование доступным всем; «уничтожить все стеснения религиозной свободы».

Не появилось в газетах и письмо Толстого с признательностью всем, кто выказал ему сочувствие по поводу постановления Святейшего синода от 20–22 февраля о том, что церковь не считает Толстого своим членом, «доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею». Не был опубликован и полный «Ответ» Толстого Синоду, написанный им в первые дни апреля. Он закончил его словами: «Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти».

Все эти письма ходили в списках. Современники упоминали о них в переписке, в дневниках. Суворин записал 7 марта: «Очень тяжело, и физически, и нравственно. Опять беспорядки молодежи. Чувствуешь, что что-то делается, что-то движется. У нас не как у всех. <…> Говорить, прямо и открыто, невозможно». Через три месяца Суворин оставил запись: «Два царя у нас: Николай второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии. <…> Новое время настает, и оно себя покажет. Оно уже себя показывает тем, что правительство совершенно спуталось и не знает, что начать. <…> Но долго ли протянется эта безурядица? Хоть умереть с этим убеждением, что произвол подточен и совсем не надо бури, чтоб он повалился. Обыкновенный ветер его повалит».

Чехов написал Горькому 18 марта: «Напишите же, в чем дело; я мало, почти ничего не знаю, как и подобает россиянину, проживающему в Татарии, но предчувствую очень многое». Горький ответил бравурно и красочно: «Жизнь приняла характер

напряженный, жуткий. Кажется, что где-то около тебя, в сумраке событий, притаился огромный, черный зверь и ждет, и соображает — кого пожрать. <…> Погибнут или победят — не важно, важна драка, ибо драка — жизнь. Хорошо живется!»

«Зверь» вскоре «пожрал» Горького. Его арестовали и заключили в тюрьму, в том числе за участие в нижегородском студенческом революционном кружке и за подготовку опровержения правительственных сообщений о студенческой демонстрации 4 марта на площади у Казанского собора. Чехову многие писали о Толстом. Академик Кондаков спрашивал в письме от 25 февраля: «Как Вам кажется отлучение Льва Толстого от церкви? Победоносцев отплатил ему за письмо к г[осударю]». Чехов ответил 2 марта: «К отлучению Толстого публика отнеслась со смехом. Напрасно архиереи в свое воззвание всадили славянский текст. Очень уж не искренно или пахнет неискренним».

Чехов жил в Ялте отзвуками столичных событий. В конце февраля писал Книппер: «Был Бунин здесь, теперь он уехал — и я один»; — «Я был нездоров, кашлял и проч., теперь легче стало». В начале марта о том же: «Я жив и, кажется, здоров, хотя всё еще кашляю неистово. <…> Помни же, я буду ждать тебя. Помни!»

Она написала прямо: «Только пойми, милый, что в Ялту я теперь не могу приехать. Чем я приеду? Опять скрываться, опять страдания матери, прятки, мне это, право, тяжело, поверь мне. Ты как-то не понимаешь этого пункта, или не хочешь понять. А мне трудно об этом говорить. Ты ведь помнишь, как тяжело было летом, как мучительно. До каких же пор мы будем скрываться? И к чему это? Из-за людей? Люди скорее замолчат и оставят нас в покое, раз увидят, что это свершившийся факт. Да и нам с тобой легче будет. Я не выношу этих неясностей, зачем так отягчать жизнь?! Ну, понял ты меня, согласен?»

Законный брак уничтожал неясность ее положения то ли невесты, то ли любовницы. Но Книппер ни разу пока не объяснилась относительно жизни в браке с Чеховым. Бросит ли она театр? Где они будут жить? Не отяготит ли ее, не испугает ли болезнь Чехова, опасность заражения? В это время Чехов, оберегая ближних, откашливал мокроту уже не в платок, а в бумажные пакетики, сжигаемые в камине, или в специальную баночку. Минувшая зима обессилила его.

В письме от 16 марта он, в сущности, ответил на главный вопрос, который задала не Книппер, а он сам: «Я литературу совсем бросил, а когда женюсь на тебе, то велю тебе бросить театр и будем вместе жить, как плантаторы. Не хочешь? Ну, ладно, поиграй еще годочков пять, а там видно будет. <…> Хотя

бросил литературу, но всё же изредка по старой привычке пописываю кое-что. Пишу теперь рассказ под названием „Архиерей“ — на сюжет, который сидит у меня в голове уже лет пятнадцать. <…> Пиши, пиши, моя радость, а то, когда женюсь, буду тебя колотить. Твой старец *Antoine*».

Итак, всё оставалось по-старому. Он не мог бросить литературу и Ялту. Она не оставляла сцену и Москву. Через день, 18 марта, он рассказывал ей о себе: «У нас погода просто замечательная, изумительная, весна чудеснейшая, какой давно не было. Я бы наслаждался, да беда в том, что я один, совершенно один! Сижу у себя в кабинете или в саду и больше ничего. <…> Пиши, не покидай меня. Твой *мужчинка*».

В письме от 21 марта из Петербурга с гастролей Книппер повторила, почему не может приехать в Ялту: «Опять видеть страдания твоей матери, недоумевающее лицо Маши — это ужасно? Я ведь у вас между двух огней. Выскажись ты по этому поводу. Ты все молчишь. А мне нужно пожить спокойно теперь. Я устала сильно. Эти дни слегла от переутомления. Целый день лежала как пласт, ни одним пальцем шевельнуть не могла <…> заходил Влад. Ив. Узнать, могу ли я играть. Дотяну еще три денька — ничего! <…> Может, у тебя такая жизнь малиновая, что и меня не нужно? Тогда напиши».

Получив это письмо, Чехов ответил 26 марта телеграммой: «Здоров. Приеду после Пасхи, привет. Жду писем. Антонио».

Книппер дала телеграмму 27 марта: «Выезжаю завтра Ялту. Ольга».

В этот же день Чехов отправил телеграмму в Москву: «Счастлив. Жду приезда. Погода весенняя. Пароход пятницу, воскресенье. *Антуан*».

Глава седьмая «ПРИЕЗЖАЙ СКОРЕЙ, ПОВЕНЧАЕМСЯ…»

В начале апреля 1901 года в Ялте на «Белой даче» собрались желанные гости: Мария Павловна, Книппер, Бунин, Куприн. Много разговоров, шуток. Однако ощущалась какая-то неловкость. Мария Павловна и «Леопардовна», как называли Ольгу Леонардовну некоторые ялтинские дамы, были не в духе.

Мария Павловна, конечно, понимала: из задушевной подруги, из «сероглазой Машечки», как звала ее Книппер, она вот-вот превратится в золовку. И неизвестно, не переменится ли «очаровательный друг» Оля, как она звала Книппер. Не станет ли говорить вместо былого — «наш любимец», «наша знаменитость» — «мой муж», а об ялтинской даче — «мой дом». До сих пор Мария Павловна знала финансовое положение брата. Она

осуществляла банковские вложения. У нее с ноября 1900 года хранилась нотариально оформленная доверенность на заведование и управление всем движимым и недвижимым имуществом Чехова. Как тем, что уже ему принадлежало, так и тем, которое могло быть приобретено впоследствии, где бы оно ни находилось и в чем бы ни заключалось.

По мельчайшим деталям Мария Павловна догадывалась, что женитьба — вопрос решенный, и ждала: не сегодня-завтра брат объявит об этом. Но он молчал. Промолчал и в тот момент, когда Ольга Леонардовна сказала, что уезжает вместе с Марией Павловной в Москву, хотя собиралась остаться подольше. Книппер, наверно, понимала: если Чехов задержит ее, то должен сказать матери и сестре, что сделал предложение. Но он, может быть, избегал ситуации, которую много раз описывал в своих юмористических рассказах и водевилях: заветные слова, родительское благословение иконой, слезы, шампанское, поцелуи.

В его случае неизбежная мизансцена выглядела бы совсем не смешной: худой, седеющий, бледный, по всем приметам тяжелобольной человек и цветущая, крепкая женщина. Рядом растерянная мамаша, не очень жалующая «эту актерку», и сестра, прослезившаяся то ли от радости, то ли от печали.

Но всё осталось по-прежнему. Книппер и Мария Павловна в мире и согласии покинули вместе Ялту. Вопрос о бракосочетании опять решался в переписке. Она написала из Москвы 17 апреля: «Приезжай в первых числах и повенчаемся и будем жить вместе. Да, милый мой Антоша? Что ты теперь делаешь целыми днями? Пиши мне всё, каждую пустяковину и не отшучивайся вечно. Целую. Ольга». На следующий день спрашивала: «Где мы будем после венчания? Хочу быть с тобой наедине, а не прямо ехать в Ялту на люди. Согласен?» Еще через три дня предлагала: «Приезжай скорей, повенчаемся и удерем — хочешь? <…> Хочу каждый день по письму, а больше всего хочу твоего приезда — что тебя держит? Целую и обнимаю горячо. Твоя *собака*».

Она торопила Чехова. Торопилась сама: «Чувствую, что жизнь уходит, а я как будто не жила, ничего не сделала в жизни, мало схватила, мало или, скорее, не поняла жизни, и что самого главного, самого красивого в жизни не сумела взять и понять». Рассказала ему, как на благотворительном рауте, где пела ее мать, к Анне Ивановне подошел великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, с супругой. Первый вопрос великой княгини якобы был: «„Ваша дочка в Москве? Когда же ее свадьба? А как *его* здоровье?“ Как тебе это нравится? — Мама стала в тупик и замялась, т. к. сама ничего не

знает. Вел. княг. очень осведомлялась о тебе. Что за безобразие! Не желаешь ли ее пригласить в посаж[енные] матери? Затрепали нас с тобой».

Чего было больше в этом рассказе? Невольного тщеславия? Шутливой женской уловки, мол, *все* говорят об их свадьбе, дошло даже до царской фамилии и теперь уже отступать некуда? Или досады?

На этот пассаж Чехов ответил: «Что касается великой княгини, то передай ей, что быть у нее я не могу и никогда она меня не увидит; если же выйдет какой-нибудь скандал, например, с паспортом, то я пошлю к ней тебя».

Таких водевильных снижений было много в письмах Чехова и ранее. Часто героем подобных эпистолярных комических зарисовок Чехов выставлял самого себя, если чувствовал, что свалял дурака, попал в неловкое положение и мог показаться окружающим смешным, нелепым. Правда, с годами превращений становилось всё меньше. А шутки, розыгрыши, ирония носили невеселый характер.

Чехова тех дней, весной 1901 года, запомнил Куприн. Он подметил одну из природных черт Чехова: любовь к детям и животным (кроме кошек). При нем одна из собак, обитавших на Аутке, попала под фаэтон: «Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:

— Ах ты, глупый, глупый… Ну, как тебя угораздило?…Да тише ты… легче будет… дурачок…»

Наблюдал Куприн и за «беседами» Чехова с «приемной дочерью» Машей, воспитанницей Васильевой. Ольга последовала за Чеховым в Крым, поселилась на время в Гурзуфе и навещала «Белую дачу». Между ней и Евгенией Яковлевной сразу установились самые добрые отношения. Непритязательная, сердечная старая женщина жалела богатую сироту и вела с ней простые разговоры, пока Чехов занимал Машу: «Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. <…> А. П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова…»

Куприн оставил в воспоминаниях подробное описание

кабинета Чехова с плакатом «Просят не курить». Упомянул запах духов в кабинете, заметил, что Чехов любил тонкие ароматы. Описал он и наружность Чехова: «Глаза у него были темные, почти карие, причем раёк правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А. П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков — словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровым».

Но в редкие минуты веселья Чехов, по воспоминаниям наблюдательного гостя, сбрасывал пенсне, смеялся и тогда «глаза его становились полукруглыми и лучистыми <…> и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья». И глаза его в этот момент казались голубыми.

Даже уши его запечатлелись в памяти Куприна: «…большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека — у Толстого». А еще запомнились руки — «сухие, горячие». И пожатие — «всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то». Упомянул Куприн виденную им не раз картину: Чехов сидел в утренние часы на скамейке за домом и долго, не двигаясь, сложив руки на коленях, смотрел на море. Описал он и назойливых «антоновок», глазевших на «Белую дачу». И поток посетителей, визитеров, просителей, «настоящую и мнимую» бедноту.

Всё это, конечно, физически утомляло Чехова и досаждало душевно, потому что сопровождалось неизбежными искренними и фальшивыми комплиментами, порой льстивыми похвалами. Тогда, по наблюдениям Куприна, Чехов мрачнел, опускал глаза или сводил разговор к шутке, к комической реплике в свой адрес. Однажды он сказал с серьезным лицом: «Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: „А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю“. Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь…»

Как можно было уменьшить число посетителей? Приказать работнику Арсению отказывать всем? Но среди ялтинских обывателей и праздных приезжих, включавших «визит к Чехову» в курортную программу, могли оказаться те, кому нужна была

помощь. Он по-прежнему пристраивал чахоточных больных, помогал нуждающимся деньгами, некоторых навещал. В марте 1901 года московская газета «Курьер» поместила заметку «Симпатичное предложение», будто Чехов предложил учителям земских школ Серпуховского уезда, кто пожелает поехать в Крым, «стол и квартиру в своем имении». Кто-то просил о помощи в связи с чертой оседлости, из которой Ялта была исключена в 1893 году. Теперь многие евреи иудейского вероисповедания должны были получать разрешение полицейских властей даже на временное проживание в городе. Случалось, что муж имел право на въезд, а жене не давали вида на жительство.

Все ялтинские годы он продолжал высылать книги в Таганрогскую библиотеку, участвовать в деятельности благотворительных организаций и объединений. В 1900 году помогал в строительстве школы в татарской деревне Мухалатка. Но болезнь неуклонно всё сокращала. «Архиерей» опять был отложен.

* * *

Планы на совместную жизнь после женитьбы Чехов высказывал осторожно. Собирался в Москву, но ненадолго, потом опять в Ялту до зимы. Часть зимы, может быть, провести в Москве, если позволит здоровье. А его не было, и Чехов усмехался: «У меня всё в порядке, всё, кроме одного пустяка — здоровья». В письме от 22 апреля он признался: «Мой кашель отнимает у меня всякую энергию, я вяло думаю о будущем и пишу совсем без охоты. Думай о будущем ты, будь моей хозяйкой, как скажешь, так я и буду поступать, иначе мы будем не жить, а глотать жизнь через час по столовой ложке».

В их разговоре о жизни многое отличалось. У нее всё исполнено движения, энергии — «схватила», «сделала», «не сумела взять». У него даже сравнение походило на рецепт. У нее в эмоциях то бурно, то тихо. У него — за ровным перечнем мелочей домашней жизни — даже не предчувствие грядущего, а предвидение его, готовность к нему.

В конце апреля 1901 года он сказал Книппер, что минутами на него «находит сильнейшее желание написать для Худож<ественного> театра 4-актный водевиль или комедию». Он и срок предсказал: «И я напишу, если ничто не помешает, только отдам в театр не раньше конца 1903 года». Шутки его в это время невеселы. На странное кокетство Книппер: «Противный Вишневский клянется и божится и крестится, что через год или

два я буду его женой — каково?! <…> Само собой, говорит, сделается», — Чехов невозмутимо ответил: «Очевидно, он рассчитывает на то, что скоро ты овдовеешь, но скажи ему, что я, назло, оставлю завещание, в котором запрещу тебе выходить замуж».

Вот в таком настроении, простуженный, кашляющий, он 9 мая 1901 года выехал из Ялты в Москву. Остановился опять в гостинице «Дрезден». В Москву приехала и Васильева под предлогом переговоров о лечебнице, на которую она собиралась пожертвовать деньги. 17 мая, предварительно списавшись, Чехов показался профессору В. А. Щуровскому, специалисту по внутренним болезням. В истории болезни, заполненной со слов Чехова, указаны лета бабушек и дедушек. Морозовы уступали Чеховым по долгожительству. Перечислены болезни, какие он перенес в детстве, — корь, коклюш, перитонит: «Как помнит себя, всё покашл[ивал] без мок[роты]». Упомянуты кишечные расстройства, с двадцати лет, доводившие до душевного недомогания, и только лечение возвращало «благодушное настроение». Все хронические болезни (мигрень, бронхит, колит) начались в детстве и обострились в юности, то есть в последние таганрогские и в первые московские годы. Рекомендация Щуровского — кумыс, а если больной не переносит его, то необходимо ехать в Швейцарию. И как можно скорее.

Итак, процесс не только не остановился, но зашел далеко и стал необратимым. Приговор Щуровского подтвердил то, о чем Чехов сам говорил Голоушеву и Ковалевскому. Наверно, он не скрыл этого от брата Ивана. Вместе они навестили могилу отца. Вместе ездили к священнику церкви Воздвижения Креста на Пометном вражке в Большом Воздвиженском переулке — договариваться о венчании. Но на само венчание Иван Павлович не приехал. Может быть, на него, человека нервного, восприимчивого, вид брата произвел такое впечатление, что он испугался предстоящего зрелища. Или боялся воспоминаний: в этом храме отпевали Павла Егоровича.

Передал ли Чехов Книппер весь разговор с доктором? Или упомянул только совет — немедленно ехать на кумыс? Приведи он заключение Щуровского как довод отменить венчание, поняла бы его Ольга Леонардовна, не приняла бы за предлог убежать из-под венца? Но не сказать он, наверно, тоже не мог.

Как бы то ни было, 25 мая 1901 года в 5 часов пополудни венчание состоялось. Всего лишь при нескольких свидетелях. Никого из Чеховых не было. Из Художественного театра тоже. Чехов заранее условился с Книппер никому не сообщать о бракосочетании. Случайной публики не оказалось — только

сторожа у ограды. Еще в апреле, из Ялты, Чехов поставил это условием: «Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, — то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться».

Книппер описала церемонию в письме Марии Павловне: «Как-то все странно было, но хорошо, что просто и без затей <…> мне ужасно сделалось странно, когда священник подошел ко мне с Антоном и повел нас обоих. <…> Венчание вышло не длинное. <…> Поздравляли нас наши шафера, затем сели и поехали».

Свадьбы как таковой не было. После церкви новобрачные разъехались. Чехов отправился на квартиру к Ивану Павловичу, переоделся. Оставил на столе 50 рублей с просьбой к брату — прокатиться по Волге в первом классе и тем самым уважить его, «и больше ничего». Затем направился в Леонтьевский переулок, к Книппперам, а оттуда, вместе с Ольгой Леонардовной, на вокзал.

Странности на этом не кончились. Вишневский, по просьбе Чехова, собрал поименованных лиц на званый обед. Станиславский вспоминал: «В назначенный час все собрались <…>.

Ждали, волновались, смущались и, наконец, получили известие, что Антон Павлович уехал с Ольгой Леонардовной в церковь, венчаться, а из церкви поедет прямо на вокзал и в Самару, на кумыс. А весь этот обед был устроен им для того, чтобы собрать в одно место всех тех лиц, которые могли бы помешать повенчаться интимно, без обычного свадебного шума».

В день венчания Чехов послал в Ялту телеграмму: «Милая мама, благословите, женюсь. Всё останется по-старому. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше. *Антон*». На кумыс супруги добирались тоже странно. Доехали до Нижнего Новгорода, где побывали у Горького, которому тюрьму заменили домашним арестом. Потом, по неразумному решению знакомого врача-доброхота, вызвавшегося взять билеты, оказались не в Казани, где пересели бы на пароход до Уфы, а в местечке с названием, соответствующим странному свадебному путешествию, — Пьяный Бор. Здесь целые сутки ожидали парохода на Уфу. Чехов написал Горькому: «Сижу на пристани, в толпе, рядом кашляет на пол чахоточный, идет дождь <…> о, это ужасно, это похоже на мое путешествие по Сибири… Днем еще ничего, а каково-то будет ночью!»

В 1890 году, когда Чехов плыл по Волге и Каме, он и тогда видел толпу, крестьянских детей в лапотках, жмущихся от холода,

фигуры в рваных тулупах. Может быть, он вспомнил свое состояние на берегу Иртыша, когда словно ожил его детский сон: река, всё сурово, уныло, серо. Тогда он спрашивал себя: «Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тоска <…> где я? зачем я здесь?» И свое присловье тех дней: «Нехорошее, насмешливое мое счастье!»

Как ту ночь на Иртыше, так и ночь в Пьяном Бору он провел в простой избе. Изредка вставал, выходил, чтобы не проспать, не пропустить пароход. Запомнил простор, тишину, дикую красоту, тихий рассвет. В Крыму, в Ялте, он сетовал, что горы ограничивают, стесняют взгляд. В дни особенной душевной смуты ему порой снилась степь. Та самая родная приазовская степь, которая, как написали ему недавно таганрожцы, погибала от нашествия «металлургических галлов», получавших огромную прибыль, но не принесших в город ни культуры, ни процветания. В записной книжке Чехова сохранилась запись: «Сидит человек <…>в каком-нибудь Пьяном Бору и изучает и воспевает этот Пьяный Бор. И река Хопер, и гора Лютая, и Пятигорькая редька… Изучает и изредка печатает в губернских ведомостях с опечатками. Но вот построился в Пьяном Бору завод — и всё пошло к чёрту, вся поэзия».

Эта запись о гибели природы, о людях, так распоряжавшихся чужими жизнями, соседствовала с другими: о человеке, от которого пахло рыбой; о господине, проигравшем виллу в Ментоне; о даме, плохо говорившей по-русски и по-немецки. Какой-то новый сюжет уже томился в голове вместе с другими, ждущими своего часа.

Поездку в Аксеново Чехов назвал ссылкой, как и свой переезд в Ялту. Видимо, потому, что жил теперь приговорами врачей, куда ехать, где зимовать. Он сам, вероятно, не верил ни в кумыс, ни в Швейцарию и готов был к худшему. Недаром, отправляясь на кумыс, он отдал теще, А. И. Книппер, пакет для сестры с квитанциями из банка. На всякий случай.

* * *

Женитьба ничего не меняла в его жизни, о чем он и написал сестре 2 июня, уже из санатория; «Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановки, в какой я до сих пор пребывал. <…> перемен не будет решительно никаких, всё останется по-старому. Буду жить так, как жил до сих пор, и мать тоже; и к тебе у меня останутся отношения неизменно теплыми и хорошими, какими были до сих пор».

Никаких иллюзий и заблуждений относительно будущего у Чехова, судя по письмам, не было: «Стало быть, с супругой своей придется жить в разлуке — к этому, впрочем, я уже привык»; — «Я в Ялте по-прежнему буду проживать один».

Сообщая о женитьбе, он называл те черты характера и обстоятельства жизни, которые обосновывали свободное, отдельное от мужа существование жены: она — «самостоятельный человек и живет на свои средства»; она — «очень порядочный и неглупый человек, и добрая душа»; у нее — «добродетельная родня». Шутил в письме Бунину: «Вы ведь слышали, меня женили, и я теперь хлопочу о разводе, нанимаю адвокатов».

На кумысе жилось однообразно, неинтересно, хотя им вдвоем не было скучно. Тем более что рассеялось главное опасение: как теперь сложатся отношения между Марией Павловной и Ольгой Леонардовной. В Ялте, получив совсем не неожиданное известие, мать и дочь отдали дань ритуалу: поплакали, пожаловались друг другу и успокоились. В их жизни это событие тоже ничего не меняло. Евгения Яковлевна оставалась при сыне. Мария Павловна и Ольга Леонардовна даже условились, что на зиму снимут общую квартиру. Одна писала из Аксенова: «Ты не волнуйся, Машечка, родная, будь умницей, будь милой, чтобы нам всем хорошо жилось, ведь мы любим все друг друга — правда? Ты ведь меня не разлюбишь — нет, оттого, что я стала женой Антона?» Другая отвечала из Ялты: «О том, что я тебя люблю и успела к тебе за два года сильно привязаться, ты знаешь. <…> Буду ждать с *огромным* нетерпением твоих писем. Как странно — что ты Чехова, что ты будешь для меня тем же, чем была».

Всё осталось по-старому. Завещательное распоряжение Чехова от 3 августа 1901 года закрепляло сложившийся порядок. Оно было адресовано Марии Павловне. Ей отходили в пожизненное владение «Белая дача», деньги и доход с драматических произведений. Ольге Леонардовне — дача в Гурзуфе и пять тысяч рублей. Сестра получала право продать недвижимое имущество, если захочет. Чехов просил ее выдать «брату Александру три тысячи, Ивану — пять тысяч и Михаилу — три тысячи, Алексею Долженко — одну тысячу и Елене Чеховой (Леле), если она не выйдет замуж, — одну тысячу рублей».

После смерти Евгении Яковлевны и Марии Павловны, согласно этому письму, «всё, что окажется, кроме дохода с пьес, поступает в распоряжение таганрогского городского управления на нужды народного образования, доход же с пьес — брату Ивану, а после его, Ивана, смерти — таганрогскому городскому управлению на те же нужды по народному образованию». Чехов обозначил прежде всего свою заботу о матери, полагая, что она

останется после его смерти на попечении Марии Павловны. Право на продажу не стесняло сестру, не привязывало ее к ялтинскому дому, но обеспечивало вместе с денежными вкладами материальное благополучие.

В этом необычном документе Чехов назвал свои неотменимые личные обязательства: «Я обещал крестьянам села Мелихова 100 рублей — на уплату за шоссе; обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко <…> платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение». Кончалось письмо наказом сестре: «Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно. *Антон Чехов*». Его распоряжения исключали семейные распри, давали достаток матери и в конечном счете служили попечению о бедных.

Что подвигло Чехова на такое завещание, в котором он по сути (но не по принятой форме) просил сестру выполнить его волю?

Он не отдал письмо адресату. Оно хранилось среди личных бумаг Чехова. Однако, судя по некоторым косвенным признакам, сестра и жена знали содержание наказа, внесшего ясность и определенность, столь необходимые Марии Павловне и Ольге Леонардовне. Вместе с тем это письмо выдавало состояние Чехова. Едва он вернулся с кумыса в Ялту, у него усилился кашель, показалась кровь. Но он не поехал в Швейцарию, как советовал Щуровский. Хотя средства на поездку имелись. Да и Ольга Леонардовна, наверно, предпочла бы Ялте европейский курорт.

Может быть, Чехов уже не верил в спасительность лечения кумысом или горным воздухом? И как врач, как человек с особым чувством отведенного ему земного срока, осознавал, что всё бесполезно? В одном из августовских писем он повторил, что приступит к новой пьесе для Художественного театра не ранее 1903 года. А пока вернулся к рассказу «Архиерей».

В конце августа Книппер уехала в Москву, а вскоре следом за ней и Мария Павловна. Жизнь вошла в привычную колею: гости, телефонные звонки, письма жене. Перемена в доме — это комната Ольги Леонардовны на первом этаже, «тихая и одинокая», по словам Чехова. Отсюда перенесли по его просьбе в кабинет кресло, а веер, оставленный женой, он спрятал к себе в стол.

* * *

Вспоминая это время, актер Орленев признавался: «Как часто

я бывал виноват перед ним, отравляя жизнь визитерами, присутствие которых его тяготило. Но ничего нельзя было сделать. Меня ведь тоже осаждали». Орленев в подробностях рассказал, как он «организовал» на «Белой даче» встречу матери и сына с инспектором Одесского учебного округа, пришедшим к Чехову с визитом. Мальчика-еврея не принимали в гимназию. Родные надеялись, что просьбу Чехова уважат. Так и вышло.

Бунин, приехавший в Ялту по настойчивому приглашению Чехова, застал его в очень плохом состоянии. Ивану Алексеевичу вообще казалось, что жизнь у моря вредна Чехову. Лазаревский, побывавший на Аутке в конце лета, записал в дневнике: «Вид у него был плохой, желтый он был и грустный. У меня мелькнула тяжелая мысль, что, может быть, мы видимся в последний раз». Но чуть кашель отпускал, Чехов веселел, охотно разговаривал. Бунин запомнил его рассказ о визите к Толстому в Гаспру 12 сентября: «Как всегда, он восхищался ясностью его головы и тут сказал: „Знаете, что меня особенно восхищает в нем, это его презрение к нам как писателям. Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня… Почему? Потому что он смотрит на нас, как на детей. Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семеновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо он пишет не по-толстовски..“».

Эта встреча осталась в ревнивых дневниковых записях Сергеенко: «Софья Андреевна объявила, что ждут Чехова таким тоном, как событие. Очевидно, у них мало бывает»; — «Приехал Чехов. Произошло оживление. < … > Лев Николаевич был опьянен Чеховым и всё находил в нем превосходным, охотно соглашаясь и уже авансом улыбаясь, когда Чехов собирался острить». Восхищение Толстого прозой Чехова запомнил пианист А. Б. Гольденвейзер, который записал в дневнике 16 сентября 1901 года: «О Чехове Л[ев] Н[иколаевич] сказал: „Он странный писатель: бросает слова как будто некстати, а между тем, всё у него живет. И сколько ума! Никогда у него нет лишних подробностей, всякая или нужна или прекрасна“».

Бунин полагал, что Чехов не отдавал отчета в своей ценности, а Лазаревский не раз наблюдал его отношение к своей известности. Этим летом они плыли вместе на пароходе из Севастополя в Ялту. Некоторые пассажиры узнали Чехова и откровенно прислушивались к тому, что он говорит. Лазаревский норовил свернуть разговор на «заветное», а Чехов уклонялся: «„Бросьте вы говорить о литературе, ну ее, вот о крене говорили и будем“. — Потом он посмотрел на швабру, которой боцман убирал палубу, и сказал: „Сколько такая штука вбирает грязи!“».

Наедине он объяснил спутнику, что не хотел говорить о литературе из-за любопытствующих. Чехов делился с неугомонным «другом» некоторыми суждениями, которые тот записывал в дневник: «Таланту подражать нельзя, потому что каждый талант есть нечто своеобразное. Мопассану, например, никогда и никто подражать не может, как бы об этом ни говорили, потому что Мопассан один, — он сам по себе.

— Как же формулировать талант? — спросил я.

— А никак. Талант есть талант, — сказал А[нтон] П[авлович]».

Имя французского писателя Чехов, может быть, назвал не случайно. В эти годы его чаще всего сравнивали с Мопассаном, как в 1880-е годы с Тургеневым, а в 1890-е с Толстым.

В разговорах о вере в Бога, о таланте, о загадках природы Чехов всегда уходил от определений. Уклонялся от рассуждений о таинстве брака. В таких случаях он вспоминал стих из послания апостола Павла к ефесянам: «Тайна сия велика есть». Он хорошо знал нравоучительную часть этого послания, включенную в чин венчания. Чехов даже воспроизвел ее в своей одноактной пьесе «Татьяна Репина», написанной в 1889 году, создав контраст между торжественным библейским текстом и пошлыми разговорами участников и свидетелей венчания: «Жены, своим мужем повинуйтеся, якоже Господу, зане муж глава есть жены, якоже и Христос глава церкви, и той есть спаситель тела. <…> Мужие, любите своя жены, якоже и Христос возлюби церковь и себе предаде за ню <…>. Тако должни суть мужие любити своя жены, яко своя телеса, любяй бо свою жену, себе самого любит. <…> Сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей, и будета два в плоть едину… Тайна сия велика есть. Аз же глаголю во Христа и во церковь. Обаче и вы по единому, кийждо свою жену сице да любит, якоже и себя, а жена да убоится мужа своего».

Одно из писем к Книппер зимой 1901 года, затри месяца до бракосочетания, Чехов закончил постоянной уже просьбой: «Итак, жду от тебя письма, моя славная актрисуля, не ленись, Бога ради, и не зазнавайся очень. Помни, что жена да убоится мужа своего. Твой *иеромонах*». А начал он это письмо вопросами, отчего она не пишет, за что на него сердится, тогда как он «болен и одинок». Библейское изречение в контексте письма теряло расхожий смысл — страх жены перед мужем. Оно обретало настоящее звучание: боязнь огорчить того, кто с тобой «плоть едина». Опасение причинить боль любящему тебя. Готовность повиноваться мужу, «прилепиться к нему» не из страха, не по принуждению, а добровольно, по любви.

Павел Егорович держал в страхе и детей и жену, роптавшую, но никогда ни в чем не перечившую ему. Скажи ему средний сын, что «винт» семейной жизни — любовь, и дело не в симпатичной девушке, а в любимой, Павел Егорович не понял бы своего «разумного» и «покорного» сына.

Любить кого-то, как самого себя? Иван Павлович с каждым годом все сильнее превозносил свою жену, забывая о себе. Однако его нежность, наверно, так и не растопила глубокого внутреннего отчуждения Софьи Владимировны. Домашняя жизнь была, а семейной, наверно, не было. От молчания жены, от ее холодного взгляда муж терялся, занимался самоедством.

Михаил Павлович с молодости лелеял мечту об идеальной семье: жена обожает мужа, он для нее и детей — добрый покровитель, умный наставник, образец добродетелей. В первые годы брака так оно и было. Ольга Германовна звала мужа — Мишуничка, Буканя, Крошкин, Заюня, Милунчик. Он ее — Пушинькой. Она, домовитая, рукодельная, вила семейное гнездышко: салфеточки, веера, самодельные абажуры. Он выпиливал рамочки, мастерил полочки, затейливые модели. В письмах родным Михаил Павлович разливался соловьем о вкушаемой им «поэзии» семейной жизни и уверял, что «доволен, доволен, доволен». Свое любимое присловье он услышал в реплике Кулыгина в «Трех сестрах» и обиделся. Михаил Павлович вообще считал, что брат завидует его семейному блаженству. Но эта словесная «олеография» с годами стала тускнеть. В минуты откровенности Михаил Павлович назвал свое счастье пустым, обывательским. Однако продолжал настаивать, что доволен, и писал двоюродному брату в Таганрог: «Добрая жена и вкусные щи — другого счастья не ищи».

Человек красивых словесных жестов и пустых клятвенных уверений, Михаил Павлович позволял себя любить, обожать, но кого-то любить, как самого себя? Помочь кому-то найти себя, стать собой? В его письмах жене нет слов, постоянно звучавших в письмах Чехова к Книппер осенью 1901 года, после ее отъезда в Москву. В каждом письме: «Я тебя очень люблю и буду любить»; — «Я думаю о тебе постоянно»; — «Храни тебя Бог. Благословляю тебя»; — «Скучаю без тебя страшно <…> половина моя хорошая»; — «Я привык к тебе, как маленький, и мне без тебя неуютно и холодно»; — «Твой муж и твой друг на веки вечные»; — «Без тебя мне так скучно, точно меня заточили в монастырь. А что будет зимой, представить не могу!»

Незадолго до его первой встречи с Книппер в журнале «Русская мысль» появился рассказ Чехова «О любви». Повествование о своем чувстве к замужней женщине Алехин,

герой рассказа, начал словами: «Как зарождается любовь <…> всё это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что „тайна сия велика есть“<…>».

Закончил Алехин свою грустную историю признанием: «Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

Авилова тогда, в 1898 году, вообразила, что Чехов описал в рассказе свое чувство к ней. Она нарисовала в воспоминаниях мелодраматическую картину своих захлебывающихся рыданий над книжкой журнала, которая от ее обильных слез стала «мокрой и сморщенной». Воспроизвела по памяти свое «неласковое» письмо Чехову, потому что при повторном чтении «умиление и нежность» вдруг сменились отчаянием и раздражением. В ее воспоминаниях было признание, к которому, наверно, присоединились бы многие из тех, кто читал рассказ «О любви»: «Из какого „высшего“ надо исходить — я не поняла. И что более важно, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, — я тоже не знала».

Но это говорил герой Чехова. Что думал он сам — это и есть, может быть, тайна его переписки с Книппер. Тайна, которая если и приоткрывалась, мерцала, то в моменты особенного несовпадения настроения и душевного состояния супругов, моменты, неизбежные в браке. Их преодоление, может быть, и есть один из секретов семейного счастья, как личного счастья мужа и жены.

Лазаревский записал в дневнике 24 августа 1901 года свое рассуждение о том, что «половой инстинкт имеет такую власть даже над интеллигентным человеком». А далее ответную реплику Чехова: «Я никогда на эти темы ничего не писал, потому что не испытывал этого. У меня половое влечение может возбудить только женщина, которая мне нравится как человек умный и сердечный. Правда, мне случалось „употреблять“ женщину не любя, но страсть пробуждали только те, которые нравились как люди». Заключало запись признание Лазаревского: «Насколько он <…> выше меня, скота, который редко может видеть равнодушно красивое тело и даже просто молодое».

* * *

Уже в августовских письмах Чехова в Москву ощущалось скрытое радостное волнение, что разлука будет короткой, впереди репетиции «Трех сестер». Он наконец увидит свою пьесу на сцене.

Книппер писала ласково, но повелительно: «не хандри»; «ходи по саду и ухаживай за растениями»; «пей кефир»; «дыши воздухом»; «пиши и люби» и т. д. и т. п. Целый месяц она воображала, как встретит мужа в Москве и как они проживут до его отъезда на зимовку в Ялту: «Сегодня я отдала обивать свою мебель, чтоб она была чистенькая и свеженькая в нашей квартирке»; — «Устроимся очень уютно, чтоб тебе было тепло и хорошо здесь»; — «Кабинетик — прелесть, и я мечтаю каждый день, как мы с тобой будем посиживать здесь»; — «Буду тебя чистить, холить, лелеять, кормить, поить».

О зиме она писала противоречиво. То обнадеживала: «Представляла себе, как бы мы с тобой жили зиму в Ялте, искала и находила себе занятия». Но тут же уточняла: «Это так верно и будет в будущем году. Ты веришь?» То передавала от имени актеров: «Очень желают, чтоб ты зиму жил здесь». То заранее подготавливала к раздельному существованию: «Как мне делается беспомощно больно и грустно при мысли о нашей разлуке. Боже, отчего так все несовместимо в жизни?!» — «Этот год будет очень трудный, а там верно все пойдет иначе». Но как именно — не уточняла и даже не фантазировала на эту тему. Однако заверяла, что тоскует, грустит, печалится: «И как мне больно думать, что ты сейчас, может, сидишь и тоскуешь… И приятно и больно»; — «Как мне трудно быть с тобою врозь! Точно отрезан кусок от меня»; — «У меня осадок на душе, оттого что я не с тобой, милый мой. Я живу тем, что жду, жду… <…> Я тебя видела во сне».

Ольга Леонардовна заботилась о муже заочно: «А волосы мочишь спиртом?»; — «Вытираешь ли шею одеколоном?»; — «Чистят ли тебя, убирают ли комнату? Надо, чтоб мой писатель был не в пуху». Она по-прежнему описывала походы в театр, прогулки, веселые вечера в кругу своих родных, вкусный салат из картофеля, огурцов, селедки, лука и телятины.

О внутритеатральной жизни она сообщала с некоторой, словно нарочитой иронией, чуть-чуть со стороны, будто косвенно давая понять, что этот мир теперь и ее, и не ее. В конце августа был приемный экзамен в школу МХТ. Книппер входила в комиссию и, по ее выражению, «забраковала» всех. В том числе и

Мизинову.

Что заставило Лидию Стахиевну, боявшуюся сцены, обучавшуюся вокалу, а не драматическому искусству, решиться на этот экзамен? Без школы, без опыта, в тридцать лет и сразу в московский популярный театр, куда хотели попасть более молодые и опытные актеры? Книппер написала мужу: «Но все прочитанное было пустым местом (между нами), и мне ее жаль было, откровенно говоря. Комиссия единогласно не приняла ее. Санин пожелал ей открыть модное заведение, т. е., конечно, не ей в лицо. <…> Расскажи Маше про Лику. Я думаю, ее возьмут прямо в театр, в статистки, ведь учиться в школе ей поздно, да и не сумеет она учиться».

К этому времени Ольга Леонардовна уже была знакома с Яворской, Мизиновой, Щепкиной-Куперник, вновь встретилась с Авиловой, которую знала в юности по Полотняному заводу, слышала от Марии Павловны о [Лавровой. Но, как она писала в воспоминаниях, они договорились с Чеховым, еще до женитьбы, что прошлое осталось в прошлом. Книппер всегда предпочитала жить настоящим, своим. Десятки раз повторялось в ее письмах конца лета и начала осени 1901 года слово «мой»: «мой дусик», «милый мой», «дорогой мой», «любимый мой», «Антончик мой», «Антонка, родной мой, золотце мое», «любовь моя», «милая моя голова», «роднуличка моя», «дуся моя», «радость моя». Часто говорила — «нежный мой».

Она уловила черту, замеченную немногими, только очень внимательными современниками. Бунин говорил о скрытой нежности Чехова. Куприн заметил его нежное обращение с детьми и животными. Горький уловил мимолетное выражение глаз смеющегося Чехова — ласковое, мягкое, нежное. В отличие от других женщин, которые побаивались чеховских насмешек, Книппер, видимо, почувствовала его беззащитность перед лаской. Поэтому так много ласковых слов в ее письмах. Но смогла ли она сохранить меру и искренность, чтобы нежность не обернулась приторностью, мещанским стилем? Догадалась ли о другом свойстве мужа: абсолютном слухе на фальшивые интонации, на неверные «ноты» в письмах своих корреспондентов?

Она писала размашисто, мешая мелочи быта с эпизодами внутритеатральной жизни. В письме от 29 августа рассказала, как Немирович читал на труппе свою новую драму. Присутствовал и Боборыкин, но после первого акта уехал, заявив, по словам Книппер, «что Немирович не имеет права ставить свою пьесу в своем театре».

Летом 1901 года Боборыкин предпринял еще одну неудачную попытку пристроить свою новинку в Художественный театр. К

тому же в театральных кругах говорили, что Горький по просьбе Немировича и Станиславского что-то пишет для них. Поэтому взрыв самолюбивого стареющего литератора понятен. Он упорно хотел быть среди драматургов, интересных молодому московскому театру.

Через четыре месяца появился очередной роман Боборыкина «Исповедники», герой которого уже не удивлялся, как герой предыдущего романа «Однокурсники», успеху «Чайки» у молодежи. Этот бранил театр, зрителей и пьесу «Три сестры»: «И что вы в ней находите? <…> Ни мысли, ни диалога, ни страсти, ни юмора, ничего! А подите — полюбуйтесь: зала набита битком, молодежь млеет и услаждается всем этим жалким распадом российской интеллигенции».

И опять, едва появился роман, Буренин в своей рецензии вцепился в Чехова и МХТ, обвиняя их в саморекламе. Еще весной 1901 года, когда театр показал «Три сестры» на гастролях в Петербурге, Буренин поместил в «Новом времени» пародию на пьесу и спектакль, на автора «чухломских рассказов, повестей и драм». Пародию злую и неинтересную, как всякое злобное измышление.

В унисон с буренинской пародией отзывался в своей газете о гастролях москвичей весной 1901 года и Суворин. Он отказал им в таланте: «Ансамбль малодаровитых актеров для меня ровно ничего не значит, как бы режиссер ни старался соорудить свое здание из разного придуманного вздора для потехи и удивления малосмыслящей толпы».

Спор, разгоревшийся весной, еще сильнее вспыхнул осенью. Голос Андреева в защиту пьесы и театра, размышление о настроении героев, созвучном настроению эпохи, финал его статьи в газете «Курьер»: «Не верьте, что „Три сестры“ — пессимистическая вещь, родящая одно отчаяние да бесплодную тоску. Это светлая, хорошая пьеса», — всё потонуло в хоре упреков, возмущенных откликов, даже обвинений. Главные: «Три сестры» — клевета на провинцию, на русскую жизнь, на современного человека, слабая пьеса. Это крайний художественный и человеческий пессимизм, выражение личного «мрачного», «ужасного», «безотрадного» взгляда Чехова на жизнь.

А успех спектакля? А очереди за билетами? Это, по мнению одних рецензентов, массовый психоз. По словам других — мастерство режиссеров Художественного театра. Ни об одной пьесе Чехова не писали так много, так порой пристрастно. Она будто сфокусировала разговор критиков о русской жизни, о «новой драме» и новом театре.

Столичные и провинциальные газеты не останавливались

даже перед открытыми заявлениями, что в изображении жизни и современных людей «мертвыми» виновата якобы болезнь Чехова. Один из критиков не удержался от гневного возгласа, что все газеты пишут о Чехове! Все театры ставят Чехова! Ему оставалось бы добавить: все читают Чехова! Уже шесть томов собрания сочинений разошлись по городам России, стали приметой быта, запомнившейся многим современникам. В их письмах Чехову, в дневниках, в переписке всё больше оказывалось суждений о прозе и драме Чехова.

Да, порой нелегко читать, но это о нас. Да, автор не дает готовых рецептов и ответов, но возбуждает мысль. Нет, это не осколки разбитого зеркала, как пишут критики о повестях Чехова, а вся русская жизнь и русский человек, каков он есть: рвется в свою «Москву!», но остается на месте, хочет счастья и не понимает, в чем оно.

Те, кто не верил в талант Чехова в годы его молодости, теперь считали, что у него небывалый дар, ставили его имя в ряд с Пушкиным, Гоголем, Островским, Толстым. Те, кто приветствовал первые сборники Чехова, теперь риторически вопрошали: «Не пора ли очнуться?» И призывали освободиться от «чар», от «ослепления» огромного, но опасного таланта, словно заворожившего публику миражами и призраками.

Сам Чехов увидел пьесу на сцене лишь в сентябре 1901 года, когда приехал в Москву. С каким-то детским тщеславием он шутил в письме ялтинскому знакомому: «Зато „Три сестры“ идут великолепно, с блеском, идут гораздо лучше, чем написана пьеса. Я прорежиссировал слегка, сделал кое-кому авторское внушение, и пьеса, как говорят, теперь идет лучше, чем в прошлый сезон».

Замечания были иногда неожиданные. О портрете генерала Прозорова, на котором нарисовали в гриме актера В. В. Лужского, исполнителя роли Андрея, Чехов сказал, что изображение смахивает на портрет японского генерала. Лужский вспоминал, что Чехов остался недоволен им и потому не менее трех раз по часу беседовал отдельно о роли Андрея, «очень подробно, с остановками и разъяснениями». Ему же, Лужскому, вместе с другими актерами воспроизводившему пение птиц, Чехов заметил: «Чудесно воркуете, только же это египетский голубь».

Отчего он уточнил породу голубя? В эти дни в Москве Чехов правил корректуру тома, в который вошел рассказ «Учитель словесности». Именно в этом рассказе упоминались египетские голуби. Учитель Никитин, влюбленный в Машу Шелестову, с умилением смотрел на нее, на всех обитателей дома, где, как ему казалось, «стонут одни только египетские голуби, да и то потому, что иначе не умеют выражать своей радости». Но прошел год

семейной жизни, и на душе Никитина невесело, а дома нерадостно. Кончался рассказ недоумением героя: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость. Скучные ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины… Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»

Эти финальные строки созвучны последнему монологу Андрея Прозорова: «О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен, когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озарялись надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны… <…> и неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра Божия гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери…» Оба героя были влюблены, потом разочаровались в себе и в избранницах. Оба хотели бы изменить свою жизнь бегством. Последняя ремарка об Андрее: «везет другую колясочку, в которой сидит Бобик». Никуда он не уехал и не уедет, и от себя не убежит. Пьеса словно продолжила рассказ. Они будто взаимосвязаны. И странное уточнение Чехова о «египетском голубе», может быть, выдавало эту незримую связь, эту деталь, как символ судьбы, начавшейся «воркованием», а кончившейся стенаниями.

Чехов сказал В. И. Качалову, игравшему Вершинина, что козырять надо увереннее, солиднее, а не как поручик. И более ничего. И вместе с тем, может быть, всё. Но особенно автор поразил актеров тем, как он «прорежиссировал» сцену пожара. Он придавал большое значение звону набата, чтобы получился надрывающий душу звук.

Ему дали помощников, и в день спектакля, по воспоминаниям Станиславского, Чехов «подъехал к театру с извозчиком, нагруженным разными кастрюлями, тазами и жестянками. Сам расставил рабочих с этими инструментами, волновался, рассказывал, как кому бить, и, объясняя, конфузился. Бегал несколько раз из зала на сцену и обратно, но что-то ничего не выходило». На спектакле и вовсе получилась какофония, заглушавшая актеров. Зрители стали возмущаться. Чехов, сидевший в директорской ложе, в конце концов, вышел и более в зал не вернулся.

Станиславский запомнил, что Чехов смеялся, как «самые непосредственные зрители». То есть от радости, от удовольствия. Это наблюдение совпадало с впечатлением Куприна — Чехов молодел в такие минуты. И с рассказом Бунина: Чехов смеялся

заразительно, порой падал головой на колени, но всегда только, «когда ему что-нибудь особенно нравилось». И никогда не смеялся своим шуткам и словам.

Совпадали впечатления некоторых современников относительно природной наблюдательности Чехова, изощренной многолетней привычкой. Станиславский считал его «великолепным физиономистом». Как-то раз осенью 1901 года они беседовали в грим-уборной. Вошел человек, известный веселым нравом, жизнерадостный. Чехов внимательно смотрел на него, а потом расспрашивал, кто он. И вдруг сказал, что это возможный самоубийца. Станиславский посмеялся, но, узнав впоследствии, что человек этот отравился, вспомнил предвещание Чехова.

Себе Чехов в шутку еще в молодые годы пророчил материальное благополучие, высокое положение, литературную известность при жизни и после смерти, женитьбу на богатой, семью, детей, внуков, хлопотливую старость. Шутки и предсказания насчет женитьбы и семейной жизни занимали особое место в этих «мечтаниях». Чехов говорил в былые годы, что боится семейных порядков, которые стеснят его, а в роли мужа усматривал «что-то суровое, как в роли полководца». Еще в 1889 году предполагал жениться на «актрисочке», а жить с ней — в имении в Крыму. Шутил не раз, что вдову его обеспечит доход с постановок пьес и переизданий прозы.

Шутки и пророчества 1901 года касались отпущенного земного срока. В Москве осенью Чехов опять побывал у Шуровского, чтобы рассказать о лечении кумысом, которое не помогло. В истории болезни этот визит отметила лишь запись, что Чехов поправился на десять фунтов. И всё. Более — никаких предписаний, и о Швейцарии — ни слова. Но один совет докторов Чехов упоминал — ничего не писать, не работать еще месяцев восемь или девять. По крайней мере, а может быть, и более. Он лучше врачей знал, что напряженная работа может кончиться кровотечением, как это происходило в последние годы. Признание семилетней давности — «трудно совокупить желание жить с желанием писать», теперь, судя по письмам, обретало иной смысл. Тогда, в 1894 году, под «жить» подразумевались новые впечатления, поездки, знакомства, романы с женщинами, круговорот дел. Ныне — та работа, которая давала ощущение новизны, требовала уже огромных физических и душевных затрат. Она стоила дорого. Так что «совокупление» сокращало жизнь. Тогда «жить» отнимало время и силы, необходимые на «писать». Теперь «писать» отнимало силы на «жить».

Тогда, в московские и мелиховские годы, Чехов говорил о

желанном одиночестве, то есть о душевном покое, важном для сосредоточенной работы. Ныне одиночество, лишенное желания писать, превращалось в *одинокость*, в пустоту. Безлюдье, наверно, страшило не менее, чем многолюдство, гости, визитеры, звонки.

Не работать означало просто влачить время.

Дни в Москве проходили то в театре, то в визитах. Но уже через неделю после приезда Чехов заговорил о поездке в Петербург дня на два, а через десять дней — о возвращении в Ялту. В разговорах с актерами он чуть-чуть приоткрыл какой-то новый сюжет. Говорил о ветке цветущей вишни, о безденежной хозяйке имения, упоминал бильярд. 19 октября Чехов написал Миролюбову, которому был обещан рассказ «Архиерей»: «В настоящее время я в Москве, на будущей же неделе, вероятно в среду, уезжаю в Ялту, где пробуду безвыездно всю зиму. И буду всю зиму работать. Простите, голубчик, я не выслал Вам до сих пор рассказа. Это оттого, что я прервал работу, а прерванное мне всегда было трудно оканчивать. Вот приеду домой, начну сначала и вышлю, будьте покойны! <…> Жена моя, к которой я привык и привязался, остается в Москве одна, и я уезжаю одиноким. Она плачет, я ей не велю бросать театр. Одним словом, катавасия».

В первых же письмах из Ялты он рассказывал, что «совсем, с головой вошел в свою колею, и пустую и скучную», что постель кажется ему «одинокой», точно он «скупой холостяк, злой и старый». И утешал себя и ее: «Ах, собака, милая собака… Ну, да ничего. Поживем так, потерпим, а потом опять будем вместе. Я тебе не изменю, моя дуся, будь покойна. <…> Я привык к твоим заботам о себе (т. е. обо мне), и теперь я как на необитаемом острове».

Глава восьмая. В МЕЧТАХ И «В МЕЧТАХ»

Жизнь Книппер тоже вошла в колею: театр, портниха, обеды в кругу родной семьи, шумные, веселые. Немецкий клан Зальца — Книппер сильно отличался от семьи Чеховых: там чтили связи с соотечественниками, поддерживали родственные отношения, любили земные радости, поощряли занятия искусством (пение, музыка).

В день отъезда Чехова в Ялту 26 октября 1901 года Ольга Леонардовна описала мужу, как она плакала в финале «Трех сестер»: «<…> меня подхватили и утащили в уборную <…>. Я не могла сдержаться. Мучили меня, дергали, хотели раздеть и за доктором, дураки, послали. Я его конечно не пустила. <…> Все в театре меня утешают и сочувствуют. <…> Как мне хочется прильнуть к тебе. Твоя *собака*».

Следующее письмо она начала возвышенно: «Мне хочется изъясниться тебе в любви, говорить о чем-то хорошем, настоящем, хочется жить с тобой какой-то необыкновенной жизнью…» А далее — о земном, житейском, сиюминутном. Как Немирович «перекривил физиономию», почувствовав ее нежелание играть в его пьесе «В мечтах». Она риторически спрашивала мужа: «Что же мне делать? Капризничать и брыкаться мелко. А играть не хочется совсем эту пустопорожнюю роль». В конце опять о поцелуях и наказ — не тосковать, любить ее.

Назавтра опять сначала — ласковые советы, вопросы: «Устройся поскорее, чтоб тебе было уютно, тепленько. Как погода, как выглядит Могаби, сад, журавли?» Потом рассказ о прожитом дне, об обеде у родных: «Я сегодня в возбужденном состоянии <…> говорили глупости, грохотали так, что у меня все мускулы заболели <…>. Дурачились <…> рассказывали скабрезные анекдоты, но в сущности невинные. <…> Настроение было хорошее и я всплакнула. <…> болтала по-английски с старухой англичанкой. Жизнь мне казалась легкой и приятной». В конце уже привычное: «Целую твои глаза, щеки, лоб, губы, обнимаю тебя горячо, а ты меня тоже? Целую, целую и люблю. *Собака*».

В ее письмах — обилие уменьшительных суффиксов: «уютненько», «домик», «крылечко», «постелька», «бутылочка», «письмецо», «затменьице». Частые упоминания трапез с описанием блюд. Она обнаруживала свой природный вкус к здоровой, удобной жизни, привычки себялюбивого человека, но с чувством меры в своих поступках. Беспредельность, безграничность, беззаветность, самоотверженность, а тем более жертвенность, обыкновенно не свойственны таким натурам. Но в своих пределах это ясные люди, необременительные для окружающих.

Книппер бережно относилась к себе. Не тратила время и силы на ненужное. В быту любила, судя по ее письмам, по воспоминаниям современников, разумный порядок, чистоту, необходимые удобства, легкий комфорт. Однако бытом себя не обременяла — отдавала свободное время загородным прогулкам, чтению, отдыху, музицированию. Большие физические и душевные затраты нарушили бы то равновесие, которое Ольга Леонардовна очень ценила, в чем сама не раз признавалась. Она не была флегматичной. Даже говорила о себе, что «кипятливая». Но бурления бывали кратковременны, а в основном всё спокойно протекало в привычных берегах, в удобном русле.

Замужество предполагало перемены. Книппер оставляла их на потом, на время грядущей «необыкновенной», «настоящей» жизни. Она не отказывала. Она *обещала*. Но ощущая некоторое

неудобство, неловкость, облекала это «потом» в словесную печаль: «Милый мой, хороший мой! Как мне будет тоскливо на Рождестве, когда я буду знать, что вы все вместе! Не забывай меня, Антонка мой. <…> Мне ужасно хочется долго, долго всматриваться в твои глаза, в твое лицо. Пиши все о себе. Целую. Твоя *собака*».

Умная, улавливавшая фальшь в людях и пьесах, она словно не замечала, что ее эпистолярные-объяснения в любви обретали сходство с репликами из мелодрам: «Мне пусто без твоих писем»; — «Холодно без тебя мне». Они выглядели бы, наверно, убедительнее, если бы в письмах тут же не рассказывалось об обеде у Лужских, где «вкусно очень было — грибки, селедочки, закусочки, чудные пирожки, тающие во рту, осетрина, говядина с овощами и шоколадное мороженое».

Это было в субботу. В этом же письме Книппер описала свое воскресенье, 5 ноября: «После репетиции я полежала, сбегала пообедать к маме и оттуда на „Дядю Ваню“. Первые два акта играла скверно, третий хорошо. <…> После спектакля заехала за мной Маша, и мы кутили на нашей вечеринке до 4 ч. утра. Это было какое-то сплошное бешенство, вихрь, — кто во что горазд. Пели, плясали, танцевали, всё и все смешались. Я играла в кошки и мышки <…>. Дубасили в гонг, оглушали всех, кричали, орали, хохотали. Но никто не был пьян, хотя кабачок был очень мило устроен. Угощение — только колбасы всех сортов, скверные яблоки и чай с сухарями. <…> Описать этого безумия просто невозможно».

На обещания в будущем «настоящей» жизни Чехов отвечал: «Собака моя милая! Когда-то мы свидимся!» На рассказы Книппер о ее московской жизни, о вечеринке отозвался 9 ноября: «Мои письма к тебе совсем не удовлетворяют меня. После того, что мною и тобой было пережито, мало писем, надо бы продолжать жить. Мы так грешим, что не живем вместе! Ну, да что об этом толковать! Бог с тобой, благословляю тебя, моя немчуша, и радуюсь, что ты веселишься. Целую тебя крепко, крепко. <…> Я пишу, но нельзя сказать, чтобы очень охотно». О нездоровье он сообщал кратко, упомянул, что на втором этаже по-прежнему холодно, что сам мыл себе голову, воду Эмс не пьет, так как некому подогревать ее утром.

В ноябрьских письмах возникал вопрос, уходить ли ей из театра. Но как-то обиняком, в оговорках. Доверив жене быть «хозяйкой» его жизни, Чехов оставил выбор за ней. Она уклонялась от прямого ответа, но намеками, лирическими отступлениями передавала ход своих мыслей: «Эти дни мне сильно хочется бросить всё (только не тебя) и изучать что-нибудь,

этак фундаментально уйти головой во что-нибудь. Я застоя не люблю. Театр мне кажется скучным, потому что нет работы, т. е. для меня. <…>У меня ведь мало веры в себя. Теперь у меня такая полоса, что кажется, что я никакая актриса, играю все скверно, неумело, и почему-то делаю вид, что я настоящая актриса».

Через три дня, 6 ноября, она продолжила этот разговор: «Хочется быть около тебя, ругаю себя, что не бросила сцену. <… > Неясна я себе. Мне больно думать, что ты там один, тоскуешь, скучаешь, а я здесь занята каким-то эфемерным делом, вместо того, чтоб отдаться с головой чувству. Что мне мешает? <…> Во мне идет сумятица, борьба. Мне хочется выйти из всего этого человеком. <…> Как я вытяну эту зиму! Антонка, ты мне почаще пиши, что ты меня любишь, мне хорошо от этого. Я могу жить, только когда меня любят. <…> Не казни меня, что мы в разлуке, — по моей вине. <…> Мне надо пошире взглянуть на жизнь. Несмотря на все, у меня настроение мягкое сейчас».

Через два дня Книппер написала два письма. Утреннее кончалось наказом: «Антонка, ты должен теперь написать что-нибудь новое, у тебя в голове сидит очень много, ты не ленись, принатужься и пиши». Вечернее послание завершало бодрое восклицание: «Какая жизнь большая и красивая, Антон! Правда? Мне все сейчас кажется широким и красивым. А тебя люблю, золото мое, и целую и прижимаю к своей груди. Твоя собака».

Таким образом, вопрос о сцене решался в зависимости от обстоятельств, важных лично для Ольги Леонардовны. От ее занятости в репертуаре, от новой пьесы Чехова, в которой ей будет уготована главная роль, от ее самочувствия.

У Книппер не было в Художественном театре положения премьерши, как у Савиной в Александринском театре. Это были разные театры. Один делал ставку на премьеров, другой на ансамбль. У нее не было такой популярности, как у Комиссаржевской, много и успешно гастролировавшей по российской провинции. Не было, что Книппер сознавала сама, мощного сценического таланта. Уйди Ольга Леонардовна сейчас из театра, взяли бы ее обратно через некоторое время? Стал бы Чехов писать пьесу не для нее, а просто для театра, если работа отнимала у него жизнь?

И что же ей — прозябать в Ялте, которую она не любила? Скучной, однообразной, вдали от родных и рядом с чужой и чуждой Евгенией Яковлевной? Издали наблюдать за успехами Лилиной, Андреевой, Савицкой? Родить «полунемчика», о чем в эти дни писал ей муж?

За первую неделю ноября Чехов написал Книппер пять писем.

Они складывались в монолог: «Милая моя жена, законная, я жив и здоров, и одинок. Погода в Ялте чудесная, но меня это мало касается, я сижу у себя и читаю корректуру, которой, по-видимому, нет конца. <…> Я знал, что ты будешь играть в пьесе Немировича. Это я говорю не в осуждение, а так, в ответ на твое письмо. <…> А что ты здорова и весела, дуся моя, я очень рад, на душе моей легче. <…> Хотя в 40 лет и стыдно объясняться в любви, но всё же не могу удержаться, собака, чтобы еще раз не сказать тебе, что я люблю тебя глубоко и нежно. <…> Должно быть, в январе я приеду. Окутаюсь потеплей и приеду, а в Москве буду сидеть в комнате. <…> Ты хочешь бросить театр? Так мне показалось, когда я читал твое письмо. Хочешь? Ты хорошенько подумай, дусик, хорошенько, а потом уже решай что-нибудь. Будущую зиму я всю проживу в Москве — имей сие в виду. <…> Я боюсь, что я надоел тебе или что ты отвыкаешь от меня мало-помалу — определенно сказать не могу, но чего-то боюсь. <…> А вдруг ты бы взяла и приехала в Ялту на 2–3 дня! Понадобилась бы только одна неделя для этого… Я бы встретил тебя в Севастополе. В Севастополе пожил бы с тобой… А? Ну, Бог с тобой!

Я тебя люблю — ты знаешь это уже давно. Целую тебя 1 013 212 раз. Вспоминай обо мне. Твой муж *Антонио*».

* * *

Это был, кажется, первый кризис их не семейной и не домашней, а просто жизни в узаконенном браке. Всё, в сущности, определилось. Ольга Леонардовна лишь «вспоминала» о муже, как он и просил, — он помнил о ней всегда. Она обещала совместную жизнь, может быть, в следующем сезоне — он смирился с одинокой ялтинской «ссылкой».

Письма Книппер заполняли вариации на тему ее терзаний, «борьбы». Они то угасали, то возвращались. Надежды Чехова на приезд жены, даже кратковременный, также то оживали, то таяли. Ее письма кончались изобретением всё новых и новых словесных поцелуев: «Целую крепенько и тепленько»; — «Целую тебя крепко, со вкусом, долго и проникновенно, чтоб по всем жилам прошло»; — «Целую мою милую голову тысячи раз»; — «Целую тебя и люблю мужа моего нежного, люблю глаза твои, люблю мысли твои. Сердце бьется, когда думаю о том, как мы свидимся. Твоя *Книппуша*».

В письме от 12 ноября она давала совет: «Антонка, пиши что-нибудь, я не могу дождаться того ощущения, когда буду читать

твой новый рассказ. Пиши, дуся моя, это ведь сократит тебе время нашей разлуки». На это пожелание он ответил: «Я пишу, работаю, но, дуся моя, в Ялте нельзя работать, нельзя и нельзя. Далеко от мира, неинтересно, а главное — холодно. Получил письмо от Вишневского; скажи ему, что пьесу напишу, но не раньше весны». Вишневский написал откровенно, прямо: «Пьесы Чехова делают до сих пор очень и очень хорошие сборы, и меньше тысячи рублей не было после Вашего отъезда. <…> Без Чехова нам не жить, и поэтому необходима к будущему сезону его новая пьеса».

Невольно получалось, что самое главное — это пьеса. Она неотменима. Она обязательна. Всё остальное можно отложить, вовсе отменить. Едва Книппер, по ее выражению, «пофантазировала», «помечтала», как хорошо бы «прилететь» к мужу на два-три дня перед Рождеством, Чехов воспрянул. Но тут же она написала об изменениях в репертуаре, болезни исполнителей и т. д. То же самое с мечтами о ребенке. Сначала она сама сказала: «А как мне, Антонка, хочется иметь полунемчика!» Через неделю спросила: «Отчего ты думаешь, что этот полунемец наполнит мою жизнь? Разве ты мне ее не наполняешь? Подумай хорошенько». Его ответ, наверно, был не только о ребенке, но о чем-то еще, очень важном: «Мне кажется, что ты бы очень любила полунемчика, любила бы, пожалуй, больше всего на свете, а это именно и нужно».

Их письма в ноябре и декабре 1901 года не совпадали по тону, по ожиданиям и просьбам. Он звал ее в Ялту, она его в Москву. Он торопил их встречу, она напоминала о пьесе. Однажды в конце ноября он не утаил своего состояния: «Я работаю, но неважно. Погода скверная, в комнатах холодно, до Москвы далеко, и в общем создается такое настроение, при котором писание представляется лишним».

На ее далекую заботу — приказать греть воду по утрам; велеть топить так, чтобы наверху стало теплее; добиться, чтобы его кормили как надо, — он отвечал терпеливо: «Но всё это, дуся моя, невозможно. И не пиши насчет еды, ибо сие бесполезно. Мать и бабушка — обе старухи, они очень беспокоятся, обе хлопочут, но всё же одной 70, а другой уже 80 лет. <…> А бани здесь нет, мыться негде! Мою одну только голову».

Действительно, с меню, присланным Книппер, справились бы только опытный повар и проворная кухарка. Ольга Леонардовна писала Евгении Яковлевне: «Здесь он все время ел рябчиков, индюшек, куропаток, цыплят… Язык любит, почки ему готовьте, только как можно реже давайте ему котлеты. И, пожалуйста, давайте ему сладенького, или мармеладу, или берите шоколаду у Верне. Яиц свежих отыщите, давать ему по утрам. Простите, что я

Вам все это пишу, но хочется, чтобы ему было хорошо». Все это вежливо, но с напором. Таким же тоном она давала распоряжения мужу: «распорядись», «сказать твердо, чтоб это было исполнено без разговоров». Чехов объяснял ей, что «приказывать», «велеть», «поступать энергично», как она учила, он не умел никогда. Посему в кабинете и спальне по-прежнему температура не поднималась выше 12 градусов. На обед подавали свиные котлеты, вызывавшие «бурю» в животе. Одежду чистили неаккуратно. Некому было отказывать бестактным посетителям, вроде Лазаревского.

Этот гость сидел часами, курил, досаждал глупыми вопросами, отрывал от работы, являлся дважды в день. Однажды в ноябре он, вернувшись с «Белой дачи», записал в дневнике: «Шатаясь по кабинету, я стал перед камином <…> в камине много было всякого сору, больше всего небольших бумажных кулечков с мокротой, а на одном кулечке была и кровь!» На следующий день Лазаревский отчитался в дневнике: «Поехал к Чехову. <…> В этот день он <…> не жаловался на перебои сердца. <…> Мы спустились в столовую пить чай. Там сидела и его милая, милая старушка-мать. Когда А. П. вышел, она мне все жаловалась, что вот Антоша ничего не хочет есть: „Наскоро съест суп, спросит, что будет второе, и, если не нравится, уходит, а угодить ему трудно. Мяса ему нельзя, нужно или ножки, или рыбу“».

В ноябре на «Белой даче» несколько дней жил Горький. Ему ввиду болезни легких разрешили поездку в Крым, но без права жительства в Ялте. Так как Аутка считалась сельской местностью, то Горькому не возбранялось проживание в доме Чехова. Может быть, в один из этих пяти дней Чехов сказал своему гостю: «Жить для того, чтобы умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, — уж совсем глупо…»

Но именно в эти дни Горький написал Поссе из Ялты: «А. П. пишет какую-то большую вещь и говорит мне: „Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного“. Полагает, что в России ежегодно, потом ежемесячно, потом еженедельно будут драться на улицах и лет через десять-пятнадцать додерутся до конституции. Путь не быстрый, но единственно верный и прямой. Вообще А. П. очень много говорит о конституции, и ты, зная его, разумеется, поймешь, о чем это свидетельствует».

В дом наведывался становой, удостовериться в местонахождении Горького. Гость и хозяин непроизвольно присматривались друг к другу. Горький вынес впечатление, что болезнь иногда делала Чехова мизантропом: «В такие дни он

бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям». Он запомнил и привел в воспоминаниях одно из «сердитых» высказываний Чехова: «Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицмейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра».

Может быть, Горький, как и Ковалевский, как и другие современники, внес что-то свое, передавая суждение Чехова. Мысль об умных и глупых людях была одной из тех, что часто встречалась у самого Горького. Но тяжелое настроение Чехова он подметил точно.

Ничего из того, что еще в 1897 году советовали врачи — теплый дом, обильная легкая пища, хороший уход, душевный покой, необременительные занятия, — не было. К тому же Альтшуллер высказывался против поездок в Москву, а доктор В. А. Тихонов, товарищ Чехова по университету, в это время пребывавший в Крыму, счел, что Чехову «можно теперь жить в Москве». Всё это вместе взятое — холод в кабинете (такой, что зябли пальцы); неподходящее питание; отсутствие ухода; трудная, с перерывами работа; нежеланные гости, а главное, одинокость — обострило процесс. Чехов утаил это от сестры и жены. Поначалу признался лишь Лаврову в самом конце ноября: «Настроение скверное, работаю неохотно, вяло, помаленьку кашляю; и сильно хочется в Москву». В те дни он решил ни за что более не зимовать в Ялте, что бы ни говорил Альтшуллер. Хотя повторял привычное: «Ну, да всё равно!»

Чем хуже ему становилось, тем настойчивее Чехов уверял жену, что любит ее «всё крепче и крепче». Словно надеялся, что именно это воодушевит Ольгу Леонардовну на кратковременную поездку в Крым, а не его жалобы на болезнь, которую он скрывал от нее. Извинял рассказы о развлечениях: «Ты всё на обедах да на юбилеях — я радуюсь, дуся, и хвалю тебя. Ты умница, ты милая». Но, видимо, она чувствовала какую-то неловкость в своих словесных пассажах об их грядущей «красивой», «широкой», «свежей», «ясной», «чистой», «настоящей» жизни, которая наступит «когда-то», «где-то», «устроится» как-то, надо лишь подождать. В этих грезах ощущался даже стилистический сбой. Зато зарисовки о том, с каким удовольствием она поет, как ездила с Вишневским в клуб, опять веселилась в компании, выходили более естественными, живыми. Наверно, в них она была более сама собой. Отвечать признаниями на его уверения? Повышать градус своих излияний? Но их запас, похоже, уже

исчерпывался. Ничего за собой не влекущие в реальности, они звучали всё более неубедительно, «литературно».

Может быть, отдавая в этом отчет, Книппер теперь просила от мужа не слов любви, но особой откровенности, душевной исповеди. Она заявляла права на всё: «Тебе никогда не хочется сказать мне что-нибудь, а пишешь так, по привычке. Мне интересен только ты, твоя душа, весь твой духовный мир, я хочу знать, что там творится, или это слишком смело сказано и туда вход воспрещается? <…> Пиши мне откровенно все твои мысли». Ольга Леонардовна, по ее выражению, желала знать «каждую» мысль мужа, «каждую складочку» в его душе. Эти фразы чем-то походили на реплики героинь из пьесы Немировича «В мечтах», которую репетировали в театре, из-за которой Ольгу Леонардовну не отпускали в Ялту даже на несколько дней: «Зачем я Вас запутала в свою жизнь?»; — «Как бы я хотела знать все, что сейчас в вашей душе»; — «Женщина должна, во-первых, любить, во-вторых, любить и, в-третьих, — любить».

Ответ Чехова, кажется, не оставлял сомнений: «Мои письма не нравятся тебе, я это знаю и ценю твой вкус. Но что, милая, делать, если все эти дни я был не в духе! Уж ты извини, не сердись на своего нелепого мужа. <…> Не стесняйся, собака, пиши мне всё, что взбредет в голову, разные мелочи, пустячки; ты не можешь себе представить, как ценны для меня твои письма, как они умиротворяют меня. Ведь я тебя люблю, не забывай этого».

Современники Чехова задавались вопросом: был ли у него друг? Открывался ли он кому-нибудь? Поверял ли свои мысли, чувства? И отвечали, как правило: *нет*. Куприн говорил, что Чехов «ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным, интересом». Потапенко связал ровность, внешний холод Чехова и вместе с тем очевидный интерес к людям с неостановимой творческой работой: «Мне кажется, что он весь был — творчество». Приятель считал, что у Чехова «было то неотразимое обаяние, которое каждую душу заставляло отдаваться ему <…>. Но он-то свою не раскрывал ни перед кем. Может быть, это-то знание, эта изумительная способность видеть человека насквозь и была причиной того, что он не мог никого близко подпустить к своей душе».

Многие могли назвать себя хорошими знакомыми Чехова. В разное время кто-то приятельствовал с ним. С очень немногими он вел откровенные разговоры. Но полное доверие и душевная открытость? Вероятно, *ни к кому и ни с кем*. И это не помеха ни дружескому расположению, ни душевной приязни.

Чехов не любил выяснять отношения. Ни с кем не ссорился, не конфликтовал. Но при этом некоторые современники запомнили его в минуты гнева, когда он взглядом останавливал дальнейшее обсуждение, будто отрезал. К попыткам стать с ним на короткую ногу или покровительствовать ему Чехов относился иронически. Натуры самолюбивые, чувствительные к мнению о себе (Гиппиус, Буренин, Кугель, Розанов) ощущали, видимо, скрытое неприятие при всей внешней доброжелательности Чехова. И расходился он с людьми тихо. Не хлопал дверью, не оповещал мир о случившемся. Казалось, что это жизнь развела. А на самом деле просто отношения исчерпывали себя. Никогда и никому ни слова вослед. Он не обсуждал былых приятелей. Они будто таяли в прошлом. А он, как был, так и оставался наедине с собой.

В записной книжке Чехова, судя по соседним записям, как раз зимой 1901 года появилась строчка: «Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким». На этой же странице, чуть раньше: «Если боитесь одиночества, то не женитесь». На предыдущей и на последующей страницах записи: «Поле с далью, одна березка. Подпись под картиной: одиночество»; — «мне кажется: море и я — и больше никого».

Чехов, по воспоминаниям родных, в детстве часами играл сам с собой. В отрочестве не бежал приятелей, но не скучал без них. В юности был поглощен чем-то своим, не вел дневников, в старших классах гимназии ни с кем не сближался. В молодости, даже в компании, в общем разговоре казался одновременно самим по себе, и слушающим, и говорящим, и наблюдающим, и думающим о чем-то своем. Он словно оберегал внутреннее одиночество, свою уединенность, потаенность.

Но одинокость, отсутствие интересных людей, новых впечатлений переносил тяжело. Поэтому в московские и мелиховские годы искренно зазывал гостей в Бабкино, Сумы, в Мелихово. Поэтому так любил путешествия, движение. Болезнь заключила его в ялтинскую «тюрьму», хотя так он, наверно, назвал бы любой дом, где оказался бы одиноким, без интересных гостей, под запретом или не в силах покинуть этот дом. Просто в Ялте, в холодном доме зимой по соседству с матерью, тихо обитавшей в своей комнате, было очень пусто, в буквальном и переносном смысле. А с неинтересными людьми, мешавшими и думать и писать, нестерпимо.

Да, письма Книппер «умиротворяли», наверно, как словесное марево, мираж. Но хотелось живых людей, голосов, разговоров. Хоть на несколько дней рядом свою энергичную, интересную жену, свою «собаку». Но Ольга Леонардовна сообщила, что ей не

удалось «соединить несоединимое», то есть театр и мужа, и на Рождество она не приедет.

И тут же с недоумением спросила: «Дусик, милый, золотой мой, неужели у тебя нет никакой отрады в том, что ты можешь писать, неужели это тебя не увлекает, не захватывает? Мне кажется, именно когда в жизни идет тоскливая полоса, одно спасение — уйти в работу, мечтать, создавать, смаковать все это. У тебя тем более такое большое богатство материала, наблюдений, что только посиди немного и выйдет красота. Ты ведь мой большой талант! Ты — русский Мопассан».

Уловила ли она сходство этих фраз с репликами Аркадиной («Чайка»), удерживавшей около себя любовника: «Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России… У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора… <…> О, тебя нельзя читать без восторга!»

Может быть, это услышал Чехов. Сравнение с Мопассаном и рассуждение Книппер о сути литературного труда, наверно, задели его. Когда-то он не извинил Мизиновой ее пренебрежительного «чириканья» насчет писания, этого, по его словам, «червя, подтачивающего жизнь». Не пропустил Чехов и упрека Авиловой, уподобившей однажды труд литератора усилиям пчелы, «берущей» мед, откуда придется. Чехов тогда, в августе 1898 года, ответил ей: «Вы неправильно судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы; а потом уже берет мед. Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потемки».

Книппер, в отличие от Мизиновой, знала тяжесть актерского труда. Она занималась им не от случая к случаю, как Авилова своим сочинительством, а жила своей профессией. Однако и она, видимо, упрощала незримую связь между душевным состоянием и «желанием писать», между тем, что Чехов назвал скрытой «тяжестью и угнетающей силой сочинительства», и чувствами «сочинителя». Ее недоумение выдавало непонимание истоков тоски и одинокости Чехова. Когда он работал, его письма к Книппер менялись, превращаясь в своеобразный барометр.

Ольга Леонардовна ждала, требовала от него и новой пьесы, и новых признаний. И решения вопроса, который могла решить только она: «Лучше выругай меня, скажи, что ты недоволен жизнью, что я должна жить с тобой, вместе, а то на кой тебе такая нелепая жена. Я соглашусь. Конечно, я поступила легкомысленно. Я все надеялась, что твое здоровье позволит тебе провести хоть часть зимы в Москве. Да не выходит, Антончик мой! Скажи мне,

что я должна делать».

Но тут же, в следующей строчке этого письма от 4 декабря 1901 года, предупреждала: «Без дела совсем я надоем тебе. Буду шататься из угла в угол и придираться ко всему». Она охотно повелевала в письмах из Москвы — кому и как подогревать мужу воду по утрам, что готовить ему на обед и т. д. Но руководить всем этим в Ялте, стать не «хозяйкой» его жизни, а просто хозяйкой ауткинского дома?

Чехов никогда даже не просил об этом, а тем паче не требовал. Более того, он ценил ее именно за то, что она нашла свое дело, занималась им с интересом, с упорством. Он не отнимал у нее в браке ни свободы, ни профессии. И боялся, задолго до женитьбы, однообразия семейной жизни. В этом он однажды признался Суворину в той манере, о которой некоторые современники говорили, что не могли понять — шутит он или говорит серьезно: «Извольте, я женюсь <…>. Но мои условия: всё должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, — я не выдержу. Когда каждый день мне говорят всё об одном и том же, одинаковым тоном, то я становлюсь лютым.<…> Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день. <…> оттого, что я женюсь, писать я не стану лучше».

Казалось бы, всё так и сложилось, как он хотел. Но говорил он так семь лет назад, еще до клиники, живя в Мелихове, откуда часто ездил в Москву, еще до встречи с Книппер. Теперь его не отпускали из Ялты, любая поездка влияла на самочувствие, а в их семейной жизни, если продолжить шутливое мечтание Чехова, царило «лунное затмение», и он жил ожиданием «явления» жены, хотя бы изредка, хотя бы вдруг…

На ее «что делать?» Чехов ответил 12 декабря не укоризной, не своим решением вместо нее, а утешением: «Дуся моя, не волнуйся, не сердись, не негодуй, не печалься, всё войдет в норму, всё будет благополучно, именно будет то, чего мы хотим оба, жена моя бесподобная. Терпи и жди».

* * *

Терпел и ждал он. Она репетировала до ночи, уставала, «как сатана», и назавтра после письма, в котором, в сущности, решила не покидать сцену, вернулась к лирической риторике: «Не тоскуй, голубчик, подумай, какая чудная будет встреча, как все будет

полно и хорошо! Ты себе представляешь? <…> Ну, дусик, спи, пусть тебе снятся сны золотые, полные красоты, ласки, любви. <…> Не тоскуй, пиши и мне и России побольше. Твоя *собака*».

Соединить театр и мужа не удавалось. Но она постоянно соединяла театр и драматурга Чехова. И это ложилось тенью на ее уверения, что она любит именно его, а не того, кого и после женитьбы называла «мой писатель», «мой поэт». Тот интерес к его работе, который Чехов оценил вначале, теперь, судя по письмам, слегка его раздражал. Она напоминала о пьесе в письмах, посланных в декабре: «пиши о себе, о здоровье, о работе»; — «будь здоров, весел, покоен, работай, жену вспоминай»; — «Антончик, а комедию пиши непременно, ведь это будет переворот, ведь русских комедий нет и нет»; — «Станиславский и все очень осведомляются, пишешь ли или будешь ли писать комедию. Хорошо бы ее получить весной и ею открыть сезон — вот шик-то был бы! Я с остервенением жду чего-нибудь новенького от Чехова — что-то он родит!»

Он не раз признавался в ответных декабрьских письмах, что ему мешает нездоровье: «Я пишу вяло, без всякой охоты. Не жди пока от меня ничего особенного, ничего путного. Говорю не о письмах, а о произведениях. Как бы ни было, комедию напишу, дуся моя. И роль для тебя будет». Шутил, что если бы он теперь бросил литературу и сделался садовником, то «это было бы очень хорошо», потому что прибавило бы лет десять жизни.

Уже не скрывая, написал 7 декабря: «А я, дусик мой, последние дни был нездоров. Принимал касторку, чувствую, будто отощал, кашляю, ничего не делаю. Теперь полегчало, так что завтра, вероятно, примусь за работу… Одиночество, по-видимому, очень вредно действует на желудок. Не шутя, милюся, когда же мы опять будем вместе? Когда я тебя увижу? Если бы ты приехала сюда на праздниках хотя на один день, то это было бы бесконечно хорошо. Впрочем, как знаешь».

Через три дня он коротко сообщил о кровохарканье: «Сегодня крови уже почти нет, но все-таки надо лежать. Не беспокойся, друг мой хороший. <…> Пиши подлинней». Еще через два дня не скрыл, что кровь еще идет: «Всё, что я писал и начал писать, пропало, так как теперь придется начинать опять… Я должен писать без перерыва, иначе ничего не выйдет. <…> Не забывай меня, пиши каждый день. Твои письма для меня лекарство, без которого я уже не могу существовать».

Наконец 18 декабря стал уверять, что крови нет, кашля «почти нет», но «только одна беда — громадный компрессище на правом боку. И как я, если б ты только знала, вспоминаю тебя, как жалею, что тебя нет со мной, когда приходится накладывать

этот громадный компресс и когда я кажусь себе одиноким и беспомощным. Но это, конечно, не надолго; как только компресс на боку, так уже и ничего. Ничего, ничего не пишу, ничего не делаю. Всё отложил до будущего года. Видишь, за кого ты вышла замуж, за какого лентяя! <…> Мне даже кажется невероятным, что мы увидимся когда-нибудь. Без тебя я никуда не годен. <…> Так глупо жизнь проходит. <…> Пиши, моя радость! Твой *Antonio*».

Книппер просила писать пьесу. Чехов просил писать ему длинные письма. Жена была главным адресатом его писем. Сестре он написал со дня отъезда из Москвы до ее приезда в Ялту 18 декабря на Рождество всего три письма, а она всего два. В одном из них рассказала, что Александр, будучи на Кавказе, заболел и две недели пролежал с воспалением легких: «Какой ужас, боже мой! Ведь он был там совсем один!» Волновало ли ее одиночество другого брата? О том, чтобы оставить гимназию и переехать в Ялту, теперь речь даже не заходила. Разговоры о самостоятельной жизни, возникшие в первые дни после женитьбы брата, тут же сошли на нет, едва стали известны его завещательные распоряжения, а сам он уверил мать и сестру, что «всё остается по-старому».

Действительно, всё осталось по-старому. Мария Павловна разделяла с Ольгой Леонардовной кров, общий круг знакомых, заказы у модной портнихи Ламановой, прогулки, юбилей, вечеринки. Чехов оплачивал московскую квартиру. Сестра распоряжалась, как и в предыдущие годы, банковскими счетами. Она держалась уверенно и спокойно. И теперь без восторгов смотрела на актерскую среду, хотя любила бывать среди них. Семейство Книппер почему-то стало ей казаться буржуазным, шумным и очень большим.

Может быть, дружные, жизнерадостные Книпперы раздражали Марию Павловну, невольно подчеркивая, что семьи Чеховых уже нет. Братья и сестра жили своей жизнью, почти не переписывались, редко виделись, даже живя в одном городе. Чехов знал о них мало, они о нем того меньше. Свое участие в жизни матери и брата Мария Павловна свела в это время к приездам в Ялту на Рождество, на Пасху и летом, то есть в каникулярное время. Знала ли она об ухудшившемся состоянии брата? Сам он ничего не сообщал. Видимо, полагал, что Книппер расскажет. Но никакого беспокойства сестра не выказала. Либо не знала, либо не придала значения услышанному от Ольги Леонардовны. Может быть, та показала ей письмо от 11 декабря, в котором Чехов успокоил жену: «Я тебя не жду на праздниках, да и не надо приезжать сюда, дусик мой. Занимайся своим делом, а

пожить вместе еще успеем. Благословляю тебя, моя девочка. Будь покойна, будь здорова».

Могла ли жена, уже зная о кашле, компрессе, хотя бы на день-два вырваться в Ялту? Чехов получал репертуар Художественного театра и видел замены. Скорее всего, могла, не будь премьеры пьесы Немировича «В мечтах». Весь ноябрь шли репетиции. Пьеса не очень нравилась Книппер, ее раздражал Санин, ставивший эту пьесу вместе со Станиславским. И всё это на фоне какого-то общего недовольства в театре, о котором она рассказывала Чехову.

Почему Немирович решил поставить свою пьесу в своем театре? Довольно рискованный шаг. Было ли в этом что-то, связанное с отношениями между Чеховым и Немировичем, с успехом трех постановок по пьесам Чехова в Художественном театре?

Чехов с немногими был на «ты». Однако, судя по письмам, это обращение к Владимиру Ивановичу не повлекло такого интереса, какое ощущалось в дружеском чувстве Чехова к Короленко. Такого доверия, какое когда-то оживляло переписку с Сувориным. Такой непринужденности, какая окрашивала отношения Чехова с Потапенко. И даже тени нет той сердечной привязанности, какая была между Чеховым и Левитаном.

Немирович, будучи на два года старше Чехова, ощущал себя младшим, о чем написал в 1896 году («оттого ли, что чувствую себя перед тобой слишком маленьким и ты подавляешь меня своей талантливостью»). При этом в отношениях с другими Владимир Иванович, умный, наблюдательный, чуткий, умел держать ровный доброжелательный тон с оттенком уверенности, но не самоуверенности.

Не набиваясь в друзья, не ища откровенности, Немирович тем не менее не скрыл, что дружелюбная отчужденность Чехова задевала его. Он хотел бы объяснить ее скрытностью Чехова, за которой подозревал «дьявольское самолюбие». Но не менее самолюбиво вдруг спрашивал то ли себя, то ли Чехова: «А может быть, просто со мной скучно?»

Он, может быть, улавливал скрытую дистанцию, хотя и облеченную в самую корректную форму. Постановка «Чайки», «Дяди Вани», «Трех сестер», в каждую из которых Немирович вложил много времени, сил, наверно, могла их сблизить. Эти спектакли в каком-то смысле были их общими созданиями. Недаром Немирович подчеркивал, что успех «Чайки» — это вопрос его художественного самолюбия и вообще, для него «ставить пьесу все равно, что писать ее». Его телеграмма Чехову в день премьеры заканчивалась словами: «Я счастлив, как никогда

не был при постановке собственных пьес».

Оказалось, что их отношения не менялись и дистанция не сокращалась. Будто что-то мешало. Может быть, то, что напоминало посягательство на работу Чехова, а это исключалось всегда. В январе 1899 года Немирович спрашивал «Что же ты не даешь разрешения на „Дядю Ваню“? И знаешь что? Непременно напиши новую пьесу нам. Да заранее поговори со мной, чтоб я мог жить ею вместе с тобой».

Видимо, он недостаточно знал характер и привычки Чехова — никогда и ни с кем не делиться замыслом, не читать фрагменты рукописей. Подобное — «заранее поговори», даже при самых благих побуждениях, — было невозможно. И, наверно, не осталось незамеченным. Как и нажим Немировича в связи с «Тремя сестрами»: «Ты должен написать, должен, должен!»; — «Возьми себя в руки и кончай пьесу. <…> Театр <…> начинает подозревать, — ты охладел к нему. Давай о себе сведения чаще».

Может быть, сближению мешало немаловажное обстоятельство. Трудности постановок и не столь очевидный, не с первого спектакля, успех «Дяди Вани» и «Трех сестер», Немирович объяснял «грехами» этих пьес. На его взгляд — это сценическая тягучесть в «Дяде Ване», психологическая неясность главного героя пьесы. А в «Трех сестрах» — не столь совершенная, как в «Чайке», художественная цельность, загромождающие подробности. Всё это, по рассказам Немировича, преодолевалось в процессе тщательного разбора пьесы с актерами и на репетициях. Он словно продолжал давать «уроки», как когда-то в связи с «Ивановым», «Лешим». Но теперь более радикальные — не то как «овладеть сценой», а как ради нее изменить свое сочинительство, то есть свою жизнь.

В апреле 1901 года он написал Чехову: «В конце концов, я остаюсь при решительном убеждении, что ты должен писать пьесы. Я иду очень далеко: бросить беллетристику ради пьес. Никогда ты так не развертывался, как на сцене. Но я дал бы один совет насчет *движения* в пьесе. Не „действия“, а движения… Поговорим об этом».

Владимир Иванович, может быть, на самом деле пошел «очень далеко», но, судя по переписке, ближе с Чеховым они не стали. Если не дальше…

Как бы то ни было, летом и осенью 1901 года переписка Чехова и Немировича свелась к нескольким письмам. Зато сам Владимир Иванович, его пьеса «В мечтах» и готовившийся спектакль без конца упоминались в письмах Чехова и Книппер и оказались камнем преткновения в отношениях мужа и жены. Еще до чтения на труппе Книппер заметила: «Интересно —

послушаем. А право, страшно за Влад. Ив. Подумай, если пьеса не понравится; если сядет на мель — каково ему? <…> Конечно, трудно ему тягаться с Чеховым, Ибсеном, Гауптманом. Что-то будет!»

Первое ее впечатление от пьесы — «не пойму». Она переживала из-за автора, рассказывала мужу 30 августа: «Если бы ты видел, как он волновался вчера, т. е. Вл. Ив.!» Заметила, по ее выражению, «сухие физиономии» Мейерхольда и Роксановой во время чтения. Чехову, судя по просьбам к жене скорее прислать пьесу, тоже было интересно, что написал Немирович. Он прочел пьесу осенью, когда был в Москве, но от оценок воздержался.

В письмах Книппер рассказ о трудных репетициях пьесы «В мечтах» переплетался с рассказом о неблагополучии в театре. Она была на стороне Владимира Ивановича: «Ничего не налаживается, и он нервит. <…> Жалко мне Немировича. Вообще как-то тяжело в театре». Верная ученица, еще в училище выделенная учителем, Книппер поддерживала его. Согласилась на роль, хотя нашла ее «пустопорожней». Эта роль в конце концов досталась Лилиной. Книппер взялась за другую, по ее словам, «внешнюю, эпизодическую», всего в несколько реплик, от которой, наверно, могла отказаться.

В том, что не получилось вырваться в Ялту ни в ноябре, ни в декабре, Книппер винила не его, а кого-то другого, кого не называла, или ссылалась на обстоятельства. Она писала 30 ноября: «Немирович хотел бы очень, но ведь не от него зависит. Перед праздниками публика туго ходит в театр, и потому надо ставить хлебные пьесы». И, наконец, подвела черту: «Мне больно писать тебе, что надежда на мой приезд плоха. Если „Мечты“ пойдут 18 или 19-го, то ясно, что пьесу эту зарядят часто на первых порах. Влад. Ив. сделал бы это для меня, он сам говорит об этом очень деликатно. Милый, милый мой, это всё ужасно. Я не знаю, что делать. Я разрываюсь. Хочу соединить несоединимое. Почувствуй мою теплоту, согрейся. Я тебя целую. Твоя *собака*».

Рассказывала в письмах, что у Станиславского не получалась роль в этом спектакле, что Немирович волнуется, раздражается: «Я зашла к нему, чтоб поговорить, — жалко его стало. <…> Я его понимаю, т. е. то, что он так нервит. Ведь теперь должна решиться судьба нашего театра». В этой ситуации она считала невозможным просить о коротком перерыве, чтобы съездить к мужу, поэтому написала 13 декабря: «Пьеса идет 20-ого, идет туго, в театре настроение скверное, т[ак] ч[то] ты поймешь меня — мне трудно просить отпуска, да и немыслимо дать его».

О том, что Чехов замыслил комедию, она тут же сообщила Немировичу. Он, впервые за полтора месяца после отъезда

Чехова, написал: «Ольга Леонардовна шепнула мне, что ты решительно принимаешься за комедию. А я все это время собирался написать тебе: не забывай о нас! И чем скорее будет твоя пьеса, тем лучше. Больше времени будет для переговоров и устранения разных ошибок». Памятуя, наверно, о трудностях с постановкой «Трех сестер», об осенних репетициях в присутствии Чехова, Немирович обещал художественное и материальное «вознаграждение», то есть старательную, как и ранее, постановку и успех. Но предупреждал: «Если спектакль не совсем таков, какие у нас должны быть, — то ничего с этим не поделаешь: театр! Театр — то есть ежедневные спектакли. Без компромисса ничего не поделаешь. Если бы давать только высокохудожественные спектакли, то пришлось бы число их сократить вдвое и еще более находиться в зависимости от меценатов». За этим предупреждением таились, может быть, разговоры Чехова и Немировича в Ницце в январе 1901 года, беседы в Москве осенью того же года. И что-то неведомое, связанное с отношением Чехова к постановкам его пьес в Художественном театре.

В декабре он получил письмо Куприна. Александр Иванович рассказал о своих впечатлениях от этих спектаклей: «Я и в самом деле думал, что у них идет реформа сценического искусства, а реформа эта, оказывается, коснулась только чисто внешней стороны, декоративной. Правда, в этом много сделано прекрасного: столовая в III действии „Чайки“ поставлена до того хорошо, что при поднятии занавеса внезапно чувствуешь, как будто ты сам в ней сидишь. <…> Но и здесь кое-где есть пересол. <…> Но самое-то главное в том, что прославленная реформа совсем не коснулась среднего и маленького актеров». Куприну показалось, что «они остались теми же актерами, каких много и на сцене императ[орских] театров, и в Харькове, и в Проскурове. <…> И эта шаблонная игра совершенно заслоняет собою все попытки новаторов довести сцену до иллюзии настоящей жизни. Для этого, вероятно, нужно, чтобы в каждом актере при таланте Станиславского сидела душа В. И. Данченко».

* * *

Спор вокруг Художественного театра велся и на страницах печати, и в переписке современников. В конце 1901 года в самом театре обстановка на самом деле сложилась трудная. Не только из-за репетиций пьесы «В мечтах». Книппер передавала в письме Чехову слова Немировича, что «служить на жалованье могут только 20 работающих, остальных же только нанимать, когда нужно». Назревала какая-то новая реформа, внутритеатральная.

Всё это удерживало Книппер в Москве. Ей, наверно, легче было поверить в чудодейственное излечение мужа касторкой и подогретой минеральной водой («Умник, что пьешь опять Эмс и если бы пил все время, то и кишочки были бы исправнее»), чем понять, что скрывалось за его словами: «Принимал касторку, чувствую, будто отощал, кашляю, ничего не делаю». Понять и не поверить, что кровотечение ограничилось несколькими днями. Но она будто ничего не услышала и звала мужа в Москву.

Об этом же писал и Немирович в своем письме: «Очень я хотел устроить так, чтобы Ольга Леон, могла поехать к тебе на несколько дней. Ничего не смогу сделать. Досадно мне самому до того, что совестно смотреть ей в глаза. А она, бедняжка, кажется, очень на это рассчитывала. Если ты приедешь без всякого ущерба для здоровья, мне на душе будет легче. Ну, будь здоров. Крепко обнимаю тебя. Искренно любящий тебя Вл. Немирович-Данченко».

Итак, Книппер и Немирович сочувствовали друг другу. Она — его волнениям из-за пьесы, предстоящих перемен в театре. Он — ее переживаниям, что в Ялту она не едет. Оба звали Чехова в Москву, чтобы у них на душе было легче.

Чехов успокаивал обоих. Ее уверял в письме от 13 декабря: «Я уже выздоровел, крови не видать, только слабость осталась — давно не ел как следует. Думаю, что дня через 2–3 буду здоров совершенно. Принимаю пилюли, капли, порошки… <…> Ах, дуся, как я тебе завидую, если б ты знала! Завидую твоей бодрости, свежести, твоему здоровью, настроению, завидую, что тебе не мешают пить никакие соображения насчет кровохаркания и т. п. Я прежде мог выпить, как говорится, зд***о***рово. <…> Около меня пусто, обеды жалкие, даже в телефон никто не звонит, а уж про спанье и не говорю. <…> Не забывай и не покидай меня. Целую сто тысяч раз. Твой *Антон*». Немировичу он просил передать, чтобы не волновался: «Всё будет очень хорошо».

К тому времени, когда Книппер получила это письмо, она уже

не волновалась. Лишь поначалу, после письма Чехова от 10 декабря («После этого началось у меня кровохарканье»), она встревожилась и писала 14 декабря: «Я способна всё сейчас бросить и лететь к тебе. Я должна быть около тебя, должна устроить тебе жизнь хорошую, приятную, спокойную. И это будет, милый мой. Мне больно, очень больно, когда я представляю, как ты лежишь там один и тоскуешь… <…> Антон, ты ангел, ты знаешь это? <…> Я не стою тебя совсем. <…> Антонка, не проклинай меня очень уж. Ты никогда не будешь упрекать меня за то, что я впуталась в твою жизнь? Ах, Антон, как бы мне сейчас хотелось стоять перед тобой на коленях и говорить много и горячо, о чем — я сама не знаю. Ну, вот обо всем, о всей жизни моей, о моих мечтах, ну вот все бы вылилось таким горячим потоком! И чтоб ты меня понимал! <…> А ты бы мне говорил о любви своей, и мне было бы хорошо. А когда все это будет без „бы“!»

Это покаянное письмо Ольга Леонардовна закончила недоуменным вопросом: «Откуда ты взял, что я бываю все на обедах и юбилеях. Я скучаю, тоскую и никуда не хожу». Между тем «взял» он это из ее писем, хотя бы за последние две недели: *30 ноября, ночь*: «Сейчас вернулись от Тихомирова, куда ездили с Машей. Приехали в самый ужин»; — 2 декабря, вечер: «Обедал у нас сегодня народ <…> болтали, попели. <…> Муратова чудила, много рассказывала, и мы смеялись очень много. <…> Вообще посмеялись»; — *8 декабря, утро*: «Вчера вечером я была у мамы, там пели квартеты, музыканили, а потом вкусно ужинали, потом разошлись. Поехала я к маме уже часов в 10, т. к. и у нас тоже сидел народ: m-me Бонье, Хотяинцева, Мизинова, Иос. Ал. Тихомиров и мне не хотелось уходить…»; — *8 декабря, ночь*: «Я сейчас подвыпила, Антончик мой! Прости свою беспутную жену! После спектакля собрались в кабинете директора и угощались. Была кулебяка, была икра, семга, чай, фрукты, вино, шампанское, и болтовня. Я очень много хохотала. Пили за твое здоровье, милый мой! Было тесно и уютно»; — *10 декабря*: «Сегодня вечер я дома <…> заезжал Влад. Ив. Поздно пришла мама, попила чаю у нас»; — *11 декабря, ночь*: «Пирушку, кажется, надо будет устроить. <…> И правда — Маша уедет на месяц — долго ждать ее возвращения. А так — покутим и Маша всё расскажет тебе. Сами товарищи уже напрашиваются, да и я не прочь подурить. Они все-таки славные все».

Пирушка состоялась 15 декабря, назавтра после письма, в котором она сокрушалась о его одиночестве, готова была «все бросить и лететь» в Ялту. Свое письмо Книппер писала в 4 часа ночи: «Только что разошлись гости, т. е. сплошь Худож. театр.

Разгром в квартире необычайный — пили, ели, пели, плясали и остались довольны. А я часто думала о тебе, мне не было весело, а так иногда захватывал какой-то задор, какая-то удаль и тут же все падало».

Свой приезд она перенесла на весну, но зато обещала, что на следующую зиму они вместе уедут в «теплые края»: «<…> я буду вся твоя, твоя и выхожу тебя, ты будешь здоровый и спокойный. И у нас будет какое-то маленькое существо, которое мы будем боготворить — это будет непременно, я этого хочу. И ты тоже хочешь этого, Антон мой? <…> Думай <…> о том, как мы будем блаженно счастливы, когда увидимся». Всё отодвигалось — приезд в Ялту, уход из театра. И она мечтала о новой роли, о том, чтобы открыть сезон новой пьесой Чехова. Опять в письмах волновалась о премьере, сострадала Владимиру Ивановичу: «Мне будет очень жалко Немировича, если пьеса не будет иметь успеха. Поговаривают, что ей не место в нашем театре».

Она, кажется, и сама это понимала и накануне премьеры писала Чехову: «Туалеты у всех красивые, но мне уже они опротивели, и моя роль тоже». Иронизировала по поводу костюма: «Мне жаль, что ты не видишь меня в красном открытом платье; меня прозвали рубиновая змея. Хвост весь в блестящих чешуях, медно-красного отлива. Декольте здоровое. Говорят — красиво. Ты бы меня не узнал. <…> Да ну, все это не важно, ну их! Роль внешняя и эпизодическая. Ты бы, верно, злился, смотря на меня».

21 декабря прошла премьера. Книппер была довольна собой. Рецензенты отмечали ее темпераментную эффектную игру, отделку эпизодической роли. Писали, что она открылась как актриса на характерные роли. Однако саму пьесу «В мечтах» сочли неудачной. Ольга Леонардовна рассказала Чехову о премьере: «По-моему, успех средний, и очень даже (между нами). Мне было больно». Мейерхольд в письме Чехову передал мнение зрителей и свое: «Пестро, красочно, но не значительно и не искренне. Узнали в авторе ученика Боборыкина и обижены за их любимцев — Чехова и Гауптмана, обижены, что автор старался втиснуть их настроение в винегрет плохого вкуса. Внешние фокусы на первом плане. Для чего столько труда, столько денег!»

Пустоту «трескучей» роли и житейскую суету из-за нее Книппер вольно и невольно скрывала глубокомысленными рассуждениями: «Ах, как мне все надоело! Всё, всё. Где же настоящая жизнь, Антон? Живешь так, что ни себе, ни людям. Никакого удовлетворения ни в чем. <…> Жизнь такая огромная, такая широкая, такая красивая, — а вертишься на каком-то пятачке и ничего ровно не понимаешь в жизни, все проходит

мимо, и только в редкие минуты почувствуешь глубину и величие жизни». Это философствование жены Чехов называл «хандрой» и не советовал увлекаться: «Когда ты хандришь, то становишься старой, тусклой, а когда весела или обыкновенна, то ты ангел. Поэтому будь всегда весела».

Кажется, никогда более он не звал так жену в Ялту, как в ноябре — декабре 1901 года. В последних декабрьских письмах повторял: «Ах, как ты нужна мне, если б ты знала! Как ты мне нужна! Плохо, плохо без жены!»; — «Одного мне не хватает — жены!»; — «Без тебя трудновато жить. Особенно такому мужчине, как твой муж. Я очень люблю тебя, дуся, очень»; — «Скучно без тебя. Завтра нарочно лягу в 9 час. вечера, чтобы не встречать Нового года. Тебя нет, значит, ничего нет и ничего мне не нужно».

Она же повторяла свое, привычное. В рассказы о праздничных обедах, чаепитиях с родными, прогулках, ресторанах вклинивались три главные темы. Одна — это сочувствие Немировичу: «Вчера заезжал Владимир Иванович, я с ним много говорила о пьесе. Ему, верно, очень нехорошо на душе, но он сдержанный и не показывает виду. <…> Написал бы ты ему»; — «Заезжал ненадолго Влад. Ив. Послезавтра он уезжает. Он скверно выглядит, кашляет, хрипит, болело ухо, вся голова простужена»; — «Немирович на днях уезжает за границу недели на три». Вторая тема — новая пьеса Чехова: «А ты надумывай комедию, да хорошую, чтоб черт коромыслом ходил. Я в труппе сказала, и все подхватили, галдят и жаждут»; — «С наступающим Новым годом! Целую тебя, дорогой мой, любовь моя, поэт мой. А о комедии думаешь?»; — «Антончик мой, а ты примешься за работу? Ну, сделай маленькое усилие, ведь время скорее полетит, если будешь писать, правда? Ты что-то хорошее, изящное напишешь, я это чувствую, т. е. изящное по форме. Меня это все уже волнует. Ведь ты мне близок стал. Ты это понимаешь?»

Что же до главного сюжета переписки осенью и зимой 1901 года — приезда Книппер в Ялту, — то и в эти последние декабрьские дни он оставался мифом, который она творила для того, кого называла «мифическим мужем»: «Даю тебе слово, что это последний год так, дорогой мой! Я сделаю все, чтоб сделать твою жизнь приятною, теплою, не одинокою, и ты увидишь, тебе будет хорошо со мной, и ты будешь писать, работать». Она жаловалась в этом письме от 23 декабря: «Ни любви, ни ласки вокруг меня, а так жить я не могу». Опять печалилась: «Мне хотелось плакать. Думала о тебе, и хотелось быть с тобой! Ах, Антон, Антон… Что же дальше будет?!»

26 декабря она получила письмо от золовки, поведавшей, как

«выглядит» Чехов: «Антоша был очень болен, сильно похудел и побледнел, теперь ходит с компрессом». Мария Павловна передала свой разговор с Альтшуллером: «Указывает он на то, что кто-нибудь из нас должен быть около него, т. к. он капризничает с матерью. Часто ничего не ест. <…> Говорил Альтшуллер серьезно, отчеканивая каждое слово. Я сначала перетрусила, решила не уезжать, но потом, увидевши, что дело идет на поправку <…> продумала такую комбинацию».

Какую? Очень простую: нанять кухарку, потом Ольге Леонардовне навестить мужа. Ибо, по мнению Марии Павловны, «Альтшуллер преувеличивает свои опасения. Бог даст, все обойдется <…>. Ты успокойся, не волнуйся, желаю тебе блестяще провести свою роль сегодня».

Ольга Леонардовна ответила ей в этот же день, 26 декабря, что ревет «как дура», что не знает, как поступить: «Сегодня же буду просить об отпуске, а если не дадут, способна бросить все и удрать. Ничего не знаю. <…> Не по силам себе я жизнь устраиваю. Надо что-то делать, на что-то решиться. <…> Я знаю, что мне надо забыть о своей личной жизни, совсем забыть. Это и будет, но это так трудно сразу. <…> Я все реву и реву».

Она переговорила с Немировичем. Тот пообещал что-нибудь устроить в конце января, не ранее, а Станиславский на просьбу об отпуске будто бы ответил утешением, мол, оно лучше, что Чехов и Книппер врозь, ибо обыкновенная совместная жизнь могла бы быть, как когда-то было у них с женой, «сухая и невозможная».

Ольга Леонардовна не «бросила» театр, не «удрала» в Ялту. Но стала называть себя в письмах к мужу «никому не нужной эгоисткой», «ужасно жестокой», «бессовестной», достойной «презрения», «проклятий» и недостойной называться его женой. Всё это взывало к утешению, к прощению, к осушению слез. Чехов написал 29 декабря: «Глупая ты, дуся. Ни разу за всё время, пока я женат, я не упрекнул тебя за театр, а напротив, радовался, что ты у дела, что у тебя есть цель жизни, что ты не болтаешься зря, как твой муж. Не пишу тебе о своей болезни, потому что уже здоров. <…> Работай, дуся, и не хлопочи, а главное — не хандри. <…> Ну, замухрышка, прощай, будь здорова! Не смей хандрить и петь Лазаря. Смейся. Я тебя обнимаю и, к сожалению, больше ничего. <…> Я думаю о тебе очень, очень часто, думай и ты обо мне. Твой *Антонио*».

Мария Павловна тоже успокаивала Ольгу Леонардовну 30 декабря: «Теперь, хотя он и жалуется иногда, что ему нездоровится, но вид у него стал гораздо лучше и мало кашляет, не выходит еще». Поздравила с Новым годом: «Желаю тебе полюбить меня покрепче». Вернувшись в начале января в Москву,

Мария Павловна написала младшему брату в Петербург: «Грустно мне было покидать Антошу, он при мне чувствовал себя лучше <…>. Сегодня я уже получила письмо из Ялты от знакомых, что у него уже не такой блестящий вид, каков был при мне, и он скучает один. Право, я не знаю, что делать. Теперь хлопочу, чтобы его супруге дали хоть на одну неделю отпуск, и она могла бы съездить в Ялту. Я ее не пойму — и жалко ей мужа и скучает она, и в то же время не может расстаться со своими ролями, вероятно, боится, чтобы кто-нибудь лучше ее не сыграл… Антон любит жену!»

Глава девятая. «МЕНЯ НИЧТО В ЯЛТЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ…»

С начала ялтинской «ссылки» Чехова обсуждался вопрос: где ему лучше зимовать. В Ялте? Или в Москве, в теплом доме, на окраине, а может быть, в дачной местности, где есть парк и удобно добираться до города?

Еще в 1898 году, обосновываясь осенью в Крыму, Чехов расспрашивал старожилов о погоде зимой. И уяснил, что это «лотерея». Год на год не приходится, но чаще всего в январе и феврале дуют резкие ветры, бывает снег; то стоят легкие морозы, то идут дожди. Случается, что в январе тепло, как весной. Порой ясные солнечные дни чередуются с пасмурными. В общем, «всё неопределенно». Последующие три зимы подтвердили эти рассказы. Чем теплее и неустойчивее была погода, тем тяжелее становилось легочным больным. Особенно в феврале. По словам Чехова, «скверном», «паскудном».

Ялтинские врачи тем не менее не отпускали Чехова зимой из Крыма. Рекомендовали жить здесь с сентября до лета. Главное — без перерыва, не уезжать в Москву ни на неделю, ни на месяц. Сидеть на месте, дома, потому что дорога, смена климата провоцировали обострение. При такой «неопределенной» погоде необходим теплый дом, защищенный от ветров. Без сквозняков, сухой. Важным условием, по мнению врачей, был образ жизни больного: режим, хорошее питание, как можно меньше волнений, постоянное внимание со стороны домашних.

Из всех этих предписаний, рекомендаций, советов доктор Альтшуллер, наблюдавший Чехова, особенно выделял уход за больным и душевный покой пациента. 18 января 1902 года он, отвечая на вопрос Книппер: «Что же случилось с мужем в конце минувшего года?» — рассказал, что Чехов недомогал весь ноябрь, но скрывал. Предложение — дать себя послушать — отклонял. В декабре кашель и кровохарканье вынудили его согласиться на

осмотр. Результат был прискорбный: процесс в легких не приостановился. Альтшуллер написал откровенно: «Питался Антон Павлович, по его собственным словам, очень плохо, мне кажется, иногда он ничего не ел. То, что готовилось и подавалось, ему не нравилось: принять меры, чтоб было иначе, он не хотел и говорил, что это бесполезно и что сделать здесь ничего нельзя. <…> С приездом Марии Павловны наладилось и кормление <…>. Результат сказался сейчас же. <…> Удержится ли этот правильный режим и теперь, после отъезда Марии Павловны, я не знаю. <…> Тоска и одиночество, в которых теперь пребывает Антон Павлович, так же не могут не влиять вредно на его здоровье».

Поездки в Москву осенью, зимой и ранней весной доктор считал опасными. В своих воспоминаниях он настаивал на том, что женитьба Чехова, неизбежная разлука мужа и жены, отлучки в Москву, резко изменили условия жизни Чехова. Оказались ему не по силам, фатальными: «Его несчастьем стало счастье, выпавшее на его долю к концу жизни…»

Переезд Марии Павловны в Ялту оказался, по мнению Альтшуллера, невозможен по «психологическим причинам», то есть из-за женитьбы Чехова. Доктор явно сочувствовал именно ей. О Книппер он писал в воспоминаниях сдержанно. В конечном счете ему, наверно, было все равно, кто из двух близких женщин обеспечивал бы уход и режим, — лишь бы это было. Но у сестры и жены сложилось свое представление о болезни Чехова и об уходе за ним. В письме Марии Павловны от 20 декабря 1901 года, поначалу взволновавшем Книппер, всё выглядело серьезно, но не драматично. 12 января, наняв новую кухарку, она уехала из Ялты.

Чехов страшился предстоящей зимы: «Теперь январь, у нас начнется отвратительная погода, с ветрами, грязью, с холодом, а потом февраль с туманами». В верхних комнатах ялтинского дома по-прежнему было холодно. Еще при сестре он жаловался на головную боль. Кашель не отпускал, а физическая слабость становилась все заметнее. 17 января, в день рождения, ему особенно нездоровилось. Кровохарканье возобновилось и повторялось всю зиму. Бытовые условия в ялтинском доме изменить не удалось. Тепла в кабинете Чехова как не было, так и не прибавилось. Еду, какую любили домочадцы, такую и продолжали готовить. Наезды сестры ничего не решали.

В доме у каждого сложился свой распорядок. Чехов уединялся у себя наверху. Вниз спускался лишь в столовую и к визитерам. Евгения Яковлевна обреталась в своей комнате, где постоянно теплилась лампадка, и проводила время за любимым пасьянсом и в разговорах с Марьюшкой. Работник Арсений,

«бабушка» и кухарки составляли свой мир. Когда дело доходило до обыденных забот — почистить костюм, убраться в кабинете и спальне, согреть воду, протопить камин, — всё исполнялось только по просьбе Чехова. Словно не по обязанности, а по одолжению. Однажды Чехов попросил сестру, как бы от себя, напомнить прислуге, чтобы были поопрятнее, потому что в кухне «грязно и тяжелый воздух. И мух много». Бывали случаи, когда ему подавали кофе с вываренными мухами. Компресс Чехов ставил себе сам. В крайнем случае, вместе с Альтшуллером.

Крым помогал, но не таким необратимо больным, как Чехов. И правы были коллеги Чехова: дело не в Ялте и не в Москве, а в уходе за больным, в его душевном состоянии. Что значило перебраться в Москву насовсем или на зиму? Продавать дом в Ялте и покупать новый в Москве? Жить всем вместе: он, мать, сестра, жена? Отделить мать и сестру, сняв им квартиру, а самому найти жилье в центре Москвы, чтобы жене было удобнее добираться до театра? На все эти вопросы у Чехова, судя по письмам, ответа не было.

На предложение Книппер приехать на короткое время в Москву он не отвечал. Ждал ее в Ялту, хотя бы на неделю. В то, что «директора», то есть Немирович и Станиславский, дадут ей отпуск, Чехов не верил. В январских письмах это недоверие очень отчетливо: «Отпустят ли тебя хитрецы в конце января? Ой, смотри, надуют!»; — «Ты мне снилась эту ночь. А когда я увижу тебя на самом деле, совсем неизвестно и представляется мне отдаленным. Ведь в конце января тебя не пустят! Пьеса Горького, то да се. Такая уж, значит, моя планида». В подобных ситуациях он говорил также — «юдоль».

8 января Ольга Леонардовна осторожно спросила, не приедет ли Чехов сам в Москву в конце месяца. Он почувствовал, что ее поездка откладывается из-за спектакля «В мечтах», из-за репетиций «Мещан» и сразу смирился: «Я понимаю, дуся, и не претендую. Коли нельзя — значит, нельзя. <…> Ты не перестаешь звать меня в Москву. Милая моя, я бы давно уехал, да не пускают. Альтшуллер не велит даже выходить в пасмурную погоду, хотя я и выходил сегодня, так как в комнатах надоело до отвращения».

13 января она упомянула, как о деле решенном, что приедет в начале апреля, на Страстной. Потом написала, что, может быть, все-таки ее отпустят раньше и она пробудет в Ялте «кусок Масляной и первую неделю поста». Если на то будет воля Немировича. Чехов взмолился: «Не волнуй меня, моя радость. Ты в декабре писала, что приедешь в январе, взбудоражила меня, взволновала, потом стала писать, что приедешь на Страстной

неделе — и я велел своей душе успокоиться, сжался, а теперь ты опять вдруг поднимаешь бурю на Черном море. Зачем?»

Ей опять воображалась любимая мизансцена: «Буду стоять перед тобой на коленях». Опять она вспоминала в письмах выражение его глаз, голос, манеру говорить. Книппер, по ее привычному выражению, «нежничала» с мужем, мысленно обнимая, целуя. Она была неистощима в эпитетах к слову «муж»: родной, нежный, хороший, бесценный, золотой, дорогой, удивительный, милый, обаятельный, любимый, единственный, необыкновенный… Но всё это в письмах. А в жизни, как он написал ей в начале 1902 года, у него «положение женатого человека, у которого нет жены». Да и она называла себя «мифической» женой.

В середине января вдруг призналась, что плохо себя чувствует, недомогает, пребывает в «мерлехлюндии», часто плачет, раздражается. Опять заговорила о «детке», «Андрюшке», или, как шутили в театре, о «маленьком Чехове». Она убеждала мужа, что только на людях забывает о своей грусти. И молится, чтобы не пришло время, когда бы, устыдившись того, что не была с ним рядом в дни его болезни, «жестоко» посмеялась бы «над собой и над своей жизнью». Она не однажды говорила о раздвоении своей жизни. Одна — реальная. Другая — мифическая. В одной она — актриса Книппер. В другой — жена писателя Чехова. Если соединить — актриса с положением жены Чехова.

Реальная жизнь, несмотря на нелегкую «театральную лямку», ее радовала. Попадая в круг прежних подруг, с детства знакомых немецких семейств, Ольга Леонардовна ощущала, что окончательно покинула этот мир. Смотрела на славных, неглупых девушек и думала, что им «не хватает характера, сил, инициативы», чтобы «создать свою жизнь». После одного из таких вежливых визитов в семейство важного чиновника писала мужу: «Понимаешь, узкая, узкая жизнь. И подумать, что я жила, росла с ними, мечтала о другой жизни, и вот несколько лет всего — что сделали! Мне дико бывать у них. Дико подумать, что все это было мне близко и понятно; я точно из другого мира попадаю к ним».

А дочери камергера, наверно, смотрели на красивую, уверенную в себе актрису либо со страхом, либо со скрытым восхищением. Она не боялась усмешки и над важностью их рара, и над чинным укладом буржуазного дома. Книппер всегда тонко чувствовала людей, обстановку, поведение. Запоминала детали, жесты, манеры — они могли пригодиться в работе над ролью.

Ей самой и своим знакомым Чехов не раз говорил, что ценит в жене то, что Книппер назвала сама: характер, природную

энергию, жизненную силу. Кого-то это привлекало, кого-то раздражало. Она, окруженная в детстве и отрочестве заботами, любовью родных, рачительно распорядилась собой. Природа отпустила ей небольшое дарование. Она довела его характером и трудом до отменного мастерства.

Уже в эти годы Книппер знала границы своих способностей, своих актерских возможностей и распоряжалась ими умн***о***. Прилаживалась к роли, прилаживала ее к себе, как, допустим, в спектакле по пьесе Немировича «В мечтах». Но сейчас ждала еще одной роли от мужа-драматурга. Обиделась, что не ей, а Марии Павловне он что-то рассказал о каком-то замысле: «Ты со мной ничем решительно не делишься, а еще называешь подругой. <… > А коли не хочется писать, нет потребности, — не пиши, присылай открытки, что, мол, здоров».

Обиды, как правило, обнаруживали, как неловко, не очень естественно ощущала себя Книппер в другой, не театральной, «мифической» жизни с мужем. У нее не было ни большого литературного дара, ни тончайшего изобретательного лицемерия, чтобы создать в своих письмах Чехову убедительный образ актрисы, которую талант, призвание вынудили пожертвовать семейной жизнью. Либо образ женской души, запутавшейся в сомнениях и колебаниях. Души слабой, но трогательной, беззащитной.

Книппер не унизила себя выдумкой о какой-то будто бы необыкновенной любви к Чехову. Она знала, что он хранил все получаемые им письма. Не исключала, что когда-нибудь они могут стать достоянием публики. Но это потом, может быть, а пока… Пока ей хватало природного такта и достоинства понять, что лучше в письмах оставаться самой собой, что «зеркало» его ума и его чувства к ней отражали то, что есть. Едва она, даже в малости, впадала в высокопарность, вставала на котурны, играла роль заботливой жены, бурно каялась, Чехов шуткой или умолчанием давал ей понять неестественность, искусственность всего этого словесного антуража.

15 января, прибегнув к излюбленным фразам, она пожаловалась: «Я с ужасом чувствую, как суживается моя жизнь. Куда ни ткнусь — всё стенки. Жизнь такая большая, широкая и ничего не видишь ровно». Чехов спросил ее в ответном письме: «Ты пишешь: „куда ни ткнусь — всё стенки“. А ты куда ткнулась?»

На заочное, но подчеркнутое беспокойство — чистят ли ему одежду, стрижется ли он (ее раздражала перхоть на костюме мужа) — он, всегда опрятный и аккуратный (говорил: «смерть моя нечистоплотность»), шутил, что остриг голову и бороду, на случай ее приезда: «Ты ведь строгая, надо иметь приличный,

благовоспитанный вид».

На шутливые вопросы, не осуждает ли муж за походы в рестораны, поездки за город, вечеринки, разрешает ли возвращаться утром, принимать ухаживания мужчин, он ответил насмешливой индульгенцией: «Будь здорова, веселись, обедай у Морозова, где хочешь, даю тебе полную свободу».

Она предпочитала в обращениях к мужу приподнятый тон. Он называл ее просто: голубчик мой; немочка; жена моя хорошая; мой светик; балбесик; актрисуля; попугайчик; дуреха. А себя именовал «немецким мужем в теплых кальсонах». В этой самоиронии — словно отзвук давней шутки о «насмешливом счастье». Лексика, речевые штампы, фразеология, композиция, даже пунктуация писем Книппер выдавали главное. За минутными вспышками: брошу театр, приеду немедленно — ничего не происходило и не могло произойти.

В театре Ольга Леонардовна чувствовала себя как дома. А «дома» — в московской квартире, которую делила с золовкой; в ялтинской обители мужа; даже в доме матери — она ощущала себя не хозяйкой и не гостьей. Охотно позволяла обихаживать свой быт. Благодарно принимала заботу о себе. Но самой заниматься ежедневной домашней рутиной? Но взять на себя обязанности хозяйки? Но ухаживать за неизлечимо больным человеком, отхаркивающим кровавую мокроту в бумажные пакетики или специальную банку, порой неделями страдающим от катара кишок?

В одном из январских писем она рассказала мужу, что с детства была избалована вниманием родных: «<…> я ведь никогда ни о чем не заботилась, т. е. о своих каждодневных нуждах. Все было сделано, предугадано, т[ак] ч[то] мне дико, что приходится думать о мелочах, о починках, до чего я не большая охотница. <…> Я вообще не знаю, как при таком отчаянном ухаживании за всю мою жизнь я не сделалась безобразно капризной и избалованной».

После такого спокойного непринужденного признания — ее уверения в письмах, что в случае переезда мужа на зиму в Москву она взяла бы режим в свои руки и «отстояла бы его», была бы «в этом деспоткой», выглядели еще одним обещанием. И только. Дав этот «обет», она тут же предложила: «По-моему, нам с тобой лето провести или в Шварцвальде или в Швейцарии, или в долине Роны, там есть чудесное местечко, а зимой что-нибудь предпримем».

Что-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь… А пока…

Пока на ее посулы приехать в Ялту до гастролей в Петербурге он с горечью попросил: «О, не мучь меня, моя милая, близкая моя,

не пугай! Немирович не пустит тебя, а если пустит, то непременно схитрит в чем-нибудь, как-нибудь, так что твой выезд из Москвы окажется невозможным, иначе, мол-де, придется театр закрывать. Быть может, я и ошибаюсь, — не знаю!» В одном из писем невесело пошутил: «Попроси барина Владимира Ивановича, он отпустит».

Чехов просил о малом. В большее — совместную жизнь с женой он, кажется, уже не верил. Но ни с кем не говорил об этом. Он не терпел вмешательства в свою личную жизнь, даже в мелочах. Вероятно, Книппер не сказала мужу об обращении к ней Л. А. Сулержицкого, их общего знакомого по московскому литературно-артистическому кругу. Иначе Чехов попенял бы и ему, несмотря на самое доброе расположение к этому человеку.

В январе 1902 года Сулержицкого занесло в Крым, к Горькому. В первых же письмах «Сулера» к жене замелькало имя Чехова: «Небо темное, мертвые скалы, нелепые кипарисы, унылый ветер. Холодно. Пусто. Неуютно… <…> Чехов умирает от тоски. Горький тоже. <…> Когда идет разговор, мне кажется, что все лгут и притворяются, за исключением Чехова, который больше молчит…»; — «Вчера я с Горьким ездил к Чехову, который смертельно скучает. <…> Толстой очень плох. Сейчас идем к нему. Он лежит, все время стонет, не спит уже вторую ночь и, как говорят доктора, вряд ли перенесет. <…> Из свидания я вынес впечатление, как это ни странно для меня, что он очень боится смерти».

Под общим впечатлением от зимнего Крыма, от разговоров людей, давно рассказавших друг другу всё новое и интересное, Сулержицкий написал и Ольге Леонардовне. Может быть, его подстегнуло кровохарканье, замеченное во время беседы с Чеховым.

Он убеждал Книппер приехать хоть на два-три дня: «Антону Павловичу это прямо-таки необходимо. Он задыхается в своих четырех стенах и, как сильный человек, не жалуется, не старается разжалобить других своим положением, а от этого ему еще тяжелее».

Леопольду Антоновичу казалось, что Художественный театр мог бы давно отпустить Книппер. И потому, что она жена, и потому, что театр многим обязан Чехову: «Как грубо и некрасиво при существующем отношении выглядят все венки, адреса, аплодисменты и прочие способы чествования! Они свойственны толпе, — от нее больше нечего ждать, кружок же театра должен быть более внимательным к своим близким людям. <…> Неужели нельзя на восемь дней или на неделю поставить без Вас?.. А если бы Вы заболели?»

Слова Книппер в письме от 24 января: «Перед Петербургом увидимся непременно, хоть на два дня. Чувствуешь?» — в таком настроении Чехов воспринял как подачку: «Ты приедешь на два дня? Только? <…> На два дня приезжать — это жестоко, пойми! Два дня — это милость Немировича, покорно благодарю!

Если я терпел до февраля, то потерплю и до конца поста, двух же дней хватит только на то, чтобы и тебя утомить поездкой, и меня взбаламутить ожиданием и тотчас же прощанием. Нет, нет, нет!»

В начале февраля она, наконец, написала, что приедет на Масленице. Немирович уточнял телеграммой, что она «свободна с 21 февраля по 2 марта включительно». На всё это Чехов иронически и как-то устало ответил жене: «Итак, ты решила приехать. Смилостивилась». О сроке, отпущенном «барином», тоже отозвался с усмешкой: «Очевидно, чтобы успеть увидеться с тобой, я должен не терять мгновений, даже поцеловаться с тобой не успею, а о чем-нибудь другом и думать не смей».

В редких письмах сестры проскальзывало в это время недовольство светской жизнью Ольги Леонардовны. Мария Павловна упоминала, что «томный» Немирович часто навещает их, что роль Книппер в его пьесе показалась ей «пошлой». Жалела Мизинову («нашу бедную Лику»), уволенную из состава статистов МХТ. Что-то разладилось в отношениях двух родственниц.

Обо всем этом — поздние возвращения домой, визиты Немировича, отношение к роли в пьесе «В мечтах» — Чехов знал от самой Книппер. В отношения жены и сестры он никогда не вмешивался. На косвенные или прямые намеки обеих никак не откликался, будто не замечал их. К тому же того, что Чехов называл в женщинах «бабским» (склонность к сплетне, мелочность, пошлость), в той и другой не было.

Раздражение сестры могло выдавать нечто более глубокое, нежели кратковременный скрытый конфликт с Ольгой Леонардовной. Может быть, ее собственное чувство невольной вины перед братом?

Как Книппер говорила, что грустит, часто плачет, так и Мария Павловна по-новому рисовала свои будни в письмах брату: «А мне скучно стало в Москве, особенно, как прихворнула, все сижу одна, тоскую по дому, по вас, Олю почти не вижу. <…> О Толстом я плачу, мне невыносимо жаль его! Неужели его не станет? Как-то не верится. Что Горький?»

Удивлялась нездоровью брата: «Неужели ты опять хвораешь и опять кровохарканье? Когда я уезжала, я была почти уверена, что ты поправишься. Пьешь ли ты молоко? <…> Постарайся быть здоровым». Сестра уповала на молоко, на новую кухарку. Ее

рецепт был прост: «Ты потерпи и ешь побольше». Действительно ли она заблуждалась или хотела обманываться насчет реального положения брата, несмотря на то, что ей сказал Альтшуллер, о чем писали ялтинские знакомые и говорили те, кто приезжал из Ялты? Письма Чехова к ней — в эту зиму — краткие, с неизменным пожеланием быть здоровой и веселой. Ни слова о болезни, о настроении, которое было «пасмурным».

Чехов завершал рассказ «Архиерей» и приступал к новой пьесе, по его словам, чуть-чуть забрезжившей «в мозгу, как самый ранний рассвет». Он жил в состоянии, которое не любил. Еще давно признался, что душа его не выносит «резких повышений и понижений температуры», долгой неопределенности. Зимой 1902 года всё складывалось именно так. То усиливалось, то уменьшалось, но не прекращалось кровохарканье. То приближался, то отдалялся приезд Книппер. Болезнь Толстого то грозила печальным исходом, то вдруг отступала.

Сулержицкий, наблюдавший Чехова в таком настроении, рассказывал в февральских письмах жене: «Был вчера у Чехова. Скучает. Не хотел меня отпускать. <…> Чехов говорит, что после смерти Льва Николаевича литература страшно упадет. „Такой гигант, он вот как держит всю литературу!“ И поднял обе руки кверху. Я часто бываю у Чехова, он очень меня любит и обижается, если долго не прихожу. <…> Я очень обвиняю Книппер, что она не приедет, хотя бы на неделю. <…> Чехов совсем болен. И его не следовало бы покидать. Да и потом это Чехов»; — «Сегодня Чехов меня спрашивал, когда приедет моя жена, то есть ты. Я сказал — в июне. Он пришел в ужас. „Это мне, старику, — ничего, а вы — молодой — это нехорошо…“»

На отношении к Книппер, может быть, сказалось раздражение Сулержицкого против С. А. Толстой, которую он видел в Гаспре в дни долгой, затяжной болезни мужа. Он писал о Софье Андреевне резко, запальчиво, прямо или скрыто противопоставлял ей и Книппер свою молодую жену: «Суетится, шуршит беспрерывно своей шелковой юбкой. Так противно. И тут же ему сцену делает; говорит, что всему есть предел, что она не желает больше валяться на кушетке, что целый месяц она устала без постели, и все это раздраженно, громко. <…> Верно говорил Мопассан, что для лакея и для женщины нет великих людей. <…> Как мне грустно, что Л. Н. не знал простых, милых женщин, — средней русской женщины».

Невольно получалось, что нездоровому Чехову плохо без жены, больному Толстому еще хуже с женой, а хорошо тем, кто сам прост и у кого спутницы скромны, непритязательны, покорны. Великие же люди обречены на несчастливую семейную жизнь.

Случись Сулержицкому прочесть тогда письма Чехова жене, он, наверно, пришел бы в полное недоумение. Чехов тосковал, болел. Книппер не приезжала. А он писал ей в январе и феврале 1902 года: «Чувствуешь ли ты, собака, что я тебя люблю? Или тебе всё равно? А я жестоко люблю, так и знай»; — «Я тебя люблю и буду любить, хотя бы даже ты побила меня палкой»; — «Все-таки, несмотря на твое поведение, я люблю тебя <…> и всегда буду любить; несмотря ни на что»; — «Если бы ты знала, как я тебя люблю, как мечтаю о тебе <…>. Я тебя люблю, собака, ничего я с собой не поделаю»; — «Я люблю тебя, супруга моя хорошая»; — «Господь сохранит тебя, мою жену».

Это бесконечное признание в любви выдавало подспудное, глубокое, скрытое душевное состояние Чехова. И оно не исчерпывалось чувством к жене. Оно вобрало угасавшее чувство жизни, скуку и тоску ялтинских буден, о которых он говорил в это время: «Меня ничто в Ялте не интересует, я точно в ссылке, в городе Березове. Мне нужно жить в Москве <…> нужно видеть и наблюдать жизнь, нужно жить в Москве и мечтать там о поездке в Крым, за границу».

Но в Москве он быстро утомлялся от суеты, беспорядочного времяпрепровождения. Начинал скучать по своему письменному столу, по работе. Возвращался в Ялту. И вскоре упоминал в письмах «ссылку», скуку, одиночество и говорил словами своих героинь: «В Москву!»

В переписке Чехова этих лет всё и всех вытеснили письма к Книппер. В 1900 году их было сорок. В 1901 году — сто десять. В январе и феврале 1902 года Чехов написал жене тридцать писем. Редко-редко приходили письма от прежних приятелей и добрых знакомых. Будто никого и не было. Они не писали. Он тоже. Многие имена словно растаяли. О некоторых людях сохранилась только теплая память.

Долгие годы письма Чехова были то развернутыми монологами, то спорами, то остроумной беседой. С 1900 года они стали меняться. Абзацы и предложения укорачивались, обретая иной темп и ритм. Одна тема быстро сменяла другую, обилие восклицательных и вопросительных знаков. Когда он был сильно расстроен, почерк наклонялся и линия букв растягивалась. В этих письмах — его обостренное, пульсирующее чувство. В тиши ялтинского кабинета он словно воссоздавал жену по памяти, своим воображением. Она не лучше, не идеальнее под его пером, но интереснее, талантливее.

В эпистолярном романе Чехова и Книппер — свой сюжет, свои главные и второстепенные персонажи, лирические отступления, подтекст. Но постепенно фразы всё более походили

на реплики и ремарки, превращая переписку в своеобразную *пьесу жизни*. Некоторые корреспонденты Чехова — родные, Немирович, московские знакомцы — словно внесценические персонажи в этой пьесе, схожие своей ролью с подобными персонажами в его драматургии, — связаны с прошлым или настоящим героев, постоянно присутствуют в их сознании. Книппер, вероятно, улавливала различие между собой (какой она себя чувствовала, понимала) и образом, который возникал в письмах Чехова. Может быть, ее обещания «блаженной» жизни, бесконечные покаяния, повышенный тон выдавали неловкую попытку соответствовать этому образу, ее скрытую признательность.

Требования Ольги Леонардовны к мужу — быть с ней откровенным, распахнуться, явить «каждый штришок в душе, в уме», относиться к ней не как к «кукле, не только как к женщине, но близкому, родному человеку» — в какой-то степени вызваны его письмами. Может быть, ей хотелось выглядеть в них еще интереснее и значительнее. Настоятельно, из письма в письмо она просила, ласково требовала: «Ты мне всегда должен говорить, что любишь меня»; — «Я засохну, завяну без любви, без ласки». Это диктовалось, наверно, не одним лишь природным свойством и воспитанием Книппер: все должны любить ее, потому что так ей удобнее и спокойнее жить. Но и женским честолюбием. Такая любовь такого мужа поднимала ее в глазах современников.

Она досадовала, что Чехов избегал серьезных тем, признаний и не превращал письма в дневник своей духовной и душевной жизни. Создавала в письмах свой образ и образ «своего» Чехова: «мой поэт»; «тонкий, поэтичный, задумчивый садовник»; «незаурядный человек»; «краса моей жизни»; «таких, как ты, нет»; «ты то, о чем я мечтала всю жизнь»; «большой мой человек»; «в тебе есть что-то тонкое, неуловимо обаятельное, изящное».

В ее словесном портрете Чехова, в воображаемых ею мизансценах была одна особенность. Книппер чаще всего видела его не лицом к лицу, а иначе: «Ужасно люблю вспоминать тебя, когда ты по утрам сидишь на кровати, после умывания, без жилета и спиной ко мне». Она мысленно целовала его в голову, в «гладенький затылочек», если он выстрижен.

Писала бы она так много той зимой о своих объятиях, поцелуях, сценах нежности, если бы в этот момент видела мужа в своем воображении таким, каким он был в это время в жизни? Каким он описывал себя в письмах к ней, не скрывая ни расстройства кишечника, ни слабости, ни бесконечного кашля: худой, ссутулившийся, с усталыми, измученными глазами?

Книппер будто закрывала глаза, когда писала: «Прижимаю тебя и грею на своей груди»; — «Я бы тебя нежила, ходила бы за

тобой, всего тебя забрала бы и покорила»; — «Как я тебя буду ласкать, согревать, целовать. Надоем тебе, и ты меня будешь гнать. Я ведь грешная»; — «Целую тебя безумно и пылко и обнимаю»; — «Я тебя сожгу всего»; — «Я тебя задушу, когда увижусь с тобой».

Всё здесь бурлило, перехлестывало через край. Словно кипело на огне ее театральной московской жизни и произносилось со сцены. Чехов писал ей о своей любви. Она — о любви *к себе*: «Господи, как я хочу <…> греть тебя, хочу, чтоб ты дышал только мной и любил только меня»; — «Антончик, ты мне будешь говорить о любви, о твоей любви? Я буду упиваться». И опять: «Люби меня!»; — «Люби меня!»; будто ей не хватало его слов любви.

Она так много писала о жарких поцелуях, бесконечных объятиях, что, кажется, не замечала, как невольно подменяла душевное чувство воображаемой грешной страстью, называемой ею любовью, но схожей более с жгучими и кипучими страстями из мелодрам и трагедий. Может быть, она умела любить именно так, только так? Или расцвечивала подобными фразами свое чувство к мужу, на самом деле не такое бурное, спокойное, каким оно было в первые годы их знакомства? Нарисовав в очередной раз сцену грядущей встречи и «блаженных дней», вдруг спросила в письме: «Какое у тебя будет лицо, когда ты читаешь то, что я пишу? Напиши — какое?»

Человек неглупый, с актерским воображением, с чувством юмора, она знала — какое. Ей не однажды мерещилась усмешка мужа, которую она называла «ухмылкой». Над чем? Над ее посягательствами на сокровенные разговоры? Над претензиями, по ее словам, «понять и знать» Чехова «всего, всего»?

Ей хотелось «соединить несоединимое». В их браке: ее актерскую карьеру в Москве и зиму в Ялте, около мужа. В своем образе жизни: равнодушие к домашней обыденности и роль заботливой хозяйки, сиделки около больного. В их отношениях: интимную близость и духовное сближение. Но всё это соединялось только в «эпистолярной» жизни, воображаемой ею по законам знакомых драматургических жанров.

По некоторым признакам, эта жизнь достигла апогея к концу зимы. Не то чтобы утомила, но…

Несколько раз Книппер упомянула в письмах веточку миндаля, привезенную золовкой из Ялты. Будто нашла символ их так и не состоявшейся семейной жизни: «Поставила в воду. Буду смотреть и думать о тебе»; — «Миндальная веточка <…> дала свежие листочки, нежные, прозрачные. Как славно»; — «Радуюсь и любуюсь на миндальные листики…» Чехов снимал этот

«миндальный» пафос ироническими репликами. Книппер именовала одну из комнат в снимаемой московской квартире — «твой кабинет». Рассказывала мужу, что там живет мышка, коротающая с ней ночи, когда она пишет письма в Ялту. Он ответил: «Кланяйся мыши, которая живет в так называемом моем кабинете». Вся их жизнь в разлуке оказывалась «так называемой».

Чехов предпочитал уже не говорить о совместном будущем. Крайнюю степень одиночества и скрытые мысли о смерти, как уже бывало в прошлые годы, выдавало желание куда-то уехать. 8 февраля он написал сестре: «Уж больше месяца, как я не был в городе. <…> Будущую зиму не буду сидеть в Ялте, уеду в кругосветное плавание, куда-нибудь очень далеко».

Книппер всё чаще говорила, как она виновата перед мужем, что он «должен это понять» и простить за то, что в ее жизни главное — «всепожирающий театр». Продолжала изредка уверять себя и его, что всегда будет в состоянии бросить театр и уехать в Ялту. Но уверения выцветали. Она сама сознавала это. Теперь всё чаще и настойчивее спрашивала — пишет ли он новую пьесу. Чехов всё заметнее уклонялся от ответа. В их переписке менялся тон. Реальные заботы вытесняли воображаемую жизнь. У нее — это реформа в Московском Художественном театре. У него — завершение работы над рассказом «Архиерей», болезнь Толстого.

Суть перемен в театре — организация Товарищества на паях, во главе с Правлением (председатель — С. Т. Морозов, художественный директор — Вл. И. Немирович-Данченко, главный режиссер — К. С. Станиславский, заведующий труппой — В. В. Лужский). Пайщиков — 15 человек. Книппер во всем поддерживала Немировича, разделяла его опасения, жалобы на «купцов» (трех членов Правления), жалела его. Хотя по новому «Условию между пайщиками» Владимир Иванович приобретал неограниченный художественный контроль и преобладающее влияние на жизнь театра. Чехову показалось несправедливым, что в число пайщиков не попали актеры, работавшие со дня основания театра: «Повторяю, нужны не имена, а правила, иначе всё полетит».

Но, наверно, ни эта реформа, ни тем более рассказы Книппер об обеде у Морозова, где присутствовали аристократы, ни мелочи московской жизни не особенно занимали Чехова. Главное просвечивало в строках о вроде бы пустяках: «Вчера и сегодня я обрезал розы и — увы! — после каждого куста пришлось отдыхать; здоровье мое, очевидно, за эту зиму сильно сплоховало». Оно резко ухудшилось. Доктор Щуровский, вызванный из Москвы к Толстому, осмотрел и выслушал также Чехова — и сказал Альтшуллеру, что дела Чехова плохи. Очень

плохи.

В таком состоянии и настроении был завершен наконец рассказ «Архиерей», это житие обыкновенного человека. Страдания преосвященного Петра от внезапной болезни, последние дни его земного пути пришлись на Страстную седмицу. И прошли не в покаянном взгляде на прошлое, но в возвращении к счастливым мгновениям былого, в воспоминаниях, которые «разгорались всё ярче, как пламя». И в молитвах, в избавительных страданиях.

Всё, что передавало дотоле в прозе Чехова волнение живой души, переплелось в «Архиерее»: лунный свет; звон колоколов; воспоминания о детстве, когда радость дрожала и в сердце и в воздухе; пение птиц; видение белого храма… Но душа заболевшего архиерея дрожала и от другого. Его угнетала боязнь посетителей и просителей говорить с ним «искренно, попросту, по-человечески». Подавляла в несении обязанностей масса «мелкого и ненужного», от чего хотелось освободиться.

Дважды преосвященный Петр вспоминал детство, когда его звали Павлушей. Оно представлялось светлым, праздничным, «каким, вероятно, никогда и не было». Но были тогда в душе мальчика, потом отрока — «наивная вера, безотчетное счастье», душевный покой. Слушая тропарь «про жениха, грядущего в полунощи» — о душе недремлющей («Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже Богородицею помилуй нас»), слушая светилен про «чертог украшенный» — с мольбой к Спасителю спасти и сделать светлой одежду души («Просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя»), архиерей плакал: «Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но всё же не всё было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и всё еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует всё та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей».

Вероятно, рассказ был завершен в первые недели февраля. Обыкновенно Чехов ничего не читал, когда работал. 13 февраля он рассказал Книппер, что перечитывает Тургенева. Почему? Зачем? Может быть, ответ в словах: «После этого писателя останется $^1/_{10}$ или $^1/_8$ из того, что он написал, всё же остальное через 25–35 лет уйдет в архив».

Бунин запомнил слова Чехова, что читать его будут только семь лет, а жить ему осталось и «того меньше: шесть». И тут же пошутил, будто вспомнил казус осени 1898 года с сообщением

газет, что он очень и очень болен, — «Не говорите только об этом одесским репортерам».

Еще в ноябре 1901 года в разговоре с Горьким о современной литературе Чехов сказал, что, как ему кажется, «теперь нужно писать не так, не о том». Может быть, и за новую пьесу он не принимался не по одному лишь нездоровью, но и потому, что искал тон, слушал, ждал. К сожалению, неизвестно, о чем беседовали Чехов и Толстой осенью и зимой 1901/02 года. Что-то из общих и своих разговоров с Толстым запомнил Горький. Он наблюдал, как Толстой относился к Чехову: видел что-то схожее с отцовской гордостью. Однажды Толстой размышлял о текущей литературе. Она казалась ему и по мыслям, и по форме какой-то «не русской». Он советовал учиться у Пушкина, Тютчева, Фета. И вдруг обратился к Чехову: «Вот вы, — вы русский! Да, очень, очень русский». В другой раз, как вспоминал Горький, Толстой заметил, что Чехову мешает медицина и «не будь он врачом, — писал бы еще лучше».

Эти короткие случайные записи по памяти, конечно, не передали малой доли того, о чем говорили три русских литератора, такие разные по возрасту, темпераменту, таланту и судьбе. Чехов тогда же пожалел об этом и сказал Горькому после одной из встреч: «Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут».

Сам Чехов, не по русской, а по собственной привычке, эти беседы не передал ни в письмах, ни в дневниковых записях. Он вообще в это время особенно скрытен относительно того, о чем думал, над чем работал. На вопросы о пьесе говорил, что не пишет, не «манит». На что Немирович в решительном тоне отвечал, что пьеса нужна к 1 августа, что он хотел бы ею открыть новый сезон: «Август и сентябрь ты жил бы в Москве, все беседы и репетиции прошли бы при тебе. Октябрь и часть ноября ты бы еще знал ряд спектаклей… Разве это так несбыточно?»

По планам самого ли директора или после его разговоров с Книппер выходило, что осень Чехову целесообразнее провести в Москве, а на зиму двинуться в Ялту. Чехов подчеркивал, что так далеко не заглядывает, живет настоящим.

22 февраля Ольга Леонардовна приехала в Ялту — на пять дней. Супруги обсуждали только летнюю поездку: может быть на кумыс? на Волгу? на дачу в окрестностях Костромы? По интонации писем после отъезда Книппер можно предположить, что встреча была сердечной, но невеселой. Словно что-то мешало им. В мелочах и в главном.

Отчего-то она опять просила мужа непременно и скорее постричься. Видимо, ее очень раздражала перхоть, угнетавшая и самого Чехова. От неправильного питания, кишечных расстройств, лихорадочной температуры эта напасть лишь увеличивалась. От нее обильно выпадали волосы. Аккуратный, брезгливый, Чехов страдал от этой беды, теперь коротко стриг волосы, тщательно выстригая затылок.

Это, конечно, досадная, неприятная, раздражающая обоих, но мелочь. Огорчала по-настоящему краткость встречи. К тому же беспокоило Чехова недомогание жены. Она жаловалась еще до приезда в Ялту и уезжала не совсем здоровой: дурнота, боли в животе. По дороге в Симферополь продрогла. Он писал ей: «Если, не дай Бог, заболеешь, то немедленно кати ко мне, я за тобой буду ухаживать».

Его первые письма вдогонку особенно безнадежны: «Когда станет грустно, то вспомни, что у тебя есть муж, покорный и любящий свою жену — цацу». Свою комнату и постель он сравнил с дачей, покинутой постояльцами. Просил писать ему подробно, обстоятельно.

От холодных ветров в доме еще сильнее похолодало. Чехов скрыл от жены, что кашель одолевал его днем и ночью. 7 марта, по совету Альтшуллера, поставил себе пластырь. Шутил, что с радостью бы «двинул теперь к Северному полюсу, куда-нибудь на Новую Землю, на Шпицберген».

Может быть, весной 1902 года Чехов как никогда сильно ощущал свою оторванность от мира, не восполняемую ни чтением газет, ни разговорами. Он по-прежнему отправлял книги в Таганрог, платил за обучение своих «пансионеров», устраивал больных, посылал деньги. Писем от просителей становилось всё больше и больше. С Чехова, по выражению Книппер, «тянули» и ближние, и дальние. Представлялись бывшими студентами, актерами, семинаристами, многодетными родителями, уволенными со службы чиновниками. Эти «лишние», «гордые», «маленькие», «подпольные» люди будто сошли со страниц романов Тургенева, Достоевского. Они напоминали многочисленных персонажей ранних рассказов самого Чехова. Тот московский люд, который он наблюдал в университетские годы. Теперь, упирая на то, что его «знает вся Россия», они просили, иногда даже требовали.

Среди писем, пришедших зимой и весной 1902 года, были обращения в связи со студенческими волнениями. Неоднократная просьба к Книппер — тщательнее заклеивать конверты — не только досада на небрежность. Может быть, и опасение чужих глаз. Болезнь Толстого, обсуждаемая в частной переписке;

пребывание в Крыму Горького, еще не освобожденного от надзора полиции; обильная почта, получаемая тремя самыми известными литераторами, конечно, могли интересовать столичные и местные власти. Особенно зимой 1902 года, когда в крупных городах России вспыхнули студенческие волнения. Они были ответом на «Временные правила», введенные министром народного просвещения П. С. Ванновским в декабре 1901 года. «Правила» разрешали студентам только собрания курса или факультета, не более 300 человек, с разрешения начальства и в присутствии кого-то из профессуры или «административного персонала».

В ночь с 9 на 10 февраля в актовом зале Московского университета собралась студенческая сходка, принявшая резолюцию с требованиями свободы печати, свободы совести, о допущении женщин в университеты, об уравнении прав национальностей. О событиях той ночи Чехову рассказал в письме от 6 марта доктор Н. В. Алтухов. Однокурсник Чехова, он служил в университете и жил там же в казенной квартире; «Ночью, в три часа, казаки с берданками и нагайками взломали двери, вошли в помещение, занимаемое студентами, и без всякого сопротивления их всех забрали. Никого не били, кроме лишь одного студента, который, пока их вели в манеж, зычно пел „Дубинушку“, „Марсельезу“, — его, правда, избили в кровь». Одновременно с этим письмом Чехов получил письмо студента Базилевича. О том, что в московской Бутырской тюрьме — около восьмисот студентов и курсисток, что еще несколько сот в других тюрьмах и участках: «Четыреста два человека уже официально исключены из университета без права поступления в высшие учебные заведения. <…> Очень и очень многим из исключенных предстоит ссылка».

От имени товарищей, собиравших средства для тех, кому грозила ссылка, он просил о помощи. Чехов откликнулся быстро, так как очень скоро пришло подтверждение: студенты получили и передали посланное как раз в день отправки бывших студентов в Иркутск.

В отличие от 1899 года Суворин ни строкой не откликнулся в своих «письмах» на студенческие волнения. Однако в его дневнике кратко переданы слухи о беспорядках в Туле, об арестах в Петербурге, о крестьянских выступлениях в южных уездах, экзекуциях, порках. Очень скупо отозвался он и на историю с избранием Горького в почетные академики.

Оно состоялось 25 февраля 1902 года, 1 марта об этом сообщили в «Правительственном вестнике», а 4 марта Суворин записал в дневнике, что «избрание Горького в академики не

утверждено по докладу Сипягина, так как Горький находится под надзором полиции». И добавил: «В числе предложенных были Вейнберг и я. Зачем я? Я журналист, не художник, не критик. Следовало давно выбрать Буренина». Суворин либо еще не знал, либо не захотел передавать в дневнике слова Николая II на докладе министра внутренних дел: «Более чем оригинально». Ванновский получил распоряжение объявить выборы недействительными. 10 марта об этом сообщили в том же «Правительственном вестнике».

В литературно-артистических кругах Петербурга и Москвы сначала живо обсуждали избрание Горького. Книппер написала мужу 4 марта: «Многие думали, что Горький откажется от академика. У меня была тоже эта мысль». На что Чехов ответил 9 марта: «Откуда ты это взяла? Напротив, по-видимому, он был рад». После сообщения об отмене публика и газеты еще живее начали говорить и писать об «академическом инциденте».

14 марта, после продолжительного перерыва в переписке, Короленко написал Чехову из Полтавы. Речь шла о сборнике, посвященном Гоголю, о возможности участия Чехова в журнале «Русское богатство». Оба приглашения Короленко сделал без особой надежды на согласие. Особенно — насчет журнала. Гораздо эмоциональнее и определеннее звучал постскриптум: «Что за чушь вышла с „кассацией“ выборов Горького? Какой смысл кассировать выборы, все значение которых только в факте почетного избрания? А ведь факта этого уничтожить нельзя. Вообще — гадость». Чуть ранее Короленко написал одному из современников, что объявление выборов недействительными — это «оскорбление всем нам, выбиравшим».

До Чехова доходили вести о заседаниях в Академии наук, о писаниях редактора газеты «Гражданин», князя В. П. Мещерского, что избрание Горького — «вызов, брошенный всей образованной России Пушкина и Карамзина, всей верноподданной России», что это — «насмешка над всем, что есть у русских людей святого». Чехов знал, что в списке кандидатов значились 47 человек. Среди них — Потапенко, Щепкина-Куперник, Скабичевский, Бальмонт, Баранцевич, Мамин-Сибиряк, Сухово-Кобылин. Включены были и те, кого в начале декабря 1901 года предложил Чехов (и не только он) — Михайловский, Мережковский, Спасович, Вейнберг.

Ни с кем из тех, кого назвал Чехов, у него не было ни приятельских, ни деловых, ни общелитературных связей. От встреч с ними он уклонялся, переписки не вел. В отзывах подчеркивал то лучшее, что заметил в них или в их сочинениях. Все четверо по-человечески оставили его равнодушным. Так что в выборе Чехова нет даже тени личного отношения: дружеской

приязни или наоборот — обиды за рецензии, за доходившие до него нелестные оценки. Он будто избегал упрека в протекции старым приятелям или молодым литераторам. В общем, у него были свои резоны назвать тех, кого он назвал.

Н. П. Кондаков рассказывал Чехову, что «выборы шли туго, как никогда». Баллотировали несколько раз. Так что окончательное решение — Сухово-Кобылин и Горький — далось нелегко. Несмотря на отдельные газетные статьи, скорее похожие на донос, шум вокруг избрания Горького довольно быстро бы смолк, не будь доклада Сипягина и общего фона — волнений среди молодежи, рабочих и крестьян зимой и ранней весной 1902 года. Еще до письма Короленко другой хороший знакомый Чехова, киевский профессор А. А Коротнев, возмущался отменой выборов Горького и вопрошал в своем письме: «Неужели же остальные *почетные* академики не выйдут в отставку? А то ведь покорное молчание с их стороны будет принято за одобрение совершившейся мерзости!»

Чехов не любил публичные заявления. Короленко тоже не предлагал устраивать молниеносный демарш и демонстративный протест. Они решали этот вопрос сначала каждый сам по себе. Оба выясняли формы официального обжалования отмены избрания Горького. Чехов написал К. К. Арсеньеву, юристу, тоже почетному академику. Тот проконсультировался с коллегами и ответил 29 марта: «…*некому* жаловаться, потому что нет власти, выше стоящей. Что касается же выхода из Академии, то пока, сколько мне известно, никто из ординарных или почетных академиков этого вопроса не возбуждал».

Тем не менее Чехов уже в марте не исключал для себя выход из академии, если другие формы протеста окажутся невозможными. 2 апреля он написал Кондакову: «Очень бы хотелось повидаться с Вами и поговорить, узнать подробности о последних академических выборах. До сих пор для меня многое не ясно, по крайней мере я не знаю, что мне делать, оставаться мне в поч[етных] академиках или уходить. <…> Мне, повторяю, очень хочется поговорить с Вами, и хочется, и очень нужно».

Событие, случившееся в этот же день в столице, не могло не сказаться на «академическом инциденте» и общественном настроении. 2 апреля в Петербурге, в Мариинском дворце Д. С. Сипягин был в упор застрелен студентом Киевского университета С. В. Балмашевым.

Глава десятая. ВЕСНА И СТРАННОЕ ЛЕТО

В переписке Чехова и Книппер зимой 1902 года несколько раз

упомянут пресловутый портрет Браза. Врачи, участники Пироговского съезда, поднесли актерам 11 января, после первого акта «Дяди Вани», фотографию с этого портрета — в массивной раме, с надписью на золотой доске и с золотой лавровой ветвью. Книппер написала: «Только ты теперь лучше, полнее и моложе, чем на этом портрете». На что он ответил с досадой: «Не могли они купить у Опитца! Впрочем, всё сие неважно». Однако через неделю попросил жену: «Исполнь мою просьбу, дуся. Доктора поднесли вам мой поганый портрет, я не похож там, да и скверен он по воспоминаниям; попроси, чтобы его вынули из рамы и заменили фотографией от Опитца. <…> Мне противен бразовский портрет».

Спустя три недели, 13 февраля, Чехов, выражая признательность одному из устроителей своего заочного чествования на съезде врачей и в театре, не удержался от шутливого упрека: «Только вот одно: зачем, зачем портрет работы Браза? Ведь это плохой, это ужасный портрет, особенно на фотографии. Я снимался весной у Опитца на Петровке, он снял с меня несколько портретов, есть удачные, и во всяком случае лучше бразовского. Ах, если бы Вы знали, как Браз мучил меня, когда писал этот портрет! <…> и вот если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом портрет мой».

Что так отвратило Чехова от портрета? И почему он так упорно адресовался к конкретной фотографии? Может быть, Чехова волновало выражение, запечатленное на портрете: беззащитное, будто Чехова застигли врасплох, наедине, и он недоволен, чуть растерянный, едва не морщится от скрытой досады. На фото — Чехов привычно наблюдает, неуловим, отстранен. Правда, он выглядел здесь благодаря мастерству фотографа не совсем таким, каким был весной 1901 года. Или просто выпал такой удачный день.

Фотографии 1902 года, особенно любительские, не скрывали, что Чехов разительно изменился. Он почти всегда в пальто, в теплом сюртуке, в шляпе. Взгляд, если только он не опущен вниз, либо чуть ироничен, либо сосредоточен. Словно Чехов не замечал съемки, позволял фотографировать, но безразличен к происходящему.

Некоторым современникам казалось, что Чехов теперь мрачен. Видимо, так воспринималась глубокая погруженность человека, который вместе со всеми, но один. На акварельном наброске В. А. Серова, датированном 1902 годом, но создававшемся урывками в предыдущие годы, Чехов чем-то неуловимым напоминал себя молодого, каким остался на портрете, сделанном братом Николаем, хотя там он был

изображен в профиль.

Иногда при знакомстве взгляд Чехова казался современникам холодным, речь суховатой, вопросы и ответы краткими. Потом это ощущение исчезало. Некоторых смущало пристальное внимание Чехова в первые минуты встречи. Затем оно уже не мешало. Однако попытки определить, что обнаруживал этот взгляд — природную мудрость, затаенное страдание необратимо больного человека — наверно, изначально были обречены. Хотя увлекали некоторых современников. Но впечатление Серова — «Чехов неуловим» — оказалось самым точным. Как и наблюдение Бунина: «Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную. Только не „грусть“ и не „теплоту“».

Художник П. А. Нилус, набросавший в 1902 году эскиз к портрету Чехова, писал впоследствии, что писатель показался ему не скрытным, а сдержанным: «Даже в веселые минуты он много не говорил, как всегда, был спокоен. Его умолчания, разнообразные оттенки смеха, выражение глаз — лучше всего выражали мысль. В его присутствии создавалась атмосфера удивительно приятной игры ума». На сеансах присутствовал Бунин, говорили о политике, литературе, искусстве. Нилус наблюдал Чехова и вне сеансов, когда приходили другие гости. Вечерами ауткинский дом навещали Горький, Елпатьевский, Телешов. Иногда упрашивали Бунина прочесть какой-нибудь рассказ Чехова. Он читал и, как вспоминал Телешов, «Антон Павлович сначала хмурился — неловко ему казалось слушать свое же сочинение». Потом невольно улыбался, «а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем мягком кресле, но молча, стараясь сдержаться». Но это были редкие минуты, и только в кругу тех или вдвоем с теми, к кому Чехов привык, как к Бунину. С кем было интересно, как с Горьким.

Молчаливость Чехова объяснялась не только природной сдержанностью, житейским опытом, но теперь и болезнью. Он не мог говорить подолгу. С каждым месяцем всё больше и больше «говорили» его письма. О настроении, о душевном состоянии. Они обретали своеобразную эмоциональную тайнопись.

Чем живее были его письма жене, чем горячее он уверял ее зимой и ранней весной 1902 года, что здоровье его «превосходное», «хорошее», что он «здоров, как бык» и самочувствие у него «отменное», тем хуже всё было на самом деле.

Но признавался он в этом не жене. Другим. И то лишь потом, когда острый момент проходил или скрывать было бессмысленно. О минувших месяцах он сказал позже: «Всю зиму здоровье было

скверное, ничего не делал»; — «Зиму я провел скверно»; — «Уж очень я раскис в последнее время; никогда я так не болел, как в минувшую зиму, и только недавно стал поправляться, хотя за последние 4–5 дней кашель мой опять усилился. Ну, авось обойдется».

Чем второстепеннее казались ему переживания Ольги Леонардовны из-за статей петербургских журналистов, особенно из-за рецензий Михаила Павловича на гастрольные спектакли москвичей, тем настойчивее Чехов обращал ее внимание *на главное, на то, что стоит душевного отклика.*

Столичные гастроли Художественного театра начались спектаклем «В мечтах». Почему-то написать о спектакле в «Новом времени» было поручено именно Михаилу Павловичу. Тот, по словам Книппер, написал «нехорошо, хлестко, с задором». Пьеса показалась рецензенту «умной», но «скучной»: «Всё речи, речи в квадрате и в кубе <…> пьеса вышла монотонна и длинна». Зато постановка «образцовая», а Книппер — «приподнимала в публике настроение <…> своей беззаботной веселостью и бесшабашным отношением к жизни». Но все равно было «скучно» и поднесенные венки — это «отголоски прошлогоднего успеха московской труппы в Петербурге».

На следующий день Ольга Леонардовна нанесла визит «сродственничку». Познакомилась с женой деверя, увидела его маленьких детей. И рассказала мужу: «Я Мише говорила, что ему неловко писать о нашем театре, особливо хвалить меня. Он этого не находит и даже способен писать о твоих пьесах — этого я уже окончательно не понимаю. <…> В нем есть доля твоей неусидчивости. Но только мне кажется, что он не крупный, понимаешь? А может, я ошибаюсь, не знаю». Она заметила, что Михаил Павлович обижен отношением брата к его службе у Суворина: «По-видимому, ему неприятно, что ты против его сотрудничества в „Нов. Времени“».

Как бы то ни было, Михаил Павлович не хотел ссориться с братом и его женой. У него возник план, якобы навеянный фразой Книппер, что они с мужем хотят провести лето в России. Свой прожект он изложил Марии Павловне: «Если бы у Антона были лишние деньги и он помог бы мне приобрести усадьбу без земли (цур ей пек земле!) тысяч за 5–6, какую бы я для него устроил бы летнюю резиденцию! Я выплачивал бы ему по 600 рублей и больше в год, но зато знал бы, что у меня есть богадельня под старость. Саша выстроил себе дом и теперь обходится 100 р. в месяц, а я получаю по 350 р. в месяц и едва свожу концы. Поговори-ка об этом с Антоном! Уверяю тебя — это идея. А вопрос о доме или усадьбе — у меня решенный, остановка только

за деньгами, но я не падаю духом: авось наживу!» В этом, наверно, был весь Михаил Павлович. Он хлопотал о собственном благоденствии, но представлял всё заботой о других. Он и место, видимо, присмотрел, так как настойчиво уговаривал Ольгу Леонардовну написать мужу о Сестрорецке. Как там чудесно, какой лес, взморье, как понравится там брату! Однако то, что случилось 30 марта, отодвинуло не только хлопоты Михаила, но изменило течение ялтинской жизни Чехова, летние планы супругов.

Чехов словно предчувствовал беду. Не зря уговаривал жену не утомляться, волновался из-за ее недомоганий, на которые она жаловалась еще до их последней встречи и в дни пребывания в Ялте. В ее письмах упоминались дурнота, слабость, ломота в ногах, головная боль. Ольга Леонардовна принимала фенацетин, хину, валерьянку, вечерами держала ноги в теплой воде. И вроде бы помогало. Может быть, излечивало сценическое возбуждение, успех.

В петербургских письмах Книппер весной 1902 года проявился ее характер. Она играла несмотря на усталость, на нездоровье, в шутку просила Чехова передать Горькому, чтобы тот в новой пьесе предусмотрел роль озорницы-женщины. И, может быть, расстраивалась из-за возможной отмены премьеры «Мещан» не меньше, чем из-за своего недомогания. В один из дней она написала мужу: «Я иногда сильно ненавижу театр, а иногда безумно люблю. Ведь он мне дал жизнь, дал много горя, дал много радости, дал тебя, сделал меня человеком. Ты, наверное, думаешь, что жизнь эта фальшивая, больше в воображении. Может быть. Но все-таки жизнь. А до театра я прозябала <…>. И всего я добилась одна, сама, своими силами».

30 марта, напуганная сильным кровотечением, Книппер послала за театральными приятельницами, а те вызвали врачей. В ночь в клинике Ольгу Леонардовну прооперировали. 31 марта она описала мужу всё случившееся: «<…> так мне было жаль неудавшегося Памфила. <…> два доктора <…> подтвердили, что это был зародыш в 1½ месяца. <…> Ты у меня умный и поймешь всё. <…> Зато теперь доктора говорят, что я моментально буду беременна — понимаешь? <…> Вот, Антончик, что стряслось надо мной. Тебе жаль Памфила? <…> Твой портрет со мной в лечебнице; мне прислали цветов поклонницы. <…> Как бы я себя берегла, если б знала, что я беременна. Я уже растрясла при поездке в Симферополь, помнишь, со мной что было? В „Мещанах“ много бегала по лестницам». И подписалась — «Твоя неудачная собака». В последующих письмах она успокаивала Чехова, просила не

презирать «за неудачу», добавляя — «видно судьба». Писала, что окружена заботой, передала шутку Москвина: «Осрамилась наша первая актриса — от какого человека и то не удержала».

Известие о случившемся дошло до Аутки 5 апреля. Вскоре в Ялту приехал Немирович. Он рассказал Чехову подробности, а самой Книппер написал в телеграмме, что «нашел Антона добропорядочным», что в «последнее время ему лучше»: «Видел Альтшуллера. Говорит, что можно в Москву только в мае. <…> Совсем не кашляет. Не могу выразить, как я рад, что Вы поправляетесь. <…> Умоляю, вышлите Севастополь <…> мне телеграмму, когда выедете. <…> Ночевал я в вашем доме внизу. Хотел ехать назад сегодня. Антон не пускает. Ради Бога, берегитесь».

Немирович не скрывал, что приехал за новыми пьесами к Чехову, Горькому и Найденову, который тоже был в это время в Ялте. Его пьеса «Дети Ванюшина» стала гвоздем минувшего сезона, с шумным успехом шла в театре Корша. Еще в декабре 1901 года Чехов удивлялся, как это Художественный театр пропустил такую пьесу: «Мне кажется, что Немирович много прозевывает». Но тогда Владимира Ивановича поглотила целиком его собственная пьеса. Однако теперь, в преддверии нового сезона, после реформы театр остро нуждался в новинках.

Болезнь Ольги Леонардовны могла осложнить работу Чехова над пьесой, и не исключено, что к августу, как хотелось Немировичу, пьесы не будет. Забрезжив в мозгу, по словам Чехова, «как самый ранний рассвет», она не разгоралась, менялась каждый день. Чехов еще не понимал, «какая она». Что-то мешало работе.

В середине марта Чехов признался жене: «Пьесу не пишу и писать ее не хочется, так как очень уж много теперь драмописцев и занятие это становится скучноватым, обыденным».

Может быть, в этом замечании прорвалось скрытое настроение Чехова. После успеха его пьес в Художественном театре, о чем ему непрестанно рассказывали зрители в своих письмах, он боялся неуспеха еще сильнее, чем раньше. И дело, наверно, не только и не столько в авторском чувстве — оно давно уязвлялось рецензентами, писавшими, что зрительский успех пьес Чехова обеспечивало мастерство постановщиков, Станиславского и Немировича.

Если бы Чехов слышал отзывы о своей пьесе в петербургской литературной среде, грубые, даже непристойные, он еще больше, наверно, оценил бы прямодушие Толстого. В апреле 1902 года Чехов рассказал Бунину: «Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем и обо

мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: „Поцелуйте меня“, — и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: „А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!“».

Чехов смеялся над этим эпизодом. Он давно знал мнение Толстого о своих пьесах и, вероятно, разгадал природу этих мнений, которые к нему не имели отношения. Так что причины прерванной работы были, судя по письмам, по воспоминаниям современников, не в рецензиях, не в чьих-либо отзывах. И даже не в причинах, которые Чехов называл Книппер, Немировичу, — болезнь, погода, посетители. Сильнее всего мешало чувство, усилившееся во время трудной работы над пьесой, но возникло оно гораздо раньше. Чехов давно боялся изжить себя, выйти в тираж, поставлять «балласт» вместе с прочими «драмописцами».

Присуждение Грибоедовской премии за «Три сестры» в январе 1902 года раздосадовало его: «Это не даст мне ничего, кроме буренинской брани, да и уж стар я для сих поощрений». В 1888 году Пушкинская премия обрадовала Чехова как знак признания. Грибоедовская огорчила теперь сходством с наградой за былые заслуги «ветерану» драматургии. Он страшился, что пишет «по-старому», утратил чувство самой жизни по причине заточения в Ялте, будничного однообразия, утомления. И оттого-де не понимает окружающего, не ощущает движения общей жизни. Но отдает отчет, как убывают его собственные силы. Работалось ему в минувшем и наступившем году «скучно», «вяло», «неважно». Он прямо и косвенно признавался, что ему хотелось бы уловить новый тон, настроение своего времени, суть перемен. Может быть, поэтому он заговорил о комедии. Неожиданной, необычной, какой получилась когда-то, всего шесть лет назад, а кажется, что давным-давно, его «Чайка». Но для этого, как говорил Чехов в таких случаях, нужно было «поймать черта за хвост».

Услышав об успехе Найденова, Чехов настойчиво просил Книппер зимой 1902 года привезти «Детей Ванюшина» или выслать бандеролью. Найденов сам искал встречи с Чеховым. В своих воспоминаниях он рассказал о совете Корша после шумной премьеры поехать в Ялту: «Отдохните, там живет Чехов — душа человек». Рассказал о своей надежде на встречу: «Вот человек чуткий, талантливый, которому можно рассказать всё, что переживается мною. И он поймет, скажет, как работать дальше. Он. Он один…»

Найденов запомнил визит в ауткинский дом, а Бунин не забыл то, что говорил Чехов как раз в апреле 1902 года: «Какие мы драматурги! Единственный настоящий драматург —

Найденов; прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри». И пророчил: «Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успех, что только ахнешь!» Может быть, то же самое он говорил и Немировичу. Иван Павлович, гостивший в Ялте, писал жене 10 апреля: «Вл. И. Немирович-Данченко приехал к Антоше просить пьесу. Горький уже 2 акта написал новой пьесы и будет сегодня читать Влад. Ив-чу. <…> Сейчас г-н Немирович ушел к Найденову за пьесой и взял с собой Антона на подмогу».

По письмам Немировича после его отъезда из Ялты выходило, что чеховская пьеса была обещана к началу августа. Но, может быть, так хотелось думать директору театра? По тону писем Чехова заметно, что он был выбит из колеи.

Книппер привезли в Ялту 14 апреля. С парохода до экипажа на набережной ее снесли на носилках. В письме Ивана Павловича, посланном в эти дни, ощущалось некоторое раздражение и, кажется, даже недоверие родных Чехова к тяжести заболевания Ольги Леонардовны: «Чем она больна, не знаю. По-видимому, дня через 3 будет здорова. <…> Бедная мамаша и Маша до сих пор не могут примириться с мыслью, что Антоша женат и что их новая и самая близкая невестка должна быть непременно именно Ольга Леонардовна. Мать мечтает о Мелихове и просится у Антоши туда. Здесь в Аутке очень трудно получить две вещи: чернила и стакан чаю».

Чехов, судя по всему, был прав, отклонив предложение жены, чтобы в Ялту с ней приехала, хотя бы на короткое время, Анна Ивановна Книппер, человек иного уклада, характера, привычек, — обстановка в доме осложнилась бы еще сильнее. Дело в том, что в семье Чеховых не очень любили, когда кто-то требовал к себе особого внимания. Но уже в начале мая Ольге Леонардовне разрешили вставать, сидеть в кресле, понемногу ходить. Однако ухудшилось состояние Чехова, о чем Книппер написала Станиславскому: «Все эти дни ему было нехорошо <…>. Он за мою болезнь поволновался, и оттого ему, верно, нехорошо. Да и у меня настроение бывало мрачное, теперь ничего».

Всё вместе взятое: тяжелое нездоровье зимой и весной 1902 года, оставленная работа над пьесой, болезнь жены, мало кем замеченное появление рассказа «Архиерей» в апрельской книжке «Журнала для всех», что поразило Бунина, — ввело Чехова в состояние душевного кризиса. Одолевалось оно, судя по предыдущим случаям, внезапным решением, неожиданным для окружающих. Так было и перед Сахалином, и перед «Чайкой».

В такие моменты Чехов заговаривал о томительной скуке, о праздности своего ума, о том, что ему нужны новые «резкие»

впечатления, какой-то толчок. Проверенные средства — поездка, путешествие, которые, по его выражению, «чудодейственно» влияли на него.

Ялта исчерпала себя, как когда-то Москва, Мелихово и Ницца. В начале мая он написал Иорданову: «Если бы в Таганроге была вода или если бы я не привык к водопроводу, то переехал бы на житье в Таганрог. Здесь в Ялте томительно скучно, от Москвы далеко, и трудно ходить пешком, так как куда ни пойдешь, везде горы. Когда в Таганроге устроится водопровод, тогда я продам ялтинский дом и куплю себе какое-нибудь логовище на Большой или Греческой улице». Главное условие — водопровод — приоткрывало, наверно, иронический смысл намерения Чехова вернуться в родной город. О водопроводе говорили в Таганроге много лет, это был «вечный» вопрос. Климатические и бытовые условия здесь оказались бы еще тяжелее, чем в Ялте.

Нужен был ровный климат. Теплый, лучше деревянный, а не каменный дом. И комната на первом этаже, потому что даже небольшая лестница отнимала у Чехова силы. Конечно, Таганрог исключался. Но куда? В Москву? Жить общим домом: он, мать, сестра, жена? Апрельские и майские будни в ауткинском доме развеяли последние иллюзии, что это возможно. Опять покупать под Москвой, как он предлагал в это время Книппер, «дешевенькое именьишко, чтобы можно было жить летом и удить рыбу», а не ехать в Швейцарию. Поездка за границу тоже была уже не по силам.

Вопрос остался открытым, а пока Чехов собирался с женой в Москву, на время. Поводов было несколько. Ольга Леонардовна скучала по родным, по своему театральному кругу. К тому же хотела проконсультироваться у тамошних врачей, самых авторитетных среди немцев, живущих в Москве. Отъезд зависел от встречи с Короленко. Чехов уже получил письмо Владимира Галактионовича с несколькими вариантами разрешения инцидента с выборами Горького. В том числе — провести их снова. Но Короленко сам же сомневался, что это получится. Чехов тоже не верил в это и написал 20 апреля: «Мне кажется, что нам удобнее действовать сообща, и надо сговориться». Он поддержал Короленко во всем и просил, ввиду того, что не сможет из-за болезни жены приехать на заседание отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности, говорить и от его имени.

О желательности такого заседания Короленко написал 6 апреля 1902 года А. Н. Веселовскому, председателю отделения. Он, по его словам, считал «своей нравственной обязанностью» изложить свои соображения в собрании ординарных и почетных

академиков. И заметил, что «всякая человеческая власть кончается у порога человеческой совести и личного убеждения», а он, по совести, не может разделить ответственности за объявление, сделанное от имени Академии наук. Короленко отдавал отчет, что лишь Он и Чехов сложат с себя звания академиков.

Как ни хотелось академии замять эту просьбу, заседание состоялось 10 мая. Через неделю Чехов узнал из письма Батюшкова, как оно прошло, что говорил Короленко, который подчеркнул: «Таким образом, если Академия хочет сообразоваться с полицейскими сведениями — она <…> смешивает оценку литературной деятельности с вопросом о благонадежности, в зависимости от нескольких доносов, часто ложных, почти всегда недоказуемых и не поддающихся опровержению по голословности. Наконец, Академии ли выступать цензором образа мыслей с полицейской точки зрения?»

Короленко убедил своей речью всех присутствовавших академиков. Они присоединились к нему и занесли это в протокол. К тому же предложили прочесть доклад Короленко осенью, на соединенном собрании отделения и разряда, уже как общее мнение участников данного заседания «с выражением сожаления о том, что допущена была такая неправильность».

Короленко, по словам Батюшкова, поблагодарил всех за сочувствие и оставил за собой выбор — «дождется ли он осеннего заседания или пришлет раньше свой отказ, не питая особых надежд на то, чтобы предположения могли осуществиться». Батюшков тоже полагал, что «оттяжка на осень окажется пустой проволочкой», так как у президента (К. К. Романов. — А. К.) есть право снять вопрос с очереди. Батюшков упомянул в своем письме Чехову, что Короленко поедет из Петербурга в Полтаву, а оттуда в Ялту.

Чехов и Короленко встретились 24 мая, накануне отъезда супругов в Москву. Уже отсюда Чехов написал Горькому 2 июня: «Мы совещались и, вероятно, на сих днях будем писать в Петербург, подаем в отставку». Столь же коротко и определенно он написал Батюшкову 4 июня: «Короленко был у меня в Ялте; мы поговорили и пришли к решению, к сожалению, неизбежному — уйти». Короленко тоже написал Батюшкову: «Поездкой чрезвычайно доволен. Чехов, вероятно, отложит свое заявление до осени, и это, по-моему, хорошо. Я „выйду“ на днях. Это дело, по многим причинам, необходимое».

Короленко и Чехов с разрывом в один месяц (25 июля и 25 августа) направили в Академию наук письма о сложении с себя звания почетного академика. «Академический инцидент» для них

был исчерпан. Разница в сроке, обговоренная во время ялтинской встречи, исключала даже намек на демонстрацию, жест, вызов. Решение о «выходе» было частным делом двух отдельных людей. Отдельных не друг от друга, а в том смысле, какой вкладывал в это слово Чехов. Недаром он просил Книппер сказать Горькому о своем письме в академию наедине, «только ему одному, больше никому». Никакого шума, никаких заявлений в прессе.

Чехов не хотел летом задерживаться в Москве, но не хотел и ехать во Франценсбад, куда Книппер направляли московские врачи. Он заговорил о поездке с Саввой Морозовым в Пермь, по Волге и Каме. По этому поводу между мужем и женой возникло напряжение. Его беспокойное, раздраженное состояние выдавала фраза из письма сестре от 31 мая в Ялту: «В гостиной Немирович и Вишневский читают пьесу, Ольга лежит и слушает, я не знаю пьесы, и потому мне скучно». Наверно, не в пьесе было дело, а в той силе, что гнала его из Москвы в неведомое Усолье.

Поездка едва не сорвалась, так как Книппер внезапно стало хуже. Родные Ольги Леонардовны и Вишневский искали ночью докторов. Всё, по словам Чехова, «перевернулось» и предстоящее лето оказалось «если не испорченным, то сильно попорченным». Среди прочего подразумевалась и работа, потому что Чехов обещал к осени новую пьесу. Немирович писал Станиславскому 9 июня, размышляя о репертуаре грядущего сезона: «Ант. Павл., как только я начал расхваливать пьесу Бьернсона, принялся уверять меня, что он к 1 августа кончит свою пьесу».

Эта реплика объясняла раздражение Чехова от чтения чужой пьесы. Немирович, не исключено, сомневался, что при сложившихся обстоятельствах Чехов напишет что-то к осени. Недаром он писал в это же время Горькому, что с «огромным нетерпением» ждет его новую пьесу [«На дне»]. Уже говорил с ним о распределении ролей, о репетициях. Горький как драматург, как автор, может быть, казался в данное время более надежным. Это сквозило в вопросе из его письма к Книппер от 18 июня: «Знаете ли Вы и Ант. Пав., что Горький уже окончил пьесу? Пишет мне об этом сегодня».

Еще определеннее Немирович высказался в следующем письме к Книппер от 24 июня 1902 года, делясь соображениями о художественных увлечениях внутри театра. Ему казалось, что «Три сестры» поставили точку на том направлении, по которому театр пошел вначале, что другие внутритеатральные «течения» вытесняют «колорит душевности и лиризма, поэзии добра и мира, которые окутывали театр раньше»: «С этих пор мы точно мечемся, точно нам надоела наша собственная душа. Что-то ворвалось и потребовало шума и трезвона. И мы испугались и затихли, а кто-

то и что-то начало шуметь вокруг нас. И мы как будто задаем себе вопрос, „а не уступить ли нам дорогу другим?“ И если мы уступим, — мы будем преступные слабовольные!»

За всеми этими рассуждениями угадывалось невысказанное: первоначальное направление могла продолжить только новая пьеса Чехова. Но где она? Когда Чехов отдаст ее? Понимает ли он, что значит будущая пьеса для Художественного театра?

В начале июня Чехов попросил сестру отыскать в ящике его письменного стола и прислать в письме «осьмушку бумаги», исписанную «мелко для будущей пьесы», с фамилиями. Говорил знакомым, что «засядет» на даче Станиславского, в Любимовке, под Москвой. Хорошо бы совсем одному, без жены, «отшельником», чтобы только работать, писать пьесу.

Но прежде все-таки хотел съездить на Урал. Здоровье Ольги Леонардовны поправлялось, всё обошлось, и 17 июня Чехов и Морозов выехали из Москвы.

* * *

Какая сила повлекла его, тяжело больного, в дальний путь? Желание сбросить «томительную скуку»? Найти новые, «резкие» впечатления? Столкнуть себя с какой-то точки? Ускорить внутреннее возбуждение, необходимое для работы? Чехов шутил, что он «отпущен на волю». В этой поездке «на заводы» было что необъяснимое, как в странной поездке в Таганрог в 1899 году.

Сначала спутники ехали поездом до Нижнего Новгорода. Потом по Волге и по Каме на пароходе «Кама», мимо злополучного Пьяного Бора, где в 1901 году Чехов и Книппер провели странную ночь, ожидая пароход. В Перми Чехов и Морозов пересели на другой пароход и поднялись вверх по Каме до Усолья, а затем ехали несколько часов на поезде до станции Всеволодо-Вильва. Вся дорога заняла шесть дней. В имение Морозова добрались 23 июня.

Как Чехов выглядел в те дни, как он себя чувствовал, рассказал в своих воспоминаниях А. Серебров-Тихонов, тогда студент-практикант на заводе Морозова. Он запомнил, каким увидел Чехова в первый день по приезде: лицо «серое от усталости и пыли»; «помятые брюки просторно болтались на длинных, сходящихся коленями ногах». На боку фляжка, в которую он отплевывал вязкую мокроту.

За обедом Чехов ел только суп, пил минеральную воду. Ни хозяин имения, ни гость, по наблюдениям Сереброва, не знали, зачем они мешают друг другу. У Морозова были свои дела, и он

оставил Чехова на попечение студента. Тот тоже не знал, что делать с гостем, и сбежал от него. Но вечером сошлись за чаем. И начался престранный разговор. Сначала о Горьком, у которого собеседникам нравилось разное. Студенту — «Буревестник» и «Песнь о Соколе», Чехову — рассказ «На плотах», который он сравнивал с «Таманью» Лермонтова. Затем говорили о декадентах, которых будущий горный инженер считал новым течением в литературе. Чехов, как и ранее в разговорах с Буниным, отзывался о них будто бы безжалостно и насмешливо: «Гнилым товаром торгуют… Религия, мистика и всякая чертовщина! <…> Это все они нарочно придумали, чтобы публику морочить. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не „бледные“, а такие же, как у всех, — волосатые».

Чехов никак не вписывался в представление молодого человека о «великом писателе», которого он воображал либо «апостолом», как Толстой, либо в «ореоле пламенного витии, как Герцен и Чернышевский». Этот же шутил, рассказывал, какие вкусные стерляди на пароходе. Поражал неожиданными заключениями. Мол, «студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями». И вообще — пьют ли студенты пиво, как в его университетские времена, занимаются ли революцией, как нынешние, но те учились и эти учатся плохо, потому выходили и выходят «недотёпами».

На следующий день гость и студент ловили рыбу. Наблюдая приблудную собаку, пожиравшую живьем рыбу, которая била ее хвостом по морде, Чехов якобы сказал с брезгливостью: «Совсем как наша критика!»

Что видел Чехов у Морозова? Спиртовой завод, «темный, низкий, закопченный». Новую школу, достраиваемую в присутствии хозяина. Приемный медицинский пункт, вернувшись откуда, он, как запомнилось Сереброву, ворчал: «Богатый купец… театры строит… с революцией заигрывает… а в аптеке нет йоду и фельдшер — пьяница, весь спирт из банок выпил и ревматизм лечит касторкой… Все они на одну стать, эти наши российские Рокфеллеры».

Сохранились воспоминания, будто после разговора с Чеховым в присутствии рабочих Морозов обещал снизить рабочий день до восьми часов и впоследствии сдержал слово. В письмах Чехова об этом и о других впечатлениях нет ничего. Отсюда он написал только Немировичу: «Жизнь здесь около Перми серая, неинтересная, и если изобразить ее в пьесе, то слишком тяжелая. Ну, да об этом при свидании».

Это, может быть, единственное проявление в письмах интереса не к «деревенскому», а к «заводскому» миру, который

косвенно уже обозначился в рассказах «Бабье царство», «Случай из практики», но угас. На еще один «ад» русской жизни, вероятно, не хватало ни времени, ни сил.

Студент подметил раздражение даже в жестах необычного гостя. Он нервно покручивал шнурок от пенсне. За столом трогал и отодвигал, словно отпихивал, пепельницу, блюдечко, чашку. Глотал остывший чай как лекарство. Может быть, так проявлялось сожаление о поездке, будто что-то ускользало и вместо желанного волнения усиливалось недовольство. Ясно было, что надо писать не так и не о том. Но как? О ком?

Новые герои? Новые темы? Новые формы, как говорил герой его «Чайки»? В словах Чехова, если Серебров верно запомнил их, приоткрывалось что-то.

Он описал тот давний душный вечер: «Чехов был <…> как-то особенно грустен и доверчив. От прежней его раздражительности — при нашей первой встрече — не осталось и следа. Зажав между костлявыми коленями свои длинные руки, он сидел, согнувшись, на стуле, против раскрытой двери террасы, и, вглядываясь в темноту сада, точно споря с кем-то невидимым, кто там находился, медленно говорил: <…>

— Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах… Да и не вы один… А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел другое… Я хотел только честно сказать людям: „Посмотрите на себя, как вы все плохо и скучно живете!..“ Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую жизнь… Я ее не увижу, но я знаю, — она будет совсем иная, не похожая на ту, что есть… <…> Над чем же тут плакать? — „А те, которые уже это поняли?“ — повторил он мой вопрос и, вставая со стула, докончил: „Ну, эти и без меня дорогу найдут… Пойдемте спать… Гроза будет…“».

В этом монологе словно воспроизведен фрагмент из воспоминаний Горького о Чехове: «Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек <…> и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!»

Может быть, Серебров, любивший сочинения Горького, наверняка читавший его воспоминания и, как известно, показавший ему свою рукопись воспоминаний о Чехове, вольно и невольно беллетризовал их «под Горького». Но то, что рассказано далее, кажется, лишено подражания и на самом деле запечатлелось в памяти.

Ночью он проснулся от грозы и от стона за стеной. Очень испугался и решился войти в комнату, где ночевал Чехов: «На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча. Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все его тело содрогалось от кашля… И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу <…> выхаркивалась кровь».

Чехов не услышал, как вошел сосед, и заметил его не сразу: «И тут я в желтом стеариновом свете огарка впервые увидел его глаза без пенсне. Они были большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, подернутые влагой слез…

Он тихо, с трудом проговорил:

— Я мешаю… вам спать… простите… голубчик…»

Чехов вернулся в Москву 2 июля. Через два дня он, Книппер и Вишневский перебрались в Любимовку, где Чехов отводил душу за рыбной ловлей, позволявшей не говорить, а думать.

* * *

В письмах Чехова появился какой-то покой, как будто что-то решилось во время или после поездки в Усолье. Может быть, то, что он не станет писать пьесу к сроку, то есть к началу этого сезона. Может быть, то, о чем он напишет.

Поблагодарив Станиславского за Любимовку, Чехов писал ему 18 июля: «Пьесы еще не начинал, только обдумываю. Начну, вероятно, не раньше конца августа». Большая двухэтажная дача на берегу Клязьмы, деревянная, с балконом, с террасой, походила на старые барские дома, любимые Чеховым со времен Бабкина. Станиславский, уезжая на отдых в Германию, отдал необходимые распоряжения, зная, по его словам, «болезненную церемонность и застенчивость» Чехова в чужом доме. Казалось — условия идеальные для работы. И Книппер писала Константину Сергеевичу, что муж вот-вот сядет за пьесу, рисовала идиллическую картину: «Живем мы тихо, покойно, уютно».

Однако летом 1902 года идиллии не получалось. Чехов из чувства признательности за помощь в дни болезни жены, кажется, с трудом выносил каждодневное присутствие Вишневского, всегда требовавшего внимания к себе. Между тем Чехову хотелось остаться наедине со своей пьесой. Он то говорил Ольге Леонардовне, что ему нравится шум поезда и как бы воспроизвести его на сцене. То рассказывал, что пьеса будет в четырех действиях, что долго ждут какого-то господина, он то едет, то не едет, и вдруг телеграмма — он умер.

В этом сочетании шума поезда и известия о смерти оказывалось что-то близкое сюжетам, которыми Чехов делился с приятелями в давние годы. Один из них запомнил Щеглов, сказав, что он покрыт «меланхолической светотенью смерти и жизни»: «Это было описание похорон, происходящих на кладбище, расположенном вблизи Железнодорожной станции… <…> Стоящая впереди всех красивая полная дама поминутно сморкалась в платок, но по всему чувствовалось, что печаль ее не искренна и что она больше вслушивается в шум жизни, доносившийся со станции, чем в слова священника и возгласы певчих…» Другой сюжет остался в памяти Лазарева: тоже станция, недалеко имение. Однажды паровоз подкатил к платформе товарный вагон. В нем гроб с телом единственного сына хозяйки имения.

Всё это хранилось вместе с другими сюжетами в голове Чехова, с множеством его «чад», «детищ», все еще ждавших своего

часа. Но эти — о «шуме жизни» и неизбежности смерти — вдруг стали всплывать в разговорах.

Но какая же это комедия, как обещал Чехов? Может быть, такая же, как «Чайка»? Комедия жизни о «насмешливом» человеческом счастье? И писать ее тоже следует свободно, «против условий сцены», безоглядно? Не по правилам даже Художественного театра, а так, как видится, как хочется написать?

В середине августа, как было давно обговорено, один, потому что Ольге Леонардовне врачи запретили ехать в Ялту, Чехов покинул Любимовку. Он не сказал жене, что у него в мокроте появилась кровь. Книппер передала с ним письмо для Марии Павловны. В нем она объяснила отъезд мужа желанием родных разлучить супругов, наконец-то освободить Чехова от ухода за ней. Назвала свекровь и золовку «жестокими», упрекнула в черствости. Обиженная Мария Павловна позволила прочесть это послание брату, который тут же написал жене: «За что ты обругала Машу? <…> Твое письмо очень и очень несправедливо, но что написано пером, того не вырубишь топором, Бог с ним совсем. Повторяю опять: честным словом клянусь, что мать и Маша приглашали и тебя и меня — и ни разу меня одного, что они к тебе относились всегда тепло и сердечно. Я скоро возвращусь в Москву, здесь не стану жить, хотя здесь очень хорошо. Пьесы писать не буду. <…> Мать умоляет меня купить клочок земли под Москвой. Но я ничего ей не говорю, настроение сегодня сквернейшее, погожу до завтра. Целую тебя и обнимаю, будь здорова, береги себя. <…> Пиши почаще. Твой А.».

Письмо на самом деле было несправедливым. Мария Павловна все лето писала Ольге Леонардовне, что ждет ее и брата в Ялту: «Когда ты больна, меня еще больше тянет к тебе, моя дорогая. <…> Если хочешь, я поеду за тобой и осторожно и бережно привезу тебя домой». В летних письмах Книппер в Ялту тоже все было до злополучного письма тихо и мирно, особенно из Любимовки, в рассказах, как заботятся о них Алексеевы: «Даже, говорят, благовестить запретили громко. А церковь здесь же, рядом, летняя, славненькая и слышно пение, когда сидишь в саду или на террасе. <…> Прочла „Свидание“ Бунина, посвященное тебе, и многое поняла».

Никаких следов сильного переживания или тяжелого настроения нет и в первых письмах Книппер после отъезда Чехова. Она вернулась к стилю своих посланий годичной давности. Такие же мелодраматические детали: «Я опять целовала твою фуражку, верно, каждый день так буду делать». Снова нежные прощания, раскаяния, уверения в любви: «Прости

меня, дусик, за каждую неприятную минуту, кот. я доставила тебе, а их было много, и я негодую на себя, что не сдерживала себя». Но более всего рассказывала о гостях, зачастивших в Любимовку, о Немировиче, с которым болтали под шум дождя и раскладывали пасьянс, об обедах у Алексеевых и т. п.

Поэтому делано или наивно удивилась, получив письмо мужа: «Ты пишешь, что будто я обругала Машу? Каким образом? Я, действительно, писала Маше сильно расстроенная, и даже не помню, что я писала». Далее, как всегда в таких случаях, стала нападать: «Если бы Маша действительно любила меня по-прежнему и относилась бы сердечно, она бы никогда не показала тебе моего письма и чутьем бы отгадала, в каком настроении я его писала. <…> Когда Маша присылала мне письма, которые, я знала, могли бы взволновать тебя — я их скрывала от тебя, и не впутывала тебя в наши отношения, несмотря на то, что многое было, чего не должно было быть. Ты от меня никогда ничего не слыхал».

Чутья, наверно, не хватило обеим. Сестра и жена на короткое время «впутали» Чехова в свои отношения. Сами они вскоре объяснились в письмах. Свой срыв Ольга Леонардовна мотивировала недостатком внимания к ней Марии Павловны во время ее болезни и взывала к состраданию: «Я сильно поседела, а теперь и душой постарела. Ты теперь вся ушла в свою жизнь и потому чуждаешься меня, и уверяю тебя, что ты хуже, чем следует, думаешь обо мне». Эта скрытая жизнь Марии Павловны приоткрывалась в письмах Бунина. На пути из Ялты домой он писал ей из Севастополя 2 августа 1902 года: «Второй день, то есть с самого отъезда из Гурзуфа, до физической боли тоскую. Опять я в пути, в своем бесконечном пути, и так как и вчера, и сегодня нет поблизости ни одного более или менее родного человека, хочется плакать от одиночества. Впрочем, этих близких людей у меня на всем свете не более десяти. Вы одна из них, и вчера я даже хотел снова проехать к Вам в Гурзуф провести вечер, так как было страшно одиноко, а мне так грустно за последнее время! Мафочка, крепко целую Ваши ручки, вспоминаю Вашу милую мазанку среди камней в Гурзуфе и прошу Вас немного пожалеть меня».

Объяснившись, Книппер и Мария Павловна успокоились. Правда, Ольга Леонардовна, кажется, поняла, что история с письмом повлияла на настроение мужа, а значит, и на работу: «Пьесу все-таки пиши. Теперь ты у себя дома, тебе уютно, тепло, сиди, работай, забудь передряги последнего времени. Успокойся». Она не обещала перемен в ближайшем будущем: «Я тебя как будто вышибаю из колеи, тяжелю твою жизнь. Прости мне,

родной мой. Боже мой, если бы я умела, если бы я могла сделать тебе жизнь приятной, легкой, если бы я могла измениться — как бы я была счастлива, безумно счастлива!»

В самом начале осени Мария Павловна вернулась в Москву. Покатилась привычная московская жизнь. Дочь рассказывала в письме к матери в Ялту: «На вид Оля совсем поправилась, пополнела, розовая стала, ходит на репетиции и все возится с устройством квартиры. <…> Милая мамочка, меня очень беспокоит здоровье Антоши. <…> Он так сильно кашлял последнее время».

Чехов скрывал от жены, что кашель донимал его всё сильнее и сильнее. К тому же в Ялте было жарко, ветрено. В первые дни по возвращении он пытался работать, но вскоре признался: «Пьесу писать в этом году не буду, душа не лежит, а если и напишу что-нибудь пьесоподобное, то это будет водевиль в одном акте». Может быть, все вместе взятое — поездка в Усолье, история с письмом, сильнейшее недомогание и глубокое, скрытое настроение повлияли на замысел пьесы, в той или иной степени изменили его или обратили Чехова к иному сюжету.

Немирович звал его в Москву: «Когда же ты приедешь? Я уверен, что в Ялте тебе не дают заняться и наполняют твой день пустыми и мелочными разговорами. <…> Приезжай скорей писать пьесу. Без твоей пьесы сезон будет отчаянный!» Книппер спрашивала: «За пьесу принялся? Не ленись, дусик, отбрось все в мире и пиши, засядь. Это будет хорошо». Через день опять: «Что ты поделываешь? Хорошее ли настроение у тебя? Сел ли писать пьесу?» Она чувствовала неладное: «Что-то, должно быть, случилось. Хотя твои письма и ласковы, но отчего меня дрожь пробирает, когда я их читаю по несколько раз».

Это отдаление Книппер истолковала по-своему, будто стала неинтересна ему и нужна, по ее словам, «только как приятная женщина». И то в прошлом, а теперь его письма нежны, но как-то иначе: «Ты все можешь переносить молча, у тебя никогда нет потребности поделиться. Ты живешь своей, особенной жизнью и на каждодневную жизнь смотришь довольно равнодушно». Потому ли, что не видела Чехова в дни напряженной работы, потому ли, что всегда ставила *себя* во главу угла, но она, судя по всему, на самом деле не понимала этой «особенной» жизни мужа.

Когда его «машина», как он называл свое сочинительство, начинала работать, Чехов уходил из внешнего, сиюминутного мира. Это подметили Бунин, Куприн, другие люди, не чуждые писательству. Однако на этот раз «машина» остановилась, о чем он написал Книппер: «Немирович требует пьесы, но я писать ее не стану в этом году, хотя сюжет великолепный, кстати сказать». Он

откладывал пьесу до следующего года. Но с такой интонацией, словно относил на неопределенное время, с оговоркой «если». Как и всё остальное. На ближайшие месяцы он намечал возвращение в Москву, затем в конце ноября или начале декабря поездку с Миролюбовым в Италию, в курортное местечко Nervi. Там и в Пизе он хотел пожить до весны.

Книппер явно сердилась, но уже не вспоминала свои обещания, данные в канун 1902 года, что бросит сцену, уедет с мужем на год за границу, в теплые края, «выходит» его и они будут «блаженно счастливы». Чехов не напоминал об этом. Он не хотел оставаться на зиму в Ялте. Не хотел, чтобы Альтшуллер выслушал его, хотя доктор настаивал. Оба, наверно, не ждали от этого ничего хорошего. Как и от многого другого.

В переписке супругов началась полоса какого-то непонимания. Ей казалось, что муж что-то скрывает от нее. Чехов полагал, что в жену кем-то «вложено недоверие» к его словам и «ей всё в нем подозрительно». Говорил: «<…> и уж тут я ничего не могу поделать, не могу и не могу. И разуверять тебя и переубеждать не стану, ибо бесполезно. <…> Дуся моя, будь женой, будь другом, пиши хорошие письма, не разводи мерлехлюндии, не терзай меня. <…> Я тебя люблю сильнее прежнего и как муж перед тобой ни в чем не виноват, пойми же это наконец, моя радость, каракуля моя». В эти дни он вроде бы в шутку, а может быть, и серьезно написал ей: «Не расходись со мной так рано, не поживши как следует, не родивши мне мальчишку или девчонку. А когда родишь, тогда можешь поступать как тебе угодно». Свои письма жене Чехов стал подписывать просто — «Твой А.».

Заварилась, по его выражению, какая-то «каша». Причем в тот момент, когда ему стало хуже в Ялте от духоты, пыли, зноя. Вернулись перебои сердца, обострился легочный процесс. Он кашлял с обильной мокротой, неистово, так, что всего ломало. Но твердил в письмах к Книппер: «В этом году я непременно поеду за границу. Здесь зимовать по многим причинам не могу»; — «Вероятно, и я скоро приеду, так как сидеть здесь невесело, да и всё равно надо уехать, как ни финти».

В этих туманных «многих причинах» и «как ни финти» таилась какая-то, может быть, неведомая причина, которой он не открывал никому.

Глава одиннадцатая «ГДЕ-ТО КОГДА-ТО БУДЕМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ…»

В начале сентября 1902 года Чехов написал Лаврову, что

пьесу в этом году он писать не будет, а будет писать рассказы. Через неделю сказал об этом Книппер: «Пьесы не могу писать, меня теперь тянет к самой обыкновенной прозе».

Такие отступления уже случались у Чехова. То он в молодости возвращался от первых повестей к коротким рассказам, то от драмы к прозе. И тогда говорил в шутку, что «беллетристика — покойное и святое дело», что в сочинительском унынии его утешает проза, ибо здесь он ощущает себя «как дома», а когда пишет пьесу, то испытывает беспокойство, будто кто-то толкает его в шею.

Но в случае с новой пьесой его толкал, понукал, просил Художественный театр. То, что Чехов называл авторским чувством, видимо, наоборот — удерживало от спешки, от невольного состязания с Горьким и Найденовым. Это по-своему подтверждал разговор с Сувориным, который был у Чехова в Ялте в начале сентября. Алексей Сергеевич записал в дневнике: «Все время дружески говорили о разных вещах, преимущественно о литературе. <…> Популярность Горького задевает самолюбие Чехова. „Прежде говорили: Чехов и Потапенко, я это пережил. Теперь говорят: Чехов и Горький“. Он хотел сказать, что и это переживет. По его словам, Горький через три года ничего не будет значить, потому что ему не о чем будет писать. Я этого не думаю».

Чехов пережил за прошедшие пятнадцать лет сопоставления с Вс. Гаршиным, Тургеневым, Толстым, Короленко, Потапенко. Пережил противопоставления Гоголю, Успенскому, Достоевскому, Островскому, Салтыкову-Щедрину, Мопассану. И всегда возражал против этого приема критиков. Настаивал, что самое интересное — понять, в чем оригинальность автора, а не то, на кого он похож, кому будто бы подражает, с кем якобы скрыто соперничает.

Популярность Горького, наверно, задевала самого Суворина. Недаром он записал в дневнике в начале 1902 года, как в Москве, на Сухаревке, оборванец кричал: «Максим Горький — всемирный писатель!» — а вокруг шла бойкая торговля брошюрой с рассказом Горького «Дружки».

Как бы ни уверял он в своей газете, что «русская мельница» всё «перемелет» и обратит «в муку», в том числе всякую «противообщественную накипь, бездомников и бродяг», грозящих разрушением, всех этих босяков Горького, этих новых «нигилистов», в дневнике его тревога проступала всё сильнее и сильнее.

В день убийства Сипягина, 2 апреля 1902 года, Суворин записал: «Покойный не был умен и не знал, что делать. Его

поставили на трудный пост и во время чрезвычайно трудное, когда и сильному уму трудно найти путь в самодержавном государстве. Надо бы свободы совести, личности, печати. Но какая может быть свобода при самодержавии министров, поддерживающих самодержавие. <…> Нет, мы подошли к стене, которую лбами и усердием пробить нельзя. Революционное настроение растет, и как оно кончится, сказать трудно».

Во время встречи с Чеховым в сентябре 1902 года Суворин не обошел тему «русских нигилистов», о чем упомянул в дневнике: «Он (Чехов. — А. К.) удивлялся, что Горького считают за границей предводителем социализма. „Не социализма, а революции“, — заметил я. Чехов этого не понимал. Я, напротив, понимаю. В его повестях везде слышится протест и бодрость. Его босяки как будто говорят: „Мы чувствуем в себе огромную силу и мы победим“».

Чехов обо всех этих разговорах сказал коротко в письме к Книппер от 6 сентября: «Суворин сидел у меня два дня, рассказывал разные разности, много нового и интересного — и вчера уехал». И сразу после этого упомянул, может быть, не случайно еще одного визитера: «Приходил почитатель Немировича — Фомин, читающий публичные лекции на тему „Три сестры“ и „Трое“ (Чехов и Горький), честный и чистый, но, по-видимому, недалекий господинчик. Я наговорил ему что-то громоздкое, сказал, что не считаю себя драматургом, что теперь есть в России только один драматург — это Найденов, что „В мечтах“ (пьеса, которая ему очень нравится) мещанское произведение и проч. и проч. И он ушел».

Был ли посетитель скучен и банален в своих рассуждениях о современной драме, устал ли Чехов от разговоров (в эти дни он сильно кашлял и предпочел бы молчание), но, как бы то ни было, он в шутку и всерьез открещивался от почетного места в ряду «драмописцев», от писания пьесы, рискуя огорчить руководителей Художественного театра.

Может быть, он уже заметил и боялся того, что захватывало столичный и провинциальный русский театр? Стилизация «под Художественный театр», копирование внешних приемов, та театральная «чеховщина» и «мхатовщина», в которой ни Чехов, ни молодой московский театр были не повинны. Начиналось тиражирование открытий Художественного театра, опошление драматургии Чехова. Порой, как в случае с «Чайкой» в Александринском театре осенью 1902 года, при самых благих намерениях.

* * *

После петербургской премьеры «Чайки» 15 ноября Смирнова записала в дневнике: «Успеха она не имела. Было скучно, томительно. Играли по-станиславски, с паузами, с настоящей травой в саду. <…> Было много всхлипываний, рыданий <…>» Хотя играли талантливые актеры — Савина, Ходотов, Варламов.

В провинции подражание москвичам доходило до курьезов и анекдотов. Однако именно в провинциальной прессе в рецензиях некоторых умных, наблюдательных критиков внимание сосредоточилось на самой драматургии Чехова, на том, как и какие настроения «нервного века» она уловила. Особенно пьеса «Три сестры» — статьи о ней превратились в разговор о российской провинции, о тревожных симптомах русской жизни. Именно этой пьесой Мейерхольд, ушедший из Художественного театра, открыл свой первый сезон в Херсоне. Рецензент писал о чеховской драме в местной газете «Юг»: «Автор не заботится о том, чтобы „развить идею“, „обрисовать характер“ и пр. Его цель вызвать в нас известное состояние духа, известное настроение. Автор ничего не диктует нам, ничего не предрешает. Он заставляет нашу душу вибрировать в унисон со своею; он заражает нас своим настроением».

Книппер то звала мужа в Москву, надеясь, что около театра он «втянется» в работу, то уговаривала остаться в Ялте, обещала взять зимой отпуск: «А мы с тобой еще поживем, увидишь. <…> Я к тебе приду во сне и поцелую нежно и шепну кое-что на ушко». Сама она уже втянулась в свою театральную жизнь. Конфликт с золовкой давно был исчерпан. Да его и не было. Ольга Леонардовна точно заметила: «Пожалуйста, не думай, что я Машу обижаю, и не оправдывай ее. Я не зверь, а Маша далеко не тот человек, кот. даст себя в обиду. Она сильнее меня. Я кажусь такой, потому что говорю громко и кипячусь».

Но оба, Чехов и Книппер, не скрывали, что все-таки что-то изменилось в их отношениях. Вместо былого — «не сердись», «пойми», теперь писала — «не презирай», «не осуждай», «прости мне». Его грустные шутки — «Целую мать моего будущего семейства и обнимаю»; — «Когда нашему ребенку будет полтора года, то я, по всей вероятности, буду уже лыс, сед, беззуб…» — не скрывали: ему не быть отцом, поздно…

В конце сентября Чехов все-таки уступил Альтшуллеру и позволил выслушать себя: «Он нашел, что здравие мое значительно поправилось, что болезнь моя, если судить по той перемене, какая произошла с весны, излечивается; он даже разрешил мне ехать в Москву — так стало хорошо! Говорит, что теперь ехать нельзя, нужно подождать первых морозов. Вот видишь! Он говорит, что помог мне креозот и то, что я зиму

провел в Ялте, а я говорю, что помог мне отдых в Любимовке. Не знаю, кто прав. <…> Итак, стало быть, я здоров. Так и знай». Книппер тут же ответила: «Я чуть до потолка не подпрыгнула, когда прочла вчера твое письмо, дусик милый, любимый! Значит улучшение! <…> Значит, можно начать ждать тебя».

Она легко поверила в это «излечение», наверно, потому, что хотела поверить, словно забыла про декабрь 1901 года, про приговор Щуровского, про письма к ней Альтшуллера и Сулержицкого, про кровохарканье в Любимовке, о котором уже знала. Наконец, про письмо Чехова, полученное ею неделю назад. Он написал 14 сентября, что его недомогание в последние недели — это обострение легочного процесса. И вдруг через неделю, 21 сентября, Альтшуллер объявил о чуде — болезнь «излечивается». Мог ли так сказать опытный врач? В письме Иорданову от 25 сентября Чехов написал: «Здоровье мое стало лучше. Так, по крайней мере, сказал мне доктор, который на днях выслушивал меня». В этом слышалась ирония.

Когда-то, в 1889 году, из Сум, куда привезли умиравшего Николая, доктор Чехов написал старшему брату в Петербург: «У него хронический легочный процесс — болезнь, не поддающаяся излечению. Бывают при этой болезни временные улучшения, ухудшения и in statu, и вопрос должен ставиться так: как долго будет продолжаться процесс? Но не так: когда выздоровеет?»

«Излечение» креозотом, рыбной ловлей в дождливое лето, а в результате — кровь в мокроте и обострение процесса — это, наверно, все то же скрытое «насмешливое счастье» Чехова, ирония по поводу выпавшей ему юдоли. Возможно, он сказал своему лечащему доктору то, что говорил не только Книппер: в Ялте он зимовать не хочет и не может. Фраза из письма Ольге Леонардовне — «из Москвы, по требованию Альтшуллера, я должен буду уехать тотчас по приезде» — может быть, выдавала компромисс. Врач разрешал Чехову уехать в Москву, когда там кончатся осенняя слякоть, дожди и установится морозная погода, но тут же покинуть Москву и провести часть зимы или всю зиму за границей.

Однако, не дождавшись московских морозов, в середине октября Чехов приехал в Москву с намерением прожить до конца ноября, а в первых числах декабря вместе с Миролюбовым отправиться в Италию. Якобы «здоровый» Чехов заранее попросил жену купить в аптеке чистый, светлый рыбий жир и креозот, его подручные средства при кровохарканье. В Москве он мало выходил из дома, ссылаясь на холод, и это тоже признак недомогания. Побывал на спектакле «Власть тьмы» в Художественном театре, но на репетиции не ездил.

Однако у него на Неглинной в доме Гонецкой, недалеко от Сандуновских бань в центре Москвы, гости не переводились — Россолимо, Бунин, Горький, Гольцев, Меньшиков, Суворин. Приходили прежние приятели и новые знакомцы. Но Чехов, кажется, чувствовал себя «не своим» рядом со всеми. И многолюдье в маленькой московской квартире было утомительнее, чем в ялтинском доме. Здесь у Чехова не было своей комнаты, своего письменного стола.

Везде было не по себе. В Ялте — одинокость, в Москве — чуждость. Несколько недель спустя Суворин спросил Чехова в письме: «Отчего Вы засунулись теперь в актерский и новобеллетристический кружок?» Чехов ответил: «Я засунулся в Ялту, в этот уездный городишко, и в этом вся моя беда. К сожалению, новобеллетристический кружок считает меня чужим, старым, отношения его ко мне теплы, но почти официальны, а актерский кружок — это только письма моей жены, актрисы, и больше ничего».

В Москве опять был Вишневский. Почти весь год он обретался около супругов. Осенью напросился в «нахлебники» к Марии Павловне и Книппер, то есть столовался у них, благо жил по соседству. Помимо Александра Леонидовича у них бывала Инна Воронина. Знакомая Марии Павловны по занятиям живописью, она снимала угол, но на время приезда Чехова барышня перебиралась к знакомым. Однако приходила обедать и поиграть с Ольгой Леонардовной в четыре руки на рояле. Инна запомнила некоторые разговоры. В частности, о договоре с Марксом.

Многим из окружения Чехова казалось, что издатель, купив право издания его сочинений за 75 тысяч, уже окупил расходы в несколько раз. Горький уговаривал расторгнуть договор, как кабальный и даже унизительный. По соглашению 1899 года Чехов имел право печатать новый рассказ, повесть или пьесу только один раз и только в повременном издании или благотворительном сборнике. Затем он обязан был передавать это произведение в полную собственность Маркса на двадцать лет со дня подписания договора, то есть до 20 января 1919 года. Издатель выплачивал ему гонорар — 250 рублей за печатный лист в первые пять лет, потом гонорар возрастал на 200 рублей в течение нового пятилетия и т. д. Так Чехов получил в 1901 году 800 рублей за повесть «В овраге», рассказы «Дама с собачкой» и «На святках». В следующем году ему досталось 200 рублей за рассказ «Архиерей».

По договору Чехов не имел права разрешать бесплатную перепечатку своих рассказов. Она осуществлялась только с согласия Маркса. Подстрочное примечание к рассказу Чехова,

появившееся в 1899 году в юбилейном сборнике «Сюрприз» — «печатается по соглашению с собственником сочинений А. П. Чехова А. Ф. Марксом», — конечно, задело Чехова. Маркс неоднократно, порой в обидной форме, отказывал Чехову, когда тот по чьей-либо просьбе обращался к «собственнику» за разрешением. Соглашался Маркс очень редко. И Чехов вынужден был объяснять тем, кто просил о перепечатке, что он не волен над своими сочинениями.

Еще летом 1901 года Горький, назвав договор Чехова с Марксом «грабежом», предлагал его расторгнуть. Вернуть 75 тысяч или столько, сколько будет нужно, и войти в издательство «Знание», оставаясь «полным хозяином» своих книг. Деньги Горький обещал найти. Тогда, 24 июля 1901 года, Чехов ответил, что у него «нет желания затевать это дело, воевать, хлопотать, нет ни желания, ни энергии, ни веры в то, что это действительно нужно». Осенью 1902 года Горький возобновил уговоры. Его, судя по воспоминаниям современников, поддерживали Книппер и Мария Павловна. Однако Чехов резко обрывал разговоры на эту тему и высказывался против расторжения договора.

Среди литераторов поговаривали, что Маркс уже заработал «на Чехове» чуть ли не 200 тысяч. Эти слухи и цифры, судя по всему, доходили до Чехова и были ему неприятны, как когда-то разговоры сотрудников типографии Суворина о прибыли, получаемой с бесконтрольного издания его сборников рассказов и повестей. Когда чуть позже Книппер получила письмо К. П. Пятницкого, управляющего делами издательства «Знание» (он брался за переговоры с Марксом), и попросила мужа прислать копии неустоечной записи и доверенности, выданной для переговоров Сергеенко с Марксом, Чехов написал ей: «Ничего не выйдет. Подписавши условие, надо уж и держаться его честно, каково бы оно ни было».

На этом отказе, помимо главной причины — держать свое слово, могли сказаться другие обстоятельства, не менее важные. Кто занялся бы издательскими делами Чехова, в основном жившего в Ялте? Сестра? Она в свое время отказалась от этой роли, да ей и не по плечу были такие дела. Это доказал ее неудачный опыт продажи мелиховской усадьбы и именьица в Кучукое. Посредники вроде Сергееенко, который в переговорах с Марксом не столько отстаивал финансовые интересы Чехова, сколько упивался своей приобщенностью к «историческим» делам? Брат Михаил, которому Суворин поручил заведование книжной торговлей изданиями «Нового времени» на железных дорогах и который рвался обнаружить, продемонстрировать свои «чиновничьи таланты»?

Нет, как сказал Чехов, «не улыбалась ему» вся эта «возня».

Поздней осенью 1902 года решался, наверно, более серьезный вопрос: где ему проводить зиму? 31 октября он написал одному из корреспондентов, что пробудет до 10 декабря в Москве, а потом уедет в Ялту. А через несколько дней сказал, что за границу «очень возможно и весьма вероятно» не поедет и «до декабря или в середине декабря» вернется в Ялту, «в свой скучный дом». Два года назад Чехов еще решался поехать в Ниццу один. Теперь не мог, а попутчиков не находилось. Книппер играла в «Мещанах», «В мечтах», репетировала роль Насти в пьесе Горького «На дне». У сестры — гимназия, личная жизнь и об отпуске разговор даже не заходил. Планы Миролюбова изменились, к тому же он, может быть, как и Ковалевский, пугался ехать с глубоко больным человеком.

Между тем еще одна зима в Ялте, этой «русской Ницце», ялтинская одинокость, однообразие, исчерпанность и бесцветность впечатлений, плохое питание, холод в доме, а в случае холодной зимы еще и ветер, туманы, снег — всё обретало грозный, может быть, губительный характер, что бы ни говорил Альтшуллер о спасительности зимования в Ялте.

Едва выяснилось, что заграница отменилась, как настроение Чехова резко упало. Из дома он практически не выходил, но кашель все равно одолевал его: «Недуги гонят меня вон из Москвы». В конце ноября Чехов покинул Москву.

* * *

В Ялте он застал настоящую зиму: снег, холод, а в доме — «прохладу и безмолвие». Чехов пообещал жене, что засядет за работу и к февралю напишет пьесу. Он уже нашел название — «Вишневый сад».

Она опять ласково требовала, чтобы муж заставлял прислугу хорошо протапливать дом, лучше готовить, а ему самому наказывала следить за своим внешним видом, ибо она не любила, когда у ее «изящного мужа» плечи посыпаны «головной манной», т. е. перхотью. Приказывала — «не киснуть», воображала, как «где-то когда-то» они будут «хорошо жить» вместе. Он в ответ опять говорил, что следующую зиму проведет в Москве, что здоровье его «недурно», хотя в комнатах по-прежнему холодно.

Между настроением Чехова, его физическим состоянием, погодой за окном и тем, над чем он работал, угадывалась и проступала в письмах жене едва уловимая связь. Книппер оставалась средоточием его переписки. За полгода раздельной

жизни (около полугода они прожили вместе) Чехов написал ей в уходящем 1902 году около ста писем, получалось через день. Послания жене становились всё нежнее: «Я тебя люблю сильнее, чем прежде»; — «Мне кажется, что я буду привязываться к тебе всё больше и больше»; — «А к тебе судьба приклеила меня не салом и не замазкой, а цементом, который с каждым днем становится все крепче».

В декабрьские дни он никуда не выходил — «в комнатах так холодно, что приходится все шагать, чтобы согреться». Иронизировал: «У меня ногти стали длинные, обрезать некому… Зуб во рту сломался. Пуговица на жилетке оторвалась». Ольга Леонардовна опять рассчитывала, что Мария Павловна, приехав в Ялту на Рождество, всё «устроит». Говорила снова и снова, как «завидует» ей, а сама на праздниках будет скучать.

В один из дней Чехов, утешая жену, что дети у нее будут, написал: «Ведь, в сущности говоря, никто на этом свете не любит тебя так, как я, и кроме меня у тебя никого нет». Он почти дословно повторил то, что сказал ей весной: «Ведь как-никак я у тебя один, и кроме меня у тебя нет ни души на этом свете». Она недоумевала: «Дусик, а мы все еще в любви объясняемся! Мне это нравится». Он ответил: «Ты точно удивляешься, что наши письма нежны. Как же иначе, цапля? Разве ты меня не любишь? Ну, Господь с тобой».

Книппер, наверно, привязалась к мужу — как могла и как умела, в меру своей души. Грустная интонация некоторых ее писем в декабре 1902 года, может быть, оттого, что она осознавала или ощущала разницу между их чувствами друг к другу. Или уловила перемену в его письмах.

В сентябрьской дневниковой записи Суворина после встречи с Чеховым сохранились слова: «„Толстой — человек слабый“, — говорил Чехов, наблюдая его во время болезни». Может быть, они были продиктованы впечатлениями от встреч Чехова с Толстым минувшей зимой и весной, когда Толстой болел, много думал о смерти, наверно, боялся ее и очень хотел выздороветь. Он тогда записал в дневнике: «Всякий человек закован в свое одиночество и приговорен к смерти»; — «Ах, как благодетельна болезнь. Она, хоть временами, указывает нам, что мы такое и в чем наше дело жизни»; — «Жизнь, какая бы ни была, есть благо, выше которого нет никакого».

А если болезнь длится годами и неизлечима? Какие нужны силы для душевного покоя, для работы, для каждодневного существования?

Когда болезнь обострялась, письма Чехова это выдавали. Предложения становились короче, прощаясь, он просил — «не

забывать». Весь декабрь он уверял своих адресатов, что здоров, что всё благополучно. Но косвенных признаний о нездоровье достаточно: «Погода в Ялте сквернейшая, больные чувствуют себя плохо — так говорят доктора»; — «Пью рыбий жир исправно»; — «Я еще ни разу не был в городе!!»; — «Зима, как говорят старожилы, небывало скверная, не по-крымски суровая»; — «Немножко простудился <…> голова болит»; — «Ветрище дует неистовый. Не могу работать! Погода истомила меня, я готов лечь и укусить подушку».

В последние декабрьские дни Чехов уже не скрывал, что «раскис», что ему «нездоровится», «во всем теле ломота и жар». Появились мерцание в глазу и сильная головная боль, симптомы обострения. Так и оказалось: простуда перешла в плеврит. Начались согревающие компрессы, мушки…

Работал Чехов в это время урывками, с большими перерывами. Он завершал рассказ «Невеста», а пьесу «Вишневый сад» отложил на февраль. Рассказ казался ему неинтересным и вообще «надоел». Черновой автограф сохранил множество исправлений, уточнение имен героев. Рассказ о невесте, сбежавшей — от жениха, от любящих родных и обеспеченного будущего — в Петербург, на курсы, в новую неизвестную жизнь, возникал очень трудно. Одновременно Чехов думал о пьесе, и она будто прорастала «побегами» в рассказе: лопнувшая струна; резкий звук сорвавшейся ставни; старый запущенный сад; уговоры бывшего «вечного студента» Саши бросить «бабушкин дом» и уехать учиться.

Вместе с тем в рассказе слышалось созвучие с самыми важными для Чехова мотивами, образами, деталями из предыдущих сочинений: лунный свет; тени на земле; стук сторожа; шум в печке, как предвестие беды; тяжелый разговор в бурную ночь; серые городские заборы («Скучная история», «Палата № 6», «Дядя Ваня», «Дом с мезонином», «Три сестры», «Дама с собачкой»). Все сочинения Чехова жили в общем поэтическом и смысловом пространстве авторской мысли и авторского чувства. Открытом и безграничном.

В «Невесте», как и в прежних повестях, рассказах и пьесах, душевные переживания человека, осознающего нечто очень существенное, переданы главными для такого состояния чувствами и ощущениями: «хотелось думать»; «кто знает!»; «хотелось плакать»; «ясно было»; «почему-то казалось»; «ясно сознавала» («Черный монах», «Моя жизнь», «Соседи», «На подводе», «Рассказ неизвестного человека», «Человек в футляре», «Архиерей»), В рассказ вплеталось то, о чем шла речь в письмах Чехова той зимой.

В конце декабря Дягилев прислал в Ялту номер журнала «Мир искусства» со статьей Д. В. Философова о новой постановке «Чайки» в Александринском театре. Автор писал, что Чехов-драматург открылся широкой публике благодаря Художественному театру, что этот театр понял «ту связь, которая существует между пресловутым „настроением“ пьес и „настроением“ русской жизни. Они *пригнали* литературное произведение к общественному явлению, благодаря чему сила и значительность Чехова стала вдруг всем очевидной. Они первые подчеркнули в Чехове „чеховщину“ и в этом тайна их успеха».

Но этот же успех, как и всякий успех, по мнению автора, «повредил» Чехову: «Он сделался модным, общедоступным, *типичным* для нашего времени писателем, все же индивидуальное, не общее, присущее только Чехову, великому художнику Чехову, отошло на второй план, потускнело. Современный русский зритель считает как-то Чехова своим, обращается с ним запанибрата и чуть ли не благодарит его, что он так „ловко обрисовал“ слякоть русской жизни». Но «чеховщина», как подчеркивал Философов, «вне Чехова, непричастна ему. Девятидесятые годы станут достоянием истории, русское общество далеко уйдет от чеховщины <…> мода на Чехова пройдет, а писатель останется. Подлинная, настоящая творческая сила не пропадет. <…> Чехов станет ненужным только тогда, когда станет ненужным искусство. Но едва ли это время наступит когда-нибудь».

Статью Чехов прочел. Отозвался о ней коротко в письме к Книппер: «<…> длинная рецензия насчет „Чайки“ и вообще моей особы. Прочти, буде найдется». В письме самому Дягилеву он попросил передать автору рецензии «глубокую благодарность». И пошутил: «Когда я кончил эту статью, то мне захотелось написать пьесу, что, вероятно, я и сделаю после января».

* * *

Ни словом более не обмолвившись о рецензии, Чехов продолжил и завершил разговор, который он и Дягилев вели во время случайной встречи в Москве минувшей осенью. Тогда их прервали, по словам Дягилева, в самый интересный момент — «возможно ли теперь в России серьезное религиозное движение».

Чехов уточнил: «Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать,

что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались».

Игра образованных людей в религию, в философию, игра «от нечего делать», случайно или нет, но вошла одним из мотивов в рассказ «Невеста». Дело, наверно, не в письме Дягилева, не в возможных разговорах с Горьким об увлечении Миролюбова религиозно-философскими собраниями, о чем Чехов писал самому Миролюбову год назад, в декабре 1901 года. Он уже тогда назвал всё это «шумихой» вокруг вопросов веры, подменяющей подлинное искание, одинокое, «один на один со своею совестью».

В рассказе «Невеста» есть эпизод: беседа несчастливой, праздной, стареющей матери героини и соборного протоиерея, отца жениха Нади, о гипнотизме, о вере. Разговор происходил во время ужина: «Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она заволновалась».

Чехов, правя рассказ, существенно изменил и расширил эпизод ночного разговора Нади после возвращения из Петербурга с матерью, сильно постаревшей, подурневшей, осунувшейся, но по-прежнему затянутой. И бриллианты по-прежнему «блестели у нее на пальцах»: «Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна.

— А я, как видишь, стала религиозной, — сказала она. — Знаешь, я теперь занимаюсь философией и всё думаю, думаю… И для меня теперь многое стало ясно, как день. <…> Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму, — сказала она, — то есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы, как бы на семь основных цветов, и каждый элемент надо изучать в отдельности.

Что еще сказала Нина Ивановна и когда она ушла, Надя не слышала, так как скоро уснула».

Эта сцена и финал письма Чехова Дягилеву оказывались в скрытом сопряжении. Словно продолжающимся разговором о подлинной вере в Бога и игре в религию.

Новый, 1903 год Чехов начал с обещания Станиславскому, что в феврале примется работать и приедет весной в Москву с готовой пьесой.

От «Вишневого сада» ждали многого и разного. Книппер не сомневалась, что это будет «что-то изящное и красивое». Немирович заранее называл «козырным тузом» будущего сезона и рассчитывал получить уже к маю, а лучше бы к апрелю. Художественный театр переживал огромный успех спектакля «На

дне». Газеты хвалили, а Чехов предрекал: «Горькому после успеха придется выдержать или выдерживать в течение долгого времени напор ненависти и зависти. Он начал с успехов — это не прощается на сем свете».

Работу Книппер отмечали. Правда, писали, что ее исполнение холодно, искусственно, на что Ольга Леонардовна заметила в письме к мужу: «Мне обидно <…> я над этой Настей много слез пролила и перечувствовала ее». Он утешал жену: «Из тебя, бабуня, выйдет года через два-три актриса самая настоящая, я тобой уже горжусь и радуюсь за тебя». Как бы то ни было, она теперь еще нетерпеливее ждала новую пьесу и обращалась к мужу в письме: «Мой „Вишневый сад“».

Однако Чехов за пьесу не брался. Объяснял, что «скучно, очень скучно по двум причинам: погода очень плоха и жены нет. И писать не о чем в письмах, жизнь истощилась, ничто не интересно в этой Ялте». Свои январские письма к ней он заканчивал признаниями: «Без жены мне нехорошо; спишь точно на холодной, давно нетопленной печке»; — «Ах, собака, собака, если б ты знала, как я скучаю по тебе, как мне недостает тебя. Если б ты знала!» Шутил, что счастье в новогоднем пироге досталось им. Передавал с иронией ялтинские новости: одна дама «жестоко поссорилась» с другой, рассказывал о визитах архитектора Шаповалова и Лазаревского, говорил — «общество самое веселое».

Назойливый Лазаревский записал в дневнике о январской встрече: «Серая погода, бурное море хлещет через мол. Помню, он поглядел в окно и сказал: „Вот в такую погоду застрелиться бы“». Едва ли он услышал в словах Чехова измененную реплику Войницкого из «Дяди Вани»: «В такую погоду хорошо повеситься» — и, видимо, воспринял фразу всерьез.

Что было серьезным — так это нежелание Чехова работать, сознание, что он уже «не работник» и что болезнь сжирает силы. Он вдруг начал уговаривать Ольгу Леонардовну провести лето не на подмосковной даче, а поехать вдвоем, только вдвоем, в Швейцарию. Целый месяц он жил этим планом, спрашивал жену: «Что же ты надумала, что скажешь мне насчет Швейцарии?»; — «Всё жду, что ты скажешь насчет Швейцарии»; — «<…> значит, ты согласна в Швейцарию, вообще попутешествовать вместе? Великолепно! <…> Как славно, как бесподобно мы с тобой проедемся! О, если бы ничто не помешало!»; — «Составляешь ли ты маршрут по Швейцарии? Главное — красивое место и климат, имей сие в виду».

Он сам составил следующий маршрут: Вена, Берлин, Дрезден, Швейцария, Венеция, озеро Комо, затем Париж и на скором

поезде в Россию, в Москву. Срок путешествия растягивался на три месяца, на всё лето. Чехов говорил о путешествии, а не о поездке с целью поправить здоровье в Швейцарии, как советовал два года назад доктор Щуровский, если кумыс не поможет. Тогда ли уже или теперь Чехов осознавал бесполезность лечения, но именно на озере Комо, а не в Швейцарии он предполагал «засесть, как следует». Это походило на мечту о последнем путешествии.

Может быть, Книппер почувствовала это: ее письма становились проще. Уходили пышные эпитеты, красивые мизансцены, мольбы о прощении, похожие на монологи из мелодрам. Словно она начинала понимать то, что услышала от одной знакомой, о чем задумывалась и сама. О редком счастье быть любимой. Нежность Чехова возрастала: «Во вчерашнем письме ты писала, что ты подурнела. Не все ли равно! Если бы у тебя журавлиный нос вырос, то и тогда бы я тебя любил».

На ее покаяние в письме от 15 января 1903 года: «Мне вдруг так стало стыдно, что я зовусь твоей женой. Какая я тебе жена? Ты один, тоскуешь, скучаешь… Ну, ты не любишь, когда я говорю на эту тему» — Чехов ответил: «Ты, родная, все пишешь, что совесть тебя мучит, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует: если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена и я чувствовал бы угрызения совести, что едва ли было бы лучше. Я ведь знал, что женюсь на актрисе <…> что зимами ты будешь жить в Москве. Ни на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обойденным, напротив, мне кажется, что все идет хорошо или так, как нужно, и потому, дусик, не смущай меня своими угрызениями. <…> Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай. Уповай и больше ничего».

Кажется, зимой 1903 года Ольга Леонардовна на короткое время ощутила, что ее жизнь в театре (роли, спектакли, закулисье, частые и интересные встречи и беседы с Немировичем, с близкими людьми) проигрывала по сравнению с тем, что давал ей Чехов, их переписка, встречи. Не с известным, даже знаменитым писателем. Не с мужем. А с человеком. И, судя по ее письмам, чувствовала, что не в силах ответить на его любовь.

Он говорил с ней так, как ни с кем до нее. Принимал жену такой, какая она есть, умную и «кипятливую», с ее радостями, важными событиями, чепухой обыденной жизни. Принимал всё, потому что любил.

Оба писали о любви, но, видимо, понимали это чувство по-разному. Отсюда, может быть, порой ее недоумение, сомнения, растерянность. Словно Чехов нарушал ее представление об этом чувстве, об отношениях людей, любящих друг друга. Письма к

мужу, ставшие постепенно эпистолярным дневником Ольги Леонардовны, отражали сильное влияние на нее Чехова. Однако сделавши ее жизнь, ее саму интереснее, глубже, его чувство оказалось бессильно вызвать в ней то, чего, возможно, в ее душе не было по складу характера, по природным свойствам — ту глубинную безусловную нежность, доброту, которые померещились ему, когда он впервые увидел и услышал ее в роли царицы Ирины в «Царе Федоре».

* * *

Немирович написал Чехову 16 февраля: «Ужасно надо твою пьесу! Не только театру, но и вообще литературе. Горький — Горьким, но слишком много „Горькиады“ вредно. <…> чувствую тоскливое тяготение к близким моей душе мелодиям твоего пера. Кончатся твои песни, и — мне кажется — окончится моя литературно-душевная жизнь. Я пишу выспренно, но ты знаешь, что это очень искренно».

Он даже брался за переговоры с врачами о том, где лучше жить Чехову, в Ялте или возле Москвы. Уверял, что и его «сердце щемит» при мысли о зимнем одиночестве Чехова: «Надо что-нибудь сделать. <…> Ты позволяешь мне говорить об этом? Или нет?» Об отпуске для Книппер речь не шла. Она много играла, готовила новую роль в «Столпах общества». Ольга Леонардовна, по его выражению, «мужественно» тосковала. Директор театра умолял Чехова «подобраться», употребить «все приемы личной психологии», чтобы «подтянуться». Он внушал, что пьеса нужна не только их сверстникам, но молодому поколению и ошибка Чехова думать, что он не нужен читателям и зрителям.

В финале призыва Немирович, кажется, едва не испортил всё дело уступкой: «Какое это будет радостное событие — твоя пьеса, хотя бы это был простой перепев старых мотивов. Весь театр, увлеченный одно время Горьким, точно ждет теперь освежения от тебя же. <…> Помогай же нам!»

В этом, по признанию Немировича, выспреннем, но искреннем послании Чехову как «спасителю» Художественного театра таилась не осознанная Владимиром Ивановичем опасность. Оно могло не ускорить, а затормозить работу над «Вишневым садом».

Противопоставлять двух драматургов? Хвалить одного за счет другого? Почти открыто усомниться, что Чехов может написать что-то новое? И снисходить до согласия на «перепев старых мотивов»?

В январе Чехов прочел о себе две статьи. Одна Вениамина Альбова — в журнале «Мир божий». Другая — в газете «Санкт-Петербургские ведомости», вырезку из которой прислал сам автор, Батюшков. О первой статье Чехов сказал, что прочел «с большим удовольствием». Имя автора было незнакомым — это оказался преподаватель из Симферополя.

Начиналась статья рассуждением о том, что биография писателя — это то, что он написал, поэтому сочинения Чехова «есть история его души». Души, ищущей во всем смысла и цели, скрытой красоты, правды, справедливости. В этом, по мнению автора, — «чеховская точка зрения на вещи». Заканчивалась статья словами: «И не нам учить его, что писать и как писать. Он <…> оригинальный и глубокий мыслитель <…>. У него именно нужно учиться любить и понимать человека…»

О статье Батюшкова в письме Чехова сказано с иронией: «Точно ученик VI класса, подающий надежды, писал!»

В статье Батюшкова был неуловимый налет того, что Философов назвал «чеховщиной». Высоко ставя Чехова, он *упрощал* его. Выстраданная мысль героя рассказа «Крыжовник» о «человеке с молоточком», который бы стоял за дверью каждого довольного, счастливого человека и «постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других», — эта мысль превращалась в банальность, в расхожую фразу.

Подводя итоги пути, «пройденного» Чеховым, Батюшкове пафосом восклицал: «Но у нас есть „человек с молоточком“: это — сам Чехов. Он действительно стучится у каждой двери, заглядывает во все уголки жизни, предостерегает от всего призрачного, суетного, мелкого, ничтожного с точки зрения высшей правды и вековечных проблем назначения человека». Этим пассажем, перенасыщенным красивостью и многозначительностью, Чехов отождествлялся с собственным героем и превращался в «модного» автора, которого «надо» читать и «надо» посетить Художественный театр. И потом упомянуть в разговоре якобы испытанный восторг и пролитые слезы на «Трех сестрах», хотя на самом деле такой зритель, наверно, скучал и сердился на нелепых героев, повторявших «В Москву!», «В Москву!» и ничего не менявших в своей жизни.

Батюшков сам послал Чехову свою статью. Просил извинить, что она вышла «куцая», и объяснил почему. Это был его доклад, с которым он выступал на «Чеховском вечере» в пользу библиотеки студентов Института гражданских инженеров. Не ощущая,

видимо, комизма объяснения, критик писал Чехову: «Но отношение молодежи к Вам достойно всяческого сочувствия: зал был битком набит, и несмотря на предстоявшие после танцы, ожидание которых должно было действовать особым образом на некоторую часть публики, — все слушали с чрезвычайным вниманием». «Слово» о Чехове оказалось «увертюрой» к танцам. К тому же, как следовало из объяснений Батюшкова, «словом», пропущенным через канцелярию градоначальника, то есть с разрешения чиновников.

В прежние годы критики учили Чехова, о чем и как нужно писать. К нему прикладывали чужие литературные шаблоны. Теперь ему предписывали соответствовать образу «пророка пессимизма», «поэта сумерек», который так нравился толпе. Уже многие рецензенты подметили, что подражатели сделали своей специальностью изображение «чеховского настроения», как тоски, уныния, печали современного человека. В сознании широкой публики возникал псевдообраз мягкого, меланхоличного писателя, «певца русской интеллигенции».

Этот образ подпитывался слухами и газетными сообщениями о болезни Чехова. Тиражировался открытками и фотографиями «грустного» Чехова, актеров и актрис Художественного театра в ролях чеховских героев. Воспевался в стихах, подобных тем, что написала Ольга Чюмина зимой 1903 года, посвятила их Чехову и передала через Книппер. Это был набор штампов, уже кочевавших по статьям и рецензиям.

Чюмина, не ведая того, написала пародию на всё, что писалось, ставилось «в духе Чехова»: «ужас пошлости», «радость мечты», «великая и светлая душа». Чехов давно уже заметил моду на себя, отождествление с героями своих произведений, ложный пафос непонимания. Осенью 1902 года Маркс сообщил ему, что получил рукопись «некоего» О. Г. Эттингера (это был известный театральный критик, сотрудник журнала «Театр и искусство») — «Думы и мысли Антона Павловича Чехова». Составитель просил издать свой труд, который показался Марксу «довольно неумелым» и приписывающим Чехову суждения его героев.

Просмотрев ее, Чехов ответил 23 октября, что говорить об этом серьезно нельзя: «К тому же все эти „мысли и думы“ не мои, а моих героев, и если какое-либо действующее лицо в моем рассказе или пьесе говорит, например, что надо убивать или красть, то это вовсе не значит, что г. Эттингер имеет право выдавать меня за проповедника убийства и кражи».

Уже несколько лет до Чехова доходили вести о мошенниках, представлявшихся его именем. Он шутил: «Иметь двойников — это ли не слава?»

Глава двенадцатая «МИФИЧЕСКИЙ МУЖ» И «МИФИЧЕСКАЯ ЖЕНА»

Февраль 1903 года был неровным, ветреным. Постоянным оставался лишь холод в ауткинском доме. В кабинете 11 градусов. Приходилось время от времени «жаться к печке». Но толку, по словам Чехова, было мало: «Пробовал писать в спальне, но ничего не выходит: спине жарко от печи, а груди и рукам холодно. В этой ссылке, я чувствую, и характер мой испортился, и весь я испортился».

Чехов полагал кончить «Вишневый сад» к концу марта и даже рассказал Станиславскому самое начало пьесы: «<…> в первом акте в окна видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях». Но пока он завершал рассказ «Невеста», писал иногда несколько строчек в день. Плеврит, начавшийся еще в декабре, не прошел. Чехов просил Книппер прислать креозот. В один из февральских дней он написал ей, что ему «ничего не хочется». Словно перестал сопротивляться.

Годы и десятилетия он жил в противодействии. В одинокое таганрогское трехлетие — обстоятельствам жизни. В московское десятилетие — бесконечным коллизиям внутри «семейного клобка». В мелиховские годы — тяготам деревенского обихода. В ялтинские зимы — состоянию, о котором сам сказал: «то болею, то выздоравливаю». Из-за плохого самочувствия Чехов почти не бывал в городе и шутил: «Чувствую себя одиноким балбесом, сижу подолгу неподвижно, и недостает только, чтобы я длинную трубку курил».

Чехов всегда отказывался обсуждать меры против чахотки. Только годами констатировал симптомы своих хворей и недугов, словно вел странную историю болезни, дневник наблюдений над самим собой, не раз повторяя в дни недомогания: «Всё от Бога».

Зимой 1903 года он сопротивлялся врачебным визитам Альтшуллера, подчеркивая, что тот приходит «в качестве гостя». Откуда такой с годами нараставший фатализм? Что означало это теперешнее «ничего не хочется», это «всё равно»? Нежелание работать?

Чехов, наверно, мог не работать. Того, что осталось от продажи сочинений Марксу, что давали постановки пьес Чехова в Москве и в провинции, хватило бы на жизнь без заботы о том, на что жить завтра, без ущерба для благополучия матери и сестры. Однако медленно, с досадными перерывами, работал, работал… Может быть, потому, что без работы жизнь превратилась бы в доживание? Может быть, потому, что подсознательная творческая работа совершалась непрестанно, неостановимо, независимо от

него самого?

Бунин запомнил слова Чехова, что привычка наблюдать должна сделаться для литератора второй натурой. Куприн говорил о бессознательном интересе Чехова к окружающим, рассказывал, как в хорошие минуты, в дни «выздоровления», в нем воскресал прежний Чехов, «неистощимо веселый, остроумный, с кипучим, прелестным юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории <…> особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:

— Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедем к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах? <…>

Любил он также, шутя, старить писателей:

— Что вы говорите — Бунин мой сверстник, — уверял он с напускной серьезностью. — Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И. А. Белоусова».

Телешов, познакомившийся с Чеховым на этой свадьбе, в 1888 году, запомнил, как по окончании застолья и веселья Чехов, Гиляровский, он и Михаил Чехов, тогда студент университета, отправились в трактир. Дешевый, для ночных извозчиков.

Говорили о сюжетах, которые, по словам Чехова, наблюдательный человек рассмотрит где угодно: в кусочках лимона, припахивающих луком; в пятнах на стене, к которой извозчики прислонялись головами, смазанными деревянным маслом: «Как так сюжетов нет? — настаивал на своем Антон Павлович. — Да всё — сюжет, везде сюжет. <…> И о луне можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно. Только надо все-таки увидать и в луне что-нибудь свое, а не чужое и не избитое.

— А вот это разве не сюжет? — указал он в окошко на улицу, где стало уже светать. — Вон смотрите: идет монах с кружкой собирать на колокол… Разве не чувствуете, как сама завязывается хорошая тема?.. Тут есть что-то трагическое — в черном монахе на бледном рассвете…»

За минувшие годы в сознании Чехова скопилась, по его словам, «масса», «тьма» сюжетов. И многие из них все еще ждали своего часа. И словно вспоминая молодость, он говорил Книппер зимой 1903 года: «Теперь сижу и пишу. Не сглазь. Настроение есть, хотелось бы дернуть в трактирчик и кутнуть там, а потом сесть и писать». Вспоминал он в эти дни и любимое занятие — «пошататься» по Москве.

Миролюбов занес в свою записную книжку впечатления от

встреч с Чеховым весной 1903 года. Он заговорил с Чеховым о литературном юбилее. Ответ был резким, а переживания далеких лет такими живыми и сильными, будто это случилось недавно: «Никуда нельзя было выйти <…> всюду пренебрежительное отношение. <…>Только надежда на медицину меня поддерживала. Думал, брошу литературу И отдамся медицине. <…> Помню — Скабичевский, который сравнивал меня с клоуном в литературе, выделывающим разные курбеты на потеху публике: „Мы жалеем г-на Чехова, пройдя свой быстрый клоунский путь, он покончит где-нибудь под забором“. Тяжело было жить от всего этого. Нет, уж справлять юбилея не буду. Этого свинства, которое со мной было сделано, забыть нельзя.

— Ну что же, вы бросали писать хоть на время? — спросил я.

— Нет, надо было зарабатывать на семью, проживали много, и я писал и писал. Бывали и отрадные случаи. Помню, получаю письмо Григоровича. <…> Письмо было с самыми лучшими пожеланиями, самое сердечное… Становилось на время легче…

— Бывали же случаи доброго отношения?..

— Бывали, но мало. А потом опять… Да что тут говорить. Вы сами отлично знаете».

Теперь Чехов не бросал писать потому, что эта работа не останавливалась в нем, и потому, вероятно, что в его одинокости она осталась не мифической, воображаемой жизнью, а настоящей, единственной, сиюминутной, придающей смысл будням. Герои рассказа «Невеста» и пьесы «Вишневый сад» разделяли с ним зимой 1903 года безмолвие и холод ялтинского дома.

В феврале в его письмах усилилась интонация безнадежной покорности или покорной безнадежности. Что-то, по-видимому, тяготило его, помимо вновь обострившегося легочного процесса. Он шутил, что посуровел от холода и, когда согреется, будет милостивее. Может быть, потому, что выяснилось — жена не приедет даже на неделю, но зачем-то спрашивала: «Если бы меня отпустили на Масленую и первую неделю — приехать к тебе? Как ты думаешь? Я еще не говорила ни с кем об этом».

Она бранила себя почти в тех же выражениях, как и в прошлую зиму; называла «поганой», «гадкой», «подлой»; умоляла простить, не проклинать. Откровенно признавалась: «Мне надо и побушевать, и выплакаться, и пожаловаться, — одним словом, облегчить свою душу, и тогда мне жить кажется лучше, свежее, все как-то обновляется». Выплакавшись, пожаловавшись, облегчив душу, снова патетически взывала к кому-то невидимому и неведомому, кто научил бы ее, что делать, как жить. Опять обещала «беречь», «холить» и «лелеять» мужа, но порой говорила, что из их жизни ничего не выйдет, без конца упоминала, что

плачет по вечерам.

Точнее, видимо, по ночам, так как всю зиму описывала обеды и ужины. На одном она лакомилась вместе со всеми «икрой, салатами, ньеками[19], рыбкой нежной жареной, жареными устрицами». На другом «знатно» угостили и накормили их небольшую актерскую компанию: «кулебяка с осетриной, уха из стерлядей, рыба au gratin в раковинах, утка, каплун, пломбир, кофе, фрукты — вкусно? Кроме того закуска, домашние наливки, грибки». Так что Мария Павловна, наверно, не преувеличивала, когда писала брату, что Ольга Леонардовна «очень пополнела и, по-видимому, совершенно здорова». В речи Книппер участилось слово «кушать». У нее проскальзывало вкусовое отношение ко всему, не только к еде. Она «с аппетитом думала» о роли; говорила о платье, что оно «вкусное»; играла «со смаком» и т. п. Увлеченно работала над ролью Лоны в «Столпах общества» («киплю, как в котле»), «примеривала» на себя роли будущего сезона.

В феврале она в первый раз упомянула, что они наймут квартиру на Петровке, в доме Коровина. В шесть комнат, за 1400 рублей в год. Правда, расположена высоко. Но успокаивала мужа — «пять поворотиков» — не страшно, не утомительно, ведь «очень отлогая лестница». То обстоятельство, что Чехову, о чем он не раз уже говорил и писал, что, наверно, наблюдали жена и сестра, тяжел любой, даже маленький подъем, не принималось в расчет. От него, казалось, ничего не зависело. Словно его не слышали — не только в истории с квартирой, но и в истории с шубой. Он очень исхудал за две последние зимы и обессилел. Пальто изнуряло своей тяжестью. Чехов решил сшить шубу, «очень теплую и, главное, очень легкую». Просил, напоминал жене: «У меня еще отродясь не было сносной, мало-мальски приличной шубы, которая стоила бы дороже 50 руб.». Но «дело о шубе» тянулось и тянулось.

Книппер не думала о нынешней зиме. Она опять рассуждала о *следующей*, через год: «Я буду советоваться с докторами, открыто, и пусть они скажут, можешь ли ты провести следующую зиму под Москвой. Если нет, то надо жизнь изменить. Одному Альтшуллеру я не могу верить, он не настолько сведущий. <…> Ты знай, что я на своем решении стою твердо. Знаю одно, что когда я в своей жизни чего-нибудь сильно желала <…> и поступала энергично, то всегда мне удавалось и я никогда не раскаивалась, что ставила на своем».

Чем бодрее, энергичнее рассуждала Книппер, тем более тихим и усталым становился тон писем ее мужа. Второе за зиму обострение отменило разговоры о домике под Москвой, о

путешествии в Швейцарию и Италию. Когда ранней весной Чехов появился в городе, то убедился, как он изменился: «<…> все встречные поглядывают сочувственно и говорят разные слова. И одышка у меня».

Не исключено, что именно в эти месяцы, на исходе зимы, Чеховым была сделана запись: «Ни одна наша смертная мерка не годится для суждения о небытии, о том, что не есть человек». Мысль о близкой смерти косвенно подтверждается воспоминаниями Бунина. Он запомнил вопрос Чехова, что напишет о нем Иван Алексеевич в своих воспоминаниях. Запомнил и поездку в Ореанду лунной теплой ночью: «Вот тут-то он и сказал, что его будут читать еще только семь лет, а жить ему осталось еще меньше — всего шесть».

Сохранились в памяти Бунина слова Чехова: «Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке у монастырских ворот…» Чехов с трудом, по его выражению, «вылезал из нездоровья», из длительного плеврита. Но шутил: «Мне очень легко не есть, я бы мог быть монахом-пост-ником». И закончил это письмо к Книппер от 22 февраля главным напоминанием: «Не забывай меня, нам ведь осталось еще немного жить, скоро состаримся, имей это в виду. Пиши, деточка моя хорошая. Твой А.».

В теплые дни он спускался в сад. Но уже ничего не сажал, не обихаживал, только сидел на скамейке, наблюдал. И очень хотел сменить обстановку. Готов был в новой квартире «взбираться» по лестнице потихоньку, не спеша. Но просил отвести ему небольшую теплую комнату, где не слышно было бы громких гостей и он мог бы работать.

Судя по упоминанию лекарств, непрерывного кашля, полного отсутствия аппетита, в феврале и марте у Чехова усилилось кровохарканье. И настроение его прорывалось в разговорах с Буниным, в письмах, в которых главной темой незаметно стало время: минувшее, ближайшее и далекое.

До Ялты доходила малая доля того, что писали об отдельных произведениях, о творчестве Чехова в целом. Он одиноко зимовал в Крыму, а его имя не сходило со страниц столичной и провинциальной прессы.

В молодости он печатал ежегодно множество рассказов, которые теперь в шутку называл «лицейскими», «мелкими, как снетки». Но даже первые сборники вызвали редкие отзывы. Теперь Чехов писал один-два рассказа в год, но о нем ежедневно появлялось что-нибудь в той или иной газете.

Круг «читателей Чехова» ширился в связи с выходом томов

собрания сочинений и, конечно, благодаря театру. Пьесы Чехова шли уже не только в традиционно театральных российских городах — Киев, Харьков, Казань, Одесса, Ярославль, Саратов, — но в уездных и заштатных городках огромной империи. Статьи и рецензии о Чехове, о постановках его пьес исчислялись в начале XX века не десятками и не сотнями.

Устанавливалось и распространялось мнение критиков, что главное в сочинениях Чехова — *это обыденное время и его влияние на обыкновенного человека.*

О нем говорили, спорили, обменивались мнениями в переписке люди разных возрастов, вкусов, пристрастий. Газеты помещали интервью с вопросами о Чехове. Молодой К. Чуковский напечатал в декабре 1902 года в газете «Одесские новости» ответ Бунина. Он говорил, что о Чехове составилось одностороннее представление, тогда как Чехов «<…> слишком сложная натура для того, чтобы ее можно было определить каким-нибудь одним словом…».

Но всё это — споры, многочисленные постановки, доклады, газетный и журнальный шум — происходило где-то. В Ялте автор «Мужиков», «Дяди Вани», «В овраге» и «Трех сестер» уставал от легкой работы в саду…

* * *

В конце февраля Чехов, наконец, отослал Миролюбову рассказ «Невеста», извинился за задержку: «А здоровье уже не то, не могу писать по-прежнему, утомляюсь скоро». Рассказом он, как всегда, был недоволен, говорил, что писал такие рассказы, и много раз.

Обещанный Художественному театру «Вишневый сад», кажется, раздражал Чехова тем, что пьесу ждали, напоминали о ней. В марте Немирович спрашивал: «Твоей пьесы все еще нет и ничего о ней не слышно. А между тем весь май мы должны ее репетировать, стало быть, к Пасхе она должна быть у нас в руках. Без твоей пьесы нет будущего сезона!» Книппер сердито выговаривала в конце февраля: «Отчего это так долго всегда! Сейчас надо бы приниматься, и чтоб весной ты уже видел репетиции. А то опять все отложено на неопределенный срок; я начну с тобой поступать более энергично. Так нельзя, дусик милый. Киснуть и квасить пьесу».

Ее раздражение нарастало с каждой строчкой письма: «Я уверена, что ты еще не сел. Тебе, верно, не нужны тишина и покой для писания. Надо, чтоб была толчея и суета кругом. Авось

тогда ты засядешь. <…> Напишешь ее к весне и потом опять положишь киснуть на неопределенный срок. Как она тебе не надоест! <…> Мне скучно, я злюсь. <…> Ты, верно, слишком много сидел на воздухе, оттого и нездоровится. Не могу больше писать. Надоело мне все. Твоя *Оля*».

Спохватившись, что написала «сурово», на следующий день, 28 февраля 1903 года, обещала в письме, что на новой квартире будет и «ванночку делать», и «в постельку укладывать». И комнату ему отведут отдельную. А злополучная лестница? «Смущает, хотя…» Это многоточие могло означать: ну, что делать, придется подниматься…

Ольга Леонардовна, кажется, не заметила, как в своем нетерпении — заполучить пьесу — вышла за привычные рамки роли послушной жены. Она претендовала еще и на роль музы и покровительницы своего «поэта»: «А чтоб ты не говорил, что написанное тобой старо и неинтересно, надо скорее это мне прочесть и убедить, что это хорошо, изящно и нужно. Понимаешь? А то ты там в одиночестве чего-чего не надумал. <…> Тебе, верно, странно думать, что где-то далеко есть у тебя мифическая жена, правда? Как это смешно. Целую и обнимаю тебя много раз, мой мифический муж».

На признания Чехова: надоела Ялта, надоело писать, надоело всё, она отвечала вопросами: «Засел за пьесу, наконец? Что ты делаешь целый день? Я бы на твоем месте писала целый день». Главное в ее мартовских письмах — это пьеса: «Ты должен писать <…>. Не унывай. Пиши пьесу, умоляю тебя»; — «Посиживаешь ли в саду, и как двигается „Вишневый сад“?»; — «А как „Вишневый сад“? Зацветает?» и т. д.

Он спрашивал: «Когда же ты увезешь меня в Швейцарию и Италию! <…> Я жить хочу!» Шутил в письме от 4 марта: «Ты делаешь мне выговор за то, что у меня еще не готова пьеса, и грозишь взять меня в руки. В руки бери меня, это хорошая угроза, она мне улыбается, я только одного и хочу — попасть к тебе в руки, что же касается пьесы, то <…> я себе не враг, и если бы был в силах, то написал бы не одну, а двадцать пять пьес».

Чехов звал ее ненадолго в Ялту, до гастролей в столице или после: «<…> вообще обсуди все как нужно, и если не найдешь нужным или возможным приехать, то так тому и быть, я покорюсь и сам приеду без всяких разговоров. Решай ты, ибо ты человек занятой, рабочий, а я болтаюсь на этом свете как фитюлька». Но ни на день, ни на неделю Книппер в Ялту не собиралась. Опять каялась, просила не проклинать: «Не называй меня никогда женой — слышишь? Выдумай другое слово, умоляю тебя»; — «Я ужасная свинья перед тобой».

От наступившей весны, от приближения отъезда, от работы над пьесой его настроение изменилось к лучшему, но ненадолго — ветреная погода, гости, работа обострили болезнь. У него опять поднялась температура, усилился кашель, началась головная боль. Как раз в эти дни Книппер в письме к мужу описала свою поездку с Лилиной в Троице-Сергиеву лавру. Жили они в монастырской гостинице. С Книппер долго беседовал монах, отец Юлий: «Говорит, что я живу ненормально, что с мужем надо обедать, чай пить, а не врозь жить. Много, много говорил. Я обещала ему приехать с тобой, и ты чудесно побеседуешь с ним. Ты ведь любишь монахов. Я ему сказала, что ты собираешься в монахи. Я, может быть, завтра пойду к отцу Варнаве спрашивать о себе, что я должна делать. Отец Юлий советует. Ты смеешься?»

В этом сюжете — грешная актриса, которую наставлял монах и которая, ни разу не упомянув, была ли здесь на службе, молилась ли, собиралась идти к другому монаху за вразумлением — было что-то на самом деле несуразное, неуместное. Недаром сама Книппер сказала: «Можно написать юмористический рассказ, как актрисы отдыхают».

Эта шутка невольно подчеркивала несерьезность ее разговоров о том, что было главным для Чехова: несостоявшаяся семейная жизнь; его одинокость. Слова о монахе из ее письма резали слух: «Затащил меня к себе и все расспрашивал. <…> Ты бы здесь должен написать рассказец. Приедешь со мной?»

Будто иронизируя над этим актерским «богомольем» и над собой в этом нелепом сюжете, над всей «мифической» семейной жизнью, Чехов написал жене: «За зиму я отвык от людей, от жизни, уже ничего не умею, решительно ничего, так что пригласи к себе кого-нибудь, а когда я приеду, то будем спать втроем. Дуся моя, согласна? Нет? <…> Пиши мне каждый день, не терзай меня. Твой А.».

И все-таки он оживал в предчувствии Москвы, где собирался работать над «Вишневым садом». В разговоре о пьесе возникла тема исполнительницы роли «пожилой дамы». Чехов говорил, что не видит в Художественном театре такой актрисы. И написал Ольге Леонардовне: «Станут навязывать тебе старушечью роль, между тем для тебя есть другая роль, да и ты уже играла старую даму в „Чайке“». Он предназначал ей роль «глупенькой» Вари, приемной дочери главной героини, двадцати двух лет, лица «комического». Книппер шел тридцать пятый год. Возможно, под «старухой» Чехов подразумевал лицо сорока лет.

Она предпочитала играть героинь своих лет, а не молоденьких девушек. Однако соглашалась и на «глупенькую».

Но «заказывала» автору, чтобы в первом акте было такое настроение, как у нее в Мелихове весной 1899 года, «когда все цвело и когда было так удивительно хорошо на душе». Судя по всему, ей виделась сценическая элегия, навеянная, видимо, названием «Вишневый сад».

Она говорила о себе, что была «жадной» до жизни, до впечатлений. Самое экспрессивное слово в ее лексиконе в это время — «адски», «адский», то есть на пределе, очень, сильно. Всё у нее адское — усталость, радость, нетерпение, раздражение и т. д.

Книппер хотела многое успеть. Вдруг всё изменится? Не станет расположения Немировича, приязни Станиславского и Лилиной? И вообще — время, время… Жизнь проходит… Она писала мужу 21 марта 1903 года: «Молодость проходит, а мне все еще жить хочется».

Уже в момент первой встречи Чехов и Книппер ощущали по-разному время своей жизни. За минувшие три года это различие усилилось.

У него продолжалось умаление внешней свободы, до окончательной «ссылки» в Ялту и «домашнего ареста», наложенного Альтшуллером зимой 1903 года. И вместе с тем возрастало внутреннее напряжение из-за работы над томами собрания сочинений, новыми рассказами, повестями и драмами.

У нее расширялась внешняя свобода, множились знакомства, возрастал интерес к ней, как к жене Чехова, ведущей актрисе Художественного театра. Книппер обрела материальный достаток. Была в прекрасной физической форме. Весной 1903 года она описывала мужу, как в сопровождении знакомого студента ездила верхом на лошади на Воробьевы горы — и шагом, и галопом, преодолевая канавы.

Ему хотелось удержать хоть кусочек жизни — «А мне так хочется с тобою пожить! Хоть немножечко!»

Она хотела объять больше того, что имела, что шло в руки, что еще обещала судьба. Рассказывала, как после верховой езды возвращалась домой: «Я ехала на извозчике к заставе и все время улыбалась от какого-то счастья, что я живу и могу все это чувствовать, всю красоту. <…> я даже смеялась и люди смотрели на меня».

Оба как будто пытались в письмах сблизить свои несхожие мироощущения. Чехов — бесконечными признаниями в любви. Книппер — бесконечными обещаниями грядущей совместной жизни. Наконец она посулила: «Я на будущий сезон устрою себе дублерок на каждую роль, чтобы можно было удирать к тебе».

Когда «эпистолярная» жизнь супругов прерывалась реальной,

совместной, всё складывалось иначе, несмотря на всю терпимость Чехова и воспитание Книппер. Совместить разные образы жизни, характеры, настроения, чувство времени, видимо, получалось нелегко. Всякий раз после таких «съездов» она просила простить, а он убеждал, что она стала ему еще дороже, ближе, любимее. И сразу начинал ждать новой встречи, полагая, что их осталось немного.

* * *

В конце апреля 1903 года Чехов выехал в Москву, надеясь продолжить работу над пьесой, которая, по его словам, понемногу «наклевывалась». Но при этом ему казалось, что «тон» устарел, чего-то он не улавливал нового, главного.

В. В. Вересаев, впервые встретившийся с Чеховым в Ялте, перед его отъездом в Москву, запомнил разговор об Италии. Чехов, узнав, что новый знакомец побывал там год назад, спросил:

«— Во Флоренции были?

— Был.

— Кианти пили?

— Еще бы.

— Эх, кианти!.. Еще бы раз попасть в Италию, попить бы кианти… Никогда уже этого больше не будет».

Действительно ли так сказал Чехов или Вересаеву запомнилось общее впечатление, но Чехов приехал в Москву все еще с надеждой на Швейцарию и Италию.

Квартира в доме Коровина на Петровке оказалась на самом деле хорошей. Но третий этаж… Это беспокоило Чехова еще в Ялте: «Если высоко очень, то я буду всходить полчаса, это ничего, все равно делать мне в Москве нечего»; — «Ну, да ничего как-нибудь взберусь».

Ольга Леонардовна успокаивала: «Лестницы не бойся. Спешить некуда. Будешь отдыхать на поворотах». Однако никакие остановки не помогали. Одышка, которая когда-то, в 1898 году, уже заставившая Чехова сменить этаж в «Русском пансионе» в Ницце, теперь одолевала его даже при ходьбе по ровным улицам. В первых письмах из Москвы он упоминал эту злосчастную лестницу: «Наши наняли квартиру на третьем этаже, и подниматься для меня это подвиг великомученический»; — «Живут наши очень высоко <…> подниматься мне приходится с большим трудом»; — «Взбираться мне очень трудно, хотя и уверяют, что лестница с мелкими ступенями».

Из-за холодов, из-за лестницы, из-за работы с корректурой Чехов редко выходил из дома. Звал к себе тех, кого хотел видеть. Но были два дела, неотложные, важные. Одно — это поездка в Петербург для личных переговоров с Марксом. Другое — визит к профессору Остроумову по поводу болезни. Обе встречи оказались решающими.

Отправляясь в Петербург, Чехов говорил, что не ждет от

«немца» ничего хорошего. О самом свидании рассказал Суворину; «В Петербурге я пробыл лишь несколько часов, виделся с Марксом. Разговоров особенных не было, он по-немецки предложил мне на леченье 5 тыс., я отказался, затем он подарил мне пуда два-три своих изданий, я взял, и расстались мы, решив опять повидаться в августе и поговорить, а до августа подумать». Предложение денег взаймы и книг в подарок, видимо, скрывало отказ Маркса обсуждать досрочное прекращение или какое-либо изменение договора. Было отказано даже в такой малости, как разрешение издательству «Посредник» издавать для народного чтения «мелкие вещи» Чехова.

Чехов надеялся получить такое разрешение и весной написал Горбунову о Марксе: «Он ведь уже нажился, будет с него». После встречи с Марксом рассказал Ивану Ивановичу, что издатель «обещал подумать» и написать: «До сих пор я не получал от него письма. Получили ли Вы? Напишите мне, пожалуйста». Вскоре Горбунов отозвался. Он тоже ничего не получал от Маркса, никакого письма: «Очевидно, ему не по душе желание ваше. Очень жалко. Но что делать. Очень они цепки, эти хорошо присасывающиеся к чужому труду собиратели капиталов. Жалко очень за бедного народного читателя. Но дорого доброе, сердечное желание ваше».

Чехов, видимо, понял еще в ходе майской встречи, что Маркс не отпустит его на «свободу», а за мнимые или настоящие посягательства на свою «собственность» потянет в суд. Поэтому в дальнейшем он говорил: «<…> я теперь, точно сутяга, всю мою жизнь во всем должен ссылаться на пункты». Так решился вопрос с отменой договора.

Но, может быть, и этот вопрос и другие важнейшие жизненные обстоятельства решила встреча Чехова с профессором Остроумовым 24 мая 1903 года. После долгого осмотра и расспросов он поставил диагноз: правое легкое — «весьма неважное», а если точнее, совсем «дурно». У больного — «расширение легких», «катар кишок и проч. и проч.». Одним словом, состояние Чехова «прескверное». Он, по грубому выражению Остроумова, — «калека». Рекомендации профессора: ни в коем случае не зимовать в Ялте; полезнее и здоровее жить около Москвы; в Швейцарию не ездить, уже незачем, лучше сидеть где-нибудь на подмосковной даче.

Как отнесся Чехов к диагнозу знаменитого коллеги, который, правда, показался ему «грубым поповичем» из-за фамильярности, всегда нестерпимой для Чехова: «Остроумов обрадовался мне, целовался <…>. Всё время говорил мне ты». Даже в этом отзыве сквозило раздражение и недоумение по поводу всего: прежних

медицинских советов, нынешних рекомендаций и будущего устройства. Оно проступило в письмах: «Если Остроумов прав, то зачем я жил четыре зимы в Ялте?»; — «И я теперь не знаю, кого мне слушать и что делать»; — «Где я найду под Москвой такую <дачу>, в которой можно было бы не околеть от холода и всяческих неудобств?»; — «А когда я поселюсь под Москвой и начну тут привыкать, меня доктора пошлют опять в Крым или Каир».

Он досадовал на себя: «Я, конечно, рад, но извольте-ка теперь искать на зиму дачу». Роптал на жену, озаботившуюся поисками дачи: «Моя супруга засуетилась теперь, ищет усадьбу». Удивлялся сестре, советовавшей не расставаться с Ялтой. На ее соображение — «Такого чудесного дома, как у нас в Ялте, уже не соорудишь» — он ответил 7 июня из имения Якунчиковых, куда уехал с Книппер: «Мне дом в Ялте тоже нравится, но жизнь зимой до такой степени томительна и жестка, что теперь, мне кажется, я отдыхаю».

В первый момент, услышав «ты калека», Чехов решил продать домики в Гурзуфе и Кучукое. Купить под Москвой дешевое, небольшое имение, дачу, куда он перевезет мать и Марьюшку. Весной и осенью можно жить в Ялте, а летом и зимой — под Москвой.

Но всё оказалось под вопросом. Согласилась бы Евгения Яковлевна жить не в Москве с дочерью, а на подмосковной даче с сыном, куда наезжала бы Ольга Леонардовна и командовала прислугой? Удобно ли было сестре взять к себе мать? Как ему одному при таком раскладе жить на даче?

Сестра прямо и косвенно дала понять: она против продажи собственности в Крыму и строительства нового дома под Москвой, спешить не следует. Она написала брату 30 мая из Ялты: «Сейчас у нас на даче великолепно, прямо очаровательно, все очень зелено. <…> Низ нашего дома я уже отремонтировала. Штукатуры замазали все трещины, которые произошли от осадки дома, а маляры выбелили стены. <…> Будет очень хорошо. Хотелось бы мне очень обновить твой кабинет, замазать бы трещины и переменить бы надо обои, уж очень они плохи».

Продать крымские домики, по ее словам, будет трудно, если только «за дешевую цену спустить»: «Позволь мне дать тебе маленький совет: не торопись покупать имение, повремени немного, все равно в ту же зиму жить в нем не придется. <…> Не лучше ли попробовать пожить зиму, только одну, в хорошо устроенной зимней даче или в имении под самой Москвой. Теперь многие так живут, и в Москву можно часто ездить».

Жизнь на два дома, даже частичная продажа собственности,

покупка подмосковной дачи — всё это отменяло бы завещательные распоряжения Чехова, потребовало бы перемен в укладе жизни и, конечно, больших затрат. Наверно, родные предпочли бы, чтобы всё оставалось по-прежнему. Четырежды, с перерывами в шесть лет (1884, 1891, 1897, 1903) и всегда зимой, состояние Чехова резко ухудшалось. Но ни разу, даже после клиники, это не повлекло перемен в домашнем обиходе.

Помимо трезвого ума, житейского опыта и женской интуиции у Марии Павловны было одно природное свойство, помогавшее ей улаживать домашние конфликты, решать всё по-своему. Она не настаивала, не требовала. Она напоминала вовремя то сетованиями на нездоровье, то жалобами на дурное настроение, то горестными вздохами на незаслуженные обиды («Горько!», «Не понимаю за что!», «Ужасно грустно!»), что она всего лишь слабая женщина. Перед этим все в семье Чеховых отступали.

Было такое воздыхание и в письме от 30 мая 1903 года между восторгом от ауткинского сада и деловым советом — не торопиться с покупкой имения: «На душе тоскливо, по вечерам тоска усиливается, не могу заснуть часов до двух. Все думаю и не могу избавиться от дум…»

На это стенание Чехов ответил 7 июня: «Не понимаю, отчего, как ты пишешь, на душе у тебя тоскливо и мрачные мысли. Здоровье у тебя хорошее, нет на земле человека, который имел бы против тебя хоть что-нибудь, дело есть, будущее, как у всех порядочных людей, — что же волнует тебя?» И прописал лечение: «Нужно бы тебе купаться и ложиться попозже, вина совсем не пить или пить только раз в неделю и за ужином не есть мяса».

* * *

Ольга Леонардовна вознамерилась посмотреть подходящее имение с целью купить или снять на какой-то срок. Одно посмотрела сама, без мужа. Другое имение они поехали смотреть вместе 12 июня. Ехали на лошадях, и тряска сразу утомила Чехова, усилила кашель. Они посетили Звенигород, Воскресенск — те места, где двадцать лет назад он, студент-практикант, в 1883 году принимал больных в Чикинской земской больнице, а потом в Звенигородской больнице в 1884 году заменял две недели доктора Успенского. Он тогда строчил маленькие рассказы в «Осколки». Ходил с молодыми коллегами в Новоиерусалимский и Саввино-Сторожевский мужской монастырь. Легко поднимался в гору и очень любил эти дальние пешие прогулки.

Чехов познакомился в те годы с офицерами артиллерийской бригады, с поручиком Егоровым, тем самым, к которому через годы ездил в Нижегородскую губернию помогать во время голода. Здесь, в Подмосковье, в те давние уже времена Чеховы познакомились и сдружились с Киселевыми, тогда еще хозяевами Бабкина. А ныне уже утратившими его. Имение было обречено еще тогда, когда Чеховы снимали у Киселевых флигель в 1885–1887 годах. Переписка с владельцами Бабкина в последующие годы — это история «оскудения» одной из дворянских семей.

В 1893 году Киселев рассказывал в письмах, что ищет место в банке, с окладом в пять тысяч, хотя надеется на богатых родных, на наследство. Шутил, что приходится продать «свое достоинство какому-либо кулаку». Его жена, человек более чуткий, нервный, раньше мужа почувствовала грядущую беду. Она писала Чехову в 1893 году: «Все уходят куда-то и мне жутко за тех немногих, остающихся, которые приросли к моему сердцу. Право, я теперь точно затравленный заяц, озираюсь, дрожу и жду постоянно нападения».

Шло время, а Алексей Сергеевич все еще надеялся на тетушек, мечтал о выигрыше по билету. В хозяйство он не вникал и в 1896 году называл свое имение «бабкинскими развалинами». Но в 1897 году, узнав о строительстве железной дороги до Воскресенска, возликовал: «Надежд масса, вздорожает земля в Бабкине, настроим дач и сделаемся Крезами».

Мария Владимировна трезво оценивала своего мужа, «старого младенца», поэтому не верила ни в дачников, ни в чудесное спасение. Она оказалась права. В 1900 году Киселев рассказал Чехову в письме из Калуги, что Бабкино продали за долги, охотников на дачи не нашлось, что дочь живет хорошо благодаря субсидии, выдаваемой богатой теткой.

В том же году Мария Владимировна попрощалась с Чеховым: «До свидания, но, вероятно, уже не на земле, — впрочем, Вам я желаю жить и здравствовать как можно долее! Старый нелицеприятный друг М.К.».

Поездка по знакомым местам получилась невеселой. Воскресенск теперь, столько лет спустя, показался Чехову таким же «скучным и приятным». Однако, если бы не «необычайные», высокие цены, он размышлял: не купить ли здесь «клочок земли в одну-полторы десятины с домиком»? Ему очень понравилось «чудесное местечко за церковью на высоком берегу, со спуском к реке <…> и чудесным видом на монастырь». К тому же, по его словам, матери «очень бы понравилось это место (10 шагов от церкви и весь монастырь как на ладони)». Его самого, кроме вида, привлекал чудесный звон колоколов. Опять главным мотивом

оказались красота, покой.

Возвращаясь в Нару, имение М. Ф. Якунчиковой, где они сняли флигель и жили с конца мая, супруги заехали в Рубцово к Зинаиде Григорьевне Морозовой, жене мецената. Ольга Леонардовна поддерживала с ней не дружеские, не приятельские, а скорее дипломатичные отношения как с женой Саввы Тимофеевича и тоже пайщицей Художественного театра. Морозова вспоминала много лет спустя, что будто бы Чехов говорил ей в тот день: «Всё, что я писал раньше, прошло, а как писать дальше — не знаю. Это меня очень мучает».

С. С. Мамонтов, литератор, драматург, родня Якунчиковым, привел в воспоминаниях слова Чехова, будто бы сказанные тем летом: «Надо торопиться писать, писать пьесы, а то скоро настанут такие времена, что людям будет не до театра. Нагрянут в России такие события, которые всё перевернут вверх дном. Мы переживаем такое же время, какое переживали наши отцы накануне Крымской кампании. Только нас ожидает еще худшее испытание. Я это знаю наверное…» Это могла быть реплика из их разговора о жизни, о литературе, о современной драме. Мамонтова чрезвычайно интересовала пьеса, над которой Чехов работал в то лето. Работал очень медленно, с перерывами из-за препятствий, чинимых природой и обстоятельствами. Однажды ветер унес с письменного стола, стоявшего у окна, несколько листков, а дождь смыл написанное.

Чехов собирался жить на Наре до августа. Но в конце июня написал сестре, что приедет раньше. Об этом извещал Марию Павловну также Иван Павлович, навестивший брата. Он описал Софье Владимировне то, что увидел: «Как живут моск. купцы, мне кажется могут жить только Великие князья русские; какая красота, какая роскошь, какой отдых! <…> Какое купание! <… > Тем не менее, Антоша уезжает 6-го в Ялту».

Бунин считал, что Чехов сбежал от праздности хозяев, от аристократических гостей. Сам Чехов, возвращаясь к минувшему лету, напоминал Книппер в одном из октябрьских писем: «Жизнь у Якунчиковой вспоминается почему-то каждый день. Такой безобразно праздной, нелепой, безвкусной жизни, какая там в белом доме, трудно еще встретить. Живут люди исключительно только для удовольствия — видеть у себя генерала Талона или пройтись с товарищем министра кн. Оболенским. И как не понимает этого Вишневский, взирающий на этих людей снизу вверх, как на богов». О самой Марии Федоровне он высказывался благожелательно — «не дурная и не глупая женщина».

Якунчикова, урожденная Мамонтова, входила в круг известных русских художников, меценатов. На Наре, в этом

красивейшем месте, бывали и работали многие живописцы. Сама хозяйка имения была связана с Абрамцевским художественным кружком. Сестра ее мужа Мария Якунчикова, художница, искала и нашла здесь мотивы для своих работ. На одной из них (гуашь «Крест над святым колодцем») — большой деревянный крест на краю поля. На перекладине — иконка, повешенные кем-то нательные крестики, кусок хлеба. На ветку дерева, над крестом, наброшен платок. День пасмурный, осенний. И во всем печаль, прощание.

Видел ли Чехов эту работу, как и другие, написанные Марией Васильевной в ближних и дальних окрестностях имения, которые запечатлели старинный барский дом, цветущие яблони, лесные лужайки, кладбища? Казалось, она писала реквием. Был ли разговор о ее ранней смерти от чахотки? Она скончалась в Швейцарии в конце 1902 года.

Но даже если Чехов не видел ее работы, что маловероятно, если даже обитатели дома не касались печального события, он сам мог видеть и этот крест на опушке леса, и часовню, и эти старые усадьбы, отжившие «дворянские гнезда» с садами, цветниками, парками, дома с колоннами, с мезонинами.

Как и раньше, так и теперь, во время работы над «Вишневым садом», какие-то реплики, интонации стали всплывать в письмах. В последнем письме Чехова сестре из Нары промелькнула фраза: «А в прошлом году в эту пору в Ялте не было ни одного дождя». В последнем действии новой пьесы она будто повторилась репликой купца Лопахина: «В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно… Градуса три мороза».

В первые дни июля Чехов и Книппер уехали из Нары, а 7 июля — из Москвы в Ялту. Как полагал Чехов, всего на месяц — в августе он хотел побывать в Сочи, а к сентябрю вернуться в Москву.

Глава тринадцатая. «МОЙ ТЕАТР»

Отъезд в Ялту только выглядел неожиданным. Чехов уже через три недели отдыха заговорил о возвращении. Кажется, повторялась прошлогодняя история с Любимовкой. Возможно, его раздражали чужой уклад, чужие вещи. И то, что он и Книппер оказывались не наедине. За ними вольно и невольно наблюдали. Поэтому он так настойчиво говорил зимой о заграничной поездке.

Гостивший в Ялте Иван Павлович рассказывал в письмах жене, какое прекрасное лето выдалось в Крыму, как Мария

Павловна и Ольга Леонардовна ходят купаться: туда — пешком, обратно — на извозчике: «Антоша целые дни сидит на балконе и перечитывает всех молодых беллетристов, которые так усердно снабжают его своими новыми книгами. Он здоров. Ольга Леонардовна хандрит и актрисничает. Маша нервничает, расстраивается и злится». Упоминал он и бесчисленных гостей. Доходило до курьезов: однажды сестра и жена уехали в Гурзуф, чтобы накупаться вволю и не отвлекать Чехова от работы. Но в их отсутствие пришел знакомый актер и просидел весь день, с полудня до вечера.

В тихие дни всё было иначе. Складывались даже временные привычки общей жизни. По утрам Ольга Леонардовна следила за ритуалом умывания (непременно холодной водой), проверяла, как прислуга вычистила одежду, выпил ли муж пилюли. Но прежде всего она старалась, чтобы Чехов больше сидел над пьесой. Он работал по утрам, а днем много читал. Повышенный интерес Чехова к новому поколению литераторов заметили и запомнили многие современники. Но приписывали его чаще всего доброжелательности Чехова, хорошо помнившего, как «встречали» его критики и рецензенты. Между тем главным побуждением могло быть чувство утерянного «тона». Старый был исчерпан, а новый не давался. Сюжеты теснились, а интонация не находилась. Тем более что он писал пьесу.

Перечитывая собственную прозу в момент работы над рассказом или повестью, Чехов выверял каким-то внутренним камертоном ее звучание, верность тона. Поэтому всегда настаивал на корректуре, придавал значение всему, даже знакам препинания. Когда ему предлагали диктовать, чтобы ускорить дело, он отказывался наотрез. Только сам, своей рукой, наедине, без чужого глаза.

С пьесами всё обстояло не так. Зимой 1903 года он говорил, что пьесы, свои и чужие, в чтении его не удовлетворяют: «Во мне нет актерского понимания, я не умею читать их». По-видимому, у него было свое ощущение пространства пьесы и сцены: не уходами и выходами актеров, не мизансценами, а как-то по-иному. Может быть, по этой причине Чехову нравились очень немногие из новых пьес. Когда предыдущим летом ему, как пайщику Художественного театра, прислали для ознакомления 23 пьесы, он отозвался кратко: «Пьесы все плохи, все до одной». По его словам, «в нынешних пьесах, которые приходится читать, автора нет, точно все они изготовляются на одной и той же фабрике, одною машиной…».

Но как поймать тон новой жизни? Это «знал» Потапенко. Весной 1903 года объявившийся вдруг приятель прежних лет

пригласил Чехова в «маленькую артель» (Мамин-Сибиряк, Вас. И. Немирович-Данченко и он сам), чтобы издавать журнал с отделом «отечествоведение».

Чехов согласился быть автором, но не соиздателем или редактором. Причины отказа обозначил очень определенно: болен. И дал совет — взять кого-то из поколения «помоложе», например Андреева.

Чехов отдавал отчет в том, что былому приятелю нужны его деньги, сочинения и имя, чтобы получить официальное разрешение и привлечь читателя. В само дело — изучение литераторами текущей жизни по поручению журнала «на месте» — Чехов, видимо, не верил. Эдакое новое «хождение в народ». Это отдавало хлестаковщиной и маниловщиной. Потапенко чувствовал, что его время уходит, что он неинтересен новому поколению. Они читали Бальмонта, Горького, Брюсова, Бунина, Чирикова, Куприна, М. Арцыбашева, Вл. Соловьева, Ф. Сологуба, Блока.

В газетах и журналах спорили об искусстве Серова, Врубеля, Сомова, Малявина, Бенуа, А. Васнецова. Со статьями о кризисе культуры, о новых течениях в литературе и искусстве выступили Л. Шестов, М. Волошин, Н. Бердяев.

Поэтическими метафорами, публицистическими клише и расхожими образами, передающими ощущения современников, звучали теперь названия рассказов Андреева «Бездна» и «В тумане». Известные издательства Суворина, Сытина, Маркса соседствовали с новыми — «Знание», «Гриф», «Скорпион». Старые «лагеря» и «партии» в литературной критике вытеснялись новыми.

Чехов, как и в прошлые годы, интересовал, раздражал людей разных пристрастий в искусстве. Едва он отказался от предложения Потапенко, как поступило новое, от Дягилева: возглавить беллетристический отдел в обновленном журнале «Мир искусства».

Сергей Павлович убеждал истово: «Нам совершенно необходима помощь, подмога человека, стоящего вне нашей кружковщины и вместе с тем близкого нам, ценимого нами — такой человек — Вы. Согласитесь, что ни одно истинно литературное явление в России теперь не может быть вне Вас».

Чехов ответил в письме от 12 июля, в сущности, то же самое, что и Потапенко. Во-первых, он по состоянию здоровья вне Петербурга. Во-вторых, журнал должен быть в одних руках. В-третьих, невозможно соединить несоединимое: «<…> как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски в то время, как я давно

растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего. Я уважаю Д. С. и ценю его, и как человека и как литературного деятеля, но ведь воз-то мы если и повезем, то в разные стороны. <…> Таково мое мнение, и мне кажется, что я не изменю его». Дягилев, пытаясь все-таки уговорить, не скрыл, что Дмитрий Сергеевич сказал ему о работе с Чеховым приблизительно то же самое.

Литературное «народничество» проекта Потапенко, как и утоление «эстетико-литературной жажды», которое обосновывал Дягилев, имели благие намерения. Но воспринимались Чеховым как чужая «почва». *Он же хотел, наверно, оставаться самим собой, соответствовать самому себе.*

Может быть, за верность самому себе Чехов отличал Короленко из всего своего поколения. В день его пятидесятилетия, 15 июля 1903 года, Чехов послал ему телеграмму: «Дорогой, любимый товарищ, превосходный человек, сегодня с особенным чувством вспоминаю Вас. Я обязан Вам многим. Большое спасибо. *Чехов*». Относилась ли эта признательность «к академической истории» или к чему-то иному, но она передавала особое отношение Чехова к Владимиру Галактионовичу. А еще, наверно, настроение Чехова.

Уже было очевидно, что после каждой зимы в Ялте состояние Чехова резко ухудшалось, а впереди была новая зима, которую, судя по всему, ему предстояло опять провести в Ялте — и опять одному. В феврале 1903 года Ольга Леонардовна строила очередные планы, как она вытащит мужа из Ялты: «Тебе бы хотелось? Уютненький домик, теплый, с хорошими вентиляциями, с стеклянной террасой, чтобы ты мог похаживать не утомляясь. Все бы ездили к тебе. Я бы ежеминутно летала к тебе. Ты был бы покоен и не тосковал бы. Подумай об этом и сильнее желай этого». Но поиски «домика» ограничились летом поездкой в Звенигород и Воскресенск. Всё осталось, как было.

Книппер написала Станиславскому 3 августа из Ялты: «Безжалостно вообще с моей стороны бросать его так на тяжелую зиму. Не пойму я своей жизни и своей „точки“». В августовских письмах самого Чехова речь шла о том, что он приедет в Москву к началу октября или ноября и останется до января. Всё зависело от работы над «Вишневым садом». В театре надеялись, что Книппер вернется с готовой пьесой. Немирович взывал к Чехову 17 августа: «И ты можешь думать, что твоя пьеса не нужна!!! Нет хороших пьес! Нету! Нету! А если ты не напишешь, то и не будет! Жду ее с все возрастающим нетерпением». Узнав из ответного письма, что работа идет «помаленьку», Немирович взмолился: «Меня очень огорчает, что ты запаздываешь с пьесой. Ах, как она

нам нужна уже через неделю, много — другую!! Приналяг, Антон Павлович! Потом будет веселее отдыхать. Зиму ты думаешь жить в самой Москве? Или под Москвой?»

Что бы ни думал Чехов, но в реальности дачу пока не сняли и не купили, московская квартира осталась прежней, с той же «отлогой» лестницей. Лилина приглашала пожить у них, в Каретном Ряду, где невысоко и близко от театра.

Станиславский волновался за судьбу театра и писал Книппер в августе 1903 года в Ялту: «Как ни верти, а наш театр — чеховский, и без него нам придется плохо. Будет пьеса — спасен театр и сезон, нет — не знаю, что мы будем делать. На „Юлии Цезаре“ далеко не уедешь, на Чехове — куда дальше…» Об этом же писал ей и Вишневский: «*Без Чехова существовать нельзя».*

* * *

В августе пьеса была написана целиком, сложен «сруб», как говорил Чехов в такие моменты. Что-то менялось, но уже не в сюжете. Так, во втором акте исчезло упоминание о реке, осталась ремарка: «Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья». Может быть, это было навеяно тем, что Чехов видел на Наре. Теперь река упоминалась лишь в репликах героев. Видимо, не случайно она стала незримой. Но оттого не менее, а, может быть, и более значимой для понимания самочувствия главной героини, Раневской (там утонул ее семилетний сын Гриша), судеб всех обитателей имения и участи сада.

В разговорах о русских имениях, о местожительстве Чехов всегда подчеркивал как единое целое: дом, ухоженный сад, река. Недостаток Мелихова ему виделся в том, что поблизости не было реки. Домик в Воскресенске прельстил его, когда искали имение, тем, что он на высоком берегу реки. От отдыха в имении Маклакова минувшим летом Чехов отказался, видимо, потому, что, как он писал, «река далеко и сад в варварском состоянии».

Что-то было притягательное и важное для Чехова в красоте вечно обновляющегося парка и сада. Запущенные, разоренные, истребляемые, они были оскорблением природе и обвинением человеку.

Давно, во второй половине 1880-х годов, Чехов записал на отдельном листе монолог Соломона: «О, как темна жизнь! Никакая ночь во дни детства не ужасала меня так своим мраком, как мое не постигаемое бытие. Боже мой, отцу Давиду ты дал

лишь дар слагать в одно слова и звуки, петь и хвалить тебя на струнах, сладко плакать, исторгать слезы из чужих глаз и улыбаться красоте, но мне же зачем дал еще томящийся дух и не спящую, голодную мысль?»

Эстетика и этика, чувство красоты и «томящийся дух» оказывались в неуловимой сущностной связи. Ощущение этой взаимосвязи было, наверно, свойством дарования Чехова и его личности.

Оно проступало уже в юношеских письмах к родным из Таганрога. В 1879 году он отозвался на подпись в послании младшего брата — «ничтожный и незаметный братишка» — вопросом: «Ничтожество свое сознаешь?» И ответил: «Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Пред Богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. <…> Не смешивай „смиряться“ с „сознавать свое ничтожество“».

Что подразумевало — «сознавать свое ничтожество» и «сознавать свое достоинство»? Быть достойным божеского начала, природы, красоты, таланта? Не терять, не разрушать их в себе, в других, вокруг, а хранить и, если есть силы, приумножать? То, о чем порой так страстно писал, говорил Чехов своим старшим братьям в московские годы. Что постепенно уходило из писем в сочинения Чехова, требуя с каждым годом все больших душевных усилий в работе и большего спроса с себя в жизни.

В первоначальном варианте «Вишневого сада» второе действие заканчивалось сценой старого слуги Фирса и гувернантки Шарлотты. Фирс искал потерянный Раневской «портмонет». Шарлотта помогала в поисках: «Вот веер… А вот платочек… духами пахнет. Больше ничего нет. Любовь Андреевна постоянно теряет. Она и жизнь свою потеряла. (*Тихо напевает песенку*)».

Чехов говорил Книппер, что эта женская роль лучшая в пьесе. Ольга Леонардовна не понимала, почему муж видел ее в роли Шарлотты.

Но, видимо, что-то было важное для автора в судьбе гувернантки, рассказывавшей о себе: «У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет. <…> А откуда я и кто я — не знаю… <…> Ничего не знаю. <…> Никого у меня нет».

Книппер рассчитывала на роль Раневской. Этой героине, в отличие от Шарлотты, дано было многое: счастливое детство в богатом поместье; радостная юность; теплые воспоминания о родителях; дети… Затем начались утраты — смерть мужа, гибель сына. И потери: дача в Ментоне, проданная за долги; старинное имение в России с красивейшим вишневым садом, утраченное по

тем же причинам, что и Бабкино. Почему? Как шутит владелец имения Гаев: «Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах…(*Смеется*)». Многое было дано и всё потеряно…

К концу августа пьеса, по словам Чехова, «веселая, легкомысленная», «местами даже фарс», была закончена. Оставалось переписать комедию. Но из-за похолодания, а вероятнее всего, из-за напряженной работы Чехов заболел.

Книппер уехала 19 сентября. Без рукописи, но с надеждой, что ее привезет Мария Павловна в начале октября. В московских газетах уже писали, что Чехов написал новую пьесу и она пойдет в Художественном театре в декабре. Это беспокоило Чехова. Он признавался жене в «скверном, пессимистическом» настроении и просил: «Пиши мне подробности, относящиеся к театру. Я так далек ото всего, что начинаю падать духом. Мне кажется, что я как литератор уже отжил, и каждая фраза, какую я пишу, представляется мне никуда не годной и ни для чего не нужной. Это к слову».

Узнав об этом, Немирович опять внушал Чехову: «Наше нетерпение, ожидание твоей пьесы все обостряется. Теперь уже ждем, считая дни… <…> Торопись и — главное — *не думай, что ты можешь быть неинтересен!*»

Книппер прислала целый панегирик: «<…> Такого писателя, как ты, нет и нет, и потому не замыкайся, не уходи в себя. Пьесы твоей ждут как манны небесной. <…> Целую тебя, целую руки твои и молю Бога, чтоб ты чувствовал себя хорошо».

Во взаимном ожидании — Чехова и Художественного театра — нарастала тревога, сквозила боязнь разочарования. Чехов шутил, что в пьесе «есть что-то новое»: например, ни одного выстрела. Действительно, никто не стрелял и не стрелялся, в отличие от всех предыдущих пьес Чехова. Просто «забыли» в доме больного старого верного слугу. Фирс выходил в финале, одетый, «как всегда, в пиджаке и белой жилетке», то есть готовый служить своим господам, обнаруживал, что все уехали, дом заперт, садился на диван: «Про меня забыли… Ничего… я тут посижу… <…> Жизнь-то прошла, словно и нежил…<…> Эх ты… недотёпа!»

В конце сентября в Москву была отправлена телеграмма, что пьеса готова, что автор ее переписывает. Но к началу октября, к отъезду Марии Павловны, Чехов не успел. Ему нездоровилось весь сентябрь. Главное, что теперь, по признаниям в письмах, угнетало — даже не привычный кашель, не ломота в спине и ногах, не жар, но нараставшая слабость. Такая, что порой не было сил одеться. Видимо, опасаясь плеврита, Чехов сам позвонил Альтшуллеру в последние дни сентября.

Неделей раньше «лейб-медик» уже отменил холодные утренние умывания, заведенные по настойчивому совету Книппер. Она сама обливалась по утрам и верила в эту гигиеническую и оздоровительную процедуру. Но если это Альтшуллер аннулировал без сопротивления Чехова, то совет Остроумова — не зимовать в Ялте и предпочесть теплую дачу под Москвой — он отклонял. Чехов писал жене о своем враче: «Он умолял меня в Москву не ездить, в Москве не жить. Говорил, что Остроумов, вероятно, был выпивши».

Чехов не утаивал от Ольги Леонардовны своего состояния. Но в письмах к ней он все время не болел, а «выздоравливал», уверял, что ему «лучше и лучше», что он чувствует себя «здоровым». Правда, стал мечтать о «дальнем плавании». Это уже был признак очень плохого состояния, а с некоторых пор, в контексте реалий, такое мечтание обретало иное звучание, иной смысл — *последнего пути*.

Книппер обиделась на Альтшуллера: «В Москву, конечно, не приезжай совсем. Надо слушаться кого-нибудь одного, доверяй тогда Альтшуллеру, если ты ему веришь и считаешь его за такого отличного доктора». Сама она Исааку Наумовичу не очень доверяла. Иногда говорила, в шутку или всерьез, что он ее ненавидит, и заочно возражала своим «обвинителям»: «А то ведь все обрушивается на меня, что я гублю тебя, что я настаиваю на том, чтоб ты жил здесь. Этого не может быть, и я никогда не буду настаивать, если нельзя. Я не настолько своевольный и капризный человек. А, конечно, я, как жена, слишком беспокойна и безалаберна для тебя».

Ольга Леонардовна, судя по всему, не зависела от чужих мнений. В ней не замечалось ни мнительности, ни страха перед сплетней, злословием. Но досаждало беспокойство, когда жилось «без аппетита», без радости от работы, от природы и нарушалось душевное равновесие.

В ее письмах осени 1903 года всё дышало главным — ожиданием сезона: «Скорее бы играть, жить, чувствовать за других». В доме родных опять, как в прошлые годы, «за ужином много и шумно хохотали, по-книпперовски». Опять она рассказывала, как вкусно обедала в гостях: «Ели стерлядки кольчиком, борщок, отбивн. котлеты, артишоки, печен[ые] яблоки». Как она сама угощала гостей «ухой с расстегайчиками, цветн[ой] капустой, ростбифом и шоколадом».

Умела ли Ольга Леонардовна управлять собой или ей были не свойственны сильные переживания и она переживала главным образом «за других», на сцене? Книппер «вскипала» ненадолго, не тратилась на продолжительные волнения, наверно, оберегала

себя от глубоких переживаний. Может быть, поэтому бессознательно любила глаголы с приставкой — *по* (не ходила, а «*по*хаживала»; не смотрела, а «*по*сматривала»; у нее, по ее выражению, не болело, а «*по*баливало»). Если у Марии Павловны часто вырывалось слово «неприятно», им она мерила свое настроение и отношение к себе, то у Ольги Леонардовны выделялось, подчеркивалось то, что «приятно». Этот мажорный настрой импонировал Чехову, выросшему и жившему в семье, в которой всеми владели страхи, тревоги, жалобы, опасения.

Боялся ли Чехов чего-либо? Однажды, в 1881 году, в одном из объяснений с Александром по поводу его невоспитанности, распущенного языка и вздорных обвинений в адрес родных, Чехов сказал, что не боится даже разрыва отношений с ним: не потому, что «не имеет сердца», а потому, что «на этом свете на всё нужно быть готовым».

Он не боялся судей человеческих, все знавших, даже то, чем якобы «кончит» Чехов. И говорил в 1888 году Баранцевичу: «Одному Господу Богу ведомо, что будет и чего не будет. Ему же ведомо, кто прав и кто неправ… <…> У человека слишком недостаточно ума и совести, чтобы понять сегодняшний день и угадать, что будет завтра, и слишком мало хладнокровия, чтобы судить себя и других…»

Ко всему готовый, признававший волю рока, власть случая («с роком приходится так же мириться, как с погодою»; — «в искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает»), он одолевал то, что называл «мелкими страхами». Например, из-за безденежья.

Но испытывал ли он *большие* страхи? Называя себя фаталистом, Чехов тем не менее не однажды говорил о бесстрашии, с которым надо «гнуть свою линию», не сдаваться, не уступать страху перед ударами судьбы, перед смертью, перед случайностью («не следует бояться, что бы ни угрожало»). Шутил в 1901 году: «<…> всё на этом свете, говорят, к лучшему. Решительно всё». И не надо заранее воображать это «всё», пугать себя и жить в страхе.

Если в 1889 году Чехов еще страшился кровохарканья, то в последующие годы упоминал о нем обыденно, среди прочего. С этих же пор исчез его страх заразиться и умереть от брюшного тифа, о чем он не раз говорил в молодости.

И все-таки одного он, кажется, боялся. И с годами все очевиднее. *Боялся, что исчезнет желание писать, исчерпаются слова или он устареет.* Это страшило, может быть, сильнее любой беды, старости и никогда не отпускало. Особенно в состоянии опустошенности после завершения работы над рассказом,

повестью, пьесой. Или в преддверии нового замысла.

Странным образом в письмах Чехова к Книппер, особенно в первый год их брака, переплетались тревога исчерпать себя как литератора с волнением, что Ольга Леонардовна вдруг охладеет к нему. Опасение — «Я боюсь, что я надоел тебе или что ты отвыкаешь от меня мало-помалу <…>» — словно тень признания героя «Чайки»: «Ваше охлаждение страшно, невероятно, точно я проснулся и вижу вот, будто это озеро высохло или утекло в землю».

Едва жена уехала в Москву, как письма Чехова стали заканчиваться шутливой просьбой: «не забывай, вспоминай»; — «не забывай своего толстого мужа»; — «не забывай, ведь я твой муж, имею право бить тебя, колотить». Иногда Книппер меняла интонацию своих писем и впадала в минорный тон («не проклинай меня, дусик»; — «я не знаю, как мне жить»; — «точку опоры потеряла» и т. п.), Чехов останавливал уже, наверно, наскучившие ему жалобы. Он написал ей 7 октября 1903 года: «Зачем ты хандришь? Ведь это так несправедливо! Ты дома, ты у любимого дела, ты здорова, мужа нет, но он скоро приедет. Надо быть умной!»

Свое пребывание в Ялте, в этой «теплой Сибири», Чехов еле дотягивал и написал жене в начале октября: «Дуся, я приеду в Москву *непременно*, хоть ты меня зарежь». Через неделю, 14 октября, самая «трудная» пьеса Чехова «Вишневый сад» была послана в Москву. Он просил до постановки держать ее в секрете, чтобы избежать ненужных разговоров. Но главное — внимательно прочесть и сразу телеграфировать. Телеграмма от Книппер пришла 18 октября: «Дивная пьеса. Читала упоением, слезами. Целую, благодарю». В этот же день Чехов получил от Немировича целое телеграфное послание. Что-то в пьесе ему понравилось, что-то пока осталось неясным, что-то показалось знакомым по прежним пьесам Чехова. Через два дня Немирович снова телеграфировал: «Сейчас прочел пьесу труппе. Впечатление громадное. <…> Общий голос, что творчество ширится и крепнет. Подробно напишу».

Чехов не скрыл от жены, что ждал первых известий: «Я все трусил и боялся». И почувствовал, что Немировича пьеса чем-то не устраивала. Владимир Иванович сам написал 27 октября: «Может быть, я не так горячо увлекаюсь пьесой, как, например, Конст. Серг. Он говорит, что ничего сильнее и талантливее ты еще никогда не писал. Но если я с этим не согласен, то и оспаривать не хочется, потому что в самом деле это очень сильная и талантливая вещь».

Все пьесы Чехова ставились в Художественном театре в

условиях непростых отношений между Немировичем и Станиславским. В годы сложной внутритеатральной жизни молодого театра, пристрастного внимания к нему публики и критиков. «Чайку» в 1898 году «директора» ставили вместе, уясняя для себя «своего» Чехова. Для Немировича — это лирический, поэтичный драматург. Для Станиславского — автор, передавший драматизм обыденной жизни. Работа над «Дядей Ваней» в 1899 году сопровождалась бесконфликтными поисками общего решения. Спектакль передавал по-своему конечное согласие постановщиков.

«Три сестры» Станиславский ставил уже без Немировича, по разным причинам оказавшегося почти в стороне. Может быть, и потому, что в этой пьесе ему недостало столь любимого им в Чехове лирического начала. Замечания о «Вишневом саде» в телеграмме и письмах Немировича, его фраза: «Для этой пьесы надо бы очень много труда со стороны Константина Сергеевича. К сожалению, он очень опустился физически и слишком бережет себя. Как мы будем режиссировать, — до сих пор мне не ясно», — не могли, наверно, не насторожить Чехова.

В «Вишневый сад», судя по письмам Чехова, было вложено колоссальное душевное усилие. Эта пьеса, как и «Чайка», тоже создавалась «против правил». В том числе в скрытом преодолении литературной и театральной «чеховщины». То есть моды на Чехова и на Художественный театр, которая сводила в то время писателя Чехова к певцу «грусти» и «сумерек», а открытия молодого московского театра к созданию всего лишь «чеховского настроения» с помощью бутафории, звукоподражания и т. п.

Чехов пошутил в письме к Лилиной, когда еще переписывал пьесу: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича». Может быть, он опасался, что ставить и играть «Вишневый сад» будут тщательно, оттачивая уже найденные, испытанные приемы. Тем самым вольно или невольно затушевывая новое и подчеркивая знакомое. Подобное произошло с «Ивановым» в 1889 году на сцене Александринского театра.

Признание Немировича, что пьеса не увлекла его, обнаружило ситуацию, по-своему повторявшую, видимо, то, что когда-то случилось в отношениях Чехова с Григоровичем, Плещеевым, Сувориным из-за «Лешего» и «Чайки». В их глазах «прежний» Чехов оказывался понятнее, лучше, талантливее «нового» Чехова. 20 октября пришла телеграмма Станиславского. Менее пространная, чем у Немировича, более эмоциональная, восторженная: «Потрясен, не могу опомниться. <…> Сердечно поздравляю гениального автора. <…> Благодарю за

доставленное уже и предстоящее большое наслаждение».

Чехов не любил таких похвал, даже самых искренних и написал Книппер 21 октября: «<…> это значит перехвалить пьесу и отнять у нее добрую половину успеха, какой она, при счастливых условиях, могла бы иметь».

Во всех первых откликах Чехова удивили «слезы», опять слезы. Он писал комедию, а Немирович упрекнул за «излишество в слезах». Книппер написала, что рыдала над последним актом, и передала слова Станиславского, что он тоже «в 4-м ревел сплошь». Станиславский сам уточнил в письме, почему он плакал: «Это не комедия, не фарс, как Вы писали, — это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали в последнем акте. Впечатление огромно, и это достигнуто полутонами, нежными, акварельными красками. В ней больше поэзии и лирики, сценичности; все роли, не исключая прохожего, — блестящи. <… > Боюсь, что все это слишком тонко для публики. <…> Увы, сколько глупостей придется читать и слышать о пьесе». Константин Сергеевич опасался и за театр. Пьеса, по его словам, требовала «слишком больших и тонких актеров, чтоб обнаружить все ее красоты. Мы не сможем этого сделать». И повторял: «Нет, для простого человека — это трагедия».

Ольга Леонардовна рассказывала о спорах вокруг ролей. Мнения автора и театра на этот счет расходились все заметнее. Рукопись пьесы почему-то оставалась у Книппер. С репетициями не спешили. Может быть, на самом деле пьеса не очень понравилась, разочаровала и его просто утешали хорошими словами?

Чехову, как и другим литераторам, не раз приходилось писать так, чтобы не обидеть автора, придерживать при себе мнение, если его не спрашивали напрямую. Не сказал же ему Горький то, что написал Пятницкому, услышав в чтении «Вишневый сад»: «Нового — ни слова. <…> это уже было в его пьесах. Конечно — красиво, и, разумеется, — со сцены повеет на публику зеленой тоской. А — о чем тоска — не знаю».

Однако Горький настойчиво просил отдать новую пьесу в сборник товарищества «Знание» за 1903 год, понимая, что это привлечет читателя. Чехов не отказал, но привел пункты из договора с Марксом, что публикация возможна в сборнике с благотворительной целью.

* * *

Еще месяца не прошло, как Чехов отослал пьесу в Москву, а

вокруг нее образовался вихрь слухов. В пресловутой московской газете «Новости дня», уже не однажды досаждавшей Чехову, появилась 19 октября неподписанная заметка Эфроса с пересказом содержания «Вишневого сада». Пересказа нелепого и ненужного. В некоторых действующих лицах, в авторских приемах злополучный Эфрос нашел что-то от прежних героев и приемов Чехова. И вообще пьеса, «написанная с редким даже для Чехова изяществом», — «тонкая вариация старой темы о дворянском оскудении».

Гнев Чехова, наверно, вобрал всё: его настроение, ожидание первых откликов, сами эти отзывы. Он написал Книппер в день, когда «Крымский курьер» и «Одесские новости» перепечатали заметку Эфроса: «У меня такое чувство, точно меня помоями опоили и облили». В письме от 3 ноября продолжил: «У меня такое чувство, будто я растил маленькую дочь, а Эфрос взял и растлил ее. Но смешно, что сегодня Немирович в „Новостях дня“ отвечает какой-то провинциальной газетке, кажется керченской, будто Эфрос передал содержание моей пьесы как следует. Или Немирович не читал „Новостей дня“, или он боится Эфроса, или у него какие-либо особые виды. Как бы ни было, но это скверно».

Самому Немировичу Чехов сразу послал телеграмму, потом в письме просил передать Эфросу, что прекращает с ним знакомство. Заступничество Немировича удивило Чехова, но ссориться с ним из-за этого «недоразумения» он не стал. Словно махнул рукой на всё, не имевшее смысла и значения в свете его главного чувства, которое он не раскрыл, но обозначил в письме Немировичу от 23 октября: «Живу одиноко, сижу на диете, кашляю, иногда злюсь, читать надоело — вот моя жизнь».

Судя по письмам, его расстраивало и распределение ролей. Он упорно говорил, что центральная роль — купец Лопахин, тот, кто купил на торгах имение, кто пытался спасти никчемных хозяев вишневого сада. И это не привычный образ купца, не «кулачок», не «крикун». Это, по его словам, «порядочный человек во всех смыслах», держится «благопристойно, интеллигентно, не мелко, без фокусов». И если эта роль не удастся, то пьеса провалится. Недаром Лопахина любит Варя, «серьезная и религиозная».

Кто же он, Ермолай Алексеевич Лопахин? В глазах промотавшегося владельца имения Гаева, он — хам, кулак. Студент Трофимов говорил ему: «У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа». От природы умный, удачливый, богатый. Но по ночам ему не спалось не из-за волнений по поводу рискованных финансовых проектов и сделок, а от мыслей о том, почему при таких природных богатствах так

беден русский человек. Красота цветущего мака, может быть, доставила ему больше радости, чем 40 тысяч прибыли от его продажи.

Странным был купец Алексей Лаптев из повести Чехова «Три года». Из тех, о ком в купеческой среде, в кругу героев Лейкина, говорили «полированный купец», то есть получивший образование. Он не желал богатства и, получив его, затосковал: «Лаптев был уверен, что миллионы и дело, к которому у него не лежала душа, испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба». Необычна владелица завода Анна Акимовна в рассказе Чехова «Бабье царство». Дочь рабочего унаследовала миллионное дело дяди и страшилась этого дела, не любила его и ощущала, что жизнь ее при таких-то деньгах «неинтересна и нелепа». Судьбу несчастливых наследников миллионов разделила героиня рассказа «Случай из практики».

Все они выходцы из низшего сословия. Богатства этого не наживали. Но Лопахин, сколотивший его упорным трудом («Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие…»), тоже несчастлив. Купив на торгах имение, где его дед и отец были крепостными, он говорил «со слезами» в финале своего торжества: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь».

Внук крепостного, сын лавочника написал о внуке крепостного, сыне лавочника, почти своем ровеснике. И настаивал: «Не надо, чтобы это непременно был купец. Это мягкий человек». Человек, удивлявшийся нравам в мире капитала: «Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей».

Беспокойство, которое угадывалось в Лопахине, не имело ничего общего с тем «чеховским настроением» («сумерки», «тоска», элегия на темы былого), которое приписывали Чехову и героям его пьес на подмостках провинциальной российской сцены. Оно передавало тревожное ожидание, предчувствие неведомых, непонятных, но неизбежных вечных перемен.

Чехов, наверно, опасался: не станет ли Художественный театр *перенастраивать* «Вишневый сад», играть его в своих тонах и полутонах, в каких играли «Дядю Ваню», «Три сестры»? Причем в условиях внутреннего конфликта между «директорами» и двух разных точек зрения на новую пьесу Чехова. В театре, по словам Книппер, была «нескладёха». Она говорила, что если Немирович уйдет из театра, то она не останется, да и театру будет плохо, так как Станиславский «не может стоять во главе дела. Несуразный он человек».

Немирович написал Чехову 28 октября: «И идет какая-то скрытая ерунда, недостойная нашего театра и портящая нам жизнь». В тот же день он объяснялся письмом со Станиславским, выплеснув обиду на то, что, несмотря на его труды, на успех его постановок, в театре подчеркивают: он «не художник» и «низводят» его дарования. Чехов успокаивал Немировича и говорил: «Если ты уйдешь, то и я уйду. <…> Очень бы мне теперь хотелось пойти в „Эрмитаж“, съесть там стерлядь и выпить бутылку вина. Когда-то я solo выпивал бутылку шампанского и не пьянел, потом пил коньяк и тоже не пьянел». В те времена Чехов шутил, что непьющий мужчина, на его взгляд, «мужчина не вполне».

Чехов будто не прямо, а косвенно давал понять в письмах Станиславскому и Немировичу, что, как он написал сестре и жене, надо быть умными и справедливыми, ценить то, что дано судьбой: здоровье, любимая работа, родные близкие люди.

Он рвался в Москву, ждал, когда установятся морозы. Но задерживали не только уговоры «лейб-медика», московская слякоть, но и нездоровье. Он еще сильнее похудел, сидел дома. Кашель уже не донимал, а мучил его. Отъезд откладывался и откладывался. Письма Чехова и Книппер в это время словно выдохлись. Похоже, оба писали по привычке. Его письма стали скорее ласковыми, чем нежными. Она перестала каяться и просить прощения, редко упоминала Марию Павловну, больше рассказывала о своих родных. В их переписке появилась интонация *усталости* от писем, похожих на отчеты за прожитый день.

В середине ноября 1903 года дурное расположение духа у Чехова превратилось в тяжелое, когда он даже боялся писать сестре и жене, чтобы «не нагрубить» и «не наговорить в письме глупостей». Казалось, что ничего ни с чем и ни с кем нельзя сделать. Кухарка готовила не по листу, оставленному Марией Павловной, а как привыкла. О даче под Москвой речи уже не было. Даже туалетную бумагу и ту не слали из Москвы, несмотря на неоднократные просьбы.

Евгения Яковлевна, почему-то усомнившись, что дочь приедет на Рождество, засобиралась в Москву, к «детям», и вдруг заявила, что они с Машей наймут отдельную квартиру. В письме сыну Ивану мать жаловалась на якобы козни невестки: «Ольга Леонардовна дождалась и уговорила Антошу, чтобы нас удалили. Бог с ней. Ему нас жалко, да ничего не поделаешь…»

Кажется, впервые за все последние годы Чехов упрекнул сестру и жену: «Мне подниматься на 3–4 этаж будет трудновато, да еще в шубе! Отчего вы не переменили квартиры? Ну, да все

равно, я буду в Москве сидеть дома. Схожу только в баню, да в ваш театр». Вскоре он отменил просьбу о бумаге, попросив у жены прощения: «У меня характер несносный, прости меня, дусик». Однако впал в «ворчанье» и иронию по поводу еще одного злополучного предмета — шубы, той самой, разговоры о которой велись с прошлогодней зимы. Книппер предлагала шубу на крестоватике, то есть из песцового меха, а воротник из под дельного котика. Она сочла, что 200 рублей — это не дешево, но и не дорого. Вопрос — из какого меха шить шубу, класть вату или гагачий пух — диктовался только одним соображением: Чехову тяжела была обыкновенная шуба. Книппер предложила котик потому, что, по ее словам, «его много носят, и теперь подделку не отличишь; он ведь мягкий, ласковый». Он ответил: «Неужели ты, лошадка, думаешь, что я на старости лет стану носить шубу или воротник из поддельного котика? <…> Ты скряга, между тем я отродясь не шил себе шубы, хотя расходовал очень много денег. Неужели будет нехорошо, если я сошью себе шубу за 300 или даже 400 р. (считая в том числе и шапку)? Вот подумай с Вишневским». Еще до этого письма Чехов в шутку просил жену не брать с собой Александра Леонидовича, потому что он «так важно держится в магазинах, что дерут всегда втридорога…». Книппер все-таки взяла в провожатые своего внушительного приятеля.

Туалетную бумагу она не слала два месяца потому, что решила, будто муж шутит, и была уверена, что бумага есть в Ялте. А лестница? Да, это «терзало» ее «адски», но что делать, теперь поздно искать новую квартиру: «К нам высоко, но зато воздух хороший в квартире. И душа будет у тебя покойна, и я буду за тобой ухаживать. Только бы скорей с ролью справиться, чтоб при тебе пошла бы только отделка и не было бы мучений».

Как во времена работы над предыдущими ролями, так и теперь Книппер заговорила репликами своей героини. Она искала тон к «своей» Раневской. Может быть, поэтому иногда ее письма мужу казались посланиями к тому человеку в Париже, о котором думала Любовь Андреевна. К человеку, которого Раневская любила вопреки рассудку, здравому смыслу, заботам о родной и приемной дочерях. Только его одного и любила и готова была оставить ради него всё и всех, отдать ему всё.

Книппер пребывала в радостном возбуждении и не скрывала этого: «Я вот пишу тебе и ежеминутно прерываю, начинаю думать о роли и забываюсь. Я это люблю. Какое мучение, пока не поймаешь основного тона, пока не влезешь в роль, как в перчатку!» Этим волнением она невольно оттеняла ялтинское заточение Чехова. Что-то происходило в театре. Там, наконец, приступили к репетициям «Вишневого сада». Но кто ставит? Как

распределились роли? Когда премьера? В Москве решалась судьба пьесы, а он сидел в Ялте.

В один из ноябрьских дней Чехов написал давнему знакомому: «Я все похварываю, начинаю уже стариться, скучаю здесь в Ялте и чувствую, как мимо меня уходит жизнь и как я не вижу много такого, что как литератор должен бы видеть. Вижу только и, к счастью, понимаю, что жизнь и люди становятся все лучше и лучше, умнее и честнее — это в главном, а что помельче, то уже слилось в моих глазах в одноцветное, серое поле, ибо уже не вижу, как прежде».

Осенью и зимой жизнь доходила до Ялты лишь в газетных сообщениях. Чехов внимательно прочитывал столичные и провинциальные издания. Суворин по-прежнему печатал свои «Маленькие письма». Рассуждал о событиях на Балканах, пророча сербам новые испытания. Назвал самые, на его взгляд, злободневные вопросы общественной жизни: земельный, рабочий, еврейский, театральный. Но остановился на главном: земельном, на судьбе помещичьего и мужицкого хозяйства в земледельческом государстве. В те же дни начал одно из «писем» наблюдением: «Двадцатый век зарекомендовал себя с первых же своих лет каким-то нервным подъемом и выдвинул вопросы, которые точно ожидали того, чтобы XIX век затворил за собою двери».

Он размышлял о жребии России, которая «молода и сильна», а то, что состарилось, то отваливается само по себе. Правда, как и в предыдущие годы, в дневнике был не столь оптимистичен: «Мне кажется, что не только я разваливаюсь, не только „Новое время“ разваливается, но разваливается Россия».

Осенью 1903 года особое волнение вызывали слухи о войне с Японией. Еще 30 сентября Чехов написал Книппер: «Сегодня в нашей газете крупными буквами напечатано, что флот ушел в Корею с запечатанными пакетами… Ой, уж не война ли?»

Всё это делало «ялтинское заточенье» невыносимым, Чехов чувствовал себя с каждым днем все хуже и хуже. Но оставаться долее один не мог. Куда угодно — в Москву, за границу, но только бы двигаться, сменить обстановку.

Он шутил: «Милая моя начальница, строгая жена, я буду питаться одной чечевицей, при входе Немировича и Станиславского буду почтительно вставать, только позволь мне приехать». «Позволение» последовало 29 ноября 1903 года. В Москве наконец-то установилась морозная погода. Как раз в этот день Чехов писал Книппер: «Если бы ты знала, как скучно стучит по крыше дождь, как мне хочется поглядеть на свою жену. Да есть ли у меня жена? Где она?»

* * *

В Москву Чехов приехал 4 декабря.

Его облик в канун нового, 1904 года сохранила любительская фотография. Перемена, происшедшая с Чеховым, сокрушительна. Чрезвычайно похудевший, он походил на тщедушного подростка. В выражении глаз угадывались измучившие его слабость и усталость. Современники запомнили свое удручающее впечатление. Россолимо описал в воспоминаниях, опираясь на свои дневниковые записи, встречу с Чеховым 16 декабря 1903 года: «Хоронили Алтухова, еще один товарищ-однокурсник доработался. На отпевании в университетской церкви меня взял за локоть Чехов. <…> Он очень изменился за последние полгода: похудел, пожелтел, и лицо покрылось множеством мелких морщин. И все-таки какое у него всегда доброе, славное и молодое лицо. Удивленно, с доброй, мечтательной улыбкой глядя вдаль из-под пенсне, он нежным баском подпевал хору».

Запись сохранила то, о чем говорили однокурсники. Чехов в шутку гадал, кто из них двоих раньше последует за Алтуховым. А когда они встречали на кладбище погребальное шествие, сказал о студенте и курсистке, которые шли впереди с венком «от учеников»: «Вот они, те, которые хоронят старое и вместе с ним вносят в царство смерти живые цветы и молодые надежды…»

В том, как в зимних сумерках втягивалась в кладбищенские ворота похоронная процессия, было, наверно, что-то схожее с тем сном, который повторялся в детские и отроческие годы Чехова («обвалившиеся ворота кладбища…»). А в разговоре о «царстве смерти» — с тем, что прочитывалось в его сочинениях и письмах: спокойное размышление о бренности всего живого, сущего. Казалось, ощущение недолговечности давным-давно не отпускало Чехова. Может быть, оно так же сопрягало рассказы, повести и пьесы, как и острое желание жизни, окрашивало будни. В том и другом просвечивало еще нечто…

Однажды, весной 1888 года, Чехов ответил из Сум, как часто в те годы, пространным письмом Суворину на его замечания о повести «Огни». Точнее, о споре героев. Один, инженер Ананьев, человек в годах («ни молод, ни стар»), любуясь насыпью железной дороги, говорил о «делах рук своих»: «В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человечьим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! <…> а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и — закипит машина! А?»

На этот панегирик студент Штенберг «пробормотал» в раздумье: «Когда-то на этом свете жили филистимляне и

амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдут тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые теперь спят после тяжелого труда, не останется и пыли. В сущности, это ужасно!»

Суворин остался недоволен спором, отсутствием ясного ответа. Чехов настаивал на своем: «Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как Бог, пессимизм и т. п. <…> Художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. <…> Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от не важных, уметь освещать фигуры и говорить их языком». Читателям он отводил роль присяжных, они «делают оценку».

В этом же письме Чехов передавал первые впечатления от новых мест. И «важными», судя по интонации, по очевидному интересу, ему показались «старые запущенные сады», «забитые наглухо, очень поэтичные и грустные усадьбы, в которых живут души красивых женщин, не говоря уж о старых, дышащих на ладан лакеях-крепостниках, о девицах, жаждущих самой шаблонной любви».

Он будто продолжил разговор своих героев о бренности, о неизбежности смерти, о бесследном исчезновении, как он написал Суворину в том же году в другом письме, не только усадеб, садов, но «массы племен, религий, языков, культур». Все увиденное тогда, летом 1888 года, показалось Чехову знакомым «по старинным повестям и сказкам». Через 15 лет, в пьесе «Вишневый сад», вдруг всплыли те давние впечатления: старый лакей-крепостник, наглухо забитый дом, души красивых женщин, девицы, ждущие замужества.

Однако ни на сказку, ни на старинную повесть в романтическом духе этот сюжет не походил. Запущенный вишневый сад начали вырубать, не дождавшись отъезда прежних хозяев. И дом обречен тоже. Гармония человека и природы, дома и сада разрушалась из-за нерадения прежних хозяев. Волею нового владельца она уничтожалась.

Старый верный лакей по недосмотру оставлен в запертом доме. А последняя ремарка — «Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву» — казалась созвучной настроению молодого героя повести «Огни», думавшего об исчезновении народов, городов, цивилизаций.

Но пьеса вызывала слезы у первых читателей. Словно был

услышан не звук струны, донесшийся «точно с неба», передававший бесконечное время и пространство, а только стук топора. Это удивило Чехова, как и перемена в некоторых суждениях Немировича.

Словно забыв, а может быть, и вправду запамятовав то, что он говорил об «Иванове» в 1889 году («но „Иванова“ я не буду считать в числе Ваших лучших вещей»), Немирович теперь восторгался им: «В школе ставлю 1-й акт „Иванова“. Вот это перл! Лучше всего, кажется, что тобой написано!»

Немирович не отказывался, а будто уклонялся от работы над пьесой: «Константину Сергеевичу как режиссеру надо дать в „Вишневом саде“ больше воли. Во-первых, он уже больше года ничего не ставил, и, стало быть, у него накопилось много и энергии режиссерской и фантазии, во-вторых, он великолепно тебя понимает, в-третьих, далеко ушел от своих причуд. Но, разумеется, я буду держать ухо востро».

Наверно, для уклонения были причины помимо тех, что таились в напряженных взаимоотношениях «директоров» театра в тот момент. Может быть, опасение Владимира Ивановича, что неуспех «Вишневого сада», если он и Станиславский не сладят с постановкой, будет именно неуспехом Художественного театра, а не пьесы?

Пьесы, к которой театр в то время выказал, по позднейшему признанию Немировича, недопонимание: «Чехов оттачивал свой реализм до символа, а уловить эту нежную ткань произведения Чехова театру долго не удавалось; может быть, театр брал его слишком грубыми руками…»

Сложилась коллизия — *тяжелая для театра и, вероятно, драматичная для Чехова.*

Сообщая знакомым о своем приезде, он уточнял: «Я теперь в Москве не живу, а только пробую, нельзя ли мне тут жить, и при первом кровохарканье или сильном кашле мне придется бежать отсюда в Крым или за границу». В первые дни он, приглашая кого-то к себе, говорил, что днем бывает на репетициях в Художественном театре. Но это продолжалось недолго. Сразу возникло и разрасталось взаимное раздражение автора и постановщиков.

* * *

В финале второго действия Фирс и Шарлотта, искали «порт-монет», потерянный Раневской, и звучала реплика гувернантки о Любови Андреевне: «Она и жизнь свою потеряла». Таким образом,

мотив потери, обозначившийся в первом действии, обретал в этой сцене более глубокий смысл, нежели грядущая утрата имения. Человек теряет жизнь или теряется в жизни? Жизнь обновляется вечно, как природа каждой весной, или обречена на исчезновение, забвение, как упомянутые в первой ремарке второго действия «заброшенная часовенка <…> большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами»?

Сцену Фирса и Шарлотты постановщики предложили сократить, она показалась им лишней. Станиславский рассказал в воспоминаниях, что Чехов «побледнел от боли <…> но, подумав и оправившись, ответил: „Сократите“». И никогда больше не возвращался к этому. Почему Чехов согласился на это, сократил сцену, оставил лишь монолог Шарлотты и перенес его в начало второго действия? Теперь трагическую исповедь гувернантки оттеняли следующие за ней пошлые реплики лакея Яши, ужимки горничной Дуняши, подражающей барыне, и сентенции претенциозного конторщика Епиходова.

Мейерхольд определил случившееся как потерю «ключа». Он написал Чехову после того, как увидел спектакль «Вишневый сад»: «Мне не совсем нравится исполнение этой пьесы в Москве. В общем. Так хочется сказать. Когда какой-нибудь автор гением своим вызывает к жизни свой театр, этот последний постигает секрет исполнения его пьес, находит ключ… Но если автор начинает совершенствовать технику и в творчестве своем поднимается в высоты, театр, как совокупность нескольких творцов, следовательно творец более тяжеловесный, начинает терять этот ключ. <…> Так, мне кажется, растерялся Художественный театр, когда приступил к вашему „Вишневому саду“. Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского. И режиссер должен уловить ее слухом прежде всего. В третьем акте на фоне глупого „топотанья“ — вот это „топотанье“ нужно услышать — незаметно для людей входит Ужас: „Вишневый сад продан“. Танцуют. „Продан“. Танцуют. И так до конца. <…> Веселье, в котором слышны звуки смерти».

В одном из декабрьских писем Станиславский признался, что будет рад «сбыть» постановку «Вишневого сада», чтобы почувствовать себя человеком, что «приехал автор и спутал» всех. Он уже сомневался в успехе, а какие-то возражения Чехова даже назвал «пощечиной» ему как режиссеру. Возражения, может быть, касались оформления первого акта — Чехову дом представлялся не запущенным, еще не разоренным, а режиссеру виделся в запустении, в упадке. Может быть, Чехов огорчился, что Станиславский, несмотря на его просьбу, выбрал для себя роль Гаева, а не Лопахина, и центр сместился?

Как бы то ни было, после одной из репетиций Чехов более не приходил в театр. Но в письмах об этом не упоминал. Из всех трудностей своей московской жизни сказал лишь о лестнице в доме Коровина: «Меня она замучила». Видимо, он почувствовал, что мешает, а сил настаивать не было, да и не в его привычках объясняться, упорствовать. Он смирялся. Всё свершалось помимо него. И в браке с Книппер, и в Художественном театре. В его письмах зазвучала прощальная нота. Это уловил и запомнил Бунин: «Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырех часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой.

Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она, в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:

— Не скучай без меня, дусик, впрочем, с Букишончиком тебе всегда хорошо… До свиданья, милый, — обращалась она ко мне. Я целовал ее руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги.

Он иногда мыл себе голову. Я старался развлекать его, рассказывал о себе, расспрашивал о семье. <…>

И не думал я в те дни, что они — наше последнее свидание.

Часа в четыре, а иногда совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами…

— Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик, ну, конечно, он с вами не скучал!

Я быстро вставал и прощался».

Они говорили о Ницце, куда собирался и вскоре уехал Бунин, и Чехов писал ему из Москвы: «Поклонитесь милому теплому солнцу, тихому морю, живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, не думайте о болезнях и пишите почаще Вашим друзьям». Ник кому, кажется, Чехов не относился с такой глубокой приязнью, как к Бунину, словно при всем различии ощущал с ним душевное родство, узнавал в нем себя. Отъезд Бунина, наверно, сделал пребывание Чехова в Москве еще более безрадостным. Рассказывала ли Книппер дома о том, что происходило на репетициях?

Немирович и Станиславский выясняли отношения, писали друг другу большие послания. В черновике одного из них Константин Сергеевич как будто подвел черту под историей репетиций пьесы, написал так, как тогда понял всё случившееся: «<…> Вы сами сознались, что постановкой „Вишневого сада“ Вы хотели что-то доказать. Вот в этом и заключается Ваша вина,

прежде всего перед Чеховым. Полуживой человек, из последних сил написал, быть может, свою лебединую песнь, а мы выбираем эту песнь, чтобы доказывать друг другу личные недоразумения. Это преступление перед искусством и жестоко по отношению к человеку».

Премьеру назначили на 17 января 1904 года, день рождения Чехова. Накануне Немирович уверял, что всё обстоит благополучно, «не к чему придраться» и что он «совершенно спокоен».

В день спектакля Чехов остался дома. Вечером принесли записку от Немировича: «Спектакль идет чудесно. Сейчас, после 2-го акта, вызывали тебя. Пришлось объявить, что тебя нет. Актеры просят, не приедешь ли к 3-му антракту, хотя теперь уж и не будут, вероятно, звать. Но им хочется тебя видеть». Чехов приехал.

Замышлялись его чествование, чтение адресов, телеграмм, и, конечно, речи. Качалов запомнил тот вечер: «Мертвенно-бледный, изредка покашливая в платок, он простоял на ногах, терпеливо и даже с улыбкой выслушивая приветственные речи. Когда публика начинала кричать: „Просим Антона Павловича сесть… Сядьте, Антон Павлович!..“ — он делал публике успокаивающие жесты рукой и продолжал стоять».

Потом, как рассказывал Качалов, Чехова привели в одну из грим-уборных. Горький возмущался: «Чёрт бы драл эту публику, этих чествователей! Чуть не на смерть зачествовали человека! <…> Ложитесь скорей, протяните ноги.

— Ложиться мне незачем и ноги протягивать еще не собираюсь, — отшучивался Антон Павлович. — А вот посижу с удовольствием».

Отдохнув, Чехов предложил Горькому: «Пойдем посмотрим, как „мои“ будут расставаться с вишневым садом, как начнут рубить деревья».

Слово «мои» могло быть шутливым откликом на слова из речи Немировича: «Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: это — мой театр».

Публика аплодировала. Как, впрочем, и всем другим речам…

Глава четырнадцатая. ЯЛТА-МОСКВА-БАДЕНВЕЙЛЕР

Ни в один день рождения за все прошедшие сорок четыре года не желали, наверно, имениннику столько здоровья и благополучия, как 17 января 1904 года.

В 1860 году, получив весть о появлении еще одного внука,

Егор Михайлович Чехов написал в Таганрог в стиле любимых духовных книг: «За таковую Милость Божию воссылаем Всевышнему Господу Богу чувствительно сердечную со слезами нашу благодарность, — призри с небес Боже и Человеколюбче, и виждь на виноград сей, Евгению и новорожденного сына ее Антония <…> и подаждь им благополучное здравие, силу и многолетие».

В 1904 году на сцене Художественного театра звучали не менее возвышенные слова, обращенные к Чехову: «Вы, как прежде Пушкин, Гоголь, Тургенев, ответили жизни только правдою, не желающею ни учить, ни утешать. <…> Она сделала Вас дорогим России, она завоевала Вам бессмертие не только в истории русской литературы, но и в истории русской жизни, куда перейдет имя Чехова в лучах неугасающей славы и неослабевающей признательности».

В приветствии редакции газеты «Русские ведомости» слышались отзвуки писем Соболевского к Чехову в предыдущие годы и привычная риторика этого издания: «Да звучит всегда Ваше Высокоталантливое слово в согласии с истинным биением русского сердца, да отражает оно ярко и ясно тяжелую действительность и мечты о лучшем будущем, да наступит скорее в Вашем творчестве момент, когда тоска сменится бодростью, грустные ноты — радостными…»

Адрес «Новостей дня» (в бархате, с золотыми буквами, но без подписей) тоже был выдержан в духе этой газеты и повторял банальные клише и комплименты последних лет: «В Вашем творчестве читатель встречает и смех над пошлостью пошлого человека, и простую правду жизни, и удивительную нежность красок. <…> Вы создали свою „Чеховскую манеру“, „Чеховское настроение“. <…> За Вашу любовь, за Вашу справедливость, за Вашу тоску, — вечное Вам спасибо, вечная слава!»

Почти каждый адрес и приветственная речь начинались в тот зимний вечер обращением: «Дорогой, многоуважаемый…» Качалов вспоминал, как актеры чуть не фыркнули и едва не засмеялись громко на тихую реплику Чехова — «шкаф»: «Ведь мы только что в первом акте слышали на сцене обращение Гаева — Станиславского к шкафу, начинавшееся словами: „Дорогой, многоуважаемый шкаф“».

Повод улыбнуться был у Чехова и Немировича во время приветственного слова Гольцева, любившего торжественные речи. Однажды они попали в дорожную катастрофу. Их пролетка столкнулась с трамваем. В ответ на реплику Владимира Ивановича: «Вот так, в один миг, могли мы и умереть» — Чехов пошутил: «Умереть — это бы ничего, а вот на могиле Гольцев

говорил бы прощальную речь — это гораздо хуже».

Многие приветствия звучали в тот вечер с прощальной нотой. В одном из адресов предрекался день, и очень скоро, когда Чехова «будут благодарно чествовать все русские писатели и всё русское образованное общество», которое «высоко уважает и любит» создателя «Вишневого сада».

Авторы имели в виду юбилей, 25-летие литературной деятельности Чехова. Но у современников, присутствовавших в театре, осталось в памяти ощущение, что этот день действительно «близок» и будет он печальным. Может быть, поэтому так мало воспоминаний о том, как прошел товарищеский ужин, как провел Чехов весь этот день. Сам он сказал о торжестве: «<…> меня чествовали, и так широко, радушно и в сущности так неожиданно, что я до сих пор никак не могу прийти в себя».

О спектакле Чехов отозвался кратко: «Вчера шла моя пьеса, настроение у меня поэтому неважное. Хочу удрать куда-ни-будь». Говорил, что актеры играли «растерянно и неярко». Это отчасти похоже на его слова о премьере «Чайки» в Александринском театре — «нерешительно», «тускло», «серо». Тогда Чехову показалось, что «сквозь отвратительную игру совсем не видно было пьесы». Теперь игра была добросовестной, старательной, но сквозь нее, может быть, автору тоже не было видно пьесы. Хотя зал был другой. На премьеру пришли литераторы, артисты, музыканты, художники, журналисты: Шаляпин, Нестеров, Рахманинов, Горький, Брюсов, Философов, Федотова. Среди тех, кто стоя приветствовал Чехова, было много добрых знакомых — Дроздова, Миролюбов, Якунчикова. Преобладала московская публика. Газеты наутро писали, что чествование вышло не пышным, не грандиозным, но сердечным.

Еще до премьеры «Вишневого сада» Чехов говорил о заграничной поездке. Называл Ниццу. Но с кем? У него недоставало сил на проклятую лестницу: «<…> всякий раз, когда взбираюсь, я испытываю настоящие мучения». Он именно «взбирался», а не поднимался. Оставалась все та же Ялта, где, как ему писали, было холодно. Но и в Москве, судя по письмам Чехова зимой 1904 года, не ощущалось никакой радости: «толкотня», гости, многочасовые разговоры и скрытое раздражение домашних. Это напряжение ощущали многие из тех, кто бывал в доме. Но оно возникло не сейчас, а было, наверно, всегда, едва Чехов, его жена и сестра оказывались на время под одной крышей. Будь то в Ялте или Москве. Мария Павловна демонстрировала, как умеет организовать диету, необходимую брату, наладить быт. Ольга Леонардовна доказывала, что тоже заботится о муже.

Скрытое выяснение отношений Чехов чувствовал и пытался снять его. Станиславский запомнил его шутку, что он хотел бы получить на день рождения мышеловку, клистирную трубку и носки: «Моя же жена за мной не смотрит. Она актриса. Я же в рваных носках хожу. Послушай, дуся, говорю я ей, у меня палец на правой ноге вылезает. Носи на левой, говорит».

Поток гостей не иссякал. Как когда-то в Мелихове, так и теперь иногда не успевали убрать со стола, приходилось накрывать заново. Но здесь, в Москве, не было спасительных деревенских припасов. Всё покупали не в лавочке, а в дорогих магазинах. После долгого перерыва Чехов упомянул денежные затруднения. Среди всей этой сутолоки он умудрялся править корректуру «Вишневого сада» для сборника «Знание», хотя Маркс, еще в октябре 1903 года, прослышав про новую пьесу, просил отдать ее в «Ниву». Чехов тогда ответил: «Пьеса уже отдана».

В начале февраля Маркс прислал гонорар за рассказ «Невеста», поступавший в его собственность. И не 250 рублей за печатный лист, имея на это формальное право, так как рассказ был напечатан до 26 января 1904 года, когда по договору Маркс должен был уже платить 450 рублей за лист. Он заплатил тысячу рублей. Это удивило Чехова. Деньги словно с неба свалились. Что случилось с расчетливым издателем? Дошли ли до него слухи о письме, подготовленном Горьким и Андреевым от имени многих литераторов, артистов, ученых с предложением «освободить» Чехова, то есть досрочно расторгнуть договор. Знал ли о том, что Чехов попросил ничего не предпринимать и, как слышал от кого-то Телешов, объяснил свой отказ так: «Я своей рукой подписывал договор с Марксом, и отрекаться мне от него неудобно. Если я продешевил, то, значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду осторожнее».

Но не домашние мелочи, не прошедшая премьера, а предстоящая зима в Ялте и, наверно, события на Дальнем Востоке влияли на настроение Чехова. В ночь на 27 января 1904 года японский флот атаковал русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артур. В этот же день появился *Высочайший манифест* Николая II о вступлении России в войну с Японией: «Объявляя о таковом решении Нашем, Мы с непоколебимою верою в помощь Всевышнего и в твердом уповании на единодушную готовность всех верных Наших подданных встать вместе с Нами на защиту отечества, призываем благословение Божие на доблестные Наши войска армии и флота».

В обществе поначалу бурно обсуждали судьбу двух поврежденных броненосцев, участь крейсера «Варяг». Развернулся

сбор средств на строительство и обновление русского флота. Поступали сведения о потерях в боях, о мужестве русских моряков.

Чехов читал газеты, слушал оживленные толки, но высказывался редко. Какая-то ироническая нота звучала в его рассказе о том, что «на улицах шумят по случаю войны, все чувствуют себя бодро, настроение приподнятое, и если будет то же самое и завтра, и через неделю, и через месяц, то японцам несдобровать».

Такая же тень угадывалась на словах из письма к Авиловой. Лидия Алексеевна загорелась мыслью издать сборник в пользу раненых. Чехов отговаривал, полагая, что собирать средства надо сейчас же, «в горячее время, когда не остыло еще желание жертвовать». По опыту сбора средств на борьбу с холерой, с голодом, на помощь чахоточным он знал, как быстро остывало желание помогать. И рассчитывал всегда на тех «отдельных людей», которые без шума, сразу делали то, что могли, посему и посоветовал Авиловой: «По-моему, лучше всего напечатать в журнале свой рассказ и потом гонорар пожертвовать в пользу Кр[асного] Креста».

Закончил это письмо от 14 февраля, видимо, в ответ на какие-то рассуждения корреспондентки, советом, звучавшим, как прощание: «Всего Вам хорошего, главное — будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы, — это еще вопрос».

Письмо было кратким. Чехов объяснил это тем, что сильно замерз, не отошел от поездки в Царицыно. Он и Книппер ездили смотреть дачу, обратно добирались на лошадях. Это было накануне отъезда Чехова в Ялту.

Назавтра Ольга Леонардовна проводила мужа, взяла у него ненужную в Крыму новую шубу и вернулась в московскую квартиру.

* * *

Опять началась переписка. Опять замелькали в письмах Книппер уменьшительные суффиксы («уютненько», «открыточка», «тряпочка», «нежненько»), передававшие стиль ее посланий к мужу. Опять пошли наказы — мыть шею, проветривать кабинет, шагать «по галерейке для движения» и т. д. И воображаемые «перелеты» в Ялту, чтобы всё устроить в доме. Как и прежде,

вослед ему неслось раскаяние: «Антонка, я тебя часто злила? Часто делала тебе неприятности? Прости, родной мой, золото мое, мне так стыдно каждый раз.<…> Какая я гадкая, Антон». И он опять уверял: «Когда ты раздражала меня? Господь с тобой! В этот приезд мы прожили с тобой необыкновенно, замечательно, я чувствовал себя, как вернувшийся с похода. Радость моя, спасибо тебе за то, что ты такая хорошая. <…> Будь весела и здорова. Твой А.».

У нее продолжилась московская, у него — ялтинская жизнь. Мария Павловна и Ольга Леонардовна вместе ходили в театр, в гости, принимали у себя Чеховых и Книпперов. И не вмешивались в «недомашнюю» жизнь друг друга. События в театре (уход Андреевой, соперницы по сцене), тревога за двух дядюшек, отправившихся на войну, волнения из-за маленького племянника, привезенного на консультацию к московским врачам, разгар театрально-концертного сезона — всё это не оставляло Книппер времени на одиночество. То ли в шутку радуясь за мужа, то ли упрекая его, она писала: «Вот видишь, что у нас происходит, а ты сидишь спокойненько, не волнуешься. Начал что-нибудь писать?»

В февральских письмах Чехова главное и серьезное словно скрывалось за шутками, угадывалось в интонациях: «<…> ты так избаловала меня, что, ложась спать и потом вставая, я боюсь, что не сумею раздеться и одеться»; — «Я уже все разобрал, все убрал, делать мне почти нечего»; — «Посылка пришла, и больше мне ждать уже нечего».

Узнав, что сестра и жена нашли новую квартиру с подъемником, он пошутил: «Если есть лифт, то это очень хорошо, но на мое счастье лифты всегда портятся; как мне подниматься, так лифт починяется». Шутил ли он, когда писал в эти же мартовские дни: «Если в конце июня и в июле буду здоров, то пойду на войну, буду у тебя проситься. Поеду врачом»? Или когда уверял жену: «Здоровье мое хорошо, московский климат, очевидно, поправил меня»? Это письмо от 10 марта 1904 года он закончил словами: «Тебе такого бы мужа надо, чтобы бил тебя каждый день, а со мной хоть разводись, я никуда не годен». В них слышалась какая-то усмешка, будто взгляд с другой стороны, откуда уже нет возврата.

Ощущалось, может быть, то, что он пережил в 1889 году, ухаживая за умиравшим братом Николаем, и что потом опосредованно отозвалось в повести «Скучная история», которую он писал тогда же. Вопреки признаниям в письмах тех дней: «Человек я малодушный, не умею смотреть прямо в глаза обстоятельствам» — Чехов единственный в семье не дерзко, но

прямо посмотрел в глаза обстоятельствам.

Некоторые симптомы неизлечимого недуга, ощущения человека, знающего, что он обречен и конец близок, Чехов передал, рассказывая о самочувствии героя «Скучной истории». Одно из них — это страх, что ему не удается встретить смерть по-христиански: без уныния, «со спокойной душой». Человек, которого, по его словам, не разрушили «такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч.», стал рабом злых чувств. И задался вопросом: откуда такая перемена? От краха каких-то представлений? Или от болезни? От мыслей, что через полгода он умрет, что судьба уже «приговорила к смертной казни»?

Однажды, летней «воробьиной ночью», ужас смерти разгорелся как «громадное зловещее зарево». Старый профессор, не желавший показываться коллегам-врачам, лечивший себя сам, посмотрел в глаза рока. Ни известное имя, ни радость от занятий любимой наукой, ни душевная воспитанность («Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня») — ничто, как он понял, не помешает ему умереть.

В другую ночь, в чужом городе, в гостинице, одинокий, Николай Степанович с усмешкой отвечал сам себе на свои вопросы: «Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в „Ниве“ и во „Всемирной иллюстрации“, свою биографию я читал даже в одном немецком журнале — и что же из этого? <…> Допустим, что я знаменит тысячу раз <…> во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но всё это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве… В этом, конечно, никто не виноват, но грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло».

Профессору думалось, что болезнь, страх смерти и домашние обстоятельства поработили его потому, что в его мыслях, чувствах, желаниях не было чего-то «главного, чего-то очень

важного <…> чего-то общего, что связывало бы всё это в одно целое». Не оказалось того, «что называется общей идеей, или богом живого человека».

И умный, добрый, так стремившийся познать себя человек сказал: «А коли нет этого, то значит, нет и ничего. <…> Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет».

Критика тогда, в 1889 году, сразу подхватила слова профессора об «общей идее, или боге живого человека» и муссировала долгие годы. Одни толковали их как отсутствие у героя религиозной идеи. Другие — как его крах в поисках смысла жизни. Полагали, что это признак эпохи безвременья, крушения идей 1860-х годов и т. д.

Говорили, что в этих словах тоска самого Чехова по идеалу, а быть может, его меланхолия. Его корили за то, что он замахнулся дать «общую идею» и не смог. Даже считали, что если спросить у автора «Скучной истории», что такое «бог живого человека», то он не ответил бы. Наверно, это была тайна, которая уже при появлении повести поразила современников, но так и оставалась неразгаданной. Шли годы, предлагались всё новые толкования. В 1900 году один из критиков счел «Скучную историю» центром всего написанного Чеховым и поставил свой диагноз болезни героя. Он якобы в процессе самопознания убил инстинкт жизни, погасил холодным дыханием логики «очаг» живого в своей душе. Но самому Чехову, по мнению этого критика, подобное не грозило. Его спасли дар сомнения и скорби, чувство света и красоты.

В финале повести старый профессор спрашивал себя, чего он хочет: «Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять… Дальше что? А дальше ничего».

Чего хотел автор «Скучной истории» теперь, спустя годы, наблюдая у себя ту же слабость, одышку, что когда-то у брата Николая?

Купить или снять дачу под Москвой, чтобы уехать из Ялты. Отправиться врачом на войну. Написать рассказ для «Русской мысли». Наладить в спектакле «Вишневый сад» в Художественном театре «звук лопнувшей струны», которым был недоволен, как когда-то и звуками «Чижика» в спектакле «Иванов» в Александринском театре.

Что хотя бы из этого было исполнимо? Или всё мечтания —

всё то же «насмешливое счастье»?

В те дни, весной 1904 года, Чехов, как вспоминал Альтшуллер, «чаще бывал молчалив, сосредоточенно задумчив, и он, никогда раньше не жаловавшийся на здоровье, говорил, что устал, что хочет по-настоящему отдохнуть, набраться сил»: «Все чаще заставал я его сидящим в кресле или в нише на диване, без газеты, без книги в руках».

Что-то из того времени удержала память Миши, племянника Чехова. Он, тогда подросток, приехал с родителями в Ялту. Часами сидел в кабинете ауткинского дома, рассматривая то, что лежало на письменном столе. Чехов догадывался, что нравилось мальчику, и отдавал. Однажды, выйдя к чаю, Чехов вдруг сказал: «Ложка собакой пахнет». Евгения Яковлевна стала уверять, что посуду в кухне моют хорошо. Юный гость догадался — сцена была разыграна для него: «Я закатился смехом и видел, как Антон Павлович, как бы исподтишка, улыбаясь глазами, поглядывал на меня».

Запомнил племянник и прогулку с дядей по ялтинской улице: «Он, худой, сгорбленный, тихо шел, опираясь на палку. Уличные мальчишки прыгали вокруг него, крича:

— Антошка-чахотка! Антошка-чахотка!»

Александр Павлович, возможно, приехал в Ялту попрощаться. Чехов рассказывал жене: «Брат Александр трезв, добр, интересен — вообще утешает меня своим поведением. И есть надежда, что не запьет, хотя, конечно, ручаться невозможно».

Братья вспоминали таганрогские годы, греческую школу, походы на кладбище, когда испытывали себя — хватит ли духу заглянуть в щель склепа. По возвращении из Ялты Александр благодарил в письме за беседы. Шутил, что его «пес, побывавший в Крыму, презирает столичных собак». Подписался «Tuus[20] *Гусев*» и добавил присловье покойного отца: «Всё, Антоша, надо понимать! Даже и то, что мухи воздух очищают». Чехов тоже ответил давней шуткой: «Будь здоров, подтяни брюки. Поклон твоему семейству. Твой А. Чехов». После поездки в Ялту Александр отдавал отчет, что, может быть, это была их последняя встреча с братом. С тем, чьи первые, еще гимназические опыты в драме он, тогда студент Московского университета, оценивал строго, давал читать «людям со вкусом», и те вынесли вердикт, что из молодого начинающего автора может выйти «дельный писатель».

Теперь, годы и годы спустя, тот, кого сравнивали с великими предшественниками, кого переводили на европейские языки, переживал премьеру «Вишневого сада». Услышав, что последний акт ужасно затянут, опять расстроился и написал Книппер в конце

марта: «Одно могу сказать: сгубил мне пьесу Станиславский. Ну, да Бог с ним».

«Вишневый сад» уже шел в провинции: Псков, Харьков, Таганрог, Херсон, Ростов-на-Дону, Тула, Казань, Ярославль и др. Со дня на день должен был появиться сборник товарищества «Знание» с этой пьесой.

* * *

В середине марта Маркс распорядился выслать Чехову две с половиной тысячи, гонорар за «Вишневый сад», и сообщил, что намерен опубликовать в «Ниве» фотографии московского спектакля. Для чего, по его словам, нужен оттиск пьесы.

Немирович прислал текст, Маркс приказал быстро набрать его и отправил корректуру в Ялту с просьбой посмотреть и вернуть. И уверил: «Само собой разумеется, что мое издание будет выпущено только после того, как пьеса будет Вами обнародована <…> как Вы предназначили на этот, раз в сборнике с благотворительной целью». Чехов выслал выправленную корректуру в конце апреля. Сборник все не появлялся, но Чехов полагался на «само собой разумеется» Маркса. Однако досадовал на «Знание», переживал, расстраивался. Чехову писали отовсюду, спрашивали, где достать «Вишневый сад». Он сердился на промедление и говорил: «Вообще не везет мне с пьесами, говорю это не шутя».

Чехову казалось, что вообще всё затягивается. Судя по письмам, ему уже надоедали бесконечные разговоры о царицынской даче, о даче вообще. Книппер ездила, смотрела. То одна, то со своими родными. Ездил по просьбе брата Иван Павлович. Расспрашивали тех, кто ранее жил на этой даче. После очередных смотрин Книппер восхитилась: «А когда там сирень кругом зацветет! Мы будем с тобой влюбленные. Ой, как захотелось настроений весны, счастья, запаха земли, молодой листвы!»

Вскоре театр уехал на гастроли в Петербург, и всё остановилось. Чехов написал жене в первые дни апреля: «Скоро я приеду, поговорю с тобой и покончим дачный вопрос, так или иначе». Ольга Леонардовна вообразила, что это влияние Марии Павловны, гостившей в Ялте, и рассердилась:. «Очевидно, ты раздумал, или отговорила тебя Маша. Да и лучше, решай ты это с Машей, а то целым синклитом ничего не выйдет, и я напрасно вмешиваюсь; а ты только раздваиваешься, не знаешь, кого слушать. Я лучше буду держаться в стороне. Ты не один, я всегда

забываю, не то, что я. Ну, довольно об этом». Это письмо от 5 апреля выдавало ее настроение, в том числе из-за рецензий.

В двух больших статьях в газете «Русь» А. В. Амфитеатров размашисто, мазками писал о «Вишневом саде», как о пьесе, где «символическая, образная мысль» преобладает над внешним действием. Как и Мейерхольд, он уподоблял ее симфониям Чайковского. Но говорил о героях не музыкальными терминами, а в прямолинейных выражениях, что и обидело Книппер.

Чехов прочитал статью, получил письмо Амфитеатрова и отозвался на него воспоминанием: «От этих Ваших рецензий так и повеяло на меня чем-то давним, но забытым, точно Вы родня мне или земляк, и живо встала у меня в памяти юбилейная картинка „Будильника“, где около Курепина и Кичеева стоим я, Вы <…> и кажется, что юбилей этот был лет сто или двести назад… <…> Пишу я теперь мало, читаю много. <…> Если буду здоров, то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент».

В ответ Амфитеатров написал 23 апреля: «Не ходите на войну, Антон Павлович: мерзко там… стыдно подумать, за что воюем, за что теряем тысячи людей. Весь Васильевский остров в трауре: семьи моряков».

Чехова более всех газетных откликов волновал сам спектакль, и он спрашивал Книппер 10 апреля: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы. Прости, но я уверяю тебя». Странный успех «Вишневого сада» отметил и Амфитеатров, когда несколько недель спустя перечитал пьесу и написал Чехову, что, по его мнению, при всем большом успехе пьесы «ни публика, ни критика еще не добрались до всей ее прелести и будут открывать в ней одну глубину за другою долго-долго, все более и более любя ее и к ней привыкая».

Может быть, особый успех в Петербурге объяснялся тем, что интонация спектакля вошла в резонанс с настроением публики, остро переживавшей трагедию русского флота на Дальнем Востоке. Броненосец «Петропавловск», флагман тихоокеанской эскадры, подорвался на мине 31 марта 1904 года. Среди погибших были вице-адмирал С. О. Макаров и художник В. В. Верещагин.

Всё происходившее где-то там, за тысячи верст, словно придвинулось на короткое время к столицам, и люди удивились на миг своей мирной жизни, ее обыденному течению. Видимое и невидимое, жизнь и смерть, комическое и трагическое, мирное и

катастрофическое, пошлое и высокое — всё одновременно. Всё рядом. Всегда…

Смешное и страшное уживалось, соседствовало, как у всех в реальной жизни, так и в жизни героев Чехова, в его повестях, рассказах и пьесах.

Пламя охватило избу: «Особенно было страшно то, что над огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где еще не знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике, как ни в чем не бывало» («Мужики»).

В доме тяжелобольной капризный человек и всем тягостно, а за окнами мягкий колокольный звон, где-то за садом слышно «стройное хоровое пение мужских голосов» («Расстройство компенсации»).

Обитатели имения играли в лото, а в соседней комнате молодой человек рвал свои рукописи и уходил, чтобы застрелиться («Чайка»).

Шла своим чередом служба, а в монастырских покоях умирал больной архиерей. И вот он умер, но всё продолжалось. И в праздничный день Пасхи «было весело, всё благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем» («Архиерей»).

Домашний бал, «вечерок», фокусы, танцы, играет еврейский оркестрик — уже не «хозяйка» вишневого сада и ее гости танцуют, а там за стенами — сад, даль, железная дорога, огромная страна, бесконечный мир («Вишневый сад»).

* * *

Когда-то, осенью 1896 года, Чехов объяснял Шавровой, почему ее рассказ показался ему «вялым». Как многочисленные предметы на поверхности пруда делают незаметным движение воды, так от обилия подробностей повествование кажется неподвижным.

Может быть, тонкие, умные, поэтичные и выразительные «подробности» скрывали «движение» пьесы в спектакле Художественного театра?

В январе 1900 года историк литературы Батюшков написал Чехову: «По-прежнему влечет меня к интересам современной действительности, хотя время переживаем неблагодарное <…>. Только не знаешь, откуда чаять движения воды. „Окрыляйте“ надежды и поддержите своим творчеством бодрость мысли». Чехов ответил вопросом: «А вы чаете? Движение есть, но оно, как движение земли вокруг солнца, невидимо для нас». Библейский

образ, использованный Батюшковым, — о множестве больных, «ожидающих движения воды», то есть исцеления водами после «возмущения» их ангелом Господним (Евангелие от Иоанна, глава пятая, стих третий) — был внятен Чехову.

Его природный дар — видеть незримое, понять неуловимое, рассказать о непередаваемом — развился в напряженном труде. И то, что открывалось некоторым героям Чехова силой и прозрением любви или предсмертного чувства, в самом Чехове, наверно, жило постоянно. Неизлечимая болезнь усилила этот необыкновенный талант, всегда и ото всех потаенный.

Весной 1890 года Чехов отказался спорить с Щегловым о некоей высшей нравственности. Неугомонный моралист рассчитывал на разговор о «вечном», на признания, на особую откровенность. Чехов свел притязания приятеля к земному, к своим обыкновенным грехам обыкновенного человека. И так было всегда.

Весной 1904 года Книппер, впадая в настроение, которое Чехов называл мерлехлюндией, спросила его: «Антонка, что такое жизнь? Я ничего не понимаю. Мне кажется, что я глупая, глупая, ограниченная». Он ответил 20 апреля: «Ты спрашиваешь: что такое жизнь? Это всё равно, что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего неизвестно».

Того, о чем думал он сам в эту зиму, одинокий, тяжело больной, не в силах ни писать, ни разговаривать, ни ходить, Чехов не открывал никому. По его письмам к Книппер выходило, что он здоров, что живется ему сносно, хотя на самом деле изматывали кишечные расстройства, и он принимал обезболивающие средства (героин, опий с висмутом).

Художник Коровин, навестивший Чехова в начале апреля, и годы спустя не забыл своего впечатления: «Я шел за ним и, помнится, обратил внимание на его подавшуюся под натиском болезни фигуру; он был худ и его плечи, остро выдаваясь, свидетельствовали об обессилившем его злом недуге…<…> Антон Павлович собирался ехать в Москву. Я не советовал ему делать этого — он выглядел совсем больным и сипло кашлял. <…> На всем лежала печать болезни и грусти».

Может быть, всё это бросилось Коровину в глаза и потому, что он смотрел взглядом профессионального художника, и потому, что, конечно, помнил Чехова давних лет, московские прогулки в Сокольники, встречи в мастерских. Помнил Чехова молодого, красивого, с «добрыми смеющимися глазами». Теперь болезнь отказала ему почти во всем. За обедом он спросил Коровина: «Отчего вы не пьете вино?.. Если бы я был здоров, я бы пил… Я так люблю вино…»

Коровин запомнил ялтинский кабинет: «В комнате Антона Павловича все было чисто прибрано, светло и просто — немножко, как у больных. Пахло креозотом. На столе стоял календарь и веером вставленные в особую подставку много фотографий — портреты артистов и знакомых. На стенах были тоже развешаны фотографии — тоже портреты, и среди них — Толстого, Михайловского, Суворина, Потапенко, Левитана и других». Когда Константин Алексеевич показал свои крымские работы — ночь, спящие большие корабли, — Чехов попросил оставить их ненадолго: «Я еще хочу посмотреть их, один…»

Настроение Чехова выдавали не жалобы на снег, дождь, ветер, а то, что он почти не работал. Ничего, по его словам, не «вытанцовывалось». Он рассказал Книппер: «Я работаю, но не совсем удачно. Мешает война, а в последние дни — расстройство кишечника. Всё кажется, будто по случаю войны никто читать не станет».

К прежним уподоблениям жизни в Ялте ссылке в «теплую Сибирь», на Камчатку, на необитаемый остров добавилось еще одно: «<…> я в этой Ялте одинок, как комета, и чувствую себя не особенно хорошо». Ему казалось, что летом, на подмосковной даче, удастся «пописать, подумать», половить рыбу новым способом, которому его научил Коровин: «Я так мечтаю о лете!» Шутил, что поймает одного лишь пескарика, да и «тот пой-мается из склонности к самоубийству». Он приписывал свое раздражение кашлю и крымскому климату, о котором сказал, что любит и презирает его, «как любят и презирают хорошеньких, но скверных женщин». Уже с марта спрашивал жену, когда ему тронуться в путь. В конце апреля писал Книппер: «Уеду я из Ялты не без удовольствия; скучно здесь, весны нет, да и нездоровится».

В желании скорее покинуть Ялту, хотя наступало хорошее время, разгар крымской весны, ощущалось какое-то особое беспокойство. Намерение поехать в июле или августе врачом на Дальний Восток — а он упорно говорил об этом — никем, видимо, не воспринималось всерьез.

Книппер писала на этот счет: «Ты хочешь на войну? А меня куда ты денешь? Лучше поживи со мной, оставь войну, а? Поудим рыбку лучше»; — «А ты все-таки на войну не езди, лучше со мной поживи, да если бы Бог привел, в царицынском домике! Славно, право»; — «Ах ты мой воин, чудак ты мой золотой!» В этом «чудачестве», в назначенном сроке (июль — август) было что-то странное, необъяснимое, сродни его некоторым не-сбывшимся желаниям: построить для себя отдельный дом в лесу, недалеко от Мелихова; совершить кругосветное плавание; иметь «живое утешение», то есть детей.

В письмах Чехова весной 1904 года все сильнее проступало настроение, когда-то подмеченное им у брата Николая в последние недели его жизни. Кротость и нежность. Как в начале романа с Книппер, Чехов опять изобретал для жены ласковые обращения: «радость моя», «собачка моя заморская», «супруга моя хорошая», «кашалотик мой милый», «милая моя, замечательная половинка», «лягушечка моя», «единственная женщина», «родная моя», «роднуля», «голубка», «жена моя великолепная», «женушка», «комарик мой», «милая моя конопляночка», «милый мой зяблик», «актрисуля моя хорошая».

Повторял, что любит ее больше всех на свете, и часто заканчивал письма жене словами: «Господь с тобой»; «Благословляю тебя», «Христос с тобой». Говорил ей, будто на память: «Не забывай о своем муже»; — «Помни, что я тебя люблю»; — «Вспоминай, думай обо мне»; — «Не забывай меня, думай иногда о человеке, с которым ты когда-то венчалась»; — «Живи и спи спокойно, мечтай и вспоминай о своем муже». Он готов был ехать к ней в Петербург.

Она писала почти каждый день, и он был благодарен ей безмерно: «Ведь я тебя люблю, и письма твои люблю, и твою игру на сцене, и твою манеру ходить. Не люблю только, когда ты долго болтаешься около рукомойника». В последнем письме из Петербурга в Ялту она написала мужу: «Дуся моя, ты тоскуешь, я это чувствую. Если бы я сумела сделать твою жизнь легкой, приятной, толковой! Я ничего не умею делать в жизни, треплюсь зря и других треплю. Зла никому не желаю, а вместе с тем как будто всем только зло делаю. А в душе всегда мечта о какой-то прекрасной возможной жизни…»

О летних планах она писала прямо: «В Ялту мне ужасно не хочется, откровенно говорю, там такая тяжкая атмосфера. Конечно, если тебе хочется и если это необходимо, то поеду, жить везде можно. <…> Будь здоров, дорогой мой, целую нежно, люблю тебя. Кланяюсь всем».

Чехов признался в последнем письме из Ялты: «Вчера я был нездоров, сегодня тоже, но сегодня мне все-таки легче; не ем ничего, кроме яиц и супа. Идет дождь, погода мерзкая, холодная. <…> Собачка, собачка, я так соскучился по тебе! <…> Ну, Христос с тобой, радость. Твой А».

* * *

В Москву Чехов выехал 1 мая. Дорога далась ему с трудом, он ничего не ел и приехал, по его выражению, «совершенно

развинченный». И не только не выходил из дома (квартиру сняли в Леонтьевском переулке, том самом, куда Чехов в 1882 году ходил в редакцию «Будильника»), Но даже не вставал с постели: жар, кашель, слабость.

Однако Ольга Леонардовна заговорила о поездке в Баденвейлер, немецкий курортный городок, а потом на Фирванштецкое озеро. Так посоветовал доктор Таубе, которому она доверяла.

В середине мая Чехов попрощался с сестрой. Она уезжала в Ялту на лето. Брат и сестра обсудили хозяйственные и денежные дела. В одном из последних разговоров Мария Павловна вдруг сказала, что готова занять место в ялтинской женской гимназии, если ей предложат. Чехов ничего не ответил…

Уже из Ялты она жаловалась брату Михаилу: «Сердце болит, что с ним будет? Ялтинские врачи говорят, что лучше бы сидеть в Ялте. Ольга Леонардовна была со мной очень сурова, и Антошу я почти не видела. Не смела войти к нему. Была мука». Это было преувеличение. Письма Марии Павловны к Ольге Леонардовне оставались ровными и доброжелательными: «У нас на даче очаровательно, но увы, ничто не радует, без Антоши не чувствуешь себя дома!» Она звала супругов в Ялту, удивлялась поездке за границу: «Разве Крым не может заменить ее? Я стараюсь отучить публику от нашего дома, думаю никуда не ходить и к себе никого не звать».

Почему-то жена и сестра полагали, что Чехову по силам сейчас дорога до Берлина или Ялты. Со дня приезда он был очень болен. Катар кишок и плеврит. Чехов принял рекомендации Таубе: диета, спиртовые компрессы и на ночь обезболивающее. Ему чуть полегчало, и он ругал Щуровского, Остроумова, всех врачей, лечивших его, говорил, что его мучили 20 лет. Словно сам не был врачом, будто не он избегал коллег, пока не случилось кровотечение 1897 года. Правда, Чехов тут же спохватился: «Ну да черт с ними, я зол и намучился, так что, быть может, и неправ».

К тому же вскоре Чехов засомневался и в Таубе. Тот предположил, что лихорадит больного из-за малярии, не поощрял массаж, хотя это снимало на время сильнейшие боли в спине, руках и ногах. Даже кофе, последнюю отраду, новый домашний доктор запретил больному. Целый месяц Чехов не выходил из дома. Лишь 31 мая он прокатился в коляске на мягких шинах по Тверской. Но это стоило больших усилий, и к вечеру он очень ослабел. От болей ему впрыскивали мышьяк, морфий, давали хинин. Однако поездку не откладывали. Уже были куплены билеты на 3 июня.

Впоследствии Книппер говорила Марии Павловне, что, если бы Таубе объяснил ей, насколько у больного слабое сердце и как далеко зашел процесс в легких, она ни за что и никуда не повезла бы мужа. Он или недооценил тяжести положения или, скорее всего, не решился быть столь определенным, как Остроумов, который еще год назад сказал Чехову, что длительная поездка для него губительна, невозможна. Ольга Леонардовна сомневалась, колебалась. Писала в Ялту, что муж «слаб для переезда». Но, по ее словам, он якобы сам хотел скорее уехать.

Весть о состоянии Чехова и его отъезде распространилась по Москве. Те, кто решился, приходили попрощаться: Гольцев, Куркин, Кундасова, Соболевский, университетские приятели. Воспоминания Гиляровского и Россолимо сохранили облик Чехова тех дней, его настроение и то, что он говорил при жене, не желая ее расстраивать, а что — наедине с гостем. Телешов запомнил, но не посмел воспроизвести слово, сказанное ему Чеховым при расставании: «Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать». Он не знал, как просто Чехов произносил это слово в обиходной речи («подохну с тоски», «подохну старым холостяком»), в приговорах самому себе. В 1889 году, когда его горизонт заволокла «нехорошая туча», близкая смерть брата Николая, Чехов обронил в одном из писем: «…если не подохну от тифа или чахотки…»

Ни у кого из тех, кто бывал в конце мая в Леонтьевском переулке, не оставалось сомнений: дни Чехова сочтены. Некоторые современники удивлялись и тогда и потом, зачем он согласился на поездку. Бунин мучился впоследствии этим вопросом и высказал догадку: «…может быть, он не хотел, чтобы его семья присутствовала при его смерти, хотел избавить всех своих от тяжелых впечатлений, а потому не возражал».

В Москве из близких около него была только жена. Иван Павлович приходил часто, но вдруг исчез. Чехов спрашивал о нем, не зная, что тот подходил к дому, но боялся, как он потом признался сестре, войти, не выдержать прощания. Михаил Павлович в Москву не приехал, хотя знал от Сытина, что брат очень, очень плох. Спросил в письме у Ивана. Тот ответил, что безнадежно плох. Михаил откликнулся 27 мая: «Жаль беднягу Антона. Жаль так, что хочется даже ругаться, обвинять, быть несправедливым. Если нужно, дай знать. Я немедленно приеду». А еще посоветовал Ивану жить спокойно, не волноваться, отдыхать, чтобы спать «крепко, сладко, безмятежно».

Никого из родных в день отъезда Чехова на вокзале не было.

Хотя он говорил, что полагает вернуться в Россию через месяц, но перед отъездом исполнил все просьбы, которые мог

выполнить, не выходя из дома. Оставил для отправки очередную книжную посылку в Таганрогскую библиотеку. Уезжал Чехов с одной заботой, крайне неприятной. Еще из Ялты он выслал Марксу 27 апреля выправленную корректуру «Вишневого сада». Маркс прислал 7 мая оттиски с просьбой — подписать листы, чтобы отдать их в набор, и приложить список действующих лиц. Чехов в письме от 18 мая попросил Пятницкого прислать ему первую страницу пьесы с этим списком, но уточнил: если сборник с «Вишневым садом» выйдет в ближайшие три-четыре дня, не присылать. Тогда Маркс набрал бы его уже по печатному изданию.

Вторая долгожданная книга «Сборник товарищества „Знание“ за 1903 год», задержавшаяся с выходом на несколько месяцев, наконец появилась 29 мая. В тот же день Пятницкий сообщил об этом Чехову. Но вдруг заговорил об «особом договоре» в случаях выпуска Марксом произведений Чехова, опубликованных в других изданиях. Якобы Чехов должен был заключить такое соглашение в связи с «Вишневым садом» и указать в договоре конец 1904 года как срок появления отдельного издания пьесы. Пятницкий опасался, что одновременный (или даже с разницей в три-четыре месяца) выход сборника и отдельного издания пьесы у Маркса подорвет финансовые интересы их издательства. Летом сборник будто бы разойдется мало, а потом и вовсе не раскупится, потому что все предпочтут отдельное издание.

Но Чехов ничего не знал об «особых договорах». Пятницкий не предупреждал его об этом. Он передал пьесу «собственнику» своих сочинений в марте, а в мае подписал листы. И без всяких соглашений или условий о сроках. Маркс обещал Чехову только одно — не выпускать раньше, чем выйдет сборник. Теперь мог и намеревался как можно скорее выпустить «Вишневый сад», так как интерес к пьесе возрастал день ото дня.

Чехов срочно написал Марксу 31 мая, что у него договор с книжной торговлей «Знания» — «не выпускать пьесы до определенного срока». Маркс ответил 2 июня телеграммой, что не может отложить выпуск книги, так как об этом объявлено в «Ниве» и вот-вот начнут поступать заказы. И ему, Марксу, «неудобно» отказывать читателям. Надо было предупредить его заранее, а теперь сделать ничего нельзя. Пятницкий советовался со столичными адвокатами. Те предлагали начать переговоры с Марксом, чуть ли не вступить с ним в тяжбу, указывали на формальные моменты. Чехов, не дожидаясь этих предложений, написал Пятницкому 2 июня: «Виноват во всем этом, конечно, я, так как не задержал у себя корректуры; виноваты и Вы, так как напомнили мне об этом задержании, когда „Сборник“ уже

вышел».

Формально Маркс сдержал свое слово — издать «Вишневый сад» после того, как появится сборник «Знания». Однако существовал негласный договор, по которому издатели только через год после публикации выпускали сочинение отдельным изданием. Маркс, когда ему это было нужно и выгодно, указывал конкурентам на этот «укоренившийся литературный обычай». Однако сам нарушал его не однажды, еще до истории с «Вишневым садом». Нарушил и на этот раз.

Задержка сборника из-за цензурных придирок; оплошность Пятницкого, спохватившегося слишком поздно; меркантильные расчеты Маркса и его издательские интересы — всё это поставило Чехова в тяжелое положение. Пятницкий корил его за непредусмотрительность и даже допустил в своем письме фразу: «Как бы высоко ни ценили мы данное произведение, мы не стали бы приобретать его для сборника, если бы знали, что оно одновременно будет отдано в другой сборник или в журнал, или для отдельного издания».

Пятницкий не ограничился упреками — он перечислил в своем письме расходы своего издательства на сборник, полагая, что теперь они не будут покрыты. Предвидел даже «значительные убытки». Ругал Маркса: «Это хищничество, не больше». Взыскивал с Чехова: «Нужно было из Москвы послать определенный протест. Нужно было не просить, а требовать».

На всё это Чехов ответил уже из-за границы. Он взял всю вину на себя, хотя речь шла всего лишь о предположениях Пятницкого насчет возможных убытков от возможно плохой продажи сборника. Чехов предложил два решения. Одно: он возвращает издательству «Знание» гонорар за «Вишневый сад» — 4500 рублей и возмещает будущие убытки, если таковые последуют. Другое: «Вы подаете на меня в суд (на что я даю Вам свое полное согласие, веря, что это нисколько не изменит наших хороших отношений); тогда я приглашаю <…> поверенного <…>, и он уж от меня ведет дело с Марксом, требуя от него пополнения убытков, которые Вы понесли и за которые я отвечаю». Сам он наотрез отказался от переговоров с Марксом: «Я прекращаю с ним всякие сношения, так как считаю себя обманутым мелко и глупо, да и всё, что бы я ни писал ему теперь, не имело бы для него ровно никакого значения».

Чехов принес свои извинения Пятницкому и добавил с иронией: «Что делать, у меня всегда случается что-нибудь с пьесой, и каждая моя пьеса почему-то рождается на свет со скандалом, и от своих пьес я не испытывал никогда обычного авторского, а что-то довольно странное». Письмо он закончил

словами: «Во всяком случае, Вы не волнуйтесь очень и не сердитесь; я в худшем положении, чем Вы». Он, конечно, имел в виду не деньги, которые предлагал вернуть, и не возможный судебный иск. Совсем другое, о чем вскользь сказал в последней строчке этого письма от 19 июня (2 июля): «Мне нездоровится».

Ему не нездоровилось — состояние было хуже некуда. Но с первого дня в Германии Чехов уверял родных и знакомых, что ему лучше. Писал: «Я выздоравливаю, или даже уже выздоровел»; — «<…> теперь всё обстоит благополучно»; — «Ноги прошли совершенно»; — «<…> я хорошо сплю, великолепно ем, только одышка <…>. Здоровье входит не золотниками, а пудами»; — «Здоровье мое поправляется, и надо думать, что через неделю я буду уже совсем здоров». Чехову так понравился оборот о «пудах» и «золотниках», что он его повторял в письмах, будто переиначил пословицу: беда приходит пудами, а уходит золотниками. Словно шутил, вспоминая свое «насмешливое счастье» и полагая, что очевидцы поведают, как было на самом деле.

Берлинский корреспондент газеты «Русские ведомости» Г. Б. Иоллос рассказывал в письме Соболевскому: «В Берлине ему трудно было подняться на маленькую лестницу Потсдамского вокзала; несколько минут он сидел, обессиленный и тяжело дыша».

В Берлине Чехова обследовал по письменной просьбе Таубе тамошнее светило, доктор Эвальд. Немецкий профессор, кажется, был удивлен сверх меры. Не безнадежно больным русским, но своим московским коллегой, пославшим обреченного человека в далекий путь. Книппер вспоминала, что доктор, выслушав и выстукав больного, встал, пожал плечами, ничего не сказал ни ей, ни Чехову, попрощался и вышел из просторного номера гостиницы «Савой».

* * *

В Баденвейлере, тихом городке с чудесным видом на долину Рейна, Чехов и Книппер остановились в отеле «Ромербад». Через два дня они переехали на виллу «Фридерике», потом в отель «Зоммер», в номер с балконом. Из-за одышки Чехов с трудом поднимался по лестнице, поэтому редко покидал комнату. Он сразу заговорил о скуке и стал «помышлять», куда бы «удрать».

Местный доктор Швёрер, также рекомендованный Таубе, находил, что странно было везти столь далеко такого больного человека. Он сомневался — по силам ли Чехову возвращение.

Ночами Чехов не спал, дремал полулежа. Днем сидел в

кресле на балконе. Иногда супруги катались в экипаже. Вечерами он раскладывал пасьянс. Ольга Леонардовна изредка отлучалась в швейцарский Базель, к дантисту. В один из дней Книппер ездила в соседний Фрайбург — заказать мужу светлый фланелевый костюм, так как наступила жара.

Чехов писал: «Хочется отсюда поехать на озеро Комо и пожить там немножко; итальянские озера славятся своей красотой, и жить там удобно, недорого». На то самое озеро, на которое он стремился столько лет.

Еще 26 июня (9 июля) Чехов уверял сестру: «Здоровье мое становится все лучше, крепче, ем я достаточно. <…> Кстати сказать, я уже сплю хорошо, как и прежде, очевидно, дела мои по части здравия пошли на поправку по-настоящему. <…> Целую тебя и желаю всяких благ. Твой Антон».

Через два дня написал ей, что поездке на озера не бывать, так как «там все разбежались от жары», но все равно он хочет выехать отсюда. Упомянул одышку, «которая усиливается от малейшего пустяка». И пошутил, ставя диагноз и давая последний медицинский совет самому себе: «Очевидно, желудок мой испорчен безнадежно, поправить его едва ли возможно чем-нибудь, кроме поста, т. е. не есть ничего — и баста. А от одышки единственное лекарство — это не двигаться».

Во вторник, 29 июня (12 июля) состояние Чехова резко ухудшилось. Ему давали кислород, клали лед на сердце, кололи морфий. Ночью он бредил…

В среду, 30 июня, Чехов весь день сидел в подушках, потому что лежа он задыхался. Но к вечеру устал сидеть в кровати и пересел в кресло. Ночью опять не мог заснуть и попросил морфия. Электричество в комнате выключили, так как свет резал глаза, и зажгли свечу.

В четверг, 1 июля, стихла боль, уменьшилась одышка. Чехов сидел в кресле, раскладывал пасьянс «тринадцать». Вечером он рассказал Книппер выдуманный им сюжет. Как богатые курортники ожидают после целого дня «отдыха» обильный ужин. Время идет, и вдруг выясняется, что повар сбежал…

В ночь на 2 июля Чехов проснулся от удушья. То бредил, то засыпал. В два часа ночи, по его просьбе, послали за врачом. Вошедшему доктору Швёреру он сказал по-немецки: «Ich sterbe» — «Я умираю».

Ему дали кислород, впрыснули камфару…

Доктор попросил одного из живших в пансионе русских студентов спуститься вниз и принести от швейцара бутылку шампанского. Почти полный бокал он подал Чехову.

Со словами — «давно я не пил шампанского» — Чехов выпил

до дна…

Вдруг что-то на мгновение заклокотало в его горле. В полной тишине доктор держал его правую руку. Несколько минут следил за пульсом…

* * *

Известие о смерти Чехова донеслось до России раньше, чем туда пришло его последнее письмо. В нем он писал, что хочет проплыть от Триеста до Одессы на пароходе: «Для меня это была бы незаменимая прогулка <…>. Если будет немножко жарко, то это не беда; у меня будет костюм из фланели. А по железной дороге, признаться, я побаиваюсь ехать. <…> Да и по железной дороге приедешь домой скорей, чем нужно, а я еще не нагулялся».

Бунин в письме родным Чехова в Ялту спрашивал в начале июля, где он, как его здоровье. Впоследствии вспоминал, как поехал в село, за почтой, «взял там газеты и письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу»: «Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге Кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула по сердцу».

* * *

В неоконченной книге Бунина о Чехове есть запись: «Что думал он о смерти? Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор:

— Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие — вздор.

Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:

— Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам это…»

И сразу за этой записью:

«Последнее время часто мечтал вслух:

— Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот… — Его „Архиерей“ прошел незамеченным…»

Бунин почувствовал неуловимую связь между признанием Чехова и его предсмертным рассказом — одним из самых потаенных и автобиографичных.

Герой, сын многодетного дьякона из бедного села, до пятнадцати лет «учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку». Но потом кончил семинарию и академию, принял постриг, защитил диссертацию: «Когда ему было 32 года, его сделали ректором семинарии <…> и тогда жизнь <…> казалась длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп и, по совету докторов, должен был бросить всё и уехать за границу».

Там, у теплого моря, он служил в новой белой церкви, «много читал, часто писал», тосковал по родине. Через годы вернулся в Россию, стал архиереем, «и всё прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось…».

Последние дни архиерея пришлись на Страстную седмицу. Заболевший брюшным тифом, слабеющий, он продолжал служить. Слушая стройное, вдохновенное пение монахов, он «уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность <…> и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает!»

В субботу, утром, «часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. <…> Преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что всё то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

„Как хорошо! — думал он. — Как хорошо!“ <…> Пришла старуха мать <…> и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного. <…> А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!».

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Чеховы. Стоят (слева направо): Евгения Яковлевна, Павел Егорович, Митрофан Егорович; сидят: Ефросинья Емельяновна, Егор Михайлович, Людмила Павловна

Таганрог. На море. Открытка конца XIX в.

Семья Чеховых. Сидят (слева направо): Михаил, Мария, Павел Егорович, Евгения Яковлевна, Людмила Павловна, Георгий; стоят: Иван, Антон, Николай, Александр, Митрофан Егорович. 1874 г.

Антон Чехов. Фото 1874 г. (фрагмент)

Таганрогская классическая мужская гимназия, где учился Чехов

Зрительный зал Таганрогского театра. 1870-е гг.

Москва. Открытка конца XIX в.

Антон Чехов. Фото 1880 г.

Антон Чехов с братом Николаем

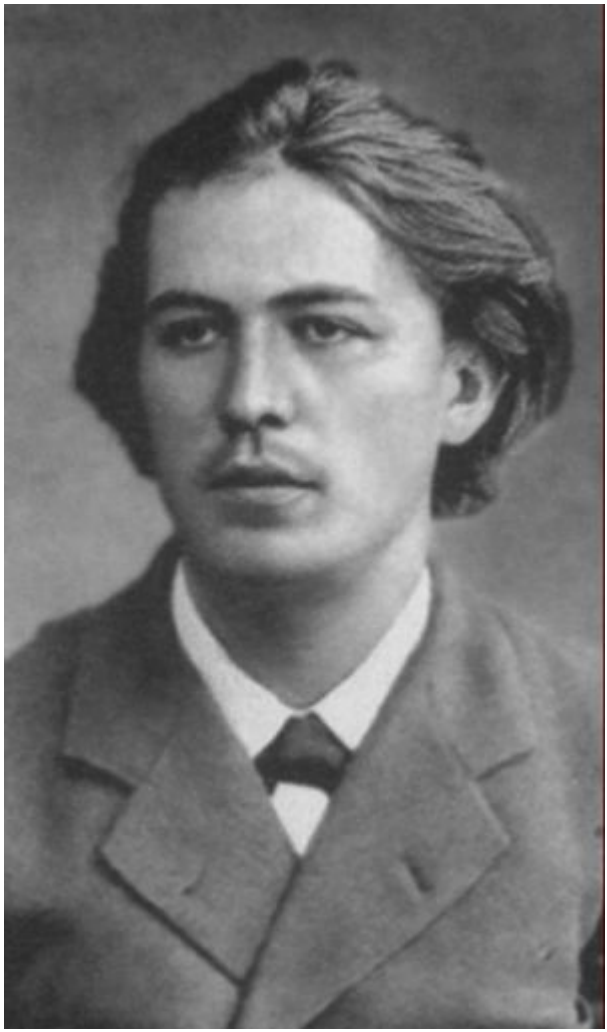
Александр Чехов. Фото 1881 г.

«Татьянин день в Москве». Рисунок Н. Чехова в журнале «Будильник». 1882 г.

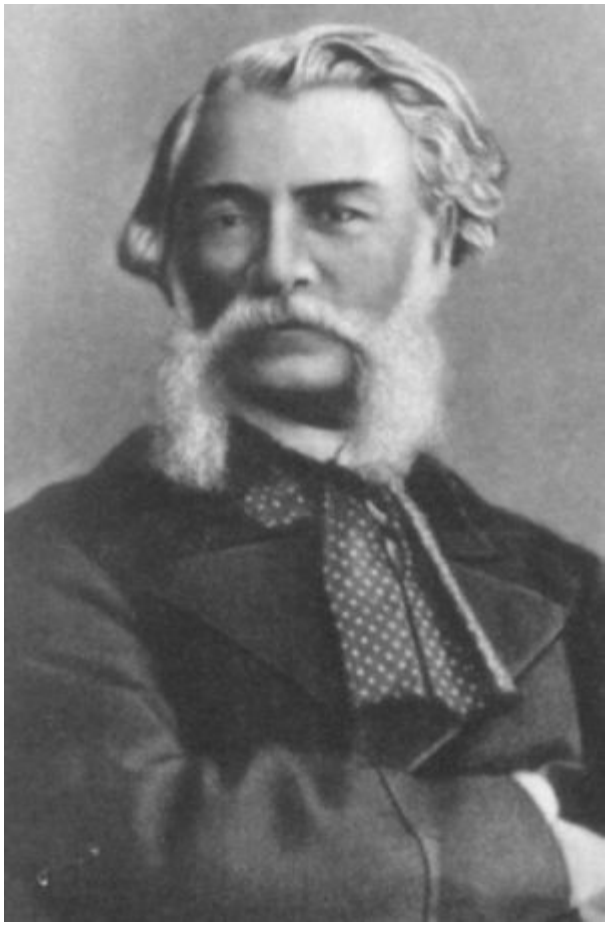
Портрет А. П. Чехова работы Н. Чехова. 1884 г.

Студенты медицинского факультета Московского университета. Чехов — второй слева.

Фото 1883 г.



Чехов в студенческие годы



Д. В. Григорович

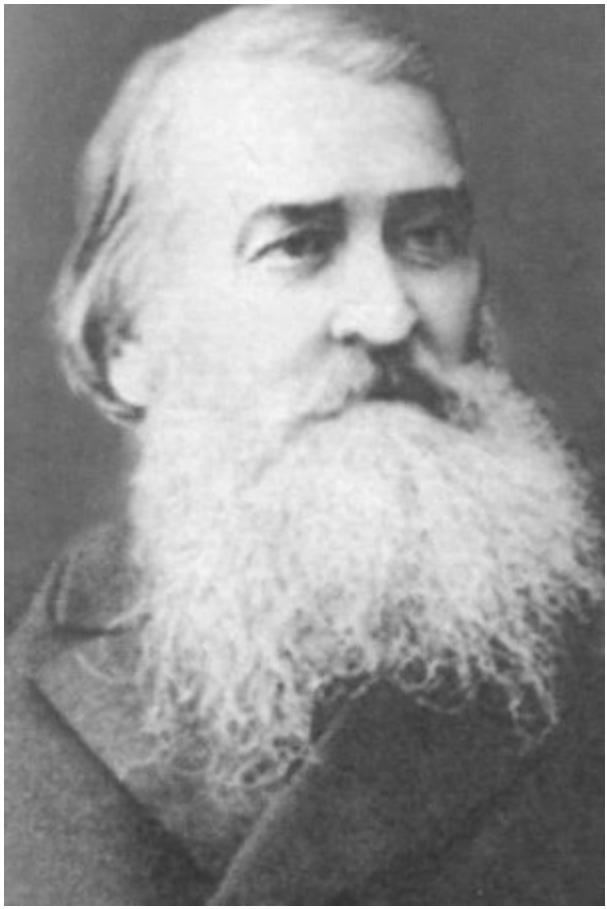
Н. С. Лесков

Н. А. Лейкин

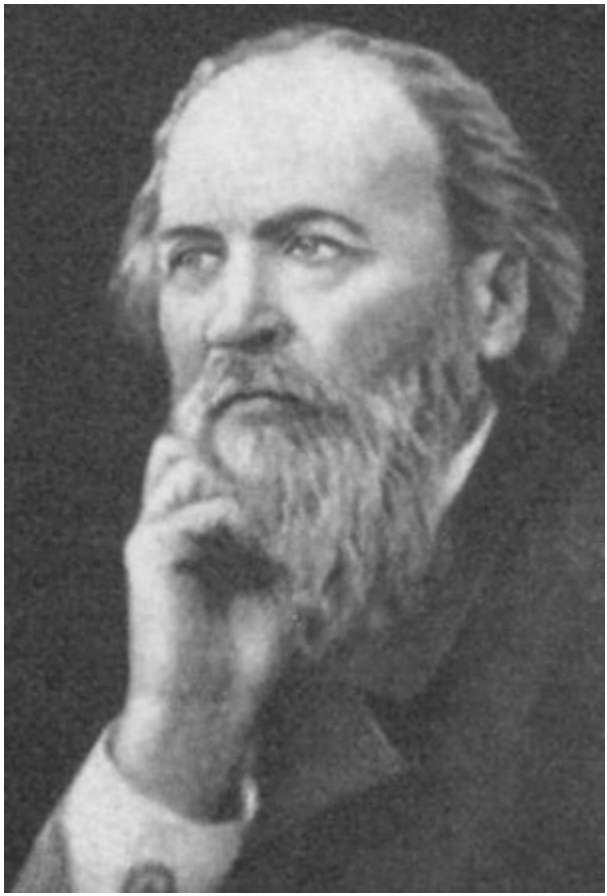
В. Г. Короленко

Чехов с актерами П. М. Свободиным и В. Н. Давыдовым. Справа — А. С. Суворин.

И. И. Левитан. Фото с дарственной надписью: «Милому А. Чехову. И. Левитан. 1887 г.»



А. Н. Плещеев



А. Н. Плещеев

П. И. Чайковский. Фото с дарственной надписью: «А. П. Чехову от пламенного почитателя. П. Чайковский. 14 окт. 89.»

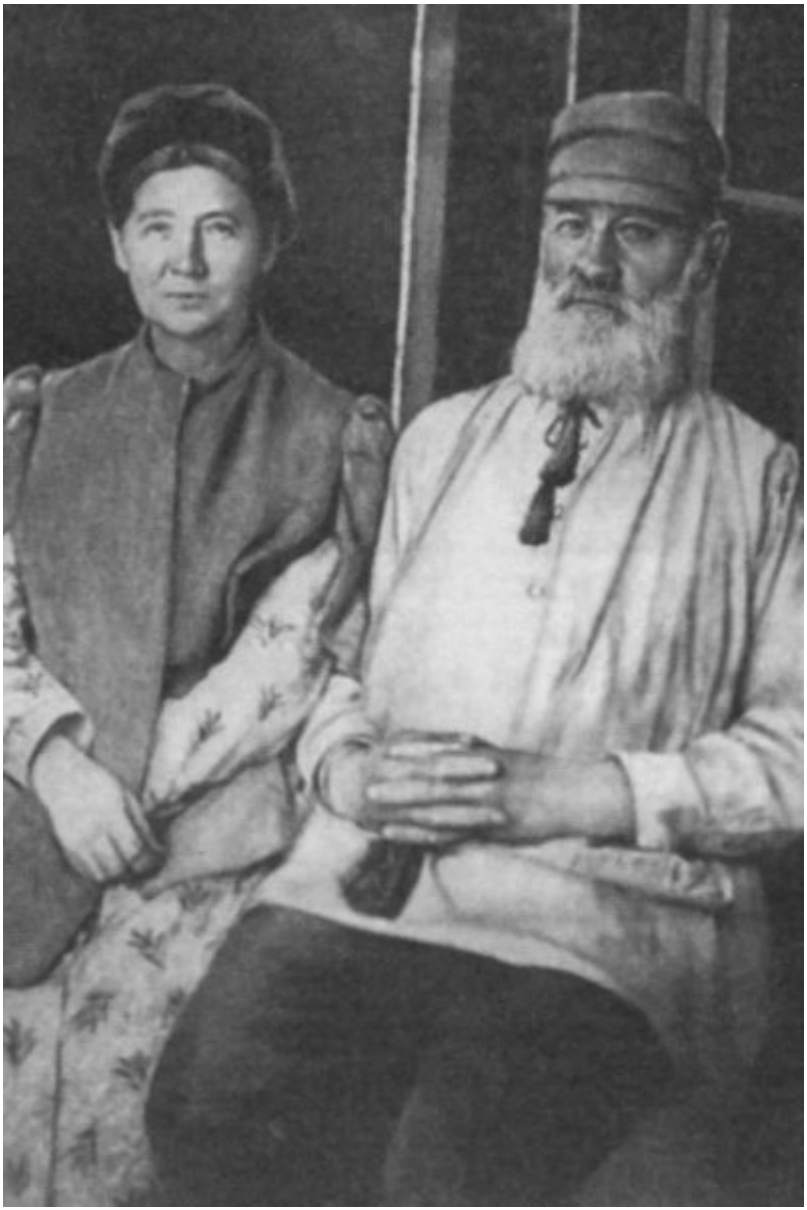
Карикатура на Чехова в журнале «Осколки». Художник М. Далькевич. 1889 г.

Чехов (сидит на переднем плане справа) с семьей и друзьями перед отъездом на Сахалин

Сахалинские каторжники, прикованные к тачкам

Чехов на пароходе «Петербург». Фото 1890 г.

Чехов в Мелихове. Его и брата Михаила везет в тачке писатель Владимир Гиляровский



Мать и отец Чехова в Мелихове. Фото 1892 г.

За столом — Мария Чехова и Лика Мизинова

Шарж Михаила Чехова на сестру Марию. 1892 г.

Чехов в Мелихове. Фото 1893 г.

А. П. Чехов. Фото Ф. Опитца. 1901 г.

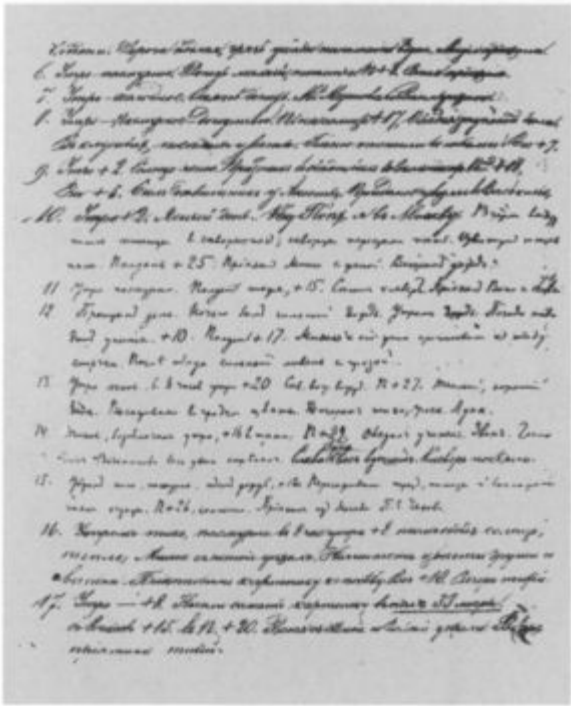
Чехов с сотрудниками журнала «Русская мысль». Фото 1893 г.

Т. Л. Щепкина- Куперник, Л. Б. Яворская, А. П. Чехов. Фото 1894 г.

А. П. Чехов, Д. Н. Мамин- Сибиряк, И. Н. Потапенко. Фото 1896 г.

Е. М. Шаврова. Фото 1890-х гг.

Чехов и Лика Мизинова в Мелихове. Фото 1897 г.



Страница мелиховского дневника Павла Егоровича Чехова. Часть записей сделана А. П. Чеховым

Лидия Авилова

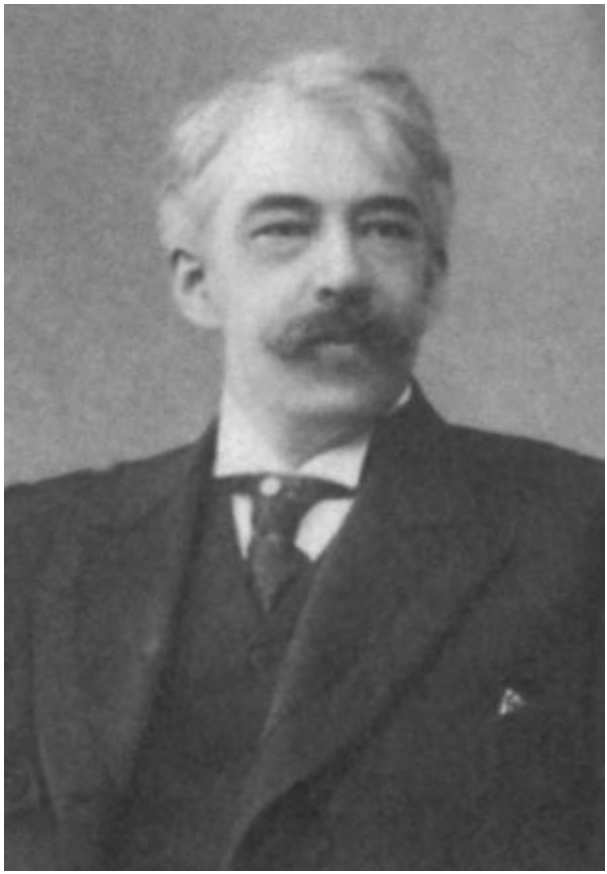
В. Ф. Комиссаржевская в роли Заречной. «Чайка». Александринский театр. Фото 1896 г.

Чехов на прогулке в Ницце. Рисунок А. А. Хотяинцевой

Чехов в Мелихове

Чехов на ступеньках мелиховского дома. Фото 1897 г.

Вл. И. Немирович- Данченко



К. С. Станиславский

Портрет Чехова работы И. Э. Браза. 1898 г.

Чехов с актерами МХТ. Четвертая слева(сидит) — Ольга Книппер

Чехов и О. Л. Книппер- Чехова. Фото 1901 г.

«Белая дача» Чехова в Ялте

Чехов в своем кабинете. Ялта, 1900 г.

Чехов и Максим Горький в Ялте. 1900 г.

Чехов и Лев Толстой. Гаспра, 1901 г.

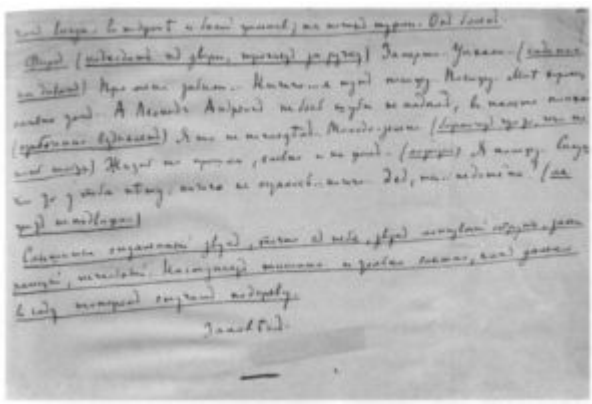
Стоят: М. П. Чехова, О. Л. Книппер-Чехова, сидят: Е. Я. Чехова, А. П. Чехов. Ялта, 1902 г.

Портрет Чехова работы В. А. Серова. 1902 г.

Чехов возле своего дома. Ялта, 1904 г.

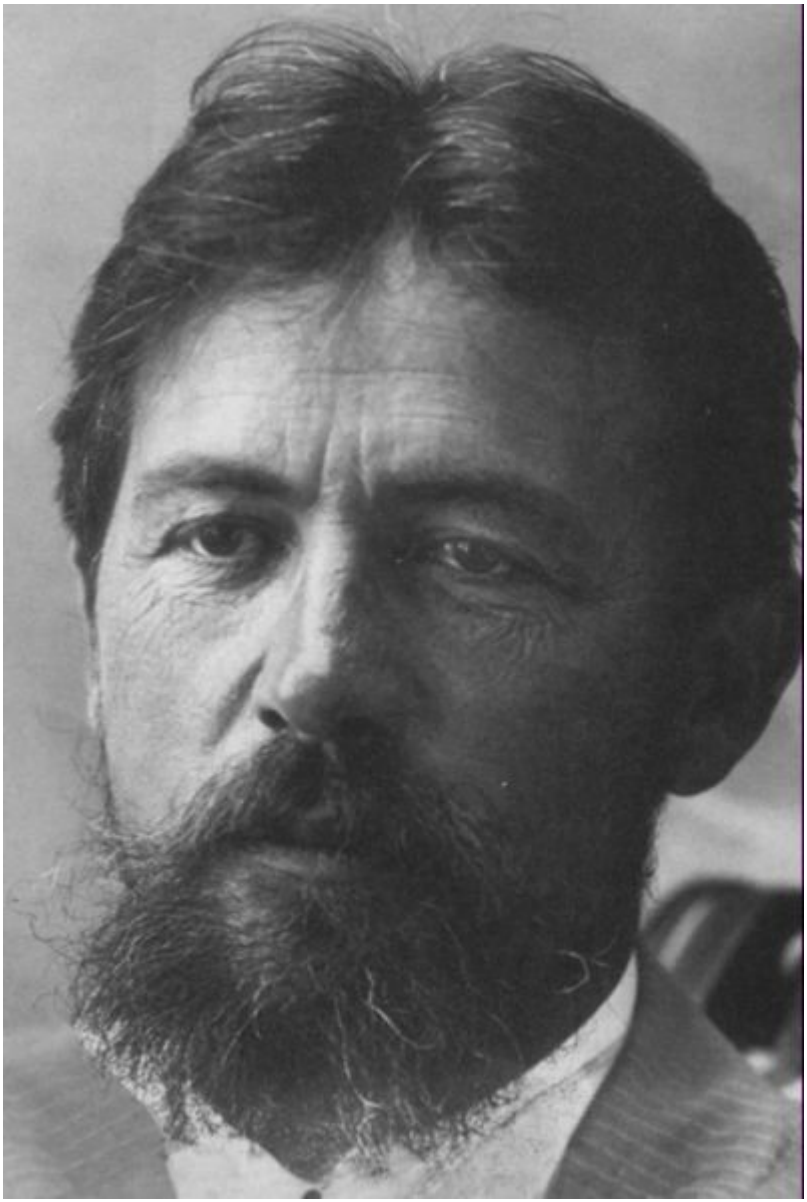
И. А. Бунин. Фото с дарственной надписью: «Дорогому и глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову. 20 февр. 1901 г.»

Чехов и Г. И. Россолимо. Фото 1903 г.



Последняя страница рукописи «Вишневого сада»

Могила писателя на Новодевичьем кладбище



Последнее фото А. П. Чехова. 1904 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. П. ЧЕХОВА

1860, 17(29) января — у Павла Егоровича и Евгении Яковлевны Чеховых родился третий сын.

27 января — младенец крещен в Успенском соборе Таганрога и наречен Антонием.

1867 — Антон и его брат Николай обучаются в греческой приходской школе.

1868 — поступает в приготовительный класс Таганрогской мужской гимназии.

1869–1875 — после уроков помогает отцу в лавке, иногда заменяет его.

1871–1873 — летом гостит у дедушки и бабушки в слободе Княжая.

1874 — семья Чеховых переезжает в собственный дом, где живет в полном составе один год.

1877–1879 — остается в родном городе один после отъезда родных в Москву. Учится в гимназии, подрабатывает уроками, продает домашнее имущество, посылает деньги в Москву, где семья Чеховых живет в крайней нужде. Много читает, увлекается театром, пишет первые драматические произведения.

1879 — заканчивает гимназию, покидает Таганрог. Подает прошение в Московский университет о приеме на медицинский факультет. 1879–1884 — учится в университете, репетиторствует, часто бывает в театре. Печатается под многочисленными псевдонимами в московских и петербургских журналах и газетах.

1884 — заканчивает университет, получает свидетельство о степени лекаря и звании уездного врача, начинает собственную врачебную практику. В декабре у Чехова случается первое легочное кровотечение. Выходит в свет его первая книга «Сказки Мельпомены».

1885 — основным денежным источником семьи остаются литературные гонорары Чехова. Летом семья отдыхает в имении Киселевых в Бабкине, недалеко от Воскресенска. В конце года Чехов едет в Петербург. Встречается с журналистом и издателем А. С. Сувориным и писателем Д. В. Григоровичем, с которыми завяжутся многолетние отношения и переписка.

1886 — начинает публиковаться под своей настоящей фамилией в столичной газете «Новое время». Выходит в свет книга «Пестрые рассказы».

1887 — в печати появляются новые рассказы. Выходят книги

«В сумерках», «Невинные речи». Весной едет на юг, путешествует по родным местам (Таганрог, Новочеркасск, Славянск). Знакомится с В. Г. Короленко. Работает над комедией «Иванов». Премьера состоялась осенью в Русском драматическом театре Ф. А. Корша (Москва). Окончательно отходит от юмористических журналов. О его произведениях спорят критики и читатели.

1888 — пишет повести «Степь», «Огни» и рассказ «Именины», которые печатает журнал «Северный вестник». Летом отдыхает с родными в имении Линтваревых под Сумами в Харьковской губернии. Чехова все чаще беспокоят кашель и кровохарканье. За сборник «В сумерках» получает половинную Пушкинскую премию (500 рублей). Знакомится с П. И. Чайковским.

1889 — в печати появляются повесть «Скучная история», рассказы «Пари» и «Княгиня», водевиль «Предложение». Выходит в свет сборник рассказов «Детвора». В начале года на сцене Александринского театра в Петербурге с успехом идет пьеса «Иванов».

Апрель — семья снова едет на дачу к Линтваревым. Чехов привозит туда больного брата Николая, который в июне умирает от чахотки. Июль — уезжает в Одессу, потом в Ялту.

Осень — завершает работу над пьесой «Леший», постановка которой в театре М. М. Абрамовой в Москве не имеет успеха. Задумывает поездку через всю Россию на каторгу, на остров Сахалин.

1890 — готовится к поездке, собирает материал, много читает. Весной выходит из печати сборник рассказов «Хмурые люди».

21 апреля — покидает Москву.

Июнь — август — газета «Новое время» печатает его путевые очерки «Из Сибири».

11 июля — 13 октября — находится на острове Сахалин. Переписывает население острова, осматривает селения, посты, рудники, бараки, тюрьмы.

13 октября — 5 декабря — возвращается на пароходе «Петербург» через Владивосток, Гонконг, Сингапур, Коломбо, Одессу.

1891 — пишет повесть «Дуэль», рассказы «Бабы», «Великий человек» («Попрыгунья»), «Жена». Работает над книгой «Остров Сахалин». Заботами Чехова собрано и отправлено для сахалинских школ несколько тысяч книг.

Весна — уезжает за границу (Вена, Венеция, Флоренция, Неаполь, Рим, Ницца, Париж).

Лето — отдыхает с семьей в Богимове, недалеко от города Алексин Калужской губернии.

1892 — пишет повесть «Палата № 6», рассказы «Соседи», «Страх», «Рассказ неизвестного человека». Участвует в организации помощи голодающим крестьянам, едет в Нижегородскую, затем в Воронежскую губернии. Приобретает в долг имение в подмосковном селе Мелихово, перебирается туда с семьей. Начинает благоустройство дома и сада. Ведет прием многочисленных больных, работает в Серпуховском уездном земском санитарном совете, занят в мероприятиях по борьбе с надвигающейся эпидемией холеры. Устанавливаются хорошие отношения с редакторами журнала «Русская мысль» В. А. Гольцевым и В. М. Лавровым.

1893 — завершает книгу «Остров Сахалин», повести «Черный монах», рассказы «Бабье царство», «Володя большой и Володя маленький». В свет выходит сборник «Палата № 6». Ведет в Мелихове прием многочисленных больных.

1894 — написаны рассказы «В усадьбе», «Скрипка Ротшильда», «Студент», «Рассказ старшего садовника», повесть «Три года». Выходит сборник «Повести и рассказы». Переводы сочинений Чехова все чаще появляются в европейских странах. Поток гостей, приезжающих в Мелихово, не убывает. Избран на три года гласным Серпуховского земского собрания. Утвержден попечителем Талежского сельского училища.

Весна — Чехов перенес обострение легочного процесса, едет в Ялту.

Осень — едет на юг (Таганрог, Феодосия, Ялта, Одесса), потом — за границу (Вена, Аббация, Венеция, Милан, Генуя, Ницца, Париж, Берлин).

1895 — завершает рассказы «Супруга», «Белолобый», «Ариадна», «Убийство», «Анна на шее», пьесу «Чайка». Чехова приглашают к сотрудничеству многие издания. Он пишет в основном для журнала «Русская мысль» и газеты «Русские ведомости». Часто нездоров (головные боли, кашель), но не прекращает врачебную практику. Занят земскими делами. Посылает книги в Таганрогскую городскую библиотеку. Опекает Талежское училище, жертвует деньги на нужды школы. Посещает Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

1896 — пишет рассказ «Дом с мезонином» и повесть «Моя жизнь». Получает много читательских писем. Строит по просьбе крестьян новое школьное здание в селе Талеж и колокольню в Мелихове.

Август — уезжает на юг (Таганрог, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Новороссийск, Феодосия, Харьков).

Осень — «Чайка» принята к постановке в Александринском театре. Чехов присутствует на репетициях. Из всех исполнителей

выделяет В. Ф. Комиссаржевскую.

17 октября — премьера «Чайки», закончившаяся провалом.

1897 — завершает повесть «Мужики». Зимой, больной, ведет перепись населения в близлежащих селах.

Конец марта — начало апреля — после горлового кровотечения две недели находится в московской клинике А. А. Остроумова. По настоянию врачей сворачивает медицинскую практику.

Лето — по просьбе крестьян и земства берет на себя основные расходы и заботы по строительству школы в селе Новосёлки. Отправляет очередные партии книг в Таганрогскую городскую библиотеку. Чехову пожалована бронзовая медаль за труды по первой всеобщей переписи населения.

Осень — уезжает на юг Франции. Останавливается в Ницце, в Русском пансионе.

1898 — покупает и отправляет из Ниццы 319 томов произведений французских классиков для Таганрогской городской библиотеки. Следит по газетам за делом Дрейфуса, критикует позицию «Нового времени». Ведет переговоры в Париже с М. М. Антокольским о памятнике Петру I для Таганрога.

Весна — лето — возвращается в Россию и много пишет. В печати появляются рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Случай из практики». Жертвует тысячу рублей на строительство здания школы в Мелихове. Разрешает постановку «Чайки» в Московском Художественно-общедоступном театре (МХТ), основанном К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Сентябрь — знакомится с актерами молодого театра. Одна из актрис, О. Л. Книппер, производит на него впечатление своей игрой, обликом и манерами. Уезжает на зиму в Ялту.

Октябрь — получает известие о смерти отца. Приобретает участок земли в деревне Верхняя Аутка на окраине Ялты и начинает строительство дома для себя и родных.

1899 — работает над повестью «В овраге» и рассказом «Архиерей». Выходят из печати рассказы «По делам службы», «Душечка», «Новая дача», «Дама с собачкой». Решает продать А. Ф. Марксу право на издание собрания своих сочинений. Отбирает и редактирует ранние рассказы для первых томов. Принимается в Ялте за благотворительную деятельность в пользу неимущих, больных чахоткой, собирает средства для голодающих крестьян.

Весна — обихаживает свой участок, сажает деревья. Приезжает в Москву, смотрит спектакль «Чайка» в МХТ.

Осень — возвращается в Ялту. Вскоре приезжает Е. Я. Чехова

с прислугой. Мать и сын устраиваются в новом доме. Между Чеховым и О. Л. Книппер завязывается переписка.

Декабрь — Чехову пожалован орден Станислава 3-й степени за труды по народному просвещению.

1900 — работает над пьесой «Три сестры», продолжает подготовку томов собрания сочинений. Избран почетным академиком Императорской Академии наук по разряду изящной словесности. Жертвует деньги на постройку новой школы в Мухалатке, посылает книги во многие российские библиотеки. Помогает чахоточным больным. Весна — в Севастополь и Ялту приезжает на гастроли МХТ. Чехов смотрит спектакли «Дядя Ваня», «Одинокие», «Эдда Габлер», «Чайка». В круг хороших знакомых Чехова входят литераторы И. А. Бунин, М. Горький, А. И. Куприн.

Декабрь — уезжает в Ниццу, где завершает работу над пьесой «Три сестры».

1901 — путешествует по Италии (Пиза, Флоренция, Рим). В феврале возвращается в Ялту. Продолжает работу над рассказом «Архиерей» и собранием сочинений, тома которого уже выходят в свет.

Весна — приезжает в Москву, венчается с О. Л. Книппер. По рекомендации врачей, нашедших значительное ухудшение в состоянии его здоровья, едет с женой на кумыс в Уфимскую губернию.

3 августа — пишет завещание.

Осень — живет в Москве с женой, с наступлением холодов уезжает в Ялту. Навещает Л. Н. Толстого в Гаспре.

1902 — Чехову присуждена Грибоедовская премия за пьесу «Три сестры».

В печати появляется рассказ «Архиерей».

Весна — лето — ухаживает за больной О. Л. Книппер, перевезенной после операции в Ялту. Едет вместе с женой в Москву, затем в подмосковное имение К. С. Станиславского в Любимовке. Совершает поездку по Уралу вместе с С. Т. Морозовым. Отказывается от звания почетного академика в связи с тем, что выборы М. Горького в Императорскую Академию наук признаны недействительными. Осень — живет в Москве. В начале зимы возвращается в Ялту, где работает над рассказом «Невеста» и пьесой «Вишневый сад».

1903 — продолжает писать пьесу «Вишневый сад» и рассказ «Невеста».

Просматривает корректуру очередных томов собрания сочинений. Консультируется в Москве у профессора А. А. Остроумова, который находит его состояние очень

серьезным.

Лето — вместе с женой снимает флигель в подмосковном имении М. Ф. Якунчиковой.

Осень — заканчивает пьесу «Вишневый сад».

Декабрь — приезжает в Москву.

1904, 17 января — в свой день рождения присутствует на премьере «Вишневого сада» в Московском Художественном театре. Чехова чествует литературная, газетная, театральная Москва. В феврале возвращается в Ялту.

Май — уезжает из Ялты в Москву. Никуда не выходит из квартиры. Всех, кто приходит в дом, потрясают вид Чехова, его слова, что он едет за границу не лечиться, а умирать.

Июнь — направляется с женой в Германию — сначала в Берлин, затем в Баденвейлер.

2 (15) июля — Антон Павлович Чехов умирает в номере курортной гостиницы в Баденвейлере.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. Т. 1–30. М., 1974–1983.

А. П. Чехов в воспоминаниях современников. / Сост., подгот. текста и коммент. Н. И. Гитович. М., 1986.

Бунин И. А. О Чехове // И. А. Бунин. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 9. М., 1967.

Вокруг Чехова / Сост., вступ. ст. и прим. Е. М. Сахаровой. М., 1990.

Громов М. П. Чехов. М., 1993 (ЖЗЛ).

Дмитриева Н. А. Послание Чехова. М., 2007.

Дневник Алексея Сергеевича Суворина / Текст, расшифр. Н. А. Роскиной, подг. текста Д. Рейфилда, О. Е. Макаровой. London; М., 1999.

Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение. М.: РИК Русанова, 2001.

Из истории русской литературы и общественной мысли 1860–1890-х годов //Литературное наследство. Т. 87. М., 1977.

Кузичева А.П. А. П. Чехов в русской театральной критике. Комментированная антология. 1887–1917. М.; СПб., 2007.

Кузичева А. П. Чеховы. Биография семьи. М., 2004.

Лакшин В. Я. Толстой и Чехов. М., 1975.

Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 1. 1860–1888 / Сост. Л. Д. Громова-Опульская, Н. И. Гитович. М., 2000.

Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 2 / Сост. И. Ю. Твердохлебов. М., 2004.

Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 3. 1891–1894 / Сост. М. А. Соколова, И. Е. Гитович. М., 2009.

Ле Флемминг С. Господа критики и господин Чехов. Антология. СПб.; М., 2006.

Мелиховский летописец. Дневник Павла Егоровича Чехова / Подгот. А. П. Кузичева, Е. М. Сахарова. М., 1995.

Переписка А. П. Чехова. Т. 1–3. 2-е изд., испр. и доп. М., 1996. Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер. Т. 1–2/Сост. и коммент. З. П. Удальцовой. М., 2004.

Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова / Подгот., вступ. ст. и коммент. И. С. Ежова. М., 1939.

Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М., 2005.

Суворин А. С. В ожидании века XX. Маленькие письма. 1889–1903/ Сост., подгот. текстов, вступ. ст. А. Романенко. М., 2005.

Таганрог и Чеховы. Материалы к биографии А. П. Чехова. Таганрог, 2003.

Турков А. М. Чехов и его время. М., 2003.
Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов. Характеры и суждения / Подгот. изд. К. Азадовский. М., 2008.
Чепуров А. А. Александринская «Чайка». СПб., 2002.
Чехов. Литературное наследство. Т. 68. М., 1960.
Чехова М. П. Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954.

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор сердечно благодарит уважаемых коллег из Государственного Литературного музея (Москва), музеев А. П. Чехова в Таганроге, Мелихове, Сумах и Ялте, а также сотрудников отдела рукописей РГБ и РГАЛИ за многолетнюю помощь. Особая признательность за набор текста и подготовку иллюстраций — А. А. Шейкину.

Автор хранит добрую память о людях, чья дружеская поддержка была неоценимой в годы работы над этой книгой.

notes

Примечания

1

Ашара (ошара) — пьянчуга, шатун, оборванец.

2

День рождения (нем. Geburtstag).

3

Плуг.

4

Имена… одиозны (лот.).

5

Героиня одноименного романа Э. Золя, парижская куртизанка.

6

Вырезанные из бумаги (фр. appliqué).

7

Обреченные на смерть приветствуют тебя! (лат.).

8

Имеющий родиться (лат.).

9

Душу (лат.).

10

Волей-неволей (лат.).

11

Раздражительный род поэтов (лат.).

12

В ожидании (лат.).

13

Чистота (нем.).

14

Вне конкуренции (фр.).

15

Первая четверть, одно из делений колеса рулетки (фр.).

16

Доказательства (фр.).

17

В прежнем состоянии (лат.).

18

Двойной (нем.).

19

Клецки из заварного теста.

20

Твой (лат.).